



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







100-100000  
100-100000  
100-100000



  
Вопыки, А. С.  
**СОБРАНИЕ**

**РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ И РАЗСКАЗОВЪ**

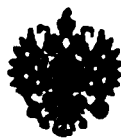
**П. Д. БОБОРЫКИНА**

**въ 12 томахъ.**

**ТОМЪ ПЯТЫЙ.**

  
**Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.**

**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. МАРКСА.  
1897.**



Тип. А. Ф. МАРКСА, Ср. Подъяч., № 1.

# НА УЩЕРБЪ.

РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.







# НА УЩЕРБЪ.

(РОМАНЪ.)

## Часть первая.

### I.

— Туда ли ты ѣдешь?

— Туды, господинъ, мы здѣшніе... Будьте покойны. Намъ ошибаться не слѣдъ.

Ямщикъ обернулся къ Ермилову. Сквозь сизыя, разрывчатая облака октябрьскаго неба просачивался двойственный свѣтъ. Баринъ—полный и рослый, въ клѣтчатомъ заграничномъ эльстерѣ, съ капюшономъ—переваливался съ-боку-на-бокъ въ тарантасикѣ на длинныхъ дорогахъ. Ноги его прикрыты одѣяломъ, на головѣ круглая сѣрая шляпа. Его везли парой, съ колокольчикомъ. Ямщикъ, въ мужицкомъ озямѣ, сидѣлъ бочкомъ на козлахъ. Обернувшись къ барину, онъ повелъ кнутовищемъ по воздуху и прибавилъ:

— Вотъ лощинку минуемъ—заворотъ налѣво. Къ Евментю Филиппычу проселкомъ двѣ версты аккуратъ.

— Ты его и по батюшкѣ знаешь?

— Какъ не знать, сударь. Баринъ—рубашка!.. И овсеца когда купишь у нихъ... въ кредитецъ.

— Въ кредитецъ?—переспросилъ Ермиловъ и усмѣхнулся.

На его немного скуластомъ лицѣ лежалъ ровный цвѣтъ холеной, но уже не молодой кожи. Бородка съ просѣдью,

но модѣ остриженная, придавала ему молоджавость. Большіе близорукіе глаза смотрѣли въ черепаховое ріпсе-пез.

Ермиловъ усмѣхнулся и попристальнѣе оглядѣлъ ящика, потомъ дорогу, направо и налѣво отъ бѣлесоватаго шоссе, разрыхленнаго дождемъ.

Яищикъ сидѣлъ все еще бокомъ. Изъ-подъ шапки висѣла рыжеватая прядь, прямо надъ самымъ носомъ. Онъ косилъ, и правый его глазъ былъ, кажется, съ бѣльмомъ. Ротъ растягивала ухмыляющаяся усмѣшка подмосковнаго плутоватаго мужика.

Дорога шла безъ жилья кругомъ, съ жидкимъ лѣскомъ съ одной стороны, скучная и бѣдная картина безъ рельефа, безъ малѣйшей неожиданности при легкихъ спускахъ и подъемахъ.

Въ головѣ Ермилова, раздраженной отъ тряски въ тарантасѣ, мелькали недавніе образы. Ласковое, праздничное солнце, бирюзовыя волны, толпа молодыхъ женщинъ въ купальныхъ костюмахъ. Прибой гудитъ и вспѣниваетъ валы. Тѣлу такъ отрадно въ тепловатой водѣ,жигающей вась брызгами. Надъ вами синее, точно расплавленная лапись-лазурь, небо южной Франціи, на побережьи Атлантическаго океана. Ноги и руки, головы и мельканье бюстовъ, кругомъ, около него, среди пѣны и всплесковъ, голоса мужчинъ и женщинъ, картавые французскіе и шепелявые испанскіе, эта изящная смѣлость молодыхъ женщинъ и дѣвушекъ какъ все это замолаживало его. Онъ любилъ тургеневское слово: „замолаживать“ — и повторилъ его мысленно. Сколько женщинъ! И почти съ каждой можно заговорить, взять ее за руку, предложить свои услуги, положить ее на руки, чтобы она „дѣлала доску“.

Да, онъ былъ — всего двѣ недѣли назадъ — въ своей стихіи.

— „*Odor di femmina!*“

Эти слова произносилъ особенно вкусно одинъ его пріятель, бокомъ поглядывая на него, бывало, когда они ходили по бульварамъ Парижа, и онъ, сжимая руку пріятеля своими бѣлыми гибкими въ суставахъ пальцами, подбадривалъ себя возгласомъ:

— Какая фамма!.. *Nom d'un petit bonhomme!*..

На подъемѣ тарантаса сырой вѣтерокъ забрался ему подъ заграничный эльстеръ.

Тутъ только попенилъ онъ на себя за то, что слишкомъ легко одѣлся. Такъ одѣться было бы впору тамъ, въ Біар-

рицѣ, на закатѣ солнца, а не здѣсь, подѣ Москвой, въ началѣ октябрю, въ тарантасѣ, безѣ верха, по шоссе и по проселочной дорогѣ.

— Мѣсомъ—проселокъ?—поторопился онѣ спросить у ямщика.

— Нештò!

„Нештò!“—повторилѣ мысленно Ермиловѣ и выбранилѣ себя. Какая глупость и чтò за ухарство! Ему пошелѣ сорокѣ пятый „годокъ“, а онѣ позволяетѣ себѣ такія „prouesses“, точно онѣ гимнастъ или наѣздникѣ въ циркѣ.

Развѣ онѣ не знакомѣ съ ревматизмами и невралгіями? Вотѣ еще одна подобная неосторожность—и ляжешь въ номерѣ гостиницы, съ болями въ ногѣ или лопаткѣ, и будешь валяться недѣли двѣ.

Пріятно!

Но у него съ собой нѣтъ теплаго платья, кромѣ этого эльстера, купленнаго въ Лондонѣ, въ прошломѣ году. Его шуба въ Петербургѣ, на храненіи у мѣховщика въ Караванной. Онѣ надѣялся почему-то на хорошую погоду. Ему вспомнились, когда онѣ разѣ ѣхалѣ изѣ-за границы, превосходные осенніе дни въ октябрѣ.

Одинѣ такой день изѣ того времени какѣ теперь стоитѣ передѣ нимѣ. Нескучный садѣ. Золотистая листва, кое-гдѣ сохранившаяся на липахѣ, длинная-длинная аллея—и они одни. Онѣ—студентѣ въ сюртукѣ съ голубымѣ воротникомѣ, даже безѣ пальто. Она—кордебалетная дѣвочка. И какіе поцѣлуи! Чтò за свѣжій пылъ среди осенняго зѣира, полного запаха спѣлыхѣ яблоковѣ, откуда-то донесшагося до нихѣ!

Тогда и безѣ пальто было хорошо. Небо—безѣ облачка. Крестѣ храма Спаса вдали бросалѣ свои искры.

Какѣ жилось! И въ карманѣ было всего два рубля—последніе—отдать лихачу-извозчику, взятому у Страстного монастыря...

— Пошелѣ, братецѣ, скорѣе!—вдругѣ крикнулѣ Ермиловѣ.

Онѣ не на шутку испугался. Правда, у него подѣ рубашкой вязаная фуфайка—онѣ носитѣ фуфайки больше пятнадцати лѣтъ. Но фуфайка шелковая, она не грѣетѣ. Съ собой онѣ не захватилѣ фляжечки съ коньякомѣ; она осталась тоже въ номерѣ Лоскутной гостиницы. Надежда на одинѣ плѣдѣ, довольно теплый. Онѣ захватилѣ только сакѣ, лежавшій подѣ сидѣньемѣ ямщика,—съ туалетными

вещами и парой маншеть,—переночевать, а завтра утромъ назадъ въ Москву.

„Авось, пронесетъ!“—веселѣе воскликнулъ онъ про себя. Безпечность его натуры взяла верхъ—все то же жизненное свойство, которое онъ зналъ за собою съ дѣтства.

Развѣ человекъ мѣняется? Какой вздоръ!.. Вотъ онъ, Ермиловъ, не измѣнился даже въ мелочахъ привычекъ, тѣловъ, построеній языка, не говоря уже о преобладающихъ инстинктахъ. И другіе также...

Милѣйшій Кустаревъ,—къ кому онъ вѣхалъ на ночлегъ,—вылился въ то, что сидѣло въ немъ еще въ гимназін, когда они ходили на Лубянку и передавали другъ другу учебники географіи и алгебры. По ученью они шли параллельно. Ихъ раздѣляли два класса. Кустареву теперь сорокъ два, ему—сорокъ четыре и девять мѣсяцевъ съ днями.

И тогда Кустаревъ былъ такой же—приземистый, съ удивленными добрыми глазами, вообще молчаливый; съ пріятелями теплый и словоохотливый; „нутракъ“, какъ кто-то прозвалъ его, склонный къ мечтамъ о всемірномъ торжествѣ добра, любящій излить душу про „гадость“ порядковъ и дѣлъ, способный на порывъ, на выходку, за которую по головѣ не погладятъ. Тогда это было изъ-за товарищей, противъ учителей и начальства, позднѣе—изъ-за гражданскихъ идеаловъ въ аудиторіяхъ и на сходкахъ, еще позднѣе—на ученой службѣ вплоть до добровольнаго выхода въ отставку, послѣ одной исторіи, гдѣ онъ въ лицо всѣмъ сослуживцамъ сказалъ:

— Съ такими гадостями я, господа, мириться не могу!

Вышелъ изъ совѣта и подалъ прошеніе объ отставкѣ. И до сихъ поръ въ его душѣ сочится ранка не оттого, что онъ не у дѣлъ, отставной профессоръ, живущій на хуторѣ, пишущій въ газетахъ, а оттого, что люди, товарищи, единомышленники, выказали такую измѣну тому, что у нихъ было на губахъ еще утромъ, передъ засѣданіемъ.

Нѣтъ, никто не мѣняется, только старѣетъ и теряетъ аппетитъ, силу, умъ, талантъ, радость жизни, записываетъ себя—добровольно или нѣхотя—въ старики.

Онъ не можетъ и этого сказать про себя... Когда онъ съ-глазу-на-глазъ съ собой проникаетъ беспощаднымъ зондомъ въ свое „самочувствіе“,—ему не вѣрится, что онъ скоро перешагнетъ во вторую половину пятого десятка.

„Подъ пятьдесятъ!“ Да вѣдь это почти старость, особенно въ Россіи, гдѣ мужчина такъ скоро выходитъ въ отставку изъ жизни, опускается во всемъ: въ туалетѣ, въ тонѣ, въ манерахъ, въ желаніи нравиться женщинамъ.

А онъ еще чувствуетъ себя молодымъ. Въ чемъ же и молодость, какъ не въ обладаніи женщиной?

Ермиловъ щелкнулъ языкомъ и протеръ стекла ріпсе-пез цвѣтнымъ моднымъ фуляромъ.

Какой же онъ старикъ? А въ Біаррицѣ... та французженка изъ города Байонны, съ золотыми глазами и сизочерными прядями волосъ?..

Въ Парижѣ своимъ чередомъ, въ кружкѣ „des Moissonneurs“, въ томъ особомъ кабинетѣ ресторана, гдѣ собираются его пріатели-парижане, основавшіе этотъ „клубъ“... Тамъ его познакомили съ одной натурщицей-гречанкой.

Какой бюстъ! Чтò за божественная пластика! И еще не избалована въ плохихъ дѣлахъ.

Даже по дорогѣ въ Россію, на вѣнской „Ringstrasse“, въ Café Frohner, мороженое, предложенное имъ одной венгеркѣ, повело къ свиданію... въ Stadtpark'ѣ... Онъ вздохнулъ... Давно ли все это было?

А теперь эта тошная дорога, проселокъ, а потомъ Москва все съ тѣми же „хорошими людьми“, прѣсными разговорами „по душѣ“, съ грязными улицами безъ изящныхъ женщинъ, или съ женщинами въ глубокихъ калошахъ, въ толстыхъ безформенныхъ пальто, въ невозможныхъ башлыкахъ!..

— Боже мой!—вздохнулъ еще громче Ермиловъ.

Они вѣхали въ еловый лѣсъ, охватившій его теменью и запахомъ хвои. Дорога шла узкая, съ выбоинами и колеями.

— Долго еще этотъ лѣсъ?—спросилъ, наконецъ, Ермиловъ, и его толкнуло въ бокъ на колдобинѣ.—Тише, братецъ!

— Долго ли лѣсомъ?—переспросилъ ямщикъ.—Да аккуратъ до самаго хутора, баринъ.

— Удовольствіе!.. Тихо ли здѣсь насчетъ проѣзжающихъ?

— Чево?.. Тихо ли?.. Пошаливаютъ когда.

— Грабятъ, хочешь ты сказать, мой другъ?

— Нештò!

Это „нештò“ было сказано съ прелестнымъ хладнокровіемъ.

„Что за страна!“ — хотѣлъ возмутиться Ермиловъ, но у него это не вышло. Онъ кончилъ мысленно:

„Оригинальны мы — это точно. И никакое подражаніе Европѣ не выбьетъ изъ насъ нашего квіэтизма“.

— Однако, какъ же это, милый мой? — спросилъ онъ ямщика, нагнувшись къ нему всѣмъ своимъ жирноватымъ туловищемъ. — Этакъ насъ съ тобой и прирѣжутъ, какъ цыплятъ.

Онъ хотѣлъ сострить какъ слѣдуетъ, но колдобины и колеи рѣшительно не позволяли. Да и вообще, съ тѣхъ поръ, какъ онъ опять въ Москвѣ, его привычка къ остро-тамъ и „mots“ что-то хирѣетъ.

— Богъ милостивъ! — откликнулся ямщикъ.

„Со мной ли револьверъ?“ — торопливо спросилъ себя Ермиловъ и ощупалъ всѣ карманы.

Револьвера не было.

Забывчивость онъ очень не любилъ. Это одинъ изъ признаковъ старчества... Самъ по себѣ онъ не разсѣянъ. Вышло это оттого, что онъ заторопился къ поѣзду и не захватилъ револьвера, который клялъ всегда въ почной столнкъ, гдѣ бы онъ ни ночевалъ, или въ карманъ, дорогой, въ общемъ ли русскомъ вагонѣ, въ sleeping car, или въ купѣ французскихъ и нѣмецкихъ дорогъ.

— Глупо, глупо! — почти вслухъ выбранилъ онъ себя и тутъ же досталъ изъ бокового кармана записную книжечку и, еле-еле разбирая написанное, черкнулъ карандашомъ:

„Не забыть револьвера“.

— Авось пронесетъ! — сказалъ онъ ямщику.

— Нештò!

Это трехкратное „нештò“ разувѣрило его и настроило игриво.

Онъ не безъ удовольствія началъ думать о Кустаревѣ, о его женѣ, о томъ, какъ онъ засядетъ у нихъ за чайный столъ и отвѣдаетъ „своихъ“ сливокъ, и поразить ихъ мотивомъ своего визита.

Вотъ ужъ не ожидаютъ!.. И обрадуются. Онъ въ этомъ не сомнѣвался.

Они должны тосковать, особенно же этотъ „комочекъ нервовъ“, Маргарита Сергѣевна — „Гаря“, какъ называетъ ее милѣйшій Евменій Филипповичъ.

„Должны быть рады“, — думалъ онъ, и сейчасъ же вспо-



мнилъ заглавіе французской пьесы, когда-то видѣнной имъ въ Михайловскомъ театрѣ: „La maison sans enfants“.

— „La maison sans enfants“,—протяжно и вслухъ выговаривалъ онъ.

А вдругъ ихъ дома нѣтъ?..

Онъ имъ депеши не посылалъ... Хуторъ не на линіи телеграфа... Съ депешей вышла бы возня, да и некогда было сегодня... Писалъ онъ Кустареву, съ дороги, изъ Варшавы, и дѣлалъ тамъ полутайнственный намекъ на свою „миссію“. Говорилъ, кажется, что будетъ между 5 и 10 октября на хуторѣ.

Чего же больше?

Въ такихъ дѣлахъ онъ былъ небреженъ... Часто способенъ былъ опоздать, не предупредить... Зато до педантизма аккуратенъ въ денежныхъ счетахъ. „Это — великая добродѣтель для русскаго“,—говаривалъ онъ пріятелямъ.

„Миссія“ совсѣмъ не тяготила его и не вызывала никакихъ укоровъ совѣсти, никакихъ упрековъ себѣ, счетовъ съ прошлымъ.

— Баринъ, а баринъ!

— Что?—немножко тревожно отозвался Ермиловъ.

— Выселки, значить... Кустаревка... Эхъ, вы, распрескаровыя!.. — ухнулъ ящикъ, и Ермиловъ чуть не вскочилъ изъ тарантаса.

## II.

Лохматый песъ могуче лаялъ, подпрыгивалъ на цѣпи и рвался къ лошадямъ.

На лай собаки выбѣжалъ изъ сарайчика — Ермиловъ уже плохо различалъ строенія на дворѣ — малый въ полшубкѣ, простоволосый, и сталъ высаживать гостя.

— Дома господа? — спросилъ Ермиловъ и, спросивъ, увидѣвъ свѣтъ въ двухъ окнахъ одноэтажнаго флигелька, съ крылечкомъ, въ русскомъ вкусѣ.

— Дома-съ, пожалуйста!

— Вотъ мѣшокъ возьмите, а вылѣзть я попробую самъ.

Ермиловъ всякой прислугѣ, даже половымъ въ московскихъ трактирахъ, говорилъ „вы“; исключеніе дѣлалъ для крестьянъ, ящиковъ и городскихъ извозчиковъ.

— Батюшка! Егоръ Петровичъ!

Въ передней обнималъ его Кустаревъ. Они три раза поцѣловались.

Тутъ же стоялъ малый съ савомъ Ермилова. Рослая горничная держала въ рукахъ свѣчку.

— Ждемъ, ждемъ!.. Снимайте свой заморскій капотикъ! Налегкѣ вы, голубчикъ... Думали мы съ Гарей, что вы утречкомъ пожалуете.

Кустаревъ помогъ ему стащить съ себя клѣтчатый альстеръ и ввелъ въ небольшую залу, стоявшую еще въ деревѣ, безъ штукатурки, какъ и весь домикъ.

Ласково оглядывали большіе глаза Ермилова неизмѣннаго „благопріятеля“—такъ Кустаревъ самъ звалъ себя.

Постарѣлъ онъ физически за два послѣднихъ года: сталъ какъ-то ниже ростомъ, въ лицѣ худощавѣе, борода отросла и сильно засеребрилась; курчавые, длинные волосы также. Но все тотъ же бодрый и энергическій ротъ безъ двухъ верхнихъ зубовъ и взглядъ задумчивыхъ карихъ глазъ съ немного нависшими бровями, и бѣлый, уже морщинистый, болѣе продолговатый, чѣмъ широкій, лобъ.

Не удивился Егоръ Петровичъ и тому, что на Кустаревѣ была бѣлая рубаха съ косымъ воротомъ, расшитымъ цвѣтной бумагой, и въ накидку, не то поддѣвка, не то куртка, и большіе сапоги, отдававшіе ворванью. Онъ зналъ его народные вкусы и симпатіи.

Голосъ Кустарева сталъ поглуше. Онъ и прежде говорилъ съ легкой хрипотой, которую всѣ его пріатели очень любили; отъ нея голосъ его дѣлался задушевнѣе.

— Гаря! Вотъ и онъ, парижанинъ!.. Въ нашей берлогѣ... Иди сюда, Гаречка!

Выбѣжала жена Кустарева — „комочекъ нервовъ“, по выраженію Ермилова, маленькая, худая, моложавая и бѣлокурая женщина, съ плоской грудью, въ шерстяной полосатой кофточкѣ. Она и Ермиловъ оглянули себя быстро, пока жали другъ другу руку.

И она измѣнилась на его взглядъ: носикъ заострился, глаза воспаленные, вся ссохлась, и нѣтъ прежней живости въ движеніяхъ... Точно будто она была серьезно больна.

Ермилова она нашла мало измѣнившимся: только немного пополнилъ, да еще меньше волосъ стало на круглой, подстриженной головѣ яркаго блондина, съ бородкой цвѣтомъ потемнѣе. Она хорошо знакома была съ его головой и лицомъ чистокровнаго сангвиника: все тѣ же сѣрые, близорукіе и большіе глаза съ привѣтливымъ и

выжидающимъ выраженіемъ любителя женщинъ, и нервныя, глубоко вырѣзанныя ноздри породистаго хрящева-таго носа, и ротъ вишней, не утратившій своей сочности, и бѣлая, круглая шея, виднѣвшаяся изъ-подъ подстриженной, по-модному, бородки.

Она все это знала и про себя чувствовала въ пріятелю мужа родъ снисходительной брезгливости, какъ женщина чистая въ самыхъ помыслахъ своихъ, не умѣющая понять, какъ могутъ мужчины быть такими „гадкими“.

— Маргарита Сергѣевна, ручку позвольте!

Ермиловъ низко нагнулся и продолжительно подѣловалъ ея нервную, худенькую и красненькую руку. Лысина круглымъ пятномъ обозначилась на его маковкѣ. Отъ всего полного туловища, стянутаго узко-скроеннымъ дорожнымъ костюмомъ, пахло какими-то сильными духами, ей неизвѣстными.

Она находила всегда, что Ермиловъ держится съ нею, съ другими женщинами ихъ круга и съ мало-знакомыми мужчинами съ преувеличенной вѣжливостью въ тонѣ и манерѣ говорить, считала это барствомъ, желаньемъ показать, что его воспитывали гувернеры, и мать его была „по себѣ“ графиня. Мужъ ей не разъ говорилъ, что это у Ермилова „просто привычка“. И ее воспитывали гувернантки, и она говорила прежде только по-французски. Но у нея же нѣтъ этого тона...

Каждый разъ всѣ эти мысли и ощущенія проходили по душѣ маленькой женщины при новой встрѣчѣ съ пріателемъ ея мужа.

Но она ему все-таки искренно обрадовалась. Ермиловъ у нихъ всегда милъ, простъ, такъ же преданъ ея „Менѣ“ — она такъ звала мужа, — остеръ, неистощимъ въ разсказахъ, привозить съ собою совсѣмъ другой запахъ — взвинченной жизненности.

Онъ непременно оживить ея мужа... А у Маргариты Сергѣевны затаенная тревога въ сердцѣ: ея Меня „не у дѣлъ“, не нынче-завтра долженъ захандрить, какъ онъ себя ни подбадриваетъ. Такіе пріатели, какъ Егоръ Петровичъ — чистый кладъ: развлечетъ, наскажетъ цѣлую массу всякихъ веселыхъ интересныхъ вещей „изъ Европы“ — и про новыя книжки, и про политику, и про театръ, и про женщинъ, хотя Евменій Филипповичъ не большой охотникъ до такихъ сюжетовъ, да и она также.

— Чѣмъ васъ поить-кормить? — спросила она его своимъ

вздрагивающимъ, низковатымъ голосомъ, съ легкой картавостью.

Этотъ голосъ у ней отдавался и въ горлѣ, и въ груди.

— Сейчасъ и кормить!.. О, Москва!.. О, моя свѣжесть! О, моя родина! О, Сивцевъ-Вражекъ!..

. Всѣ расхохотались разомъ и перешли въ столовенькую, такую же миниатюрную, какъ и зальце.

— Чай!.. Чего же лучше! — вскрикнулъ Ермиловъ и пригласилъ хозяйку, комическимъ жестомъ, къ самовару. — Извольте священнодѣйствовать.

— А закусить? — спросилъ Кустаревъ. — Чѣмъ Богъ пошлетъ...

— Не откажусь!..

Маленькая женщина что-то шепнула горничной, сама сбѣгала въ другую комнату, вернулась съ большой банкой варенья — Ермиловъ — сластѣна! — стала безъ шума, ловко и быстро уставляя закуску и, не мѣшая разговору мужчинъ, успѣла получить отвѣты отъ гостя на всѣ свои гостепріимные вопросы.

Самоваръ шипитъ, запахъ чая пріятно щекочетъ нервы; сквозъ паръ, на столѣ, при свѣтѣ лампы, блестать тарелки, рюмки, ножи.

Все это чистенько и хозяйственно. Маленькая женщина умѣла угостить, и ее нельзя было застать врасплохъ; всегда у ней найдутся запасы и закуски изъ хорошихъ гастрономическихъ магазиновъ.

— Маргарита Сергѣевна! — окликнулъ Ермиловъ, — что это за рыбица? Прелесть!

Онъ только что пропустилъ въ ротъ большой кусокъ рыбы въ маслѣ, доставъ ее изъ продолговатой красной паклянки.

— Это у меня Гара мастерица, отыщеть на днѣ морскомъ, — отвѣтилъ за жену Кустаревъ и самъ полѣзъ вилокъ въ жестянку.

— Макрель, — назвала отчетливо, какъ все, что она говорила, Маргарита Сергѣевна. — Изъ Балаклавы... крымская... русское произведеніе.

— Макрель!.. Вотъ это чудесно! Французская. — Ермиловъ повелъ носомъ. — Двусмысленность и такъ прекрасно обрусѣла. Гдѣ это продается, скажите?

— Она только и знаетъ, — продолжалъ возбужденно Кустаревъ. — Подъ самымъ историческимъ музеемъ, батюшка! Въ пеклѣ обрусѣнія!

Онъ разсмѣялся. Ему стало весело и молодо отъ близости этого „парижанина“, съ такимъ аппетитомъ жевавшаго закуску.

— А мнѣ не везетъ, — принялся рассказывать Ермиловъ, когда дожевалъ. — Прихожу къ „татарамъ“ позавтракать... Спрашиваю устриць. Засуетились, заставили ждать... И не оказалось. Зато, смотрю, по стѣнѣ ползетъ тараканъ.

Онъ вытянулъ лицо, поднялъ глаза кверху и договорилъ въ заключеніе:

— Устриць—нѣтъ! Тараканъ—есть!

Всѣ расхохотались разомъ: и онъ, довольный своей шуткой, которую помѣстилъ въ первый разъ, тутъ же „создалъ“; и они, поддаваясь обаянію этого живого сангвиника и умнаго, тонко понимающаго человѣка, который сразу стряхнулъ съ нихъ душевную пыль, на этомъ хуторѣ, въ домѣ „безъ дѣтей“, гдѣ ихъ подтачивало возрастающее чувство того, что дѣло жизни идетъ какъ будто подъ гору.

Ермиловъ, когда попадалъ къ своимъ московскимъ товарищамъ и вообще къ людямъ тамошнихъ кружковъ, испытывалъ совершенно особенное довольство. Онъ долженъ былъ сознаться, что ему, въ сущности, нигдѣ не бывало такъ ловко и хорошо, какъ съ ними—ни въ его миломъ Парижѣ, ни въ петербургскомъ свѣтѣ, ни на модныхъ водахъ и купаньяхъ. Тутъ только его цѣнили какъ надо, вполне смаковали его образованіе, начитанность, остроту ума, темпераментъ, гуманность, лежавшую въ основѣ его натуры.

Но онъ не могъ подолгу любить Москву какъ городъ. Къ ней онъ охладѣлъ давно, и хотя не особенно восхищался Петербургомъ, все же считалъ его единственнымъ русскимъ городомъ, гдѣ „можно жить“. Его пріѣзды въ Москву дѣлались все рѣже и рѣже.

Зато ощущеніе сердечности и умственного лада съ московскими пріятелями каждый разъ всплывало съ той же окраской. Ему все такъ же хорошо съ Кустаревымъ, какъ было и два года назадъ, и даже лучше; присутствіе его жены не даетъ уже ноты пытливо-чопорнаго разглядыванья, обращеннаго на его личность, сквозь ласковую заботу о немъ, какъ о гостѣ.

— Ха-ха-ха!—снова засмѣялся Кустаревъ и повторилъ, рѣдко разставляя слова: — устриць — нѣтъ, тараканъ —

есть... Знаете, дружище, вѣдь вы глубокую метафору изволили построить, быть-можетъ, и не подозрѣвая того...

Они были на „вы“, хотя и учились вмѣстѣ въ гимназій и потомъ въ университетѣ. Такъ пошло еще съ тѣхъ поръ, какъ ихъ раздѣляли два класса.

Ермиловъ покосился на Кустарева и спросилъ съ интонаціей, извѣстной его пріятелю:

— Въ какихъ смыслахъ?

— Да въ такихъ, батенька, что времена настали подлѣйшія. Таракана этого развелось видимо-невидимо, а устрицъ нѣтъ.

Ермиловъ понялъ намекъ. Маленькая женщина кинула боковой взглядъ на мужа. Она услышала такіе звуки въ его голосѣ, которые ее все больше тревожили. Начнутся разговоры о „тяжелыхъ временахъ“... Ея Мень—неисправимый мечтатель, все еще внутренне надѣется на какой-то „подъемъ духа“. Она давно рѣшила, что „кружокъ“ распадется, что всѣ постарѣли и дотягиваютъ до пенсій. Но она не любила, чтобы онъ самъ начиналъ говорить объ этомъ.

— Не въ авантажѣ обрѣтаемся?—спросилъ Ермиловъ, намазывая себѣ тартинку.

— Не въ авантажѣ,—повторилъ Кустаревъ и пододвинулъ гостю тарелку съ сыромъ. — Отвѣдайте, Егоръ Петровичъ, какъ на вашъ вкусъ? Это своего изготавленія... на манеръ невшательскаго.

Ермиловъ отрѣзалъ кусокъ, положилъ его на густой слой масла и сталъ медленно разжевывать, прищуривая глаза.

Сыръ былъ, дѣйствительно, „на манеръ“, и похвалить его Ермиловъ затруднился. Онъ сдержалъ гримасу: огорчить пріятеля ему не хотѣлось, да и воспитанность не позволяла.

— Сыръ—товѣ...—сказалъ онъ тономъ, какимъ обыкновенно дѣлалъ цитаты.

— Откуда это?—спросилъ Кустаревъ.

— Забыли?.. Изъ „Игроковъ“ Гоголя.

— Да, да!.. Точно... Сыръ—товѣ.

Разговоръ повернулъ опять въ ту же сторону. Слишкомъ долго накапливалось въ Кустаревѣ чувство невеселыхъ итоговъ за послѣдніе два-три года. Онъ рѣдко высказывался дома и съ пріятелями, какихъ видѣлъ въ городѣ: что жъ перебирать вслухъ то, что каждый изъ нихъ



знаетъ прекрасно про себя? Да и приходилось говорить слишкомъ горькія истины, жаловаться не на одно то, что „потянуло“ другимъ духомъ, а также и на вялость, если не на малодушіе близкихъ друзей, на отсутствіе стойкости и солидарности.

Ермиловъ явился свѣжимъ человѣкомъ. Съ нимъ можно многое перебрать заново.

Не горячася, безъ фразъ и восклицаній, своимъ нутрянымъ хриповатымъ голосомъ, съ паузами питья чая и закусыванья, Кустаревъ говорилъ больше о томъ, куда „все“ идетъ, чѣмъ о собственной жизни.

— Вотъ Гаря огорчается частенько тѣмъ, что я, видите ли, не у дѣлъ... Честолюбивы женщины, Богъ съ ними... А меня мой немудрый хуторокъ только и поддерживаетъ, душевно... Съ хлѣба на квасъ перебиваемся. Это ничего... Строчи я, каждый день, передовицы въ газету, было бы не въ примѣръ доходнѣе, да мнѣ и разъ-то въ недѣлю въ городъ жутко бываетъ... все тамъ молчу или односложными звуками отдѣлываюсь.

— А вы тоже въ хозяйство ударились?—спросилъ Ермиловъ, и въ его вопросѣ Маргарита Сергѣевна почувала тайный вопросъ: какъ-то она борется со своимъ материнскимъ горемъ—смертью двоихъ дѣтей, хорошенькихъ мальчиковъ, унесенныхъ дифтеритомъ года два передъ тѣмъ?

— Ну, насчетъ хуторского дѣла мы плохи,—отвѣтилъ за нее мужъ. — Вокругъ дома ничего... У нея все въ исправности... Особенно по части закусокъ и вареній...

Она неопредѣленно усмѣхнулась.

— Мужа занимаетъ хуторъ,—сказала она и начала перебивать чашки.

— Да и здѣсь мы подѣ сумнѣньемъ,—выговорилъ Кустаревъ и улыбнулся глазами изъ-подъ навислыхъ бровей. — Герой — Разуваевъ... Онъ царить и въ уѣздѣ... Я для него вредный человѣкъ, рабочихъ съ пути сбиваю, заработки подымаю на цѣлую гривну серебромъ. Эхъ, Егоръ Петровичъ, посмотрю я на васъ—благую вы часть избрали: снимаете пѣнки со сливокъ Европы, сегодня тутъ, завтра тамъ, смотрите на все, какъ древній эллинь-эпикуреецъ!

— Да какъ же иначе? — вырвалось у Ермилова. — И вамъ всѣмъ, господа, пора бы убѣдиться вотъ въ чемъ: слѣдуетъ въ наши лѣта, людямъ знанія и таланта, глядѣть на то, что у насъ дѣлается, какъ Ливингстонъ и



есть... Знаете, дружище, вѣдь вы глубокую метафору изволили постронть, быть-можетъ, и не подозрѣвая того...

Они были на „вы“, хотя и учились вмѣстѣ въ гимназій и потомъ въ университетѣ. Такъ пошло еще съ тѣхъ поръ, какъ ихъ раздѣляли два класса.

Ермиловъ покосился на Кустарева и спросилъ съ интонаціей, извѣстной его пріятелю:

— Въ какихъ смыслахъ?

— Да въ такихъ, батенька, что времена настали подлѣйшія. Таракана этого развелось видимо-невидимо, а устриць нѣтъ.

Ермиловъ понялъ намекъ. Маленькая женщина кинула боковой взглядъ на мужа. Она услышала такіе звуки въ его голосѣ, которые ее все больше тревожили. Начнутся разговоры о „тяжелыхъ временахъ“... Ея Меня—неисправимый мечтатель, все еще внутренне надѣется на какой-то „подъемъ духа“. Она давно рѣшила, что „кружокъ“ распадется, что все постарѣли и дотягиваютъ до пенсіи. Но она не любила, чтобы онъ самъ начиналъ говорить объ этомъ.

— Не въ авантажѣ обрѣтаемся?—спросилъ Ермиловъ, намазывая себѣ тартинку.

— Не въ авантажѣ,—повторилъ Кустаревъ и пододвинулъ гостю тарелку съ сыромъ. — Отвѣдайте, Егоръ Петровичъ, какъ на вашъ вкусъ? Это своего изготавленія... на манеръ невшательскаго.

Ермиловъ отрѣзалъ кусокъ, положилъ его на густой слой масла и сталъ медленно разжевывать, прищуривая глаза.

Сыръ былъ, дѣйствительно, „на манеръ“, и похвалить его Ермиловъ затруднился. Онъ сдержалъ гримасу: огорчить пріятеля ему не хотѣлось, да и воспитанность не позволяла.

— Сыръ—товѣ...—сказалъ онъ тономъ, какими обыкновенно дѣлалъ цитаты.

— Откуда это?—спросилъ Кустаревъ.

— Забыли?.. Изъ „Игроковъ“ Гоголя.

— Да, да!.. Точно... Сыръ—товѣ.

Разговоръ повернулъ опять въ ту же сторону. Слишкомъ долго накапливалось въ Кустаревѣ чувство невеселыхъ итоговъ за послѣдніе два-три года. Онъ рѣдко высказывался дома и съ пріятелями, какихъ видѣлъ въ родѣ: что жъ перебирать вслухъ то, что каждый изъ нихъ

знаетъ прекрасно про себя? Да и приходилось говорить слишкомъ горькія истины, жаловаться не на одно то, что „потянуло“ другимъ духомъ, а также и на вялость, если не на малодушіе близкихъ друзей, на отсутствіе стойкости и солидарности.

Ермиловъ явился свѣжимъ человѣкомъ. Съ нимъ можно многое перебрать заново.

Не горячася, безъ фразъ и восклицаній, своимъ нутрянымъ хриповатымъ голосомъ, съ паузами питья чая и закусыванья, Кустаревъ говорилъ больше о томъ, куда „все“ идетъ, чѣмъ о собственной жизни.

— Вотъ Гаря огорчается частенько тѣмъ, что я, видите ли, не у дѣлъ... Честолюбивы женщины, Богъ съ ними... А меня мой немудрый хуторокъ только и поддерживаетъ, душевно... Съ хлѣба на квасъ перебиваемся. Это ничего... Строчи я, каждый день, передовицы въ газету, было бы не въ примѣръ доходнѣе, да мнѣ и разъ-то въ недѣлю въ городѣ жутко бываетъ... все тамъ молчу или односложными звуками отдѣлываюсь.

— А вы тоже въ хозяйство ударились?—спросилъ Ермиловъ, и въ его вопросѣ Маргарита Сергѣевна почувала тайный вопросъ: какъ-то она борется со своимъ материнскимъ горемъ—смертью двоихъ дѣтей, хорошенькихъ мальчиковъ, унесенныхъ дифтеритомъ года два передъ тѣмъ?

— Ну, насчетъ хуторского дѣла мы плохи,—отвѣтилъ за нее мужъ. — Вокругъ дома ничего... У нея все въ исправности... Особенно по части закусокъ и вареній...

Она неопредѣленно усмѣхнулась.

— Мужа занимаетъ хуторъ,—сказала она и начала перебивать чашки.

— Да и здѣсь мы подъ сумнѣньемъ,—выговорилъ Кустаревъ и улыбнулся глазами изъ-подъ навислыхъ бровей. — Герой — Разуваевъ... Онъ царить и въ уѣздѣ... Я для него вредный человѣкъ, рабочихъ съ пути сбиваю, заработки подымаю на цѣлую гривну серебромъ. Эхъ, Егоръ Петровичъ, посмотрю я на васъ—благу вы часть избрали: снимаете пѣнки со сливокъ Европы, сегодня тутъ, завтра тамъ, смѣтрите на все, какъ древній эллинъ-эпикуреецъ!

— Да какъ же иначе? — вырвалось у Ермилова. — И вамъ всѣмъ, господа, пора бы убѣдиться вотъ въ чемъ: слѣдуетъ въ наши лѣта, людямъ знанія и таланта, глядѣть на то, что у насъ дѣлается, какъ Ливингстонъ или

Стяли сморѣли на бытъ африканцевъ: ѣзди, наблюдай, пиши книги, обогащай науку, но души своей не отдавай въ сѣденье.

— Ха-ха!.. Идея хороша... Только не всѣмъ дано въѣстить ее... Не такую закуску получили мы...

„Ну, не особенно занимательно это будетъ,—подумалъ про себя Ермиловъ.— Пойдетъ теперь долгій разговоръ въ „гражданскомъ“ направиіи, родъ безконечной пѣсни „на рѣкахъ вавилонскихъ“, все съ тѣмъ же отсутствіемъ вывода и новизны“...

Горничная показалась въ дверяхъ столовой. Хозяйка взглянула на нее вопросительно.

— Ихъ ямщикъ расчету просить, спрашиваетъ: обратно поѣдутъ, или здѣсь ночевать останутся?

— Ахъ, Боже мой! — вскричалъ гость и шумно поднялся.— Я совсѣмъ забылъ объ этомъ „милостивомъ государѣ“.

— Какъ обратно? Егоръ Петровичъ? Ночевать извольте оставаться!—крикнулъ Кустаревъ.

На ночевку расчитывалъ и Ермиловъ. Но надо было заплатить ямщику. Онъ засуетился, и всѣ трое перешли въ залу.

### III.

— Друзья мои! — Ермиловъ сидѣлъ на диванѣ между обоими хозяевами,—теперь я приступаю къ предмету моей миссіи, о которой писалъ Евменію Филипповичу. Это дѣло тонкаго свойства.

— Вы точно Добчинскій у Хлестакова,—перебилъ Кустаревъ.

Жена его усмѣхнулась. Она уже сидѣла съ работой.

— Именно!.. Глѣзъ идетъ о ребенкѣ, рожденномъ въѣ брака...

— Но совершенно такъ, какъ бы и въ бракѣ,—добавилъ Кустаревъ и громко разсмѣялся.

Его веселое возбужденіе все еще не проходило.

„Ахъ, этотъ Ермиловъ!—подумала Маргарита Сергѣевна и опустила голову надъ вышиваньемъ.— Не можетъ безъ скабрёзностей“.

— Такъ, какъ бы и въ бракѣ,—повторилъ Ермиловъ.

„Какъ это можно,—думала Кустарева,—въ водевильномъ тонѣ говорить о такихъ вещахъ!“

Она уже начала догадываться. Что-то такое она слы-

хала про связь Ермилова съ одной свѣтской женщиной-вдовой. Но когда и гдѣ—она не могла припомнить. Бѣроятно, и Меня знаетъ это. А можетъ-быть и совсѣмъ забылъ; у мужчинъ на такія дѣла память короткая, для нихъ связь съ порядочной женщиной, ребенокъ—все это пустяки, раздѣлывайся за нихъ мать, какъ хочетъ, а они будутъ порхать около другого цвѣтка.

Маргарита Сергѣевна не сдержала брезгливаго движенія своихъ блѣдныхъ и характерно вырѣзанныхъ губъ.

— Слушаемъ васъ, дружище, слушаемъ.

— Я принимаю участіе, — началъ Ермиловъ, сохраняя смѣсь серьезности съ шутливымъ звукомъ голоса, — въ судьбѣ одного ребенка, дѣвочки. Мнѣ поручено теперь перемѣстить ее поближе къ Петербургу. Она временно у одного доктора, моего пріятеля, въ провинціи.

Онъ назвалъ губернской городъ, верстъ за триста отъ Москвы.

Кустарева отняла голову отъ шитья и даже слегка покраснѣла.

Они обмѣнялись значительнымъ взглядомъ съ мужемъ.

— Вотъ оно что! — выговорилъ Кустаревъ и закурилъ новую папиросу.

Во взглядахъ мужа и жены было сочувственное любопытство и еще что-то. Они знали, что Ермиловъ весь свой вѣкъ увлекался женщинами и, кажется, не разъ попадалъ въ разныя, не совсѣмъ пріятныя, исторіи. Но его отличительной чертой была джентльменская скромность, даже съ мужчинами въ пріятельской бесѣдѣ. Никогда онъ не хвасталъ своими побѣдами, никогда не называлъ никакой женщины по имени. Очень рѣдко, если исторія была уже старая и онъ въ ней игралъ роль неудачника, онъ рассказывалъ ее пріятелямъ, да и то въ общихъ чертахъ и никого не называя.

Маргарита Сергѣевна прощала ему многое изъ-за этого свойства, очень рѣдкаго у мужчинъ, какъ выходило по ея наблюденіямъ.

— И вотъ, друзья мои,—продолжалъ уже искреннѣе и проще Ермиловъ,—я остановился на васъ.

— На насъ?— вмѣстѣ спросили Кустаревы.

Изъ рукъ Маргариты Сергѣевны вышиванье упало на колѣни.

— Да, на васъ. Лучшаго выбора я, согласитесь, сдѣлать не могъ, и мать ребенка будетъ вполне счастлива...

— Позвольте, — перебила Кустарева, быстро встала и заходила по комнатѣ, останавливаясь передъ диваномъ, — мать ребенка... не свободна, значить?

Даже такая деликатная женщина, какъ она, не нашла неловкимъ сдѣлать этотъ вопросъ. Женская натура, въ такихъ дѣлахъ, слишкомъ подчинена особаго рода нервности.

— Она не свободна, — выговорилъ Ерниловъ медленно и посмотрѣлъ на нихъ поверхъ своего черепаховаго рипсе-пез.

— Замужемъ? — спросила Маргарита Сергѣевна.

— Гаречка!.. Да не все ли это равно? — перебилъ мужъ почти съ упрекомъ въ голосѣ.

— Совсѣмъ не все равно! — съ живостью возразила Кустарева. — Егоръ Петровичъ дѣлаетъ намъ серьезное, очень серьезное предложеніе. Если мы согласны, надо же намъ знать, съ кѣмъ мы будемъ имѣть дѣло, и для ребенка, и для насъ самихъ.

— Конечно!..

Ерниловъ сдѣлалъ успокоительный жестъ своей бѣлой и широкой ладонью.

— Mais... какъ говорится въ одной веселой пьесѣ, *pre- nous la chose spirituellement*...

— Вамъ все игрушки, Егоръ Петровичъ, а это страшная отвѣтственность.

Маленькая женщина приходила все въ бѣольшую нервность: щеки ея уже горѣли, воспаленные глазки заблистали и быстро мѣняли направленіе взгляда.

— Гаря! — остановилъ ее мужъ. — Что же тутъ такого ужаснаго?.. Ну, положимъ, мать не свободна... Она скрываетъ существованіе этого ребенка...

— До поры, до времени, — добавилъ Ерниловъ и откинулся на спинку дивана.

— Стало-быть, надо поддержать у себя ребенка годъ, много два. Который ей годъ?

— Около двухъ лѣтъ...

— Видишь?! — замѣтила Кустарева мужу. — Это уже начало сознательной жизни.

— Ахъ, матушка! — Кустаревъ тоже всталъ и заходилъ, — оставимъ мы эту педагогику!.. Мнѣ дѣло представляется гораздо проще: кормить мы ребенка будемъ не плохо, возьмемъ толковую няньку. На хуторѣ дѣвочка у насъ



раздобрѣть. А главная статья та — намъ съ ней будетъ веселѣе... Ты тоскуешь.

— Почему же? — слабо защищалась Маргарита Сергѣевна.

— Что жъ скрывать передъ благопріятелемъ! По-нятно, тоскуешь.

— *La maison sans enfants!* — громко произнесъ Ермиловъ.

Онъ очень кстати вставилъ заглавіе, пришедшее ему на память въ тряскомъ тарантасѣ.

— Да, домъ безъ дѣтей, — повторилъ Кустаревъ и смолкъ.

— Прекрасно, прекрасно, — скороговоркой начала Маргарита Сергѣевна, — возмешь дѣвочку, привяжешься къ ней, вдругъ явится мать и увезетъ...

— Это можетъ быть, — сказалъ совсѣмъ серьезно Ермиловъ.

— Что жъ изъ этого?.. — сказалъ Кустаревъ. — Съ тѣмъ ее и отдають... Такъ и мы на нее станемъ смотрѣть... А нельзя матери будетъ взять къ себѣ — тѣмъ лучше. Воспитаемъ, даже коли и свои еще пойдутъ, усыновимъ... Ахъ, Гаречка, Гаречка!.. Резонеръ ты у меня неизлѣчимый!..

Онъ взялъ жену за худенькую талію, повернулъ ее, привлекъ къ себѣ и поцѣловалъ.

Маленькая женщина внезапно просіяла, подбѣжала къ Ермилову, взяла его за руку и начала трясти.

— Ну, если такъ, — спасибо, другъ, что вы къ намъ обратились... У насъ и дѣтская есть, — она подавила нахлынувшія слезы, — и все... Спасибо!

— Слава Тебѣ, Господи! — крикнулъ Кустаревъ. — Выпить, что ли, на радостяхъ... или кантату пропѣть... Гаря! Садись за піанино!

Въ углу зальцы притаилось незамѣтное, въ полутемнотѣ, низенькое піанино!

Кустарева подошла къ нему легкой походкой, какую она имѣла въ рѣдкіе дни молодой радости и надежды на то, что ихъ жизнь еще будетъ согрѣта дѣтской лаской.

— Позвольте! — остановилъ Ермиловъ пріятеля за бортъ его рубашки. — Вѣдь тутъ есть и финансовая сторона дѣла.

— Чтò еще?

— Безъ этого... ни мать, ни я... не можемъ...

— Да какіе же счета!.. Въ нашей-то деревенской жизни, ну чтò можетъ стоить ребенокъ?

— Совершенно опредѣленную сумму: нянька, платье, бѣлье, лѣкарство, игрушки, непредвидѣнные расходы.

— И еще что? Ха-ха-ха!

Но Кустаревъ зналъ Ермилова по части денежныхъ расчетовъ.

„Онъ не уступить. Придется назначить цѣну“.

— Ну, ладно, только нельзя ли завтра утромъ объ этомъ переговорить... А теперь кахетинскаго выъемъ, на сонъ грядущій, и отпразднуемъ это событіе... по-студенчески!..

Ермиловъ всталъ и крѣпко пожалъ руку хозяина.

— Маргарита Сергѣевна! — крикнулъ онъ. — Я вамъ привезъ изъ Парижа ноты пѣсенки „En revenant de la revue“, буланжистская! Вездѣ поютъ до оскомины...

— Вы нѣшто вѣрите въ этого честолобца? — остановилъ его Кустаревъ на пути къ кабинету, гдѣ лежалъ его мѣшокъ.

— По-моему, онъ тупица и комическій персонажъ!.. Въ родѣ французскаго „момента“.

— И я такъ думаю. А пѣсню давайте.

Черезъ нѣсколько минутъ всѣ трое были за пианино, гдѣ горѣли два огарка. Кустарева разбирала голосъ и аккомпанементъ съ суховатымъ, но пріятнымъ туше; мужъ ея помурлыкивалъ, перепутывая ноты. Ермиловъ покрывалъ ихъ обоихъ, выговаривая слова съ умышленною картавостью и дѣлая жесты пѣвца Paulus, прославившаго пѣсенку.

— Gais et contents! — распѣвалъ Ермиловъ, покачиваясь всѣмъ своимъ широкимъ туловищемъ. — Сильнѣй, Маргарита Сергѣевна, сильнѣй, — другой темпъ, это refrain!..

— Дѣйствуй, Гаря, дѣйствуй! Слушайся его! Онъ пропоеетъ по-кафе-шантанному!

— Gais et contents! — разливался Ермиловъ и даже не фальшивилъ, хотя музыки не зналъ, чѣмъ и огорчался иногда, называя это „пробѣломъ“ въ своемъ барскомъ воспитаніи.

Послѣ перваго чтенія — второй куплетъ пошелъ какъ по маслу.

— Gais et contents! — выговаривалъ и Кустаревъ, и трепалъ пріятеля по широкимъ плечамъ.

И дѣйствительно, оба они — и мужъ, и жена — были „веселы и довольны“: оба мечтали теперь, какъ на ихъ хуторкѣ опять раздастся дѣтскій лепетъ, и дѣвочка — на-

вѣрно хорошенькая, какъ всѣ почти дѣти любви—будетъ бѣгать по этимъ комнатамъ, смѣяться, ломать игрушки, болтать всякій малопонятный вздоръ...

— Выпить надо!—крикнулъ Кустаревъ, и сталъ разливать кахетинское.

Они перешли въ столовую, гдѣ стояла уже новая закуска, и просидѣли до поздняго часа.

Оба почувствовали себя студентами, и маленькая женщина вторила имъ, глазки ея искрились; она то и дѣло подливала имъ и радовалась всему: и молодой бесѣдѣ, и близкой минутѣ появленія у нихъ ребенка... хоть и чужого.

Товарищи перебирали годы, близкіе къ выходу изъ университета. Ермиловъ просидѣлъ, по лѣни, два года на одномъ курсѣ, и Кустаревъ почти нагналъ его. Онъ участвовалъ и въ выходной пирушкѣ того курса, съ которымъ кончилъ Ермиловъ. Парижанинъ и сластолюбецъ исчезъ, за этимъ столомъ, въ гостѣ Кустаревыхъ. Съ дѣтскою возбужденностью перебиралъ онъ разные эпизоды пирушки въ Сокольникахъ, около шестой просѣки, на травѣ. И тогда пили кахетинское, подешевле и покислѣе. Вспомнили они, какъ одинъ изъ новыхъ кандидатовъ, перешедшій изъ Казани, заставлялъ ихъ пѣть мѣстный куплетъ о какомъ-то студентѣ Новокшеновѣ, и всѣ они—ужъ совсѣмъ „готовые“—кричали хоромъ:

Новокшеновъ, Павелъ,  
Жженку заварилъ,  
Тѣмъ себя прославилъ,  
Удовлетворилъ...

...Черезъ часъ на кушеткѣ кабинета Ермиловъ засыпалъ съ пылающими щеками... Сквозь стѣнку до него доходилъ шопотъ разговора Кустаревыхъ, быстрый и согласный.

#### IV.

— Тараканъ есть! — повторялъ Ермиловъ, черезъ два дня, осматривая близорукими глазами обои номера, отведеннаго ему въ почтовой гостиницѣ губернскаго города.

Онъ переодѣвался съ дороги и, ходя по просторной, неопрятно угрюмой комнатѣ, думалъ о томъ, какъ вся комбинація съ Лилей, съ дѣвочкой, за которой онъ пріѣхалъ сюда, хорошо уладилась.

Имя „Лилия“ не особенно трогало его. Въ немъ не про-

будился еще родительскій инстинктъ. Не то чтобы онъ бездушно смотрѣлъ на судьбу ребенка,—нѣтъ. Ему было даже непріятно, что мать не позволила ему матеріально заботиться о дѣвочкѣ, на чемъ онъ довольно долго и сильно настаивалъ... У матери есть свое состояніе... Она, въ самомъ дѣлѣ, богаче его: онъ живетъ не на ренту, а на заработокъ... Но все-таки ему это было непріятно.

Связь, въ видѣ этого ребенка, затянулась не къ особенной его радости; а между тѣмъ любви уже не было... Больше года прошло, какъ мать Лили снова замужемъ, и вышла она по страсти, что не очень лестно для него,—вышла вдовой слишкомъ тридцати лѣтъ за молодого „адвоката“ съ наружностью и головой артельщика. Она скрываетъ отъ него ребенка, въ надеждѣ сдѣлать признаніе въ удобный моментъ, и тогда—взять дочь къ себѣ и узаконить. Въ первые мѣсяцы дѣвочку держали у акушерки въ Москвѣ; потомъ Ермиловъ предложилъ отвести ее къ доктору Невзорову, своему пріятелю, на большее приволье провинціи. Но онъ дѣлалъ все это какъ ея довѣренное лицо. Она знала, что онъ не злоупотребитъ ея довѣріемъ, не украдетъ у нея дочери, не скроетъ ее.

Ни на что подобное онъ неспособенъ; да и охоты у него нѣтъ.

Дѣвочка воспитается у хорошихъ людей, а потомъ перейдетъ къ родной матери. Можно было бы сдѣлать это и теперь; да матери мѣшаетъ ея сентиментальность. Она, видите ли, преклоняется передъ своимъ вторымъ супругомъ, „обсахариваетъ его“,—брезгливо досказалъ про себя Ермиловъ,—хочетъ еще порисоваться передъ нимъ, увѣряетъ, поди, что онъ одинъ вызвалъ въ ней „истинное чувство“.

„Всѣ на одну стать!“—подумалъ Егоръ Петровичъ, и отъ напѣванья чего-то перешелъ къ посвистыванью.

Но онъ не могъ извить женщинѣ подолгу. Онъ дѣлалъ это иногда изъ одной потребности обобщать и находить остроумныя опредѣленія. Женщина, какова бы она ни была, только не уродъ,—обезоруживала его. Гораздо лучше было бы совсѣмъ не думать объ этой, уже выдохшейся и фактически не существующей связи. И въ ту зиму, когда они сошлись, съ его стороны не было особеннаго увлеченія. Онъ не охотникъ до такихъ большихъ лирически-слащавыхъ въ любви женщинъ, у которыхъ нѣтъ

настоящаго темперамента, а только подобіе его. А потомъ начинаются допросы, сомнѣнья, да охи, да ахи...

Хорошо еще, что подвернулся „адвокатикъ“, вѣ-время разузнавшій, что у вдовы хорошее состояніе.

Строгаго же вопроса: почему онъ самъ не женился на ней, когда она готовилась быть матерью, Ермиловъ не задавалъ себѣ. Настаивай она—онъ, быть-можетъ, и женился бы. Но тогда вдова дорожила своей свободой и держалась очень даже смѣлыхъ взглядовъ на любовь и супружескій долгъ. Онъ зналъ, что у нея и при первомъ мужѣ были интриги,—разумѣется, зналъ не отъ нея самой,—а къ „адвокатику“ она „воспылала“. Ей тридцать шесть, ему на девять лѣтъ меньше; страсть женщины въ извѣстномъ періодѣ.

Все это не мѣшало Егору Петровичу оставаться съ ней въ милыхъ, товарищескихъ отношеніяхъ. Черезъ него происходили помѣщенія дѣвочки у „хорошихъ людей“; онъ возилъ мать къ дочери сюда, въ городъ; онъ же поможетъ ей теперь видаться со своимъ ребенкомъ чаще, ѣздить въ Мѡскву подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ изъ Петербурга, гдѣ ея мужъ основался...

Коридорный отворилъ дверь и доложилъ Ермилову, что извозчикъ готовъ.

На дворѣ стоялъ октябрьскій, сухой и ясный день, съ легкимъ морозцемъ,—но снѣгу еще не было.

Ермиловъ вышелъ на крыльцо гостиницы съ навѣсомъ. Передъ нимъ тянулся городской садъ, съ запущеннымъ прудомъ; еще желтѣли остатки листьевъ. Въ воздухѣ пахло осенью, овощами, яблоками...

Извозчикъ въ коричневомъ кафтанѣ, съ толстымъ наваченнымъ сидѣньемъ, подѣхалъ на широкихъ пролеткахъ съ красной обивкой. Лошадь, толстозадая и грудастая, выкидывала красиво ноги.

— Доктора Певзорова знаешь домъ?

— Никифора Иваныча?.. Помилуйте.

Извозчикъ повелъ на особый ладъ головой въ картузѣ, слѣва вправо, и перебралъ голубыми новыми вожжами. Пролетка затрещала по булыжникамъ неровной мостовой.

Не впервые ѣхалъ Ермиловъ по этой самой дорогѣ отъ гостиницы, вдоль пруда, по Дворянской улицѣ, мимо гимназіи, все немного въ гору, по улицѣ, гдѣ стояли уѣздное училище и архіерейскій домъ, въ глубинѣ обширнаго

сада, за длиннымъ деревяннымъ заборомъ съ облѣзлой бурой окраской.

Ничего новаго не могъ онъ отыѣтить на этотъ разъ: все застыло на своихъ мѣстахъ: дома съ мезонинами, дома безъ мезониновъ, три-четыре вывѣски, керосиновые фонари съ обрывками афишъ, тротуары изъ кирпичей съ горбылями, лавочка на углу, съ кусками арбуза на лоткѣ и лукошномъ съ лиловой и желтой рѣпой. Имъ не попалось ни одного экипажа. Посрединѣ улицы, гдѣ архіерейскій домъ, мужикъ-угольщикъ, весь черный, въ шапкѣ грешникомъ, кричалъ глухо и музыкально:

— Угѡлья, угѡлья, угѡлья!

...И вотъ, этотъ умный, и даже тонко умный и развитой Невзоровъ мирится съ жизнью въ такой „дырѣ“, — даже въ Москву его не вытянешь. Въ пять лѣтъ пріѣзжалъ всего разъ, да и то потому, что не понадѣлся на собственную діагнозу, захотѣлъ взять консультацію одного тамошняго спеціалиста, когда у него показались признаки какой-то сложной болѣзни кровеносныхъ сосудовъ. Съ тѣхъ поръ онъ больше и не жалуется на нее.

„...И во что живетъ Невзоровъ? — спрашивалъ себя Егоръ Петровичъ, покачиваясь на пролеткѣ. — Въ деньги?.. Онъ не жадевъ. Любитъ недорогой комфортъ, построилъ себѣ домикъ, наполовину въ кредитъ, и теперь зарабатываетъ его... Въ науку? У него были стремленія къ профессурѣ, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ старшій врачъ въ городской больницѣ и первый практикантъ въ городѣ, ему нечего о ней думать, а къ медицинѣ, къ терапіи онъ всегда относился скептически... Въ тщеславіе, въ играніе роли? Характеръ у него для этого совсѣмъ не подходящий, онъ не честолюбивъ, тяготится обществомъ дамъ и свѣтскихъ людей. Поѣсть любитъ, это вѣрно, даже ватаръ развелъ въ себѣ, по вечерамъ немного почитаетъ — листокъ газеты, номеръ медицинскаго журнала, да и на боковую...“

„Провинція засосетъ и его“, — сказалъ про себя Ермиловъ, и тутъ только подумалъ о томъ, какъ сложилась семейная жизнь доктора: дѣтей у него нѣтъ, жена умная женщина изъ самоучекъ, съ ней онъ живетъ хорошо, но жизнь эта — строгая, молчаливая, съ очень рѣдкими проблесками задушевности. До сихъ поръ Ермиловъ не зналъ за нимъ никакой охоты до женщинъ, внѣ дома.

Онъ вспомнилъ, когда пролетка повернула въ боковую,

наполовину немощеную, улицу, какъ обрадовались Невзоровъ съ женой дѣвочкѣ, хотя она была еще грудная; стало, въ домѣ чувствовался пробѣлъ, какъ и у Кустаревыхъ. И онъ, и она принялись отыскивать кормилицу, перепробовали съ дюжину, и отдали подъ дѣтскую прекрасную, свѣтлую комнату, придумывали разные гигиеническія приспособленія.

Это воспоминаніе проскользнуло въ головѣ Ермилова, но не смутило его. Онъ только подумалъ:

„Какъ ни придирайся къ любезному отечеству, а добрыхъ людей водится во всѣхъ губерніяхъ“...

Извозчикъ остановилъ свою сѣрую въ яблокахъ лошадь около калитки заборчика въ русскомъ вкусѣ.

— Вонъ и Никифоръ Иванычъ сами идутъ, — указалъ онъ рукой.

— Никифоръ Иванычъ!

Ермиловъ устремился черезъ калитку по доскамъ и передъ высокимъ крыльцомъ сѣраго двухъэтажнаго дома обнялъ доктора.

Невзоровъ былъ почти на цѣлую голову выше его. Сильно сѣдѣющая длинная борода, вьющіеся бѣлокурые волосы изъ-подъ мягкой шляпы, лицо — умнаго старосты или сельскаго священника, обдали его опять чѣмъ-то серьезнымъ и самобытнымъ, передъ чѣмъ онъ всегда чувствовалъ особаго рода почтеніе.

— Здорово, Егоръ Петровичъ, — вотъ это ловко!

У доктора были свои слова, и онъ говорилъ маленькими фразами, низкимъ голосомъ.

Они обнялись тутъ же.

— Вы на практику? Идите.

— Подождутъ... Посижу.

Онъ взбѣжалъ на четыре ступени крыльца безъ навѣса и сильно позвонилъ.

Домъ, съ своей окраской и узорчатыми обшивками оконъ, просторный дворъ, палисадникъ, чистыя службы, чудесный бѣлый пестъ-овчарка, который узналъ Ермилова и ласкался къ нему, дышали правильною и здоровою жизнью. Отецъ Лили чувствовалъ, какъ дѣвочкѣ тутъ хорошо.

Отворила дверь Оеня, дѣвушка, взятая изъ деревни по сочувствію къ ея хворости, въ опрятномъ сарафанѣ, старательно причесанная, съ худощавымъ, пріятнымъ лицомъ.

— Ахъ, баринъ!—тихо вскрикнула она при видѣ гостя и покраснѣла.

— А Лиля? Здорова?—спросилъ Ермиловъ вполголоса, пока дѣвушка силилась стащить съ него пестрое лондонское пальто.

— Зубки дѣлала, — отвѣтилъ Невзоровъ. — Куксила... Теперь молодцомъ.

Въ передней было свѣтло и пахло прохладнымъ запахомъ мяты. Стѣны съ веселыми обоями, отдѣлка обширнаго кабинета съ дубовою мебелью, прямо широкая лѣстница наверхъ — показывали, съ какой заботой о гигиенѣ и умномъ удобствѣ строилъ докторъ свой домикъ, гдѣ внизу онъ принималъ, а наверху были жилыя комнаты, такія же просторныя, чистыя и удобно расположенныя.

— Она наверху?—спрашивалъ гость вполголоса, испытывая неожиданное волненіе.

Они поднимались по лѣстницѣ.

— Барышня въ дѣтской, — доложила горничная. — А Павла Петровна чай кушаютъ, въ столовой.

Прислуга догадывалась — чья дочь Лиля. Знали это и Невзоровы, но никогда не дѣлали никакихъ намековъ самому Ермилову. О дѣвочкѣ говорилось какъ о дочери какой-то барыни, поручившей Егору Петровичу позаботиться о ея судьбѣ. Такъ было удобно и для нихъ, и для Ермилова.

Волненіе его не унялось наверху, на площадкѣ, откуда одна дверь вела въ столовую, другая въ дѣтскую.

— Лиля, а Лиля!—протяжно окликнулъ Невзоровъ еще съ площадки.—Гляди, кто пришелъ! Узнай-ка!

Они оба разомъ вошли въ дѣтскую, продолговатую, въ три окна. Крашеный полъ былъ навощенъ и лоснился отъ свѣта, смягченнаго опущенными кисейными занавѣсками. Мебели было умышленно мало, и она стояла вдоль стѣнъ. Кровать, металлическая, заграничная, изъ сѣтки, ютилась въ правомъ углу.

Посрединѣ комнаты, на коврикѣ, сидѣла дѣвочка, и надъ ней, на скамеечкѣ,—кормилица, еще сохранившая свой нарядъ.

Дѣвочка первая вскинула на вошедшаго гостя своими длинными рѣсницами. Глаза она наслѣдовала отъ матери,—Ермиловъ узнавалъ это сильнѣе прежняго, — круглые, съ широкимъ вырѣзомъ, синеватые, степенные и пристальные, очень красивые. Эти глаза и вызвали когда-то уси-



ленное ухаживаніе Ермилова за ея матерью. Пепельные волосики лежали на лбу густой, подстриженной чолкой и дѣлали ее похожей на мальчика. Тонкость линіи носа, овалъ лица, манера складывать губки обличали барское дитя. Отцу показалось, когда онъ нагнулся къ дѣвочкѣ, что ноздри у нея его, а также и очертаніе черепа у висковъ.

Это ударило его въ краску.

Про себя онъ успѣлъ выговорить по-французски: „Se-rais je un père de famille manqué?“

— Лиля!.. Дядю узнала, небось?—спросилъ Невзоровъ, наклоняя къ ней свое длинное туловище.

— Здоровы ли, батюшка? — выговорила на „онъ“ кормилка, немного рябоватая и кроткая баба.

По лицу ея прошла чуть уловимая усмѣшка, говорившая: „и я тоже смекаю, кто Лилечка“.

— Говорить?—спросилъ Ермиловъ.

— Все говорить.

— И какъ еще!.. — подхватилъ возбужденно Невзоровъ.— По дѣлымъ днямъ разливается, только при чужихъ мы дики.

Слово „чужой“, сорвавшееся у него съ губъ, задѣло Ермилова больнѣе, чѣмъ онъ самъ ожидалъ.

Дѣвочка почти сурово оглядывала его и молчала. Она его не узнавала, и онъ ей не понравился; это поняли и кормилица, и Невзоровъ.

— Какъ меня зовутъ? — спросилъ Ермиловъ и почувствовалъ, что вопросъ его прозвучалъ глупо.

— Дядя!—подказала кормилка.

— Дядя!—повторилъ Невзоровъ. — Дики мы... на первыхъ порахъ!.. Дайте срокъ, за обѣдомъ какъ подружитесь.

„Онъ утѣшаетъ меня“,—подумалъ Ермиловъ, овладѣвъ собою, взялъ дѣвочку на руки, расцѣловалъ, потомъ пощекоталъ ее подъ пухленькимъ подбородкомъ и понесъ на рукахъ въ столовую.

Павла Петровна выбѣжала къ дверямъ, въ блузѣ, довольно нарядной, и крикнула:

— Егоръ Петровичъ! Вотъ сюрпризъ!

Она его немного стѣснялась, какъ „аристократа“ и „франта“, хотя Ермиловъ бывалъ съ ней ласково вѣжливъ, съ такимъ же оттѣнкомъ почтенія, какъ и къ ея мужу. Она похудѣла, зубы потемнѣли отъ куренья, лицо сохранило остатки красоты блондинки подъ-сорокъ.

Усадили его за чайный столъ, и начались угощеніе, разспросы—сдержанные, но искренніе; улыбка заиграла на лицахъ мужа и жены: и къ нимъ этотъ „парижанинъ“ привозилъ воздухъ Европы, шутку, блескъ, начитанность, неистощимую легкость жизни и милыхъ слабостей.

Покушать они оба любили—и на столъ сейчасъ же появилась разнообразная ѣда, начиная со свѣжей икры, на которую Ермиловъ началъ съ особенной охотой.

Сценарій его визита выходилъ повтореніемъ того, что было на хуторѣ, у Кустаревыхъ: сначала веселая бесѣда за чаемъ, а потомъ выполненіе „миссіи“ въ гостиной. За чаемъ Егоръ Петровичъ сталъ разливаться въ разсказахъ и остротахъ, и не очень огорчился тѣмъ, что Лилія спознала съ его колѣнь и убѣжала въ дѣтскую. Узналъ онъ и про то, какъ она лѣтомъ болѣла коклюшемъ; была рѣчь о томъ, что Невзоровъ пристрастился къ стуколкѣ и ѣздилъ каждый вечеръ въ клубъ по маленькой; далъ онъ и обстоятельныя свѣдѣнія Павлѣ Петровнѣ о томъ, гдѣ покупалъ свои фулировыя платки, когда она его объ этомъ спросила.

Будь онъ менѣе оживленъ болтовней съ этой четой „хорошихъ“ людей, онъ бы навѣрно замѣтилъ, какимъ тономъ говорятъ про его Лилію Невзоровы... Такой тонъ складывается только у отца съ матерью. Дѣвочка была ихъ „чадомъ“; съ нею они надѣялись скоротать свой вѣкъ.

Но Егоръ Петровичъ пропустилъ это мимо ушей и сидѣлъ безъ рінсе-пез: выраженіе ихъ лицъ также ускользало отъ него.

Въ гостиной или, лучше, въ кабинетѣ Павлы Петровны, такой же свѣтлой и опрятной, какъ и всѣ остальные комнаты, Ермиловъ сѣлъ на диванъ и точно такимъ голосомъ, какъ у Кустаревыхъ, началъ:

— А теперь, друзья мои, позвольте вамъ сообщить про мою миссію...

Когда онъ сказалъ, что пріѣхалъ за Лилей, Невзоровъ вскочилъ и весь выпрямился, а потомъ схватился за бороду. Павла Петровна позеленѣла, глаза замигали, и она неудержимо заплакала.

Вышла тяжелая пауза. Ермиловъ протиралъ рінсе-пез и опустил голову сидѣлъ, подавленный и изумленный.

— Егоръ Петровичъ... Это —товѣ!.. Ударъ!.. — выговорилъ первый Невзоровъ, и въ углахъ его крупнаго рта стало подергивать.

Онъ самъ еле-эле сдерживалъ слезы.

— Вы не сдѣлаете этого!.. Не сдѣлаете!..—запелетала Павла Петровна, и въ сильномъ волненіи выбѣжала изъ комнаты.

Черезъ минуту въ дѣтской раздались чуть не вопли. Плакала барыня, ревѣла кормилица, всхлипывала горничная, и всѣ три женщины окружили Лилу, сидѣвшую на диванчикѣ, цѣловали ей руки, голову, ноги и жались къ ней, какъ три испуганныхъ насѣдки.

„Вотъ оно что!“ — вскричалъ мысленно Ермиловъ и всталъ.

— Никифоръ Ивановичъ... Я не ожидалъ! Я вижу—это большое горе.

— Еще бы!

Больше докторъ ничего не сказалъ.

„Ну, пускай мать сама расхлебываетъ это, а я не могу и не хочу отнимать у нихъ ребенка“, — подумалъ онъ про себя.

— Павла Петровна! Павла Петровна!—крикнулъ онъ и побѣжалъ въ дѣтскую успокаивать женщинъ.

Оттуда все еще раздавались рыданья и всхлипыванья... Докторъ двинулся вслѣдъ за Ермиловымъ и на ходу успѣлъ повторить:

— Ну, вотъ славно!.. Ну, вотъ славно!

## V.

По узенькой лѣстницѣ, спускавшейся съ потолка, точно въ трапъ, всходилъ съ трудомъ Ермиловъ раннимъ вечеромъ того же дня.

Онъ вспомнилъ, у себя въ гостиницѣ, что тутъ въ городѣ—родственникъ Кустарева, по матери, Семенъ Александровичъ Бахтуринъ, холостякъ лѣтъ подъ восемьдесятъ, изъ пострадавшихъ въ двадцать пятомъ году. Послѣ „неудачной мисси“ въ домъ доктора, Ермиловъ захотѣлъ разсѣяться немного бесѣдой со старикомъ, „весьма занятымъ“, по опредѣленію Кустарева, который просилъ навѣстить его.

Ермилову свѣтилъ кто-то сверху, изъ мезонина, куда надо было проникать съ темной площадки заднихъ сѣней деревяннаго домика, стоявшаго почти на выѣздѣ, около какой-то „Звѣдиной Дамбы“.

— Осторожнѣе, осторожнѣе! Головой какъ бы не стукнуться.

Голосъ хозяина доносился книзу—высокій и мягкій, совсѣмъ еще не старческій. Наверху, когда Ермиловъ ступилъ лѣвой ногой на полъ первой комнаты мезонина, передъ нимъ стоялъ человѣкъ небольшого роста, въ шелковомъ халатикѣ, съ свѣжимъ, круглымъ лицомъ, сѣдой какъ луна, хорошо выбритый и съ ожерельемъ сѣдыхъ волосъ подъ подбородкомъ.

Бахтуринъ былъ предупрежденъ о его визитѣ и прислалъ ему сказать, что онъ проситъ къ себѣ, на чашку чаю, къ семи часамъ... Послѣ обѣда онъ спалъ.

— Добро пожаловать!.. А вотъ мы сейчасъ и запремъ западню, чтобы снизу намъ не мѣшали съ самоваромъ.

Старикъ поставилъ свѣчу на стулъ, и когда Ермиловъ посторонился, ловко и быстро спустилъ на отверстіе лѣстницы довольно большую квадратную крышку изъ нѣсколькихъ досокъ, какія въ старинныхъ домахъ употребляли для погребницъ.

Ермиловъ оглянулъ комнатку. Въ ней вездѣ лежали цѣлые тюки книгъ, стояли два-три старыхъ кресла николаевскихъ фасоновъ; въ углу блестѣла своей позолотой огромная расписная чашка крестьянской работы, съ анисовыми яблоками, наполнявшими весь мезонинъ пріятной прохладой.

— Милости прошу! Въ мою келью!

Старичокъ ввелъ его въ свой кабинетъ, служившій ему и спальней, — низкій и помѣстительный, въ два окна на улицу, въ одной половинѣ заставленный шкапомъ съ книгами и письменнымъ столомъ. Правый уголъ занимала узкая, вся бѣлая кровать и умывальный столикъ. По свободнымъ стѣнамъ, на пестрой изразцовой печкѣ, въ нишѣ, въ простѣнкахъ оконъ висѣли портреты, гравюры, статуэтки и нѣсколько образовъ безъ ризъ, новой иконописной работы съ золотымъ фономъ.

И въ этой комнатѣ пахло яблоками. Она мягко освѣщалась низенькой лампой съ зеленымъ стекляннымъ колпакомъ.

— Вотъ сюда!.. Въ креслице!.. Прощу покорно.

Давно Ермиловъ не слышалъ этого стариковскаго учтивого тона. Онъ чрезвычайно цѣнилъ вѣжливость и ставилъ ее среди высшихъ добродѣтелей. Съ мало-знакомыми онъ самъ старался держаться того же оттѣнка въ обхожденіи, за что многіе и называли его „баричемъ“, или

„аристократомъ“, или „хлыщомъ“, смотря по тому, кто отдѣлывалъ его за глаза.

— Душевно радъ... Много наслышанъ и отъ Евменія, и вообще...

Бахтуринъ короткими шагами обогнулъ письменный столъ и, прежде чѣмъ сѣсть въ соломенное кресло, нагнулся къ Ермилову и тихо, почти шопотомъ, спросилъ:

— Имя, отчество?.. На карточкѣ, безъ очковъ, не разобралъ.

— Егоръ Петровичъ.

— Не угодно ли курить, Егоръ Петровичъ? Самъ—изъ раскольниковъ.

— И я также, Семенъ Александровичъ.

— Вотъ это похвально, и рѣдкое исключеніе въ наше время.

Ничего смѣшного и старчески чуднаго не замѣтно было въ разговорѣ и манерахъ этого остатка исторической эпохи. Кустаревъ говорилъ ему не разъ про дядю своей матери, его умственную свѣжесть, начитанность, про то, что онъ двадцать лѣтъ пишетъ сочиненіе по философіи исторіи, или что-то въ этомъ родѣ, которое никому не читаетъ; что онъ собиратель рукописей, гравюръ, книгъ изъ первой четверти вѣка, и старинныхъ, и дорогихъ новыхъ переплетовъ... И самъ онъ, когда руки еще не ослабѣли, занимался переплетнымъ дѣломъ и многимъ дарилъ свои издѣлія.

Эта специальная охота старика заставила Ермилова отыскать его съ особеннымъ любопытствомъ: онъ самъ, съ нѣкоторыхъ лѣтъ, увлекался модой на художественные переплеты, въ старыхъ стиляхъ, собирался—когда удосужится—брать уроки у одного швейцарца, въ Моховой, перваго „gaînier“, извѣстнаго въ кружкахъ охотниковъ до этого новѣйшаго спорта.

Съ коллекціей старика и повелъ Ермиловъ съ нимъ разговоръ. Бахтуринъ былъ тронутъ такимъ вниманіемъ и, безъ хвастливости, сталъ рассказывать гостю: что у него есть рѣдкаго и систематически собраннаго и за какіе года. Всего богаче былъ онъ документами всякаго рода за періодъ съ 1812 по 1825 годъ.

Ермиловъ, какъ всегда въ этихъ случаяхъ, впалъ въ возбужденное состояніе европейца, парижанина, почувствовавъ себя не на „Звѣздиной Дамбѣ“, отъ которой пахло плѣсенью пруда, когда онъ подѣвжалъ къ дому Бахту-

рина, а гдѣ-нибудь въ антресоли антиквара или ученаго собирателя въ „rue des Martyrs“ или на набережной Сены.

Онъ закидывалъ Бахтурина вопросами. Старикъ былъ очень скромнѣе, говорилъ про свою библіотеку и коллекціи какъ о добрѣ, собранномъ на „мѣдные деньги“, больше любовью къ дѣлу, чѣмъ ученостью или крупными издержками. Книги у него далеко не въ порядкѣ, не разобраны еще „по статьямъ“, внизу занимаютъ двѣ большіе „парадныхъ комнаты“; зимой онѣ заколочены и топятся только изъ другихъ комнатъ. Многое стоитъ и въ ящикахъ на сухомъ чердакѣ.

Наверху, гдѣ они посидѣли съ нимъ, Бахтуринъ показавъ гостю одинъ рѣдкій „эльзевиръ“, переплеты изъ телячьей кожи и изъ прекраснаго сафьяна, досталъ съ полки двѣ-три книги по масонству, въ томъ числѣ полный и въ отличномъ порядкѣ „Магазинъ свободныхъ каменщиковъ“ и рукописную книгу изъ сочиненій „Іоанна Массона“, переписанную рукой извѣстнаго московскаго ревнителя масонства, сенатора Лопухина. И знаковъ разныхъ ложъ нашлось у него достаточно. Нѣкоторые висѣли тутъ же на цѣстныхъ картонахъ собственной работы.

— А что же значать эти образа?—спросилъ Ермиловъ, остановившись противъ одной небольшой иконы, совсѣмъ новой, съ изображеніемъ, на позолоченномъ фонѣ, византійскаго пошиба, русскаго угодника, въ ростъ, одного изъ великихъ князей суздальскихъ.

Онъ уже зналъ отъ Кустарева, что Бахтуринъ—свободомыслящій человекъ, и вопросъ былъ кстати.

— Да, полегоньку собираю... Видите, здѣсь давно водилось иконописанье, съ этой вотъ матовой позолотой. Изъ мужичковъ есть очень изрядные богомазы... Захотѣлось мнѣ составить небольшую коллекцію—по годамъ. Кому-нибудь пригодится... Угодникъ-то вышелъ, право, не плохо, въ хорошемъ стилѣ, и цѣна всего три рубля на заказъ.

Старичокъ рѣшительно плѣнялъ Ермилова своимъ отношеніемъ ко всѣмъ видамъ искусства и мастерства.

Въ старыхъ людяхъ было гораздо больше того, что онъ считалъ признакомъ высшаго развитія: изучать что-нибудь подробно, собирать, отыскивать тонкости, пристращаться къ деталямъ, къ рѣдкимъ остаткамъ эпохи — и такъ же обращаться съ писателями, чего онъ совсѣмъ не видѣлъ

въ литературныхъ кружкахъ столицъ, да очень мало и между учеными.

А вотъ этакой древній обломокъ двадцатыхъ годовъ, въ провинціальной глуши, изо-дня-въ-день собираетъ, изучаетъ, изоощряетъ свой вкусъ и пониманіе.

И въ себѣ самомъ онъ чувствовалъ жилку собирателя и даже „эрудита“, но полосами, безъ выдержки, со скачками отъ одного вида охоты и забавы къ другому.

„Дилетантишка я!“ — выбрались себя Ермиловъ и забылъ, что очень часто, въ спорахъ, считалъ себя настоящимъ знатокомъ искусства и литературы, особенно нѣкоторыхъ авторовъ и эпохъ.

Бахтуринъ продолжалъ говорить ему про мѣстные задатки изящнаго мастерства въ народѣ. Деревянные подѣлки интересовали его также. Онъ указалъ рукой гостю черезъ дверь на огромную чашку въ первой комнатѣ, расписанную и позолоченную, съ вычурнымъ рисункомъ и славянскою вязью на широкомъ ободѣ.

— Признаюсь, до этого я не большой охотникъ, — выговорилъ мягко Ермиловъ, надѣвая *ripse-peze*. — Народничанью не подверженъ.

— Да и я не тѣхъ взглядовъ, что мой родственникъ Евменій Филипповичъ, — сказалъ Бахтуринъ съ тонкой усмѣшкой. — Это только курьезно. Когда-нибудь будутъ и по-другому работать. Даровитость есть.

Гостю ужасно хотѣлось справиться, который же годъ этому старцу, если онъ могъ „пострадать“ въ числѣ другихъ декабристовъ?

— Семенъ Александровичъ, — не выдержалъ онъ и наклонился черезъ столъ къ Бахтуру, — вы меня поражаете вашею необычайною свѣжестью. Какой же вамъ пошелъ годокъ? Извините за нескромность.

— Какая же нескромность, дорогой мой? Я не скрываю... Въ „Архивѣ“ и въ „Старинѣ“ просили меня опубликовать кое-какія воспоминанія... еще изъ дѣтскихъ и отроческихъ лѣтъ.

Надо было признаться, что этихъ вещей гость не читалъ.

— Съ особеннымъ удовольствіемъ прочту. Я все былъ въ разъѣздахъ, — оправдался Ермиловъ.

— Позвольте поднести вамъ оттиски, редація прислала мнѣ недавно изъ Петербурга, да и тѣхъ, кажется, изъ „Архива“, осталось штукъ пять-шесть.

Онъ-было засуетился доставать оттиски; Ермиловъ упротилъ его оставить это до минуты прощанья.

— Вы, стало, были очень молоды, Семенъ Александровичъ, когда разразилась гроза?

— Мальчикъ совсѣмъ былъ... Тогда вѣдь мы рано жить начинали... Только что меня произвели въ первый чинъ... По семнадцатому году... Въ конно-егерскомъ полку я служилъ... И состоялъ по „южному“ обществу.

— Домашняго воспитанія?

— Домашняго... гувернеры... швейцарецъ, французъ-эмигрантъ... извѣстно, по тогдашнему обычаю... Читать-то начинали такія книжки, какъ „Кандидъ“ Вольтера, по десятому году, „Эмиля“ Руссо прочелъ я въ подлинникъ двѣнадцати лѣтъ отъ роду...

Глазки старика, узкіе и слезливые, заискрились.

Гостю онъ все больше и больше нравился.

— И пострадали вы, Семенъ Александровичъ, по девятнадцатому году?

— Какъ разъ осьмнадцать лѣтъ мнѣ минуло, когда я былъ арестованъ... позднѣе, въ февралѣ двадцать шестого года. Полкъ нашъ стоялъ въ Сумахъ...

„А все-таки старецъ не говоритъ, сколько ему именно лѣтъ“, — шутливо подумалъ Ермиловъ, и самъ сообразилъ, что ему семьдесятъ восемь.

Возрастъ — возможный и считается очень большимъ только у русскихъ. Недавно, въ маѣ того же года, видалъ онъ каждый день императора Вильгельма въ Эмсѣ. Ему стукнуло уже восемьдесятъ восемь лѣтъ. А онъ ходилъ безъ палки, сидѣлъ въ театрѣ, слушалъ доклады, отправился потомъ въ Гаштейнъ.

Другой старикъ, разъ его вы поставили на зарубку воспоминаній, началъ бы безконечную болтовню, съ отступленіями и эпизодами; но Бахтуринъ не впалъ въ старческое словообиліе. Ермиловъ задалъ ему еще нѣсколько вопросовъ по части его собранія рукописей, все изъ той же эпохи.

Въ полу, подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ они сидѣли, постукали снизу.

— Сигналь! — смѣшливо назвалъ Бахтуринъ. — Это насъ чай зовутъ пить... Ужъ извините... побезпокою васъ... Такая привычка у самовара чайничать, а сюда носить неудобно.



Онъ пригласилъ гостя къ трапу, заперъ за собою дверку на крючокъ и поднялъ крышку отверстія.

Во всѣхъ этихъ пріемахъ и въ самой этой лѣсенкѣ Ермиловъ распозналъ привычку — долгіе годы жить съ предосторожностями.

Старикъ посвѣтилъ ему, самъ спустился и ловко, еще сильной рукой, захлопнулъ за собою трапъ.

Внизу ихъ встрѣтилъ человекъ, сѣдой, бритый, опрятно одѣтый, сутуловатый, немногимъ моложе барина, инородецъ, пріѣхавшій съ нимъ изъ Сибири. Въ столовой, теплой комнатѣ съ бѣлыми обоями и висячей лампой, за сажоваромъ сидѣлъ мальчикъ-подростокъ, брюнетъ, въ темной блузѣ гимназиста.

— Мой воспитанникъ, — представилъ его гостю Бахтуринъ.

Женскаго пола въ домѣ не было; старикъ не любилъ этого, и даже кухарка рѣдко показывалась на глаза барину: заказывалъ онъ кушанья черезъ лакея и всегда на цѣлую недѣлю, по бумажкѣ.

Чай былъ сервированъ опрятно, съ баранками и вареньями, очень крѣпкій, по вкусу хозяина. Стоялъ и пузатенькій, старинный графинчикъ съ ромомъ изъ граневого хрусталя.

— Классикъ! Изнываетъ надъ греками и латынью!

Бахтуринъ прикоснулся рукой до плеча мальчика и поглядѣлъ на гостя.

— Вы развѣ противникъ? — спросилъ Ермиловъ, считавшій этотъ споръ ненужнымъ и стоявшій за общеевропейскую выучку.

— Надо и классиковъ знать, да только очень ужъ ихъ муштруютъ. Вотъ Павлушѣ моему семнадцатый пошелъ въ августъ, а вѣдь онъ у меня мальчуганъ... ничего не читалъ, потому что некогда; мы же въ его лѣта, сами извольте знать, не токмо что въ обществѣ молодыми людьми роль играли, да и дѣловъ какихъ надѣлали, хе-хе!..

— Этакъ безопаснѣе, Семенъ Александровичъ, — пошутилъ Ермиловъ.

— Не скажите, дорогой, не скажите! До аттестата зрѣлости сидитъ такой малый надъ зубристикой, а послѣ — глядишь — гдѣ очутился и на что пошелъ!

Онъ вздохнулъ и косвенно оглядѣлъ и гостя, и своего воспитанника.

Ермиловъ подумалъ:

„Три поколѣнія: декабристъ, человѣкъ шестидесятихъ годовъ и классикъ-гимназистъ восьмидесятихъ,—и прибавилъ:—не забыть — черкнуть въ записной книжечкѣ нѣсколько штриховъ“.

Отъ классицизма и юношества рѣчь перешла къ сверстникамъ и пріятелямъ Евменія Кустарева.

— Очутились они, — говорилъ старикъ и отхлебывалъ короткими глотками свой крѣпкій чай съ лимонной цедрой, — и Евменій, и его друзья — ни въ сихъ, ни въ оныхъ... Задній ходъ! — вотъ команда на теперешней вахтѣ...

— Прекрасное сравненіе! — вскричалъ Ермиловъ и даже беззвучно захлопалъ ладонями.

— Честный, отличный человѣкъ Евменій... А жаль нѣтъ его: такъ и промается, ничего не добьется... Профессуру бросилъ.

— Не выдержалъ, Семенъ Александровичъ.

— Не резонъ, Егоръ Петровичъ, не резонъ! Надо сидѣть до самой послѣдней возможности. Пускай тебя протурятъ, но самъ не уходи. Расчетъ ясный — давать ходъ тѣмъ, кого считаешь вредными.

— Это точно! — согласился Ермиловъ.

— Потому-то, — продолжалъ старикъ, не горячася и смакуя чай, — потому-то все такъ рыхло, безъ контрабаса въ оркестрѣ, что хорошіе люди никакой цѣпкости не имѣютъ, горячатся безъ разума, уклоняются отъ дѣла, а плуты, невѣжды и гасильники подбираютъ все, что плохо лежитъ. Профессуру потерялъ Евменій, и на своемъ народолюбіи ничего не выиграетъ... До сихъ поръ ни онъ, ни другіе, подобные ему, не хотятъ понять, что простой народъ — противъ нихъ; а они-то его обсахариваютъ... Мы не такъ разсуждали и чувствовали. Ошиблись, сунулись рано, спору нѣтъ, но мы надѣялись на себя, мы почитали умъ, истину, ученость, талантливость, породу, и не ставили себя ниже черни, отъ себя самихъ не отрекались. Да и въ поступкахъ имѣли благородство... въ выборѣ средствъ. А нынче — ломомъ хватимъ — и никакихъ разговоровъ, изъ-за угла, или въ западнѣ... Ломъ! — повторилъ брезгливо старикъ. — Мы ломомъ-то руду ломали на каторгѣ, а не человѣческое тѣло, не людей, себѣ подобныхъ, хотя бы и лютыхъ враговъ нашихъ...

Гимназистъ оставилъ недопитымъ свое блюдечко и слушалъ съ полуоткрытымъ ртомъ. Самоваръ издавалъ тон-

кую ноту... Въ комнатѣ пронеслось короткое и значительное молчаніе.

„Молодцы были!—подумалъ Ермиловъ,—богатыри. Это послѣ двадцатилѣтней-то работы въ цѣпяхъ!“

И какъ бы въ отвѣтъ на его одобреніе, которое старикъ вырвалъ у него, Бахтуринъ, не раздражаясь, продолжалъ немного потише, точно по секрету:

— Выдержки нѣтъ!.. У насъ бы спросили, что мы выдержали. А тутъ, чуть какая запинка или два-три товарища—дрянце, сейчасъ вонъ! Идемъ на добровольное бездѣйствіе. Кааедрю имѣть—это какая сила! Тутъ можно помириться и съ надзоромъ, и со всякимъ стѣсненіемъ,—конечно, безъ подлости... На десятки поколѣній дѣйствовать словомъ!.. Мы бы и рады были, да учили-то насъ не тому,—въ шаркуны готовили, и до всего мы собственной головой должны были доходить... Нѣтъ выдержки, нѣтъ! Такъ и слиняють, ни въ сихъ, ни въ оныхъ,—кончилъ старикъ и, подавая черезъ столъ свой стаканъ, сказалъ воспитаннику:—Полстаканчика, Павлуша, покрѣпче.

До одиннадцатаго часу просидѣлъ Ермиловъ у Бахтурина. Хозяинъ проводилъ его самъ до крыльца, вручилъ ему свертокъ оттисковъ съ надписями и нѣсколько разъ пожалъ ему руку.

— Хотѣлъ бы, дорогой, сказать вамъ: до свиданія, да въ мои лѣта этого не полагается...

Темная октябрьская ночь мигала на заѣзжаго „европейца“. Отъ „Звѣздной Дамбы“ до гостиницы оказалось всего на пять минутъ ѣзды.

Полный новыхъ и совсѣмъ не „губернскихъ“ мыслей, вошелъ Ермиловъ въ сѣни, гдѣ швейцаръ, изъ евреевъ, льстивый и нечистоплотный, на вопросъ его, кто такъ шумитъ наверху, въ буфетъ,—доложилъ:

— Пароходчикъ Лапшинъ. Богатый... Загулялъ съ утра, ваше сіятельство!

И все лицо швейцара говорило: „Ужъ какъ вамъ угодно, а его нельзя заставить притихнуть; онъ будетъ бушевать, какъ ему тамъ вздумается, хоть всю ночь“.

## VI.

Утро начиналось у Анны Гавриловны Вогулиной довольно поздно. Въ небольшомъ ея домѣ, на Патриаршихъ Прудахъ, все еще было тихо въ девятомъ часу... Горничная Даша осторожно скользила въ туфляхъ изъ столовой

въ антресоля, гдѣ жила старушка-тетка Вогулиной, Маречъ Ивановна. Та уже давно встала, сходила къ ранней обѣдѣ и допивала у себя въ комнатѣ „первый свой чаекъ“.

Барышня проснется къ девяти, выйдетъ пить чай въ десять; къ одиннадцати поѣдетъ на курсы къ Ильинскимъ воротамъ. Самоваръ уже шипитъ на кухнѣ, платье приготовлено, ботинки и ботки вычищены.

Анна Гавриловна проснулась и лежала въ полутемной спальнѣ, за перегородкой, куда свѣтъ еле заходилъ сквозь шторы оконъ.

Она любила лежать, закинувъ обнаженные руки за голову, на „думкѣ“ изъ цвѣтного канауса, щурилась и полудремала.

Надо вставать!..

Она позвонила... Одѣваться и даже обуваться одна Анна Гавриловна не привыкла или, лучше, отвыкла, съ той поры, какъ покойный отецъ взялъ ее изъ пансіона сестеръ Бокъ на Самотѣжѣ. Даша иногда натягиваетъ ей даже чулки и всегда надѣваетъ и застегиваетъ ботинки со множествомъ пуговокъ.

Свѣтъ еще болѣе проникалъ за перегородку изъ полосатаго репса въ портьеру, наполовину поднятую. Одна полоска его заиграла по головѣ и по лицу молодой дѣвушки, по ея бѣлымъ щекамъ съ румянцемъ крѣпкаго сна, по тонкому носу съ закругленнымъ кончикомъ и родинкой около праваго глаза, по ея маковкѣ съ золотистыми прядями русыхъ волосъ, по мочкѣ розоваго ушка и по шеѣ, породистой и крѣпкой, гдѣ волоски курчавились подъ затылкомъ.

Глаза свои Анна Гавриловна совсѣмъ не раскрывала. Она часто держала ихъ съ опущенными рѣсницами, потому что они казались ей недостаточно большими и выразительными; рѣсницы были пушистыя и немного заворачивались, что придавало взгляду особое выраженіе, дѣлало глаза съ поволокой.

Она позвонила. Явилась Даша и помогла ей встать. Умывалась она сама на мраморномъ умывальникѣ съ педалью.

Въ этой комнатѣ, гдѣ у нея и спальня, и будуаръ съ письменнымъ столомъ — все новое и нарядное. Полтора года тому назадъ отецъ отдѣлалъ все это заново для нея, самъ ушелъ спать въ мезонинъ, а черезъ три мѣсяца умеръ.

Его кабинетъ былъ рядомъ. Съ тѣхъ поръ онъ стоитъ пустой, въ такомъ видѣ, какъ былъ въ день смерти отца. Она не проходила имъ никогда, дѣлала обходы черезъ коридорчикъ и маленькую столовую. Покойниковъ она боялась и не могла отдѣлаться отъ этого чувства, чисто „московскаго“, какъ она сама называла. Отца она оплакивала горько, къ памяти его привязалась больше, чѣмъ можно было ожидать. При жизни она не особенно ласкалась къ нему ребенкомъ,—дѣвушкой съ семнадцатаго года ладила, хоть и не всегда, внутренне протестовала во многомъ и за многое. Но смерть его пришла внезапно, унесла его въ три-четыре дня и наполнила ея душу суевѣрнымъ страхомъ.

Черезъ недѣлю послѣ его кончины она съ тетусшкой Марѳой Ивановной „поднимали Владычицу“ — посылали за иконой Иверской Божіей Матери, и молебенъ былъ отслуженъ въ кабинетѣ отца. Кабинетъ цѣлый мѣсяцъ хранилъ запахъ ладана. Весь домъ, до темныхъ закоулковъ антресолей, былъ окропленъ. И Анна Гавриловна по-дѣтски наклоняла голову подъ кропило, и не одинъ, а нѣсколько разъ.

Эти московскія повадки она скрывала отъ своихъ „интеллигентныхъ“ знакомыхъ, отъ слушательницъ курсовъ, куда она записалась еще при жизни отца, отъ молодыхъ людей, кандидатовъ, докторовъ, съ какими встрѣчалась у знакомыхъ, на публичныхъ лекціяхъ, въ актовомъ залѣ университета, въ Маломъ театрѣ. Но въ ней сидѣла Москва—она и не желала освободиться отъ этого бытового, сословнаго и народнаго закала. Одинъ изъ ея сверстниковъ, постарше ея лѣтами, дальній родственникъ—теперь на службѣ въ Сибири — прозвалъ ее „матушка-боярышня“,—и она этимъ не обижалась. Онъ говорилъ про нее, въ ея же присутствіи: „у Аночки въ крови быть домовладѣлицей на Патріаршихъ-Прудахъ, жить въ теплыхъ комнатахъ, умереть въ нихъ же, и какіе бы перевороты ни потрясли Европу—она будетъ сидѣть на своихъ Прудахъ, въ особнякѣ, гдѣ на воротахъ стоитъ: домъ госпожи Вогулиной“.

Но Вогулина не скопидомка, — нѣтъ. Тетусшка Марѳа Ивановна находитъ даже, что—транжирка: деньги текутъ какъ сквозь рѣшето съ тѣхъ поръ, какъ она полная госпожа своего добра и состоянія; ей минулъ двадцать одинъ годъ—годъ полнаго совершеннолѣтія. Она не можетъ от-

казать никакой пріятельницѣ, помогаетъ бѣднымъ, къ ней ходятъ старушки-салоппницы и просто нищенки, и она имъ даетъ каждый мѣсяцъ по рублю, по три и по пяти, кормитъ на кухнѣ нищенокъ, особенно въ тѣ дни, когда служатся панихиды по отцѣ. Доходъ она весь проживаетъ, но капитала не трогаетъ. И тутъ Москва надѣлила ее инстинктомъ почтенія передъ капиталомъ... Безъ обезпеченія нельзя жить женщинѣ ни въ какомъ положеніи. Домъ-особнякъ доходу не даетъ, или почти не даетъ. Маленькій флигелекъ на задахъ приноситъ всего двѣсти рублей—на это не проживешь такъ, какъ она привыкла.

Отецъ оставилъ, кромѣ дома, до шестидесяти тысячъ процентными бумагами.

— Богатая ты невѣста по нонѣшнему времени,—говоритъ Марѳа Ивановна.

И въ самомъ дѣлѣ, капиталъ не малый, и такихъ приданницъ въ дворянскомъ среднемъ кругу немного; но что же онъ приноситъ? Всего три тысячи... Раздѣленный на мѣсяцы—доходъ этотъ уходитъ весь, безъ остатка... Одни городскіе сборы, мостовая, дворникъ, ремонтъ, водовозъ—весь доходъ флигелька идетъ на это...

За мраморнымъ умывальникомъ Анна Гавриловна оставалась долго, старательно чистила свои бѣлые зубы, довольно мелкіе, но блестящіе и крѣпкіе... Она хотѣла сохранить ихъ такими до старости и покупала всякіе заграничные порошки и эликсиры. Умываясь, она не могла съ нѣкоторыхъ поръ освободиться отъ особаго чувства, которое наполняло ее именно въ минуты заботъ о ея наружности, во время умыванья, чесанья головы, примѣриванья новыхъ туалетовъ.

Она чувствовала себя не дѣвочкой, не барышней, безъ всякой окраски и фізіономіи, а молодой женщиной, вышедшей изъ періода худобы, мигреней, неопредѣленныхъ вкусовъ и полудѣтскихъ забавъ... Ее всѣ мужчины считаютъ „очень хорошенькой“; дамы—замужнія—не долюбливаютъ и отказываютъ даже въ такой оцѣнкѣ. А оцѣнки этой ей мало. Она болѣе чѣмъ „хорошенькая“. Слово „миленькая“ совсѣмъ ужъ къ ней нейдетъ. У нея хорошій ростъ, молочныя, полныя руки, волосы почти до пятъ, лицо—молодой женщины, только что вышедшей замужъ, бюстъ ласкающихъ античныхъ линій, и она побаивается, какъ бы ей не начать толстѣть въ этой тихой, беззаботной и прохладной жизни барышни-сироты, хозяйки дома

и полной госпожи всѣхъ своихъ вкусовъ, привычекъ, занятій, удовольствій.

Женщина стучала къ ней во всѣ дверки ея существа, а внутри, тамъ—въ сердцѣ и въ головѣ—не было центра, притягательной точки... И когда она явится, эта точка?..

Послѣ умыванья Даша чесала Анну Гавриловну съ четверть часа—больше она не выносила: дѣлалась нервной отъ движеній гребня по ея густымъ волосамъ, полнымъ электричества.

Даша не старая еще дѣвушка, но вся высохшая отъ постоянныхъ „амуровъ“, въ которыхъ она признавалась барышнѣ, и Анна Гавриловна писала ей, по добротѣ, записки къ ея предметамъ, читала ихъ посланія и входила уже не разъ въ цѣлыя драмы ревности и любовныхъ обидъ. Горничная Даша была преловкая, но одѣвалась неряшливо и чесалась такъ же.

Къ чаю Анна Гавриловна вышла въ пеньюарѣ, недавно сшитомъ, изъ молочнаго цвѣта фланели съ кружевами. Она переходила полегоньку отъ траура къ цвѣтнымъ платьямъ... Въ столовой шипѣлъ самоваръ. Комната была слишкомъ большая для двухъ жилищъ дома-особняка, и въ ней молодой дѣвужкѣ всегда дѣлалось немного жутко отъ памяти ея отца, отъ голыхъ стѣнъ со скучнымъ рисункомъ обоевъ, отъ недостатка уютности.

— Марѳу Ивановну звали?—спросила Анна Гавриловна и лѣниво сѣла къ самовару.

— Онѣ сейчасъ сойдутъ.

Разливанье чая и супа не наполняло дѣвужку довольствомъ. Она не считала себя хозяйкой, равнодушно относилась къ ѣдѣ и къ заказыванію кушаній. Въ ней барышня и домовладѣлица помѣщались особо отъ домостроительницы и экономки. Дома ей было удобно, но углубляться въ подробности хозяйства и домашнего комфорта она не любила.

Два окна столовой выходили въ палисадникъ, и черезъ рѣшетчатый заборъ виденъ былъ кусокъ Патріаршихъ-Прудовъ, деревья безъ листьевъ и дорожка аллей, покрытая снѣжкомъ. Снѣгъ выпалъ въ ночь.

Снѣгу Анна Гавриловна обрадовалась. Сейчасъ все получаетъ свѣтлый и праздничный цвѣтъ, грязная или трескучая улица пріятно смолкаетъ и облекается въ блистающій покровъ.

Въ окно Анна Гавриловна поглядѣла на Пруды. Студентъ въ зимнемъ пальто и фуражкѣ съ голубымъ околышемъ торопливо прошелъ съ книгой подъ мышкой.

Какъ бы и ей не опоздать на лекціи. Она уже начинаетъ полегоньку „манкировать“, а давно ли она отличалась большимъ рвеніемъ, брала много книгъ изъ библиотеки, дѣлала работы, участвовала въ „семинаріяхъ“, возражала и сама читала рефераты, даже заставляла по-бавляться своего бойкаго языка, своей діалектики.

Но сегодня лекція скучная: она не записываетъ, и не шьетъ, какъ начали дѣлать нѣкоторые, и что ей совсѣмъ не нравится.

Стоить ли ѣхать для одного часа? На первую она уже не попала...

— Тетушка, здравствуйте!

Онѣ поцѣловались со старушкой высокаго роста, худой, въ сѣромъ капотѣ съ пелеринкой и съ подвязанной щекой.

Марѳа Ивановна была молчаливая особа, такая тихая, что ее по цѣлымъ днямъ не слышно, богомольная, очень добрая и пугливая, хотя лицо у нея значительное и немного навислая, густыя, сѣдѣющія брови.

Разливала племянница. Тетка пила въ-прикуску, Анна Гавриловна — въ-накладку и всегда по-мужски, въ стаканѣ съ серебрянымъ подставанникомъ.

Въ передней зазвонили.

Обѣ женщины переглянулись. Кромѣ почтальона, кому быть въ одиннадцатомъ часу.

Даша пробѣжала по столовой и на бѣгу спросила барышню:

— Если гость—прикажете принять?

— Какіе гости!—отвѣтила Вогулина и кинула взглядъ изъ-подъ своихъ густыхъ рѣсницъ на изысканный пенъюаръ и свои полюбимыя руки съ тонкими серебряными браслетами на каждой рукѣ.

## VII.

Даша подала Аннѣ Гавриловнѣ карточку и стала въ дверяхъ.

„Юрій Петровичъ Ермиловъ“,—прочла Вогулина.

У Егора Петровича водилось два сорта карточекъ—для мужчинъ и для дамъ: на первыхъ напечатано было „Георгій“, на вторыхъ—болѣе модное „Юрій“.



— Они дожидаются въ передней,—тихонько доложила горничная.

Карандашомъ Ермиловъ написалъ:

„Простите за этотъ ранній часъ. Хотѣлъ, на пути въ Петербургъ, пожать вамъ руку и завезти давно обѣщанный томъ стиховъ моего пріятеля“.

Второй взглядъ на свой туалетъ побудилъ Анну Гавриловну принять гостя... Что жъ такое, что она въ пеньюарѣ, точно молодая дама! Въ одиннадцатомъ часу это совершенно естественно; а заставлятъ его ждать она тоже не хотѣла.

— Пришлите туда чай,—сказала она теткѣ, оправила рукой прическу и приказала горничной принять гостя.

Она была польщена вниманіемъ и любезностью этого „эстетика“, какъ она звала Ермилова.

Его репутація большого любителя женщинъ была ей извѣстна. Они познакомились прошлой зимой на вечеринкѣ у одного профессора, куда собиралось много молодежи. Онъ ее тогда увлекъ своимъ разговоромъ, и она мечтала о немъ съ недѣлю, даже поджидала къ себѣ. Онъ не пріѣхалъ почему-то, и это ее обидѣло. Потомъ они опять встрѣтились весной. Ермиловъ собирался за границу и много говорилъ ей о стихотвореніяхъ одного своего друга, заохочивалъ ее къ прочтенію ихъ, обѣщалъ привезти ей томикъ и самому переплестъ его.

Во второй разъ онъ ей менѣе понравился; она нашла его фатоватымъ, сладкимъ, почти на старинный манеръ, ей съ нимъ было не особенно ловко: онъ слишкомъ хорошо говорилъ по-французски и его начитанность отзывалась для нея педантизмомъ. Ермиловъ оспаривалъ ея вкусы, рисовался—какъ она находила—своимъ полнымъ равнодушіемъ къ „честному“ и „передовому“ въ литературѣ, восторгался только формой.

И все-таки она оживилась, когда шла въ гостиную, гдѣ Ермиловъ переминался съ одной ноги на другую и оглядывалъ суховатую и обыкновенную обстановку комнаты: піанино, обои съ золотыми цвѣтами, два узкихъ зеркала, угловой репсовый диванъ, нѣсколько растений въ горшкахъ у оконъ, ни одной картины по стѣнамъ, за что онъ былъ благодаренъ, потому что всюду встрѣчалъ олеографіи и приходилъ отъ нихъ въ содроганіе.

Короткій парижскій пиджакъ съ узкими рукавами представлялъ слишкомъ напоказъ его полную фигуру. Свѣтлый

галстукъ молодилъ его: борода была слегка подправлена книзу краской... Анна Гавриловна, войдя, нашла его „довольно интереснымъ“.

— Вотъ впору воскликнуть: „Чуть свѣтъ ужъ на ногахъ, и я у вашихъ ногъ!“

Ермиловъ произнесъ стихъ громко и съ жестомъ, наклонился къ ней и поцѣловалъ ея руку, прежде чѣмъ она успѣла сказать ему что-нибудь.

— Не ждали? Конечно, нѣтъ?

Ермиловъ не выпускалъ ея руку изъ своей, велъ ее къ дивану и оглядывалъ искристыми сѣрыми глазами.

И онъ не ждалъ такого расцвѣта женственности въ той блѣдненькой „курсисточкѣ“ которую онъ экзаменовалъ по части либерализма на вечеринкѣ у профессора Симбирцева, своего товарища по гимназiи, какъ и Кустаревъ, одного съ нимъ выпуска.

„Да не вышла ли она замужъ?“ — спросилъ онъ себя, но не сдѣлавъ вслухъ этого вопроса.

— Примите, — сказалъ онъ ей съ шуткой въ голосъ и поднесъ томикъ въ сафьянномъ переплетѣ, — полюбите моего поэта и почтите переплетчика.

И онъ ткнулъ указательнымъ пальцемъ въ свою грудь.

Она разсмѣялась—два ряда бѣлыхъ зубовъ сверкнули. Съ ея щекъ еще не спалъ румянецъ крѣпкаго сна, волосы вились надъ шеей; къ маковѣ зачесанъ былъ высокій бантъ изъ волосъ съ золотымъ отливомъ; двѣ черепаховыхъ гребеночки игриво держались въ воздухѣ.

„*Non d'un petit bonhomme!*..—вскричалъ про себя Ермиловъ, опускаясь на кресло.—Какъ она развилась!“

„Курсисточка“ могла поспорить съ любой изъ иностранокъ его послѣдней поѣздки — и съ француженкой изъ Байонны, и даже съ натурщицей клуба „*des Moissonneurs*“, — только въ мѣстномъ, московскомъ вкусѣ. Въ ней чуялась порода... что-то немного какъ будто хищное и смѣлое и еще мало тронутое теперешними „глупостями“, какъ Егоръ Петровичъ называлъ многія новыя идеи и стремленія русскихъ дѣвушекъ...

Къ чему же искать за тридевять земель то, что водится тутъ, на Патріаршихъ-Прудахъ?

Да, но она дѣвица; онъ видѣлъ ея дѣвичье имя на дощечкѣ воротъ, и нѣтъ въ этомъ домикѣ никакого мужского духа. А дѣвицъ онъ не трогаетъ. Развѣ такъ, въ сентиментально-дружескомъ тонѣ... Дѣвушка, конечно,

предпочтительнѣе замужней женщины. Онъ идетъ на обманъ мужа только въ крайнемъ случаѣ... Вдовы—рѣдки и часто презрѣлы... Дѣвушка—свободна и свѣжа... Все это такъ; только есть отвѣтственность, вопросы моральныя; въ нихъ онъ щекотливъ и гораздо больше, чѣмъ думаютъ его пріатели и пріятельницы.

Жениться на такой пышной и, кажется, умненькой дѣвушкѣ возможно, если зарваться, но зарываться-то и не слѣдуетъ—ни въ какомъ случаѣ... Свобода—выше всего!..

Егоръ Петровичъ удивился даже тому, какъ быстро столько мыслей и ощущеній побывало въ немъ въ какихъ-нибудь двадцать секундъ.

Длинные глаза изъ-подъ пушистыхъ рѣсницъ ласково глядѣли на него.

— Проѣздомъ изъ-за границы попали? — спросила его Вогулина.

И голосъ у нея установился. Грудныя ноты вибрируютъ и пріятно отдаются въ просторной комнатѣ.

— И собрался сегодня же въ Петербургъ... Но, кажется, останусь.

Взглядомъ онъ не утерпѣлъ,—сказалъ ей:

„Для васъ готовъ остаться“.

— Останьтесь... Мы поговоримъ еще... о вашемъ поэтѣ... Я его читала... лѣтомъ и, кажется, хорошо.

— Браво!..

Онъ уже рѣшилъ остаться, тѣмъ болѣе, что на будущей недѣлѣ, всего черезъ три дня, — даютъ дружескій обѣдъ профессору Симбирцеву въ „Эрмитажѣ“, по какому-то случаю. „Будетъ очень мило,—подумалъ онъ,—выказать солидарность съ „кружкомъ“.

Объ этомъ обѣдѣ онъ сейчасъ же и сказалъ ей:

— Кажется, и дамы будутъ—по-московски... Вотъ бы я вы...

Она уже слышала объ обѣдѣ Симбирцеву; но дамъ не будетъ, хотятъ это сдѣлать поскромнѣе, человѣкъ на тридцать, чего-то опасаются...

Улыбка немного скосила ея ротъ.

Ермиловъ понялъ эту усмѣшку. Времена не тѣ: всѣ сжались, потеряли прежній розмахъ, воздерживаются устраивать обѣды и говорить спичи съ „подбадривающими“ словами. И она на курсахъ чувствуетъ то же самое, почему ей и бываетъ тамъ скучненько.

— Все еще вѣрите въ вашихъ лекторовъ? — вдругъ

спросилъ ее Ермиловъ и прищурился сквозь стекла своего рінсе-пез.

— Какъ вы это сказали, Юрій Петровичъ! Точно я маленькая...

Она немного вспыхнула, и родинка у праваго глаза обозначилась особенно красиво... На щекахъ лежалъ прелестный тонъ отъ чуть замѣтнаго пушка.

„Какъ я глупъ!—остановилъ себя Ермиловъ.—Зачѣмъ я ее дразню, а не ухаживаю просто, напрямки?“

Она заговорила довольно горячо.

Въ ея произношеніи была какая-то особенность въ нѣкоторыхъ гласныхъ, что придавало манерѣ говорить большую своеобразность. Она переводила губами отчетливо и скоро, и весь складъ фразы отзывался Москвой, коренными оборотами русской рѣчи, немного посыпанными тѣми словами и терминами, которые пришли къ ней съ курсовъ и изъ „хорошихъ книжекъ“.

Ермиловъ совсѣмъ закрылъ глаза, слушалъ и смаковалъ.

„Барыня будетъ, московская барыня,—опредѣлилъ онъ,—и съ ноготкомъ; мужа уберетъ подъ лапки—это навѣрно; да и друга, если современемъ заведетъ, будетъ держать въ большомъ подчиненіи“.

Она все еще оправдывалась въ видѣ критическихъ замѣчаній о своихъ преподавателяхъ.

— Да, нашъ милѣйшій Александръ Павловичъ,—говорила она, точно высыпая на поднось законченные звуки своего голоса, и при этомъ глаза ея искрились, — всѣхъ хочетъ обѣлить... Нѣтъ для него никакихъ слабостей и просто противныхъ сторонъ у тѣхъ, кто прославился... Вездѣ ищетъ искру Божью!

— Ха-ха-ха!—разсмѣялся Ермиловъ и сталъ, въ знакъ одобренія, покачивать головой.

— Будь разбойникъ Картушъ — талантливъ, — продолжала Вогулина, польщенная успѣхомъ, — онъ и его обѣлилъ бы... какъ... кринъ сельный.

— Кринъ сельный!.. Прекрасно!.. Это изъ Евангелія, если не ошибаюсь?

— Кажется,—отвѣтила Вогулина и посмотрѣла въ сторону съ косымъ движеніемъ своихъ не очень красныхъ, но хорошенькихъ губъ.

— Ну да, ну да, — заговорилъ Ермиловъ, придя въ умственное возбужденіе и, придвинувшись къ ней, завер-

тѣлся въ креслѣ. — Милые идеалисты и педагоги, воздѣ-  
лывающіе искру Божью! По ихъ толкованію выходитъ,  
что какой-нибудь сенсуалистъ и даже циникъ семнадца-  
таго вѣка писалъ для васъ, для юношества обоего пола,  
защищалъ принципы, дорогіе передовымъ людямъ конца  
девятнадцатаго вѣка... А онъ просто дурачился или былъ  
даже ретроградъ и обскурантъ. А то такъ и порядочный  
донъ-Мерзавѣцъ!..

По блеску глазъ дѣвушки онъ сообразилъ, что она го-  
раздо подготовленнѣе къ бесѣдамъ съ нимъ, чѣмъ годъ  
назадъ.

„Ты умненькая, — похвалилъ онъ мысленно, — тобою  
стоить заняться... Да еще и „распрехорошенькая“.

Онъ употребилъ терминъ одного своего петербургскаго  
пріятеля.

Одного лектора она похвалила и призналась, что только  
его лекціи и привлекаютъ ее „какъ надо“.

— Умница, ядовитый и беспощадный, — выговаривала  
она не торопясь, и когда искала словъ для выраженія  
своей мысли, глядѣла въ окно, на улицу, гдѣ деревья  
побѣлѣли отъ инея. — Какъ онъ освѣтилъ мнѣ весь про-  
шлый вѣкъ... А въ томъ году — московскую Русь... Пре-  
лестъ!..

— Не выѣзжаетъ ли онъ больше на своемъ остроуміи? —  
недовѣрчиво спросилъ Ермиловъ.

— Таланливъ, — сказала Анна Гавриловна, совсѣмъ по-  
московски, безъ буквы „т“, — очень таланливъ и совсѣмъ  
особенный!

„Не мѣшаетъ ее просвѣтить“, — рѣшилъ Ермиловъ, и  
безъ всякаго перехода спросилъ ее: читала ли она сонеты  
Жозе-Маріа Эредіа, и вообще знакома ли съ парижскими  
„декадентами“.

Она призналась, и чрезвычайно мило, что не слыхала  
даже имени этого Эредіа, а о „декадентахъ“ что-то  
вскользь прочла въ одной газетной корреспонденціи.

Ермиловъ сталъ восторгаться авторомъ сонетовъ, про-  
силъ ее повѣрить ему на-слово, что Эредіа — первый въ  
Европѣ стихотворецъ по части сонетовъ, и тутъ же про-  
декламировалъ ей наизусть двѣ пьесы.

Слушала она внимательно, улыбалась и сказала по-  
томъ:

— Звонко!.. Красиво!.. Но не захватываетъ что-то, Юрій  
Петровичъ.

— Сразу не вошли въ вкусъ! Надо штудировать... Точно металлъ или золотыя буквы на каррарскомъ мраморѣ... А у насъ понятія не имѣютъ.

— Увы! и я въ томъ числѣ!

Въ ея взглядѣ была легкая иронія.

— Позвольте вамъ привезти томикъ. Если я только найду у Готье... Да врядъ ли! Здѣсь спросъ больше на романы господина Онэ!

Имя „Ohnet“ онъ произнесъ съ умышленнымъ растягиваніемъ перваго слога.

— Я читала!

— Horribile auditu!

— Это чтò такое? Я по-латыни не знаю.

— Поговорка, передѣланная мною. Пишутъ и говорятъ: horribile dictu, а я перемѣнилъ на auditu, т. е. ужасно слышать. Впрочемъ за свое не выдаю... можетъ, кто и до меня догадался.

Онъ такъ весело и молодо при этомъ мотнулъ головой, что Анна Гавриловна подумала: „Да онъ пріемилый“.

Ей было съ нимъ очень ловко, совсѣмъ не такъ, какъ прошлой зимой. Она болѣе понимала его, не считала уже фатомъ и „гнилымъ“ эстетикомъ.

„Поумнѣла я или поглупѣла?“—спросила она себя.

Этотъ „парижанинъ“ и вивёръ не смущалъ ее, а скорѣе привлекалъ. Отъ него шелъ какой-то умственный ароматъ, точно передъ нею разставили модныя, изящныя вещи на прилавкѣ, отчего явилось сейчасъ же чувство повизны и желаніе поскорѣе пріобрѣсти обновку, быть „въ курсѣ“—она употребила мысленно выраженіе, которое ей не нравилось, но другого она не прибрала. Ермиловъ вызвалъ въ ней душевную нарядность, заставилъ подтянуться, ей захотѣлось помѣряться съ нимъ, если не образованіемъ и новизной, то природнымъ умомъ, обаяніемъ женщины, всѣмъ тѣмъ, чтò въ ней сложилось своего, оригинальнаго, московскаго... Онъ рѣшительно интереснѣе не только ея сверстниковъ, но и молодыхъ людей, съ какими она встрѣчается въ кружкахъ.

Кстати, Ермиловъ, перейдя опять къ тому, чтò она читаетъ и съ кѣмъ проводитъ вечера, спросилъ ее:

— А изъ молодыхъ университетскихъ магистрантовъ, вообще чающихъ кафедры или просто просвѣщенныхъ москвичей, есть кто-нибудь подаритѣе?

Она подумала и отвѣтила, какъ отвѣчаютъ дѣвушки.

когда имъ и хочется, и не хочется назвать имя, и заговорить о томъ, что начинаетъ немножко интересоваться... больше головой, чѣмъ сердцемъ.

— Мало... очень мало... — выговорила она серьезно, и на лбу показались чуть замѣтныя поперечныя складочки — привычка, отъ которой ни пансіонъ, ни тетушка Марѳа Ивановна, не отучили ее. — Одинъ есть... способный... Куликовъ... — осторожно произнесла она и провела по лицу Ермилова взглядомъ, полузакрытымъ рѣсницами.

— Который это? — началъ вспоминать Ермиловъ и тоже наморщилъ переносицу.

— Вы видѣли его у Симбирцева.

— Маленькій, юрковатый, похожъ на конториста... А я принималъ его за пѣмца.

— Онъ настоящій москвичъ.

— Кажется, „болѣе ловкій, чѣмъ благоговѣйный“, какъ аттестовалъ одного священника архіерей.

— Пожалуй... такъ, — согласилась Вогулина, и ничего больше не добавила.

— Вы его одобряете? — спросилъ Ермиловъ, нагнувшись къ ней, тономъ друга, вызывающаго на откровенность.

— Я люблю съ нимъ разговаривать... Онъ разностороненъ... Много читаетъ и не по своей части.

— А онъ кто?

— Работаетъ по политической экономіи, по государственнымъ наукамъ и еще тамъ по какимъ-то. Но интересуется литературой.

— О сонетахъ великаго Эредіа тоже не слыхалъ?

— Спрошу.

Она хотѣла прибавить: „сегодня же вечеромъ“, но не сказала; скрыла и то, что Куликовъ бываетъ у ней два раза въ недѣлю въ роли не то руководителя ея занятій, не то добровольнаго лектора, произносить цѣлыя конференціи, заставляетъ ее читать, по его выбору, дѣлать выписки, докладывать о прочитанномъ.

„Еще подсмѣиваться будетъ!“ — подумала она про Ермилова.

— А отъ имени „декадентовъ“ приходитъ въ ужасъ?.. Ахъ, Боже мой! — спохватился вдругъ Ермиловъ, бросивъ взглядъ на пенюаръ Вогулиной. — Я васъ навѣрное задержалъ. Вы вѣдь еще посѣщаете курсы?

— Должна была ѣхать къ милѣйшему Александру

Павловичу, да ужъ теперь поздно. Вамъ за это признательна, Юрій Петровичъ.

Онъ всталъ.

— Очень любезно!—вскричалъ онъ, и нагнулся, чтобы еще разъ поцѣловать ея руку. — Я заверну... и привезу вамъ Эредіа, а можетъ-быть и Верлена.

— Кого?—не разслышала она.

— Это поэтъ декадентовъ. Его надо читать медленно, знаете... въ родѣ того, какъ дѣлають грамматическій анализъ, въ гимназін, Тацита или греческаго классика.

— Какое мученье!

— Не скажите. Особый подборъ словъ. Мелодія... Да, вотъ, я вамъ скажу одно четверостишіе...

Онъ облокотился о піанино, держа шляпу въ рукѣ, и нараспѣвъ проговорилъ четыре коротенькихъ стиха, гдѣ Анна Гавриловна ничего не поняла: многія слова проскользнули по ней какъ звуки—и только.

— Не правда ли, оригинально?

— Да я ничего не понимаю, Юрій Петровичъ.

— Это не важно. Будете понимать! Увѣряю васъ. Цѣлая революція въ стихѣ и формѣ рѣчи...

Онъ заторопился уходить и въ дверяхъ не выдержавъ, еще разъ повторилъ послѣдній стихъ куплета:

*Les pétales de remuement.*

Хозяйка проводила его въ переднюю, пожурла за то, что онъ въ пальто, а на дворѣ лежитъ снѣгъ.

— Авось, не схвачу ничего! Я въ каретѣ.

Они условились видѣться черезъ два дня, нажавунѣ обѣда Симбирцеву.

Карета отѣхала отъ крыльца. Въ окно ея Анна Гавриловна увидала голову гостя, въ высокомъ цилиндрѣ, и плотный станъ въ пестромъ пальто.

Она долго слѣдила глазами за экипажемъ.

„Почему онъ не такъ же молодъ, какъ Куликовъ?“—спросила она, и ей всѣ московскіе показались такими устарѣлыми, своего домашняго издѣлія, рядомъ съ этимъ „европейцемъ“. въ которомъ она почувала цѣнителя ея женскаго обаянія.

„Да, все это такъ,—подумала она, отходя отъ окна.— Но вѣдь у него ужасная репутация. Онъ опасенъ... И отъ него ничего хорошаго ждать нельзя“.



VIII.

Вечеръ подкрался скоро — дни стали короткіе. Анна Гавриловна не успѣла ничего порядкомъ сдѣлать—ни понасть на позднюю лекцію, замѣшкалась въ пассажѣ Солодовникова, гдѣ надо было купить какой-то пустякъ для тетушки, — ни подготовиться получше къ вечерней бесѣдѣ съ Куликовымъ; хотѣла оставить это до послѣобѣда; но отъ ходьбы пѣшкомъ она такъ разомлѣла, что прилегла, одѣтая, и, проспавъ почти до семи часовъ, разсердилась на себя за это.

А потомъ надо было нѣ-скоро поспрѣдѣться и приготовить все для визита Виталія Орестовича.

Въ гостиной, на кругломъ столѣ, подѣ лампой, она стала раскладывать книжки. Ей было все еще досадно, что она не подготовилась, не только ничего не записала, но даже не прочла и половины той книги, о которой они должны „бесѣдовать“ сегодня съ Куликовымъ.

Это—одна изъ монографій Морлея, въ русскомъ переводѣ. Книжка лежала тутъ и дразнила ее, точно школьницу. И туалетомъ своимъ Анна Гавриловна осталась недовольна. Она надѣла темную шерстяную юбку и шелковый корсажъ.

„Къ чему этотъ шелкъ?.. Разрядилась по-купечески!“

Но шелкъ она очень любила чувствовать подѣ рукой, поводить длинными и бѣлыми кистями рукъ по таліи, отъ спины впереди и немного вверхъ, по груди.

И теперь она сдѣлала этотъ жестъ, подойдя къ окну и глядя на сосѣдній фонарь.

Она чувствовала, какъ у нея гибки талія и спина. Когда она училась въ пансіонѣ, начальница все сожалѣла, что у нея выгибъ спины слишкомъ великъ. Тамъ это считалось большимъ недостаткомъ. Отъ него старались избавиться, носили особеннаго рода корсеты. И по выходѣ изъ пансіона спина безпокоила Анну Гавриловну до тѣхъ поръ, пока она не попала въ Большой театръ, посмотрѣть Сару Бернаръ въ „Дамъ съ камеліями“. У знаменитой актрисы, поразившей Москву своимъ изяществомъ и невиданными позами, спина была такъ же выгнута, какъ и у нея, и артистка не только не скрывала этого, а, напротивъ, пользовалась линіей спины, чтобы выставить въ самомъ красивомъ ракурсѣ весь свой художавый

станъ, опираясь на одну ногу и откидывая голову немного назадъ.

Обезьянить — хотя бы и Сару Бернаръ — Анна Гавриловна не хотѣла, но перестала смущаться изгибомъ спины и начала даже заказывать себѣ низкіе и мягкіе корсеты, чтобы контуры бюста сохранялись волнистыми и гибкими.

Мигающій рожокъ фонаря навелъ на нее тревожное настроеніе другого рода: сегодняшній неожиданный визитъ Ермилова, его тонкая любезность, блескъ и темпераментъ человѣка, умѣющаго любить, даже то, что онъ считается большимъ грѣшникомъ въ томъ кружкѣ, гдѣ она встрѣчала его, — все это вызвало рядъ недовольныхъ вопросовъ, обращенныхъ къ самой себѣ.

А развѣ она жила? Ей двадцать одинъ годъ. Многія ея подруги любили, вышли замужъ, имѣютъ дѣтей, нѣкоторыя испытали страданія любви, перенесли цѣлыя драмы. Она не знаетъ до сихъ поръ, что такое увлеченіе, хотя бы мимолетное, но сильное, такое, чтобы духъ захватывало. Годъ тому назадъ она, правда, увлекалась крайними идеями, сходилась съ молодежью, бывала на сходкахъ, чуть было даже не скомпрометировала себя письмомъ, въ сущности невиннымъ; но оно очутилось въ рукахъ прокурора послѣ ареста одной ея знакомой.

Она не испугалась этого, но увлеченіе быстро соскакивало съ нея... У нея нѣтъ уже вѣры въ то, что, одно время, казалось ей новымъ откровеніемъ правды и справедливости. Московская барышня всплыла и начала овладѣвать ею незамѣтно и прочно. Ея красивая голова, точно запутанный клубокъ нитокъ, разбирала противорѣчія, произволь положеній и афоризмовъ, которые надо было признавать безусловно; работа головы пахнула холодкомъ и на личное отношеніе къ тѣмъ, кто ее затягивалъ въ служеніе „дѣлу“. Она разглядѣла почти всѣхъ. Ни мужчины, ни женщины не выдержали ея анализа... Одинъ недостаточно уменъ, другой фанатикъ безъ познаній и даже безъ логики, третья рисуется своими крайними идеями, четвертая отталкивается грубостью, неряшливостью и опять нетерпимостью... Съ ними невозможно и спорить. Они считаютъ всякое возраженіе измѣной, „гнуснымъ“ ретроградствомъ. Какъ разъ прослывешь и шпионкой.

И такъ протянулось четыре года дѣвической жизни, съ выхода изъ пансіона. Смерть отца внесла ноту горечи, и

одиночество стало еще замѣтнѣе... Матери своей она не помнила. Тетка — только покладливая компаньонка, — не больше. Одиночество и охватившая ее сухость жизни, — быть вѣчно одной хозяйкой цѣлаго дома и госпожей своихъ поступковъ, — вѣроятно, и толкнули ее въ сторону „дѣла“. Тогда она стала дѣлаться равнодушнѣе и къ лекціямъ; перешла, однако, во второй курсъ; одно время negliжировала занятіями, а когда соскочило съ нея увлеченіе политикой, къ концу второго года, она и къ профессорамъ стала относиться критически; ея сегодняшній разговоръ съ Ермиловымъ показалъ ей, какъ она теперь далека отъ прежняго подчиненія авторитету лекторовъ...

Да и вообще нѣтъ чего-то, самаго главнаго, радостнаго и ожигающаго особымъ электричествомъ. Всѣ эти „хорошія книжки“, лекціи, вѣскіе разговоры съ „направленіемъ“, вечеринки, люди зрѣлыхъ лѣтъ, занимающіе кафедры, молодые люди, стремящіеся къ кафедрѣ, или просто молодые люди, помощники присяжныхъ повѣренныхъ, студенты, техники... Не умѣютъ они даже говорить такъ, чтобы чувствовался вкусъ къ жизни, чтобы что-то такое заиграло тамъ, внутри души, какъ веселый солнечный зайчикъ на стѣнѣ въ весенній день.

Никто не можетъ вызвать страсть или отвѣтить на нее красиво, обаятельно, ни въ комъ не чувствуешь мужчины, сильнаго и кроткаго, съ умной лаской или завлекательно нервнаго, смѣлаго въ порывахъ своихъ.

Вотъ и Виталій Орестовичъ, который началъ интересоваться ею... Развѣ между ними летятъ искры неудержимаго влеченья?.. Онъ хлопочетъ о ея развитіи и не замѣчаетъ, что ей отъ этого развиванія дѣлается скучно, — особой скукой, въ родѣ мелкаго дождя, — отъ разговоровъ на темы, гдѣ совсѣмъ не то говоришь, что бы въ ту минуту хотѣлось.

Ермиловъ тысячу разъ правъ! Всѣ эти „идеалисты“ ходятъ вокругъ да около настоящей жизни, искусства и литературы. Они не то любятъ, не тѣхъ поэтовъ, не тѣхъ романистовъ, не наслаждаются формой, не видятъ въ томъ, что красиво и ново, почти ничего, кромѣ предлога къ разсужденіямъ на общественные и моральные сюжеты... Всѣ книжки, какія онъ давалъ ей „штудировать“, такого же рода: умныя, полезныя, иногда новыя для нея, но совсѣмъ не такія, чтобы чтеніе ихъ вызывало между нею,

дѣвушкой двадцати одного года, и имъ, молодымъ мужчиной двадцати пяти—трепетныя минуты сочувствія, сердечныхъ неожиданностей, когда симпатія подкрадывается тайно и ждетъ только предлога, чтобы все освѣтить, все сдѣлать прекраснымъ, полнымъ очарованія...

Да и не могла бы она прильнуть къ нему душой, если бы и хотѣла, къ этому маленькому, аккуратному, отчетливо говорящему и „юркому“,—ей пришло на память это слово Ерилова,—кандидату правъ, Виталию Орестовичу Куликову.

Въ немъ она не видитъ даже искренней убѣжденности... Настоящая вѣра въ принципы знакома ей была по кружку болѣе радикальной молодежи... Тамъ—фанатики, но ужъ вплотную, безъ всякихъ заднихъ мыслей...

А Куликовъ слишкомъ чистенькій и осторожный, чересчуръ похожъ на вѣмчика, съ своей курчавой черной головой, съ узкимъ черепомъ и манерами конториста отъ Юнкера на Кузнецкомъ. Онъ—либераль и сильно поддѣлывается теперь ко всѣмъ, кто даетъ толкъ въ обществѣ, гдѣ онъ дѣлаетъ свою карьеру.

„Онъ ее и сдѣлаетъ“,—подумала Анна Гавриловна, и даже представила себѣ, какъ онъ вѣжливо и основательно, съ улыбкой и съ красивыми маленькими фразами, будетъ стоять на кафедрѣ, въ большой физической аудиторіи новаго университета, и защищать свою магистерскую диссертацию.

И слово „магистерская“ прошло у нея въ головѣ съ удареніемъ на третьемъ слогѣ, какъ дѣлаетъ Куликовъ, подражая нѣкоторымъ профессорамъ.

Нѣтъ, этотъ маленький человекъ не заполонитъ ее, не дастъ ей ощущеній любви, не покажетъ ей и подобія страсти... или глубокаго, какъ морское дно, счастья двухъ существъ, отыскавшихъ другъ друга въ дремучемъ лѣсу житейскихъ встрѣчъ и случайностей.

Ей уже давно сдается, что вѣздитъ онъ къ ней не просто, самъ предложилъ ей эти бесѣды, которыя отнимаютъ у него время. Она намекала уже ему, что готова платить ему гонораръ, хотя ей нѣтъ большой надобности въ такихъ „репетиціяхъ“... Онъ наотрѣзъ отказался.

Да, вѣздитъ не просто. Значитъ,—мѣтитъ въ женихи.

Это слово: „женихъ“ какъ будто не понравилось ей... Она брезгливо повела губами и переложила на столѣ книжки въ другомъ порядкѣ.

Неужели подползала уже и ей пора дѣлать выборъ, какъ и другимъ „барышнямъ“, дворянкамъ и купчихамъ, потому что „такъ надо“, лѣта просить этого... А то начнутъ засасывать боязнью остаться въ дѣвахъ...

Но она свободна, съ хорошимъ состояніемъ, не глупа, любить ширь... Нигдѣ, правда, еще не бывала дальше Химова или Кунцева... Но развѣ не можетъ она сдать свой домъ въ наемъ, взять тетюшку или компаньонку и поѣхать на цѣлый годъ за границу, взглянуть на красоты южнаго неба и водоворотъ Парижа?.. Вотъ такой, какъ Юрій Петровичъ, былъ бы ей чудеснымъ товарищемъ. Мужа изъ него не выйдетъ... Идти на нѣжности съ нимъ она не желаетъ... Но поѣхать съ нимъ по итальянскимъ озерамъ, провести мѣсяцъ въ Парижѣ... да это—восторги!..

Анна Гавриловна мечтала такимъ образомъ и не слышала, какъ Даша окликнула ее вторично:

— Барышня!

— Что тебѣ?

— Къ чаю прикажете поставить закуску?

— Конечно.

— Чего же изволите приказать?

— Я не знаю... Ахъ, Даша, какъ будто это въ первый разъ!..

— Ростбифа вѣтъ...

— Ну, чего-нибудь... Все равно...

Ей стало досадно на то, что Даша прервала ея мечты о Комскомъ озерѣ и парижскихъ бульварахъ... И стоитъ ли для Куликова дѣлать такіа приготовления?

— Тетюшка еще почиваетъ?—спросила она, и немного какъ будто просвѣтлѣла.

Она не любила быть нервной даже съ прислугой.

— Встали... Онѣ приказали сказать, что чай будутъ кушать у себя.

— Хорошо... ступай.

Тетюшка употребляла свой обычный маневръ не мѣшать ей быть одной съ Куликовымъ. Онъ ей понравился... Женихъ!.. И, вѣроятно, по ея соображеніямъ, пришла послѣдняя пора Анюшкѣ „вынуть свой жребій“.

— Въ которомъ часу чай?

— Ахъ, Даша! Какъ вы сегодня пристааете!.. Какъ всегда, къ девяти...

Позвонили. Даша устремилаь отворять... И она считала

Куликова женихомъ. По ея понятіямъ, иначе и не могло быть; барышня принимаетъ молодого барина по два раза въ недѣлю, и засиживаются они до полуночи съ-глазу-на-глазъ и все ведутъ разговоры, разумѣется, любовные; а книжки—только для отвода глазъ,—думалось Дашѣ.

## IX.

По главной парадной лѣстницѣ ресторана „Эрмитажъ“ поднимался Ермиловъ въ началѣ шестого. Онъ пріѣхалъ на обѣдъ, по подисскѣ товарищей и пріятелей, Ивану Никитичу Симбирцеву, по случаю его академическаго повышения.

Ермиловъ довольно давно не попадалъ въ „Эрмитажъ“—въ это, какъ онъ выражался, „государственное учрежденіе“. Съ тѣхъ поръ, послѣ пожара, многое было тамъ передѣлано. Слышалъ онъ про новый совсѣмъ видъ залы ресторана, гдѣ играетъ оркестріонъ, про плафонъ, расписанный дорогимъ художникомъ, и разныя другія украшенія приподнятаго лѣпного потолка... Въ бѣлой же залѣ подъ мраморъ, гдѣ даются большіе обѣды, онъ уже бывалъ не разъ въ послѣдніе годы.

Окраска и убранство сѣней и лѣстницы—смысь чего-то античнаго съ новѣйшей бронзой парижскаго издѣлія—заставили его усмѣхнуться. „Эрмитажъ“ оставался вѣрнѣе своему типу: переваривались тутъ всякіе стили, какъ и въ бѣдѣ, изготовляемой на его громадной кухнѣ, гдѣ двадцать поваровъ и сорокъ поварятъ, подъ надзоромъ француза-шефа, съ одиннадцати утра до четырехъ ночи отпускаютъ безконечные ряды порцій.

На широкомъ окнѣ лѣстницы, откуда подъезмы расходятся направо и налево, Ермиловъ увидалъ фотографію кухоннаго персонала, длинную и узкую, среди картонныхъ объявленій объ омарахъ, блинахъ, устрицахъ и морскихъ рыбахъ. На всѣ эти рекламы лился веселый свѣтъ изъ газовыхъ канделябръ въ рукахъ обнаженныхъ бронзовыхъ женщинъ съ египетскими головными уборами.

Запахъ обдалъ его, проникавшій сверху, давно, со студенческихъ лѣтъ знакомый ему, неразлагаемый запахъ хорошаго московскаго трактира. Все это „замолаживаетъ“ его, хотя къ бѣлымъ рубашкамъ половыхъ и ко всей этой „мѣшанинѣ“ Европы съ Азіей онъ имѣлъ мало склонности... Егоръ Петровичъ любилъ, чтобы изъ Европы переносили все „цѣликомъ, не уминчая, не передѣлывая“, и

серьезно толковалъ о томъ, какъ важно было бы открывать настоящіе бульварные кафе, съ гарсонами въ длинныхъ фартукахъ и прохладительными по строго парижскому образцу.

Но воспоминанія, кровная связь съ Москвой — брали свое...

На верхней площадкѣ Ермиловъ искренно осклабилъ лицо свое, увидавъ француза контръ-матра, съ которымъ не разъ обсуждалъ меню ужиновъ въ отдѣльныхъ кабинетахъ послѣ маскарадонъ.

— Monsieur Carotus! — окликнулъ онъ его и подаялъ ему свою породистую, дворянскую руку.

Каролусъ былъ все тотъ же и ободряюще дѣйствовалъ на всякаго неизмѣнностью своего вида.

Каждый входившій, въ томъ числѣ и Ермиловъ, могъ забывать свои годы, воображать себя, что и онъ все тотъ же, какъ и пять лѣтъ тому назадъ, и болѣе...

Съ Каролусомъ Ермиловъ поговорилъ, спросилъ его, гдѣ нынче „un diner de corps universitaire“, и узналъ, что обѣдъ въ красной комнатѣ новыхъ кабинетовъ и заказанъ на двадцать пять человѣкъ; услыхалъ онъ отъ француза и нѣкоторыя подробности о капитальныхъ передѣлкахъ; что стоилъ корпусъ новыхъ кабинетовъ съ бѣлой залой, и во что обошелся пожаръ съ теперешней малой рестораи. Потужили они о покойномъ патронѣ, основателѣ заведенія. Низковатая фигура его и хмурая голова блондина встали въ памяти Ермилова, какъ живые, за конторкой буфета... Съ тѣхъ поръ хозяйничало павое товарищество.

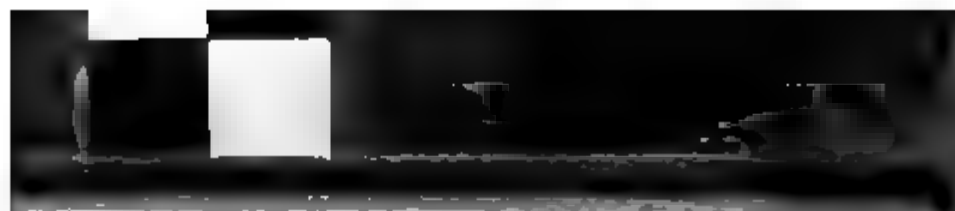
Каролусъ спросилъ его, между прочимъ, на какую сумму, полагаетъ онъ, было въ прошломъ году побито посуды на счетъ рестораи?

Ермиловъ затруднился угадать.

— Pour dix mille roubles de casse, cher monsieur, rien que de la casse!..

И французъ даже прищелкнулъ языкомъ, провожая гостя къ одной изъ арокъ большого рестораи, гдѣ обѣденное время вступило въ полный разгаръ, а помѣщающійся на хорахъ оркестріонъ билъ въ уши грохотомъ и гудѣньемъ, выдѣлывая номера изъ „Цыганскаго барона“.

Ермиловъ всталъ у буфета и оглядывалъ въ рінсе-пелѣиныя украшенія и расписной плафонъ. Съ середины по-



толка смотрѣла на него голая женщина, розовая и прикрашенная, въ условномъ декоративномъ вкусѣ.

— *Comment trouvez-vous la déesse?* — спросилъ его французъ.

— *Comme ça!* — отвѣтилъ Ермиловъ и присвистнулъ.

— *Dix mille roubles, cher monsieur!*

— *Comme la casse, alors?..*

Оба разсмѣялись шуткѣ.

Бѣлая рубашка сновала между малиновыми диванами, грохотъ оркестріона сливался съ гуломъ голосовъ. Табачный дымъ уже застилалъ пламя свѣтъ на каждомъ столѣ. Зала съ своей сѣровато-зеленой лѣпной отдѣлкой потолка и стѣнъ и хрусталиками газовыхъ люстръ болѣе дразнила, чѣмъ удовлетворяла зрѣніе, и Ермилову хотѣлось сейчасъ бы все это передѣлать по-своему.

Онъ доволенъ былъ только тѣмъ, что въ ресторанѣ обѣдали и дамы... Одна высокая шляпка съ шесткомъ изъ нестрыхъ лентъ заставила его обернуться вправо...

— *Vous m'excusez?* — шепнулъ ему торопливо французъ, котораго позвали въ кабинетъ.

— *Faites, faites!..* — отпустилъ его Ермиловъ и медленной, развалистой походкой прошелся вдоль буфета къ тому углу, гдѣ сидѣла шляпка.

Лицомъ онъ не остался доволенъ и разсудилъ, что пора и въ красную комнату... Надо было опять попасть на лѣстницу, подняться и спуститься и повернуть въ коридоръ новыхъ кабинетовъ, гдѣ группа бѣлыхъ рубашекъ ждала гостей...

— Егоръ Петровичъ! Батюшка! Пожалуйста... васъ ждемъ!

Къ нему навстрѣчу вышелъ въ коридоръ Кустаревъ, въ черномъ новомъ сюртукѣ, но въ рубашкѣ съ шитыми воротомъ, возбужденный и немного покраснѣвшій.

— Всѣ въ сборѣ?..

— Одного не хватаетъ... Мы уже начали рушить закуску.

Съ Кустаревымъ Ермиловъ не видался съ его визита на хуторъ. Ему совѣстно было, что онъ взбудоражилъ тогда ихъ съ женой, увѣренный въ томъ, что все обойдется скоро и удобно. Лилю онъ долженъ былъ оставить у Невзоровыхъ, о чемъ и написалъ ей матери. Извинился онъ и передъ Кустаревыми въ очень веселенькой запискѣ, гдѣ описалъ съ юморомъ свое собственное „шенананство“. Евменій Филипповичъ, въ отвѣтномъ письмѣ,



не сталъ ему пенять, находилъ даже, что такъ лучше, потому что Гая могла бы очень привязаться къ ребенку—и тогда бѣда. Онъ былъ тронутъ тѣмъ, что Егоръ Петровичъ остался еще на нѣсколько дней отобѣдать въ честь Симбирцева, ихъ общаго товарища по гимназiи.

Сурово-добродушный видъ Кустарева сразу наполнилъ Ермилова молодымъ чувствомъ корпоративной связи... Нужды нѣтъ, что онъ частенько, про себя, подтрунивалъ надъ университетскими москвичами, ихъ слабостью къ застольнымъ спичамъ, длиннымъ и обильнымъ разными „хорошими словами“. Но ему было прiятно въ ихъ средѣ, именно въ этомъ „Эрмитажѣ“, въ той красной комнатѣ, гдѣ онъ столько разъ ѣлъ и пилъ, и самъ произносилъ спичи, и любезничалъ съ дамами кружка.

„Давно ли это было?—вспомнилъ онъ.—Давали небольшимъ обществомъ веселый обѣдъ русскому писателю, прiѣхавшему изъ Парижа зимой. Съ какимъ аппетитомъ лакусывалъ онъ свѣжей икрой и какъ достолюбезно и тонко улыбался, сидя на почетномъ мѣстѣ, всѣмъ участвовавшимъ. И дамы говорили... Одна премиленькая курсистка составила весьма умненькій и литературно отдѣланный спичъ и вначалѣ отъ волненiя загнулась, но дошла до конца, при шумныхъ рукоплесканiяхъ...“

И давно ли это было? И писатель лежитъ на кладбищѣ, и та курсистка безслѣдно исчезла... И самъ Ермиловъ постарѣлъ на цѣлыхъ семь-восемь лѣтъ...

— Пожалуйте, пожалуйста, дружнще!—подталкивалъ его Кустаревъ, пропуская впередъ.

Они остановились передъ крайней дверью налѣво. Половой взялся за ручку, чтобы растворить.

— Все свои?—шопотомъ спросилъ Ермиловъ.

— Да... только...

Кустаревъ поморщился.

— Есть какой-нибудь „милостивый государь“?

— Именно... Сохинъ... Помните?

— Что-то забылъ.

— Онъ съ Симбирцевымъ въ университетѣ водилъ хлѣбъ-соль. Ну, узналъ объ обѣдѣ и увязался...

— А изъ какихъ онъ?

Кустаревъ на ухо Ермилова отрѣзалъ:

— Ренегатишка!.. — и прибавилъ еще одно крѣпкое слово.

— Въ массѣ—сойдетъ...

— Онъ и теперь сидитъ какъ будто оплеваннымъ. Никто съ нимъ не говоритъ.

Они вошли въ красную комнату. Гулъ голосовъ переливался вдоль длиннаго стола съ закуской. Широкий обѣденный столъ занималъ средину, — весь въ свѣтъ четырехъ массивныхъ канделябровъ.

Точно вчера еще пировалъ тутъ Ермиловъ съ москвичами... И пианино на томъ же мѣстѣ, и мебель разставлена безъ малѣйшей перемѣны.

— Вотъ и парижанины! — провозгласилъ Кустаревъ и толкнулъ Ермилова въ густой кучкѣ, занимавшей ближайшій уголъ у закуски.

— А!.. А!.. Егоръ Петровичъ!.. Съ прїѣздомъ!.. Голубчикъ!..

Начались рукопожатія и даже поцѣлуи. Съ двумя-тремя участниками обѣда Ермиловъ былъ на „ты“ — въ томъ числѣ и съ Симбирцевымъ.

Симбирцевъ первымъ поцѣловался съ Ермиловымъ... Онъ совсѣмъ посѣдѣлъ и смотрѣлъ лѣтъ на семь, на восемь старше его, но полное и румяное лицо доснилось отъ цвѣтущаго здоровья сангвиника, плотнаго, плечистаго, съ брюшкомъ... И небольшая лысина его сіяла, искрились сѣрые глазки; подстриженная четырехугольникомъ борода тоже какъ будто улыбалась.

Онъ не унывалъ и все съ тою же выносливостью тянулъ свою ляжку хорошаго работника и отца съ полдюжины дѣтей, — уходилъ съ одинаковой душевной отрадой и въ свою семейную жизнь, и въ занятія „естественника“. Онъ держался положительныхъ идей и не долюбивалъ „метафизики“; не отказывался ни отъ какого обѣда или вечеринки, но въ карты не игралъ, зато балагурилъ и рассказывалъ веселыя вещи по цѣлымъ часамъ.

И въ туалетѣ Симбирцевъ былъ своеобразенъ: въѣ службы носилъ имъ самимъ сочиненный короткій „реденготъ“, застегнутый до верху, темно-оливковаго цвѣта, а часы помѣщалъ въ наружномъ боковомъ карманѣ...

— Наконецъ-то завернулъ и къ намъ... Великій шатунъ и сластолюбецъ!.. Пройдемся по горькошпанской!

Онъ пригласилъ Ермилова широкимъ жестомъ правой руки, указывая на рядъ бутылокъ со всевозможными водками и на вазочку съ свѣжей икрой.

— Икра!.. Это — важная статья!.. — отвѣтилъ въ тонъ Ермиловъ, и ему стало еще прїятнѣе среди этихъ бѣль-

шею частью плотныхъ и рослыхъ фигуръ и возбужденныхъ бородатыхъ лицъ.

— Вонъ онъ!—шепнулъ ему Кустаревъ, у котораго не проходило нервное возбужденіе.—На томъ углу, давится семьгой.

Одинъ, на замѣтномъ разстояніи отъ остальныхъ, закусывалъ сухощавый блондинъ съ просѣдью, съ пробритой верхней губой и жидкой бородкой рыжеватаго оттѣнка, съ выдающимся подбородкомъ и толстой нижней губой. На щекахъ замѣтны были красноватые пятна. Глаза глядѣли вкось, и лицо все усмѣхалось нехорошей усмѣшкой.

— Хорошъ!..—отвѣтилъ Ермиловъ.—Какъ его фамилія?

— Да Сохинъ же!

Евменію Филипповичу невыносимо становилось присутствіе этого господина, и онъ радъ былъ бы хоть какой-нибудь тревогѣ, въ родѣ пожара, что ли, только бы не обѣдать съ этими Сохинымъ. Самому Симбирцеву онъ не выговаривалъ за то, что тотъ не устранилъ Сохина, явившагося прямо къ обѣду, безъ предварительнаго заявленія и не будучи приглашеннымъ распорядителями.

Распорядителей было двое: Кустаревъ и Куликовъ.

Только что Ермиловъ перекинулся словами, шопотомъ, насчетъ Сохина, какъ къ нему подошелъ маленькій брюнетикъ въ золотыхъ, очень блестящихъ очкахъ, чистенько одѣтый, курчавый, съ бородкой, подстриженной по модѣ очень низко.

— Имѣлъ удовольствіе встрѣчаться...—заговорилъ онъ отчетливо и быстро, тономъ благовоспитаннаго молодого чиновника.

— Monsieur Куликовъ?—освѣдомился Ермиловъ, и черезъ prince-peze прищурилъ на него свои барскіе глаза.

— Виталій Орестовичъ Куликовъ... второй распорядитель,—чай, помнишь?—окликнулъ Симбирцевъ.—Онъ тебя усадить съ кѣмъ тебѣ хочется...

—Такъ это ты посягаешь на домовладѣлицу у Патріаршихъ-Прудовъ?—подумалъ Ермиловъ.—Не дуры у тебя губы“.

Онъ особенно учтиво, какъ отлично умѣлъ съ людьми ему еще неизвѣстными, подалъ руку брюнету и сказалъ:

— Весьма радъ!

— Анна Гавриловна просила поблагодарить васъ за книгу. Она надѣется, что вы заѣдете проститься.

— Непременно.

Ермиловъ добавилъ про себя: „будто бы ужъ тебѣ наше знакомство доставляетъ такое удовольствіе?“

И онъ немножко разсердился на этого юркаго кандидата за его молодость, за то, что тотъ, быть-можетъ, сдѣлается законнымъ обладателемъ прелестнаго носика, пушистыхъ рѣсницъ, роскошныхъ волосъ и родинки на персиковой щекѣ „московской боярышни“.

Книга, за которую Вогулина прислала этого „жениха“ благодарить Ермилова, былъ именно томикъ советовъ Жозе-Маріа Эредіа. Онъ нашелся у Готье и былъ ей доставленъ прямо изъ магазина сегодня утромъ.

— Вы еще не выбрали мѣсто? — сладковато спросилъ Куликовъ. — Между кѣмъ и кѣмъ вамъ угодно сѣсть?

Ермиловъ указалъ на Кустарева и одного адвоката, державшагося пріятельски съ кружкомъ.

— Позвольте мнѣ вашу карточку... Я ее положу на бокалъ.

„Ты безъ мыльца влѣзешь“, — подумалъ Ермиловъ, и любезность Куликова стала ему довольно противна.

Онъ съ кѣмъ-то заговорилъ въ другой группѣ.

— За столъ, господа, за столъ! — раздалось приглашеніе Кустарева.

Половые уже суетились вокругъ суповыхъ чашекъ съ двумя сортами горячаго.

Комната наполнилась испареніями жирнаго раковаго супа.

Всѣ шумно стали разсаживаться, продолжая начатые разговоры.

Сохинъ втерся въ сосѣдство Симбирцева и Кустарева, на почетномъ углу стола.

## X.

Спичи начались со второго блюда — разварной рыбы.

Раздался стукъ ножа о стаканъ. Первымъ всталъ Кустаревъ. Онъ не отличался склонностью къ застольнымъ рѣчамъ, но тутъ случай былъ особенный: Симбирцева онъ любилъ и видѣлъ въ немъ рѣдкій, между русскими, примѣръ челоѣка, нашедшаго свой устойчивый базисъ, уравновѣшеннаго по натурѣ, выносливаго въ работѣ, способнаго „переждать“ самыя крутыя времена, не смущеннаго тѣмъ, что уже нѣсколько лѣтъ вѣяло другимъ духомъ, философа на свой ладъ, безъ риска и безъ компромиссовъ.

Частенько Кустаревъ завидовалъ такому душевному складу Симбирцева, завидовалъ тому, что онъ, „естественникъ“, занимаетъ кафедру, не зависящую ни отъ какихъ перемѣнъ вѣтра, имѣетъ дѣло съ вѣчными законами природы. Но, завидуя, онъ зналъ про себя, что онъ самъ и „естественникомъ“ не удержался бы и ушелъ бы со службы.

Кустаревъ говорилъ не цвѣтисто, своимъ хриплымъ, задушевымъ баскомъ. Видно было, что онъ задумалъ одинъ только остовъ спича. а потому мѣстами импровизировалъ, обращая часто къ Симбирцеву на „ты“ и вставлялъ два-три воспоминанія студенчества и первыхъ шаговъ на академическомъ поприщѣ.

Ему хотѣлось высказать то, что вотъ они опять вмѣстѣ и хотя имъ подчасъ и приходится „жутко“, но надо держаться и брать примѣръ съ Симбирцева. Если уже черезчуръ трудно сдѣлаться „кроткимъ какъ голубица“, то надо быть „мудрымъ какъ змѣй“ и не давать себя на съѣденіе зря,—припрятать юношескую пылкость для лучшихъ оказій.

Слушая пріятеля, Ермиловъ сидѣлъ съ полужакрытыми глазами.

При первыхъ словахъ Кустарева онъ нагнулъ голову и даже закрылъ совсѣмъ глаза. Ему дѣлалось почти подѣтски стыдно, когда кто-нибудь изъ близкихъ ему лицъ начиналъ произносить рѣчь. Онъ боялся и того, что Кустаревъ скажетъ что-нибудь слишкомъ рѣзкое, рискованное, отъ чего его попросятъ, пожалуй, переселиться и изъ подмосковнаго хуторка. Тутъ же еще этотъ Сохинъ, котораго самъ Кустаревъ обозвалъ „ренегатишкой“.

Но спичъ Евменія Филипповича начинался вовсе не такъ. Ермилову стало легче; потомъ онъ совсѣмъ раскрылъ глаза, вздѣлъ свое рінсе-пез и началъ, прищуриваясь однимъ глазомъ, слѣдить за лицами обѣдавшихъ.

„Да вѣдь онъ себѣ самому нотаціи читаетъ, — думалъ Ермиловъ, и ему тотчасъ вспомнился разговоръ съ его родственникомъ, въ губернскомъ городѣ, за чаемъ. — Это тѣ же совѣты, только въ другой формѣ“.

„Въ добрый часъ, — одобрялъ онъ мысленно Евменія Филипповича, — такъ-то гораздо лучше! Хорохориться нечего! Надо выждать, какъ дѣлаетъ Симбирцевъ и всѣ истинно умные люди“...

Глаза Ермилова невольно повернулись въ ту сторону, гдѣ, поближе къ Симбирцеву, присосѣдился Сохинъ.

Его нижняя губа выпятилась, щеки—нечистой кожи и съ красными пятнами—перекосились въ усмѣшку, глаза были скошены, все выраженіе говорило о томъ, что его внутренно дергало въ ту минуту; ему было и неловко, и злился онъ на себя за эту неловкость, и хотѣлъ взять развязностью, но никто къ нему не обращался, и вотъ онъ съ усмѣшкою и увѣренностью человѣка, вступившаго на твердую почву, относился къ этому profession de foi Кустарева, готовый крикнуть ему: „что, пріятель, сбрендиль?“

Обо всемъ этомъ догадался Ермиловъ, и что-то ему подсказало, что присутствіе Сохина даромъ не пройдетъ.

Евменій Филипповичъ не могъ, однако, выдержать снеча въ томъ же духѣ до конца. Онъ закончилъ, приподнявъ и тонъ рѣчи, и звукъ голоса, указаніемъ на то: какъ рѣдки теперь люди, оставшіеся вѣрными себѣ, какъ часты перебѣжчики...

Ему ужасно захотѣлось бросить взглядъ на Сохина, — тотъ сидѣлъ противъ него, — но онъ этого не сдѣлалъ.

Ермиловъ завожился на стулѣ, не выдержалъ и, обратившись къ своему сосѣду-адвокату, шепнулъ:

— Дѣло портится!

Тотъ кивнулъ ему головой.

Голосъ Кустарева задрожалъ, и нѣсколько фразъ было сказано такъ, что Ермиловъ опять закрылъ глаза.

Сильныя рукоплесканія раздались съ обоихъ концовъ стола, и къ Симбирцеву потянулись съ бокалами, жали руки, шли цѣловаться; благодарили и Кустарева, чокались съ нимъ всѣ. Сохинъ протянулъ свой бокалъ къ Симбирцеву и сказалъ ему голосомъ старой женщины — онъ былъ почти безъ зубовъ — и съ косою усмѣшкой:

— Ну, братъ, — разразись теперь и ты...

Никто больше съ Сохинымъ не чокался, что Ермиловъ подмѣтилъ.

Когда всѣ опять разсѣлись и принялись за куски филе съ шампиньонами, вышла малепькая пауза, чуть-чуть достаточная, чтобы хорошенько пережевать два-три куска.

Сосѣдъ Ермилова, адвокатъ, говорилъ безъ умолку, спрашивалъ его о „заграницѣ“, сожалѣлъ, что „каверзные дѣла“ не позволяютъ ему поѣхать „хоть на осень“ въ тотъ самый Біаррицъ, гдѣ „зимуютъ раки по части дамскаго поля“.

Онъ же называлъ ему и нѣсколько именъ участниковъ

обѣда, которыхъ Ермиловъ или совсѣмъ не зналъ, или немного позабылъ.

— А это кто? — спросилъ Ермиловъ сосѣда и указалъ ему головой въ уголъ стола.

Рядомъ съ знакомымъ ему фельетонистомъ — съ наружностью степного помѣщика — сидѣлъ, весь сгорбившись и уйдя головой въ широкій воротникъ рубашки, страннаго вида человѣкъ, неизвѣстно какихъ лѣтъ — отъ тридцати и до пятидесяти.

Голова съ приподнятымъ затылкомъ, узкая и длинная, плоскіе, темные, гладко причесанные за уши, довольно жидкіе, съ проборомъ посрединѣ, волосы, самъ бритый, бѣлолицый, съ тонкимъ длиннымъ носомъ и широкимъ ртомъ — нѣчто напоминающее католическаго патера или американскаго пастора. Глаза онъ подолгу держалъ опущенными и поднималъ ихъ быстро, мигалъ нѣсколько разъ и устремлялъ потомъ въ пространство продолжительный, затуманенный взглядъ своихъ темно-голубыхъ, красивыхъ глазъ.

— Вонъ тотъ?

— Да,

— Это — одинъ фификусъ... землевладѣлецъ, живетъ въ Москвѣ года съ два. Съ университетскими дружить. Говорятъ, десять лѣтъ какую-то книжку пишетъ о предѣлахъ и возможностяхъ счастья на землѣ.

— Вы это серьезно? — спросилъ сухо Ермиловъ, не любившій московскаго, дешеваго зубоскальства.

— Совершенно серьезно. Я самъ не читалъ, да онъ никому и не показываетъ, а ребята сказывали.

— И его фамилія?

— Гремушинъ, Павелъ Павловичъ. Если угодно, я васъ познакомлю послѣ обѣда. Это, — адвокатъ сталъ говорить на ухо Ермилову, — одинъ изъ Тяпкиныхъ-Ляпкиныхъ, до всего своимъ умомъ дошелъ, потому-молъ, что проглотилъ книгу „Іоанна Масона“. А впрочемъ, человѣкъ по-своему умный и много читалъ, хотя въ простотѣ словечка не скажетъ, все притчами...

Раздался вновь стукъ ножа о стаканъ. Ему вторилъ другой. Сосѣдъ Ермилова примолкъ, и они оба обернулись въ ту сторону, откуда исходилъ главный стукъ ножемъ.

Поднялся Куликовъ, съ улыбочкой поглядѣлъ сначала на всѣхъ вправо и влево, затѣмъ въ шампанское своего

бокала и заговорилъ дробью, отчетливо, съ переливами голоса бойкаго магистранта, отчеканивающаго свою пробную лекцію „pro venia legendi“.

Мимо ушей Ермилова проскальзывали слова, давно ему извѣстныя: готовыя фразы о „солидарности“, „alma mater“, о томъ, что „много званныхъ и мало избранныхъ“ и еще о чемъ-то.

— Изъ молодыхъ, да ранній!—шепнулъ ему адвокатъ.

И тутъ онъ даже обрадовался прибавкѣ сосѣда—такъ Куликовъ былъ ему несимпатиченъ.

Не скоро кончилъ „развиватель“ прелестной Анны Гавриловны. Ермиловъ продолжалъ болтать съ сосѣдомъ, и на этотъ разъ—вопреки привычкамъ своей воспитанности—даже обернулся бокомъ къ оратору.

Изъ заключительной тирады долетѣли до него фразы, гдѣ было все: и „община“, и „самодѣтельность общества“, и „надежда лучшихъ людей“, и еще что-то...

— И все это онъ вретъ,—шепнулъ адвокатъ,—просто желаетъ поддѣлаться къ этимъ господамъ и поскорѣе выйти самому въ заправскіе ученье.

— Безъ всякаго сомнѣнія! — почти громко сказалъ Ермиловъ, хлопать не сталъ и не пошелъ чокаться съ Куликовымъ.

Но тотъ сидѣлъ противъ него, и очень ужъ неловко было не протянуть ему своего бокала черезъ столъ и чуть слышно не сказать:

— Ваше здоровье!

Пауза послѣдовала значительная. Всѣ занялись артишоками. Это была та минута, въ обѣдахъ съ рѣчами, когда у многихъ чешется языкъ, но разбираетъ робость, или не хочется выскочить прежде другихъ, или ждутъ, чтобы „виновникъ торжества“ сначала отвѣтилъ.

Этой именно минутой воспользовался Сохинъ.

Онъ всталъ безъ стука ножомъ, тихо и какъ-то бокомъ, съ бокаломъ въ рукахъ, и выговорилъ, шамкая немного:

— Прошу позволенія сказать нѣсколько словъ.

Всѣ подняли головы, не доѣвъ блюда, и съ дурно скрываемымъ недоумѣніемъ примолкли.

Говорить Сохинъ умѣлъ. Шамкая и растагивая слова, сдѣлавъ онъ обращеніе къ Симбирцеву, также на „ты“, какъ и Кустаревъ, но въ тонѣ старшаго товарища, который руководилъ имъ когда-то, почти какъ наставникъ, желающій прочесть легкое правоученіе.



Всѣ это такъ и поняли. Кустаревъ закусилъ губы, сталъ блѣднѣть и переглянулся съ Ермиловымъ.

„Будетъ буря“,—подумалъ тотъ.

А Сохинъ продолжалъ. Онъ припомнилъ вкратцѣ смыслъ рѣчи Кустарева и съ легкимъ подсмѣиваніемъ похвалилъ и его, и его „единовѣрцевъ“ — такъ онъ выразился — за то, что они „взялись за умъ“ и поняли, какъ смѣшно ставить свое высокомеріе и „политиканство“ выше „историческаго теченія событій“, выше того „уклада“, которому русское общество должно отнынѣ неустанно слѣдовать...

Но онъ этимъ не ограничился, а призвалъ всѣхъ этихъ „взявшихся за умъ“ очистить себя, искренно и всенародно прильнуть къ общему теченію, а не держать камня за пазухой, и быть „мудрымъ какъ змій“ вовсе не за тѣмъ, чтобы жалить въ благопріятную минуту.

На этихъ словахъ онъ протянулъ свой бокалъ къ Симбирцеву и провозгласилъ тостъ за „истинную науку, посѣвающую единство, а не раздоръ и каверзу!“

Никто не издалъ ни одного рукоплесканья, и Сохинъ сѣлъ, красный, съ улыбающимся лицомъ, гдѣ было написано: „Я, молъ, свое сказалъ — и вы все это съѣли; мнѣ больше ничего и не надо“.

Къ Ермилову наклонился черезъ столъ совсѣмъ лысый человѣкъ, лѣтъ сорока, съ забавнымъ лицомъ юмориста, и тихо декламировалъ:

— *Desinit in piscem mulier formosa superne!* Настоящая сирена!

— Именно!—подхватилъ адвокатъ, не забывшій школьную латынь.

Между тѣмъ раздраженіе начало разбирать всѣхъ. Симбирцевъ всталъ, порывисто, съ сіяющимъ лицомъ, и началъ благодарить друзей, по привычкѣ весело балагурия и остря.

— *Il sauve la situation!*—прошепталъ Ермиловъ на ухо адвокату.

Взрывы хохота прерывали импровизацію добраго и стойкаго весельчака.

— Мы хоть лыкомъ шиты, — закончилъ онъ, — а свою линію ведемъ. Въ „невѣсты“ мы, правда, не годимся, но я все-таки сравню насъ съ тѣми дѣвами, которыя свѣтильники свои не загасили.

За нимъ говорило еще нѣсколько человѣкъ; спичъ

Локина былъ какъ будто забытъ; но впечатлѣніе осталось. Не одинъ Ермиловъ боялся, что Кустаревъ не выдержать.

Когда послѣ чая и кофе зашумѣли стульями, многіе подумали: „Ну, слава Богу, прошло безъ исторіи“.

Кустаревъ все время молчалъ; похлебывалъ только изъ своего стакана и по временамъ блѣднѣлъ. Его помощникъ, Куликовъ, черезъ столъ угощалъ всѣхъ сигарами.

Со стола прибрали. Всѣ уѣхали по группамъ.

## XI.

Около піанино разсѣлся посрединѣ Симбирцевъ и около него, кружкомъ, Кустаревъ, тотъ классикъ съ забавнымъ лицомъ, сказавшій Ермилову латинскій стихъ, Куликовъ, фельетонистъ и еще какіе-то двое... Остальные разбрелись по разнымъ угламъ комнаты, сдѣлавшейся еще болѣе просторной, когда половые убрали закусочный столъ.

Адвокатъ свелъ Ермилова съ Гремушинымъ и оставилъ ихъ на диванѣ.

— Вы сравнительно недавній членъ кружка? — спросилъ Гремушина Ермиловъ любезнѣйшимъ тономъ перваго знакомства и глядя на него мягкими глазами.

Пріатели Егора Петровича называли эту манеру: „Ермиловъ нащупываетъ интереснаго человѣка“.

— Да развѣ это кружокъ? — спросилъ тотъ высокимъ теноромъ, подходящимъ къ его бритому лицу. — „Ein кружокъ in der Stadt Moskau“?!

Онъ разсмѣялся, немного всхлипывая.

Этотъ смѣхъ не понравился Ермилову.

— А какъ же? Есть еще ядро... Но противъ прежнихъ лѣтъ не тотъ уже подъемъ духа.

Бритый человѣкъ искоса взглянулъ на него. Лицо очень быстро послѣ смѣха приняло серьезное, почти грустное выраженіе. Медленнымъ, тягучимъ голосомъ онъ говорилъ:

— Совершенно бесполезно повторять все тѣ же пріемы прекраснодушія... время Бѣлинскаго... Это только выказывать свою слабость...

Ермиловъ кивнулъ утвердительно головой.

Онъ далъ чудаку (такъ онъ опредѣлилъ уже Гремушина) высказаться и слушалъ его съ пріятнымъ и почтительнымъ наклономъ своей бѣлокурой, подстриженной головы.

Бритый человекъ началъ развивать свою мысль все тѣмъ же замедленнымъ темпомъ и высокимъ звукомъ голоса. Онъ сдѣлалъ намекъ на Сохина и его коварный и нахальный спичъ.

— *Il paraît d'audace*, — сказалъ Ермиловъ и прибавилъ: — онъ чувствуетъ, что сила — за нимъ.

— Конечно, — протянулъ Гремущинъ и продолжалъ логически выводить заключенія изъ своихъ предпосылокъ.

Въ немъ Ермиловъ тотчасъ же почувалъ человека дѣйствительно много думавшаго и начитаннаго, и притомъ „на свой салтыкъ“.

„Ты не университетскій, — опредѣлилъ онъ, — а самоучка, и былъ гдѣ-нибудь въ спеціальномъ заведеніи, а потомъ доучивался за границей“.

— Позвольте маленькій вопросъ. Вы долго жили на западѣ?

— Не очень долго; но порядочно... больше всего въ Парижѣ и во французской Швейцаріи.

Онъ сообщилъ, что даже привыкъ писать по-французски.

И не покидая нити своихъ обобщеній, новый знакомый Ермилова опять вернулся къ спичу „ренегатишки“ и сказалъ, немного понижая тонъ:

— Онъ не только сильнѣе ихъ... главное, новѣе. Съ такими отступниками трудно бороться всѣмъ тѣмъ, кто не идетъ дальше идей, раздѣляемыхъ „хорошими“ москвичами.

— Не хотите ли пройтись? — предложилъ Ермиловъ.

Они стали прохаживаться вдоль оконъ за обѣденнымъ столомъ.

У піанино разговоръ дѣлался оживленнѣе. Ермиловъ прежде всего слышалъ шамкающій голосъ Сохина.

Оба они въ разъ поглядѣли туда, и Гремущинъ тихо сказалъ:

— Какъ всѣ ренегаты, онъ не скоро истощитъ свое нахальство.

Вдоль стола они повернули къ группѣ, окружавшей Симбирцева, и остановились за стульями.

Сохинъ, еще болѣе возбужденный — онъ выпилъ рюмки двѣ ликера за кофе — подсѣлъ плотно къ Симбирцеву, такъ что ихъ колѣни прикасались, и говорилъ съ взрывами нехорошаго смѣха, сильно жестикулируя обѣими руками.

— Да ты, Ванюша, не увертывайся, — слышали они, когда приблизились и встали за стульями, — не хорошо, душа моя! Ты вѣдь, какъ гдѣ-то Кузьма, что ли, Прутковъ, сказалъ:

Воспѣлъ Гарибальди,  
Воспѣлъ и Франческо!

— Это какъ? — спросилъ Симбирцевъ и повелъ смѣшно глазами.

Онъ хотѣлъ придать разговору шутливый тонъ, замѣчая, что Кустаревъ стоялъ совсѣмъ блѣдный, съ блестящими зрачками, устремленными вѣсь на Сохина.

Тотъ не унимался.

— А то какъ же? — возразилъ онъ. — Ха-ха!.. Нечего отзываться неразуміемъ. Ты, естествоиспытатель, ки-чишься, какъ и всѣ вы, натуралисты, тѣмъ, что ничего больше законовъ природы не признаешь и признавать не хочешь...

— Когда я это говорилъ, братецъ? — нѣсколько нетерпѣливо прервалъ Симбирцевъ.

— Долженъ такъ рассуждать, иначе какой же ты испытатель естества? Хе-хе!.. А между прочимъ ты, въ угоду извѣстной и, между нами, выдохшейся тенденціи, повторяешь гуманно-либеральную канитель, ничего общаго съ законами природы и социологіи не имѣющую! Какъ же я не въ правѣ повторить, что ты —

Воспѣлъ Гарибальди,  
Воспѣлъ и Франческо!

— Заврался, братъ! — вскричалъ Симбирцевъ и хлопнулъ его по колѣну.

— Это не аргументъ, а только выходка „амикошонства“. Ты дарвинистъ?

— Къ чему же тутъ Дарвинъ?

— Нѣтъ, да ты мнѣ скажи: дарвинистъ ты или нѣтъ?.. Большой опасности въ этомъ нѣтъ, да я и не пойду на тебя доносить... Хе-хе!..

— Ну, дарвинистъ, а потомъ что?

— Коли ты дарвинистъ, слѣдственно ты долженъ признавать право сильнаго, быть сторонникомъ желѣзнаго канцлера и въ развитіи культурныхъ искусствъ видѣть одно: торжество извѣстныхъ законовъ, а не соваться съ либерализмомъ или радикализмомъ и всякими другими „измами“. Такъ или нѣтъ?

— И такъ, и не такъ, — отшутился Симбирцевъ.

Онъ не замѣтилъ, что Кустаревъ прошелся рукой по волосамъ и хотѣлъ вскочить съ мѣста, но его удержалъ сидѣвшій около него классикъ.

— Нѣтъ, именно такъ, Ванюша... Ты и прежде не былъ особенно твердъ въ логическихъ построеніяхъ, когда мы съ тобой процвѣтали у Гофманши въ номерахъ и ты похаживалъ въ лабораторію. Именно такъ, душа моя, только ты хочешь быть въ ладу съ твоими благопріятелями, да чтобы и молодежь тебя ублажала. Служишь не истинѣ, а выдохшейся...

Ему не далъ докончить Кустаревъ.

Онъ началъ говорить, заикаясь, что у него являлось всегда въ припадкахъ сильнаго возбужденія.

— Сохинъ!—сильно и глухо началъ онъ.

Ермиловъ переглянулся съ Гремушинымъ, хотѣлъ сказать пріятелю шопотомъ: „не стѣнь!“—но не сказалъ.

— Вы втерлись сюда, на этотъ обѣдъ, безъ всякаго приглашенія, вамъ здѣсь не мѣсто. Мы терпѣли ваше присутствіе, не желая нарушить праздника, изъ уваженія къ нашему другу Симбирцеву...

— Чего-съ?—смѣшливо спросилъ Сохинъ и вскинулъ на Кустарева своими воспаленными вѣками.

— Вонъ!.. Сейчасъ вонъ!..

Возгласы Кустарева были такъ стремительны и сильны, что у всѣхъ по спинѣ прошла нервная дрожь.

Классикъ и Куликовъ, сидѣвшіе по бокамъ его, испугались, какъ бы онъ не кинулся на Сохина.

Тотъ успѣлъ уже встать и отодвинуть стулъ.

Всѣ обомлѣли. Сохинъ могъ понять только одно, что его защищать и даже удерживать никто не будетъ.

— Вонъ!—повторилъ еще разъ Кустаревъ, подбѣжалъ къ двери и растворилъ ее порывистымъ движеніемъ.

Сохинъ выпрямился, оглянулъ всѣхъ, скосилъ ротъ и скороговоркой сказалъ, уходя, Симбирцеву:

— Спасибо, Ванюша!.. Мы послѣ сочтемся съ тобой... Свои люди...

Минута была такая, что даже старшій половой, принеся сдачу съ сторублевки, сталъ у двери точно прикованный къ полу и растерянно оглядывался.

Дверь шумно захлопнулась за Сохинымъ.

Кустаревъ подошелъ къ Симбирцеву, и, все еще заикаясь, выговорилъ:

— Извини, голубчикъ... Но, клянусь, я не могъ!..

— Туда ему и дорога!—сказалъ Симбирцевъ.

Онъ и другіе встали съ своихъ мѣстъ. И вдругъ на всѣхъ, кромѣ Кустарева, спросившаго сельтерской воды, напало чувство унылой тревоги.

Порядочно испугаться никто еще не успѣлъ, но у многихъ явился въ душѣ возгласъ:—„Эхъ, напрасно! Не тѣ времена!..“

Ермиловъ перемолвился съ Гремущинымъ нѣсколькими словами въ томъ же духѣ. Кустарева онъ не могъ хвалить за эту сцену, но и пенять ему не считалъ себя въ правѣ.

— Вы собираетесь?—спросилъ онъ Гремущина.

— Пора.

Взглядъ Гремущина какъ бы говорилъ ему:—вотъ видите, все это вовсе не выраженіе силы. Сохинъ не останется въ долгу, и всѣ будутъ жалѣть.

— Мнѣ нужно только разсчитаться,—сказалъ ему Ермиловъ.

Онъ обратился къ Куликову и спросилъ, сколько съ него слѣдуетъ.

Юркій кандидатъ, вмѣсто простого отвѣта, отвелъ его въ уголокъ и проговорилъ:

— Извините, вы—пріѣзжій гость, очень сожалительно. Негодованіе Емменія Фидилловича исполнѣ понятно...

— Вы еще здѣсь побудете? — перебилъ его Ермиловъ, желая узнать, собирается ли тотъ послѣ обѣда къ Вогулиной.

— Я долженъ, какъ второй распорядитель...

„И прекрасно, мой милый!“ — подумалъ Ермиловъ, подавая ему руку.

Онъ удалился по-французски, ни съ кѣмъ не простившись, и въ коридорѣ нагналъ Гремущина.

Ихъ платье висѣло на главномъ подъѣздѣ.

— Задерживательныхъ центровъ нѣтъ, — сказалъ тономъ наставника Гремущинъ. — Благородно, но вредно, — да еще, вдобавокъ, служить доказательствомъ слабости.

Внизу, когда служители въ сибиркахъ отыскивали ихъ калоши и подавали платье, Ермиловъ сказалъ новому знакомому:

— Мы не въ послѣдній разъ видимся, надѣюсь?

— Здѣшній обыватель... Дома всегда отъ трехъ до пяти...

И онъ далъ свой адресъ.

— Меня же вы, конечно, совсѣмъ не знали и не слышали даже, — произнесъ Ермиловъ игриво, обмѣниваясь карточками и надѣвая свой парижскій цилиндръ.

— Напротивъ... Наслышанъ...

— Какъ о большомъ грѣшникѣ?..

— Немножко, да.

— И это васъ не смущаетъ?

— Нисколько... Я вывелъ изъ всей своей жизни такой афоризмъ: пріятные люди только тѣ, кто пороченъ, больше или меньше, — и лучше больше, чѣмъ меньше.

Онъ докончилъ фразу своимъ дѣтскимъ смѣхомъ.

— Ха-ха! — вторилъ ему Ермиловъ. — Это прекрасный афоризмъ и комплиментъ.

Вышли они вмѣстѣ на крыльцо противъ Цвѣтного бульвара. Ермиловъ взялъ тутъ же извозчика и крикнулъ:

— На Патріаршіе, сорокъ копеекъ!

Ему видѣлись уже издали щечки, глазки и шейка Анны Гавриловны. Конецъ вечера онъ будетъ ей читать сонеты Эредіа, а тамъ шустрый кандидатъ сиди себѣ съ своимъ патрономъ и улаживай свою карьеру!

„Завтра пора и въ Петербургъ“, — подумалъ онъ, и съ дрожекъ машинально обернулся. Подъ навѣсомъ подъѣзда все еще стояла нѣсколько согнутая фигура бритаго человека въ поярковой шляпѣ.

## ХІІ.

Павелъ Павловичъ Гремущинъ стоялъ подъ навѣсомъ подъѣзда, старательно надѣвая перчатки, и думалъ: вернуться ему или нѣтъ въ шинельную рестора́на и тамъ причесать себѣ волосы, на что онъ, при Ермиловѣ, не рѣшился.

Кто сталъ бы, во время обѣда, присматриваться къ тому, какъ онъ одѣтъ, нашелъ бы, что на немъ все было новое, почти съ иголки, чистое и хорошо сшито. Отложной воротникъ рубашки блестѣлъ, галстукъ былъ темный, но съ изящнымъ рисункомъ атласа и съ дорогой булавкой. Въ шинельной Гремущинъ могъ, кромѣ прически, заняться и вообще своею внѣшностью. Ему ужасно не нравилась краснота его щекъ, хотя издали онъ каждому казался скорѣе блѣднымъ, чѣмъ съ краснотой на лицѣ. У него всегда имѣлась въ жилетномъ карманѣ пудра въ табакеркѣ изъ слоновой кости, съ маленькой пуховкой. Когда ему казалось, что у него выступаютъ на

щекахъ пятна, онъ всегда улучалъ минуту, чтобы по-пудрить себѣ щеки.

Красныя пятна Сохина, за обѣдомъ, не разъ наводили его на непріятное сближеніе съ собственной наружностью.

„Вотъ и у меня, пожалуй, такъ же“,—думалъ онъ и незамѣтно для другихъ проводилъ ладонью по щекѣ.

Но въ немъ пересилило стыдливое чувство передъ чужими, въ шинельной. Онъ сошелъ съ подѣзда и повернулъ пѣшкомъ по Неглинной, пересѣкъ улицу и тихимъ шагомъ двигался по бульвару.

„Она, навѣрно, дома, — думалъ онъ, спуская голову ниже, чѣмъ ее обыкновенно держать на улицѣ. — Теперь часъ удобный, не больше восьми. И, кажется, сегодня ея день. Какъ жаль, что не готовъ томикъ Бодлера! Я скажу, что за этимъ, нарочно, и зашелъ: извиниться, сообщить, что къ суботѣ переплетчикъ обѣщаль“...

У Павла Павловича была общая съ Ермиловымъ охота къ дорогимъ художественнымъ переплетамъ. И вообще онъ—большой собиратель.

Не можетъ онъ набраться духа—заѣзжать или заходить къ ней безъ этихъ совершенно дѣтскихъ колебаній, безъ какой-то новой застѣнчивости, которой у него нѣтъ въ характерѣ.

Онъ обидчивъ и подозрителенъ—да, но не застѣнчивъ. Съ людьми нельзя не быть осторожнымъ и нельзя прощать имъ всѣ не деликатности и грубости, какими полны теперь отношенія людей, считающихъ себя культурными.

Павелъ Павловичъ, про себя, находитъ всю „культуру“, не въ одной Россіи, но и вездѣ, за границей, чрезвычайно первобытной и любить приводить мнѣніе японцевъ, посланныхъ въ Европу и нашедшихъ, что европейцы—совершенные варвары, потому что выставляютъ напоказъ говяжьи туши въ мясныхъ лавкахъ, сморкаются въ куски холста, которые сейчасъ же послѣ того прячутъ въ карманы, и съ такой гадостью ходятъ потомъ цѣлые дни.

Застѣнчивость и просто робость, близкая къ трусости, разбирала его и теперь. Но эта тревога всегда даетъ ему неизвѣданныя ощущенія; онъ забываетъ, что ему сорокъ лѣтъ; онъ не согласенъ былъ бы освободиться, сразу и навсегда, отъ подобныхъ чувствъ.

„Можно бы взять извозчика. Идти довольно далеко: пройти по всему Кузнецкому и черезъ Фуркасовъ пере-



улокъ на Мясницкую; да и оттуда еще порядочный кончикъ“...

Не любить онъ также и подниматься къ ней въ высокой второй этажъ новаго капитальнаго дома, гдѣ, однако, лифта не заведено.

Онъ знаетъ, что робость его будетъ все расти, съ каждой ступенькой, и дойдетъ до спазмъ — съ замираніемъ сердца на второй площадкѣ, передъ высокой дверью, покрытой темною краской подъ лакомъ, съ матовой бронзовой доской, гдѣ онъ непременно про себя прочтетъ — вверху дощечки: „Mademoiselle D. Carus“, а внизу: „Доротея Васильевна Карусъ“.

Пока человѣкъ отворить дверь, онъ изноетъ.

Все это онъ впередъ видѣлъ, и это-то влекло его къ Кузнецкому и далѣе, по Фуркасову переулку.

Давно ли они знакомы? Какихъ-нибудь три недѣли... Онъ ее еще не знаетъ. Эта дѣвушка — богатая, свободная, живущая какъ молодая дама — полна для него таинственности и притягательной силы.

Она чувственна... Стоить только бросить хоть бѣглый взглядъ на ея лицо, глаза, губы, станъ. Въ ея жилахъ течетъ смѣшанная кровь, дающая часто самые рѣдкіе экземпляры породистой расы. По отцу она иностранка. Имя — нѣмецкое; но, кажется, отецъ былъ что-то въ родѣ венгерца... Ему говорили объ этомъ... Мать — русская, съ юга, откуда-то изъ Бессарабіи или Одессы, барскаго рода, кажется, даже княжна съ восточной или румынской фамиліей.

И голосъ — этотъ низкій, хищный голосъ...

„Хищный“, — повторялъ онъ уже много разъ, ходя у себя по кабинету, и не въ силахъ былъ оторваться отъ чисто физическаго ощущенія звука у него въ головѣ, какъ то бываетъ въ болѣзненныхъ состояніяхъ внутренняго уха, или когда примешь большую дозу хинина.

Къ музыкѣ Гремушинъ былъ всегда равнодушенъ, давно считалъ ее „низменнымъ“ искусствомъ, нимало не радовался тому, что стали въ русскихъ столицахъ и повсюду предаваться „запоемъ“ дилетантству, учиться въ консерваторіяхъ, бѣгать по концертамъ, точно выполняя какой-то высшій патріотическій долгъ.

По его толкованіямъ выходило всегда, что музыка развивается въ обществѣ въ ущербъ умственному труду, литературѣ, всѣмъ другимъ видамъ искусства. Слушать му-

чуку, — разсуждалъ онъ про себя и доказывалъ въ спорахъ, — это значить ни о чемъ опредѣленно и логически не думать, а отдаваться волненію чувственности или мечтаній, безформенныхъ, растлѣвающихъ, вредныхъ.

И вотъ голосъ женщины заговорилъ ему о чемъ-то неслыханномъ для него, захватилъ его, привелъ въ состояніе, близкое къ гипнозу. Когда онъ, вернувшись отъ нея, въ первый вечеръ, хотѣлъ найти настоящее опредѣленіе этого дѣйствія — онъ началъ искать французскихъ, болѣе рельефныхъ выраженій, и у него вышла, даже вслухъ, фраза:

— Elle a des troublances suggestives.

Онъ не увѣренъ — можно ли сказать по-французски „troublance“; но эта фраза говорила именно то, что голосъ и наружность Доры — такъ ее зовутъ сокращенно — внесли въ его существо.

Въ первый разъ онъ не сказалъ ничего женѣ о своемъ знакомствѣ съ Дорой Васильевной Карусъ — не то чтобы скрылъ умышленно, съ задней мыслью, а точно его что-то особенное удержало... Про посѣщенія свои днемъ и вечеромъ — тоже ничего не сказалъ.

Около двадцати лѣтъ женатъ онъ и никогда еще не зналъ, даже и до женитьбы, такой внѣшней тревоги, какая наполняла его, все явственнѣе, по мѣрѣ того, какъ онъ подходилъ къ капитальному дому съ каріатидами, выстроенному какимъ-то табачнымъ торговцемъ.

Переулочъ остался позади. Онъ на Маросейкѣ... Еще минутъ пять — и на углу встанетъ домъ, и вечеромъ не теряющій своей розовой окраски.

Павелъ Павловичъ ускорилъ шагъ, заправилъ за правое ухо прядь длинныхъ волосъ и вошелъ въ сѣни, гдѣ швейцаръ носить не чулку, по московской модѣ, а коричневую шинель, и уже знаетъ его. Каждый разъ, уходя изъ квартиры номеръ пятый, онъ опускалъ ему въ руку два двугривенныхъ.

И эта слишкомъ большая дань заставляла его чуть не краснѣть.

— Дома Доротея Васильевна? — спросилъ онъ бойко, своимъ высокимъ теноркомъ.

Швейцаръ могъ принять его за очень смѣлаго и увѣреннаго въ себѣ барина. А у него положительно замерло въ груди отъ ожиданія: дома или нѣтъ. Вѣдь онъ пошелъ на авось... Кажется, она ему говорила, въ послѣдній разъ,

про какой-то день въ недѣлю, когда бываетъ дома; но онъ дѣлается въ ея присутствіи до-нельзя разсѣяннымъ... Онъ могъ дома возстановлять въ памяти только общій колоритъ впечатлѣній и отрывочныя фразы, но ничего отчетливо не помнилъ изъ того, что она ему говорила.

— Пожалуйста... У нихъ сегодня пріемъ.

— По средамъ, значитъ?

— По средамъ, завсегда.

Такъ это его обрадовало, что онъ порывисто протянулъ руку къ швейцару и шопотомъ сказалъ ему:

— Пожалуйста, голубчикъ, снимите съ меня... Я здѣсь оставляю пальто.

Сѣни отапливались, и онъ это вообще дѣлалъ. Противъ вѣшалки висѣло длинное зеркало. Оно соблазнило Гремущина. Поспѣшно вынулъ онъ изъ кармана жилета складную гребеночку и табакерочку съ пудрой и пуховкой; передъ зеркаломъ расчесалъ волосы около прямого пробора; а потомъ ловкимъ движеніемъ пуховки прошелъ по щекамъ, которыя на легкомъ морозѣ скорѣе поблѣднѣли, чѣмъ покраснѣли.

По лѣстницѣ сталъ онъ подниматься очень медленно, слегка наклонивъ голову вбокъ, и короткимъ шагомъ. На площадкѣ, во второмъ этажѣ, ярко освѣщенной, онъ перевелъ духъ. Лобъ его сдѣлался немного влаженъ. Онъ вынулъ батистовый платокъ, надушенный духами Sandringham, провелъ имъ по лбу, вздохнулъ и приложился къ пуговкѣ звонка.

И тутъ только вспомнилъ, что не спросилъ у швейцара, есть ли уже гости, или никого еще нѣтъ?

Ему сейчасъ отперъ лакей съ такимъ же бритымъ лицомъ, какъ у него, и отворилъ ему, какъ отворяютъ въ пріемные дни.

### ХІІІ.

Гремущинъ прошелъ первымъ салономъ, гдѣ освѣщеніе скрывалось въ двухъ углахъ, за трельяжемъ. Около картинъ, работы московскихъ художниковъ, зажжены были лампы съ рефлекторами. Влѣво стоялъ беккеровскій рояль. Отдѣлка комнаты, полной мебели и *objets d'art*, говорила достаточно о художественныхъ вкусахъ хозяйки. Можно было почувствовать себя совсѣмъ не на купеческой улицѣ въ Москвѣ, а въ Парижѣ. Французскій оттѣнокъ вкуса лежалъ на всемъ, до бездѣлицъ.

— Барышня у себя, въ кабинетѣ,—сказалъ офиціантъ и показалъ гостю рукой на дверь, завѣшанную японской портьерой.

Въ кабинетѣ Доротей Васильевны свѣту было меньше, чѣмъ въ гостиной. Она его отдѣлала темнымъ атласомъ съ чернымъ деревомъ. Такого же чернаго дерева столъ помѣщался въ нишѣ съ балдахиномъ. Надъ нимъ висѣлъ портретъ въ овальной рамкѣ, работы парижскаго живописца, очень дорогой, гдѣ Дора Васильевна сидѣла причесанная по-испански, съ пудрой на волосахъ, отчего казалась почти блондинкой...

— А!.. Monsieur Гремущинъ! — встрѣтила она его взглядомъ, какъ встрѣчаютъ уже добрыхъ знакомыхъ.—Вы меня находите въ одиночествѣ. Я очень рада... Нынче я совсѣмъ глупа и большого разговора не вынесу... Садитесь...

Она говорила низко, немного картаво, съ какимъ-то нерусскимъ—не то что акцентомъ, а ритмомъ рѣчи. И ритмъ, и картавость дѣйствовали на Гремущина, привлекали и тревожили его.

„Une troublance suggestive“,—мысленно повторилъ онъ, когда изъ-подъ полуопущенныхъ рѣсницъ глядѣлъ на нее и отвѣшивалъ ей низкій и довольно церемонный поклонъ.

Онъ держался чопорно и продолжалъ испытывать стѣсненіе. Въ его манерахъ было что-то немножко старинное: такъ держали себя, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, русскіе господа, воспитанные швейцарцами или аббатами изъ эмигрантовъ.

Доротей Васильевна пригласила его сѣсть на пуфъ, около себя. Сама она сидѣла на короткомъ диванчикѣ подъ пальмой—большой пальмой, шедшей до верхняго карниза.

Никто бы не призналъ въ ней уроженку этой самой Москвы, явившейся на свѣтъ въ приходѣ „Харитонія въ Огородникахъ“. Всего ближе была она по типу къ испанкѣ, гдѣ-нибудь въ Мадридѣ или Бургосѣ, только покрупнѣе ростомъ и пышнѣе бюстомъ, при тонкихъ, скорѣе мелкихъ чертахъ лица, чрезвычайно еще молодого на видъ.

Ей пошелъ двадцать четвертый годъ.

Волосы черные, блестящіе и густые, но плоскіе—въ этомъ сказывалась венгерская ся порода—покрывали половину лба и завернуты были на маковкѣ высокой пирамидой съ косо-поставленнымъ позолоченнымъ гребнемъ,

что придавало ей, еще болѣе, нѣчто испанское, такъ же какъ и привычка выпускать узкія и подстриженные пряди подъ висками, въ родѣ короткихъ бакенбардъ. Глаза съ золотистыми крапинками глядѣли на Гремущина немного затуманеннымъ взглядомъ, отъ мигрени, и ихъ выраженіе дѣлалось отъ этого еще привлекательнѣе.

Онъ остановился быстро, изъ-подъ полуопущенныхъ рѣсницъ, на этомъ мраморномъ бюстѣ, совсѣмъ точно скованномъ въ темномъ корсажѣ съ кружевными прошивками на рукахъ, бѣлыхъ и твердыхъ, немного полныхъ.

— Вотъ сюда,—еще разъ пригласила она его сѣсть.

Шляпу онъ неловкимъ движеніемъ поставилъ на коверъ и сталъ снимать перчатки: пріемъ застѣнчивыхъ и щекотливыхъ людей, желающихъ выиграть время.

— Вы не совсѣмъ здоровы?—тихо и почтительно освѣдомился онъ, съ низкихъ наклоненіемъ головы.

— Ничего!.. Пройдетъ... У меня есть вѣрное средство.

— Какое? Позвольте узнать.

— Гуарана... Я приняла сейчасъ полпачки. Не подѣйствуетъ—приму остальное, и непременно пройдетъ.

И эта маленькая фраза о гуаранѣ вышла у нея очень пріятнымъ звукомъ.

Онъ уже находился въ началѣ „гипноза“. Еще пять, десять минутъ, и голова перестанетъ разсуждать, и весь онъ отдастся ощущеніямъ—новымъ, пугающимъ и сладкимъ, гдѣ своя воля съ каждымъ мгновеніемъ все уходитъ и уходитъ.

— Гуарана...—повторилъ онъ, чувствуя дѣтское удовольствіе отъ повторенія звука, вышедшаго изъ ея сочныхъ, малиновыхъ губъ, окаймленныхъ сверху чуть замѣтнымъ темнымъ пушкомъ.—Вы страдаете мигренями... При такомъ блистательномъ...

Онъ не нашелъ существительнаго. „Здоровье“ показалось ему пошло, а „видъ“—недостаточно отвѣчало на его мысль.

— Вотъ и подите! — нѣсколько живѣе откликнулась она.—Это обманчиво... Я не даромъ дитя Москвы.

— Будто?

Онъ не зналъ почти ничего про ея прошедшее.

— Московская... самая настоящая...

Она тихо разсмѣялась и показала свои зубы.

— Это почти невѣроятно!

— Да, вотъ здѣсь, по сосѣдству, на Чистыхъ-Прудахъ... Но послѣ... гдѣ только не проходило мое дѣтство!

— Въ Парижѣ?—подсказалъ Гремущинъ.

Ему почему-то хотѣлось, чтобы она была воспитана тамъ.

— И въ Парижѣ... Но не очень долго... Туда я стала ѣздить уже позднѣе, взрослой дѣвушкой. Мамаша была слабаго здоровья,—она закрыла на секунду глаза,—жили мы и въ Каирѣ, и въ Сициліи, и въ Тироли, въ Римѣ, долго на Корнишѣ...

— Въ Ниццѣ?—подсказалъ опять Гремущинъ.

— Въ Санъ-Ремо, въ Каниѣ, въ Іерѣ... Съ тѣхъ поръ я не люблю этого Юга... Тамъ слишкомъ все пахнетъ чахоткой.

— И полюбили нашу зиму... Москву?

— Да, вы угадали: и то, и другое. Люблю зиму... Чувствую слабость къ старушкѣ-Москвѣ.

— Къ родной татарщинѣ и Византіи?

— Ха-ха!.. Вы это сказали такимъ тономъ... Вы развѣ большой любитель Европы?

— Люблю все, что культурно, изящно и разумно.

Выговоривъ эту фразу, онъ тотчасъ же ужасно покраснѣлъ и пристыдилъ себя: фраза показалась ему педантствомъ, непростительнымъ безвкусіемъ; а еще двѣ недѣли назадъ онъ былъ бы доволенъ такимъ краткимъ и значительнымъ изреченіемъ.

— Европа,—протянула Доротея Васильевна и улыбнулась на особый ладъ,—не то пренебрежительно, не то съ оттѣнкомъ жалобнаго чувства.—Это звучитъ хорошо, но и въ ней все то же... я не умѣю сказать по-русски.

-- Скажите по-французски.

— *La grande misère de l'homme.*

Голосъ ея прозвучалъ протяжно и глухо.

Гремущинъ ни одной секунды не подумалъ, что она рисуется, хочетъ напустить на себя нѣчто красивое и модное. Онъ уже зналъ, что она любитъ писателей и поэтовъ съ оттѣнкомъ нессимизма... Бодлеромъ восхищалась она сознательно и приводила ему два-три стихотворения, которыя и онъ считалъ самыми крупными и глубокими по силѣ горечи и безнадежному взгляду на все человѣческое и земное.

Это напомнило ему то, что онъ ей хотѣлъ сказать о переплетѣ книжки.

— Вашъ переплетъ -- увы! — будетъ готовъ только къ субботѣ.

— Ничего!.. У меня есть другой экземпляръ „*Les fleurs*

du mal"—мой, не покидающій меня... весь рваный, безъ всякаго переплета.

Какъ она сдѣлалась „пессимисткой“ въ своихъ литературныхъ вкусахъ, онъ не зналъ и не рѣшился спросить ее. Вопросы—ех abrupto считалъ онъ слишкомъ непочтительными.

Но она сама отвѣтила на его тайный вопросъ.

— Эта книжка... меня просвѣтила. Я вѣдь до двадцати лѣтъ не имѣла даже понятія о томъ: кто такой былъ этотъ Бодляръ. И Эдгара Поэ не читала...

— Хотя знаете по-англійски?

— Но плохо... И Флоберъ былъ для меня — просто звукъ... Совершенно случайно... прохожу въ Парижѣ, мимо Galerie d'Orléans... вы помните, въ Palais-Royal?

— Гдѣ издатель Plon?

— Да; только я остановилась подъ колоннадой... Тамъ торгуетъ... un petit libraire, у котораго можно имѣть все. Подхожу и беру книжку, уже старую... первое изданіе...

— Оно у меня есть... — выговорилъ чуть слышно Гремущинъ.

— Съ виньеткой?

— Такъ точно.

— Заплатила я что-то очень дешево... два франка... Читать стала на ночь, въ постели... Дурная привычка, я и теперь ее не бросила... Читала до разсвѣта и больше не могла уже заснуть.

— И стали пессимисткой?

— Я не знаю, какъ меня слѣдуетъ называть... Дѣло вѣдь не въ томъ.

Она примолкла и, обернувшись немного въ сторону, прищурила глаза.

Гремущинъ уже ни о чемъ не хотѣлъ ее спрашивать и ждалъ, чтобы она продолжала говорить. Ея голосомъ онъ наслаждался... То, что она говорила, не было особенно умно или ново, или своеобразно; но какъ она все это сказала, — отзывалось настоящей Европой, чѣмъ-то совсѣмъ не московскимъ.

Не одну расу чувствовалъ онъ въ ней—и долгую школу жизни, и дѣйствительныя испытанія. Такъ говорить могла только женщина, уже утратившая не мало иллюзій.

— Чай готовъ!—доложилъ лакей въ дверяхъ.

— Госпожа Терри тамъ?—спросила хозяйка.

— Тамъ-съ.

— Хорошо.

Она поднялась и сказала гостю:

— Кажется, никого не будетъ. Я очень рада.

#### XIV.

Въ столовую Павелъ Павловичъ вступалъ въ первый разъ.

Тамъ, за серебрянымъ самоваромъ, сидѣла англичанка, мистрисъ Терри, сопровождающая всюду Доротей Васильевну за границу, — не старая еще особа, брюнетка и съ мелкими, совсѣмъ не британскими чертами лица, улыбающаяся всегда однимъ и тѣмъ же образомъ.

Гремушинъ отвѣсилъ и ей низкій поклонъ, и присѣлъ къ столу въ верѣшительной позѣ.

Только что Доротея Васильевна помѣстилась противъ него, по другую сторону стола, въ дверку, задрапированную настоящимъ старымъ гобленомъ, проникли еще двѣ женскія фигуры.

Ихъ Гремушинъ уже видѣлъ разъ, когда былъ съ вилитомъ у Карусъ. Она ихъ представила, какъ своихъ дальнихъ родственницъ по матери. Обѣ — уже немолодыя, очень похожія между собою, худыя и чрезвычайно старательно одѣтыя въ черныя шелковыя платья — смотрѣли выжидательно, и усмѣшка ихъ большихъ ртовъ съ замкнутыми губами была сродни тому, какъ привыкла улыбаться англичанка.

„Бѣдныя родственницы“, — подумалъ онъ и въ первый свой визитъ.

Онѣ и тогда все молчали и усмѣхались только тому, что скажетъ Доротея Васильевна. Гремушинъ замѣтилъ, что она обращаетъ на нихъ мало вниманія и какъ будто немножко тлѣетъ ими. То же впечатлѣніе получалось и теперь.

Каждая изъ дѣвицъ протянула ему ладонь холодной руки съ красноватыми пальцами. Онъ ихъ пожалъ съ поклономъ и проговорилъ вполголоса:

— Имѣлъ удовольствіе...

Обѣ переглянулись, и въ ихъ безцвѣтныхъ лукавыхъ глазахъ мелькнуло:

„Вотъ тоже какой явился старомодный гусь... Ужъ не воображаетъ ли онъ овладѣть Дорочкой?“

Дѣвицы Первышины въ томъ лишь и находили интересъ по цѣлымъ днямъ, что разбирали всѣхъ мужчинъ,



какъ только тѣ познакомились съ ихъ кузиной и начинали посѣщать ее. До непріятнаго молчаливья при гостяхъ, онѣ начинали бесконечно болтать, когда она оставалась дома одна. И не было отъ нихъ пощадъ никому. Кажется, сами онѣ не прошли ни чрезъ какія любовныя испытанія, а между тѣмъ все свое дѣвичье жало впускали за глаза въ мужчинъ, исключительно на тему мужского женолюбія, коварства, нравственной дряниности, претензіи—увлечь, обмануть, взять капиталъ въ приданое или осрамить дѣвушку и ретироваться.

Доротея Васильевна слушала ихъ разсѣянно, съ книжкой въ рукахъ, или за своимъ письменнымъ бюро, удивлялась обыкновенно тому, гдѣ онѣ собираютъ всѣ эти подробности о мужчинахъ, изъ какихъ источниковъ ихъ черпаютъ. Дѣвицамъ Первышинымъ было извѣстно рѣшительно все о каждомъ мужчинѣ-холостякѣ или женатомъ, кто только попадалъ къ Доротеѣ Васильевнѣ или о комъ начинали говорить въ Москвѣ. Онѣ никуда почти не ѣздили и съ утра забирались къ кузинѣ, но были самыми усердными посѣтителницами концертовъ въ дворянскомъ собраніи и тамъ набирались матеріала для пересудовъ о мужчинахъ; тамъ же имъ и показывали ихъ.

Подозрительность и обидчивость Павла Павловича сейчасъ подсказали ему, съ какимъ чувствомъ начали его обглядывать старѣющія дѣвицы. Онъ сталъ еще больше ѣжиться и совсѣмъ не поднималъ глазъ ни на нихъ, ни на Доротею Васильевну.

Разговоръ шелъ туго. Англичанка еле лепетала по-французски, а Гремущинъ по-англійски не могъ говорить, хотя и былъ любитель англійскаго чтенія, всего больше англійскихъ психологовъ. Сестры молчали; хозяйкѣ пріемъ гувераня не далъ полнаго облегченія, и глаза ея блуждали, отуманенные, точно она въ легкомъ ошьянѣніи.

Такъ прошло около получаса. Гремущинъ началъ испытывать тяжелое безпокойство отъ того, что ему ничего не являлось на умъ, никакого подходящаго разговора, способнаго оживить Доротею Васильевну. Дѣвицамъ онъ рѣшительно не находилъ что сказать. Больше десяти лѣтъ не бывалъ онъ въ женскомъ обществѣ, какъ гость, а гости его жены до него не касались; некоторыхъ онъ даже и по имени не зналъ.

Вошли двое мужчинъ: одинъ въ военной формѣ съ аksamбантами, съ черной бородой; другой — еще маль-

чикъ, лѣтъ восемнадцать, съ наружностью ученика консерваторіи изъ нѣмцевъ или евреевъ.

Доротея Васильевна здоровалась съ ними по-пріятельски, крѣпко жала имъ руки и каждому говорила:

— Никуда я сегодня не гождусь.

Офицеръ сѣлъ между сестрами и сталъ что-то рассказывать, какую-то исторію, случившуюся въ одномъ изъ клубовъ, должно-быть, смѣшную, потому что дѣвицы прыскали; но Гремущинъ не слушалъ, и его глодалъ вопросъ: зачѣмъ онъ пришелъ сюда, именно теперь, вечеромъ, и самъ себя лишилъ интимнаго разговора съ нею? Ея присутствіе продолжало его волновать, но уже тягостно, какъ волнуется насъ близость женщины, овладѣвающей нами, когда мы желаемъ, чтобы все остальное, постылое и неспосное, провалилось.

Молодой человѣкъ, съ наружностью консерваторскаго ученика, присѣлъ къ ней сбоку и что-то ей началъ говорить, чуть не на ухо, съ акцентомъ; сидѣлъ согнувшись, положивъ ногу на ногу, очень высоко, и вообще держалъ себя, точно онъ ея товарищъ по школѣ.

И это заставило страдать Гремущина. Въ такомъ занятии братствѣ было что-то для него оскорбительное.

Изъ дальнѣйшаго разговора онъ узналъ, что безцеремонный мальчикъ дѣйствительно учится въ консерваторіи, хорошій пианистъ и постоянно аккомпанируетъ Доротеѣ Васильевнѣ и у нея, и когда она поетъ у постороннихъ. Звали его Шульцъ или Шмидтъ. Она его представила; но Гремущинъ не пожелалъ даже и разслышать его фамилію.

Мигрени хозяйки немного стало полегче. Перешли въ гостиную. Офицеръ уѣзжалъ, на другой день, куда-то далеко, чуть не въ Екатеринбургъ, и сталъ просить ее, въ видѣ прощальнаго подарка, что-нибудь спѣть.

— Вамъ не нужно трудиться аккомпанировать себѣ.

Онъ даже опустился шутливо на колѣни, упрощивъ ее и сложивъ руки на груди.

Обѣ сестры прыснули.

— Извольте, — сказала Доротея Васильевна и лѣниво пошла къ роялю. — Карлуша... пожалуйста!

Она протянула юношѣ ноты и стала позади табурета. Пианистъ надѣлъ ринсе-поз, наморщилъ носъ и сохранилъ пренебрежительную гримасу все время, пока аккомпанировалъ.

Одна изъ сестеръ Первяшинныхъ переворачивала ноты.

Въ темный уголъ, тамъ, куда свѣтъ, смягченный абажуромъ лампы, совсѣмъ не проникалъ, забился Павелъ Павловичъ, скорчился въ низковатомъ креслѣ, подперъ рукой подбородокъ, зажмурилъ глаза и весь ушелъ въ слухъ.

Доротея Васильевна пѣла изъ „Карменъ“, по-французски, ту пѣсню, гдѣ севильская цыганка опутываетъ своими чарами красиваго карабинера.

Въ оперу Гремущинъ иногда попадалъ... Ему случилось, возвращаясь изъ-за границы, слышать въ „Карменъ“ Лукку, еще соблазнительную, со сцены, не утратившую ни голоса, ни обаятельной игры.

Вся сцена представилась ему ярко-ярко, почти какъ въ галлюцинаціяхъ. Было это въ вѣнскомъ „Оперномъ Театрѣ“. Декорація съ башней севильскаго собора, на заднемъ планѣ, свѣтло-желтые мундиры карабинеровъ, толпа сигарочницъ и Карменъ въ платкѣ, съ гребенкой, вдѣтой такъ же вкось, какъ на Доротеѣ Васильевнѣ, съ завязанными руками...

Она похаживаетъ вокругъ карабинера и разжигаетъ его чувства. И въ нѣсколько минутъ солдатъ былъ охваченъ страстью и поработченъ, сдѣлался преступнымъ сообщникомъ цыганки, бѣжалъ съ нею и превратился изъ честнаго служиваго въ контрабандиста, презирающаго самого себя.

Такъ рассказано и въ повѣсти Проспера Меримэ — одного изъ самыхъ любимыхъ его писателей. Такъ могло быть и въ настоящей жизни.

Развѣ это не такъ всегда и бываетъ? Величайшіе сердца вѣды, Шекспиръ въ числѣ ихъ, дѣлали страсть мгновенной и роковой, не знающей пощады.

Голосъ Доротеи Васильевны вливалъ въ него звуковую струю, вибрируя и наполняя его сладкимъ и жуткимъ чувствомъ. Незамѣтная снаружи дрожь овладѣла имъ. Но ему не было страшно отъ образовъ, вызванныхъ пѣснью Карменъ. Онъ отдавался опять чему-то въ родѣ гипноза. Ни думъ, ни воспоминаній, ни вопросовъ, ни страха передъ женщиной не было въ немъ.

Когда голосъ смолкъ, его точно ударило. Онъ весь вздрогнулъ, поднялъ голову, полураскрылъ глаза, но ничего не могъ крикнуть, ни встать, подойти къ роялю, сказать какой-нибудь комплиментъ... Оцѣпенѣлость про-

должалась... Она еще запоетъ... Ему это нужно было... Это навѣрно будетъ.

И она еще запѣла... Онъ не зналъ, что это такое, не слыхалъ словъ, не могъ бы даже сказать, на какомъ языкѣ произпосить она слова. Да и не нужно ему ничего этого... Зачѣмъ слова?... Только бы она пѣла...

О немъ забыли. Уѣзжающій офицеръ былъ ненасытенъ. Еще нѣсколько вещей было пропѣто... Гремушинъ замеръ въ своемъ темномъ углу. Его „я“ отсутствовало. Онъ отдавался женщинѣ и ея великой чарѣ—голосу.

## XV.

Темнота просторнаго кабинета совсѣмъ обволокла Павла Павловича.

Онъ лежитъ у себя на спинѣ и смотритъ широко раскрытыми глазами въ мракъ, ничего въ немъ не различая; но ему кажется, что онъ видитъ очертанія предметовъ, шкафъ съ книгами, занимающій всю стѣну противъ дивана, бюсты надъ шкапомъ, гравюры въ рамкахъ, правѣе, надъ письменнымъ столомъ.

Лежитъ онъ, безъ сна, не зажигая свѣчи цѣлый часъ, и знаетъ впередъ, что сна не будетъ до разсвѣта.

Не въ первую ночь страдаетъ онъ безсонницей. Но съ нѣкотораго времени она является черезъ день. Вернулся онъ отъ Карусъ въ первомъ часу, ушелъ отъ нея незамѣченнымъ, не прощаясь, пока мальчикъ-піанистъ громко стучалъ по клавишамъ.

Дома всѣ спали: жена и дѣти, „красныя дѣти“, которыми еще на-дняхъ онъ такъ занимался, съ заботой чадолюбиваго отца и мудреца, желающаго обезпечить имъ въ жизни наибольшую сумму наслажденій и удачъ... Не даромъ одинъ пріятель прозвалъ его „эвдемонистомъ“. Онъ убѣжденъ, глубоко убѣжденъ, что человѣчество устроить себѣ образцовое существованіе на землѣ. Объ этомъ пишетъ онъ книгу, больше десяти лѣтъ, и передѣлываетъ ее каждое полугодіе... Но до золотого вѣка еще далеко,—когда всѣ націи, всѣ государства одинаково пройдутъ черезъ возрождающій общественный режимъ, руководимые мудрыми преобразователями. А пока — каждый отецъ обязанъ воспитать дѣтей такъ, чтобы обезпечить имъ максимумъ пріятныхъ ощущеній и допустить одинъ минимумъ страданій.

Для нихъ онъ хлопоталъ о матеріальномъ обезпеченіи

и до сихъ поръ, по денежнымъ операціямъ, ѣздилъ часто въ деревню, въ губернскіе города, на ярмарки, расширялъ торговлю, занимался совсѣмъ не „дворянскими“ дѣлами... Дѣти должны имѣть базисъ... обезпеченный кусокъ хлѣба... Рента сама по себѣ презрѣнна и вредна и ея не будетъ въ преобразованномъ человѣческомъ обществѣ; теперь же она одна даетъ независимость... Но ея мало... Слѣдуетъ вести дѣтей такъ, чтобы они развились безъ малѣйшаго намека на какое-нибудь исканіе идеала, — чтобы они не знали преувеличенныхъ идей — жертвы, альтруизма, и думали бы только о себѣ. Это — эгоизмъ, но эгоизмъ, ведущій къ счастію. Пускай ребенокъ дѣлается великодушнѣе, если онъ находитъ въ этомъ наслажденіе — но не иначе, — а вовсе не въ силу отвлеченнаго долга.

Съ женой своей, Марей Власьевной, здоровой и властной женщиной, у него были сильныя столкновенія изъ-за его „системы“. Она до многого его не допускала, и онъ долженъ былъ уступать. Но все-таки дня не проходило прежде, чтобы онъ не думалъ о дѣтяхъ, о ихъ воспитаніи, не участвовалъ въ ихъ играхъ и разговорахъ.

И вотъ онъ къ нимъ вдругъ равнодушнѣе. Сегодня, вернувшись домой, онъ прошелъ къ себѣ въ кабинетъ, не спросивъ у горничной, отворившей ему наружную дверь, какъ всегда:

— А что дѣти?

Ему хотѣлось, напротивъ, поскорѣе забраться къ себѣ въ кабинетъ, лечь и мечтать... О женѣ онъ тоже забылъ, до такой степени, что только теперь, пролежавъ больше часа въ темнотѣ, подумалъ объ этомъ и испугался.

Развѣ онъ къ ней охладѣлъ? Такъ? Сразу?

Возможно ли это?

Гремушинъ тревожно завозился подъ одеяломъ, вышитымъ рукой Мары Власьевны, подъ которымъ ему такъ хорошо.

Они уже три года имѣютъ каждый свою спальню. Дѣвочка какъ-то сильно болѣла, мать положила ее къ себѣ, Павелъ Павловичъ ушелъ въ кабинетъ, да такъ и остался тамъ совсѣмъ. Онъ и вообще стоялъ за образцовую гигиену и требовалъ, чтобы каждому было отпускаемо непременно по столько-то кубическихъ футовъ воздуха.

Въ дверь, справа, постучали. Гремушинъ нервно, почти безглаголиво поднялъ туловище и окликнулъ:

— Кто тамъ?

На ночь онъ всегда запиралъ на задвижку обѣ двери кабинета.

— Это я, Павликъ.

Жена говорила вполголоса, но не шопотомъ.

— Чтò вамъ?

Онъ часто бывалъ съ женой на „вы“, особенно въ разговорахъ по домашнимъ дѣламъ.

— Павликъ! здоровъ ли ты? Кажется, ты еще не совсемъ заснулъ?

И прежде онъ не любилъ, чтобы о немъ слишкомъ много заботились, но все-таки внутренно былъ очень чувствителенъ къ каждой ласкѣ.

Тутъ его неприятно кольнуло самое имя „Павликъ“, которымъ Марѳа Власьева называла его только въ минуты интимности.

Какой онъ „Павликъ“? И чтò это за смѣшное прозвище! Точно онъ ходитъ въ куртку съ отложнымъ воротничкомъ.

Онъ ничего не отвѣтилъ.

— Павликъ, чтò съ тобой?

Голосъ жены дѣлался тревожнымъ.

— Ничего!.. Идите сами спать...

И онъ представилъ себѣ, что она стоитъ со свѣчей у двери, крупная, почти толстая, съ сѣдѣющими волосами.

Онъ не могъ удержать наплыва брезгливыхъ образовъ и чувствовалъ въ темнотѣ, какъ ему неловко отъ нихъ.

Его жена, преданная, любящая, не больше какъ недѣлю назадъ казалась ему еще такой молодой, свѣжей, прочной во всѣхъ проявленіяхъ своей сильной, правда, не тонкой натуры.

— Тебѣ ничего не надо? — допрашивала Марѳа Власьева.

— Ничего, — почти съ сердцемъ отвѣтилъ онъ.

— Да ты скажи, Павликъ, я сейчасъ одѣнусь... Можетъ, спазмы?... Я разбужу Аннушку... Компрессы...

— Ничего не надо... Я засыпаю... Прощайте...

Она тихо удалилась. Слышно было ёрзанье ея туфель-шлепальцевъ по полу.

Онъ вздохнулъ, опустилъ голову на подушки и тутъ только закрылъ глаза съ желаніемъ заснуть непремѣнно.

Но сонъ не приходилъ. Его ударило въ краску отъ возрастающаго волненія.

Вѣдь онъ когда-то шелъ къ вѣнцу съ этой женщиной—дѣвственникомъ! Невѣроятно это—и онъ, бывало, скрывалъ свое цѣломудріе отъ товарищей; но такъ это было. Марѳа Власьевна на одинъ годъ старше его. Тогда она влекла его къ себѣ могучимъ здоровьемъ, всѣмъ складомъ своего роскошнаго тѣла. Это чувство онъ считалъ рѣшительнымъ, пускался тогда рука въ руку съ ней въ жизнь и вѣрилъ, что никакой перемѣны не будетъ, кромѣ той, что приносятъ съ собою годы. Онъ любилъ сочинять на это афоризмы, въ разговорахъ съ молодыми людьми, доказывать, что надо жениться рано и не знать въ жизни ничего, кромѣ „естественнаго подбора“, держаться его до старости... Онъ доказывалъ вздорность и болѣзненность всякихъ порываній къ какимъ-то особеннымъ чувствамъ, указывалъ на крестьянъ, для которыхъ жепитьба—роковая норма; въ своемъ трактатѣ о счастіи ставилъ одноженцевъ, „однолюбовъ“, какъ высшій образецъ человѣческихъ существъ.

„Неужели,—повторялъ онъ, беззвучно поводя губами,—неужели то, чтó заползло въ меня теперь и вцѣпилось точно когтями,—страсть, запоздалая, но такая, какія романисты-художники стали описывать еще въ прошломъ вѣкѣ, а нынѣшніе возвели въ исключительный элементъ живого интереса?“

Онъ боялся отвѣтить „да“ — и гналъ вопросы... Вотъ голосъ поетъ изъ „Карменъ“, и онъ можетъ прослѣдить за извивами мелодіи,—онъ, не имѣющій почти никакого музыкальнаго слуха.

Уже не жаръ его томить, а дрожь проникаетъ въ него. Любовь его холоднѣетъ и влаженѣетъ.

Можетъ-быть, это—пароксизмъ, или такъ, блажь, какой-то видъ „иннерваціи“... Онъ слишкомъ подолгу читаетъ у себя въ кабинетѣ, бессонницы разыгрались, а принимать бромистый калий, давно прописанный ему, онъ неглижируетъ.

Все это такъ; но онъ не можетъ лгать самому себѣ: и къ дѣтямъ, и къ женѣ онъ охладѣлъ. Хорошо, если это временное, чисто нервное, а если нѣтъ?

Тогда это страсть?

Онъ не обрадовался, а полонъ былъ испуга. Почему? Вѣдь за любовь отдають все. Люди—особенно люди конца этого вѣка — отдають все, ищутъ ее, мучатся потугами

чувства, изнемогаютъ оттого, что имъ нечѣмъ любить, что они утратили органъ любви.

Но тѣ люди — жалкіе недоучки конца жалкой эпохи, пораженные вырожденіемъ. А онъ — мудрецъ; въ его книгѣ говорится, что только въ будущемъ преобразованномъ обществѣ станетъ возможна свободная любовь, не знающая никакихъ стѣсненій и эгоизма личнаго обладанія. Чтобы достичь этого, необходима цѣлая „серія“ поколѣній строго цѣломудренныхъ, единопенцевъ, однолюбовъ, такихъ, ка-кимъ былъ онъ, Гремущинъ, до послѣднихъ дней.

Ему стало такъ страшно, что онъ зажегъ свѣчу и въ изнеможеніи обернулся лицомъ къ стѣнѣ. На ней повѣшенъ былъ коверъ, повыше мягкихъ подушекъ дивана.

Павелъ Павловичъ лежалъ опять съ открытыми глазами, все еще полный смятенія, точно передъ потерей всего, за что держалась его жизнь.

Вдругъ онъ началъ различать какой-то рисунокъ въ довольно большомъ пятнѣ съ расплывающимися красками. Стоять три фигуры: старикъ, одѣтый рыбакомъ, въ красномъ колпакѣ, молодой парень, тоже въ колпакѣ, и дѣвушка въ цвѣтной юбкѣ, съ длинной косой. Отецъ беретъ ее за подбородокъ и подмигиваетъ парню... Это — сватовство. Такую картину, вышитую шерстью, онъ видѣлъ въ дѣтствѣ, на экранѣ.

Онъ поднялся, протеръ глаза. Картина не исчезала.

„Галлюцинація!“ — подумалъ онъ и задулъ свѣчу. Видѣніе больше не являлось.

— Я боленъ, — выговорилъ онъ, и ему стало легче. — Это болѣзнь, а не постыдная, запоздалая страсть...

## XVI.

Маленькая женщина ходила по опустѣлому домику и прибирала. У нея сложилась привычка все самой переставить, обтереть, сдуть пыль. Да и тоскливо дѣлалось безъ этого, особенно послѣ потери дѣтей... Деревенскій день великъ, если его не наполнить всякой возней. Безъ разныхъ „sieben Sachen“ — называла она по-нѣмецки — засосетъ сейчасъ на сердцѣ, начнешь думать о дѣтяхъ, о надвигающейся болѣзненности, безноконтъся и страдать за мужа.

Вотъ и теперь, перетирая подсвѣчники, она думаетъ о своемъ „Менѣ“ — Евменіи Филипповичѣ Кустаревѣ. Онъ уѣхалъ въ городъ. Съ самаго обѣда въ честь Сим-



бирцева онъ разстроенъ; не потому, что не доволенъ своимъ поведеніемъ, но ему показалось еще тогда, послѣ объѣда, что всѣ „съѣжились“, даже и Симбирцевъ. И по хутору у него непріятности. Не поладилъ онъ съ писаремъ ближайшей волости. Евменій Филипповичъ вступился за двоихъ своихъ рабочихъ. Тѣхъ писарь прижимаетъ и видимо хочетъ взятку. Онъ ѣздилъ въ правленіе, усовѣщивалъ старшину; тотъ тоже ударился въ амбицію, настроенный писаремъ. Онъ и тутъ погорячился. Мужиковъ вызвали въ волость, и одного наказали за неповиновеніе властямъ... И сдается ей, что на мужа ея эти деревенскія всемогущія власти донесли по начальству... Сегодня ей особенно тяжело. Она всю ночь не спала. И сердце у нея не въ порядкѣ. Она скрываетъ это отъ мужа, не ѣдетъ въ Москву, къ доктору-спеціалисту. А легкія давно никуда не годятся и желудокъ также...

„Комочекъ нервовъ“,—повторяетъ она прозвище, данное ей Ериловымъ. Только нервами она и держится. Анемія ея все растетъ, пища нейдетъ впрокъ, худоба дѣлается такая, что ей самой подчасъ страшно...

Да и нервы до-нельзя развились... Ночью ее душитъ, въ головѣ боль—сверлитъ въ темноту, стрѣляетъ въ виски, слабость мертвенная. Она за себя не труситъ. Совсѣмъ не боится смерти. На свою живучесть она не надѣется... Но какъ же разстаться, и такой молодой, съ мужемъ, на кого его покинуть? Въ любовь его она вѣритъ больше, чѣмъ во что-либо. Одиночество будетъ глотать его. И теперь онъ не знаетъ часто, куда ему дѣться, хоть и маскируетъ это передъ ней—передъ первой. Ему нужно общественное дѣло, а его нѣтъ и не будетъ съ его характеромъ. Хуторъ не можетъ его наполнить, какъ онъ ни повторяй, что лучше ничего нѣтъ деревни и близости къ народу. Видитъ она и народъ... Ея мужъ—неисправимый идеалистъ; кромѣ огорченій и неблагодарности отъ этого же народа пока ничего нѣтъ. Она сама, подъ вліяніемъ мужа, настраивала себя на опростѣлый ладъ. Но обманывать себя она не можетъ, только молчить, чтобы не раздражать своего мужа. Его проводятъ на каждомъ шагѣ. Да это еще куда ни шло! Не понимаютъ его доброты, любви къ рабочему люду, смотрятъ на него, какъ смотрѣли бы на перваго попавшагося хозяина изъ цѣловальниковъ или прасоловъ.

И его самого это полегоньку начинаетъ глотать, только

онъ упоренъ въ своихъ вѣрованіяхъ и повторяетъ всегда:

— Нельзя все сводить къ личнымъ интересамъ и отношеніямъ. Мнѣ можетъ плохо приходиться отъ народа, но это ничего не доказываетъ.

Она, бывало, замолчитъ... Все-таки хуторъ—хоть и не даетъ почти доходу—не опостылѣлъ еще ей мужу. И за это спасибо. Въ Москвѣ, въ кружкѣ пріятелей и товарищей, ему тоже не по себѣ. И это онъ скрываетъ, но она чуткими нервами своего маленькаго тѣла догадалась—и давно...

Будь она позлѣе или побездеремоняѣе, она сказала бы ему:

„Евменій Филипповичъ, батюшка, всѣ-то ваши сверстники опускаются, потеряли бодрость и бьются только изъ-за того, какъ бы имъ уцѣлѣть, ни на какую энергическую борьбу, особенно сообщая, всѣмъ кружкомъ, они уже не способны. Пора это понять и не изводить зря собственныхъ силъ... Надо брать отъ жизни, что она можетъ дать. Лучше уѣхать куда-нибудь, въ провинцію, взять тамъ кафедру, дѣлать свое дѣло потихоньку, безъ отступничества, но и безъ задора... А на кружокъ пора, давно пора, махнуть рукой!..“

Она лично чувствовала полное разочарованіе...

Когда-то она вѣрила въ друзей и единомышленниковъ Евменія Филипповича, ставила ихъ тамъ—наверху всего, что она знала въ жизни. Ей не легко было обрѣсти эту вѣру. Она не такъ воспиталась. Держали ее, какъ барыню, при гувернанткахъ, готовили къ хорошей, дворянской партіи... Со многимъ она должна была разорвать, когда выходила за профессора... Будь она дочь богатыхъ людей, ее по доброй волѣ ни за что бы не выдали. Евменій и тогда смотрѣлъ „краснымъ“. Его ославили въ губернскомъ городѣ чуть не какъ тайнаго насадителя крамолы; а она была дочь губернскаго крупнаго чиновника и барыни съ самыми закоренѣлыми помѣщичьими и свѣтскими правилами и поведеніями.

Ей стало, послѣ потери дѣтей, еще суше на сердцѣ, когда она потеряла вѣру въ то, что существуетъ, идетъ впередъ и стойко держится,—то избранное меньшинство, изъ котораго состоялъ кружокъ друзей и сверстниковъ Евменія Филипповича Кустарева.

Больше переставлять и вытирать нечего.

Маргарита Сергѣевна позвала горничную.

— Матрена готовить?—спросила она.

— Готовить-съ.

— Полегче ей?

— Маленько отпустило.

— Вы бы ей помогли, Аннушка!

— Я—съ удовольствіемъ.

— Евменій Филипповичъ долженъ скоро пріѣхать... Онъ будетъ навѣрное голоденъ... Придется пораньше накрыть и подавать.

— Слушаю-съ.

Аннушка—кроткая дѣвушка, взятая изъ деревенскихъ. Матрена очень толковая кухарка, только часто мучится головными болями. Евменій Филипповичъ сталъ гораздо требовательнѣе, жалуется частенько на катаръ, не берется. Любитъ съѣсть чего-нибудь послаще, особенно изъ закусокъ. Останавливать его она не рѣшается. Онъ не терпитъ губернантскихъ замѣчаній.

Маргарита Сергѣевна носила по утрамъ блузочку съ кушакомъ и повязывала голову фуляромъ.

Надо было попріодѣться къ обѣду. Она сама не можетъ быть неряхой, только въ послѣднее время она все равнодушиѣ къ туалету; замѣчаетъ почти со стыдомъ, что дѣлается менѣе опрятною, не соблюдаетъ такую же строгую чистоту, какъ прежде, въ бѣльѣ, воротничкахъ, на рукавникахъ, во всемъ...

Думать меньше о себѣ стала она, когда пошли дѣти... Уходу за ними отдалась она съ неудержимою страстью: кормила того и другого, и на этомъ истощилась, какъ ее ни упраснивалъ мужъ; а когда докторъ рѣшительно запретилъ—было уже поздно. Кормила, обмывала, взвѣшивала, дрожала надъ каждымъ изъ нихъ, забывала даже о своемъ Менѣ, о его интересахъ, о его душевномъ настроеніи.

Смерть не пощадила дѣтей. Съ тѣхъ поръ она и стала еще меньше заниматься собой; больше года ничего себѣ не заказывала, не покупала, donaшивала старья платья и ходила въ штопанныхъ чулкахъ. Да и доходы-то у нихъ не Богъ знаетъ какіе...

Половина того, что Евменій Филипповичъ зарабатываетъ вероухъ, идетъ на хуторъ, на ремонтъ, на помощь мужикамъ. Она не жалѣетъ,—только бы онъ былъ доволенъ...

Маленькая женщина перешла въ спальню, свѣтлую, просторную комнату, съ двумя большими кроватями и

одной дѣтской, красивой кроваткой, заграничной работы, изъ проволоки.

Ее давно было-убрали. Но когда Ермиловъ взбаламутилъ ихъ, она приказала достать изъ чулана,—готовила для той дѣвочки.

И вышелъ „пиить“.

Она посердилась на Ермилова, назвала его „пустельгой“, всплакнула, но Мень ничего больше на эту тему не говорила, точно будто и рѣчи не было ни о какой дѣвочкѣ.

Дѣтская кроватка осталась въ спальнѣ. Маргарита Сергѣевна что-то медлила приказать убрать ее. Тайно она начала мечтать: не будетъ ли у нихъ еще ребенка.

Докторъ говорилъ ей прямо, что она не должна имѣть дѣтей, что они убьютъ ее, даже если она и не будетъ сама кормить.

— Крови у васъ нѣтъ достаточно,—повторилъ онъ ей,—маса нѣтъ, а нервами нельзя зародыша питать.

Видъ кроватки вызвалъ на ея рѣсницахъ двѣ маленькія слезинки. Она наскоро перемѣнила туалетъ, чтобы лишнее время не оставаться въ спальнѣ.

Въ началѣ третьяго пріѣхалъ Кустаревъ.

Взглядъ на мужа, брошенный Маргаритой Сергѣевной не прямо, а вбокъ, показалъ ей, что Мень вернулся не въ особенно веселомъ настроеніи, но не хочетъ этого показывать.

— Проголодался?—спросила она и подставила ему лобъ по обыкновенію.

— Да, Гля! сильно проголодался, и продрогъ къ тому же. Анаѣемская нынче погода. Мразь какая-то сверху и продуваетъ со всѣхъ концовъ.

Онъ ушелъ скорыми шагами въ кабинетъ, съ пачкой журналовъ и иностранныхъ газетъ.

За столъ сѣли они черезъ четверть часа, другъ противъ друга. Евменій Филипповичъ надѣлъ шведскую куртку и валенки. Передъ щами онъ выпилъ большую рюмку настойки домашнего приготовления и закусилъ лимбургскимъ сыромъ.

— Здоровая водка! — выговорилъ онъ. — Инда слеза прошибла.

Что Мень станетъ на хуторѣ привыкать къ крѣпкимъ папиткамъ, Маргарита Сергѣевна не боялась: у него не такой складъ; въ малодушіи какого бы ни было рода

упрекнуть его никто не может; она меньше всѣхъ другихъ; пускай его выпьетъ и послѣ обѣда рюмку наливки. Она умѣетъ ихъ настаивать на славу.

„Онъ себя сдерживаетъ,—думала маленькая женщина, проглатывая ложки горючихъ щей „съ заправкой“, приправленныхъ по вкусу Кустарева.—Я вижу, есть что-то. Щеки у него краснѣе обыкновеннаго, и глаза не такъ смотрятъ“.

— Заѣзжалъ къ кому-нибудь? — между прочимъ, осведомилась она.

— Заѣзжалъ,—кратко отвѣтилъ онъ и принялся поспѣйшей за ветчину съ горошкомъ, также его любимое блюдо.

И тотчасъ же положилъ ножъ и, поднявъ голову, выговорилъ съ приподнятыми бровями:

— Эхъ, Гаря, какъ всѣ у насъ старѣютъ и киснутъ! Просто нигуда не хочется заѣзжать...

— А что же? — чуть слышно выговорила Маргарита Сергѣевна.

— Былъ у Денисовича... Какіе его годы? На четыре года старше меня... И на что онъ похожъ?.. Совсѣмъ старикъ, обрюзгъ, опустился въ домашнюю тину. Точно чинухъ какой, на пенсіи.

Кустаревъ рассказывалъ про одного изъ членовъ ихъ кружка.

— Я давно его не видала...

— На такихъ надо рукой махнуть!.. Да и молодые-то не лучше... Шустрые ловкачи, и только...

Что-то онъ опять не досказалъ, и жена знала уже, что это-то и разстроило его всего больше: оттого у него и щеки красны, и глаза иначе смотрятъ.

Послѣ ветчины съ горошкомъ подали молочную кашу съ сахаромъ.

Евменій Филипповичъ опять не доѣлъ, положилъ ложку на скатерть и вскричалъ глухо, своимъ хриповатымъ басомъ:

— Этотъ Куликовъ! Вотъ тоже доблестный представитель нашихъ преемниковъ!

Она промолчала.

— Вообрази, Гаря, онъ мнѣ въ сладкой формѣ протель сегодня наставленіе.

— Какъ же это?—почти съ изумленіемъ выговорила она.

— Да такъ! Очень просто. Приходить ко мнѣ. Я думать, статью какую принесъ. Я еще чайкомъ его угостилъ.

И начинается, точно на духу. „Вы, говорятъ, Евменій Филипповичъ, стоите совершенно въ сторонѣ, на службѣ не находитесь...“

— Какое же отношеніе? — замѣтила Маргарита Сергѣевна.

— Вотъ увидишь какое, Гаря... „Вы, дескать, можете все себѣ позволить, но надо и о вашихъ товарищахъ, и о насъ, молодыхъ, подумать“.

— По какому же поводу?

— Да все объ этой исторіи... съ Сохинымъ. Съѣжились анаѣемски... И сами-то не смѣютъ говорить, такъ вотъ этого ловкача подослали!.. Эхъ!

Онъ замолкъ и больше уже ничего не сказалъ.

За кофеемъ онъ болѣе веселымъ голосомъ обликнулъ:

— Гаря! Ты знаешь! Къ намъ на ночь — гость! Угадай кто?

— Не могу угадывать, Меня.

— Капцовъ. Изъ Питера пріѣхалъ дня на три. Будетъ ночевать. Ёды намъ къ чаю сооруди.

— Очень рада!

И она дѣйствительно очень обрадовалась. Капцовъ — ближайшій пріятель мужа, не менѣе близкій, чѣмъ Симбирцевъ. Привезетъ разныхъ вѣстей и разговоровъ о Петербургѣ.

Она вскочила, подошла къ мужу и поцѣловала его въ голову.

## XVII.

За чайнымъ столомъ, опять уставленнымъ закусками, какъ и въ вечеръ пріѣзда Ермилова, сидѣли они втроемъ.

Порфирій Николаевичъ Капцовъ смотрѣлъ помоложе Кустарева; русые его волосы курчавились на лбу и вискахъ, еще густые и почти безъ сѣдины. Онъ носилъ золотые очки, изъ-за которыхъ свѣтились сѣрые, ласковые, добрыѣе глаза.

Густая борода дѣлала его похожимъ на „батюшку“ — городского священника, законоучителя, баловника дѣтей и мягкаго духовнаго отца на исповѣдяхъ. Рослый и худощавый, онъ немного горбился и въ движеніяхъ сохранялъ молодую нервноcть.

И говорилъ онъ чистѣйшимъ московскимъ нарѣчіемъ, съ яркими гласными, съ растягиваніемъ буквъ и употре-

блять самыя смѣлыя смягченія согласныхъ, какія только можно услышать отъ коренныхъ москвичей.

На немъ просторно сидѣлъ вицмундиръ съ темнымъ бархатнымъ воротникомъ и на шеѣ владимірскій крестъ. Онъ былъ съ офиціальнымъ визитомъ и не успѣлъ у себя переодѣться, запоздавъ, по своей вѣчной привычкѣ, на поѣздъ.

Вицмундиръ, впрочемъ, не придавалъ ему чиновничьяго вида; крестъ свободно болтался у него подъ галстукомъ и то и дѣло сползалъ на сторону.

Но Петербургъ все-таки наложилъ на него свою руку. Въ тонѣ, въ движеніяхъ, въ особой возбужденности чувствовался человѣкъ изъ настоящей столицы, гдѣ, какъ въ котлѣ, кипятъ люди, дѣла, карьеры, жѣропріятія...

Порфирій Николаевичъ, размѣшивая сахаръ въ стаканѣ, любовно оглядывалъ хозяевъ.

Съ Кустаревыми онъ не видѣлся больше двухъ лѣтъ, успѣлъ уже сдѣлаться „штатскимъ генераломъ“, какъ самъ подтрунивалъ надъ собою, получить новое, высшее назначеніе по казенной службѣ и два новыхъ частныхъ мѣста.

Когда-то они вмѣстѣ готовились на магистра. Онъ выдержалъ экзаменъ и защитилъ диссертацию, даже раньше Кустарева; но вмѣсто профессуры очутился на службѣ, въ Петербургѣ, гдѣ оцѣнили сразу его познанія и дали ему быстрый ходъ. Такъ прошло больше двадцати лѣтъ его жизни. Тамъ онъ женился, обзавелся семьей и связанъ былъ всякими другими житейскими узами съ этимъ „гнилымъ“ Петербургомъ, который онъ такъ охотно обзывалъ „гнилымъ“, всякій разъ, какъ попадалъ въ свою милую, сердечную Москву и отводилъ душу съ товарищами.

Изъ нихъ Кустаревъ былъ для него самый дорогой.

Порфирій Николаевичъ пилъ чай съ блюдечка, въ прикуску, и сохранилъ эту московскую привычку со студенческихъ лѣтъ, когда они съ Кустаревыми жили въ Гронной, у сапожника Елифашина, въ подвальной комнатѣ, и платили шесть рублей, съ самоваромъ, въ мѣсяцъ.

Давно чай не казался ему такимъ вкуснымъ, какъ въ этотъ вечеръ, на хуторѣ Кустарева, между Ефиміемъ Филипповичемъ и его маленькой женой.

— Хорошо у васъ, голубчики, — говорилъ онъ, поглядывая поочередно то на мужа, то на жену. — Благодарь! не то, что у насъ въ Чухляндіи.

Бранить крѣпко что-либо онъ не могъ, даже Петер-

бургъ, гдѣ ему до сихъ поръ было не по себѣ... Надъ нимъ еще товарищи-студенты потѣшались за его непопулярную мягкость, гуманность и деликатность.

Про него рассказывали множество анекдотовъ на эту тему. Онъ никогда не могъ не только прикрикнуть на кого-нибудь, но даже сдѣлать малѣйшій выговоръ.

Онъ плохого извозчика не иначе упрасивалъ, какъ ласкательными словами: „милѣйшій“, „голубчикъ“. Ни одному половому не сказалъ онъ „ты“, и въ домѣ никогда не употреблялъ повелительнаго наклоненія, ни съ дѣтьми, ни съ прислугой.

Въ публичныхъ мѣстахъ самихъ пріятелей его бывало почти нестерпимо отъ его деликатности. Ни за что онъ не позволялъ кого-нибудь попросить подвинуться, или дать дорогу, или на чемъ-нибудь настоять.

— Ахъ, нѣтъ, голубчикъ, какъ это можно, какъ это беспокоить „ихъ“.

Это „ихъ“ употреблялъ онъ, говоря рѣшительно о каждомъ третьемъ лицѣ.

А съ виду, на первый взглядъ, Порфирій Николаевичъ казался очень внушительнымъ человекомъ, при его высокомъ ростѣ, благообразномъ лицѣ и живости движеній. Никто сразу не могъ предполагать, что онъ такая „божья коровка“.

И Петербургъ почти совсѣмъ не измѣнилъ его, только голосъ сталъ немного утомленнѣе и старше звукомъ.

— Многихъ видѣли, Порфирій Николаевичъ?—спросила Маргарита Сергѣевна.

Она его очень любила, больше всѣхъ пріятелей и товарищей мужа.

— Кое-съ-къмъ видѣлся... только у всѣхъ побывать не успѣю.

— Былъ у Денисовича? — спросилъ въ свою очередь Кустаревъ.

— Какъ же!

— Встѣ постарѣлы! вотъ опустился!

— Я не скажу, голубчикъ... Такой же душевный.

— Ты развѣ можешь кого-нибудь опредѣлить хоть сколько-нибудь строго?..

Кустаревъ почти злобно разсмѣялся.

— Право же, голубчикъ, я не нашелъ такой въ немъ переменъ... Конечно, лѣта, ну, въ лицѣ... сѣдина замѣтна. Семейство большое опять...



— Не то, не то, Капцовъ! — вскрикнулъ Кустаревъ и началъ блѣднѣть. — Вотъ, побывай у другихъ. Нѣтъ, братъ, прежняго товарищества!.. Да и всѣ-то мы кукишъ въ карманѣ кажемъ.

— Что ты, Евменій!

— Да то же! Даже иныя и кукиша-то не кажутъ, а просто трепещутъ за собственную шкуру.

„Опять пошло!“ — со страхомъ воскликнула про себя маленькая женщина и начала перетирать блюдечки.

— Не всѣ такъ, — кротко возразилъ Капцовъ.

— Ну, да, ты лгать не умѣешь!.. Скажи-ка ты мнѣ прямо: нешто тебѣ уже не рассказали про исторію послѣ объѣда Симбирцева? Ты у него былъ?

— Былъ, голубчикъ.

— И онъ тебѣ навѣрно жаллся: какъ, дескать, Кустаревъ, точно съ цѣпи сорвался, обругалъ и выгналъ Сохина и всѣхъ насъ влопалъ въ такую непріятность, что мы теперь сидимъ по своимъ норамъ и ждемъ, что намъ за это будетъ! Вѣдь такъ?

— Ну, что ты?.. Совсѣмъ не въ такомъ тонѣ.

— Однако, было говорено?

— Дѣйствительно. Симбирцевъ... пемпожко жалѣлъ, что такъ вышло, изъ-за него.

— Изъ-за него!.. Это онъ схитрилъ!.. И онъ съѣжился, и онъ считаетъ вотъ такого простеца, какъ я, неудобнымъ, опаснымъ человекомъ.

Капцовъ подошнинулся къ Кустареву, положилъ руку на спинку его стула, нагнулся къ нему и тономъ любящей няни сказалъ:

— Нельзя такъ, Евменій, время не то. Ни себѣ, ни людямъ!.. Подумай и то, что всѣ они народъ трудовой и — на службѣ... тоже почти всѣ, голубчикъ, все равно, что я грѣшный!.. Полегче бы!..

Маргарита Сергѣевна ничего не сказала, только кинула головой.

— Ну, я каюсь, глупо было такъ хорохориться съ дрянью, въ родѣ Сохина!.. Меня взорвало его нахальство, а нахальство это есть признакъ времени.

— Да, да, признакъ времени, Евменій, милый мой, признакъ времени. Тѣмъ осторожнѣе нужно вести себя... не взмѣняя своимъ взглядамъ и убѣжденіямъ.

— И нашимъ, и вашимъ!..

— Нѣтъ, голубчикъ, я про себя не буду говорить...

я — чиновникъ... Промѣнялъ свое первородство на чечевичную похлебку... Но вы—дѣятели науки... поборники... общественной правды... вы должны... быть мудры какъ змии... и кротки какъ агнцы.

— Это и на обѣдѣ Симбирцеву на всякіе фасоны перебирали! Но въ томъ-то и гадость, братъ Порфирій, что ни у кого вѣры нѣтъ въ себя и въ свое дѣло. Какъ соберутся—сейчасъ жалкія слова говорить и кукишъ показывать, а внутри, въ душѣ каждого, стоитъ: „пѣсенка наша спѣта“.

— Не ихъ вина!

— Нѣтъ, еще не спѣта!—Кустаревъ ударилъ кулакомъ по столу. — Не спѣта она, если бѣ въ насъ самихъ побольше было мужества... да и это слишкомъ громкое слово — просто стойкости, какая есть у всякаго мужика, у любого изъ моихъ хуторскихъ рабочихъ!

— Вотъ потому-то, голубчикъ, и не надо бы пороховъ тратить на...

— На что? На глупыя выходки, въ родѣ моей?

— Я не говорю этого, милый!

— Коли я уже повинился! Но все-таки сдѣлай это другой... ты?

— Я?

Капцовъ разсмѣялся. Все его лицо говорило:

„Развѣ я способенъ?.. Побойся же Бога, что ты говоришь!“

— Ну, не ты, такъ другой кто-нибудь... тотъ же Симбирцевъ: не сталъ бы я смѣяться, за глаза и въ глаза выговоры дѣлать и трусить.

— Подневольный народъ всѣ они! — сказалъ со вздохомъ Капцовъ.

— А молодые-то подростки, интеллигентные—полюбуйся ими! Эти карьеру свою отмѣнно сдѣлають.

— Да, да... другого закала, другого, — повторилъ Капцовъ и опустил рѣсницы.

Его пронизалъ возгласъ Кустарева. Онъ подумалъ о собственномъ сынѣ-студентѣ, на послѣднемъ курсѣ. Самъ онъ неспособенъ былъ жаловаться или обличать этого молодого человѣка, но въ лицѣ его онъ чувствовалъ, до какой степени иныя дѣти не похожи на поколѣніе отцовъ.

— И вотъ, разсуди ты, Порфирій, — нѣсколько спокойнѣе продолжалъ Кустаревъ. — Гаря моя внутренно, до сихъ поръ, сокрушается о томъ, что я не имѣю кафедръ, что я по доброй волѣ остаюсь не у дѣлъ.

— Когда же, Меня?..

Маргарита Сергѣевна не договорила.

— Да нечего! Не оправдывайся! Не лги!

Капцовъ завозился на стулѣ. Его охватило внезапное смущеніе: сохранить роль судьи между мужемъ и женою въ такомъ капитальномъ вопросѣ.

— Конечно,—началъ онъ, заикаясь,—Маргарита Сергѣевна по-своему права. Въ тебѣ большія силы. И талантъ лектора, и способность къ научнымъ изысканіямъ. Все это не находитъ полного примѣненія.

— Не пойду!.. Тысячу разъ говорю: не пойду! Если бы даже пригласили. А меня приглашать не станутъ, будьте покойны съ Гарей! На меня и здѣсь, на хуторѣ, ближайшее мое начальство подозрительно смотритъ. И я еще не знаю, кто одолѣетъ: я или волостной писарь! Пожалуй, писарь!

Онъ началъ полупутливо рассказывать Капцову про свои столкновенія съ волостными властями.

Разговоръ перешелъ въ другіе тоны. Капцовъ ужасно было испугался, какъ бы не вышло спора съ отгѣнкомъ горечи. Онъ не преминулъ поговорить и въ тонъ Кустареву насчетъ пріятности житья въ деревнѣ, на полной свободѣ, да еще въ общеніи съ народомъ, который Евменій такъ искренно любитъ. Онъ сравнилъ эту тихую и правильную жизнь со своей петербургской, и долженъ былъ сознаться, что онъ крѣпостной работникъ своей семьи.

Кустаревъ не зналъ лично его жены. Капцовъ женился давно, на петербургской барышнѣ, и теперь у него двое взрослыхъ дѣтей, большая квартира въ десять комнатъ, пріемы по вечерамъ, абонированная ложа у жены въ русской оперѣ.

Онъ все это рассказывалъ въ такомъ тонѣ, точно былъ обязанъ весь свой вѣкъ, до послѣдняго издыханія, работать на „своихъ дамъ“.

— Многонько, многонько нужно на все это, — выговорилъ онъ и разсмѣялся. — Ты, Евменій, меня презирать будешь. Я поневолѣ долженъ заниматься совмѣстительствомъ.

— Какимъ же манеромъ?

— Должность даетъ всего пять тысячъ. Въ двухъ мѣстахъ состою въ частныхъ юрисконсультахъ и даже въ одномъ правленіи директоромъ. И разные проекты составляю.

— Сколько же долженъ ты предоставить твоимъ дамамъ и сынку?

Кустаревъ нахмурилъ брови и спросилъ это строго.

— Да... тысячъ до двѣнадцати въ годъ. И того не хватаетъ, голубчикъ! Петербургъ требуетъ расходовъ. Это не матушка-Москва!

Онъ смолкъ, засмѣялся, потомъ всталъ и началъ прохаживаться около чайнаго стола и перевелъ разговоръ опять на хуторъ и на то, какъ бы онъ самъ зажилъ въ такой именно обстановкѣ.

„Ты видишь, — говорили глаза Маргариты Сергѣевны, взглянувшей на мужа, — развѣ можно сравнить его положеніе съ твоимъ? А ты, если захочешь, опять будешь въ твоей настоящей сферѣ“.

То же думалъ и Кустаревъ. Ему стало досадно и обидно за Порфирія. Ну, да онъ счастливъ, по-своему, подъ какимъ бы ярмомъ ни находился. Не жена и дѣти, такъ товарищи или родственники, а ужъ кто-нибудь да заставилъ бы его работать на себя.

Кустаревъ тоже всталъ, обнялъ Капцова за плечо и выговорилъ нѣжно и медленно:

— Душа ты елейная! Къ тебѣ и радъ бы придраться, да ты всякаго обезоруживъ.

Всѣ трое разсмѣялись, и имъ сдѣлалось отраднѣе.

## XVIII.

Послѣ Рождества, черезъ два съ половиною мѣсяца, Ермиловъ опять попалъ въ Москву, на цѣлую недѣлю, и остановился, какъ всегда, въ Лоскутной гостиницѣ.

Ему приходилось, съ этой зимы, гораздо чаще бывать въ Москвѣ, по управленію дѣлами и подмосковнымъ имѣніемъ одного чудаковатаго князя, жившаго долгіе годы за границей. Егоръ Петровичъ даже отъ пріятелей скрывалъ родъ занятій, дававшихъ ему порядочный доходъ. Своего состоянія ему досталось послѣ смерти матери небольшой домикъ въ Москвѣ, который онъ давно продалъ и деньги обратилъ въ процентныя бумаги.

Онъ управлялъ частными имѣніями и домами въ Петербургѣ, а теперь въ Москвѣ. Жалованье его доходило до семи и больше тысячъ рублей, при даровой квартирѣ. Въ денежные спекуляціи, на биржѣ, онъ боялся пускаться и никому не проговаривался о томъ, чѣмъ онъ зарабатывалъ свой доходъ. Его патроны были два-три богатыхъ

и титулованныхъ барина. Съ ними онъ сносился больше на письмахъ, а лично только съ однимъ, въ Петербургѣ, но и съ тѣмъ поставилъ себя, съ пернаго же дни, на равную ногу.

Онъ и себѣ не любилъ признаваться въ томъ, что состоитъ на службѣ у частныхъ людей, и что его можетъ кто-нибудь, узнавъ про его занятія, назвать „управителемъ“.

Въ Москву, на тотъ разъ, онъ пріѣхалъ въ отличномъ настроеніи, хотѣлъ встрѣтить въ ней новый годъ, и если будетъ весело житься, то протянуть, пожалуй, и до „татьянина дня“.

Его подмывало продолженіе пріятельскаго знакомства съ Анной Гавриловной Вогулиной.

Онъ уѣхалъ изъ Москвы въ октябрѣ, поддавшись силѣ, чѣмъ самъ ожидалъ, ея „феминизму“, какъ онъ любилъ выражаться. Правда, въ сонетахъ Жозе-Маріи Эредіа она не нашла тѣхъ великолѣпій, какими восторгался онъ, читая ей вслухъ, но кое-что оцѣнила умно и даже ново для него самого. Прощался онъ съ нею очень долго, поцѣловалъ руку и подержалъ эту бѣлую, художественно-изваянную руку, — въ передней, продолжая говорить, попросилъ у нея позволенія писать ей, такъ какъ ихъ литературная бесѣда далеко не кончилась.

Она сказала, что будетъ очень рада, и сказала это не тономъ банальной фразы, а съ особеннымъ блескомъ въ длинныхъ, узкихъ глазахъ съ пушистыми рѣсницами.

Изъ Петербурга онъ писалъ ей два раза большія письма, по восьми страницъ, гдѣ были разные смѣлые взгляды, парадоксы, остроты, даже экспромпты въ стихахъ; надуще было всякихъ тонкихъ, чувственныхъ и эстетическихъ опредѣленій ея женственности, ея *феминизма*.

Онъ нѣсколько разъ употреблялъ въ обоихъ письмахъ этотъ любимый терминъ.

Анна Гавриловна отвѣчала короткими письмами, почти записками; писать она не была мастерица; знала, что у нея бѣдный, тускловатый слогъ, отзывающійся рефератами, какіе она приготовляла къ „семинаріямъ“, на курсахъ. Это его немного огорчило. Онъ увидалъ, что она „безнадежна“ по этой части, но скоро утѣшился тѣмъ, что поѣдетъ въ Москву и будетъ наслаждаться ею, слушать ея милый голосъ, ея своеобразный языкъ и любоваться до-

сыта ея краснотой, „*sa joliesse*“ — переводилъ онъ по-французски, про себя...

Въ Москвѣ стояли морозные, сухіе дни съ отличной савной ѣздой, а Петербургъ оставилъ онъ съ оттепелью, морскимъ, пронзительнымъ вѣтромъ и сырмъ туманомъ. И его гостиница показалась ему, когда онъ пріѣхалъ, такой веселой и оживленной, точно онъ попалъ къ себѣ, въ родной домъ. Даже лица артельщиковъ въ сибиркахъ, тѣхъ, что отворяютъ двери и вынимаютъ вещи изъ каретъ, — располагали его къ балагурству и давали „золотое“ настроеніе; имъ онъ всего больше дорожилъ.

Обыкновенно онъ бралъ номеръ наверху, подешевле, — экономія не оставляла его въ иныхъ вещахъ, — а на этотъ разъ остановился въ бель-этажѣ, въ обширномъ номерѣ, съ перегородкой и триневой мебелью, — въ три съ половиной.

Часу во второмъ Егоръ Петровичъ спускался внизъ и проходилъ мимо зеркальнаго окна конторы.

Попавшійся ему конторщикъ подалъ ему письмо.

— Только сейчасъ привесли, — доложилъ онъ, — городское-сѣ.

Онъ узналъ руку Анны Гавриловны. Это былъ отвѣтъ на его извѣщеніе о пріѣздѣ. Она приглашала на чашку кофею, „по-московски“, какъ разъ сегодня.

„Жду васъ, — прочелъ онъ, — и собираюсь обширно побесѣдовать“.

Это слово „обширно“ было взято изъ жаргона комедій Островскаго. Онъ предпочелъ бы какое-нибудь другое; но затѣмъ вѣдь онъ и тутъ, чтобы дать этой роскошной дѣвицѣ высшую отдѣлку, отучить ее ото всего, что отзывалось Патріаршими-Прудами и разговоромъ курсистокъ.

Главному швейцару, въ картузѣ съ галуномъ, онъ пріятно кивнулъ головой, спускаясь съ послѣдняго поворота чугунной, выкрашенной въ бѣлое, лѣстницы.

Онъ ни къ чему не придирался въ отдѣлкѣ отеля, ни къ искусственнымъ растениямъ у зеркала, ни къ цвѣту ковровъ, ни къ поддевкамъ младшихъ швейцаровъ.

Внизу, въ сѣняхъ, онъ посмотрѣлъ на ассортименты бѣлыхъ палокъ изъ кизила, выставленныхъ на продажу, выбралъ одну и пошелъ съ ней, сказавши швейцару, чтобы онъ записалъ, сколько она стѣитъ. Цѣну, полтора рубля, онъ не нашелъ дорогой и, противъ своего обыкновенія, не поторговался.

Онъ надѣлъ, для прогулки, бекешъ съ бобротъ. Этотъ вѣжливый мѣхъ молодилъ его; хотъ онъ и соблюдалъ моду, но жерлушковыхъ стоячихъ воротниковъ петербургскихъ фешенебелей не долюбивалъ.

Выйдя изъ гостиницы, Егоръ Петровичъ взялъ вверхъ, по Тверской, шелъ медленно, не такъ, какъ привыкъ ходить по Невскому, смотрѣлъ по сторонамъ, остановился у новой часовни и задержалъ взглядъ на картинѣ Охотнаго ряда; замѣтилъ, что церковь „Прасковей-Пятницы“ пережѣнила цвѣтъ: изъ красной превратилась въ изсѣра-зеленоватую.

По Тверской онъ фланировалъ, читалъ вывѣски и пріятно былъ удивленъ видомъ новой кофейни. Это немного отвѣчало его всегдашней идеѣ о необходимости заведенія въ нашихъ столицахъ кафѣ на строго-парижскій образецъ.

Пить кофе онъ не будетъ: Анна Гавриловна пригласила его къ двумъ, а онъ пока зайдетъ посмотрѣть, какъ устроилъ московскій пекаръ это первое кафѣ.

Онъ перешелъ улицу и завернулъ въ кофейню. Но тамъ его ждало вѣкоторое разочарованіе—смѣсь чего-то французскаго съ своимъ, московскимъ,—лѣпной потолокъ и стѣны, зеркала и прислуга, смахивающая на половыхъ, швейцаръ въ поддѣвкѣ, стаканы чая и кофе съ обязательными сухарями и пирожками,—все это напоминало заднія комнаты петербургскихъ пекаренъ Невскаго.

Изъ кофейной онъ прошелъ въ отдѣленіе булочной, гдѣ запахъ жареныхъ пирожковъ и лепешекъ еще сильнѣе говорилъ о національномъ букетѣ всего заведенія.

Но Егоръ Петровичъ такъ былъ настроенъ, что благодушно сказалъ про себя:

„Сразу нельзя; нѣчто, однако, вырабатывается“.

Онъ остался доволенъ и тѣмъ, что у большихъ зеркальныхъ оконъ кофейной уже дежурили по двѣ „нѣмки“ съ Кузнецкаго. Безъ уличныхъ кокотокъ онъ не признавалъ столичныхъ городовъ.

Солище румянило свѣтъ, играло на инеѣ липъ вокругъ памятника Пушкина. Ермилову захотѣлось пройти цѣпкомъ бульварами. Памятникъ поэта, уже потемнѣвшій, но освѣщенный во всѣхъ своихъ рельефахъ, высился на длинноватомъ пьедесталѣ посреди массивныхъ жирандолей и придавалъ всей площади совсѣмъ не тотъ видъ, какъ прежде, въ студенческіе годы Ермилова.

Онъ имъ не очень восхищался и вообще находилъ произведенія русскихъ художниковъ бѣдными по вымыслу и экспрессіи. И все-таки онъ почувствовалъ, на этотъ разъ, какое-то молодое щепотаніе въ груди. Не даромъ считалъ онъ себя пушкинистомъ.

Но чѣмъ ближе онъ подходилъ къ Патріаршимъ-Прудамъ, тѣмъ отчетливѣе выступали въ его воображеніи лицо и фигура Анны Гавриловны.

Увертываться ему нечего передъ самимъ собою. Она его заинтриговала достаточно. Больше того. Она расшевелила, даже издала, самыя тонкія фибры его женолубія. Ею стоить заняться—и даже очень.

Цѣнилъ онъ и то, что въ этой дѣвушкѣ, уже доразвившейся до молодой женщины, такъ много своего, русскаго, московскаго. Въ любви онъ былъ поклонникомъ русскаго феминизма, хота и снималъ сливки съ женщинъ всякихъ расъ и національностей.

Онъ убѣдился долгимъ опытомъ, до какой степени русскія женщины—отъ горничной до великосвѣтской барыни—щедры въ проявленіяхъ своей природы, въ ласкѣ, въ томъ, какъ онѣ отдаются... Это не то, что парижанки. Даже и въ южныхъ европейскихъ женщинахъ находилъ онъ больше сухой нервности, чѣмъ нѣги, чѣмъ искренняго чувственнаго порыва. Вогулина обдавала его игривымъ холодкою, но онъ въ него не вѣрилъ... Этотъ холодокъ, когда дѣло дойдетъ до минуты „самозабвенія“ (онъ любилъ это слово старинныхъ русскихъ повѣстей), безслѣдно исчезнетъ и уступитъ мѣсто самому беззавѣтному прожиганію своего темперамента.

Его не удерживало въ этихъ думахъ то, что Анна Гавриловна дѣвушка, а онъ не собирается дѣлаться соискателемъ ея руки.

На женитьбу онъ не пойдетъ, объ этомъ и думать нечего. Но онъ пойдетъ до тѣхъ предѣловъ, какіе только возможны.

Или онъ глупо, по-мальчишески, ошибается, или Вогулина—одна изъ такихъ натуръ, гдѣ подъ бытовой оболочкой прочныхъ правилъ и предразсудковъ сидитъ тайно смятая женщина, со всякими видами любопытства.

Послѣ визита къ ней, сегодня же, онъ отправится къ другой дѣвушкѣ, такъ же красивой, но въ другомъ вкусѣ, также самостоятельной, но своему положенію сироты и богатой невѣсты.



Въ Петербургѣ одна очень музыкальная дама просила его навѣстить ея пріятельницу, m-lle Карусъ, и сумѣла достаточно заинтересовать его личностью этой дѣвушки. Она ему сообщила даже, что въ ней онъ найдетъ большую поклонницу его любимыхъ авторовъ, французскихъ „декадентовъ“, и показала ему ея карточку.

Карточкой онъ остался доволенъ. Съ нея смотрѣло на него нѣчто не то испанское, не то венгерское, отзывающееся той Европой, которую онъ любилъ по женской части.

— *Nom d'un petit bonhomme!* — возбужденно воскликнулъ онъ, охваченный чувствомъ, какое бываетъ у игроковъ, которымъ начинаетъ везти.

Ему даже захотѣлось потерять руки, да онъ замѣтилъ, что на немъ перчатки.

Онъ переходилъ площадку, ведущую къ Никитскому бульвару. Москву онъ начиналъ немного забывать, и не тотчасъ сообразилъ, какой будетъ самый краткій путь къ дому съ мезониномъ Анны Гавриловны.

Подходилъ онъ къ нему минутъ черезъ двадцать еще болѣе замедленной походкой, чувствуя усталость въ ногахъ: онѣ у него съ нѣкоторыхъ поръ уже не служили ему попрежнему.

Онъ шелъ, однако, безъ фатоватой увѣренности въ томъ, что его примутъ, какъ приняли бы молодого побѣдителя, одного изъ тѣхъ мужчинъ, которымъ нечего за себя бояться ни передъ какой красавицей.

На разговорѣ онъ хотъ кого побѣть, возьметъ первый призь за блескъ, любезность, новизну, грацію своего ума— онъ это признавалъ; но есть другая сила, сокрушающая все въ любви,—легкой или серьезной,—молодость, свѣжесть, натискъ натуры, полной жизненныхъ соковъ.

Вотъ что начинало подтачивать увѣренность въ себѣ.

Когда Егоръ Петровичъ подходилъ по бульвару къ дому Вогулиной, въ окнѣ гостиной онъ увидѣлъ женскую голову. Она мелькнула и скрылась.

„Она ждетъ!“ — мгновенно подумалъ онъ и поправилъ на носу *pinse-nez*.

Фуляровымъ платкомъ обтеръ онъ бороду, охваченную морозомъ, бодро взбѣжалъ на довольно высокое крылечко и позвонилъ.

Горничная Даша отворила ему тотчасъ же. И это былъ признакъ того, что его не только ждали, но и увидали.

изъ окна. Въ Москвѣ прислуга никогда не сидитъ въ передней, особенно женская.

— Здравствуйте, баринъ!—поздоровалась съ нимъ Даша, завеселѣвшая отъ прїѣзда этого „валяжнаго“ барина, въ которомъ она видѣла уже несомнѣннаго жениха.

Куликовъ ей не нравился, и она звала его про себя „учителишкой“.

— Анна Гавриловна у себя?—обратился съ вопросомъ Ермиловъ.

— Пожалуйста, пожалуйста!.. Кофей ждуть васъ пить!

Тепло охватило его вмѣстѣ съ запахомъ жирнаго кофе. Онъ немного запыхался отъ ходьбы, но сдержалъ свою легкую одышку, старательно оправидъ туалетъ передъ зеркаломъ и вошелъ, широко разставляя руки, съ готовымъ привѣтствіемъ, прищуривъ сквозь стекла свои большіе близорукіе глаза.

## XIX.

Кофе пили они въ гостиной, у круглаго стола, накрытаго репсовою скатертью.

Ермиловъ сидѣлъ противъ нея, придвинувшись близко, размѣшивалъ сахаръ въ плоской чашкѣ и изъ-подъ рѣсепез оглядывалъ ее.

Она опять была въ пенъюарѣ, не въ бѣломъ, а въ плюшевомъ, голубовато-сѣромъ, съ шелковой рубашкой изъ тафты, цвѣта чайной розы.

„Une vraie toilette de mariée“, — опредѣлилъ онъ мысленно и по-французски.

Но пенъюаръ такъ сшитъ, что можетъ сойти и за платье; ея гибкая талія стянута внизу широкой лентой съ длиннымъ мысомъ и бантомъ изъ такихъ же пѣжиныхъ лентъ, какъ и цвѣтъ тафты на рубашкѣ.

Туалетъ шелъ къ Аннѣ Гавриловнѣ необычайно, и онъ не могъ не пачать съ него разговора.

Она стала, за зимнихъ два мѣсяца, еще краше. Особенно соблазнительна была у нея часть лица около ея родимокъ. Ихъ онъ замѣтилъ уже не одну, а цѣлыхъ три. Грудь ея слегка колыбалась отъ радостнаго волненія, и глаза улыбались ему несомнѣнно.

„Да она просто объяденье!“—не могъ онъ не воскликнуть про себя, и прошелся ладонью по стриженной бородкѣ и по головѣ съ замѣтной лысиной—жестомъ, который у него обозначалъ большое душевное довольство.

Она расспрашивала его тономъ молодой женщины, которая сама желаетъ, и какъ можно скорѣе, перейти къ игриво-дружеской бесѣдѣ. Не понять этого нельзя было.

— О себѣ я не стану говорить,—началъ онъ, не отрывая отъ нея глазъ.—Я „у васъ, въ Москвѣ“!.. Вотъ видите, какъ я только переступаю порогъ этой комнаты, сейчасъ же у меня полются цитаты изъ роли Чацкаго!.. А это мнѣ немпожко не къ лицу... и не по лѣтамъ...

Онъ вздохнулъ и дурачливо опустилъ рѣсницы.

Она засмѣялась. Этотъ смѣхъ защекоталъ его почти физически и „замолодилъ“ такъ, что ему его слова показались самому чистымъ фарисействомъ.

„Почему же пѣть?—подумалъ онъ тотчасъ послѣ того.—Вѣдь я же дѣйствую на нее чѣмъ-нибудь... Если не физической молодостью, такъ душевной! Во мнѣ она чувствуетъ мужчину, способнаго оцѣнить ее, какъ никто изъ здѣшнихъ ея ухаживателей, всѣхъ этихъ медоточивыхъ или снотворныхъ развивателей или ловкачей, въ родѣ господина Куликова“.

И это была правда.

Она положительно скучала безъ него, ждала его писемъ, говорила о немъ и съ своимъ „претендентомъ“ Куликовымъ такъ часто и много, что тотъ сталъ обижаться и пошелъ на злоязычье, изъ-за чего у нихъ вышла даже разъ сцена.

Онъ пріятно волновалъ и веселилъ ее больше, чѣмъ кто-либо... О его лѣтахъ она и не думала, да и привыкла давно, „въ качествѣ полной хозяйки и госпожи своихъ поступковъ“, считать себя самое дѣвушкой лѣтъ двадцати пяти, шести... Ему она не давала больше сорока и прямо сказала Куликову, увѣрявшему, что Ермиловъ—товарищъ Симбирцева и Кустарева:

— Вы выдумываете!

Чуть не прибавила: „изъ худо скрываемой зависти“.

Ермиловъ, послѣ маленькихъ, но чрезвычайно лестныхъ замѣчаній о туалетѣ, причeskѣ, фигурѣ,—все это были самыя тонкія любезности,—съ болѣе серьезнымъ лицомъ сталъ расспрашивать ее о прочитанномъ.

Опять рѣчь зашла о декадентахъ, о Жозе-Маріа Эредіа и о новомъ томикѣ курьезныхъ стихотвореній, выпущенномъ въ Парижѣ. Ермиловъ выслалъ ей эту книжку изъ Петербурга.

— Я ничего ровно не понимаю,—выговорила Анна Гавриловна съ милой усмѣшкой своего характернаго рта.

— Это вамъ такъ только кажется!.. Прелесть заключается именно въ нѣкоторой трудности распознаванія...

— Такъ это лучше ребусы рѣшать!

„Мила, очень мила!—восхищался мысленно Ермиловъ.— И зачѣмъ это я все ее просиѣваю и пристаю съ книгами! Развѣ это не все равно, пойметъ она ихъ или нѣтъ?.. Главное совсѣмъ не въ этомъ“...

Его ласкающіе, женолюбивые глаза безъ словъ досказывали, въ чемъ тутъ главное.

И она начинала это понимать. Любовная игривость Ермилова не заставляла ее цѣломудренно уходить въ себя. Онъ ей нравился; но въ головѣ ея не переставалъ вслѣдывать все одинъ и тотъ же вопросъ:

„Неужели онъ это такъ, зря, изъ привычки къ вѣчному ухаживанью за всякой недурной женщиной?“

Анна Гавриловна не допускала мысли, что этотъ соревалѣтнѣй холостякъ, съ „ужасной“ репутаціей, мечтаетъ о сближеніи съ нею, какъ съ замужней дамой, вдовой или даже особой изъ болѣе легкихъ сферъ: актрисой, танцовщицей, женщиной сомнительнаго прошлаго.

Она была слишкомъ „госпожа“ для этого.

Отчего же ей и не сблизиться съ нимъ по-американски, чтобы видѣть, выйдетъ ли изъ этого что-нибудь серьезное?.. Онъ прекрасно воспитанъ. Дерзкаго и нахальнаго въ немъ нѣтъ ни тѣни. Вѣдь и любить, и сближаться, и нравиться, и производить любовный выборъ мужчины надо умѣючи. И тутъ необходима школа. Такой человекъ, какъ Ермиловъ, могъ бы быть самымъ лучшимъ учителемъ.

„А обожжешься?“—спрашивала она себя, продолжая шутивый разговоръ.

Чувственники, какъ онъ, опасны. Они могутъ развратить незамѣтно, воспользоваться однимъ мигомъ томленія, хандры или игривыхъ мыслей.

„Не надо идти дальше извѣстнаго тона“.

Но ей все больше и больше хотѣлось сближаться съ нимъ, завлекать его, пробовать на такомъ „знатокѣ“ свои дѣвичьи чары.

Ермиловъ это испытывалъ и объяснялъ по-своему. Кто же нынче можетъ ручаться за прошедшее дѣвушки, даже изъ самаго порядочнаго общества, да еще такой, которая

осталась круглою сиротою, живетъ какъ молоденькая дама, дѣлаетъ что хочетъ, принимаетъ молодыхъ мужчинъ, слушаетъ, конечно, одиночествомъ, ищетъ интересныхъ знакомствъ?

Развѣ у нея не могло уже быть романа; не „въ сухую“, а настоящаго романа? Ее могли обмануть, или дѣло не дошло до брака, потому только, что „онъ былъ женатъ“.

„Ныче женатые въ спросѣ,—думалъ онъ, любясь ею, и говорилъ въ это время о какой-то критической статьѣ. Болѣе въ спросѣ, чѣмъ нашъ братъ, холостякъ. И вотъ она увлеклась, ею обладалъ женатый, бросилъ, или она его бросила, не выдержала всякихъ психическихъ осложнений... И это былъ первый любовный урокъ“.

„L'appétit vient en mangeant!“—продолжалъ онъ думать въ промежутки ихъ разговора, который шелъ теперь о ея одиночествѣ и о прѣснотѣ московскихъ вечеровъ.

„Она не хочетъ оставаться безъ романа. Она только что развилась и почувала въ себѣ женщину. Такой цѣнитель, какъ я, ей очень на-руку“.

Незамѣтно тонъ Егора Петровича дѣлался интимнѣе. Онъ уже два раза поцѣловалъ прелестную руку съ голубыми жилками и даже придержалъ ее въ своихъ рукахъ. И ее не отдернули.

Ему не страшно этой „приданницы и московской боярышни, à la recherche d'un mari chic“. Онъ совсѣмъ и не думаетъ объ опасности сближенія съ порядочными дѣвицами, даже и такими, которыя живутъ на полной свободѣ.

Совершенно такіе же звуки и взгляды пускаетъ онъ съ самыми опытными женщинами, съ кѣмъ у него очень быстро шло на ладъ и недавно, съ годъ назадъ, и въ первыя времена его успѣховъ, — только невольна примѣшивалась болѣе мягкая игривость, проникнутая увѣренностью въ себѣ.

„Но съ такою дѣвицей надо дѣйствовать безъ лишнихъ оттижекъ. Иначе это превратится въ безвкусное развиваніе,—продолжалъ думать Ериловъ въ перебивку съ фразами, которыя онъ произносилъ вслухъ. — Нужно только пробовать, на что она идетъ, чего боится и чего вѣтъ“.

— Какіе славы дни стоятъ!—вдругъ сказалъ онъ, не боясь банальнаго перехода къ погодѣ. — Хочется прокатиться за городъ... Вы любите?..

— Люблю!—отвѣтила она.—Но очень рѣдко пользуюсь этимъ удовольствіемъ. Даже и не помню, ѣздила ли въ крошечную зиму.

— Со мной... не хотите ли?... Какъ-нибудь... днемъ? — прибавилъ онъ и долгимъ взглядомъ остановился на ея головѣ.

Она нисколько не смутилась, только поглядѣла немного въ сторону и прикусила нижнюю губу.

— Это идея!—звонко выговорила Анна Гавриловна и слегка кивнула головой.—На тройкѣ?

— Какъ вамъ угодно.

— Ужъ если ѣхать, такъ на тройкѣ!..

И подумавъ немножко, она сказала:

— Но, разумѣется, не въ „Стрѣльну“!

— Вы не любите цыганъ?—спросилъ онъ и мысленно добавилъ: — „угощать ими у меня нѣтъ большой охоты“.

— Я ихъ слышала всего раза два-три въ мою жизнь. Они мнѣ не нравятся. Дикіе звуки...

— И жестокое перевираніе текста... Но я и не позволилъ бы себѣ предложить вамъ поѣздку въ „Стрѣльну“ или въ „Яръ“, какъ здѣсь говорятъ...

— Въ „Яръ“?—повторила она.

— Вѣдь истые москвичи-вицѣры говорятъ: „мы собираемся въ „Яръ“, а не къ „Яру“.

— А вы пуристъ?

— Впрочемъ, они, быть-можетъ, и правы. „Яръ“—фирма, слово, въ родѣ: „Ливадія“, „Аркадія“, „Стрѣльна“...

— Мы туда не поѣдемъ,—вымолвила Анна Гавриловна и усмѣхнулась настолько игриво, что Ериловъ тотчасъ же подумалъ:

„Ты—настоящая москвичка: приличіе будетъ соблюдено, а того, что можетъ повести за собой такая прогулка—ты не боишься“.

— Знаете что... я вамъ предложу Петровское-Разумовское... Паркъ въ снѣжномъ уборѣ долженъ быть очень красивъ.

— Это удачная идея!.. Когда же?

— Когда прикажете и въ какое угодно время?

— Хотите послѣзавтра?

— A la „disposicion de usted“,—выговорилъ онъ съ шутивымъ наклоненіемъ головы.

— Это на какомъ языкѣ?

— Одна изъ немногихъ испанскихъ фразъ, извѣстныхъ мнѣ.

Она хотѣла-было прибавить:

„Мы могли бы тамъ позавтракать“,—но не сказала этого.

Отъ чаю она, пожалуй, и не откажется,—соображалъ онъ.—И холодъ ее проберетъ немного, да и какая же настоящая московка откажется отъ чаю?

Ему кто-то говорилъ, что тамъ, около Виселокъ, открытъ ресторанъ. Стало-быть, есть и кабинеты.

И она могла это знать. Во всякомъ случаѣ, поѣздка на тройкѣ, вдвоемъ, сблизить ихъ. А вдругъ она предложитъ кого-нибудь?.. Тетуську?.. Кажется, у нея живетъ какал-то старушка?

— Тройка... очень хорошо, — начала она вслухъ нѣсколько инымъ тономъ.—Но это днемъ немного странно...

„Ретируется!“—подумалъ Ермиловъ.

— Громоздко?—подсказалъ онъ слово.

— Именно!

— Поѣдемте въ городскихъ саняхъ... Налегкѣ!..

— Это гораздо удобнѣе.

— Вотъ что мы сдѣлаемъ, — заговорилъ онъ, понижая голосъ.—Мы сидимъ у Тверского бульвара.

— На площади, передъ Страстнымъ монастыремъ?—подсказала она, и глаза его радостно и хищно заблестали.

— Именно!

Она не поднимала на него глазъ, но щеки ея разгорѣлись и по губамъ прошла усмѣшка, за которую онъ не могъ не поблагодарить, нагнулся, взялъ ея руку и поцѣловалъ.

„Да вѣдь это свиданіе, — проговорилъ онъ мысленно, — въ полной формѣ и даже съ увозомъ на лихачѣ... *La demoiselle n'y va pas de main morte!*“

И эта французская фраза слегка охладила его. Ему все это показалось слишкомъ быстрымъ.

Но это было на одну секунду. Перспектива слишкомъ заманчива. Онъ отъ пріятнаго волненія даже всталъ и втроелся по гостиной своей широкой, раскидистой походкой.

— Послѣзавтра, — спросилъ онъ по-французски, когда подошелъ къ ней и низко нагнулъ голову, — во второмъ часу, у памятника Пушкина?

— Да,—выговорила она и смѣло поглядѣла на него.

— *Nom d'un petit bonhomme!* — воскликнулъ онъ, по своей неизмѣнной привычкѣ, и, присѣвъ къ ней, заговорилъ опять о творцѣ божественныхъ сонетовъ, Жозе-Маріа Эредіа.

## XX.

Съ утра Анна Гавриловна прилаживала шляпку, заказанную въ тотъ день, когда у нея былъ Ермиловъ и они согласились ѣхать въ Петровское-Разумовское.

Она выбрала темно-красный плюшъ—онъ шелъ къ ней чрезвычайно—и остановилась на фасонѣ „*chapeau-sarotte*“ въ родѣ дѣтской шляпки въ сборкахъ, съ бантомъ, на атласѣ нѣжнаго оттѣнка.

Наканунѣ она волновалась, пока изъ магазина не принесли шляпки. Весь вечеръ она обдумывала туалетъ, такой, чтобы не былъ слишкомъ наряденъ, не смялся подъ шубкой, сидѣвшей очень плотно, по талии. Она остановила свой выборъ на корсажѣ, въ которомъ ея талія имѣла самый красивый выгибъ, при темно-клетчатой юбкѣ.

Ермиловъ „обновлялъ“ ее. Такъ она сама выражалась. Ей съ нимъ такъ ново и завлекательно, какъ ни съ кѣмъ изъ московскихъ никогда не бывало, даже изъ самыхъ интересныхъ и молодыхъ.

Она не смотрѣла на него, какъ на жениха, не хотѣла этого, и въ то же время чувствовала, что они могутъ сблизиться болѣе, чѣмъ добрые знакомые.

За себя она не боялась. У нея совсѣмъ не такой темпераментъ, чтобы не отвѣчать за себя, если бъ такой опытный „женолюбъ“ и сталъ увлекать ее всякими способами.

Ей хотѣлось игры, а не московскаго разиванья, съ трусливыми намеками и разговорами о благородныхъ чувствахъ, но настоящей любовной игры съ такимъ мужчиной, какъ этотъ Ермиловъ. Съ его прѣзда, и даже раньше, когда переписка завязалась между ними, она стала понимать цѣну и прелесть своей полной свободы. Ермиловъ помогалъ ей выяснять себѣ свою собственную натуру, свои настоящіе вкусы и наклонности.

„Можетъ-быть, я совсѣмъ не московская „боярышня“,— думала она. — Кто знаетъ!.. Пожалуй, я съ очень пороч-



ными инстинктами; а можетъ, способна познать настоящую страсть, завергнуться?"...

И ужъ, конечно, не съ здѣшними мужчинами испытаетъ она все это. Куликовъ не противенъ ей; но очень ужъ она его видитъ насквозь. Онъ ищетъ руки, это ясно, и не знаетъ, какія ему пустить въ ходъ средства, чтобы затягивать ее въ „интеллигентное сближеніе"—его любимая фраза. Видитъ она и его ревность. Ермиловъ очень опасенъ для него. Ему остается одно орудіе—возмущаться ухаживаніемъ сороканятилѣтняго Донъ-Жуана за порядочной дѣвушкой, безъ „честныхъ" намѣреній.

Куликовъ точно пронюхалъ, что она согласилась съ Ермиловымъ встрѣтиться на бульварѣ, — это свиданіе ужасно тѣшило ее, — и все спрашивалъ ее, какъ она располагаетъ провести весь этотъ день?..

Она ему отвѣтила:

— Я не знаю! Я не желаю жить такъ разбѣренно.

Вѣроятно, по выраженію ея глазъ, онъ почувалъ что-нибудь опасное для себя и все-таки напросился вечеромъ посидѣть, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ просмотритъ ея рефератъ.

Эти „рефераты" и умныя бесѣды о московскихъ любимыхъ авторахъ пріѣлисъ ей почти до оскомины.

— Можетъ-быть, вы меня и застанете, — ужъ совсѣмъ ве любезно отвѣтила она ему.

Но онъ придетъ. Онъ цѣпкій. Про него Даша говорить: „Не пролей-напельви". Придетъ и не застанетъ ея дома.

Анна Гавриловна не знала еще, какъ у нея пройдетъ весь этотъ день и вечеръ, вернется ли она обѣдать домой, или ихъ пикникъ затянется.

Немного ей было какъ будто и страшно, и это чувство только пріятнѣе подмывало ее.

— А какъ вы будете встрѣчать новый годъ?—приставалъ Куликовъ.

— Вѣроятно, дома.

Его глаза пресились къ ней, но она его не пригласила.

Ермилову она сказала, когда онъ уходилъ отъ нея, что ей очень бы хотѣлось встрѣтить новый годъ съ нимъ. Онъ можетъ отъ нея поѣхать и въ другія мѣста. И онъ былъ въ восхищеніи.

Объ этомъ она, конечно, не заикнулась Куликову.

Позавтракала она поспѣшно и даже безъ аппетита. Отъ тетки она также скрыла свою поѣздку съ Ермиловымъ, — да она вѣдь и не обязана ей обо всемъ докладывать. Съ утра Анна Гавриловна была причесана точно на вечеръ, и только что встала изъ-за стола — было уже около двѣнадцати часовъ — какъ ей подали городскую денешу. Она прочла ее еще въ столовой.

Ермиловъ телеграфировалъ въ шутливо-огорченномъ тонѣ, какъ его преслѣдуетъ судьба: съ утра ужасная невралгія; быть-можетъ, придется пролежать болѣе сутокъ. Новый годъ хочетъ непременно встрѣтить выѣстъ.

Первое чувство ея было — пожалѣть; но сейчасъ же оно перешло въ недовѣріе.

„Отказался, пошелъ на попятный, боится зрѣлой и предпримчивой невѣсты“...

Она покраснѣла и ушла къ себѣ въ спальню, звизнула Дашу и стала переодѣваться.

— Не поѣдете? — спросила ее Даша и посмотрѣла на нее съ улыбкой: — „И, молъ, догадываюсь, куда и съ кѣмъ вы собрались“.

— Не поѣду! — отвѣтила Анна Гавриловна; ей даже захотѣлось дать на эту „дерзкую“ Дашу окрикъ.

— И шляпка-то зря заказана! — продолжала горничная.

— Почему же „зря“? Что вы за вздоръ болтаете, Даша!..

Горничная примолкла. Она знала, что барышню, когда ей чѣмъ не потрафишь, не трудно довести и до окрика.

— Подайте мнѣ пенъюаръ, голубой!

Анна Гавриловна одѣлась такъ же быстро и вышла опять въ гостиную. Она никуда не поѣдетъ и не пойдетъ сегодня. Съ какой стати будетъ она обновлять свою красную шляпку? Эта шляпка сдѣлалась ей противна.

Маленькія розовыя пятна выступили у нея на щекахъ и около ушей. Она ходила по гостиной короткими и порывистыми шагами и щелкала чуть слышно пальцами. Глаза ея, съ недоброй усмѣшкой на губахъ, останавливались то на одномъ предметѣ, то на другомъ.

Послѣднее впечатлѣніе отъ денеши Ермилова перешло уже въ твердую увѣренность.

Конечно, онъ попятился назадъ. Эта невралгія — чистая выдумка, благовидный предлогъ, да и весь тонъ телеграммы фальшивый.

Ея сближеніе съ Ермиловымъ получило, въ ея глазахъ,

совсѣмъ иную окраску. И досадно, и обидно стало ей за самой себя, какъ никогда не бывало.

Урокъ полученъ хорошій. И отъ кого? Отъ извѣстнаго „развратника“, отъ человѣка, который и каждой замужней женщинѣ сейчасъ повредитъ въ ея репутаціи.

Въ ухаживаніи его она не могла не распознать самого неуважительнаго отношенія къ себѣ. Развѣ такъ ухаживаютъ за такой дѣвушкой, какъ она? Если даже и не имѣть на нее честныхъ намѣреній, не искать сближенія съ цѣлью женитьбы, то и тогда развѣ такъ говорятъ съ нею послѣ двухъ-трехъ визитовъ, развѣ приглашаютъ ее кататься на лихачѣ-извозчикѣ, за городъ, чуть не сразу въ кабинетъ ресторана? И она вспомнила, что въ Петровскомъ-Разумовскомъ открытъ ресторанъ съ прошлаго лѣта. Навѣрно, Ермиловъ зналъ про него, и въ его программу входило предложить тамъ чашку чаю.

Анна Гавриловна приложила ладони къ щекамъ: онѣ у нея пылали.

Ей сдѣлалось стыдно... Она готова была расплакаться.

Но подъ всѣмъ этимъ было другое чувство. Въ этомъ она не хотѣла сознаться; но это-то чувство и повело за собою обиду и горечь. Женщину задѣли въ ней. Она не за то разсердилась на Ермилова, что онъ повелъ свое ухаживаніе слишкомъ прозрачно и точно съ какой-нибудь легкой актрисой или танцовщицей... Но онъ попытился назадъ—вотъ чего нельзя было простить.

Значитъ, онъ не настолько увлеченъ, чтобы забывать опасность сближенія съ дѣвушкой для закоренѣлаго холостяка, охотящагося за женщинами. Стало-быть, впечатлѣніе на него не пошло дальше пустого любезничанья, отъ скуки, проѣздомъ...

Вотъ что сверлило ей сердце и вызывало въ головѣ цѣлую вереницу упрековъ себѣ.

Оставить это такъ, безъ всякой оплаты? Онъ рассчитываетъ встрѣтить съ нею новый годъ! Вѣроятно, думаетъ, что она пригласитъ его одного, явится съ конфетами или букетомъ и будетъ продолжать свою игру женолюба и остроумца, но не опасную въ присутствіи тетюшки или въ tête-à-tête послѣ ужина вотъ въ этой гостиной?

Щеки уже не такъ сильно пылали у Анны Гавриловны: но она продолжала ходить. Мысль ея перешла къ Куликову, къ его возможному вечернему визиту сегодня.

Она позвонила. Даша прибѣжала стремительно.

— Пошлите мнѣ за посылнымъ, — приказала Анна Гавриловна и перешла къ себѣ въ будуаръ, сейчасъ же присѣла къ письменному столу и стала писать записку.

Она извѣщала Куликова, что вечеръ у нея свободенъ, благодарила его за просмотръ ея реферата, говорила ему еще про „умную книжку“, о которой хочетъ побесѣдовать съ нимъ.

Эту книжку рекомендовалъ ей Ермиловъ. Куликовъ ее не знаетъ, да и она прочла только половину; но у нея есть еще довольно времени до обѣда и послѣ обѣда. Не съ Ермиловымъ будетъ она толковать о ней, а съ Куликовымъ, и онъ навѣрно станетъ восхищаться тѣмъ, какъ она слѣдитъ за всѣмъ. Объ Ермиловѣ они поговорятъ на этотъ разъ какъ надо. Она уже не станетъ запрещать Куликову по ниточкамъ разбирать старѣющагося селадона и „гнилого“ эстетика.

Она послала записку и приказала Дашѣ принести ей другой пеньюаръ, домашній, въ которомъ можно лежать, и легла на кушетку съ книжкой, поднесенной ей Ермиловымъ. Это былъ первый томъ „Etudes de philosophie contemporaine“, Поля Бурже.

Чтеніе начало успокаивать ее, затягивало въ цѣлый рядъ новыхъ мыслей... Но два мужскихъ лица то и дѣло выплывали изъ печатныхъ страницъ, и она клала книжку на колѣни, закрывала глаза и начинала сравнивать и проводить параллели.

Что жъ изъ того, что Куликовъ для нея слишкомъ понятенъ? А Ермиловъ развѣ загадоченъ? Нисколько! Стоить ей удачно выйти замужъ, чтобъ нѣсколько Ермиловыхъ явилось поклонниками. Ермиловъ, въ сущности, старый-престарый типъ беззаастѣнливаго эпикурейца-чувственника, который начинаетъ нравственно падать, если совсѣмъ уже не палъ.

Оболочка у него блестяща, забавна, дразнить, щеко-четъ, дѣйствуетъ на порочныя инстинкты и всего больше на тщеславіе женщинъ; но изъ него не выйдетъ даже самаго ординарнаго любовника.

Она не выговорила про себя грубое слово: „любовникъ“; но мысль ея была ясна. Ермиловъ старъ, онъ слишкомъ потертъ жизнью; у него и въ самомъ дѣлѣ могутъ быть старческія невралгіи, черезъ пять лѣтъ онъ — руина... Только неразборчивыя и легкія женщины могутъ сбли-

жаться съ нимъ. И если онъ совершенно немислимъ въ роли мужа, то и въ герояхъ ея романа ему не бывать.

Этотъ выводъ дался Аннѣ Гавриловнѣ безъ труда. Но она не покончила тѣмъ съ самою личностью Ермилова; въ нее запало желаніе дать ему почувствовать, какъ она на него теперь посмотрѣла.

Параллель продолжалась. Она, въ слѣдующую паузу, протянула руку, достала съ письменнаго стола кабинетный портретъ въ плюшевой рамѣ—портретъ Куликова, и долго его разсматривала, приближала и отдаляла отъ глазъ, изучила всѣ ретушовки, нашла, что и съ ними онъ все-таки похожъ, и фотографъ ему не польстилъ.

Лицо—умное; улыбка, правда, сладковата, но въ ней—въ углахъ губъ—сидитъ большая энергія, и эта сладковатость только кажущаяся.

„Значить, маска?“—спросила Анна Гавриловна, и тотчасъ успокоила себя.

Какая же маска! Она давно проникла за эту маску. Куликовъ не притворяется либераломъ и прогрессистомъ; но онъ держится этихъ идей умѣючи, съ тактомъ, и онъ ему не помѣшаютъ выйти въ люди. Онъ не оригиналенъ въ языкѣ и оцѣнкѣ книгъ, но работающъ, боекъ во всемъ, что даетъ ходъ молодому ученому, гораздо умнѣе и проинцательнѣе видитъ, кто какое занимаетъ положеніе и съ кѣмъ надо дружить—до поры до времени.

Прежде она возмущалась, когда онъ представлялся ей въ такомъ именно свѣтѣ; а сегодня ей эти свойства кажутся допустимыми въ человѣкѣ, о которомъ думаешь, какъ о мужѣ.

Она такъ уже думала о немъ, лежа на кушеткѣ, съ его портретомъ въ рукѣ.

Куликовъ добивается сближенія съ нею какъ порядочный человѣкъ, не скрываетъ своего чувства. Можетъ-быть, онъ ее гораздо сильнѣе любитъ, чѣмъ она думаетъ. Но, положимъ, что такая натура не способна на страсть. Такъ вѣдь и Ермиловъ на нее не способенъ. Но тутъ—молодость и свѣжесть, а тамъ...

Она брезгливо повела плечами.

„И будетъ попечителемъ, навѣрно“,—выговорила Анна Гавриловна про себя, закрыла глаза на болѣе долгое время и стала представлять себя въ роли попечительши. Такой „шустрый“ малый, какъ Куликовъ, дойдетъ и до попечителя...

Отъ кого же зависить привлечь его къ себѣ, сказать ему: „цыпъ-цыпъ“, какъ не отъ нея?

А Ермилова все-таки надо своимъ порядкомъ проучить. На этомъ она задремала.

## XXI.

Швейцарь подавалъ шубы двумъ гостямъ, только что сошедшимъ съ площадки перваго этажа, гдѣ жила Доротея Васильевна Карусъ.

Это были Ермиловъ и Гремущинъ.

— Намъ судьба выходить вмѣстѣ,—говорилъ Ермиловъ, осторожно спускаясь съ послѣдней ступеньки.

У него еще не совсѣмъ прошла боль въ лѣвой ногѣ.

— Дольше оставаться что же!.. Только расколаживать впечатлѣніе...

Гремущинъ тихо улыбался и полужакрылъ глаза, когда выговаривалъ эти слова.

Онъ намекалъ на пѣніе хозяйки.

Ермиловъ попалъ къ ней во второй разъ. Онъ сдѣлалъ ей визитъ на другой день послѣ кофею у Вогулиной, нашелъ ее менѣе интересной, чѣмъ какою ему описывали ее въ Петербургѣ, не въ его вкусъ, лишенной оригинальности въ лицѣ, манерахъ и разговорѣ. Ея литературность въ новомъ вкусѣ онъ не успѣлъ позондировать, да ему и не вѣрилось, что она дѣйствительно пережила „бодлеризмъ“ и „флоберизмъ“.

Что онъ въ ней тотчасъ же распозналъ, чутьемъ знатока современной женщины, это—„каботинку“—*„la cabotine“*, скрытую и всепоглощающую жажду артистическихъ ощущеній извѣстности, рукоплесканій зрительной или концертной залы,—что не исключаетъ у такихъ женщинъ склонности къ мужелюбію, увлеченій и даже унижительныхъ страстей къ какому-нибудь красавцу-мужчинѣ, тоже изъ „каботиновъ“: изъ пѣвцовъ, виртуозовъ, актеровъ.

Ермиловъ въ первый же разговоръ съ нею какъ-то сразу задѣлъ за эту струну, и она задрожала сейчасъ же сильнѣе всего прочаго. Цессимизмъ, извлеченный изъ *„Fleurs du mal“* Бодлера, былъ только орнаментъ, дополненіе къ отдѣлкѣ ея кабинета и гостиной, гдѣ онъ одѣнилъ нѣсколько истинно рѣдкихъ произведеній искусства и парижскихъ *bibelots*.

Въ этотъ визитъ получилъ онъ и приглашеніе на ея

jour fixe, и не очень этому обрадовался, а пошелъ потому только, что не хотѣлъ проводить вечера въ театрѣ; но къ Вогулиной не рискнулъ явиться безъ зова.

Егоръ Петровичъ допускалъ то, что Анна Гавриловна не повѣритъ его внезапной болѣзни.

Невралгія дѣйствительно разразилась съ утра, и онъ медлилъ посылать депешу до одиннадцатаго часа, промучившись въ постели съ восьми часовъ утра.

Но онъ былъ радъ этому честному предлогу, этой физической невозможности—*forcc majeure*,—какъ онъ выражался, про себя, по-французски. Еще наканунѣ его начинало брать раздумье. Такая поѣздка вдвоемъ на извозчикѣ-лихачѣ, съ рестораномъ въ перспективѣ—онъ непременно бы предложилъ заѣхать обогрѣться—была „чревата“ послѣдствіями. Одно изъ двухъ: или онъ зарвался бы съ ней, какъ „порядочный человѣкъ“,—и дѣло могло кончиться жениховствомъ, или онъ позволилъ бы себѣ что-нибудь лишнее и получилъ бы непріятный отпоръ.

Невралгія пришла очень кстати; только отъ поѣздки онъ воздержится, да и она сама не пожелаетъ, она—такая... Онъ рассчитывалъ загладить все въ ночь на новый годъ, явиться съ букетомъ рублей въ двадцать пять и снять сливки съ этого новогодняго вечера. Вѣроятно, никого и не будетъ, кромѣ тетушки. Это почти все равно, что съ-глазу-на-глазъ; а между тѣмъ не опасно. Вогулина ему очень нравится; но она дѣвушка, и онъ долженъ остаться вѣренъ своей программѣ.

Встрѣтить новый годъ пригласила его и Карусъ. Онъ, было, отказался, но она стала его упрашивать, говоря:

— Пріѣзжайте позднѣе, хоть послѣ двѣнадцати. Вы насъ еще застанете за столомъ.

Отъ этого онъ не могъ отказаться.

Приглашеніе было сдѣлано сегодня, при Гремущинѣ, котораго онъ нашелъ у Карусъ—не безъ удивленія—и цѣлый вечеръ незамѣтно наблюдалъ его.

Такой „чудакъ“ могъ бывать и у дѣвицы съ талантомъ, наружностью и обстановкой Доротей Васильевны Карусъ; но Ермиловъ, во время пѣнія хозяйки, рѣшилъ безповоротно, что Гремущинъ „врѣзался“ серьезно.

Обыкновенно онъ относился къ роковымъ увлеченіямъ женщинами въ другихъ съ шуточкой и даже насмѣшкой, особенно если это были люди не самой первой молодости.

Онъ вообще не преклонялся нисколько передъ страстью, бурными порывами, безумствомъ любви, и ставилъ выше всего любовь-galanterie, во вкусъ восемнадцатаго вѣка. Къ такимъ увлеченіямъ онъ былъ крайне снисходителенъ и охотно дѣлался наперсникомъ и мужчинъ, и женщинъ. Но надъ Гремушинымъ онъ почему-то не сталъ смѣяться. Глядя на бритое, поблѣднѣвшее, странно-моложавое лицо чудака, ушедшаго въ кресло и впившагося глазами въ пѣвицу, — онъ сталъ жалѣть его и интересовался этою несомнѣнною страстью, запоздалой и такъ не подходившей къ наружности, тону, ко всему складу его новаго знакомаго.

Они вышли на улицу вмѣстѣ.

— Не хотите ли пройтись Чистыми-Прудами? Ночь славная! — предложилъ ему Ермиловъ.

— Съ удовольствіемъ, — выговорилъ своимъ обычнымъ учтивымъ тономъ Гремушинъ.

Онъ шелъ опустя голову, и Ермиловъ чувствовалъ, что у него въ ушахъ еще переливы голоса Доротен Вагнеръ.

— Послушайте, — тихо спросилъ онъ его, когда они были уже на бульваръ, — вѣдь признайтесь — у васъ въ ушахъ все еще голосъ mademoiselle Карусъ?

Гремушинъ быстро поднялъ голову въ высокой мерлушковой шапкѣ и выговорилъ безстрастнымъ звукомъ:

— Вы угадали.

— Она васъ гипнотизируетъ?..

Слово это было такъ вѣрно употреблено, что Гремушинъ остановился на ходу и спросилъ наивно:

— А вы какъ это могли угадать?

— По „интуиціи“.

Ермиловъ довольно громко разсмѣялся.

Его смѣхъ раздался въ сухомъ, морозномъ воздухѣ. Деревья стояли полныя инея; керосиновые фонари горѣли тускло на самомъ бульварѣ. Онъ былъ совершенно пустъ; даже и саней не проѣзжало въ эту минуту.

— Развѣ это смѣшно? — не то обидчиво, не то грустно выговорилъ Гремушинъ и опять остановился.

Остановился и Ермиловъ.

— Извините... Я совсѣмъ не хотѣлъ шутить. Позвольте мнѣ спросить васъ: вы дѣйствительно испытываете нѣчто, похожее на гипнозъ, когда слышите голосъ...



Онъ затруднился сказать: „любимой женщины“, и послѣ маленькой задержки выговорилъ:

— Женщины... которая на васъ вообще дѣйствуетъ.

— У которой, — продолжалъ его фразу Гремушинъ, — есть то, что французы называютъ „suggestion“?

— Именно!

— Да, я испытываю это.

— И состояніе это наполовину физическое?—спросилъ Ермиловъ тономъ, какой являлся у него всегда при разговорахъ съ научнымъ оттенкомъ.

— Какъ и все въ такъ-называемой душевной жизни нашей.

Выспрашивать у него что-нибудь о его чувствахъ Ермиловъ не сталъ. Онъ отличался большою деликатностью въ такихъ вещахъ и позволялъ себѣ смѣяться надъ „grgrandes passions“ только за глаза или про себя.

Не сталъ онъ разбирать и Карусъ, — ни женщину, ни пѣвицу. Въ пѣніи онъ не считалъ себя знатокомъ и на музыку смотрѣлъ почти такъ же, какъ и Гремушинъ. И пѣвица не привлекала его въ Карусъ. Голосъ онъ нашелъ большимъ и „звонкимъ“, но экспрессию — слишкомъ манерной и съ оттенкомъ — какъ онъ отмѣтилъ мысленно — „заграничной цыганщины“, которую онъ уже находилъ въ Петербургѣ, у свѣтскихъ дѣвицъ, мечтающихъ объ оперной сценѣ, — чувственное пѣніе безъ наивности, и темпераментъ безъ высшаго изящества. Лицо Доротеи Васильевны не нравилось ему и въ вечернемъ освѣщеніи. Онъ не любилъ лицъ съ усиками на верхней губѣ и пухомъ на подбородкѣ, слишкомъ ясно выраженныхъ чертъ, грозящихъ перейти скоро во что-то театрално-оперное, въ „каботинское“.

Все это онъ задержалъ въ себѣ и сказалъ только:

— Новѣйшій типъ — эта Доротея Васильевна.

— Типъ? — почти обиженнымъ звукомъ переспросилъ Гремушинъ.

— Да... въ ней очень ярко выражень протестъ новой женщины, желающей пользоваться рѣшительно всѣмъ, на что разрѣшили мы, мужчины.

— И онѣ имѣютъ на это полное право.

— Я и не спорю!

Гремушинъ замолкъ, затрусилъ мелкими шагами, нахлобучилъ шапку и, дойдя до Мясницкихъ воротъ, сказалъ торопливо:

— Прошу извинить меня. Мнѣ еще далеко. —

И закричалъ извозчика.

— Мы встречаемъ вмѣстѣ новый годъ! — крикнулъ ему вслѣдъ Ермиловъ, и пошелъ нѣшкомъ внизъ по Мясницкой, повторивъ нѣсколько разъ:

„Поздненько, поздненько, поздненько, братъ, врѣзался“...

Но тотчасъ же подумалъ:

„А если онъ счастливъ, — то чего же ему больше? Опасности жеваться нѣтъ — онъ женатъ“.

## ХХІІ.

Подарокъ въ пятьдесятъ рублей былъ посланъ, къ вечеру, Ермиловымъ. На Патріаршихъ-Прудахъ должны были получить его не позднѣе одиннадцати часовъ. Подарокъ состоялъ изъ корзины съ цвѣтами. Корзину Ермиловъ самъ выбиралъ въ Столешниковомъ переулкѣ и поторговался при этомъ; цвѣты купилъ на Петровкѣ — и тоже поторговался. Ему стало немного жаль такихъ денегъ, но надо же было загладить впечатлѣніе депеши.

Онъ разсудилъ надѣть фракъ, хотъ и зналъ, что ночь подъ новый годъ кончить на вечеринкѣ пріятелей изъ кружка, гдѣ все будетъ запросто. Но черныи сюртукъ слишкомъ выставлалъ его полноту, дѣлалъ его въ станѣ солиднымъ мужчиной — сильно за сорокъ. Отъ бѣлаго галстука онъ, однако, воздержался.

Егоръ Петровичъ не переставалъ разсчитывать на игривый разговоръ съ Вогулиной, съ-глазу-на-глазъ, до или послѣ встрѣчи новаго года. Она не будетъ дѣлать ему ненужныхъ колкостей, поведетъ себя сначала какъ женщина, требующая дальнѣйшаго ухода, но уже смягченная красивымъ и вѣроятно неожиданнымъ подаркомъ. У нея, даже и послѣ лишняго бокала вина, онъ ничего не боится. Это — не завтракъ въ загородномъ ресторанѣ. Господина Куликова она устранить.

Въ такихъ мысляхъ вѣхалъ Ермиловъ на Патріаршіе-Пруды и былъ заранѣе доволенъ программой своего вечера. Отпразднуетъ онъ новый годъ, да и вонъ изъ Москвы. Довольно. А то получишь ощущеніе прѣсноты, чего онъ больше всего боялся.

Домикъ Анны Гавриловны былъ освѣщенъ ярче обыкновеннаго. Въ окно гостиной, гдѣ забыли опустить штору, Ермиловъ заглянулъ еще изъ саней, боясь, что увидить

какую-нибудь мужскую или женскую фигуру, но ничего не замѣтилъ.

Его выпустилъ въ переднюю официантъ во фракѣ. Это ему не понравилось. Наемный фрачный лакей отзывался званымъ вечеромъ, чѣмъ-то ненужнымъ, какой-то мелкой претензіей. Вогулина могла бы и не дѣлать этого.

Анну Гавриловну нашелъ онъ въ небольшомъ залѣ, около стола, накрытаго всего на четыре прибора. Посрединѣ красовался его подарокъ—корзина изъ цвѣтовъ. На нее падалъ свѣтъ двухъ канделябровъ. Вся сервировка блестяла, — точно ножи, вилки, тарелки были положены совѣмъ новыя, въ первый разъ.

„Приданое свое выставляетъ“, — подумалъ невольно Ермиловъ, и въ маленькое зеркальце поправилъ рукой усы и кончикъ своей конусовидной бородки.

На порогѣ гостиной встрѣтила его хозяйка. Она была вся въ бѣломъ—не въ пеньюарѣ, а въ платьѣ, съ вырѣзомъ на груди, съ кружевными рукавами, съ букетомъ бѣлой сирени на корсажѣ и вѣткой тѣхъ же цвѣтовъ въ волосахъ.

Туалетъ шелъ къ ней удивительно. Но Ермиловъ не воздержался отъ мысленнаго замѣчанія, что такъ одѣться—какъ-то парадно у себя дома, на вечеринкѣ, за столомъ въ четыре прибора. Въ Европѣ это было бы вполне кстати. Въ Москвѣ обличало или претензію, или какое-то намѣреніе. Онъ, однако, подавилъ въ себѣ такую придирку. Красота Вогулиной, изящество туалета, бѣлые цвѣты быстро подкупили его.

Она встрѣтила его съ радостнымъ, почти сіяющимъ лицомъ и протянула обѣ руки.

„Умна“, — проскользнуло въ его головѣ.

И онъ, безъ всякой уже тревоги, поцѣловалъ сначала одну, потомъ другую руку. Онѣ были обнажены почти до локтя. Сгибъ ихъ нашелъ онъ прелестнымъ, и въ одномъ изъ нихъ сидѣла родинка. Анна Гавриловна была этимъ очень богата.

И ея обычные духи прошлись по его нервамъ ласкающей струей.

— Какъ здоровье? Поправились?—заговорила Вогулина, не сразу выпуская его руки изъ своихъ.—Лежали въ постели?

— Все—фальшивая тревога, — со смѣхомъ отвѣтилъ Ермиловъ.

— Это, кажется, тоже изъ „Горе отъ ума“?

— Простите! У васъ на меня нападаетъ страсть цитировать Грибоѣдова.

Они перешли въ гостиную, освѣщенную, кромѣ лампы на кругломъ столѣ, двумя „кенкетами“.

Эти „кенкеты“ опять заставили Ермилова сдѣлать критическое замѣчаніе.

— Боже мой! — началъ онъ, остановивъ ее посреди комнаты, — я просто въ себя не приду! — онъ зажмурилъ глаза. — Эта млечная бѣлизна шелка, цвѣтовъ, рукъ, лица...

— Егоръ Петровичъ! — игриво прервала она его, — пощадите! Сядемте пока на диванъ.

Онъ предвкушалъ тотъ разговоръ, послѣ ужина, который будетъ, вѣроятно, тутъ же, на диванѣ: но для кого приготовленъ четвертый приборъ за столомъ?.. Онъ чуть-было не спросилъ объ этомъ.

Она улыбалась ему, — свѣжая, съ изумительнымъ тономъ кожи, яркія губы полураскрыты, удивленные глаза смотрѣли немного вбокъ, сирень съ ея груди и съ волосъ доносила до него чуть разлитое благоуханіе.

„Отчего же и не рискнуть? — мелькнуло у него на душѣ. — Вѣдь лучше я не найду пристани?..“

Въ ней — онъ это чувствовалъ — женщина не пріѣстся ему долго-долго, быть-можетъ, до самой старости. Рѣдко испытывалъ онъ такой „разливъ“ любовнаго настроенія (Ермиловъ любилъ психологическіе термины), какъ теперь, вблизи этого созданія, полнаго вызывающей и торжествующей прелести.

Она тихо усмѣхнулась и прошла по немъ взглядомъ. Эту игру онъ наивно считалъ за возрастающее влеченіе къ нему... А се подмывало, въ ту минуту, чувство особой сладости, какую только обиженная женщина находитъ въ чисто женской мести.

— Какъ это хорошо, — началъ Ермиловъ, отдаваясь своему настроенію, — что вы пригласили меня встрѣчать съ вами новый годъ совсѣмъ по-домашнему!

Ему уже казалось, что туалетъ, цвѣты, яркое освѣщеніе, блистающіе новизной фарфоръ и серебро, — все это только для него.

— Да, мой другъ, — отвѣтила ему Анна Гавриловна и немного опустила голову. — Вы вѣдь — другъ? — спросила она, подняла голову медленно, и поглядѣла на него взглядомъ, гдѣ онъ ничего не прочелъ.

— Вы сомнѣваетесь?

Егоръ Петровичъ прикоснулся къ бѣлымъ и тонкимъ пальцамъ ея руки.

— Нѣтъ! Я и хотѣла раздѣлить съ вами этотъ моментъ моей жизни...

Она не договорила и взглянула сквозь рѣсницы на дверь въ залу.

„Пора бы ему быть здѣсь“, — быстро подумала она.

Вошла тетка Анны Гавриловны. Она тоже принарядилась, была въ крепоновомъ бѣломъ платкѣ и въ свѣтло-фіолетовомъ платьѣ.

„Что ты, милая матрона, — подумалъ Ермиловъ, — разодѣлась, точно къ святому причастію?..“

— Вы, кажется, знакомы съ тетей? — спросила вполголоса Вогулина.

Ермиловъ рѣшительно забылъ: представляли его раньше этой „матронѣ“, или нѣтъ.

Онъ всталъ и отвѣтилъ поклономъ одной головой, но почтительно; сдѣлавъ потомъ движеніе правой ногой.

— Я уже имѣла удовольствіе, — отвѣтила съ улыбкой, не особенно радостной, тетка и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Гавриловны, о чемъ-то ее спросила. Та быстро ей отвѣтила наклоненіемъ головы и глазами извинилась передъ Ермиловымъ за это хозяйственное *a parte*.

Появленіе тетки немного расхолодило его, но онъ присѣлъ еще ближе къ Аннѣ Гавриловнѣ, и опять его лѣвая рука инстинктивно стала искать прикосновенія къ ея бѣлымъ, прохладнымъ пальцамъ съ овальными ногтями.

— Да, — заговорилъ онъ тихо, съ легкими вздохами, улыбаясь полузажмуренными глазами, — пріятный это былъ бы предразсудокъ — встрѣча новаго года, если бъ она каждый разъ не приближала насъ къ той ямѣ, гдѣ ни стать, ни сѣсть!

— Кажется, это опять Грибоѣдовъ? — спросила Анна Гавриловна.

— Нѣтъ!.. Это ужасно!.. Наложите на меня какой угодно штрафъ.

— Вы развѣ бонтесъ смерти?

Вопросъ былъ сдѣланъ пытливымъ тономъ.

— Боюсь разныхъ гадостей, которыя идутъ передъ нею.

— Старость?

Слово „старость“ могло бы задѣть Егора Петровича почти болѣзненно, но онъ въ немъ не услыхалъ никакого

ѣдкаго намека. Тонъ вопроса былъ скорѣе недоумѣвающей.

— Боишься чего-то... конца жизни! Быть-можетъ, глупо... цѣнишь извѣстныя вещи гораздо выше, чѣмъ онѣ того стоить...

— Напримѣръ? — чуть слышно выговорила Анна Гавриловна.

— Напримѣръ, свободу.

Слово соскочило у него съ губъ такое ясное и съ такимъ яснымъ смысломъ.

И оно могло потянуть за собою и другія слова въ такомъ же родѣ.

Она молчала, и незамѣтная усмѣшка немного скосила ея ротъ. Она какъ будто о чемъ-то пожалѣла. Это было нѣчто въ родѣ начала признанія. Для самого Ермила оно не казалось признаніемъ. Онъ отдавался какой-то сладкой игрѣ, уходилъ въ новое чувство опасности около плѣнительной женщины, уступалъ ей свою волю, не хотѣлъ дѣлать надъ собою никакихъ сознательныхъ усилій.

Имъ овладѣвала „абулія“... Ученый терминъ случайно мелькнулъ въ его головѣ. Наклонись она къ нему, вздрогни ея пальцы, когда онъ опять къ нимъ незамѣтно прикоснулся, — кто знаетъ, онъ кончилъ бы полнымъ признаніемъ. Съ дѣвушкой, какъ Анна Гавриловна — онъ это теперь почувствовалъ — признаніе не могло быть ничѣмъ инымъ, какъ предложеніемъ брака.

Ею овладѣло безпокойство. Она искусно прикрывала его; но голова заработала быстро и почти мучительно.

Неужели она все погубила изъ-за своего жевскаго тщеславія? Вѣдь онъ не въ шутку увлеченъ. Заслышались совсѣмъ новые звуки. Тѣмъ цѣниѣе такое возвращеніе къ ней, послѣ того, какъ онъ испугался за свою свободу?.. Да испугался ли, полно? Можетъ, онъ не хотѣлъ придавать ихъ прогулкѣ пошлаго характера и этимъ выказалъ только тонкую почтительность?..

Краска душевнаго разлада начала выступать на ея щекахъ.

А женская злобность говорила въ другомъ уголкѣ ея души. Ей было сладко, какъ никогда не бывало, отъ несомнѣнной побѣды надъ запоздалымъ, но опаснымъ соблазнителемъ, сладко и жутко. Она медленно отдавалась этому второму чувству, смаковала его, говорила себѣ, что ей ничего не стоитъ сейчасъ же тутъ, въ гостиной, до-

вести его до объясненія на колѣняхъ, съ пылкими и скѣпными проявленіями чувственной страсти.

Все это взяло для нихъ обоихъ не больше двухъ минутъ.

Въ передней позвонили два раза, громко и увѣренно.

— О-о!—вырвалось у Ермилова, и онъ тоже покраснѣлъ отъ досады. Настроеніе было прервано въ самую минуту кризиса.—Какой смѣлый звонъ!

Она выпрямилась и сказала — голосъ ея вздрогнулъ — съ неопредѣленной усмѣшкой:

— Это четвертый участникъ радостной ночи.

Въ этихъ словахъ зазвучала двойственность. Она и жалѣла, и торжествовала. Въ ней, какъ у невѣсты, дрогнуло то ощущеніе, когда надо стать на кусокъ атласа, а священникъ возьметъ сильной рукой и мягко повлечетъ къ алтарю.

„Такъ звонить только женихъ или счастливый любовникъ“, — противъ своей воли подумалъ Ермиловъ и поднялъ голову въ сторону двери, вскинулъ ринсе-пезъ привычнымъ пренебрежительнымъ жестомъ и отодвинулся въ уголъ дивана.

Въ дверяхъ показалась темная курчавая голова Куликова. Онъ былъ тоже во фракѣ, — франтоватый на манеръ контористовъ-нѣмцевъ, — улыбался и щурилъ свои смѣшные глазки.

Онъ подбѣжалъ къ хозяйкѣ и поцѣловалъ ея руку, юрко повернулся въ сторону гостя и протянулъ ему руку.

— Душевно радъ! — выговорилъ онъ тономъ юбиляра на обѣдѣ.

„Чему ты радъ? — обозлился Ермиловъ, и на него налетѣло его самое презирающее, задорное, барское настроеніе. — Чему ты радъ, ловкачъ, приватдоцентишка?“ — началъ онъ про себя браниться.

— Кажется, можно и сѣсть, господа, — пригласила тотчасъ Вогулина и приподнялась. — Сколько минутъ осталось, Виталій Орестовичъ?

Куликовъ вынулъ свои часы съ двойной доской, на тяжелой двойной же цѣпочкѣ, аккуратно надавилъ ея пуговку, поглядѣлъ такъ же основательно и объявилъ:

— Ровно одиннадцать минутъ.

Всѣ эти приемы, и глухіе часы, и цѣпочка — Ермиловъ не носилъ цѣпочки при фракѣ и давно обзавелся открытымъ ремонтуаромъ — возбуждали почти гадливость въ

Егоръ Петровичъ; но онъ все-таки былъ очень далеко отъ боязни какой-нибудь положительной „гадости“.

Появилась изъ дверей голова тетки, напомнившая, что пора садиться за столъ.

Куликовъ предупредилъ Ермилова и повелъ Анну Гавриловну подъ руку. Она замѣтно оперлась на его руку, и у Ермилова перво защекотало въ горлѣ. Онъ выпрямился и заложилъ руки въ карманы панталонъ. Его все сильнѣе разбирала уже очень худо скрываемая досада.

Анна Гавриловна пригласила его сѣсть противъ себя, Куликова посадила справа; тетка сѣла минутами двумя позднѣе. Шампанское разлили сейчасъ, въ низкія вазочки, какъ любилъ его пить Ермиловъ. Первое блюдо тепи всѣ ѣли съ большимъ аппетитомъ. Глаза Вогулиной блестя изъ-подъ рѣсницъ. Куликовъ улыбался.

— Сейчасъ!.. — почти торжественно вымолвила тетка, слѣдившая за стрѣлкой стѣнныхъ часовъ.

— Егоръ Петровичъ,—начала ей въ тонъ Вогулина и протянула стаканъ,—поздравляю васъ. Поздравьте и вы насъ съ Виталіемъ Орестовичемъ и пожелайте намъ свѣтлаго супружества!

„И я былъ на вершокъ отъ признанія!“ — вскрикнулъ мысленно Ермиловъ, и такъ нервно взялся за ножку стакана, что она хрустнула.

— Bravo!—крикнули молодые.—Къ счастью!

### XXIII

У Карусъ еще сидѣли за ужиномъ, когда Ермиловъ вошелъ въ столовую. Все убранство комнаты, запахъ духовъ и пудры, кушаній и табаку, туалетъ хозяйки, выраженіе ея лица, лица и фигуры гостей обдали его чѣмъ-то раздражающимъ. Ему захотѣлось сейчасъ же уйти, не раскладываясь ни съ кѣмъ, если бы это было возможно.

Но хозяйка увидала его. Она была въ свѣтло-голубомъ платьѣ изъ восточной ткани, съ откидными рукавами, изъ которыхъ выступали совсѣмъ почти обнаженные руки. Ихъ роскошная форма, нѣжно-матовый отливъ—и тѣ не замолчали его.

Егоръ Петровичъ все еще былъ пришибленъ тѣмъ, что вышло у Анны Гавриловны. Когда она провозгласила себя невѣстой Куликова, онъ съ великимъ успѣхомъ подавилъ



свою досаду. Ему стало нестерпимо жаль женщины, ушедшей отъ него и по его винѣ.

„Mariage par dépit“,—тотчасъ подумалъ онъ, но его не могло утѣшить тщеславное соображеніе, что она рассчитывала на него и съ досады поторопилась взять мужа. Стало-быть, онъ былъ для нея предметомъ мечтаній... въ сорокъ пять лѣтъ. Ощущеніе потери, глупаго сюрприза, коварства опытной дѣвицы, которая за десять минутъ до прихода жениха разыгрывала съ нимъ любовную пантомиму,—наполняло до краевъ его душу... И онъ еле-еле сочинилъ что-то въ родѣ привѣтственнаго спича въ шутиливомъ тонѣ. Но уже до сладкаго блюда онъ извинился, что долженъ ѣхать еще на два вечера, хотя ему слѣдовало овладѣть собой вполне, начать острить, сдѣлаться краснорѣчивымъ, новымъ, обаятельнымъ, единственнымъ въ своемъ родѣ, и блистательно показать ей, что она въ немъ потеряла, раздавить этого черненькаго университетскаго коммѣ всѣмъ грузомъ своего превосходства.

Но онъ не былъ въ силахъ выполнить такую программу.

Ему надо было выйти поскорѣе на воздухъ, очутиться въ другомъ обществѣ, гдѣ шумно и весело, гдѣ можно заставить свои нервы возбудиться на иной ладъ, забыть себя. Онъ и надѣялся найти все это у Карусъ, а теперь готовъ былъ бѣжать назадъ.

— Ахъ, monsieur Ermiloff! — окликнула его съ своего мѣста хозяйка, блеснула глазами и протянула ему свою соблазнительную руку со стаканомъ совершенно такой же формы, какъ и у Вогулиной.

За столомъ сидѣли дѣвицы Первяшины, нѣмчикъ изъ консерваторіи,—онъ вспомнилъ, что его зовутъ Карлуша,—офицеръ съ аксельбантами, еще какихъ-то двѣ обрюзглыхъ дамы и Гремушинъ, во фракѣ и даже въ бѣломъ галстукѣ. Его голова съ пасторскимъ типомъ и бритое лицо, не то актера, не то католическаго патера, давали такую именно окраску этому ужину, какой Ермиловъ не хотѣлъ въ ту минуту. Онъ опять видѣлъ передъ собою напряженность женщины, требующей, тщеславной, съ бѣшенымъ инстинктомъ неизвѣданныхъ удовлетвореній, съ этой всеобщей безысходной гистеріей, къ которой всѣ мужчины, и онъ первый, идетъ на рабское служеніе, даже и тогда, когда самъ желаетъ только порхать и снимать медъ, не жертвуя ничѣмъ.

Въ этой Карусь „каботинство“ съ чувственной подкладкой пахнуло на него еще сильнѣе, чѣмъ въ тѣ разы. И весь ея штатъ символически изображалъ собою смѣсь тщеславнаго славолубія и позывовъ первнаго сенсуализма. Вотъ и рабъ запоздалой страсти—въ лицѣ чудака Гремущина; вотъ наперсницы будущей оперной звѣзды; вотъ товарищъ „каботинъ“; вотъ начальникъ оперной клаки—офицеръ-меломанъ. Недостаетъ только того, кто будетъ для нея божкомъ, тираномъ, если не циническимъ эксплуататоромъ. Но онъ непременно явится.

Кто-то изъ гостей всталъ и пригласилъ его сѣсть на свое мѣсто.

— Поскорѣе, *monsieur* Ермиловъ, поскорѣе спичъ!—вскрикнула Доротея Васильевна, и сама налила ему шампанскаго.—Мы всѣ уже говорили, и Гремущинъ насъ умирилъ со смѣху своимъ *brindizi*. *C'était quelque chose de macabre et de tout à fait réussi.*

Гремущинъ перевелъ губами, видимо польщенный.

— *De macabre?*—переспросилъ Ермиловъ.

И онъ способенъ былъ разразиться въ кладбищенскомъ родѣ, язвить и разсыпать блески озлобленнаго юмора и сдѣлать своею мишенью дѣвицъ извѣстнаго сорта.

— Ради Бога, безъ спичей!—сталъ онъ просить и сложилъ ладони рукъ жестомъ мольбы.—Это ужасно!..

— Почему?—раздалось нѣсколько голосовъ.

— Это напоминаетъ плохія русскія пьесы съ „направленіемъ“, гдѣ бенефициантъ, съ бокаломъ въ рукѣ, говоритъ хорошія, жалостныя слова... Избавьте! Избавьте!..

Онъ поглядѣлъ сквозь стекла своего *rinse-piez* на голое лицо Гремущина, и его стало разбирать злорадное чувство.

„Старый шутъ!—выбрался онъ про себя.—Точно нажилъ себѣ подагру или грыжу какую—роковую страсть къ вкусной каботинкѣ!“

Ничуть не жаль ему было этого „Кифу Мокіевича“, предавшагося любовному запою.

И самъ онъ, Ермиловъ, могъ бы очутиться въ такомъ же чинѣ, если бъ поддался блажи, если бъ самолюбивая дѣвчонка не догадалась взять себѣ мужа ему въ отместку. Онъ долженъ послать ей подарокъ, корзину въ сто рублей или вѣеръ въ двѣсти, за такое предостереженіе.

Ему стало легче. Онъ выпилъ со вкусомъ весь стаканъ до дна и даже щелкнулъ языкомъ.

— Въсто спича,—сказалъ онъ, впадая въ свой обычный шутливо-скептическій тонъ, — позволю себѣ одинъ афоризмъ.

— *Décochez-le!* — кинула возбужденно хозяйка, любившая жаргонныя французскія слова.

— Мужчины глупы настолько, насколько это нужно женщинамъ.

Офицеръ разсмѣялся первый; зазллся и музыкантъ. Дѣвцы Первацины тоже прыснули.

— *Non capisco*,—выговорила съ гримасой Доротея Васильевна.

— Мысль глубокая,—сказалъ безстрастно Грѣмушинъ.

— Вы находите? — спросилъ его Ермиловъ.—Но я не кончилъ моего афоризма... Женщины умны всегда, даже и въ глупостяхъ.

— Браво!—крикнула Карусъ и захлопала въ ладоши.

Все стали чокаться. Ермиловъ имѣлъ успѣхъ. Но въ себѣ самомъ онъ подмѣтилъ небывалое настроеніе. Онъ способенъ былъ вести себя какъ всегда, острить, любезничать, „распускать павлиній хвостъ“, по выраженію одного пріятеля, еще нѣсколько часовъ сряду, но внутренне его щемило, и онъ не могъ выбросить изъ души этого щемящаго чувства.

Неужели источникъ его гораздо серьезнѣе, чѣмъ онъ самъ сначала могъ допустить?!

До сихъ поръ въ него никогда не забиралась двойственность. Какія ни бывали съ нимъ любовныя неудачи, онъ страхивалъ ихъ съ себя незамѣтно и съ большимъ запасомъ философіи.

А тутъ—не то. Сейчасъ поздравилъ онъ себя съ благополучнымъ исходомъ опаснаго ухаживанія за московской „боярышней“, способенъ былъ—такъ ему казалось—поднести ей сотенный подарокъ за наставленіе уму-разуму, и черезъ нѣсколько минутъ начало опять засасывать. И снова ему сдѣлалось тяжело и тошно сидѣть за этимъ столомъ, Богъ знаетъ зачѣмъ, смотрѣть на голыя руки хозяйки, на бритое лицо Грѣмушина, на фальшивыя мигающія лица родственницъ, на глупый клокъ волосъ офицера съ аксельбантами и на ухмыляющійся нахальный носъ консерваторскаго Карлуши.

Въ первый разъ всталъ передъ нимъ вопросъ: и такъ это будетъ до крайней старости? Совершенно такъ же будетъ онъ перебѣжать изъ дома въ домъ, гоняясь за

новыми приманками, разыгрывая все ту же длинную оперетку, не замѣчая, какъ собственное тѣло дрябнетъ, нервы притупляются или приобретаютъ болѣзненную раздражительность. И „глупость“—та, про которую онъ сейчасъ говорилъ въ своемъ спичѣ-афоризмѣ,—вступаетъ въ полныя права, великая глупость селадонства, родъ неизлѣчимаго запоя!

А потомъ что?

„Потомъ приапизмъ“, — подсказалъ самъ себѣ Ермиловъ.

Отъ научныхъ терминовъ онъ не могъ уйти никуда.

Слово повѣяло на него холодомъ и мiasмами анатомической препаровочной. Онъ—клинический субъектъ, попавшій на черную доску амфитеатра послѣ долгаго лежанья въ клиникѣ. Прогрессивный параличъ съ яркими симптомами приапизма перейдетъ въ слабоуміе, а потомъ въ полное идиотство со всеми грязными послѣдствіями.

„Je serai gâteux!“ — съ внезапною дрожью подумалъ онъ по-французски, а рука его отвѣтила на прикосновеніе стакана хозяйки, говорившей ему, съ избалованностью женщины, привыкшей къ тому, чтобы ее занимали:

— Скажите что-нибудь веселое, *monsieur* Ермиловъ!.. *Vous êtes un homme d'esprit.*

— Развѣ это — повинность? — успѣлъ спросить онъ съ улыбкой, которая искривила его ротъ, безъ участія его воли.

— Конечно!—отвѣтили ему.

Отъ хозяйки шелъ сильный запахъ духовъ. Онъ въ другое время вызвалъ бы въ немъ, хоть на нѣсколько мгновеній, нѣчто способное замолодить. Она, въ самомъ дѣлѣ, была въ ту минуту „d'une suggestion capiteuse“, какъ онъ самъ выразился бы въ другомъ настроеніи,—но ему стало еще тошнѣе, и онъ томительно началъ искать предлога сбѣжать изъ квартиры дѣвиды Карусъ.

#### XXIV.

Танцы подъ фортепіано, табачный дымъ, гулъ разговоровъ, стукъ прибираемой посуды охватили Ермилова... Въ просторной залѣ, освѣщенной на всякіе лады—и свѣчами, и лампами—было такъ жарко, что его *rinse-p nez* замотѣло съ мороза, и онъ ничего не могъ разобрать, входя.

Встрѣча вскладчину новаго года была въ какомъ-то училищѣ. Танцевали въ самомъ большомъ классѣ; по остальнымъ комнатамъ разбрелись и сидѣли группами. На столѣ, гдѣ ужинали, отодвинутомъ къ стѣнѣ, оставались еще бутылки, стаканы, кое-какой десертъ. Нигдѣ не играли въ карты.

Было человѣкъ до сорока всякихъ возрастовъ: очень молодыхъ дѣвушекъ, пожилыхъ мужчинъ, нестарыхъ женъ, студентовъ, профессоровъ, учительницъ. Цѣлая кадрили танцевала въ костюмахъ, безъ масокъ. Мелькали пастушки, цыганки, горцы, „двѣ ночи“ въ черныхъ вуаляхъ со звѣздами и комическій пѣмецъ въ маскѣ съ огромнымъ ртомъ и ушами, въ гороховой помятой шляпѣ.

— Это по-каковски, дружище? Хорошъ, хорошъ!

Ермилова окрикнулъ Кустаревъ въ неизмѣнномъ черномъ сюртукѣ нараспашку и въ рубашкѣ съ косымъ воротомъ, безъ галстука. Глаза у него блестѣли. Онъ немного вышилъ.

— Раньше не могъ,—оправдывался Ермиловъ.

— Знаемъ мы васъ! Аристократничаете, дружище! Все по дамочкамъ, гдѣ хорошо пахнетъ. Не захотѣли и новаго года съ нами встрѣтить. Видите, у насъ какое веселье!..

— Я очень сожалею!

— Заднимъ числомъ!

Кустаревъ увлекалъ его въ уголъ, гдѣ сидѣло нѣсколько человѣкъ, съ Симбирцевымъ посрединѣ. Тотъ только что рассказалъ анекдотъ и вызвалъ громкій смѣхъ. Лица у всѣхъ были красныя и возбужденныя. У нѣкоторыхъ блестѣли даже на рѣсницахъ капельки слезъ отъ смѣха.

И тамъ Ермилова встрѣтили упреками. Ему не хотѣлось попадать имъ въ тонъ, хотя онъ и ѣхалъ сюда, чтобы забыть личное настроеніе. Симбирцевъ и остальные напомнили ему обѣдъ въ „Эрмитажѣ“ и вѣчное кружковое подбадриваніе съ пароксизмами испуга и малодушія.

И веселье ихъ ему не нравилось. Онъ находилъ, на этотъ разъ, все въ этомъ новогоднемъ сборищѣ неизящнымъ, безтолково-шумнымъ, „мѣщанскимъ“. Куда-то совсѣмъ ушла его слабость къ Москвѣ, къ товарищамъ и друзьямъ, къ ихъ женамъ, къ дѣвицамъ ихъ кружка, ко всей „интеллигентной“ Москвѣ.

Самое слово „интеллигентный“ казалось ему такимъ неудачнымъ, почти уродливымъ.

Онъ долженъ былъ прослушать нѣсколько анекдотовъ Симбирцева и участвовать въ общемъ смѣхѣ. Но ему совсемъ не хотѣлось смѣяться. Потомъ пошли слухи и толки, давно ему знакомые; начался все тотъ же разговоръ, съ отбѣнками обиженного фрондерства, въ духѣ юбилейныхъ сличей. Онъ радъ былъ хоть и тому, что ужинъ кончили, и онъ ушелъ отъ застольныхъ рѣчей.

— Ну, батенька, — обратился къ нему Симбирцевъ, — какіе пріятные сюрпризы готовить намъ ваша мерзопакостная, чухонская столица?

Все ждали отъ него краснобайства, петербургскихъ силетень изъ высшихъ сферъ, остротъ и анекдотовъ. Онъ просто испугался этого и рѣшительно не узнавалъ себя.

Подбѣжалъ молодой человѣкъ, длинный и стройный, одѣтый въ черкеску. Ермиловъ, кажется, гдѣ-то видалъ его и считалъ магистрантомъ.

— Дамы просятъ васъ танцевать, — пригласилъ онъ его. Ермиловъ обрадовался.

— Господа, — обратился онъ къ собесѣдникамъ Симбирцева, — я еще не видѣлъ никого изъ дамъ. Петербургскій комеражъ за мною.

Брюнетъ въ черкескѣ повелъ его къ пианино. Играла дама въ костюмѣ времени Директоріи и въ шляпѣ.

Молодой человѣкъ подвелъ его прямо къ ней. Она въ эту минуту наигрывала ригурнель.

— Егоръ Петровичъ Ермиловъ, — представилъ его магистрантъ въ черкескѣ.

Дама быстро обернулась и привстала. Она была большого роста съ таліей, ловко перехваченной высоко, въ свѣтло-гороховомъ рединготѣ. Изъ-подъ щита огромной шляпы глядѣли на него два большихъ глаза подъ русской густой чолкой, — наружность обрусѣлой иностранки, — что-то вызывающее въ выраженіи рта и вообще эффектное.

— Хотите танцевать? — сказала она ему, подавая руку, въ узкомъ рукавѣ, съ хорошенькою кистью и гладкимъ кольцомъ. Или, быть-можетъ, угодно, мнѣ на смѣну, сыграть вальсъ?

Голосъ звучалъ съ внутреннею дрожью, низко и такъ же вызывающе, какъ глядѣло и лицо.

— Да я уиѣю только „чижика“, — сказалъ Ермиловъ, придерживавъ хорошенькую руку въ своей рукѣ.

— Ну, такъ надо танцовать.

— Обязательно! — крикнулъ брюнетъ въ черкесѣ.

— Извольте! — почти съ радостью согласился Ермиловъ.

Дама — онъ такъ и не узналъ, какъ ее зовутъ — опустилась на стулъ и красиво заиграла вальсъ. Его подвели къ маленькой женщинѣ съ бѣлокурыми распущенными волосами, и онъ завертѣлъ ее по своей привычкѣ чрезвычайно быстро, такъ что послѣ одного тура самъ запыхался.

„Стара стала, слаба стала“, — выговорилъ онъ, опускаясь на стулъ, около піанино.

Дама съ изящными руками продолжала играть вальсъ. Ермиловъ подошелъ къ ней и сталъ глядѣть, улыбаясь, на ея пальцы, на изгибы кистей у перехватовъ, на ихъ волнистыя, красивыя движенія. Она это замѣтила.

— Любуюсь вашимъ *touché*, — тихо сказалъ Ермиловъ и ниже наклонился къ клавиатурѣ фортепіано.

Она поблагодарила его глазами.

„Неужели хоть немножко не замолаживаетъ?“ — съ унылой боязнью спросилъ онъ себя, и долженъ былъ сдѣлать надъ собою усиліе, чтобы настроить себя на игривый тонъ.

— Дружище, — раздался надъ нимъ голосъ Кустарева, — вы къ намъ когда же?

— Къ вамъ я не понаду.

Ермиловъ всталъ и взялъ Кустарева за руку. Онъ собрался на другой день вечеромъ въ Петербургъ, и поѣздка на хуторъ просто пугала его.

— Это какъ?

Кустаревъ увелъ его въ уголъ, и они сѣли на жесткую классную скамейку.

— Не могу. Дѣла! — отговаривался Ермиловъ и чувствовалъ, что ему совсѣмъ не хочется къ пріятелю.

— А Гая? Такъ и не увидите ее?

— Да развѣ ея нѣтъ здѣсь?

Андо Кустарева, все еще возбужденное отъ ужина, сразу потемнѣло.

— Какое!.. Она сильно расхворалась. Я не хотѣлъ и сюда ѣхать; да она прогнала.

— Что же это такое? — спросилъ Ермиловъ искреннѣе.

— Луканий вѣдасть. Боюсь, что неладно у нея въ легкихъ и въ сердцѣ.

— Да вѣдь она была здорова и весела?..

— Нервами только держалась, а мышцъ нѣтъ, силѣнокъ нѣтъ.

Кустаревъ смолкъ, встряхнулъ прядью волосъ, спустившейся на лобъ, и выговорилъ:

— Выпьемъ, что ли?

— Мнѣ не хочется.

— Мало ли что! Скверно на душѣ. И дома неладно, да и здѣсь, — Кустаревъ обвелъ глазами шумную вечеринку, — и здѣсь не то, не то!.. Точно всѣ мы притворяемся, что живемъ вплотную; а жизни нѣтъ, вѣры въ свое дѣло нѣтъ, смѣлости нѣтъ!..

Ермиловъ кивнулъ молча головой, и ему захотѣлось вонъ.



## Часть вторая.

### I.

Порфирій Николаевичъ Капцовъ нервно ерошилъ курчавые волосы на крутомъ черепѣ и просматривалъ ряды цифръ въ большой и толстой книгѣ.

Работа не спорилась, а надо торопиться съ отчетомъ. Рука водила карандашомъ по столбцамъ и дѣлала значки на поляхъ.

Сегодня онъ съ особой тоской чувствуетъ свою петербургскую каторгу ученаго чиновника, которому нужно много зарабатывать. Кромѣ спѣшнаго отчета, слѣдуетъ къ первому числу приготовить докладную записку и цѣлую статью.

Когда онъ справится со всѣмъ этимъ?

Онъ служитъ въ двухъ вѣдомствахъ и въ трехъ частныхъ обществахъ, даетъ передовыя статьи по финансовымъ и экономическимъ вопросамъ, членъ нѣсколькихъ комиссій и совѣтовъ.

И вездѣ приходится работать больше, чѣмъ всѣмъ остальнымъ его сослуживцамъ и товарищамъ. Такъ будетъ, безъ передышки, неизвѣстно сколько лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока онъ не перестанетъ быть батракомъ на свою семью.

Ему не хочется отдаваться горькому чувству, всплывшему сегодня особенно ѣдко; но онъ не виноватъ. Чувство это не отходить. Надо напрячь вниманіе, слѣдить глазами за чередованьемъ цифръ, соображать; а онъ подавленъ боязнью, что не справится съ работой, даже и къ крайнему сроку.

Можно было бы кое-что отложить, даже просто отка-

заться, напимѣръ, отъ составленія докладной записки. Онъ не обязанъ это дѣлать. Но развѣ онъ въ состояніи отказать въ чемъ-нибудь? Его захватила зубами жесткая, дѣловая машина Петербурга и дѣйствуетъ, переводить колесами, забираетъ все глубже и глубже.

Онъ громко вздохнулъ и затанулся папиросой, которую только что положилъ-было на пепельницу.

Съ утра уже онъ одѣвается такъ, чтобы можно было сейчасъ натянуть вицмундиръ, и работаетъ въ кабинетѣ въ сѣренькомъ лѣтнемъ пиджакѣ. По натурѣ и привычкамъ очень чистоплотный и аккуратный, хотя и разсѣянный, Порфирій Николаевичъ только въ своей комнатѣ чувствуетъ себя дома; въ остальныхъ комнатахъ своей большой квартиры онъ—въ гостяхъ; онъ въ нихъ всегда растерянъ, не имѣетъ опредѣленнаго мѣста. Тамъ господствуетъ его семья: жена Лидія Степановна, дочь Авдотья Порфирьевна и сынъ Григорій Порфирьевичъ.

Кабинетъ Капцова—узкая, въ одно окно, комната, неуютная и темноватая, вся заставленная книжными шкапами. На кушеткѣ онъ и спитъ. Не такъ давно у него былъ прекрасный кабинетъ, въ другомъ концѣ квартиры, около спальни жены; но когда Авдотья Порфирьевна сложилась въ дѣвушку-невѣсту, онъ уступилъ ей кабинетъ подъ ея будуаръ. Сколько денегъ стоила отдѣлка этого будуара!.. Ему было до слезъ жаль своей просторной, свѣтлой и удобной рабочей комнаты. Но онъ уступилъ. Лидія Степановна даже и не допустила его ни до какихъ возраженій... Все обошлось такъ тихо и незамѣтно, точно будто Порфирій Николаевичъ состоялъ временнымъ жильцомъ прежняго кабинета.

Потомъ ему совѣстно стало своего эгоизма.

„У Дины—прелестный будуаръ“,—утѣшалъ онъ себя, хотя въ душѣ находилъ, что отдѣлка его слишкомъ пестра и вовсе не подходитъ къ тому, какъ бы слѣдовало обставить комнату молодой дѣвушки.

Въ кабинетъ вошла горничная Минна, рослая и дорожная, съ рыжеватыми волосами, зачесанными на самую маковку, въ ловко сшитою сѣромъ платьѣ и фартукѣ нѣмецкаго покроя.

Капцова она до сихъ поръ стѣсняетъ. Онъ каждый разъ ужасно конфузится, если она застанетъ его безъ сюртука, никогда ничего не приказываетъ ей, а все просить.

Минна молча подала ему на подносѣ газету подѣ бандеролью и два письма.

— Барыня съ барышней уѣхали?—спросилъ Порфирій Николаевичъ.

Онъ любилъ, чтобы ему прислуживали челоѣкъ, Виентій; если вошла Минна — значитъ, челоѣка взяли, ему приказано ѣхать съ ними.

— Онѣ еще дома,—отвѣтила Минна съ какимъ-то непріятнымъ выговоромъ.

— Кончили завтракъ?

— Да.

Ея тонъ съ Порфиріемъ Николаевичемъ не отличался особенною мягкостью. Она давно не стѣснялась съ нимъ, какъ съ добрякомъ, который ничего не значитъ въ домѣ и не умѣетъ даже приказывать.

— Благодарю васъ!..—торопливо выговорилъ Канцовъ, положилъ газету на столъ и кивнулъ головой съ принужденной улыбкой.

Минна повернулась своимъ мясистымъ корпусомъ на одномъ каблукѣ и пошла, поскрипывая подошвами ботинокъ.

Этотъ скрипъ былъ ему противенъ; но онъ не рѣшался сказать женѣ своей, чтобы та заставила горничную ходить дома въ башмакахъ на тонкихъ подошвахъ.

Завтракать онъ не любилъ: это перерѣзывало его рабочее утро. Семья садилась за завтракъ поздно, около часа. Ему подавали въ десятомъ часу стаканъ чаю съ булкой, и онъ оставался безъ ѣды до своего выхода изъ дому. Обыкновенно, по дорогѣ, онъ выпивалъ рюмку водки и закусывалъ пирожкомъ или кускомъ растегая гдѣ придется: у Палкина, у Доминика или въ кофейной Пассажа.

Дѣти рѣдко приходили къ нему поздороваться, а жена—больше за деньгами или для переговоровъ о необходимости сдѣлать вечеръ, или пригласить на обѣдъ такого-то и такого-то, или сдѣлать визитъ тѣмъ-то.

— Ахъ, матушка!—обыкновенно повторялъ Порфирій Николаевичъ.—Дѣлай какъ знаешь. Гдѣ же мнѣ по визитамъ!.. Я заваленъ работой.

Отказывать въ расходахъ онъ не могъ, боялся ссепъ, еислыхъ минъ, былъ слишкомъ добръ, чтобы лишить дочь удовольствій и жену — возможности вести образъ жизни, въ котораго она ничего не признавала.

Сынъ, Гриша, забѣгаетъ къ нему только за тѣмъ, чтобы перехватить денегъ. Можетъ-быть, и сегодня забѣжитъ: Порфирій Николаевичъ закрываетъ глаза на то, во что складывается его личность.

Ничто не нравится ему въ сынѣ—вплоть до наружности, хотя мать и сестра и считаютъ его красавцемъ, вѣшаютъ ему на шею и то и дѣло вскрикиваютъ:

— Гриша! Ты—опасный мужчина!

„Такихъ“ студентовъ, какъ Гриша—онъ кончаетъ курсъ въ веснѣ—Порфирій Николаевичъ не хочетъ, про себя, и признавать.

„Это пажъ какой-то, — думаетъ онъ часто, когда его взглядъ, за столомъ или въ гостиной, упадетъ на сына.— Ему—прямая дорога въ кавалерію, благо онъ бѣлую подкладку носить“.

Бѣлая подкладка подъ сюртукомъ и мундиромъ—верхъ особаго студенческаго франтовства—заставляла Порфирія Николаевича положительно страдать.

Онъ было началъ говорить противъ нея; но Гриша отвѣтилъ ему:

— Ахъ, папа, ты не понимаешь...

А когда онъ вздумалъ сдѣлать сыну выговоръ, Лидія Степановна накинулась на него, и онъ махнулъ рукой.

„Бѣлоподкладочникъ“,—съ горечью называлъ онъ Гришу про себя и чувствовалъ, что лучше ужъ не присматриваться къ душевнымъ качествамъ сына, его поведенію, идеаламъ и правиламъ... Наука для этого „красавца“ существуетъ только какъ средство выдержать государственный экзаменъ; читаетъ онъ однѣ порнографическія вещи, чего вовсе и не думаетъ скрывать; если онъ и бываетъ въ какомъ-то кружкѣ молодыхъ литераторовъ, то „смѣху ради“, и самъ называетъ ихъ „россійскими декадентами“; искусство сводится для него къ игрѣ на гитарѣ и посѣщенію, изрѣдка, общества мандолинистовъ, а пристрастіе имѣетъ онъ, съ дѣтства, только къ спорту, во всѣхъ его видахъ; онъ считается однимъ изъ лучшихъ петербургскихъ велосипедистовъ. Верховая ѣзда—тоже его конекъ, и онъ собирается вольноопредѣляющимся непремѣнно въ кирасирскую дивизію, хотя, какъ одинъ сынъ у матери, можетъ воспользоваться и льготой. Но ничего не будетъ удивительнаго, если онъ останется „калугвардомъ“—это насмѣшливое слово Порфирій Николаевичъ мысленно проноситъ каждый разъ, когда онъ думаетъ о дальнѣйшей

карьерѣ сына... Не хочется отцу допытываться и до характера его отношеній къ пріятельницѣ его жены, Валентинѣ Павловнѣ Мещериной. Она старше Гриши лѣтъ на двѣнадцать, а, кажется, у нихъ—что-то очень похожее на интимность, и Лидія Степановна, повидимому, все знаетъ и нисколько не возмущается... Эта Мещерина—богатая жевщина, пустан, довольно непорядочная, съ цыганскими замашками, „бутилка“—какъ она сама себя прозвала. Съ нѣкоторыхъ поръ Гриша не проситъ что-то денегъ, сверхъ того, что получаетъ отъ отца, впередъ, перваго числа каждаго мѣсяца.

Когда Порфирій Николаевичъ раздумается объ этомъ, у него даже потъ выступить на вискахъ.

Но занятія не даютъ много думать, даже о собственныхъ дѣтяхъ... Вотъ и теперь мысль его прикована къ спѣшной работѣ. Ему некогда даже просмотрѣть пухеръ газеты, которую ему даромъ посылаетъ пріятель изъ Москвы.

Капцовъ отложилъ ее и подержалъ въ рукахъ оба письма; хотѣлъ и ихъ отложить, чтобы ничто его не отвлекло отъ цифръ и параграфовъ сухой книги, которою онъ долженъ воспользоваться для своего отчета. Но почеркъ на одномъ изъ писемъ, съ московскимъ штемпелемъ, заставилъ его разорвать конвертъ. Онъ увидалъ руку Кустарева—и сейчасъ же приливъ теплаго чувства согрѣлъ и возбудилъ его. Онъ любилъ Кустарева больше всѣхъ тамошнихъ товарищей и пріятелей.

„Что-нибудь нужно ему, — сказалъ про себя Порфирій Николаевичъ, бросая конвертъ въ корзину, — писать онъ не охотникъ!“...

Пускай работа затянется на лишній часъ, но онъ не жогъ не отдаться душой бесѣдѣ съ своимъ „закадыкой“, уйти отъ Петербурга туда, на хуторъ, гдѣ живутъ такіе хорошіе, терпечные люди.

## II.

Письмо Кустарева, исписанное на всѣхъ четырехъ страницахъ, круглымъ, разборчивымъ почеркомъ, Капцовъ перечелъ два раза, откинулся на спинку соломеннаго кресла, закрылъ глаза и просидѣлъ такъ минуты двѣ. Лицо его стало блѣднѣе: добрыи ротъ немного покривила усѣшка горечи. Почтовый листокъ онъ держалъ развернутымъ въ рукъ, опущенной на колѣни.

„Бѣдный Меня!.. Бѣдная Гаря!.. — повторилъ онъ мысленно. — Какъ есть — неудачники! И такія золотыя сердца! И такіе честные на рѣдкость люди!“

Кустаревъ писалъ ему, что на-дняхъ прибѣдутъ они съ женой „въ Питеръ“ — проѣдомъ за границу. Большая бѣда стряслась надъ ними. Маргарита Сергѣевна схватила воспаленіе легкаго, была при смерти, и теперь — еле ходитъ. Московскіе врачи шлютъ ее на югъ, въ Санъ-Ремо или Ментону. Въ Петербургѣ они хотятъ консультироваться у одной изъ тамошнихъ знаменитостей. Заграничная поѣздка — быть-можетъ, на цѣлый годъ — поведетъ за собою расходы, а сбереженій нѣтъ. Да это было бы еще „съ полѣ-горя“, но есть еще одна гадость. Исторія съ Сохинымъ, на обѣдѣ Симбирцеву, въ „Эрмитажѣ“, даетъ себя чувствовать. Онъ узналъ, что, пожалуй, не получитъ заграничнаго паспорта. Лучше попробовать въ Питерѣ, и Порфирій Николаевичъ поможетъ ему въ этомъ. Сообщилъ онъ про два „оказательства“ того, что ему и на хуторѣ будетъ плохо житься. Мѣстныя власти стали производить разныя дознанія, и нарядчикъ, котораго онъ прогналъ за пьянство и воровство, явился самымъ лучшимъ „соглядатаемъ“.

Кустаревъ кончалъ тяжелыми итогами. Все идетъ „на ущербъ“, всѣ попрятались по угламъ и точно „чурятся“ его. Не пощадилъ онъ и ближайшихъ пріятелей. Видно было, что онъ ужасно страдаетъ, столько же за себя, сколько и за тѣхъ, въ кого онъ терялъ вѣру.

„Бѣдные мои хуторяне!“ — проговорилъ про себя Капцовъ, и блѣдность щекъ смѣнилась быстро румянцемъ душевнаго волненія. Онъ живо представилъ себѣ маленькую женщину съ впалыми щеками, нетвердой походкой бродящей по унылымъ теперь комнатамъ хуторского домика, и Кустарева, раздираемаго жалостью къ женѣ, подъ какимъ-то надзоромъ, съ перспективой не получить пропуска за границу и съ новымъ, еще болѣе мучительнымъ безпокойствомъ о больной женѣ на разстояніи въ нѣсколько тысячъ верстъ.

Бываютъ же такія презрѣнныя существа, какъ этотъ Сохинъ! А вѣдь онъ учился съ ними вмѣстѣ, сидѣлъ рядомъ въ аудиторіяхъ, когда-то либеральничалъ, билъ съ ними брудершафты!..

И вдругъ Порфирій Николаевичъ всталъ и заходилъ по узкому кабинетику. Краска на щекахъ усилилась, глаза

заблестѣли; онъ сталъ усиленно щипать свою красивую бороду, придававшую ему духовный видъ.

Онъ вспомнилъ, что пріятель Лидіи Степановны, адвокат Малышевъ, не дальше, какъ вчера, говорилъ, что собирается привезти къ нимъ стараго московскаго товарища... А кого именно—не называлъ. Но это, пожалуй, Сохинъ. Они — одного поля ягода. Можетъ-быть, сегодня же, къ обѣду, явится эта пара. Какъ онъ долженъ вести себя?.. Надо бы выгнать Сохина совершенно такъ, какъ сдѣлалъ это Кустаревъ на обѣдѣ Симбирцеву... Да и Малышева давно бы пора выпроводить изъ дому.

Но развѣ это возможно?..

Порфирій Николаевичъ началъ нервно потирать руки... Лучше не думать объ этомъ Малышевъ... Кто онъ? Навѣчный нахалъ, сумѣвшій поставить себя въ ихъ семействѣ въ видѣ авторитетнаго и почетнаго посѣтителя, или онъ нѣчто иное?.. Поздно было задавать себѣ такіе вопросы. Лидія Степановна не можетъ двухъ дней провести безъ него. За столомъ онъ ораторствуетъ, даетъ выговоры всѣмъ, прохаживается въ насмѣшливомъ тонѣ надъ „лжелиберализмомъ“ хозяйина дома, излагаетъ свои воззрѣнія — какую-то несвязную смѣсь руссофилства съ византийской и средневѣковой археологіей, съ безконечными рацеями о пошибахъ иконописанья и символическихъ формахъ искусства.

Все это выносить онъ много лѣтъ и знаетъ, что такъ будетъ, пока стоитъ его домъ, пока Лидія Степановна жива. Она только выносить его, смотритъ на него, какъ на батрака; но ни любви, ни простой благодарности къ мужу у нея нѣтъ. А при такомъ бездушномъ отношеніи кто же ей помѣшаетъ держать при себѣ друга и принадлежать ему тайно?

Тайно! Полно — не для всѣхъ ли явно! Минутами это и ему мечется въ глаза, какъ онъ ни старается смотрѣть на все сквозь пальцы.

— Папа!.. Ты здѣсь?—окликнулъ Капцова молодой голосъ изъ полуотворенной двери.

— Здѣсь... Здравствуй, Гриша.

Снявъ его вошелъ, одѣтый для выѣзда въ гости, съ франтовской шпагой генеральскаго образца и съ фуражкой въ рукѣ. Ея красная подкладка выглядывала изъ тульи. Рослый, худой, съ манерой ходить свѣтскаго офицера, изученной въ партерѣ Михайловскаго театра, онъ

смотрѣлъ военнымъ, брилъ свои блѣдныя щеки и острый подбородокъ и носилъ усы, щеткой торчавшіе вверхъ, и короткіе темные лоснящіеся волосы съ челкой на лбу. Онъ весь немного изгибался. Правую руку онъ тотчасъ же засунулъ въ карманъ рейтузъ, и завернутая пола сюртука обнаружила бѣлую саржевую подкладку, столь неприятную его отцу.

Отца онъ не поцѣловалъ, не подалъ ему руки.

— Наши дамы просятъ тебя не забыть — сдѣлать визитъ Габзину.

— Какому?—съ разстроеннымъ лицомъ спросилъ Капцовъ.

— Габзину, Марку Саввичу... Былъ у насъ третьяго дня... при тебѣ. Инженеръ.

Порфирій Николаевичъ совсѣмъ забылъ этого инженера.

— Маман проситъ тебя. Нельзя же не отдавать визитовъ.

— А ты?

— Этого недостаточно... Ты—*pater familias!*..

Зеленые, продолговатые глаза Гриши насмѣшливо прищурились на отца.

Говорилъ онъ съ нимъ, точно онъ старшій братъ, снисходительно и суховато, съ особенными интонаціями, въ которыхъ сквозили скептицизмъ и сознаніе превосходства своего поколѣнія и всего того, что Гриша считалъ стоящимъ, что входило въ его философію жизни. Отца онъ, даже въ разговорѣ съ матерью и сестрой, называлъ не иначе, какъ „фатеръ“, и участвовалъ въ ихъ постоянномъ заговорѣ противъ добряка, обреченнаго на роль дойной коровы.

— Ну, хорошо, — выговорилъ Порфирій Николаевичъ, присаживаясь опять къ столу. Онъ взялся за большую книгу съ рядами скучныхъ цифръ. — Да адреса его я не знаю, голубчикъ.

— Адресъ записанъ въ книгѣ. Она лежитъ въ передней, на подоконникѣ.

— Какъ его... Кабзинъ?..

Переносица Порфирія Николаевича наморщилась и глаза тревожно стали перебѣгать отъ книги съ столбцами цифръ къ головѣ сына, стоявшаго около стола, все въ той же позѣ, съ правой рукой, засунутой въ карманъ рейтузъ, и фуражкой въ лѣвой.



„Калигвардъ! — промелькнуло въ головѣ Капцова. — Какъ есть калигвардъ“.

— Габзинъ, Маркъ Саввичъ.

Гриша снисходительно усмѣхнулся и повернулъ къ двери.

— До свиданія, папа. Дамы наши меня ждутъ. Мнѣ нужно знать, — ты поѣдешь сегодня же къ Марку Саввичу?

— Сегодня! — откликнулся Порфирій Николаевичъ и завожился въ креслѣ.

— Пожалуйста!.. Тебѣ же достанется отъ татап.

Гриша исчезъ за дверью. Капцовъ вздохнулъ довольно громко, хотѣлъ-было взяться за цифры, но его рука потянулась ко второму письму, оставшемуся нераспечатаннымъ.

Онъ раскрылъ конвертъ порывисто, почти сердито. Краска не сходила съ его щекъ. Руки немного вздрагивали; онъ у него часто приходятъ въ такое нервное возбужденіе, и онъ иногда боится того, какъ бы у него не начали трястись руки прежде, чѣмъ наступятъ старческіе годы. Но онъ сегодня не можетъ овладѣть собою: служба, срочная работа, расходящаяся въ разныя стороны и запутывающаяся въ безконечные узлы, товарищеское чувство къ „москвичамъ“, всего сильнѣе — къ Кустареву, его бѣда, Сохинъ, Малышевъ, жизнь его „дамъ“, по выраженію его сына Гриши, его тонъ, видъ, бѣлая подкладка сюртука и красный сафьянъ въ тульѣ фуражки, и то, что онъ съ нѣкоторыхъ поръ не проситъ денегъ — душа Порфирія Николаевича сжималась и трепетала отъ наслоенія всѣхъ этихъ образовъ, чувствъ и мыслей.

Во второмъ письмѣ оказалась просьба — не задержать съ доставленіемъ докладной записки.

— Господи! — громко вскрикнулъ Капцовъ и взялся за курчавые и слегка уже сѣдѣющіе волосы. — Этакая исторія!

Внутри у него все закипѣло. Швырнулъ бы онъ всѣ эти книги съ цифрами, и записки, и отчеты, и ненавистный до сихъ поръ вицмундиръ, который онъ сейчасъ долженъ надѣть, и очутился бы въ Москвѣ, гдѣ-нибудь въ Бронной, въ маленькой комнаткѣ, набитой книгами, въ званіи магистранта... Не зналъ бы онъ ничего, кромѣ науки, „душевныхъ“ людей, своихъ сверстниковъ и товарищей. Что за нужда, что они пошли теперь на ущербъ?.. Его мягкость, „елейность“, за которую здѣсь ему такъ

жестоко достается, тамъ будетъ нужна и цѣнима. И какіе бы хорошіе дни переживалъ онъ, даже и въ теперешнюю сѣренькую полосу, когда дуетъ противный вѣтеръ!..

Швырнулъ бы!..

Онъ вскочилъ съ кресла, нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ, нервно потирая бѣлыя, красивыя руки, потомъ схватилъ со стола развернутое письмо Кустарева и снова сталъ перечитывать его, — съ горькой отрадой, съ наслажденіемъ смаковать каждое слово, проникаться жалостью и любовью къ милой четѣ хуторянъ.

Сѣнные часы густымъ басомъ пробили два.

— Ахъ, ты, Господи!—вскрикнулъ Порфирій Николаевичъ и рухнулъ въ кресло.

Письмо Кустарева упало на коврикъ; онъ его даже не поднималъ, поспѣшно, съ дрожью въ пальцахъ, дѣлая послѣднія отмѣтки на поляхъ.

— Визиты...—шепталъ онъ про себя,—визиты долженъ... Кабзинъ... Габзинъ... Мойсей, нѣтъ, Маркъ Саввичъ... адресъ въ книгѣ... на подоконникѣ...

### III.

Григорій Порфирьевичъ, шагая разставленными, длинными ногами, какъ велосипедистъ и наѣздникъ, прошелъ медленно, съ покачиваньемъ сухого, но статнаго туловища, по коридорчику въ столовую, откуда онъ слышалъ голоса матери и сестры.

Дамы допивали свой кофе. Онѣ засидѣлись и заговорились. Мать, Лидія Степановна, была въ шелковой блузѣ, цвѣта бордо—вся маленькая, сухая въ тѣлѣ, черноватая, съ моложавостью комнатной болонки, еще плохо причесанная. Ея каріе глазки и острый, всегда точно нюхающій носъ, при разговорѣ, безпрестанно поворачивались справа влѣво. Дочь—Дина, высокая дѣвушка, напоминала фигурой отца; мясистый носъ, нависшія вѣки и рыхлая сѣроватая кожа мало подходили къ ея нестроуму фланелевому платью съ шелковыми отворотами и бѣлымъ жилетомъ. Она уже одѣлась къ выѣзду. Волосы такого же цвѣта, какъ у отца, лежали густой кучкой на темени, ближе ко лбу, чѣмъ къ затылку. Сонность выраженія смѣшивалась, въ ея лицѣ, съ чувственнымъ оскаломъ зубовъ, красными толстыми губами и постоянною возбужденностью взгляда безцвѣтныхъ глазъ, гдѣ сидѣла жажда выѣздовъ, вечеровъ, бенефисовъ, загородныхъ катаній и болтанья

съ „интересными мужчинами“. Движенія ея были медленны, широки и часто безпорядочны. Мать была, напротивъ, въ комкѣ, какъ первная и хищная собачка.

— Ну, что?—крикнула Лидія Степановна, когда въ дверяхъ столовой показался Гриша.

Дина также обернула къ нему голову и спросила низкимъ горловымъ голосомъ:

— Поѣдетъ къ Марку Саввичу?

— Общаль.

— Забудетъ, навѣрно! — сказала Лидія Степановна. — Хоть бы ты ему узелокъ завязалъ. Вѣдь это, наконецъ, ни на что не похоже! Человѣкъ имѣетъ полное право обижаться.

— Еще бы!—подтвердила Дина.

— Я свое дѣло сдѣлалъ!—остановилъ ихъ Гриша и закурилъ папиросу.—Вамъ я больше не нуженъ, mesdames?

Это выраженіе: „mesdames“ онъ неизмѣнно употреблялъ въ разговорѣ съ ними. Мать любила его больше дочери и позволяла ему товарищески-безцеремонный тонъ. Дина, какъ старшая, долго старалась взять надъ нимъ верхъ въ семействѣ, но по рыхлости своей не достигла этого.

— Ахъ, Грегуаръ,—порывисто заговорила мать,—пожалуйста, дружокъ, заѣзжай къ Эйлерсу и прицѣпись къ лавровому вѣнку!

— Это кому еще? — небрежно и строговато спросилъ онъ, дѣлая гримасу, какую онъ заимствовалъ отъ одного конногвардейца въ курилкѣ Михайловскаго театра.

— Да все ей же!.. Нашему идолу!

И Лидія Степановна кивнула на дочь съ усмѣшкой въ глазахъ.

— Знаете что? — тономъ старшаго замѣтилъ Гриша. — Это совершенно лишняя трата.

— Ну, ужъ, пожалуйста, Григорій Порфирьевичъ, безъ правоученій!—почти закричала Дина. — Когда вамъ что издумается, такъ ничто не дорого. Велосипедъ-трайциклъ,—она произнесла на англійскій манеръ, — что онъ стоитъ? Двѣсти слишкомъ рублей... А зимой на немъ и ѣздить нигдѣ нельзя!

— „Закрой фонтанъ“, Дина! — остановилъ ее братъ. — Я никому не иѣшаю. Я даю только совѣтъ. Маман! обратился онъ къ матери,—вѣдь вашему идолу поднесутъ пятнадцать корзинъ и дюжину вѣнковъ и столько же золотыхъ и брильянтовыхъ вещей!..

— Да пойми, Гриша! — зачастила Лидія Степановна, ласково обводя ихъ обоихъ взглядомъ баловницы. — Ты пойми... Дина сама вышивала полотенце цѣлыхъ три мѣсяца. Къ чему же его привязать?.. Всякій букетъ, чтобы приличенъ былъ, стѣнтъ дороже, а къ корзинкамъ и приступа нѣтъ.

— Это такъ! — согласился Гриша дѣловымъ тономъ. — И что же тамъ, на твоёмъ полотенцѣ, — шутливо-пренебрежительно спросилъ онъ Дину, — божественной, неподражаемой — имя рекъ — въ знакъ любви...

Онъ не былъ охотникъ до всѣхъ этихъ повальныхъ увлеченій дѣвицъ актрисами, пѣвицами, вообще женщинами. Да и самъ не чувствовалъ склонности тратиться на подношенія кому бы то ни было.

— Нечего, нечего! — закричала Дина.

Она надула свои красныя губы, но разсердиться не посмѣла. Передъ Гришей она находилась въ такомъ же поклоненіи, какъ и Лидія Степановна, и знала, что бываютъ случаи, когда онъ ей можетъ быть очень полезенъ.

— Ты все-таки прицѣнись, Гриша, — сказала ему мать, въ которой не улеглась до сихъ поръ такая же способность увлекаться знаменитостями, будь то мужчина или женщина — пѣвецъ или первая актриса.

— Хорошо!.. А больше, надѣюсь, никакихъ „порученьевъ“, — онъ любилъ такіа шутливыя неправильности, — не будетъ, mesdames?

— Нѣтъ, никакихъ! Поди сюда... — позвала его мать. — У тебя, кажется, шпага не такъ сидитъ...

— Съ какой стати? — откликнулся очень серьезно Гриша.

Онъ не шутилъ насчетъ своего туалета — того, какъ на немъ сидитъ фуражка, сюртукъ или мундиръ. Шпагу онъ носилъ офицерскаго образца, а не гражданскаго, — какія носятъ кирасиры, когда являются на вечеръ или въ театръ. Такія же шпаги у генераловъ.

Подойдя къ матери, онъ наморщилъ лобъ и оглянулъ вбокъ эфесъ шпаги. Эфесъ, дѣйствительно, зацѣпился за отворотъ въ сюртукъ и торчалъ слишкомъ высоко.

— Этакая гадость! — выговорилъ Гриша и ловко поправилъ.

Мать воспользовалась этимъ, чтобы оглядѣть своего любимца и лишній разъ полюбоваться имъ.

— Обѣдать будешь? — спросила она и обняла его съ мѣста за гибкую талю.

— Не знаю...

— Валентину Павловну увидишь сегодня?

На этот вопрос сестры Гриша не отвѣтилъ и поправилъ воротничокъ рубашки; онъ носилъ его очень высоко, такъ что изъ-за воротника бѣлье показывалось на полвершка.

Лидія Степановна подумала: „онъ у нея обѣдаетъ“, но больше ничего не спрашивала о Мещериной, ихъ общей пріятельницѣ. И мать, и дочь давно догадывались, что у нея съ Гришей—романъ; но онъ не любилъ, чтобы это дѣлало предметомъ болтовни. Онъ за это считали его необычайнымъ джентльменомъ и находили, что вдова, хоть и красива, и богата, все-таки не стѣнтъ Гриши. Такихъ вопросовъ, какіе приходили Порфирію Николаевичу, онъ себѣ не дѣлалъ... Дина понимала очень хорошо, какія отношенія могли установиться между Гришей и вдовой Мещериной... Мать сама любила говорить объ этомъ, почти хвалилась побѣдой сына, давала, однако, понять, что такая связь съ богатенькой и довольно еще свѣжей вдовой — хороша для студента, потому что это „формируетъ молодого человѣка“; но партію Гриша сдѣлаетъ со всѣмъ не такую, съ его наружностью и умомъ.

— Имѣю честь кланяться! — выговорилъ Гриша, и поправилъ еще разъ эфесъ шаги.

Онъ поклонился имъ церемонно, опустивъ на грудь голову жестомъ, который Лидія Степановна находила особенно удачнымъ.

— Скажи Валентинѣ Павловнѣ, что у Пушкаревыхъ вечеръ отложенъ... Маня заболѣла, — послала Лидія Степановна вдогонку Гришѣ.

Мать и дочь переглянулись продолжительнымъ взглядомъ, когда Гриша вышелъ изъ столовой.

— Только, пожалуйста, мама, — начала Дина, — вѣнокъ надо обязательно...

— Хорошо, хорошо!.. Отецъ жметя, — добавила Лидія Степановна.

— Глупости!

Дина сдѣлала такую мину: стѣнтъ, молъ, обращать вниманіе на то—жметя отецъ или нѣтъ... Она была воспитана матерью во взглядахъ на Порфирія Николаевича, какъ на машину, обязанную службой и частной работой доставлять имъ все, что потребуется. Никогда она его не жалѣла и даже не подумала о томъ, надолго ли хва-

титъ у него силъ... Напротивъ, она считала его „совсѣмъ еще молодымъ“, и сочла бы за нѣчто почти непріятное, если бы отецъ сталъ прихварывать или жаловаться на утомленіе.

Какъ же имъ было не поднести вѣнка ихъ любимицѣ, когда всѣ ихъ знакомые будутъ на бенефисѣ, и давнымъ-давно имъ извѣстно, что Авдотья Порфирьевна расшила полотенецъ золотомъ и шелкомъ!

— Вотъ и остается лишнее платье,—начала дѣловымъ звукомъ Лидія Степановна.— У Пущкаревыхъ вечеръ отложенъ... Ты можешь надѣтъ на бенефисъ...

— Нѣтъ, мама, нѣтъ! Я не хочу этого. То платье, бенефисное, само собою... Я уже говорила о немъ... Это невозможно!

Дина встала и съ шумомъ пододвинула стулъ.

— Да вѣдь оно еще не готово!.. Ты развѣ не знаешь нашу Пелагею Захаровну?..

Имъ шила русская портниха, съ вывѣской: „madame Pélagie“, но онѣ это скрывали... На туалетъ выходила не одна тысяча въ годъ, и съ каждой зимой расходы возрастали. На праздникахъ будетъ, по крайней мѣрѣ, пятнадцать танцевальныхъ вечеровъ и большіе балы, на которые онѣ уже званы. И у себя надо дать вечеръ, и не простой, а съ катаньемъ на тройкахъ, до чего обѣ были большія охотницы.

Онѣ считали себя центромъ цѣлаго общества, изъ того слоя петербургскаго свѣта, гдѣ перемѣщались семьи крупныхъ чиновниковъ, коммерсантовъ, биржевиковъ, адвокатовъ, инженеровъ,—кутища среда съ постояннымъ плясомъ и тяжелыми ужинами. Чрезъ всѣ виды модныхъ увлеченій проходили онѣ изъ сезона въ сезонъ, и только страдали отъ того, что онѣ не приняты въ тотъ „свѣтъ“, на который смотрѣли изъ ложи перваго яруса, на субботахъ Михайловскаго театра. Но онѣ считали себя дающими тонъ, и всегда показывали, что онѣ „сами по себѣ“ никому не завидуютъ и живутъ въ свое удовольствіе, между тѣмъ какъ тамъ, выше, — только скука и окисленіе... Этого „окисленія“ онѣ боялись больше всего на свѣтѣ.

Лидія Степановна успокоила дочь, и рѣшено было поручить портниху и на бенефисѣ Динѣ появиться непременно въ платьѣ сѣмее, съ золотымъ матовымъ воротникомъ.

IV.

Иѣшкомъ Григорій Порфирьевичъ любитъ ходить: это также одинъ изъ видовъ спорта, которому онъ преданъ. Въ черномъ студенческомъ пальто, съ барашковымъ высокимъ воротникомъ, онъ чувствуетъ себя ловкимъ и красивымъ, идетъ, разставляя широко ноги, и держитъ голову съ легкимъ наклономъ, немного вбокъ и кверху, что ему придаетъ еще болѣе гвардейскую осанку... Руки онъ держитъ въ карманахъ, сидищихъ высоко, тотчасъ ниже талии.

Утромъ онъ уже „сломалъ походъ“ на Васильевскій островъ. У него все больше утреннія лекціи, и онъ ими не манкируетъ. Охота имѣть дѣло съ „субами“ и педелями! Надо исполнять формально свои обязанности и прилично скучать на лекціяхъ, чистить ногти или кое-что записывать, иногда прослушать что-нибудь фактическое. „Разсужденія“ онъ презиралъ, и ко всѣмъ профессорамъ безъ исключенія относился почти такъ, какъ, бывало, къ учителямъ, только съ сознаниемъ того, что ему ихъ бояться ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ. Экзамены онъ сдаетъ; сдаетъ и тотъ государственный экзаменъ, который нуженъ ему для служебныхъ правъ.

Чувство увлеченія, энтузіазма было ему совершенно чуждо. Онъ не помнитъ, чтобы когда-нибудь на лекціи загорѣлись у него глаза, краска прилила къ щекамъ, въ груди снерлось бы отъ мозгового обаянія. Слышалъ онъ разсказы про то, какъ аудиторія увлекалась профессорами, хлопала имъ, носила ихъ на плечахъ... даже въ зданіи университета. Но когда?.. Въ „невозможное“ время, — любимое слово Григорія Порфирьевича, — когда по коридорамъ расхаживали „стриженные“, когда Богъ знаетъ изъ-за чего всѣ бѣсновались, собирали сходки, кричали, спорили, дѣлали демонстраціи на улицахъ, ходили въ сизыхъ сапогахъ и красныхъ рубашкахъ, смотрѣли не то дворниками, не то наборщиками.

Все это—было... Теперь увлекаться—не кѣмъ, выходить изъ себя—глупо, мечтать и строить фразы—смѣшно и неприлично... Надо жить и устраивать себѣ пріятную жизнь—что онъ и дѣлалъ. Гимназія, съ ея зубреньемъ и письменными работами все въ одномъ направленіи сдѣлалась для него своего рода спортомъ, приучила къ напряженію мозга и мышцъ, къ искусственному вниманію, къ одолѣ-

ванію трудностей, отъ которыхъ ему не было ни тепло, ни холодно. Онъ рано сталъ любить вещи: дорогой порочинный ножикъ, красивую папиросницу, тонкое бѣлье, платье, скроенное по-модному изъ хорошаго матеріала; держалъ всѣ свои вещи, лекціи, книги въ необыкновенномъ порядкѣ, рано пристрастился къ уженью рыбы, къ велосипеду, къ охотѣ съ ружьемъ... Въ свободные часы онъ то и дѣло чистилъ и улаживалъ свои „аглицкія“ удочки, перебиралъ разныя механическія приманки, въ видѣ бабочекъ и мелкихъ рыбешекъ, чистилъ сѣтки, смазывалъ часто ружье. Все это онъ дѣлалъ съ полною серьезностью, читалъ книжки по охотничьей и рыболовной части, отчетливо и „шикарно“ выговаривалъ англійскіе термины, хотя по-англійски и не зналъ. Голова его работала основательно и къ двадцати годамъ усвоила себѣ почти законченное пониманіе жизни, гдѣ отвлеченныя идеи, порывы, стремленія и „вопросы“ отнесены были къ разряду „пустяковъ“, не стоящихъ вниманія, и опасныхъ формъ убиванія времени... Онъ цѣнилъ только фактическое преимущество въ товарищахъ и во всѣхъ, кого встрѣчалъ дома и въ обществѣ. Знаешь всѣ греческіе неправильные глаголы—„молодецъ“; можешь писать прямо итогъ восьми столбцовъ цифръ, по десяти въ каждомъ—„лихо“; пройдеши верхомъ изъ Петербурга въ Москву въ трое сутокъ—„завидно“; выдержишь полдня столъ въ водѣ, выше колѣнъ, для улова хитрой рыбки, которую иначе не добудешь—„честь тебѣ и слава!!!“ И главное, чтобы все это тебѣ самому доставляло пользу и удовольствіе, чтобы ты жилъ, какъ тебѣ хочется, чтобы ты чувствовалъ полное равновѣсіе и довольство собой, а не кряхтѣлъ изъ-за какихъ-то идей или по слабости характера, для другихъ изображая изъ себя поденщика, не имѣющаго настолько чувства своего „я“, чтобы его не эксплуатировали.

И примѣромъ такой подневольной и уродливо жалкой жизни Григорій Порфирьевичъ бралъ жизнь своего отца. Къ нему онъ, въ иные минуты, чувствовалъ жалость, но жалость, пропитанную сознаніемъ своего превосходства. Уже если отецъ такъ себя „поставилъ“, то почему же было этимъ и не пользоваться? Ему нужны ружье, велосипедъ, удочка, платье—онъ и обращается къ отцу. Это все вещи дѣльныя и доставляющія реальное удовольствіе, больше, чѣмъ разный бабій вздоръ, какой нуженъ его матери и сестрѣ...



Чисто мужской, почти простонародный, взгляд на женщинъ выработался въ Григоріи Порфирьевичѣ уже къ поступленію въ университетъ. Онъ—не высокаго мѣніи о нихъ вообще. Ихъ вздорности, охи и ахи, увлеченія и порывы Григорій Порфирьевичъ называлъ однимъ собирательнымъ терминомъ: „психопатія“. То же слово употреблялъ онъ и для всего, что ему въ людяхъ и въ общественной жизни казалось непужнымъ, мудренымъ, вычурнымъ или неприличнымъ, опаснымъ и дикимъ... Иногда онъ, говоря или думая о женщинахъ, пускалъ въ ходъ слово „истерія“,—и дальше уже не шелъ въ объясненія.

Онъ зналъ и видѣлъ, что женщины къ нему льнутъ... Къ этому его съ отроческихъ лѣтъ приучили мать и сестра... Барышень онъ могъ влюблять въ себя сколько ему угодно и безпрестанно; на вечерахъ пріятелямъ, танцовавшимъ съ нимъ, онъ говаривалъ съ ужимкой глубокаго презрѣнія:

— Ну, ихъ! Виснутъ!..

И это не было у него ни позою, ни притворствомъ. Онъ дѣйствительно надоѣдали ему, и вообще какъ „бабы“, и потому, что „виснутъ“.

Съ вдовой Мещериной его сближеніе пошло очень быстро. Она такъ явно и усиленно ухаживала за нимъ, что Григорій Порфирьевичъ счелъ бы совершеннымъ идиотствомъ не завязать съ ней интрижки. Въ первый же вечеръ, проведенный имъ у вдовы, она стала угощать его фруктами и шампанскимъ, что ему не особенно понравилось, и онъ держалъ себя суховаго до самаго прощанія... На порогъ въ переднюю, когда онъ—это было около года назадъ—подавалъ ей руку, и въ глазахъ его можно было прочесть—„ну, и эта виснетъ!“—вдова удержала его руку въ своей, прижалась къ нему пышнымъ ставомъ и, задыхаясь, сказала съ внезапной краской на пухлыхъ, еще очень свѣжихъ щекахъ:

— Позвольте мнѣ васъ поцѣловать!..

Григорій Порфирьевичъ почти обидѣлся... Точно онъ хальчуганъ, которому говорятъ: „Гриша, а я вотъ тебя поцѣлую“.

Онъ позволилъ и остался у вдовы до поздняго часа.

Съ тѣхъ поръ это уже „überwundener Standpunkt“—тоже его слово, единственное илѣмецкое выраженіе, которое онъ занялъ у отца. Метафизику онъ считалъ чѣмъ-то въ родѣ кабалеттики или хирохантинъ, и просто зазубривалъ

тѣ мѣста изъ энциклопедіи права, гдѣ приводятся цитаты изъ нѣмецкихъ мыслителей. „Иѣмецъ“ было для него почти браннымъ словомъ, такъ же какъ „жидъ“ и „полякъ“, хотя онъ и „патріотизмомъ“ не занимался...

Къ вдовѣ у него образовалось нѣчто въ родѣ снисходительнаго пріятельства... Она была для него „подходящая баба“. И она любила „вещи“, все фактическое и дающее чувство матеріальной жизни; ходила лѣтомъ на охоту, пристрастилась и къ рыбной ловлѣ, обожала бѣлье и цѣнила туалеты, играла на гитарѣ. Они проводили время въ разговорахъ о разныхъ видахъ спорта, играли дуэты: онъ на мандолинѣ, она на гитарѣ, никогда не ссорились; она легко перенимала его взгляды и оцѣнки людей и жизни, хотя и была на цѣлыхъ десять лѣтъ старше его.

Онъ принималъ ея постоянное ухаживанье, допускалъ угощеніе дома—недорогой завтракъ или ужинъ въ ресторанѣ... Вдова дарила ему разные „сувениры“; порывалась дѣлать и цѣнные подарки, намекать на то, что у него мало карманныхъ денегъ, но Григорій Порфирьевичъ положилъ этому конецъ.

— Это будетъ альфонсизмъ!—сказалъ онъ ей спокойно и съ большимъ достоинствомъ.

„На содержаніе я не желаю поступать, — рассуждалъ онъ.—Если Валентина заплатитъ за устрицы или за карету—это ея добрая воля. Считаться въ такихъ пустякахъ—смѣшно; но деньги, это—особая статья“.

И когда ему казалось, что отецъ подозрѣваетъ что-то—оттого, вѣроятно, что онъ сталъ у него рѣже просить денегъ,—его это щемило. Онъ способенъ былъ самъ заговорить о своихъ отношеніяхъ къ вдовѣ и сказать отцу прямо:

„Ты, пожалуйста, не думай, что Мещерина даетъ мнѣ денегъ!.. Я съ ней провожу время... У меня стало меньше холостыхъ расходовъ—вотъ тебѣ и объясненіе загадки“...

Но случая не представлялось, и онъ кончилъ тѣмъ, что успокоился. Отцу, въ сущности, не было дѣла до его интимной жизни, а Мещерина—это „деталь“,—еще любимое слово Григорія Порфирьевича.

А тѣмъ, что думали мать и сестра, онъ рѣшительно не интересовался. Мать, конечно, знаетъ про связь. Да и сестра догадывается. Онѣ, кажется, очень рады этому: Ме-

щерина имъ нравится, полезна своими знакомствами, любить угостить, зоветъ часто къ себѣ въ ложу... Чего же имъ больше?

Если бы мать или сестра позволили себѣ что-нибудь насчетъ порядочности его отношеній съ вдовой, онъ сумѣлъ бы ихъ осадить. Да онъ уже достаточно давалъ имъ понять, что ничѣмъ существеннымъ онъ отъ Мещериной не пользуется.

Мысль Григорія Порфирьевича остановилась на всѣхъ этихъ предметахъ, когда онъ шелъ по Невскому, въ сторону цвѣточнаго магазина, гдѣ ему надо было придѣлаться къ вѣнку.

Ему не жалко денегъ, которыя пойдутъ на этотъ вѣнокъ, онъ не желаетъ урѣзывать у сестры ея долю. Но онъ считаетъ смѣшнымъ вздоромъ это „театральство“. Самъ онъ ходитъ, по субботамъ, въ Михайловскій театръ, потому что русскія пьесы скучны, а нѣмцевъ онъ съ трудомъ понимаетъ и не выноситъ ихъ декламациі въ классическихъ вещахъ. Субботы чередуетъ онъ съ циркомъ... Туда его привлекаютъ лошади, ихъ выѣздка, ихъ „кровныя стати“, дрессировка собакъ, свиней, гусей, ословъ, ловкость и условная грація акробатовъ и наѣздницъ высшей школы. Онъ отдыхалъ въ этомъ царствѣ мышечной силы, спорта, упорной энергіи съ оттенкомъ всегдашней опасности, отъ скуки мужскихъ и кудахтанья женскихъ разговоровъ, зѣвоты на лекціяхъ, танцевъ съ барышнями, ежедневныхъ встрѣчъ съ товарищами. Вдова всегда бывала съ нимъ въ циркѣ; ея замѣчанія и оцѣнки онъ находилъ вѣрными.

## V.

На Аничковомъ мосту — онъ уже шелъ внизъ по Невскому — его окликнулъ кто-то изъ окна кареты.

Григорій Порфирьевичъ увидѣлъ своего товарища по гимназіи, графа Загарина. Карета остановилась.

— Капцовъ!.. На минутку...

Онъ подошелъ къ дверцѣ кареты.

— Ты будешь сегодня у Богучарова? — спросилъ его графъ, блѣднолицый, почти безусый, бѣлокурый и немного прыщавый.

Онъ кутался въ шинель съ бобромъ.

— А что такое?

— Тамъ сегодня сборище... И я прочту кое-что... Да не подвезти ли тебя?

— Пожалуй. Мнѣ надо на Знаменскую.

— Прикажи кучеру.

Капцовъ сѣлъ въ карету. Графъ уходилъ лицомъ въ бобровый воротникъ, говорилъ слабымъ голоскомъ и взглядывалъ на него, тревожно улыбаясь, довольно красивыми глазами.

Этотъ Загаринъ походилъ съ годъ въ университетъ, вольнымъ слушателемъ, и вотъ уже четвертый годъ пишетъ стихи, переводить Эдгара Поа и читаетъ Шопенгауэра. У него хорошее состояніе, и онъ сирота. Здоровье у него слабое, но онъ торчитъ по доброй волѣ въ Петербургѣ, хоть и знаетъ, что петербургскій климатъ для него убійственъ.

Съ Капцовымъ онъ держался дружескаго тона, но въ домъ къ его семейству не ѣздилъ. Онъ не танцевалъ, за женщинами не ухаживалъ, боялся всякаго утомленія, чувствовалъ страхъ передъ всѣмъ, что отзывается физической тратой силъ. Сквозной вѣтеръ приводилъ его въ ужасъ, и Капцовъ встрѣтилъ его разъ, при входѣ въ большую залу дворянскаго собранія, въ маскарадѣ, съ высокой шляпой на головѣ и въ цвѣтномъ фулярѣ, въ который онъ кутался точно на улицѣ.

— Чудакъ!.. Какъ тебѣ не совѣстно? — окликнулъ онъ его.

— Ахъ, душа моя, здоровье выше всего...

И по части здоровья Капцовъ давалъ ему не разъ хорошіе совѣты.

— Что ты все киснешь здѣсь?—говорилъ онъ ему, оглядывая при этомъ его впалую грудь и выдавшіяся лопатки.—Средства есть, ничто не держать... Стихи свои можешь кропать гдѣ угодно... Махнулъ бы въ Сидилію, или на югъ Франціи, а то въ Канръ.

— Иѣтъ, милый, я тамъ умру отъ скуки... Меня посылали въ Ментону,—я не выдержалъ. Ты знаешь, я всякій свободный вечеръ въ театрѣ. А тамъ, въ казино, ужасная труппа! Помнишь ты актера Дювали, здѣсь, въ Михайловскомъ?

— Не помню что-то...

— Онъ подносы подавалъ, а я нашелъ его тамъ въ первыхъ любовникахъ... И это постоянное сидѣнье на солнцѣ, глядѣнье на море... Чахоточные бродятъ подъ

жидкими пальцами... Тоска!.. Петербургъ и Парижъ—вѣтъ этихъ двухъ городовъ нѣтъ жизни для меня... Нигдѣ мозгу не имѣеть пищи!..

— Такъ живи лучше зимой въ Парижѣ, — возражалъ ему Капцовъ.

— Зимой я не могу лишиться себя Петербурга.

Такъ онъ и жилъ, прикованный съ октября по апрѣль въ Петербургу жаждой писательскихъ ощущеній, выносилъ свои элегіи, знакомился со всякимъ умственнымъ народомъ, ѣздилъ по редакціямъ, скучнымъ литературскимъ журъ-фиксамъ, бывалъ во всевозможныхъ кружкахъ, находилъ особое удовольствіе въ общеніи съ мелкимъ пишущимъ народомъ, съ начинающими поэтами и рассказчиками, наклонными къ страннымъ замысламъ, къ смѣлости въ формахъ, къ печально-чувственному взгляду на жизнь.

О „принципахъ“ Капцовъ первый съ ними не заводилъ рѣчи, но зналъ, что Загаринъ считаетъ себя „электикомъ“. Онъ былъ вѣрнѣйшій на особый ладъ, — больше дѣлать, чѣмъ хорошій православный, но сохранилъ всѣ навыки религіозности, былъ дѣтски суевѣренъ; иногда, сидя одинъ въ каретѣ, крестился при видѣ иконы на фасадѣ церкви, вообще ничего не отвергалъ и силился все согласить: догматы съ Спинозой, съ Шопенгауэромъ, съ законами природы, романтизмъ—съ натурализмомъ и даже съ парижской школой „декадентовъ“. Надо всѣмъ этимъ въ глубинѣ его болѣзненной, обреченной на постоянную боязнь смерти, натуры лежала немолчная и непритворная жалость ко всему, что живетъ на свѣтѣ. Онъ не могъ видѣть нищаго, чтобы не подать ему, останавливалъ даже карету и подзывалъ съ тротуара какого-нибудь сомнительнаго калѣву, отъ котораго пахло сивухой, зная, что тотъ сейчасъ же просьетъ его гривенникъ, а иногда и бумажку, — что ему попадалось подъ руку въ карманѣ, гдѣ всегда лежала мелочь для милостыни.

Капцовъ считалъ его добрякомъ, въ одномъ вкусѣ съ отцомъ своимъ. Такая доброта вызывала въ немъ нѣчто въ родѣ презрѣнія. И надъ мотивами его стихотвореній онъ подсмѣивался довольно безцеремонно.

— Ну, что ты все воспѣваешь какую-то „желанную“? А я знаю, какъ ты плохъ по этой части... Никаконъ у тебя возлюбленной нѣтъ, да и не будетъ... И влюбчивость-то у тебя, братецъ, по книжкѣ...

Загаринъ не обижался. Кого-то онъ любилъ и уносился разгоряченнымъ мозгомъ къ „ней“, плакалъ по ночамъ, молился и просыпался потомъ съ страшной невралгiей, отъ которой лежалъ пластомъ до вечера; но вечеромъ непременно ѣхалъ въ театръ, на писательскую вечеринку, на публичное чтенiе, на засѣданiе литературнаго общества.

Не такъ давно Канцовъ увидалъ его выходящимъ изъ книжнаго магазина съ однимъ репортеромъ мелкаго листа. Загаринъ сталъ пожимать ему руку и раскланиваться, точно тотъ Богъ вѣсть какая знаменитость.

Что взорвало Канцова.

— Какъ тебѣ не стыдно такъ лебезить Богъ знаетъ передъ какой дрянью?..—говорилъ онъ ему съ брезгливой усмѣшкой на своихъ тонкихъ губахъ.—Вѣдь это жуликъ, и газета, гдѣ онъ пишетъ—чуть не помойная яма! Я вѣкъ этимъ не занимаюсь, но если бы я былъ на твоемъ мѣстѣ, я бы ни одного пальца не подалъ такому стрелкуисту!..

— Ахъ, душа моя,—вздыхалъ Загаринъ,—нельзя такъ относиться къ людямъ... И этотъ репортеръ—съ талантомъ... А листокъ, гдѣ онъ пишетъ, полезенъ...

— Чтобы тебя похвалили при случаѣ?

— Зачѣмъ же создавать себѣ враговъ?.. Я имъ иногда даю даровыя замѣтки о тѣхъ, кому я искренно сочувствую, о моихъ сверстникахъ...

— И себя похвалишь, когда нужно?

— Нѣтъ, себя я еще ни разу не хвалилъ. Миѣ прискорбны наши журнальные ругатели. Я всей душой желалъ бы видѣть общее единенiе...

— Держи карманъ!..

Когда Канцовъ уѣхалъ въ каретѣ и поправилъ сѣвось палочное пальто эфесъ шпаги, онъ вспомнилъ именно этотъ разговоръ. Его навело на память приглашенiе Загарина быть вечеромъ на сборищѣ у Богучарова.

— И какая тебѣ охота,—заговорилъ онъ, закуривая папиросу,—ѣздить по невозможнымъ дырамъ?.. У Богучарова квартира на третьемъ дворѣ, въ палисадникѣ, плохо протолченная, сырая, и дверь прямо на дворъ, безъ передней. Да ты тамъ воспаленiе легкаго схватишь!..

— Поберегусь, милый, какъ-нибудь... Сегодня онъ самъ будетъ читать нѣчто очень курьезное... Изъ своихъ аме-

риванскихъ воспоминаній... И пѣть будетъ одинъ самородокъ, изъ народныхъ учителей.

— Нигилье!..

— Ахъ, Капцовъ, у тебя термины старые. Нигилье!.. Нигилистовъ теперь нѣтъ, другъ мой... Теперь всѣ хотятъ жить, пользоваться высшимъ, что есть у человѣка,—искусствомъ, идеей, прекрасными звуками и красками. И всѣ понимаютъ трагедію жизни, общую скорбь о хрупкости того, что прекрасно!..

— За нытье принялись, знаемъ мы васъ. Оттого, что вы всѣ головастики,—Григорій Порфирьевичъ сталъ говорить строже,—оттого, что вы всѣ кисляки; ни гимнастики, ни охоты, ни гидротерапіи...

— Ни велосипеда!.. — подсказалъ съ тихимъ юморомъ Загаринъ, кивнувъ головой въ высокой шляпѣ.

— Да, было бы толковѣе, если бъ ты на велосипедѣ хоть въ манежѣ поѣздилъ. Мускуловъ у васъ нѣтъ, руки и ноги какъ мочала, вотъ вы и воспѣваете міровую скорбь... Какъ, бишь, это по-нѣмецки?

— Weltschmerz,—подсказалъ Загаринъ.

— Именно! И къ женщинамъ-то у васъ какое-то рыхлое, наивное отношеніе... Ни въ одномъ изъ васъ мужчины не чувствуешь...

Карета дала толчокъ. Одна лошадь зашалаила и ударилась въ сторону. Загаринъ боязливо поглядѣлъ въ каретное стекло и заволновался.

— Ахъ, Господи! Опять понесутъ!..

Капцовъ окинулъ взглядомъ охотника и лошадей, и кучера.

— Да у тебя кучеръ выпилъ. Онъ дергаетъ ихъ безъ толку...

— Ахъ, Господи! — стоналъ Загаринъ. — Держу нарочно извозчикью пару, и каждую недѣлю онъ меня угощаетъ.

— Да ты что же не прогонишь его?

— Надо жаловаться хозяину. Съ какой стати... На той недѣлѣ у кареты дышло переломилъ и крыло задѣли... Ударился о фонарный столбъ... Лошадей прислали другихъ... А работникъ тотъ же...

— Чудачина ты! Ей-Богу!

Капцовъ усмѣхнулся ему въ лицо и вспомнилъ, какъ Загаринъ рассказывалъ свой призывъ въ военную службу. Его объявили совершенно негоднымъ. Онъ не скрывалъ

этого и въ герои не лѣзь, а съ юморомъ выставяль свое тѣлесное убожество.

Лошадь перестала шалить, кучеръ подтянулъ пару, карета покатила въ ровнѣе, и минуты черезъ двѣ она повернула въ Знаменскую.

— Номеръ двадцать первый! — крикнулъ Канцовъ кучеру, опустивъ стекло.

— Такъ придешь къ Богучарову? — ласково и просительно заговорилъ Загаринъ, успокоенный, съ краской волненія на впалыхъ щекахъ. — Для меня сдѣлай. И ты услышишь пѣніе... Басъ феноменальный. *Basso cantante*... Я такого не слыжалъ нигдѣ за послѣдніе годы.

— Изъ дворянъ Господи помилуй, навѣрно?

— Кажется... изъ семинаристовъ.

Загаринъ разсмѣялся.

— Фамилія, — добавилъ онъ, — духовная... Благомировъ.

... Навѣрняка.

Григорій Порфирьевичъ что-то соображалъ.

Онъ долженъ застать вдову и пообѣдаетъ у нея. Она его безъ обѣда не отпуститъ... Провести съ-глазу-на-глазь съ женщиной, кто бы она ни была, съ четвертаго часа до поздней ночи, это была слишкомъ прѣсная „процедура“, какъ выражался онъ. Можно, пожалуй, кончить вечеръ у Богучарова и посмотрѣть на все это литературствующее „нигильѣ“. За свой терминъ Канцовъ держался.

— Такъ что же, душа моя? — настаивалъ Загаринъ.

— Ладно. Попозднѣе буду. Вѣдь вы тамъ до пѣтуховъ?

— Я до тебя не буду читать своего.

Кучеръ рѣзко остановилъ лошадей. Канцовъ, кивнувъ Загарину, ловко выскочилъ на подъѣздъ, прямо съ подножки и захлопнулъ дверцу.

Въ первомъ этажѣ жила вдова Мещерина.

## VI.

Въ будуарѣ горитъ розовый матовый фонарь, подвѣшенный къ потолку, посрединѣ лѣннаго круга. Вся мебель блѣднорозовая съ кружевными чехлами. Въ тѣснотой комнатѣ ходитъ волнами густой запахъ крѣпкихъ аткинсоновскихъ духовъ. Десятый часъ вечера. На диванчикѣ, въ родѣ широкаго кресла, развалился Григорій Порфирьевичъ; голову онъ откинулъ на низкую спинку



цкая и ноги вытянуть по пестрому ковру... Его поводить зѣвота... Онъ полудремотными глазами смотритъ на свое отраженіе въ большомъ зеркалѣ орѣховаго шкапа, гдѣ хранится тонкое, все въ кружевахъ, пропитанное благоуханіемъ, бѣлье Валентины Павловны.

Ему не хочется говорить, не хочется курить. Онъ очень сытъ, и въ головѣ нѣтъ никакихъ опредѣленныхъ мыслей.

— Grégoire! — донесся до него голосъ Мещериной изъ небольшого салона, смежнаго съ будуаромъ.

Она окликнула его отъ пианино, на которое только что сѣла.

— Что угодно? — соннымъ голосомъ отвѣтилъ Капцовъ.

— Вы не желаете играть?.. Мандолина ваша ждетъ... Или хотите дуэтъ съ гитарой?

Играть ему лѣнь... Онъ хотѣлъ бы на воздухъ. Пора и къ тому „нигилю“ — въ Измайловскій полкъ, въ Пятую роту.

— Идите! — громче окликнула Мещерина. — Да что вы тамъ дѣлаете? Спите!.. Какой ужасъ!

Въ дверяхъ будуара показалась Валентина Павловна, женщина за тридцать, выше средняго роста, съ густыми волосами орѣховаго цвѣта и круглымъ, вселымъ, чувственнымъ лицомъ. Особенно носъ ея, короткій и приподнятый кверху, дѣлалъ выраженіе подмигательныхъ. Ея пышный станъ облекалъ черный атласный капотъ съ разрезными рукавами, подбитыми желтымъ шелкомъ, откуда обнаженные руки, молочныя и наливныя, выступали съ откровенной лаской.

— Grégoire! Вы, ей-Богу, спите!..

— Не думаю!.. — лѣниво отвѣтилъ Капцовъ.

— Если хотите спать, подите и лягте на кушетку.

Она подсѣла къ нему и коснулась рукой до его плеча.

— Хотите на воздухъ?.. Здѣсь очень жарко. Умоляю васъ, не топить такъ немощно и не могу добиться температуры въ четырнадцать градусовъ.

Валентина Павловна положила голову на спинку диванчика, рядомъ съ головой студента, и вся затихла...

Такъ они пробыли нѣсколько минутъ.

Капцова не смущало это молчаніе... Зачѣмъ будетъ онъ постоянно подтягивать себя съ своей покладливой подружкой?.. Мещерина тѣмъ и пріятна ему, что она не требуетъ страстныхъ изліяній, разговоровъ на интересныя

темы, лирических сценъ и сентиментальных порывовъ. Она цѣнитъ то, что ей тридцать два года, а ему нѣтъ еще и двадцати двухъ.

Она сейчасъ закричала: „это ужасно, вы спите“; во тотчасъ же прибавила приглашеніе соснуть какъ слѣдуетъ на кушеткѣ.

— Гриша! — шопотомъ спросила Мещерина и приложила своей еще очень твердой щекой къ щекѣ Капцова. — Хочешь -- я пошлю за тройкой?.. Мы прокатились бы...

Онъ не спалъ и разсмѣялся ея словамъ.

Тройка не прельщала его. Катанье само по себѣ, пожалуй, пріятнѣе, чѣмъ конецъ, на извозчикѣ, въ Пятую роту Измайловскаго полка и сидѣнье въ сараѣ Богучарова въ облакахъ табачнаго дыма; но тройка поведетъ „а собою загородный ресторанъ. Валентина Павловна непременно закажетъ ужинъ и не допуститъ его платить, да у него и лишнихъ денегъ нѣтъ. И это куда бы ни шло: главное—все это повтореніе того, что было уже за обѣдомъ и послѣ обѣда.

Лучше сдержать слово, данное графу Загарину, и ѣхать къ „нигилю“.

— Мнѣ надо въ гости, — не раскрывая глазъ, выговорилъ онъ и сладко потянулся.

— Куда это?

— Къ іерихонцамъ!

Она расхохоталась слову и подняла голову.

— Къ какимъ іерихонцамъ?

Капцовъ сказалъ—къ какимъ.

— Тебѣ тамъ весело?

Вопросъ прозвучалъ скорѣе заботой, чѣмъ тревогой, — подозрѣнія и ревности въ немъ не было. Капцовъ цѣнилъ и это отсутствіе вздорности въ вдовѣ Мещериной, хотя, по его понятіямъ, женщина должна быть ревнива, и онъ сознавалъ, днями, что, быть-можетъ, ему было бы занимательнѣе съ Валентиной Павловной, если бы она хоть немножко ревновала его.

— Веселья никакого не будетъ, — отвѣтилъ онъ, позѣвывая: она и этимъ не обижалась, — а иногда бываютъ курьезные народы.

— Цѣль интеллигентовъ? — произнесла смѣшливо Мещерина и повела на особый ладъ своимъ вздернутымъ носомъ.

Онъ тихо разсмѣялся и сталъ подниматься, сдѣлавъ это въ два приѣма, и когда стоялъ уже на ногахъ, посрединѣ комнаты, то потянулся всѣмъ корпусомъ, вскинувъ своими длинными руками.

— Агунюшки, Гришенька, агунюшки!..

Поднялась и Валентина Павловна, подошла къ нему, поцѣловала его въ лобъ и сказала:

— Со мной коротать вечеръ не желаете, стало-быть?.. И быть по сему...

— Приставалъ сегодня: просилъ быть тотъ чудакъ... графъ Загаринъ... Я тебѣ его показывалъ въ театрѣ.

— Развѣ и онъ изъ нигилья?

— Онъ такъ, шалый... рюмачъ... Воспѣваетъ все какъ-то желанную, а я увѣренъ, что онъ до сихъ поръ...

Капцовъ досказалъ на ухо Мещериной.

— Привези его ко мнѣ... Мы его просвѣтимъ...

— Нацѣстъ... рацен свои распустить про Спинозу, Эдгара Поэ... и этого... какъ бишь его?

— Ну, тогда не надо... Послушай, Гриша... На дорожку не хочешь ли чего-нибудь?

— Чего еще?

— Хоть сельтерской... съ коньякомъ.

— Пожалуй.

Они перешли черезъ узкую гостиную съ піанино въ столовую, просторную комнату, полуосвѣщенную височенной лампой съ матовымъ колпакомъ.

Валентина Павловна захлопала въ ладоши; каждый разъ звонить она находила несноснымъ.

Горничная, та самая Анисья, на которую жаловалась барыня насчетъ толки комнаты, уже пожилая дѣвушка, въ темномъ платьѣ и чепчикѣ, вошла и остановилась въ дверяхъ, съ особымъ, строго замкнутымъ выраженіемъ своего еще миловиднаго лица. Она при Капцовѣ вела себя съ необыкновеннымъ тактомъ, точно будто онъ родственникъ ея барыни, и не позволяла себѣ ни съ Валентиной Павловной, ни съ нимъ ни малѣйшей фамильярности. Мещерина держала, до своего романа съ Капцовыхъ, лакея; но теперь у нея была одна женская прислуга, а человѣка нанимала только ѣздить съ нею по городу и служить, когда она давала вечера.

— Анисья Ивановна, — обратилась она къ ней нѣжно, — вы опять изволили рано закрыть, безъ всякаго милосердія, у меня въ будуарѣ...

— А что-съ?

— Да градусовъ двадцать!..

— Господи!.. Я закрыла передъ самымъ обѣдомъ.

— Дайте сельтерской воды и коньяку.

Этой Анисѣ Ивановнѣ доставалось иногда очень круто... Мещерина, когда одѣвалась, не терпѣла никакой неловкости, никакой проволоочки. Капцовъ былъ разъ свидѣтелемъ домашней сцены, когда Валентина Павловна, по собственному выраженію, „пригнула“ свою горничную...

Григорій Порфирьевичъ тогда нахмурился и, когда они остались вдвоемъ, весьма значительно замѣтилъ:

— Можно бы и оставить эти до-реформенныя манеры.

И цѣлый день былъ очень сдержанъ съ своей пріятельницей. Онъ обращался съ прислугой сухо и говорилъ „ты“ лакеямъ рестораноу, швейцарамъ, даже и разсылнымъ, но считалъ неприличнымъ и „некрасивымъ“ давать волю рукамъ. Этотъ эпизодъ съ Анисѣй укрѣпилъ его еще болѣе въ убѣжденіи, что женщины — „всѣ на одинъ ладъ“, мужички и барыни, кухарки и первоклассныя артистки. Дай имъ волю — онѣ непременно будутъ бить своихъ пріятелей и мужей, что зачастую и бываетъ. При этомъ онъ всегда думалъ о своемъ отцѣ и говорилъ про себя:

„Возьми мама повадку тузить туфлей фатера — онъ притерпится!“

Въ столовой Капцовъ, не присаживаясь къ столу, выпилъ цѣлый стаканъ сельтерской воды. Ему налила сама Мещерина. Анисья Ивановна удалилась тотчасъ же, поставивъ все, что нужно.

Она знала, что барыня не любитъ и того, чтобы прислуга выходила въ переднюю, когда уѣзжалъ Григорій Порфирьевичъ. И на этотъ разъ она не вошла туда, слышавъ голоса въ передней, отдѣланной въ русскомъ вкусѣ: стѣны были обиты кумачомъ; вѣшалка, стулья, столъ и зеркало изъ крашенаго дерева съ золотыми разводами. На этомъ красномъ фонѣ черный атласъ пеньюара и полныя руки Мещериной выступали живописнымъ пятномъ.

— Пользайтесь въ моей каретѣ. — сказала она ему, переходя совершенно спокойно отъ „ты“ къ „вы“.

— Съ какой стати?

Онъ этого не любилъ.

— Да вѣдь она, все равно, стоитъ!..

— Я терпѣть не могу кареты.

— Охота тащиться на ванькѣ!..

— Знаете что...—добавила она громче, когда онъ уже стоялъ передъ нею въ пальто и съ фуражкой на головѣ.— Поѣду я къ вашимъ посидѣть... Онѣ никуда не собирались?

— Кажется, нѣтъ.

— Мы потолкуемъ насчетъ туалетовъ къ бенефису... Съ меня вѣдь тоже взяли контрибуцію для какого-то серебрянаго баула.

— Сколько?

— Двадцать пять.

— Была оказія!

— Нельзя, душечка. Это ежегодный оброкъ.

Валентина Павловна снова разсмѣялась, потрепала его по плечу и выпустила сама въ сѣни.

На извозчикѣ Капцовъ глубоко засунулъ руки въ карманы, приподнялъ плечи и ушелъ подбородкомъ въ мерлушковый воротникъ. Морозъ крѣпчалъ. Но онъ этого не боялся. Квартира Мещериной, опьяняющій запахъ духовъ, обѣдъ, вино, сонное полулежанье, — все это онъ съ охотой сбросилъ съ себя на холодномъ и сухомъ воздухѣ, и почувствовалъ себя опять мужчиной и спортсменомъ, способнымъ, коли на то пошло, отправиться на пари пѣшкомъ до Измайловскаго полка, въ одной шведской курткѣ, гимнастическимъ шагомъ.

## VII.

На третьемъ дворѣ, въ темнотѣ декабрьской ночи, Капцовъ отыскалъ калитку палисадника и пошелъ увѣреннымъ шагомъ къ освѣщеннымъ окнамъ одноэтажнаго строенія, въ родѣ сарая или бани.

Тамъ и проживалъ Богучаровъ, у котораго каждая цѣвъедѣли бывали сборища молодыхъ писателей.

Входная дверь отворялась прямо въ первую обширную комнату, изъ маленькихъ сѣней. Тамъ сидѣло все общество. Капцова встрѣтилъ возгласъ хозяина:

— А, мандолинистъ!.. Не забыли! Жаль, что инструмента своего не взяли съ собой.

Богучаровъ, короткій и плечистый рыжеватый малый, лѣтъ двадцати пяти, подъ гребенку выстриженный, съ аккуратной бородкой, въ домашней шерстяной блузѣ синеватаго цвѣта, подпоясанной кожанымъ кушакомъ, по-

могъ ему снять пальто, которое тутъ же надо было положить на кучу другого верхняго платья.

Въ комнатѣ, болѣе длинной, чѣмъ широкой, и освѣщенной довольно плохо, сидѣло и стояло нѣсколько человѣкъ гостей. Капцовъ разглядѣлъ въ числѣ другихъ графа Загарина у большого продолговатаго стола съ самоваромъ и закусками... Дешевая низкая лампочка немного коптила. Вправо, въ углу, примостилось старинное фортепiano—ящикомъ, и двѣ свѣчи стояли на немъ зажженными.

Узналъ Капцовъ и двоихъ начинающихъ писателей. Оба они были брюнеты,—одинъ маленькій, другой очень высокій. Маленькій морщилъ нервное лицо и дергалъ бородку, плохо одѣтый и хмурый; высокій, въ хорошемъ сюртукѣ, гладилъ лоснящіеся длинные волосы, и правая его рука прохаживалась по густой бородѣ. Капцовъ никакъ не могъ хорошенько запомнить, который изъ нихъ поэтъ, который прозаикъ. На этотъ разъ онъ рѣшилъ, что стихи пишетъ высокій, что было совсѣмъ наоборотъ.

У стола, въ глубинѣ, сидѣлъ лицомъ прямо противъ входа очень красивый мужчина, съ оваломъ лица, лбомъ и волосами, какіе пишутся на образахъ. Мягкая степеньность большихъ голубыхъ глазъ, носъ строгихъ линий, борода рѣдкая, клинушкою, дѣлали наружность его совершенно евангельской. Капцовъ сейчасъ же подумалъ: „Это и есть басъ изъ дворянъ Господи помилуй“.

Къ фортепiano прислонился гость, котораго Капцовъ видѣлъ, кажется, въ первый разъ. Почти такого же роста, какъ хозяинъ, только стройнѣе, темнѣе волосами, съ унылымъ лицомъ казацкаго типа. Онъ носилъ подстриженную бороду, былъ очень старательно одѣтъ, въ цвѣтномъ галстукѣ и темномъ клетчатомъ сюртукѣ. Когда Капцовъ вошелъ, онъ перелистывалъ книгу и щурился, какъ близорукій.

На кушеткѣ, служившей Богучарову и кровати, валился еще кто-то. По включенной пряди волосъ, низко спускавшейся на лобъ, и по свѣтло-коричневой потертой визиткѣ, Капцовъ узналъ художника Скрыню, котораго онъ не иначе называлъ, какъ „хохломъ“, и считалъ большимъ ругателемъ.

— Господа! Вы, кажется, знакомы? — возгласилъ хозяинъ, подводя Капцова къ столу. Онъ указалъ рукой на двоихъ брюнетовъ и, обернувшись къ Капцову, доба-

вилъ:—Скрыню вы знаете, съ графомъ васъ нечего зна-  
комить. Это Благомировъ, вы ему поаккомпанируете, ба-  
тенька, на гитарѣ... А потъ, позвольте,—онъ подвелъ его  
къ стоявшему у фортепіано, — Денисъ Андреевичъ Луго-  
виновъ, писатель. Идемъ еще двоихъ гостей, и тенора  
Андреоли. Да-съ, батенька, хочеть послушать Ефима Ни-  
канорыча... И Егоръ Петровичъ Ермиловъ общалъ, по-  
воздѣе, съ какого-то великосвѣтскаго суарѣ, къ тому  
часу, когда явится отъ Филиппова кулебяка съ сигомъ и  
капустой...

Капцовъ жалъ всѣмъ руки, и басъ протянулъ ему свою  
длинную и блую, очень породистую, и сказалъ полупро-  
потомъ:

— Весьма радъ.

Но и эти два слова отдались во всей комнатѣ, какъ  
двѣ музыкальныя ноты.

Художникъ не поднялся съ кресла и только прокри-  
пѣлъ:

— Господину студенту—мое нижайшее!

— Ну, садитесь, гость будете. Чайшки желаете?

Въ Богучаровѣ Капцову не особенно нравился оттѣнокъ  
безцеремонности и запанибратства, подъ которымъ онъ  
распознавалъ своего рода дѣлчество и большое тщесла-  
віе. Онъ считалъ его, въ сущности, пронырой. Богучаровъ  
къ литературѣ и искусству приписался Богъ его знаетъ  
съ чего. Что-то такое онъ пописывалъ въ дешевыхъ иллю-  
стрированныхъ журналахъ подъ псевдонимомъ, промыш-  
лялъ навѣрно и репортерствомъ, всѣхъ зналъ, всюду лѣзъ  
и сумѣлъ сдѣлать свой „страй“ маленькимъ центромъ.  
Апломбъ ему давало больше то, что онъ не кончилъ,  
изъ-за какой-то исторіи, курса, гдѣ-то побывать въ Аме-  
рикѣ или, по крайней мѣрѣ, выдавалъ себя за американ-  
скаго „піонера“ и любилъ поговорить о Колорадо и Мис-  
сисипи. Въ Петербургѣ онъ служилъ на какой-то желѣз-  
ной дорогѣ, не то по счетной, не то по технической части.  
Но безъ богучаровской кулебяки, каждую вторую пят-  
ницу, дѣло не обходилось, и кружокъ его пріятелей изъ  
разныхъ сферъ все раздавался въ ширь.

Капцовъ принялъ отъ хозяина стаканъ чаю.

— Архіерейскихъ сливочекъ желаете?.. Это изъ англи-  
скаго магазина.

Онъ влилъ въ стаканъ рому и положилъ передъ нимъ  
кусокъ вренделя съ шафраномъ.

— Будете довольны...

Не нравилось Капцову и самодовольство этого „шюне-ра“. Но онъ долженъ былъ сознаться, что хозяинъ квартиры и его гости не подходили подъ кличку „нигиля“. Какие же это нигилисты: собираются слушать и читать стихи, повѣсточки, толкуютъ о Флоберѣ и Эдгарѣ Поэ, о Пушкинѣ и Фетѣ, о декадентахъ и натуралистахъ, разбираютъ тонкости „экспрессій“ въ картинахъ, слушаютъ пѣніе, держатъ у себя музыкальные инструменты!.. Даже и по тону, по одеждѣ, по манерамъ, въ нихъ нѣтъ признаковъ нигиля... Одинъ только художникъ Скрыня немного какъ будто напоминаетъ прежніе кружки, о какихъ читалъ и слышалъ Григорій Порфирьевичъ, но остальные очень приличны, смотрятъ скромными чиновниками, и басъ—совсѣмъ регентъ съ обличьемъ молодого угодника.

И у него явилось, тутъ же за чаемъ, болѣе терпимое чувство къ гостямъ Богучарова: его любопытство было болѣе задѣто, чѣмъ прежде. Онъ въ первый разъ подумалъ не безъ нѣкотораго удовольствія: „посмотримъ, что сегодня выйдетъ... Пожалуй, что-нибудь и курьезное“.

Онъ обмѣнялся пріятельскимъ взглядомъ съ графомъ Загаринымъ, и замѣтилъ, что тотъ уже очень волнуется: два розовыхъ круга выступили пятнами на его желтыхъ, обтянутыхъ щекахъ. Передъ нимъ лежала тетрадка, изъ глядцовитой веленовой бумаги, сшитая прученымъ цвѣтнымъ шелкомъ, и быстрые глаза Григорія Порфирьевича узнали красивый, женоподобный почеркъ графа. Какое-то общее заглавіе изъ одного слова, въ росчеркахъ и завиткахъ, занимало первую страницу этой тетрадки въ осьмушку, напоминающей ему школьные годы, когда между товарищами хаживали по рукамъ такіа же тетради запрещенныхъ стиховъ.

— А вотъ графъ Семень Борисовичъ, — заговорилъ опять хозяинъ тономъ распорядителя клубныхъ вечеровъ, — желаетъ прочесть намъ нѣсколько своихъ сонетовъ... Мы хотѣли, спервоначалу, подождать Егора Петровича, да онъ поздно объявится, гляди, къ самой кулебякѣ.—Онъ обернулся къ Капцову и въ скобкахъ прибавилъ:—Тиша, дворниковъ сынишка, уже посланъ къ Филиппову за оной кулебякой... Такъ можно и теперь начать... Комплектъ сипедріона достаточный... Ха-ха! Ежели которые пьесы придутся особенно по вкусу слушателей, буду просить графа повторить ихъ при Егорѣ Петровичѣ,



за ужиномъ. Онъ—великій оцѣнщикъ разныхъ тонкостей по этой части. Какъ бишь, графъ, этотъ пессимистъ, пишущій по-французски, котораго Ериловъ считаетъ царемъ сонетовъ?.. Жозефъ... Эхъ, канальство, на иностранныя фамиліи память у меня куринная.

— Хозе-Маріа Эредіа,—кратко выговорилъ Загаринъ.

— Какъ?—спросилъ художникъ Скрыня съ кушетки.— Какъ онъ, бѣсовъ сынъ?

— Хозе-Маріа Эредіа,—повторилъ Загаринъ.

— Эхъ, какой длинный!..

Всѣ засмѣялись, кромѣ Загарина.

Онъ весь съежился, круги на щекахъ стали еще рѣзче: на крутомъ, выпукломъ лбу выступили крупныя капли пота, хотя въ комнатѣ было свѣжо.

„Чудачина!—говорилъ мысленно Капцовъ и даже потупился надъ своимъ стаканомъ чая. —Есть occasio такъ дрожать, идти на экзаменъ къ разному дрянцу, съ борья да сосенки, подвергать на ихъ одобреніе... Печаталъ бы на свой счетъ вирши, да и не дулъ бы себѣ въ усы“...

Онъ ужъ, конечно, не пошелъ бы на такой „экзаменъ“ по доброй волѣ.

— Прошу вниманія, — началъ съ усиліемъ Загаринъ сдавленнымъ горловымъ голосомъ.

— Silentium!—крикнулъ хозяинъ, молодцовато засунувъ руки въ карманы своихъ синихъ шароваръ, крикнулъ на всю комнату и опустился въ старое, облѣзлое вольтеровское кресло, около другого стола, изъ некрашеннаго соснового дерева, покрытаго самымъ разномастнымъ добромъ: книгами, тетрадками, старой фотографической камерой, карандашами, готовальней, нѣсколькими склянками: вмѣсто пресъ-папье лежалъ осколокъ бомбы — „изъ-подъ Седана“, какъ увѣрялъ Богучаровъ.

— Сажайте, графъ!—пригласилъ онъ, очень довольный собою и всей физіономіей своего литературнаго вечера.

— Мои сонеты, — продолжалъ все еще очень перевозно Загаринъ, — носятъ коллективное заглавіе: „Дананды“.

— А что это?—вдругъ раздался полный басовой звукъ, и всѣ обернулись на Благомирова.

Онъ только что пропустилъ послѣдній глотокъ чая и поставилъ стаканъ на блюдечко.

„Остолопъ! — выбрали его про себя Капцовъ. — Выдаетъ свое семинарское невѣжество!“

Его, Григорія Порфирьевича, на эту удочку никто бы не поддѣлъ.

— Данаиды,—началъ объяснять Загаринъ, точно сконфузившись за незнаніе Благомирова, — это — миеологическія существа...

Въ дверь раздался сильный стукъ. Всѣ притихли. Лица вытянулись. Богучаровъ вскочилъ и замѣтно покраснѣлъ.

„Еще спанаютъ у этого проклятаго нигилья!“ — вскричалъ мысленно Капцовъ и слегка поблѣднѣлъ.

Нѣсколько секундъ никто ничего не говорилъ.

### VIII.

Богучаровъ подбѣжалъ къ двери—она отворялась снаружи—и прокричалъ:

— Кого Богъ посылаетъ?

Изъ-за двери раздался высокій пѣвучій голосъ:

— Я... Андреоли!..

— А! Эрнестъ Францовичъ!..

Дверь съ усиленіемъ распахнулась и, вмѣстѣ со струей холода, впустила новаго гостя.

— Нанугали насъ, батенька,—возбужденно заговорилъ хозяинъ. — Пожалуйста, пожалуйста!.. Позвольте, я дверь плотнѣе захлопну, а то горло у васъ перехватить!..

Онъ помогъ гостю снять пальто съ куннымъ воротникомъ, которое тотъ бережно положилъ на кучу верхняго платья.

Капцовъ видалъ этого спавшаго съ голоса тенора; онъ давалъ теперь уроки пѣнію въ разныхъ школахъ. Капцовъ слыхалъ его и въ двухъ-трехъ концертахъ и находилъ, что у него хорошая метода. Пѣвецъ показался ему теперь гораздо меньше ростомъ, чѣмъ на эстрадѣ, сухопарѣе и старше на видъ. Сбѣдующіе темные и очень рѣдкіе волосы онъ, по старой театральной привычкѣ, подзавивалъ, былъ одѣтъ франтовато и не по лѣтамъ цестро, въ бѣломъ шелковомъ галстукѣ, клетчатомъ двубортномъ жилетѣ и короткой жакеткѣ съ отложнымъ воротникомъ à l'enfant... Онъ носилъ эсманьолку, что тоже отзывалось чѣмъ-то старомоднымъ.

Его національность никому хорошенько не была извѣстна. Одни говорили, что онъ — еврей, другіе — что венгерецъ, третьи принимали за обрусѣлаго француза. Имя Андреоли сочинилъ онъ самъ, когда дебютировалъ... Настоящей его фамилія тоже никто не зналъ... По-русски

произносилъ онъ очень правильно, съ трудно уловимымъ акцентомъ, но любилъ, чтобы его считали „европейцемъ“, часто говорилъ объ Италіи и вставлялъ въ свою, всегда немного возбужденную, рѣчь итальянскіе слова и термины, перемежку съ французскими. Извѣстно было, однако, что онъ всего больше пѣлъ въ русской провинціи, въ большихъ южныхъ городахъ, гдѣ есть опера, а на Императорской сценѣ не удержался...

Его появленіе на вечеринкѣ Богучарова не особенно удивляло Капцова; Андреоли поддерживалъ свою популярность у молодежи, никогда не отказывался пѣть на благотворительныхъ вечерахъ и утрахъ. Онъ любилъ потюковать о „вопросахъ“, считалъ себя очень начитаннымъ, знатокомъ поэзіи и рѣшителемъ всякихъ эстетическихъ тонкостей.

— Къ столу пожалуйста!—громко пригласилъ его Богучаровъ.

И опять началось называніе фамилій гостей. Капцовъ поклонился тенору суховато. Благомировъ покраснѣлъ, когда подавалъ ему руку черезъ столъ.

— А! это вашъ другъ... *basso profundo?*.. — спросилъ Андреоли и ласково-улыбающимися глазами, чуть-чуть подкрашенными, оглядѣлъ обликъ Благомирова.— *Sapristi!*.. Съ такой наружностью надо иримо на сцену... Жаль, что вы не теноръ, а то бы...

— Въ Мейерберовскомъ „Пророкѣ“ выступить? — подсказалъ Богучаровъ.

— *Pardi!*..

Благомировъ потупился. Ему становилось жутко отъ этихъ оглядываній и этихъ поощреній въ упоръ.

— Вы уже прочли что-нибудь, графъ?—обратился Андреоли къ Загарину.

Они были знакомы.

— Графъ, — пояснилъ хозяинъ, — только что прочелъ собирательное заглавіе своихъ сонетовъ... Данаиды.

— Данаиды!.. — проткнулъ Андреоли высокія ноты. — Заглавіе удачное... *Voilà voilà!*..

Онъ присѣлъ къ столу, въ позѣ профессора, передъ которымъ ученица должна прошѣть свой „*monseigneur*“, полужакрылъ глаза и заложилъ руку за бортъ жилета.

— Стаканчикъ чаю?—предложилъ ему Богучаровъ.

— Послѣ!..

Андреоли сдѣлалъ красивый жестъ свободной рукой.

Загаринъ перевернулъ первую осьмушку своей тетрадки и началъ читать сонетъ номеръ первый... Всѣ они были у него безъ заглавій. Его смущеніе усилилось. Капцовъ опять посмотрѣлъ на него и повторилъ свое: „была окаязія!“ Читать графъ не былъ мастеръ, у него выходило нараспѣвъ, невнятно и даже—какъ находилъ Капцовъ—безъ соблюденія паузъ и знаковъ препинанія.

„Хоть бы меня попросилъ прочесть, — думалъ онъ, — я хоть и не ахти какой чтецъ, а все бы такъ не мямлилъ!“

Онъ мало вникалъ въ содержаніе сонетовъ. О чемъ-то поэтъ плакалъ, къ кому-то взывалъ, и опять обращался къ своей „желанной“, что заставило Капцова усмѣхнуться злой усмѣшкой. По его уху скользили рѣзны, которыя Загаринъ отбивалъ, какъ дѣлаютъ это плохіе декламаторы-французы.

— Богатенькая рѣзма! — вполголоса замѣтилъ маленькій брюнетъ, котораго Капцовъ ошибочно считалъ про-  
**шанкомъ.**

— Hein? — окликнулъ Андреоли. — Une rime riche? — перевелъ онъ. — Да!.. Какъ, какъ?

— „Роза—угроза“, — выговорилъ брюнетикъ.

Крупный брюнетъ одобрительно кивнулъ головой.

Чтецъ стыдливо вскинулъ на нихъ рѣсницами и приободрился.

— Повторите, графъ, послѣдній куплетъ, — попросилъ Андреоли тономъ эксперта.

Готъ повторилъ.

— Non c'è male!

Теноръ пустилъ одну изъ своихъ любимыхъ итальянскихъ фразъ.

Въ маленькій перерывъ, когда тяжело дышавшій Загаринъ отиралъ лобъ и прихлебывалъ чай, завязался важный разговоръ между двумя брюнетами о „богатой рѣзмѣ“, въ которомъ принялъ участіе и теноръ, не терявшій своего апломба.

— Позвольте, господа, — заговорилъ онъ, — обращаясь къ обоимъ писателямъ, — я читалъ Théodor'a de Banville. Я знакомъ съ его теоріей рѣзмы. Видишь если такъ идти, то непременно дойдешь до употребленія омонимовъ и каламбуровъ, однихъ и тѣхъ же словъ съ разнымъ смысломъ... C'est à prendre ou à laisser... — Онъ окинулъ всѣхъ увереннымъ взглядомъ и продолжалъ: — Я цѣню отдѣлку, le fini de la forme... Теофиль Готье, Бодляръ... и ихъ высоко

ставлю... Но возьмите Альфреда Мюссэ!.. *La nuit d'octobre...* Какая поэзія!.. А риѣма бѣдная... Не правда ли, графъ?..

— Мюссэ — великій поэтъ, — пролепеталъ Загаринъ, почти совсѣмъ лишившійся голоса.

— Вамъ бы отдохнуть, — сказалъ ему Андреоли тономъ учителя пѣнія. — Вашъ голосъ средствами не богатъ...

И долго еще теноръ давалъ направленіе литературному разговору. Оба писателя со многими не соглашались, но говорить были не мастера, и Капцовъ нѣсколько разъ, про себя, подтрунилъ надъ ними.

Прослушать всѣ советы Загарина ни у кого не было особой охоты. Богучаровъ вытащилъ Благомирова изъ-за стола и поставилъ его посреди комнаты, передъ Андреоли.

„Экая верзила!“ — опредѣлилъ его Капцовъ.

Басъ былъ почти на цѣлую голову выше его; а онъ считалъ свой ростъ прекраснымъ.

Благомировъ пришелъ въ смущеніе и усиленно мигалъ. Ему опять тяжело стало — выступать точно школьнику на экзаменѣ.

— Эрнестъ Францовичъ, — отчеканивалъ Богучаровъ, — сей будущій Марсель изъ „Гугенотовъ“ не имѣетъ никакой вокальной выправки. Пѣлъ когда-то въ архіерейскомъ хорѣ октаву... Такъ, что ли, Ефимъ Никанорычъ?..

— Такъ, — громкимъ вздохомъ подтвердилъ Благомировъ.

— А теперь, какъ бы думали, откуда онъ отъявился?.. Изъ-подъ города Шадринска! Изволили слышать, въ сельскомъ училищѣ грамоту преподавалъ цѣлыхъ три года. Да-съ!..

Андреоли издалъ звукъ удивленія и всталъ со своего мѣста.

— Вы что-нибудь поете, коллега?

— Какъ слѣдуетъ, можно сказать, окончательно ничего.

Лицо баса добродушно при этомъ наморщилось... Онъ всѣмъ нравился, въ томъ числѣ и Капцову. Голосъ свой боялся онъ пускать полной нотой, и эта сдержанность придавала его манерѣ говорить что-то дѣтски-милое.

— Ну, что это вы, отецъ, вратъ изволите! — закричалъ Богучаровъ. — Поетъ массу вещей.

— Не хотите ли партію Марселя? — спросилъ Андреоли. — Я могъ бы держать фортепіано.

— Ни Боже мой! — пугливо отказывался Благоми-

ровъ. — Я и оперы-то этой какъ слѣдуетъ не слыхалъ никогда.

— Изъ „Руслана“ обязательно поеть! — кричалъ Богучаровъ.

— Опять же такъ... больше со слуха, — отговаривался Благомировъ, и хотѣлъ было ретироваться за самоваръ, но хозяинъ подхватилъ его подъ спину и толкнулъ къ фортепiano.

— Эрнестъ Францовичъ, вы вѣдь, отецъ, навѣрно, наизусть можете: „О, поле, поле..“?

— Je crois bien! — весело и самодовольно вскричалъ тепоръ, подсѣлъ къ фортепiano и взялъ нѣсколько аккордовъ. Ай!.. Quelle casserole!.. Но, кажется, не очень разстроено.

— Самъ настраивалъ! — крикнулъ Богучаровъ и разсмѣялся.

— Да вы освободите меня, — просилъ его густымъ шопотомъ Благомировъ, охваченный послѣднимъ приступомъ боязни.

— Ерунда, батенька, ерунда!

Онъ толкалъ его къ углу фортепiano.

— Господа! Silentium! Арія Руслана изъ второй картины второго акта!

„Благо мы не знаемъ“, — добавилъ про себя Каицовъ: его давно раздражали развязность и назойливость Богучарова.

За баса ему почему-то стало страшно... Вдругъ „скапнется“, бѣднякъ!.. На Григорія Порфирьевича находило изрѣдка такое гуманное настроеніе. Да и парень-то былъ ужъ очень безобиденъ. Ему нравились натуры съ чѣмъ-нибудь сильнымъ — голосъ ли, кулакъ ли, ловкость ли — чрезвычайные. А въ голосъ семинариста онъ уже увѣровалъ.

Всѣ притихли. Андреоли проигралъ на память предлюдію, поднялъ профессорски голову и далъ знакъ Благомирову начинать.

Тотъ, по старой пѣвческой привычкѣ, не могъ не крикнуть въ руку, что у него вышло очень забавно, разомъ поблѣднѣлъ, закрылъ глаза и, разводя растерянно руками, взялъ первую фразу:

О, поле, поле, кто тебя утѣлялъ...

И, переведя духъ, пустилъ, точно изъ подземной трубы: Мертвыми костями?

Вся комната, казалось, вздрогнула. Художникъ Сириня вскочилъ съ кушетки и опять на нее опустился; два писателя почти растерянно оглянулись: нервный Загаринъ схватился за ручку своего кресла.

Голосъ былъ почти чудовищный; комната не могла его вмѣстить въ полномъ объемѣ. Благомировъ самъ это почувствовалъ и смягчилъ звукъ. Андреоли, послѣ первой фразы, воскликнулъ:

— *Corro di Vasso!*.. Не убейте насъ!

Фраза: „чѣи небо слышало молитвы“—захватила всѣхъ своимъ могучимъ, торжественнымъ лиризмомъ. Грудныя слезы слышались въ металлъ могучаго органа, и слова сжѣшивались съ музыкой въ чудесной гармоніи.

— Брависсимо!—крикнулъ хозяинъ.

Но кто-то зашикалъ на него. Голосъ семинариста заставилъ всѣхъ пригнуться и уйти въ себя.

## IX.

Благомировъ пропѣлъ арію и стоялъ съ опущенными руками и яснымъ лицомъ, имѣвшимъ такое выраженіе: „чѣмъ богаты, тѣмъ и радъ, не обезсудьте“. Всѣ захопалы. И Андреоли, поднявшись съ табурета, протянулъ ему руку—въ кольцахъ, съ красивыми ногтями—и актерски воскликнулъ:

— Любезный собратъ!.. *Vous avez de l'estomac!*

Эту французскую одобрителъную фразу Благомировъ совсѣмъ не понималъ. Его окружили. Оба писателя—поэтъ и прозаикъ—жали ему руку: но на ихъ лицахъ легла сейчасъ же неискренняя усмѣшка людей, страдающихъ отъ каждаго превосходства въ другихъ, отъ всякаго проявленія таланта.

Капцовъ, напротивъ, былъ искренно возбужденъ, взялъ подъ руку Загарина, равнодушнаго къ музыкѣ, и отвелъ его въ уголокъ.

— Вотъ это силища!—заговорилъ онъ громкимъ шопотомъ.—Тутъ есть надъ чѣмъ поработать.

— Да, да! — силно отвѣтилъ Загаринъ, котораго глоталъ малый успѣхъ его сонетовъ, а главное—то, что Луговиновъ—тотъ литераторъ, котораго Капцовъ видѣлъ въ первый разъ, ни слова не сказалъ ему ни въ паузы между отдѣльными сонетами, ни по окончаніи чтенія.

Луговиновъ не принималъ никакого участія въ разговорѣ о „богатыхъ приемахъ“. продолжалъ стоять у фор-

тепѣло, медленно курилъ изъ мундштучка толстую крученую папиросу, не обращаясь и къ Благомирову, не давая ему никакихъ вопросовъ, и теперь только, когда прошелъ первый взрывъ похвалъ, рукопожатій и возгласовъ, подошелъ къ басу, пожалъ ему руку продолжительно и какъ-то на особый ладъ и сказалъ, не поднимая своего низкаго и звучнаго, очень опредѣленнаго голоса:

— Натуры у васъ, Ефимъ Никаворычъ, очень, очень много. Когда такая запасена сила—надо предаться искусству безъ раздѣла.

Онъ поглядѣлъ на него вначително, точно отвѣчая на какія-то бесѣды, уже бывшія между ними.

— Безъ раздѣла! — повторилъ Благомировъ. — Легко сказать!..

Одобрение Луговникова уязвило Загарина. Капцовъ замѣтилъ это и сказалъ громче:

— Ты бы лучше вотъ такого самородка поддержи!.. давай ему средства ѣхать въ Италію!..

Загаринъ ничего не отвѣтилъ; легкая усмѣшка повела его блѣдныя губы.

Въ эту минуту шумно снялся съ кушетки художникъ и сталъ, беспорядочно жестикулируя одной рукой, разносить и академію, и всякую официальную „муштру“.

— Ефимъ! — хрипѣлъ онъ, — Боже тебя избави искать пенсіонерства! Душу свою продашь дьяволу, попадешь въ лапы къ кровопійцамъ-итальянишкамъ, агентамъ и профессоршкамъ, сдѣлаешься продажной блудницей, мечтать начнешь о томъ только, какъ бы тебѣ хапать куши и на одной потѣ вылгу на Лаго-Маджіоре купить!.. Оставайся тѣмъ, что ты есть. Ты народъ любишь, ты хочешь пострадать, душа твоя льнетъ къ крестьянскимъ хлопчикамъ, учи ихъ грамотѣ, насаждай учобу! Плюнь на всякое прельщеніе! Посмотри на меня! Я съ тѣхъ поръ и дышу, какъ крикнулъ всякой академической муштрѣ: „анаема!“ Съ голоду околѣвать буду, но на медаль не стану работать, провались она!.. Италія, и Ватиканъ, и Флоренція! У своихъ чумаковъ найду все, что мнѣ нужно!.. Берегись, Ефимъ! Заклинаю тебя всѣмъ для тебя святымъ!..

И завязался русскій, беспорядочный споръ. Андреоли обидчиво и авторитетно началъ извить „русопетовъ“, проповѣдующихъ орубоу и бунтъ противъ Европы. Художникъ накинулся на него и взялъ его даже за борты



жакетки. Но большинство было за науку, за школу, за путешествие въ Италію. И Загаринъ, отдышавшись, вставлялъ также двѣ-три фразы о культѣ искусства. Богучаровъ трепалъ Благомирова по плечу и все повторялъ:

— Отъ счастья своего не отказывайся!.. Иди въ учобу къ Эрнесту Францовичу. Онъ тебѣ эксплуатировать не будетъ.

Но ему, какъ хозяину вечеринки, захотѣлось поскорѣе замять этотъ ни къ чему не ведущій споръ, который могъ перейти въ исторію. Скрыня былъ неисправимый ругатель и для хохла слишкомъ злобенъ, а Андреоли умѣлъ постоять за европейскую школу и науку.

Нужно было сейчасъ же произвести отвлеченіе.

— Григорій Порфирьевичъ!—крикнулъ онъ Капцову,—вы мандолины не захватили, но вы вѣдь и гитаристъ.

— Немножко! — откликнулся Капцовъ, польщенный обращеніемъ къ нему какъ къ музыканту.

— Такъ соблаговолите, батенька, поаккомпанировать Благомирову. Онъ самъ маленько бренчитъ, да ему вольготнѣе будетъ подъ чужой аккомпанементъ... Голубчикъ, — обратился онъ къ басу, — благо ты распѣлся... Скажи, чѣмъ бы тебѣ хотѣлось насъ побаловать; а Капцовъ все наиграетъ, я знаю. Онъ — дошлый. Только гитара-то у насъ шестиструнная.

— Шестиструнная? — переспросилъ Капцовъ, подходя къ бучкѣ, гдѣ на лицахъ еще лежало раздраженіе спора.— Жаль!.. Ну, да ничего.

Онъ взялъ гитару, валявшуюся на фортепіано, и началъ настраивать ее красивымъ жестомъ, на согнутомъ коѣнѣ.

Задоръ слетѣлъ со спорившихъ, и всѣ стали усаживаться.

— Вотъ это будетъ лучшимъ отвѣтомъ на бесплодное препирательство, — сказалъ Луговиновъ и опять занялъ свое мѣсто у фортепіано.

— Нехай пропадаетъ верзила!—сквозь зубы просипѣлъ Скрыня и снова залегъ на кушетку, повернувшись спиной ко всему обществу.

— Цыганщина? — спросилъ Андреоли, все еще не остывшій отъ разговора. — Это бичъ искусства! Un fléau, quoi!..

— А что жъ, Эрнестъ Францовичъ, — подхватилъ Богучаровъ, — разрешите и цыганское что-нибудь, если съ

душой... Ефимъ Никанорычъ, не смущайтесь, съ maestro потомъ проходите муштру, а сегодня разрѣшимъ на вино и на елей!..

— Да я, ей-Богу, ничего не знаю...

Благомирова начинало разбирать новое смущеніе, онъ уже почуялъ надъ собою лапу школы, той „учобы“, которая казалась впереди Италію, дебюты, куши, манила его больше своей душевной стороною и, вмѣстѣ съ тѣмъ, требовала окончательной измѣны тому дѣлу, которому онъ служилъ въ трущобахъ Шадринскаго уѣзда, въ бревенчатой избенкѣ, гдѣ въ стужу онъ ежился отъ холода или угоралъ до потери сознанія, когда стряпуха-баба закрывала печь спозаранка.

— Не знаете ли изъ Глинковскихъ какого-нибудь романса?—тихо спросилъ его Капцовъ.

Онъ уже держалъ гитару жестомъ начальника цыганскаго хора, истово и ловко, и взялъ нѣсколько аккордовъ.

— Позвольте,—отвѣтилъ Благомировъ,—дай Богъ памяти... Одинъ могу... Только онъ требуетъ... знаете... переходовъ...

— Что это?

— Начинается: „Какъ сладко съ тобою мнѣ быть“...

Въ словѣ: „тобою“ слышалось произношеніе сѣверянина на „онъ“.

— Постараюсь...

Капцову предстояла не легкая штука—на память и по слуху, и на шестиструнной гитарѣ, идти за переходами этого романса, полного декламации. Но преодоленіе трудностей всегда заохочивало Григорія Порфирьевича.

Чуть слышными хватками онъ прошелъ въ умѣ колеблющуюся мелодію романса—и остался доволенъ.

— Начинайте!—шепнулъ онъ Благомирову и далъ ему аккордъ.

Ефимъ Никанорычъ опять откашлялся въ руку и заигралъ съ меньшею робостью, чѣмъ арію изъ „Руслана“. Опять во всей комнатѣ сказалось сотрясеніе. Но первый натискъ этого феноменальнаго голоса уступилъ мѣсто обаянію могучаго и яснаго чувства. Пѣлъ нетронутый мужчина, испытывающій первый порывъ къ обожаемой женщинѣ. Пѣвецъ еще неумѣло справлялся съ переизлишками изящной мелодіи, его богатырскій органъ проры-

вался еще нотами духовнаго баса; но подо всѣмъ этимъ текло что-то бархатное и несокрушимое вмѣстѣ.

Первый куплетъ оборвался на слишкомъ сильной нотѣ. Андреоли нетерпѣливо крикнулъ: „Mezza voce!“ среди общихъ криковъ одобренія; но Благомировъ не слышалъ этого учительскаго окрика и продолжалъ съ еще болѣе глубокимъ акцентомъ.

Когда онъ началъ второй куплетъ, дверь очень тихо отворилась и вошелъ Ермиловъ, въ ильковой шубкѣ, сдѣлавъ хозяину знакъ, чтобы тотъ не беспокоился, снялъ шубку и простоялъ съ опущенной головой и снисходительно улыбающимся лицомъ, засвѣженнымъ отъ морознаго воздуха. Онъ былъ во фракѣ и бѣломъ галстукѣ. Въ фигурѣ онъ еще пополнѣлъ и маковка еще порѣдѣла.

Послѣ второго куплета Благомировъ простодушно выговаривалъ, ни къ кому особенно не обращаясь:

— Остальное запомнать. Перевирать слова не хочу!..

— Егоръ Петровичъ!.. Вотъ спасибо! — говорилъ Богучаровъ, беря гости за обѣ руки. — Каковъ голосокъ?.. А?.. Позвольте представить будущаго нашего... Эрнестъ Франдовичъ, какъ бы назвать... Лассала, что ли?..

Необычайно привѣтливо, съ барскимъ миганьемъ своихъ близорукихъ глазъ, началъ Ермиловъ одобрять пѣвца и, подавая руку Андреоли—онъ съ нимъ часто встрѣчался,—сказалъ на всю комнату:

— Вотъ вамъ случай, м-г Андреоли, послужить искусству, дать этому алмазу европейскую оправу.

Эта фраза чуть было не возбудила новой схватки. Художникъ опять снялся съ кушетки и что-то такое пустилъ уничтожающее о калѣченьѣ природныхъ дарованій; но хозяинъ, сбѣгавшій въ сосѣдную комнату, гдѣ у него было нѣчто въ родѣ кухни, объявилъ, что Тиша, сынъ дворника, вернулся съ кулебякой, и попросилъ позволенія общими силами накрыть столъ, на которомъ еще стояли закуски. Тиша—пухлый мальчикъ въ поддевкѣ—вынесъ самоваръ и наполнилъ комнату запахомъ смазныхъ салоговъ.

Гости возбужденно говорили по группамъ; но спора не вышло.

## Х.

Благомировъ возвращался отъ Богучарова въ очень поздній часъ. Онъ вышелъ отъ него вмѣстѣ съ дѣлнымъ

обществомъ. Имъ заинтересовался Ермиловъ, просилъ его къ себѣ, условливался съ Андреоли насчетъ какой-то дамы и какого-то ихъ общаго знакомаго, богача, любителя искусствъ. Ужинъ прошелъ весело. Ермиловъ острилъ, рассказывалъ исторіи изъ своихъ заграничныхъ поѣздокъ, приводилъ афоризмы Кузьмы Пруткова. Капцовъ сидѣлъ рядомъ съ Благомировымъ, подливалъ ему вина, не переставалъ хвалить его голосъ и давать ему совѣты: воспользоваться случаемъ, не пренебрегать тѣмъ, что его такъ одобряетъ хорошій учитель пѣнія. Онъ еще разъ аккомпанировалъ ему на гитарѣ, къ концу ужина, и опять по слуху. Благомировъ пропѣлъ: „Ночи безумныя“. И пуристъ Андреоли былъ обезоруженъ.

— Не слушайтесь бытовиковъ и самобытниковъ,—сказалъ ему на прощанье Ермиловъ, садясь на ночного ваньку, котораго они повстрѣчали на Вознесенскомъ.— Мы съ вами скоро увидимся. Андреоли дастъ мнѣ знать, когда вы будете пѣть у одной прелестной женщины.

Капцовъ прошелъ съ нимъ еще шаговъ сто, гдѣ они повстрѣчали новаго извозчика.

— Берите его. Мнѣ не далеко! — сказалъ ему Благомировъ.— Спасибо на добромъ словѣ!

Обыкновенно онъ провожалъ художника Скрыню на Островъ; но тотъ ушелъ одинъ, не простившись съ нимъ, и Благомировъ зналъ, что Скрыня разсердился на него не на шутку. Онъ не желалъ выслушивать его пріятельской брани.

„Ну, и пушай его!—думалъ онъ, шагая длинными шагами по направленію къ одной изъ Мѣщанскихъ.— Не у него одного голова съ мозгомъ“.

Въ головѣ баса немного шумѣло. Вечеръ отуманилъ его, и не одними винными парами. На выпивку онъ былъ крѣпокъ. Онъ переживалъ впервые обаяніе такого яркаго успѣха, куда не входило и тѣни чего-нибудь подогрѣтаго или подготовленнаго. Андреоли готовъ учить его даромъ; остальная братія хлопотала, кричала; такой эстетикъ, какъ этотъ Ермиловъ, обласкалъ особенно, хочетъ хлопотать о немъ, устроить его артистическую карьеру. О какомъ-то богачѣ толковалъ, о прелестной женщинѣ, куда его повезутъ...

„Чудеса въ рѣшетѣ!“—повторялъ Благомировъ и разводилъ руками по ночному морозному воздуху.

Въ Петербургѣ онъ гостилъ у одного товарища по се-

хиварін, служившаго мелкимъ чиновникомъ въ сиподѣ. У него была особая каморка и ключъ отъ наружной двери. Ему часто случалось возвращаться поздно съ пріятельскихъ вечеринокъ. Онъ всего больше любилъ разговоры „по душѣ“, обсужденіе „идейныхъ началъ“ и „проклятыхъ вопросовъ“, и гдѣ такая бесѣда не завязывалась — онъ считалъ свой вечеръ потеряннымъ. Изъ университета съ перваго курса онъ долженъ былъ выйти изъ-за „исторіи“. Добивался поступленія вновь, по прошествіи одного года — не хватило средствъ. Ему добыли учительское мѣсто въ глуши дальней губернии. Тамъ Благомировъ думалъ найти свое призваніе. Крестьянскіе ребята полюбились ему. Двѣ зимы выдержалъ онъ, никуда не отлучаясь изъ мѣста службы, хотѣлъ заглушить въ себѣ порывы въ другой жизни, къ „побѣгу“, какъ онъ выражался, въ область искусства. Голосъ его не заглушлъ въ душной или холодной горницѣ при сельскомъ училищѣ. Онъ привезъ съ собою гитару и всѣ свои досуги употреблялъ на пѣніе, обзавелся и руководствами, сталъ хорошо читать голосомъ съ листа, да и прежде, въ семинаріи, онъ считался „на линіи регента“.

На третій годъ его засосало. Вороты съ искушеніемъ становилось слишкомъ тяжело. Онъ скопилъ деньжонокъ и поѣхалъ въ Москву, поступить въ консерваторію. Его прослушали, нашли голосъ замѣчательнымъ, общую же музыкальную подготовку скудной. Но это можно было уладить. Про его басъ провѣдала одна учительница пѣнія, обласкала его и предложила учить даромъ, взять его въ ваѣву, съ тѣмъ, чтобы онъ выплачивалъ ей проценты изъ тѣхъ окладовъ, какіе будетъ получать въ Россіи и за границей.

— Такъ дѣлается въ Европѣ! — говорила ему эта дама.

Онъ было пошелъ сначала на ея условія, да устранился. Не захотѣлъ закабалить себя на нѣсколько лѣтъ. Прожить онъ могъ, участвуя въ пѣвческихъ хорахъ. Ему уже предлагали шестьсотъ рублей въ одномъ изъ лучшихъ хоровъ за званіе солиста. Это его ободрило, и онъ рѣшилъ съѣздить въ Петербургъ — походить въ оперу, толкнуться въ консерваторію, поразвѣдать про хорошія частныя школы. Надо было торопиться, если выбирать окончательно артистическую карьеру. Благомирову наступилъ двадцать шестой годъ. Для консерваторской „учобы“ онъ былъ уже старъ.

Въ Петербургѣ онъ пошелъ „по рукамъ“. У него нашлись товарищи; его познакомили съ молодыми писателями, съ музыкантами, съ курсистками, съ актерами, съ разнымъ народомъ. Консерваторія пугала его. Въ частныя школы онъ еще не обращался. На него нападали припадки самообличенія, и тогда онъ пропадалъ по цѣлымъ днямъ на Островѣ или на Выборгской Сторонѣ, переходилъ изъ одной студенческой квартиры въ другую и упивался разговорами, въ которыхъ не было и помину объ искусствѣ, карьерѣ пѣвца, европейской славѣ, огромныхъ кушахъ. Тамъ онъ больше слушалъ, чѣмъ самъ говорилъ: просиживалъ до пѣтуховъ, въ волнахъ табачнаго дыма, и презиралъ свои порыванія на оперную сцену. Ему она представлялась глупствомъ, сдѣлкой съ собственной совѣстью, измѣной дѣлу народа.

— Экая невидаль, — говорилъ онъ тогда, негодуя на самого себя, — экая невидаль, что у меня пять хорошихъ басовыхъ нотъ! Пожалуй, находились барыни, которыя и на мое обличье заглядывались. Такъ нешто изъ этого вытекаетъ, что я долженъ и съ „физиономіи“ своей взимать проценты? Этакъ какъ разъ и въ прелестницы мужского пола попадешь!

Этихъ „оборотовъ на себя“, какъ онъ самъ называлъ ихъ, Благомировъ пережилъ нѣсколько съ тѣхъ поръ, какъ онъ въ Петербургѣ. Вечеръ у Богучарова совсѣмъ ошуманилъ его.

Но когда онъ проникъ въ свою комнатку, зажечь свѣчу, снялъ тотчасъ же сапоги, чтобы никого не разбудить въ квартирѣ, и сѣлъ нераздѣтый на кровать, его опять началъ разбирать страхъ передъ артистической дорогой. Въ воображеніи мелькали огни оперной залы, и тамъ, гдѣ-нибудь въ Санъ-Карло или въ Скалѣ, гдѣ раздается всесвѣтная слава. Оттуда прямой ходъ въ Лондонъ, въ Парижъ. Только съ заграничною репутаціей и можно здѣсь, въ Петербургѣ, найти сразу восторженный пріемъ, получать жалованье иностранныхъ знаменитостей. Но эти образы, миражи, расчеты сдѣлались ему опять противны. Все это „гешефтмахерство“, торговля собою, подлое хищничество, которое въ два-три года выѣстъ изъ души все, что въ ней есть великодушнаго и человѣчнаго.

Долго просидѣлъ онъ такъ, на кровати, съ низко опущенной головой. Онъ не могъ отдѣлаться ни отъ чередованья соблазнительныхъ образовъ, ни отъ страховъ на

свою душу, за потерю того, что онъ, до тѣхъ поръ, считалъ выше всякой славы и всякихъ кушей.

Онъ чуялъ, что вечеръ у Богучарова будетъ имѣть рѣшительное вліяніе на его судьбу. Когда онъ, наконецъ, раздѣлся и легъ въ постель, въ головѣ его начали всплывать, чрезвычайно отчетливо и послѣдовательно, всѣ разговоры и споры, которые вызваны были имъ, его пѣніемъ, его талантомъ. И всѣ „разносы“ пріятеля его, хохла Скрыни, залегли въ его память.

„А вѣдь Скрыня вздоръ несетъ! — думалъ онъ, перебирая всѣ его доводы. — Добро бы еще былъ безусловно противъ всякаго искусства; а то проповѣдуетъ бунтъ противъ муштры, точно будто въ пѣніи, да и во всякомъ дѣлѣ, можно дѣйствовать, какъ Господь на душу положить! Чудачина!“

Но то, что проповѣдуетъ Скрыня, онъ находилъ и въ газетахъ, въ журналахъ, въ полемикахъ по вопросамъ объ искусствѣ, академіяхъ, самобытности и классицизмѣ. Когда онъ читалъ все это въ статьяхъ о живописи — ему казалось, что святая правда на сторонѣ самобытниковъ, заклятыхъ враговъ академіи, рутины, обязательнаго копѣнія въ Италіи на казенный счетъ.

Но вотъ онъ самъ на распутьѣ, обладаетъ „феноменальнымъ“ голосомъ, — ему вспомнился этотъ возгласъ одного изъ гостей Богучарова, — есть у него и наружность, пригодная къ сценѣ, хоть онъ и не очень высокаго о своемъ „обличьѣ“ мнѣнія. Кажется, — чего же больше?.. Тянь-ляпъ и выйдетъ корабль: взялъ, костюмъ надѣлъ, да и дѣйствуй хоть въ „Пророкѣ“, какъ пророчить Богучаровъ.

„Чорта лысаго!“ — выбранился Благомировъ, заложивъ руки за голову, уперся ступнями въ задокъ слишкомъ короткой для него койки и сталъ думать еще энергичнѣе и спокойнѣе, не смущаясь уже больше тѣми образами славы, отъ которыхъ, за нѣсколько минутъ, отрешивался, какъ отъ навожденія сатаны.

Какъ бы не такъ: попробуй съ однимъ нутромъ и съ одной самобытностью выразить горломъ и легкими тѣ, что композиторъ вложилъ въ свое твореніе, въ отдѣльную партію, и тѣ, что ты самъ хотѣлъ бы прибавить своего, частичку собственной души!.. И всѣ твои порыванія и замыслы останутся мертвой буквой. Ты не будешь даже знать, какой силы звукъ пустить, чтобы тебя слышали

хорошо и въ райкѣ, и въ креслахъ, чтобы уши тѣхъ слушателей, кто сидитъ поближе, не страдали отъ твоей вокальной необузданности.

Да чего же ближе... взять хоть бы вечеръ у Богучарова... Онъ самъ чувствовалъ, какъ много у него пропало въ аріи Руслана и въ романсы Глинки: „Какъ сладко съ тобою мнѣ быть...“ Въ душѣ-то у него одна окраска фразы, а выходитъ совсѣмъ по-другому: грубо или преувеличенно, или казенно, какъ у перваго попавшагося пѣвца изъ трактирнаго хора, на макарьевской ярмаркѣ... Нужды нѣтъ, что всѣ восхищались. Голосъ хорошъ, тембръ пріятенъ, и чувство есть, но искусства—ни на грошъ.

Кто же его дастъ, если не муштра, не учоба, не хорошій руководитель, такой, какъ этотъ Андреоли,—а потомъ Италія, Миланъ, Неаполь? И безъ того ужъ онъ до безобразія „великовозрастенъ“ для ученика, а музыкальная его грамотность — сомнительна. Вонъ какой-то студентъ-ухарь—онъ думалъ о Капцовѣ—смотритъ франтовато, офицеромъ, а и тотъ оказался куда музыкальнѣе его, на память ему прекрасно аккомпанировалъ, хотя его инструментъ не гитара, а мандолина; даже всѣ отбѣйки соблюдалъ. И такими любителями Петербургъ кишми-кишитъ. Нынче всякая дѣвчурка поровитъ въ консерваторію, всѣ „съ листа“ читаютъ, въ концертахъ и театрахъ по партитурамъ за оркестромъ слѣдятъ. Куда же тутъ дѣнешься съ однимъ нутромъ?

„Да, Скрывя чуюшь несеть!“ — рѣшилъ Благомировъ, продѣлавъ весь кругъ доводовъ. Былъ уже шестой часъ утра.

Тѣ студенческіе кружки, на Острову и на Выборгской, гдѣ онъ отводилъ душу въ бесѣдахъ о пародѣ, о честномъ заработкѣ, о потребности положить всего себя на служеніе родинѣ, ушли куда-то вдаль. Не такія теперь времена. У Богучарова на него дохнулъ другой Петербургъ, нынѣшній, въ которомъ все въ почетѣ—и поклоненіе какимъ-то „декадентамъ“, и мандолина, и велосипедъ, и ученая музыка, и тонкости богатыхъ риемъ.

На этомъ онъ заснулъ.

## XI.

Ермиловъ сговорился съ Андреоли быть у Званцева, чтобы заинтересовать его голосомъ феноменальнаго баса и подтолкнуть скучающаго богача на роль мецената. Онъ



не забылъ объ этомъ, и на третій день, позавтракавъ у Кюба, пошелъ пѣшкомъ на Фонтанку, гдѣ, въ двухъэтажномъ особнякѣ, жилъ Званцевъ.

Егоръ Петровичъ уже нѣсколько дней чувствовалъ себя не въ своей тарелкѣ. Онъ скучалъ, и—что ему было очень обидно — просто скучалъ, какъ самый заурядный петербургскій вивёръ, не знающій, куда ему дѣваться... Еще третьягодня, у Богучарова, онъ почувствовалъ значительную потерю своихъ вкусовъ. Пишущая молодежь, какая тамъ собралась, казалась ему прежде занимательнѣе. Онъ больше радовался тому, что его литературныя идеи прививаются, что стихотворцы, въ родѣ графа Загарина, идутъ по стопамъ непогрѣшимаго сонетиста Хозе-Маріа Эредіа. Не сталъ онъ пускаться въ критическія оцѣнки и съ этимъ Луговиновымъ — писателемъ совсѣмъ особаго покроя. Онъ считалъ его разсудочно-уравновѣшеннымъ, не охотникомъ до новѣйшей реторики декадентовъ и до разныхъ виртуозностей формы. За ужиномъ они съ нимъ перекинулись десяткомъ фразъ, и въ другое время Егоръ Петровичъ сталъ бы его „штудировать“, прощупалъ бы его насчетъ знанія западныхъ литературъ, опредѣлилъ бы, что такое онъ изъ себя изображаетъ и какое эстетическое сredo вырабатываетъ себѣ. А тутъ никакого возбужденія онъ не ощутилъ въ себѣ... Да и теперь, отправляясь къ Званцеву, онъ спрашивалъ себя: стоитъ ли хлопотать о какомъ-то верзилѣ-семинаристѣ, изъ котораго выйдетъ и на сценѣ нѣчто въ родѣ октавы изъ архіерейскаго хора пѣвчихъ? И не все ли равно: будетъ ли такой семинаристъ самоучкой, или его отправятъ въ Италію? И всѣ споры и толки у Богучарова казались Ермилову наивными и безплодными.

Но онъ обѣщалъ Андреоли быть у Званцева къ двумъ часамъ и хотѣлъ сдержать слово.

Да, онъ скучаетъ—это несомнѣнно, совершенно такъ, какъ этотъ Званцевъ—богачъ и „европеецъ“, человекъ, который въ каждой другой странѣ игралъ бы видную роль, а въ Россіи проживаетъ то здѣсь, то тамъ, то въ своемъ домѣ, на Фонтанкѣ, то на Ривьерѣ, то въ Парижѣ, то въ Лондонѣ... Онъ много учился, печаталъ за границей книжки, носитъ ученую степень, имѣетъ званіе члена-корреспондента двухъ заграничныхъ академій, одно время ушелъ—было въ земскую службу, жертвовалъ большія суммы на заведеніе ремесленныхъ училищъ и учительскихъ

семинарій, — и теперь прозябаетъ, почитываетъ книжки, не имѣетъ даже романа, о которомъ говорилъ бы весь Петербургъ. Впрочемъ, прежде бывали у него романы... По своему тѣлесному складу онъ долженъ быть чувственнымъ; но и это съ него слетѣло.

Ермиловъ всегда стыдилъ его, какъ онъ при огромныхъ средствахъ до такой степени равнодушенъ къ рѣдкостямъ, живетъ въ домѣ, отдѣланномъ ординарно, не собираетъ никакихъ „bibelots“, даже книги держитъ зря, во всѣхъ комнатахъ, гдѣ попало. Только къ музыкѣ у него осталось пристрастіе и къ хорошему пѣнію. Вотъ почему и можно будетъ заинтересовать его Благомировымъ. Европейизмъ Званцева отзывался чѣмъ-то не совсѣмъ пріятнымъ Егору Петровичу: смѣсью утомленія со скептицизмомъ русскаго богача-барина, давно покончившаго со всякимъ расшаркиваніемъ передъ Западомъ и даже передъ „последнимъ словомъ науки“.

— Викторъ Сергѣичъ у себя? — спросилъ Ермиловъ у швейцара, входя въ низкія сѣни особняка, гдѣ первый этажъ занималъ Званцевъ, а наверху жила его родственница-старуха, которая ему за квартиру ничего не платила.

Швейцаръ не пошелъ докладывать. Званцевъ получилъ записки отъ Ермилова и Андреоли и ждалъ ихъ. Обыкновенно онъ, тотчасъ послѣ завтрака — ѣлъ онъ много — ходилъ по Фонтанкѣ въ Лѣтній садъ, не взирая на погоду.

И на этотъ разъ, глядя на исеневую мебель сѣней и передней, Ермиловъ возмущался такой казенщиной отдѣлки и зналъ, что, пройдя двѣ гостиной и бильярдную, гдѣ висѣли три-четыре картины русскихъ пейзажистовъ, найдетъ хозяина въ пиджакѣ изъ верблюжьяго сукна, на кушеткѣ, съ книгой или съ какимъ-нибудь англійскимъ научнымъ журналомъ.

Хозяина онъ нашелъ на кушеткѣ, въ короткомъ вестонѣ изъ верблюжьяго сукна, съ книжкой въ рукахъ. При входѣ Ермилова въ кабинетъ — огромную комнату, всю въ шкапахъ съ книгами, — Званцевъ грузно приподнялся.

Онъ былъ выше его ростомъ, полный, почти толстый съ большой гривой свѣдующихъ волосъ и такой же болейшой бородой — наружность боярина или породистаго, нестарога бурмистра. Сѣрые круглые глаза смотрѣли ласково-немного затуманенные. Рука, бѣлая и маленькая, почти женская, держала книгу на-отлетѣ.

При разговорѣ онъ на особый ладъ поводитъ крупнымъ ртомъ. Зубы сохранились и только немного пожелтели.

— Здравствуйте, здравствуйте!—скороговоркой привѣтствовалъ онъ Ермилова и бросилъ книгу на кушетку.

— Всегда „съ ужасной книжкою Гизота“? — спросилъ Ермиловъ, любившій озадачить стихомъ Пушкина, и, бросивъ взглядъ на обложку, добавилъ:—Аглицкое?

— Да, это журналъ „Mind“... Статью объ отбѣлахъ душевнаго трансферта просматривалъ.

— Модникъ, модникъ вы, Викторъ Сергѣичъ, по части точной науки!

— Зато куда же намъ противъ насъ по части натурализма и бодлэризма!

И Званцевъ разсмѣялся задержаннымъ смѣхомъ грузнаго мужчины.

— Что же вѣщаетъ наука?..

— Забѣчательные опыты... Только англичане построже къ нимъ относятся, чѣмъ парижская школа Шарко... Знаете, тамъ ассистенты—или, какъ въ Москвѣ говорятъ, колодцы — хотятъ выслужиться передъ главой школы и очень ужъ усердствуютъ... Присядьте, присядьте!..

У Званцева сохранилась какая-то не то застѣнчивость, не то тревожность, когда онъ принималъ у себя кого-нибудь. Это настроеніе усиливалось при женщинахъ. Тогда онъ начиналъ ѣрзать въ креслѣ, потирать себѣ колѣни и смѣяться короткимъ, задержаннымъ смѣхомъ. Кажется, онъ немного стыдился своей полноты.

— Мы съ Андреоли хотимъ, Викторъ Сергѣичъ, обратиться къ вашему сердцу покровителя искусствъ.

— Андреоли уже былъ у меня.

— Сегодня?

— Да, сейчасъ. Просить извинить его. Онъ ждетъ васъ у mademoiselle Карусъ... Я обѣщалъ быть у нея на-дняхъ, вечеромъ, послушать вашего семинариста съ феноменальнымъ басомъ...

Усмѣшка пронеслась по его еще очень свѣжему рту.

— Будемъ бить вамъ челомъ!

— Что жъ!.. И не прочь!.. Пускай поѣдетъ поучиться. Только изъ нихъ тамъ, въ Миланѣ, выходятъ великіе аферисты. Потомъ онъ, безъ голоса, будетъ насъ угощать своей особой лѣтъ десять-двадцать, ловко акслюатировать дирекцію...

Разговоръ о Благомировѣ оборвался. Ермиловъ почув-

ствовавъ, что онъ ничѣмъ не зараженъ, и что у него нѣтъ даже охоты о чемъ-нибудь съ интересомъ бесѣдовать. Это его кольнуло и огорчило.

— А какихъ вы чувствъ къ дѣвицѣ Карусъ?—спросилъ онъ, садясь въ кресло, у стола, гдѣ началъ перебирать иностранные брошюры и журналы.

— Чувствъ самыхъ нормальныхъ,—отвѣтилъ Званцевъ и опустился опять на кушетку.

— Къ женщинѣ?..

— Да и къ пѣвицѣ также... Есть темпераментъ; но тронута цыганщиной, смѣсю Италіи съ рестораномъ „Стрѣльна“.

— Совершенно вѣрно... Какъ женщина, она вызываетъ трагическіе кризисы въ людяхъ нашихъ лѣтъ...

— И это возможно!.. Особа эффектная; можетъ и юношу довести до градуса...

Ермиловъ подумать въ эту минуту о Гремущинѣ и немного оживился.

— Да, —выговорилъ онъ медленно и обернувшись лицомъ къ Званцеву, —есть одинъ маньякъ, врѣзавшійся въ нее послѣ двадцати лѣтъ безупречной добродѣтели, какъ мужъ и отецъ семейства... Смѣшновато! А, быть-можетъ, въ этомъ и счастье, на поворотѣ къ старости — вы какъ думаете, Викторъ Сергѣичъ?

— Счастье? — переспросилъ Званцевъ и потянулся. — Боже избави!.. Та полоса жизни, когда женщина владѣетъ вами, — самая постыдная, полная унижительныхъ ощущеній.

— Будто?.. Я не скажу!..

— Потому, видно, что васъ никогда не забирала страсть.

— Не скрываю, страсти я не зналъ.

— А знали *la petite bagatelle*... И когда пойдете подъ гору, будетъ досаднѣе, чѣмъ если бы вы потратили, кромѣ темперамента, и многое другое...

Званцевъ не договорилъ и разсмѣялся все тѣмъ же короткимъ смѣхомъ.

— Это — итоги скучающаго человѣка, — заговорилъ Ермиловъ.

— А вамъ весело?—болѣе рѣзко спросилъ Званцевъ.

— На нашемъ бы мѣстѣ, я, конечно, не заикался въ Петербургѣ.

— Ахъ, милый мой! — Званцевъ вкусно зѣвнулъ и потянулся. — Вы уже нѣсколько разъ тянули меня на За-

падъ, въ добровольное изгнаніе. Продѣлывалъ я и тамъ все, что просвѣщенный россіянинъ, мнящій себя солью земли, можетъ продѣлывать. И все-таки вы остаетесь для нихъ, для вашихъ пріятелей и собратовъ на берегахъ Сены или Темзы, или Арно, съ бока припѣка... Un mangeur de chandelles... И кончите ролью шляющагося русскаго интеллигента... Лучше ужъ быть петербургскимъ обывателемъ, а туда ѣздить, когда здоровье потребуетъ.

Ермилову не хотѣлось спорить. Онъ даже не находилъ въ себѣ доводовъ закоренѣлаго любителя „заграницы“ и сказалъ только:

— Однако!.. Однѣ женщины стоятъ чего-нибудь!.. Какое же сравненіе! Здѣсь такъ плохо, такъ плохо по этой части. А въ Москвѣ еще плоше.

— А знаете,—перебилъ его Званцевъ,—чѣмъ кончишь тамъ?—и онъ протянулъ въ воздухъ своей пухлой, бѣлой рукой,—старческимъ садизмомъ. Я такихъ богачей, случалось, встрѣчалъ... У него уже нѣтъ никакой прицѣпки къ жизни. Глаза потухли, ноги еле волочить... Спрашиваешь его: что же вы любите?.. „Jung girls“,—шамкаетъ такой старичина. И вотъ вамъ картинка изъ обличеній газеты „Pall-Mall“. Притоны, звѣрскій развратъ...

— Oh-la-la! Викторъ Сергѣичъ! Какой суровый морализмъ!.. Мы начинаемъ старѣть!..

— Да какъ вамъ сказать — я желалъ бы поскорѣе совсѣмъ забастовать.

— Этотъ пессимизмъ у васъ совсѣмъ недавняго происхожденія!—веселѣе замѣтилъ Ермиловъ, продолжая анализировать самого себя... Ему дѣлалось все скучнѣе и скучнѣе, хотя хозяинъ былъ положительно умный человекъ, занимательный по своему прошедшему, способный все понять, если не всѣмъ заинтересоваться.

— Пессимизмъ,—отвѣтилъ серьезно Званцевъ,—глупая мода... Это послѣдній бунтъ метафизики и мистицизма противъ точнаго знанія. Я имъ не зашибаюсь.

Онъ спустилъ ноги съ кушетки и спросилъ гостя совсѣмъ другимъ, болѣе шутливымъ тономъ:

— Voulez-vous un madère?

— Volontiers,—отвѣтилъ ему въ тонъ Ермиловъ и повернулся на каблукъ.

Онъ былъ радъ, что явится какая-нибудь диверсія отъ этого разговора, и рюмка хорошаго вина, быть-можетъ, освободитъ его отъ непріятнаго окисленія.

## XII.

Къ Малой Морской Ермиловъ подвигался лѣнливо. Посѣщеніе Званцева, разговоръ, завязавшійся тамъ на довольно-таки тошную тему и не пропадающее чувство прѣсноты и пустоты настраивали его на небывалый для него ладъ... Онъ искалъ объясненія такому отсутствію жизненныхъ аппетитовъ, и остановился на двухъ причинахъ: умственный голодъ и голодъ чувственный... Занятія по дѣламъ его патроновъ требовали поѣздовъ въ Москву, изрѣдка въ провинцію, но не могли наполнять всего времени. Оставалось все-таки слишкомъ много досуга, да и сами по себѣ эти занятія всегда имѣли для него нѣчто— не то что унижительное, а не особенно почетное. Онъ о нихъ не говорилъ даже съ ближайшими пріятелями.

Чувственный голодъ давалъ себя знать въ особой, еще не испытанной имъ, формѣ. Онъ упрекалъ себя въ слишкомъ большой осторожности. Исторія съ Анной Гавриловной всплывала въ его памяти все чаще и странно щемила его. Правда, онъ ушелъ отъ опасности брачнаго хомута, но зато ничего не выигралъ. И онъ же сдѣлался виновникомъ того, что такая привлекательная женщина, изъ *dépit amoureux*, изъ-за обиды, которую онъ ей нанесъ, „выскочила“ замужъ за какого-то ловкаго доцентика. Этого онъ себѣ простить не могъ.

Въ Петербургѣ у него не было подобія какого-нибудь интереса. Года надвигались, и щеголянье темпераментомъ дѣлалось все опаснѣе, да и не окуналось новизной... Все та же вереница скучныхъ встрѣчъ съ легкими особами второго и третьяго сорта. Онъ радъ былъ бы круто повернуть въ сторону флѣрта съ свѣтскими женщинами или съ дѣвицами; но ему казалось, что онъ потерялъ съ ними тонъ.

Егоръ Петровичъ, быть-можетъ, въ первый разъ, испытывалъ то, что онъ способенъ былъ, по своей слабости къ новымъ терминамъ, назвать „диспепсіей души“.

Предстоящій визитъ къ Карусъ, гдѣ ждалъ Андреоли, не привлекалъ его.

Онъ вошелъ въ швейцарскую отеля и самъ сталъ искать на доскѣ, въ какомъ номерѣ живетъ Доротея Васильевна Карусъ.

Глаза его остановились на знакомомъ имени, но онъ не сразу сообразилъ, кто это. Подъ номерами двадца-

радъ, въ добровольное изгнаніе. Продѣлывать я и тамъ все, что просвѣщенный россиянинъ, мнящій себя солю землі, можетъ продѣлывать. И все-таки вы остаетесь для нихъ, для вашихъ пріятелей и собратовъ на берегахъ Сены или Темзы, или Арно, съ бока припѣка... Un tapageur de chandelles... И кончите ролью шляющагося русскаго интеллигента... Лучше ужъ быть петербургскимъ обывателемъ, а туда ѣздить, когда здоровье потребуетъ.

Ермилову не хотѣлось спорить. Онъ даже не находилъ въ себѣ доводовъ закоренѣлаго любителя „заграницы“ и сказалъ только:

— Однако!.. Однѣ женщины стоятъ чего-нибудь!.. Какое же сравненіе! Здѣсь такъ плохо, такъ плохо по этой части. А въ Москвѣ еще плоше.

— А знаете,—перебилъ его Званцевъ,—чѣмъ кончишь тамъ?—и онъ протянулъ въ воздухъ своей пухлой, бѣлой рукой,—старческимъ садизмомъ. Я такихъ богачей, случалось, встрѣчалъ... У него уже нѣтъ никакой придѣлки въ жизни. Глаза потухли, ноги еле волочить... Спрашиваешь его: что же вы любите?.. „Jung girls“,—шамкаетъ такой старичина. И вотъ вамъ картинка изъ обличеній газеты „Pall-Mall“. Притоны, звѣрскій развратъ...

— Oh-la-la! Викторъ Сергѣичъ! Какой суровый морализмъ!.. Мы начинаемъ старѣть!..

— Да какъ вамъ сказать — я желалъ бы поскорѣе совсѣмъ забастовать.

— Этотъ пессимизмъ у васъ совсѣмъ недавняго происхожденія!—веселѣе замѣтилъ Ермиловъ, продолжая анализировать самого себя... Ему дѣлалось все скучнѣе и скучнѣе, хотя хозяинъ былъ положительно умный человѣкъ, занимательный по своему прошедшему, способный все понять, если не всѣмъ заинтересоваться.

— Пессимизмъ,—отвѣтилъ серьезно Званцевъ,—глупая мода... Это послѣдній бунтъ метафизики и мистицизма противъ точнаго знанія. Я имъ не зашибаюсь.

Онъ спустилъ ноги съ кушетки и спросилъ гостя совсѣмъ другимъ, болѣе шутивымъ тономъ:

— Voulez-vous un madère?

— Volontiers,—отвѣтилъ ему въ тонъ Ермиловъ и повернулся на каблукъ.

Онъ былъ радъ, что явится какая-нибудь диверсія отъ этого разговора, и рюмка хорошаго вина, быть-можетъ, освободитъ его отъ непріятнаго окисленія.

село и сухо, зубы блестѣли и ротъ поводила усмѣшка женщины, съ которой слетѣло, въ нѣсколько дней, все дѣвичье.

Но этотъ пріемъ—свѣтски совершенно безупречный—отдался у него гдѣ-то внутри, и онъ не смогъ ничего сказать ей своего, какой-нибудь остроты, сдѣлать цитату или лицомъ выразить одну изъ его любимыхъ минъ.

И все-таки онъ обрадовался ей и—совсѣмъ взвинченный—уже забылъ, какъ десять минутъ передъ тѣмъ ему прѣсно жилось въ Петербургѣ.

— Это очень мило, что зашли!.. Садитесь. Вы узнали отъ кого-нибудь изъ московскихъ о нашемъ пріѣздѣ?

Слова ея продолжали дышать на него холодкомъ.

Она сѣла въ большое кресло у стола,—такъ же какъ и въ своей гостиной на Патріаршихъ-Прудахъ. По другую сторону стола сѣлъ и онъ, но поза вышла у него совсѣмъ иная. Ему захотѣлось протянуть ей руку еще разъ—ихъ рукопожатіе вышло какое-то отрывистое—и долго глядѣть на нее, и отдаться чувству мало знакомой ему жуткости, и заговорить задушевно, по-московски.

Но ея видъ и тонъ продолжали обдавать его свѣжестью. Она вся была преисполнена цѣльности, довольства, чего-то непроницаемаго и прочнаго.

— Я еще хорошенько не поздравилъ васъ, — сказалъ Ермиловъ съ наклономъ головы и подался впередъ всѣмъ корпусомъ.

— И даже не поинтересовались узнать, когда была моя свадьба,—отвѣтила ему въ тонъ Анна Гавриловна.

Этотъ упрекъ дышалъ на него все тѣмъ же холодкомъ. Онъ могъ принять ея слова за намекъ на то, что онъ разсердился и уѣхалъ изъ Москвы, даже не простившись съ нею.

Она прибавила:

— Вы, Юрій Петровичъ, какъ-то улетучились тогда... Москва, видно, очень прискучила!..

Здѣсь, въ Петербургѣ, ея языкъ, съ чисто-московскими оборотами, выступалъ рѣзче, но ему нравилась своеобразность ея рѣчи, и не одно это, а вся она, ея туалетъ, напоминавшій ему домикъ на Патріаршихъ-Прудахъ, прическа, изумительная шея, выраженіе ся длинныхъ, узковатыхъ глазъ, гдѣ сидѣло что-то новое, властное и говорившее о томъ, что она женщина, что она знала уже радости супружества, но еще не любила. Онъ знавалъ этотъ



взглядъ у другихъ очень молодыхъ женщинъ, замужнихъ и незамужнихъ, добродѣтельныхъ и порочныхъ. Этотъ взглядъ всегда складывается въ породистыхъ женщинахъ.

Онъ терялъ свою увѣренность, не могъ направить разговоръ такъ, какъ ему бы хотѣлось, испытывалъ даже нѣчто совсѣмъ новое — ребяческое недовольство собою за неумѣнье дать этой первой бесѣдѣ съ-глазу-на-глазъ такой отѣнокъ, какой всего прямѣе отвѣчалъ бы его настроенію.

И вдругъ злость на „приватдоцентика“, точно игла, уколола его въ сердце. Вѣдь онъ держалъ ее въ своихъ объятіяхъ... И всего этого не было бы, если бы онъ, Ермиловъ, не испугался, какъ старый брюзга-холостякъ, не повелъ себя такъ на-сторожѣ. Она ждала его, сани понесли бы ихъ въ паркъ, въ Петровское, тамъ ресторанъ...

„А потомъ?“—спросилъ онъ себя.

„А потомъ — ты бы обладалъ ею, несчастный... И она стала бы твоей женой, не съ тѣмъ чувствомъ, какое имѣетъ къ своему доценту. Развѣ такая женщина не стоитъ твоей свободы, никому не нужной, постылой и тебѣ самому?.. Радуйся!“

— А вашъ благовѣрный?—вдругъ спросилъ Ермиловъ, и слово „благовѣрный“ зазвучало фальшивой нотой.

„Глупо, глупо!“—прикрикнулъ онъ на себя мысленно.

— Мой благовѣрный,—отвѣтила она ему безстрастно и вяло,—поѣхалъ по Петербургу; у него множество дѣлъ и знакомствъ, въ редакціяхъ, въ министерствахъ... Я его не видала съ утра,—и мы должны съѣхаться, передъ обѣдомъ, въ одномъ московскомъ домѣ.

— У кого? — съ нескрываемымъ любопытствомъ спросилъ Ермиловъ.

— У Капцова.

— Это мой товарищъ!.. Такъ я васъ задерживаю, вамъ нужно переѣхать въ туалетъ.

Онъ всталъ совсѣмъ разстроенный. Поднялась съ мѣста и Анна Гавриловна.

— Спасибо, что навѣстили... Вы отъ кого узнали, что мы здѣсь?

— Я прочелъ на доскѣ вашу фамилію.

— А!.. вы были у mademoiselle Карусъ?

И она тихо разсмѣялась, а глаза ея подсказали: „ты вѣренъ себѣ—все такой же безпутный, старѣющій селядонъ“.

Онъ въ первый разъ въ своей жизни потупился и сталъ краснѣть. Это заставило его торопливо и шумно проститься съ нею.

Въ коридорѣ онъ остановился у перилъ и громко перевелъ духъ. Его лобъ былъ влаженъ.

### XIII.

Своими добрыми глазами, со слезою, Порфирій Николаевичъ оглядывалъ сидѣвшаго у него въ кабинетѣ Кустарева. Былъ часъ третій. Въ комнатѣ лежалъ полусумракъ. Московскій товарищъ Капцова только что разсказалъ ему про болѣзнь жены, на которую переѣздъ по желѣзной дорогѣ подѣйствовалъ очень дурно, и про свое безпокойство насчетъ заграничнаго паспорта.

Исторію съ Сохинымъ Кустаревъ передалъ ему еще разъ.

— Мы все уладимъ, голубчикъ, — говорилъ Порфирій Николаевичъ, держа товарища за руку. — Паспортъ ты получишь. Но меня глубоко возмущаетъ поведеніе этого Сохина...

Онъ не досказалъ. Его пронизала мысль, что другъ ихъ дома, достаточно ему ненавистный адвокатъ Малышевъ, — пріятель этого самаго Сохина.

— Такія времена, милый другъ, — отвѣтилъ Кустаревъ и закурилъ свѣжую папиросу.

Онъ сидѣлъ сильно сгорбившись, одѣтъ былъ въ черный сюртукъ, и воротникъ крахмаленной рубашки сильно его безпокоилъ. Для Петербурга онъ сдѣлалъ уступку — разстался съ косымъ воротомъ.

Въ коридорѣ раздались скрипучіе шаги. Капцовъ узналъ походку Малышева. Это заставило его сдѣлать нервное движеніе пальцами по волосамъ.

— Что ты? — спросилъ Кустаревъ.

— Незванный гость — хуже татарина! — вполголоса проговорилъ Капцовъ.

Дверь чуть отворили. На порогѣ стоялъ Малышевъ — высокій, костляваго сложенія брюнетъ, съ лысиной; желчное худое лицо съ узкими бакенбардами придавало всему ему видъ офиціанта. Онъ былъ во фракъ со значкомъ. На видъ ему казалось лѣтъ подъ сорокъ.

— У васъ гость!.. — выговорилъ онъ немного въ носъ, и послѣ маленькаго колебанія вошелъ въ кабинетъ.

Капцовъ принужденно улыбнулся и указалъ рукой на Кустарева.

— Мой товарищъ, Евменій Филипповичъ Кустаревъ... изъ Москвы. Господинъ Малышевъ.

Это „господинъ“ стоило немалыхъ усилій Капцову.

Кустаревъ и Малышевъ молча поклонились другъ другу и руки не подали.

— Порфирій Николаевичъ, — Малышевъ произносилъ слова сквозь свои тонкія, безкровныя губы, — я давно хотѣлъ представить вамъ моего, тоже московскаго, пріятеля Сохина. Мнѣ сказали ваши дамы, что у васъ сидитъ господинъ Кустаревъ. Быть-можетъ, имъ, — онъ указалъ рукой на Кустарева, — будетъ несовсѣмъ пріятно встрѣтиться. Онъ посидитъ тамъ, въ гостиной, съ дамами. Вы выйдете къ нему позднѣе...

Порфирій Николаевичъ сталъ ерошить волосы, взглянулъ на Кустарева, прошелся въ уголъ кабинета и оттуда отвѣтилъ:

— Извините меня, Несторъ Евсевичъ. Я не могу-съ.

— Чего не можете? — спросилъ съ улыбкой Малышевъ. — Принять гостя, котораго я привезъ?

— Именно-съ.

Щеки Порфирія Николаевича пошли пятнами. Онъ обдергивалъ борты домашняго сюртучка и нервно покашливалъ.

— Порфирій! — сказалъ вполголоса Кустаревъ и приподнялся. — Пожалуйста, не нужно этого... ежели мое присутствіе...

— Пожалуйста, душа моя, сиди, сиди!..

И Капцовъ началъ усаживать Кустарева.

— Однако! — заговорилъ опять Малышевъ своей носовой дикціей и переминался съ ноги на ногу. — Такъ будетъ крайне неделикатно. Я предупреждалъ, я просилъ позволенія у Лидіи Степановны привезти Сохина... И вы сами ничего не возражали... И вдругъ теперь такой репримандъ неожиданный!

Онъ засмѣялся сквозь свои желтыя, сухія губы.

„Теперь или никогда!“ — повторялъ Капцовъ про себя, чувствуя, что присутствіе Кустарева помогаетъ ему выказать больше характера. Случись это въ другое время, когда онъ одинъ, Малышевъ прямо привелъ бы Сохина, и у него не хватило бы мужества крикнуть: „я не желаю знакомства съ нимъ; по какому праву приводите вы ко

мнѣ подобныхъ господъ? Я и васъ-то попросилъ бы не посѣщать мой домъ!”

Послѣдней фразы Порфирій Николаевичъ и теперь не въ силахъ былъ произнести, хотя она и клокотала у него въ груди; но если бы Малышевъ позволилъ себѣ, въ присутствіи его друга, что-нибудь особенно дерзкое и злобное, онъ, быть-можетъ, пошелъ бы и на такой протестъ.

— Позвольте-съ, — заговорилъ онъ изъ своего угла, — позвольте-съ. Я не давалъ вамъ разрѣшенія вводить въ мой домъ господина Сохина.

— Онъ тоже вашъ товарищъ по университету, — возразилъ Малышевъ.

— Мало ли что-съ!.. Разные бываютъ товарищи. Университетъ, въ сожалѣнію, ни отъ чего не гарантируетъ. Напримѣръ, отъ ренегатства!..

— Позвольте! — почти повелительно перебилъ Малышевъ. — Я не могу допустить такихъ выраженій!..

— Я своихъ словъ назадъ не возьму! — съ дрожью въ голосъ проговорилъ Порфирій Николаевичъ. — Насчетъ господина Сохина я вамъ своего согласія не давалъ-съ!.. Не давалъ-съ!.. Вы изволили мнѣ его навязывать, не обращая вниманія на то, что это мнѣ было крайне непріятно... Какъ и многое другое... Какъ и многое другое...

Это былъ кульминаціонный пунктъ... Капли пота выступили на высокомъ, бѣломъ лбу Капцова. Голосъ его измѣнился, сталъ гораздо звончѣе, и выговаривалъ онъ слова безъ всякаго смягченія звуковъ.

Кустаревъ не могъ даже воздержаться отъ улыбки: до такой степени его товарищъ и другъ — „божья коровка“ Капцовъ — былъ неузнаваемъ.

— Вы это серьезно? — проскандировалъ Малышевъ свой вопросъ.

— Совершенно-съ! Совершенно-съ!..

— Стало, вы и мнѣ этимъ наносите... ничѣмъ, смѣю думать, незаслуженный ударъ... Я не могу допустить такого безцеремоннаго отношенія, любезнѣйшій Порфирій Николаевичъ. Мой другъ и пріятель, Сохинъ, имѣлъ основаніе не раздѣлять воззрѣній разныхъ лже-либераловъ и радикаловъ, промышляющихъ своимъ дешевымъ товаромъ...

Тутъ Кустаревъ сдѣлалъ шага два впередъ и обратился къ Капцову.

— Мнѣ лучше удалиться,—сказалъ онъ, тряхнувъ головой.—Что же тебѣ, Порфирій, въ чужомъ пиру да похмелье принимать. Только я попросилъ бы твоего гостя радикаловъ и ихъ дешевый товаръ оставить въ покоѣ. Товаръ этотъ, во всякомъ случаѣ, менѣе подмоченный и зловонный, чѣмъ тотъ, какимъ промышляютъ иные изъ его друзей и пріятелей.

Тирада вышла тяжеловата, но Кустаревъ вбивалъ точно гвоздемъ каждое слово, и оно разносилось по комнатѣ съ особенной отчетливостью.

Малышевъ весь позеленѣлъ и попятился назадъ.

— Извините, я въ такомъ тонѣ разговаривать не желаю, особливо въ присутствіи третьяго лица.

Онъ захлопнулъ дверь съ шумомъ.

— Какъ угодно-съ!—почти крикнулъ ему вслѣдъ Порфирій Николаевичъ.—Голубчикъ!—и онъ бросился къ Кустареву, взялъ его за руку, привлекъ на кушетку и усадилъ рядомъ съ собой.—Ты оцѣнилъ эту уксусную, искариотскую фигуру. Византиецъ, изволите видѣть, археологіей занимается, вмѣстѣ съ кляузными дѣлами и конкурсами по банкротствамъ, охранитель древне-русскихъ началъ и ренегата Сохина благопріятель!..

— Да зачѣмъ было, Порфирій? Точно все это изъ-за меня!..

Кустаревъ морщилъ лицо, но глаза его глядѣли на Капцова возбужденно и съ одобреніемъ.

— Ахъ, оставь! Ахъ, оставь! Я тебѣ въ ножки поклонюсь.

— За что, дружище?

— Ты мнѣ придалъ духу. Каюсь въ своемъ жалкомъ малодушіи,—Капцовъ понизилъ тонъ,—въ отсутствіи чувства достоинства.

— Съ какой стати?

— Нѣтъ, ты меня не выгораживай! Постыдно имѣть такой характеръ, какъ мой. Это совсѣмъ не доброта. Вотъ больше пяти лѣтъ терплю этого византийца. Въ домѣ онъ такъ себя поставилъ, какъ въ католическихъ семьяхъ пaterъ какой, руководитель совѣсти. Жена преклоняется передъ нимъ.

Порфирій Николаевичъ точно спохватился, не сказалъ ли чего-нибудь лишняго. Но вслѣдъ затѣмъ махнулъ рукой и продолжалъ такъ же горячо, не понижая уже больше голоса:

— Я обязанъ былъ бы выяснитъ роль этого чичисбея на лампадномъ маслѣ,—онъ наклонился надъ ухомъ Кустарева,—какъ мужъ и отецъ... Или просто-напросто объявить, что я этой рожи не желаю видѣть въ моей квартирѣ.

— Такъ бы и сдѣлалъ!..

— Ты, конечно, не задумался бы поступить точно такъ... ты—Евменій Кустаревъ,—а не я!

Капцовъ вскочилъ съ мѣста и въ волненіи, которое получило новый оттѣнокъ, заходилъ по кабинету.

— Несчастье родиться съ натуришкой, какъ моя!.. Но что объ этомъ... Гадость!.. Вотъ ты поживешь здѣсь съ недѣльку... Помоги ты мнѣ выкурить господина Малышева! А Сохина, чтобы и духу не было! Это, наконецъ, пскудство!

Улыбка опять прошла по губамъ Кустарева. Не вѣритъ онъ въ продолжительность такой отваги въ своемъ другѣ и товарищѣ. Но ему, кромѣ того, было и несовсѣмъ пріятно, что изъ-за него вышла такая сцена.

— Порфирій!—тихо началъ онъ.—Ты все равно не выдержишь!

— Какъ это не выдержи?

— Ну, быть-можетъ, съ недѣльку покрѣпишься, а тамъ опять осядешься. Чтò дѣлать, другъ! Выше своей „физики“ не прыгнешь. На твоёмъ бы мѣстѣ я себя такъ поставилъ: дѣлайте, молъ, чтò хотите, принимайте кого угодно—я умываю руки; но только условіе одно—на васъ я больше не работникъ.

— Именно!.. Сотни разъ я рѣшалъ это!

— Только выполнить не осмѣливался! Да и въ этотъ разъ не посмѣешь. И будешь тянуть свою лямку. Жаль мнѣ тебя до чрезвычайности. Вся-то ваша петербургская поганая жизнь выѣденнаго яйца не стоитъ. А ты—какъ каторжный.

— Не говори!

Другъ растравлялъ его душу. Онъ чувствовалъ злую правду въ словахъ Кустарева. Ничего не будетъ изъ его вспышки, и Малышевъ станетъ играть въ его домѣ ту же роль, а онъ самъ, послѣ нѣсколькихъ разносковъ, которыми угостить его Лидія Степановна, примется носить свое ярмо и работать на жуирство и транжирство семьи.

— Не красна моя доля,—говорилъ Кустаревъ,—особливо

теперь, съ болѣзнью Риты, а, ей-Богу, я ее не промѣняю на твою.

Оба замekli. Капцовъ, совсѣмъ разстроенный, присѣлъ въ свое кресло, опустилъ низко голову и повторялъ чуть слышно:

— Господи! Господи!.. Что за натуришка! Что за натуришка!

#### XIV.

Только что Порфирій Николаевичъ проводилъ Кустарева и вернулся въ кабинетъ, чтобы снять рабочій сюртукъ и натянуть вицмундиръ, къ нему вошла Лидія Степановна.

Онъ не успѣлъ приготовиться къ объясненію, да и провозжая московскаго друга въ переднюю, уже чувствовалъ, что не удержитъ позиціи, какую принялъ передъ Малышевымъ.

Лидія Степановна имѣла съ нимъ неизмѣнную манеру. Она не возвышала голоса, не прибѣгала къ истерикамъ, не нападала на него, а говорила тономъ рѣшеннаго дѣла, противъ котораго возражать нечего. Но на этотъ разъ обстоятельство было особенное. Мужъ ея повелъ себя съ ея другомъ такъ, что, кромѣ Сохина, тутъ сказался и другой мотивъ. До объясненій на эту тему не слѣдовало допускать Порфирія Николаевича.

Она сѣла въ кресло, поглядѣла на мужа пристально и скороговоркой сказала:

— Порфирій Николаевичъ! Я, сколько могла, смягчила вашу выходку. Мы съ Несторомъ Евсеичемъ извинились передъ м-г Сохинымъ.

— Это ваше дѣло, — перебилъ Капцовъ и пошелъ къ шкапу, гдѣ у него висѣло платье.

— Вы теперь слишкомъ раздражены, и я не стану вамъ говорить о томъ, какъ вы оскорбили человѣка, ни въ чемъ противъ васъ не провинившагося. Я не за этимъ пришла. Черезъ пять дней у насъ—вечеръ... съ катаньемъ на тройкахъ. Я васъ предупреждала... сдѣланы приглашенія. И ваши московскіе будутъ. Жена этого молодого профессора... или какъ тамъ его... доцента—мадамъ Куликова. Она—красивая бабочка. Я хочу сдѣлать это по-экономнѣе, но меньше четырехсотъ рублей это не можетъ обойтись.

— Четыреста!—вздохнулъ Капцовъ.

Но этотъ вздохъ былъ скорѣе вздохомъ облегченія. Онъ ожидалъ совсѣмъ не того. Его боязливая душа уже почувала возможность болѣе тихаго выхода. Денегъ онъ дастъ—заработаетъ. Къ чему тогда начинать исторію о Малышевѣ? Только разбереживать рану! Развѣ жена пойдетъ на запоздалыя признанія?.. Да и зачѣмъ они ему самому? Лучше окончательно закрыть на все глаза... Можетъ-быть, это только его подозрительность. Выгнать изъ дома друга Лидіи Степановны онъ не посмѣетъ. Она преспокойно будетъ его принимать; а не кланяться ему—выйдетъ еще хуже.

— Да, это самая скромная цифра,—продолжала Лидія Степановна, какъ ни въ чемъ не бывало, точно она только объ этомъ и пришла перетолковать съ нимъ.—Соберутся у насъ... чай, фрукты, потомъ десять троекъ...

— Десять! — повторилъ опять со вздохомъ Порфирій Николаевичъ.

— Меньше никакъ нельзя. По семи рублей, по крайней мѣрѣ. Нельзя же заставлять платить гостей. Горы—въ „Аркадіи“. Тамъ мелкіе faux frais... Ужинъ... тапёръ. Маркъ Саввичъ...

— Кто это?

— Ахъ, Боже мой! Ты вѣчно забываешь фамиліи. Габзинъ!.. Человѣкъ интересуется серьезно его дочерью, а онъ спрашиваетъ: кто это? Маркъ Саввичъ предлагалъ устроить этотъ вечеръ отъ себя; но я не согласилась. Съ какой же стати на его счетъ! На этотъ пикникъ я сильно рассчитываю для Дины.

И тутъ онъ промолчалъ. Чтò ему говорить?.. Дочь давно ускользнула изъ-подъ его отеческаго надзора, такъ же какъ и сынъ. Выбрать ей мужа онъ не беретъ. Онъ многихъ и въ лицо-то не знаетъ изъ молодыхъ людей, посѣщающихъ гостиную Лидіи Степановны.

— Твоего московскаго товарища мы приглашать не будемъ. А у тебя въ этотъ вечеръ засѣданіе. И прекрасно.

Она встала.

— Передъ Несторомъ Евсеичемъ я за тебя уже извинилась. Кажется, онъ тебя своими посѣщеніями не беспокоитъ. Надо еще удивляться тому, что онъ такъ снисходителенъ... съ его гордостью. До сихъ поръ у насъ никакихъ такихъ сценъ не бывало. Прошу тебя, чтобы и впередъ ихъ не было. Деньги не сразу нужны. Многое



по счетамъ позднѣе заплатимъ, но рублей полтораста надо приготовить непремѣнно. Для дочери прекрасная партія— не трѣхъ раскошелиться.

Порфирій Николаевичъ на это ничего не сказалъ и торопливо началъ надѣвать вицмундиръ, когда жена его взялась за ручку двери.

Всего обиднѣе было для него то, что ему сказалъ Кустаревъ. Такимъ онъ и останется. Ну, просватаетъ Лидія Степановна Дину за инженера, найдетъ дочь выгодную партію, надо будетъ дѣлать приданое, потребуется сумма не въ одну тысячу рублей, придется искать экстраординарныхъ заработковъ.

Вотъ и эти четыреста рублей на какой-то нелѣпый пивникъ, съ тройками, катаньемъ на горахъ, ужиномъ, танцами. Какая это школа для молодой дѣвушки?! Поездка въ „кабакъ“, гдѣ въ зимнемъ саду шатаются пьяные купчики. И такъ каждый почти день. Безпробудный плясъ, заказы новыхъ туалетовъ, франтовство, дурные вкусы. И мать, и дочь, и сынъ въ вѣчной стачкѣ противъ него, и ему остается только смириться.

Выдадутъ Дину замужъ, но Лидія Степановна не закроетъ своей гостиной. Гриша поступитъ вольноопредѣляющимся въ кавалерію. Пойдутъ новые поборы съ отца. Лошадь, угощеніе товарищей, а потомъ—офицерское приданое, еще лошадь. И конца этому не будетъ.

Порфирій Николаевичъ все еще ходилъ по кабинету, хотя ему давно пора было ѣхать. Свѣтлыя пуговицы вицмундира мелькнули въ зеркалѣ. Ему этотъ чиновничій видъ показался особенно мизернымъ, и вся эта служебная дорога, съ расчетами на повышеніе, на усиленный окладъ, на награды, хапанье частныхъ мѣстъ—до отвращенія противной и гнусной. Онъ не могъ оторваться отъ мысли о Кустаревѣ. Тотъ не кичится своимъ гражданскимъ мужествомъ, а несетъ бремя жизни гордо и самоотверженно; не тужитъ о томъ, что самъ не захотѣлъ оставаться на государственныхъ харчахъ. Его тѣснятъ, дѣлаютъ ему каверзы, средствъ мало, жена больная, надо усиленно работать перомъ, чтобы содержать ее тамъ, на Ривьерѣ, куда ее шлютъ врачи, а онъ отъ всего сердца сказалъ, что не промѣнялъ бы своей прекрасной доли на лямку друга своего Капцова!

Правая рука Порфирія Николаевича нервно выхватила

часы изъ кармана. Онъ опоздалъ на засѣданіе какого-то общества и бросился въ переднюю.

Изъ залы вошли въ переднюю, въ одно время съ отцомъ, Дина и Гриша. Они отправлялись на катокъ въ Юсуповъ садъ. Гриша надѣлъ особое, короткое пальто и большіе сапоги. Дина была въ свѣтлой кофтѣ съ сѣрой мерлушчатой отдѣлкой, такой же шапочкѣ, пестрой вишневой юбкѣ, высоко приподнятой, открывавшей ея крупныя, подъемистыя ноги въ теплыхъ, очень высокихъ ботинкахъ. Коньки несъ братъ.

— Здравствуй, папà! — почти однимъ звукомъ выговорили они.

— Здравствуйте, здравствуйте! Вы на катокъ? — торопливо и какъ бы сконфуженно отвѣтилъ имъ отецъ и еще поспѣшнѣе началъ надѣвать свою короткую шубку, которую подавала ему горничная.

— Пикникъ рѣшенъ, папà? — спросила Дина, застегивая послѣднюю пуговицу перчатокъ.

— Да, да, будетъ.

— А ты не желаешь принять участіе въ немъ? — полунасмѣшливо спросилъ Гриша.

— Некогда мнѣ, некогда! — крикнулъ Порфирій Николаевичъ и бросился къ входной двери, которую горничная уже успѣла отпереть.

Дочь и сынъ оправились еще разъ передъ зеркаломъ передней и поглядѣли оба вслѣдъ ушедшаго отца.

— Кряхтитъ „фатеръ“, — сказалъ съ особеннымъ мычаньемъ Гриша.

— Мало ли что! — откликнулась Дина.

Она громко дышала. Корсетъ и сшитая очень узко ваточная кофточка душили ее.

— Ты готова? — спросилъ ее братъ у выходной двери.

— Готова.

Она спустила до половины лица вуалетку изъ красноватаго тюля и отсадила шапочку нѣсколько назадъ, что ей казалось гораздо оригинальнѣе, — въ родѣ того, какъ носятъ англичанки.

Сходя съ каменной лѣстницы, они оба звучно скрипѣли своей обувью и спускались медленно, напирая на каблукъ.

И Гриша, и Дина догадывались, что въ кабинетѣ вышелъ какой-то рѣзкій разговоръ между отцомъ и Малышевымъ. Отецъ не пожелалъ принять новаго гостя, ко-

торый и имъ обоимъ совсѣмъ не понравился и нимало не подходилъ къ ихъ гостиной. Внутри, и онъ, и она, были довольны, что Малышеву оказана „осадка“, какъ выразился про себя Гриша. Они оба его плохо выносили. Сынъ кое-о-чемъ смекалъ, а дочь не желала думать объ этомъ, но инстинктивно не любила мужчину,—вдобавокъ, сухого и сующаго во все свой носъ,—въ которомъ чулись какія-то особыя права на ея мать.

— Нѣтъ, каковъ фатеръ?—заговорилъ Гриша, когда они прошли шаговъ десять по тротуару.—Вѣдь онъ въ первый разъ характеръ выказалъ!

— Однако, такъ нельзя поступать съ гостями,—возразила Дина изъ чувства солидарности съ матерью и со всѣмъ тѣмъ, что относится къ ея гостиной.

— Да вѣдь фатеръ самъ по себѣ. Онъ многихъ гостей нашихъ и въ глаза не знаетъ.

— Этотъ господинъ... какъ, бишь, его?..

— Сохинъ.

— Ну, да, онъ московскій, кажется,—вмѣстѣ учились.

— Мало ли я съ кѣмъ учусь! Нѣтъ, пора было нашему Нестору-лѣтописцу — Гриша такъ называлъ Малышева — и сдачи дать. Если бы я былъ на мѣстѣ отца, я бы давно спустилъ его.

Дина ничего не отвѣтила. Гриша тихо засвисталъ. Они шли въ ногу. Дина все громче и громче дышала; копытки, болтаясь на ремешкахъ, въ рукѣ ея брата, издавали мѣрный звонъ.

Зимній спортъ издалека призывалъ ихъ. Духовая музыка была уже слышна. Въ ногахъ и Гриша, и Дина чувствовали особаго рода зудъ — призывъ къ усиленному движенію.

## XV.

— Вы куда ѣдете?..

Анна Гавриловна спросила мужа изъ спальни, гдѣ она доканчивала туалетъ... Мужъ ея тоже прихорашивался передъ зеркаломъ. Онъ былъ во фракѣ.

Дверь во вторую комнату стояла пріотворенной.

— Куда я ѣду?—переспросилъ Куликовъ.—Да прежде всего представиться по начальству... и въ два-три мѣста, въ генераламъ.

— А-а... — протянула Анна Гавриловна, и вслѣдъ за тѣмъ показала въ дверяхъ.

Шелковое платье свѣтло-шоколаднаго цвѣта съ шитьемъ и короткая мантилья съ отдѣлкой изъ чернаго жаис придавали ей видъ несомнѣнной дамы. Она принесла съ собою запахъ духовъ, и отъ всей ея фигуры вѣяло свѣжестью молодого, роскошнаго существа. Еще стоя въ дверяхъ, Анна Гавриловна оглядѣла мужа. Его фигура была все та же мелкая, съ узкой, курчавой головой, красивенькимъ станомъ и отчетливыми, быстрыми движеніями. Лицу своему онъ началъ придавать степенность, запустилъ бороду и носилъ очень высокіе и тугіе воротнички. Фракъ сидѣлъ на немъ ловко, и крахмаленная рубашка своимъ лйдевиднымъ вырѣзомъ дѣлала грудь и плечи шире.

И все-таки въ усмѣшкѣ на губахъ его жены можно было прочесть не очень лестное для него сравненіе: „коммѣ отъ Луи Бунса, съ Кузнецкаго“.

Они говорили другъ другу „вы“. Эту манеру ввела Анна Гавриловна. Виталій Орестовичъ ей подчинился. Только изрѣдка она позволяла ему называть себя Аня и быть съ ней на „ты“.

— Такъ вы послѣ представленія начальству къ штатскимъ генераламъ?—спросила она слегка иронически.

— Къ цѣлымъ тремъ!

Ей доставляло нѣкоторое удовольствіе показывать своему мужу, что она прекрасно и давно распознала въ немъ „оппортьюниста“, какъ она называла всѣхъ такихъ, какъ онъ, и, въ такую минуту, она не безъ внутренняго удовольствія видѣла себя, лѣтъ черезъ десять, важной университетской барыней, ректоршей, а потомъ и женой помощника попечителя, пожалуй, попечительшей. Сама она не будетъ ни передъ кѣмъ прыгать. Пускай ея мужъ устраиваетъ свою служебную дорогу. Она ему мѣшать въ этомъ не станетъ и сохранитъ полную независимость своихъ идей, симпатій, выбора знакомствъ и дружескихъ связей.

— Галстукъ у васъ сзади поднялся, — сказала она. — Поправьте его.

— Всего лучше будетъ придержать его пуговкой воротника.

— Нѣтъ!.. Этакъ только гезеля въ аптекахъ дѣлають. Она помолчала и спросила его:

— Вы знаете... здѣсь Кустаревы?

— Кажется, — уклончиво отвѣтилъ Куликовъ, отошелъ

отъ зеркала и началъ самъ чистить свою цилиндрическую шляпу.

— Я навѣрно знаю.

— Такъ что жъ?

Его глаза быстро и тревожно взглянули на Анну Гавриловну.

— Вы ихъ не навѣстите?

— Съ какой стати, дружокъ? Мы съ Кустаревымъ совсѣмъ не такъ близки.

— Да и не совсѣмъ теперь безопасно водить съ нимъ пріятельство!—замѣтила она уже съ явной провіей.

— Вовсе нѣтъ, вовсе нѣтъ... Онъ проѣздомъ... везетъ жену...

— Вотъ я и хочу навѣстить ихъ.

— Хотите?..

Протестовать онъ не посмѣлъ, и Анна Гавриловна продолжала:

— Я ее, правда, мало знаю. Но все же мнѣ хочется... Самъ Кустаревъ—очень симпатичный человекъ.

— Зиноздалый... народникъ, а можетъ-быть и того хуже.

— Какъ вы это докажете?

— Я ничего и не утверждаю.

— И прекрасно... Я къ нимъ заѣду. О васъ я ничего не буду говорить... Какъ его зовутъ?

— Евменій Филипповичъ. Что жъ, сдѣлайте визитъ его женѣ. Отчего же нѣтъ!..

— А кто знаетъ?.. Можетъ-быть, онъ еще получитъ кафедру?

Она хотѣла этими словами нежпожко подразнить его.

— Никогда!—звонко отвѣтилъ онъ и еще энергичнѣе началъ гладить свой цилиндръ. — При теперешнихъ порядкахъ—никогда!

— Да что же за нихъ такое значитъ? Какія вины?.. Вѣдь Кустаревъ самъ вышелъ изъ профессоровъ?

— Такъ, такъ, мой другъ. Но останься онъ подольше, его бы попросили удалиться.

— Насильно не могутъ заставить.

— И очень!

Куликовъ засмѣялся короткимъ, дробнымъ смѣхомъ. Тотъ смѣхъ былъ ей непріятенъ съ первыхъ дней ихъ знакомства. Въ немъ звучали настоящія свойства Виталія Орестовича—тѣ, которыя ему такъ пригодятся для служебной дороги.

— Ручку пожалуйста!..

Онъ нагнулся и взялъ ея руку, на которую она только что натянула перчатку.

— Чѣмъ же кончилась, — продолжала она въ томъ же тонѣ, — исторія... помните... на обѣдѣ Симбирцеву, когда Кустаревъ выгналъ какого-то антипатичнаго господина?

— Чрезвычайно это было неловко... мой другъ! — началъ Куликовъ полунаставительно. — Всѣхъ поставилъ Богъ знаетъ въ какое положеніе. И выхода была самая... можно сказать... мальчишеская!

— Однако, вы, Виталій Орестовичъ, тогда ее сильно, я помню, одобряли.

— Съ оговорками, мой другъ.

— Ужъ не могу теперь сказать, какія были тогда ваши оговорки. Вы, кажется, состояли на этомъ обѣдѣ въ распорядителяхъ при Кустаревѣ.

— Что жъ изъ этого?.. И зачѣмъ намъ поднимать весь этотъ соръ?.. Кустаревъ повредилъ себѣ чрезвычайно и во всѣхъ вызвалъ...

Онъ искалъ слова.

— Шкурное чувство!.. Кажется, это такъ называется на литературномъ жаргонѣ?..

Ротъ Анны Гавриловны усмѣхнулся вбокъ. Глаза прощлись по лицу мужа съ такой же двойственной усмѣшкой.

— Можетъ-быть, можетъ-быть! — зачастилъ Виталій Орестовичъ и еще разъ поцѣловалъ у жены руку. — Я тороплюсь...

— Карета готова? — спросила Анна Гавриловна и, въ свою очередь, подошла къ зеркалу.

— Какъ же... Я самъ нанималъ... Въ Конюшенной!.. Очень хорошее купе.

— Погода, кажется, разгулялась. Лучше бы въ парныхъ саняхъ.

— Не скажите, мой другъ. Вѣтерокъ рѣзковатый. Въ каретѣ безопаснѣе.

Ей не нравились его заботливыя нотации. Въ нихъ проскальзывали намеки на то, не находится ли она въ извѣстномъ положеніи. Она совсѣмъ не была беременна, и ей еще не хотѣлось быть мамашей. И безъ того этотъ юркій господинъ, вступившій въ права ея мужа, представлялъ собою нѣчто уже безповоротное, добровольный союзъ, изъ котораго надо какъ-нибудь мастерить свое счастье...

— Ну, хорошо! Отправляйтесь же, отправляйтесь. И поѣду послѣ васъ, мнѣ еще надо уладить вуалетку.

— Да она отлично сидитъ, Аня.

— Поѣзжайте! — съ мягкой настойчивостью сказала Анна Гавриловна и сдѣлала жестъ рукой, какъ бы выпроваживая его изъ номера.

Онъ затрусилъ своими мелкими шажками и скрылся въ передней, откуда послышался скрипъ его калошъ.

Оставшись одна, Анна Гавриловна постояла съ минуту передъ зеркаломъ, оправляя вуалетку и шляпу.

Ея мысль блуждала около двухъ мужскихъ лицъ и фигуръ — Ермилова и Кустарева.

„Милѣйшій Юрій Петровичъ!“ — выговорила она про себя и весело улыбнулась своими длинными глазами.

Въ этомъ возгласѣ было заключено многое и, прежде всего, сознаніе своей новой роли. Она замужемъ, она — сила. Каждый мужчина можетъ быть ея данникомъ. И теперь, вмѣсто трусливой уклончивости, явится нѣчто совершенно иное.

Но у всѣхъ ли?

И ей вспомнилось лицо Кустарева. Она только недавно встрѣтилась съ нимъ въ одномъ знакомомъ домѣ, гдѣ собираются московскіе народники. Его рубашка съ косымъ воротомъ не показала ей претензіей. Эти умные, печальные глаза смотрѣли такъ искренно и глубоко. О женѣ и ея болѣзни говорилъ онъ безъ фразы, съ внутреннею болью. Неужели онъ ее такъ сильно любитъ?

Эту маленькую женщину она уже встрѣчала раньше. Она просила его передать женѣ свой „душевный привѣтъ“.

Душевно ли она относится къ Кустаревой?

На этотъ вопросъ Анна Гавриловна не желала отвѣтить самой себѣ и позвонила два раза коридорной горничной.

Въ первый разъ чувствовала себя Анна Гавриловна столичной молодой дамой, когда извозничья карета, довольно новая и франтоватая, повезла ее къ Невскому по одной изъ Морскихъ.

День былъ ясный и не особенно холодный. Она еще разъ пожалѣла о томъ, что мужъ не нанялъ ей парныхъ саней, съ сивей сѣткой, какъ у той барыни, а можетъ быть и коготки, что проѣхала мимо, ей навстрѣчу. Одно окно она опустила и подставила свои розовыя щеки подъ свѣжій воздухъ, проникавшій внутрь кареты.

Наканунѣ шелъ обильный снѣгъ, и улица не успѣла еще побурѣть отъ ѣзды. Съ обѣихъ сторонъ выселись дома. Ощущеніе было для Анны Гавриловны совсѣмъ новое. Такъ нельзя себя чувствовать въ каретѣ, даже и въ изящномъ туалетѣ, у себя, въ Москвѣ. Здѣсь женщина можетъ въ сто разъ больше проявить свою личность, пользоваться молодостью, красотой, умомъ.

Она задумалась... Москва предстала ей въ видѣ ея родныхъ Патріаршихъ-Прудовъ, такая провинціальная, съ домнишками, съ обиходомъ мелкаго обывательскаго житья. Но кто знаетъ? Маленькій человѣчекъ, какъ Виталій Орестовичъ, можетъ далеко пойти, да еще при такой женѣ, какъ она. Кто знаетъ, можетъ-быть, и у нихъ будетъ квартира въ двадцать комнатъ, въ одномъ изъ этихъ домовъ—дворцовъ казенныхъ вѣдомствъ.

А пока въ Москвѣ у нея почва подъ ногами. Тамъ она—„боярыня“ и домовладѣлица, тамъ все въ ея рукѣ, и на свободѣ „женщина“ будетъ развиваться въ ней привольнѣе и своеобразнѣе. Она не закипнетъ, вѣтъ!

И опять два мужскихъ лица всплыли передъ нею. Ермаловъ!.. О! Этого стоить того, чтобы надѣть на него ярмо ухаживателя.. безъ надежды на побѣду. Этого мало! Провести его черезъ рядъ униженій. Пускай онъ превратится въ собачонку! Это можетъ сдѣлаться безъ всякаго кокетства съ ея стороны.

Кустаревъ уѣзжаетъ за границу. Жаль! Впрочемъ, онъ тамъ не останется на всю зиму. У него есть хуторъ подъ Москвою. Онъ вернется къ своему хозяйству. Ему будетъ скучно, его надо приласкать и Виталія Орестовича заставить вести себя съ нимъ, какъ ей, Аннѣ Гавриловнѣ, угодно.

## XVI.

Кустаревы остановились въ меблированныхъ комнатахъ, на Лиговкѣ, по сосѣдству съ вокзаломъ московской дороги.

Карета Анны Гавриловны взяла съ моста влѣво. Адресъ узнала она отъ мужа, который встрѣтилъ Кустарева, вѣроятно, пообѣщавъ завернуть къ нему, а теперь уклонился.

Извозникъ былъ малограмотный и номеровъ на домахъ читать не умѣлъ. Пришлось самой дѣлать это. Анна Гавриловна, немного близорукая, съ трудомъ разобрала номеръ надъ воротами огромнаго дома, съ нѣсколькими подъ-



ѣздами. Не сразу попала она на тотъ подъѣздъ, который велъ въ меблированныя комнаты. Швейцара она не нашла. Какая-то кухарка показала ей, куда идти.

Въ темномъ и узкомъ коридорѣ Анна Гавриловна не сразу отыскала номеръ Кустаревыхъ. Первая комната номера стояла пустая. Коридорный, впустившій ее, сказалъ вполголоса:

— Онъ тамъ, въ спальнѣ.

— Лежить?—спросила Анна Гавриловна.

— Не могу знать.

Изъ спальни раздался слабый кашель и женскій голосъ:

— Кто тамъ?

— Подайте мою карточку.

Прошло нѣсколько секундъ. Анна Гавриловна стояла посрединѣ комнаты въ нерѣшительной позѣ. Она готова была уйти; сердце защемило. Точно будто совѣстно стало за что-то передъ этой больной жепщиной, которой было не до визитовъ.

— Просить минутку подождать,—доложилъ коридорный и вышелъ.

Она не садилась и даже затаила дыханіе, только осматривала комнату, довольно просторную, съ отдѣлкой дешеваго номера.

Въ дверяхъ спальни показалась Маргарита Сергѣевна Кустарева, укутанная платкомъ, въ шерстяномъ темномъ капотѣ. Она подошла довольно твердымъ шагомъ къ гостьѣ. Лицо ея стало еще меньше, кончикъ носа заострился,— „точно у покойника“, подумала Анна Гавриловна,—глаза смотрѣли воспаленно, лобъ обнажился отъ зачесанныхъ за уши волосъ.

— Здравствуйте, — сказала она Аннѣ Гавриловнѣ тихимъ голосомъ и протянула ей свою дѣтскую руку съ горячими ладонями.

Звукъ былъ привѣтливый, но Анна Гавриловна не почувствовала большой жалости къ этой маленькой жепщицѣ, которая, быть-можетъ, и не вернется изъ-за границы.

— Извините меня, — начала она, пожимая лихорадочную руку въ своей красивой крупной рукѣ, туго затянутой въ перчатку обѣими пуговицахъ.—Извините, я васъ беспокоила... Миѣ хотѣлось...

— Ничего, ничего!—не дала ей докончить Кустарева. Присядьте. Очень рада!.. Мени—мужа моего, — поправи-

лась она,—дома нѣтъ, но онъ долженъ скоро быть. Спасибо за память. Вы сюда надолго?

— Всего на десять дней. Мужъ начнетъ свои лекціи немного позднѣе. Онъ—приватъ-доцентъ. Слушателей у него еще не особенно много.

Анна Гавриловна продолжала оглядывать Кустареву и прислушиваться къ ея тону. „Нѣтъ, въ этой маленькой женщинѣ есть что-то сухенькое и недовѣрчивое. Она, быть-можетъ, прекраснѣйшая личность; но будь она здорова, тамъ, въ Москвѣ, это недовѣріе сказалось бы еще сильнѣе. Она вся ушла въ обожаніе своего „Мени“, вцѣпилась въ него. Такія карлицы, въ сущности, до гадости мужелюбивы,—думала гостя,—и до невозможности самолюбивы и тщеславны, если не за себя, то за своихъ мужей. Она, конечно, не по доброй волѣ ѣдетъ за границу, а по настоянію мужа. Въ этомъ нѣтъ никакого достоинства и добродѣтели“.

Кустаревой тоже сдѣлалось какъ-то не по себѣ отъ визита этой красивой, слишкомъ красивой дамы.

„Чего ей отъ насъ нужно?“—подумала она.

— Я слышала, — заговорила гостя тономъ свѣтскаго визита, — что вашему мужу начали дѣлать разныя непріятности... послѣ той исторіи... на обѣдѣ... Нечего сказать, хорошія времена настали... И всѣ такъ испугались...

Воспаленные глаза Маргариты Сергѣевны остановились на цвѣтной вуалеткѣ гостыи и какъ бы спросили ее безъ словъ:

„А твой муженекъ развѣ лучше другихъ? Вѣдь онъ помогалъ Менѣ по устройству обѣда Симбирцеву, а теперь, я думаю, весь съѣжился. И тебя-то прислалъ къ намъ, чтобы самому не являться“.

Гостя поняла взглядъ въ такомъ именно смыслѣ. За своего мужа ей не сдѣлалось непріятно. Отстаивать его не стоить, если бы Кустарева даже и позволила себѣ явный намекъ.

— Да, — выговорила тихо Маргарита Сергѣевна, и отвела глаза. — Вотъ и насчетъ заграничнаго паспорта Менѣ предстоятъ хлопоты.

— Неужели не пустятъ?—съ живостью спросила Анна Гавриловна.

— Могутъ и не дать. Въ Москвѣ—отказали.

— Черезъ кого же вы здѣсь хлопочете?

— У него есть преданный ему человекъ, товарищъ по факультету, Капцовъ...

— Порфирій Николаевичъ?

— Вы его знаете?

— Я познакомилась съ этимъ домомъ черезъ мужа и получила приглашеніе на пикникъ. Чисто петербургское кутильное семейство!

— Не онъ!—возразила Кустарева.

— Онъ — божья коровка! Работаетъ на свою супругу и дѣтей.

„Зачѣмъ я все это говорю?“ — вдругъ мысленно перебила себя Анна Гавриловна.

Вѣдь она была очень довольна приглашеніемъ Капцовыхъ и надѣялась даже встрѣтить тамъ Кустарева. Будетъ ли онъ, она не спросила. Но фальшивость собственнаго ея тона немного удивляла ее. Неужели она такъ недобро относится къ этой женщинѣ, убитой и своими болѣзнями, и близкой разлукой съ страстно любимымъ мужемъ, который долженъ будетъ вернуться въ Москву?

Жалѣла она ее все меньше и меньше.

Про свою хворость сама Кустарева не заговаривала. Она никогда и никому не жаловалась на здоровье, начиная съ мужа. Можетъ-быть, и лѣченіе пошло бы иначе, если бы она посильнѣе заботилась о себѣ. За докторомъ она не позволяла посылать въ первые дни, дотягивала до послѣдней крайности.

— Вотъ и мужъ!..

Кустарева узнала въ коридорѣ шаги Евменія Филипповича.

— Это ты, Меня?—окликнула она, когда онъ, за перегородкой, снималъ шубу и калоши, и пришла вся въ волненіе.

— Рита! Ты не одна?.. Не очень ли ты раскутилась! Тебѣ бы отдохнуть!..

Голосъ Кустарева вызвалъ внезапную краску на щекахъ Анны Гавриловны. Такое смущеніе почти разсердило ее.

— А! Вотъ ты какимъ молодцомъ... У тебя гости!

Кустаревъ протягивалъ ей руку, широкую и съ волосами на суставахъ. Его вдумчивые глаза глядѣли на нее изъ глубокихъ впадинъ. Вся его плотная и немного сутулая фигура пахнула на нее чѣмъ-то новымъ, отъ чего она совсѣмъ отвыкла въ обществѣ своего мужа.

— Спасибо вамъ, барыня, что навѣстили больную. Только, Риточка, гостя извинить... Будетъ куда превосходнѣе, если ты пойдешь и ляжешь.

— Конечно!—вырвалось у Анны Гавриловны.

— Да я ничего...

— Не упорствуй!.. Отправляйся!..

Маргарита Сергѣевна подошла и протянула руку гостѣ.

— Благодарю васъ... Я бы посидѣла еще, да вотъ, видите, какой онъ строгій.

Но замѣтно было, что ей пора лечь. Мужъ взялъ ее подъ локоть и повелъ, поглядывая на гостью ласковыми и добрыми глазами.

„Какъ любить! — воскликнула мысленно Анна Гавриловна.—И что въ ней!“

Невольнo увидала она себя въ узкомъ зеркалѣ, представленномъ къ простѣнку, между двумя окнами.

Развѣ эта Кустарева—женщина? Такъ, какая-то дохленькая дѣвчурочка. Ни ума она въ ней не видѣла особеннаго, ни граціи, ни душевной симпатичности. Кустарева и она—Анна Гавриловна Куликова!

Евменій Филипповичъ отвелъ жену въ спальню и вернулся тотчасъ же.

— Присядьте, гостей будете, — сказалъ онъ ей, сѣлъ рядомъ съ нею на диванъ, подогнулъ одну ногу подъ себя и закурилъ папиросу.

Эти простыя, не салонныя, студенческія манеры сейчасъ же настроили ее на другой ладъ. Она вспомнила свои московскіе кружки, гдѣ ей когда-то бывало если не очень весело, то гораздо теплѣе, свободнѣе, бодрѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ другихъ мѣстахъ. Если бы она была поменьше „боярыней“ и домовладѣлицей, она бы осталась въ этихъ кружкахъ, и, кто знаетъ, встрѣтила бы тамъ того же Евменія Филипповича. Отакого, по крайней мѣрѣ, есть за что любить.

— Выдали вамъ паспортъ?—спросила она съ участіемъ, и сама осталась довольна звукомъ своего вопроса.

Она не сочла нужнымъ передавать Кустареву поклонъ отъ своего мужа. Зачѣмъ выносить и отъ него такой же взглядъ, какъ отъ его жены?

— Вы нешто слышали про мои мытарства? — выговорилъ онъ не спѣша.

Въ комъ-либо другомъ ей не поправился бы этотъ

простонародный или народнический жаргонъ, по къ нему онъ шелъ.

— Маргарита Сергѣевна мнѣ говорила.

— Кажется, уладимъ. Здѣсь вѣдь все получше, чѣмъ въ нашей „губерніи“, въ Москвѣ.

— И вы на-дняхъ ѣдете?

— Какъ скоро—такъ сейчасъ!

И эта прибаутка не была особенно изыщна, но и она шла къ нему.

— А долго ли вы проживете тамъ, на югѣ,—всю зиму?

— Риточку шлютъ въ Ментону, коли въ Санъ-Ремо окажется посуровѣе... Устрою ее, проживу малую толику—и домой. Постомъ надо быть на хуторѣ.

— Меня не забывайте! — сказала Анна Гавриловна и улыбнулась ему, какъ она умѣла улыбаться.

Фраза эта была выговорена потише. Врядъ ли она могла дойти до спальни, куда дверь стояла полузатворенной.

— Да вѣдь я въ городѣ-то рѣдко... Что-нибудь спѣшное...

— Улучите минутку, когда захотите.

Онъ молча кивнулъ головой.

— Благодарствуйте.

— Вы позволите вопросъ... нескромный, но искренній?—сказала она въ томъ же тонѣ.

— Сдѣлайте одолженіе.

— На мужа моего вы теперь не смѣтрите больше какъ на своего человѣка?

— То-есть какъ—на своего?—переспросилъ Кустаревъ и повелъ глазами.

— Вы меня понимаете. Но я во многомъ съ нимъ не солидарна. Я, повѣрьте мнѣ, умѣю цѣнить людей, которыхъ теперь держатъ въ черномъ тѣлѣ.

Раздался кашель больной и на этотъ разъ гораздо сильнѣе. Кустаревъ приподнялся. Встала и Анна Гавриловна.

Ея рукопожатіе было, быть-можетъ, противъ ея желанія, продолжительнѣе и крѣпче, чѣмъ бы слѣдовало.

— Ужъ вы извините, — сказалъ ей прямо Кустаревъ, отворяя ей дверь въ коридоръ.

— Такъ до свиданія?—спросила она.

— До свиданія.

XVII.

Въ отель, гдѣ жили Куликовы и Доротея Васильевна Карусъ, утромъ того же дня привезли съ николаевского вокзала господина, совсѣмъ закутаннаго. Въ отельной каретѣ онъ кашлялъ и, по прїѣздѣ, не поднимая воротника своего мѣхowego пальто, спросилъ у швейцара, въ которомъ этажѣ и номерѣ стоитъ „госпожа Карусъ“. Когда тотъ сказалъ, что въ бельэтажѣ, номеръ двѣнадцатый,— онъ попросилъ дать ему номеръ въ верхнемъ этажѣ, и гдѣ-нибудь въ сторонѣ, въ углу, чтобы не было частаго шума отъ шаговъ по коридору.

Это былъ Гремущинъ.

Въ своемъ номерѣ—изъ двухъ небольшихъ комнатъ— онъ долго раскладывалъ туалетныя вещи и развѣшивалъ платье, какъ человекъ, прїѣхавшій на продолжительное житье, потомъ такъ же долго занимался умываньемъ. Не мало времени потратилъ онъ и на свой туалетъ.

Павелъ Павловичъ очень измѣнился за послѣднее время: носъ выдался и побѣлѣлъ, въ волосахъ показалась сѣдина; онъ ходилъ согнувшись, точно разбитый; взглядъ сталъ тревожнѣе и часто останавливался на одномъ какомъ-нибудь предметѣ.

Передъ отъѣздомъ изъ Москвы онъ схватилъ легкую простуду. Она и задержала его. Иначе онъ былъ бы уже въ Петербургѣ, въ этомъ отелѣ, подъ одной кровлей съ Доротеей Васильевной.

Она не звала его съ собою, даже не спросила, гдѣ онъ думаетъ провести лѣто. А сама она собралась надолго за границу — въ Парижъ, Вѣну, Миланъ; говорила, что въ Петербургѣ, можетъ-быть, приметъ участіе въ двухъ-трехъ концертахъ.

Какъ только она начала собираться, Гремущинъ рѣшилъ и свой отъѣздъ. Ему уже не въ первый разъ приводилось скрывать отъ жены то, что въ немъ происходитъ, а иногда такъ и просто лгать. Она до сихъ поръ ни о чемъ не догадывается.

— Я поѣду, по дѣлу, въ Петербургъ,—сказалъ онъ ей вчера, за обѣдомъ, при дѣтяхъ.

— Надолго?—спросила она его спокойно.

— Не знаю! Какъ управлюсь!

Онъ уже рѣшилъ въ Петербургѣ выправить паспортъ. Денегъ онъ пособралъ достаточно. Въ домѣ тоже есть

деньги на расходъ мѣсяца на два. А тамъ онъ вышлетъ.

Откуда?

Онъ и самъ не знаетъ этого. Будетъ и онъ переѣзжать изъ Вѣны въ Миланъ, изъ Милана въ Парижъ.

Что станетъ онъ тамъ дѣлать? Слушать голосъ Доротеи Васильевны. Жить безъ нея сдѣлалось для него немислимымъ. Онъ уже больше не чернилъ себя, не подвергалъ психическому допросу. Онъ живетъ страстью, и въ ея ничего не можетъ ни начинать, ни допускать.

Но не можетъ же онъ быть въ безвѣстномъ отсутствіи! Это убьетъ его жену. Онъ знаетъ, какая и въ ней страстная натура подъ виѣшностью степенной и спокойной женщины.

Что жъ такое? Отсюда, изъ Петербурга, онъ напишетъ ей, что ему надо быстро пресѣчь его бронхитъ и какъ можно скорѣе очутиться на югѣ... гдѣ—онъ еще себѣ не опредѣлилъ. Гдѣ окажется лучше: въ Пизѣ, на итальянской Ривьерѣ, или въ Ниццѣ, Канѣ, По, Монпелье.

Ему только бы выиграть время. Да если бы его жена явилась сюда сейчасъ и потребовала, чтобъ онъ вернулся въ Москву, онъ наотрѣвъ отказалъ бы ей. Не изъ трусости не имѣлъ онъ съ нею рокового, безповоротнаго объясненія, а изъ жалости къ ней. Чѣмъ позднѣе узнаетъ она правду, тѣмъ будетъ лучше для нея.

Павелъ Павловичъ въ двѣнадцать часовъ былъ готовъ, старательно выбрить, — онъ брился самъ,—одѣтъ въ неизмѣнную черную пару, съ остатками пудры на помятомъ съ дороги и простуды лицѣ. Свою карточку послалъ онъ вѣстъ, къ Доротей Васильевнѣ, съ вопросомъ: когда она позволитъ ему сдѣлать ей визитъ.

Она была дома; по посланецъ Гремущина получилъ отъ нея сухой отвѣтъ: — дома только „до половины перваго“.

Въ салонѣ столъ былъ накрытъ на два прибора, когда Гремущинъ, осторожно заглядывая въ дверь, проникъ туда.

— А!.. Павелъ Павловичъ!—встрѣтила она его довольно любезнымъ возгласомъ, выглянувъ изъ спальни.

Она была въ пенюарѣ изъ легкой шелковой ткани съ золотистымъ отливомъ. Волосы ея были схвачены на затылкѣ и пучкомъ лежали на спинѣ.

Гремущинъ закрылъ мгновенно глаза и остановился въ дверяхъ салоника, гдѣ былъ накрытъ столъ на два прибора.

— Входите, входите!..

Годось продолжалъ быть ласковымъ, и отъ его вибрацій все пришло въ сладостную тревогу въ душѣ Гремущина.

Этотъ внезапный прїѣздъ „милѣйшаго Павла Павловича“—какъ она звала его обыкновенно—сначала почти раздосадовала ее; но потомъ она сообразила, что онъ можетъ быть ей полезенъ въ Петербургѣ, и даже не дальше, какъ черезъ четверть часа, она его пошлетъ съ однимъ спѣшнымъ порученіемъ.

Въ Москвѣ, когда онъ провожалъ ее на желѣзную дорогу и хлопоталъ о томъ, чтобы ей отвели цѣлое отдѣленіе, она прощалась съ нимъ шутя.

— Хотите, увлеку васъ?—говорила она ему въ вагонѣ.

— И—въ вашей волѣ,—шутливо, но съ дрожью въ голосѣ отвѣчалъ онъ.

— Вы скоро сами убѣжите,—сказала она.

Ей почему-то доставляло удовольствіе говорить съ нимъ въ такомъ тонѣ, чего она прежде себѣ не позволяла.

— Скоро,—промолвилъ Гремущинъ и такъ на нее посмотрѣлъ, что ей стало жаль его и немного смѣшно.

Онъ просилъ только объ одномъ—телеграфировать ему о „благополучномъ прибытіи“.

Только теперь она вспомнила, что никакой депеши ему не посылала. Она поняла также, что онъ изъ деликатности не беспокоилъ ее ни письмомъ, ни телеграммой, и самъ поспѣшилъ сюда.

— Сегодня прїѣхали?..—спрашивала она его, подавая ему руку. — Такъ скоропостижно? Отчего же не дали знать?

— Зачѣмъ же? — тихо отвѣтилъ Гремущинъ, замирая отъ ея рукопожатія.

— Какъ же вы узнали, что я въ этомъ отелѣ?

— Вы всегда въ немъ останавливаетесь.

— Ахъ, да!.. У меня такая разсѣянность. Простите, добрый Павелъ Павловичъ. Вы знаете... я невѣняема! Получила, кажется, ударъ... *sur la route de Damas*.

Онъ не совсѣмъ еще понималъ намекъ.

— Садитесь сюда.

Они сѣли на диванъ. Одну треть комнаты занималъ кабинетный рояль и круглый столъ съ двумя приборами, помѣщенный на самой срединѣ.



Гремушинъ бросилъ косвенный взглядъ на приборы. Это замѣтила Доротея Васильевна и тихо разсмѣялась.

— Вы увидите сами, — начала она, откидывая голову на спинку дивана, — и услышите также.

— Кого?

Гремушинъ поднялъ на нее глаза вопросительно.

— Я вамъ сказала, что это для меня *route de Damas*! Повимаете... *un coup de foudre*! Нѣтъ, вы — я убѣждена въ томъ — не встрѣчали еще такого лица. И натура, и голосъ!

— Вѣрю, — прошепталъ Гремушинъ, стараясь улыбнуться.

— Я васъ не ждала. А то заказала бы завтракъ на троихъ. Но я не хочу хитрить, милый Павелъ Павловичъ, вы не способны испортить моего перваго *tête-à-tête*, тѣмъ болѣе, что я съ вами подѣлюсь моей находкой. А вы мнѣ окажете маленькую, но очень важную услугу. Мнѣ необходимы, сейчасъ же, вотъ теперь, не позднѣе второго часа, ноты. Въ музыкальномъ магазинѣ перепутали. Вы свезете, отдадите имъ мою записку и привезете другія. Вѣдь вы сдѣлаете это?

Она не освѣдомилась даже, завтракалъ ли онъ.

— И прикажете сейчасъ же удалиться? — спросилъ Гремушинъ.

— Нѣтъ... когда онъ придетъ.

— Кто такой?

— Порадуйтесь... Не знаю — надолго ли, но мой неисправимый пессимизмъ куда-то запрятался. И собственный успѣхъ, слава — все это тамъ, гдѣ-то, на самомъ заднемъ планѣ. Я вся поглощена этимъ самородкомъ, этой натурой. Какое лицо — вы увидите, какой тонъ, какая фамилія, какія слова, искренность... Это что-то небывалое. Я ужъ не говорю о громадномъ голосѣ.

Тутъ только онъ понялъ, въ чемъ дѣло. Она увлечена кѣмъ-то, вѣроятно пѣвцомъ, иностранцемъ. Какимъ-нибудь итальянцемъ. Что жъ?... Развѣ это неожиданный для него фактъ? Онъ долженъ впередъ мириться со всѣми ея увмеченіями. Врядъ ли есть еще между ними что-нибудь серьезное. Она слишкомъ шумно изливается... А если тутъ — начало страсти?... И на это онъ обязанъ быть приготовленнымъ.

— Поздравляю васъ, — выговорилъ онъ просто и задумавшись.

— Съ такой находкой?

— Съ такимъ... *coup de foudre*!

— Принимаю, принимаю поздравленіе. Только я не умѣю еще говорить съ нимъ. Мнѣ какъ-то совѣстно дѣлается.

— Чего, Доротея Васильевна?

— Да всего, рѣшительно всего! И наружности своей, туалета, языка, манеръ. Я просто глупости говорю.

„Вотъ оно что!—говорилъ мысленно Гремушинъ,—признакъ вѣрный“.

Онъ не досказалъ и себѣ—чего.

— Вотъ вы увидите. Хорошо, что у насъ есть общее дѣло—искусство.

Изъ коридора постучали. Она быстро вскочила, поправила кружево на груди и крикнула возбужденно:

— Войдите!

Вошелъ коридорный и доложилъ:

— Къ вамъ господинъ...—онъ запнулся немного и выговорилъ:—Благомировъ.

— Просите!.. *C'est lui!*!..—шепнула она Гремушину.

### XVIII.

Гость вошелъ не сразу. Онъ что-то долго возился съ калошами. Гремушинъ, весь собравшійся въ комочекъ, то опускалъ рѣсницы, то поднималъ ихъ.

— Это вы, *monsieur* Благомировъ?..—нетерпѣливо крикнула хозяйка.

— Я-съ, я-съ, Доротея Васильевна. Извините, позамѣшкался маленько.

Гремушину вдругъ почудилось, что онъ у кого-нибудь въ гостяхъ, въ Москвѣ, на праздникахъ, и пришли „священники“.

„Да это какой-то дьяконъ“,—говорилъ онъ про себя, все еще недоумѣвая, и даже подумалъ:—не пошутила ли съ нимъ Доротея Васильевна.

— Входите, входите!—крикнула она еще разъ и подбѣжала къ двери въ переднюю.

— Застрялъ одной ногой въ калошѣ, — доносился оттуда дьяконскій басъ — молодой, добродушный и смѣшливый.

„Дьяконъ, дьяконъ“,—повторялъ мысленно Гремушинъ и широко раскрылъ глаза.

Въ дверяхъ уже высилась фигура Благомирова, въ

черной парѣ, стройная и внушительная — совсѣмъ особенная.

Такого лица Гремущинъ не ожидалъ.

Онъ на мгновенье совсѣмъ закрылъ глаза.

Лицо и голова этого „дьякона“ поразили его. Да, это — семинаристъ, даже семинаристище, изъ митрополичьихъ пѣвчихъ или регентовъ богатаго прихода. Но развѣ это не все равно? Лицо — духовнаго оттѣнка, даже совсѣмъ точно съ иконы или большой картины съ евангельскимъ сюжетомъ; этотъ овалъ лица, цвѣтъ волосъ, очертанія бороды, глаза и ротъ, поступь...

„Не подсмѣивалась она надо мной? — думалъ стремительно Павелъ Павловичъ. — Вотъ кого она встрѣтила на своемъ пути въ Дамаскъ“...

— Извините великодушно, — говорилъ Благомировъ; подавая ей руку. — Первымъ дѣломъ, кажется, запоздалъ, а вторымъ дѣломъ, тутъ еще застрялъ въ калошѣ.

Онъ сдерживалъ могучій потокъ своихъ — даже и разговорныхъ — звуковъ.

Доротей Васильевна держала его руку въ своихъ и не спускала съ него глазъ, вся радостная.

„Вотъ оно и пришло!“ — думалъ Гремущинъ, — и съ этой минуты уже пересталъ разбирать семинариста съ евангельскимъ лицомъ, давать ему прозвища или сравнивать съ кѣмъ-нибудь, пересталъ и спрашивать себя: „что это такое — вспышка, капризъ, чувственное увлеченіе или признакъ хандры, или нѣчто такое, что ее самое втянетъ въ себя и сожжетъ?“

Развѣ не все равно?

Онъ машинально поднялся съ дивана и первый подошелъ къ Благомирову.

— Позвольте вамъ отрекомендоваться, — произнесъ онъ кротко и безстрастно, — Доротей Васильевны землякъ и покорный слуга — Гремущинъ, Павелъ Павловъ.

И тотчасъ же, обернувшись къ ней, онъ добавилъ:

— Вамъ нужны ноты къ концу вашего завтрака?

— Да, милый Павелъ Павловичъ... Возьмите мою карету.

Она подала ему свертокъ.

— Зачѣмъ же?.. Это въ двухъ шагахъ, только до Невского... Черезъ полчаса будетъ исполнено, а раньше вы не кончите кушать.

Онъ еще разъ пожалъ руку Благомирову. Тотъ смотрѣлъ

на него своими смѣшливо-благодушными глазами и какъ будто спрашивалъ себя:

„А кто бы это такой могъ быть?“

Маленькими шажками, неслышно ступая по ковру, удалился Гремущинъ, оставивъ ихъ однихъ въ салонѣ.

— А это насчетъ какихъ ногъ?—спросилъ Благомировъ, кладя свою шапку на рояль.

Онъ держался неприпужденно, безъ малѣйшаго проблеска застѣнчивости, точно будто онъ говорилъ съ товарищемъ.

— Миѣ прислали не тотъ дуэтъ, перепутали...

— Зачѣмъ же было почтеннаго человѣка беспокоить?—выговорилъ Благомировъ тономъ шутливаго упрека.—Я бы сбѣгалъ... А у него въ тому же совсѣмъ нездоровый видъ... И странная какая-то голова... Я бы сказалъ: польскій ксендзъ въ партикулярномъ платьѣ.

— Ха-ха-ха!—громко и раскатисто разсмѣялась Доротея Васильевна.—Это очень удачно! Даже на іезуита похожъ. Но онъ - олицетворенная преданность...

— Кому? Вамъ? — довольно смѣло спросилъ Благомировъ.

Съ этой красивой, богатой и даровитой „барынькой“—такъ онъ ее прозвалъ, хотя и зналъ, что она дѣвушка—онъ почти съ первыхъ словъ почувствовалъ себя необыкновенно свободно. Когда его привезъ къ ней Андреоли послушать его голосъ, и былъ тутъ Званцевъ, онъ не испытывалъ ни малѣйшаго стѣсненія... Голосъ ея ему не особенно понравился, и про себя онъ опредѣлилъ ея манеру пѣть почти такъ, какъ Ермиловъ, только другими выраженіями. Онъ и тогда былъ способенъ сказать ей, изъ-за чего она бѣжитъ, когда у нея все есть: и деньги, и независимость? Ея славолубіе, со смѣсью жизненной горечи, которую она носила въ родѣ извѣстнаго рода мундира, казалось ему „порядочною блажью“. Какъ женщина, она совсѣмъ еще на него не влияла.

Своему учителю Андреоли, у котораго онъ все-таки сталъ брать уроки, Благомировъ, на первомъ же урокѣ, когда тотъ началъ ему обѣщать поѣздку въ Италію, на деньги Званцева, замѣтилъ:

— Если у него мощна туга, я живообразно возьму у него, пожалуй; но только чтобы тутъ всякое участіе женскаго пола было устранено.

Андреоли посмѣялся надъ его добродѣтелью и пере-

далъ это Доротеѣ Васильевнѣ. Ей хотѣлось задѣть сейчасъ же этотъ вопросъ, успокоить его и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показать ему, какъ она цѣнитъ его гордость.

— Вамъ кушать хочется?—спросила она, указывая ему на приборъ и позвонила.

— Да я, признаться сказать, закусилъ слегка.

— Не надѣялись быть сыты у меня?

— Нѣтъ, не это, а просто соблазнился, шелъ мимо пекарни Исакова и два пирожка съ леверомъ истребилъ...

— Съ чѣмъ? Съ чѣмъ?—переспросила она.

— Съ леверомъ... Это—рубленая... всякая всячина, легкія тамъ, что ли...

„Боже, какъ онъ милъ!—внутренно восклицала она.— Съ леверомъ! Кромѣ него, никто такъ не скажетъ!“

Они сидѣли другъ противъ друга за круглымъ небольшимъ столомъ, веселые и молодые, но она—сильно возбужденная, онъ—спокойный и равнодушный къ этой соблазнительной женщинѣ.

Когда человѣкъ поставилъ на столъ первое блюдо, она вдругъ вспомнила, что нѣтъ закуски.

— Простите меня! Я совсѣмъ и забыла. Вы пьете водку?

— Пристрастія не имѣю; но иногда невредительно бываетъ.

Лакей былъ усланъ за закуской, а Благомировъ, продолжая въ томъ же шутливомъ тонѣ, сказалъ:

— Анекдоты рассказывать—дурная привычка; да я и не имѣю ея, а только, по части крѣпкихъ напитковъ—въ данномъ случаѣ водки—пришелъ мнѣ на память одинъ разговоръ.

— Пожалуйста, расскажите!—стала она просить его звуками пятнадцатилѣтней дѣвочки.

— Видите, одинъ любитель архіерейскаго служенія съ провозглашеніемъ многолѣтія освѣдомлялся, какъ, дескать, насчетъ употребленія зелена вина у протодіаконовъ? Ему и отвѣчаютъ: для теноровыхъ голосовъ—не возбраняется, а для басовъ—такъ даже и поощряется.

Самъ онъ не разсмѣялся, зато она расхохоталась, откинувшись на спинку стула и нѣсколько разъ повторила: „даже и поощряется“.

Принесли закусокъ и нѣсколько сортовъ водки. Благомировъ выпилъ только очищенной, но отъ закусокъ ни отъ одной не отказался. Доротея Васильевна почти съ умиле-

ніемъ смотрѣла на его аппетитъ. Ее восхищала его простота. Она и не требовала отъ него никакихъ знаковъ вниманія, не обижалась и тѣмъ, что онъ сразу съ ней взялъ такой товарищескій тонъ.

Смотрѣть на него было для нея еще неиспытаннымъ наслажденіемъ. И она его не скрывала. Всякій, на мѣстѣ этого баса, изъ сельскихъ учителей, позналъ бы щекотанье своего мужского тщеславія. А въ немъ ничего подобнаго она не замѣчала. Благомировъ не сознавалъ даже и того, что она съ нимъ совсѣмъ не такая, какъ съ другими.

Но въ его словахъ, сказанныхъ Андреоли насчетъ вліянія женскаго пола на его отправку за границу, была все-таки же щепетильность мужчины.

И вотъ это она должна была прежде всего устранить.

— Я знаю,—прямо заговорила она, когда они, въ антрактѣ двухъ появленій лакея, остались одни,—я знаю, что васъ смѣтило въ вашей поѣздкѣ въ Италію. Звандевъ предлагаетъ вамъ ее вовсе не потому, что я за васъ просила. Я не имѣла понятія о васъ. Голосъ вашъ онъ услышалъ въ одно время со мною. Повѣрьте,—щеки ея сильно разгорѣлись,—если бъ этотъ баринъ отнесся къ вамъ свысока, я сама бы стала васъ упрашивать не принимать его предложенія, хотя оно для него чистѣйшій вздоръ.

— Большой бѣды не было бы,—выговорилъ Благомировъ и нагнулъ низко голову.

— Такъ разсуждать я вамъ не позволю! О! я прекрасно понимаю, что производитъ въ васъ это раздвоеніе. Только въ искусствѣ, въ этомъ, если хотите, міражѣ, борьбѣ съ толпой, въ славѣ, назовите какъ хотите, и есть еще что-то, что влечетъ и придерживаетъ къ жизни.

Она говорила съ большимъ пыломъ, но въ глазахъ ея было нѣчто совсѣмъ иное. За полчаса передъ тѣмъ она не могла Гремунину. Ея карьера отошла куда-то вдаль. Если она чувствовала въ себѣ артистку, то затѣмъ, чтобы имѣть прямую связь съ этимъ самородкомъ, что сидѣлъ передъ ней и такъ старательно добдалъ свою порцію „*bœuf à la Stroganoff*“, чтобы не дать ему уклоняться отъ прямого пути, чтобы имѣть поводъ толкать его, видѣть развитіе его таланта, создать ему всемірную извѣстность.

— Охъ, Доротея Васильевна,—выговорилъ Благомировъ, вздохнувъ, какъ человекъ хорошо поѣвшій, — не Богъ

вѣсть какое счастье для человѣчества будетъ, что я добьюсь того, что буду называться гдѣ-нибудь въ Италіи Благомиріо, или въ такомъ вѣсѣ. Если угодно знать всю подноготную, я все еще на распутьи. Что жъ? И то сказать... Сколько хорошихъ людей обо мнѣ стараются. Я и передъ ними, какъ бы сказать, обязанъ...

— Ни предъ кѣмъ вы не обязаны! — вскричала она и черезъ столъ протянула ему свою руку. — Съ нами товарищъ говорить, Благомировъ, а не женщина. И если бы, вѣсто Званцева, я сказала вамъ: раздѣлите со мной мой годовой доходъ, вы мнѣ потомъ заплатите, неужели вы бы отказались только оттого, что я дѣвица, барышня, принадлежу къ женскому полу?.. Это мелко и не похоже на васъ... Вы должны презирать такіе жалкіе свѣтскіе предрасудки.

— Да вѣдь тотъ баринъ согласенъ меценатствовать?

— Согласенъ.

— Ну, что жъ!.. Иду въ наймиты... По доброй волѣ...

— За вашъ талантъ и вашу славу!

Они подняли стаканы. Благомировъ сказалъ задумчиво и вдумчиво:

— Лучше за то, Доротея Васильевна, чтобы не опоздать въ погонѣ за этой самой славой.

Они еще разъ чокнулись. Въ эту минуту Доротея Васильевна мучительно спросила себя:

„А будетъ ли онъ моимъ?“

## ХІХ.

Гости прибывали. Лидія Степановна Капцова, очень возбужденная и затянута въ новый корсетъ и въ свѣтлый жакетъ съ высокимъ воротникомъ, ходила по своимъ двумъ гостинымъ и столовой, гдѣ Дина разливала чай въ яркой шенизеткѣ и въ прическѣ, которая только что ходила въ моду, съ косой, положенной книзу, а не на шкворѣ.

Около нея пилъ изъ стакана крѣпкій чай и немного причмокивалъ ея постоянный кавалеръ, Маркъ Саввичъ Габанъ, инженеръ-подричникъ, рыжеватый, курчавый, съ еснучками и бородкой клинушкой, очень красный, небольшого роста, широкій въ плечахъ, въ короткой вишнѣ и красномъ галстукѣ, заткнутомъ темной овальной платочкомъ. Онъ безпрестанно прерывалъ свое балагурство короткими брюшными смѣхомъ и маленькими сѣрыми

глазками взглядывалъ на станъ Дины и ея новую прическу. Мать ея надѣялась, что послѣ этого пикника инженеръ сдѣлаетъ, наконецъ, предложеніе.

Дина разливала чай, стоя, поглядывала въ разные стороны и продолжала шуточный разговоръ съ Габвинымъ. Она чувствовала себя въ своемъ элементѣ, такъ же какъ и мать ея. Для нихъ не было жизни внѣ пріемовъ, пляса, катаній, бенефисовъ.

Гриша, окруженный молодежью, рассказывалъ какой-то анекдотъ въ одной изъ гостиныхъ, недалеко отъ группы дамъ, гдѣ замѣтнѣе другихъ была вдова Мещерина, въ платьѣ стѣше, издали точно облитая сливками, румяная и свѣжа, вся въ брильянтахъ. Собрались уже двѣ трети всѣхъ приглашенныхъ: человекъ больше двадцати. Лидія Степановна нѣсколько разъ отзывала сына и шепталась съ нимъ, кого съ кѣмъ посадить. Онъ записывалъ все на бумажку и повторялъ ей:

— Мамахенъ, не волнуйтесь... Всѣхъ усадимъ какъ слѣдуетъ.

Себѣ въ помощники, по распорядительной части, Гриша взялъ черненькаго, очень тонкаго лиценста. Изъ товарищей по факультету былъ приглашенъ всего одинъ, явившійся въ мундирѣ, за что молодой Капцовъ сдѣлалъ ему легкій выговоръ. Было три-четыре офицера, но черные сюртуки преобладали. Лидія Степановна хлопотала о томъ, чтобы побольше было молодежи. Одна изъ дѣвицъ оказалась даже пятнадцатилѣтней дѣвочкой и въ первый разъ въ жизни ѣхала на тройкѣ кататься съ горъ. Но пришлось пригласить и нѣсколькихъ дамъ въ лѣтахъ самой хозяйки или около того, въ томъ числѣ одну, очень бойкую на разговоръ съ мужчинами, полковницу, сѣдьющую, съ напудренными волосами.

Порфирій Николаевичъ сидѣлъ въ это время на вечернемъ засѣданіи какой-то комиссіи. Его семья надѣялась, что онъ не попадетъ и на ужинъ. Онъ привыкъ спать, когда у нихъ танцы, пѣніе, шумъ и гамъ до пѣтуховъ. Лидія Степановна не надѣялась и на то, что мягко обойдется съ нимъ Малышевъ, который обѣщалъ пріѣхать къ ужину. Къ счастью, о приглашеніи Кустарева и поминутно было со стороны Порфирія Николаевича.

Десятый часъ на исходѣ. Въ столовую вошелъ Ермиловъ. Онъ рѣдко посѣщалъ ихъ, и дамы Капцовы находили его почти „пенужнымъ“ правда, блестящимъ и очень



воспитаннымъ, но съ оттѣнкомъ своего превосходства, отъ котораго ихъ коробило. Какъ женихъ, онъ былъ человѣкъ „отпѣтый“, танцовать давно пересталъ, въ ужинахъ не любилъ принимать участія, считался ужаснымъ скрягой и человѣкомъ безъ хорошихъ средствъ, въ сущности какимъ-то „управляющимъ“, который скрываетъ свою частную службу. Вдобавокъ, его репутация „ужаснаго женолюбца“ не подходила къ нравамъ веселящагося Петербурга Капцовыхъ, гдѣ любили постоянство въ ухаживаніи и даже въ связяхъ.

Ермиловъ почти назвался на ихъ пикникъ и притомъ черезъ Порфирія Николаевича, чего обыкновенно не дѣлалъ никто изъ ихъ постоянныхъ посѣтителей. И мать, и дочь сейчасъ же догадались, что было причиной такой навязчивости. Онѣ пригласили Анну Гавриловну, и съ мужемъ. По этому поводу мать съ дочерью немного совѣщались. Московская приватъ-доцентша, какъ дама, была цѣнной гостьей, но могла оказаться и невыгодной, будь она здѣшняя.

— Ну, что жъ такое,—успокаивала Лидія Степановна,—она здѣсь всего на нѣсколько дней. Бабочка эффектная и держитъ себя премило. Молодежь будетъ увиваться — пускай! У тебя она твоего Габзина не отниметъ.

Отъ чая Ермиловъ отказался и пошелъ отыскивать молодого хозяина.

Гриша, засунувъ одну руку въ карманъ панталонъ, съ откинутой полкой на бѣлой подкладкѣ, только доканчивалъ рассказывать свой анекдотъ... Ермиловъ взялъ его подъ руку и шепнулъ:

— На одну минуту. Большая просьба къ вамъ, Григорій Порфирьевичъ.

— Что угодно?

Молодой Капцовъ поглядѣлъ на Ермилова съ усмѣшкой, въ которой тотъ прочелъ: „знаю, братъ, о чемъ ты хочешь меня просить“.

— Вы будете разсаживать на тройкахъ?

— Я.

— Позвольте мнѣ въ тѣ сани, гдѣ будетъ madame Буликова.

Говоря это, Егоръ Петровичъ нарочно надѣлъ свой рѣсепез и смотрѣлъ вбокъ, чтобы скрыть непріятное смущеніе, овладѣвавшее имъ.

— Тройка эта уже въ полномъ комплектѣ.

— Нельзя ли переменить?

Гриша взглянул на него съ гораздо болѣе безцеремонной усмѣшкой, вынулъ записку, повелъ губами и сталъ соображать.

— Извольте. Только еще дамъ не будетъ.

— Да и не надо!—вырвалось у Ермилова.

Онъ началъ краснѣть отъ удовольствія, что дѣло уладилось.

— Благодарю васъ!.. Вы очень любезны! — заговорилъ онъ, крѣпко пожимая руку Гриши.

— Не стѣить! На здоровье!

Въ этой прибауточной фразѣ: „на здоровье“ было нѣчто къ родѣ покровительства. Въ другое время Ермиловъ безжалостно бы обрѣзалъ такого мальчишку, тутъ же онъ только разсмѣялся совсѣмъ не своимъ смѣхомъ и не отошелъ сразу, а потоптался на мѣстѣ.

„Однако, это Богъ знаетъ что такое!“ — устыдился онъ себя, проходя обратно въ столовую. Онъ чувствовалъ, что волненіе его растетъ. Если бъ онъ хотѣлъ дать себѣ волю, его бы отнесло къ двери въ переднюю, и онъ сталъ бы ждать входа въ первую гостиную Анны Гавриловны. Для нея назвался онъ на этотъ пикникъ „средней руки“, и вотъ сейчасъ ходилъ просить фата-мальчишку, какъ о великомъ одолженіи, сѣсть съ ней въ одну тройку. А вдругъ какъ тотъ и мужа посадить? Даже этого онъ не выговорилъ себѣ, до такой степени не владѣлъ собою въ разговорѣ съ Гришей Капцовымъ.

У входа Ермиловъ довольно долго топтался. Онъ почти ни съ кѣмъ не былъ знакомъ, да и это общество не считалъ своимъ. Онъ ѣздилъ—не часто—въ свѣтъ, но другого сорта, или въ полусвѣтъ, изрѣдка въ кружки любителей балета и Михайловскаго театра.

И добро бы еще видѣлъ онъ тутъ женщинъ, выкупающихъ лицомъ и турнирами свою петербургскую прѣсноту, то и того онъ не замѣчалъ. Двѣ-три безвкусныхъ дѣвицы и нѣсколько дамочекъ средней руки. Роскошная вдова Мещерина не привлекала его. Онъ догадывался, что она близка съ Гришей Капцовымъ, и не завидовалъ студенту. Такія полныя, яснолицыя чувственницы оставляли его холоднымъ. Очень ужъ онъ хорошо зналъ ихъ повадку, степень ихъ изыщества, ихъ жаргонъ, ихъ наклонность къ самому избитому ресторанному кутежу, ихъ рыхлое мужелюбіе, лишенное жизни, блеска и нерва.

Какъ-то на-дняхъ попалъ онъ въ клубъ къ инженерамъ, на костюмированнѣй вечеръ — былъ тотъ же слой общества, но тамъ хоть одна курносенькая бабенка, съ большими круглыми глазами, заняла его на полчаса своей фигурой и костюмомъ, правда, заѣзженнымъ, но бывшимъ ей къ лицу—*Madame l'Archiduc*.

Но все это только скользнуло въ головѣ Егора Петровича. Онъ изумлялся тому, что топчется около входной двери и ждетъ, какъ студентикъ или офицерикъ, появленія въ дверяхъ *ся*... Сколько разъ приводилось ему ждать, и въ маскарадахъ, и на улицѣ, и на прогулкахъ, и у себя дома, но никогда онъ еще не переживалъ такого ожиданія, какъ въ эту минуту.

Онъ опустилъ голову, прислонившись къ камину. Отъ этого мѣста до двери было не больше трехъ шаговъ. Чуть слышный шорохъ заставилъ его встрепенуться. Онъ поднялъ голову. Въ портьеръ остановилась Анна Гавриловна, а за ней, вбокъ, видна была короткая фигура ея мужа.

Шею — эту прекрасную шею, шедшую могучимъ стволѣмъ, какъ на статуяхъ, — покрывалъ воротникъ изъ матовыхъ золотыхъ шпурковъ, переходившій въ такой же нагрудникъ. Платье драпировало своими волнистыми складками, въ видѣ драпри, якое, *ся* изумительный станъ, никогда еще не выступавшій передъ нимъ въ такой красотѣ.

— Ахъ!.. Это вы! — вырвалось у него.

И вдругъ ему нестерпимо захотѣлось сказать ей, какъ въ Москвѣ, стихомъ Чацкаго:

„Конечно, не меня искали!“

Онъ почувствовалъ, что его цитата была бы принята совсѣмъ не такъ, какъ на Патриаршихъ-Прудахъ.

— Здравствуйте, Еркиловъ, — выговорила Анна Гавриловна и холодно-привѣтливо, съ необычайно красивымъ наклономъ головы, протянула ему руку.

— Вы позволите провести васъ къ хозяйкѣ?

Онъ было-хотѣлъ предложить ей руку, но Кузиковъ выскочилъ изъ-за портьеры, поздоровался съ нимъ, съ короткимъ смѣхомъ, и свернулъ свою правую руку кренделемъ.

Анна Гавриловна не обратила на этотъ жестъ вниманія и взяла руку Еркилова. Она оглянула гостиную и спросила вполголоса:

— Бустаревъ здѣсь?

— Я не видѣлъ, — отвѣтилъ Ермиловъ и хотѣлъ прибавить что-то злобное, но опять испугался ея.

Подбѣжалъ Гриша Капцовъ, по-офицерски поклонился, указалъ рукой на Ермилова и объявилъ:

— Вашимъ кавалеромъ будетъ, въ тройкѣ, ш-г Ермиловъ.

— Да? — спросила Анна Гавриловна и приняла руку студента, который повелъ ее прямо въ столовую.

Мужъ пошелъ съ Ермиловымъ за ней слѣдомъ.

## XX.

Въ полутемнотѣ, на вышкѣ одной изъ деревянныхъ башенъ ледяной горы, скучилось общество пикника Капцовыхъ.

Морозило. Рѣзковатый вѣтерокъ ходилъ по вышкѣ и относилъ голоса. Только что спустились большія сани съ нѣсколькими дамами. Онѣ взвизгивали, и ихъ болтовня слышалась теперь уже въ самомъ низу. На краю Гриша Капцовъ усаживалъ вдову Мещерину, укутанную въ бѣлый пуховой платокъ и свѣтло-песочную ротонду съ тибетскимъ мѣхомъ—обширную и безформенную. Онъ самъ утвердился позади, уперся ногами и обхватилъ ее. На немъ молодецки сидѣла фуражка, и высокій стоячій мерлушковый воротникъ пальто подпиралъ ему затылокъ.

— Перегонимъ! — крикнула Мещерина.—Grégoire... Я, право, не боюсь.

— Увидимъ! — отвѣтилъ Гриша, и въ эту минуту ихъ высокія сани помчались внизъ, стремительно и по прямой линіи.

— А вы не боитесь такъ?—спросила Анна Гавриловна Ермилова, стоявшаго рядомъ съ нею, немного въ сторонѣ, у одной изъ колонокъ навѣса.

Она была также укутана въ бѣлый, но шелковый платокъ, и темная, крытая шелкомъ шубкаставляла контуры ея стана. Лицо уходило въ платокъ, повязанный по-крестьянски, и глядѣло оттуда возбужденными и недобрыми глазами.

— И?—переспросилъ Ермиловъ.

— Вы такъ не сумѣете, молодцомъ, какъ этотъ студентъ?

Очень ему захотѣлось доказать ей, что можетъ, но онъ не рѣшился выказать молодечество, не надѣялся на свои ноги. Онѣ все сильнѣе стали, въ эту зиму, припадать.

— Нѣтъ, не сумѣю,—отшутился онъ со вздохомъ.

Говорить другимъ тономъ онъ пробовалъ, вотъ сейчасъ, но на всѣ его подходы Куликова отвѣчала короткими фразами, которыя онъ долженъ былъ глотать, точно кусочки льду.

Въ троечныхъ саняхъ онъ сѣлъ противъ нея, глядѣлъ на ея прекрасный профиль, хотѣлъ овладѣть разговоромъ, но она еще на Троицкомъ мосту объявила, что боится жабы, закрыла ротъ и половину лица муфтой. Рядомъ съ ней сидѣлъ какой-то мальчикъ-лицеистъ, а на переднемъ сидѣннѣ, около него, офицерикъ. Они все остряли, перекидывались прибаутками, бывшими въ ту зиму въ ходу въ ресторанѣ Кюба, съ прибавкою старенькихъ анекдотовъ, въ родѣ того, какъ одинъ правовѣдъ сказалъ другому, указывая на оберъ-полицеймейстера и перефразируя его слова:

— „Сережа, запиши!“

Ермилову хотѣлось крикнуть имъ: „Да когда же вы заолчите, мальчуганы!“ Его бѣсило то, что Анна Гавриловна, не принимая участія въ ихъ болтовнѣ, изрѣдка смѣялась этимъ пошлостямъ, и въ ея взглядѣ онъ могъ читать тогда:

„Они глупы, но молоды, и жизнь въ нихъ играетъ, а вы, мой другъ, все еще не хотите сойти съ вашего ампула любовнаго злодѣя“.

Онъ ясно читалъ это въ косвенныхъ взглядахъ этихъ узковатыхъ глазъ съ поволокой, и отъ сердечной боли кровь прилила ему къ головѣ.

Зябко ему въ груди подъ короткимъ пальто; морозный воздухъ пробирается подъ ваточную подкладку и ползетъ вдоль спины. И зачѣмъ онъ надѣлъ свою бекешъ, вмѣсто медвѣжьей шубы? Неужели все изъ желанія молодиться?.. И дорогой онъ уже начиналъ зябнуть; ноги ныли въ щиколкахъ и ниже колѣнъ.

Весь троечный пикникъ Капцовыхъ тяготилъ его чрезвычайно. Что-то грубое, нелѣпое и трактирно-разгульное было въ носѣ отъ этой „Аркадіи“, отъ разговоровъ, отъ смѣха дамъ и дѣвицъ, отъ этихъ горъ, отъ зловѣщей синевы электрическаго свѣта.

Когда ихъ тройка подкатила къ подъѣзду и онъ высочилъ первый изъ саней, чтобы высадить Анну Гавриловну, у входныхъ дверей стояли два купчика — одинъ совсѣмъ пьяный, другой поддерживалъ его. Оба перего-

варивались съ лихачомъ-извозчикомъ. Дворникъ стоялъ тутъ же съ метлой и посмѣивался браннымъ возгласамъ захмѣлѣвшаго кучика.

Онъ подумалъ, что и въ Москвѣ, въ „Стрѣльнѣ“ или у „Ира“, куда онъ хотѣлъ везти кататься Анну Гавриловну на лихачѣ, они могли наткнуться на точно такую же сцену. Развѣ не хорошо поступилъ онъ, отказавшись отъ такого удовольствія? И теперь эта дѣвица, сдѣлавшись — *par dépit* — госпожой Куликовой, мститъ ему, а онъ не можетъ бросить запоздалое ухаживанье, не ужѣтъ найти лазейки въ душу этой московской барыньки, начать играть на одной изъ податливыхъ струнъ всякой женской натуры, втягивается въ глупую и смѣшную роль.

— Холодъ дѣйствуетъ на васъ, какъ на иныхъ жара? — сказала она, поднявъ голову, и прищурилась.

— Въ какомъ смыслѣ? — спросилъ Ериловъ.

— Выпускаетъ изъ васъ весь эръ-фиксъ.

И она засмѣялась суховато и почти дерзко.

„Подтянись, — ободрялъ себя онъ, — отпарируй ей такъ, чтобы она, наконецъ, познала, съ кѣмъ имѣетъ дѣло“.

Но острота не являлась на языкѣ. Онъ только юмористически крикнулъ, переступилъ съ ноги на ногу — ноги были въ высокихъ ботинкахъ — и перевелъ плечами.

„Да вѣдь я просто тупѣю! — съ ужасомъ замѣтилъ онъ мысленно. — Еще два-три приѣма такой гипнотизаціи — и я превращусь въ маньяка, въ родѣ Гремущина“.

Съ Гремущинымъ онъ встрѣтился утромъ того же дня. Ему судьба съ нимъ встрѣчаться. Они поговорили, разужѣтся, о Карусѣ. Московскій чудакъ на вопросъ Ерилова — ѣдетъ ли онъ вслѣдъ за Доротеей Васильевной? — отвѣтилъ голосомъ католическаго патера:

— Я своей воли уже не имѣю, — и глаза его получили выраженіе, вызвавшее въ Ериловѣ почти гадливое чувство.

„Дойду, дойду до того же!“ — повторялъ онъ, и въ первый разъ въ жизни чувствовалъ, что и онъ начинаетъ лишаться воли въ выборѣ разговора, что ему не найти, на этой вышкѣ, ничего сколько-нибудь умнаго, напоминающаго о прежнемъ Юріи Петровичѣ.

Положеніе сдѣлалось бы нестерпимымъ, если бъ снизу не поднялась цѣлая группа дамъ и мужчинъ, среди нихъ и мужъ Анны Гавриловны, и вся вышка наполнилась говоромъ. Куликовъ руководилъ этой партіей, распорядился опять санями, усаживалъ дамъ.

— Юрій Петровичъ!.. Анна Гавриловна! — пригласилъ онъ ихъ. — Рѣшитесь хоть въ нашей лодкѣ!

Онъ намекалъ на форму широкихъ саней.

— Угодно? — спросилъ ее Ермиловъ и протянулъ ей руку.

Анна Гавриловна дала себя усадить. Ермиловъ помѣстился между двумя барышнями, которыя все взвизгивали, и не могъ освободиться отъ непріятнаго предвкусія пустоты и полета внизъ. Онъ никогда не катался, и все это удовольствіе находилъ „идіотскимъ“. Вбѣкъ смотрѣлъ онъ на юркую фигуру Куликова. Тотъ смахивалъ на провинзора изъ нѣмцевъ, чувствующаго себя необычайно ловкимъ, милымъ и простымъ. Жена ни разу на него не взглянула, пока усаживалась. Ермиловъ не могъ ни минуты сомнѣваться въ томъ, что она совершенно равнодушна къ своему мужу, но это-то и лзвило его, и вызывало неиспытанное ощущеніе обиды, и тянуло куда-то внизъ головой, по какому-то льду, какъ эти сани, стоявшія уже наполовину надъ склономъ горы.

Вотъ сани вздрогнули, передокъ ухнулъ, полозья засвистѣли по ледяной корѣ; у Ермилова занялся духъ; онъ закрылъ глаза и взялся быстро за ободокъ.

— Бонтесь? — раздался женскій голосъ.

Это она его спросила.

— Боюсь! — отвѣтилъ онъ и не открывалъ глазъ.

Но онъ отдавался полету внизъ почти съ отраднымъ замираніемъ. Это катанье — не спроста. Это — символъ! Такъ и онъ полетитъ внизъ, если вдругъ, какимъ-то чудомъ, страсть завладѣетъ имъ.

Все можетъ быть!.. Нужды нѣтъ, что онъ, до сихъ поръ, держался взгляда на неизмѣнность натуры и темперамента въ человѣкѣ... Но почему же не въ силахъ онъ разбудить въ себѣ прежняго Ермилова, дать ходъ своей скептической чувственности во вкусъ восемнадцатаго вѣка, настроить свое воображеніе на гривуазные образы?

Противъ него сидитъ „она“. И это слово „она“ совсѣмъ не такъ звучитъ у него внутри, какъ когда-либо, въ безчисленные его легкія увлеченія и такія же легкія побѣды.

Сани остановились. Всѣ торопливо повскачили съ мѣстъ. Онъ не сразу могъ придти въ себя. Точно сквозь дымку видѣлъ онъ, какъ Куликовъ повелъ жену свою подъ руку вверхъ, по крутой лѣсенкѣ. И онъ пошелъ за ними.

Ноги у него все сплывае ныли. Подниматься ему было трудно. Ночью — онъ зналъ навѣрное — будутъ сильныя боли. Но что за нужда! Почему же для „нея“ не пострадать, когда изъ-за столькихъ дрянныхъ интригъ онъ не щадилъ здоровья?

И опять, при спускѣ, то же ощущение, погруженіе въ безволие, начало неожиданной и тираннической силы женщины уже не надъ однимъ его потертымъ, старѣющимъ тѣломъ, а надъ всѣмъ существомъ.

Онъ уже не возмущался противъ этого вывода, а только претерпѣвалъ. Онъ не упускалъ „ее“ изъ виду, не подходилъ къ ней, не заговаривалъ. Все общество, послѣ катанья, побродило еще по зимнему саду, гдѣ пѣли арфыяки, потомъ стало разсаживаться по тройкамъ. И того купчика, что входилъ, когда они подѣхали, выпроваживала прислуга, мертвецки пьяного, и дворникъ застегивалъ полость. Все это мелькало мимо него, не вызывая никакой прежней „ермиловской“ игры ума. Онъ чувствовалъ всѣмъ существомъ, что противъ него женщина, отъ которой онъ не отстанетъ, что ему жутко и сладко взглядывать на это лицо, ушедшее вълубь бѣлаго платка, откуда два длинныхъ глаза ожгутъ его своимъ красивымъ холодомъ.

„Воли у меня нѣтъ, воли у меня нѣтъ!“ — повторялъ онъ слова Гремушина, и въ этомъ человѣкѣ почувалъ своего собрата и товарища.

Извозчикъ вскрикивалъ, пристяжныя взбивали комья снѣга, фонари мелькали справа и слѣва.

## XXI.

Въ обѣихъ комнаткахъ номера Кустаревыхъ все уложено. Посредняѣ перной—сундукъ, черный, деревянный, скованный желѣзными полосами, стоитъ увязанный веревкой. На подзеркальничѣ—ручной чемоданчикъ. Здѣсь и тамъ—разныя спертки. По полу разбросаны газетныя листы и много ненужныхъ, брошенныхъ нарочно, коробочекъ, обрывковъ оберточной бумаги, картонокъ.

У стола, гдѣ горитъ только одна свѣча, въ позѣ людей, отдыхающихъ отъ укладки, сидѣли другъ противъ друга мужъ и жена.

Маргарита Сергѣевна куталась въ платокъ. Придѣ волосъ на ея лбу сползла и давала тѣнь. Лицо было очень блѣдно, но глаза горѣли. Мужъ ея облокотился одной



рукой о столъ, курилъ и низко опустилъ голову съ взъерошенными отъ укладки волосами. На немъ была блуза, подпоясанная кушакомъ.

— А знаешь что, Меня,—вдругъ заговорила она,—отпусти-ка ты меня одну!

Не сейчасъ пришла она къ этому предложенію—только не рѣшалась его раньше высказать, боролась съ собой.

— Что такое?—какъ бы не дослышалъ Кустаревъ.

— Отпусти меня одну! — повторила маленькая женщина.

Онъ поднялъ голову и откинулъ волосы.

— Это съ какой стати? Что ты, милая? Черезъ великую силу добылъ я паспортъ, и вдругъ ты что надумала!.. Вѣдь ты еле бродишь. Такой долгій путь, переѣзды съ одного вокзала на другой... Заболѣть можешь въ Варшавѣ, въ Вѣнѣ... и тамъ на первыхъ порахъ... Да и выбрать надо намъ сообща самое подходящее мѣсто. Отсюда ничего не видать. А наши врачи, и самые знаменитые, привыкли къ извѣстнымъ звукамъ; одинъ твердитъ: „Санъ-Ремо“, другой—„Ментона“, третій—„Каннъ“ или „Ницца“. Все надо оглядѣть, квартиру нанять. Слѣдственно, бѣгать, по этажамъ лазить, торговаться съ хозяйками... Гдѣ же тебѣ!

Все это онъ выговорилъ однимъ духомъ, очень убѣжденно.

— Знаю, Меня,—возразила Маргарита Сергѣевна.—Я передумывала и такъ, и этакъ. Отъ того, что ты будешь сидѣть со мною въ вагонѣ, я здоровѣе не буду.

— Однако, милая!

Онъ начиналъ волноваться и затушилъ папиросу тревожнымъ движеніемъ руки.

— Тебѣ туда—ни къ чему!.. Ни для здоровья, ни для удовольствія. Я тебѣ и безъ того буду большихъ денегъ стоить.

— Къ чему опять объ этомъ?

Кустаревъ махнулъ рукой: эту тему жена его уже нѣсколько разъ затрогивала въ Москвѣ, что ему было особенно непріятно.

— Ну, я не буду,—кратко, но твердо продолжала она.—Ты не любишь... Я нахожу только, что тебѣ ѣхать и жить тамъ, зря, неизвѣстно сколько времени, совершенное безуміе. Хуторъ забросить, весна не за горами. Газета также... Оттуда что ты будешь писать? Да ты и

не охотникъ до корреспонденцій. Не умишь пустячки болтать.

— Все это лишнее!—рѣзко выговорилъ онъ и заходилъ по комнатѣ.

— Нѣтъ, Меня, я прошу тебя выслушать...

— Не утомляй ты себя, Бога ради! Видишь, задыхаться начала!

— Помолчи чуточку, не перебивай меня.—Она глубоко перевела духъ и вытянула ноги. — Ужъ если ты такъ боишься за меня, ну, пошли со мною кого-нибудь... За небольшую плату поѣдетъ... хорошая дѣвушка... въ родѣ бонны или грамотной горничной. Здѣсь много такихъ... это не Москва. Содержаніе полное и жалованья рублей пятнадцать. Съ радостью согласится!

— Этого еще недоставало!

Но онъ смолкъ, пересталъ ходить и опять присѣлъ къ столу.

— Повѣрь, что такъ лучше будетъ, Меня. Когда съ близкимъ человѣкомъ ѣдешь больная, изъ всего выходитъ лишнее волненіе, разговоръ. Сама привыкаешь ныть и жаловаться.

— Ты этихъ не грѣшишь, кажется.

— Избалуюсь! Непремѣнно избалуюсь! Съ простой сидѣлкой лучше. Все равно, если я тамъ не поправлюсь, и тебѣ необходимо будетъ возвратиться, кончимъ же тѣмъ, что найдемъ кого-нибудь.

— Это десятое дѣло. Не теперь... Такая гадость въ этомъ Питерѣ: вѣтеръ, то лютый морозъ, то оттепель, а ты собираешься сидѣть еще, тратить время на подысканье компаньонки, или тамъ хоть и толковой горничной!..

— Какихъ-нибудь три-четыре дня!

— Нѣтъ!—вырвалось у него, и онъ началъ ерошить волосы.—Все это твоя черезчурная совѣстливость! Когда ты перестанешь считаться со мной? Ахъ, Гая, Гая!

Онъ взглянулъ на нее возбужденнымъ, но ласковымъ взглядомъ, и лицо маленькой жепщины озарилось внутреннимъ свѣтомъ. Никогда еще мужъ не былъ ей такъ дорогъ, какъ въ эту минуту. И она, дѣлая надъ собою усиліе, продолжала настаивать на томъ, чтобы онъ отпустилъ ее одну.

— Будь ты другой человѣкъ,—начала она опять и подалась впередъ своимъ худенькимъ станомъ,—я бы даже

рада была... Ты бы отдохнулъ, расцвѣлъ бы тамъ, на солнцѣ, ушелъ бы въ привольную, растительную жизнь. Но я тебя знаю, Меня. Тебя гложетъ червякъ все сильнѣе и сильнѣе.

— Ну, я такъ и зналъ!..

— Я въ послѣдній разъ говорю объ этомъ, клянусь тебѣ!.. Но къ чему же скрывать отъ самого себя свою душевную боль, Меня?.. Какъ здѣсь ни плохо живется и тебѣ, и всѣмъ, кто съ тобою одного склада, все-таки ты дома, уйдешь хоть въ хуторскую жизнь, будешь писать, сознавать, что ты не инвалидъ, не выкинутый изъ общаго дѣла человѣкъ. А тамъ ты адски затоскуешь! Помни мое слово!.. Я тебя знаю. Вся эта сытая и праздная Европа, что бродитъ по зимнимъ станціямъ, только возмущать тебя будетъ, и наши бары, и заграничныя... И такъ—изо-дня-въ-день. Книжки читать—одурь нозъ-четъ. Будутъ приходить газеты изъ Россіи—каждый день напоминать, что тамъ люди хоть какое-нибудь дѣло да дѣлаютъ, а ты—бездѣйствуй!.. И все это изъ-за меня!.. Я не могу этого допустить!..

Она замолкла и собралась вся въ комочекъ. Онъ не тотчасъ отвѣтилъ, а закурилъ сначала новую папиросу.

— И я, Гарюшка, не могу допустить, чтобы ты, изъ-за того, что я, видите ли, захандрю, рисковала.

— Чѣмъ?—слабымъ голосомъ спросила она.

— Да всѣмъ... Всѣмъ выздоровленіемъ.

Но бездѣльнымъ губамъ маленькой женщины прошлась улыбка, говорившая о малой надеждѣ когда-либо поправиться.

— Всѣмъ, всѣмъ выздоровленіемъ! — повторилъ Кустаревъ.—И ты жестоко ошибаешься насчетъ меня, по крайности въ данномъ случаѣ. Этакая сладость киснуть дома! Да еще при томъ заботливомъ соглядатайствѣ, подъ какое я попалъ... Здѣсь тоже не лучше. Превосходно ужъ и то, что я заграничный паспортъ добылъ. Надо хоть этимъ воспользоваться.

— Ты вернешься же!

— Вернусь, но по нѣкоторомъ времени. Прямой расчетъ, чтобы обо мнѣ позабыли немножко.

— А уйдешь—будутъ опять подозрѣвать тебя.

— Пускай!.. Будетъ прекрасно извѣстно, что я посижу съ тобой на этой самой Ривьерѣ и ни въ какихъ ком-

плотахъ, кромѣ заговора противъ твоего женскаго упорства, участвовать не буду.

Кустаревъ засмѣялся, всталъ, подошелъ къ женѣ и поцѣловалъ ее въ голову.

— Упрямца ты моя! Ходячая ты совѣсть! Успокойся!.. Довезу тебя, устрою, самъ погуляю по благословенному побережью, въ рулетку, чѣмъ чортъ не шутить, выиграю тысячь этакъ тридцать франковъ... а если ты наладишься — и назадъ. Вотъ мой супружескій приказъ, и вамъ, сударыня моя, остается повиноваться. Силкомъ вы меня, завтра, съ варшавскаго вокзала не вытолкнете. Такъ-то!..

Она подняла на него глаза, полные слезъ, и прошептала:

— Смотри, Меня, чтобы хуже не было!

— Басни!.. Теперь лягъ ты въ кроватку, а мнѣ пора проститься съ благопріятелями.

— Будешь у Куликовыхъ? — быстро спросила Маргарита Сергѣевна и чуть-чуть покраснѣла, но мужъ не могъ замѣтить этого.

— Съ какой стати?

— Она была тогда...

— Мужъ-ловкачъ прислалъ, чтобы самому не заѣзжать.

— Конечно, тебѣ нечего.

Маленькая женщина привстала, обняла мужа одной рукой за шею и прильнула къ нему.

— Такъ ѣдешь со мною, Меня?—проговорила она полушопотомъ.—Ну, спасибо!.. А какъ только захандрить, я тебя сейчасъ же прогоню!..

— Гони, гони!

Онъ взялъ ее подъ локоть и повелъ ко второй комнатѣ.

— Ложись, ложись!.. А то нервы расходятся. И сна не будетъ!

— Ты къ Капцовымъ?—все еще какъ будто съ нѣкоторой тревогой спросила Маргарита Сергѣевна.

— Къ Капцову — ко второму. Теперь шестой часъ. Ермиловъ просилъ пообѣдать съ нимъ. Оттуда я къ Порфирію, на минутку, да еще въ третье мѣсто. Къ одному тоже московскому знакомцу. Совсѣмъ у меня изъ головы вонъ. А я ему обѣщалъ. Обидится человѣкъ, если узнаетъ, что я здѣсь былъ, а къ нему не зашелъ. Ты меня не жди, слышишь?.. Я, быть-можетъ, попозднѣ отъѣзжаю.

Она хотѣла-было спросить, къ какому это московскому знакомцу, но не спросила и добрела, съ его помощью, до кровати.

— Ну, иди, иди, Меня, не опоздай. Тебѣ еще переодѣться надо.

— Это зачѣмъ? И въ этомъ можно. Съ Егоромъ Петровичемъ мы въ кабачкѣ будемъ обѣдать, въ отдѣльномъ кабинетѣ. Онъ такъ говорилъ. У Порфирія я на дамскую половину ходить не буду, а въ третье мѣсто можно въ какомъ угодно костюмѣ, хоть въ полушубкѣ.

— Хорошо. Иди!.. Милый Меня!

Бустаревъ тихонько вышелъ и тотчасъ же сталъ надѣвать шубу.

— Какъ же дверь-то оставить?—спросилъ онъ, уходя.— Ты заснешь?

— Ничего! Не бойся! Я услышу, если кто войдетъ. До свиданія, Меня, спасибо!

Въ этомъ „спасибо“ зазвучало большое успокоеніе.

Не сразу заснула Маргарита Сергѣевна. Она лежала, съ закрытыми глазами, въ темнотѣ тѣсной комнаты и улыбалась. Ея Меня поѣдетъ съ нею, она не разстанется съ нимъ еще мѣсяцъ, можетъ-быть, и больше. Но зачѣмъ же она такъ уговаривала его пустить ее одну? Неужели хитрила?

Нѣтъ, она дѣлала это сознательно и чистосердечно, но вотъ уже нѣсколько дней, какъ она безпрестанно возвращалась мыслью къ той молодой и красивой женщинѣ, что была въ этомъ номерѣ. Меня, если бѣ согласился на ея доводы и вернулся бы въ Москву, теперь, черезъ нѣсколько дней, могъ бы встрѣтиться съ нею. Скука одиночества, сочувственный тонъ такой особы... Что-то говорило ей, что Куликова не проста явилась. Но Меня ѣдетъ за границу. Кто знаетъ? Быть-можетъ, ея выздоровленіе пойдетъ такъ быстро, что къ веснѣ они оба пустятся въ обратный путь.

Съ этой мыслью она заснула.

## XXII.

Въ началѣ девятаго Бустаревъ пѣшкомъ пробирался изъ ресторана на Морской, гдѣ онъ обѣдалъ съ Ермиловымъ, къ квартирѣ Капцовыхъ.

Онъ двигался по узкому обледепѣлому тротуару набережной и не могъ стряхнуть съ себя чувства, съ каѣмъ онъ вышелъ на улицу, послѣ обѣда въ отдѣльномъ кабинетѣ. Въмѣсто веселой, игривой бесѣды, какъ это всегда

бывало у него съ Ермиловымъ, онъ пережилъ вѣчто другое, совершенно неожиданное и странное.

Ермиловъ, ни съ того, ни съ сего, сталъ какимъ-то необычнымъ тономъ спрашивать: давно ли онъ знакомъ съ Анной Гавриловной Куликовой, дѣлать намеки, всѣмъ ему непонятные, говорить про народниковъ, которымъ выгоденъ бываетъ ихъ мундиръ, для возбужденія къ себѣ интереса.

Потомъ онъ рѣзко переѣнилъ тонъ, сталъ допрашивать, уже болѣе искренно, испытывалъ ли Кустаревъ настоящую страсть? Онъ ему отвѣтилъ, что полюбилъ ту, кто теперь его жена, молодымъ человекомъ, до брака, связей съ замужними женщинами избѣгалъ по принципу, а про остальное, изъ студенческихъ временъ, и вспоминать не хочетъ.

Потомъ Ермиловъ какъ бы застыдился своего полупризнанья, сталъ настраиваться на игривый ладъ, пробовалъ острить и рассказывать петербургскія новости, но все у него выходило не весело и не остроумно.

Кончилъ онъ двумя-тремя почти злобными шутками, обращенными опять на Кустарева, и прощальными пожеланіями, гдѣ были снова намеки и лирическія полупризнанья, звучавшія не то рисовкой, не то настоящей горечью отъ сознанія, что года ушли, а налетѣла новая блажь, которая грозитъ полнымъ перерожденіемъ личности эпикурейца и неунывающего женолюбца.

Къ сенсуализму Ермилова онъ былъ всегда снисходителенъ, дѣлалъ для него исключеніе. И его огорчило, за этимъ обѣдомъ вдвоемъ, именно то, что Ермиловъ перестаетъ быть самимъ собою, впадаетъ въ какое-то добровольное рабство передъ женщиной.

Любящій и пѣжвый съ своей Гарей, Кустаревъ находилъ, что любовное „нервничанье“ слишкомъ овладѣваетъ мужчинами. Куда ни посмотришь, вездѣ царить сентиментальная чувственность.

Женщина опять почувала свою демоническую власть и давно уже переходитъ отъ увлеченія наукой, идеями, общественными идеалами къ „ублаженію“ себя всѣмъ, что составляетъ мужчине терять разумъ и становиться ея данникомъ.

Лицо и фигура Куликовой всплыли въ его памяти. Конечно, „бабевка“, а не кто-либо другой, подстрѣлила Ермилова на склонѣ его безпечнаго и наряднаго безпут-

ства. Вспомнились ему всѣ переливы ея голоса, когда она, на-дняхъ, говорила съ нимъ, игра фیزیономіи, вся ея повадка... Ему стало неловко, почти скверно. Встрѣтся она ему вотъ сейчасъ, на этомъ тротуарѣ, она услыжала бы отъ него нѣсколько непріятныхъ истинъ.

„За что?“—спросилъ онъ себя и не отвѣтилъ.

Въ такихъ думахъ дошелъ онъ до квартиры Капцовыхъ.

Его встрѣтила горничная и не особенно любезно спросила его съ нѣмецкимъ акцентомъ:

— Вамъ, господинъ, кого?

— Да мнѣ бы Порфирія Николаевича,—отвѣтилъ смиренно Кустаревъ.

— Они заняты.

— Я знаю-съ... Только онъ меня поджидаетъ... Я проститься.

— Сейчасъ доложу.

Нѣмка не смягчалась и потребовала его имени, которое она не сразу выговорила. Кустаревъ началъ все-таки снимать свой тулупчикъ и развязывать шарфъ. Изъ передней раздавалось бречанье на фортепіано и разговоръ вполголоса, въ первой гостиной, вѣроятно, у рояля. На вѣшалкѣ висѣло нѣсколько мужскихъ шубъ.

„Должно-быть, гостей, — подумалъ онъ, — нетолченая труба, а бѣдный Капцовъ кряhti... отдувайся!“

— Пожалуйста!—строго позвала его горничная и отворила ему дверь жестомъ, который разсмѣшилъ его.

„Экая мамзель!“—проговорилъ онъ про себя.

— Голубчикъ!—встрѣтилъ его Порфирій Николаевичъ у дверей и тотчасъ поцѣловался съ нимъ. — Ужъ я думалъ, не придешь... Такъ завтра въ путь?

— Завтра.

— Ужъ ты извини меня, Бога ради! На вокзалъ я, пожалуй, опоздалъ бы. Не управлюсь.

Капцовъ почесалъ за ухомъ.

— Съ какой стати?—перебилъ его Кустаревъ.—Дальніе проводы... Спасибо тебѣ, еще разъ, что порадишь о товарищѣ, отстоялъ гдѣ слѣдуетъ.

— Ну, вотъ, пустяки. Я такъ, душа моя, радъ, что ты проводишь Маргариту Сергѣевну... и самъ отдохнешь отъ нашихъ прелестей...

Онъ не договорилъ. Ему, всякій разъ, какъ онъ при Кустаревѣ позволялъ себѣ такіа фразы, дѣлалось немного

совѣсто своего либеральничанья. „Вѣдь я чинуюсь, — уличалъ онъ себя, — мнѣ не пристало такія слова говорить“.

— А Гая совсѣмъ-было собралась безъ меня ѣхать!

И Кустаревъ разсказалъ ему про свой сегодняшній разговоръ съ женой.

— Узнаю, узнаю я ее! — говорилъ Капцовъ, низко наклоняя голову надъ столомъ, гдѣ онъ опять сѣлъ. — Вотъ натура! Вотъ святая женщина! Истинное тебѣ счастье, Евменій Филипповичъ. Только здоровьемъ-то не вышла.

Капцовъ громко вздохнулъ, поднялъ голову и помолчалъ.

— А это она, пожалуй, и вѣрно говоритъ, другъ, что ты тамъ, среди пальмъ и магнолій, можешь адски затосковать и еще сильнѣе чувствовать себя не у дѣлъ.

— Ну, а ты у дѣлъ, Порфирій Николаевичъ? — съ тихимъ смѣхомъ спросилъ Кустаревъ. — Сладко тебѣ отъ этого?

— Обо мнѣ что и толковать, голубчикъ. Я — человѣкъ отпѣтый. — Онъ сталъ говорить тише. — Я давно продалъ все свое личное душевное добро за чечевичную кашу. Давно!

И онъ махнулъ рукой и продолжалъ еще тише, раза два даже оглядываясь на дверь въ коридоръ.

— Убьдешь ты, вернешься... и еще нѣсколько зимъ протянешь — и все ты меня за той же каторжной сутолокой будешь заставлять.

Въ эту минуту изъ первой гостиной раздался женскій смѣхъ, и чей-то мужской голосъ началъ шансонетку подъ аккомпанементъ.

— Слышалъ? — Капцовъ говорилъ уже совсѣмъ тихо. — Это дочка моя со своимъ яко бы нареченнымъ изволить... по-нынѣшнему, какъ это по-аглицки называютъ?.. При-смотра за ними никакого не полагается. А этотъ яко бы женихъ...

— Кто? — спросилъ Кустаревъ.

— Инженеръ... подрядчикъ. И не думаетъ онъ на ней жениться. Никакого и намека не было на серьезный разговоръ или предложеніе. Онъ тамъ, — онъ указалъ рукой, — рѣшили, что слѣдуетъ его считать женихомъ. Моего, разумеется, мнѣнія никакого и не спрашиваютъ. Да, по правдѣ сказать, и зачѣмъ оно?

Пота горечи задрожала въ голосѣ Капцова. Онъ еще ниже нагнулся къ пріятелю.



Въ кабинетѣ стояла полутьма отъ одной лампы подъ зеленымъ колпакомъ.

— Да,—протянулъ Капцовъ широкимъ вздохомъ,—вотъ тебѣ полная картина моего дома: дочка съ инженеромъ ажурится и готова осрамить себя, только бы была какая-нибудь надежда пойти въ законныя сожительницы къ хлыщу-подрядчику, завѣдомо развратному. Жена,—онъ на минуту остановился, точно перехватило въ горлѣ,—изволить теперь въ своемъ будуарѣ бесѣдовать съ другомъ дома.

Протянулось молчаніе.

— Что я тебѣ говорилъ,—началь такъ же тихо Кустаревъ.—Зачѣмъ было тогда и выступать противъ того Искариотова друга?

Но Кустареву стало слишкомъ жаль пріятеля, чтобы добивать его, когда онъ и самъ такъ безпощадно обличалъ и корилъ свое слабодушіе.

— Ахъ, голубчикъ!—Капцовъ схватилъ руку Кустарева, и слезы дрогнули въ голосъ.— Ахъ, милый Евменій! До кровавыхъ слезъ можно плакать... въ безсонныя ночи, а выше своей натурашки не прыгнешь. Мало вы всѣ, однокурсники, надо мной издѣвались. Доброта моя на подкладѣ трусости и подхалимства была. Этакая гуманность презрѣннѣе самаго заскорузлаго эгоизма, хуже душегубства.

— Хватилъ!

— Хуже! Чему я служу? Безпутству, цѣлой группѣ хищниковъ. Обираю и казну, и частныя учрежденія, всячески, какъ только могу.

— Обираешь своимъ горбомъ!

— Это-то и постыдно! До того дошелъ, что сына не смѣю подтянуть, видя, какъ онъ на прямой дорогѣ долженъ быть если не влетомъ, то чѣмъ-нибудь еще хуже. Вотъ онъ теперь у своей вдовы сидитъ, она его шампанскимъ на ананасахъ угощаетъ. А можетъ, и деньги суетъ за каждый его визитъ.

— Уѣзжай отъ нихъ!.. Возьми мѣсто въ провинціи, — сказалъ Кустаревъ и тотчасъ почувствовалъ, что это пустые слова.

— Никуда я отъ нихъ не уѣду!.. Ни отъ дѣтей, ни отъ Лидіи Степановны.

Они оба замолчали. Капцовъ взялъ руку Кустарева и долго держалъ ее въ обѣихъ своихъ.

— Тяжело тебѣ, другъ,—заговорилъ онъ,—не на твоей

улицѣ теперь праздникъ. Нужды нѣтъ! Вырвешься за границу, проживешь тамъ, но я знаю тебя — ты скоро вернешься.

— Навѣрно! — откликнулся какъ бы про себя Кустаревъ.

— Какъ ни какъ, а маячить надо — у себя дома, — договорилъ онъ и всталъ.

Они обнялись.

— Не побрезгуй заглянуть на возвратномъ пути, Евменій Филипповичъ. Уважать тебѣ меня не за что. Хотя пемножко люби! Спасибо, спасибо за то, что пришелъ проститься.

Кустареву стало стыдно этихъ словъ Порфирія Николаевича. Онъ быстро сжалъ его руку и такъ же быстро вышелъ изъ кабинета, повторяя:

— Сиди, работай, провожать меня не надо! И завтра не порывайся на машину. Будь здоровъ! Увидимся, быть-можетъ, скорѣе, чѣмъ думаемъ.

### XXIII.

Въ квартирѣ портного Гусева, по Разъѣзжей, на второмъ дворѣ дома, полного мастеровыхъ, въ тѣсной комнатѣ, служившей и спальней, и столовой, за самоваромъ, сидѣли хозяинъ, старшій молодецъ и гость.

Гостемъ былъ Благомировъ. Онъ давно водилъ пріятельство съ Гусевымъ, котораго встрѣчалъ въ кружкахъ молодежи. Гусевъ, не старый еще человекъ, рыжій, широкоплечій, бородатый и веспуцатый, чисто одѣтый, сидѣлъ за самоваромъ, степенно улыбался и пилъ чай съ блюдечка. Молодецъ поглядывалъ на хозяина вбокъ и также пилъ въ прикуску. Было трудно было принять за портного. Онъ смотрѣлъ скорѣе студентомъ, худощавый, съ бородкой, въ блузѣ. Гусевъ былъ вдовый, учился своему мастерству въ Москвѣ, у француза, переехалъ въ Петербургъ „хозяйствовать“ и привезъ съ собою оттуда репутацію совсѣмъ особеннаго хозяина, желающаго жить „по-божески“, дѣлиться барышномъ со своими молодцами, хорошо кормить мальчиковъ, ѣсть вмѣстѣ со своими рабочими. И въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ не сбивался съ этого пути, и при жизни жены, бывшей корсетницы, и послѣ ея смерти.

Благомировъ приходилъ къ нему совѣтоваться насчетъ своей новой судьбы, и на-дняхъ узналъ отъ него, что здѣсь проѣздомъ Кустаревъ, съ которымъ Гусевъ еще въ

Москвѣ сошелся, работалъ на него, бралъ у него книжки и ходилъ къ нему исповѣдываться, обсуждать вопросы честнаго житья и толковать о прочитанномъ.

— Вотъ кто направить васъ,—говорилъ Гусевъ Благомирову. — Даромъ, что Евменій Филипповичъ по другой части шелъ, онъ всякое дѣло разсудить съ надлежащей высоты.

Они поджидали Кустарева и пили чай въ тихихъ разговорахъ. Старшій молодецъ больше молчалъ, но по выраженію глазъ видно было, что ему многое понятно и близко изъ того, о чемъ заходила у нихъ рѣчь.

Кустаревъ нашелъ ихъ все за тѣмъ же питьемъ чая. Его уже предупредилъ портной насчетъ Благомирова. Но разговоръ не сразу пошелъ въ эту сторону. Гусеву надо было кое-что „развить“. На очереди у него была одна рукопись, дошедшая до него изъ Москвы, гдѣ извѣстный вѣроучитель излагалъ свое пониманіе праведной и разумной жизни. Гусева иное приводило въ смущеніе.

— Вы мнѣ, Евменій Филипповичъ, вотъ что скажите,—обратился онъ къ Кустареву, — какъ же это онъ вездѣ васъ, господъ ученыхъ, къ книжникамъ и фарисеямъ приравниваетъ? А между прочимъ самъ изъ себя начетчика изображаетъ и мнитъ спасти весь родъ человѣческій. Ну, теперь, хоть бы васъ взять? Нешто ученость мѣшала вамъ душевнымъ человѣкомъ сдѣлаться? И какъ будто вся сласть—чушкой жить, да подъ заборъ удалиться, вмѣсто того, чтобы чистоплотность соблюдать?

Широкое лицо Гусева повела усмѣшка. Всѣ разсмѣялись, въ томъ числѣ и старшій молодецъ, и ему хозяинъ читалъ изъ рукописи московскаго вѣроучителя.

— Бунтъ противъ науки,—тихо выговорилъ Кустаревъ и началъ прихлебывать чай изъ стакана.

— А хоть бы и бунтъ?—спросилъ вслухъ Благомировъ, поднялъ голову и вопросительно поглядѣлъ на Кустарева. — Наука только передъ сытыми рабствуетъ и плодитъ всякій вредный вздоръ, служить гнуснѣйшему насилию и эксплуатаціи.

Ему захотѣлось такой именно вылазки противъ науки. Она отвѣчала на поднявшуюся въ немъ, по поводу свиданія съ Кустаревымъ, новую работу совѣсти.

Гусевъ взглянулъ на него бокомъ и тотчасъ же повернулъ голову въ сторону Кустарева.

— Вы, Евменій Филипповичъ, и благопріятеля моего



на распутии поставьте. У человѣка даръ Божій, голосъ на диво, и открывается возможность, никого не обижая, на средства людей, которые готовы поддержать его, на время обученія, за границей, усовершенствоваться. И все онъ себя гложетъ и такъ, и этакъ, даже ко мнѣ, мало-смысленному, совѣтоваться приходилъ. Я ему на васъ и указалъ.

— Зачѣмъ же вы меня-то въ начетчики производите, дружище? — спросилъ Кустаревъ и весело тряхнулъ головой.

— Такъ будетъ ладно, и Ефимъ Никанорычъ васъ послушаетъ.

— Благоую часть изберете! — сказалъ Кустаревъ и отпашлянулся.

Благомировъ поглядѣлъ на него вопросительно. Такого скорого рѣшенія онъ не ожидалъ отъ человѣка, какимъ понималъ Кустарева.

— Вы это въ сурьезъ? — тихо промолвилъ онъ.

— Зря Евменій Филипповичъ ничего не говоритъ, — замѣтилъ, будто про себя, Гусевъ.

— Да помилуйте, милый человѣкъ, единственная область, гдѣ можно, по теперешнему времени, развить въ себѣ искру Божію, это — искусство. Было время, мы всѣ значились въ отчаянныхъ утилитаристахъ. Умѣе стали. Голосъ вамъ дала природа. Развивайте его, пока еще не возбраняется. Это лучше, чѣмъ поэтический даръ, талантъ писателя. Тѣ виды искусства — предательскіе; а тутъ — пой, какъ птица небесная!

По лицу Кустарева, когда онъ это говорилъ, пробѣгали первыя струйки: можно было принять его слова и за иронию.

— То-есть, — перебилъ его Благомировъ, — вы это берете въ видъ крайности. Коли ничѣмъ порядочнымъ заниматься нельзя?

— Нѣтъ, я искренно говорю.

— Однако, вы бы, небось, не пошли въ лицедеи, объявивъ у васъ талантъ?

— Пошелъ бы! Честный человѣкъ, пошелъ бы!

Хозяинъ и его молодецъ слушали напряженно и чуть слышно переводили дыханіе.

— Врядъ ли! — вырвалось у Благомирова.

— Видите ли, Евменій Филипповичъ, — осторожно вступилъ въ разговоръ Гусевъ, — благопріятель-то мой... учи-

телемъ сельскимъ, по доброй волѣ, состоятъ. Такъ вотъ это ему и кажется... какъ бы сказать... отъ своего кровнаго дѣла отступничество!

— Отчего же вы ушли изъ этого дѣла?—спросилъ Кустаревъ.—Навѣрно, не по доброй волѣ.

— Не было возможности безъ подхалимства оставаться на этомъ посту.

— Вотъ видите! Вездѣ бьютъ, вездѣ подставляй одну щеку за другой подъ удары. Такъ какъ же не уйти въ такое дѣло, гдѣ вы, кромѣ наслажденія, никакого зла творить не будете? И наслажденіе это не развращающее, а одно изъ высшихъ.

Тонъ у Кустарева зазвучалъ очень убѣжденно, но, быть-можетъ, въ глубинѣ его души и притаились другія чувства и мысли. Ему жаль стало этого благообразнаго малаго, съ его „искрой Божіей“. Онъ тотчасъ уразумѣлъ, подъ вліяніемъ какихъ идей и знакомствъ пошелъ такой „басъ“ въ сельскіе учителя, увидѣлъ впередъ, что за судьба ждетъ его на пути народника-интеллигента, исполняющаго, скрѣпя сердце, свой долгъ. Сколько ихъ прошло въ его памяти! Чѣмъ кончили? Или перебиваются, усталые, обозленные, или опустились въ захолустную тину.

— Слышите, Ефимъ Никанорычъ, — наставительно и почти нѣжно сказалъ Гусевъ.—Нечего, батюшка, отъ своего счастья отказываться. А ежели потомъ, вернувшись изъ Италіи, куши будете загребать, отъ васъ зависѣть будетъ: не забывать о собственной душѣ. Тогда, отъ большихъ достатковъ, удѣляйте кому нужна подмога: студенту, мальчику на обученье, просто хорошему человѣку въ бѣдѣ.

— Правильно, — выговорилъ довольно громко старшій молодецъ и тряхнулъ волосами, послѣ чего уже не проговорилъ ни слова.

И всѣ примолкли. Благомировъ хотѣлъ что-то возразить, но его удержала мысль, какъ бы это не показалось Кустареву однимъ „ломаньемъ“, рисовкой, чего онъ боялся пуще огня.

Обо многомъ еще поговорилъ бы онъ съ Кустаревымъ, да хозяину тоже хотѣлось завести опять разговоръ о разныхъ вопросахъ морали, какую онъ себѣ выработалъ и хотѣлъ практиковать до гробовой доски.

Успокоенный, Благомировъ оглянулъ ласковымъ взглядомъ весь столъ, закурилъ новую папиросу и почувство-

валъ, что больше ему уже нечего колебаться, а надо брать то, что судьба посылаетъ. Такой человекъ, какъ Кустаревъ, зря ничего не скажетъ!

#### XXIV.

Когда Благомировъ вышелъ изъ квартиры портного Гусева, было уже около одиннадцати часовъ. Онъ бы посидѣлъ тамъ еще и послушалъ разсказовъ Кустарева о его хуторскомъ житиѣ и разныхъ каверзахъ, какими начали его тамъ донимать, но его ждали. Онъ далъ слово быть непременно у Доротеи Васильевны. Получи разговоръ о немъ у Гусева другой оборотъ, онъ, быть-можетъ, прервалъ бы свои отношенія къ этой женщинѣ и отказался бы отъ поѣздки въ Италію.

Теперь все ему представлялось иначе.

„Не хорошо,—подумалъ онъ, когда вспомнилъ о томъ, кто и гдѣ его будетъ ждать,—неладно надуть ее. Хоть полчаса посажу. Попоемъ немножко“.

Она обѣдала въ гостяхъ и просила его зайти къ ней попозднѣе, къ одиннадцати. И, шагая по направленію къ Морской, онъ чувствовалъ большую легкость, подсмѣивался надъ своимъ недавнимъ самогрызеньемъ, сознавалъ въ себѣ свободную и самостоятельную личность. Вотъ онъ идетъ къ Доротей Васильевнѣ, будетъ съ ней сидѣть съ-глазу-на-глазъ, въ полночное время, и это его нимало не смущаетъ. Все-таки она—женщина или дѣвица—какъ тамъ ни называй—и поддаться онъ ей не намѣренъ. Сама она желаетъ быть съ нимъ на товарищеской ногѣ—и прекрасно; но глупо рыться въ своемъ нутрѣ, допытываться: вполнѣ ли это допустимо для человека со строгими принципами принимать денежную поддержку богатыхъ меценатовъ черезъ посредство красивой барышни, выказывающей ему интересъ?

До сихъ поръ онъ уходилъ отъ соблазна и притягательной силы женской красоты, страсти или кокетства. Онъ не могъ не видѣть, какъ его наружность дѣйствуетъ на женщинъ; но это не мѣшало ему быть съ ними по-просту, какъ съ мужчинами. Въ Карусь онъ впервые встрѣтилъ пѣчто „махровое“, какъ онъ выражался, сочетание блеска съ темпераментомъ.

„А все-таки она бабенка“, — повторялъ онъ, ускоряя шагъ по опустѣлой улицѣ, облитой снизу электрическимъ свѣтомъ. И онъ зналъ впередъ, что, войдя къ ней,

нисколько не поцеремонится, если она предложитъ ему что-нибудь закусить послѣ музицированія. У портного чай былъ безъ ѣды; а къ полуночи Благомирову всегда хотѣлось ѣсть.

Его ждали. Когда онъ вдвинулъ свою долгую фигуру въ темную переднюю, изъ салона вибрирующій, низковатый голосъ спросилъ:

— Это вы, Благомировъ?

Она уже звала его такъ, по фамиліи, и это ему нравилось.

— Я-съ, Доротея Васильевна, собственной персоной.

Съ нею онъ говорилъ своимъ обычнымъ языкомъ.

— Входите, входите! Спасибо, что сдержали слово.

Ея голосъ особенно звонко раздавался по засвѣжѣвшей комнатѣ. Голосъ этотъ не производилъ въ нервахъ Благомирова такого гипноза, какъ во всемъ существѣ Гремущина. Но и на него онъ начиналъ дѣйствовать въ родѣ веселящаго газа.

Въ дверяхъ онъ остановился и снималъ съ себя шарфъ, который началъ носить по совѣту Андреоли. Свѣтъ пяти свѣчей канделябра, у правой стѣны, падалъ на голову и бюстъ Доротеи Васильевны. Она стояла съ флакономъ душистой воды и пускала вокругъ себя водяную пыль. Руки ея были совсѣмъ обнажены, до плечъ, высвобождены изъ фланелеваго розоватаго пеньюара съ откинутыми назадъ рукавами и открытой шеей. Волосы она перехватила золотой брошкой на затылкѣ и пустила по синѣ густую волной.

— Ухъ, какъ благовопно!

Онъ потянулъ въ себя воздухъ и зажмурилъ глаза.

— Какъ называется? — спросилъ онъ, кладя шапку съ шарфомъ на подзеркальникъ.

— Не знаю!.. Кажется... царская вода. Ну, здравствуйте. Вы со мной хорошенько и поздороваться не хотите.

Она поставила флаконъ на рояль и протянула ему обѣ руки, ей одной знакомымъ жестомъ, и подалась впередъ бюстомъ и головой.

Вся она была въ эту минуту такъ близка къ Благомирову, что онъ сдѣлалъ невольное движеніе назадъ.

— Вы какъ хотите, Благомировъ, сейчасъ прошѣть эту новую вещь — мнѣ ее прислали вчера — или мы сначала поѣдимъ? Вы не голодны?

— Небось, знаете, что у меня всегда есть аппетитъ?—

добродушно спросилъ онъ и бросилъ взглядъ на круглый столикъ, гдѣ уже стояло серебряное блюдо съ холоднымъ мясомъ, вазочка съ зернистой икрой и какое-то питье изъ бѣлаго вина въ большомъ кувшинѣ.

— Такъ какъ же? Я тоже проголодалась.

— Не препятствую,—выговорилъ Благомировъ.

Ему не хотѣлось разбирать ноты. За фдой онъ будетъ чувствовать себя еще свободнѣе. Вина въ кувшинѣ онъ не боялся. Голоса онъ ни въ какомъ случаѣ не потеряетъ, если она и станетъ ему подливать.

Народникъ и семинаристъ живутъ еще въ немъ. Искусство опъ не отвергаетъ, находитъ такое отрицаніе глупымъ, но и на сценѣ онъ не загубитъ своей души. Много еще встрѣтитъ красивыхъ бабенокъ, у профессоровъ тамъ, въ Миланѣ, а потомъ въ трупяхъ, за границей и въ Россіи.

За ужиномъ они говорили мало. Глаза Доротеи Васильевны мѣняли часто выраженіе. Будь Благомировъ опытнѣе, онъ замѣтилъ бы, что она сдерживаетъ себя, что по всему ея существу пробѣгаетъ нервная дрожь, а онъ, между тѣмъ, самъ не желая того, точно съ умысломъ, игралъ роль самаго опытнаго соблазнителя.

— Вы,—выговорила она,—все еще дичитесь?

— Я?—громко прогудѣлъ онъ и разсмѣялся.—Ни Боже мой! Чувствую себя совершенно въ своей тарелкѣ!

Она ничего не отаѣтила и подлила ему искристаго вина.



## Часть третья.

### I.

— Какъ хорошо!..

Восклицаніе, на русскомъ языкѣ, вылетѣло полнымъ звукомъ изъ груди рослой и стройной женщины, облокотившейся о баллюстраду нижней площадки, передъ казино, въ Монте-Карло.

Это была Анна Гавриловна Куликова. Она попала сюда въ первый разъ, изъ Ниццы, куда пріѣхала наканунѣ.

Глаза ея нѣжились на блистающей приморской картинѣ, на изсиня-зеленыхъ полосахъ воды и лазури неба, откуда нежаркое солнце слало свои лучи, — на очертаніяхъ продолговатой скалы, гдѣ пріютилось каменное гнѣздо Монако, съ его крѣпостями, башнями, дворцомъ и соборомъ.

Надъ нею, справа и слѣва, глядѣли на море купы пальмъ, и стволы кактусовъ затѣйливыми листьями нагибались надъ оградой. Внизу ярко-зеленый газонъ шелъ полукругомъ — передъ навѣсомъ голубиной охоты.

Молодая женщина въ шляпѣ съ длиннымъ щиткомъ, вкрытымъ цѣлымъ букетомъ цвѣтовъ, и въ короткомъ пальто съ шелковыми отворотами, дышала полной грудью и осматривалась, широко раскрывая свои продолговатые глаза.

Восклицаніе, вылетѣвшее изъ ея груди, никого не удивило, вблизи было еще мало гуляющихъ. Шелъ второй часъ декабрьскаго дня, теплаго и сухого, съ чуть осязаемыми налетами морской свѣжести. Черезъ нѣсколько минутъ ожидался приходъ игрецкаго поѣзда изъ Ниццы. Тѣ,

кто обыкновенно ходилъ глядѣть на вереницу пассажировъ, поднимающуюся по крутой лѣстницѣ, отъ станціи къ казино, скучились въ концѣ террасы.

Анна Гавриловна стояла на другомъ концѣ, и около нея никто не сидѣлъ и на скамейкахъ. Она обернулась лицомъ къ фасаду наряднаго зданія съ его минаретами, медальонами, изразцами и позолотой, прошла въгладомъ дальше, вправо, къ саду, полному вѣчно зелеными букетами деревьевъ и кустовъ, къ кіоску и дальше, къ гребнямъ шоколадныхъ горъ, по дорогѣ къ Ментонѣ, и весь этотъ роскошный уголокъ земли наполнилъ ее неиспытанной еще жаждой жизни и всего, что деньги, молодость, чувственный и душевный порывъ могутъ дать женщинѣ...

Ей просто не вѣрилось, что десять дней передъ тѣмъ, въ Москвѣ, около половины декабря, она ѣхала на смоленскій вокзалъ вся закутанная, какъ мумія, въ тяжеломъ извозничьемъ рыдванѣ, съ замерзлыми окнами. На дворѣ стоялъ морозъ въ двадцать градусовъ. Отъ дыханія шелъ паръ и ложился ледяною пылью на вязавомъ оренбургскомъ платкѣ, которымъ она была увязана.

И это не сонъ! Она — Анна Гавриловна Куликова — стоитъ на террасѣ въ Монте-Карло, пьетъ животельный воздухъ, смотритъ на пальмовый садъ, чувствуетъ на себѣ ласку нежаркаго солнца и позади — отрадный рокотъ морского прибоя.

Была минута, когда она забыла, что потянуло ее на югъ неудержимо и почти безумно; но теперь стремленіе, приказавшее ей устроить, какъ можно скорѣе, поѣздку въ Италію, черезъ Парижъ и Ниццу, слилось съ захватывающимъ сострастіемъ всему, что ее окружало тутъ.

Да, она на французской Ривьерѣ. Она увидитъ любимаго человека. Онъ въ двухъ шагахъ, тамъ, вправо, вопъ за тѣмъ мысомъ, въ Ментонѣ, около своей умирающей жены. И онъ будетъ ей принадлежать не нынче, такъ черезъ мѣсяцъ, не черезъ мѣсяцъ, такъ черезъ годъ.

„Будетъ, будетъ, будетъ!“ — шептали ей извилистыя, выразительныя губы, и глаза хмуро и радостно искрились.

Она пополнила въ бюстѣ, но лицо стало менѣе румяно, удлинилось и приобрѣло бо́льшую тонкость въ очертаніяхъ рта, носа и подбородка. И голову держала она иначе. Парижскій туалетъ давалъ всей фигурѣ совсѣмъ

другой абрисъ. Анна Гавриловна носила его легко и съ своимъ особымъ оттѣнкомъ... И теперь, послѣ Парижа, одѣтая съ иголочки, во всемъ новомъ, она сохраняла въ себѣ прежнюю московскую „боярышню“ и домовладѣлицу.

Пришелъ поѣздъ. Локомотивъ выдвинулся изъ-за плоскаго зданія станціи, и длинный хвостъ вагоновъ чернѣлъ вдоль береговой линіи.

Анна Гавриловна сдѣлала нѣсколько шаговъ по направлению къ лѣстницѣ, ведущей къ станціи, облокотилась на перила и стала смотрѣть.

Омнибусы отелей заслоняли задній фасадъ станціи. Они выстроились въ одинъ рядъ съ лошадьми, обращенными къ горѣ.

Показались пассажиры. Очень немногіе сажались въ омнибусы. Потянулась довольно густая вереница къ лѣстницѣ и начала скоро подниматься по ступенькамъ.

Это была все игорная публика изъ Ниццы и Канны, въ которой на двоихъ мужчинъ приходилась непремѣнно одна женщина,—пестрая, на особый ладъ нарядная. Французы преобладали въ ней.

Оттуда, сверху, ей удобно было разглядывать пассажировъ, по-одиночкѣ. Во многихъ женщинахъ она распознавала что-то, напоминавшее ей кокотокъ, какихъ она видѣла на бульварахъ и въ театрахъ Парижа.

Но не женщины и ихъ туалеты притягивали ея взгляды.

Ее пронизывала мысль—можетъ-быть, въ числѣ мужчинъ отыщеть она его? Онъ живетъ въ Ментонѣ; но почему же не могъ онъ возвращаться изъ Ниццы и, на пути, заглянуть въ казино Монте-Карло? Играть онъ не ставитъ. А кто знаетъ? У него теперь скверно на душѣ. Стало-быть, есть потребность забыться, во что-нибудь уйти. Черезъ полчаса будетъ дневной концертъ въ театральной залѣ, куда она еще не заглянула. Онъ любитъ музыку...

Извилистымъ хвостомъ поднимались пассажиры курьерскаго поѣзда; глаза Анны Гавриловны быстро перескакивали съ одной мужской фигуры на другую, но все это были иностранцы, пестро одѣтые, или длинныя и сухіе, или женоподобныя, сухонары. Она не различала художатова невысокаго станна, и длинноватыхъ волосъ, и сѣдѣющей бороды, и головы, наклоненной къ правому плечу.

Сегодня она справлялась въ списокъ пріѣзжихъ, прожк-



вающихъ на французской Ривьерѣ, и не нашла его фамилин. Жена живетъ здѣсь уже около года, а прошлогодняго списка Анна Гавриловна не могла достать въ своемъ отелѣ. Онъ, до сихъ поръ, не прописанъ въ отеляхъ. Вѣроятно, они живутъ въ какой-нибудь дешевой квартирѣ.

Послѣдній пассажиръ—старичокъ, съ бритымъ лицомъ актера, въ свѣтло-шоколадномъ сюртучкѣ и штиблетахъ, опираясь на палку, поднялся на нижнюю площадку, снялъ шляпу, отеръ голову фулиромъ, пошелъ дальше, къ проходу вправо, мимо кіоска, гдѣ продаютъ газеты, и скрылся.

Кругомъ Анны Гавриловны опустѣло, но на верхней террасѣ замелькали цвѣтные зонтики дамъ.

И ей пора въ казино, гдѣ она оставила мужа и Ермилова, и назначила имъ быть, въ половинѣ третьяго, въ „атріумѣ“—какъ называютъ первую залу съ колоннами, гдѣ прохаживаются и курятъ.

Они уговаривались поставить нѣсколько пятифранковыхъ монетъ и вчера изучали по книжкѣ, купленной въ кіоскѣ, разные системы выигрыша.

Безъ мужа ей неудобно было улетѣть, зимой, на Ривьеру. Не представлялось приличнаго предлога. Но она настроила его на поѣзду въ Италію, заблаговременно, такъ что онъ успѣлъ къ зимней вакаціи выхлопотать себѣ отпускъ на двадцать восемь дней, съ расчетомъ опоздать недѣли на двѣ, на три, и вернуться въ концѣ января.

Ермиловъ „увязался“ за ними, какъ непочтительно выразилась ея горничная. Вотъ уже около года, какъ этотъ грѣшникъ и сластолюбецъ сдѣлался ея рабочимъ. Ничего между ними нѣтъ; нѣтъ даже и подобія интриги или интимной короткости, хотя бы въ формѣ ни къ чему не обязывающей ласки...

И чѣмъ она дѣлалась къ нему жестче, беспощаднѣе, презрительнѣе и подчасъ ядовитѣе, тѣмъ его запоздалая страсть разгоралась. Онъ не смѣлъ позволить себѣ ничего, кромѣ смѣшныхъ, для нея, выходокъ добровольнаго униженія, цѣловалъ складки ея платья, позволялъ обращаться съ собою какъ съ неодушевленнымъ предметомъ, и въ этомъ находить до сихъ поръ высшій „трепетъ“—его любимое выраженіе.

Но она не прогоняла его, а находила болѣзненное удовлетвореніе въ этой безнадежной страсти старѣющаго сенсиуалиста, который былъ, всю свою жизнь, убѣжденъ

въ томъ, что онъ не „поймается“ ни на одной женщинѣ. Она знала, что Ермиловъ переѣхалъ на постоянное житье въ Москву только для того, чтобы быть около нея. И теперь она разрѣшила ему провожать ихъ за границу, изъ особаго расчета своей, такой же какъ и его, пераздѣленной еще страсти... Кто знаетъ?.. Женщинѣ всегда полезно показывать на живомъ существѣ свою силу — это дѣйствуетъ на самыхъ цѣльныхъ мужчинъ, не менѣе чистенькихъ, чѣмъ тотъ, кого она сейчасъ искала въ хвостѣ пассажировъ.

Къ мужу своему она заставила Ермилова относиться необычайно почтительно и этимъ еще жесточе принижала его; а сама показывала ему, что мужъ, въ ея глазахъ, стоитъ на той же высотѣ, какъ и „милѣйшій“ Юрій Петровичъ, котораго она звала просто „Егоромъ“ Петровичемъ.

## II.

Тяжелая духота волнами ходила по тремъ игорнымъ заламъ. Сумерки сгущались въ углахъ, вдоль расписныхъ пестрыхъ стѣнъ и надъ зелеными столами, уже освѣщенными двойственнымъ свѣтомъ висячихъ масляныхъ лампъ подъ широкими металлическими колпаками.

Въ проходѣ, между двумя столами средней, самой большой залы, остановился Ермиловъ.

Онъ постарѣлъ, лобъ обнажился, бѣлокурая борода была подкрашена. Издали на немъ еще лежалъ налетъ молодости—на всей головѣ и на подборѣ цвѣтовъ его пиджака, галстука, панталонъ. Но вблизи, по лицу, пропались юныя черты, грозившія перейти въ морщины: вдоль крыльевъ носа и на вискахъ, около глазъ, скрытыхъ подъ ріпсе-пез съ темноватыми стеклами.

Долгимъ боковымъ взглядомъ обвѣлъ Ермиловъ залу, гдѣ игроки все прибывали.

Несмолкаемое звяканье серебряныхъ и золотыхъ монетъ и мельканіе женщинъ, кочующихъ отъ одного стола къ другому, вызвали на его губахъ усмѣшку, наполовину скрытую усами, растрепанными по модѣ, въ видѣ щетки.

Деньги и женщины, такія же, какъ и лудоры, переходящія изъ рукъ въ руки—двѣ недавнія приманки всей его жизни. И онъ для него точно не существуютъ теперь. Онъ сѣлъ играть имѣть съ мужемъ Анны Гавриловны. Тотъ ставилъ по пяти франковъ, глазки его горѣли жад-

ностью и желаніемъ удачи, а голова работала и сочиняла какія-то комбинаціи. Но у него, послѣ нѣсколькихъ ставокъ по золотому и по два, разломило поясицу, его начала разбирать зѣвота. Онъ почувствовалъ всю тоскливость и глупость игры, между тѣмъ какъ еще года два тому назадъ ему нравились ощущенія рулетки. И видъ золота, этихъ стопокъ передъ мѣстами круше, пересталъ щекотать его приобрѣтательскій инстинктъ.

Такими же равнодушными, затуманенными глазами смотрѣлъ онъ и на этихъ женщинъ, слетѣвшихъ сюда со всѣхъ сторонъ свѣта для добычи. Нѣкоторыя были красивы, въ парижскомъ и лондонскомъ стилѣ; не всѣ намазаны и съ крашенными волосами; попадались даже совсѣмъ молоденькія дѣвушки, въ сопровожденіи пожилыхъ дамъ-„тетенокъ“, подставныхъ или настоящихъ, но для него и онѣ уже не существовали больше.

Онъ почти отказывался понимать, что вотъ это все видитъ онъ въ дѣйствительности, а не во снѣ; любители легкой жизни, какими былъ и онъ, дежурятъ здѣсь съ утра до полуночи, ничего не знаютъ, кромѣ азартной игры и—въ антрактахъ—легкихъ женщинъ, по отелямъ и ресторанахъ Монте-Карло. Разыгрывать изъ себя моралиста Ермиловъ не хотѣлъ и не умѣлъ; но слова презрительнаго недоумѣнія просились наружу. И онъ ни на одну секунду не пожалѣлъ о томъ, что его инстинктъ замолкъ, что два могучихъ источника наслажденія—миражъ золота и скорое обладаніе женщиной—отошли, быть-можетъ, безвозвратно.

Лакей въ голубоватой ливреѣ, съ галунами, проносилъ мимо него подносъ со стаканомъ воды—единственное прохладительное игорныхъ залъ.

Ермиловъ окликнулъ его, взялъ стаканъ и медленно выпилъ воду, съ чувствомъ человѣка, которому хочется запить дурной вкусъ чего-то только-что проглоченнаго.

Онъ посмотрѣлъ потомъ на часы. До дневного концерта оставалось всего десять минутъ. Ему надо было поторопиться Куликова, игравшаго въ рулетку въ первой поперечной залѣ, у праваго стола отъ входа, гдѣ стояла двойная стѣпа играющихъ надъ тѣми, кто захватилъ съ утра свободные стулья. Анна Гавриловна назначила имъ быть до начала концерта, а ждать она не любитъ.

Въ дверяхъ, широко раскрытыхъ изъ средней залы въ послѣднюю, съ нимъ повстрѣчался блѣднлицый, жид-

кій молодой человекъ въ пестромъ англійскомъ костюмѣ, почти безбородый и гнущійся на ходу.

— М-г Ермиловъ? — выговорилъ онъ вопросительно и поглядѣлъ на него веселыми глазами съ лихорадочнымъ блескомъ.

Ермиловъ вспомнилъ, что встрѣчалъ этого русскаго въ Петербургѣ, что это — поэтикъ новой школы, поклонникъ „перваго“ сонетиста Хозе-Маріа Эредіа, что фамилія его — графъ Загаринъ.

„Хозе-Маріа Эредіа, сонеты, проза и стихи декадентовъ — какъ все это отошло!..“ Онъ не смѣетъ и заикаться о нихъ, сидя около Анны Гавриловны, считающей все это литературное движеніе „неопрятнымъ, полубезумнымъ вздоромъ“.

— Графъ Загаринъ, — выговорилъ высокимъ фальцетомъ молодой человекъ.

— Какъ же, какъ же... Очень пріятно!..

Ермиловъ пожалъ ему руку, наклонившись къ нему туловищемъ и головой, по своей манерѣ.

Ладонь руки его была влажная, что Ермиловъ прежде выносилъ съ трудомъ. Но теперь его брезгливость ко всѣмъ подобнымъ ощущеніямъ притуплялась.

— Вы житель Монако? — спросилъ онъ Загарина, повернувшись вмѣстѣ съ нимъ къ выходной двери.

— Собственно я живу въ Ментонѣ, но часто ѣзжу сюда.

— Щекотать удачу?

Поэтикъ разсмѣялся и вслухъ перевелъ по-французски:

— *Taquiner la guigne!*

Черезъ лѣвую, выходную дверь они прошли въ атриумъ и присѣли на одинъ изъ кожаныхъ дивановъ въ нишѣ.

— Безъ казино, — говорилъ Ермилову поэтикъ, — я не узналъ бы особой, очень захватывающей эмоціи...

— Игрецкой?.. — подсказалъ Ермиловъ.

— Позвольте мнѣ иначе выразить: эмоціи — отъ борьбы съ фатумомъ... Тутъ случай, то-есть рокъ, судьба — въ своей самой быстрой и сгущенной формѣ — золота.

— Пожалуй! — согласился Ермиловъ.

Фраза Загарина отзывалась „декадентствомъ“. Въ прежнее время Ермиловъ сейчасъ же бы пасторожилъ уши и сталъ бы пріятно направлять молодого человека въ духѣ послѣдней книжки, какую прочелъ. Теперь онъ только слушалъ.

— Вѣдь согласитесь, — продолжалъ поэтикъ и нервно



повелъ узкими плечами, — все наша жизнь сводится къ я, которое само себя созерцаетъ и стремится создавать себѣ самыя яркія эмоціи, предается культу энтузіазма, но такъ, что инстинкты только служатъ этому „я“, а не руководятъ имъ.

— На самомъ дѣлѣ, — съ тихой усмѣшкой возразилъ Ериловъ, — это какъ разъ наоборотъ.

— Да, для массы, для всѣхъ, кого мы, избранное меньшинство, называемъ варварами, les barbares, какъ греки звали всѣхъ иностранцевъ. Нѣмедъ Шопенгауэръ кажется нашему поколѣнію уже брюзгой, филистеромъ, съ его теоріей рабскаго подчиненія инстинкту расы. Вовсе нѣтъ!.. Мое я есть отраженіе божества! Оно способно на безконечное совершенствованіе...

— Даже играя въ рулетку?..

Ериловъ откинулся на спинку дивана и сталъ крутить вокругъ пальца свое *pinse-nez*.

— Конечно!.. Мы играемъ потому, что намъ нужны новыя эмоціи. Мы ихъ варьируемъ; но я не допускаю страсть овладѣть мною... Такъ и во всемъ!.. Да и какое намъ дѣло до нашей внѣшней жизни, до того, чрезъ какія паденія пройдетъ наша оболочка? Въ ея униженіи есть своего рода высшая улада. Мы чувствуемъ въ ней высшую жалость.

„Это ты выкралъ, — перебилъ его мысленно Ериловъ. — Это отзывается какой-то новинкой... И она вышла въ Парижѣ, а сочинилъ ее одинъ изъ тамошнихъ „эготистовъ“.

Онъ не зналъ, однако, этой книжки. Вотъ уже болѣе полугода, какъ онъ не интересуется тамошнимъ крайнимъ движеніемъ, налагающимъ оттѣнокъ духовный, съ подражаніемъ аскетамъ христіанства и съ подниманіемъ до небесъ нѣкоторыхъ подвижниковъ и творцовъ воняствующей пропаганды — отъ Юмы Кемпійскаго до Игнатіа Лойолы.

Онъ не осадилъ, однако, поэтаика вопросомъ: „А гдѣ вы все это изволили вычитать?“

— И во сколько вамъ обошлась эмоція рулетки? — снисходительно спросилъ онъ Загарина.

— Это — деталь. Я не могу проводить цѣлые дни въ этой ужасной Ментонѣ. Природа для насъ мертва, когда она даетъ все одну и ту же ноту глупой и дерзкой радости, чего-то праздничнаго... Въ Ниццѣ мнѣ доктора не



разрѣшили жить... Тамъ все-таки настраииваешь себя раз-пообразнѣе...

— Зато въ тиши курорта можете творить.

— Еще такъ недавно я искалъ ощущеній, успѣха, сочувствія. Но вѣдь славы нѣтъ безъ общенія съ варварами.

— Какъ это?

— Съ варварами — съ публикой, даже съ кружками... Это все чужіе, иностранцы. Чтобы заставить ихъ вибрировать душою, надо свои собственныя душевныя вибраціи сдѣлать банальными.

— Или заставить ихъ подчиниться?

— Это все усилія воли... низменная подкладка человеческой машины. Высшій смыслъ жизни — воздѣлывать свое я, созерцать его метаморфозы, его безконечную способность къ экстазу. Воля должна служить одному: такъ изучить свое я, чтобы быть въ состояніи всегда, въ любой обстановкѣ, однимъ полетомъ духа вызывать въ себѣ экстазъ!

— Зачѣмъ же вы бѣгаете изъ Ментоны?

— Я еще не достигъ такой благодати.

— Ого!.. Это уже отзывается полетомъ на небо святой Терезы!..

— Она одна изъ нашихъ святыхъ!

Дверь въ концертную залу отворили.

Ермиловъ всталъ.

— Вы не ходите на музыку?—спросилъ онъ Загарина.

— Иногда! Когда чувствую потребность во внушеніи особыхъ состояній души! Сегодня не пойду!

— До свиданія!..

### III.

Въ хвостѣ ждавшихъ у концертной залы Ермиловъ не замѣчалъ ни Куликова, ни Анны Гавриловны. Проникнувъ въ залу, онъ нарочно сѣлъ на поперечномъ проходѣ, чтобы видѣть всѣхъ входившихъ.

Задыхающаяся дикція чахоточнаго петербуржца, его фистула и гнилое дыханіе, фразы, которыя онъ точно процитывалъ по книгѣ, переводя ихъ на русскій языкъ, произвели въ Ермиловѣ осадокъ раздраженія.

И въ то же время что-то въ этой вычитанной во французской книжкѣ религіи своего „я“, съ погоней за эмо-

ціями и экстазами, было отвѣчающее на его собственную душевную жизнь.

Развѣ онъ, порою, не испытывалъ уже особой жалости къ собственному „я“, когда оно унижается передъ женщиной, неспособной понять столькихъ усладъ его недавняго, высшаго эпикурейства?

Вѣдь и онъ раздвигается... Его страсть, поздня и смѣшная, безнадежная и тягучая, владѣетъ его тѣломъ; а духъ то и дѣло созерцаетъ эту болѣзнь и въ созерцаніи какъ бы ищетъ горькой отрады.

Зала, вся облѣпленная матовой позолотой, съ рядами бархатныхъ креселъ, стояла еще прохладной. Роскошь ея отдѣлки не давила и не раздражала. Талантливый архитекторъ, построившій парижскую Оперу, захотѣлъ и сюда перенести тотъ же стиль и ту же расточительность однотонной орнаментации.

Не въ первый разъ попадалъ Ермиловъ въ эту залу. Не больше какъ два года назадъ онъ сидѣлъ тамъ, впереди, на проходѣ и переглядывался съ венгеркой, за которой началъ слѣдить еще у рулетки. Какъ тогда все идель пріятно щекотало его слабость къ Европѣ, какъ все ему нравилось: орнаменты вотъ этой залы, ея полумракъ, оркестръ, самый запахъ пудры, какимъ онъ дышалъ здѣсь, туалеты, легкость жизни, сочетаніе всего, что только приносятъ деньги, всего, что воображеніе и вкусъ утомленной эпохи могутъ собрать въ одномъ уголкѣ.

Теперь казино казалось ему безвкусно отдѣланнымъ; золоченая лѣпка концертной залы оставляла его равнодушнымъ; публику находилъ онъ тусклой и нисколько не занимательной. Какое-то русское брюзжаніе поднимало въ немъ особое чувство вѣчнаго протеста и недовольства. И онъ зналъ, откуда оно шло, около кого заразился онъ имъ...

Московская профессорша заразила его, хотя она, быть можетъ, сама и восхищается теперь всѣмъ, что видитъ въ Монте-Карло. Страсть къ ней точно выѣла въ немъ его коренную способность смаковать всѣ блага и примаки стараго, грѣшнаго Запада...

Оркестръ помѣщался на сценѣ. Ливрейные лакеи раздавали листки при входѣ. Ермиловъ разсѣянно просмотрѣлъ то, что значилось въ программѣ концерта. Второй пьесой стояла „Torreador et Andalouse“, Рубинштейна.

Русскій языкъ слышался влѣво отъ Ермилова, но зала была далеко не полна. Онъ съ безпокойствомъ оглянулся на входную дверь.

Вотъ и Куликовы. Анна Гавриловна впереди.

Каждый разъ, какъ онъ увидить ее, послѣ ожиданія или безпокойства, онъ чувствуетъ ударъ чего-то и легкое жженіе въ груди, ощущеніе, сходное съ дѣйствіемъ тока. И кровь непременно прильетъ ему къ лицу.

Анна Гавриловна плыла на ходу. Ея походка отзывалась Москвой, чѣмъ-то старо-дворянскимъ, немножко театральнымъ. Но и эта походка такъ была похожа на всю ея личность. Онъ уже не могъ отдавать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что въ ней изыщно и что нѣтъ.

Мужъ пробирался рядомъ съ ней, бочкомъ, своимъ юркимъ, подпрыгивающимъ шагомъ. Глазки его блестѣли, кудрявые волосы немного растрепались на лбу. Онъ о чемъ-то возбужденно шепталъ женѣ. Анна Гавриловна снисходительно улыбалась.

Ермиловъ тотчасъ поднялся и пошелъ навстрѣчу, чтобы вести ихъ къ тѣмъ свободнымъ кресламъ на проходѣ, которыя онъ намѣтилъ.

— Пожалуйте сюда,—пригласилъ онъ Анну Гавриловну и хотѣлъ ей предложить руку, отъ чего она уклонилась. Зато мужъ взялъ его подъ руку и шепнулъ:

— Моя комбинація удалась.

— Выиграли?

— По два золотыхъ пять разъ давали.

— На простые шансы?

— Иначе играть безуміе!

Они сѣли въ антрактѣ между первымъ и вторымъ номерами программы. Мужъ былъ отъ него по лѣвую руку, жена по правую. Куликовъ продолжалъ передавать ему подробности своей игры въ рулетку и въ его глазкахъ мелькалъ огонекъ удачника, вѣрующаго въ свой умъ, ловкость и находчивость. Ермилову онъ всегда былъ противенъ; но сегодня его близкое сосѣдство обдавало невыносимымъ самодовольствомъ и торжествующей жадностью мелкаго игрока.

Будь этотъ мужъ обманутъ женой, а любовникомъ будь онъ, Ермиловъ, тогда онъ испытывалъ бы, по крайней мѣрѣ, терпкое чувство тайнаго торжества. А кто же онъ?.. Вдыхатель, тольконосящій на себѣ личину возлюбленнаго... И его ревность къ законному обладателю Анны

Гавриловны доставляетъ ему двойной рядъ мученій. Она принадлежитъ, не любя его, мужу и преслѣдуетъ, какъ и онъ, химеру обладанія существомъ, которое одно вызываетъ въ ней душевный трепетъ.

О разгорающейся упорной и злобной страсти ея къ его пріятелю-„хуторянину“ Ермиловъ догадывался. До сихъ поръ она еще не дѣлала его своимъ наперсникомъ. Но это будетъ; онъ пройдетъ и черезъ такой видъ униженія. Можетъ-быть, это случится здѣсь... Она, конечно, прилетѣла сюда, чтобы видѣть *его*.

Боковой, робкій взглядъ, брошенный имъ на Анну Гавриловну, доложилъ ему, что она въ праздничномъ настроеніи. Музыка грянула знакомую плясовую мелодію. Въ оркестръ загремѣли кастаньеты, загудѣлъ бубень.

Она повернулась къ нему въ полъ-оборота, и въ ея заискрившемся взглядѣ онъ прочелъ чувственную мечту о томъ, для кого она притащила ихъ обоихъ сюда, на Ривьеру.

И ничего этого онъ измѣнить не можетъ... Она не будетъ ему принадлежать и не броситъ мужа, прежде чѣмъ Кустаревъ не овдовѣетъ. Здѣсь она воочію убѣдится въ томъ, какъ „маленькая женщина“ близка къ смерти. Отыскивать для нея Кустаревыхъ въ Мевтонѣ придется ему же.

— Вы, кажется, не слушаете музыки?—шопотомъ спросила она, слегка нагнувъ голову въ его сторону.

— Виновать!—шутливо извинился онъ.

И больше ничего не сказалъ. Она бы не позволила ему разговаривать.

Ермиловъ не ошибся: Анна Гавриловна, подъ музыку Рубинштейна, отдалась все той же страстной думѣ о чело-вѣкѣ, такъ не похожемъ ни на ея мужа, ни на этого, кающагося и припавшаго ея сластолюбца, которому она можетъ навязать какую ей угодно роль.

Зачѣмъ толкуются они около нея?.. Зачѣмъ онъ женатъ прикованъ къ умирающей женѣ? А та, быть-можетъ, и не собирается вовсе умирать!..

Какъ было бы чудно здѣсь, въ этомъ райскомъ уголкѣ, найти его одного... и самой быть безъ провожатыхъ! Она знаетъ, что только побѣда надъ нимъ дастъ ей неизвѣданное сладостное чувство своей силы и только передъ нимъ возможно будетъ для нея полное преклоненіе.

Взрывъ повторенной андалузской мелодіи заставилъ ее вздрогнуть и далъ ей думамъ другой оборотъ.

Зачѣмъ торопить теченіе жизни?.. Все придетъ своимъ чередомъ... Она увѣрена въ этомъ... Чего же ей желать лучшаго въ настоящую минуту?.. Мужа она держитъ въ рукахъ, хотя онъ и думаетъ, что способенъ во всемъ руководить ею. Эта поѣздка на Ривьеру обошлась какъ нельзя быть лучше. На Ермилова мужъ смотритъ ея глазами. Онъ увѣренъ въ совершенной безопасности такого записного ухаживателя. Это даже льститъ ему. Въ такой безнадежной привязанности блестящаго стараго холостяка онъ видѣлъ дипломъ своей „жѣнкѣ“ на первоклассную репутацію покорительницы сердецъ.

И ей такъ, въ сущности, очень удобно, до поры до времени. А главное, обожаніе Ермилова, смѣшноватое только въ ея глазахъ, можетъ сослужить ей службу и въ ея борьбѣ съ натурой и темпераментомъ „цѣльнаго“ и „чистаго“ человѣка.

То, что полчаса назадъ смутно проходило по душѣ ея, когда стояла она на террасѣ, здѣсь, сливаясь съ подмывающей музыкой, приняло осязательныя формы.

Ей извѣстно, что Ермиловъ и Кустаревъ—товарищи: черезъ Ермилова она узнала множество интимныхъ чертъ хуторянина, заставляя его говорить о ихъ гимназическихъ и студенческихъ годахъ; убѣдилась въ томъ, что Ермиловъ, какая бы въ немъ ни зажглась ревность къ своему пріятелю, не посмѣетъ вредить ей въ его глазахъ; почувствовала и то, что у Кустарева есть запасъ слабости къ Ермилову, что онъ для него нѣчто особенное, порочное и легкое, но избранное, даровитое и нарядное.

Преклоненіе такого человѣка можетъ вызвать и въ добродѣтельномъ народникѣ сложный душевный процессъ, въ концѣ котораго должна настать желанная минута.

А мужъ думалъ подъ ту же музыку о своемъ выигрышѣ, о томъ, какая у него красивая и тонкая „жѣнка“, и какъ пріятно, обладая ею, сознавать, что она признаетъ ваше мужское превосходство и будетъ всегда вѣрной помощницей въ устройствѣ вашей судьбы.

Оркестръ смолкъ. Анна Гавриловна знакомъ пригласила мужа и Ермилова зааплодировать.

IV.

Море тихо рокотало внизу у побережья. Языки пѣны избѣгали и рассыпались тотчасъ же; новый медлительный валъ катился съ горизонта и настигалъ черту темнѣющаго, сырого гравіа...

Крутой спускъ къ морю шелъ по разрушенной наполовину лѣсенкѣ изъ мшистыхъ и сѣважистыхъ осколковъ камня. Немного выше—родъ террасы, сжатой голыми, побурѣлыми отъ времени столбами, безъ рѣшетки въ промежуточныхъ пространствахъ, со сплошнымъ, низкимъ фундаментомъ и стертыми украшеніями, гдѣ прежде вились какіи-нибудь ползучія растенія. Надъ этимъ рядомъ столбовъ шла площадка виллы съ двумя башенками, розоватаго цвѣта, кое-гдѣ побурѣвшими, въ два этажа, капризной и тревожной архитектуры. Лѣсенки и балкончики прерѣзали оба ея фаса, передній и задній.

Въ верхнемъ этажѣ никто не жилъ. Въ нижнемъ заняты были только три комнаты, выходившія на площадку, узкую, часто заставленную полусохшими пальмами и двумя-тремя апельсиновыми деревьями.

Позади виллы высился тѣнистый, чисто итальянскій садъ, тоже довольно запущенный. Аллея эвкалиптусовъ вела къ лукайѣ; кусты оливъ видѣлись въ глубинѣ, ближе къ дорогѣ, шедшей у подножія горъ.

Надъ всѣмъ стояли голые гребни скалъ, такіе же, какъ и въ Монте-Карло, но болѣе суровые, мѣстами покрытые сизоватою зеленью оливъ, тянувшихся широкими полосами вправо и влѣво.

Внизу попадались мраморныя скамьи и вазы съ отбитыми краями, но не было ни одной статуи. Садъ притихъ въ теплый полуденный часъ, и только по листвѣ деревьевъ пробѣгала дрожь отъ морского прибоя.

На площадку, изъ балконной двери, часу въ третьемъ вывели въ креслахъ больную. Мужчина подопрнулъ кресло ближе къ краю, между двумя пальмами, гдѣ видъ былъ всего красивѣе. Справа огибалъ море длинный выступъ съ маякомъ вдали. На линіи, гдѣ темная, почти черная, вода переходила въ ярко-синее небо, бѣлѣлось нѣсколько парусовъ.

— Гара, до тебя въ свипу не доходитъ вѣтерокъ? — спросилъ Кустаревъ жену, глубоко ушедшую въ кресло, съ головой, обвязанной платкомъ, и съ пледомъ на ногахъ.

Лица ея почти не было видно изъ-подъ зонтика. Все ея тѣло ссохлось, и всякій принялъ бы ее за дѣвочку двѣнадцати лѣтъ. Подъ тѣнью зонта выдавался впередъ заостренный носикъ и два глаза чернѣли и нервно озирались.

Евменій Филипповичъ не особенно измѣнился въ лицѣ: только борода посѣдѣла въ двухъ мѣстахъ, по бокамъ подбородка, и весь онъ сталъ плотнѣе, однако, безъ толщины. На немъ, по московскому обычаю, была пара изъ китайскаго сырца, захваченная съ собою на всякій случай. Въ ней онъ чувствовалъ себя какъ на хуторѣ въ юнѣ.

На его вопросъ, не беспокоить ли ее вѣтерокъ, Маргарита Сергѣевна сначала ничего не отвѣтила. Она подставила лицо подъ свѣжесть моря, и ей дышалось легче, чѣмъ въ душной и сѣрвовой спальнѣ, темной и узкой комнатѣ, загроможденной всякими ненужными вещами французской отдѣлки.

— Ты скажи,—выговорилъ Кустаревъ и сѣлъ рядомъ, на желѣзный стулъ, прислоненный къ одному изъ четырехугольных столбовъ, — тебя, на воздухѣ, папирса моя не будетъ беспокоить?

— Нисколько,—глухо и отрывисто отвѣтила Маргарита Сергѣевна и положила зонтикъ на лѣвое плечо, такъ что лицо ея въ профиль стало ему виднѣе.

— И не свѣженько тебѣ?

— Мнѣ хорошо...

Она сдѣлала усиліе улыбнуться. На болѣзнь она вообще не жаловалась, даже въ его отсутствіе, въ тѣ долгіе мѣсяцы, которые она одна провела на морѣ, въ два періода, сначала предыдущей зимой съ марта по май и съ октября до половины декабря. На лѣто они съѣхались въ Швейцаріи, въ горной станціи, гдѣ ея легкія должны были окрѣпнуть. Вышло совсѣмъ не такъ. На высотахъ, слишкомъ суровыхъ для нея, открылось кровохарканіе. Она испугалась больше за мужа, чѣмъ за себя. Въ ней жило, съ самаго отъѣзда изъ Москвы, упорное предчувствіе, что домой она уже не вернется.

Стремительно уѣхали они изъ берискаго Оберланда и конецъ лѣта провели около Монтрё, по дорогѣ въ Сень-Морисъ. Тамъ она страдала отъ влажной жары, но поправилась и стала усиленно гнать своего Меню въ Россію, на хуторъ, хоть къ поздней уборкѣ хлѣба. Тогда

она еще ходила и даже позволяла себѣ гулять по небольшимъ подъездамъ.

Одна, безъ горничной или компаньонки, прожила она тамъ до начала октября и опять двинулась къ Ривьерѣ. Ментону, гдѣ протянулись первыя мѣсяцы ея одиночества, послѣ перваго возвращенія мужа въ Россію, она не любила. Этотъ городъ большихъ и толкущихся всюду англичанъ наводилъ на нее ужасную тоску, какой она не переживала никогда, въ самые тусклые дни хуторского житья, подъ Москвой, во время проливныхъ дождей и снѣжныхъ заносовъ.

Вообще Маргарита Сергѣевна страшно скучала за границей. Пока она могла сидѣть за табльд'отами, она выносила ихъ съ великимъ напряженіемъ. Кругомъ разговоры иностранцевъ были ей до-нельзя чужды, подавляли ее своей неизменною, если не раздражали постоянно чувствомъ того, что вотъ всѣ эти здоровенныя англичанки только и хлопчутъ о томъ, какъ бы имъ, не поступаясь ни одной своей британской привычкой, прожить подольше на югѣ, гдѣ имъ тепло, свѣтло и дешево, гдѣ они постоянно среди земляковъ, замаринованныхъ въ своей респектабельности.

А къ ней догораетъ жизнь: она это сознавала отчетливо и безповоротно. Докторовъ она не звала иначе, какъ въ крайности, когда, по ночамъ, случалось что-нибудь чрезвычайное. Она считала своимъ долгомъ передъ Менѣй не умереть скоропостижно, отъ собственной небрежности, и отъ каждаго доктора, попадавшаго къ ней, требовала категорическаго отвѣта: сколько, по его мнѣнію, она проживетъ, и нѣтъ ли серьезной опасности, — не для себя, а затѣмъ, чтобы во-время приготовить мужа. Только за нимъ признавала она право на собственную жизнь, а не за собою; но съ каждымъ днемъ она считала себя все болѣе и болѣе виновной въ томъ, что навязываетъ Менѣй несносную обузу — умирающую жену, портитъ ему и безъ того не красную его долю. По ея расчетамъ, — она ихъ веда про себя, съ безстрастнымъ мужествомъ, — ей слѣдовало умереть весной, передъ переѣздомъ въ Швейцарію.

По дорогѣ на Ривьеру, изъ Швейцаріи, съ горничной-нѣмкой, нанятой за дешевую цѣну, остановились они въ Санъ-Ремо. Положеніе городка понравилось ей. Оно избавляло ее отъ Ментоны. Но Евменій Филипповичъ изъ Москвы, въ письмахъ своихъ, настаивалъ на томъ, чтобы



она въ концу ноября непремѣнно перебралась въ Ментону. Ослушаться она не считала себя въ правѣ и опять очутилась въ Ментонѣ, но выносить отельную жизнь уже не могла, взяла меблированную квартиру, стала держать кухарку. Но даже и крошечное хозяйство не могло идти. По цѣлымъ суткамъ лежала она какъ пластъ, не могла говорить, не могла ничего приказать и находила, что проживаетъ непомерно дорого; это заставляло ее страдать больше всего.

Такою нашелъ ее Евменій Филипповичъ и, по совѣту доктора, перевезъ ее на побережье, между Вилла-Франка и Болье, въ самое мягкое и теплое мѣсто окрестностей Ниццы. Имъ посчастливилось найти за недорогую цѣну цѣлую квартиру, въ нижнемъ этажѣ запущенной виллы, оставшейся безъ нанимателей на зиму.

Жена привратника вызвалась готовить; дочь ея, толковая дѣвочка, лѣтъ двѣнадцати, исполнила обязанности горничной. Самъ привратникъ ходилъ на рынокъ, топилъ каминъ, бралъ на себя всякія порученія, когда бывало нужно послать его въ Ниццу.

Кустаревъ, когда пріѣхалъ въ Ментону, прочелъ на лицѣ своей Гари близкую кончину. Первые слова Маргариты Сергѣевны были:

— Прости, Менюшка, что я запоздала... Дольше марта не протяну и здѣсь...

Онъ посердился на нее за эти слова, не хотѣлъ самъ вѣрить близкому исходу, но докторъ подтвердилъ ему, что его жена врядъ ли доживетъ и до марта. Съ того дня онъ уже и въ шутку не пелъ на нее за ея „кладбищенскія“ мысли.

Сегодня она проснулась безъ бабля и обычной изнурительной испарины, скушала котлетку и немного поговорила за ѣдой, спрашивала его про Москву, друзей, университетъ и городскія новости.

Освѣдомилась она и о Куликовыхъ, объ Аннѣ Гавриловнѣ, о томъ, есть ли у нея ребенокъ, бывалъ ли онъ у нихъ или только встрѣчается ее гдѣ-нибудь у общихъ знакомыхъ.

Кустаревъ какъ-то нехотя отвѣчалъ ей... Ему показалось, и не въ первый разъ, что въ Маргариту Сергѣевну заглянули какія-то подозрѣнія. Если бы онъ не боялся волновать ее, онъ долженъ былъ бы рассказать ей, что отъ бѣже частыхъ встрѣчъ съ Куликовой онъ не ушелъ, что

эта женщина сумела выбрать такую минуту, когда ему было до-нельзя тяжело, и на хуторѣ, и въ городѣ, что она начала бывать каждый вторникъ у Симбирцевыхъ одна, потому что ея мужъ боялся появляться въ этомъ кружкѣ, что она втягивала его въ долгія бесѣды, въ которыхъ не скрывала своего желанія—видѣть его въ числѣ своихъ друзей, выдавала мужа, жившемъ, называла свое супружество промахомъ дѣвушки, еще не сознавшей себя хорошенько.

Ничего этого онъ не хотѣлъ передавать женѣ и находилъ такую утайку обязательной.

V.

На лѣсенкѣ, ведущей вверхъ, въ садъ, показалась дѣвочка въ сандаляхъ, на босу ногу, съ курчавыми рыжеватыми полосами.

Она сдѣлала Кустареву знакъ и крикнула сверху, съ мѣстнымъ акцентомъ:

— Il y a un monsieur qui demande à parler à monsieur.

Маргарита Сергѣевна спросила мужа:

— Кто бы это? Если докторъ, онъ очень ужъ зачастилъ... Все по десяти франковъ выдавай...

Курчавая дѣвочка переминалась съ ноги на ноги, и ея бѣлые зубы блестѣли на солнцѣ. Фартукъ ея немножко развѣвался.

Кустаревъ былъ бы скорѣе радъ приходу доктора. Ему хотѣлось вѣрить въ возможность, если не выздоровленія, то хоть нѣкотораго подъема силъ. Чахотки онъ не признавалъ, а только дурно залѣченное воспаление и общую неврастенію.

— Лучше принять, Гая, — тихо выговорилъ онъ, наклонившись къ женѣ. — Если тебѣ непріятно, я къ нему пойду...

— Какъ тебѣ угодно,—кратко отвѣтила больная, и показала ему руку.

Онъ взбѣжалъ по ступенькамъ.

— Le docteur?—спросилъ онъ у дѣвочки на ходу, отстранивъ ее рукой.

Но это былъ не докторъ. Она подала карточку, на которой стояло: „George Ermiloff. Moscou“.

Онъ хотѣлъ крикнуть женѣ, что пріѣхалъ Егоръ Петровичъ, и не крикнулъ, а подумалъ вслѣдъ за первымъ своимъ движеніемъ, что Гая можетъ сильно заволно-

ваться. Почему-то у него явилось, вмѣстѣ съ тѣмъ, и предположеніе, что Ермиловъ не одинъ на Ривьерѣ.

Но этотъ неожиданный пріѣздъ пріятеля, съ которымъ они видѣлись въ Москвѣ какъ-то урывками, подбодрилъ его. Онъ пошелъ быстрымъ шагомъ. Дѣвочка побѣжала впередъ просить гостя, дожидавшагося у рѣшетчатой входной двери на кремнистой мостовой узкаго прохода съ крутымъ подъемомъ.

Въ нѣсколько секундъ Евменій Филипповичъ, вернувшись мыслю къ Москвѣ, что-то еще сообразилъ насчетъ пріятеля. Всплыла тутъ же и роскошная фигура Анны Гавриловны, и ея длинныя глаза поглядѣли на него. Вспомнилось и то чувство, съ какимъ онъ въ послѣдній разъ простился съ Ермиловымъ. И тогда уже онъ не видалъ въ немъ искренняго эпикурейца, удивился его намѣренію перебраться въ Москву на постоянное житье.

— Егоръ Петровичъ!.. Родной!.. Вотъ одолжилъ!..

Онъ уже обнималъ Ермилова и оглядывалъ его.

— Вотъ это отлично!.. Какъ всегда, экспромтомъ, и сейчасъ отыскали насъ... Даже удивленія достойно!..

— Отыскалъ, отыскалъ!.. На дпѣ морскомъ нашелъ бы!

Голосъ Ермилова звучалъ такъ же, но въ его лицѣ Кустаревъ сразу отмѣтилъ нѣчто новое, да и во всей его повадкѣ. Стоялъ онъ передъ нимъ франтовато и пестро одѣтый, въ башмакахъ, подъ парусиннымъ зонтомъ, въ шляпѣ съ синимъ вуалемъ.

— Вы подъ прикрытіемъ, дружище, а я простоволосъ! Пойдемте, присядемъ на минутку, вонъ подъ ту магнолію... И античная скамейка насъ тамъ ждетъ.

Магнолія была такъ же запущена, какъ и весь садъ; много мертвыхъ листьевъ валялось вокругъ нея, и на деревѣ не мало выглядывало пожелтѣлыхъ, среди болѣе сочной листвы, лоснившейся тамъ и сямъ.

— Ну, еще здравствуйте, родной!—продолжалъ Кустаревъ все въ томъ же возбужденномъ московскомъ тонѣ.— Почеломкаемся!

И онъ еще разъ его обнялъ.

Ему показалось, что Ермиловъ суше обыкновеннаго принимаетъ это пріятельское объятіе.

— Тепленько!—выговорилъ онъ и снялъ шляпу, оглянувшись и прибавилъ: — Да у васъ тутъ настоящее *buen-retiro*.

— Это, кажется, по-гишпански?—шутливо осведомился Кустаревъ.

— По-гишпански...

Юморъ скользнулъ по крупному рту Егора Петровича, но лицо его тотчасъ переѣнило выраженіе.

Онъ наморщилъ слегка переносицу и спросилъ условнымъ звукомъ барскаго воспитанія людей, когда они попадаютъ въ домъ, гдѣ есть опасно больные.

— А какъ здоровье Маргариты Сергѣевны?

Этотъ звукъ сразу охолодилъ Кустарева. Отъ него пахло тѣмъ, что жена его никогда не любила въ Ермиловѣ, но къ чему онъ самъ былъ нечувствителенъ.

— Какое ужъ здоровье!..

Кустаревъ махнулъ рукой и тяжело опустилъ голову.

— Неужели плохо?

Вопросъ зазвучалъ иначе, какъ будто даже съ дрожью въ голосѣ.

И въ самомъ дѣлѣ, Ермиловъ, произнося эти два слова, почувствовалъ, что смерть заноситъ ударъ надъ этимъ домомъ и дѣйствуетъ въ угоду ей, женщинѣ, которая приказала ему развѣдать, какъ можно скорѣе, гдѣ живутъ Кустаревы,—ихъ въ Мейтонѣ не оказалось,—узнать, дѣйствительно ли Маргарита Сергѣевна при-смерти, а потомъ пожалуетъ сюда сама убѣдиться въ этомъ и закинетъ новую сѣть на его пріятеля и соперника.

Соперникъ—вотъ онъ, добрейшій и честѣйшій Кустаревъ... Успѣла ли она заронить въ него капельку любовнаго яда—Ермиловъ не зналъ. Врядъ ли; да и зачѣмъ онъ будетъ заподозрѣвать это?.. Къ чему, прежде времени, растравлять свою рану?

Видъ Кустарева не вызвалъ въ немъ спазма злобы или зависти, никакого тайнаго сарказма, язвительной остроты... Онъ, должно-быть, уже неспособенъ и на такія мужественныя чувства самца и хищника. Иначе, развѣ онъ взялъ бы на себя роль сообщника Анны Гавриловны, сталъ ли бы онъ проникать сюда съ намѣреніемъ: вывѣдать то, что ей угодно и пріятно знать?..

Онъ сталъ разспрашивать обстоятельно, ободрялъ пріятеля, сказалъ нѣсколько общихъ мѣстъ насчетъ благодатности климата Ривьеры и, говоря все это, продолжалъ испытывать гадливость къ себѣ и педовѣріе къ горю Кустарева. Ему какъ бы хотѣлось, чтобы этотъ пуританинъ лицемерилъ, чтобы онъ, про себя, желалъ смерти

жены, чтобы и онъ былъ уже уколоть той же иглой съ дурманомъ.

Дѣвочка, въ началѣ ихъ разговора, пробѣжала внизъ, на террасу. Она подумала, что оставить больную одну нельзя, а мать ея ушла къ сосѣдкѣ жарить кофе—Маргарита Сергѣевна не могла выносить этотъ запахъ.

Они сидѣли на скамейкѣ все въ тѣхъ же грустныхъ позахъ.

Кустаревъ первый почувствовалъ потребность встряхнуться.

— Что жъ тутъ подѣлаешь, дружище? — громче заговорилъ онъ и положилъ широкую ладонь на пухлое плечо Ермилова.— Вѣра у меня есть въ равновѣсіе въ природѣ. Должны же мы получить что-нибудь въ награду за всѣ гадости, посылаемыя намъ случаемъ? Близкую кончину Гари,—онъ покачалъ головой,—я не хочу допускать: ужасныя передряги въ нервной системѣ—такъ; но въ легкихъ нѣтъ ни кавернъ, ни гангрены. Единственный сносный врачъ въ Ментонѣ, изъ австріяковъ, который способенъ былъ произвести микроскопическій анализъ, находилъ, не такъ давно, что коховскихъ столбиковъ нѣтъ въ отдѣленіяхъ.

— Когда?—спросилъ Ермиловъ безстрастно, чѣмъ считалъ себя на то способнымъ.

— Когда?.. Да еще въ началѣ осени.

— А если это—*phthisie galopante*?..

И французскій терминъ выговорилъ онъ необыкновенно отчетливо, точно самый звукъ его нравился ему.

Въ этомъ бездушіи онъ распозналъ свое теперешнее отношеніе къ Кустареву. Тотъ товарищъ, къ которому онъ явился на хуторъ просить о своей незаконной дочери, умеръ для него...

И о дочери онъ совсѣмъ забылъ. Около года онъ не знаетъ, жива она или нѣтъ; съ той дамой—ея матерью—у него нѣтъ никакой переписки.

— Можно видѣть Маргариту Сергѣевну?—опять съ наморщенной переносицей спросилъ Ермиловъ.

— Вотъ я сейчасъ пойду. Быть-можетъ, она уснула. Да и вообще я боюсь, чтобы она не взволновалась.

Кустаревъ поднялся, тревожно поглядѣлъ въ сторону спуска на площадку и сталъ прислушиваться.

Голосовъ на площадкѣ не раздавалось.

— Простите, дружище. Если можно, я кликну.



Поспѣшно скрылся Кустаревъ за деревомъ и началъ спускаться по лѣсенкѣ.

„Хитришь,—говорилъ про себя Ермиловъ.—Тебѣ приѣлась хворость маленькой женщины; это вышибло тебя изъ твоего сѣдла. Дай срокъ, и ты будешь, какъ я, сидѣть за той же рулеткой и ждать, что выскочитъ твой померъ“.

Эти недобрыя мысли не могли забраться въ голову годъ тому назадъ; тогда онъ вѣрилъ Кустареву гораздо больше, чѣмъ себѣ.

— Ну что? — громкимъ шопотомъ пустилъ онъ, когда Кустаревъ появился съ другой стороны; онъ вышелъ изъ дома заднимъ ходомъ.

— Видите что, родной! Она захотѣла васъ видѣть, очень оживилась. Только ей надо полежать—я настоялъ. А мы вотъ что сдѣлаемъ. Вы не торопитесь?

— Я могу взять поѣздъ въ пять съ чѣмъ-то.

— И распрекрасно! Тутъ на полугорѣ, подъ шоссе, есть курьезнѣйшій кабачокъ. Напоминаетъ декорацію изъ „Риголетто“. Тамъ мы разопьемъ бутылочку *Asti Spumante* и по душѣ все перетряхнемъ. Въ десяти минутахъ ходьбы.

Голову Кустарева уже покрывалъ изъ бѣлаго войлока беретъ, нахлобученный напередъ, придававшій его головѣ живописность.

„Да онъ сталъ красивѣе!“—подумалъ Ермиловъ и тотчасъ же сдержанно крикнулъ:

— Andiamo!

## VI.

На дворикъ, приткнутомъ къ скалѣ, гдѣ жерди лежали на узкихъ каменныхъ столбикахъ, перевитыя голыми отирысками винограднои лозы, за некрашеннымъ столикомъ сидѣли два москвича.

Хозяйка, улыбающаяся, плотная женщина, похожая на русскую нестарую няньку, принесла имъ бутылку мутнаго, но вкуснаго асти, нѣсколько ломтиковъ салами, отъ котораго пошелъ чесночный запахъ, полубѣлаго хлѣба и ломоть стараго сыра Горгондзола...

Кабачокъ не совсѣмъ походилъ на притонъ изъ „Риголетто“, но годился въ любой итальянскій жанръ. Къ нему надо было спускаться съ шоссе, по узенькой тропинкѣ, между мшистыхъ камней и запущенныхъ оградъ.

Съ дворика видна была полоска моря, а слѣва обли-

вались яркимъ свѣтомъ отвѣсныя скалы, надвинувшись на дорогу—иѣсто Ривьеры, прозванное „маленькой Африкой“.

Тутъ было прохладно, почти свѣжо. Изъ открытыхъ дверей лачуги, гдѣ поѣщалась стойка, шелъ запахъ вина и сушеныхъ травъ.

Оба москвича чувствовали то особое нервное возбужденіе, какое даетъ воздухъ Ривьеры.

Сначала разговоръ перескакивалъ съ предмета на предметъ, и обоимъ пріятелямъ, отъ перваго же стакана пѣнистаго асти, захотѣлось сбросить съ себя то, съ чего они начали—тамъ, въ саду вишны; забыть хоть на нѣсколько минутъ тоску жизни.

Это имъ не удалось. Кустарева не веселила бесѣда съ Ериловымъ, и здѣсь онъ не находилъ въ немъ прежняго Егора Петровича. Онъ не могъ выяснить—что между ними точно встало, какъ топкая, по непроницаемая стѣнка?

Между ними встала женщина.

Не та, что дожидалась своего конца на старой вишнѣ; а та, что ждала въ Ниццѣ возвращенія Ерилова и вѣрныхъ вѣстей о Кустаревыхъ.

Первый заявилъ объ этомъ Евменій Филипповичъ.

— Слухайте, дружище,—онъ положилъ локоть на столъ и наклонилъ къ нему голову,—что это какъ ровно я васъ не совсѣмъ чую?.. Какъ будто мнѣ моего энкуррействующаго россиянина Егора Петровича кто-то подмѣнилъ.

Ериловъ вкось усмѣхнулся.

— Можетъ-быть, — вымолвилъ онъ совсѣмъ не своимъ голосомъ.

— Съ какой же стати, родной?

Что было отвѣтить на это? Сиди передъ нимъ не Кустаревъ, не тотъ „объектъ“, на который женщина, влаѣвшая имъ какъ вещью, навела свои продолговатыя глаза, съ цѣлью обладать имъ и отдаться ему, онъ не устыдился бы своего теперешняго наденія, рассказать бы чистосердечно, какъ подкрался къ нему этотъ недугъ, быть-можетъ, въ видѣ возмездія за двадцать пять лѣтъ игры съ любовью и женщиной...

Кустареву онъ не могъ изливаться... Не могъ ея и вывѣдывать, надѣвъ на себя личину: какъ тотъ теперь смотреть на профессоршу, послѣ осени, проведенной на хуторѣ, съ частыми поѣздками въ городъ? — забратъсь потихоньку къ нему въ душу и опредѣлить, какъ быстро,

послѣ неминуемой смерти „маленькой женщины“, ея Меня сдѣлается возлюбленнымъ Анны Гавриловны, а то такъ и ея законнымъ супругомъ, если она найдетъ болѣе удобнымъ добиться развода отъ своего ловкача-мужа...

На такіе подходы у него не доставало ни двоедушія, ни мужества.

На Кустарева онъ привыкъ смотрѣть какъ на родного брата. Сухость, сознанная имъ въ себѣ, полчася передъ тѣмъ, не пропадала въ немъ и теперь. Асти не помогало что-то. Но въ немъ все-таки оставалось прежнее почтительное чувство къ личности Кустарева, хотя онъ и не преклонялся передъ народниками и ихъ полумистическимъ идеализмомъ.

Онъ сдѣлалъ бы надъ собою усиліе и заговорилъ бы про Монте-Карло, про женщинъ, про какія-нибудь эстетическія ощущенія, испытанныя имъ въ этомъ благодатномъ краю, но ему становилось неловко отъ опасной болѣзни Маргариты Сергѣевны, отъ ея кончины.

Невольно онъ выговорилъ съ протянутымъ стаканомъ:  
— За выздоровленіе жепы вашей!

И ему искренно, до болѣзненнаго порыва, захотѣлось этого выздоровленія... Она не уступитъ своего Меню, и Меня не такой человѣкъ, чтобы тайно блудить...

Развѣ ужъ и онъ подпадетъ тому же недугу, что гложетъ теперь его недавняго друга, „эпикурействующаго россиянина“?... Да, пусть живетъ „маленькая женщина“, и много, много лѣтъ, пускай переживетъ ихъ обоихъ, вмѣстѣ съ разлучницей...

— Полноте! — остановилъ его движеніемъ руки Кустаревъ, ожидая вѣрно цѣлаго заздравнаго спича.— Во мнѣ живетъ еще вѣра... родъ упрямства; но въ ней самой ея нѣтъ... Вотъ это меня всего сильнѣе и сокрушаетъ, другъ Егоръ Петровичъ...

Опять, откуда-то, изъ самой скептической складки души, въ Ермиловѣ, какъ острая струйка, поднялось сомнѣніе... Онъ глядѣлъ вбокъ на лицо Кустарева и не распознавалъ на немъ несомнѣнныхъ признаковъ глубокой печали... Что-то уже забралось, разѣдающее, въ сердце прямолинейнаго хуторянина.

— Климать восторжествуетъ! — попробовалъ еще Ермиловъ, и звукъ фразы вышелъ у него двойственный.

— Сосудъ скудельный, друже! — вотъ что такое женщина... Онъ воображаютъ себѣ, что духъ—все, что онѣ—



бездѣлесныя и несутся на всѣхъ парахъ, зря, безумно, расточаютъ свою нервную силу на ежесекундное нравственное возбужденіе, а тамъ, глядь,—и рассыпалась машинка!..

— Маргарита Сергѣевна вела такую строго-правильную жизнь,—замѣтилъ, какъ бы про себя, Ермиловъ.

— Заблужденіе, другъ, великое заблужденіе!.. — почти гнѣвно крикнулъ Кустаревъ и началъ ковырять въ ломтъ сыра, ища исхода овладѣвшей имъ нервности. — Не могутъ и не умѣютъ наши интеллигентныя женщины нормально переносить ни ударовъ жизни, всегда возможныхъ, ни прѣсноты ея... Маргарита Сергѣевна, съ первыхъ дней нашего сожителства, начала исходить въ чрезвычайную впечатлительность, въ заботу обо мнѣ, внѣ всякой мѣры, потомъ въ дѣтей... Со смертью ихъ она не умѣла помириться; за меня продолжала глотать себя, почти выдумывала мнѣ душевныя страданія, скорбѣла часто вслухъ о томъ, что дѣло мое не задалось, и какъ разъ, когда я почиталъ себя счастливымъ, что убѣжалъ изъ того ученаго клоповника, гдѣ безъ толку исходилъ въ мелкомъ раздраженіи. Въ предпоследнюю минуту, она начала сдерживаться, и это стало еще хуже. Потомъ схватила она болѣзнь уже на почвѣ полной развипченности всей первой системы...

Кустаревъ не договорилъ и допилъ остатокъ вина, мутнѣвшагося на днѣ стакана.

„Да, да, — думалъ Ермиловъ, — такъ и есть... Ты, не сознавая того, тяготишься... Эта умирающая жена лишаетъ тебя всякой личной жизни; ты ни публицистъ, ни хозяинъ, ни товарищъ своихъ сверстниковъ, людей одного кружка... А встрѣчи съ Анной Гавриловной могли додѣлать остальное“.

— Право, — продолжалъ сдавленнымъ звукомъ Кустаревъ, — женщины новой генераціи здоровѣе натурой. Онѣ, быть-можетъ, болѣе себѣ на умѣ, идеалы ихъ помельче сортомъ. Да, зато, цѣну себѣ знаютъ и сумѣютъ къ зрѣлымъ лѣтамъ приберечь здоровье и нервную гибкость.

„Онъ объ ней думаетъ!“ — мысленно воскликнулъ Ермиловъ и слегка покраснѣлъ, чего собесѣдникъ его не замѣтилъ.

— Какія такія женщины? — тихо вымолвилъ онъ, отводя голову въ сторону.

— А хоть бы ваша знакомая, Анна Гавриловна.

„Такъ и есть!“—чуть не вырвалось вслухъ у Ермилова.

— Вы находите?—спросилъ онъ, чувствуя, какъ его забираетъ желаніе заставить Кустарева говорить, и въ то же время какъ бы совѣстясь за него.

— Всенепремѣнно! Не хорошо, что за этого конториста отъ Юнкера пошла, за Лису-Патрикѣевну, которую она не можетъ не видѣть насквозь. Ну, да тутъ одинъ человѣчекъ кругомъ виноватъ.

— Кто это?

Вопросъ Ермилова заставилъ Кустарева поднять голову.

— Да вы, дружище, собственной особой. Она намъ нравилась. Вотъ бы тогда конецъ сдѣлать всѣмъ экспериментамъ. Лучше не найдете, и какъ эстетикъ, и какъ умница. И она пошла бы, ничто же сумняся! А вы, сдается мнѣ, страха ради, не іудейска, а холостяка закорузлаго—на понятный. Она и очутилась приватъ-доцентшей, а теперь профессоршей Куликовой. Такъ-то!

Онъ налилъ себѣ и Ермилову и поднялъ свой стаканъ.

— За здоровье Анны Гавриловны!..

Этотъ тостъ показался Ермилову почти циническимъ. Онъ чокнулся молча и сидѣлъ съ опущенной головой.

— Вы мнѣ ничего не рассказали про нее, Егоръ Петровичъ. А я, грѣшный человѣкъ, когда дѣвочка подала мнѣ вашу карточку, подумалъ, что вы сюда не одни на Ривьеру пожаловали.

— И вы не ошиблись. Я съ Куликовыми.

— Быть не можетъ!

Кустаревъ всталъ и заходилъ вокругъ стола.

— Анна Гавриловна здѣсь! И со своимъ карьеристомъ?

— Они въ Ниццѣ и желали бы васъ видѣть.

Не сказать этого—было бы глупо.

Лобъ Кустарева немножко нахмурился.

— Къ намъ-то что же безнокоитесь... Они надолго-ли?

— По дорогѣ въ Итацію. Побудутъ съ недѣлю.

— И вы за ними туда же?

Глаза Кустарева шутливо заиграли, когда онъ это спросилъ, глядя на Ермилова.

— И я туда же.

— Вотъ видите, дружище, до сихъ поръ въ васъ влеченіе не улеглось, а мясоѣдъ-то пропустили.

Тонъ этихъ словъ показывалъ, что Кустаревъ подозрѣвалъ пріятеля въ вѣчномъ селадонствѣ, но былъ далекъ, за тысячу верстъ, отъ настоящей правды.

— Что жъ прикажете передать?—спросилъ Ермиловъ.

— Да я къ нимъ заверну, какъ только Гарѣ будетъ получше. А къ намъ ей зачѣмъ же беспокоиться... Завтра, послѣзавтра...

Порученіе Анны Гавриловны Ермиловъ исполнилъ блистательно.

## VII.

Громкіе голоса раздались сверху, со стороны шоссе, гдѣ только что остановился экипажъ.

Разговоръ былъ прерванъ.

Кустаревъ прислушался и сказалъ первый:

— Это, никакъ, соотечественники?

— Да,—подтвердилъ Ермиловъ,— только компатріоты могутъ такъ кричать.

Онъ внутренно обрадовался, что имъ помѣшаютъ. Дольше—сдѣлалось бы для него жутко.

По каменистой тропинкѣ спускались гуськомъ нѣсколько человѣкъ. Ермилову, съ его мѣста, было удобнѣе разглядѣть ихъ.

Впереди шелъ, переваливаясь, мужчина лѣтъ за пятьдесятъ въ русской „крылаткѣ“ изъ свѣтлаго шевіота и въ мягкой пуховой шляпѣ съ широкими полями. Ермиловъ сейчасъ же спросилъ себя: „какъ будто я его гдѣ-то видалъ?“

Господинъ въ крылаткѣ кричалъ тѣмъ, что начали только сходить внизъ:

— Да ужъ, дѣти мои, коль я вамъ говорю, что тутъ найдется рафрешиментъ перваго сорта... Даромъ, что это кабачокъ! Мнѣ еще не знать?.. Слава Богу!.. Пятнадцать лѣтъ по здѣшнимъ мѣстамъ путаюсь!..

Онъ повернулъ лицо, и солнце заиграло на его уже морщинистыхъ щекахъ, съ красными жилками, и на толстоватомъ, чисто-русскомъ носѣ помѣщикаго типа. Борода, изжелта-сѣдая, моложавила его.

И голосъ былъ знакомъ Ермилову, но онъ еще не могъ ни назвать этого русскаго, ни сказать, гдѣ именно встрѣчалъ его.

Вторую показала дама, рослая, полная, почти толстая, въ бруснично-красномъ саче *poussières*, съ длинными рукавами и сборчатой шеей, и въ низкой шелковой шляпкѣ, безъ полей, формой въ родѣ купеческой „головки“, нѣжно-абрикосоваго цвѣта.

И ее Ермиловъ узналъ, но тоже не могъ сразу сказать, кто это и какъ ея фамилія.

Но когда всмотрѣлся въ того; кто шелъ за нею, то сейчасъ же вспомнилъ, что толстая и бѣлолицая дама—вдова Мещерина, которую онъ видѣлъ у Капцовыхъ постоянно со студентомъ, по всей вѣроятности, ея фаворитомъ. Григорій Порфирьевичъ сильно возмужалъ, запустилъ густые кавалерійскіе усы, былъ въ высокой шляпѣ и свѣтломъ длинномъ пальто аяглійскаго покроя.

Онъ успѣлъ загорѣть и держался съ прежней офицерской осанкой.

Позади, развихренной походкой, какъ-то подпрыгивая, двигался тщедушный, блѣднотлицый молодой человекъ съ усиками и удлинненнымъ профилемъ, въ шоколадномъ сьютѣ, такого же цвѣта котелѣ и башмакахъ съ гетрами.

Все это общество возвращалось изъ Ниццы въ Монте-Карло. Экипажъ ихъ — четырехмѣстное ландо — видно было снизу.

Баринъ въ крылаткѣ, войдя во дворикъ, воззрился въ Ермилова и даже заслонилъ себя отъ свѣта ладонью.

— Позвольте!—крикнулъ онъ дворянскимъ звукомъ, — кажется, не ошибаюсь?.. Имѣлъ удовольствіе встрѣчаться съ вами!.. Знаете, гора съ горой...

Онъ уже пожалъ руку Ермилова.

— Кажется,—проговорилъ еще недоувѣрчиво Ермиловъ.

— Сипуновъ моя фамилія... Мы и въ Питерѣ, и въ Москвѣ хлѣбъ-соль ѣдали. У Варсановьевыхъ и у Чибисовыхъ, кажется?..

— Скорѣй, у Чибисовыхъ,—поправилъ Ермиловъ.

Сипуновъ оглянулся на Кустарева.

— Вашей компаніи?—спросилъ онъ тихо, указывая на Кустарева глазами.—Навѣрно, землячокъ, а?..

-- Мой пріятель...

— Какъ по фамиліи?

-- Кустаревъ, бывший профессоръ.

-- Слыхалъ, слыхалъ!.. Вотъ это чудесно!.. Дѣти! — крикнулъ онъ остальному обществу.—Землячковъ нашли. Мы вонъ туда за столыкъ. Позвольте вамъ отрекомендовать... Мадамъ Мещерина изъ Петербурга... человекъ—душа... Капцовъ, кончилъ петербургскій университетъ...

Но Григорій Порфирьевичъ остановилъ Сипунова и, поклонившись Ермилову и Кустареву двумя наклоненіями головы, сказалъ:

— Меня эти господа знаютъ.

Тутъ только Кустаревъ приподнялся, протянулъ ему руку и спросилъ:

— Давно изъ Питера?.. Батюшка какъ поживаетъ?..

Онъ не видалъ Порфирія Николаевича съ конца лѣта. На Ривьеру проѣхалъ онъ въ этотъ разъ прямо изъ Москвы, на Вѣну и Миланъ.

— Благодарю васъ, — отчеканилъ Григорій Порфирьевичъ, — старикъ поскрипываетъ.

— Куда опредѣлились? — спросилъ, въ свою очередь, Ермиловъ.

— Да пока еще нигуда. Какъ вернусь, поступлю въ одинъ изъ полковъ кирасирской дивизіи.

Мещерина, въ своемъ красно-брусничномъ салопѣ, похожа была на огромное выкрашенное яйцо. Она весело озиралась и находила въ эту минуту, что ея Гриша, подъ горячимъ солнцемъ, еще краше.

— Что же мы здѣсь получимъ? — спросила она и подала руку Ермилову, прибавивъ: — Можетъ-быть, и меня помнитъ м-г Ермиловъ?

— Что получимъ? — подхватилъ Сипуновъ. — Вотъ сейчасъ... Боттѣга! — крикнулъ онъ къ двери, — Локандьера! Madame l'aubergiste!.. Или кто тамъ? Пограмотнѣе? Вино — асти, формаджіо, стакани, макарони, сѹбито!..

И онъ застучалъ своей тростью по столу.

Тщедушный молодой человѣкъ засмѣялся фистулой и тоже застучалъ по столу толстой палкой изъ апельсиннаго дерева.

Общество разсѣлось у другого стола.

Кустаревъ, нагнувшись къ Ермилову, шепнулъ ему:

— Расплатимся, да и маршъ...

Составъ этой компаніи былъ ему очень не по нутру.

— Позвольте, я пойду, расплачусь...

— Расходы общіе, — возразилъ Кустаревъ.

Они пошли расплачиваться вмѣстѣ. Но хозяйкой овладѣлъ Сипуновъ, и они должны были подождать.

— Да вы что же это, дорогіе земляки, — обратился тотъ къ нимъ послѣ того, какъ протурилъ хозяйку за виномъ и закуской, взявши ее за плечи, — нешто мы васъ гонимъ?

— Нисколько, — отвѣтилъ Ермиловъ, — но намъ пора...

— За компанію бы!.. Вы въ Ниццѣ проживаете или въ Монако?

— Я только что пріѣхалъ.

— И господинъ ученый... тоже?..

Не дожидаясь отвѣта, Сипуновъ продолжалъ, обращаясь ко всѣмъ:

— Дѣти мои, лучше на свѣтѣ мѣста нѣтъ, какъ владѣнія князя Монавскаго... Былъ свѣтъ и будетъ свѣтъ, а такого другого царства не найдете...

— Это вѣрно!—откликнулась Мещерина.

— Ну, барынька, вы особъ-статья!.. Дѣло женское—дѣло слабое... Вашей сестрѣ вездѣ хорошо, гдѣ чувствамъ своимъ находите пріятность. Играть и ваша сестра охотница, но больше наскокомъ... Прилетѣла изъ Парижа, изъ Лондона, или изъ орловской вотчины, спустила—и опять тѣмъ же аллюромъ обратно. Но смаковать, какъ должно, все благородство учрежденія, монъ тамъ, на террасѣ Монте-Карло, вы не можете...

— Объясните нашу мысль, — сказалъ Капцовъ и насмѣшливо поглядѣлъ на Сипунова.

— Да, объясните!—повторилъ молодой человѣкъ.

— А то какъ же? Гдѣ это, къ какому это другому мѣстѣ вамъ дадутъ сорвать банкъ и чинно-благородно поднесутъ на подносикѣ двѣсти слишкомъ тысячекъ? Извольте, получайте и насъ лихомъ не поминайте!

— Только Геннадій Евграфовичъ,—пояснилъ Капцовъ въ сторону Ермилова и Кустарева,—вотъ пятнадцать лѣтъ дожидается этого момента... А сколько вы спустили?

— Не считалъ хорошенько, потому что это дѣло бесполезное. Миѣ хватаетъ! Чего же больше? Дѣло не въ томъ, сколько проиграть и сколько ставить. Цытакъ или золотушка—все едино. Одолѣть вертѣлку... Номеръ отгадать—вотъ что обжигаетъ васъ.

— Вы поэтъ игры!—вскрикнула Мещерина.

Имъ подали вино.

— Господа! пригубьте. откушайте за компанію!

Сипуновъ загородилъ путь двумъ пріятелямъ, и рукава его крылатки широко развѣвались.

— Да мы только что пили это самое,—сказалъ Кустаревъ, дѣлая жестъ отказа.

Ермиловъ также отказался. Обоимъ хотѣлось поскорѣе уйти. Компанія пахла на обоихъ кутильнымъ петербургскимъ и подмосковнымъ помѣщичьимъ тономъ въ лицѣ этого Сипунова; а Ермиловъ уже пересталъ бояться

возобновленія разговора съ Кустаревымъ на щекотливыя темы.

— Да вы здѣсь поблизости?—приставалъ Сипуновъ.— Не хотите ли взять наше ландо? Мы еще здѣсь покалякаемъ. У меня возница — Викторомъ его зовутъ—курсовая обезьяна. Ростомъ съ карыша... и рожа вся смуглая... Родомъ изъ Авиньона. И гоноръ какой! Бичомъ хлопаетъ—точно священнодѣйствуетъ.

— Намъ пора... Благодарю васъ,—прервалъ Ермиловъ одной изъ своихъ барскихъ интонацій, за которую Кустаревъ сказалъ ему тайное спасибо.

Капцовъ и молодой человѣкъ съ фальцетомъ поклонились имъ издали. Дама все такъ же весело кивнула головой.

Сипуновъ проводилъ ихъ до поворота въ закоулокъ и предлагалъ свое гостепріимство въ Монте-Карло.

— Ежели вы, иаче чаянія, ночлега и внизу, въ Кондаминѣ, не найдете, заигравшись грѣшнымъ дѣломъ, прошу покорно ко мнѣ, въ Grand-Hôtel... Кровать прикажемъ вамъ въ салонѣ. И во всякое время, коли около рулетки меня нѣтъ, и не поѣхалъ въ Ниццу, — въ кафешку — Café-de-Paris загляните, на площади-то, гдѣ женскому полу самая главная биржа. Хе-хе!.. И по этой части добрый совѣтъ могу дать. Потому, на такую невинность, при маменькѣ, наскочите... Для меня ужъ это не опасно. Да и жалость къ нимъ я чувствую. Дѣло женское — слабое дѣло. Тоже и имъ, сердешнымъ, не легко достается рулеточная служба. Себѣ я скромненькихъ лектрисъ только беру. Глаза плохи... газетъ не могу читать... До пріятнаго свиданія...

Рукава крылатки заколыхались вверхъ по спуску.

## VIII.

До самой почти виллы они промолчали.

— Цвѣтистый россіянинъ!—выговорилъ первый Кустаревъ. — Вы его подлинно знаете, Егоръ Петровичъ, или это онъ самъ назвался вамъ въ знакомцы?

— Я его встрѣчалъ, — отвѣтилъ съ унылой усмѣшкой Ермиловъ.

— Да кто же онъ, какого званія?

— Кажется, бывшій концессіонеръ какой-то дороги, а можетъ, и коннозаводчикъ.

— Коли не то и не другое вмѣстѣ.

На нихъ обоихъ нахнула струя русской дѣйствительности. Кустаревъ точно ждалъ этого нашествія соотечественниковъ, чтобы перейти къ нѣкоторымъ итогамъ.

— Видѣли, — спросилъ онъ Ермилова и взялъ его за руку, — какими хватомъ смотритъ нашего бѣднаго Порфирія сынокъ?.. Вѣдь онъ на счетъ той вдовы совершаетъ первую побѣдку въ Монте-Карло. И нимаю ему не стѣснительно, ни васъ, ни меня. Въ послѣдній разъ, какъ я видѣлъ Порфирія, по осени, плакалъ онъ, — вотъ у меня, на груди.

— Плакалъ? — переспросилъ Ермиловъ, сознавая въ то же время какое-то равнодушіе къ невзгодамъ и радостямъ Капцова, своего однокурсника.

— Горючими слезами заливался! Такъ, какъ былъ въ мундирѣ и съ крестомъ на шеѣ, прямо изъ своего министерства пришелъ. „Евменій, — говоритъ, — я самъ себѣ жалокъ и презираю себя до послѣдней возможности“.

— За что же? — болѣе искренней нотой спросилъ Ермиловъ.

— „Мое постыдное, — говоритъ, — слабоуміе довело всю семью Богъ знаетъ до чего“...

— И онъ узналъ, наконецъ, про связь жены?.. Вѣдь мужа всегда подъ самый конецъ...

Ермиловъ не докончилъ. Ему показалось слишкомъ уже бездушнымъ прохаживаться въ такомъ духѣ надъ бѣднымъ мужемъ.

— Недостало у него мужества прямо про жену сказать, да и хорошо, что оно такъ вышло: мнѣ за него было бы черезчуръ прискорбно. А о дѣтяхъ онъ на чистоту говорилъ. Григорій если теперь не форменный Альфонсъ — на линіи его; Днячку мать загубила...

— Что такое? — полюбопытствовалъ Ермиловъ.

— Да выходитъ, что инженеръ-подрядчикъ... Вы его тамъ видали, рыжеватый изъ себя... былъ на правахъ жениха, а между прочимъ о женитьбѣ онъ и не помышлялъ. И, кажется, преспокойно пользуется всѣми правами. Отецъ это видитъ. Сорять деньгами, и мать, и дочь. Карету держать. Откуда же все это? Хотя онъ и работаетъ, что твой каторжный, однако, сейчасъ сложеніе, вычитаніе подскажетъ, что заработокъ у него не такой! И это всего пуще въ собственныхъ глазахъ срамить его и сосетъ день и ночь. А онѣ, поганки, мало, что отъ того,



яко бы жениха, принимаютъ субсидіи, и съ Порфирія-то продолжаютъ драть три шкуры.

Щеки Кустарева разгорѣлись. Онъ ускорилъ шагъ и Ермилова подталкивалъ, держа его подъ руку.

Спускаться стало очень круто. Ноги Ермилова служили ему гораздо плоше, чѣмъ годъ назадъ. При спускѣ съ лѣстницы или по такимъ каменистымъ дорожкамъ съ брутными ступеньками, изъ покосившихся камней, онъ долженъ былъ съ трудомъ прѣспособляться, и на щекахъ его то и дѣло вздрагивали нервныя струйки боли и усилія.

Онъ остановился и придержалъ Кустарева за руку, на которую тотъ упирался.

— Однако,—подавляя боль, выговорилъ онъ,—можетъ же онъ положить этому предѣлъ? Онъ глава, наконецъ! Съ какой же стати опускаться, по доброй волѣ, въ тину самопрезрѣнія?

Онъ это выговорилъ торопливо, точно боялся не докончить, и ему тотчасъ же пришлось отвѣтить на собственный вопросъ:

„А ты? Развѣ ты себя не презираешь въ инныя минуты? Ну, попробуй, положи предѣлъ твоему рабству передъ той бабенкой, что послала тебя сюда, въ качествѣ соглядатая?“

— Эхъ, батюшка, Егоръ Петровичъ,—слышалъ онъ въ отвѣтъ тихій говоръ Кустарева. — Хорошо такъ вчужѣ рѣшать; а коли духъ немощенъ?.. Порфирій и всегда-то былъ такой. Вотъ она, крайняя деликатность, и сослужила ему предательскую службу. Да и кто можетъ за себя поручиться?.. Бабье, по нынѣшнему времени, взяло великую силу. Одна умная переводчица, въ Москвѣ, мнѣ не такъ давно сказала: „Никто,—говорить,—Евменій Филипповичъ, изъ васъ не застрахованъ отъ революціи своего сорокъ восьмого года“.

— Какъ, какъ?—крикнулъ Ермиловъ и опять пріостановилъ Кустарева на ходу.

— Революція сорокъ восьмого года—это вотъ въ нашъ съ вами возрастъ, или около того. Одинъ мнитъ себя легкимъ эпикурейцемъ, другой — суровымъ ригористомъ, а глядь... врагъ-то и одолѣетъ. Баба возьметъ верхъ и нравъ передѣлаетъ, и правила, и мозгъ, и темпераментъ. Эстетикъ очутится въ притонѣ, и тамъ въ послѣднюю потаскушку будетъ класть весь остатокъ своихъ душевныхъ силъ! Такъ-то-съ!..

Съ полузакрытыми отъ горячаго солнца глазами слушалъ Ермиловъ эту тираду, и ему вспомнился цѣлый рядъ мыслей, въ прошлую осень, когда онъ подѣзжалъ къ хутору Кустарева и думалъ:—какой вздоръ всё толки о томъ, что сложившійся человѣкъ мѣняется. Тогда онъ былъ убѣжденъ, что онъ и Кустаревъ до могилы останутся въ своихъ основныхъ чертахъ тѣми, чѣмъ были еще въ гимназическіе годы.

А развѣ онъ—тотъ же Ермиловъ, который ѣхалъ на хуторъ въ телѣжкѣ, подъ пледомъ, въ жидковатомъ заграничномъ эльстерѣ, и перебиралъ въ головѣ пріятныя свои встрѣчи съ женщинами въ Віаррицѣ и Парижѣ?..

Да и Кустаревъ... И онъ какъ будто наканунѣ какого-то перелома.

— Февральская революція, — промолвилъ онъ медленно.—Очень удачный терминъ.

— Да, батюшка, революція сорокъ восьмого года. Намъ съ вами до этой годовщины не то чтобы много осталось.

— Не очень чтобы много,—повторилъ Ермиловъ и началъ спускаться скорѣе.

Онъ вспомнилъ, что время у него уже въ обрѣзъ, и что онъ долженъ привезти Аннѣ Гавриловнѣ описаніе того, въ какомъ видѣ онъ самъ засталъ „маленькую женщину“:

Еще разъ у него зашевелилось внутри что-то похожее на желаніе перейти къ самому себѣ и крикнуть Кустареву: „Да посмотрите на меня! Развѣ я все тотъ же?.. И какую я роль играю вотъ сейчасъ, притворяясь вашимъ пріятелемъ?.. Капцовъ—жертва своей слабости къ женѣ и дѣтямъ, а я?!..“

Но ничего такого онъ не сказалъ, и даже испугался своего внутренняго движенія.

Они подходили къ рѣшетчатой входной двери.

Кустаревъ оставилъ его руку и хотѣлъ-было позвонить. Но дверь стояла незапертой.

— Что за притча! — вслухъ сказалъ онъ. — Они этого обыкновенно не дѣлаютъ. Нешто забыли?..

Тихо вошли они на виллу. Къ задней площадкѣ вела узкая аялска съ плуцемъ.

Онъ окликнулъ въ сторону оконца кухни, помѣщавшейся въ подвальномъ этажѣ.

Ему никто не отвѣтилъ.

— Притча! — повторилъ Кустаревъ съ безпокойствомъ въ голосъ.—Что-нибудь неладно.

При поворотѣ къ спуску на террасу, гдѣ часъ передъ тѣмъ сидѣла въ креслѣ Маргарита Сергѣевна, на нихъ налетѣла дѣвочка, дочь привратницы.

— Madame!..

Больше она ничего не могла выговорить и потащила Кустарева внизъ.

„Неужели умерла?“

Вопросъ пронзилъ Ермилова, и ему захотѣлось крикнуть:

„Не бывать этому! Она должна жить!..“

Кустаревъ побѣжалъ за дѣвочкой. Оба сейчасъ же скрылись въ двери балкона.

„Пойти и мнѣ туда?“—спросилъ себя Ермиловъ и сдѣлалъ два-три шага въ томъ же направленіи.

Но его что-то удержало—родъ стыда.

Въ другое время онъ самъ бы устремился вслѣдъ за ними.

Не больше, какъ черезъ минуту, появился Кустаревъ, блѣдный, но не растерянный.

— Что такое? — противъ воли искренно спросилъ Ермиловъ.

— Да припадокъ страшной слабости. Однако, пульсъ я нащупалъ.

— Доктора?.. Я могу сейчасъ же!..

И эти слова вылетѣли у Ермилова сами собою: прежній ворадочный человѣкъ еще не совсѣмъ умеръ.

— Двое побѣжали за докторомъ.

— Куда?

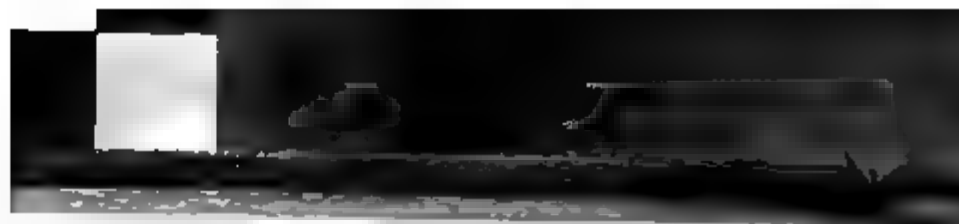
— Въ Вилла-Франку. Не знаю, найдутъ ли еще!.. Эхъ!..—Кустаревъ махнулъ рукой.—Напрасно я согласился перебраться сюда. Вотъ такой вотъ припадокъ...

Онъ не договаривалъ, стиснулъ руку Ермилова и на ходу кинулъ ему:

— Вамъ пора, дружище!.. Ступайте!.. Я и самъ справляюсь!.. Ступайте, опоздаете...

Оставшись одинъ на площадкѣ запущенной виллы, Ермиловъ почувалъ, что теперь только охватило его со всѣхъ сторонъ чѣмъ-то, предвѣщающимъ неизбежную кончину „маленькой женщины“. Совсѣмъ разбитый, слевопча большія ноги, грузно и съ поникшей головой, поднялся онъ къ той скамьѣ, гдѣ они сидѣли съ Кустаревымъ, и опустился на нее.

Никто не возвращался, ни привратникъ, ни его жена. Ни одного звука не доносилось отъ дома. Только проснув-



шался къ часу прибоя волна заговорила внизу по мелкимъ камешкамъ береговой линіи.

Чего же ему еще ждать? Жена Кустарева очень плоха. Онъ не врывался въ ее спальню, но можетъ передать своей повелительницѣ, что „маленькая женщина“ была слишкомъ слаба, чтобы принять его, а потомъ съ ней сдѣлался припадокъ „мертвенной слабости“.

Онъ такъ же грузно поднялся и на цыпочкахъ, точно тайкомъ, пошелъ къ плющевой аллеѣ. Сухіе, желтые листья магнолій хрустѣли подъ подошвами его башмаковъ. Дверь все еще стояла незапертой; онъ ее такъ и оставилъ; выйдя въ переулокъ, вынулъ часы и сообразилъ, какъ ему идти къ станціи: вправо или влѣво.

## IX.

По плоскому пригорку раскинуты развалины древнеримскаго цирка. Часть наружныхъ стѣнъ уцѣлѣла, обглоданная временемъ, изъ мелкаго камня со щебнемъ; сохранились очертанія сводавъ, впадины и отверстія.

Солнце давало тѣнь на одну сторону руинъ. Другая купалась въ волнахъ мѣлкаго и незнойнаго свѣта. Вправо и влѣво, по склонамъ холмовъ, шли сизыя купы оливоу, бѣлѣли и розовѣли виллы, роскошныя и простыя; туда, къ низу,—Нипца, скученная полукругомъ, въ своемъ заливѣ, съ высокимъ выступомъ налѣво, гдѣ ютится полуразрушенная твердыня „старога замка“.

Извозчикій фазтонъ видѣлся внутри развалинъ цирка. Кучеръ спалъ; сѣрая старая лошадь тоже дремала, и ноги ея вздрагивали отъ укусовъ насѣкомыхъ.

Вокругъ стояла боушная тишина.

Мужчина и дама шли по полотну каменистой дороги, вверхъ. Они направлялись мимо бѣлой обширной виллы греческаго стиля, съ террасами и колоннадой—она смотрѣла совсѣмъ пустой—къ церкви, позади которой помещается кладбище.

Оба шли подъ зонтиками: у дамы былъ кружевной, очень модный, въ формѣ звѣзды, у мужчины—изъ сѣраго шолка. На ходу мужчина казался болѣе чѣмъ на голову выше дамы. Онъ двигался съ легкой раскатыкой, немного гнулса, и лѣвая рука, длинная, въ рукавѣ просторнаго темнаго пальто, качалась ритмически.

Плотная фигура дамы съ узко-затянутой таліей въ шерстяномъ свѣтло-несочномъ платьѣ какъ-то вздрагивала на

ходу; маленькія подъемистыя ноги, въ открытыхъ башмакахъ, мелькали изъ-подъ короткой юбки.

Они шли медленно — мужчина лѣнивой походкой, его спутница короткими шажками — и молчали, почти до того мѣста, гдѣ дорога сворачиваетъ къ церкви и кладбищу.

— Вамъ что же это захотѣлось на погостъ?—спросилъ по-русски высокій мужчина.

Въ воздухѣ задрожали басовые звуки.

— Что такое?.. Какъ вы сказали?..

— Погостъ!

— По-каковски это?

— По-русски... небось!

Она тихо разсмѣялась.

— Кто же этакъ говорить?

— Да, почитай, полъ-Россіи такъ выражается, въ деревняхъ, а я, какъ вамъ не безызвѣстно, на сельскомъ погостѣ и родился.

Она ничего не сказала и только повела плечами.

Подходя къ площадкѣ, гдѣ паперть церкви въ видѣ портика стояла въ тѣни и изъ-за каменной ограды глядѣли деревья просторнаго сада, который велъ къ задамъ „семейнаго пансіона“, дама окликнула довольно громко:

— Благомировъ!

— Чего угодно, Доротея Васильевна?

— Я не понимаю, какъ вы такъ мало интересуетесь тѣмъ, что вы здѣсь видите... Вотъ ужъ русскій-то, en chair et en os!

— Чѣмъ же интересоваться?—возразилъ онъ. — Насмотрѣлся я достаточно и на такіе виды. Мпѣ, признаться вамъ, Неаполь-то хуже горькой полыни пріѣлся. А онъ не чета этой самой Ниццѣ. Ну, вонъ, та груда мусора... Циркъ былъ во времена римской Галліи... И пускай его!.. Послѣ Колизея, или, бишь, этихъ, ну, какъ ихъ, банъ Каракаллы, на что жъ тутъ смотрѣть?.. Дорога плоская, съ пылью... А кладбище окажется какъ кладбище!..

Они стояли другъ противъ друга подъ своими зонтиками, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ церкви. Два фіакра примостились въ тѣни, подальше, и кучера отъ скуки стали смотрѣть на этихъ иностранцевъ.

— Отъ посѣщенія церкви я васъ, пожалуй, избавлю, а ко кладбищу пройдетесь.

— Не суть важно! — отвѣтилъ Благомировъ, и въ его

словахъ зазвучала нота не то ироніи, не то своего превосходства.

Кладбище, обнесенное со всѣхъ сторонъ высокой стѣной, итальянской постройки, все переполненное монументами и фамильными склепами, смотрѣло празднично. Бюсты, статуи, горшки съ цвѣтами, гирлянды, даже портреты и фотографіи на самыхъ надгробныхъ памятникахъ заперстрѣли передъ русскими посѣтителями.

Въ ту минуту никого больше не было. На ступеньку одной изъ нишъ спутница Благомирова присѣла и опустила свой зонтикъ.

На ней живописно сидѣла шляпка, вся покрытая фіалками, съ круглою вуалью, спускавшеюся до половины лица. Она загорѣла. Глаза были чуть-чуть подведены. На верхней губѣ пушокъ обозначался уже очень явственно. Въ общемъ, ея красота стала эффектиѣе, но грубѣе. Съ перваго взгляда всякій призналъ бы въ ней пѣвицу или актрису. На губахъ лежала черта условной усмѣшки, которая всегда моложавитъ на сценѣ и на эстрадѣ концертной залы.

И наружность Благомирова получила другой отбѣнокъ. Въ лицѣ онъ не похудѣлъ, но черты стали тоньше; кожа, слегка загорѣлая, лежала на щекахъ плотнѣе; бороду онъ подстригалъ, по-заграничному; волосы носилъ короче.

Жизнь въ Италіи прошла по всему существу даровитаго семинариста; жесты рукъ съ длинными бѣлыми пальцами получили значительность и красоту.

Его спутница остановила на немъ взглядъ изъ-подъ вуалетки, но тотчасъ же отвела его. Въ этомъ взглядѣ промелькнуло какъ бы признаніе, что онъ сталъ еще красивѣе, но въ ней не было уже того обожанія, которое охватило ее годъ назадъ въ Петербургѣ. Въ ея минахъ чувствовалась только женщина, имѣющая счеты съ мужчиной.

И все это онъ прекрасно понималъ; предчувствовалъ и то, что прогулку на это кладбище предложила она не сирота, что будетъ объясненіе.

Когда они медленно двигались по плитамъ, вдоль наружной стѣны, даже въ склепахъ, гдѣ бѣлѣлись мраморныя фигуры, все смотрѣло нарядно и весело.

„Хоть бы кладбищенскій сюжетецъ начать развивать“, — подумалъ Благомировъ, но ему никакихъ меланхолическихъ мыслей не приходило.

— Пойдите туда, въ садъ... напротивъ,—сказала Карсъ.

— Какъ угодно,—выговорилъ онъ и помогъ ей опра-  
вить складны платья.

Они перешли площадку, гдѣ прибавилось экипажей, и  
попали въ фруктовый садъ, довольно тѣнистый и разби-  
тый на дорожки, обсаженный деревьями, по своему об-  
щему характеру напоминающій наши помѣщичьи сады.

Вѣвно, въ павильонѣ, журчалъ ключъ. Вдали было раз-  
вѣшено бѣлье.

На Благомирова нашло настроеніе, еще менѣе отвѣчав-  
шее желанію его спутницы начать „бабій“ разговоръ. Ему  
вспомнились деревня, огородъ, куда онъ ходилъ рвать  
огурцы, вытягивать изъ грядъ красную морковь и поло-  
сать ее тутъ же въ кадушки, въ дождевой водѣ. Только  
тамъ пахло русскими овощами. Какъ бы ему отраднo  
было задремать на землѣ, подъ оливой, дающей своей  
сизой листвою полупрозрачную тѣнь!

— Вы, кажется, совсѣмъ не хотите двигаться, Благо-  
мировъ?—вдругъ спросила Доротея Васильевна, круто по-  
вернувшись къ нему лицомъ.

— Почему?

— Такъ присядемте... вонъ тамъ скамья... въ тѣни...

Онъ наклонилъ голову покорнымъ жестомъ, но въ его  
умныхъ семинарскихъ глазахъ, въ ту минуту особенно  
красивыхъ, сидѣла невольная усмѣшка.

Гдѣ-то позади полаяла собака и перестала. Въ воздухѣ  
проносились струи южныхъ запаховъ листвы, фіалокъ,  
цвѣта апельсиновыхъ и лимонныхъ деревьевъ. Свѣтъ уже  
опускавшася солнца больше не беспокоилъ. День дожи-  
валъ свои послѣдніе два часа тепла и солнца, передъ  
быстрымъ наступленіемъ свѣжести и сумерекъ.

Въ такую пору съ пріителемъ Благомировъ поговорилъ  
онъ всласть. Онъ попрежнему любилъ русскія душевныя  
бесѣды, но не такія, какой онъ хотѣлъ — и все-таки не  
могъ—избѣжать въ ту минуту.

— Вы чѣмъ же кончили съ агентомъ?—спросила она  
послѣ довольно длинной паузы.

„Вотъ куда махнула!“—подумалъ Благомировъ и сталъ  
закуривать папиросу.

Она не могла этого знать. Вотъ уже болѣе трехъ мѣ-  
сяцевъ какъ они не видались. Сюда она пріѣхала изъ  
Парижа, кажется, съ намѣреніемъ выступить въ концер-

тахъ казино, въ Монте-Карло, а можетъ-быть, пропѣть двѣ-три роли въ муниципальномъ театрѣ въ Ниццѣ.

Въ Парижѣ она не нашла своей „тарелки“, „assiette“, какъ она выражалась по-французски. Въ Большой Оперѣ ей дали audition, но на первыя роли не приняли. У нея не было подъ рукой ни музыкальнаго критика, ни пѣвца съ вліяніемъ въ труппѣ. Была возможность, но не безъ подарковъ и обѣдовъ, выступить въ Комической Оперѣ... Она сама понервничала, находила, что этотъ театръ, послѣ пожара, совершенно тусклый, что туда не ѣздитъ тотъ Парижъ, который устанавливаетъ репутацію.

А года шли. Она все такъ же стремилась къ успѣху, къ тому, что она называла „frapper le grand coup“. Слава ускользала, и это ее глодало, именно теперь пуще, чѣмъ когда-либо.

Красавецъ-семинаристъ также ускользалъ отъ нея. Онъ пойдетъ быстро. Онъ наканунѣ блистательной карьеры. Это она почувствовала вполне ясно здѣсь, въ Ниццѣ.

— Чѣмъ кончили?—переспросилъ Благомировъ, когда раскурилъ папиросу и раза два затянулся.—Жду отъ него депеши...

— Съ ангажементомъ?

— Извѣстное дѣло.

Онъ мотнулъ головой и пустилъ длинную струю дыма.

— Вы ему довѣряете?

— Они всѣ разбойники,—медленно и спокойно выговорилъ Благомировъ,—но вѣдь и я не малый молодецъ. Дѣло пошло на перебой, у двоихъ агентовъ, въ Миланѣ и Лондонѣ.

— Отъ какого же вы теперь ждете отвѣта?

— Отъ миланскаго. Лондонъ у насъ въ карманѣ...

— Вотъ какъ!

Она густо покраснѣла. Это была зависть.

— Въ карманѣ,—повторилъ онъ, не глядя на нее; но онъ почувствовалъ, еще разъ, въ ея разспросахъ, не влюбленную въ него женщину, а товарку по профессіи.

— Берите! Чего же ломаться?..

Это выраженіе „ломаться“ вылетѣло у нея противъ воли, и она разсердилась на самоѣ себя.

— Кто жъ ломается?

Онъ повернулся къ ней въ полъ-оборота.

— Въ Ковентъ-Гарденъ?

— Извѣстно... Только я еще не рѣшилъ.



„Да къ чему я ей обо всемъ этомъ болтаю?“—вдругъ подумалъ онъ.

Но отпѣкиваться онъ тоже не хотѣлъ.

— Есть, стало, еще лучшая комбинація?..

— Есть.

Косая, недобрая усмѣшка повела ея пунцовый, все такой же сочный ротъ.

— Я вѣдь васъ не допрашиваю, Благомировъ...

Въ этихъ словахъ не было упрека, однако, его пронизала мысль:

„Пожалуй, она меня считаетъ неблагодарнымъ эгоистомъ... Я, дескать, тебя въ люди вывела, добыла тебѣ субсидію, дала возможность провести годъ въ Италіи и такъ быстро „сдѣлать“ первоклассныя сцены“,—онъ употребилъ про себя терминъ миланскаго жаргона русскихъ: „сдѣлать“,—а ты хоронишься отъ меня.

— Либо Лондонъ, либо Америка...

— Вотъ какъ!..

Она имѣла бы поводъ упрекнуть его за то, что онъ нѣсколько мѣсяцевъ не писалъ ей, ни разу не справился о томъ, что она дѣлаетъ въ Парижѣ, какъ идутъ ея дѣла... Если онъ хотѣлъ совсѣмъ уйти отъ нея, можно было показать это менѣе сухо и безцеремонно.

Въ Ниццѣ они встрѣтились случайно, на „Promenade des Anglais“. Конечно, не ее пріѣхалъ онъ искать сюда. Онъ и не могъ знать, что она здѣсь. И она его не искала, была увѣрена, что онъ въ Миланѣ, и давно должна была сознаться, что разлука съ нимъ не грызетъ ее. Будущій артистъ привлекалъ ее, изумительно благообразный мужчина снова дѣйствовалъ на ея нервы, но человекъ уже не трогалъ ея сердца, не вызывалъ слезъ на ея слегка подведенные глаза.

— Послушайте, Благомировъ, — измѣнившейся интонаціей заговорила Доротея Васильевна, — я васъ до сихъ поръ не спросила, зачѣмъ вы собственно въ Ниццу пріѣхали,—конечно, не выступать здѣсь?..

— Боже избави!

Въ этомъ возгласѣ слышалось уже сознаніе того, какая ему теперь цѣна.

— И не играть же въ рулетку?

— Влеченія не имѣю... да и капиталовъ не припасъ...

Онъ не договорилъ и опять поглядѣлъ на нее вбокъ и съ чуть замѣтной усмѣшкой.

— Съ однимъ мусьякомъ повидаться. А я оповѣстился, что онъ поблизости, на своей виллѣ, проживаетъ.

— Званцевъ?—вскричала она.

— Хотя бы и онъ.

И оба опять примолкли.

— А! я понимаю,—протянула она и начала вервно тыкать кончикомъ своего роскошнаго зонтика въ рыхлый дернъ, сбоку отъ скамьи.

Благомировъ ничего не отвѣтилъ и только затянулся.

— Я понимаю,—повторила Доротея Васильевна. — Вы хотите съ нимъ расквитаться.

И на это онъ не сразу отвѣтилъ.

— Ежели вамъ мое поведеніе понятно, то ни изумляться, ни возмущаться тутъ, кажется, нечего, Доротея Васильевна.

Слова были не мягкія, но выговорилъ онъ ихъ искренно, своимъ прежнимъ тономъ простого малаго, который когда-то приводилъ ее въ такой восторгъ.

— Стало, вы должны получить большой задатокъ?

Вопросъ вылетѣлъ у нея стремительно, но она готова была бы взять его тотчасъ же назадъ. Это отзывалось уже выпрашиваніемъ.

„Что за каботничество!“—выбранила она себя.

— Извѣстное дѣло,—такъ же просто сказалъ Благомировъ. — Я тоже выученъ достаточно, не даромъ два сезона *дѣлалъ* въ Миланѣ,—повторилъ онъ жаргонное выраженіе тамошнихъ русскихъ.

— И, можетъ-быть, вы попадете въ Америку?..

„Пусть онъ уйдетъ отъ меня окончательно!“—вскричала она про себя.

И у нея не забилося сердце, кровь не отлила отъ него. Она должна была признаться тутъ же, что страсть въ ней замолкла, даже отъ увлеченій ничего почти не оставалось, но все-таки заняло въ груди. Она не хотѣла упустить его. Быть-можетъ, теперь, въ эту минуту, рѣшалась ея артистическая судьба. Да, если онъ попадетъ въ руки ловкаго Барнума, онъ прогремитъ за океаномъ, а потомъ въ Лондонѣ, въ Мадридѣ, гдѣ угодно. Она съ нимъ выплыветъ непременно. Связи, актерскаго „collage“ онъ боится. Бракъ болѣе въ его правилахъ... Можно вызвать въ немъ чувство признательности широкимъ порывомъ.

У нея слегка начала кружиться голова. Она хотѣла бы снять шляпу, хотя воздухъ уже свѣжѣлъ.

— Да, я васъ понимаю,—начала она совсѣмъ тихимъ

звукомъ, — и меня всегда привлекала ваша суровость въ извѣстныхъ правилахъ. Enfin, — вскричала она, — vous êtes d'un bloc, et cela me plaît!

Благомировъ сидѣлъ съ низко опущенной головой. На его губахъ появилась чуть замѣтная усмѣшка.

Но его позѣ она ничего не могла распознать. Тщеславіе красивой женщины съ дарованіемъ и умственнымъ блескомъ не позволяло ей спросить себя: да полно, этотъ семинаристъ не раскусилъ ли ее давно, не видитъ ли онъ насквозь всю ея душу?..

## Х.

— Вы даже не понимаете, что такое страсть, Благомировъ!

Эти слова были произнесены полчаса позднѣе, все въ томъ же фруктовомъ саду, но ближе къ пансіону, на широкой аллеѣ, служившей границей двухъ владѣній.

— Ой-ли?..

Окликъ Благомирова зазвучалъ добродушнымъ юморомъ и показывалъ, какъ онъ спокоенъ въ ея присутствіи, когда другой бы чувствовалъ себя на седьмомъ небѣ.

— Вотъ Гремущинъ!.. Это—страсть!..

— Вы нешто его и сюда съ собой приволокли?..

— Выражайтесь поделikatнѣе! — не выдержала она и встала со скамьи.

Онъ продолжалъ сидѣть.

— Простите великодушно! — заговорилъ онъ и поднялъ на нее свои умные глаза. — Мнѣ этого старичка...

— Онъ совсѣмъ уже не такъ старъ!

— Ну, положимъ! Во всякомъ разѣ, мнѣ его вчужѣ жаль. Совсѣмъ рехнулся! Бросилъ, никакъ, семейство и теперь вашъ рабъ. И такую партію распѣваетъ, что одинъ срамъ-стыдобушка!

— Срамъ, говорите вы? — тщеславіе взяло въ ней верхъ, и она закусила удила. — А онъ счастливъ, онъ блаженствуетъ, онъ ушелъ совсѣмъ въ свою безпредѣльную любовь, въ свое идіотское, на вашъ вкусъ, обожаніе. Только такія безумства и значать что-нибудь въ глазахъ тѣхъ, кто понимаетъ мужчинъ! Молодость и красота — случайность! У васъ евангельскій ликъ, васъ прославили численымъ красавцемъ...

— Помилосердуйте! — рвануль густой потой Благомировъ.

— Нечего лицемерить! Вамъ это очень хорошо известно! А можетъ случиться, что вы вѣрнетесь въ какую-нибудь дрянную бабенку — *qui ne vous gobera pas* — вы понимаете... которой вы не по вкусу, и вы будете играть такую же идіотскую роль, какъ Гремущія...

— Слѣдственно, — остановилъ онъ ее, — я тогда въ глазахъ понимающихъ женщинъ и поднимусь, какъ вы сейчасъ изволили излагать. Логика того требуетъ, Доротея Васильевна.

„Ахъ, кутейникъ!“ — выбранилась она внутренне сейчасъ же.

Но она сдержала себя, сѣла поближе къ нему и заговорила мягко, тономъ сестры.

— Послушайте, Благомировъ, я не хотѣла бы навсегда расстаться съ вами, — въ этому вѣдь идетъ, — унося черствыи и обидныи для васъ итогъ.

— Какъ это? — осторожно спросилъ онъ.

— Въ васъ меня прельщала высокая наивность души и таланта. И, кажется, вы не можете сказать, что я васъ хитро завлекала. Моя вина состояла, напротивъ, въ томъ, что я сразу была съ вами душа нараспашку.

Онъ сжалъ губы съ видомъ человека, слѣдящаго за ходомъ противника въ шахматной игрѣ.

— Вѣдь такъ? — переспросила она.

— Извольте кончать, я слушаю, — откликнулся онъ.

— И мнѣ обидно за васъ, а не за себя: видѣть въ вашей личности — я не говорю: расчетъ, хищное „себѣ на умѣ“, — но непониманіе, что-то отыщающееся уклончивостью, недовѣріемъ, за которымъ кроются коренныя свойства русскаго мужчины: „всякая бабенка — я буду выражаться языкомъ нашихъ первыхъ сюжетовъ — норовитъ нашего брата объегорить“. Вотъ это обидно и горько! И безъ того жизнь — печальная исторія, а русскіе мужчины — великіе мастера всякій пролесскъ поэзи, всякій порывъ, — все это свести Богъ знаетъ къ чему?!

Она опять разгорѣлась, и тонъ послѣднихъ словъ былъ уже совсѣмъ не грустно-задушевный.

Благомировъ молчалъ.

— Можетъ-быть, — продолжала она, — я грубо ошибаюсь, и виновата какая-то стѣнка между нами, безсиліе людей очень близкихъ проникнуть взаимно въ душу. Это безсиліе прекрасно выразилъ въ одномъ мѣстѣ мой поэтъ — Бодлэръ... Говорите, не церемоньтесь. Я вамъ позволяю

всякую снѣлость, и въ чувствахъ, и въ оцѣнкахъ, и въ нашихъ выраженіяхъ...

— Увольте!—вымолвилъ онъ и тряхнулъ головой прежнимъ своимъ жестомъ церковнаго регента.

— Почему же?

— По какому праву стану я разбирать вашу личность и наши чувства?

— Вамъ принадлежитъ право защиты. Я васъ обвиняю.

— Увольте!—повторилъ онъ.

— Это рисовка, Благомировъ, или полное отсутствіе искренности.

Она поднялась со скамьи.

Благомировъ оставался все въ той же позѣ, только повелъ правымъ плечомъ и сильно на нее покосился.

— Вы такъ полагаете, Доротея Васильевна?—спросилъ онъ, и голосъ его, сдѣлавшись глуше, въ первый разъ дрогнулъ.—Я уклоняюсь не страха ради іудейска, а потому—ежели на чистоту говорить—что надо вторгаться, такъ сказать, въ чужую душевную область.

— Вторгайтесь! Прошу васъ!.. Вы мнѣ самой окажете большую услугу. Можетъ-быть, я не понимаю себя, находясь въ самообольщеніи?

— Можетъ-быть, — искренно выговорилъ онъ.—Между нами, Доротея Васильевна, вотъ какая есть разница...

Онъ остановился.

— Говорите, говорите!

— Я вотъ теперь на дорогѣ. Видите, могу даже выбирать между Лондономъ и Америкой. И это меня не такъ какъ радуетъ.

— Конечно! Все обличительные взгляды!

— Такая ужъ у насъ, у настоящихъ русаковъ, повадка! Не можемъ мы служить мамонѣ такъ, чтобы самихъ себя услаждать, вотъ какъ въ старой Европѣ дѣлается...

— Въ этомъ нѣтъ ничего относящагося ко мнѣ,—прервала она.

— Я и не говорю! У васъ жажда настоящая, игрецкая! Приемы, слава, чтобы прогремѣть всюду. Безъ этого вы не справитесь съ вашимъ пессимизмомъ — это точно. Это для васъ какъ дурманъ! Выше всего.

Она слушала его, стоя съ опущенной головой, и грудь ея тихо колыбалась.

— Остальное — тамъ увлеченье, что ли, игра чувствъ, темпераментъ, всему этому вы отдали дань и будете еще

отдавать; по превыше всего—актерство! Я такъ называю это свойство и достаточно его изучилъ теперь.

— Актерство? — повторила она вслухъ и подняла голову.—Вы хотите сказать, что я каботинка?

— Какъ-съ?—переспросилъ онъ и тоже поднялъ свою голову.

— Une sabotine! Это парижское слово. Въ родъ того, что вы хотите опредѣлить вашимъ словомъ: „актерство“.

— Только оно, кажется, обиднѣе будетъ?—спросилъ онъ, съ тихой и веселой игрой въ глазахъ.

— Да, обиднѣе...

— Слово — звукъ пустой. Своя же братія выдумала обидный терминъ для обозначенія общаго душевнаго свойства. Мнѣ это актерство не по душѣ—вотъ и все. И теперь, если ужъ совѣмъ на чистоту говорить, положи на такую женщину, какъ вы, всего себя, я ли бѣ это былъ, или кто другой,—вы не можете отвѣчать тѣмъ же, хотя, по-своему, и будете любить его. Вы обязательно впадитесь въ самообманъ...

„Неужели ты меня раскусилъ?“—думала она, дѣлая по аллеѣ маленькіе шаги впередъ и назадъ. Она почувствовала еще и то, чего онъ не досказалъ. „Ты считаешь меня каботинкой и рассуждаешь такъ: ко мнѣ, какъ къ мужчине, ты, милая моя, уже охладѣла, но моя актерская звѣзда влечетъ тебя ко мнѣ. Ты суевѣрна, ты желалась добиваться успѣховъ, рука въ руку со мною. Пожалуй, и бракъ мнѣ предложишь... Но это не любовь, а жажда славы“.

Она не стала ему возражать. Помолчавъ, она сказала, собираясь идти:

— Благодарю... Вы говорили по-товарищески.

— Не выщипте! — отвѣтилъ онъ весело и выпрямился во весь свой ростъ, точно хотѣлъ вытянуть руки и сладко зѣвнуть. — Жаль, что мусьякъ, который ваши вериги носить, московскій-то чудакина, старенецъ. Вамъ такіе рабы необходимы, какъ воздухъ, Доротея Васильевна. Безъ нихъ и не можетъ быть успѣха. А хотите и себя, и ближнимъ вашимъ мужского пола доброе дѣло оказать, оставайтесь весь свой вѣкъ холостой женщиной, на полной волѣ. Идолъ-то этотъ, котораго актерской славой зовутъ, сгрызетъ васъ рано или поздно. Такъ благороднѣе ужъ одной ему въ пасть понадать, чѣмъ еще человѣческую душу на закланіе вести.

Тихій смѣхъ закончилъ эту тираду.

— Пойдите!—сказала она и пошла впередъ, медленно и все еще держа низко голову.

Ихъ фаэтонъ стоялъ около церкви. Благомировъ посадилъ свою даму шутливымъ жестомъ. Съ него соскочила сдержанность. Она это почувала, но не сумѣла настроить себя на пріятельскій, развязный тонъ.

На спускъ къ городу, въ сторону „Boulevard-Carabace!“, ее вывелъ изъ раздумья басъ ея спутника. Онъ вдругъ заплѣлъ что-то церковное.

— Что это?—спросила она его.—Дѣтство вспомнилось?..

На языкѣ у нея было другое, болѣе безперемонное, слово.

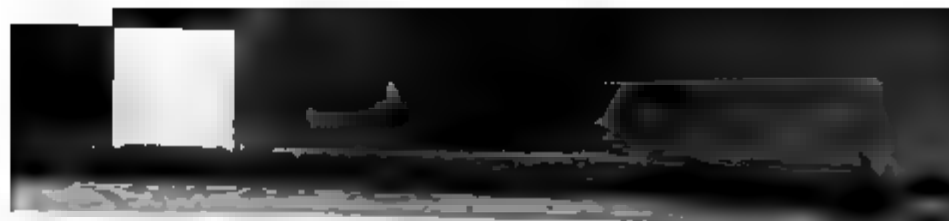
— Ха-ха-ха! Не узнали. Это я, грѣшнымъ дѣломъ, кощунствовалъ разъ въ Миланѣ, прошлой весной. Рассказать вамъ?..

Веселыми дѣтскими глазами посмотрѣлъ онъ на нее,—глазки „русака“, подумала она, вспомнивъ его слово.

— Расскажите.

Пускай его болтаетъ,—ей легче будетъ. Она выслушала свой приговоръ и старалась утѣшиться. Съ тѣмъ, кто проникъ такъ легко ея личность, безуміе было бы связывать свою судьбу!..

— Видите ли, Доротея Васильевна,—рассказывалъ онъ, покачиваясь въ экипажѣ,—нашелъ я, по пріѣздѣ въ Миланъ, около *Альберто-дела-Поццо*,—выговоръ у него остался чисто русскій,—такой пансіонъ, гдѣ наша братія ученички водятся, у бывшаго хориста, синьора Корбари, за четыре лиры въ день, съ комнатою, ну, и харчи ничего себѣ: вина, сыру и хлѣба до отпалу!.. Однако, въ общемъ, скудновато для моего желудка. Вотъ только когда первый мой профессоръ началъ меня сильно одобрять, я и рѣшилъ, что можно же мнѣ хоть одну порцію въ *кафе-Кова* затребовать. А наслышанъ я былъ объ этомъ кафе—первая, молъ, бѣда въ Миланѣ. Городъ я зналъ еще плохо. Говорили мнѣ: противъ театра *Скала*. Пошелъ—вижу маленько наискосокъ отъ Скалы, читаю „Caffe dell'Academia“. Это, молъ, самое и есть. Вхожу. Народу много. Часъ обѣденный. Какъ будто, для первостатейнаго заведенія, съ гряздой. Подаютъ карту. Вижу—все пятьдесятъ да сѣмьдесятъ центезимовъ за порцію. Я семь порцій и уялелъ!.. Даже гарсонъ въ изумленіе пришелъ!.. Какъ выкатилъ я на площадь, на радостяхъ-то и пустилъ,



по старой памяти, какъ въ свѣтлый праздникъ пѣвалъ: „Снизшелъ еси въ преисподняя земли и сокрушилъ еси перен вѣчныя“...

Новый взрывъ здороваго, беззаботнаго смѣха покатился за нимъ внизъ.

„Кутейникъ, кутейникъ!“ — беззвучно шептали поблѣднѣвшія сочныя губы его спутницы.

Экипажъ спустился къ бульвару.

## XI.

На „Promenade des Anglais“ въ утренній часъ, передъ завтракомъ, обычная публика дѣлала моціонъ въ обѣ стороны. Мужчины въ желтыхъ башмакахъ и фланелевыхъ панталонахъ и женщины въ пестрыхъ утреннихъ туалетахъ—все было подъ зонтиками.

Лучи солнца беспощадно слѣпили глаза, играли на морской чешуѣ и отражались отъ стѣнъ виллъ и отелей, большею частью бѣлыхъ или желтоватыхъ, на цѣлую версту, вдоль плоскаго заворота бухты. Пожелтѣлая, низменная пальма, не дающія никакой тѣни, жарились на солнцѣ и смотрѣли ненарядно, точно вѣники, концомъ вверхъ.

Экипажей почти не проѣзжало. Около половины двѣнадцатаго отъ моста, черезъ безводную рѣку Paillon, перешелъ къ тротуару Ермиловъ, посмотрѣлъ вправо, въ сторону сада, гдѣ ротонда стояла пустая, а кругомъ копошились дѣти и няни возили телѣжки, и сѣлъ на одну изъ скамеекъ съ подвижными спинками, откинувъ ее лицомъ къ фасадамъ строеній.

И на немъ было только что принесенный ему отъ портного, изъ-подъ аркады площади Массена, синій шерстяной пиджакъ съ такимъ же жилетомъ и бѣлыми фланелевыми широкими панталонами, въ тонкихъ розоватыхъ полоскахъ. Галстукъ онъ надѣлъ арко-красный, также по англійской модѣ. Сѣрая мягкая шляпа, сдавленная съ боковъ, сидѣла немного на-бокъ. Ботинки его приближались больше къ красноватому, чѣмъ къ желтому колеру. Шелковый зонтикъ набрасывалъ на него мягкую тѣнь. Отъ блеска стѣнъ онъ защищался дымчатыми стеклами своего ріпсе-пез.

Опъ долженъ былъ тутъ дежурить.

Наканунъ Анна Гавриловна, выслушавъ отъ него все подробности его визита къ Кустаревымъ, послала туда



депешу съ оплаченнымъ отвѣтомъ, подписавъ ее: „Анна Куликова“, гдѣ спрашивала о здоровьѣ Маргариты Сергѣевны. Кустаревъ отвѣтилъ, въ тотъ же день, что его женѣ лучше, и благодарилъ за искреннее участіе.

Это заставило Ермилова спросить ее:

— Неужели онъ вѣритъ въ ваше участіе?

На что она только поглядѣла на него стальнымъ взглядомъ и приподняла уголь рта. Дальше онъ не пошелъ въ своихъ комментаріяхъ.

Она же приказала пригласить Кустарева, если тому случится надобность пріѣхать въ Ниццу, позавтракать, и на это Кустаревъ далъ очень скорый отвѣтъ. И она снова послала ему депешу, гдѣ предложила сойтись на „Promenade des Anglais“, противъ сада, на что Кустаревъ опять-таки согласился и назначилъ сегодня, ровно въ двѣнадцать.

Онъ же долженъ былъ вести его завтракать въ „London House“, гдѣ будутъ ждать Куликовы, мужъ съ женою. Послѣ завтрака поѣдутъ, конечно, кататься, наверхъ, въ „Старый Замокъ“, и тамъ Анна Гавриловна вывѣдаетъ все, что ей нужно, распознаетъ чутьемъ женщины, закинувшей сѣть на мужчину, опасна ей будетъ или нѣтъ любовь его къ умирающей женѣ.

Мимо Ермилова проходили гуляющіе. Пожилой баринъ съ брюшкомъ подъ ярко-краснымъ зонтикомъ, раскачиваясь на ходу, оглядѣлъ его. Онъ узналъ одного петербургскаго генерала, изъ ученыхъ. Черезъ шоссе двигался, опираясь на палку и зонтикъ, худой молодой мужчина, съ вытянутымъ и синеватымъ лицомъ челоуѣка, страдающаго атаксіей. И его узналъ Ермиловъ. Они вмѣстѣ купивали не такъ давно. Года два тотъ пропадалъ: говорили, что онъ въ Парижѣ, лечится отъ паралича ногъ. Слѣдовало бы встать, догнать его, расспросить о здоровьѣ.

Но ему ни до кого дѣла нѣтъ. Не хочется говорить, ни по-русски, ни по-французски.

Вотъ приближается на фонѣ пестраго заведенія морскихъ купаленъ тучная, очень рослая мужская фигура въ свѣтло-сѣромъ сьютѣ. Ермиловъ смотритъ на него и долго не узнаетъ.

„Да это Званцевъ!“ — наконецъ-то выговорилъ онъ, но не сдѣлавъ ему издали поклона.

— Ермиловъ! Bonjour!.. Давно здѣсь?

Званцевъ стоялъ передъ нимъ безъ зонтика, вынося съ видимымъ удовольствіемъ удары солнечныхъ лучей по своему свѣтло-шоколадному пальто.

— Какъ видите!

Ермиловъ подалъ ему руку, но не поднялся.

Въ его головѣ смутно замелькали петербургскія лица: квартира Богучарова, баша Благомировъ, кабинетъ Званцева, проба баша въ отелѣ у Карусь; но все это казалось ему такъ давно и далеко, точно двадцать лѣтъ назадъ.

— На всю зиму?—спросилъ Званцевъ съ менѣе скучающимъ видомъ, чѣмъ въ Петербургѣ.

— Нѣтъ, проѣздомъ.

— А я, какъ видите, беру ванны, *des bains de soleil*. Да въ Ниццѣ еще не то солнце, какъ у меня, въ Болѣ.

— Вы тамъ поселились?

— Давно есть у меня тамъ *pied-à-terre*. Но въ прошломъ году я какъ-то совсѣмъ закисъ въ Петербургѣ. Абулія напала или, пожалуй, та форма, которую называютъ агорафобіей: просто черезъ улицу боялся перейти и даже переѣхать. Ужъ если переносить плѣсень жизни, такъ, конечно, на Ривьерѣ. Милости прошу ко мнѣ. *Villa Ruthenia*... Не забудьте. Я каждый день до обѣда дома. Нынче случилось дѣло, да и то, видите, тороплюсь на поѣздъ.

— Благодарю васъ,—отвѣтилъ Ермиловъ, и звукъ его голоса показался ему самому до-нельзя вялымъ и деревяннымъ.

Такимъ же вялымъ взглядомъ проводилъ онъ тучную фигуру Званцева и тотчасъ же посмотрѣлъ на часы. До двѣнадцати оставалось еще четырнадцать минутъ.

Къ саду, со стороны набережной, не приближался никто, похожій на Кустарева.

„И въ ресторанѣ „*London-House*“ черезъ нѣсколько минутъ начнутъ ждать“,—подумалъ онъ.

Ему точно хотѣлось разбередить себя, но сердце его не ныло. Что-то тупое и сонливое овладѣвало имъ, какъ комиссіонеромъ, которому велѣно дежурить и отдать записку господину съ знакомыми примѣтами. Вѣки его слипались... Можетъ-быть, онъ вздремнулъ одну-двѣ минуты.

— Мое почтеніе!..

Русское привѣтствіе, произнесенное высокимъ и деревяннымъ звукомъ, заставило его немного вздрогнуть.

Къ нему присаживался господинъ съ бритымъ лицомъ

и сѣдыми висками, въ черной суконной царѣ и черной же шляпѣ съ широкими полями, нѣчто въ родѣ пастора.

Ермилову понадобилось усиліе, чтобы сказать себѣ мысленно:

„Это—Гремушинъ“.

И вслѣдъ затѣмъ онъ, неожиданно для самого себя, почувствовалъ, что если у него будетъ наперсникъ, человѣкъ, съ которымъ онъ захочетъ перебирать свое теперешнее душевное состояніе, то именно этотъ московскій чудакъ. Онъ отчетливо и быстро припомнилъ ихъ маленький, но характерный разговоръ на Чистыхъ-Прудахъ, годъ тому назадъ, на святкахъ.

Да, такой человѣкъ только и можетъ быть его повѣреннымъ. Вѣдь онъ, навѣрно, подверженъ тому же психическому внушенію.

— Не изволили узнать меня? — спросилъ Гремушинъ невозмутимо мягкимъ тономъ.

— Промилуйте!.. И очень!

Ермиловъ крѣпко пожалъ ему руку и даже потрясъ ее.

Ему захотѣлось-было спросить сейчасъ о Карусѣ, но онъ нашелъ это слишкомъ безцеремоннымъ.

— Одинъ здѣсь?.. Уѣхали отъ московской стужи?—косвенно освѣдомился онъ.

— Я совсѣмъ покончилъ съ Москвой,—выговорилъ Гремушинъ, и такъ на него взглянулъ, что Ермиловъ распозналъ, въ этомъ взглядѣ товарища, человѣка съ одинаковой судьбой.

— Какъ совсѣмъ?

— И съ Москвой, и со всѣмъ, что тамъ осталось, — выговорилъ Гремушинъ безстрастно и немного торжественно.

— Вотъ какъ!

„Да, мы побратимы,—думалъ Ермиловъ,—намъ пужно вступить въ дружбу“.

Глаза Гремушина быстро обратились влѣво; за его взглядомъ потянулъ голову и Ермиловъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ онъ увидалъ даму въ синемъ женскомъ smoking съ шелковымъ отворотомъ, подъ кружевнымъ зонтикомъ, совсѣмъ скрывавшимъ голову. Рядомъ шелъ плотный мужчина, по походкѣ и туалету французъ.

— Не узнаете? — спросилъ Гремушинъ и печально усмѣхнулся.

— Не сразу.

— Это—Карусь... Доротея Васильевна... Она въ переговорахъ съ директоромъ здѣшней оперы. Какъ ваше мнѣніе? Стоить здѣсь выступить?

— Право, не могу вамъ сказать,—отвѣтилъ Ермиловъ, и ему стало досадно, что онъ дѣйствительно не взялся бы рѣшить: стоитъ или не стоитъ.

— Она съѣздитъ въ Миланъ, и если тамъ не состоится одна комбинація, то опять сюда вернется. Можетъ, и въ Монте-Карло будетъ пѣть.

Глаза Гремушина нервозно замигали.

Пара повернула въ переулокъ.

— Стало, по набережной не пойдутъ назадъ,—думалъ онъ вслухъ. — Мое почтеніе! Черезъ недѣлю можемъ повидаться. Адресъ мой Boulevard Dubouchage, номеръ двадцать третій.

Онъ высоко приподнялъ шляпу и торопливо пошелъ мелкими шажками.

„Одинъ барбось побѣждалъ за своей барыней, другой сейчасъ побѣжитъ“, — выговорилъ про себя Ермиловъ, разглядѣвъ невдалекѣ широкую фигуру и тяжеловатую походку Кустарева. Тотъ озирался въ это время, похаживая около ротонды, и съ его бородой, посадкой головы и походкой съ развалцемъ смотрѣлъ ужасно русскимъ.

„Дежурство, значить, кончилось, „барыня“ будетъ довольна“, — промелькнуло въ мысляхъ Ермилова: онъ явится къ ней не одинъ, а съ желаннымъ гостемъ...

## XII.

На самой верхней площадкѣ „Стараго Замка“, надъ каскадомъ, откуда вся Ницца, старая и новая, видна съ довольно большой высоты, пріютилась лавочка итальянца, торгующаго вещами изъ оливковаго дерева.

Около него, поодаль, стояла группа дѣтей и съ ними солдатъ, съ зелеными эполетами стрѣлка — маленькаго, почти дѣтскаго роста.

У самаго прилавка перебирали ящички и портмоне Ермиловъ и Куликовъ, передавали другъ другу вещи и, переговариваясь по-русски, находили многое совсѣмъ не дешевымъ.

У самаго наранета, въ полъ-оборота къ морю и желтой лентѣ двухъ набережныхъ — Quai du Midi и Promenade

des Anglais—Анна Гавриловна, прикрывая себя зонтикомъ отъ лучей солнца, отраженныхъ въ морѣ, тихо говорила съ Кустаревымъ.

На ней былъ свѣтлый суконный туалетъ съ высокимъ воротникомъ, узкими рукавами и вырѣзомъ спереди, въ родѣ халата въ обтяжку, въ мелкую влѣтку. Ея бюстъ вырѣзывался на фонѣ неба, свободная рука красиво падала вдоль бедра. Голову она немного нагнула къ своему собесѣднику.

Онъ накинута палто по-русски на плечи, морщился отъ солнца и курилъ.

— Вы не боитесь одиночества, если васъ постигнетъ этотъ ударъ?

Передъ тѣмъ у него вырвалась фраза:

„Пересталъ вѣрить въ то, что Гаря моя встанетъ“.

Щеки Анны Гавриловны поблѣднѣли отъ свѣжаго вѣтерка, ходившаго по этой вышкѣ; нижнюю губу она прижала верхними зубами и смотрѣла на Кустарева изъ-подъ полуопущенныхъ рѣсницъ.

Этотъ приговоръ, услышанный ею внезапно, не заставилъ ее покраснѣть, а напротивъ, кровь у нея отхлынула отъ сердца, даже ощущеніе холода въ груди явственно заявило о себѣ.

Ея вопросъ о предстоящемъ одиночествѣ сдѣланъ былъ тихо, голосомъ, упавшимъ сразу. Въ этомъ и сказался сильный наплывъ душевныхъ волненій.

— Одиночества! — выговорилъ Кустаревъ и махнулъ рукой, которою онъ до того касался каменнаго парапета. — Эхъ, Анна Гавриловна, можно ли уйти отъ одиночества?

— Даже и тогда, когда есть привязанность, долгая и единственная?

— Какъ бы ни жили мужъ и жена душа въ душу, все-таки всегда человѣкъ самъ съ собою, — отвѣчалъ Кустаревъ.

— Это очень вѣрно!..

— Какъ же не вѣрно? Подкрадется разлука... навѣки... Что жъ! Надо было готовиться къ этому... усиленному одиночеству, все равно, какъ къ смерти. Каждый день засыпашь—та же смерть, на треть сутокъ!..

— Знаете что, Евменій Филипповичъ, — начала она очень сдержанно, прислушиваясь къ своимъ словамъ. Она точно процѣживала ихъ; за собой она слѣдила съ напря-

женіемъ всего своего существа.—Вы ждете большого удара... смерти вашей подруги... Когда онъ придетъ—около васъ никого не будетъ?

— Здѣсь... Кто же?

— Да и тамъ, на вашемъ хуторѣ... Да я и не знаю, если вы мнѣ позволите говорить совсѣмъ откровенно...

— Какой же толкъ во всякой другой бесѣдѣ, Анна Гавриловна?

Его возгласъ раздался звонко по площадкѣ. Онъ пріѣхалъ сюда возбужденный, послѣ пріагого завтрака и двухъ-трехъ стакановъ стараго St.-Georges.

— Въ добрый часъ! — приласкала она его. — У васъ, между людьми вашей генераціи, нѣтъ теперь друга...

Анна Гавриловна бросила взглядъ туда, гдѣ стоялъ Ермиловъ съ ея мужемъ.

— Недостаточно считаться товарищемъ, — продолжала она.—И Ермиловъ вашъ товарищъ, но онъ не вашъ человѣкъ.

Кустаревъ усмѣхнулся и ничего на это не сказалъ.

— Въ Москвѣ... въ редакціи... Я не знаю. Есть ли у васъ человѣкъ, какой нужно... въ первые дни послѣ удара?

Онъ слушалъ, и въ головѣ его почему-то не складывался вопросъ:

„Да вѣдь она меня готовитъ къ смерти Гари и предлагаетъ себя въ утѣшительницы?“

— По правдѣ сказать, такого, знаете, какъ народъ говорить, брательника у меня нѣтъ.

— И вы давно должны страдать оттого, что около васъ все такъ опустилось прежде времени, ослабло, сжалось... Въ недавнихъ людяхъ смѣлыхъ идей — апатія... и — сказать прямо — трусость!

Ему показалось удивительнымъ, что она это понимала. Онъ совсѣмъ забылъ, что въ Москвѣ не одинъ разъ самъ онъ велъ съ ней разговоры въ томъ же духѣ.

— Еще бы!

Его возгласъ заставилъ ее широко раскрыть глаза, и румянецъ сталъ понемногу подползать къ ея щекамъ и давать имъ янтарный оттѣнокъ. Она дѣлалась очень красивой.

— Вы не имѣете права, — начала она горячѣе, но тихимъ звукомъ, — вы не имѣете права оставаться въ полномъ одиночествѣ.

Слѣдовало бы ему закричать:

„Да въ чему же мы хоронимъ Гарю, когда она жива? Въдь это бездушно!“

Но въ душѣ его ничего подобнаго не встрѣчено.

Имъ начала овладѣвать тихая жалость къ самому себѣ, больше чѣмъ къ „маленькой женщинѣ“, которая сегодня сама упрямивала его поѣхать завтракать въ веселой компаніи. Онъ видѣлъ себя на хуторѣ, подъ сугробами снѣга, въ осиротѣлыхъ комнатахъ хуторского домика. Идти нигде нельзя, востъ вьюга. До изнеможенія шагаетъ онъ въ высокихъ валенкахъ по своему кабинетцу. Лампочка даетъ унылый свѣтъ. Нестерпимо жутко. Долго ли прибѣгнуть къ забвенію... Въ столовой шкапчикъ съ водкой... Рюмка за рюмкой. Примѣры на глазахъ! И можетъ ли онъ считать себя тверже характеромъ? Выпить съ приятелемъ онъ никогда не прочь. Привычка къ возбужденію, какую даетъ алкоголь, уже есть въ немъ... Долго ли?

— Дѣтей вы лишились! — выговорила Анна Гавриловна, — голосъ ея сталъ еще тише, темнѣе рѣчь еще медленнѣе.

— Это еще къ лучшему, — вслухъ подумалъ онъ.

— Кто знаетъ!

Она покачала головой. Со своимъ волненіемъ она успѣла уже справиться. Ее начало согрѣвать чувство высшего удовольствія собой, — ей удалось попасть въ тонъ, въ настоящий тонъ, какимъ ей слѣдуетъ отнынѣ говорить съ нимъ. Онъ уже спокойно готовится къ удару, къ уходу изъ жизни „маленькой женщины“, но одиночество пугаетъ его, онъ боится за себя, ему не съ кѣмъ, изъ своихъ ближайшихъ сверстниковъ, идти рука въ руку.

— Евменій Филипповичъ, — заговорила она быстрѣе, но все такими же низкими звуками, — вы мнѣ пошлете депешу во Флоренцію... Мы ѣдемъ завтра. Нашу поѣздку можно сократить! Попадемъ и въ другой разъ въ Итацію. Но я хочу быть около васъ... когда нужно будетъ. И мы вернемся домой вмѣстѣ съ вами. А лучше всего, — закончила она, спохватившись невольпо, — не терять вѣры... въ выздоровленіе Маргариты Сергѣевны...

Конечъ былъ лживъ и баналенъ, но онъ почему-то не показался такимъ Кустареву. Эти слова принялъ онъ за естественное желаніе женщины обратиться сердцемъ къ проблеску надежды.

И такая недалекость тронула ее и заставила мысленно стать передъ нимъ на колѣни.

„Чистая душа!“—шептали безъ звука ея выразительныя губы.

Она считала его неизмѣримо выше себя, по ясности и чистотѣ натуры, но смотрѣла на себя, въ эту минуту, какъ на единственную женщину, какую судьба поставила на его пути. Гая любила его, любить и теперь, въ двухъ шагахъ отъ могилы, но любовь ея не дала бы ему ничего, кромѣ заботъ нервной влюбленности, безсильной устроить для него заново жизнь, гдѣ онъ найдетъ прежнюю вѣру въ свои силы, займетъ кафедру, или создастъ новый органъ, или будетъ виднымъ земскимъ человекомъ. Она знаетъ и видитъ, что все это будетъ, и будетъ скоро—какъ только сердце забьется въ немъ сильнѣе... любовью къ ней.

— Аня! Аня!.. Поди сюда, пожалуйста!—раздался зовъ Куликова.

Анна Гавриловна услышала голосъ мужа, но прежде чѣмъ двинуться, протянула руку Кустареву.

— Вы не оставите меня, Евменій Филипповичъ, безъ депеши?

— Спасибо!—вымолвилъ онъ, тронутый, и очень сильно пожалъ ея руку.

Въ этомъ пожатіи она уже почувала свою силу и, откинувъ зонтикъ на другое плечо, плавно пошла къ лавочкѣ итальянца.

— Вотъ видишь, Аня: Егоръ Петровичъ стоитъ за этотъ ящикекъ. А мнѣ нравится больше маленькій сакъ. Какъ ты находишь?

На той и другой вещи были инкрустаціи; на одной—ласточки съ надписью: „Vieux château“, на другой—итальянецъ съ итальянкой плясали тарантеллу.

Прищуривъ глаза, Анна Гавриловна оглядѣла вещи съ усмѣшкой.

— Что это? Подарокъ? —спросила она и взглянула вбокъ на Ермилова.

— Рѣшите,—сказалъ онъ, и въ его глазахъ она прочла все то же выраженіе, которое она находила до смѣшного слащавымъ.

— Отъ тебя я приму, —отвѣтила она, и указала мужу на сакъ. —Это удобнѣе и въ Москвѣ новость.

— А ящикъ? Отъ меня?

Ермиловъ глазами упрашивалъ ее.



— Онъ неудобенъ, великъ. Да и надо же васъ, Ермиловъ, отучить отъ подношенія сувенировъ.

Мужчины разсмѣялись. Куликовъ отдалъ деньги итальянцу и бережно положилъ вещь въ карманъ пальто.

— Идите, господа, впередъ!—распорядилась Анна Гавриловна. — Коляска ждетъ насъ съ той стороны. У пошвы, гдѣ скала... въ концѣ набережной.

Куликовъ взялъ Ермилова подъ руку, и они пошли впередъ, какъ послушные мальчики.

Въ аллеѣ кипарисовъ, когда передняя пара была за поворотомъ книзу, Анна Гавриловна приостановилась и спросила:

— Вы исполните мою просьбу?

— Насчетъ чего?

— Пришлете депешу?

— Обязательно!..

Возгласъ Кустарева пронесся по всей аллеѣ.

### XIII.

Въ садикъ одного изъ недорогихъ пансіоновъ, между Boulevard Victor Hugo и слѣдующей параллельной улицей, вошелъ Гремущинъ, одѣтый все такъ же, съ тѣмъ же видомъ пастора или доктора, какіе являются въ мелодрамахъ.

Аллея акацій, не теряющихъ своей зелени, вела къ террасѣ. Правѣе выходило крыльцо съ полуотворенною дверью. Жильцы разошлись. Прислуга завтракала въ подвальномъ этажѣ.

Гремущинъ заглянулъ въ сѣни. Тамъ никого не было. Стояла вѣшалка, по стѣнамъ—расписанія поѣздовъ и отельныя рекламы. Онъ рѣшился позвонить снаружи.

Въ открытое окно кухни вылетѣлъ высокій женскій голосъ:

— Fritz, on sonne! Il y a quelqu'un.

Къ нему вышелъ снизу, изъ кухни, швейцаръ въ ливреѣ и безъ картуза, малый съ туповатымъ лицомъ нѣмецкаго типа.

— Mon ami! — обратился къ нему Гремущинъ тихо и ласково, отойдя съ нимъ въ сторонку, подъ акаціи.

Обстоятельно спросилъ онъ его,—живетъ ли у нихъ господинъ очень высокаго роста, пріѣхавшій изъ Милана, по фамиліи „Влаго“; такъ Благомировъ, для краткости, прозвалъ себя за границей.

Фритцъ отвѣтилъ ему съ акцентомъ, но толково, что „monsieur le russe“ — онъ зналъ уже, что Благомировъ русскій — живетъ въ номеръ двѣнадцатомъ, но что его нѣтъ дома.

Это вызвало на лицѣ Павла Павловича унылое выраженіе. Фритцъ поспѣшилъ успокоить его, сообщивъ, что господинъ Благо заказалъ фіакръ къ двумъ часамъ, и скоро вернется. За экипажемъ онъ сейчасъ побѣжитъ.

И со словами:

— Si monsieur voulait attendre, — Фритцъ пошелъ дождать баранье рагъ.

— Très bien. — кротко отвѣтилъ ему Гремушинъ, — j'attendrai.

Передъ аллеей акацій онъ сѣлъ на проволочный стулъ, пріютившійся сбоку, въ углубленіи, передъ желѣзнымъ столомъ съ мраморной доской. Изъ бокового кармана сюртука онъ вынулъ записную книжку и сталъ просматривать цѣлый рядъ только ему понятныхъ значковъ. Одинъ изъ этихъ значковъ онъ зачеркнулъ и поставилъ слѣва продолговатый крестъ.

Это означало, что порученіе Доротей Васильевны Карусъ, пославшей его къ Благомирову, наполовину исполнено; послѣ того, какъ онъ повидается и поговоритъ съ „басомъ“, къ продолговатому кресту прибавитъ онъ снизу нуликъ.

Порученій, на каждый день, приходится не мало. Только ими онъ и живетъ; своихъ интересовъ у него нѣтъ: сытъ, одѣтъ, здоровъ, какъ давно не бывалъ; передъ сномъ записываетъ въ особую тетрадь все, что перечувствовалъ за день.

Онъ похожъ, въ своихъ собственныхъ глазахъ, на человека, выкинутого на берегъ послѣ крушенія судна. Съ прежней жизнью все порвано. О возвращеніи безумно и мечтаетъ. Если онъ и очутится опять въ Москвѣ, слѣдуя за Доротеей Васильевной, какъ тѣнь, — все равно въ свой бывшій домъ онъ не заглянетъ. Тамъ это знаютъ.

Сейчасъ придетъ этотъ „пѣвчій“ — онъ такъ зоветъ Благомирова, когда думаетъ о немъ, — и ему надо будетъ, по порученію Доротей Васильевны, узнать, на чемъ онъ окончилъ съ опернымъ агентомъ: отправляется ли онъ въ Лондонъ или въ Америку?

Чѣмъ дальше — тѣмъ лучше! Такъ слѣдовало бы чувство-

вать человѣку, котораго гложетъ страсть къ женщинамъ. Но онъ въ иныхъ чувствахъ...

Даже въ самый напряженный періодъ влеченія Доротей Васильевны къ басу онъ не долго страдалъ... Ему легко сдѣлалось совсѣмъ не думать, что это влеченіе можетъ повести къ связи. Онъ и до сихъ поръ не знаетъ, дошло ли у нихъ до чего-нибудь больше поцѣлуевъ... Злоба безсильнаго соперничества не рисовала, въ его распаленномъ мозгу, картины, какъ она отдаетъ себя этому регенту съ феноменальнымъ басомъ и иконописнымъ ликомъ.

И онъ началъ жаждать для нея успѣховъ, быстрыхъ, шумныхъ, европейскихъ. Его глодало то, что она, не взирая на ея талантъ, красоту, большую музыкальность и состояніе, позволяющее облегчать себѣ карьеру, особенно за границей, гдѣ все такъ продажно, не можетъ побѣдно выступить, подготовить себѣ эффектнаго появленія, какъ восходящая артистическая звѣзда.

Чутьемъ страдающаго за нее сердца понялъ онъ, безъ ея изліяній, чего она теперь ищетъ въ этомъ „пѣвчѣ“. Она уже не увлечена имъ. Если онъ ей и правится, то не настолько, чтобы забыть для него все. Но она пошла бы за него замужъ или прильнула бы къ нему, какъ постоянная подруга, чтобы рука объ руку идти отъ успѣха къ успѣху. На это она пойдетъ сейчасъ же. Наврядъ ли пойдетъ онъ...

Да если бы и пошелъ... Что жъ! Она кинется за нимъ въ Лондонъ или въ Нью-Йоркъ. Онъ поможетъ ей получить ангажементъ, который создастъ ей имя въ одинъ сезонъ. Изъ Лондона прямая дорога въ Мадридъ, въ Рио-Жанейро и, наконецъ, въ Парижъ, вѣщающій репутацію, гдѣ бы она не создалась.

Павелъ Павловичъ за этотъ годъ вошелъ во всѣ тайные изгибы женской славолубивой души; онъ жилъ лихорадочной ѣдкихъ ожиданій и расчетовъ, съ замираніемъ сердца отъ приближающейся рѣшительной минуты, которая все ускользаетъ.

Благомировъ—„удачникъ“. Она въ него вѣритъ больше, чѣмъ въ себя. Но развѣ во власти этого удачника отнять у него то, что онъ, Гремущинъ, испытываетъ въ ея присутствіи? Гдѣ же ему, съ его грубыми органами душевнаго воспріятія, погружаться въ такіе восторги?.. Для него Доротей Васильевна пѣвичка какъ пѣвичка, какихъ

встрѣчаютъ не мало у профессоровъ пѣнія и на оперныхъ сценахъ Старого и Нового Свѣта. Цѣвчій ему же будетъ служить, его безконечнымъ наслажденіямъ, сдѣлавъ изъ Доротеи Васильевны свою спутницу.

Только состоится ли это? Врядъ ли!..

И такой исходъ не смущалъ Павла Павловича. Она не убѣжитъ отъ него и его не прогнать. Онъ ей нуженъ,— это онъ различаетъ все явственнѣе.

Наружная дверка сада звякнула.

Гремушинъ неторопливо всталъ и повернулъ вправо. Онъ узналъ раскатыстый голосъ Благомирова.

Они давно не видались. Въ Благомировѣ онъ съ одного взгляда разглядѣлъ все то новое, что ему дала его заграничная выучка, и нашелъ, что въ красотѣ его было больше тонкости и какого-то „себѣ на умѣ“, которое дѣлало его интереснѣе для женщинъ.

— Павелъ Павловичъ! здравствуйте!—окликнулъ Благомировъ его на ходу.

На Гремушина онъ смотрѣлъ теперь какъ на фактума, очень полезнаго Доротеѣ Васильевнѣ, и сейчасъ догадался о поводѣ его визита.

— Я васъ не задержу?—вкрадчиво спросилъ Гремушинъ, пожавъ ему руку и все съ приподнятой шляпой.— Вы собираетесь ѣхать?..

— Да не знаю, пріѣхалъ ли извозчикъ.

Благомировъ окликнулъ Фритца въ окно кухни.

— Фіакръ—влендра?

Его французскій выговоръ вызвалъ—было невольную усмѣшку на тонкія губы Гремушина, которую онъ сдерживалъ.

— *A deux heures précises*,—отвѣтилъ ему чей-то женскій голосъ.

— Время еще есть... Хотите ко мнѣ пожаловать?.. или тутъ побесѣдуемъ?

— Я предпочелъ бы на воздухѣ.

— И распрекрасно!.. Цанироску не желаете?

— Я не курю.

Онъ сѣлъ на ту же скамью.

— Я къ вамъ...—началъ Гремушинъ.

— Отъ Доротеи Васильевны?—досказалъ Благомировъ.

— Совершенно вѣрно.

— Я знаю и зачѣмъ.

Благомировъ громко разсмѣялся и съ аппетитомъ сталъ закуривать папиросу.

— Вы передайте, пожалуйста, Доротеѣ Васильевнѣ,—говорилъ онъ весело, поглядывая на бритое лицо Грешинна съ опущенными рѣсницами и сжатымъ ртомъ,—что агентъ—онъ ударялъ на букву а—меня не надулъ... задатокъ получилъ, и даже значительнѣе, чѣмъ я предполагалъ. Ей, быть-можетъ, будетъ не безынтересно узнать, что я сегодня же расквитаясь съ господиномъ Званевымъ. Вы помните, тотъ богатый, изъ скучающихъ баръ, интеллигентъ, который пожелалъ оказать мнѣ поддержку?

— Какъ же, какъ же.

— Ну, такъ я—именно въ нему... въ Больё... Чугунка надоѣла... и въ вагонахъ все игрецкія мерзопакостныя рожи. Разориться хочу на фіакръ... Не угодно ли васъ куда подвести?

— Благодарю васъ,—скромно и брезгливо откликнулся Грешиннъ и, чуть слышно откашлянувъ, спросилъ:—Вы получаете ангажементъ... собственно куда же?

— Ахъ, я и забылъ... Въ Лондонъ: это рѣшеное дѣло, и такой пунктъ введенъ въ условіе, что ежели я до іюля мѣсяца наступающаго года не откажусь отъ Америки, то въ обширную рундъ-рейзе. Она возьметъ цѣлыхъ полгода.

— И, разумѣется, за большой гонораръ?

— Здоровый!—пустилъ Благомировъ высокой нотой.—Деньги у нашихъ заатлантическихъ братьевъ шальные. И импрессаріи же у нихъ—теплый народъ. Прогорають и они, но зато для нихъ нѣтъ слишкомъ дорогого куша.

— Желаю вамъ дойти до вечеровой платы маркизы де-Ко.

— Это какой же?

— Патти!

— Да, бишь, она маркиза... Нѣтъ, для нашего брата, баса, такихъ кушей не подлагается.

Фіакръ пріѣхалъ ровно въ два часа.

Порученіе Павла Павловича состояло еще и въ томъ, чтобы узнать отъ Благомирова: гдѣ онъ думаетъ провести время до начала англійскаго сезона.

— Вы сейчасъ и отправляетесь?—спросилъ онъ, когда они уже были у дверки на улицу.

— Ни Боже мой!.. Надо здорово подготовиться. Я, почитай, ни одной партіи какъ слѣдуетъ не знаю.

— Въ Миланѣ?

— Еще не рѣшилъ.

„Не хочетъ сказать, ускользаетъ“, — подумалъ Гремущинъ и спросилъ:

— Что же передать Доротеѣ Васильевнѣ? Она еще поживаетъ здѣсь...

— Проститься я приду. Только это она напрасно думаетъ здѣсь брать дебютъ. Не слѣдуетъ этого, ни подъ какимъ видомъ, ни здѣсь, ни въ томъ вертепѣ, въ Монте-Карло.

Онъ это сказалъ голосомъ человѣка, которому нечего искуать дебютовъ, и сѣлъ въ фавтонъ.

Гремущинъ на тротуарѣ раскланялся съ нимъ.

#### XIV.

Около желѣзной дороги, на углу Avenue de la Gare и проѣзда, поднимавшагося къ площади, Гремущинъ остановился у торговки журналами и сталъ, не торопясь, выбирать то, что ему нужно было.

Онъ никогда не любилъ чтенія газетъ, считалъ ихъ вредными для „мозговой экономіи мыслящаго человѣка“; теперь онъ покупалъ веселые листки, карикатуры, послѣдній номеръ „Journal Amusant“ съ игривыми сценами.

Ему оставалось около получаса до прихода поѣзда, который долженъ былъ привезти изъ Монте-Карло Доротею Васильевну. Онъ подождетъ поѣзда здѣсь, встрѣтитъ ее и проводить, а дорогой доложить о томъ, что узналъ отъ Благоширова.

Только что отошелъ поѣздъ въ Италію; омнибусы, привозившіе пассажировъ, нѣкоторые возвращались домой, другіе оставались и становились въ рядъ.

На длинномъ поѣздѣ толпились носильщики и отельные швейцары въ своихъ картузахъ американскаго покрою. Вдоль аллеи эвкалиптусовъ, издававшихъ свой пряный запахъ, тянулись вереницею фіакры. Съ поѣздомъ изъ Канна пріѣхало немного народу.

Въ воздухѣ похолодѣло, и съ сѣверо-запада вѣяло свѣжимъ вѣтеркомъ. Три пальмы, стоящія прямо противъ средняго портала стаціи, зашелестили своими пернатыми листьями.

Входить въ кафе Гремунинъ не хотѣлъ. Онъ съ трудомъ выносилъ обычный воздухъ кафе и вивныхъ, смѣсь крѣпкого табаку съ испареніями напитковъ: свѣжесть была ему скорѣе пріятна.

Похъ навѣсомъ отеля „Terminus“ помѣщалось нѣсколько столиковъ. Онъ сѣлъ около одного изъ нихъ, позвалъ гарсона и приказалъ принести себѣ рюмку вермута: тотомъ началъ просматривать свои журналы съ картинками.

— Судьба какъ сводить! — раздался надъ нимъ знакомый русскій голосъ.

Ермиловъ, въ свѣтло-шоколадномъ пальто съ пелеринкой, протягивалъ къ нему руки и переминался на мѣстѣ, глядя на него ласковыми глазами.

— Душевно радъ! — отвѣтилъ Павелъ Павловичъ и подался къ нему туловищемъ. — Не угодно ли присѣсть и откушать чего-нибудь?

Его церемонный, немного старомодный тонъ не стѣсывалъ и не смѣшилъ Ермилова. Онъ искренно обрадовался этой встрѣчѣ. Опять ему захотѣлось сблизиться съ этимъ „собратьемъ“, какъ онъ уже прозвалъ его про себя. Сдѣлалось ему, что и Гремунинъ охотно пойдетъ на такое сближеніе.

— Консомацию? — шутиливо спросилъ Ермиловъ.

— Да, консомацию. — съ тихой усмѣшкой повторилъ Павелъ Павловичъ.

— Спрошу.

— Позвольте уже мнѣ угостить васъ. Вамъ чего угодно?

— Да хоть классису.

— Вотъ гарсонъ, прикажите ему. Что что же такое классисъ?

— А это черносморочинная водка... гораздо хуже нашей наливки. Un cassis-à-l'eau! — приказалъ Ермиловъ привычнымъ парижскимъ звукомъ.

Они сѣли по обѣимъ сторонамъ узкаго мраморнаго столика, приткнутаго къ простѣнку зеркальных оконъ отеля-кафе. Имъ было уютно: вѣтеръ не продувалъ ихъ. Гарсонъ быстро подалъ имъ консомацию.

— Пріѣхали изъ Канны? — тихо спросилъ Гремунинъ, склонивъ ими города въ женскомъ родѣ, что Ермилову понравилось.

— Нѣтъ, я провожалъ своихъ знакомыхъ въ Италію.

— Русскихъ?

Въ обыкновенномъ настроеніи Павелъ Павловичъ не сдѣлалъ бы такого вопроса, считалъ бы это неумѣстнымъ.

Въ эту минуту онъ смотрѣлъ на своего собесѣдника кроткими глазами, гдѣ было явственное желаніе менѣе сдержаннаго разговора.

— Уѣзжали Куликовы... Анна Гавриловна... съ мужемъ.

Гремушинъ отъ Доротен Васильевны слышалъ, что Ермиловъ „погибаетъ“ около профессорши; зналъ, что Карусъ его не долюбливаетъ за равнодушіе къ ея туалетахъ, уму и красотѣ. Онъ способенъ былъ и теперь позондировать его и побудить его сдѣлать ей визитъ.

— А я поджидаю Доротею Васильевну. Вамъ не извѣстно, что она здѣсь, въ Ниццѣ?

— Мы, стало, съ вами въ однѣхъ должностяхъ, — сказалъ Ермиловъ и началъ развѣшивать ложечкой свой кассиеръ.

Гремушинъ поглядѣлъ на него вбокъ и громко перевелъ дыханіе. Это было что-то въ родѣ вздоха.

— Кажется...

„Надо мнѣ первому начать“, — подумалъ Ермиловъ, ощущая настойчивый позывъ къ взаимной исповѣди.

— Вѣдь васъ Павелъ Павловичъ зовутъ?

— Ваше имя и отчество мнѣ извѣстны.

— Намъ, Павелъ Павловичъ, судьба послала одно и то же испытаніе, въ такой возрастъ, когда иллюзіи почти немислимы...

— Совершенно немислимы, — выговорилъ Гремушинъ и отхлебнулъ изъ рюмки.

— А между тѣмъ это такъ. Я васъ давно появля... еще въ Москвѣ... Помните, когда мы вышли вмѣстѣ отъ Карусъ и прошлись немного къ Чистымъ-Прудамъ?

— Прекрасно помню!..

— Въ насъ обоихъ „влеченье—родъ недуга“.

И онъ остановился, немного покраснѣлъ, недовольный тѣмъ, что и тутъ не могъ воздержаться отъ литературной цитаты.

Но Гремушинъ повторилъ ее искренно и почти торжественно.

— Да, влеченье—родъ недуга!

— И вы не надѣетесь на то, что оно пройдетъ?

— Я и не желаю этого, — сказалъ Гремушинъ, и лицо его точно освѣтилось.

Въ другое время Ермилову онъ показался бы до-нельзя



смищенъ; но теперь—это эстетическое выраженіе на старѣющемъ, бритомъ лицѣ помогло только ему настроить себя, какъ нужно было для такой бесѣды.

— Не желаете?—переспросилъ онъ, положилъ оба локтя на мраморный столикъ и низко наклонилъ къ Гремущину свою голову.

— Я разорвалъ со своимъ прошлымъ,—заговорилъ Павелъ Павловичъ медленно и отчетливо, точно онъ давалъ на судъ показаніе подъ присягою.—У меня была семья... Я былъ или считался образцовымъ отцомъ и мужемъ... Женился я цѣломудреннымъ...

— Однако!—вырвалось у Ермилова.

— Цѣломудреннымъ... Я много думалъ о человѣчествѣ, о причинахъ неурядицы, страданій, пороковъ и преступленій. Неразумно направленные инстинкты, страсти и свойства темперамента, — вотъ что представлялось мнѣ главной, всепоглощающей причиной того, что человѣкъ не знаетъ на землѣ благополучія, какое на ней достижимо.

— Это теорія Фурье,—какъ бы про себя замѣтилъ Ермиловъ.

— Да, потому-то Фурье и гений! Надо было проштудировать многоразличныя отклоненія социальной и личной жизни и указать для нихъ норму во всѣхъ деталяхъ. На это пошло у меня пятнадцать лѣтъ. Я писалъ книгу, перерабатывалъ ее до восьми разъ.

— По рецепту Гоголя,—опять замѣтилъ какъ бы про себя Ермиловъ.

— Да, по рецепту Гоголя,—повторилъ Гремущинъ, не мѣняя своего тона.—Себя я считалъ застрахованнымъ отъ всякихъ душевныхъ переворотовъ и въ меня пропивала особаго рода гордыня добродѣтели, руководимой торжествующимъ разумнымъ сознаніемъ.

— Но какъ же вы это согласовали съ вашей теоріей страстей?

— Въ себѣ я признавалъ только консервативные инстинкты: исполненіе долга, какъ основную черту натуры, привязанность безъ чувственного увлеченія. Всякія разновидности возможны въ природѣ, и я видѣлъ въ себѣ именно такой типъ.

— И вдругъ встрѣча съ женщиной!

— Не съ женщиной, а съ особой вибраціей?

Ермиловъ откинулъ быстро голову и вскричалъ:

— Съ вибраціей?

— Что такое звукъ? По формулѣ тѣхъ учебниковъ, по которымъ мы проходили физику академика Ленца въ гимназій, свѣтъ есть „нѣкоторая вибрація ээира“, а звукъ— „воздуха“. Меня захватили звуки, въ которыхъ извѣстная женская натура вложила всю свою эссенцію. И съ тѣхъ поръ я ей принадлежу, какъ говорятъ малодумающіе люди, душой и тѣломъ. Борьба съ прежнимъ Павломъ Гремущиннымъ была сильная, но быстрая. Сойти съ ума мнѣ не пришлось, и самоубійствомъ я не кончилъ, что было бы великой бессмыслицей, потому что я нашелъ только теперь отвѣтъ на инстинктъ, дремавшій въ глубинѣ моей организаціи... И я отрѣзалъ, ушелъ изъ моего прошедшаго...

— Совсѣмъ?

— Совсѣмъ.

Гремущинъ помолчалъ.

— Это называется бездушнымъ поступкомъ. Жена полагала всю себя въ любовь ко мнѣ и къ дѣтямъ, я былъ постояннымъ объектомъ ея женской воли. Вѣроятно, знакомые находили, что она подавляла меня своей личностью. Можетъ-быть. Но я не испугался и стряхнулъ съ себя супружеское иго, какъ пылинку, когда насталъ моментъ... Я пересталъ быть и отцомъ... Я имъ отдалъ все, что только могъ, и скрылся... выразивъ формальное запрещеніе дѣлать попытки къ разыскиванію меня. Ни на какія письма я не отвѣчалъ и не желаю отвѣчать.

— Даже если...

— Даже если они будутъ при смерти. Я теперь не мужъ и не отецъ. Это была бы недостойная насъ комедія.

Въ исповѣди звучали ноты, дѣлавшія Ермилова все ближе и ближе къ чудаку, который, еще такъ недавно, былъ для него совсѣмъ чужой.

— Я васъ понимаю!—воскликнулъ онъ.—Вы мнѣ оказали большую честь этимъ безстрастнымъ анализомъ своей души.

Гремущинъ посмотрѣлъ на часы и сейчасъ же постучалъ своей рюмкой о пустой стаканъ, чтобы позвать гарсона.

— Вамъ пора?—спросилъ Ермиловъ.

— Не согласитесь ли вы перейти туда, на станцію? Мы бы вмѣстѣ подождали прихода поѣзда. И Доротея Васильевна была бы рада видѣть васъ.

Ермиловъ тотчасъ же согласился. Онъ жаждалъ про-

долженія этой странной бесѣды. Онъ еще ничего не сказалъ о себѣ. На платформѣ обширной станціи имъ будетъ еще удобнѣе.

Расплатился Гремущинъ, и онъ же купилъ, для жданья, два входныхъ билета. Платформа стояла еще пустая. Только около лавочки съ журналами виднѣлось двое англичанъ. Оставалось больше десяти минутъ. Ермиловъ взялъ Гремущина подъ руку ласковымъ жестомъ, знакомымъ его пріятелямъ, и повелъ его въ дальній конецъ, къ выходу изъ-подъ стекляннаго свода. Въ засвѣжѣвшемъ воздухѣ имъ обоимъ было легко двигаться. Одинъ, расквашаясь, широко разставлялъ ноги; другой сѣменилъ

## XV.

— Вы какъ будто стыдитесь настоящей стадіи поглощенія вашей личности женщиной?—спросилъ Гремущинъ послѣ того, какъ Ермиловъ, не называя, однако, по имени той, кто овладѣлъ его душой, сдѣлалъ приступъ къ своей исповѣди.

И на посторонній взглядъ ихъ бесѣда, вполголоса, похожа была на исповѣдь: Гремущинъ болѣе обыкновеннаго наминалъ патера. Онъ ходилъ съ сильнымъ наклономъ головы къ собесѣднику. Тотъ говорилъ ему почти на ухо.

— Нѣтъ, — живо возразилъ Ермиловъ. — Я вовсе не стыжусь. У меня назрѣла потребность въ изліяніи. Но поглощеніе, какъ вы называете, моей личности держать меня въ душевномъ состояніи, чуждомъ мнѣ, сибирному, унижительномъ именно для меня. Я впадаю въ припадки самоуничтоженія передъ этой женщиной. На меня минутами находить чуть не экстазъ, когда она обращается со мною грубо, какъ съ вещью. Я бросаюсь цѣловать складки ея платья, рискуя, что она оттолкнетъ меня, какъ докучливую собачонку...

— Разумѣется!—вздыхнулъ Гремущинъ, не мѣняя положенія головы.

— Если бъ еще меня влекла чувственная страсть! Но и этого я не признаю... Во мнѣ нѣтъ ревности... настоящей, физиологической... даже того, что должны испытывать мы, люди подлѣ пятьдесятъ, когда надвигающаяся старость заставляетъ адски страдать отъ того, что нѣтъ больше въ тебѣ прежняго мужчины, нѣтъ правъ на успѣхъ,

на обладаніе, на вызовъ взаимности... Даже приступовъ безсиьной ярости я не испытываю!..

— Такъ, такъ,—говорилъ чуть слышно Гремущинъ.

— А вмѣстѣ съ тѣмъ,—Ермиловъ началъ поднимать голосъ,—во мнѣ живетъ надежда... на то, что я чего-то достигну. Предо мною—обладаніе этой женщиной... ис-крыта тамъ, вдали, какъ сказочная жаръ-птица. И я чувствую каждымъ концомъ нерва, какую чудовищную власть можетъ взять надъ душой нашей сочетаніе ливій...

— Или вибрація голоса,—прибавилъ отъ себя Гремущинъ.

— Да, сочетаніе линій лица, всего больше лица. Но также и стана, руки, плеча, головы. Не тѣла! Боже мой!.. Нѣтъ, это сочетаніе линій, только линій... До пустыхъ деталей, до разрѣза глазъ, до оскала зубовъ!

Ермиловъ на минуту смолкъ. Онъ какъ бы изумлялся звукамъ своего голоса и языку, какимъ говорилъ.

— Въ этомъ собственно и сидитъ душа женщины,—замѣтилъ его наперсникъ.

— Душа! душа!.. Вы это сказали не какъ спиритуалистъ, надѣюсь?..

— Я самостоятельнаго духа не признаю,—вымолвилъ Гремущинъ съ ясностью твердаго догмата.

— Никакого единенія души, даже въ смыслѣ простого умственного лада, нѣтъ и не можетъ быть между женщиной и мужчиной.

— Безусловно вѣрно!

— Еще менѣе, когда женщина такъ овладѣетъ вами! Это все равно, какъ тѣ патриархальныя чувства мужика, про какія любятъ говорить наши старички, воспитанные въ привычкахъ рабовладѣльчества!.. И я сознаю съ каждымъ днемъ, какъ моя прежняя личность линяетъ, стирается, какъ я отрѣшаюсь отъ всѣхъ моихъ вкусовъ, мозговыхъ запросовъ, чисто интеллектуальныхъ привычекъ!.. Это ужасно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, наполняетъ меня какой-то благодатью: по дѣльнымъ часамъ я ухожу во внутреннее созерцаніе моего гипноза.

— Именно, именно!

У Павла Цавловича вышелъ даже звонкій возгласъ.

— Если оно такъ пойдетъ, моя личность совсѣмъ исчезнетъ.

— И это васъ еще возмущаетъ? — остановилъ Гремущинъ и придержалъ Ермилова рукой.

— Я не знаю!..

— А позвольте васъ спросить: вы были или только считались большимъ любителемъ женщинъ?

— И считался, и былъ.

— И на васъ не находила боязнь сдѣлаться печальною жертвой своей чувственности, превратиться въ того старца, который, у Бальзака, бросивъ все, семью и положеніе въ обществѣ, разорвавъ со всѣми, очутился въ темномъ кварталѣ возлюбленнымъ гризетки и публичнымъ иисдомъ, въ лачугѣ, на перекресткѣ?..

— Le général Hulot,—назвалъ Ермиловъ, еще помнившій все, что онъ только читалъ изъ „Comédie humaine“.

— Именно!

— Но развѣ мы съ вами, дорогой Павелъ Павловичъ, не такіе же бальзаковскіе маньяки на взглядъ массы нашихъ сверстниковъ?

— Нѣтъ-съ!..—протянулъ нотой безглаголиваго отрицанія Гремущинъ и откинулъ голову назадъ. — Мы совсѣмъ не такъ кончаемъ, какъ тотъ генералъ. Вы первый ушли отъ его судьбы и должны, по-моему, благословлять женщину безусловно овладѣвшую вами, именно за это.

— Благословлять?

— Да, благословлять. Привычка легкаго женолюбія не давала бы вамъ покоя и доела бы васъ или до быстраго и унижительнаго паденія умственныхъ силъ, или до порабощенія передъ однимъ тѣломъ, уже безъ всякаго сочетанія линий.

Гремущинъ тихо разсмѣялся.

— И выходить, — продолжалъ онъ тотчасъ же, обращаясь больше къ самому себѣ, чѣмъ къ своему собесѣднику, — что мы были рождены „однолюбамъ“.

— Тургеневское слово, — подсказалъ Ермиловъ.

— И его и не выдаю за свое. Одинъ считалъ себя хранителемъ долга и добродѣтели, другой — эпикурейцемъ, во вкусъ прошлаго вѣка, а оба оказались предназначенными на служеніе силъ прекраснаго, которая исходитъ отъ женщины въ какихъ-то линияхъ и звукахъ.

Они поглядѣли другъ на друга съ улыбкой. Но она сдѣлалась выраженіемъ менѣе примиренныхъ.

— Павелъ Павлычъ! — окликнулъ послѣ паузы Ермиловъ.

— Что угодно?

— Не слѣдуетъ ли видѣть въ повсемѣстной тираніи

женщины доказательство того, что конецъ вѣка изжилъ свои задачи или не въ силахъ справиться съ ними?

— Можетъ-быть!

Но глаза Гремушина были уже устремлены вдаль. Онъ услышалъ, какъ пробило пять желѣзнодорожныхъ сигналовъ. Поѣздъ подходилъ.

Вслѣдъ за нимъ сталъ смотрѣть и Ермиловъ.

Слѣва невысокія горы покрыты были голубовато-сѣрымъ налетомъ отъ оливковыхъ рощъ, усыпанныхъ видлами, вплоть до самыхъ верхушекъ; а на второмъ планѣ извивалась линія болѣе высокихъ черныхъ гребней съ полосами свѣжаго, на-дняхъ выпавшаго снѣга.

Жидко протрубилъ въ свой рожокъ ближайшій стрѣлочникъ.

Оба русскіе круто повернули назадъ, чтобы во-время очутиться противъ поѣзда, подъ навѣсомъ дебаркадера.

На изгибѣ одного изъ путей заглясъ точна; облицованная мѣдными полосами грудь паровоза вся выяснилась и стала медленнѣе приближаться.

Менѣе часа назадъ, Ермиловъ стоялъ на противоположной платформѣ и глядѣлъ вслѣдъ уходившему поѣзду. Онъ выслушалъ второе по счету приказаніе своей „госпожи“ оставаться въ Ниццѣ, каждый день узнавать о здоровьѣ „маленькой женщины“, и если на вилѣ произойдетъ то, чего тамъ ждутъ съ минуты на минуту, телеграфировать во Флоренцію.

И онъ долженъ теперь совершать путешествіе ежедневно въ Вилла-Франка и обратно, строить унылое лицо, допрашивать Кустарева, хитрить съ нимъ и видѣть въ лицѣ его личность, которую Анна Гаврилова избрала предметомъ своихъ сердечныхъ и всякихъ другихъ стремленій; почти въ такомъ же родѣ думалъ и Гремушинъ. Локомотивъ, обшитый блестящей на солнцѣ мѣдью, везетъ тотъ вагонъ перлаго класса, откуда выйдетъ и его повелительница, и онъ долженъ будетъ обстоятельно передать ей весь свой разговоръ съ Благомировымъ, еще нѣсколько разъ побывать у семинариста и присутствовать при возможномъ возвратѣ Доротѣи Васильевны къ подогрѣтому увлеченію басомъ.

— Егоръ Петровичъ, — поспѣшно заговорилъ Гремушинъ, когда паровозъ уже подходилъ къ своду станціи, — вы засвидѣтствуете свое почтеніе Доротѣи Васильевнѣ?

— Непременно!

— Вамъ бы ее попросить поѣхать. Она это любитъ.

— Прекрасно!

— Видите, я узналъ, что здѣсь проживаетъ, вотъ по дороге въ Монте-Карло... господинъ Званцевъ.

— Я его видѣлъ на-дняхъ.

— Онъ всегда интересовался талантомъ Доротей Васильевны. Вотъ бы было кстати у него, на виллѣ, устроить маленькое утро. Вы здѣсь не знаете никого изъ мѣстной прессы, репортеровъ, рецензентовъ?

— Никого!

— Ахъ, какъ жаль! Ну, да это не уйдетъ. Быть-можетъ, и ваша...—онъ искалъ слова.

— Госпожа?

— Да, и ваша госпожа вернется въ скоромъ времени.

Ермиловъ хотѣлъ сказать: „сейчасъ вернется, какъ только запахнетъ трупомъ ея умирающей соперницы“, но онъ испугался этого движенія и сжалъ зубы.

— Я разыщу Званцева и устрою это.

— Вѣдь и тотъ феноменальный бастъ, вы помните... семинаристъ, по фамилии Благомировъ, и онъ здѣсь получилъ блестящій ангажементъ, и его могъ бы пригласить господинъ Званцевъ.

— Разумѣется. Всѣ собрались сюда. Au rendez-vous des bourgeois joyeux!

Разсѣяться Ермилову не удалось. Гулъ локомотива заглушилъ разговоръ. Оба смолкли, и Гремущинъ затоптался на мѣстѣ, переходя глазами отъ одного вагона къ другому, по мѣрѣ того, какъ онъ двигался къ другому пролету дебаркадера.

Почти противъ него выскочила на платформу Доротей Васильевна въ свѣтломъ суконномъ „смокингѣ“ и такой же низкой „головкѣ“, какую Ермиловъ видѣлъ на вдовѣ Мещериной.

Взглядъ на эту женщину доложилъ ему тотчасъ же, что она не вызываетъ въ немъ даже его прежнихъ замѣчаній насчетъ рисовки пессимизмомъ и тайнаго „каботинства“, и онъ смогъ только подумать: „но будь у нея другія линіи лица, или будь я способенъ на гипнозъ посредствомъ голоса, и она превратилась бы для меня въ Анну Гавриловну“.

Съ улыбающимся, по заказу, лицомъ подаль Ермиловъ ей руку, сказалъ ей про свое желаніе слышать ея го-

лось и попросилъ позволенія быть у нея. Онъ это сдѣлалъ для Грешушина. Тотъ кинулъ на него тронутый взглядъ и шелъ сбоку, когда они спускались нѣшкомъ до бульвара, повторяя:

— Вотъ это прекрасно, вотъ это прекрасно!

У церкви „Notre Dame“ Ермиловъ съ ними раскланялся.

## XVI.

Скорый поѣздъ, вышедшій въ полдень изъ Генуи, только что взялъ пассажировъ въ Монте-Карло.

Въ отдѣленіи, въ полусумракѣ, смягченномъ свѣтлогороховымъ сукномъ и басономъ обивки, сидѣло шестеро пассажировъ.

Одинъ уголь, со стороны моря, занимали Куликовы, Анна Гавриловна съ мужемъ, и цѣлую половину отдѣленія—двѣ француженки и двое мужчинъ: одинъ полный брюнетъ въ черномъ, другой съ русой сѣдвющей бородой въ сѣромъ вѣстонѣ.

Все молчали.

Анна Гавриловна сидѣла лицомъ къ поѣзду, мужъ ея—напротивъ. Она, всего разъ, изъ-подъ вуалетки, взглянула на двѣ пары, потомъ закрыла глаза и какъ будто заснула.

Но она даже не дремала.

Ее переполнило тихое возбужденіе, чувство, сходное съ гѣмъ, когда вдругъ откроется передъ вами даль, полная желанныхъ встрѣчъ, и въ концѣ что-то крупное, безусловно хорошее, въ родѣ выигрыша въ двѣсти тысячъ. И вы сознаете, что минуты, которыя вы теперь переживаете, уже — начало, предвкушеніе этого выигрыша. Онѣ могутъ проходить среди какой имъ угодно обстановки, скучно, весело, удобно или неудобно, все равно.

То же испытываютъ упорные и самолюбивые студенты, когда экзамены уже сданы и отмѣтки извѣстны: выходитъ средній кандидатскій баллъ, и черезъ мѣсяцъ по представленіи диссертацин, вамъ выдадутъ дипломъ, стоащій, и на пергаментѣ, всего нѣсколько рублей.

Три дня назадъ, во Флоренціи, Куликовы вернулись въ свой отельчикъ, недалеко отъ сада degli-Orivoli, изъ театра, гдѣ слушали, почти ничего не понимая, итальянскую комедію. Дорогой, въ каретѣ—время стояло холодное — они говорили, что слѣдовало бы поторопиться въ



Римъ, на который меньше недѣли положить нельзя. Въ головѣ своей Анна Гавриловна держала постоянно свой расчетъ вернуться какъ можно скорѣе на Ривьеру и побыть тамъ подольше. Опоздать на недѣлю допустимо и безъ продленія отпуска. Ея тянуло назадъ. Каждый день, возвращаясь домой, она искала глазами, въ плоскомъ ящикѣ, куда клались письма и депеши, желанной вѣсти изъ Ниццы.

Ермилову она оставила даже текстъ телеграммы. Въ ней должны были стоять всего два слова: „*Décédée aujourd'hui*“.

Когда они вышли изъ кареты и дожидались передъ запертой уже наружной дверью, Анна Гавриловна вернулась опять къ той же мысли и въ первый разъ во Флоренціи стала оправдываться передъ самой собой.

Боже мой! Развѣ она жаждала смерти женщины, которая не сдѣлала ей въ жизни ни малѣйшаго зла?.. Она вѣдь не леди Макбетъ, не бездушная развратница или хищная интригантка. Но къ чему лишнія страданія? Агонія по каплямъ только измучить въ конецъ Евменія Филипповича.

Измучить, но въ то же время усилить въ его душѣ потребность въ отдыхѣ, въ обществѣ той, кто его такъ тонко понимаетъ, отъ кого пахнѣтъ на него вѣрой въ жизнь, въ новые горизонты труда, борьбы, плѣнія на молодежь, болѣе широкаго полета для его любви къ народу, для служенія заветнымъ идеямъ.

Старичокъ-привратникъ, къ ночи часто пьяненькій, отперъ имъ и шопотомъ сказалъ по-французски:

— *Une dépêche pour madame.*

Она такъ поблѣднѣла, что быстро отвернулась, чтобы мужъ не замѣтилъ, какъ она перемѣнилась въ лицѣ.

Съ дрожью въ пальцахъ вынула она депешу, неловко разорвала ее и болѣе отгадала, чѣмъ прочла, слова: „*décédée aujourd'hui*“. Она разобрала только имя „*Ermiloff*“. Ничего другого не могло стоять въ текстѣ.

Объ этой депешѣ она вскользь уже говорила мужу, когда они ѣхали въ Италію. Онъ похвалился ей „порядочность“ передъ семействомъ Кустаревыхъ, которая извѣщала его отъ личныхъ сношеній съ Евменіемъ Филипповичемъ. Въ его головѣ побывала уже мысль, что если они вернутся на Ривьеру, на чемъ Анна Гавриловна настаивала, какъ разъ къ похоронамъ Кустаревой, то онъ

могъ бы даже произнести на могилѣ ея приличный случаю спичъ. Это не опасно—она женщина, и дастъ ему репутацію человека съ сердцемъ.

— Что такое?—спросилъ онъ въ номерѣ, безъ особенной поспѣшности.

Жена его ревниво ограждала неприкосновенность своей корреспонденціи.

— Кустарева скончалась.

Она употребила почтительное слово: „скончалась“, а не „умерла“, подчиняясь внезапному чувству страха передъ покойникомъ.

— Ну, царство ей небесное! — звонко и банально откликнулся Куликовъ, ушелъ въ свою комнату рядомъ и сталъ раздѣваться.

Одна, въ очень большой спальнѣ, освѣщенной унылой свѣчой, гдѣ большой пологъ кровати глядѣлъ саваномъ, Аня Гавриловна быстро, но отчетливо перекрестилась. Первая ея мысль была, нѣтъ ли во Флоренціи русской церкви? Кажется, есть; завтра она узнаетъ и пойдетъ, закажетъ панихиду.

Московская бытовая женщина, домовладѣлица съ Патриаршихъ - Прудовъ, всплыла точно отъ прикосновенія руки искуснаго врача, который заставляетъ своего субъекта видѣть воображеніемъ предметы, испытывать мнимыя чувства.

Губы ея, эти красивыя, извилистыя губы, произносили скоро и отчетливо слова какой-то короткой молитвы.

Она медлила раздѣваться.

Думы ея повернули въ другую сторону.

Ѣхать сейчасъ, завтра утромъ... Нѣтъ, не надо!.. Можно попасть на похороны, а она этого ни подѣ какимъ видомъ не желала.

Это принесетъ съ собою бѣду! Богъ ее накажетъ, если она будетъ стоять около гроба съ заплаканными глазами, а плакать она непрехѣнно будетъ.

Нѣтъ, надо ѣхать черезъ два дня. Мужъ станетъ протестовать... Ему хотѣлось въ Римъ... Какъ же онъ вернется въ Москву, не побывавъ на форумѣ и въ Колизеѣ? Онъ заранѣе уже приготовляетъ цѣлыя тирады о чудесахъ античнаго искусства, на ихъ вечерахъ.

Но она такъ хочетъ и такъ будетъ.

Не нужно даже ничего придумывать. Завтра утромъ

она сумѣетъ легко и увѣренно устроить ихъ возвращеніе на Ривьеру.

Чувство большого отдыха, точно послѣ тяжелой работы, разлилось по ея тѣлу.

— Ты легъ?—спросила она мужа ласково.

— Легъ, Annette! Завтра надо укладываться.

„Только ты поѣдешь не туда, куда мечтаешь ѣхать“,— сказала она про себя тономъ мягкой гувернантки.

Вслѣдъ затѣмъ ее взялъ опять суевѣрный страхъ. Вѣдь это кощунство надъ покойникомъ. Она поскорѣ легла и лежа стала креститься, прочла нѣлыхъ двѣ молитвы, перекрестила подушку-„думку“, которую взяла съ собой въ дорогу, и задула свѣчу.

Въ темнотѣ она ощутила тихую истоми и быстро заснула.

И все вышло такъ, какъ она желала: она тихонько отслужила панихиду, убѣдила мужа, что ѣхать въ Римъ, да еще въ холодъ, на одну недѣлю, не стоить, и что будетъ „въ высокой степени порядочно“ выказать Евменію Филипповичу Кустареву участіе, какъ собрату по наукѣ и землю.

И вотъ она возвращается, на третій день, послѣ сутокъ, проведенныхъ въ Болоньѣ.

Въ вагонѣ раздался разговоръ полупошопотомъ. Двѣ француженки, по всѣмъ статьямъ парижскія кокетки, еще не старыя, одинаково одѣтыя, заговорили о своей игрецкой неудачѣ. Онѣ возвращались, проигравъ все, что у нихъ было.

— Надо ихъ утѣшить,—сказала брюнетъ по-русски.

Анна Гавриловна, не раскрывая глазъ, прислушалась.

— Ты бойчѣе меня говоришь по-французски, — замѣтилъ бородатый,—дай имъ совѣтъ играть по нашей системѣ. Пускай онѣ завтра насъ подождутъ, мы и за нихъ поставимъ.

Брюнетъ перевелъ это француженкамъ. Онѣ оживились. Раздались взрывы сдержаннаго хохота, когда поѣздъ уходилъ въ довольно длинный туннель.

Куликова сидѣла въ полутемнотѣ съ тихой усмѣшкой на извилистыхъ, покраснѣвшихъ отъ зимняго воздуха, губахъ. Эта жанровая картинка легкихъ нравовъ не была ей непріятна. Пускай всѣ живутъ и находятъ наслажденіе по своему карману и своимъ вкусамъ.

Она перестала осуждать себя и ѣхала съ возрастаю-

щимъ въ душѣ убѣжденіемъ, что она отдается самому нравственному влеченію — привязанности, достойной обоихъ, и того, кто бросилъ вчера горсть земли въ могилу „маленькой женщины“, и ея—жертвы случая, вызвавшего въ ней испышку оскорбленнаго женскаго чувства.

Зато виновникъ ея выхода замужъ, онъ теперь дрожить на дебаркадерѣ и нестеть свои вериги, и долго будетъ носить ихъ; а мужъ...

Она широко раскрыла глаза и поглядѣла на мужа. Она считала своими юркими глазами, „сколько мѣстъ“ съ ними, въ мелкихъ вещахъ.

Отъ мужа она сумѣетъ освободиться, когда нужно будетъ. Она сдѣлаетъ это смѣло, какъ честная женщина.

— Nice! Nice! — раздался голосъ кондуктора, машинистъ рѣзко затормозилъ поѣздъ.

## XVII.

Подъ ними тянулись плотные ряды апельсиновыхъ плантацій, усыпанныхъ красно-золотистыми шарами, такъ часто, что можно было принять это обиліе плодовъ за что-то нарочно устроенное, точно обвѣшанныя на Рождество елки.

Обширный садъ шелъ вверхъ, террасами, и на самой вышинѣ упирался въ стѣну другой виллы. Тамъ, на прогалинѣ, нѣсколько древнихъ оливъ кидали полупрозрачную тѣнь на дервѣ, покрытый сухими листьями.

Правѣ, среди зелени, снизу выплывалъ византійскій куполь и укутанная въ свѣтлую дымку панорама города, сначала тонущаго въ садахъ, потомъ все болѣе и болѣе каменнаго, разноцвѣтнаго, отъ ярко-бѣлыхъ стѣнъ и белведеровъ до сплошной массы потемнѣвшихъ узкихъ улицъ старыхъ кварталовъ, итальянской постройки.

— Видите! — говорила Анна Гавриловна, и ея рука, охваченная длинной перчаткой, выразительнымъ жестомъ указывала на куполь русской часовни. — Тамъ какъ хорошо, внутри... Смерть пришла и увела съ собой юношу съ самой высокой будущностью. А вѣдь мы ушли оттуда съ ощущеніемъ чего-то красиваго и, какъ это сказать, прочнаго...

Кустаревъ слушалъ ее, прислонившись къ мшистому стволу оликового дерева. Они стояли подъ нимъ, и ихъ обоимъ эта заустѣлая вышка держала въ настроеніи душевной ясности.

Она глядѣла на него все изъ-подъ полупущенныхъ

рѣсницъ своихъ длинныхъ глазъ и отдавалась радостному чувству: то, что ее глодадо, какъ трудный и долгій искусь, становится возможнымъ, и скорѣе, чѣмъ она мечтала.

Давно ли были похороны „маленькой женщины“? Четыре дня тому назадъ. Она пріѣхала съ мужемъ на другой день, и вотъ Кустаревъ гуляетъ съ нею цѣлыми днями, благодарить ее по нѣскольку разъ на дню за ея теплое отношеніе къ его потерѣ, водить ее на кладбище.

Она подмѣтила у него потребность поплакать надъ могилой „Гари“ при ней. Ему пріятенъ дѣлался ея голосъ, ея слова, тонъ, съ которыми она ему говорила.

И теперь онъ не возражалъ ей.

Его боль перешла въ тихую грусть. Ему только жаль, жаль Гари, не собственной только утраты жаль ему, а обидно за нее, за эту покойницу, которая такъ скоро ушла изъ жизни и такъ много настрадалась и за дѣтей, и за него; всего больше за него, и когда онъ былъ на профессорской службѣ, и когда они сидѣли на хуторѣ,— послѣ исторіи съ Сохинымъ еще болѣзненнѣе, хотя она и снѣлась подавлять въ себѣ свою скорбь за него.

За два часа до смерти, она, чуть дыша, сказала нѣсколько словъ, изъ которыхъ онъ понялъ, что она умираетъ съ той же думой о немъ, хочетъ, чтобы онъ нашелъ себѣ опять живое дѣло, достойное того „Мени“, какого она боготворила.

И что могъ онъ ей отвѣтить? Увѣрять, что онъ найдетъ это дѣло, что онъ будетъ самъ просить, какъ милости, дать ему хоть что-нибудь?..

Онъ не хотѣлъ лгать. Въ немъ, въ послѣдній именно годъ, накинѣла брезгливая горечь ко всему, что отзывается усиленіемъ создать себѣ какое-нибудь положеніе, попасть въ сутолоку „дѣльной“ русской жизни. Малѣйшій компромиссъ былъ бы ему противенъ, просто физически невозможенъ, какъ пріемъ рвотнаго, которое нельзя даже поднести ко рту, не то что уже проглотить. Такіе, какъ онъ, проиграли свою партію, жили миражами, дождались повсемѣстной опалы и должны ждать смерти въ тѣни, укутавшись въ саванъ, какъ схимники, охраняя свою совѣсть и свое человѣческое достоинство.

Да и это удастся ли?..

Вотъ что роилось въ его душѣ, когда Гари лепетала, безъ звука, свои предсмертныя пожеланія.

— Евменій Филипповичъ,—вдругъ спросила его новая

приятельница, съ которой ему всего легче теперь проводить время,—развѣ Маргарита Сергѣевна не страдала за васъ оттого, что вы не у дѣлъ?

Кустаревъ вздрогнулъ отъ этихъ трехъ словъ: „не у дѣлъ“.

Сколько разъ слыхалъ онъ ихъ! Они сдѣлались лозунгомъ его судьбы—и для покойницы, и для друзей его. И онъ самъ хоть и не любилъ такихъ разговоровъ, однако, считалъ себя обреченнымъ на это особое званіе всѣхъ русскихъ людей его склада—быть не у дѣлъ.

— Отъ этого, быть-можетъ, и скончалась преждевременно...—выговорилъ онъ съ нервнымъ движеніемъ губъ.

Голосъ у него оборвался.

— Зачѣмъ же вы позволили зачислять себя въ „заштатные“? И помирились съ этимъ...

Онъ поднялъ на нее голову.

Въ мягкой тѣни съ просвѣтами,—тонкій листъ оливковаго дерева трепетно переливался отъ чуть замѣтнаго вѣтерка,—она вся выдѣлялась—стройная и сильная, въ поѣ, возбуждающей раздумье, драпированная короткой визиткой съ тремя воротниками, придававшими ей что-то чрезвычайно своеобразное. Лицо въ профиль, съ его вѣжнымъ румянцемъ, родимыми пятнами и извилистымъ ртомъ, впервые привлекло его своей величавой красой.

— Зачѣмъ?—переспросилъ онъ, краснѣя.—Какъ будто это моя вина?

— Знаете чтò, другъ мой,—такъ она еще не звала его, —и вы, и тѣ, кто на васъ похожи, не хотите понять, что надо теперь выказать настоящую мудрость...

— Змѣипую?—подсказалъ онъ.

— Во чтò вы вѣрите?.. Въ народъ?.. Въ его силы?.. Ему хотите служить?.. Васъ не даромъ же считаютъ народниками... Для него все и дѣлается теперь...

— Для него?—спросилъ Кустаревъ, и глаза его сверкнули.

— А то для кого же?.. Если время его не настало, то къ этому идетъ. Поднятіе дворянства, купцы... все это такъ, между прочимъ, но подо всѣмъ онъ сидитъ...

Щеки ея розовѣли. Кустаревъ не отрывалъ отъ нея глазъ.

— Какъ Илья Муромецъ!—вымолвилъ онъ полупутя.

— Послушайте, Евменій Филипповичъ! — Она подошла къ нему, взяла его руку и оперлась на нее, продолжая

глядѣть туда, гдѣ куполъ русской часовни освѣтился внезапно полосой заката. — И не мѣчу ни въ уницы, ни въ политическія женщины, но я бы съ радостью положила всѣ свои силы на то, чтобы убѣдить человѣка, какъ вы, и помочь ему развязаться со своимъ предрасудкомъ.

— Это какъ?..

— Да, съ предрасудкомъ!.. Вы считаете унижительной сдѣлкой то, чего требуетъ служеніе вашему же идеалу... Господи!.. Какой-нибудь отважный путешественникъ, Инвингстонъ, Стэнлей, развѣ они для достиженія своей безкорыстной дѣли не будутъ ладить даже съ каннибалами, только бы имъ уйти дальше, открыть то, чего никто до нихъ не видалъ?.. Вамъ не нравится этотъ примѣръ? Ну, вотъ, возьмите вы Францію. Вчера, за табль-д'отомъ, одинъ французикъ, изъ мѣстныхъ дворянъ, маркизь, говоритъ: „я не признаю той дрянн — онъ сказалъ „sapinille“, — которая правитъ моею страной, поэтому для меня остается одно средство служить родинѣ — быть солдатомъ, что я и дѣлаю“.

— И я буду пахать землю, — перебилъ ее Кустаревъ. — Хозяйствовать мнѣ противно... пойду въ простые батраки...

Эти слова звучали наполовину сарказмомъ, наполовину искренней исповѣдью.

— И что же вы этимъ измѣните въ положеніи народа?.. Полноте, Евменій Филипповичъ! Такимъ, какъ вы, надо служить народу сверху, а не снизу. Возьмите, да и скажите себѣ: не хочу состоять въ добровольной опалѣ, сдѣлаю такъ, что во мнѣ почувствуютъ надобность тѣ, кто власть имѣетъ...

— А потомъ и очутишься въ Сохинныхъ.

— Значить, въ васъ также сидѣлъ Сохинъ и не представлялось только случая. По-моему, лучше познать себя, чѣмъ жить въ самообманѣ и въ безсиьной тоскѣ по живому дѣлу.

Рѣсницы ея поднялись, и два глаза, ласковыхъ и съ поволокой, вызванной внутреннимъ волненіемъ, остановились на немъ.

Его начало точно что согрѣвать въ груди. Онъ не хотѣлъ спорить и почувствовалъ въ ея словахъ откликъ и на вопросы, приходившіе ему раньше, когда онъ сталъ опять сильно тосковать по каедрѣ, съ годъ тому назадъ.

— На каедру, — продолжала она, — вамъ теперь пѣтъ

пути, или отъ васъ потребуютъ доказательствъ отреченія отъ всего вашего прошлаго. Надо проникнуть туда... по-выше...

Фраза ея прозвучала не громкимъ, но яснымъ серебристымъ звукомъ. Кустаревъ прервалъ ее:

— Не пора ли и внизъ?

Она не отнимала своей руки, и они, держась плотно одинъ къ другому, начали спускаться по тропинкѣ, вошли въ лабиринтъ узкихъ и длинныхъ дорожекъ, обсаженныхъ апельсиновыми деревьями, постояли на площадкѣ передъ мраморнымъ столомъ, гдѣ хозяинъ виалы вырѣзалъ число и годъ, когда тутъ кушали какія-то высокія особы, прошли черезъ гущу нижняго сада и молча, ускоривъ шагъ, направились къ выходу.

Справа крестъ византійскаго купола зажегся отъ послѣдняго луча зари.

Анна Гавриловна долго глядѣла туда благодарнымъ взглядомъ: часовня помогла ей много, очень много.

Подъ своей рукой она ощущала руку человѣка, уже прильнувшего къ ней душою.

Будь Кустаревъ французъ, онъ подумалъ бы съ испугомъ:

*"Tu es très forte! Tu vas me rouler"*.

Но онъ былъ русскій хорошій человѣкъ, съ наружностью суроваго практика и съ сердцемъ младенца, жившаго по книжкамъ, которыя вдругъ оказались не ко двору.

### XVIII.

На виллѣ Званцева, въ Болье, съ утра замѣтно было гораздо больше движенія, чѣмъ обыкновенно. Лакей Батистъ, кухарка Франсиа и маленькій грузъ Пьеръ, нанятый всего нѣсколько недѣль назадъ, готовились къ приему и угощенію гостей между завтракомъ и обѣдомъ.

Построенный въ генуэзскомъ стилѣ, домъ былъ не обширенъ, въ два этажа, съ розовой окраской стѣнъ, покрытыхъ темными фресками, съ мраморной террасой и лѣстницей, спускавшейся въ садъ—тоже довольно тѣсный, по-русски сказать, почти палисадникъ, весь полный фруктовыхъ деревьевъ, уже старыхъ пальмъ и оливокъ, кактусовъ съ плодами, магнолій и тропическихъ папоротниковъ. Цвѣты, гіданты и левкои, росли кое-гдѣ вдоль куртинъ, но ими хозяинъ не занимался и особаго садовника не держалъ.



Званцевъ купилъ виллу прошлой зимой, случайно, пожилъ на ней всего нѣсколько недѣль, заскучалъ на Ривьерѣ, никому не отдавалъ ее вънаймы и въ эту зиму попалъ сюда,—опять случайно,—изъ Парижа, откуда его выгнала пренепріятная зима и гдѣ онъ страшно тосковалъ на разныхъ засѣданіяхъ, куда его звали, какъ члена-корреспондента одного изъ отдѣленій института, чѣмъ онъ совсѣмъ не вичился.

Въ началѣ третьяго часа, онъ лежалъ на широкомъ диванѣ, обитомъ богатой восточной матеріей, и читалъ „Figaro“. Это было въ самой большой комнатѣ нижняго этажа, служившей ему и кабинетомъ, и гостиной. Со стѣнъ смотрѣли два цѣнныхъ гобелена, въ нишѣ стояло рѣзное бюро чернаго дерева, но отдѣлка не выдавала богача, получавшаго до милліона дохода.

Ридомъ—столовая, гдѣ трудно было помѣстить больше десяти человѣкъ, съ дубовой мебелью. Въ эту минуту дверь туда стояла затворенной, и звонъ посуды докладывалъ о томъ, что Батистъ и грумъ готовятъ все къ чаю,—съ холодной ѣдой и шампанскимъ въ кувшинахъ,—который подадутъ около пяти часовъ.

Наверху было три спальни и уборная. Вездѣ попадались книги. Нѣсколько книжныхъ шкаповъ стояли и на площадкахъ обѣихъ этажей. Ящики съ книгами лежали и въ подвальномъ этажѣ, отведенномъ подъ прекрасный погребъ съ металлическимъ переборомъ для бутылокъ.

Дверь изъ столовой пріотворилась. Батистъ, не старый еще малый, съ бритымъ, смѣшнымъ лицомъ кучера, доложилъ:

— Voilà du monde, qui nous arrive, monsieur!

Онъ состоялъ третій годъ при дачѣ, въ должности привратника, а когда Званцевъ жилъ тутъ, то превращался въ камердинера и надѣвалъ коричневую жакетку.

Лѣниво поднялся съ дивана Званцевъ, оправилъ жилетъ на своемъ все растущемъ въширь животѣ и покачивающейся поступью слишкомъ высокаго мужчины вышелъ на террасу.

Железная рѣшетка воротъ была сквозная, красиваго рисунка, сдвленная двумя столбами, такими же розовыми, какъ и стѣны дома.

Съ террасы открывались, оставляя одинъ изъ отелей влѣво, кусокъ моря и дальній уголъ прибрежныхъ скалъ. Для этого Званцевъ приказалъ отрубить верхушки двухъ

оливъ, къ немалому огорченію Батиста, получавшаго доходъ со всѣхъ фруктовыхъ деревьевъ сада.

У воротъ остановилась двуконная викторія, откуда только что сошли Ермиловъ и графъ Загаринъ.

Чахоточнаго поэтака хозяинъ виллы не зналъ даже и въ лицо, но вспомнилъ, что Ермиловъ просилъ у него позволенія привезти одного русскаго „декадента“, какъ онъ выразился. Точно такъ же случайно попадетъ къ нему и другое русское общество черезъ Сипунова, того любителя рулетки, что столкнулся съ Ермиловымъ и Кустаревымъ въ кабачкѣ, около Вилла-Франки.

Онъ былъ очень радъ: нужна же аудиторія для Карусъ и Благомирова, которые будутъ у него пѣть. Ермиловъ познакомилъ его съ Куликовыми, а Куликовы привезутъ Кустарева.

— Какая у васъ прелесть!

Возгласъ входящаго Ермилова звучалъ первой попавшейся любезностью. Къ природѣ и даже къ колориту моря онъ дѣлался равнодушенъ съ возрастающей быстротой; да найдись у Званцева и рѣдкостныя „objets d'art“, онъ врядъ ли бы сталъ ихъ обнюхивать и потрогивать, какъ это бывало съ нимъ не больше года назадъ.

По дорогѣ къ террасѣ Ермиловъ поднялъ мандаринъ, валявшійся подъ деревомъ, и крикнулъ хозяину:

— Вы позволите помародировать?

У него еще оставалась прежняя дѣтская слабость къ лакомствамъ, къ фруктамъ. Онъ тутъ же началъ очищать мандаринъ и раздѣлять его на красивыя розоватыя дольки.

Графъ Загаринъ, въ ваточномъ пальто петербургскаго покроя и въ калошахъ, шелъ за нимъ, весь согнувшись, и жмурился отъ солнца.

Званцевъ принялъ его съ лаской скучающаго богача, которымъ привыкъ смотрѣть на свой домъ какъ на трактиръ, хотя и терпѣть не могъ приѣмовъ. Но „декадентъ“ немного интересовалъ его со словъ Ермилова.

— Хотите въ комнаты? — заботливо спросилъ онъ графа. — Вамъ, быть-можетъ, свѣжо здѣсь?

— Въ пальто мнѣ хорошо, — отвѣтилъ Загаринъ, съ усмѣшкой человека, тоскующаго по убійственному для него климату сѣверныхъ столицъ.

— За нами, — объяснилъ Ермиловъ, оглядывая садъ и фасадъ виллы, — ѣдетъ компанія господина Сипунова и пріятель графа, Гриша Капцовъ, на велосипедѣ.

— Изъ Ниццы?—спросилъ съ любопытствомъ Званцевъ.

— Изъ Ниццы! И одно время перегонялъ насъ. Онъ и графъ—два полюса изъ нынѣшней генераціи молодыхъ людей—культъ своего психическаго „я“ и спортъ во всѣхъ его формахъ!..

— Это сводится къ тому же, — сильнымъ фальцетомъ откликнулся Загаринъ. — И такіе атлеты, какъ мой пріятель Григорій Капцовъ, живутъ также для возбужденія въ себѣ извѣстныхъ чувственныхъ эмоцій, потому что мышцы его требуютъ этого, но наслаждается опять-таки мозгомъ, хотъ и не развитой.

Званцевъ медленно улыбулся и не безъ любопытства оглядѣлъ поэта.

— Вы, я слышалъ, послѣдователь парижскихъ декадентовъ?—спросилъ онъ благодушно и прищурилъ на Загарина свои круглые, скептическіе глаза.

— Декадентовъ?.. Нѣтъ-съ, я отъ нихъ отошелъ. Они слишкомъ пропахли литературничаньемъ. И во мнѣ еще недавно сидѣлъ индивидъ, воображавшій себя непризнаннымъ новаторомъ русскаго сонета!

Онъ засмѣялся и закашлялся.

— Измѣнили, измѣнили!—вставилъ Ериловъ.

— Кому?

— Да хотъ тому же Хозе-Маріа Эредіа?

— Мнѣ сдается, что и вы—въ другой фазѣ вашей психіи. Прежняго дилетантства, если вы позволите мнѣ такое опредѣленіе, я въ васъ не вижу. Вы, вѣроятно, живете другими знаніями своего „я“?

„Ахъ, ты, щенокъ! — выбранился про себя Ериловъ, чувствуя, какъ на него устремлены блестящіе каріе глаза чихоточнаго, пытливые и какъ будто насмѣшливые. — И ты знаешь, чѣмъ я теперь живу?“

Но онъ не отиѣтилъ ни остротой, ни рѣзкостью. Ему было все равно. Черезъ четверть часа должна пріѣхать съ поѣздомъ Анна Гавриловна. Въ рамкѣ этой виллы онъ будетъ наслаждаться ея присутствіемъ, какъ бы жестоко ни вела она себя съ нимъ, какъ бы лютвенно ни выказывала своего чувства къ Кустареву.

Трескъ колесъ по плохо убитой дорогѣ оповѣстилъ о слѣдующей партіи гостей.

— Вонъ! Смотрите, Викторъ Сергѣичъ,—указывалъ рукой Ериловъ.—Велосипедистъ обогналъ ихъ и здѣсь!

Гриша Капцовъ уже слѣзалъ съ двухколеснаго велоск-

педа, когда пара тяжелого ландо еще не поравнялась съ воротами.

— Да еще онъ одѣтъ не профессионально, — замѣтилъ Званцевъ, — въ сапогахъ, а не въ башмакахъ и чулкахъ.

Велосипедистъ успѣлъ отворить дверцу коляски и высадить Мещерину.

За ней вышли Сипуновъ и тотъ фатоватый русскій, фамилію котораго Ермиловъ твердо не зналъ, а хозяинъ видалъ еще менѣе.

Пріѣхавшіе заговорили разомъ и очень громко. Чѣмъ-то до-нельзя отечественнымъ пахнуло отъ всей этой компаніи, гдѣ Капцовъ былъ сдержаннѣе и приличнѣе всѣхъ

Званцевъ глядѣлъ на нихъ, и улыбка его говорила:

„Что-жъ, это будетъ настоящая русская публика“.

Но кромѣ дамы и троихъ мужчинъ изъ ландо вышла еще мужская фигура, высокая, въ бараньей папахѣ и бешметѣ верблюжьяго сукна.

— Что это такое? — тихо спросилъ хозяинъ Ермилова.

— Я не знаю!

— Этотъ черкесъ, — пояснилъ Загаринъ, — какой-то купеческій сынъ, ходившій на границу Индіи со своими караванами. Онъ сильно проигрался на-дняхъ въ Монте-Карло и, кажется, просилъ у администраціи на проѣздъ отходную — *le viatique*, какъ здѣсь называютъ. Я его больше не вижу въ игорныхъ залахъ.

„Полный комплект“, — думалъ Званцевъ, и ему становилось даже пріятно видѣть у себя такое характерное сборище русскихъ. Мещерина, укутанная опять въ свою брусничную накидку, ему нравилась: онъ любилъ пышныхъ женщинъ и самъ говорилъ про себя: „у меня вкусы грубые“.

У подножія лѣстницы Сипуновъ отрекомендовалъ хозяину все свое общество. Взявши черкеса за рукавъ его бешмета, онъ подвинулъ его впередъ:

— Кулагинъ, Артемій Ивановичъ! Ходилъ два раза въ Индію. Англичанамъ готовить пріятные сюрпризы. Времени въ здѣшнихъ краяхъ. Прошу любить да жаловать.

Ходившій въ Индію врагъ англичанъ, съ посадкой копейнаго казака и съ лицомъ московскаго артельщика, показавъ бѣлые большіе зубы, приподнял свою папаху и не безъ достоинства сказалъ, все еще стоя у лѣстницы:

— Съ Викторомъ Сергѣичемъ Званцевымъ считаю за особую честь познакомиться.

И всѣ пятеро стали подниматься по мраморнымъ ступенькамъ.

### XIX.

Къ четыремъ часамъ пѣніе кончилось. Дамы разѣстились въ саду у круглаго стола. Ихъ угощаль Капцовъ и русскій франтикъ, который такъ и оставался безъ фамиліи.

На террасѣ сидѣли Ермиловъ и Гремущинъ со стаканами чего-то въ рукахъ и глядѣли издали каждый на свою повелительницу. Изъ столовой раздавались мужскіе голоса. Тамъ Званцевъ предложилъ „пройтись“ по устрицамъ, и Сипуновъ съ патриотомъ въ бешметѣ схватились горячо за такую идею. Съ ними же были остальные мужчины—Кустаревъ и Куликовъ; голосъ Благомирова началъ доходить оттуда все могучѣе. Онъ вступалъ съ кѣмъ-то въ споръ.

— Силища,—вполголоса замѣтилъ Ермиловъ и кивнулъ головой въ сторону столовой.

Гремущинъ согласился съ нимъ молчаливымъ жестомъ, и на лицу его прошла дрожь подавленной горечи.

Онъ страдалъ за Доротею Васильевну.

Внизу, между толстухой изъ Петербурга и женой профессора, сидѣла она, разодѣтая, въ прозрачныхъ рукавахъ, съ цвѣткомъ въ причeskѣ, съ подведенными слишкомъ явственно глазами, съ возбужденной кожей щекъ, и улыбалась.

Но она и здѣсь, полчаса тому назадъ, была побита „семинаристомъ“, хотя онъ пропѣлъ всего два маленькихъ романса. Онъ аккомпанировать себѣ не выучился и удовольствовался тѣмъ, что зналъ на память Капцовъ.

Теперь она вся преисполнена одного: уцѣпиться за баса, въ восходящую звѣзду его успѣха. Она чувствуетъ еще сильнѣе, что одной, безъ поддержки такого мужчины, ей не добиться извѣстности. Изъ „октавы“, на пѣвческій ладъ, онъ въ одинъ годъ превратился въ „basso cantante“, необычайнаго тембра съ бархатнымъ колоритомъ звука и силой лирическаго выраженія.

О ней совсѣмъ забыли, когда онъ кончилъ свой первый романсъ. Все было ясно для Павла Павловича. Не ревность глодала его, а обида за нее. Онъ предвидѣлъ, что Благомировымъ ей не овладѣть, ни въ какомъ видѣ. Не будетъ онъ ни ея мужемъ, ни прітелемъ. И пойдетъ

рысканье изъ одной столицы въ другую, ловля этой высокодаровитой „дубины“. Ея талантъ заглохнетъ въ безплодныхъ попыткахъ, нервы и выдержка уйдутъ на суетливый капризъ, вызванный славолубіемъ.

Слово „каботничество“ Гремущинъ не употреблялъ мысленно.

Другое думалъ его новый сообщникъ и другъ Ермиловъ. Тотъ оглядывалъ вбокъ станъ и голову Анны Гавриловны, сидѣвшей ближе къ краю, и—въ который разъ!—испытывать ту тираническую власть „сочетанія чертъ“, о которой на-дняхъ впервые изливался Павлу Павловичу,—ея профиль, вырѣзъ ноздрей, приподнятую бровь, уголокъ рта, оскалъ зубовъ,—все собралось на одномъ лицѣ, чтобы производить на него неотразимое дѣйствіе. И станъ ея выдѣлялся между бюстами тѣхъ двухъ женщинъ, крупный и величавый, говорящій художнику и сластолюбцу. На всѣхъ мужчинъ она производила хоть частицу того же дѣйствія. Звандевъ началъ сладко поглядывать на нее и, навѣрное, сейчасъ спустится къ дамамъ и что-нибудь скажетъ ей, гораздо болѣе лестное, чѣмъ пѣвниці, которая изъ кожи лѣзла, чтобы всѣхъ мужчинъ настроить на восторгъ.

Онъ ждалъ, не повернетъ ли она голову, чтобы во взглядѣ своемъ обо всемъ этомъ доложить ей.

И Анна Гавриловна, разсѣянно слушая болтовню Мецериной о Петербургѣ, находила въ себѣ новую вѣру въ свое обаяніе. Тамъ, въ Москвѣ, она часто считала себя неужьлой, почти совсѣмъ лишенной этого дара. „Старческая“ привязанность Ермилова была для нея не въ счетъ. Но здѣсь, на Ривьерѣ, съ каждымъ часомъ росла ея сила, всеокрушающая сила красоты, направленной такимъ мозгомъ, какимъ надѣлила ее родная Москва.

— Павелъ Павловичъ!—тихо окликнулъ Ермиловъ.

— Что угодно?

— Вѣдь такъ еще долго будетъ на Руси, что овладѣвать стоящими женщинами будутъ „направленцы“.

— Какъ вы назвали?

— Направленцы... Это не мое слово. Я его взялъ въ какой-то газетѣ. Смотрите—одинъ нашъ ровесникъ...

Гремущинъ понялъ, что онъ намекаетъ на своего товарища, Кустарена.

— Другой — на двадцать лѣтъ моложе. Обрубокъ съ евангельскимъ обликомъ и бацищемъ. Но не въ одномъ

голось тутъ сила и не въ его иконописномъ благообразіи. А въ томъ, что онъ съ подоплёкой... Нуды нѣтъ, что онъ будетъ куши зарабатывать въ Лондонѣ и Америкѣ, все-таки онъ „направленецъ“, говоритъ жалкія слова и самъ считаетъ себя великимъ грѣшникомъ за то, что не пострадалъ хоть за что-нибудь. Вотъ посмотрите, обѣ наши дамы — онъ хотѣлъ сказать: госпожи — то и дѣло оглядываются на окно въ столовую. Онѣ ждутъ сюда обоихъ направленцевъ.

— Разумѣется!—вырвалось у Гремушина.

— Тѣ два ферта, — Ермиловъ протянулъ руку въ воздухъ, — даромъ, что молоды, только въ альфонсы къ такимъ вонъ вдовамъ и въ лизоблюды и годятся. Имъ глупо было бы завидовать.

— Господа!—прервалъ его возгласъ Анны Гавриловны.

Она привстала съ желѣзнаго стула и крикнула въ широкое окно столовой.

Оттуда показалась голова Званцева.

— Mesdames! — вопросительно откликнулся онъ. — Что прикажете подать?..

— Мы васъ ждемъ сюда... Здѣсь такъ хорошо, а мужчины забились въ столовой и все ѣдятъ...

— Здѣсь сильный споръ завязался между двумя молодыми людьми, графомъ и Благомировымъ.

— Пускай они при насъ продолжаютъ его.

— Исполню ваше приказаніе.

Голова Званцева исчезла.

Но черезъ минуту онъ первый вышелъ на террасу, а за нимъ, продолжая громкій разговоръ, Загаринъ и Благомировъ. Позднѣе показались Кустаревъ и Куликовъ, со стаканами въ рукахъ.

У Загарина на щекахъ горѣли два пятна, глаза ярко блестѣли, худая шея съ крутымъ адамовымъ яблокомъ вздрагивала отъ нервной пульсаціи. Благомировъ, напротивъ, поблѣднѣлъ отъ выпитаго вина и внезапнаго настроенія, овладѣвшаго имъ отъ потребности показать передъ всѣмъ этимъ обществомъ, о чемъ способна была скорбѣть его душа, даже и теперь, когда передъ нимъ открывалась дорога къ славѣ и большимъ деньгамъ.

Споромъ съ поэтикомъ онъ воспользовался только какъ предлогомъ. Въ лицѣ его передъ нимъ суесловила какая-то „паршивая“ теорія самоуслажденія, что-то ему до отвращенія чуждое и пакостное, закутанное въ хитросплетен-

тенную діалектику, понадерганную изъ такихъ же наkostenъ заграничныхъ книжекъ.

Онъ радъ былъ случаю показать и меценату Званцеву, что его одолженію, его денежной поддержкѣ, тотъ, настоящій Благомировъ, не очень-то признателенъ. То же почти самое онъ уже сказалъ ему на-дняхъ, на этой же виляхъ, когда привозилъ ему деньги, а Званцевъ сталъ отказываться отъ приѣма ихъ. Дѣло кончилось тѣмъ, что онъ бросилъ деньги на письменное бюро, проговоривъ:

— Можете, коли не угодно назадъ брать, послать въ Россію,—я укажу кому.

На что Званцевъ отвѣтилъ:

— Коли это такимъ, которые воображаютъ, что они спасутъ міръ послѣ того, какъ не оставить камня на камнѣ, то лучше пожертвую на устройство колодца, вонъ тамъ на шоссе, гдѣ всегда ужасная въ полдень жара отъ раскаленныхъ утесовъ.

Такъ деньги и остались на бюро.

— Если вы артистъ,—задыхаясь, жидкой фистулой, говорилъ теперь Загаринъ, забѣгая впередъ, — вы живете только для мозговыхъ эмоцій...

— Точно нарочно выбралъ сюжетецъ!—шепнулъ Ермиловъ Гремущинѣ.

— Вамъ угодно, — обратился Званцевъ къ дамамъ, — чтобы пренія продолжались при васъ?

— Угодно... угодно!..—отвѣтила за всѣхъ Анна Гавриловна.

— Въ такомъ случаѣ надо учредить какой-нибудь порядокъ... Господа диспутанты, извольте сѣсть вотъ сюда, противъ дамъ... Кто-нибудь,—Званцевъ указалъ на Куликова,—вотъ хоть профессоръ будетъ спикеромъ, и давать, и отнимать слово.

Онъ оживился этимъ импровизованнымъ диспутомъ, хотя впередъ зная, что почти всякій русскій споръ старыхъ или молодыхъ людей остается всегда безпорядочнымъ и стихійнымъ.

Всѣ только что разсѣлись полукругомъ, какъ изъ окна столовой выглянули двѣ головы Сипунова и москвича въ бешметѣ съ красными лицами и съ салфетками за галстукомъ.

— Господа!.. Милостивые государи!—крикнулъ Сипуновъ.—А позвольте васъ спросить, какое нынче число?

Ему никто сразу не отвѣтилъ.



— По-русски, сегодня тридцать первое декабря! Такъ позвольте провозгласить тостъ и пожелать всѣмъ счастья и благоденствіи!.. Тамъ у насъ теперь уже давно вечеръ!.. Такъ оно въ самый разъ и выйдетъ!

Предложеніе успѣха не имѣло. Только петербургская барыня вслухъ подумала:

— И въ самомъ дѣлѣ! Завтра нашъ новый годъ!

— Ваше здоровье! — крикнулъ Сипуновъ, поднимая стаканъ.

Москвичъ въ бешметѣ чокнулся съ нимъ.

— А потомъ добрымъ порядкомъ на матушку-рулеточку, повертѣть грѣшнымъ дѣломъ въ Васильевъ вечеръ! Во здравіе князя Монако, Карла—счетомъ не знаю какого!

## XX.

— Нѣтъ, ваше сіятельство!—Благомировъ всталъ и началъ рассказывать около самой высокой пальмы сада и обрывать листочки папоротника.—Вы изволите разводить антимонію на водѣ, потому что бѣжали отъ жизни, да и теперь полагаете свое благополучіе въ какихъ-то тамъ высшихъ міровыхъ экстазахъ!.. А мнѣ отъ жизни-то, отъ того, что меня за душу хватаетъ, уйти нигуда нельзя... Да, вотъ, не дальше, какъ вчерашняго числа...

Онъ остановился, бросилъ ошипанную вѣтку папоротника и поглядѣлъ вверхъ затуманеннымъ взглядомъ, явившимся у него въ такихъ настроеніяхъ.

Всѣ три женщины смотрѣли на него съ возбужденными лицами. Званцевъ грузно сидѣлъ на соломенномъ качающемся стулѣ и неопредѣленно улыбался. Кустаревъ стоялъ позади пальмы; два молодыхъ человека, особенно Капцовъ, попивали изъ своихъ стаканчиковъ съ гримасой, говорившей, что всякія такіа пренія они считают смертельной тоской. Сипуновъ съ москвичомъ въ бешметѣ скрылись и продолжали добывать устрицы. Грехушинъ переглянулся съ Ермиловымъ. Куликовъ стоялъ за женой.

Графъ Загаринъ весь сгорбился на складномъ стулѣ и пощипывалъ плохо растущую бородку.

— Такъ вотъ-съ,—голосъ Благомирова все крѣпчалъ,—прохожу я по тротуару... на углу... забылъ, какъ эта улица называется... Но все одно... Лавочка подъ сводомъ, газеты продаютъ, разныя иллюстраціи, карикатуры, глянулъ я на торговца, вижу, нашъ братъ русакъ,—навѣрно утѣкъ.



безъ паспорта, одѣтъ плохо, волосы запущены. Во всѣхъ статьяхъ—горюнь. И прямо ему: „Вы, молъ, россиянинъ?“ Разговорились. Нашлись у насъ пріатели, мои недавніе завадки, которые изъ меня другого человека сдѣлать хотѣли. Узналъ отъ него, гдѣ они теперь. Да какъ представилъ себѣ, знаете, въ живыхъ картинахъ, каково имъ... Не съ кѣмъ слова сказать, утѣшайся снухой, настоянной на махоркѣ... И все это за идею! А ты тутъ, Ефимъ Благомировъ, въ самомъ центрѣ западной культуры, халай куши, поѣзжай улаживать заатлантическихъ друзей... Тебя достаточно вышколили твои профессора. И какъ подведешь баланецъ всей мерзости, какая засѣла хоть бы въ одномъ Миланѣ—душу воротить! Пешто не такъ, Доротея Васильевна? Вы-таки муштру-то проходили у итальянскихъ дебютныхъ дѣлъ мастеровъ?

Вопросъ заставилъ ее густо покраснѣть. Она его не ожидала, хотя съ первыхъ словъ Благомирова уже почувствовала, куда онъ клонить.

Она знала не меньше его, въ какіе нравы попадаетъ всякій пріѣзжій ученикъ или ученица въ Миланѣ, гдѣ фабрикують дебютантовъ и дебютантокъ, сама не разъ возмущалась продажностью учителей, оперныхъ агентовъ, директоровъ и театральныхъ критиковъ. Но въ эту минуту въ ней заговорило профессиональное чувство. Выходка Благомирова показалась ей черезчуръ безтактной и фальшивой. Вѣдь онъ, небось, не отказался отъ ангажементовъ въ Лондонъ и Америку, куши будетъ забирать, и въ то же время рисуется въ свои чувства, хочетъ выказать себя чуть не заговорщикомъ, человекомъ, солидарнымъ Богъ знаетъ съ кѣмъ...

Почти то же подумалъ и Званцевъ, курившій сигару, съ полуопущенными рѣсницами.

— Шельма кутейникъ!—шеннулъ Ермиловъ Гремущину. — Это называется: именинникъ и на Антона, и на Онуфрія, какъ гоголевскій городничій.

— Быть-можетъ, и самъ этого не сознавая,—шопотомъ же отвѣтилъ Гремущинъ, встрепенувшійся отъ вопроса, обращеннаго къ Доротей Васильевнѣ.

Какая должна въ ней подняться борьба чувствъ и побужденій! Лучше бы ужъ она поручила ему отвѣтить за себя.

Кустаревъ выступилъ изъ-за дерева и оживленно поглядывалъ на Благомирова.

Анна Гавриловна поддалась грудью и немного откинула голову назадъ. Она уже чувствовала, что Евменія Филипповича задѣли слова Благомирова. Ему должна была поправиться выходка недавняго семинариста и учителя народной школы. Какъ красавецъ иконописнаго стиля, Благомировъ не вызывалъ въ ней никакого волненія. Но она была къ нему гораздо ближе, чѣмъ ко всѣмъ остальнымъ молодымъ людямъ. Онъ и Кустаревъ—люди одного покроя, только между ними разстояніе въ двадцать лѣтъ. Имъ принадлежитъ будущность родины, а не Загаринымъ, не Капцовымъ, не Ермиловымъ и не Куликовымъ,—всего меньше (и она этому искренно радовалась) такимъ, какъ ея мужъ.

— Вы преувеличиваете,—сдержанно и съ двойственной улыбкой выговорила Доротея Васильевна.

— Я преувеличиваю? Царица Небесная! Отъ васъ ли я это слышу, Доротея Васильевна?

Онъ подошелъ къ столу, положилъ на него обѣ ладони, оперся на нихъ и сталъ ей приводить факты, называя имена, припоминать скандалы и кончилъ тѣмъ, что спросилъ ее въ упоръ:

— А корреспонденція, — помните, въ прошломъ году, когда я только что началъ свою учёбу, — которою такъ разъярились всѣ почти русскіе, — вы развѣ не знаете, кто ее написалъ?

И при этомъ словѣ онъ такъ на нее посмотрѣлъ, что всѣ догадались, кто былъ авторъ корреспонденціи. Гремущинъ выправлялъ ее, а составила сама Доротея Васильевна. И онъ весь съѣжился.

Ермиловъ пожалъ тихонько его руку и шепнулъ:

— Вашихъ рукъ дѣло, коллега?

Тотъ только вздохнулъ.

Щеки Доротеи Васильевны, подъ слоемъ желтой пудры, пошли пятнами. Она разсердилась по-актерски и готова была винуть Благомирову нѣсколько рѣзкихъ выраженій, на которыя была очень скоро, когда въ ней просыпалась профессиональная женщина.

Но она тутъ же испугалась. Безъ этого „впримы“, безъ этого лукаваго семинариста, ей не видать удачи; суевѣрное убѣжденіе укрѣпилось въ ней сегодня окончательно.

— Я не знаю, кто написалъ эту корреспонденцію, — глухо выговорила она. — Тамъ много правды. Дѣло не въ

томъ, Благомировъ. Итальянцы-взяточники и эксплуататоры. Но они же въ одинъ годъ могутъ поставить голосъ такъ, какъ поставили его вамъ. Викторъ Сергѣичъ слышалъ васъ всего годъ назадъ, въ Петербургѣ, у меня, и онъ одинъ можетъ судить, что изъ васъ сдѣлалось въ Миланѣ... А въ этомъ вся сила.

— Еще бы!

Возгласъ Званцева показывалъ, что онъ доволенъ былъ отпоромъ, какой давала басу его товарка по профессіи. Противъ этого народника-самородка у него осталось смутное раздраженіе, послѣ сцены на виллѣ, съ тѣмъ пакетомъ, который Благомировъ привезъ ему, какъ бы давая почувствовать, что меценатства онъ вообще не признаетъ и одолжаться никому не намѣренъ.

— Вы еще не кончили?—спросилъ Куликовъ дѣловымъ звукомъ спикера, наклоняясь въ Карусь.

Его жена повела незажѣтно плечомъ, и въ ея глазахъ мелькнуло все пренебреженіе къ личности Виталія Орестовича, только и годной, по ея мнѣнію, распорядиться на обѣдахъ, говорить слащавые и фальшивые спичи и наблюдать за порядкомъ преній на скучнѣйшихъ засѣданіяхъ.

— Сію минуту, — откликнулась Доротея Васильевна и отпила глотокъ изъ своего стакана съ сельтерской водой.—Зачѣмъ, спрошу я васъ, Благомировъ, поддерживаете вы въ себѣ это раздвоеніе? Точно будто вы теперь отдались какому-нибудь постыдному дѣлу! Съ вашимъ громаднымъ талантомъ—она, скрѣпя сердце, льстила ему,—съ такой силой и стыдиться—чего? Искусства! Самаго высокаго, что только есть въ мірѣ? Это надо бросить, другъ мой. Это не европейская черта. Это все въ васъ старья, русскія...

Она искала словъ.

— Дрожди! — подсказалъ Званцевъ, и многіе разсмѣялись.

Опять чувство боязни схватило за сердце Доротею Васильевну. Кажется, она перепустила мѣру. Онъ могъ страшно обидѣться смѣхомъ, вызваннымъ удачнымъ сравненіемъ Званцева.

— Искусство, искусство! — точно изъ металлическаго рога выпалилъ Благомировъ и всталъ во весь ростъ, раскинувъ руки опернымъ жестомъ, усвоеннымъ въ Ита-

зн. — Одно дѣло искусство, а другое—актерство, афера, хапанье кушей, безпробудное хищничество!

— Такъ пойте даромъ, — уже гораздо рѣзче прервалъ его Званцевъ и барскимъ жестомъ сбросилъ пенель съ сигары.

„Tu m'embêtes, animal!“ — выбранился онъ про себя и по-французски.

— Мнѣ этого теперь ужъ потому нельзя, добрыйшій Викторъ Сергѣичъ, что я долженъ заработать тѣ деньги, которыя вы мнѣ изволили, чрезъ посредство Доротеи Васильевны, ссудить на мою учёбу!

Званцевъ лютвенно повелъ плечами, и жестъ этотъ говорилъ, что онъ начинаетъ находить поведеніе пѣвца безтактнымъ. То же почувствовали Ермиловъ и Гремушинъ. Куликовъ подумалъ, какъ бы не вышло неприятныхъ пререканій; оба молодыхъ человека около дамъ ровно ничего не подумали. Загаринъ брезгливо усмѣхнулся.

— Но вы, — все блѣднѣя, продолжалъ Благомировъ и опять заходилъ, — не хотите, господа, понять, что во мнѣ проснулось. Нешто я для рисовки? Вѣдь вы здѣсь русскіе люди! Можетъ-быть, что у насъ тамъ, на Руси, дѣлается сноснаго—и держится вотъ за это самое раздвоеніе, какъ Доротея Васильевна выразилась!.. Я плохо говорю, и нарушилъ ваше благодушество... Но ужли никто здѣсь меня не понимаетъ какъ слѣдуетъ?

Вышло молчаніе. Хозяину уже не хотѣлось ни спорить, ни читать нотации Благомирову. Глаза Анны Гавриловны вдругъ загорѣлись особеннымъ блескомъ.

Къ столу подошелъ Кустаревъ съ видимымъ желаніемъ говорить.

## XXI.

Ему вспомнилось питье чая у портного Гусева, тогдашній Благомировъ, его колебаніе и укоры совѣсти. И онъ почувствовалъ себя близко къ благообразному басу. Одинъ онъ, во всемъ этомъ обществѣ, понималъ его, да, быть-можетъ, еще Анна Гавриловна, его новая пріятельница.

Ихъ взгляды встрѣтились. Кустарева точно кто дернулъ внутри за какую-то пружинку, и онъ молодымъ, задумчивымъ звукомъ откликнулся:

— Я васъ очень и очень разумѣю и сочувствую вамъ. Совершенная правда: одно дѣло — искусство, другое — хищничество.

Званцева эти слова заставили завозиться на его качающемся креслѣ.

Онъ вытянулъ ноги и, прищуривъ глаза, остановилъ ихъ на Кустаревѣ.

— Миѣ кажется, -- заговорилъ Званцевъ брезгливо и медленно, -- что къ искусству-то не слѣдовало бы примѣшивать нашей злосчастной народнической подошвы... Во-первыхъ, во всемъ этомъ есть бессознательная фальшь, а во-вторыхъ, какъ мы ни носимся съ нашими русскими теоріями морали и цивизма, у насъ не умѣютъ даже поставить голоса какъ слѣдуетъ, на что сейчасъ указала ш-ше Карусъ.

— Разсужденія Павла Кирсанова и резонера изъ тургеневскаго „Дыма“, -- отрѣзалъ Кустаревъ, и брови его сразу нахмурились.

Званцевъ сжалъ ноги подъ ободокъ сидѣнья и выпрямился.

— Что жъ! Это не преступленіе, -- возразилъ онъ съ явственной ироніей въ тонѣ. -- Умныя рѣчи всегда лестно повторять!

Въ воздухѣ запахло вдругъ накопившимся электричествомъ. Старая роза готова была, по поводу миланскихъ профессоровъ пѣнія, перейти въ принципиальный, чисто русскій споръ.

Куликовъ нагнулся къ женѣ и съ веселыми глазами шепнулъ ей:

— Преніе можетъ быть очень интереснымъ. Кустареву достанется на орѣхи.

Она даже не взглянула на него и про себя выговорила слово, не особенно лестное для Виталія Орестовича.

Она вѣрила въ то, что Евмепій Филипповичъ, если тотъ баринъ-мecenатъ схватится съ нимъ, выйдетъ побѣдителемъ. Такъ же чувствовала и Доротея Васильевна. Она кляла себя внутренно за свою безтактность и должна теперь быть на сторонѣ тѣхъ, кто готовъ поднять чутъ не на смѣхъ Благомирова и затѣваетъ преніательство съ его защитникомъ.

Вдова Мецгерина, подъ шумъ начинающагося спора, сказала, поклоняясь къ Каицову:

— Гриша, подлей-ка миѣ немножко.

Каицовъ остановилъ ее взглядомъ. Она вспыхнула и попросила извиненія глазами на выкатѣ.

— Начнутъ теперь канитель, — пожаловалась она потомъ.

— Мы удеремъ къ обѣду въ Монте-Карло.

— На велосипедѣ?

Она избѣгала мѣстоименій.

— Обязательно!.. Вы обѣдайте въ Hôtel de Paris. Мнѣ ѣсть не хочется.

Онъ щелкнулъ языкомъ и засунулъ руку въ карманъ, какъ онъ это привыкъ дѣлать, когда отворачивалъ бѣлую подкладку своего студенческаго сюртука.

Черезъ пять минутъ оставлены были позади, за тысячу верстъ: искусство, миланскіе профессора, хищничество и хапанье кушей. Благомировъ только слушалъ, отойдя къ пальмѣ, и пилъ слова Кустарева, очутившагося на краю стола, въ полуаршинѣ отъ Званцева, который пересталъ качаться на стулѣ и, подавшись всѣмъ своимъ большимъ туловищемъ впередъ, говорилъ громко и увѣренно, не щадилъ ни сарказма, ни искренней горечи.

— Да скажите, пожалуйста, господа народники, — раздался его возгласъ, — кто же, какъ не вы, уже больше десяти лѣтъ назадъ, началъ травить интеллигенцію, кто развелъ повсюду эту постыдную крамолу, и противъ чего? Противъ науки, противъ знанія, противъ законовъ природы. Вы носите ученые степени, и въ каждомъ изъ васъ, господа, сидитъ врагъ положительнаго знанія! мистикъ! отрицатель цивилизаціи и культуры!

— Пошлая цивилизаціи, — да!

— Вотъ видите, у васъ все такъ... Пошлая цивилизаціи!.. Эксплоататорская наука! Гербертъ Спенсеръ — пошлякъ! Такъ зачѣмъ же вы въ оппозицію играете? Позвольте васъ спросить! Почему многіе изъ васъ состоятъ, по доброй волѣ, не у дѣлъ, считаютъ себя не ко двору?.. Мы, презрѣнные либералы, мы дѣйствительно не у дѣлъ и не ко двору!.. А вы? Allons donc! — грудной потой воскликнулъ Званцевъ и поднялся со стула. — Да! вы самые настоящіе патріоты своего отечества. — Онъ быстро взглянулъ на окно виллы и потомъ выговорилъ: — Вотъ ваши союзники, въ родѣ того чаепродавца, желающаго пустить подметныя грамоты народамъ Индіи!..

— Позвольте-съ! — угрюмо остановилъ Кустаревъ.

— Нѣтъ, баринъ, не позволю-съ! — на этотъ разъ съ полной безцеремонностью кинулъ Званцевъ и грузно задвигался на одномъ мѣстѣ. — Ни подъ какимъ видомъ не

позволю, хотя я и ушелъ теперь окончательно отъ всякихъ россійскихъ дѣлъ, вѣяній, теченій и мистическихъ благоглупостей! Не позволю-съ! Логика нужна, государи мои, или простая честность. Ни другихъ не морочить, ни себя. Вотъ недавно покался одинъ заграничный разрушитель и avec armes et bagages перешелъ въ станъ столповъ отечества. Не вижу причинъ, почему каждому изъ васъ не сдѣлать того же?

— Отступникомъ быть!—грянулъ басъ Благомирова.

Онъ даже рванулся отъ своей палмы.

— Вы это серьезно изволите? — блѣдный и съ дрожащей нижней губой спросилъ Званцева Кустаревъ.

У Анны Гавриловны точно мотылекъ затрепеталъ въ груди. Она закрыла глаза, но не отъ страха, а отъ полноты душевнаго волненія.

Вотъ онъ и насталъ моментъ, когда на Кустарева найдеть нантие, о какомъ она такъ страстно мечтала за него, и онъ очутится „у дѣлъ“ и добьется высшаго вліянія на дѣла своей родины.

— Вы не видите разницы между этимъ... индивидомъ... и нами? — спросилъ Кустаревъ съ тѣмъ же дрожаніемъ нижней губы.

— Тотъ куда погуще васъ забиралъ — это правда, но ему только казалось, будто онъ непримиримый врагъ извѣстнаго порядка вещей. Углубился въ себя теперь — и почувствовалъ, что тутъ было простое *mal-entendu*, и что его мѣсто тамъ, гдѣ онъ теперь благополучно и обрѣтается... Не первый и не послѣдній!..

Званцевъ отошелъ къ террасѣ и взглядомъ пригласилъ Ермилова и Гремущина согласиться съ нимъ.

Ни тотъ, ни другой ничего не сказали, но отвѣтили наклоненіемъ головы.

— Все это забавная мистификаціи!—раздалась фистула Загарина.

— А! вотъ оно что!..

Голосъ у Кустарева перехватило, и онъ хотѣлъ разразиться однимъ изъ своихъ взрывовъ, знакомыхъ его московскимъ пріятелямъ, но сдѣлалъ шагъ къ столу, налилъ себѣ изъ кувшина розоватаго искристаго питья изъ шампанскаго съ ананасомъ, отхлебнулъ и заговорилъ короткими фразами, тономъ, въ которомъ чувство своего превосходства и своей правоты было сильнѣе желанія отплатить за обидныя слова.



Все съ полуопущенными рѣсницами слухала Анна Гавриловна... Нѣтъ! Онъ не станетъ мальчишески горячиться!.. Тонъ хорошъ, очень хорошъ. Оружіе противника онъ обращаетъ противъ него же.

Она чуть не захопала.

— Что жъ, — слышался ей глухой голосъ Кустарева, слегка вибрирующий. — Нашему брату и придется разойтись окончательно съ тѣми, кто не полагаетъ разницы между нами и гасильниками. Надо уметь приносить жертвы, когда живешь не для огражденія своего либеральнаго обличья, а для чего-то поважнѣе... Кто бы ни дѣлалъ то, что нужно для страны, какъ воздухъ, — это все равно! И мы были слишкомъ брезгливы—это вѣрно. Нужно играть роль не для роли, а для дѣла. И тѣ изъ насъ, кто много потерялъ времени зря, ограждая свое обличье, искренно каются и готовы взяться за умъ.

Да вѣдь это ея мысль, ея проповѣдь, тамъ, на вышкѣ, когда она стояла съ нимъ подъ оливами и глядѣла на русскую часовню!

— Вѣрно, вѣрно!—крикнула Анна Гавриловна, и ихъ взгляды опять встрѣтились.

Благомировъ тряхнулъ волосами.

— Что и требовалось доказать, — вдругъ унавшимъ и небрежнымъ тономъ выговорилъ Званцевъ и прибавилъ:— Резюме принадлежитъ господину спикеру.

— Каждый по-своему правъ,—рѣшилъ Куликовъ.

И опять его жена произнесла мысленно слово, еще менѣе лестное для Виталія Орестовича.

— Знакомый мнѣ староста, — обратился къ террасѣ Званцевъ,—повторялъ часто: „ничего, батюшка, изъ эстото не выйдетъ“. Такъ и изъ русскихъ диспутовъ.

Въ окнѣ столовой лоснились красныя лица Сипунова и его москвича.

— Милостивые государи! Позвольте и мнѣ вставить свое слово!—дурачливо началъ Сипуновъ.—Отечество любить надо, безъ этого нельзя!

— Покоряйтесь языцы, яко съ нами Богъ! — гаркнулъ его пріятель.

— Несомнѣнно! — пронически подтвердилъ Званцевъ и поглядѣлъ на двоихъ, сидѣвшихъ на террасѣ.

— Но время летить, — продолжалъ балагурить Сипуновъ.—А рулетка вертится! Пора и на поѣздъ! Дорогому

хозяину мы достаточно намозолили глаза и уши, надо и честь знать!

— Гайдà!—гаркнулъ человѣкъ въ бешметѣ.

„Повертѣть“ захотѣлось всѣмъ, кромѣ Ермилова и Гремущина.

— Вы съ нами?—спросила Анна Гавриловна шопотомъ Кустарева, крѣпко пожала ему руку и прибавила: — Благодарю!.. Въ добрый часъ!..

Онъ такъ же крѣпко отвѣтилъ на это рукопожатіе.

Всѣ столпились у рѣшетки, торопливо прощаясь съ хозяиномъ. Опъ изъ вѣжливости предложилъ кому угодно остаться у него обѣдать. На это предложеніе отвѣтили Гремущинъ и Ермиловъ. Имъ обоимъ почему-то захотѣлось побыть у Званцева до обратнаго вечерняго поѣзда.

— И вы на рулетку?—спросилъ съ усмѣшкой Загаринъ человѣка въ бешметѣ.

— Чѣмъ я хуже другихъ?

— А я слышалъ, вы получили отходную!

— Экая важность!—вмѣшался Сипуновъ. — Землякъ у меня штафиркой переодѣнется. Пропустятъ архангелы, не узнаютъ! Быть-можетъ, сегодня фортуны заполучить, и тогда трепещи, британецъ!

Кто-то засмѣялся. Всѣ двинулись гурьбой къ станціи.

## XXII.

Комната съ гобленами стояла въ полутемнотѣ. Въ нее проникалъ сквозь прозрачныя шторы сизый лунный свѣтъ и боковая желтая полоса отъ лампы, стоявшей въ столовой, на буфетѣ, чрезъ полуотворенную дверь.

Хозяинъ виллы „Рутенія“ лежалъ на оттоманѣ. Его два гостя тоже полулежали въ мягкихъ креслахъ, одинъ въ нишѣ, гдѣ стояло бюро, другой около двери на террасу. Огонь сигары въ рукѣ Званцева краснѣлъ маленькимъ ободкомъ.

Они давно уже отобѣдали. Лампу, съ согласія своихъ гостей, хозяинъ крикнулъ Батисту вынести. Ихъ кейфъ затянулся, но за обѣдомъ они много говорили, возбужденные во-время прерваннымъ споромъ, грозившимъ перейти въ перебранку.

Званцеву — онъ это самъ сказалъ имъ — было досадно, что онъ вступилъ въ такое пресипрательство съ „господиномъ народникомъ“, — онъ такъ звалъ Кустарева.

Безъ рисовки сталъ онъ говорить, до какой степени

Все съ полуопущенными рѣсницами слушала Анна Гавриловна... Нѣтъ! Онъ не станетъ мальчишески горичиться!.. Тонъ хорошъ, очень хорошъ. Оружіе противника онъ обращаетъ противъ него же.

Она чуть не захлопала.

— Что жъ, — слышался ей глухой голосъ Кустарева, слегка вибрирующій. — Нашему брату и придется разойтись окончательно съ тѣми, кто не полагаетъ разницы между нами и гасильниками. Надо уметь приносить жертвы, когда живешь не для огражденія своего либеральнаго обличья, а для чего-то поважнѣе... Кто бы ни дѣлалъ то, что нужно для страны, какъ воздухъ, — это все равно! И мы были слишкомъ брезгливы—это вѣрно. Нужно играть роль не для роли, а для дѣла. И тѣ изъ насъ, кто много потерялъ времени зря, ограждая свое обличье, искренно каются и готовы взяться за умъ.

Да вѣдь это ея мысль, ея проповѣдь, тамъ, на вышкѣ, когда она стояла съ нимъ подъ ольхами и глядѣла на русскую часовню!

— Вѣрно, вѣрно!—крикнула Анна Гавриловна, и ихъ взгляды опять встрѣтились.

Благомировъ тряхнулъ волосами.

— Что и требовалось доказать, — вдругъ унавшимъ и небрежнымъ тономъ выговорилъ Званцевъ и прибавилъ:— Резюме принадлежитъ господину спикеру.

— Каждый по-своему правъ,—рѣшилъ Куликовъ.

И опять его жена произнесла мысленно слово, еще менѣе лестное для Виталія Орестовича.

— Знакомый мнѣ староста, — обратился къ террасѣ Званцевъ,—повторялъ часто: „ничего, батюшка, изъ этого не выйдетъ“. Такъ и изъ русскихъ диспутовъ.

Въ окнѣ столовой заснѣлись красныя лица Сипунова и его москвича.

— Милостивые государи! Позвольте и мнѣ вставить свое слово!—дурачливо началъ Сипуновъ.—Отечество любить надо, безъ этого нельзя!

— Покоряйтесь языцы, яко съ нами Богъ! — гаркнулъ его пріятель.

— Несомнѣнно! — иронически подтвердилъ Званцевъ и поглядѣлъ на двоихъ, сидѣвшихъ на террасѣ.

— Но время летитъ, — продолжалъ балагурить Сипуновъ.—А рулетка вертится! Пора и на поѣздъ! Дорогому

Оба гостя промолчали.

Званцевъ прикоснулся къ пуговкѣ электрическаго звонка. Батистъ въ это время ужиналъ съ кухаркой и грумомъ.

Грумъ подчищалъ ножикомъ все, что осталось недоѣдено отъ устрицъ и рыбы. У него была плотно остриженная голова татарчонка, съ большими торчащими ушами. Его побаловывала Франсина, чувственная фламандка изъ Брюсселя. Она была въ раздумьи, когда прогремѣлъ звонокъ. Только сегодня узнала она отъ Батиста, какой „monsieur“ архимилліонщикъ, и ей стало жалко тѣхъ денегъ, которыя она могла бы еще украсть на провизію. Счетовъ ея никто не просматривалъ.

Батистъ обтеръ ротъ, выпилъ хорошій глотокъ краснаго вина и пошелъ въ салонъ все той же скорой, исполнительной походкой.

Сегодняшнимъ приѣмомъ гостей онъ не былъ доволенъ. Каждой дамѣ онъ поднесъ по букету изъ цвѣтовъ сада, и ни одна, уходя, ничего ему не дала, думая, что это отъ хозяина. И отъ гостей, уѣхавшихъ въ Монте-Карло играть—это онъ понялъ,—не перепало ему ни одного сантима.

„Ce sont des russes de pacotille“,—опредѣлилъ онъ про себя, но, какъ хитрый и осторожный туземецъ, не сказалъ этого вслухъ, за ужиномъ.

Приказъ о барзакѣ тысяча восемьсотъ семьдесятъ четвертаго года исполнилъ онъ охотно и подумалъ, что эти двое господъ, послѣ такого угощенія, навѣрно дадутъ ему хорошій „rougeboire“.

Вино было розлито имъ въ столовой и подано въ большихъ плоскихъ рюмкахъ.

Они попивали его все такъ же въ полутемнотѣ. Даже Гремущинъ похвалилъ букетъ вина.

И всѣ трое, по мѣрѣ того, какъ благородная влага разливалась по ихъ жиламъ, стали испытывать приступъ жалости къ самимъ себѣ. Жизнь повернула на склонъ книзу, и каждый изъ нихъ въ полнѣйшей мѣрѣ—„не ко двору“. Жалость переходила понемногу во враждебно-пренебрежительное чувство къ этимъ самобытникамъ, въ родѣ Благомирова и даже Кустарева, который кончитъ тѣмъ, что очутится „у дѣль“, во имя народа.

Первый заговорилъ хозяинъ виллы, когда поставилъ пустую рюмку на низенькій восточный табуретъ съ инкрустаціями.

— Нѣтъ, господа, посмотрите вы на нашихъ барынь. Вотъ намъ два образчика. Та, толстуха, нашла себѣ какого-то велосипедиста; больше ей и не полагается! А другія двѣ... Кто ими будетъ владѣть, мы что ли, если бы мы и погибали по нимъ? Какъ бы не такъ! Вонъ такой семинарищище - народникъ! И отставной профессоръ — пужды нѣтъ, что онъ совсѣмъ сѣдъ — опять-таки народникъ!..

Онъ завожился на диванѣ и легъ на бокъ, лицомъ къ нимъ обоимъ. Ни Гремущинъ, ни Ермиловъ не могли заподозрить его въ желаніи сдѣлать намекъ на ихъ отношенія къ двумъ „интеллигентнымъ“ барынямъ. Но Званцевъ вслухъ выговорилъ то, съ чѣмъ каждый изъ нихъ мирился, какъ безправный рабъ страсти, — конечно, неизвѣстной хозяйну виллы.

Оба молчали, прихлебывая вино, и сливались съ нимъ въ чувствѣ къ „самобыткамъ“.

— И этотъ эксъ-профессоръ, — продолжалъ Званцевъ, все еще лежа на боку, лицомъ къ нимъ, — по-моему, только въ другомъ костюмѣ, тотъ же купеческій братъ, ходившій въ Индію мутить народъ противъ англичанъ.

Товарищеское чувство проснулось въ Ермиловѣ.

— Ну, это вы слишкомъ, Викторъ Сергѣевичъ!

— Нѣтъ, не слишкомъ, Ермиловъ. Вамъ слѣпить глаза мундиръ, ученая степень, вся повадка русскаго народника. Подъ всѣмъ этимъ сидитъ тотъ же купеческій сынъ въ бешметѣ, воображающій себя Ермакомъ Тимофеевичемъ. Видѣли, какая у него разбойничья рожа? У бешмета? Онъ, если бы могъ, съ шайкой нагрязнулъ бы на Монте-Карло и потомъ, послѣ воровскаго разгрома, билъ бы челомъ вѣжествомъ Монако.

Оба гостя тихо разсмѣялись.

— Холопство! Атавизмъ холопства! Передъ кѣмъ-нибудь да падать ницъ и стучать лбомъ. Прежде писалось въ челобитныхъ: „холопъ твой Ивашка“, а теперь изъ народа сдѣлали идола — и ему холопствуютъ тѣ же Ивашки.

И на это ничѣмъ не откликнулись гости: они, вѣроятно, въ послѣдній разъ переживали душой горечь всѣхъ такихъ итоговъ. Все это было позади. Вѣдь они, и до ихъ послѣдней душевной фазы, стояли въ сторонѣ отъ русской жизни: одинъ писалъ свою книгу о возможности счастья на землѣ; другой не зналъ ничего кромѣ женщинъ, моды, литературнаго дилетантства. И все это слетѣло съ обоихъ, и позади у нихъ ничего.

Въ одно время точно кто ихъ дернулъ за руку. Каждый изъ нихъ приподнялся съ желаніемъ посмотрѣть на стѣнные часы въ столовой.

Званцевъ угадалъ и сказалъ имъ:

— Вы усѣдете, господа! Поѣздъ пройдетъ около двѣнадцати, да еще опоздаетъ минуту на десять.

Но имъ обоимъ больше уже не сидѣлось.

Черезъ нѣсколько минутъ хозяинъ виллы проводилъ ихъ до воротъ сада. Сзади шелъ Батистъ.

Всѣ деревья и кусты, пальмы, магноліи, мандарины, оливки, кактусы, подъ тихими и холодящими лучами полночного мѣсяца, стояли недвижно, синевато-зеленые, бросали отъ стволовъ рѣзкую тѣнь на влажный дернъ и на хрящеватый песокъ дорожекъ. За домами, черезъ дорогу, искрилось чешуей взморье, а справа вспыхивалъ и пропадалъ огонь маяка.

Ночь должна была вызвать въ обоихъ товарищахъ по судьбѣ если не восклицаніе восторга, то хоть двѣ-три похвалы; но они шли съ опущенными головами, молча, очень медленно. Гремущинъ слегка поддерживалъ Ермилова, замѣтивъ, что въ темнотѣ тотъ не увѣренъ въ своей поступи.

Батистъ слѣдовалъ за ними на нѣкоторомъ разстояніи. Передъ заднимъ фасадомъ станціи, какъ только они спустились мимо отеля, оставшагося влѣво, онъ пожелалъ имъ доброй ночи и спросилъ: не нуженъ ли онъ имъ еще на что-нибудь?

Оба встрепенулись, точно кто-нибудь ихъ разбудилъ.

Ермиловъ по лицу Батиста, освѣщенному луной, догадался, что надо ему дать франкъ, долго копался въ портмоне, доставая монету, которою Батистъ остался доволенъ, и еще разъ пожелалъ имъ доброй ночи.

Они взяли билеты перваго класса у соннаго кассира, перешли черезъ полотно къ каменному навѣсу, гдѣ имъ надо было дожидаться поѣзда. Служитель съ фонаремъ, въ темной суковной блузѣ, щелкнулъ щипцами по ихъ билетамъ и сказалъ имъ вѣжливо и тихо:

— Il y a un retard, messieurs...

Они пошли вдоль полотна, по дорожкѣ, и продолжали молчать. Имъ не хотѣлось изливаться; но они знали, что думаютъ одно и то же. Имъ было жаль того русскаго набоба, что сейчасъ угощалъ ихъ барзакомъ 1874 года, гораздо больше, чѣмъ себя самихъ. У него ничего нѣтъ въ

жизни, никакой даже рабской, но прочной цѣни. И въ Европу, за которую онъ ратовалъ сегодня, онъ извѣрился. Ему все „ganz Schnurre“—это выраженіе Званцева пришло имъ обоимъ.

И вдругъ оба вздрогнули: раздался гулъ паровоза. А черезъ минуту и снопъ искръ протянулся полосой на фонѣ придорожныхъ садовъ.

Приближались ихъ поведительницы.

„У другихъ и этого нѣтъ“,—подумали они разомъ и поспѣшили къ навѣсу.

### XXIII.

Кустаревъ вернулся въ отель съ утренней прогулки. Онъ побывалъ на кладбищѣ, положилъ новый вѣнокъ на могилу жены и долго стоялъ около рѣшетки, за которой на небольшой надгробной плитѣ были только что вырѣзаны имя и фамилія маленькой женщины.

Ему не было тяжело. Онъ не плакалъ. Но что-то забродило въ его головѣ, когда онъ медленнымъ шагомъ возвращался домой; щеки блѣднѣли не отъ свѣжаго морского вѣтерка, доносившагося съ набережной, а отъ хорошаго, внутреннего волненія, отъ сильной и бодрящей думы. Во взглядѣ раза два блеснула рѣшимость.

Сегодня онъ долженъ былъ ѣхать въ Москву и наканунѣ уложился. Анна Гавриловна выбрала день общаго отъѣзда, и о немъ Кустаревъ еще вчера думалъ съ удовольствіемъ, мечталъ, какъ онъ поселится въ Москвѣ и какъ они часто будутъ видаться.

Придя въ отель, онъ позвонилъ гарсона и сказалъ ему, что остается еще на одинъ день, и счетъ, который онъ съ утра спрашивалъ, ему пока не нуженъ.

Гарсонъ отвѣтилъ:

— Très bien, monsieur!

И съ веселымъ лицомъ удалился. На столѣ лежалъ еще неуложенный дорожный бьюваръ. Кустаревъ присѣлъ къ столу, досталъ листъ почтовой бумаги, обмакнулъ перо и вывелъ первую строчку:

„Многоуважаемая Анна Гавриловна!“

Но тотчасъ же послѣ того онъ всталъ и заходилъ по коннатѣ. Рука ерошила сильно посѣдѣвшіе волосы. Лобъ онъ хмурилъ.

— Нѣтъ, это трусость!—громко выговорилъ онъ, вернулся къ столу, взялъ пачатое письмо и разорвалъ его.

Опять заходилъ онъ изъ угла въ уголъ, по своей неизмѣнной привычкѣ, сталъ усиленно курить и слегка жестивулировать правой рукой. Что-то онъ обдумывалъ въ подробностяхъ, какіе-то планы; а рѣшеніе было уже принято, и онъ больше не колебался.

Въ дверь постучали и, не дожидаясь его отвѣта,—онъ не разслыхалъ сразу стука,—отворили ее.

На порогѣ стоялъ Благомировъ.

— Евменій Филипповичъ! Ау!.. Пришелъ проститься. И вы никакъ собрались?

Кустаревъ ничего не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, пересталъ курить, бросилъ окурокъ папиросы въ каминъ и протянулъ гостю руку.

— Ъдете сегодня?—спросилъ онъ.

— Да вотъ, Евменій Филипповичъ, я послѣ того словеснаго состязанія, на виллѣ „Рутенія“, вдругъ опять очутился на перепутьи!.. Ни дать, ни взять, какъ тогда въ Питерѣ, помните, у портного Гусева?

— Словесное состязаніе,—выговаривалъ съ усмѣшкой Кустаревъ.—Всѣ-то мы—словесники, батюшка мой! И такъ, и этакъ! Надо эту двойственность бросить. Вы въ чемъ же опять колеблетесь? Въ Америку ѣхать доллары наживать или вернуться въ захолустную деревню и грамотѣ ребятишекъ учить? Такъ это вы оставьте! Отирапайтесь прямо въ Гавръ или Ливерпуль, садитесь на пароходъ и начинайте свои гастроли. Искусъ будетъ первосортный. Коли насъ мамона не заберетъ, тогда и узнаете себѣ цѣну.

Тонъ Кустарева былъ вовсе не шутливый. Благомировъ сѣлъ на диванъ, встряхнулъ головой и выговорилъ медленно:

— Это вы въ осужденіе мнѣ?

— Не одному вамъ, а, быть-можетъ, и себѣ также. Очень мы съ своей подошмой носимся, батюшка мой, а чуть приманка... деньги ли, слава или женская прелесть—и пошелъ и такъ, и этакъ.

Онъ не договорилъ, поглядѣлъ на часы и взялся за шляпу, лежавшую на ободкѣ камина.

— Прощайте, дружище! Мнѣ пора. А вы когда?

— Съ вечернимъ поѣздомъ, на Парижъ.

— Всего прекраснаго!

Благомировъ всталъ и близко подошелъ къ Кустареву.

— Евменій Филипповичъ, вы никакъ отъ меня отшатнулись? За что же?



Онъ положилъ руку на плечо Кустарева.

— Нешто вы меня, и въ самомъ дѣлѣ, въ гнусецы написали? Не такого напутствія ждалъ я отъ васъ. Чаялъ я, что вы и оттуда, изъ-за моря, позволите къ вамъ обращаться, чтобы душевное-то свое обличіе сохранять...

— Эхъ, Благомировъ!—перебилъ его Кустаревъ,—прямолинейность вещь хорошая, только не всѣмъ она дается. Я и самъ чуть-чуть одну ногу не завязилъ.

— Въ какомъ смыслѣ?

— Про это я знаю. Ну, добраго пути! Еще разъ повторю: коли отъ янки вернетесь вы человѣкомъ, а не поющей машиной, зашибающей доллары и фунты стерлинговъ,—благо вамъ будетъ. Тогда и потолкуемъ!

Они обнялись.

— Куда же вамъ писать?—спросилъ Благомировъ.—Въ Москву?

И на этотъ вопросъ Кустаревъ не сразу отвѣтилъ.

— Въ редакцію... оттуда перешлютъ.

Они вышли вмѣстѣ. Благомировъ еще разъ пожалъ ему руку и съ поникшей головой зашагалъ по направленію къ набережной, а Кустаревъ узкимъ переулкомъ поднялся къ вокзалу желѣзной дороги.

Съ ближайшимъ поѣздомъ на Геную онъ долженъ былъ ѣхать съ Куликовыми. Анна Гавриловна сказала ему вчера:

— Заверните къ намъ, выпьемъ поспошокъ. Вещи ваши отправьте. Ихъ сдадутъ. И мы сдѣлаемъ точно то же. Мой мужъ объ этомъ позаботится.

И она такъ посмотрѣла на него, что онъ понялъ недосказанное ею:

„Вы, молъ, меня застанете одну“.

Куликовы жили на „Avenue de la Gare“, недалеко отъ заворота на желѣзнодорожную площадку. Въ сѣни ихъ отеля Кустаревъ вошелъ торопливой походкой и даже не спросилъ у швейцара, дома ли они. До поѣзда оставалось не больше сорока минутъ, и они могли не дожидаться его.

Въ первой комнатѣ ихъ номера, откуда вынесли весь багажъ, у окна стояла Анна Гавриловна и глядѣла на бульваръ.

Она поджидала его и быстро обернулась, слыша его шаги.

— Евменій Филипповичъ! Наконецъ-то!—звонко и радостно воскликнула она.—И думала, вы заболѣли. Мужа я уже отправила съ вещами. А ваши тамъ?

Вопросы свои она сыпала быстро, и обѣ ея руки протягивались къ нему ласковымъ и красивымъ движеніемъ.

На ней уже было дорожное пальто и шляпка съ большимъ щитомъ, бросающая тѣнь на ея заалѣвшія щеки. Глаза изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ также ласкали его.

— Анна Гавриловна, — заговорилъ Кустаревъ сначала съ наклоненной головой, — я въ Москву не ѣду.

— Почему?

Она тотчасъ же измѣнилась въ лицѣ.

— Почему? — повторилъ онъ. — Я могъ бы привести претекстъ.

— Если нельзя сегодня... мы подождемъ. Можетъ, — она немного загнулась, — деньги вамъ нужны? — спросила она тише.

— Не ѣду, — продолжалъ Кустаревъ, — потому что мнѣ этого не слѣдуетъ дѣлать.

— Я не понимаю, Евменій Филипповичъ! — голосъ ея дрогнулъ. — Присядьте, объясните.

Они сѣли у двери, въ позѣ людей, застигнутыхъ тѣмъ-нибудь внезапнымъ, требующимъ рѣшительнаго разговора.

— Отъ обширныхъ объясненій вы меня избавьте, Анна Гавриловна, — сказалъ Кустаревъ серьезно, почти сурово, — да вамъ и некогда. Билеты мужъ вашъ навѣрно уже взялъ. Пора и на станцію. И дипломатничать съ вами не стану. Мнѣ не слѣдъ въ Москву ѣхать, гдѣ мы съ вами будемъ встрѣчаться ежедневно.

— Такъ что жъ изъ этого?

— Я во-время спохватился, Анна Гавриловна. Что-то моею волей овладѣвать начало. Это пошло съ той прогулки, надъ русской часовней. Сладкій ядъ вливали въ меня...

— Кто же это? Не я ли, Евменій Филипповичъ? — громче спросила она, и щеки ея совсѣмъ загорѣлись.

Она не сумѣла сдержать своего волненія.

— Я никого не виню. Но на сдѣлки съ тѣмъ, что теперь въ силѣ и почетѣ, а я поддавался этому, — мнѣ не слѣдъ идти, Анна Гавриловна! Надо себя встряхнуть. Хочу опять студентомъ пожить, годокъ-другой, заново поучиться у нѣмцевъ, уйти отъ нашего суесловія. Довольно глотать себя тѣмъ, что „не у дѣлъ“. Надо оставаться самимъ собою, и быть всегда наготовѣ, и дѣлать то, что можно, въ данную минуту.

— Но кто же мѣшаетъ вамъ исполнить все это дома, гдѣ всякая честная работа такъ нужна?

— Послѣ, Анна Гавриловна, а не теперь, не на той наклонной плоскости, на какую я ступилъ.

Онъ всталъ.

— Это безповоротно?—спросила она, не глядя на него.

— Такъ точно.

— И кризисъ,—голосъ ея дѣлался глуше,—произошелъ въ васъ такъ, ни съ того, ни съ сего, въ одинъ день?

— Совсѣмъ уложился—еще вчера съ ночи. А нынче... у Гари побывалъ, сходилъ съ ней попрощаться...

— Тамъ васъ и озарило?

Вопросъ звучалъ почти злобно.

— Тамъ меня и озарило,—отвѣтилъ онъ просто и значительно.—Она бы порадовалась, если бъ могла чутъ, съ чѣмъ я пришелъ домой...

Больше онъ ничего не сказалъ. Съ души его спала тяжесть. Онъ медленно перевелъ дыханіе.

— Но вы вернетесь?—вызывающе спросила она.

— Вернусь, когда нужно будетъ. А теперь добраго пути! Вамъ пора.

Она молча пожала ему руку и не удерживала его. Кустаревъ въ дверяхъ обернулся и прибавилъ:

— Мужу вашему мое почтеніе и Ермилову.

— Вы не хотите съ ними проститься?

— Имъ не до меня будетъ.

Дверь затворилась за Кустаревымъ. Анна Гавриловна больше минуты стояла посреди комнаты и одергивала вуалетку своей шляпы. Нервные вздрагиванія замѣтны были въ углахъ рта.

„Ушелъ!—мысленно говорила она.—Ушелъ—и навсегда! Гоняться за нимъ—безполезно. Ему дороже всего голубиная чистота его души. Прямолинейность“...

— Прямолинейность!—уже громко сказала она, подбѣжала къ электрическому звонку около двери и позвонила.

Поклонъ Кустарева мужу и Ермилову звучалъ въ ея головѣ. Вотъ съ кѣмъ ей предоставилъ онъ быть счастливой, на комъ испытывать свою власть и свое обаяніе, и съ каждымъ годомъ все глубже и глубже уходитъ въ тѣ сдѣлки съ жизнью, куда она такъ незамѣтно и сладко тянула его...

— И не надо!—вскрикнула Анна Гавриловна, подошла къ зеркалу надъ каминомъ, поправила вуалетку и долго-долго глядѣла на себя...



## Оглавление V тома.

---

	стр.
<b>НА УЩЕРВЪ. Романъ въ трехъ частяхъ.</b>	
Часть первая. . . . .	<b>5</b>
Часть вторая. . . . .	<b>141</b>
Часть третья. . . . .	<b>253</b>



**СОБРАНІЕ**  
**РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ И РАЗСКАЗОВЪ**  
**П. Д. БОВОРЫКИНА**  
**въ 12 томахъ.**

---

**ТОМЪ ШЕСТОЙ.**

---

**Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.**

**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**  
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**  
**1897.**



ИЗД. А. Ф. МАРКСА, СР. ПОДЪЯЧ. № 1

# ОБРЕЧЕНА.

(повѣсть.)

„Опять тоска, опять любовь...“

А. Пушкинъ.

(Евгеній Онегинъ).

## I.

Вѣковыя липы манили подъ свою тѣнь. Справа, сѣвѣозъ трепетное миганіе листьевъ отъ мягкаго вѣтерка, проглядывали каріатиды и широкія окна царскосельскаго дворца.

Грубинъ прошелъ по верхней эспланадѣ до того мѣста, гдѣ спускъ къ памятнику Екатерины, и присѣлъ на одинъ изъ полукруглыхъ дивановъ, зеленѣвшихъ свѣжею краской, присѣлъ и снялъ широкую соломенную шляпу.

Установились первые теплые, почти жаркіе дни.

Издали, къ сторонѣ площадки, гдѣ съ трехъ часовъ играютъ трубачи кирасирскаго полка, неясно доносились скачущіе ритмы какой-то опереточной пѣсенки. Внизъ по аллеѣ рѣзкія тѣни падали отъ столбовъ. Было пусто. Только дальше, на мостикѣ, проходила мамка въ голубой тѣлогрѣѣ, съ ребенкомъ на рукахъ, и ея шитая золотомъ кичка искрилась подъ лучами солнца.

Большая тишь стояла въ тающемъ воздухѣ и тонкія струйки цвѣточныхъ запаховъ ощутимо проносились въ немъ, сверху внизъ сада.

Съ Грубинымъ была газета. Онъ вынулъ ее изъ кармана пиджака и развернулъ. На молодомъ еще, очень худомъ, продолговатомъ лицѣ, съ впалыми карими глазами, лежала какъ бы застывшая мина горечи, вѣстѣ.

съ рапнымъ загаромъ. Волосы, подстриженные на бородѣ, темнорусые и слегка курчавые, придавали ему молоджавость. Довольно длинныя ноги онъ нервно перекрутилъ, когда усѣлся читать газету. Въ покроѣ лѣтняго костюма, въ обуви—лаковые башмаки,—въ томъ, какъ на немъ все сидѣло, сказывался человекъ, привыкшій хорошо жить, немного баринъ, но въ эту полосу жизни часто забывающій о томъ, какъ онъ одѣтъ и къ лицу ли причесанъ.

Газета заняла его не больше десяти минутъ: онъ проглядѣлъ быстро денешни, повернулъ страницы, пробѣжалъ отдѣлъ „Среди газетъ и журналовъ“; фельетона читать не сталъ, почти съ досадой бросилъ газету на диванъ и его нервный, выразительный ротъ сложился въ гримасу, говорившую: „Какая скука и прѣспота!“

Онъ рѣшительно не могъ ничѣмъ заинтересоваться; да и тонъ газеты не раздражалъ, а угнеталъ его, точно на него пахнуло портерной подвальнойго этажа.

Разносчикъ приносить газету рано утромъ къ нему на дачу, но онъ не читаетъ ее за чаемъ—ему не хочется, съ утра же, отвѣдать газетной прозы. Онъ сдѣлалъ себѣ привычкой пачинать день какою-нибудь старою книгой, изъ тѣхъ, что никогда не могутъ состариться.

Но и онѣ не развлекали его. Всюду носилъ онъ свое горе, свѣжее, безповоротное, — одинъ изъ тѣхъ ударовъ, по какимъ люди забывчивые познаютъ, что такое жизнь и расчеты на счастье...

Полгода назадъ онъ жилъ, какъ живутъ пять человекъ на тысячу,—ничего не желалъ, кромѣ того, что у него было. Онъ отдыхалъ отъ шестилѣтня по выборной службѣ и все отраднѣе становилось ему дома, около жены. Два года ждали они дѣтей, начинали мириться съ тѣмъ, что ихъ не будетъ, и на третій—ихъ обоихъ подхватила небывалая радость, трепетное ожиданіе событія. Чтобы „событіе“ обошлось въ самыхъ лучшихъ условіяхъ, они перѣехали сюда, въ Царское, взяли цѣлый особнякъ на годъ, рѣшили и зиму провести здѣсь же въ домѣ, гдѣ все будетъ устроено для того, кто, на ихъ родительскомъ языкѣ, уже носилъ шутовское прозвище „дофйна“. Они вѣрили, что это будетъ мальчикъ.

И въ одну недѣлю—два мертвеца. Мать пережила ребенка всего на недѣлю.

Звуки духовой музыки опять донеслись. Играли вальсъ



Вальдтейфеля. Онъ узнавалъ мелодіи перваго колѣна и его потянуло туда.

Не музыка, а та аллея, по которой доходить до хора музыки, широкая, окаймленная съ двухъ сторонъ цвѣтными дорожками, вдоль спуска въ греческомъ стилѣ, съ жертвенниками и скульптурными украшеніями.

Тамъ — царство дѣтей. Грубина каждый день влечетъ туда. Онъ знаетъ напередъ, что ему будетъ до слезъ горько глядѣть на всю эту дѣтвору, и грудныхъ, и подростковъ, разряженныхъ, смѣшныхъ, милыхъ, шумныхъ или муштрованныхъ на всякіе лады. Но, все-таки, онъ идетъ каждый день въ садъ, подъ предлогомъ прогулки, послѣ завтрака; сначала по всеѣмъ изъшеходнымъ аллеямъ отъ городского бульвара къ перекрестку Павловскаго шоссе, до воротъ съ надписью: „*A mes chers compagnons d'armes*“, потомъ поднимается крайнею дорожкой, мимо пекарни, до дворца.

И сегодня онъ все это продѣлалъ, а теперь его влечетъ къ цвѣтнику.

Но онъ какъ бы не сразу поддался этому чувству. Поднявшись отъ памятника, онъ повернулъ вдоль фасада къ выходу и около церкви съ ея византійскими главами, ярко сіявшими на солнцѣ, постоялъ надъ сходомъ, гдѣ у рѣшетки, на скамьѣ, сидѣлъ сторожъ.

Слѣва глядѣлъ на него узкій корпусъ, гдѣ когда-то былъ лицей, соединенный галлереей съ дворцомъ.

Всякій разъ, подходя къ рѣшеткѣ, за эти послѣднія двѣ недѣли, онъ непремѣнно думалъ о Пушкинѣ. То ему припоминались строфы изъ „лицейской годовщины“, и онъ повторялъ, беззвучно, стихи:

„...Поэта домъ опальный,  
О, Пушкинъ мой, ты снова посетишь.  
Ты уладишь изгнанья день печальный.  
Ты въ день его лицей превратишь“.

Начни онъ декламировать вслухъ, у него бы непременно задрожали слезы и онъ не могъ бы кончить.

Вчера ему, на томъ же мѣстѣ, пришелъ стихъ:

„И чей-нибудь ужъ близокъ часъ“.

Онъ чуть-чуть не зарыдалъ и побѣжалъ отсюда такъ порывисто, что сторожъ поглядѣлъ ему вслѣдъ, думалъ, что у него пошла носомъ кровь, — онъ видѣлъ, какъ онъ выхватилъ изъ кармана платокъ.

Пріятели, изъ тѣхъ, что учились съ нимъ въ универ-

ситетѣ, называли его „пушкинистомъ“ и подтрунивали надъ его „стихолобіемъ“. Онъ не считалъ себя фанатикомъ пушкинизма, а только любилъ поэта съ дѣтскихъ лѣтъ. Память у него была огромная, „ужасно смѣшная“, — оваривалъ онъ самъ про себя. Если не „всего“ Пушкина зналъ онъ наизусть, то добрую половину всего написаннаго въ стихахъ и даже могъ цитировать наизусть цѣлыя страницы изъ „Капитанской дочки“ или „Пиковой дамы“.

За десертомъ веселыхъ товарищескихъ обѣдовъ, гдѣ-нибудь въ ресторанѣ, его просили иногда передразнить манеру какого-нибудь адвоката, и онъ начиналъ одну изъ его знаменитыхъ рѣчей, слово въ слово, съ дикціей и мимикой, и такъ минутъ на десять, на двадцать, не мѣняя ни одного звука.

Его любили за эту способность подурачиться, представить кого-нибудь, за выходки смѣлаго, иногда чисто-юношескаго юмора.

И все это замерло. Ничто не вызываетъ въ немъ ни бѣдой мысли, ни забавнаго сравненія: ни то, что онъ читаетъ, ни то, что онъ видитъ.

Опять постоялъ онъ надъ самымъ спускомъ на тротуаръ. Все тотъ же сторожъ-инвалидъ поглядѣлъ на него и узналъ въ немъ барина, у котораго пошла кровь носомъ.

Но печальныхъ или задумчивыхъ стиховъ изъ Пушкина память ему не подсказывала. Онъ и этому былъ радъ. Лицейскій корпусъ смотрѣлъ весело въ своей фиштакшковой окраскѣ. Внизу, у входныхъ дверей, безъ навѣса, стояла прислуга — лакей и женщина, въ волосахъ, съ платкомъ на головѣ — и торговали что-то у разносчика съ лоткомъ.

Его мысль забрела въ бывшіе классы и рабочіе кабинеты, куда онъ никогда не проникалъ и даже не зналъ, кто тамъ теперь живетъ. И въ ту часть сада заходила его мысль, гдѣ лицеисты гуляли съ любимыми, всегда почти запрещенными, авторами.

Память начала подсказывать ему совершенно такъ, какъ въ классѣ шепчетъ урокъ, сбоку, добрый товарищъ:

Въ тѣ дни, когда въ садахъ лицей  
И бесмятежно расцвѣталь...

Забѣгая впередъ, она уже казалась ему римы „Апулея“, читалъ“.

Онъ усмѣхнулся и ему стало не то что веселѣе, а какъ-то забавнѣе отъ присутствія этого чуднаго механизма памяти, который сидитъ тамъ гдѣ-то, въ ничтожныхъ, невидимыхъ простому глазу ячѣйкахъ и фибрахъ.

Повернувшись спокойнѣе, онъ, безъ всякаго колебанія, пошелъ по асиладѣ къ цвѣтнику, посмотрѣлъ на часы и остался доволенъ тѣмъ, что еще полчаса будетъ играть музыка, стало-быть, дѣти теперь въ полномъ сборѣ, отъ греческихъ пропилей до площади, гдѣ стоятъ музыканты, и дальше, вдоль аллеи, ведущей къ китайской деревнѣ.

Нѣкоторыхъ дѣтей онъ уже нахѣтилъ, особенно одну дѣвочку, всю въ кружевахъ, подъ большою шляпой съ оборками, въ родѣ зонтика. Ея глаза искрились, какъ двѣ капли чернаго кофе. Толстенныя голыя ножки, въ бѣлыхъ ботинкахъ, мелькали передъ нимъ... Такъ бы онъ и схватилъ ее на руки, такъ бы и засыпалъ поцѣлуями.

Его мертворожденный ребенокъ былъ дѣвочка.

Грубинъ подошелъ уже подъ своды, гдѣ его шаги тогда же отдались, и повернулъ направо, къ цвѣтнику. Быстро поглядѣлъ онъ вдоль спуска. Глаза его неслись черненькой красавицы съ двумя каплями чернаго кофе подъ густыми блестящими рѣсницами.

## II.

Дѣтей было меньше обыкновеннаго. На четвертомъ скамьѣ, по лѣвую руку, онъ узналъ дѣвочку съ черными глазками, ея бонну и отца.

Каждый день съ ней приходилъ мужчина — лѣтъ уже за сорокъ, смуглый, въ усахъ, нервный, небольшого роста, не русскаго лица, одѣтый молодежью, въ сѣрый пиджакъ, при свѣтломъ лѣтнемъ галстукѣ. Въ усахъ и на плотно-остриженныхъ вискахъ пробивалась сѣдина.

Грубинъ сразу распозналъ въ немъ одного изъ тѣхъ отцовъ, — ихъ теперь часто встрѣчаешь, — у которыхъ любовь къ дѣтямъ, особенно къ дѣвочкамъ, доходитъ до крайняго предѣла. Вѣроятно, онъ женился уже не молодымъ и дѣвочка — его единственный ребенокъ. Зная же, что онъ былъ вдовъ: ни дѣвочка, ни онъ не носятъ траура, да и не дальше, какъ третьяго дня, онъ ей сказалъ громко, своеобразною дикціей, отбывая слова:

— Душечка! Мама ждетъ... Пора идти.

Все время онъ съ ней разговариваетъ, рветъ ей травку, указываетъ на цвѣты, водить или беретъ на руки. Бонна, кажется, швейцарка, только состояла при ней и даже ни разу рта не раскрыла.

Во всемъ существѣ этого человѣка, заполненнаго отцовскою нѣжностью, Грубинъ чужалъ полное блаженство, непрерывное любованіе своимъ дѣтищемъ. Это и кололо его въ сердце, и заставляло отдыхать, хоть на чужомъ родительскомъ счастьѣ. Злобно завидовать онъ не могъ, ему недоставало въ душѣ силы ни на что злобное, — ударъ судьбы слишкомъ пришибъ его.

Отецъ сидѣлъ, широко разставивъ ноги, въ плоской шляпѣ изъ сѣрой соломы, и что-то прикалывалъ къ короткой мантильѣ дѣвочки, должно-быть, цвѣтокъ. Бонна прохаживалась за деревомъ и лѣнливо оглядывала публику.

На скамьѣ оставалось много свободного мѣста. Грубинъ ускорилъ шагъ, чтобы никто не сѣлъ раньше, и, подойдя, приподнял шляпу и выговорилъ:

— Вы позволите?

— Сдѣлайте одолженіе! — энергически отвѣтилъ брюнетъ и нервно повелъ плечами, а глаза его, быстрые и совсѣмъ черные, продолжали искриться родительскимъ довольствомъ, — онъ любовался дѣвочкой.

Она тихо стояла, пока онъ ей прикалывалъ цвѣтокъ, отряхнулась, поправила кружева своей шляпки, зонтика и стала переминаться на мѣстѣ пухлыми, уже загорѣлыми ногами.

— Папка, — залепетала она, — ей могло быть года три съ чѣмъ-нибудь, — туда добѣгу... до того дерева.

Она указала рукой внизъ, на одну изъ липъ.

— Упадешь, какъ вчера.

— Нэ-э, — протянула она и замотала головой.

Ея капельки кофе смѣшливо заиграли.

— Ну, иди... Только смотри. Лучше я съ тобой.

— Нэ-э!.. Одна, одна!..

Передъ стремительнымъ звукомъ, какимъ она повторила слово „одна“, отецъ отступилъ и, глядя въ полъоборота на Грубина, сказалъ:

— Будь по-твоему... Я здѣсь покурю... Иди. *Mademoiselle*, — окликнулъ онъ, круто обернувъ голову къ боннѣ, — *veuillez suivre la petite*.

Въ томъ, какъ эта фраза была произнесена, Грубинъ

заслышалъ человѣка, съ дѣтства привычнаго къ хорошей французской рѣчи. Можетъ-быть, онъ и воспитывался наполовину за границей. Да и глаза у него были съ южнымъ типомъ. Но по-русски онъ говорилъ совсѣмъ чисто, только съ особенною какою-то звучностью, очень рѣдкою у настоящихъ русаковъ.

Этого петербуржца онъ встрѣчалъ гдѣ-то, кажется, по субботамъ Михайловскаго театра, и довольно часто; но давно это было, лѣтъ пять назадъ, до женитьбы еще. Да и тотъ тогда смотрѣлъ несомнѣннымъ холостякомъ. Вспомнилось ему, какъ этотъ самый баринъ, изъ креселъ, подошелъ къ одной изъ крайнихъ ложъ бенуара и съ большою живостью, дѣлая много жестовъ и руками, и головой, разговаривалъ съ дамой. Тогда онъ смахивалъ еще больше на иностранца, чѣмъ теперь.

Черные, быстрые глаза отца повернулись въѣво и долго слѣдили за дѣвочкой. Она, немного въ перевалочку, побѣжала по аллеѣ, головой впередъ, еще не совсѣмъ твердая на ногахъ. Ея мантилья развѣвала свою кружевную обшивку.

И Грубинъ началъ слѣдить за ней глазами.

Потомъ отецъ вынулъ портсигаръ и закурилъ сигару. Онъ сталъ ее раскуривать съ видомъ человѣка, у котораго есть десять минутъ отдыха отъ сладкихъ заботъ, куда онъ погружается всѣмъ своимъ существомъ.

Вынулъ свою папиросницу и Грубинъ. Онъ чувствовалъ себя близко къ этому совсѣмъ незнакомому человѣку. Начать разговоръ всего удобнѣе было съ просьбы объ огнѣ.

— Будьте такъ добры, — почти стыдливо выговорилъ онъ и приподнял шляпу.

Брюнетъ весь вострепелъ, протянулъ сигару и быстро произнесъ:

— Сдѣлайте одолженіе.

Его тонъ отзывался также желаніемъ вступить въ разговоръ.

— Что у васъ за прелесть дѣвочка!

Возгласъ Грубина былъ такъ задумчивъ, что въ глазахъ брюнета блеснула ласковая улыбка.

— Вы находите?

— Прелесть, — повторилъ вдумчиво Грубинъ и затаился, чтобы скрыть свое волненіе.

— Благодарю. Это дочь моя—Вѣки.

— Какъ?

— Вѣки. Это было желаніе ея мамы назвать ее такъ. Не мое. Ее зовутъ собственно Валентина. А Вѣки — англійское уменьшительное отъ Викторіи. Вѣдь, такъ, кажется?

Онъ говорилъ быстро, съ маленькими скачками, и вопросъ его такъ и врѣзался въ ухо Грубина. И свободная рука его заходила съ чисто-итальянскою живостью.

— Прелестъ! — еще разъ повторилъ Грубинъ и поспѣшилъ добавить:—Вѣдь, ей не больше четырехъ?;

— Какое! Три года минуло четвертаго мая. Она здѣсь и родилась. Вѣки, такъ Вѣки, — смѣшливо выговорилъ онъ.—Въ честь бывшей германской императрицы. Что жъ? Желаю ей имѣть современемъ столько же характера и любви къ будущему мужу... Ха-ха!

Онъ возбужденно разсмѣялся и плечи его пошли ходуномъ.

„Нѣтъ, онъ не русскій родомъ!“ — увѣренно подумалъ Грубинъ, и сказалъ замедленнымъ звукомъ:

— Такъ она здѣсь и родилась?

И ему этотъ фактъ показался страннымъ, точно нарочно для него приготовленнымъ. Вѣки родилась въ Царскомъ, какъ и его Таня. Но одна вонъ какая прелестъ, а другая лежитъ подлѣ своей мамы, на кладбищѣ, здѣсь же.

— Какъ же, какъ же,—заговорилъ брюнетъ, выпустилъ колечко дыма и заложилъ одну ногу на другую такимъ же быстрымъ жестомъ, какъ и все, что онъ дѣлалъ.—Здѣсь! Все на той же дачѣ, гдѣ мы съ тѣхъ поръ каждое лѣто проводимъ. Я въ восторгѣ отъ Царскаго. Для дѣтей это первое мѣсто по своему воздуху и раздолью. Вы знаете, что сказалъ въ печати парижская знаменитость, докторъ Шарко?

— О Царскомъ?

— Да-съ! О Царскомъ. Excusez du peu. Онъ былъ здѣсь... нѣсколько лѣтъ назадъ. И его мнѣніе таково, — брюнетъ сталъ еще звончѣе отчеканивать слова, — его мнѣніе, что на континентѣ Европы только два города и есть, гдѣ бы было такое количество озона въ воздухѣ... Да, озона. Вы знаете, конечно, что называется озономъ?

— Знаю,—скромно, съ чуть мелькнувшею улыбкой выговорилъ Грубинъ.

— Это — австрійскій городъ Грацъ... и Царское. И я этому вѣрю. Зимой наша Вики такъ себѣ поскрипываетъ, но здѣсь она неузнаваема.

— И вы при ней постояннымъ преступномъ... Вижу васъ здѣсь... всякій день.

— Это вѣрно! Что жъ? Я признаюсь — во мнѣ заговорилъ инстинктъ чадолюбія, какъ только Вики произведена была на свѣтъ. И я не подозрѣвалъ въ себѣ ничего подобнаго... Увѣрю васъ.

— Такіе отцы—на рѣдкость.

— Не скажите! Нашего полку много. Мы въ родѣ закоренѣлыхъ пьяницъ. Ха-ха! Узнаемъ другъ друга издали... какъ массоны, одинъ другого, по разнымъ питукамъ.

Онъ круто повернулся вслѣдъ своимъ сухимъ туловищемъ къ Грубину, и его живость еще сильнѣе стала проявляться въ жестахъ и звукахъ высокаго, очень молодого голоса.

— Можетъ-быть,—продолжалъ онъ,—это своего рода реваншъ. Ха-ха! Возмездіе за то, что я много мясоѣдовъ пропустилъ... засидѣлся въ холостякахъ.

— Очень можетъ быть,—промолвилъ Грубинъ.

Весь этотъ разговоръ настраивалъ его гораздо пріятнѣе, чѣмъ онъ ожидалъ.

— А у васъ дѣтей нѣтъ?—спросилъ отецъ Вики.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ Грубинъ и отвелъ голову въ сторону.

— Это—большой ресурсъ... замѣняетъ всякія страсти и разорительныя привычки.

Онъ еще что-то хотѣлъ сказать и вдругъ весь выпрямился и, прищуривъ сильно оба глаза, воззрился внизъ, по аллеѣ, гдѣ дѣвочка катилась, какъ шаръ.

— Опять шлепнется! Непремѣнно шлепнется! Dieu des dieux!.. Извините...

Не договоривъ, онъ бросилъ только до половины докуренную сигару и побѣжалъ за дѣвочкой, что-то кричалъ и сильно разводилъ руками.

Долго смотрѣлъ Грубинъ вслѣдъ счастливцу и курилъ, стараясь отгонять отъ себя всякія горькія мысли.

### III.

Музыка совсѣмъ смолкла. Грубинъ возвращался по тому же пути, лѣнливою походкой. Солнце гораздо сильнѣе пекло, чѣмъ въ полдень. Ни одного облачка не клубилось надъ озеромъ, и золотой куполъ мечети игралъ вдали, рядомъ съ бѣлымъ столбомъ минарета.

Не могъ онъ оторваться мыслями отъ образа дѣвочки съ

ея черными глазками и голыми ножками въ бѣлыхъ высокихъ ботинкахъ. Отецъ своимъ внезапнымъ уходомъ и тревогой за ребенка спугнулъ съ него болѣе ясное настроеніе.

Оставаться въ паркѣ не хотѣлось и домой не тянуло. Тамъ—даже и на террасѣ—было, навѣрное, очень жарко. И терраса, и его кабинетъ выходили на югъ. Да и вся дача подавляла его своею пустотой. Нарочно не хотѣлъ онъ заставлять ее мебелью, чтобы было какъ можно больше воздуху, особенно въ спальнѣ роженицы и въ дѣтской. Подъ дѣтскую отвелъ онъ самую просторную комнату—залу, и теперь въ ней одиноко стоитъ колыбель изъ металлической сѣтки съ пологомъ.

У него не хватало духу приказать убрать ее. Она стояла такая чистая, съ голубымъ подбоемъ, вся въ кружевномъ уборѣ. Мимо нея надо ему проходить въ свою спальню.

Эта дача, съ садомъ, такая вся свѣтлая и веселая, теперь для него точно просторная усыпальница... Въ ту комнату, гдѣ догорѣла жизнь его Кати, онъ не заглядываетъ. Она стоитъ запертая, и только горничная сметаетъ тамъ пыль, когда барина нѣтъ дома.

Дольше іюля онъ не выдержитъ. Уѣдетъ куда-нибудь въ горы, въ бернскій Оберландъ. Тотъ докторъ, что лѣчилъ его послѣ смерти жены и ребенка, усиленно шлетъ его въ Тараспъ, увѣряетъ, что у него какіе-то „артритическіе симптомы“, хотя онъ самъ теперь ничего не чувствуетъ.

Нарядный, величавый садъ, похожій на царственные чертоги, со своими аллеями, площадками, статуями и бюстами, павильонами и галереями, казался ему теперь, когда онъ сталъ думать о поѣздкѣ въ Швейцарію, слишкомъ плоскимъ, однотоннымъ, чопорнымъ и тоскливымъ.

Два слишкомъ года назадъ, ъ-ту же пору, они ѣздили вдвоемъ въ Швейцарію молодыми. Поселились въ Интерлакенѣ и оттуда дѣлали экскурсіи. Особенно ярко и выпукло проходили передъ нимъ подробности первой прогулки въ горы... Гидъ, навьюченный ихъ вещами, шелъ особенною горною походкой, поднималъ ноги не такъ, какъ они, механически, ступалъ мелкими шагами. И послѣ трехчасового хода, въ сильную жару, даже лобъ гида не сдѣлался влажнымъ, а онъ весь горѣлъ и своею полотняною шляпой зачерпывалъ студеную воду въ каждомъ



ручьѣ. Они шли почти все время лѣсомъ. Катя любила больше спускъ, чѣмъ подъемъ... Она сбѣгала съ крутизны, перескакивая съ камня на камень, легкая, худенькая, миниатюрная, на видъ дѣвочка лѣтъ пятнадцати. Онъ не могъ поспѣть за нею и все кричалъ:

— Не франти, Катя, не франти, расшибешься!

Но она смѣялась, и ея дробный, точно дѣтскій, смѣхъ раздавался гулко и подмыгательно среди обнаженныхъ утесовъ, куда надо было взбираться уже безъ всякихъ тропокъ. На ледники они не ходили. Катя упрашивала, но онъ не согласился, все думая, что она беременна, чего не было, и не было цѣлыхъ два года.

Какъ она расхохоталась, а потомъ обидѣлась, когда на крутомъ подъемѣ, въ лѣсу, одна французенка, поднимавшаяся на лошади, увидела его голову, всю мокрую,—опъ тогда пилъ изъ ручки,—и крикнула кому-то:

— Regarde moi cette tête!

Послѣ они часто вспоминали эту сцену.

Вспомнилось ему и ихъ долгое сидѣнье на обрывѣ утромъ. Площадка, ярко зеленѣвшая отъ густой травы, обрывалась надъ отѣсною стѣной. Внизу шла дорога, дѣлая зигзаги по склону горъ, а еще ниже—узкая долина, съ хижинами, полями, цѣлыми деревушками. Люди и скотъ казались куколками. Съ разныхъ сторонъ перекливались колокольчики коровъ.

Они оба прилегли на траву, внизъ головами, доползли до самого края и глядѣли-глядѣли со смѣсмъ любопытства и сладкаго чувства опасности.

Какъ все, что тамъ ощущалось, было отлично отъ того, что этотъ пышный и чопорный садъ навѣвалъ бы на него, даже будь около него Катя и гуляй съ нимъ вотъ по этой самой аллеѣ!

Онъ рѣшилъ тутъ же ускорить свой отъѣздъ.

Не въ Тараспъ отправится онъ прямо, а на тѣ кручи, гдѣ человеку, раздавленному горемъ, только и можно дышать. Самъ онъ не испыталъ и ранѣе, въ свои холостыя поѣздки, полного захвата природы въ заоблачныхъ высяхъ: лѣнь было подниматься или удерживало безразличное чувство—не хотѣлось быть похожимъ на сотни туристовъ, сдѣлавшихъ изъ этого франтовство спорта.

Но въ памяти его мелькали страпиды какой-то старой лавки, въ видѣ писемъ, изъ первыхъ годовъ вѣка.

Грубинъ остановился, захотѣлъ припомнить захватъ, и

не могъ. Это показалось ему страннымъ, почти смѣшнымъ. Ничего подобнаго онъ еще не испытывалъ... Значить, горе отшибло и половину памяти.

Книжка была перепечатана уже въ недавнее время. И желтую обложку онъ недавно вспомнилъ. Языкъ прекрасный, мѣстами художественный, мѣстами глубоко-вдумчивый — французскаго неудачника и созерцателя — звучалъ въ его головѣ. Между письмами попадались и отрывки. Ему пришло само собою и французское слово: „fragments“. Въ одномъ изъ нихъ онъ нашелъ необычайно искреннее, безстрашно-пережитое состояніе души человека лицомъ къ лицу съ самою величавою надземною природою Альповъ, гдѣ уже не жутко за себя, гдѣ сердце замираетъ для всего земного и холодъ отъ рдѣющихъ на закатѣ ледниковъ проникаетъ васъ сладкимъ трепетомъ звѣздныхъ міровъ.

Будто трудно уйти туда? По цѣлымъ мѣсяцамъ живутъ тамъ пастухи, — ихъ зовутъ по-нѣмецки Kùher, а тамъ, гдѣ говорятъ по-романски, „Armailli“, — отрѣшаются отъ всего живого, кромѣ своихъ стадъ. Зажить одною жизнью съ „армалли“, побрататься съ нимъ и полгода не спускаться съ тѣхъ высотъ, гдѣ такой пастухъ слышитъ звукомъ рога своихъ коровъ, донть ихъ, носить въ шалашъ молоко и мастерить сыръ.

Ни о чемъ не думать, ничего не бояться: ни хворости, ни смерти: ничего не желать и любить одну природу, съ ней говорить денно и нощно, ловить ея откровенія, уходить, до полнаго экстаза, въ ея дивныя, гигантскія красоты...

Незамѣтно для себя ощутилъ Грубинъ на мостикѣ и какъ бы очнулся.

Было все такъ же жарко. По широкой аллеѣ, слѣва вправо, на мелкихъ рыскахъ приближался экипажъ.

Онъ поглядѣлъ туда. Ландо везли двѣ рыжія лошади въ шорахъ. На козлахъ кучеръ и лакей въ гороховыхъ короткихъ ливреяхъ: одинъ въ сапогахъ съ желтыми отворотами, другой — въ длинныхъ штиблетахъ. Въ уздечкахъ, около лба каждой лошади, сидѣли разноцвѣтные бантики и пестрѣли на солнцѣ.

Вся эта выѣздка отзывалась большимъ изяществомъ.

На перекресткѣ коляска остановилась. Въ ней сидѣли двѣ дамы и двое мужчинъ на переднемъ мѣстѣ. Дамъ нельзя было рассмотреть изъ-за деревьевъ.

Лавей соскочилъ, обѣжалъ и отворилъ дверку. Изъ коляски спустился на дорогу мужчина, сидѣвшій со стороны мостика, снялъ шляпу, должно-быть, пожалъ руку дамы, даже махнулъ рукой, приложившись ею ко рту на французскій ладъ, что-то крикнулъ, круто повернулся и пошелъ въ мостику.

Вдалѣ Грубинъ видѣлъ не очень ясно. У него была слабая степень близорукости; но онъ не носилъ рипсе-пез, а дома, по вечерамъ, иногда читалъ въ очкахъ.

Мужчина пошелъ развалистою поступью. Песочнаго дѣла наъто, на-отлетъ, съ яркою полосатою подкладкой, сидѣло широко на его высокихъ плечахъ. Онъ былъ средняго роста, на ходу держалъ голову нѣсколько вбокъ. Шляпа-цилиндръ такъ и лоснилась, надѣтая немного набекрень. Въ правой рукѣ онъ вертилъ трость съ круглымъ серебрянымъ набалдашникомъ. Желтые ботинки мелькали въ свѣтло-сѣрыхъ панталонахъ полосками.

Прежде чѣмъ Грубинъ призналъ его, по мостику раздался широкою волной окликъ, сдѣланный немного хриплымъ дворянскимъ голосомъ:

— Владиміръ Павловичъ! Тебя ли вижу, душа моя?

#### IV.

По голосу онъ сейчасъ же узналъ, что окликнулъ его Валерій Ивановичъ Голубецъ, однокурсникъ и товарищъ по гимназій.

Онъ не выдались больше полугода.

— Какъ попрыгиваешь?

Голубецъ подошелъ къ нему, немного раскачиваясь, легкими шагами, и протянулъ обѣ руки.

Надо было поцѣловаться. Грубинъ вблизи нашелъ лицо Голубца сильно поблеклымъ, подъ легкимъ загаромъ. Оно какъ-то побурѣло. Вокругъ желтоватыхъ глазъ гнѣдились морщинки, характерныя для жеполубившихъ мужчинъ, и красноватая своя вѣки, какъ и прежде, двигалъ онъ въ особый манеръ, чтобы придать глазамъ или тонко-замысловатое выраженіе, или молодцовское выраженіе человѣка бывалаго, эксперта и оцѣнщика, которому все первосортное въ жизни извѣстно и переизвѣстно.

И такъ же, какъ всегда, отъ него пахло когда-то модными духами Essbouquet. Онъ находилъ ихъ единственно допустимыми для порядочнаго человѣка.

Та же прическа: немного подытые на вискахъ русые

золосы и короткая борода четырехугольникомъ, какъ носили въ то время, какъ они кончали курсъ.

— Гдѣ ты? Чтѣ ты?—спрашивалъ Голубецъ, растягивая слова и произнося ихъ немного въ носъ.

Такую дикцію онъ себѣ усвоилъ искусственно и считалъ породистой.

Отвѣтить сразу Грубинъ затруднился.

Онъ понялъ, что Голубецъ не знаетъ о его горѣ. Глубокаго траура онъ не захотѣлъ носить и его пиджакъ былъ сняго цвѣта. На похороны Голубецъ не прѣхалъ; можетъ-быть, его не было въ Петербургѣ или онъ не прочелъ объявленія. Особыхъ приглашеній не разсылали.

— Здѣсь? Въ Царскомъ? Одинъ или съ барыней?

Голубецъ взялъ его подъ руку жестомъ пріятеля, такого человѣка, которому хочется, чтобы про него всегда и вездѣ говорили: „душа-человѣкъ“. Ему очень польстило, когда какой-то пріятель громко на одномъ юбилейномъ обѣдѣ крикнулъ про него: „Лихой ящикъ Валерьянъ!“, хотя имени Валерьянъ онъ не допускалъ и называлъ себя съ гимназическихъ годовъ „Валерикъ“. Товарищи надъ нимъ подтрунивали и доказывали ему, что „Валерикъ“ у Лермонтова—имя урочища, а не героя; но онъ продолжалъ подписывать „Валерикъ“ въ любовныхъ и пріятельскихъ запискахъ.

— Моя жена скончалась,—выговорилъ, наконецъ, Грубинъ, когда они миновали мостикъ.

Голубецъ, все подъ руку, велъ его къ памятнику.

— Что ты!.. Быть не можетъ!..

Голубецъ повелъ усами на особый ладъ и понурилъ голову, держа ее нѣсколько вбокъ.

„Хорошо еще, что банальностей не говорить“, — подумалъ Грубинъ, и ему стало легче. Съ такимъ человѣкомъ, какъ Валерій Ивановичъ, изливаться онъ не будетъ, хотя тотъ большой охотникъ до всякихъ задушевныхъ бесѣдъ и откровенностей и всегда называетъ себя „могилой дружескихъ секретовъ“.

Но все-таки надо было рассказать ему, какъ и когда постигъ его ударъ.

— Ну, да, ну, да!—воскликнулъ Голубецъ и вскинулъ голову. — Все наши коновалы! Все эти специалисты! Ахъ, Грубинъ, душа моя, какалъ досада, что ты не обратился ко мнѣ!.. Правда, меня не было въ Петербургѣ... Ѣздилъ въ Среднюю Азію. Большое дѣло... Послѣ какъ-нибудь

расскажу... А то бы я тебѣ Варлиха... Прекрасный врачъ по женскимъ болѣзнямъ и акушерству.

— Да вѣдь ты называешь ихъ всѣхъ коновалами? — возразилъ Грубинъ искреннею и горькою нотой.

О докторахъ-специалистахъ онъ и самъ не могъ еще ни думать, ни говорить спокойно.

— Всѣ, но не Варлихъ!.. Я его рекомендовалъ прошлою зимой княгинѣ Пронской... Варварѣ Ивановнѣ... Слыхалъ, конечно? Всѣ отъѣзжали наотрѣзъ. Скирръ въ брюшинѣ... ютъ какой! — Голубецъ сложилъ вмѣстѣ два кулака. — И онъ одними внутренними средствами и компрессами въ полгода довелъ до грецкаго орѣха... Увѣряю тебя!

Грубину слышались съ гимназій знакомые ему перемены голоса Валеріи Ивановича, когда онъ начиналъ „возводить въ квадратъ“ предметы своихъ повѣствованій. Не мало про него ходило анекдотовъ между товарищами и знакомыми. На бѣду онъ считалъ себя и великимъ охотникомъ. Многимъ были извѣстны его рассказы о семи убитыхъ имъ, одинъ за другимъ, волкахъ и о воротахъ деревенской околицы, вышибленныхъ имъ верхомъ въ азартѣ преслѣдованія краснаго звѣря. Еще въ гимназій считалъ онъ себя силачомъ съ аристократическими „руками“, и это сходство съ Печоринымъ сдѣлало его посреди тогдашняго увлеченія идеями научнаго реализма поклонникомъ Лермонтовскаго героя. Онъ, на ваканціяхъ, по цѣлымъ часамъ леталъ съ нагайкой въ рукахъ, скрывался куда-то по ночамъ, тоже верхомъ, но о своихъ побѣдахъ никому не рассказывалъ, а только давалъ понять, что онѣ бывали не рѣдки и страшно трудны. Иногда у него вырывалось восклицаніе: „И былъ съ ней жестокъ!“ или: „И ее не пощадилъ!“, съ особенною интонаціей, которую онъ всегда пускалъ въ ходъ, цитируя стихи.

Необычайная память Грубина обижала его еще въ гимназій, зато онъ желалъ затмить его искусствомъ чтеца и считалъ себя такимъ Арбенинымъ, какого никогда не было ни на одной изъ столичныхъ сценъ.

— Что же, братъ, — протянулъ еще сильнѣе въ послѣ Голубецъ, — ей лучше.

Парфразируя стихъ своего любимаго поэта, онъ произнесъ съ жестомъ правой руки:

— „И на устахъ ея печать“.

„Ахъ, ты снобъ!“ — хотѣлъ ему крикнуть Грубинъ, но

Голубецъ всегда его обезоруживалъ своею полнѣйшею вѣрой въ себя.

И теперь онъ вѣрилъ, что никто красивѣе и болѣе по-дворянски не въ состояніи выразить товарищу своего сочувствія.

— Ты въ Царскомъ и остался? — спросилъ Голубецъ, увлекаая его дальше къ дворцу. — Я думаю, ужасно тоскуешь, бѣдняга!.. Ты бы хотъ въ городъ почаще наѣзжалъ. Я на дачу не переѣхалъ. Не могу по дѣламъ... Скоро опять собираюсь плыть въ Батукъ... Право, не хочешь ли пообѣдать сегодня на островахъ, у Фелисьена, что ли? А потомъ поѣхали бы-смотрѣть тѣхъ шотовъ гороховыхъ... на Марсовомъ полѣ... Ты не видалъ команду Буффало-Билла?

Грубинъ только поглядѣлъ на него полуукоризненно.

— Надо развлекаться, мой другъ! Въ твоемъ положеніи... Нѣтъ, Владиміръ Павловичъ, — вдругъ заговорилъ онъ охотничьимъ возбужденнымъ тономъ, остановилъ Грубина на дорогѣ и взялъ его за бортъ растягнутаго пиджака, — эти индѣйцы! Вотъ мазуричья штука! Набрана какая-то босая команда. А лошади съ расшивъ взяты, киргизскія... Съ нашими клеймами... Божусь Богомъ, съ нашими клеймами. Собственными глазами видѣлъ... Ну, ты меня знаешь! Кажется, всѣ зубы съѣлъ по барышняческой части.

Лошадитникомъ Голубецъ былъ всегда, продавалъ и покупалъ, считалъ себя первымъ специалистомъ по рысистымъ породамъ, прежде много рассказывалъ про свой конскій заводъ, но заводу этому и Грубинъ, и другіе его товарищи какъ-то плохо вѣрили. Своею „выѣзкой“ онъ особенно щеголялъ, и зимой, въ часы катанія по Морской, не иначе выѣзжалъ, какъ въ золотыхъ уздечкахъ и въ саняхъ изъ металлической проволоки.

— Такая, милый другъ, мистификаціа, что я теперь, какъ кто здорово привреть или очки хочетъ вставить, говорю: „это Буффало-Биллы!“

— Буффало-Биллы! — съ тихою усмѣшкой повторилъ Грубинъ, и ему захотѣлось примѣнить эту кличку къ самому рассказчику объ индѣйскихъ представленіяхъ на Марсовомъ полѣ.

— Право, поѣхали бы! Я долженъ только забѣжать во дворецъ... къ одному господину... Ты бы меня подождать тамъ вонъ, въ той аллеѣ, за церковью.

— Нѣтъ, не могу,—энергически отказался Грубинъ.— Сегодня я ужъ совсѣмъ не расположенъ.

— Нельзя, Владиміръ Павловичъ, такъ распускать себя. Понимаю твою горе; по тебѣ-то и надо видѣть людей. Въ Царскомъ у тебя есть ли знакомые?

— Никого.

— Никого?.. Такъ невозможно, милый. Я тебя втяну... Ты видѣлъ, кто меня выпустилъ тамъ?

— Нѣтъ, не разглядѣлъ... Да я и не знаю никого.

— Сами Аксамитовы.

— А кто это?—равнодушно спросилъ Грубинъ.

— Любовь Ѳедоровна Аксамитова! Но знаешь?.. Быть не можетъ... Съ мужемъ и съ дочерью... Проводить здѣсь сезонъ... И дочь начинаетъ показывать. Не можетъ быть, чтобы ты не слышалъ о нихъ.

— Что-то такое... давно.

— Я тебѣ представлю.

— Уволь!

Грубинъ замахалъ руками.

— Не сегодня... а на недѣль... А теперь прощай... Гдѣ ты живешь?

Адресъ нельзя было не дать. Товарищи простились у спуска на тротуаръ.

## V.

Толпа широкою волной ползла изъ обѣихъ дверей вокзала въ садъ—пестрая, нарядная, гдѣ массу составляли женщины,—всѣя: старухи, молодыя дамы, множество дѣвицъ и подростковъ.

Только что отошло первое отдѣленіе концерта въ бенфисъ капельмейстера и тотчасъ же въ павильонѣ цвѣтника загрохоталъ духовой хоръ царскосельскихъ стрѣлковъ.

Въ боковой залѣ, гдѣ стоятъ накрытыя по сторонамъ столы, въ самомъ углу, на концѣ длинной скамьи, еще сидѣлъ Грубинъ.

Онъ только что прослушалъ исполненныя оркестромъ „Kinderscenen“ Шумана. Сколько разъ играла ихъ ему Катя. Иныя вещи изъ этой серіи выходили у ней на фортепиано лучше, чѣмъ въ оркестрѣ. Одна изъ нихъ—„Glückesgenus“—была его любимая, и онъ всегда просилъ повторить. Зато знаменитая и довольно заграничная оркестрами „Tänzerin“ неожиданно захватила его и унесла

въ сказачное царство дѣтскихъ грѣзъ. Не могъ онъ не представить себѣ дѣтскую въ вечернія зимнія сумерки. Въ колыбели лежитъ его Таня, уже годовалый ребенокъ. И ей что-то снится сладкое. Губки распустились пышнымъ бутонъ. Головка немного на-бокъ, пудерки на лбу растрепались. Въ просторной и теплой комнатѣ слышенъ только стукъ часовъ. Лампадка горитъ въ углу, въ кѣтѣ.

Его Таня видитъ во снѣ папу и маму. Она гдѣ-то съ ними въ саду. На развѣсистыхъ вѣтвяхъ шарами горятъ яблоки и длинные-длинные цвѣты, въ родѣ лилій, щеко-чуть ея щеки... Она смѣется во снѣ и просыпается.

А у большой изразцовой печки, чуть-чуть отражающей мерцаніе лампадки, присѣла на полу няня. Она собралась топить печку, да боится, какъ бы не разбудить барышню.

— Ня-я, — протянулъ ласково ребенокъ и ручонками сталъ себѣ протирать глаза.

Таня любитъ, когда топится печь, смотритъ на огненные языки и прислушивается къ веселому треску березовыхъ сухихъ дровъ.

Картина напросилась сама, когда Грубинъ слышалъ первые звуки „Аш Камін“. Что-то дѣтское, наивное и уютное несло отъ этихъ звуковъ.

Глаза его были еще влажны, когда оркестръ совсѣмъ смолкъ и началось движеніе публики въ садъ и вдоль колоннъ.

Онъ стыдливо отеръ глаза и остался сидѣть, чтобы не толкаться въ толпѣ и не повстрѣчать знакомаго. Чаю ему не хотѣлось. Лучше онъ подождетъ и погуляетъ въ паркѣ. Во второмъ отдѣленіи должны были пѣть цыгане. Это его не прельщало. Онъ ихъ никогда не любилъ, ни дикихъ гиканій и плясокъ, ни романсовъ, передѣланныхъ изъ вальсовъ Штрауса, съ обычнымъ перевираньемъ и безъ того пошлаго текста.

Стало рѣдѣть. Служители зажигали лампы и люстры надъ отгороженной серединой залы съ рядами платныхъ мѣстъ. Въ дальнемъ крылѣ вокзала, у стойки съ печеньемъ и питьемъ, тѣснилось много дамъ и дѣвочекъ. У выхода дѣвица въ яркой шляпѣ, въ видѣ колпака, и съ повязанною щекой продавала билеты на ближайшій спектакль французской труппы.

Мимо нея прошелъ, въ сторонѣ, Грубинъ, потомъ всталъ



вдоль галлерей, гдѣ на одномъ диванѣ увидалъ цѣлыхъ двухъ священниковъ съ семействами, спустился въ садъ, не глядя на разноцвѣтный коверъ изъ медленно двигавшейся публики, и вышелъ нарочно боковыми воротцами, чтобы дальше вернуться опять въ паркъ и не идти черезъ мостикъ, гдѣ, навѣрное, ждали его встрѣчи.

Онъ въ послѣдніе дни еще больше одичалъ. Его поѣздка за границу затягивалась. Обѣщали ему въ конторѣ устроить сдачу квартиры и просили переждать еще съ недѣлю.

Въ Павловскѣ онъ ѣздилъ или ходилъ нѣшкомъ почти каждый день на музыку. Она только и смягчала ему тупую, душевную боль, сокращала пудовой ходъ времени—эти безконечные вечера и бѣлыя ночи съ ихъ обманнымъ свѣтомъ и млечною, унылою, минутами мучительно-горькою тягучестью.

Паркъ онъ любилъ больше царскосельскихъ садовъ, всѣ его концы, и низкіе и холмистые берега рѣчки, особенно уголки въ сосновой рошѣ по ту сторону воды, за дворцомъ.

Въ аллеѣ вдоль сада, вправо и влево отъ мостика, стояло нѣсколько экипажей. Проѣзжали и кавалькады. На диванахъ разсѣлись гувернантки и бонны съ дѣтьми. Сюда музыка военного хора доходила слегка смягченная.

Грубинъ хотѣлъ повернуть во вторую поперечную дорожку, черезъ лугъ, и спуститься къ нижнему мостику и каменной лѣстницѣ со львами, надъ которой, посреди клумбы, стоитъ бюстъ императора Вильгельма.

Шелъ онъ тихо, съ наклоненною головою. Въ ушахъ его все еще дрожали звуки, подъ сурдинку, шумановскихъ дѣтскихъ сценъ.

— Владиміръ Павловичъ! Да остановись, пожалуйста!

Возгласъ заставилъ его вздрогнуть и обернуться.

Голубецъ догонялъ его—все въ томъ же свѣтломъ пальто, но въ черномъ сюртукѣ и не въ желтыхъ, а въ обыкновенныхъ ботинкахъ.

Съ нимъ они не видались послѣ встрѣчи въ Царскомъ. „Буффало-Билль“, разумѣется, забылъ про свое обѣщаніе развлекать товарища, чему тотъ былъ чрезвычайно радъ.

— Ну, здравствуй! Идетъ точно философъ Кантъ, совершающій послѣобѣденную прогулку. Извинюсь, душа моя, не дали мнѣ минуты свободной быть у тебя въ Царскомъ... Вотъ только сегодня обѣщалъ дамамъ поѣхать

съ ними сюда... Захотѣлось имъ конокрадовъ послушать.

— Какихъ конокрадовъ?—спросилъ Грубинъ.

— Какихъ? Да все тѣхъ же фарлоновъ. Цыганскаго пѣнія. Вѣдь это мы ихъ въ артисты пожаловали, а настоящее ихъ званіе—конокрады. Ха-ха!

Щеки Валерія Ивановича покраснѣлись. Видно было, что онъ прекрасно пообѣдалъ. Его дворянскій голосъ пріобрѣлъ маслянистость и носовые звуки выходили менѣе рѣзко.

Улыбнулся и Грубинъ. Каковъ бы ни былъ „Буффало-Билль“, но онъ всегда тотъ же и отъ него вѣтъ несокрушимою вѣрой въ свою лихость, удачу, обаятельное обхожденіе и благородство поведенія хорошо рожденнаго мужчины.

— Владиміръ Павловичъ! Я сказалъ дамамъ, что представлю тебя тутъ же.

— Гдѣ? Какимъ дамамъ?—почти съ испугомъ откликнулся Грубинъ и даже подался назадъ.

— Да, вонъ, ландо... Рыжія... хорошихъ статей пара... Полукровныя... И кучеръ, изъ чухонъ, англазированный. Я рекомендовалъ. Въ татерсалъ былъ... еще при мнѣ...

— Представить меня?

— Ну, да, кого же иначе?.. Любовь Ѳедоровна вспомнила тебя.

— Меня?—еще пугливѣе переспросилъ Грубинъ.

— Теби, тебя! Гдѣ-то на водахъ, въ Ширмонтѣ, что ли, или въ Киссингенѣ. Лѣтъ десять назадъ. Она нашла, что ты мало измѣнился.

— Да гдѣ она меня видѣла... и кто она?

— Сейчасъ... ты прошелъ... Я на тебя указалъ. Идемъ.

— Уволь... Пожалуйста, съ какой стати?

— Нѣтъ, —протянулъ Валерій Ивановичъ, и глаза его съ красноватыми вѣками стали сейчасъ же темнѣть. Губы онъ выпятилъ и выраженіе лица получило оттѣнокъ почти обиженный. — Нѣтъ, милый другъ, такихъ вещей не дѣлаютъ. Мы съ тобой товарищи и пріятели. Любви Ѳедоровнѣ это извѣстно. Я прошу у нея позволенія представить, стало, съ твоего согласія.

— Да когда же и тебѣ давалъ его?

— А въ Царскомъ? Въ саду?.. Я тебѣ говорилъ про Аксамитовыхъ. Нѣтъ, — брови Валерія Ивановича стали сдвигаться,—такихъ вещей со мной нельзя. Ты знаешь, я человѣкъ не мелочной. Но въ свѣтъ нельзя, братъ, такъ

манкировать. И я не позволю себѣ... ни предъ какою женщиной.

Тонъ дѣлался все болѣе обиженнымъ и серьезнымъ.

— Что за шутовство!—вырвалось у Грубина.

— Нисколько не шутовство. Воля твоя... Ты можешь продолжать или прѣтъ знакомство... Но подойти къ этимъ дамамъ ты долженъ, и сейчасъ же. Ужъ и то страшно, что мы стоимъ и торгуемся, а онѣ на насъ смотреть.

„Это дѣйствительно неловко“, — подумалъ Грубинъ и отправился. Онъ былъ одѣтъ почти по-домашнему, но это его не смутило.

— Идемъ, Владиміръ Павловичъ!

— Богъ съ тобой... Но кто же эти дамы? Аксамитова съ дочерью?

— Да, да... Маруся... Ты увидишь, какой это цвѣтокъ!

Голубецъ прикрылъ глаза, потомъ взялъ Грубина подъ руку и скорою походкой, сѣменя своими короткими ногами, повелъ его по аллеѣ къ мостику.

## VI.

Въ Грубинѣ было такое чувство, точно его ведутъ на какую-то расправу.

Никто не считалъ его застѣнчивымъ, и холостымъ онъ вѣжалъ въ свѣтъ. Женатая жизнь отдалила отъ выѣздовъ, но не сдѣлала пелюдимымъ. Недавнее горе выбило его изъ колеи и всякое новое знакомство, да еще такое, какъ эти Аксамитовы, отталкивало его.

— Любовь Ѳедоровна, Орестъ Юрьевичъ: мой товарищъ и другъ, Владиміръ Павловичъ Грубинъ.

Голубецъ выговаривалъ это нараспѣвъ и серьезно, совсемъ не похоже на его обыкновенный, полубалагурный тонъ.

Приходилось вести себя какъ прилично-порядочному, далеко не старому мужчине. И онъ тутъ пожалѣлъ о томъ, что этому мужчине пошелъ всего тридцать девятый, а не сорокъ пятый годъ.

Ему величаво кланялась съ своего мѣста полная въ бюстѣ, рослая женщина, на видъ лѣтъ за тридцать, съ овальнымъ матовымъ лицомъ большой красоты. Въ черныхъ, точно вишни, чисто-русскихъ глазахъ маслянистый блескъ привѣтливо ласкалъ каждого. Тѣнь отъ широко соломенной шляпки съ двумя букетами цвѣтовъ спереди и сзади дѣлала лицо еще красивѣе. На плечи была на-

кинута шитая золотомъ суконная мантилья и ея стоячій воротникъ подпиралъ голову и придавалъ значительность всему облику роскошной брюнетки.

— Весьма радъ,—картавя выговорилъ ея мужъ, сидѣвшій напротивъ, и подалъ Грубину руку.

Передъ Грубинымъ промелькнула смутно наружность мужа: большіе рыжеватые усы, короткіе бакенбарды, крупныя черты какого-то нерусскаго типа, свѣтло-кофейный котелокъ на головѣ, пучки сѣро-желтыхъ волосъ на вискахъ, пиджакъ, небрежно застегнутый на одну пуговицу.

Этого барина онъ нигдѣ не встрѣчалъ, но вспомнилъ, что его жену дѣйствительно видалъ на какихъ-то нѣмецкихъ водахъ.

Изъ-за пышной груди, задрапированной складками матеріи, съ буфами на плечахъ, выставлялось профилемъ другое женское лицо — дочери, которую Валерій Ивановичъ не иначе звалъ въ разговорахъ о ней, какъ „Маруся“.

Она чуть замѣтно поклонилась Грубину, и этотъ поклонъ задѣлъ его и заставилъ подтянуться и почувствовать въ себѣ мужчину, человека изъ общества, которому не пристало имѣть такой стѣсненный, почти жалкій видъ.

Не то чтобы этотъ поклонъ былъ слишкомъ небреженъ... Поклонилась она безукоризненно, но что-то такое защемило въ немъ.

„Дѣвчонка, и такая важная“,—невольно подумалъ онъ и быстро оглядѣлъ ее всю.

Она была не дѣвчонка, смотрѣла совсѣмъ сложившеюся дѣвушкой. Профиль выдѣлялся на фонѣ зелени сада тонкою и строговатою линіей. Носъ, короткій и прямой, шелъ отъ лба, точно на античномъ рельефѣ. Блѣдная кожа съ розоватымъ загаромъ ярко отѣняла густые волосы съ красноватымъ отливомъ, на лбу подстриженные, но не завитые. Черная большая шляпа продолговатой формы, съ приподнятымъ краемъ и всего однимъ краснымъ цвѣткомъ, шла и къ волосамъ, и ко всему лицу необычайно. Взгляда Грубинъ не успѣлъ уловить,—глаза она тотчасъ же отвела. Дѣвичья гибкая и крупная шея и всѣ контуры груди въ свѣтломъ платьѣ, съ вырѣзомъ вокругъ горла, выглядывали изъ-подъ накинутой, но не застегнутой мантильи съ такимъ же воротникомъ Маріи Стюартъ, какъ и у матери, изъ свѣтло-бирюзовой матеріи на серебристой шелковой подкладкѣ.

Не успѣлъ Грубинъ отвести отъ нея взгляда, какъ до него съ павильона музыкантовъ донеслась нота на пистонѣ, схватившая его за сердце. Онъ узналъ возгласъ Карменъ: „Prends garde à toi!“ въ концѣ знаменитаго романса цыганки изъ перваго акта оперы.

— Князь Юшадзе,—раздался надъ его ухомъ уже мѣнѣе торжественный возгласъ Валеріа Ивановича.

Онъ торопливо поднялъ голову. Облокотясь о крыло коляски, стоялъ высокій, худой офицеръ въ бѣлой фуражкѣ и очень короткомъ видмундирѣ, съ тросточкой въ рукахъ. Грубинъ совсѣмъ и не замѣтилъ его.

Офицеръ, съ типичнымъ лицомъ мингрельскаго князя и молодою важностью красавца, протянулъ ему свою длинную, бѣлую руку безъ перчатки и крѣпко пожалъ, немножко спустивъ голову на грудь, гдѣ у него, въ петлицѣ, воткнутъ былъ цвѣтокъ.

— Очень пріятно,—выговорилъ Грубинъ, и его взглядъ перешелъ отъ этого кавказскаго профиля къ тому греческому, съ гораздо болѣею тонкостью и выраженіемъ, вызвавшимъ въ немъ неясную тревогу.

— Вы нашъ сосѣдъ, Владиміръ Павловичъ,—обратилась къ нему Аксамитова, и голосъ ея, ровный и сочный, задрожалъ въ засиѣжѣвшемъ влажномъ воздухѣ.

— Любовь Федоровна,—пояснилъ тономъ домашняго друга Голубецъ,—въ двухъ шагахъ отъ дворца, дача бывшая Корзининыхъ. Навѣрное, знаешь?

Грубинъ только кивнулъ головой, хотя никакой дачи „бывшей Корзининыхъ“ не зналъ.

— Вы на все лѣто здѣсь?—спросилъ Аксамитовъ и вставилъ въ глазъ монокль.

— Поживетъ, поживетъ!—отвѣтилъ за Грубина Голубецъ и, снявъ шляпу, обратился къ дамамъ:—Такъ что же, mesdames? Угодно идти? Всего лучше теперь занять хорошія мѣста.

— Да вѣдь тамъ, я думаю, все разобрано,—сказалъ Аксамитовъ и нервно повелъ однимъ угломъ рта, — а у насъ билетовъ нѣтъ.

— Все будетъ!.. Я распоряжусь. Въ проходѣ... Поближе къ эстрадѣ... Любовь Федоровна, вы давно не слыхали фараоновъ?

— Давно,—протянула она.—Больше пяти лѣтъ. Тогда только входилъ въ моду Дмитрій Шишкинъ... Такъ, кажется, зовутъ ихъ перваго тенора?

Лицо дочери, наполовину видное Грубину, не дрогнуло, все такое же вдумчивое и прекрасное. Она подняла рѣсницы, темнѣе волосъ, и совсѣмъ темные глаза, взятые у матери, но съ другимъ выраженіемъ.

„Она не дѣвчонка, — подумалъ опять Грубинъ, — а женщина, и какая еще!..“

— Я готова! — раздался ласковый и веселый возгласъ Любови Ѳедоровны. — Маруся! — окликнула она дочь и что-то ей сказала вполголоса.

Лакей соскочилъ съ козедъ. Голубецъ отворилъ дверцу и вмѣстѣ съ офицеромъ высадилъ дамъ. Грубинъ стоялъ поодаль.

Пошли они мостикомъ попарно, впереди дочь съ княземъ, потомъ Голубецъ и Аксамитова. Мужъ ея пригласилъ Грубина жестомъ руки и пошелъ съ нимъ въ ногу.

Онъ оказался небольшого роста, полный, въ общемъ еще моложавый. Никто бы не принялъ его за отца такой взрослой дочери. Маруся, такая же высокая, какъ ея мать, шла скоро, довольно большими шагами, и опиралась на высокую палку зонтика. Князь только на полголовы былъ выше ея. Эта пара поражала Грубина своимъ подборомъ. Онъ употребилъ мысленно это слово и тотчасъ же прибавилъ:

„И глупъ же, должно-быть, этотъ князь!“

Почему-то ему пріятно было увѣрить себя сразу въ „непроходимости“ красавца въ короткомъ вицмундирѣ и съ большимъ блиномъ на курчавой, плотно подстриженной головѣ. Даже въ его походкѣ, на одѣяку Грубина, сквозило что-то глупое.

Кажется, они шли молча. Лица ихъ не поворачивались одно къ другому.

„Что жъ это, — подумалъ Грубинъ, — женихъ съ невестой, что ли?“

Аksamитовъ о чемъ-то спросилъ его; онъ развязно и невпопадъ отвѣтилъ ему.

Около этого человѣка, съ его тикомъ въ углу рта, не похожаго ни на какой опредѣленный русскій типъ, онъ чувствовалъ себя совершенно чуждо, точно съ иностранцемъ, съ которымъ нечего говорить, нѣтъ никакихъ общихъ интересовъ. Онъ смутно распознавалъ, однако, что мужъ смотритъ болѣе европейцемъ, чѣмъ жена, и тонъ у него болѣе отзывается свѣтскостью извѣстнаго сорта.

Двигались они навстрѣчу толпѣ, кружившейся вокругъ

рядовъ зеленыхъ дивановъ. Почти всѣ женщины оглядывали обѣихъ Аксамитовыхъ, мать и дочь, съ головы до пятокъ, пѣоторыя безцеремонно, другія исподтишка или вслѣдъ имъ. Это оглядываніе начинало раздражать Грубина. Онъ точно участвовалъ въ какой-то непріятной процессіи, которая и его выставила напоказъ. И ему такъ захотѣлось уйти въ глубь парка и бродить тамъ до позднего вечера, а въ одиннадцать сѣсть въ вагонъ и вернуться въ Царское.

— Какая масса! — замѣтилъ Аксамитовъ, прищуривая свободный глазъ. — И никого не знаешь... А вы?

— Еще менѣе, — отвѣтилъ Грубинъ, совѣмъ не глядя на встрѣчную колонну.

У входа въ залу онъ хотѣлъ откланяться.

Но Голубецъ не допустилъ. Онъ въ одинъ моментъ распорядился стульями. Имъ поставили по два стула рядомъ, въ проходѣ, въ самомъ концѣ, у эстрады, гдѣ уже разсѣлись цыганки. Красный, зеленый, желтый, ярко-голубой цвѣта, золотая бахрома и полосатыя шали дерзко металась въ глаза. Позади густой рядъ красныхъ кунтушей и черныхъ бородатыхъ мужскихъ головъ полукруглою стѣной заслонилъ опустѣлый оркестръ.

## VII.

Посадили его за столомъ Маруси. По другую сторону прохода, на одной линіи съ ней, сѣлъ князь Юшадзе. Впереди сидѣла Любовь Оедоровна.

Маруса откинула свою бирюзовую мантилью на спинку стула. Передъ Грубинымъ блѣла ея обнаженная почти до плечъ шея, гдѣ не было противныхъ ему кудерокъ, завитыхъ щипцами. Стволъ шеи переходилъ въ туго вчесанные кверху блестящіе волосы съ золотымъ отливомъ.

Эта близость сразу настроила его иначе, чѣмъ онъ ожидалъ. Черезъ ея плечи онъ смотрѣлъ на цыганокъ. Посрединѣ выдѣлялась солистка въ самомъ богатомъ костюмѣ съ густою золотою бахромой и въ парчевомъ головномъ уборѣ. Онъ не зналъ, какъ ее зовутъ. Цыганъ онъ не любилъ, но помнилъ, когда слышалъ ихъ въ послѣдній разъ. Это было въ Москвѣ, въ какомъ-то загородномъ трактирѣ, давно, больше десяти лѣтъ назадъ.

Ея лицо заставило его вспомнить и о томъ звукѣ изъ пѣсни Карменъ, когда ему поклонилась дочь Аксамитовой.

„Prends garde à toi!“ — повторилъ онъ мысленно.

Судьбнымъ онъ себя не признавалъ. Изъ наслѣдственныхъ примѣтъ у него удержалась одна, и очень крѣпко: встрѣча съ попомъ. Онъ смѣялся надъ собой, называлъ это „пережиткомъ“, но не могъ отрѣшиться отъ непріятнаго ощущенія и не разъ говаривалъ женѣ:

— Какой-нибудь гадости да жди!

И она всегда, совершенно серьезно, стыдила его.

Съ годами и въ своей жизни, и въ жизни другихъ, близкихъ и стороннихъ людей, онъ привыкъ намѣчать совпаденіе фактовъ, удачъ и неудачъ, что-то въ родѣ примѣтъ, указывающихъ на какой-то „детерминизмъ“, болѣе близкій житейской долѣ отдѣльныхъ личностей. И надъ такими все возрастающимъ чувствомъ онъ не смѣялся. Смерть жены укрѣпляла въ немъ чуткость къ подобнымъ совпаденіямъ.

Хоръ началъ своею обычною пѣсней: „Ты почувствуй, дорогая“.

Наростаніе тихихъ звуковъ на грунть мужскихъ октавъ стало пріятно его убаюкивать, и онъ закрылъ глаза. Онъ могъ уйти отъ пестрой, скученной толпы, совсѣмъ ему чуждой, гдѣ было слишкомъ много женщинъ, съ ихъ тряпками всякихъ фасоновъ и цвѣтовъ, дѣтскою возбужденностью и нервною суетой, обезьянствомъ и погоней за всѣмъ, что только можетъ ихъ сдѣлать интереснѣе или порядочнѣе, отличить ихъ отъ такихъ же жалкихъ созданій, но сортомъ ниже—изъ другого общества.

Послѣ смерти жены, Грубинъ точно оборвалъ всякую связь съ женскимъ обществомъ, не ждалъ отъ него ничего и какъ бы не признавалъ въ себѣ права на то, чтобы отъ женщинъ просить отклика на свое горе. Ихъ свѣтская или „интеллигентная“ болтовня и прежде не особенно привлекала его.

Хоръ смолкъ. Онъ раскрылъ глаза. Солистка-цыганка приготовлялась пѣть. Ея гибкіе, длинные и смуглые пальцы брали аккорды. Теноръ съ пухлымъ бѣлымъ лицомъ франта-куица стоялъ позади ея и настраивалъ свою гитару.

И опять въ ушахъ Грубина пронесся звонный и грозящій возгласъ андалузской цыганки:

„Prends garde à toi!“

Это его такъ удивило, что онъ, почти съ чувствомъ смутной боязни, прикрылъ глаза, отведя ихъ отъ головы стройной дѣвушки съ золотистыми волосами надъ бѣлою дѣвичьей шеей, тонкой и твердой.



Память его, угнетенная за послѣднее время, вступала въ свои права и вызвала передъ нимъ цѣлый вечеръ, проведенный въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ въ Вѣнѣ. Онъ въ первый разъ попадалъ въ тамошній оперный театръ. Такая удача баловала его рѣдко. Давали „Карменъ“ съ Луккой, еще въ полномъ обладаніи голосомъ и со сцены обаятельною, точно двадцатилѣтняя красавица-сепильянка. Играла и пѣла она съ вызывающею граціей и дьявольскимъ огнемъ въ тѣхъ мѣстахъ музыки Бизе, гдѣ гитана олицетворяетъ собою ехидный порокъ, выходящійся въ душу горделиваго и прямодушнаго карабинера-бискайца, доведеннаго ею до позора.

Послѣдняя картина ярко освѣщенной площади передъ ареной такъ и заметалась передъ нимъ. Карменъ, въ бѣломъ короткомъ платьѣ, шитомъ серебромъ, идетъ, сладострастно покачиваясь на бедрахъ, подъ руку съ торреадоромъ. Потомъ сцена съ покинутымъ любовникомъ; ся лицо, нервно вздрагивающее отъ смѣси женской боязни и сатанинскаго задора, и эти глаза, точно кидающіе стальныя искры...

Теноръ и солистка запѣли, въ два голоса, какой-то новый романсъ, слащаво, на плохой итальянскій манеръ.

По первамъ Грубина неприятно цѣпились звуки этого дуэта. Они ничего не говорили ему, не трогали, не утѣждали, были въ рѣзкомъ диссонансѣ съ тѣмъ, что онъ могъ бы ощущать, охваченный воскресшимъ передъ нимъ образомъ Карменъ-Лукки.

Бѣлая шея съ золотистыми волосами затылка, подъ черною шляпой,—лица Маруси онъ не видѣлъ,—вызывала въ немъ желаніе слышать, какой у этой дѣвушки голосъ, похожій ли на мать, довольно высокій и пѣвучій, или нѣтъ. Онъ ожидалъ другого тембра и другого теченія рѣчи, стройнѣе, изящнѣе, новѣе.

Онъ наклонился впередъ и, приподнявъ свою соломенную шляпу, тихо спросилъ:

— Вы любите цыганъ?

Маруся, немного удивленно, вскинула своими темными глазами и въ полъ-оборота отвѣтила:

— Я слышу ихъ въ первый разъ.

Въ словѣ „первый“ прокрадывалась легкая картавость, нерешедшая отъ отца. Голосъ былъ въ такомъ родѣ, какъ онъ ожидалъ: скорѣе низкій съ тембромъ mezzo-soprano, звучный и густой, произношеніе отчетливое, безъ всякой



примѣси какого-нибудь мѣстнаго акцента—московскаго или петербургскаго. Такъ говорятъ по-русски тѣ, кто наполовину воспитывался за границей. Лицо оставалось спокойнымъ, безъ улыбки, почти строгимъ.

— И какъ вамъ они нравятся?

— Оригинально,—выговорила она такимъ тономъ, точно хотѣла прервать разговоръ.

Такъ понявъ это Грубинъ и ощутилъ непріятный уколъ. Она какъ будто желала показать ему, что онъ не изъ ихъ общества. Не потому ли, что онъ былъ одѣтъ въ свой будничный пиджакъ и шляпу съ большими полями, а не въ формѣ дыни съ короткимъ бортомъ, какъ слѣдуетъ носить по модѣ наступившаго лѣтняго сезона?

„И чего я лѣзу?—остановилъ онъ себя.—Важнюшка!“—рѣзко прибавилъ онъ и, отвернувшись въ другую сторону, сталъ смотрѣть вбокъ на князя.

Тотъ, съ блестящими глазами, покручивая тонкіе усы, глядѣлъ на цыганку, тожно выводившую усталымъ голосомъ длинную фермату перваго куплета. На его щекѣ, бѣлой, съ синимъ отливомъ, выступалъ румянецъ.

Князь широко захлопалъ, поднявъ обѣ руки, обернулся къ Марусѣ и, наклонившись черезъ проходъ, пустилъ молодымъ баскомъ:

— Шикарный копецъ!

Офицерское слово „шикарный“ Грубинъ особенно не любилъ. Отъ самаго звука этихъ словъ, сказанныхъ баскомъ посточнаго человѣка, получившаго выправку въ словномъ корпусѣ, зашевелилось въ немъ безглагольное ощущеніе.

— Что твой Мазини!—раздался громкій одобрительный шопотъ Валерія Ивановича, сидѣвшаго около Грубина черезъ рядъ. — Марья Орестовна, — обратился онъ къ Марусѣ, — каковъ теноръ-то?.. Какія фіоритуры выводить!

Маруся кивнула ему и что-то въ родѣ улыбки проскользнуло по ея замкнутому рту, съ извилистымъ, красивымъ профилемъ.

— Ты какъ находишь конокрадовъ?—спросилъ его Голубецъ одобряющимъ голосомъ, какимъ мѣстные помѣщики говорятъ, на ярмаркѣ, при закупкахъ.

— Слишкомъ манерятся,—отвѣтилъ Грубинъ и поморщился.

Въ залѣ дѣлалось жарко. Хлопали трескуче и вязко, безъ конца. Теноръ и солистка кланялись. Ихъ заставили

повторить послѣдній куплетъ. Воздухъ насытился испареніями отъ духовъ и всей этой массы женскихъ тѣлъ и туалетовъ. Но онъ сидѣлъ съ такимъ чувствомъ, точно ему хотѣлось рѣшить, что собственно въ этой дѣвушкѣ сильнѣе—чванство, застычивость или напускная манера? Врядъ ли ей „маша“ рекомендовала ей держаться въ обществѣ съ этою миной. Мать была привѣтлива и даже съ какимъ-то особымъ оттѣнкомъ.

Теперь онъ вспомнилъ, что видалъ ее въ Киссингенѣ еще молодымъ человекомъ. Она жила тамъ одна, никакой дѣвочки при ней не было. И гулялъ съ ней постоянно длинный, худой польскій графъ, адъютантъ австрійскаго эрцгерцога, богачъ, съ репутаціей развратника и игрока. Отъ русскихъ слыхалъ онъ рассказы о ея похожденияхъ. Говорили и тогда еще, что супругъ часто отсутствуетъ и вообще сквозь пальцы смотритъ на ея побѣды.

### VIII.

Отъ ясныхъ напоминаній памяти Грубину стало не то что пріятнѣе, а совсѣмъ иначе. Теперь онъ предвидѣлъ, кто можетъ оказаться эта моложавая мать съ ласковымъ изгладомъ черныхъ глазъ и немного раздавшимся бюстомъ, и отецъ, съ его видомъ какого-то заграничнаго агента. Но дочь не похожа на мать: ни чертами чудеснаго лица, ни манерой держаться.

Онъ повеселѣлъ, сознавая, что источникъ его новаго, чистѣе подавленнаго настроенія, очень некрасивый.

Вспомнилъ онъ, какъ про эту барыню говорили въ легкомъ ироническомъ тонѣ, и точно нашелъ что-то цѣнное.

Грубинъ рѣзко пристыдилъ себя; по памяти не оставяла его въ покоѣ.

Вотъ онъ сидитъ на террасѣ акціонернаго казино, куда самая отборная публика водъ ходитъ обѣдать. Яркій день. Обѣдающихъ много. Безпрестанно раздается русскій языкъ. Въ нему подсаживается одинъ москвичъ, билетникъ и краснобай, изъ мѣстныхъ думцевъ. Это было еще въ первые дни его лѣченія, когда та барыня только что появилась у источниковъ.

— Смотрите,—шепчетъ ему москвичъ и толкаетъ подъ локоть, указывая ему, въ открытныя двери, на залу ресторана, стоящую въ полутемнотѣ, — идите, такая игра идетъ... Барыня-то одна за столикомъ обѣдаетъ: а тотъ усаачъ, долговязый, польскій-то графъ изъ Галиціи, куда-

лехъ, точно они и знать не знаютъ другъ о другѣ; а между ними произошло уже добровольное соглашеніе.

— Кто это видѣлъ?—сказалъ онъ тогда.

— Я видѣлъ... Вчера, смотрю, въ одиннадцатомъ часу... ни души на променадѣ. Только этотъ графъ, что твой анстъ мотается, знаете, тамъ, на углу, гдѣ книжная лавка... и все смотритъ на окна второго этажа. Вѣдь, я тамъ живу, батенька, и дама—моя сосѣдка по коридору, занимаетъ отдѣленіе какъ разъ въ сторону колоннады. И я за нимъ сталъ слѣдить, и на окна посмотрѣлъ... Вдругъ въ одномъ окнѣ свѣча. Онъ тотчасъ же зашагалъ къ подъѣзду, и шастъ! Вотъ и понимаете!

Помнить онъ, что они оба злорадно засмѣялись, какъ истые холостяки. Онъ самъ никогда не считалъ себя развратникомъ и даже обыкновеннымъ женолюбцемъ, но и онъ раздѣлялъ общую повадку мужчинъ—дѣлать изъ любовныхъ исторій и всего, что отзывается пологою любовью и мужскимъ хищничествомъ, предметъ особаго балагурства. Цинизмъ былъ противенъ ему съ юношескихъ лѣтъ; однако, онъ его выносилъ, волей-неволей, въ мужской компаніи. И послѣ напѣштываній сплетника-москвича онъ началъ совсѣмъ особенно смотрѣть на эту русскую барыню, одна ли она ему попадалась въ паркѣ, или въ сопровожденіи худоногого польскаго графа, въ темномъ длиннѣйшемъ ватериуфѣ.

Онъ долженъ былъ прервать свое лѣченіе и съ тѣхъ поръ забыть о ней.

Но это она, несомнѣнно. Онъ припомнилъ и фамилію, прочтенную въ Curliste, гдѣ она показалась ему перевранной.

Теперь онъ отшатнулся бы съ брезгливымъ чувствомъ, если бъ эта самая барыня стала на него закидывать свою сѣть. И не оттого, что она постарѣла на десять лѣтъ, что она уже тамапа взрослой дочери и талія ея потеряла прежніе контуры. Для него теперь самая мысль о чувственномъ сближеніи—да еще съ чужою женой—просто противна.

Три года супружества держали его въ воздухѣ чистой привязанности, насколько она можетъ быть чиста между мужемъ и женой. Эти три года прошли вдали отъ всякихъ мятежныхъ чувствъ и всякой поправки грѣшнымъ посягательствамъ.

Да и вообще на совѣсти его не было связи съ замуж-

нею женщиной. Не отъ строгости его нравовъ вышло это, а такъ судьбѣ угодно было. Водилась одна связь, но безъ адюльтера, да и то когда ему перешло уже за тридцать лѣтъ. До того, онъ самъ искалъ женскаго отклика на его душевные запросы—и только.

„Однако, какъ же это?—вдругъ спросилъ себя Грубинъ, давно уже не слышавшій того, что пѣли на эстрадѣ.— Если эта исторія въ Киссингенѣ правда, и москвичъ-краснобай не выдумывалъ, то кто же эта дама, мать большой дочери съ такою горделивою свѣтскою выправкой? Кто?“

„Просто мужелюбивая, увлекающаяся женщина, быть-можетъ, несчастная въ своемъ бракѣ или...?“

Слово позорящее и звонкое готово было прозвучать въ его мозгу, но онъ его и мысленно не выговорилъ и оглянулся.

Жаръ возрасталъ. Отъ публики поднимался гулъ—въ небольшой промежутокъ между двумя номерами программы.

Передъ Аксамитовой-матерью стоялъ баринъ съ сѣдою бородой, навѣрное, отставной военный, и двѣ дамы, уже пожилыя. Они всѣ говорили съ ней возбужденно, слащаво улыбаясь, какъ улыбаются тѣмъ, кого пріятно встрѣтить на виду у большой публики.

„Значить, она какъ слѣдуетъ барыня, — соображалъ Грубинъ,—всѣмъ лестно говорить съ нею“.

Голубецъ подошелъ къ этимъ знакомымъ Аксамитовой и что-то сказалъ, шутливо указывая рукой на цыганъ. Дѣвушка сидѣла неподвижно и глядѣла немного въ сторону праваго крыла, гдѣ было гораздо темнѣе.

И опять это обиліе женщинъ беспокоило его. Сзади, спереди, вправо, влево, на эстрадѣ—все женскіе бюсты, глаза, прически, цвѣты, шляпы. Въ виски ему вступала тупая головная боль. Ему точно передавалась вся эта перевозная и суетная возбужденность нѣсколькихъ сотъ женщинъ всякаго возраста.

Невольно взглядъ его остановился снова на бѣлой шеѣ, золотистыхъ волосахъ и строгомъ, прекрасномъ профилѣ Маруси. Она смотрѣла теперь въ черепаховый лорнетъ, и выраженіе стало еще горделивѣе и замкнутѣе.

И ему стало ея жаль. Если мать — „такая“ и, быть-можетъ, самой высшей нинѣшней школы, то не уйти отъ того же и этой красавицѣ. Ея прочать, быть-можетъ.

грузинскому князю, т. е. продать или заставить продать себя.

„Какое мнѣ дѣло до всего этого?“ — воскликнулъ онъ про себя и нервно завопилъ на стулѣ. Поскорѣй бы уйти изъ несносной духоты и распрощаться съ этими знакомыми, навязанными ему Голубцомъ.

„Буффало-Билль!“ — выбранился онъ и сталъ осматриваться, вельзя ли ему уйти другимъ путемъ.

„Нехорошо! Неловко!“ — остановилъ онъ себя и дождался конца цыганскаго отдѣленія.

Когда, подъ трескучіе раскаты аклодисментовъ, всѣ столпились у эстрады, онъ подошелъ прямо къ Аксамитовымъ мужу и женѣ, остановился у самой эстрады и приподнялъ шляпу.

— Ты куда? Бай-бай? — спросилъ его Голубецъ.

— Такъ рано? — выговорила Любовь Федоровна и обмахнулась вѣеромъ. — Мы тоже сейчасъ ѣдемъ... Не хотите ли къ намъ... на чашку чая?

— Милости просимъ! — съ кисловатою улыбочкой сказалъ мужъ ея.

Грубинъ извинился головною болью. И вдругъ у него вырвался вопросъ:

— А вѣдь мы съ вами встрѣчались когда-то?

— Гдѣ? — спросила, блеснувъ глазами, Аксамитова.

— Въ Киссингенѣ... Давно ужъ... Вы помните?

И онъ поглядѣлъ на нее пристальнѣе, чѣмъ самъ бы желалъ.

Пышный, еще не подкрашенный ротъ улыбался, и кромѣ того же насмѣшлага блеска въ глазахъ, онъ ничего не прочелъ.

— Я бывала тамъ часто... Въ которомъ это году?

Онъ назвалъ годъ.

— А!.. Да, да!.. — выговорила она такъ весело, точно будто онъ напомнилъ ей что-нибудь чрезвычайно пріятное.

Дочь подошла къ нимъ въ эту минуту, накинувъ голубую мантилью, все такая же строгая въ своихъ движеніяхъ и минахъ.

Грубинъ поклонился и ей, не протягивая руки, и получилъ отъ нея наклоненіе головы.

— Мы васъ ждемъ, — сказала ему вслѣдъ Любовь Федоровна.

— Послѣзавтра заверну къ тебѣ! — громко пустилъ ему вслѣдъ Голубецъ.

Поездъ отходилъ. Бѣлесоватая ночь, уже проникающая сыростью, глянула на Грубина подъ длиннымъ и узкимъ деревяннымъ навѣсомъ дебаркадера... Его обгонили и часто толкали. Бѣжало много, не дождавшись конца концерта.

Въ вагонѣ второго класса, куда онъ вошелъ, не то усталый, не то недовольный, съ туною болью въ одномъ вискѣ, разговоры — опять все женскіе — переплетались и сталкивались, влетали въ окна и вылетали изъ нихъ.

Ухо его неприятно рѣзнула французская фраза какой-то барышни. Кто-то говорилъ въ окно по-итальянски, тоже съ русскимъ акцентомъ, и до него долетѣла фраза:

— Cosa volete? Risotto milanese?

Съ платформы донесся молодой окликъ:

— Сережа! Козыряй назадъ!

Нѣсколько пассажировъ тихо разсмѣялись.

Онъ сидѣлъ въ углу и ему какъ будто хотѣлось что-то рѣшить, отъ чего-то отдѣлаться. Даже въ переносицу ступило, и онъ опустилъ окно, глядя на опушку парка, темнѣвшую справа.

## IX.

Тихо вошелъ онъ въ пустую, очень просторную комнату, гдѣ, на аршинъ отъ стѣны, бѣлѣла дѣтская колыбель.

Больше не было мебели. На окнахъ — нарочно безъ гардинъ — подуспущенными стояли шторы и паркетнымъ полъ слабо лоснился тамъ и сямъ.

Полуночный свѣтъ навидывалъ на все свой млечный полъ. И стѣны — въ бѣлыхъ обояхъ съ золотыми разводами — какъ бы отступали и дѣлали комнату еще обширнѣе.

Грубинъ присѣлъ на подоконникъ и долго глядѣлъ на колыбель. Свои шаги и малѣйшія движенія онъ сдерживалъ, точно въ комнатахъ опасно больного или покойника.

Онъ и были комнаты покойниковъ. Сейчасъ прошелъ онъ мимо спальни Кати и побоялся заглянуть туда. И безъ того онъ испытывалъ всю дорогу отъ вокзала — и еще сильнѣе теперь — тоску, отдававшуюся въ груди чѣмъ-то въ родѣ боли. Шумъ и трескъ концертной залы, сотни женщинъ вокругъ него и на эстрадѣ, знакомство съ Аксамитовыми, образъ молодой дѣвушки впервые вызвали въ немъ такой возвратъ къ тому, что было, какъ-нибудь два-три мѣсяца назадъ, на этой самой дачѣ.

Оба они готовились къ событію, устраивали свое гнѣздо, на разные лады перебирали, что будетъ удобнѣе, по правиламъ строгой гигиены для „дофина“. И сами располагались жить здѣсь долго, быть-можетъ, до того времени, когда ребенокъ ихъ превратится въ юношу и надо будетъ ему думать объ университетѣ.

По этой большой комнатѣ сколько разъ проходила Катя — и беременная, такая маленькая, похожая на дѣвочку-подростка, съ кучей свѣтлыхъ волосъ на маковѣ, въ домашнемъ сѣромъ платьицѣ съ пелериной, живая и степенная, съ глазомъ хозяйки и руководительницы.

Онъ звалъ ее иногда „моя гувернантка“, иногда „мое начальство“, когда шутливо жаловался знакомымъ на ея строгость. Въ ней все было стройно уложено: взгляды, симпатіи, правила, привычки. Изъ института вынесла она серьезную наивность души и большую вѣрность всему тому, что было „хорошо“, чему слѣдовало подчиняться не въ однихъ важныхъ случаяхъ жизни, а и въ пустякахъ.

— Какъ же это можно? — бывало, воскликнетъ она своимъ голоскомъ и вскинетъ густыми бровями, даже посылитъ ей — маленький и закругленный — пачнеть краснѣть.

— Нельзя? — комически переспроситъ онъ ее.

— Никакъ нельзя, Вова! — отвѣтитъ она искренно и все такъ же строго.

Онъ слушался, даже и тогда, если это „нельзя“ относилось къ какому-нибудь, на его взглядъ, пустяку, къ одному изъ тысячи — какъ онъ называлъ — „конвенансовъ“. Онъ подтрунивалъ надъ ея запретами, доказывая, что она слишкомъ долго была подъ ферулой бонны-нѣмки, а та ей ежесекундно кричала: „Katinka, das schickt sich nicht“, — Катя не спорила, но каждый разъ прибавляла:

— Ну, такъ что жъ? Я ей благодарна на всю жизнь... Безъ этого смотри, что кругомъ дѣлается: что за распушенность!

И онъ всѣ три года, которые прожилъ съ нею, восхищался этою ясностью души и прощалъ ей гувернантство. И про себя, и вслухъ называлъ онъ ее: „уравновѣшенная петербуржка“, на что Катя всегда замѣчала:

— Все это модныя клички. Такая, какая есть.

И теперь эта полудѣтская фраза: „Такая, какая есть“ — припомнилась ему и немного смягчила приступъ тоски.

— Такая, какая есть! — чуть слышно выговорилъ онъ,



сидя все еще на томъ же мѣстѣ, на подоконникѣ обширной и пустой дѣтской.

„Такихъ“ онъ не видалъ кругомъ себя, да и теперь не видитъ. Быть-можетъ, и въ самомъ дѣлѣ оклики нѣмки: „das schickt sich nicht“, попавъ на благодарную почву, сложили непоколебимый душевный укладъ этой женщины, казавшейся до смерти дѣвочкой-подросткомъ.

Только и слышно, что про крушенія семей, тайныя и явыя интриги, а то такъ просто продажность, заполняющую въ свѣтское общество, проституцію замужнихъ женщинъ, отдающихся за платъ отъ Лаферьеръ, за дюжину чулокъ цвѣта „fraise égrasée“, кутежи, трактирные скандалы, такое паденіе тона и приличій, что просто нельзя опредѣлить, даже бывалому мужчинѣ, съ кѣмъ говоришь: съ женой ли сановника или съ горизонталкой. И все это наполовину, если не на двѣ трети, отъ самихъ мужей, отъ ихъ поблажки или умышленнаго пріученія ко всѣмъ видамъ кутильнаго франтовства.

И среди такого общества, не разрывая съ нимъ, не ударяясь въ ханжество или смѣшной ригоризмъ, дышала, двигалась, любила и боролась съ жизнью его Катя, строгая и наивная институтка, не похожая даже и на своихъ ближайшихъ подругъ по выпуску.

Грубинъ всталъ и разбитою походкой прошелъ къ двери въ свою спальню. И тамъ онъ не зажегъ свѣчи. Окна выходили въ садикъ. Съ крылечка можно было туда прямо спуститься по лѣсенкѣ въ пять ступенекъ.

Его постель—простая желѣзная койка, приставленная къ стѣнѣ, гдѣ висѣлъ коверъ—не манила... Одиночество, хуже всякаго холостого бобыльства, еще больше засосало его.

Спать онъ не могъ и зналъ, что если бъ и легъ—не смыкалъ бы глазъ до разсвѣта... Онъ, безъ шляпы и съ полуразстегнутымъ жилетомъ, спустился по лѣсенкѣ въ садикъ.

Посрединѣ его, на четырехугольной площадкѣ, густо усыпанной пескомъ, стояли скамейки и соломенное качающееся кресло. Надъ ними спускалъ свои вѣтви кустъ уже отцвѣтающей сирени.

Сюда выносили, въ послѣдній разъ, Катю и посадили въ качающееся кресло.

Она протянула ему пылающую руку и выговорила твердымъ голосомъ:

— Вова!.. Не тоскуй!.. Вѣдь это была дѣвочка, а мы ждали мальчика... Еще будетъ!

Никакой боязни за себя; а смерть уже держала ее въ своихъ когтяхъ.

Это „еще будетъ“ вспомнилось ему, какъ только онъ взглянулъ на кустъ сирени, подошелъ къ нему, сорвалъ одну кисть, еще не завядшую, и долго глядѣлъ на нее.

Все спало въ домѣ... Съ улицы доносилось дальнее брѣнчаніе дрожекъ по шоссеиной мостовой. Начинало свѣтлѣть. Легкій вѣтерокъ перебиралъ листья тополя по другую сторону площадки.

— Господи, что за тоска!—глухо, удерживая рыданія, вскричалъ онъ и закинулъ обѣ руки за голову.

Его погнало изъ садика, и онъ не взошелъ, а взбѣжалъ по ступенькамъ узкой лѣстницы.

Спальня стояла все такая же унылая, и возрастающій свѣтъ пробивался сквозь опущенныя шторы двухъ оконъ.

Онъ чувствовалъ, что если сейчасъ же не раздѣнется, то будетъ бродить изъ комнаты въ комнату и очутится въ спальнѣ покойницы, гдѣ ему станетъ нестерпимо горько.

Все такъ же тихо, на цыпочкахъ, двигался онъ, когда клалъ платье и ставилъ ботинки у дверей, точно не желая разбудить горничной, спавшей черезъ переднюю... Мужской прислуги онъ не держалъ. Горничную Евгенію, ходившую за барыней съ самаго замужества, онъ оставилъ при себѣ. Ея немного хмурое лицо—уже не молодой дѣвушки—находилъ онъ симпатичнымъ, потому только, что вся ихъ жизнь съ Катей прошла на ея глазахъ.

Въ постели Грубинъ лежалъ сначала навзничъ, съ открытыми глазами и даже не старался заснуть. Искусственныхъ средствъ противъ безсонницы онъ избѣгалъ, но уже болѣе мѣсяца какъ ему не удавалось спать больше четырехъ часовъ, и не раньше забывался онъ, какъ на разсвѣтѣ.

Голова была болѣе раздражена, чѣмъ въ послѣдніе дни. Чуть только зажмурилъ онъ глаза, какъ передъ нимъ запрыгали цвѣтныя фигуры, женскіе глаза, черные, какъ у цыганокъ, голубые, сѣрые, всякіе, большія шляпки и мантильи съ буфами на плечахъ; потомъ выплыла бѣлая дѣвичья шея, и въ полъ-оборота профиль, съ прямымъ носомъ и тонкими длинными ноздрями, и съ прядью темно-золотистыхъ волосъ надъ маленькимъ розовымъ ухомъ.

— Ахъ, ты Господи!—громко вздохнулъ онъ и нервно перевернулся къ стѣнѣ.

Это видѣніе огорчило его, обидѣло. Съ какой стати онъ, полный памяти о тѣхъ существахъ, унесенныхъ смертью, — и вдругъ видить шую и профиль первой попавшейся барышни, застывшей въ своей дрессировкѣ, да еще дочери такой шатап, какъ эта Аксамитова?!

Ему не пришло на умъ, что въ эту ночь онъ всѣмъ своимъ существомъ стремился къ женщине, къ ея ласкѣ, что его скорбное одиночество было самою лучшею почвой для новаго влеченія...

Голова долго не могла остыть. То и дѣло чередовались въ ней уже менѣе ясные образы, но все изъ той же залы и съ тою же общою окраской. А сердце ныло и тишина острѣлой дачи холодомъ проникала подъ одѣяло.

## Х.

Сѣренькій денекъ, мягкій и безъ дождя, немного просвѣтлѣлъ часу съ шестого пополудни. По аллеѣ лиственницъ, отъ заставы къ парку, замедленными шагами двигался Грубинъ.

Онъ немного усталъ. Послѣ завтрака пошелъ онъ пѣшкомъ въ Тирлево, погулялъ въ дальней части павловскаго парка и возвратился—все пѣшкомъ—только другимъ путемъ, отъ тирлевской платформы не по красной дорожкѣ, вдоль дубовой аллеи для всадниковъ, а по вымъ городскимъ паркомъ, и вышелъ на аллею лиственницъ, недалеко отъ того мѣста, гдѣ купальни.

Прогулки Царскаго и Павловска привлекали его. Онъ думалъ даже, съѣздивши въ Швейцарію, поселиться здѣсь и на зиму, только въ другомъ домѣ.

Вчера, въ Петербургѣ, ему посулили, въ конторѣ, корешаго наемщика его дачи, до конца срока контракту, по съ условіемъ, чтобы онъ оставилъ часть мебели.

На это онъ сейчасъ же согласился. Заграничная поѣздка устрихнеть его. Если на водахъ будетъ слишкомъ однообразно, онъ проѣдетъ куда-нибудь подальше, а къ осени, быть-можетъ, доберется до Испаніи. Объ этой поѣздкѣ сколько разъ мечтали они съ Катей, перечитывали письма Боткина, изучали книги.

Да такъ и не собралась. Остальное въ Европѣ слишкомъ извѣстно. Все, какъ мухи, заспѣли англичане. Показывается тотъ же „силошной табль-д'отъ“, по выраженію

одного его пріятеля, тошная до-нельзя жизнь туриста, связанная съ необходимостью выносить важность или на-явливостъ разноплеменныхъ кельнеровъ.

Тамъ, по крайней мѣрѣ, все будетъ ново: природа, типы, языкъ, городскіе нравы, искусство, огромное историческое прошлое, народная пѣсня и пляска.

У себя никакіе дѣловые и общественные интересы не придерживали его... Идти опять на земскую службу раньше новаго трехлѣтія нельзя, имѣнія у него не было, а только домъ. Управляющій заботится о немъ и въ треть доставляетъ ему доходъ.

Зимой, въ уединеніи Царскаго, онъ, быть-можетъ, въ состояніи будетъ поработать надъ матеріалами, накопленными за время службы.

Думать объ этомъ вплотную онъ рѣшительно не могъ. Его силы уходили на внутреннюю борьбу съ собою, какъ бы совсѣмъ не уложить себя, не впасть въ маразмъ.

Къ людямъ его рѣшительно не влекло—къ петербургскимъ знакомымъ; да ихъ надо было, къ тому же, искать по дачамъ... Заграничное лѣченіе приходилось начать, хоть онъ и туго соглашался съ докторомъ... Тотъ на-дняхъ еще разъ наставлялъ, простукавъ, и очень чувствительно, его печень.

Въ пѣшеходной аллеѣ пихтъ тѣни пошли гуще и вѣтви съ пушистою хвоей касались одна другой и нависали сво-домъ синева-зеленаго оттѣнка.

Изрѣдка проѣзжалъ по средней широкой аллеѣ барскій экипажъ: ландо, викторія въ одну лошадь, пролетка на резинахъ, и мелькала красная или бѣлая фуражка офицера.

Шагахъ въ пятнадцать Грубинъ увидалъ, впереди, длинное, колышущееся туловище выѣзднаго лакея въ ливреѣ и свѣтло-гороховыхъ штиблетахъ. Ливрея была съ золотыми аксельбантами.

Изъ-за лѣваго плеча лакея выдѣлялась фигура дамы, полускрытая полосатымъ зонтикомъ.

Грубинъ узналъ Марусю Аксамитову.

„Подъ прикрытіемъ выѣзднаго... скажите пожалуйста!“—почти злобно выговорилъ онъ про себя и ускорилъ шагъ.

Онъ сдѣлалъ такъ, точно противъ воли, замѣтилъ это и, сдержавъ себя, на нѣсколько секундъ остановился.

Вѣдь онъ до сихъ поръ не сдѣлалъ визита Аксамитовымъ, что, по свѣтскимъ правиламъ, невѣжливо. Даже его

Батя сказала бы ему: „Вова, это не дѣлается!“ Да, не собиравшись онъ сдѣлать имъ визитъ, по крайней мѣрѣ, не подумалъ о немъ ни вчера, ни третьего дня.

И все-таки онъ пошелъ скорѣе, поравнялся съ Марусей, водвинулъ шляпу и сказалъ громко и возбужденно:

— Здравствуйте!.. Гуляете?..

Она остановилась тотчасъ же, и вся выпрямилась, повернувшись свой станъ къ нему.

Теперь онъ могъ схватить ея наружность гораздо цѣльнѣе, чѣмъ въ Павловскѣ. Отъ зонтика—темно-красными и бѣлыми широкими полосами—ложились тѣни на лицо, и безъ того оттѣненное широкими бортами кружевной черной шляпки.

Онъ нашелъ ее неожиданно красивой. Такого лица онъ нигдѣ и никогда не встрѣчалъ... Лицо это было, въ общемъ, не русское, хотя сходство съ отцомъ сидѣло въ профилѣ, а въ разрѣзѣ глазъ съ матерью; но они у ней были другого цвѣта—синіе, а не черные, какъ шпанскія кшши, и не съ тѣмъ вовсе выраженіемъ.

Прозрачная, золотистая бѣлизна кожи дышала необычайнымъ изяществомъ. Рѣсницы шли темною линіей и углубляли взглядъ печальныхъ глазъ; губы, тонкія и розовыя, чуть-чуть улыбались.

И ея станъ, гибкій и могучій, — станъ молодой женщины, строгими линіями очерчивалъ корсажъ свѣтлаго платья изъ шерстяной ткани, полосами, съ грудью, задрапированною шелковою матеріей, точно волнами поперечныхъ складокъ.

Маруся подала ему свободную руку въ черной длинной перчаткѣ. На другой рукѣ, которая держала зонтикъ, висѣлъ небольшой мѣшокъ изъ чернаго же плюша со стальнымъ кольцомъ.

Она глядѣла на него привѣтливо, но глаза не веселѣли.

— Гуляли?—переспросилъ Грубинъ, и они пошли рядомъ.

Онъ разсудилъ, что всего лучше будетъ поговорить съ нею тономъ мужчины солидныхъ лѣтъ съ совсѣмъ молодою дѣвушкой.

— Да,—отвѣтила она звонко, низкою нотой и съ неумолимою примѣсью чего-то иностраннаго въ языкѣ. — Я ходила пѣшкомъ въ Тярлево.

Въ словѣ „Тярлево“ картавость слышалась явственно.

— Въ Тярлево? — переспросилъ Грубинъ, довольный

тѣмъ, что онъ не чувствуетъ никакого смущенія, даже никакой неловкости.

Голову онъ держалъ низко, какъ бы нарочно не желая глядѣть на свою спутницу.

Въ ней онъ видѣлъ ту же невозмутимую выдержку, но звукъ ея голоса—чрезвычайно ему пріятный—былъ мягче и проще. Она не отказывалась отъ разговора и не ускорила шага, ничѣмъ не показывая, что ей не слѣдуетъ идти съ нимъ рядомъ и разговаривать.

Да и лакей „снесалъ положеніе“,—подумалъ онъ тутъ же, переводя мысленно обычную французскую фразу.

— Къ вашей маман,—продолжалъ Грубинъ, не оборачиваясь въ ней лицомъ,—я не собрался... Възидъ по дѣламъ въ городъ.

Не сказать этого нельзя было.

— Въ которомъ часу она принимаетъ?

— Послѣ четырехъ... Теперь она дома... Рара встрѣтитъ меня въ саду, тамъ, гдѣ обѣдискъ...

Она искала русскихъ словъ. Слѣдовало бы заговорить по-французски. Но Грубинъ не хотѣлъ. Съ женой они постоянно говорили по-русски, и онъ поотсталъ отъ французскаго языка. Самолюбивая боязнь оказаться не на одномъ уровнѣ въ свѣтскомъ жаргонѣ удержала его, хотя онъ въ этомъ бы и не сознался.

— Памятникъ Орлову и другимъ екатерининскимъ героямъ?—оживленно спросилъ онъ.

— Я не знаю... Кажется.

Маруся отвѣтила это съ очень милою усмѣшкой... Въ эту минуту онъ взглянулъ на нее и по немъ прошло ощущение, точно она его обожгла своею красотой.

— И вы пѣшкомъ въ Тирлево и назадъ?

— Да... Это не много...

Она шла большимъ шагомъ и держалась прямо, но безъ жесткости многихъ нынѣшнихъ дѣвизъ, подражающихъ англичанкамъ.

— Я тоже былъ тамъ... въ лѣсу... Бродилъ...

Грубинъ почувствовалъ на своемъ лицѣ косвенный взглядъ Маруси.

— Вы всегда одинъ?—спросила она, и голосъ ея звучалъ совсѣмъ иначе.

— Одинъ,—вымолвилъ онъ, опять не смѣя поднять на нее глазъ.

— Вашъ другъ... говорилъ намъ...

Она не досказала; но онъ понялъ конецъ: говорилъ про его вдовство, про его свѣжее горе.

Скоро дошли они до воротъ съ надписью на наружномъ фасадѣ: „Любезнымъ моимъ сослуживцамъ“.

— Вы позволите пройти съ вами... до обелиска?—вдругъ спросилъ онъ и даже удивился.

Онъ рѣшилъ уже про себя раскланяться съ нею какъ разъ на этомъ самомъ мѣстѣ.

## XI.

— Вы никогда не читали надпись на доскѣ?—спросилъ Грубинъ Марусю.

Они стояли передъ обелискомъ въ память Орлова съ товарищами.

— Нѣтъ... Я не обращала вниманія.

До этого мѣста они шли все такъ же скоро. Разговоръ ихъ былъ отрывчатый.

Маруся достала черепаховый лорнетъ, приложила къ глазамъ и наклонила голову, разбирая надпись изъ рельефныхъ металлическихъ буквъ; кое-гдѣ онѣ выпали.

По ея взгляду онъ увидалъ, что она дѣйствительно близорука, а не изъ модничанья прикладываетъ лорнетъ, лично ему очень противный съ тѣхъ поръ, какъ это вошло въ обычай даже въ самомъ среднемъ кругу.

— Я ничего не понимаю!

Возгласъ ея былъ искренній и съ отбѣнкомъ юмора.

— Не понимаете?

— Увѣряю васъ... Прочтите.

— Да, довольно-таки курьезно на нынѣшній вкусъ, да и безъ всякихъ знаковъ препинанія.

— А кто это... сочинилъ?—спросила она серьезно.

— Должно-быть, великая жена.

— Екатерина Вторая?

— Я думаю... Она была охотница до писанья на всѣхъ языкахъ, какіе знала. А о знакахъ препинанія тогда не заботились. Екатерина сама признавала первобытность своей орфографіи.

— Да?—заинтересованнымъ звукомъ откликнулась Маруся.

— Объ этомъ есть подробности... Напримѣръ, въ запискахъ ея секретаря Трощинскаго, если память мнѣ не изменяетъ.

Грубинъ былъ доволенъ своимъ тономъ съ этою дѣвуш-

кой, развернувшию передъ нимъ свою красоту. Всякая неловкость прошла. И онъ могъ внимательнѣе прислушаться и присмотрѣться къ ней... Ея тонъ ему нравился. Въ звукахъ голоса пробивалась простота и настоящая порядочность, безъ всякаго ломанья... Самый этотъ звукъ говорилъ объ умѣ. Ничего вздорнаго и напускнаго не схватилъ онъ въ ея вопросахъ и отвѣтахъ. Она не важничала съ нимъ, не дичилась, не желала ни занимать его, ни пускаться въ ходъ свѣтскіе тоны, показывать ему, что она изъ самаго „select society“. Мысленно онъ употребилъ это выраженіе, подмѣчая въ ней что-то какъ бы англійское въ походкѣ и манерѣ держать себя.

— Отца вашего я не вижу, — сказалъ Грубинъ, осматриваясь.

— Опоздалъ... Съ нимъ это бываетъ.

Она улыбнулась. Ея улыбка губами, при серьезномъ, почти печальномъ взглядѣ синихъ глубокихъ глазъ, плѣняла въ ней особенно.

Лакей стоялъ поодаль, около прохода по большимъ камнямъ черезъ воду.

Вправо отъ нихъ шла, вся въ тѣни, дорожка со скамейками вдоль канавы.

— Вы его подождете?—спросилъ Грубинъ.

Оставить ее теперь одну показалось ему совсѣмъ немислимымъ, точно онъ не желаетъ встрѣтиться съ ея отцомъ... Вѣдь, она ему сказала, что мать ея принимаетъ какъ разъ въ эти часы, до семи, и жили они въ двухъ шагахъ отъ сада, въ одной изъ улицъ, параллельныхъ съ проѣздомъ.

— Не хотите ли отдохнуть?—сказалъ онъ неуверенно и взглянулъ на нее.

— Да, — отвѣтила она своимъ нерусскимъ звукомъ. гласная выходила у ней шире и звончѣе.

Маруся сдѣлала знакъ лакею и сказала, когда онъ подходилъ къ нимъ:

— Вы будете тутъ,—и она указала рукой.

Грубину захотѣлось узнать, гдѣ она воспитывалась, и опредѣлить, который же ей годъ.

„Конечно, не семнадцать“, — подумалъ онъ, когда они сѣли на ближайшій диванъ.

Она была свѣжа и дѣвственная ясность свѣтилась въ глазахъ, смягчая ихъ строгій блескъ; но въ ней уже чуялась дѣвушка подъ двадцать лѣтъ.



— Марья Орестовна, такъ, если не ошибаюсь?

Она кивнула головой.

— Позвольте мнѣ одинъ нескромный вопросъ.

— Пожалуйста.

— Вы въ Россіи воспитывались?

— Да... сначала... Потомъ много за границей.

— Постоянно дома?

— О, нѣтъ... была въ двухъ...

Слово не давалось ей.

— Пансіонахъ?—подсказалъ Грубинъ.

— Des couvents! — выговорила она съ чуть замѣтною усмѣшкой.

— Въ монастыряхъ? Католическихъ?

— Это школы.

— При монастыряхъ?

— Подъ надзоромъ сестеръ.

— И гдѣ же, смѣю спросить?

— Сначала въ Брюсселѣ... два года... Потомъ я оставалась дома. Мы жили тогда въ Кавнѣ,—выговорила она, сдѣлавъ усиліе, чтобы съ русскимъ окончаніемъ произнести имя французскаго города.

Грубинъ слушалъ, заинтригованный, съ опущенною головой, и тростью чертилъ по песку дорожки.

— И три года въ Petits Oiseaux.

— Это что же такое?.. Въ птичкахъ, стало-быть? — смѣшливо спросилъ Грубинъ и взглянулъ на нее смѣло и спокойно, взглядомъ женатаго человѣка, говорящаго съ подросткомъ.

Маруся сдержанно засмѣялась. Ея крѣкіе, не очень крупные зубы блеснули полоской и сразу придали рту мягкое, почти добродушное выраженіе.

— Птички... Да... Такъ называется одна школа... въ Версали.

— Тоже у монашекъ?

— Какъ вы сказали?

Она оживилась.

— У монашекъ... Des soeurs, должно-быть, les soeurs de la sagesse?.. какъ я гдѣ-то во Франціи видѣлъ на выѣскѣ одной школы.

— De la sagesse!—повторила она и рѣзко захохотала.

Въ звукъ этого смѣха было что-то совсѣмъ не похожее на усмѣшку ея рта, недоброе, почти дерзкое или озлобленное.

— Это его смутило.

— Нѣтъ,—продолжала она прежнимъ тономъ,—это дурія сестры.

— И послѣ того вы уже выѣзжали?

— Куда?—спросила она наивно.

— Выѣзжали... въ свѣтъ? Васъ вывозили?.. Какъ говорится по-русски.

— Ахъ, да!.. Меня не вывозили,—промолвила она спокойно.

— Совсѣмъ?

— Почти... Последнюю зиму... Мы все мѣняли мѣста... И оставалась съ отцомъ... Маманъ жила одна... для здоровья... на югѣ.

Она отвела немного глаза въ сторону и тотчасъ же быстро оглянула его.

— Вы это спросили... потому, что я такая... старая?

— Старая!

Грубинъ разсмѣялся.

— Я не скрываю своихъ лѣтъ,—выговорила Маруся.

— Но не выдаете ихъ... изъ любви къ маманъ?

Вопросъ вылетѣлъ у Грубина и ему стало неловко за себя. Это не было похоже на него... Онъ такихъ шутокъ не любилъ.

Лицо Маруси немножко затуманилось.

— Маманъ еще десять лѣтъ будетъ совсѣмъ молодая.

Она выговорила это безъ ироніи и безъ всякой дѣланной сладости.

— Вамъ семнадцать? — сказалъ Грубинъ какъ бы про себя.

— Больше, — замѣтила Маруся, и положила свой мѣшочекъ на диванъ.

— И это удивительно,—заговорилъ Грубинъ, точно желая загладить свою безтактность, разговоръ о лѣтахъ, — вы воспитаны французскими монахинями, а такъ свободно говорите по-русски.

— О, нѣтъ!—искренно воскликнула Маруся.—Мнѣ часто недостаетъ словъ. Правда, я всегда говорила... Когда ѣздилъ русскій учитель изъ Парижа, три раза въ недѣлю. Маманъ всегда говоритъ со мною по-русски... И рара также. Онъ самъ... такъ хорошо пишетъ... Даже стихи... Эпиграммы.

Въ тонѣ отзыва объ отцѣ проскользнула симпатія. И это отмѣтилъ Грубинъ.

Мѣшокъ ея раскрылся. Оттуда выглянулъ желтый то-  
никъ.

— Читала въ паркѣ?—спросилъ Грубинъ, нагибаясь.

— Ничего не прочла.

— Позволительно узнать? Французскій романъ?

— Да... „Mensonges“.

— Поля Бурже? — удивленно выговорилъ Грубинъ и  
подумалъ: „Вотъ ты какія книжки читаешь!“

— Это мой любимый авторъ, — совершенно просто за-  
мѣтила Маруся.

## XII.

— Вотъ и самъ папа.

Грубинъ подавилъ въ себѣ недовольство. Приходъ отца  
прервалъ разговоръ о ея любимомъ авторѣ. Онъ издали  
поклонился Аксамитову и всталъ.

Съ своего мѣста можно было оглядѣть отца Маруси  
удобнѣе, чѣмъ это было тогда, въ Павловскѣ. Онъ въ  
этотъ разъ показался ему какъ бы повыше ростомъ и  
худощавѣе. Моложавости фигуры и походки помогали и  
свѣтлосѣрый, изъ легкаго трико, сюртъ. Аксамитовъ шелъ  
немного раскачиваясь, подъ свѣтло-сѣрымъ шелковымъ же-  
ловиткомъ и привѣтствовалъ ихъ рукой, на французскій  
манеръ, не снимая съ головы шоколаднаго котелка.

— Какъ онъ молодъ, вашъ отецъ, — шолголосо ска-  
залъ Грубинъ.

Маруся чуть-чуть усмѣхнулась.

— Да, онъ совсѣмъ не старъ... Какихъ-нибудь сорокъ  
лѣтъ... что же это такое?

— По-заграничному—да, но въ Россіи и мужчина го-  
раздо раньше старѣетъ.

Его фразу Аксамитовъ разслыхалъ въ трехъ шагахъ и,  
не доходя къ нимъ, сказалъ:

— Совершенно вѣрно!.. У французовъ пятидесятилѣт-  
ній человѣкъ un homme jeune encore.

Съ негромкимъ смѣхомъ пожалъ онъ, очень привѣтливо,  
руку Грубину и спросилъ дочь, нагибаясь къ ней, съ лю-  
бовью въ большихъ голубыхъ глазахъ:

— Ты давно ждешь?

— Не очень... Monsieur Грубинъ былъ такъ любезенъ...  
сидѣлъ со мною. Мы встрѣтились въ аллеѣ.

— Merci!—кинулъ Аксамитовъ въ сторону Грубина. —  
Меня задержали тамъ, на озерѣ. Встрѣтилъ цѣлое обще-

ство и увлекли меня кататься на лодкѣ... Какой чудесный день!

Онъ говорилъ чрезвычайно молодо и возбужденно. Въ лицѣ его Грубинъ что-то не замѣчалъ безпрестаннаго подергиванія щекъ въ углахъ рта. И монокля не было въ глазу. Весь его тонъ рѣзко отличался отъ того, какой Грубинъ подмѣтилъ въ немъ въ вечеръ ихъ знакомства... При женѣ онъ держалъ себя слащаво и свѣтски безвкусно, такъ что нельзя было и опредѣлить, какой онъ: глупый или умный, безцвѣтный или блестящій?

„Мужъ своей жены“,—подумалъ Грубинъ, и почему-то ему стало его жалко.

— Пожалуйста... Садитесь, — пригласилъ онъ его. — Я постою.

— Мѣста хватитъ на всѣхъ.

Грубину нравилось и то, что этотъ баринъ, смахивающій скорѣе на иностранца, не любитъ французить, говорить прекраснымъ русскимъ языкомъ, которому только природная картавость, безъ всякой аффектаціи, придавала немного изнѣженный оттѣнокъ.

Невольно сравнилъ онъ лица дочери и отца и нашелъ опять какое-то, сразу неуловимое, сходство въ отливѣ волосъ, только у Маруси они были темнѣе,—и въ линіи носа, но вся посадка стана и овалъ лица были не его.

Аксамитовъ сѣлъ между ними и, обратившись къ Грубину, спросилъ:

— Вы позволите мнѣ сигару?

— Помилуйте!.. Я не дама!.. Самъ я курю... больше папиросы.

— Маруся моя привыкла къ сигарамъ своего отца. Она могла бы разрѣшить вамъ и папиросу.

— Но, папа... Я не знала, что monsieur Грубинъ курить.

— Вѣрю. Она у меня,—продолжалъ все игривѣе Аксамитовъ, вынимая черепаховую сигарочницу, — не имѣетъ никакой склонности къ куренію. Жена моя курить очень мало, но все-таки курить. И, вы видите, дурные примѣры не всегда заразительны. Вы по этой части какихъ придерживаетесь взглядовъ? По-вашему, воспитаніе все или природа все?

— И то, и другое,—отвѣтилъ ему въ тонъ Грубинъ.

Маруся сидѣла лицомъ къ водѣ, но на ея губахъ блуждала усмѣшка. Выраженіе глазъ стало мягче.

— А я думаю, все въ насъ самихъ!.. Иначе мы выхо-

дили бы изъ школы съ одпою исправкой и съ одними свойствами, а этого нѣтъ и никогда не было.

— Однако, папа, — возразила Маруся, — она не поднимала головы и не глядѣла на него, — возьми французовъ, мужчинъ и женщинъ... Какъ они на насъ не похожи... Но характеромъ только, а идеями, привычками... enfin tout leur régime moral, — выговорила она быстро, не находя русскихъ словъ. — Это что же?.. Это воспитаніе, а не натура.

— Марья Орестовна права, — замѣтилъ Грубинъ.

Онъ и вслушивался въ ея слова и ихъ звуки, и глядѣлъ на нее изъ-подъ бортовъ своей соломенной шляпы.

Маруся говорила тихо, не возвышая ни на одну ноту переливовъ голоса, точно она думала вслухъ, и не то что хотѣла убѣждать, а высказывала только вслухъ свои интимныя мысли. Это очень шло къ ней.

— Можетъ-быть! — живо, съ искрой въ смѣющихся глазахъ воскликнулъ Аксамитовъ и, перебивая себя, сказалъ дочери вполголоса: — Pourquoi garder le valet de pied? — на что она отвѣтила наклоненіемъ головы. — Ты можешь идти! — приказалъ онъ лакею и жестомъ отпустилъ его.

— Можетъ-быть, Маруся и права, — повторилъ Аксамитовъ, закуривая старую благоухающую сигару. — Знаете, нынѣшняя молодежь обоего пола вступаетъ въ жизнь съ такимъ... взглядомъ на жизнь... слишкомъ ужъ трезвымъ, чтобы не сказать безощаднымъ... Во Франціи они все оправдываютъ тѣмъ, что вотъ, видите ли, ихъ дѣтство омрачено... l'année terrible... Ну, а наши?.. И въ особенноти барышни?

Онъ сквозь сизый дымъ сигары взглянулъ на дочь и усмѣхнулся.

Маруся не видала этой усмѣшки, но она ее почувствовала и, не оборачивая головы, все тѣмъ же вдумчивымъ тономъ, сказала:

— Въ этомъ онѣ не виноваты.

— Это въ воздухѣ, значить? — спросилъ шутливо отецъ.

— Я не знаю.

— Они всѣ, — продолжалъ Аксамитовъ, повернувшись плечами къ Грубину, — считаютъ насъ жалкими оптимистами... Мы сангвиники, а слово сангвиникъ — это для нихъ презрительное прозвище... Развѣ не такъ, Маруся?

— Ты знаешь, папа, я никого не презираю... C'est se bête les dada des entousiasmes, — вырвалось у ней съ болѣзненною живостью.



ство и увлекли меня кататься на лодкѣ... Какой чудный день!

Онъ говорилъ чрезвычайно молодо и возбужденно. Лицѣ его Грубинъ что-то не замѣчалъ безпрестаннаго подергиванія щекъ въ углахъ рта. И монокли не бы въ глазу. Весь его тонъ рѣзко отличался отъ того, какъ Грубинъ подмѣтилъ въ немъ въ вечеръ ихъ знакомства. При женѣ онъ держалъ себя слащаво и свѣтски безвкусно такъ что нельзя было и опредѣлить, какой онъ: глуп или умный, бездѣльный или блестящій?

„Мужъ своей жены“,—подумалъ Грубинъ, и почему ему стало его жалко.

— Пожалуйста... Садитесь, — пригласилъ онъ его. — постой.

— Мѣста хватитъ на всѣхъ.

Грубину нравилось и то, что этотъ баринъ, смахнувшій скорѣе на иностранца, не любитъ французить, говоритъ прекраснымъ русскимъ языкомъ, которому толъ природная картавость, безъ всякой аффектаціи, придаетъ лемного изнѣженный оттѣнокъ.

Невольно сравнилъ онъ лица дочери и отца и нашелъ опять какое-то, сразу неуловимое, сходство въ отливѣ лось, только у Маруси они были темнѣе, — и въ линіи но но вся посадка стана и овалъ лица были не его.

Аксамитовъ сѣлъ между ними и, обратившись къ Грубину, спросилъ:

— Вы позволите мнѣ сигару?

— Помилуйте!.. Я не дама!.. Самъ я курю... боль папиросы.

— Маруся моя привыкла къ сигарамъ своего отца. Она могла бы разрѣшить вамъ и папиросу.

— Но, паня... Я не знала, что monsieur Грубинъ куритъ.

— Вѣрю. Она у меня, — продолжалъ все игривѣе Аксамитовъ, вынимая черепаховую сигарочницу, — не имѣетъ никакой склонности къ куренію. Жена моя курить очень мало, но все-таки курить. И, вы видите, дурные примѣры не всегда заразительны. Вы по этой части какъ придерживаетесь взглядовъ? По-вашему, воспитаніе или природа все?

— И то, и другое, — отвѣтилъ ему въ тонъ Грубинъ.

Маруся сидѣла лицомъ къ водѣ, но на ея губахъ была усмѣшка. Выраженіе глазъ стало мягче.

— А я думаю, все въ насъ самихъ!.. Иначе мы вы

длин бы изъ школы съ одною исправкой и съ одними свойствами, а этого нѣтъ и никогда не было.

— Однако, папа, — возразила Маруся, — она не поднимала головы и не глядѣла на него, — возьми французовъ, мужчинъ и женщинъ... Какъ они на насъ не похожи... Не характеромъ только, а идеями, привычками... enfin tout leur régime moral, — выговорила она быстро, не находя русскихъ словъ. — Это что же?.. Это воспитаніе, а не натура.

— Марья Орестовна права, — замѣтилъ Грубинъ.

Онъ и вслушивался въ ея слова и ихъ звуки, и глядѣлъ на нее изъ-подъ бортовъ своей соломенной шляпы.

Маруся говорила тихо, не возвышая ни на одну ноту переливовъ голоса, точно она думала вслухъ, и не то что хотѣла убѣждать, а высказывала только вслухъ свои интимныя мысли. Это очень шло къ ней.

— Можетъ-быть! — живо, съ искрой въ смѣющихся глазахъ воскликнулъ Аксамитовъ и, перебивая себя, сказалъ дочери вполголоса: — Pourquoi garder le valet de pied? — на что она отвѣтила наклопеніемъ головы. — Ты можешь идти! — приказалъ онъ лакею и жестомъ отпустилъ его.

— Можетъ-быть, Маруся и права, — повторилъ Аксамитовъ, закуривая старую благоухающую сигару. — Знаете, нынѣшняя молодежь обоего пола вступаетъ въ жизнь съ такимъ... взглядомъ на жизнь... слишкомъ ужъ трезвымъ, чтобы не сказать безощаднымъ... Во Франціи они все оправдываютъ тѣмъ, что вотъ, видите ли, ихъ дѣтство омрачено... l'année terrible... Ну, а наши?.. И въ особенности барышни?

Онъ сквозь сизый дымъ сигары взглянулъ на дочь и усмѣхнулся.

Маруся не видала этой усмѣшки, но она ее почувствовала и, не оборачивая головы, все тѣмъ же вдумчивымъ тономъ, сказала:

— Въ этомъ онѣ не виноваты.

— Это въ воздухѣ, значить? — спросилъ шутливо отецъ.

— Я не знаю.

— Они всѣ, — продолжалъ Аксамитовъ, повернувшись плечами къ Грубину, — считают насъ жалкими оптимистами... Мы сангвиники, а слово сангвиникъ — это для нихъ презрительное прозвище... Развѣ не такъ, Маруся?

— Ты знаешь, папа, я никого не презираю... C'est se bête les dada des entousiasmes, — вырвалось у ней съ бѣзъ-шумъ живостью.

огромной шляпѣ, закрывавшей половину ея маленькаго лица. На глазахъ выступили капельки слезъ и щеки пылали подъ-стать цвѣту пунцоваго корсажа.

Съ лѣвой стороны круга сидѣли офицеръ въ кителѣ и рейтузахъ, рядомъ дама однихъ лѣтъ съ нимъ, крупная, съ лицомъ крестьянскаго типа, очень нарядная, сильно затянута, съ полуголыми руками. Немного поодаль тотъ самый старикъ, котораго Грубинъ видѣлъ, когда онъ разговаривалъ съ Аксамитовыми въ антрактѣ между двумя цыганскими пѣснями.

— Aimée, — сказалъ хозяинъ, указывая на гостя. — Monsieur Грубинъ!.. Нашелъ меня съ Марусей въ саду...

„Aimée?“ — спросилъ себя Грубинъ и тотчасъ же сообразилъ, что это переводъ русской „Любови“.

Она, не приподнимаясь, поклонилась ему, обласкала своими глазами, похожими на вишни, и протянула прекрасную полную руку широкимъ и красивымъ жестомъ.

Безъ шляпки она смотрѣла моложе на нѣсколько лѣтъ, въ полусвѣтѣ прохладной комнаты, полной цвѣтовъ и драпировокъ, какъ и гостиная. Голова небольшая, съ черными блестящими волосами, вчесанными на маковкѣ маленькою діадемой,ставляла бѣлизну, кажется, естественную, овальнаго величаваго облика. Шея, открытая довольно низко, сохранилась удивительно, — такая же бѣлая, какъ у дочери, но толще и немного грубѣе по контурамъ. Драпировка платья, въ родѣ греческой туники, цвѣта сѣме, скрадывала нѣкоторую ожирѣлость бюста сорокалѣтней женщины.

— Очень любезны, что не забыли насъ, — привѣтствовала она его своимъ молодежавымъ высокимъ голосомъ.

И съ круговымъ жестомъ другой руки она назвала всѣмъ:

— Monsieur Грубинъ... Товарищъ Валерія Ивановича.

Всѣ поклонились, но она ихъ поодионокѣ не представляла Грубину, за что онъ внутренно поблагодарилъ ее.

Онъ не любилъ взаимныхъ представленій.

— Нѣтъ!.. Это невозможно! — залепетала дама въ красномъ, опять взвизгнула и перегнулась вдвое, послѣ чего закинула назадъ голову.

— Вава, вы сломаете себѣ спину, — остановила ее хозяйка. — Генералъ, смирите вашу дочь. Она заболѣетъ.

Старикъ выпятилъ толстыя губы, и его хмурыя брови задвигались надъ сѣрыми глазами, которыми онъ силился



улыбнуться. Онъ точно на всѣхъ сердился за что-то и его растущая въ разные стороны сѣдая борода шаршавилась на щекахъ.

— Mademoiselle Barbe... Въ чемъ дѣло?

Съ этимъ вопросомъ Аксамитовъ присѣлъ къ Вавѣ и пріятельскимъ жестомъ взялъ ее за руку.

Но общій тонъ его сейчасъ же измѣнился, какъ только онъ пришелъ домой. Это замѣтилъ Грубинъ.

— Ахъ!—Ваву все еще колыхалъ смѣхъ.— Я не буду, дорогая!— пылко обратилась она къ хозяйкѣ и вся прильнула къ ней.— Простите... Я, если расхохочусь, удержаться не могу!

— Въ чемъ же дѣло?—спросилъ онъ еще разъ.

— Да не все ли равно?—замѣтилъ генералъ такимъ же унылымъ голосомъ, какъ и выраженіе его бровей.— Варвара Сергѣевна все равно, что миноноска...

Онъ выразительно взглянулъ на мужчинъ.

— Папа! Развѣ это можно?—закричала Вава и опять прильнула къ хозяйкѣ.— Любовь Ѳедоровна... Дорогая... Я не уйду, не добившись отъ васъ... будете завтра на скачкахъ?

— Милая Вава... Эти скачки такъ пріѣлись.

— Радость моя!..

Вава была уже на коѣняхъ, сложила руки и умоляющимъ голосомъ повторяла:

— Возьмите меня!.. Возьмите! Возьмите! Папа не хочетъ! Да и я также... Онъ все ворчитъ! Я не уйду!

— Варвара Сергѣевна, извольте встать!

Офицеръ съ очень молодежавымъ хорошенькимъ лицомъ брнетика, лѣтъ подъ тридцать, подбѣжалъ къ Вавѣ и сажалъ ее поднять.

Къ нему присоединился и хозяинъ.

Всѣ смѣялись, но Грубинъ подмѣтилъ взглядъ, брошенный женой офицера на обѣихъ женщинъ. Взглядъ выдавалъ постоянную тревогу жены, влюбленной въ мужа и только напускающей на себя видъ той равнодушной бойкости, какая пріобрѣтается полковыми дамами.

Наконецъ, Ваву подняли.

— Ѣдете? Берете меня? Дорогая!

— Ну, хорошо, — выговорила Аксамитова. — Да какія завтра скачки?

— Офицерскія, — крикнула Вава.

— Вы держите за кого-нибудь?—спросилъ Грубинъ.

огромной шляпѣ, закрывавшей половину ея маленькаго лица. На глазахъ выступили капельки слезъ и щеки пылали подъ-стать цвѣту пунцоваго корсажа.

Съ лѣвой стороны круга сидѣли офицеръ въ кителѣ и рейтузахъ, рядомъ дама однихъ лѣтъ съ нимъ, крупная, съ лицомъ крестьянскаго типа, очень нарядная, сильно затинутая, съ полуголыми руками. Немного поодаль тотъ самый старикъ, котораго Грубинъ видѣлъ, когда онъ разговаривалъ съ Аксамитовыми въ антрактъ между двумя цыганскими пѣснями.

— Aimée, — сказалъ хозяинъ, указывая на гостя. — Monsieur Грубинъ!.. Нашелъ меня съ Марусей въ саду...

„Aimée?“ — спросилъ себя Грубинъ и тотчасъ же сообразилъ, что это переводъ русской „Любови“.

Она, не приподнимаясь, поклонилась ему, обласкала своими глазами, похожими на вишни, и протянула прекрасную полную руку широкимъ и красивымъ жестомъ.

Безъ шляпки она смотрѣла моложе на нѣсколько лѣтъ, въ полусвѣтѣ прохладной комнаты, полной цвѣтовъ и драпировокъ, какъ и гостиная. Голова небольшая, съ черными блестящими волосами, вчесанными на маковѣ маленькою діадемой, выставляла бѣлизну, кажется, естественную, овальнаго величаваго облика. Шея, открытая довольно низко, сохранилась удивительно, — такая же бѣлая, какъ у дочери, но толще и немного грубѣе по контурамъ. Драпировка платья, въ родѣ греческой тунники, цвѣта сѣме, скрадывала нѣкоторую ожирѣлость бѣста сорокалѣтней женщины.

— Очень любезны, что не забыли насъ, — привѣтствовала она его своимъ молодежавымъ высокимъ голосомъ.

И съ круговымъ жестомъ другой руки она назвала всѣмъ:

— Monsieur Грубинъ... Товарищъ Валерія Ивановича.

Всѣ поклонились, но она ихъ поодиначѣ не представляла Грубину, за что онъ внутренне поблагодарилъ ее.

Онъ не любилъ взаимныхъ представленій.

— Нѣтъ!.. Это невозможно! — залепетала дама въ красномъ, опять взвизгнула и перегнулась вдвое, послѣ чего закинула назадъ голову.

— Вава, вы сломаете себѣ спину, — остановила ее хозяйка. — Генералъ, смирите вашу дочь. Она заболѣетъ.

Старикъ выпятилъ толстыя губы, и его хмурыя брови задвигались надъ сѣрыми глазами, которыми онъ силился

улыбнуться. Онъ точно на всѣхъ сердился за что-то и его растущая въ разныя стороны сѣдая борода шаршавилась на щекахъ.

— Mademoiselle Barbe... Въ чемъ дѣло?

Съ этимъ вопросомъ Аксамитовъ присѣлъ къ Вавѣ и пріятельскимъ жестомъ взялъ ее за руку.

Но общій тонъ его сейчасъ же измѣнился, какъ только онъ пришелъ домой. Это замѣтилъ Грубинъ.

— Ахъ!—Ваву все еще колыхалъ смѣхъ.— Я не буду, дорогая!— пылко обратилась она къ хозяйкѣ и вся прильнула къ ней.— Простите... Я, если расхожусь, удержаться не могу!

— Въ чемъ же дѣло?—спросилъ онъ еще разъ.

— Да не все ли равно?—замѣтилъ генераль такимъ же унылымъ голосомъ, какъ и выраженіе его бровей.— Варвара Сергѣевна все равно, что миноноска...

Онъ выразительно взглянулъ на мужчинъ.

— Папа! Развѣ это можно?—завричала Вава и опять прильнула къ хозяйкѣ.— Любовь Федоровна... Дорогая... Я не уйду, не добившись отъ васъ... будете завтра на скачкахъ?

— Милая Вава... Эти скачки такъ пріѣлись.

— Радость моя!..

Вава была уже на коѣнникахъ, сложила руки и умоляющимъ голосомъ повторяла:

— Возьмите меня!.. Возьмите! Возьмите! Папа не хочетъ! Да и я также... Онъ все ворчитъ! Я не уйду!

— Варвара Сергѣевна, извольте встать!

Офицеръ съ очень моложавымъ хорошенькимъ лицомъ брнетика, лѣтъ подъ тридцать, подбѣжалъ къ Вавѣ и сѣмился ее поднять.

Къ нему присоединился и хозяинъ.

Всѣ смѣялись, но Грубинъ подмѣтилъ взглядъ, брошенный женой офицера на обѣихъ женщинъ. Взглядъ выдавалъ постоянную тревогу жены, влюбленной въ мужа и только напускающей на себя видъ той равнодушной бойкости, какая пріобрѣтается полковыми дамами.

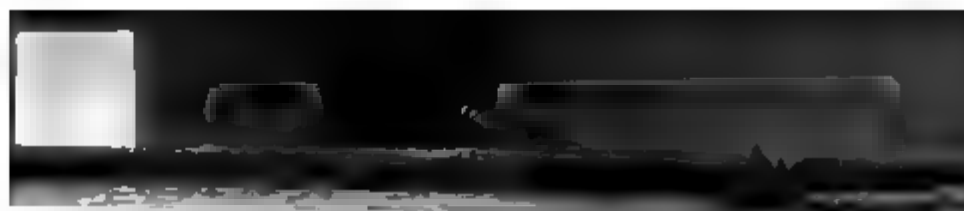
Наконецъ, Ваву подняли.

— Ѣдете? Берете меня? Дорогая!

— Ну, хорошо, — выговорила Аксамитова. — Да какія завтра скачки?

— Офицерскія,—крикнула Вава.

— Вы держите за кого-нибудь?—спросилъ Грубинъ.



огромной шляпѣ, закрывавшей половину ея маленькаго лица. На глазахъ выступили капельки слезъ и щеки пылали подъ-стать цвѣту пунцоваго корсажа.

Съ лѣвой стороны круга сидѣли офицеръ въ кителѣ и рейтузахъ, рядомъ дама однихъ лѣтъ съ нимъ, крупная, съ лицомъ крестьянскаго типа, очень нарядная, сильно затянутая, съ полуголыми руками. Немного поодаль тотъ самый старикъ, котораго Грубинъ видѣлъ, когда онъ разговаривалъ съ Аксамитовыми въ антрактѣ между двумя цыганскими пѣснями.

— *Aimée*,—сказалъ хозяинъ, указывая на гостя.—*Monsieur* Грубинъ!.. Нашелъ меня съ Марусей въ саду...

„*Aimée?*“—спросилъ себя Грубинъ и тотчасъ же сообразилъ, что это переводъ русской „Любови“.

Она, не приподнимаясь, поклонилась ему, обласкала своими глазами, похожими на вишни, и протянула прекрасную полную руку широкимъ и красивымъ жестомъ.

Безъ шляпки она смотрѣла моложе на нѣсколько лѣтъ, въ полусвѣтѣ прохладной комнаты, полной цвѣтовъ и драпировокъ, какъ и гостиная. Голова небольшая, съ черными блестящими волосами, вчесанными на маковкѣ маленькою діадемой, выставляла бѣлизну, кажется, естественную, овальнаго величаваго облика. Шея, открытая довольно низко, сохранилась удивительно,—такая же бѣлая, какъ у дочери, но толще и немного грубѣе по контурамъ. Драпировка платья, въ родѣ греческой туники, цвѣта сѣме, скрадывала нѣкоторую ожирѣлость бюста сорокалѣтней женщины.

— Очень любезны, что не забыли насъ, — привѣтствовала она его своимъ молодежавымъ высокимъ голосомъ.

И съ круговымъ жестомъ другой руки она назвала всѣмъ:

— *Monsieur* Грубинъ... Товарищъ Валерія Ивановича.

Всѣ поклонились, но она ихъ поодиначкѣ не представляла Грубину, за что онъ внутренно поблагодарилъ ее.

Онъ не любилъ взаимныхъ представленій.

— Нѣтъ!.. Это невозможно!—задепата дама въ красномъ, опять взвизгнула и перегнулась вдвое, послѣ чего закинула назадъ голову.

— Бава, вы сломаете себѣ спину, — остановила ее хозяйка.—Генералъ, смирите вашу дочь. Она заболѣетъ.

Старикъ выпятилъ толстыя губы, и его хмурыя брови задвигались надъ сѣрыми глазами, которыми онъ силился

улыбнуться. Онъ точно на всѣхъ сердился за что-то и его растущая въ разные стороны сѣдая борода шаршалась на щекахъ.

— Mademoiselle Barbe... Въ чемъ дѣло?

Съ этимъ вопросомъ Аксамитовъ присѣлъ къ Вавѣ и пріятельскимъ жестомъ взялъ ее за руку.

Но общій тонъ его сейчасъ же измѣнился, какъ только онъ пришелъ домой. Это замѣтилъ Грубинъ.

— Ахъ!—Ваву все еще колыхалъ смѣхъ.— Я не буду, дорогая!—пылко обратилась она къ хозяйкѣ и вся прильнула къ ней.— Простите... Я, если расхожусь, удержаться не могу!

— Въ чемъ же дѣло?—спросилъ онъ еще разъ.

— Да не все ли равно?—замѣтилъ генераль такімъ же унылымъ голосомъ, какъ и выраженіе его бровей.— Варвара Сергѣевна все равно, что миновоска...

Онъ выразительно взглянулъ на мужчинъ.

— Папа! Развѣ это можно?—закричала Вава и опять прильнула къ хозяйкѣ.— Любовь Федоровна... Дорогая... Я не уйду, не добившись отъ васъ... будете завтра на скачкахъ?

— Милая Вава... Эти скачки такъ пріѣлись.

— Радость моя!..

Вава была уже на коѣняхъ, сложила руки и умоляющимъ голосомъ повторяла:

— Возьмите меня!.. Возьмите! Возьмите! Папа не хочетъ! Да и я также... Онъ все ворчитъ! Я не уйду!

— Варвара Сергѣевна, извольте встать!

Офицеръ съ очень молодежавымъ хорошенькимъ лицомъ брѣтетки, лѣтъ подъ тридцать, подбѣжалъ къ Вавѣ и снѣлся ее поднять.

Къ нему присоединился и хозяинъ.

Всѣ смѣялись, но Грубинъ подмѣтилъ взглядъ, брошенный женой офицера на обѣихъ женщинъ. Взглядъ выдавалъ постоянную тревогу жены, влюбленной въ мужа и только напускающей на себя видъ той равнодушной бойкости, какая пріобрѣтается полковыми дамами.

Наконецъ, Ваву подняли.

— Ѣдете? Берете меня? Дорогая!

— Ну, хорошо, — выговорила Аксамитова. — Да какія завтра скачки?

— Офицерскія,—крикнула Вава.

— Вы держите за кого-нибудь?—спросилъ Грубинъ.

огромной шляпѣ, закрывавшей половину ея маленькаго лица. На глазахъ выступили капельки слезъ и щеки пылали подъ-стать цвѣту пунцоваго корсажа.

Съ лѣвой стороны круга сидѣли офицеръ въ кителѣ и рейтузахъ, рядомъ дама однихъ лѣтъ съ нимъ, крупная, съ лицомъ крестьянскаго типа, очень нарядная, сильно затянутая, съ полуголыми руками. Немного поодаль тотъ самый старикъ, котораго Грубинъ видѣлъ, когда онъ разговаривалъ съ Аксамитовыми въ антрактѣ между двумя цыганскими пѣснями.

— *Aimée*,—сказалъ хозяинъ, указывая на гостя.—*Monsieur Грубинъ!*.. Нашелъ меня съ Марусей въ саду...

„*Aimée?*“—спросилъ себя Грубинъ и тотчасъ же сообразилъ, что это переводъ русской „Любови“.

Она, не приподнимаясь, поклонилась ему, обласкала своими глазами, похожими на вишни, и протянула прекрасную полную руку широкимъ и красивымъ жестомъ.

Безъ шляпки она смотрѣла моложе на нѣсколько лѣтъ, въ полусвѣтѣ прохладной комнаты, полной цвѣтовъ и драпировокъ, какъ и гостиная. Голова небольшая, съ черными блестящими волосами, вчесанными на маковкѣ маленькою діадемой, выставляла бѣлизну, кажется, естественную, овальнаго величаваго облика. Шея, открытая довольно низко, сохранилась удивительно,—такая же бѣлая, какъ у дочери, но толще и немного грубѣе по контурамъ. Драпировка платья, въ родѣ греческой тунники, цвѣта сѣме, скрадывала нѣкоторую ожирѣлость бюста сорокалѣтней женщины.

— Очень любезны, что не забыли насъ, — привѣтствовала она его своимъ молодежавымъ высокимъ голосомъ.

И съ круговымъ жестомъ другой руки она назвала всѣмъ:

— *Monsieur Грубинъ*... Товарищъ Валерія Ивановича.

Всѣ поклонились, но она ихъ поодиночкѣ не представляла Грубину, за что онъ внутренне поблагодарилъ ее.

Онъ не любилъ взаимныхъ представленій.

— Нѣтъ!.. Это невозможно!—залепатала дама въ красномъ, опять взвизгнула и перегнулась вдвое, послѣ чего закинула назадъ голову.

— Вава, вы сломаете себѣ спину, — остановила ее хозяйка.—Генераль, смирите вашу дочь. Она заболѣетъ.

Старикъ выпятилъ толстыя губы, и его хмурые брови задвигались надъ сѣрыми глазами, которыми онъ силился

улыбнуться. Онъ точно на всѣхъ сердился за что-то и его растущая въ разныя стороны сѣдая борода шаршавилась на щекахъ.

— Mademoiselle Barbe... Въ чемъ дѣло?

Съ этимъ вопросомъ Аксамитовъ присѣлъ къ Вавѣ и пріятельскимъ жестомъ взялъ ее за руку.

Но общій тонъ его сейчасъ же измѣнился, какъ только онъ пришелъ домой. Это замѣтилъ Грубинъ.

— Ахъ!—Ваву все еще колыхалъ смѣхъ.— Я не буду, дорогая!— пылко обратилась она къ хозяйкѣ и вся прильнула къ ней.— Простите... Я, если расхожусь, удержаться не могу!

— Въ чемъ же дѣло?—спросилъ онъ еще разъ.

— Да не все ли равно?—замѣтилъ генералъ такимъ же унылымъ голосомъ, какъ и выраженіе его бровей.— Варвара Сергѣевна все равно, что миноноска...

Онъ выразительно взглянулъ на мужчинъ.

— Папа! Развѣ это можно?—закричала Вава и опять прильнула къ хозяйкѣ.— Любовь Федоровна... Дорогая... Я не уйду, не добившись отъ васъ... будете завтра на скачкахъ?

— Милая Вава... Эти скачки такъ пріѣлись.

— Радость моя!..

Вава была уже на колѣняхъ, сложила руки и умоляющимъ голосомъ повторяла:

— Возьмите меня!.. Возьмите! Возьмите! Папа не хочетъ! Да и я также... Онъ все ворчитъ! Я не уйду!

— Варвара Сергѣевна, извольте встать!

Офицеръ съ очень моложавымъ хорошенькимъ лицомъ броветика, лѣтъ подъ тридцать, подбѣжалъ къ Вавѣ и сажая ее поднять.

Къ нему присоединился и хозяинъ.

Всѣ смѣялись, но Грубинъ подмѣтилъ взглядъ, брошенный женой офицера на обѣихъ женщинъ. Взглядъ выдавалъ постоянную тревогу жены, влюбленной въ мужа и только напускающей на себя видъ той равнодушной бойкости, какая пріобрѣтается полковыми дамами.

Наконецъ, Ваву подняли.

— Ѣдете? Берете меня? Дорогая!

— Ну, хорошо, — выговорила Аксамитова. — Да какія завтра скачки?

— Офицерскія,—крикнула Вава.

— Вы держите за кого-нибудь?—спросилъ Грубинъ.

огромной шляпѣ, закрывавшей половину ея маленькаго лица. На глазахъ выступили капельки слезъ и щеки пылали подъ-стать цвѣту пунцоваго корсажа.

Съ лѣвой стороны круга сидѣли офицеръ въ кителѣ и рейтузахъ, рядомъ дама однихъ лѣтъ съ нимъ, крупная, съ лицомъ крестьянскаго типа, очень нарядная, сильно затянута, съ полуголыми руками. Немного поодаль тотъ самый старикъ, котораго Грубинъ видѣлъ, когда онъ разговаривалъ съ Аксамитовыми въ антрактъ между двумя цыганскими пѣснями.

— Aimée, — сказалъ хозяинъ, указывая на гостя. — Monsieur Грубинъ!.. Нашелъ меня съ Марусей въ саду...

„Aimée?“ — спросилъ себя Грубинъ и тотчасъ же сообразилъ, что это переводъ русской „Любови“.

Она, не приподнимаясь, поклонилась ему, обласкала своими глазами, похожими на вишни, и протянула прекрасную полную руку широкимъ и красивымъ жестомъ.

Безъ шляпки она смотрѣла моложе на нѣсколько лѣтъ, въ полусвѣтѣ прохладной комнаты, полной цвѣтовъ и драпировокъ, какъ и гостиная. Голова небольшая, съ черными блестящими волосами, вчесанными на маковкѣ маленькою діадемой,ставляла бѣлизну, кажется, естественную, овальнаго величаваго облика. Шея, открытая довольно низко, сохранилась удивительно, — такая же бѣлая, какъ у дочери, но толще и немного грубѣе по контурамъ. Драпировка платья, въ родѣ греческой тунники, цвѣта сѣме, скрадывала нѣкоторую ожирѣлость бюста сорокалѣтней женщины.

— Очень любезны, что не забыли насъ, — привѣтствовала она его своимъ молодежавымъ высокимъ голосомъ.

И съ круговымъ жестомъ другой руки она назвала всѣмъ:

— Monsieur Грубинъ... Товарищъ Валеріа Ивановича.

Всѣ поклонились, но она ихъ поодионокѣ не представляла Грубину, за что онъ внутренно поблагодарилъ ее.

Онъ не любилъ взаимныхъ представленій.

— Нѣтъ!.. Это невозможно! — залепетала дама въ красномъ, опять взвизгнула и перегнулась вдвое, послѣ чего закинула назадъ голову.

— Вава, вы ломаете себѣ спину, — остановила ее хозяйка. — Генераль, смирите вашу дочь. Она заболѣетъ.

Старикъ выпятилъ толстыя губы, и его хмурые брови задвигались надъ сѣрыми глазами, которыми онъ силился



улыбнуться. Онъ точно на всѣхъ сердился за что-то и его растущая въ разные стороны сѣдая борода шаршавилась на щекахъ.

— Mademoiselle Barbe... Въ чемъ дѣло?

Съ этимъ вопросомъ Аксамитовъ присѣлъ къ Вавѣ и пріятельскимъ жестомъ взялъ ее за руку.

Но общій тонъ его сейчасъ же измѣнился, какъ только онъ пришелъ домой. Это замѣтилъ Грубинъ.

— Ахъ!—Ваву все еще колыхалъ смѣхъ.— Я не буду, дорогая!— пылко обратилась она къ хозяйкѣ и вся прильнула къ ней.— Простите... Я, если расхожусь, удержаться не могу!

— Въ чемъ же дѣло?—спросилъ онъ еще разъ.

— Да не все ли равно?—замѣтилъ генералъ такимъ же унылымъ голосомъ, какъ и выраженіе его бровей.— Варвара Сергѣевна все равно, что миноноска...

Онъ выразительно взглянулъ на мужчинъ.

— Папа! Развѣ это можно?—закричала Вава и опять прильнула къ хозяйкѣ.— Любовь Федоровна... Дорогая... Я не уйду, не добившись отъ насъ... будете завтра на скачкахъ?

— Милая Вава... Эти скачки такъ пріѣлись.

— Радость моя!..

Вава была уже на колѣняхъ, сложила руки и умоляющимъ голосомъ повторяла:

— Возьмите меня!.. Возьмите! Возьмите! Папа не хотѣтъ! Да и я также... Онъ все ворчитъ! Я не уйду!

— Варвара Сергѣевна, извольте встать!

Офицеръ съ очень моложавымъ хорошенькимъ лицомъ бринетика, лѣтъ подъ тридцать, подбѣжалъ къ Вавѣ и смялся ее поднять.

Къ нему присоединился и хозяинъ.

Всѣ смѣялись, но Грубинъ подмѣтилъ взглядъ, брошенный женой офицера на обѣихъ женщинъ. Взглядъ выдавалъ постоянную тревогу жены, влюбленной въ мужа и только напускающей на себя видъ той равнодушной бойкости, какая пріобрѣтается полковыми дамами.

Наконецъ, Ваву подняли.

— Ѣдете? Берете меня? Дорогая!

— Ну, хорошо, — выговорила Аксамитова. — Да какія завтра скачки?

— Офицерскія, — крикнула Вава.

— Вы держите за кого-нибудь?—спросилъ Грубинъ.



— Я?—окликнула его Вава, вся красная, съ остатками слезинокъ на узкихъ глазкахъ. — Играю ли я?.. На что? Папа не даетъ ни конейки.

— Это вѣрно,—отозвался генераль и кивнулъ головой. Его слова вызвали опять смѣхъ.

Грубинъ тѣмъ временемъ успѣлъ осмотрѣться. Онъ попалъ въ военное общество, по тону, ему знакомое. Эта дѣвушка,—ей можетъ быть лѣтъ за двадцать,—несмотря на свою шумливость и дурачливость, порядочная особа. И какъ она увлечена Аксамитовой, именно увлечена! Преклоненіе передъ красотой и обаяніемъ хозяйки переполняетъ все ея существо. Она готова при всѣхъ цѣловать ея руки, только бы она поѣхала съ ней на скачки, только бы показаться на трибунѣ рядомъ съ ней.

И генераль, по всѣмъ признакамъ, резонеръ съ достоинствомъ, допускаетъ это преклоненіе.

А эта жена офицера наряжена такъ, какъ радятся для визита къ высокопоставленнымъ лицамъ, и держитъ себя на извѣстномъ разстояніи отъ хозяйки, какъ бы сознавая, что ей далеко до нея.

Словомъ, Аксамитова — предметъ общаго поклоненія и почета, если судить по тому, что Грубинъ видѣлъ въ ея домѣ.

И опять, точно на зло, память подсказала ему одно цинническое слово, врѣзавшееся ему въ ухо, изъ ихъ разговоровъ съ москвичемъ на террасѣ казино, въ Киссингенѣ.

— А! вотъ и Маруся!

Вава бросилась къ дверямъ въ гостиную цѣловать дочь, расцѣловавшись съ матерью.

#### XIV.

Вава отъ дверей подбѣжала снова къ Аксамитовой цѣловать ее и благодарить.

Грубинъ бросилъ взглядъ на Марусю, все еще стоявшую въ дверяхъ.

На ея губахъ онъ схватилъ что-то похожее на печальную усмѣшку. Глаза приняли выраженіе сухой важности. Въ первую ихъ встрѣчу оно задѣло его. Она, какъ и отецъ ея, была уже совсѣмъ не та, что полчаса назадъ, когда они почти пріятельски говорили, сидя на скамейкѣ дворцоваго сада.

— Маруся тоже поѣдетъ?—стремительно спросила Вава.

— Не знаю... Она не лошадищица. Маруся, ты хочешь на скачки?

— Миѣ все равно, папаша, — отвѣтила Маруся безстрастно, подавая руку женѣ офицера и обомлѣвшимъ мужчинамъ.

Ея выдержка и дрессировка выступили опять.

Ясно было, что такой дѣвушкѣ, хотя ей и не больше двадцати лѣтъ, ничего не стоитъ надѣвать на себя какую угодно маску.

Но если такъ, то почему же она при чужихъ не придаетъ своему лицу и манерамъ больше пріятности, не улыбается, не говоритъ любезностей, совсѣмъ какъ бы не желаетъ нравиться и привлекать къ себѣ, когда ей это ничего бы не стоило при ея изяществѣ и красотѣ?

Кто она? — онъ не могъ еще дознаться. И ему стало обидно: ни въ дочери, ни въ матери онъ не умѣлъ распознать ничего вѣрнаго.

Отъ матери, отъ всего ея существа, расходился точно лучами спокойный свѣтъ женскаго обаянія, глаза всѣхъ ласкали, пышный ротъ сдержанно улыбался, безъ сладости въ позѣ и въ тонѣ, — звучало тихое сознаніе своего неизбѣжнаго женскаго достоинства.

А вѣдь есть же, — думалъ Грубинъ, совсѣмъ не слушавшій того, что вокругъ него говорилось, — есть же, на взглядъ бывалаго мужчины, какія-нибудь пятнышки, черточки, отмѣтины, по которымъ онъ сейчасъ распознаетъ, подъ всею этою внѣшностью, женщину, давно забывшую, что такое честь и совѣсть?"

Но онъ ихъ не отличить. Онъ совсѣмъ не „бывалый“ мужчина. Онъ мало знавалъ и явно легкихъ, и тайно продажныхъ женщинъ, особенно въ свѣтскомъ обществѣ. У него нѣтъ почти никакой опытности по этой части.

— Однако, пора и хозяевамъ дать отдыхъ, — громко сказалъ генералъ и поднялся съ мѣста. — Вава!.. Довольно изліяній! Любовь Оедоровну ты просто утомила.

— Почему же? — отозвалась Аксамитова и приласкала Ваву взглядомъ за такое восторженное поклоненіе.

— Папа! Минуту!.. Одну минуту!..

Вава наклонилась надъ ухомъ хозяйки и что-то быстро, задыхаясь, зашептала ей.

Та раза два кивнула головой.

— Хорошо! — выговорила она.

— Можно?

— Очень можно...

--- Дорогая!.. Прелесть!

И опять пошли поцѣлуи.

— Идемъ, идемъ!.. Вава!

Генераль взялъ дочь за руку и сталъ тянуть за собою.

— А со мной и двухъ словъ не сказали,— остановилъ ее Аксамитовъ и покачалъ головой.

— Я готова, тысячу словъ, но видите...

— Будто бы?—спросилъ Аксамитовъ съ усмѣшкой.—Я васъ пять разъ спросилъ, будете ли вы завтра у Капорцевыхъ, и вы даже не слышали...

— Чего захотѣли, Орестъ Юрьевичъ! — перебилъ его генераль. — Чтобы она слышала кого-нибудь, когда сама заряжена!

Всѣ размѣялись, кромѣ Маруси и Грубина.

Маруся сѣла около офицера въ кителѣ, и онъ что-то ей началъ говорить, улыбаясь.

Грубинъ снова подмѣтилъ въ глазахъ его жены ревнивую тревогу и дурно сдержанное недовольство, сказавшееся въ минѣ рта.

Хозяинъ пошелъ проводить старика Дынина съ дочерью.

Любовь Ѳедоровна пригласила Грубина присѣсть поближе къ ней.

— Вы знаете, что вашъ другъ улетѣлъ куда-то на югъ, въ Ростовъ или въ Севастополь?

— Ничего не знаю, — отвѣтилъ ей Грубинъ и тономъ отвѣта хотѣлъ показать ей, какъ онъ вообще смотритъ на Голубца.

— Онъ очень дѣятельный, — продолжала она, — очень ловкій! Первое впечатлѣніе всегда обманчиво. Валерій Ивановичъ кажется вивѣромъ... Не больше... А онъ можетъ вести крупныя дѣла, не выдавая себя за дѣлового человѣка... Это умно.

Грубинъ ничего не возражалъ.

— И къ вамъ онъ относится сердечно,—голосъ ея немного понизился.—Отъ него я знаю, какой васъ постигъ ударъ.

Она опустила рѣсницы своихъ глазъ-вишенъ.

Тонъ ея былъ простъ, почти задушевенъ, но Грубинъ, слушая ее, оставался все съ тѣмъ же жесткимъ вопросомъ. Онъ не могъ вѣрить тому, что она сочувствуетъ его горю. И въ ея лицѣ онъ не подмѣчалъ ничего не

только злобнаго, даже просто недобраго: лицо открытое, съ мягкой русскою красотою и истовымъ привѣтомъ.

— Вамъ не хорошо жить нелюдимомъ, — сказала Любовь Федоровна. — Нужно почаще видать людей.

— Я собираюсь за границу, — отвѣтилъ онъ все тѣмъ же сдержаннымъ, почти сухимъ тономъ.

— Теперь за границей вездѣ тоска. Или ужъ слишкомъ людно... Тамъ васъ захватить одиночество въ толпѣ... еще сильнѣе... Повѣрьте мнѣ.

Онъ прислушивался къ ея голосу, полузакрывъ глаза, и долженъ былъ сознаться, что звукъ — простой, искренній, и ея русскій языкъ выгодно отличается отъ того жаргона, какимъ говорятъ русскія барыни, много живущія за границей... Самое произношеніе ему нравилось. Оно было не петербургское — суховатое и торопливое, а плавное, съ звучными гласными, какъ говорятъ въ московскихъ гостиницахъ.

Ему начало становиться немного совѣстно за самого себя; но онъ не въ силахъ былъ отдѣлаться отъ своего предубѣжденія.

— Вы не забываете насъ, — говорила Любовь Федоровна, немного опершись рукой о ручку дивана. — По вечерамъ мы почти всегда дома. Музыкой мы васъ не будемъ угощать... Я не музыкантша, Маруся еще менѣе... Но, вѣдь, у насъ вездѣ слишкомъ много музыки... Вы не находите?

Онъ хотѣлъ возразить и удержался.

Изъ гостиной хозяинъ вернулся не одинъ, — велъ подъ руку кавалериста съ грузинскою княжескою фамиліей, видѣннаго Грубинымъ въ Павловскѣ.

„Князь Юшадзе“, — тотчасъ вспомнилъ онъ, и ему стало пріятно, что память его вступала уже въ свои прежнія права.

Но видъ князя, одѣтаго, на этотъ разъ, не въ короткій вицмундиръ, а въ довольно длинный сюртукъ, вызвалъ въ немъ странное чувство: точно онъ своимъ поведеніемъ помѣшалъ ему.

Лицо грузина, безъ фуражки, было красивѣе, лобъ высокій, курчавые волосы подстрижены мыскомъ, придававшимъ что-то своеобразное всей головѣ. Ростъ и статность выигрывали отъ степеннаго покроя драповаго сюртука.

— Аішѣе! Маруся!.. — возгласилъ Аксамитовъ отъ дверей. — Князь не съ пустыми руками!..

Въ рукахъ кавалериста было двѣ вещи: небольшой томъ, завернутый въ бумагу, и коробка съ отдѣлкой изъ цвѣтовъ и широкихъ листьевъ, откуда выглядывалъ золотистый, огромныхъ размѣровъ ананасъ.

— Проигралъ пари!—выговорилъ князь и, послѣ общаго поклона, поцѣловалъ руку хозяйки.

Онъ двигался и поворачивался, какъ хорошо вымуштрованный кадетъ, но безъ торопливости.

Послѣ поднесенія ананаса онъ подошелъ къ Марусѣ, пожалъ ей крѣпко руку, подержавъ въ своей, а другою рукой подалъ томикъ.

— Сегодня только получили.

-- Что это?—лѣниво и безстрастно спросила она.

— Вы увидите... Вашъ любимый авторъ.

„Женихъ“,—подумалъ вдругъ Грубинъ, и вся эта сцена встала передъ нимъ въ особомъ свѣтѣ.

## XV.

Вотъ признаки жениховства, быть-можетъ, и не объявленнаго, онъ могъ распознавать.

Князь держалъ себя безъ всякой фамиллярности, даже не улыбался Марусѣ и чрезвычайно почтительно цѣловалъ руку ея матери.

Этотъ стройный, съ напряженными мышцами самецъ исполненъ былъ спокойствія и постепенности, отъ которыхъ у Грубина защемило въ груди.

Когда они подавали другъ другу руки и Грубинъ поглядѣлъ ему въ благообразное, сухое и свѣжее лицо, съ недавнимъ загаромъ, явственное непріятное ощущеніе пробѣжало по немъ.

— Имѣлъ удовольствіе! — выговорилъ своимъ медленнымъ баскомъ князь и чуть слышно звякнулъ шпорами.

На этомъ разговоръ ихъ оборвался.

Офицеръ въ кителѣ по-пріятельски поздоровался съ княземъ и спросилъ его съ своею, точно сдѣланною разъ навсегда, улыбкой:

— Будете участвовать на большихъ скачкахъ?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ князь, скрививъ немного ротъ. — Съ какой стати?.. Съ жокеями...

— Но, вѣдь, будутъ скакать и охотники, — замѣтила жена офицера въ кителѣ.

— Скакёромъ я не желаю быть,—выговорилъ князь и блеснулъ глазами.

— Ха-ха! Скакёрюмъ! Что это за слово? — спросила Аксамитова.

— Скакёръ! — повторилъ за ней фальцетомъ мужъ и также разсмѣлся. — *C'est drôle!*

— Въ Москвѣ такъ говорятъ. Тамъ есть такой спортсменъ, — объяснялъ обстоятельно и серьезно князь, — изъ общества... Давно прожился и ѣздитъ за деньгами... Его всѣ зовутъ: Квашиниъ-скакёръ...

Всѣ еще разъ разсмѣлились, кромѣ Маруси. Она сидѣла поодаль у столика и развертывала книгу.

Грубинъ подошелъ къ ней и наклонился съ вопросомъ:

— Позвольте полюбопытствовать?

Маруся подняла на него свои глубокіе глаза и не громко вымолвила:

— Позволяю.

Онъ прочелъ на голубой оберткѣ имя автора и заглавіе.

— Мопассанъ? — тихо повторилъ онъ.

— И это васъ удивляетъ?

— Стало-быть: Бурже и его соперникъ?

— Да.

— Который же увлекаетъ васъ?

Вопросъ вылетѣлъ у него не совсѣмъ такъ, какъ онъ хотѣлъ его сдѣлать.

— Который? — повторила Маруся. — Ни тотъ, ни другой. Но у одного большой талантъ, другой заставляетъ думать.

Будь это не здѣсь, а въ саду, до прихода отца, Грубинъ сталъ бы допытываться у ней: какъ попали въ ея руки эти романисты, искать въ ней самой, въ ея взглядахъ, подсказанныхъ или вычитанныхъ въ такихъ книжкахъ, поясненіе тому, что кроется въ душѣ ея, говорить ли ея сердце, здоровъ или боленъ ея умъ?

Но онъ, стоя спиной къ дивану, гдѣ сидѣла Любовь Федоровна, точно почувствовалъ ея взглядъ, и не ошибся.

Она глядѣла въ ихъ сторону, и Маруся положила на столикъ книжку.

— Покажи мнѣ, — выговорила мать своимъ обыкновеннымъ тономъ.

Маруся хотѣла почать ей томикъ съ мѣста, но Грубинъ перецѣлъ книжку и подалъ Аксамитовой.

Любовь Федоровна взглянула на обертку и протянула только:

— А-а...

Томикъ остался въ рукѣ Грубина. Онъ присѣлъ къ ней.

— Вы примѣрная мать, — сказалъ онъ, охваченный странною тревожностью.

— Почему?—спросила Аксамитова, и опять обласкала его глазами.

— Предоставляете вашей дочери свободу выбора книгъ.

— Она не ребенокъ... Меньше иллюзий будетъ... Оно полезнѣе.

Это было сказано съ отбѣнкомъ легкой грусти.

Офицеръ съ женой стали прощаться. Хозяинъ опять пошелъ провожать ихъ, и около дивана осталось двое: Грубинъ и князь, сѣвшій на мѣсто жены офицера.

Маруся осталась вдали, у столика. Она не выказывала никакого желанія разговаривать съ тѣмъ, кого Грубинъ уже считалъ ея женихомъ, и сидѣла въ позѣ если не скучающей, то спокойной благовоспитанной дѣвушки, которая, при такой молодой и красивой матери, можетъ и не занимать гостей. Ея взглядъ блуждалъ. Можетъ-быть, ей хотѣлось разрѣзать романъ, привезенный княземъ, но книжка осталась въ рукахъ Грубина—и она ему ничего не сказала.

— Сейчасъ, на Широкой улицѣ, — началъ князь, подавшись слегка впередъ, — я видѣлъ, какъ проѣхалъ въ колясѣ Малугинъ.

— Иванъ Денисычъ? — спросила Аксамитова, и, чуть замѣтно, по ея чертамъ проскользнула струйка. Глаза улыбались.

Грубинъ сталъ наблюдать ее, упорно, и сидѣлъ нарочно съ опущенною головой.

При звукѣ „Малугинъ“ Маруся повернула голову, но лицо ея оставалось такимъ же безстрастнымъ.

— Съ нимъ... сестра его, кажется?—полувопросительно выговорилъ князь.

— Да, сестра.

— И ему, говорятъ, гораздо лучше?

— Кажется... Мужъ былъ у него на той недѣлѣ и не засталъ... Онъ выѣзжаетъ давно уже...

— У него языкъ отнялся?—спросилъ степенно князь.

— Нѣтъ, — оттянула Аксамитова и повела ртомъ совсѣмъ на особый ладъ. — Онъ оправится... Легкій ударъ. Вы знаете, — она начала говорить тише, — сестра его и зять нарочно его пугаютъ. Маневръ извѣстный.



Она взяла со столика вѣеръ и стала опахиваться.

Этотъ вѣеръ показался Грубину уликой. Но какой? Онъ сначала не находилъ... Но тутъ же въ головѣ его промелькнула только что услышанная имъ фамилія „Малугинъ“, и онъ могъ соображать

Фамилію онъ слыхалъ. Встрѣчалъ и этого „Ивана Денисовича“—богача, холостяка, извѣстнаго своими любовными связями.

Чуть-чуть не сдѣлалъ онъ губами: „те-те-те“—до такой степени эта находка подвинутила его.

— Вашъ добрый знакомый?—равнодушно спросилъ онъ и въ упоръ поглядѣлъ на Аксамитову, какъ смотреть на допросѣ.

— Да... Мы его давно знаемъ, — отвѣтила она уже своимъ ровнымъ, благосклоннымъ звукомъ и положила вѣеръ на столъ.—И за границей, и здѣсь...

„Хорошо;—подумалъ онъ, точно въ немъ сидѣлъ слѣдователь,—сегодня не изловлю—поймаю завтра“.

И, подъ напоромъ этого возбужденія, круто повернулся на пуфѣ, гдѣ сидѣлъ.

Глаза Маруси, подъ слегка сдвинутыми бровями, глядѣли по направленію къ двери, и этотъ взглядъ подсказалъ ему больше, чѣмъ его догадки и какая-то игра въ ея матери.

Князь, повидимому, ничего не зналъ и ничего не подозрѣвалъ; иначе бы не заговорилъ объ этомъ Малугинѣ и его параличѣ.

Въ дверяхъ показалась бѣлокурая голова Ореста Юрьевича.

— Орестъ!—лѣниво окликнула его жена.—Князь сейчасъ видѣлъ на Широкой Малугина въ коляскѣ съ сестрой.

— Да-а?—протянулъ Аксамитовъ, слащаво усмѣхнулся и вставилъ тотчасъ же монокль.

Въ рукахъ его что-то бѣлѣло.

— Деша?—спросила Маруся и приподнялась.

— Мнѣ?

Любовь Ѳедоровна протянула бѣлую руку въ браслетахъ, и ея глаза тревожно блеснули.

— Вы позволите? — обратилась она къ Грубину и, не дожидаясь, что онъ скажетъ, вскрыла депешу.

Румянецъ сквозь легкій налетъ пудры заигралъ на щекахъ. Она быстро оглянула мужа и дочь и радостно выговорила:

— Тараевъ уже въ Москвѣ... Я очень рада...

Аксамитовъ какъ бы съежился. Маруся совсѣмъ поднялась, брови сдвинулись, и она нервно стала проводить пальцами около высокаго воротника своего платья. На лицѣ князя ничего нельзя было прочесть.

Грубинъ вдругъ почувствовалъ, что онъ лишний, и торопливо раскланялся.

Его не удерживали.

## XVI.

Лошадь немного горячилась. Грубинъ ѣздилъ недурно, но больше двухъ лѣтъ не садился въ сѣдло.

Пофыркивая, немолодой каурый жеребецъ, возбужденный военнымъ берейторомъ, шелъ у него все бокомъ, по-ученому, и взбивалъ рыхлую, темнѣющую землю дубовой аллеи.

Грубинъ ѣхалъ рано, побывалъ уже въ саду Александровскаго дворца и бульваромъ спустился къ нѣмецкой колоніи.

Оцѣтъ онъ былъ въ новый синій костюмъ, нарочно заказанный для верховой ѣзды, въ высокихъ сапогахъ и низенькой шляпѣ англійскаго фасона.

Весь онъ смотрѣлъ моложе, бодрѣе, бороду съ боковъ обстригъ и сидѣлъ въ сѣдлѣ прямо, молодцовато.

Отъѣхавъ отъ перекрестка, гдѣ сторожка, онъ повернулъ и сталъ подвигаться еще тише, сдерживалъ лошадь на мундштугѣ и вглядывался въ ту сторону, откуда шла дорога по Новому парку, отъ купаленъ.

Ничего не было тамъ видно: ни пѣшеходовъ, ни экипажей.

Онъ ждалъ, и ждалъ тревожно, съ неполною увѣренностью.

Вчера ему сказали, что поѣдутъ верхомъ до чаю, гораздо раньше обыкновеннаго.

Это было сказано самымъ простымъ тономъ, но онъ могъ понять, что она желаетъ встрѣтить его.

Они уже ѣздили разъ, на прошлой недѣлѣ, но не одни. Съ ними каталось еще двое мужчинъ.

Сегодня они поѣдутъ къ Павловску. Онъ будетъ съ нею наединѣ, по меньшей мѣрѣ, часъ.

И сдавалось, что между ними выйдетъ особенный разговоръ, не такой, какіе они, и то больше урывками, вели до сихъ поръ, въ эту недѣлю.

Лошадь, на мундштукѣ, подпрыгивала, чуть-чуть подвигаясь впередъ.

Тишина и полное одиночество въ тѣнистой дубовой аллеѣ смягчали его тревогу. Онъ остановилъ лошадь и закурилъ папиросу.

Выпуская дымъ длинными струями, Грубинъ ушелъ въ себя.

Всего восемь дней промелькнуло съ визита, передъ обѣдомъ, къ Аксамитовымъ — и онъ уже не тотъ Владимиръ Павловичъ Грубинъ, который жилъ тамъ, на пустой дачѣ, и педѣлями мучился на своей постели, безъ сна, до полного разсвѣта.

Его сонъ и теперь еще тревоженъ, но засыпаетъ онъ не съ тѣми чувствами. Его затагиваетъ новая полоса жизни. Куда?—онъ еще не знаетъ и какъ бы намѣренно не хочетъ отдать себѣ отчета.

Куда-то тлнеть его. Зачѣмъ остался онъ въ Царскомъ, когда пришелъ день окончательныхъ переговоровъ по сдачѣ квартиры, уклонился и написалъ въ контору, что къ такому сроку не можетъ еще выѣхать за границу.

Заграничный паспортъ не выправленъ. Онъ откладывалъ это со дня на день, подъ предлогомъ несносной духоты въ пагонахъ въ дообѣденные, жаркіе часы.

Эта поѣздка отошла куда-то въ туманъ, и ему все больше кажется, что доктора врутъ и что ему не отъ чего лечиться... Никакихъ болей въ печени у него нѣтъ, голова гораздо свѣтлѣе, онъ весь день на ногахъ и въ движеніи, аппетитъ вернулся.

За паспортomъ онъ медлил ѣздить; но поѣхалъ въ такую же духоту къ своему портному и настаивалъ, чтобы костюмъ для верховой ѣзды былъ готовъ въ двое сутокъ; даже депешей торопилъ француза.

Вотъ явилась и эта лошадь. Онъ занимаетъ ее поутру. Ему ни минуты не показалось ни страннымъ, ни смѣшнымъ парадировать верхомъ, точно онъ кавалеристъ или молодой спортсменъ, берущій призы на скачкахъ.

Когда, на-дняхъ, онъ одѣлся въ костюмъ наѣздника и подошелъ къ зеркалу уже съ подстриженной бородкой, память подсказала, что ему всего тридцать восемь лѣтъ, три мѣсяца и пять дней.

Цѣлый день онъ гуляетъ или сидитъ съ книгой на воздухе, смотреть на деревья, на зелень луга, на прохожихъ, иногда ищетъ уединенія, и въ голодъ его быстро

чередуются настроенія, — не подавляющая грусть, какъ было недавно, а новая возбужденность, точно круговое вращеніе мыслей и вопросовъ вокругъ одного женскаго образа.

Онъ уже не можетъ оторвать себя отъ него. И не отъ внѣшняго только облика: лица, глазъ, цвѣта волосъ, усмѣшки, поступи, туалета, а отъ того, что подъ этимъ всѣмъ кроется: какая душа, какое сердце, въ какихъ чувствахъ это существо къ своимъ близкимъ, черезъ что прошло оно, черезъ какія растлѣвающія или благодѣтельныя вліянія?

Ни одинъ судебный слѣдователь такъ упорно не перебираетъ нитей преступленія, ловко запутанныхъ закоренѣлымъ злодѣемъ, какъ онъ всѣ эти дни перебиралъ признаки и отиѣтны того, чѣмъ же можетъ оказаться эта чета—мать и отецъ, дѣйствительно ли они хищники самаго печальнаго сорта, или просто праздные и тщеславные русскіе, быть-можетъ, проигравшіеся въ рулетку и дѣлающіе экономію, проводя поскромнѣе лѣтній сезонъ на дачѣ въ Царскомъ?

Эта работа слѣдователя шла въ немъ дома или на прогулкѣ, но у нихъ онъ не могъ отдаваться съ полнымъ самообладаніемъ роли наблюдателя. Присутствіе той, къ кому его тянуло, мѣшало, держало его въ тискахъ, вызывало совсѣмъ не то, что необходимо для такой роли.

Онъ въ одну недѣлю нашелъ поводъ видѣть ее пять разъ, въ томъ числѣ былъ у нихъ два раза, но понемногу, одинъ разъ всего на четверть часа, при гостяхъ, на террасѣ.

Броситься разузнавать объ Аксамитовыхъ онъ считалъ низменнымъ; но если бѣ кто-нибудь поставилъ его на вѣрный путь, онъ не отказался бы отъ такихъ разговоровъ. Ему нужны были факты во всей ихъ грубости и цинизмѣ, но вѣрные, безъ всякой примѣси легенды или свѣтскаго злоязычія.

Отъ кого добиться ихъ? Голубецъ уѣхалъ, да онъ и не такой человѣкъ, чтобы сталъ выдавать свою пріятельницу, Любовь Федоровну. Вѣроятно, она черезъ него улаживаетъ всякія дѣла. Онъ сейчасъ пустилъ бы въ ходъ дворянскія интонаціи въ носъ, сказалъ бы ему: „Душа моя, интимная жизнь порядочной женщины для меня могила“.

Въ Царскомъ онъ никого почти не зналъ, кто бы могъ

ему сообщить о богатѣ Малугинѣ и его отношеніяхъ къ Любови Федоровнѣ. И про того Тараева, что прислалъ депешу о возвращеніи своемъ въ Москву, онъ тоже не имѣлъ понятія.

Этотъ иксъ еще не появился въ ихъ гостиной. Спросить о немъ рѣшительно не у кого. Кто онъ? Судя по фамиліи, купецъ. Какой-нибудь миллионеръ-золотопромышленникъ или фабрикантъ.

Минутами Грубинъ стыдилъ себя. Такіе заботы и вопросы приличны сыщику, а не порядочному человѣку. Но онъ кончилъ полнымъ самооправданіемъ.

Не для самого себя ему это нужно было.

Безъ фактической основы онъ не могъ войти въ душу дѣвушки, уже вызывавшей въ немъ самоотверженное желаніе: стать около нея на стражѣ, протянуть ей руку, когда нужно будетъ.

Развѣ она просила его объ этомъ?

Нѣтъ, не просила: но между ними легъ уже какой-то мостикъ. Она сумѣла показать ему, что онъ „ея гость“, и безъ всякаго ученаго кокетства, давая понять, что онъ одинъ—кромѣ, быть-можетъ, отца—въ состояніи ее понять, что она его отличаетъ не какъ жениха, а какъ человѣка, сумѣвшаго одѣлать его.

Вопросъ: благообразный грузинскій князь будетъ ли ея мужемъ?—не тревожилъ его. Князя онъ ни разу, на недѣлѣ, не видѣлъ. Его полкъ выступилъ въ Красное Село, въ лагерь.

Теперь ему не вѣрилось, чтобы она могла смотрѣть на него, какъ на своего суженаго. Князь точно совсѣмъ и не существовалъ для нея.

Весь этотъ кругъ мыслей обошелъ голову Грубина, и онъ пришпорилъ лошадь, точно вспомнилъ, что черезъ минуту или двѣ, или пять слѣва на дорогѣ должна показаться амазонка на вороной лошади, въ мужской шляпѣ, безъ вуаля, стройная, съ посадкой англійской паѣздницы.

И вдругъ, кромѣ лакея, на разстояніи десяти сажень, съ ней еще кто-нибудь—отецъ или тотъ офицеръ, котораго онъ, про себя, прозвалъ уже „бѣлый витель“, мужъ ревнивой франтихи?

Солнце ярко облило лужайку съ кустами деревьевъ, по которой вилась дорога. Амазонка, короткимъ галопомъ, плавно выяснялась въ мигающей утренней мглѣ.

## XVII

Онъ не поскакалъ навстрѣчу амазонкѣ, но, сдерживая лошадь, поѣхалъ немного поскорѣе. Ходъ сбивался на короткую рысь.

Амазонка завидѣла его еще до перекрестка и чуть-чуть кивнула головой.

Ея посадкой и станомъ Грубинъ влюбовался. Было въ самомъ движеніи, приданномъ ею своему коню, что-то и величавое, и смѣлое, и полное стальной гибкости. Женщина съ характеромъ и волей, со всѣми запросами отъ жизни, сидѣла въ этой русской барышнѣ, воспитанной въ какихъ-то тамъ версальскихъ „Petits Oiseaux“, гдѣ ей, вѣроятно, преподавали монашки очищенную французскую исторію, по Боссюэту, откуда выкидывается все, что не „ad ecclesiae gloriam“.

— Съ добрымъ утромъ!

Привѣтствіе Грубина разнеслось по аллеѣ, когда Маруся съѣхала съ мостика и повернула на дубовую аллею.

— Вы давно ѣздите?—спросила она его, круто и легко остановивъ лошадь, совершенно простымъ тономъ, безъ всякой неловкости.

Лошадь ея стала поперекъ аллеи.

Грубинъ могъ подать ей руку. Маруся пожала ее крѣпко и тою же рукой поправила свою мужскую шляпу, облѣстѣвшую отъ солнца. Оно проникло на средину аллеи.

Оба, точно по молчаливому уговору, поѣхали шагомъ, вверхъ, къ Гяргевской платформѣ. Ихъ лошади тихо всхрапывали и поводили короткими хвостами. Грубинъ ѣхалъ слѣва. Жокей—все на томъ же разстояніи—трусилъ сзади на пѣгой лошади, въ короткомъ сюртукѣ, перетянутомъ кушакомъ, и въ лосинахъ.

И сейчасъ же у Грубина затолпилось множество вопросовъ. Но онъ ихъ отмахивалъ отъ себя, — ни одинъ изъ нихъ не находилъ онъ умѣстнымъ. Отъ этого протянулось нѣсколько секундъ молчанія.

Маруся поправила немного волосы подъ шляпой, переняла поводъ изъ одной руки въ другую, — она ѣдила безъ хлыста, — и сказала спокойно, тономъ хорошей знакомой, которая не ищетъ съ нимъ предметовъ разговора:

— Зачѣмъ вы такъ скоро ушли въ послѣдній разъ?

Онъ не ожидалъ этого именно вопроса.

— Зачѣмъ?—переспросилъ онъ, чувствуя приливъ пѣж-

ности къ этой дѣвушкѣ. — Да, право, я самъ не знаю... Вы скрылись отъ этой дамы: видно было, что она меня пересидитъ.

— Я думала, что вы придете въ гостиную.

Слова ея вызвали на его похудѣлыхъ щекахъ чуть заметный румянецъ.

— Вы, вообще, Марья Орестовна, кажется, не очень любите дамское общество?

— Женщинъ?—выговорила она, поводя губами.—C'est à bête, les femmes!

Онъ тихо разсмѣялся.

— Есть исключенія,—выговорилъ онъ и не посмотрѣлъ на нее.

— Не знаю. Я это говорю... прямо... Я не рисуюсь... Но мнѣ всегда такъ скучно бываетъ отъ ихъ разговоровъ... Сейчасъ хочется зѣвать, и я должна дѣлать усилія... Утѣраю васъ... У меня нѣтъ такой способности, какъ у шама, все слушать съ улыбкой.

— Въ свѣтѣ какъ же иначе?—подумалъ вслухъ Грубинъ, но ему тутъ же показалось, что его фраза очень ужъ банальна.

— Женщинъ слишкомъ много, — продолжала Маруся все въ томъ же тонѣ.—Вы не находите?

— Гдѣ?

— Вездѣ,—протянула она, и ея брови начали двигаться.—Мы всѣ такія... какъ это сказать... ненужныя.

— Ненужныя?

— Конечно!.. Одѣваться, раздѣваться и опять одѣваться, причесывать голову, кататься, сидѣть въ гостиной и болтать, болтать, болтать...

«Да она не изъ тайныхъ ли синихъ чулковъ?—вдругъ подумалъ онъ.—Рисуется своимъ взглядомъ на свѣтѣ?»

Но этотъ вопросъ только промелькнулъ въ головѣ Грубина. Маруся говорила спокойно и безъ юмора, точно вслухъ думала при человѣкѣ, которому она сразу начала довѣрять.

Это его тронуло, и онъ поглядѣлъ на нее вбокъ, ища, какое у ней выраженіе.

Она сидѣла въ сѣдлѣ, стройная и смѣлая, въ профиль, со строгимъ взглядомъ, немного смягченнымъ тѣнью полупущенныхъ рѣсницъ. Губы чуть двигались, и издали никто бы не подумалъ, что она говоритъ вслухъ.

— Ихъ надо пожалѣть!—промолвилъ онъ, помолчавъ.

— Жалѣть? — вопросъ зазвучалъ почти жестко. — Не знаю... Онѣ стоятъ мужчинамъ столько денегъ... И не однѣхъ денегъ, — прибавила она и повернула голову вправо.

— Предметы роскоши! — вырвалось у нея съ глухимъ смѣхомъ.

Грубинѣ отъ звука этого смѣха стало жутко.

— Для мужчинъ онѣ интересны, но съ ними можно только поглупѣть. Да и мужчины могли бы требовать чего-нибудь больше.

Жуткій смѣхъ опять вырвался у нея, но она сдержала его, наклонилась надъ шеей лошади, потрепала ее свободною рукой, потомъ тихо крикнула какое-то нерусское восклицаніе, — Грубинѣ не успѣлъ схватить его, — и подняла лошадь въ короткій галопъ.

Молча проскакали они съ полъ-аллеи. Маруся первая переѣхнула аллею. Они поѣхали опять шагомъ и оба опустили поводья.

Грубинѣ не могъ оставить безъ конца начавшійся между ними разговоръ. Эта дѣвушка выступала для него въ такомъ освѣщеніи, что онъ начиналъ теряться.

Одному онъ вѣрилъ: она ничего не напускаетъ на себя.

Но тогда который же ей годъ? И подъ какимъ вліяніемъ, въ какихъ жизненныхъ предѣлахъ могла она выработать себѣ этотъ тонъ, эту опредѣленность оцѣнокъ, этотъ беспощадный взглядъ на женщинъ своего круга?

— Марья Орестовна, — заговорилъ онъ, не поднимая головы, — вы позволите мнѣ вернуться къ той минутѣ, когда вашъ отецъ подошелъ къ намъ, помните, въ саду, на берегу канала?

— Помню! — довольно живо отвѣтила Маруся. — Но что же было такого въ нашемъ разговорѣ?

— Съ вами былъ желтый томикъ, и я прочелъ на немъ заглавіе романа: „Mensonges“, Бурже.

— Да.

— И знаете, что я тогда подумалъ?

Она слегка пожала плечами и усмѣхнулась.

— Какъ же я могу знать!

— Я подумалъ: „вотъ какія книжки читаетъ она“... И если бъ вашъ дядя не подошелъ, я бы заговорилъ съ вами на эту тему... быть-можетъ, непріятную для васъ... и теперь...

— Почему? Напротивъ!.. Я уже вамъ, кажется, говорила: надо мной нѣтъ строгаго надзора.



— Вы мнѣ сказали, что Бурже вашъ любимый писатель.

— Я и теперь это скажу.

— Но чтобы... цѣнить такія вещи, какъ этотъ романъ „Mensonges“, надо...—онъ занулся,—надо знать стороны жизни...

Дальше онъ не пошелъ и замѣтно смутился.

— Что же вы не доканчиваете?—уже серьезно и почти строго сказала Маруся, сидѣвшая въ сѣдлѣ съ опущенною головой.—Стороны жизни... для дѣвушки моихъ лѣтъ... недоступныя... или... подыщите сами слово... Но, вѣдь, это такъ?

— Почти такъ,—выговорилъ Грубинъ вдумчиво, молодую вѣрой.

— И васъ это способно смущать?—почти съ вызовомъ въ глазахъ спросила она и выпрямила голову.

— Печально, Марья Орестовна, сталкиваться, хотя бы и въ романѣ, съ... такою, простите, грязью, особенно, когда эту грязь придется, быть-можетъ, видѣть и вокругъ себя, торжествующей, подъ личиною изящества и красоты, окруженной если не уваженіемъ, то всеобщею потачкой.

Онъ выговорилъ эту тираду однимъ духомъ, съ живостью совсѣмъ молодого человѣка, и когда смолкъ, то сейчасъ же испугался: вѣдь она могла принять его слова за рядъ самыхъ прозрачныхъ намековъ.

## XVIII.

Маруся сразу ничего не отвѣтила. Грубинъ взглянулъ на нее и тотчасъ отверлъ глаза,—боялся покраснѣть.

Эта тревожность просто изумляла его, но онъ, все-таки, радъ былъ, что высказался сразу.

— Ну, такъ что жъ?—послышалось ему.

Онъ поглядѣлъ на нее смѣлѣе.

— Вы говорите: печально!—продолжала она.—Но кто же виноватъ, что въ жизни такъ? Вы, стало-быть, хотите, чтобы дѣвушка, какъ птица страусъ, -- она перебила себя:—мнѣ минуло двадцать лѣтъ, вотъ уже мѣсяць,—спрятала голову въ песокъ, когда за ней гонятся? Гонится жизнь... Вы думаете, и въ первый разъ у Бурже, въ этихъ „Mensonges“, встрѣтила такую свѣтскую женщину?.. Я видѣла „Parisienne“, еще въ прошломъ году, на сценѣ, а потомъ прочла ее, и нахожу, что это прекрасная пьеса. Прекрасная, — повторила она, растягивая слова, съ особенныхъ

оттѣнкомъ голоса, какъ будто хотѣла сказать, что такая пьеса утвердила ее въ чемъ-то, раскрыла ей на что-то глаза.

Грубину снова сдѣлалось неловко. Онъ не радъ былъ, что началъ щекотливый и неделикатный разговоръ.

— Васъ возили смотрѣть пьесу Бюка? — спросилъ онъ, однако, совсѣмъ противъ желанія.

— Не возили, — она улыбнулась, — а я сама попала... съ одною подругой... Она замужемъ.

— Это было въ Парижѣ?

— Да, въ Парижѣ... Ah mon Dieu! — воскликнула она и дернула за поводъ. — Это такъ старо... А другая пьеса Ожье „Les lionnes rauvres“? И у Бальзака, — прибавила она, точно припоминая, — развѣ нѣтъ ужъ такихъ дамъ? Вы, конечно, читали... „Madame Marneffe“, наприимѣръ?

— Вы и это читали? — вырвалось у Грубина.

— Я все читала, — вымолвила Маруся медленно, почти печально.

Въ эту минуту они были въ концѣ аллеи, около того мостика, что ведетъ къ дубу, обшитою внизу круглою скамьею.

— Кажется, у меня сѣдло ослабло, — замѣтила вдругъ Маруся, не останавливая лошади.

Грубинъ заботливо оглянулся.

— Не хотите ли сойти, вонъ на тотъ диванъ?

Онъ указалъ рукой на дубъ съ круглою обшивкой.

— Да, да!

Маруся сдѣлала знакъ жокею; тотъ подскакалъ.

Они переправились на ту сторону и по дорожкѣ она выѣхала первая на площадку вокругъ дуба.

Свою лошадь Грубинъ передалъ жокею и сказалъ ему:

— Я сниму барышню съ сѣдла, а вы подойдете, и потомъ надо подтянуть подпругу.

— Мы можемъ отдохнуть, — сказала Маруся, когда она сходила на доски скамьи и Грубинъ держалъ подъ-уздцы ея лошадь одною рукой, а другою придерживалъ стремя.

Амазонка ея была скроена по-новому, съ короткою юбкой. Изъ-подъ нея промелькнули ноги въ лаковыхъ мужскихъ ботинкахъ и въ панталонахъ со штрипками.

Ни малѣйшаго смущенія или неловкости не замѣтилъ онъ въ ней, когда ея нога коснулась его руки, державшей стремя. Такъ сходила бы съ сѣдла любая амазонка въ ханежѣ, гдѣ они вдвоемъ съ берейторомъ.

Жокей принялъ лошадь, привязалъ остальныхъ двухъ къ дереву и сталъ возиться съ подпругой.

— Мнѣ кажется, я немного устала.

Маруся громко перевела духъ и сѣла, облокотясь о спинку, съ протянутыми на землѣ ногами.

— Вы давно уже ѣздите? — спросилъ Грубинъ, думая совсѣмъ о другомъ: въ его ушахъ еще звучала послѣдняя фраза Маруси и слово „Бальзакъ“ съ его ужасной „madame Marguerite“.

— Нѣтъ, я прямо поѣхала.

Это было сказано просто, безъ всякой игры. Не только тонкаго кокетства, но даже подобія его не чувствовалъ онъ въ ней. Это не то чтобы обижало его, но казалось черезчуръ уже спокойнымъ, почти безцеремоннымъ, точно онъ въ самомъ дѣлѣ не мужчина, еще молодой, не человѣкъ изъ ея общества, а учитель верховой ѣзды.

Простота могла указывать и на нѣчто совсѣмъ иное: быть признакомъ довѣрія. Она смотритъ на него, какъ на человѣка, способнаго все отлично понимать и ничему не удивляться.

Но онъ продолжалъ если не удивляться, то недоумѣвать.

— Марья Орестовна, — началъ онъ точь-въ-точь такимъ же звукомъ, какъ четверть часа назадъ, — то, что вы мнѣ сейчасъ сказали, я не могу оставить такъ. Оно вызываетъ десятки вопросовъ... А когда намъ удастся поговорить по душѣ?

— По душѣ? — повторила она и повернула къ нему голову вопросительно.

— То-есть искренно, задушевно... Извините... Я употребилъ выраженіе чисто-русское.

— Понимаю! — живѣе отозвалась Маруся и немножко приблизилась къ нему. — Я такія выраженія очень люблю... По-французски я говорю и даже думаю съ дѣтства... Но вѣдь на этомъ языкѣ надо повторять готовые фразы... И это дѣлается очень банально, хотя и удобно.

— Тѣмъ болѣе, — добавилъ Грубинъ, — что вы вѣдь владѣете родною рѣчью прекрасно... съ рѣдкою силой и мѣткостью.

— О, нѣтъ!..

Она отрицательно покачала головой.

— И такъ, намъ врядъ ли можно будетъ говорить часто и много?

— Это трудно... но по кускамъ можно.

— По кускамъ?—веселѣе переспросилъ Грубинъ.

— У васъ хорошая память?

— До сихъ поръ была очень хорошая. Я могъ заучивать цѣлыя страницы прозы, прочтя ихъ два раза.

— Вы и будете помнить, на чемъ у насъ остановился разговоръ: на томъ мѣстѣ мы его и возобновимъ.

— Идея удачная.

Разговоръ ихъ уходилъ въ сторону и Грубинъ, помолчавъ, спросилъ:

— Позвольте напомнить, съ чего началась наша сегодняшняя бесѣда?

— Пожалуйста.

— Мы говорили о женщинахъ и у васъ вырвался возгласъ: „C'est si bête, les femmes!..“ Будто бы вы такого мнѣнія о всѣхъ... хотя бы только о свѣтскихъ женщинахъ?

— Нѣтъ!.. Есть очень умныя... Первая—мать...

Выговорила это Маруся твердо, безъ всякаго оттѣнка чувства, но съ убѣжденіемъ. Она назвала Любовь Ѳедоровну „мать“, а не „ташан“, въ первый разъ.

— Вы сами находите...

— Мать моя,—продолжала Маруся,—видитъ насквозь всѣхъ, съ кѣмъ она встрѣчается въ жизни, и мужчинъ, и женщинъ... А вѣдь не правда ли, никто этого не скажетъ, на первый взглядъ?

— Чѣмъ же вы опредѣляете умъ женщинъ, какимъ главнымъ свойствомъ?

Маруся немного задумалась и приложила палецъ къ подбородку значительнымъ жестомъ. Грубину лицо ея видно было въ профиль.

— Вотъ чѣмъ: тѣмъ, какъ женщина умѣетъ добиваться своего, и не одною красотой... или нервами, *enfin parce que les hommes s'emballent!*—воскликнула она,—а головой и характеромъ... И потомъ вотъ еще чѣмъ: есть ли у ней планъ жизни, безъ всякихъ уступокъ и глупостей... И еще...

— Довольно и этого!—перебилъ ее Грубинъ.

Ему уже не нравилось, что онъ вернулся къ темѣ, которая можетъ сдѣлаться опять щекотливой.

— Но моя мать... *elle est hors concours*, — выговорила Маруся все такъ же твердо и безстрастно.

— Какъ пишется на выставкахъ?—спросилъ Грубинъ.

— Какъ пишется вездѣ... гдѣ талантъ и умъ,—поправила она его, и онъ почувствовалъ, что она его дѣйстви-

тельно „поправила“ съ большимъ тактомъ и выдержкой.

Но тогда зачѣмъ же она сама назвала свою мать и заговорила о ней въ такомъ неопредѣленномъ, почти двойственномъ тонѣ?

У него запросилась фраза по-французски: „mademoiselle est très forte“.

## XIX.

— Готово,—доложилъ жокей.

— Ъдемъ!—сказала Маруся и встала.

Грубинъ подаль ей руку. Она легко вскочила на скамью; жокей подвелъ лошадь и помогъ ей сѣсть въ сѣдло.

Они поѣхали обратно не дубовою аллеей, а прямо, Новыхъ паркомъ, по направлению къ павловскому шоссе.

Солнце уже начинало припекать.

Нехорошо вдругъ стало на душѣ Грубина. Ему было досадно на себя самого... Къ чему эти разговоры съ дѣвухой, которая либо смѣется надъ нимъ, либо рисуется, если она уже испорчена до мозга костей? Не заинтересованъ онъ ея душой, а просто начинаетъ втягиваться въ платоническое волокитство... Ея наружность и тонъ дразнятъ его и заставляютъ играть роль смѣшноватаго паперсника.

Струйка нехорошаго чувства защемила его, и онъ спросилъ Марусю, очень пристально поглядѣвъ на нее:

— А восточный человѣкъ?

— Comment? — откликнулась она, хорошенько не разсмыславъ, привычнымъ французскимъ звукомъ.

— Князь... Какъ его фамилія... она мнѣ не дается.

— Юшадзе.

— Онъ въ Красномъ-Селѣ?

Грубинъ это прекрасно зналъ и не о томъ хотѣлъ спросить. У него на губахъ вертѣлся другой вопросъ.

Маруся посмотрѣла на него серьезно. Видно было, что она за тысячу верстъ отъ личности князя.

— Маша ласкаетъ его въ какихъ видахъ?—спросилъ онъ умышленно небрежно.

— Кажется, она помѣстила его въ списокъ моихъ жениховъ.

Маруся выговорила это не измѣняя тона.

Фраза показалась ему до такой степени „подходящею“, что онъ чуть не расхохотался.

Видимое дѣло, что эта начитанная въ реальныхъ ро-

манахъ особа употребляетъ обычный пріемъ дѣвицъ, зондирующихъ почву.

Это подозрѣніе сейчасъ же смѣнилось вопросомъ:

„Да что же ей во мнѣ соблазнительнаго?“

Навѣрное, у Аксамитовыхъ, черезъ того же Валерія Ивановича Голубца, было прекрасно извѣстно, что у него состояніе, правда, прочное, но весьма среднее, не больше... Онъ не камеръ-юнкеръ, а до сихъ поръ всего кандидатъ правъ; нѣтъ у него ни блестящаго положенія, ни вліятельныхъ связей въ свѣтѣ.

Нехорошее чувство не улеглось еще.

— А этотъ списокъ уже порядочный? — спросилъ Грубинъ полуиронически.

— Не знаю... Мать моя мнѣ объ этомъ не говоритъ. Когда найдетъ нужнымъ, — скажетъ.

— Ха-ха-ха!

Смѣхъ Грубина разсыпался въ воздухѣ.

Маруся могла бы найти его страннымъ, можетъ-быть, обиднымъ; но она повернула къ нему ясное лицо, съ улыбкой въ своихъ прекрасныхъ глазахъ, темнѣвшихъ отъ солнца.

— Что васъ такъ разсмѣшило? — совершенно просто спросила она.

— И вы ждете чего же, Марья Орестовна, рѣшенія вашей татаи?

— Она ничего мнѣ не станетъ приказывать. Но будетъ такъ, какъ она рѣшитъ.

— Вы это серьезно?

Голосъ у него дрогнулъ.

— Очень, очень серьезно, — медленно и съ удареніемъ выговорила она.

— А кто же другіе кандидаты въ списокъ вашей татаи?

— Можетъ-быть, вотъ тотъ московскій... вы помните, денешу получили при васъ и мать мою это такъ еще обрадовало?

— Прекрасно помню.

— Это отъ одного набаба.

— Но не индійскаго, а, кажется, чисто-русскаго. У него какая-то... фамилія, которая отзывается...

— Да, — перебила Маруся. — Но у него два милліона.

— Только?

— Доходу, — протянула Маруся, и протянула такъ, что

Грубинъ ударилъ правымъ каблукомъ въ бокъ лошади, поднялъ ее въ галопъ и въ ту же минуту подумалъ:

„Тебѣ, видно, и самой больше ничего не надо!“

— Что жъ... купецъ?—спросилъ Грубинъ дворянскимъ звукомъ.

Это не ускользнуло отъ Маруси.

— Кажется, — отвѣтила она такимъ тономъ, какъ бы хотѣла сказать: „развѣ это не все равно, если у него два милліона, хотя бы и бумажками, дохода?“

— Такъ два милліона? — переспросилъ онъ, отдаваясь все тому же нехорошему чувству. — Это и на франки не мало, по нынѣшнему курсу — около шести милліоновъ франковъ.

— Да?—выговорила Маруся и въ ея взглядѣ блеснула мысль, которую онъ перетолковалъ себѣ такъ:

„Шесть милліоновъ—это цифра, за которую все можно достать и всѣхъ купить“.

— И что жъ онъ, этотъ Тараевъ... вѣдь, кажется, такъ?... одинъ изъ тѣхъ купчиковъ-франтиковъ, которые, въ сущности, остались самодурами?

Она глазами попросила у него объясненія слова самодуръ: должно-быть, она не знала его въ литературномъ смыслѣ.

И это ему не понравилось. Онъ сталъ объяснять ей, нетерпѣливо и многосложно, употребляя такія выраженія, какъ „праву моему не препятствуй“, и другія въ томъ же вкусѣ.

Маруся выслушала, наклонивъ голову, терпѣливо, ни разу не перебила его.

— Нѣтъ, — отвѣтила она, когда онъ кончилъ. — Этотъ набабъ изъ москвичей не такой... Онъ не изъ... какъ вы назвали... Кить Китычей?..

— Вы комедій Островскаго развѣ не знаете? — почти рѣзко перебилъ онъ ее.

— Мнѣ читалъ изъ нихъ мой учитель, еще въ Парижѣ... И я помню „Грозу“... *Cette femme adultère qui se jette dans le Volga.*

Слово „adultère“ она выговорила отчетливо, безъ мимолетной задержки, точно она замужняя женщина, не знающая никакой ложной стыдливости.

— И статью Добролюбова „Темное царство“ читали?—продолжалъ учительски допрашивать Грубинъ.

Онъ не могъ соскочить съ этой зарубки, чувствуя, что тонъ его дѣлается все безтактнѣе.

— Нѣтъ, не читала. Я по-русски очень мало знаю. Вы меня простите... Но этотъ набабъ не такой... Онъ похожъ на *homme du monde*. И, кажется, у него есть какой-то талантъ. Играетъ на скрипкѣ или на арфѣ, ужъ не помню... *Très modeste*,—вдумчиво прибавила она въ видѣ заключенія,—*presque sympathique*.

— А наружностью?

Вопросъ вылетѣлъ у Грубина стремительно.

— Блѣдный... Худой... *Air maladif*.

— Значить, интересенъ?—подсказалъ онъ.

— Да-а,—протянула Маруся,—скорѣе интересенъ.

— И молодъ?

— Ему дали бы тридцать лѣтъ,—выразилась она первымъ галицизмомъ за всю ихъ прогулку.

Онъ чуть было не сказалъ:

„Что жъ вы? Не плошайте! Захватывайте его поскорѣе!“

И обрадовался тому, что Маруся не кончила еще.

— *C'est quelqu'un*...—сказала она опять по-французски.

Повернувъ къ нему голову, она тотчасъ же прибавила:

— Извините меня... Я ужасно часто сбиваюсь на французскія фразы... потому что онѣ готовыя.

И она дружески, съ улыбкой, озарившей ея лицо, кивнула головой.

Но онъ не смягчился. На выѣздѣ изъ парка онъ остановилъ свою лошадь и хотѣлъ проститься съ ней.

— Вы проводите меня до нашей дачи,—сказала она ему спокойно.

Этимъ она дала ему урокъ и показала, что совсѣмъ не желаетъ, чтобы ихъ прогулки смотрѣли свиданіями. Пускай у ней дома увидятъ, что онъ ѣздилъ съ ней и проводилъ ее.

Грубинъ, въ первый разъ въ жизни, закусилъ нижнюю губу и долженъ былъ, улыбнувшись, вымолвить:

— Если позволите... Очень радъ!..

Они оба подняли лошадей въ галопъ и доскакали молча.

## XX.

Не хотѣлъ онъ сейчасъ же возвращаться домой. Въ немъ не улеглось раздраженіе, странное, недостойное его.

Довольно-таки усталую манежную лошадь онъ то и дѣло



пришпоривалъ и несся вдоль всего бульвара, въ тотъ край города, потомъ мимо моста съ китайскими фигурами, и поѣхалъ шагомъ все дальше отъ него, хорошенько и не соображалъ, куда онъ ѣдетъ.

И ѣсть ему не хотѣлось, а время уже подходило къ часу его завтрака.

Одна изъ узкихъ дорогъ привела съ дальней окраины парка къ низкому, заросшему мѣсту, гдѣ сквозь деревья и крупные кусты замелькали стѣны и окна низкаго зданія.

Это былъ Баболовскій дворецъ.

Но онъ его не сразу узналъ, осмотрѣлся, подѣхалъ ближе, сошелъ съ сѣдла и привязалъ лошадь къ стволу березы.

Тихо и добродушно-красиво было тутъ.

Разомъ его нервное возбужденіе спало. Онъ неровными шагами, отъ долгой ѣзды, пошелъ къ площадкѣ вокругъ дворца и присѣлъ на диванчикѣ, въ тѣни какого-то куста. Солнце особенно игриво глядѣло на этотъ уголокъ. Кругомъ—ни души. Никто не подошелъ къ Грубину, не предложилъ ему оглядѣть комнаты, не спросилъ: имѣетъ ли онъ билетъ.

Но ему не сидѣлось, несмотря на усталость, на нытье въ поясницѣ и въ икрахъ.

Тихо подошелъ онъ къ одному изъ оконъ, изнутри ничѣмъ не заставленныхъ, и приблизилъ лицо къ стеклу.

Зала стояла чистая и просторная, съ отдѣлкой минувшей эпохи. Свѣтлая мебель, паркетъ, жирандоли, лѣпной потолокъ, мраморные бюсты, часы; все такъ чинно, съ цѣломудреннымъ и задумчивымъ видомъ. Тутъ совсѣмъ по-другому думали, говорили, мечтали и любили люди той эпохи. И всѣ они теперь покойники.

Эта мысль холодкомъ повѣяла на него.

Онъ еще долго смотрѣлъ въ окно и уже ничего не думалъ, отдавался безпредметному настроенію, совсѣмъ отличному отъ того, что тревожило и физически кололо его какихъ-нибудь десять минутъ назадъ.

Но развѣ онъ не былъ здѣсь, не такъ давно, въ началѣ весны, когда эти кусты и деревья только что покрывались почками?

Память сейчасъ же развернула передъ нимъ все, до ничтожныхъ подробностей. Они поѣхали съ Катей,—она доживала послѣднія недѣли беременности, — поѣхали именно сюда. Ей захотѣлось видѣть этотъ дворецъ, за-

хотѣлось по-дѣтски, настойчиво, какъ это бываетъ съ женщинами, когда онѣ впервые дѣлаются матерями. И онъ еще искалъ коляски на резинахъ и нашелъ у собора, сторговалъ за три рубля и былъ очень радъ, что четырехмѣстное ландо оказалось такимъ покойнымъ.

Они приѣхали сюда послѣ завтрака. Денькъ былъ ясный, неинного свѣжій. Катя надѣла свое новое пальто съ пелернякой, подаренное имъ же и купленное у Антонова. Ей захотѣлось выйти изъ экипажа, когда они остановились въ двухъ шагахъ отъ того дерева, гдѣ теперь привязана лошадь.

Съ какою трепетною боязнью велъ онъ ее сюда и повторилъ: „Тутъ не оступись, милая“, и она ему отвѣтила нѣсколько разъ:

— Володя, развѣ я малолѣтняя?

А она была тогда такая маленькая и пухленькая, смѣшная и милая, съ бѣлизной кожи на пополнившихся щекахъ. Хорошѣть она стала съ пятаго мѣсяца. Даже волосы ея дѣлались гуще и приобрѣли блескъ.

Вонъ тамъ, на томъ самомъ диванѣ, куда онъ было присѣлъ, они сидѣли довольно долго. Имъ очень понравился весь этотъ уголокъ, и стиль дворца, и отдѣлка комнатъ.

Говорили они шутливо и молодо о „дофинѣ“ и ждали его много-много черезъ десять дней.

Грубинъ закрылъ глаза, и краска стыда прокралась на его лицо.

Сколько времени прошло съ того послѣ-завтрака?

Не было еще полныхъ двухъ мѣсяцевъ.

Язвительныя слова, обращенныя къ самому себѣ, ринулись потокомъ.

Какъ вся эта послѣдняя недѣля показалась ему постыдной!

— Подло, подло! — громко и порывисто говорилъ онъ, всталъ со скамьи и первно заходилъ по площадкѣ вдоль оконъ.

Его потянуло опять къ тому окну, гдѣ онъ стоялъ и глядѣлъ внутрь.

Отчего же еще тогда онъ не вспомнилъ про поѣздку сюда съ Катей?

Неужели онъ до такой степени охладѣлъ къ ея памяти? Шесть недѣль послѣ смерти ея и ихъ ребенка!

Эти два слова „шесть недѣль“ оставили слѣдъ въ его мозгу. „Шесть недѣль“...

А когда же онъ служилъ панихиду въ сороковой день по смерти Кати и Тани?

Неужели онъ забылъ это,—онъ, съ его памятью?

Грубинъ остановился какъ вкопанный.

Это было невѣроятно. Никто ему не напомнилъ. Но кто же могъ ему напомнить? Горничная?.. Кухарка?.. Онъ сами не забыли, но не сказали ему ничего, побоялись тревожить, огорчать.

Онъ больше его любитъ Катю... Катю!.. Катю, его Катю, милую, преданную, чистую какъ свѣча передъ образомъ, оставившую въ немъ разбитое сердце, мать его дочери? Вѣдь это было горе, большое, разразившееся ударомъ молнии...

Не дальше, какъ двѣ недѣли назадъ, онъ мѣста себѣ не могъ найти нигдѣ, бродилъ какъ тѣнь, и у себя, и въ садахъ, угнетенный одною скорбью, одною мыслью о невозвратной жестокой потерѣ.

И вдругъ—забыть про сороковой день!

Онъ вернулся на скамью и долго сидѣлъ, закрывъ лицо руками.

Ну, да, онъ плохой православный. Обряду придаетъ онъ мало важности. Но панихида облегчаетъ скорбь тѣхъ, кто оплакиваетъ своихъ покойниковъ. Она — человѣчна. При минорныхъ возгласахъ дьякона—и на отпѣваніи чужого—важъ въ сердце проникаетъ жалость и тихія слезы льются мимовольно.

И онъ забылъ! Не то, что не хотѣлъ, а просто забылъ! Значить, въ этотъ день ни разу не подумалъ о Катѣ; значить, не захотѣлъ поплакать на ея могилѣ, гдѣ онъ не былъ больше двухъ недѣль...

Это уже непоправимо... Сороковой день прошелъ... Печатать объявленіе заднимъ числомъ—постыдно... Заказать панихиду только для очистки совѣсти?

— Для очистки совѣсти!—вслухъ выговорилъ онъ, откинувъ руки отъ лица, красный, съ блестящими, негодующими глазами.

Никогда онъ такъ не возмущался собою, подлостью своего поведенія.

Неужели все это вызвали случайная встрѣча съ семействомъ какихъ-то подозрительныхъ, свѣтскихъ, пустѣйшихъ людей, наружность и тонъ исковерканной дѣвицы,

съ которой онъ сегодня, все утро, велъ себя такъ мальчишески, точно влюбляющійся лицеистъ или юнкеръ изъ кавалерійскаго училища?

Негодова́ніе клокотало въ немъ, но онъ не хотѣлъ почему-то спросить себя: полно, преисполненъ ли онъ скорбью о покойницѣ теперь, въ эту минуту?

— Катя моя!.. Голубка милая!—зашептали его губы.

Онъ досталъ платокъ и отеръ глаза.

И ему стало легче. Не скорбь его облегчилась, а чувство противъ самого себя. У него уже не было больше силъ стыдить того смѣшного спортсмена, который полчаса назадъ скакалъ рядомъ съ амазонкой высшей школы и въ антрактахъ задавалъ ей полухидные и безтактные вопросы насчетъ претендентовъ на ея руку.

Грубинъ всталъ, медленно отвязалъ лошадь, вскочилъ въ сѣдло и поѣхалъ шагомъ.

## XXI.

Въ кабинетѣ, со спущенными шторами, душно, хотя оба окна настѣжъ отворены.

На диванѣ, въ парусинномъ костюмѣ, безъ галстука, Грубинъ лежалъ головой къ свѣту и читалъ книжку журна́ла.

Читалъ онъ разсѣянно, безпрестанно откладывалъ книжку на стулъ, приставленный къ кожаному дивану, и закуривалъ папиросу чаще, чѣмъ онъ обыкновенно дѣлалъ.

Третій часъ. На улицѣ томительно проползалъ жаркій іюльскій день.

Разные запахи проникали изъ-подъ спущенныхъ шторъ и беспокоили Грубина. Онъ всталъ, подошелъ къ письменному столу, взялъ съ него флаконъ съ душистою водой и началъ искать трубочки, чтобы вставить ее въ горлышко и попрыскать, освѣжить воздухъ.

Глаза его упали на свѣтло-сѣрый листокъ, брошенный поперекъ бювара,—листокъ съ монограммой, продолговатый, плотный и матовый. Онъ былъ сложенъ вдвое и лежалъ сгибомъ внизъ, такъ что можно было видѣть по черкъ.

Рука его оставила флаконъ и взяла листокъ.

Отъ свѣтло-сѣраго продолговатаго листка шло легкое благоуханіе. Сквозь него нервы Грубина уже не раздражали тѣ запахи, что проползали изъ-подъ опущенныхъ шторъ.

Благоуханіе чуть примѣтное, но отъ него сейчасъ же

пошли образы. Вотъ бѣлая, немного худая рука съ розовыми ногтями выводитъ эти буквы никогда невиданной имъ формы, немного въось, крупная, съ какими-то шпорами въ углахъ, тамъ, гдѣ всѣ закругляютъ и гласныя, и согласныя... И почеркъ поразительно гармонируетъ со всѣмъ обликомъ той, кто выводилъ эти строки.

Въ пятый разъ читаетъ онъ содержаніе записки, написанной не по-французски, какъ слѣдовало бы ожидать, а по-русски.

И нѣтъ ни одной грамматической ошибки, кромѣ нетвердости въ знакахъ, какъ всегда у женщинъ.

Складъ фразъ мужской, краткій.

„Вы насъ забыли,—читалъ онъ.—Папа и я соскучились. Вы знаете, въ какіе часы насъ всегда можно застать дома. Столько темъ слѣдовало бы намъ довести до конца. Не правда ли?.. Помните нашъ уговоръ?

И дальше:

„Мать моя просила меня передать вамъ свое приглашеніе отобѣдать у насъ послѣзавтра. Я ей уже сказала, что вы будете. Вы мнѣ простите такую смѣлость“.

Сегодня, если онъ не пойдетъ на обѣдъ, надо извиниться письмомъ.

Записка лежитъ уже цѣлыя сутки. Ее принесъ вчера, безъ него, выѣздной, и горничная, наивно описывая его видъ, сказала ему:

— У него, баринъ, подъ мышками золотые жгуты висятъ.

А онъ развѣ не скучалъ эти четыре дня?

Такого вопроса Грубинъ не задалъ себѣ ни вчера, когда пробѣжалъ въ первый разъ записку Маруси, ни сегодня.

Онъ ходилъ вчера на кладбище отслужить литію на могилѣ, гдѣ, на памятникѣ изъ чернаго мрамора, золотыми буквами вырѣзано: „Екатерина Николаевна Грубина и дочь ея, младенецъ Татьяна“. Плакалъ онъ много по уходѣ священниковъ.

Это его очень облегчило. Когда онъ вышелъ изъ кладбищенскихъ воротъ, то самъ почувалъ, какъ ему легко, почти радостно; а накануне весь день протянулся до небази тяжело... Хотѣлъ онъ ѣхать въ городъ за наспортомъ, и не поѣхалъ. На дачу, гдѣ онъ могъ отъ пяти до семи застать Марусю, онъ намѣренпо не заглядывалъ.

Записку онъ вчера даже бросилъ на столъ, небрежнымъ

жестомъ, и ни разу больше не пробѣжалъ ее. Сегодня онъ читаетъ ее уже въ пятый разъ и, читая, какъ бы дразнить себя образами и мыслями, которые должны его отталкивать отъ дома Аксамитовыхъ.

Стыдилъ онъ себя достаточно. Свою „измѣну“ памяти Кати онъ ничѣмъ не хотѣлъ оправдывать, хотя не находилъ въ себѣ охоты къ новымъ обличеніямъ своей „подлости“.

Какъ бы онъ къ себѣ ни относился, но надо же быть вѣжливымъ.

Его приглашаютъ, стало-быть, оказываютъ вниманіе... Врядъ ли Любовь Федоровна имѣетъ на него какіе-нибудь виды. Какіе же? Ужъ, конечно, не прочить его въ женихи Марусѣ. Зовъ на обѣдъ идетъ скорѣе отъ мужа и дочери.

Эта мысль не въ первый разъ приходитъ ему въ теченіе сутокъ. Весь тонъ записки показываетъ, что дочь желаетъ поддержать съ нимъ пріятельскія отношенія... Она даже заигрываетъ съ нимъ... Самое приглашеніе только прикрывается именемъ матери. Это ясно!

Но что ему до всего этого за дѣло?

Довольно и того, что онъ изъ-за Маруси, изъ-за своего гаденькаго селадонства, измѣнилъ памяти существа, отнятаго у него судьбой съ такою жестокостью...

Слишкомъ довольно этого!

Что можетъ онъ найти въ семействѣ Аксамитовыхъ, кромѣ замаскированнаго хищничества?

Всегда, и совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, онъ держался въ сторонѣ отъ того свѣта, гдѣ играютъ роль вотъ такіа барыни, съ ихъ снисходительными мужьями, и дѣвцы, не знающія ничего, кромѣ ловли мужей, съ расчетомъ на скорое и безпрепятственное нарушеніе седьмой заповѣди.

Съ какой же стати идти на добровольное погруженіе въ болото, гдѣ барахтаются самыя вредныя особи чело-вѣческаго стада, живущія только въ свое чрево и въ свои ненасытные позывы тщеславія и безпутства?

Слова, которыми думалъ Грубинъ, были рѣзки и даже гнѣбны, но внутри у него не роилось ни негодованія, ни сокрушенія надъ собственною дрянностью.

Онъ хотѣлъ бы стряхнуть съ себя свое развѣченное, нервное недомоганіе, и не могъ.

Записка на сѣромъ продолговатомъ листкѣ дразнила

его. Опять очутилась она въ его рукахъ и ея благоуханіе и щемотало, и втягивало его въ кругъ мыслей, вертѣвшихся не около его вины передъ памятью покойницы, а вокругъ той, кто заставила его скакать рядомъ съ нею и забыть сороковой день кончины его Кати.

Но вѣдь заговорило же въ немъ и человѣчное чувство, если онъ началъ интересоваться этою дѣвушкой?

Почему же непременно селадонство или рисовка, а не что-нибудь выше сортомъ?.. Просто передъ нимъ начала раскрываться душа — женская или мужская: это другой вопросъ — странная, почти загадочная, во всякомъ случаѣ, такая, какихъ онъ не встрѣчалъ до тѣхъ поръ. Разговоры съ этою дѣвушкой помогли ему забывать о своемъ горѣ, высвобождали его изъ-подъ гнета, который дѣлался вѣдь несноснымъ, бесплоднымъ и мертвящимъ, — развѣ это не вѣрно?

Поѣздка за границу, рѣшенная имъ въ принципѣ до его знакомства съ Аксамитовыми, должна послужить тому же: разсѣяться, облегчить ударъ, придти въ себя, начать вѣдаться въ жизнь, — все это настолько, насколько надо было брать ванны въ какомъ-то тамъ Тараспѣ! Докторъ самъ нисколько не скрывалъ этого. Онъ и до сихъ поръ повторяетъ:

— Вамъ поѣздка необходима, даже если бы воды и не помогли сразу.

Вѣдь онъ не взялъ же револьверъ и не застрѣлился у гроба жены или на ея могилѣ... А кто же ему мѣшалъ?.. Около него даже никого не было, кто бы слѣдилъ за нимъ... Да вриды ли кому и приходило опасеніе, что онъ покончитъ съ собою, хотя всѣ знакомые считали его съ женой идеально-нѣжными супругами.

Къ чему же преувеличивать?.. Зачѣмъ ковырять въ душѣ безъ всякой серьезной причины? Если онъ забылъ про сороковой день, — значитъ, жизнь начала его забирать сильнее, чѣмъ онъ ожидалъ.

Этотъ выводъ всталъ передъ нимъ спокойно и безстрастно. Онъ не устыдился его, но и не порадовалъ.

Точно для того, чтобъ уйти отъ него, Грубинъ поспѣшно спросилъ себя: пошлетъ ли онъ записку Аксамитовымъ съ отказомъ, или нѣтъ? Нерѣшительность все еще владела имъ, небывалая, болѣзненная... Никто не считалъ его тряпкой. Во всѣхъ своихъ и постороннихъ дѣлахъ, крупныхъ и мелкихъ, онъ привыкъ къ рѣшительнымъ

выводамъ и не переставалъ воспитывать въ себѣ привычку къ такому поведенію.

А тутъ, въ такомъ вздорѣ, онъ медлилъ и волновался.

## XXII.

У крыльца остановились дрожки. Кто-то поднялся и сильно позвонилъ.

Грубинъ всталъ, подошелъ къ окну и приподнялъ штору.

— Буффало-Билль!—воскликнулъ онъ вслухъ и тотчасъ же опустилъ штору.

Первая его мысль была: приказать горничной не принимать. Голубецъ принесетъ съ собою воздухъ тѣхъ же Аксамитовыхъ и свой собственный, непременно будетъ разспрашивать, балагурить, обдастъ всѣмъ букетомъ дворянскаго самодовольства.

Горничная просунула голову въ полуотворенную дверь и шопотомъ спросила:

— Прикажете принять?

Грубинъ хотѣлъ сказать: „не принимать“, и сказалъ:

— Примите!

Вторая мысль быстро отстранила первую. Почему же не принять Голубца? Онъ все-таки товарищъ и не виновать въ томъ, что у него нѣтъ такихъ свойствъ натуры, какія сдѣлали бы изъ него образцовую личность... Заѣхалъ,—значить, пожелалъ видѣть его и пріятельски побесѣдовать.

Но и эта мысль прикрывала другое соображеніе.

Голубецъ могъ уже повидаться съ Аксамитовыми по приѣздѣ. Желаніе заставить его говорить о нихъ превозмогло, хотя оно и не доложило о себѣ въ открытой формѣ.

— Здоровъ?—раздался носовой голосъ Валерія Ивановича еще на порогѣ кабинета.

— Здоровъ, — отвѣтилъ Грубинъ веселѣе, чѣмъ хотѣлъ бы.

Они, по обыкновенію, подѣловались.

Голубецъ, въ застегнутомъ сюртукѣ, несмотря на жару, снялъ свой неизмѣнный цилиндръ уже въ кабинетѣ и поставилъ его на письменный столъ.

— Изнываешь отъ температуры? И, кажется, въ меланхолическомъ настроеніи?

Спросивъ это, Голубецъ придалъ лицу сочувственное выраженіе и прибавилъ:



— Напрасно, Владиміръ Павловичъ, ты себя такъ распускаешь...

— Хочешь что-нибудь?.. Сельтерской воды съ виномъ?— перебилъ его Грубинъ.

— Прикажи... Жажда большая. Я вѣдь сейчасъ съ завтрака отъ Аксамитовыхъ... Душно у тебя, братъ. Не перейти ли намъ въ залу?

— Сдѣлай милость!

Зала стояла все такая же пустая, съ колыбелью по-средиѣ. Открытыя окна въ садъ, съ тѣнью шторъ, держали комнаты въ прохладѣ.

— И кроватка, — выговорилъ Голубецъ и воздержался отъ дальнѣйшихъ замѣчаній.

Грубинъ внутренно сказалъ ему за это спасибо.

Молчаніе, протянувшееся на нѣсколько секундъ, онъ прервалъ вопросомъ:

— Что жъ тамъ дѣлается?

Въ немъ вдругъ загорѣлась потребность заставить Голубца говорить объ этой четѣ, о нравахъ мужа и жены, объ отношеніяхъ къ нимъ дочери.

Въ дверь онъ приказалъ горничной принести стаканъ и сельтерской воды, вернулся къ Валерію Ивановичу, и они заходили, въ ногу, по пустой комнатѣ.

— Что дѣлается?.. Да вотъ завтра тебя ждутъ къ обѣду.

— И ты приглашенъ?

— Буду, если управлюсь съ дѣлами. Ты, кажется, имъ ничего не отвѣтилъ?.. Это, душа моя, неловко.

— Да вѣдь они не просили отвѣта, во всякомъ случаѣ?

— Все-таки слѣдовало дать знать... Люди къ тебѣ такъ внимательны.

Это было сказано особымъ внушительнымъ тономъ, какой онъ употреблялъ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ надо выказать свою порядочность и умѣнье жить.

— Если бъ я отказалъ, я бы написалъ еще вчера.

— Стало, будешь? Очень радъ... Но слѣдовало бы дать знать. Еще не поздно, нѣтъ четырехъ.

— А послѣ четырехъ нельзя? — спросилъ Грубинъ. — Въ книжкѣ свѣтскихъ приличій Соколова такъ приказано, а?..

Грубинъ положилъ руку на плечо Валерія Ивановича и насмѣшливо поглядѣлъ на него.

— Я, братъ, и безъ книжки умѣю жить, — съ достоинствомъ отвѣтилъ тотъ, сдѣлавъ жестъ правою рукой, гдѣ

у него на запонкѣ блестяла монограмма изъ мелкихъ брильянтовъ. — Для тебя такой домъ — чистый кладъ... Любовь Федоровна — женщина, какихъ у насъ совсѣмъ нѣтъ, умница, тактъ изумительный, во всемъ какая ширь... Умѣетъ принять — какъ никто... И безъ всякаго цирлихъ-манирлихъ... Орестъ Юрьевичъ — человекъ блестяще образованный... Тонкій человекъ... Надо его знать!.. Во всѣхъ частяхъ, — европейцы... Маруся, — я вѣдь ее еще вотъ какой зналъ, — во что выросла!

— Такихъ барышень нѣтъ? — передразнилъ его Грубинъ.

— Если ты не оцѣнилъ ее — не дѣлаетъ чести твоей проицательности... А она еще о тебѣ спрашивала... Очень сочувствуетъ твоему горю... Знаешь, она сдержанна и горда... Надо ее знать!..

— Ладно, ладно! — перебилъ Грубинъ, повернулся и остановилъ Голубца посреди залы. — Ты лучше вотъ что мнѣ скажи: успѣшно ли идетъ обрабатываніе московскаго набаба?

— Какого набаба?

— Ну, какъ его... Тараевъ, что ли? У котораго два милліона дохода бумажками? Вѣдь онъ здѣсь?

— Сейчасъ завтракалъ съ нимъ.

— Ну, такъ кому же прочить его Любовь Федоровна, себѣ или дочери, или и ей, и себѣ... потомъ?

Грубинъ засмѣялся и отошелъ къ окну.

— Я тебя не понимаю, Владиміръ Павловичъ. Съ какой стати такіа шутки?

Грубина взялъ задоръ, сродни тому нехорошему чувству, которое дергало его во время прогулки съ Марусей.

— Валерій Ивановичъ!.. Милый мой!.. Пожалуйста, оставь ты свои фасоны... Ты думаешь, что я, какъ простофиля, буду вторить тебѣ насчетъ добродѣтели этой барыни?.. У меня, братъ, память дьявольская. И она мнѣ давно подсказала кое-что изъ прошлаго госпожи Аксамитовой... А московскаго архимилліонера не я выдумалъ... Ergo?

Онъ подошелъ къ Голубцу и два раза кивнулъ головой все съ тѣмъ же вызывающимъ выраженіемъ въ глазахъ.

Ему ни подъ какимъ видомъ не хотѣлось говорить объ Аксамитовой въ тонѣ этого Буффало-Билля съ его „фасонами“. Онъ радъ былъ показать ему, что не желаетъ быть наивнымъ потому только, что Валерій Голубецъ —

свой человекъ въ домъ Аксамитовой и, навѣрное, служить ей въ какихъ-нибудь аферахъ.

— Ergo?.. Я, братъ, ничего тебѣ не скажу на это. — Голубецъ выпрямился и поправилъ галстукъ. — Въ это семейство ввелъ тебя я, и отъ меня ты никакихъ сплетенъ не услышишь. Я могла для женской репутаціи. Любови Федоровна — всѣми уважаемая женщина. Къ ней ѣздятъ дамы лучшаго общества... Она, душа моя, мнѣ не исповѣдовалась. Да въ такомъ случаѣ я былъ бы еще болѣе... явнѣ.

— Оставь... Надоѣлъ... Почему же ты считаешь себя порядочнѣе, чѣмъ тотъ, кто спрашиваетъ тебя по-товарищески: что за люди тѣ, кому ты его представилъ? Вспомни, милый другъ, ты меня почти насильно потянулъ къ изъ коляскѣ.

— Насильно! Насильно!

— Да, насильно. У меня никакого желанія не было идти... Ты — другъ дома, ты, коли на то пошло, нравственно обязанъ былъ предупредить.

— Въ чемъ?.. Владиміръ Павловичъ! Ты, Богъ знаетъ, что говоришь!

— Я, можетъ-быть, и не желалъ вовсе играть роль почтительнаго посѣтителя салона госпожи Аксамитовой и выказывать ей респектъ.

— Это твое дѣло! — еще серьезнѣе перебилъ Голубецъ. — Я не гувернеръ твой... У тебя свой есть умъ, душа моя. Ты теперь въ нервномъ состояніи находишься... это понятно. Тебѣ надо развлечься... Я и познакомилъ тебя съ пріятнымъ домомъ.

— Пріятнымъ во всѣхъ отношеніяхъ! — прервалъ Грубинъ и рѣзко захохоталъ.

— Можетъ-быть!

Голубецъ обидчиво повелъ ртомъ и отошелъ къ двери въ кабинетъ.

— Куда ты? — крикнулъ ему Грубинъ, чувствуя, что разговоръ получилъ некрасивый отбѣнокъ.

— Въ Петербургъ!.. Съ тобой нынче трудно ладить... И я тебя покорнѣе прошу, Владиміръ Павловичъ, съ такими разспросами ко мнѣ не обращаться... Есть не мало нуськовъ, что въ домъ и днюютъ, и почуютъ, а готовы верному встрѣчному всякую пакость про хозяевъ рассказывать. Мы, братецъ, не такъ воспитаны...

Голубецъ перешелъ въ кабинетъ, взялъ шляпу и съ улыбкой легкаго укора подаль руку Грубину.

— Надо лѣчиться, душа моя, поѣзжай лучше на воды.  
• Съ этими словами онъ и вышелъ.

### XXIII.

Въ исходѣ седьмого часа Грубинъ приближался, по бульвару, къ первому цвѣточному скверу съ фонтанами.

Онъ былъ старательно одѣтъ и подстриженъ; утромъ нарочно ѣздилъ въ Павловскъ къ французу-парикмахеру. На немъ немного широко сидѣлъ сюртукъ. Не надѣвалъ онъ его съ похоронъ жены.

Обѣдаютъ у Аксамитовыхъ ровно въ семь. Онъ шелъ туда.

Сюртукъ не смущалъ его. Въ запискѣ Маруси онъ, въ маленькомъ постъ-скриптумѣ, разобралъ два слова: „Morning dress“. По-англійски онъ не учился, но понялъ, что это— позволеніе явиться одѣтымъ по-утреннему.

Цѣлый день вчера онъ не зналъ, куда ему дѣваться. Недовольство собой увеличилось.

Какой-нибудь „Буффало-Билль“—Валерій Голубецъ, къ которому онъ никогда серьезно не относился, — и тотъ оказался порядочнѣе его.

Тотъ былъ кругомъ правъ. Если бъ онъ даже и зналъ всю подноготную про Любовь Ѳедоровну, не слѣдовало ему выдавать ее, разъ онъ „свой человѣкъ“ въ ея домѣ и представилъ его Аксамитовымъ.

Все поведеніе свое во вчерашнемъ разговорѣ онъ не могъ объяснить ничѣмъ другимъ, какъ крайнею развѣченностью нервовъ. Никто не виноватъ въ томъ, что онъ имѣетъ поводъ стыдить себя.

Да и какое, наконецъ, ему дѣло до нравовъ госпожи Аксамитовой? Фактическаго онъ и до сихъ поръ ничего не знаетъ... Подозрѣвать можно всѣхъ. Только жена цезаря въ Римѣ не могла подпадать подозрѣнію, даже если она была и Фаустина или сама Мессалина.

Сегодня утромъ онъ только что проснулся — почти весело выбрали себя, рѣшилъ, что пойдетъ обѣдать къ Аксамитовымъ и не станетъ нисколько хитрить, замѣтивъ своего интереса къ Марусѣ. Ему эту дѣвушку жаль... Если у ней мать испорчена и способна ее развратить, тѣмъ понятнѣе въ каждомъ душевно-здоровомъ человѣкѣ желаніе поддержать ее, насколько это возможно, не на-

прашиваясь въ наперсники, не играя никакой глупой и слащавой роли.

Онъ шелъ не скоро, даже замедлялъ шагъ. Смутная тревога давала о себѣ знать. Этотъ обѣдъ, хотя и не явно, волновалъ его.

До цвѣточнаго сквера оставалось нѣсколько шаговъ. Кто-то поравнялся съ нимъ справа. Что-то мелькнуло металлическое.

Грубинъ обернулся и не сразу узналъ въ росломъ, сѣдомъ генералѣ отца Вавы.

Тотъ шелъ бодрымъ, военнымъ шагомъ, въ одномъ сюртукѣ съ погонями.

— Здравствуйте! — окликнулъ его старикъ, остановилъ и широкимъ жестомъ подалъ руку.

— Извините, генералъ... Не узналъ васъ. Вы вѣдь были штатскій... Поступили опять на службу?

— Нѣтъ... Я—въ запасѣ... Вотъ... Изволите видѣть...

Онъ указалъ рукой на бѣлый узкій позументъ внизу золотого погона.

— Ахъ, да!..

— Мы имѣемъ право носить и штатское, и военное платье.

— Совершенно вѣрно!

— Вы позволите пройти съ вами? Или вы любите уединеніе?

— Пожалуйста!

Грубинъ сдѣлалъ особенно вѣжливый поклонъ головы.

— Вамъ въ ту же сторону?

Генералъ протянулъ руку по направленію къ Дворцовому саду.

— Именно!

Они пошли въ ногу. Старикъ оглянулъ его съ улыбкой и спросилъ:

— Вѣдь я имѣлъ удовольствіе васъ встрѣтить тогда у Любови Ѳедоровны... Вы ее съ тѣхъ поръ не видали?

— Былъ раза два,—спокойно отвѣтилъ Грубинъ.

Его волненіе утихло отъ этой встрѣчи съ генераломъ Дынинымъ. Сказать, что онъ идетъ къ ней обѣдать, онъ считалъ ненужнымъ. Можетъ-быть, тотъ не приглашенъ, и это всегда непріятно.

— Вы Любовь Ѳедоровну давно изволите знать?

Унылые глаза генерала усмѣхнулись при этомъ вопросѣ и усами онъ повелъ на особый ладъ.

— Нѣтъ, всего какихъ-нибудь двѣ недѣли.

— А-а!..—протянулъ генераль и опять повелъ усами.—  
Дама вкусная! Какъ вы находите?.. Сохранилась на рѣд-  
кость... Вы думаете сколько ей?

— Лѣтъ подъ сорокъ.

— И всѣ сорокъ четыре!.. Я ея лѣта знаю такъ же  
хорошо, какъ свои собственные. Бабѣ давно пятый деся-  
токъ идетъ, и какая сочность, а? И вѣдь не притирается...  
Ну, пудру употребляетъ, глаза подводитъ немножко... по-  
парижски. Но ни румянъ, ни бѣлилъ! Шея-то какой бѣ-  
лизны!

— Вы, генераль, кажется, большой знатокъ...

Грубинъ взглянулъ на него вбокъ и усмѣхнулся, какъ  
бы желая затянуть Дынина въ разговоръ, гдѣ онъ най-  
детъ то, что ему нужно было.

— Теперь я ужъ кацуть! — съ унылымъ юморомъ вы-  
говорилъ старикъ и сдѣлалъ жестъ ладонью правой руки.—  
Когда-то... Видите... Я остался вдовъ еще свѣжимъ моло-  
дымъ мужчипой... Дѣти были маленькія. Во второй разъ  
я не хотѣлъ жениться... Знаете, надѣлать ихъ мачихой...

— Лучше пользоваться свободой,—добавилъ Грубинъ.

— Я сю не злоупотреблялъ, но, конечно, не монахомъ  
жилъ.

— И тогда вы уже знавали Любовь Ѳедоровну?

Вопросъ Грубина зазвучалъ такъ, что генераль остано-  
вился и тряхнулъ головой.

— То-есть какъ знавалъ?.. Насчетъ любовныхъ чувствъ?..  
Или въ родѣ того? Нѣтъ!.. Одно время она мнѣ шель-  
мовски нравилась, но я тогда не былъ еще вхожъ въ  
ихъ домъ... Потомъ они скрылись... съ горизонта... За  
границей больше проживали.

Генераль на этотъ разъ многозначительно подмиг-  
нулъ.

— И тамъ Любовь Ѳедоровна, вѣроятно, гремѣла?

— Да вы, стало-быть, совсѣмъ не знаете ея?

— Я уже сказалъ вамъ, генераль, что мое знакомство  
началось едва двѣ недѣли.

— И вы съ намѣреніемъ? — спросилъ Дынинъ и оста-  
новился.

Сталъ и Грубинъ.

— Съ какимъ? Съ жениховскимъ?.. Насчетъ дѣвицы?

Этотъ вопросъ вылетѣлъ у Грубина быстро, точно онъ  
его готовилъ.

— Что жъ?.. Вы еще молодой человекъ. Можете одинаково претендовать и на дѣвицу, и на маменьку.

— И безъ меня есть охотники!—умышленно игриво замѣтилъ Грубинъ.

— Есть,—протяжно и съ особою миной повторилъ генералъ.—Любовь Ѳеодоровна въ родѣ царицы амазонокъ... выберетъ себѣ для единоборства самаго крупнаго витязя... Насчетъ этого у ней удивительное чутье.

— Насчетъ чего?—съ напускною наивною остановилъ Грубинъ.

— Не любить, чтобы презрѣнный металлъ у мужчинъ зря лежалъ. Разумѣется, когда сумма бросается въ носъ...

Намекъ былъ слишкомъ ясенъ. Онъ развязывалъ руки Грубину.

Этотъ почтеннаго вида старикъ, въ большихъ чинахъ,—на погонахъ блестѣли цѣлыхъ три звѣздочки,—не сталъ бы и въ шутиломъ родѣ говорить зря такія вещи.

— Что жъ, тотъ московскій милліонеръ, котораго ждала Любовь Ѳеодоровна, такой именно предметъ ея охотничьаго лова?

Вопросъ Грубина разсмѣшилъ Дыннина. Онъ захохоталъ хриплымъ баскомъ и мотнулъ головой.

— А вы уже знаете?—сквозь смѣхъ спросилъ онъ.

— Слышалъ.

— Именно!.. Это—кушъ первосортный.

— Два милліона доходу?

— Больше, говорятъ! Золотые пріиски, рыбныя ловли, хлѣбные экспорты...

— Словомъ, набабъ!

— Набабъ! Набабъ! Собоюдохлый и, какъ всѣдохлые, склоненъ чрезвычайно къ влюбленію.

Генералъ опять остановилъ Грубина и взялъ его за пуговицу.

#### XXIV.

Они остановились наискосокъ одной изъ улицъ, идущихъ отъ бульвара къ набережной Дворцоваго сада.

— Вамъ куда?—спросилъ генералъ, перебивая себя.

— Вотъ сюда,—показалъ Грубинъ какъ разъ на ту улицу.

— Прекрасно! И мнѣ туда же.

— Перейдемте.

Шагая черезъ улицу, Дыннинъ опять заговорилъ, и тонъ

его дѣлался серьезнѣе, брови задвигались и щеки стали краснѣть.

— Аксамитовы, по-моему,—и она, и ея мужъ,—живой примѣръ того, какая у насъ теперь распущенность въ обществѣ... Всюду и вездѣ!.. И чѣмъ дальше идетъ, тѣмъ хуже... Снаружи все шито-крыто... Но для кого же тайна,—тонъ старика сдѣлался сердитѣе,—для кого же тайна, спрошу я, на какія средства они проживаютъ сорокъ-пятьдесятъ тысячъ въ годъ?..

— Пятьдесятъ тысячъ!—вырвалось у Грубина.

— А вы думали какъ? А то и больше... Вѣдь у нихъ вилла на Ривьерѣ, они нанимаютъ цѣлые отели, когда проводятъ сезонъ въ Парижѣ, въ Лондонѣ, въ Римѣ... У него ничего, кромѣ долговъ... Было когда-то состояніе, и хорошее. Онъ запутался въ спекуляціяхъ. За границей игралъ на биржѣ. Совсѣмъ было сгинулъ... И сгинулъ бы, если бъ судьба не послала ему такую подругу... За ней, онъ, правда, ничего не взялъ...

— Кто она урожденная?—остановилъ Грубинъ.

— Признаюсь, я дѣвичью ея фамилію что-то не помню. Изъ дворянской семьи, знаете, средней руки... За красоту взялъ. И она ему съ лихвой воздала за такой выборъ. Вотъ уже больше десяти лѣтъ какъ весь ихъ *train de maison* держится ею.

Дынинъ прищелкнулъ языкомъ.

— Но позвольте, генералъ,—перебилъ Грубинъ, понижая тонъ,—какъ знать, прибѣгаетъ ли женщина изъ общества къ такимъ средствамъ, на какія вы намекаете?

— Слава тебѣ, Господи!—вскричалъ старикъ,—про это, батюшка, вся Европа знаетъ... Да и въ отечествѣ тоже достаточно извѣстно. Вотъ первый Малугинъ, небось, слышали?.. Тоже полмилліона бумажками дохода. Здѣсь и дача его... Параличъ его хватилъ. Любовь Ѳедоровна надѣялась захватить, на послѣдяхъ... знаете, кушакъ изъ рукъ въ руки... Но сестра его налетѣла и выжила ее. Ну, теперь у ней этотъ Тараевъ... Его она живого не выпуститъ... А за границей... Господи! Принцы, князья и графы, биржевики и спекулянты,—кто не перебивалъ! Въ Лондонѣ—развѣ вы не слышали?—еще скандалъ вышелъ на одномъ балу... Когда принцесса-то сказала своему муженьку, что ужинать съ его дамой по котильону не будетъ,—и эта дама была Любовь Ѳедоровна.



Щеки генерала пошли красными пятнами и брови за-  
двигались еще сильнѣе.

— А мужъ,—тихо кивнулъ Грубинъ.—Что же онъ?

— Ха-ха! Наивный вопросъ! Извините меня! Что онъ?  
*Un mari com plaisant...* Нынче это такое особое сословіе  
завелось!.. И вотъ вамъ наши нравы... Развѣ тридцать-  
сорокъ лѣтъ назадъ что-нибудь подобное было мыслимо?..  
Бывали и тогда дамы, умѣвшія удить рыбу въ мутной  
водѣ, но никогда онѣ не занимали такого положенія. А  
вѣдь теперь всѣ лѣзутъ къ ней, всѣ падаютъ до ногъ! Не  
то что мужчины, а дамы, молоденькія бабочки, хорошихъ  
фамилій, тащутъ къ ней мужей, и мужья ничего не на-  
ходятъ въ томъ неловкаго. Да чего дамы! Дѣвицы вос-  
торгаются ею, точно она божество какое! Просто гадость!

Генералъ сплюнулъ.

Слушая его, Грубинъ сдерживалъ въ себѣ вопросы, на-  
летѣвшіе на него толпой.

— Однако, генералъ,—выговорилъ онъ съ усмѣшкой  
въ глазахъ,—я имѣлъ удовольствіе познакомиться съ вами  
у Аксамитовыхъ и, если не ошибаюсь, видѣлъ тамъ и  
вашу дочь?

Дынинъ еще болѣе покраснѣлъ.

— Что жъ вы прикажете дѣлать? — вскричалъ онъ и  
развелъ руками.—Я—вдовый старикъ... Я вездѣ могу бы-  
вать. У какихъ угодно дамъ. Но вы вполне правы, на-  
ходя страннымъ, что я вожу дочь мою туда же. Но какъ  
же вы прикажете иначе поступать? Не возить? На какомъ  
основаніи? Это открытый домъ, принадлежитъ къ самому  
шикарному мону... Любовь Федоровна—это, говорю вамъ,—  
идолъ всѣхъ нашихъ дамъ и дѣвицъ. „Божественная! Оча-  
рованіе! Какіе глаза! Что за плечи! Какъ одѣвается! Чудо!  
Чудо!“ — Старикъ сталъ передразнивать жидкимъ голо-  
сомъ.—Ну, и моя Варвара Сергѣевна туда же. И даже  
сдѣлалась самою неистовой изъ всѣхъ такихъ обожатель-  
ницъ. Что я ей скажу? „Аksamитова — вотъ что, и вотъ  
что!“ Она мнѣ отвѣтитъ: „Никто этого не доказалъ. Однѣ  
свѣтлы! Всѣ ѣздятъ, и мы можемъ“.

— Это логично,—выговорилъ Грубинъ.

— Вы не знаете, что такое нынѣшнія дѣвицы!.. Двухъ  
я отдалъ замужъ, а одна еще на рукахъ, и я ея рабъ. И  
безъ того она мнѣ каждый день говоритъ: „Папа, ты  
только и умѣешь, что ворчать. Я отъ твоихъ задержива-  
ній чахотку схвачу“. Она-то чахотку схватить! И не она

одна... Каждая бабенка, чуть выскочить замужъ, все себѣ позволяетъ. Живутъ, точно отъявленные кокетки какія, даже и тѣ, что еще вѣрны своимъ мужьямъ. Попробуйте замѣтить ей, хоть она ваша собственная дочь... „Ахъ, папа!.. Стоить ли жить, если на все смотрѣть какъ на запрещенный плодъ?“ Одно только и есть: тысячи ухlopывать въ тряпки, по кабакамъ ужинать, съ цыганками и съ дѣвками дружбу водить, и дома, и за границей... Вы въ Монте-Карло бывали?

— Нѣтъ, генералъ.

— Такъ загляните, порадитесь. Тамъ и сама Любовь Ѳедоровна, на что ужъ сильна въ конвенансахъ, подъ руку ходитъ съ завѣдомою блудницей... есть такая англійская лэди, содержащая альфонсовъ... А молоденькія наши бабенки смотрятъ и облизываются... Просто взялъ бы, разложилъ и крапивою, да такимъ вотъ пучкомъ!

Дынинъ отхватилъ себѣ пальцемъ лѣвой руки полъладони правой.

— Виновать, генералъ,—прервалъ его Грубинъ,—мнѣ надо взять вправо.

— И мнѣ также... Я иду обѣдать,—генералъ безъ малѣйшей запинки добавилъ:—къ Аксамитовымъ.

— Къ Аксамитовымъ?—выговорилъ съ невольнымъ удивленіемъ Грубинъ и почувствовалъ самъ смущеніе.

Выходило, что они оба идутъ вѣсть обѣдъ къ Аксамитовымъ и предаются такому сыскному разговору о хозяйкѣ и ея мужѣ.

„Это только у насъ дѣлается, въ Россіи, — подумалъ было Грубинъ и сейчасъ же поправилъ себя:—и за границей такъ же; но все не такъ безцеремонно“.

Но генералъ поглядѣлъ на него безъ всякаго смущенія.

— Туда, туда!—заговорилъ онъ съ неуходившимся возбужденіемъ.—Моя Варвара Сергѣевна состоитъ въ фрейлинахъ у Любови Ѳедоровны... Не обѣдать же мнѣ дома одному? Да и какое намъ дѣло? — прибавилъ онъ и повелъ бровями.—Если разбирать, такъ со многими ли позволительно водить хлѣбъ-соль?

Грубинъ промолчалъ. Смущеніе его еще не прошло. Ему приходилось черезъ нѣсколько шаговъ сознаться, что и онъ идетъ туда же на зовъ Любови Ѳедоровны.

— Вамъ, быть-можетъ, не по дорогѣ... такъ вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь,—почти сердито сказалъ генералъ и зашагалъ энергичнѣе.

— Да я туда же,—вымолвилъ Грубинъ съ натянутою усмѣшкой.

— Вотъ какъ! Прекрасно! Счастливая случайность... Что жъ? Увидите сегодня хозяйку во всемъ охотничьемъ снаряжѣ. Знаете, какъ паукъ, — правда, канальски еще вкусный паукъ!—сѣтъ свою плететъ и муха сама лѣзетъ туда... Правда и то сказать, муха-то какая!

„Два милліона доходу!“ — хотѣлъ подсказать Грубинъ.

Они были въ трехъ шагахъ отъ воротъ дачи, гдѣ стоялъ тотъ самый жокей, что ѣздилъ съ Марусей.

## XXV.

Обѣдъ подходилъ къ концу. Въ столовой стало душно. У всѣхъ лица покраснѣли. Даже на щекахъ Маруси проступилъ румянецъ.

Грубинъ сидѣлъ черезъ столъ отъ нея. Направо посаживалъ генералъ Дынинъ, слѣва выступалъ профиль князя Юшадае; Любовь Ѳедоровна и Орестъ Юрьевичъ занимали два конца стола, накрытаго на восемь особъ. Голубецъ къ обѣду не явился.

Напротивъ сидѣли Вава, около хозяйки, рядомъ съ отцомъ—Маруся и посерединѣ ихъ Тараевъ.

Передъ обѣдомъ ихъ познакомили.

Какъ Маруся описывала ему наружность Тараева, Грубинъ вспомнилъ и нашелъ въ немъ почти то, что представлялъ себѣ; но еще нѣчто, совсѣмъ уже не купеческое.

Съ нимъ говорилъ мужчина, не старше тридцати, блондинъ, худой, съ впалой грудью, похожій скорѣе на артиста. Довольно длинные пепельные волосы надъ лбомъ у него рѣдѣли, борода волнистая, придающая задумчивость его лицу, съ большими глубокими темными глазами. Во всемъ его обликѣ и манерѣ держать себя сказывался челоуѣкъ, много жившій за границей, хорошаго общества, мягкій и немного не то что застенчивый, а медленный, скромный и слабаго здоровья. Добрая усмѣшка крупнаго рта придавала его говору характерную для москвичей, но нмало не вульгарную вкрадчивую пріятность.

Грубинъ долженъ былъ сознаться, что „набабъ“ ему понравился.

Передъ обѣдомъ Маруся, встрѣтивъ его крѣпкимъ shakehand'омъ, сказала быстро и съ удареніемъ:

— Ч должна буду сидѣть около Тараева... Такъ моя

мать распорядилась. Мы будемъ свободны въ саду, вечеромъ.

Это „будемъ свободны“ настроило его сразу; отлетѣли всѣ укоры себѣ, неловкость послѣ разговора съ генераломъ,—все, мѣшавшее ему войти въ то, что онъ здѣсь увидитъ и услышитъ. Ему, безъ всякихъ доводовъ самому себѣ, стала дорога судьба дѣвушки, сумѣвшей такъ заинтересовать его.

Передъ нимъ будетъ разыгрываться нѣчто. Между нимъ и Марусей есть уже пониманіе, родъ уговора; она желаетъ сближаться съ нимъ и дѣлаетъ это безъ всякаго себѣ наумѣ... Это не флиртъ, а дружескій союзъ.

До обѣда онъ оживленно разговаривалъ съ хозяйкой и ея мужемъ, спрашивалъ князя о лагерныхъ спектакляхъ; во время обѣда шутилъ, черезъ столъ, съ Вавой и переговаривался съ генераломъ въ такомъ же шутливомъ тонѣ.

Но отъ него ничего не ускользало. Любовь Ѳедоровна, въ легкомъ платьѣ и въ цвѣтахъ, съ полуоткрытою грудью и руками, поразительно молодая,—онъ уже зналъ теперь, сколько ей лѣтъ,—казалась красивѣе своей дочери. Онъ и въ этомъ долженъ былъ сознаться... Маруся одѣлась не къ лицу—въ модную кисею зеленоватаго оттѣнка съ разводами, и прическу измѣнила тоже не къ лицу. Съ Тараевымъ она постоянно говорила, просто и свободно, какъ съ хорошимъ знакомымъ, и нѣсколько разъ онъ ей что-то такое рассказывалъ вполголоса.

Ея мать, несмотря на шумныя приставанья Вавы, зорко слѣдила за этою парой. Она не переставала ласкать всѣхъ глазами и посылкой короткихъ фразъ и окликовъ то въ ту, то въ другую сторону, но Грубинъ успѣлъ схватить разъ-другой какой-то особый огонекъ въ ея зрачкахъ.

Онъ догадывался, что Любовь Ѳедоровна даетъ генеральное сраженіе.

Но какое?

Не спроста былъ ею, именно сегодня, приглашенъ и князь Юшадзе.

Князь сидѣлъ блѣдный и злыми глазами оглядывалъ всѣхъ. И вообще не очень рѣчистый, онъ едва отвѣчалъ Грубину, когда тотъ заговаривалъ съ нимъ во время обѣда. Никакихъ признаковъ жениха не видѣлъ онъ въ немъ сегодня. Только Орестъ Юрьевичъ шутилъ съ нимъ и подливалъ ему вина, изрѣдка перекидываясь словами съ дочерью и съ Тараевымъ.

Когда правый глаз восточника, видный Грубину слѣва, упирался, черезъ столъ, въ рѣдѣющіе на лбу волосы Тараева, въ немъ точно зажигался розовый огонь.

Князь долженъ былъ мучительно ревновать къ этому „купчишкѣ“, и будь это тамъ, въ Закавказьѣ, онъ бы, отъ перваго слова, показавшагося ему обиднымъ, помыслилъ его кинжаломъ, подъ конецъ грузинскихъ здравницъ, руководимыхъ бывалымъ „тулумбашемъ“.

Маруся и передъ обѣдомъ почти не говорила съ нимъ, а теперь ея бесѣда съ Тараевымъ была такое *a parte*, въ которомъ, черезъ столъ, онъ и совсѣмъ не могъ участвовать.

Худое лицо Тараева краснѣло отъ вина. Онъ пилъ все, что ему наливали, и бесѣда съ Марусей затягивала его слишкомъ замѣтно.

Не знай теперь Грубинъ про виды хозяйки на миллионера, попади онъ въ первый разъ въ этотъ домъ, онъ принялъ бы Тараева если не за жениха дочери, то за человека, заинтересованнаго ею не меньше, чѣмъ князь.

Такъ не измѣняется выраженіе у человека просто любезнаго и добраго отъ взгляда на красивое женское лицо.

Или, можетъ-быть, это была маска, уговоръ между Тараевымъ и матерью Маруси... Они не желаютъ выдавать своей связи.

Но, полно, добила ли своего Любовь Федоровна, если все то правда, что ему говорилъ сегодня генералъ?

Правда или нѣтъ, но тутъ шла какая-то игра... Предметъ ея,—призъ, въ родѣ того, какъ на скачкахъ,—вотъ эта дѣвушка съ загадочною душой, сама приближавшая его къ себѣ.

Грубинъ понималъ злобную ревность грузина. Вѣдь и этотъ князь, какова бы ни была его голова, имѣетъ право возмущаться и негодовать. Онъ не можетъ не ставить себя выше Тараева... Онъ—князь, быть-можетъ, царской крови, красивъ, гвардеецъ... А этотъ миллионщикъ—„купчишка“... И она, знающая, какъ онъ ее любитъ, показываетъ ему, что тотъ имѣетъ больше шансовъ.

„Два миллиона бумажками доходу!“

Эта фраза прозвучала у него въ ухѣ, и онъ не воздержался, сказалъ ее на ухо генералу.

Тотъ оглянувшись съ улыбкой глазъ подъ нахмуренными бровями и отвѣтилъ въ тонъ:

— И собственныхъ три корабля!

Но Грубину стало тотчасъ же непріятно отъ такого перешёптыванія.

Генераль поглядѣлъ на него многозначительно и, указывая головой на свою дочь, выговорилъ довольно громко: — Видите, какое обожаніе!

Бава совсѣмъ прильнула къ хозяйкѣ и рассматривала камень на одномъ изъ ея браслетовъ.

Имъ обоимъ показалось, что она поцѣловала этотъ камень или промежутокъ бѣлой руки.

— Видите?—спросилъ генераль и допилъ свой стаканъ шампанскаго.

Голосъ Вары порывисто зазвенѣлъ, и подъ общій гулъ разговоровъ они могли бы продолжать въ томъ же родѣ, но Грубинъ уклонился и сталъ прислушиваться къ тому, что Аксамитовъ говорилъ князю.

Орестъ Юрьевичъ, съ краснѣющими щеками, прищуривалъ свой лѣвый глазъ, а правымъ возбужденно и благодушно глядѣлъ въ монокль на своего сосѣда и подливалъ ему шампанскаго.

Князь поблагодарилъ и удержалъ рукой бутылку.

— Довольно...

— Отчего?

— У меня и безъ того голова болитъ съ утра.

„Не голова у тебя болитъ, а сердце, — подумалъ Грубинъ.—И не у одного тебя“.

— Много были на солнцѣ?—почти заботливо спросилъ опъ князя.

Лицо грузина обернулось къ нему своимъ оваломъ и въ глазахъ его Грубинъ прочелъ выраженіе чловѣка, которому онъ, какъ мужчина, ни чуточки не опасенъ.

Князь вѣжливо улыбнулся и сказалъ кротко и почтительно:

— Благодарю васъ... Это не отъ солнца.

„Знаю“,—прибавилъ Грубинъ и почувствовалъ тутъ же, въ какой степени онъ здѣсь, за этимъ столомъ, лишній. Всѣ тутъ попарно: мужъ съ женой, отецъ съ дочерью, дочь съ двумя молодыми людьми.

А онъ что?

„Наперсникъ“.

Но и этого званія онъ не имѣлъ.

Взглядъ Маруси вдругъ остановился на немъ и ея синіе глаза точно говорили ему:

„Дайте срокъ... Вы все узнаете“.

XXVI.

Садъ огибалъ дачу съ одного конца и уходилъ довольно глубоко, вплоть до переулка. Въ густой аллеѣ изъ высокихъ кустовъ сирени, уже отцвѣтшихъ, стояла тѣнь. Вечеръ блѣсоватымъ пологомъ надвигался надъ городомъ. Вездѣ въ саду, кромѣ этой аллеи, было свѣтло, какъ на югѣ, въ началѣ осьмого.

На террасѣ слышны были раскаты голоса Вавы; тамъ сервированъ былъ кофе.

Въ аллеѣ, съ сигарами, прохаживались князь и Грубинъ.

Отъ кофе князь отказался; Грубинъ также. Они сошли вмѣстѣ въ садъ, точно имъ надо было о чемъ-нибудь интимно переговорить. Какъ будто ихъ начинало связывать тайное чувство или сродное настроеніе.

Князь шелъ, твердо ступая по песку, въ туго подтянутыхъ рейтузахъ, безъ фуражки. Грубинъ старался попадать съ нимъ въ ногу.

Сначала они молчали и такъ, молча, дошли до рѣшетки сада, гдѣ остановились на минутку.

Выпустивъ густую струю дыма, князь спросилъ:

— Вы только сегодня познакомились съ этимъ господиномъ?

Грубинъ, по кивку головы, понялъ, что тотъ говоритъ о Тараевѣ.

— Только сегодня.

— Вы... — у него выходило похоже на *ви*, — вы здѣсь недавно? Тогда, въ Павловскѣ, васъ представилъ monsieur Голубецъ.

— У васъ прекрасная память, князь.

— Благодарю... Нѣтъ, я потому спросилъ... Вамъ многое неизвѣстно...

Блѣдныя щеки передернули нервныя струйки около изгибовъ рта.

„Неужели я онъ, — подумалъ Грубинъ, — будетъ мени посвящать въ темныя дѣла господъ Аксамитовыхъ?“

Ему этотъ грузинскій дворянинъ казался неспособнымъ на грубую педантичность. Слишкомъ онъ былъ хорошо выдрессированъ. И если у него вырвется что-нибудь нескромное, значить, его забрало личное чувство обиды порывистой, полудикой натуры.

— Я не понимаю, — медленно, точно онъ пробирался по дощечкѣ, заговорилъ князь, — для кого же онъ здѣсь,

этотъ господинъ? Я думалъ, для матери. Вы не знаете ничего про этого господина?

Видно было, что само имя „Тараевъ“ не выходитъ у него изъ горла.

— Не имѣлъ о немъ понятія до сегодня, — ласково, пріятельскимъ звукомъ отозвался Грубинъ.

Онъ, незамѣтно для себя, взялъ князя подъ руку и они подвигались вверхъ по аллеѣ короткимъ шагомъ.

— А-а,—протянулъ князь.—Онъ жилъ съ одной... изъ хора взялъ. Вы понимаете... Самая такая... ну, однимъ словомъ...

— Понимаю,—облегчилъ его Грубинъ.

— И она его держала въ рукахъ... здорово! — выговорилъ звучно князь, точно обрадовавшись этому слову. — Возилъ съ собою за границу и женился бы, навѣрное... Но встрѣтилъ Любовь Федоровну.

— За границей?

— Да, гдѣ-то тамъ, въ Италиі, кажется. И вотъ та его содержанка, — князь понизилъ тонъ, — попала въ полную отставку... И. знаете, сразу. Отрѣзало! Онъ, я слыжалъ, выплатилъ ей полмилліона. Ха-ха! Ха-ха!.. Не очень раскошелился для такого богача.

Точно спохватившись, что ничего этого ему бы не слѣдовало говорить, князь сильно затянулся и прошелъ нѣсколько шаговъ молча.

Но у него, должно-быть, слишкомъ уже клокотало внутри.

— И я не понимаю! Теперь этотъ господинъ имѣетъ видъ...

— Жениха?—подсказалъ Грубинъ.

— Вы полагаете?

Глаза грузина стали совсѣмъ круглые и вбокъ сверкнули искрой.

„Рѣзнетъ“,—подумалъ Грубинъ.

— Я не могу судить... Я здѣсь вновь. Вамъ это яснѣе.

— Все это, — князь сдѣлалъ жестъ кистью свободной руки,—все это финты.

— Можетъ-быть, — продолжалъ Грубинъ, — у московскаго набаба...

— У кого?—простовато переспросилъ князь.

— Да у этого господина,—употребилъ Грубинъ его выраженіе,—такое сердце.

— Началъ съ мамыши, а теперь...



Князь оборвалъ себя и даже бросилъ сигару. Въ аллеѣ показалась мужская фигура.

Это былъ Тараевъ. Онъ двигался тихо, колеблющеюся походкой, держа голову впередъ.

Князь вынулъ часы изъ поперечнаго кармана рейтузъ, отвернувъ полу сюртука.

— Девять часовъ... Я еще успѣю на поѣздъ.

Тараевъ подошелъ къ нимъ.

— Какъ здѣсь хорошо! — сказалъ онъ, сдѣлавъ нѣчто-то въ родѣ поклона. — Вы позволите?

Онъ вынулъ папирску и попросилъ огня у Грубина.

— Только сыровато, — прибавилъ онъ съ миной чело-вѣка, привыкшаго бояться переменъ погоды.

— Имѣю честь кланяться! — выговорилъ громко князь, ни къ кому особенно не обращаясь, звонко щелкнувъ шпорами и пошелъ къ террасѣ скорымъ шагомъ.

— Вы не пройдетесь еще? — спросилъ тихо Тараевъ и задумчиво поглядѣлъ вслѣдъ удалявшемуся офицеру.

— Съ удовольствіемъ, — отвѣтилъ Грубинъ.

Въ него прокралось тутъ же совсѣмъ другое чувство, чѣмъ къ князю. Онъ вспомнилъ, съ какими выраженіемъ смотрѣлъ Тараевъ на Марусю и какъ втягивался въ разговоръ съ нею. Какую-то опасность несъ съ собою этотъ блѣднолицый и узкогрудый москвичъ, совсѣмъ, однако, не похожій на хищника, знающаго силу своихъ милліоновъ. Эту опасность ощутилъ Грубинъ не для себя, а для Маруси; онъ боялся задать себѣ вопросъ: да почему же онъ и не мужъ ей, если ея родители не побрезгуютъ его купеческимъ происхожденіемъ?

— Куда же такъ заторопился князь? — спросилъ Тараевъ, раскуривая свою заграничную папирсу съ тонкимъ запахомъ дорогого цареградскаго табаку.

— На поѣздъ.

— А вышло, точно онъ отъ меня убѣжалъ. Что жъ ему меня бояться?

Тараевъ тихо засмѣялся.

— Вы видите, — отозвался Грубинъ съ усмѣшкой, — онъ здѣсь, кажется, чуть не на правахъ жениха.

— Да-а? — выговорилъ Тараевъ, и улыбка прошла по его блѣднымъ губамъ.

— Вамъ это, должно-быть, ближе извѣстно. Вы, вѣдь, если не ошибаюсь, давнишній другъ Любови Федоровны?

— Давнишній? Это не совсѣмъ точно. Съ прошлой осени

я знаю Любовь Федоровну и Марью Орестовну. Ореста Юрьевича встрѣчалъ и раньше.

Въ глазахъ Тараева зажглось какое-то безпокойство.

Немного помолчавъ, онъ спросилъ все съ тою же блуждающею улыбкой:

— Вы развѣ что-нибудь слышали? Или это ваше предположеніе?

И въ возгласѣ Тараева проглянуло сквозь тихій и скромный тонъ нѣчто, какъ бы говорившее:

„Если я захочу, то могу разстроить любой бракъ“.

— Мнѣ такъ казалось,—вымолвилъ Грубинъ равнодушною нотой.

— Марья Орестовна достойна не такого мужа, какъ этотъ князекъ.

— Онъ не плохая свѣтская партія. Можетъ-быть, только изъ обѣднѣвшаго рода. Нѣсколько барановъ...

Грубинъ нарочно позволилъ себѣ эту шутку.

— Не въ томъ дѣло, — возразилъ Тараевъ, и его голосъ слегка дрогнулъ. — Не въ состояніи, — добавилъ онъ. — Марья Орестовна — красавица, умница... на рѣдкость. Такихъ барышень у насъ и нѣтъ совсѣмъ... Ни здѣсь, ни въ Москвѣ, ни за границей. Но крайней мѣрѣ, я не встрѣчалъ нигдѣ.

— Отбейте у восточника.

Возгласъ вылетѣлъ у Грубина, точно его подтолкнуло что-то внутри. Но звукъ его былъ шутливый и на такой возгласъ можно было отвѣчать въ томъ же тонѣ.

Но лицо Тараева немного затуманилось. Сладковатая, болѣзненная усмѣшка повела его безкровнымъ ртомъ; онъ мотнулъ головой и выговорилъ:

— Гдѣ же! Мнѣ впору своими лихими болѣстями заниматься. Молодой женѣ надо сидѣлкой быть... Я теперь на ногахъ, а придетъ осень — и расклется машина.

Въ искренность этихъ словъ Грубинъ почему-то не вѣрилъ.

## XXVII.

— Вы здѣсь?

Они оба подняли разомъ головы.

Цхъ окликнула Маруся. Это было недалеко отъ террасы.

— Матаи прислала вамъ сказать, monsieur Тараевъ, что въ саду дѣлается сыро и для васъ не полезно.

— Кажется, еще мягко... Вы какъ находите? — крѣпко спросилъ Тараевъ Грубина.

— Я ничего не чувствую.

Всѣ трое подходили къ террасѣ. Любовь Федоровна выдвинулась между двумя колоннами и позвала:

— Алексѣй Спиридонычъ!

— Слушаю-сь, — откликнулся Тараевъ.

— Извольте подняться... Вамъ нельзя. Да еще безъ шляпы.

— Шляпу я могу надѣть.

— Нѣтъ, нѣтъ! Пропу васъ.

Тараевъ усмѣхнулся, бросилъ павиросу въ куртину съ чѣтами и сказалъ, обращаясь къ Марусѣ:

— Мамоньку надо слушаться.

— Надо, подтвердила Маруся. — Вы не привыкли къ этому климату.

— Слушаю-сь, — съ чуть-чуть замѣтныхъ юморомъ проговорилъ Тараевъ и началъ подниматься по ступенькамъ, но остановился и, обернувшись, спросилъ:

— А вы въ саду останетесь?

— Да, — отвѣтила спокойно Маруся. — Мнѣ хочется пройтись... Monsieur Грубинъ погуляетъ со мною.

Весь этотъ разговоръ слушала съ своего мѣста Любовь Федоровна. Грубинъ глядѣлъ на нее и ея лицо было ему отчасти видно.

Когда Тараевъ подошелъ лѣниво и тихо, взглядъ ея искрился усмѣшкой, въ которой можно было распознать, что она довольна чѣмъ-то. Она ничего не сказала ни Марусѣ, ни Грубину, какъ бы одобряя ихъ прогулку по саду.

Маруся надѣла свою свѣтло-голубую мантилью, отдѣланную серебромъ, и на голову накинула черное кружево. Такъ стала она опять гораздо живописнѣе.

— Пойдите туда, — указала она, — вправо, черезъ лужайку, къ купѣ березъ.

Голосъ ея особенно отдался въ немъ.

Весь домъ, тѣ, кто сидѣлъ на террасѣ, хозяева и гости, куда-то точно провалились. Онъ понялъ, что только эта дѣвушка и существовала для него. Она и заставила его придти сюда. Разговора съ нею онъ только и ждалъ.

Около купы березъ стоялъ диванъ.

Маруся дошла до него молча и, садясь, сказала ему:

— Вы много ходили... Отдохните.

Совсѣмъ другими звуками говорила она съ нимъ. Тѣ же низковатыя ноты обволакивала ласка, обращенная не къ кому иному, какъ къ нему.

Тотчасъ же ощутилъ онъ теплоту въ головѣ.

И безъ всякаго колебанія онъ протянулъ ей руку и выговорилъ:

— Какъ я радъ!

Она пожала и замедлила свое пожатіе. Отъ ея гладкой, свѣжей руки съ длинными пальцами вошло въ него что-то снѣлое и великодушное.

Руку надо было оставить. Онъ это сдѣлалъ, чувствуя, какъ свѣжіе пальцы Маруси неторопливо уплываютъ изъ его горячей руки.

Прежде чѣмъ онъ заговорилъ, глаза ея съ грустною улыбкой остановились на немъ. Ему показалось, что онъ понималъ значеніе этого взгляда.

— И каждый день проходятъ такъ?—обронилъ онъ.

— Каждый день,—повторила она и движеніемъ правой ноги выдвинула кончикъ ботинки. — Такъ и всю жизнь будетъ!

— Почему? — чуть не крикнулъ Грубинъ, первно повернувшись къ ней всѣмъ станомъ и положилъ руку на спинку дивана.—Почему, Марья Орестовна?

Попутно онъ подумалъ: „Я попалъ вѣрно. Она ищетъ исхода“.

— Почему?—тише звукомъ протянула Маруся и запахнула мантилью, держа голову немного внизъ.—Отвѣчать не стоить. Вы это прекрасно поймете сами, если станете чаще бывать у насъ, а, можетъ, и теперь уже поняли... monsieur Грубинъ.

— Не зовите меня такъ: monsieur Грубинъ... Мы, вѣдь, друзья,—да?

— Я ничего не сдѣлала, чтобы имѣть право на вашу дружбу.

Она это сказала, какъ бы подбирая слова, сидѣла все въ той же позѣ съ вытянутыми ногами и на него не глядѣла.

— Полноте. И первый долженъ вамъ повиниться.

— Въ чемъ это?

Однимъ глазомъ поглядѣла она на него, полусерьезно.

— Вы такъ просто и сильно заговорили со мной, тогда, во время нашей прогулки верхомъ, а я...

Ему трудно сдѣлалось выразить то, что его волновало съ тѣхъ поръ.

— А вы заподозрили меня въ желаніи пококетничать съ вами?—спросила Маруся спокойно, тономъ товарища.

Рѣсницы ея были полуопущены.

— Нѣтъ, избави Боже!

Все высказалъ бы онъ ей тутъ же, до самыхъ затаенныхъ складокъ души... Но надо было излиться и о томъ, какъ онъ клеймилъ себя въ бездушнѣ, въ забвеніи своей потери, въ оскорбленіи памяти покойной жены.

А оскорбленіемъ являлось что же?—Нарастающее чувство къ этой дѣвушкѣ.

— Въ другой разъ,—смущенно вымолвилъ онъ.—Я еще самъ себя не взялъ въ руки, Марья Орестовна... Когда-нибудь все узнаете. Но зачѣмъ обо мнѣ?... Оставимъ всякія оговорки... Если вамъ дружба моя на что-нибудь годна—берите ее... И вотъ сейчасъ же я долженъ пасъ предупредить... Въ той аллеѣ со мной говорили и князь, и Тараевъ. Они оба увлечены вами.

— Тараевъ?—быстро откликнулась Маруся, и глаза ея, обратившіяся къ нему, заискрились въ своихъ глубокихъ орбитахъ.—Вы говорите, Тараевъ?

— Вы сами не замѣчаете? Но простите... Это можетъ показаться сплетней, вторженіемъ въ вашу жизнь... Двѣ недѣли назадъ я бы не позволилъ себѣ передавать вамъ... Но теперь это все равно, если бы дѣло шло о сестрѣ моей...

— Послушайте, Владиміръ Павловичъ, — заговорила Маруся, понижая звукъ голоса,—отвѣтьте мнѣ, какъ мужчина, который знаетъ жизнь и самъ испытывалъ страсть.

— Страсти я не зналъ,—чуть слышно произнесъ Грубинъ.

— Вы не любили?

— Узналъ чувство... тихое и свѣтлое. Но это не была страсть.

— Все равно,—сказала Маруся, слегка вздрогнувъ плечами, точно отъ свѣжаго воздуха.—Но вы жили... вы умны и наблюдательны, я это вижу... Въ Тараевѣ вы почувствовали... что?

— Онъ самъ заговорилъ со мною о князѣ и васъ... При его сдержанности это уже признакъ... Въ немъ не одинъ общій интересъ... друга дома...

— Стало, я не ошиблась? — опять, какъ бы про себя, вымолвила Маруся и сдѣлала движеніе головой, которое Грубинъ замѣтилъ, но не понялъ.

— Въ чемъ?—подсказалъ совсѣмъ Грубинъ.

— Пойдемте!

Маруся быстро поднялась и поспѣшила по затемнѣвшей дорожкѣ къ аллеѣ сиреней.

Тамъ они пошли рядомъ.

— Вы не ошиблись въ томъ, что въ московскомъ набѣбѣ загорается къ вамъ нѣчто, чего прежде не было?—спросилъ Грубинъ.

— Да,—глухо отозвалась Маруся.

— И васъ это волнуетъ? Онъ вамъ противенъ?—порывисто спросилъ Грубинъ.

— Противенъ?—Нѣтъ!... Но вы не понимаете! Вы не понимаете!...

Въ голосѣ ему послышалось вздрагиваніе.

— Не понимаю,—наивно и кротко повторилъ онъ.

— Какъ вамъ объяснить? Это цѣлая комбинація... И она будетъ доведена до конца. Конечно, князь кипитъ, по-грузински...

— Въ немъ страсть несомнѣнна... И злобная обида...

— Обида? На что? Ему не давали слова.

— Почему же Тараевъ считаетъ его какъ бы женихомъ?

— Князь показанъ былъ ему въ такомъ свѣтѣ.

— Показанъ?... Кѣмъ?

— Кѣмъ?... Что за вопросъ? Вы предлагаете мнѣ дружбу... Надо меня понимать съ полслова.

Маруся сказала это такимъ голосомъ, что сердце Грубина ёкнуло, и онъ боязливо опустилъ голову, не рѣшаясь взглянуть на нее.

## XXVIII.

Съ террасы докатился смѣхъ съ визгливыми нотами:

— Орестъ Юрьевичъ! Не могу! Не могу!—вскрикивала Вава.

— Да позвольте мнѣ доказать, mademoiselle Barbe...

— Умру!.. Умру!..

И хохотъ опять затрещалъ въ отсырѣвшемъ воздухѣ.

Маруся подняла голову. Грубинъ рѣшился взглянуть на нее и схватилъ унылый, почти скорбный взглядъ подъ сдвинутыми бровями.

— Слышите? — начала она уже другимъ совсѣмъ тономъ.—Это мой отецъ смѣшитъ Ваву Дынину. Она умираетъ со смѣху. Отецъ, навѣрное, рассказываетъ ей что-нибудь ужасно смѣшное, что-нибудь ужасно остроумное.

А что у него на душѣ,—онъ не покажетъ... никому... И мнѣ не показываетъ... Но я давно понимаю его... и вижу.. Никого мнѣ не жаль, кромѣ его... Мнѣ такъ хочется говорить съ вами не о себѣ, а о немъ... Но я не достаточно смѣла для этого. У меня все еще предрассудки. Des scrupules bêtes... quoi!.. Вы, вѣдь, совсѣмъ не понимаете моего отца,—а?

Вопросъ былъ сдѣланъ нервно, почти повелительно.

— Какъ же я могу его хорошо знать? — отозвался Грубинъ, еще болѣе смущенный этою рѣзкостью переходовъ въ тонѣ Маруси.

— И онъ вамъ не нравится? Скажите. Вы, конечно, находите его такимъ, какимъ онъ кажется... Un viveur... Мужъ подъ башмакомъ жены своей... И даже хуже того?

Маруса оборвала свою рѣчь, и Грубину показалось даже, что она закусила себѣ губу.

Развѣ онъ могъ сказать ей правду — не про то, какъ цѣнить онъ ее отца, а что онъ слышалъ о немъ не дальше, какъ сегодня, идя съ нимъ обѣдать, отъ пріятеля ее родителей, отца Вавы?

Но ему и не хотѣлось поддерживать этотъ разговоръ о снисходительномъ супругѣ Любови Федоровны.

Какъ можетъ онъ сокрушаться объ ее отца, когда она сама—жертва?

— Марья Орестовна, — Грубинъ заговорилъ порывистѣе, — я отца вашего слишкомъ мало знаю. Онъ мнѣ скорѣе нравится... Уже по тому одному, что онъ съ вами хорошъ.

— При чемъ тутъ я? — перебила она и сдѣлала свой характерный жестъ головой.

— При чемъ?.. Но неужели вы не видите, что здѣсь... въ вашемъ домѣ,—онъ понизилъ звукъ голоса, — только вы и вызываете настоящее сочувствіе?

Слово соскочило съ его губъ, но онъ не такъ хотѣлъ выразиться... Ихъ начала овладѣвать неудержимая тревога. Въ груди что-то забилося, въ головѣ заискрились совсѣмъ не такія слова... Онъ какъ бы стыдился ихъ.

— Я не умѣю выразить,—онъ махнулъ нетерпѣливо рукой.—Видите, я стѣсненъ... Будь это въ другомъ мѣстѣ... Я предупреждалъ васъ, что намъ нельзя будетъ говорить по душѣ.

— Надо брать то, что можно,—строго выговорила Маруса.

— Простите!.. Я вижу, вы сильнѣе меня.. прошли не такую школу.

— Сильнѣе!—повторила она почти гнѣвно.—Я сильнѣе!.. Ха, ха!.. Какъ вы провинцательны!.. Оттого, что у меня такой видъ и такой голосъ? Оттого, что я говорю съ вами Богъ знаетъ какимъ тономъ? Вы, вѣдь, не виноваты въ томъ, что изъ меня можно дѣлать... даже не ширму, — схватила она не сразу пришедшее ей слово, — а такую... Ну, я не знаю, какъ это по-русски... Упе ашогсе.

— Приману! — подсказалъ Грубинъ, и у него захолодѣло въ груди отъ одного этого слова.

— Какъ вещь... Въ витринѣ лежить... и надо, чтобы она поправилась... А потомъ ее приберутъ... отдадутъ другому.

Слово „отдадутъ“ Маруся произнесла быстро и невнятно. Грубину послышалось: „продадутъ“.

Онъ всталъ и, наклонившись надъ ней, съ рукою, опертою о спинку дивана, заговорилъ быстро и смѣло, и глядѣлъ на нее прямо, не пугаясь суровости ея глазъ.

— Мнѣ довольно того, что вы сказали, Марья Орестовна... Въ чемъ же дѣло? Вами играютъ недостойно, возмутительно! Вы не больная!.. Вы не способны выдумывать, клеветать... и на кого же?.. Многое въ васъ самихъ для меня не ясно, загадочно. Но я вѣрю вамъ, вѣрю больше, чѣмъ самому себѣ въ эту минуту.

Онъ перевелъ дыханіе, отнялъ руку отъ дивана и прошелся ею по волосамъ. Маруся сидѣла недвижно, съ наклоненною головою. Грудь ея чуть замѣтно волновалась подъ складками мантии.

— Вы такъ сердечно относитесь къ вашему отцу... Почему же онъ не поддержитъ васъ, свое единственное и дорогое дитя?.. Онъ васъ нѣжно любитъ... Я это замѣтилъ... И цѣнитъ васъ...

— Боже мой! — глухое восклицаніе Маруси пошло по аллеѣ.—Но развѣ у него есть своя воля?.. Онъ—рабъ!.. Такихъ рабовъ еще никогда не было... Потому-то я такъ и страдаю за него. Но это ни къ чему не ведетъ: страдать, жалѣть, понимать!.. Ни къ чему! Все это нервы, все это доказываетъ только слабость. Сила не въ насъ съ нимъ... Мы только — живыя машины... И зачѣмъ, — воскликнула она, поднимая голову, — зачѣмъ я все это вамъ говорю?... *C'est absurde et c'est ignoble!*..

Грубинъ взялъ ее за руку, которою она передъ тѣмъ



отмахнула край матилы, и, все еще стоя надъ ней, не выпуская этой трепетной и заходѣлой руки.

— Вамъ не стыдно такъ говорить? Но вы—личность!.. Вы можете сейчасъ же, если пожелаете, рвануться на волю. Вы—умница, съ избранною натурой, съ силой обаянія и красоты!

Онъ, не выпуская ея руки, сѣлъ рядомъ, близко и, весь трепетный, былъ охваченъ однимъ порывомъ: разбудить волю въ этомъ прекрасномъ существѣ, вырвать ее изъ логовища, гдѣ родная мать такъ гнусно губить ея душу, превращаетъ ее въ орудіе комбинацій ненасытной хищницы.

— Скажите слово,—шепталъ онъ, и его рука опять потянулась къ ея рукѣ, оставленной ею на колѣняхъ,—одно слово—и...

— И что тогда?—остановила она его скорбною нотой.

— Все отъ васъ зависитъ... Нужна вамъ поддержка—приказывайте...

Грубинъ не узнавалъ своего голоса. Пылкій молодой человѣкъ говорилъ за него. Онъ забылъ, гдѣ онъ, кто онъ, какое прошедшее у него за плечами и какое личное горе носилъ онъ въ душѣ такъ недавно,—все отлетѣло. Тотъ Грубинъ отошелъ въ прошлое. Никакого укора совѣсти, ни одной охлаждающей мысли не проникало въ него.

— Приказывайте!—повторилъ онъ еще сильнѣе, съ напоромъ жгучей сердечности.—Не ослабляйте себя одними словами безплодной горечи. Вы видите... передъ вами человѣкъ, готовый все сдѣлать для васъ.

Еще одно слово—и онъ не могъ бы совладать съ собою.

Маруся молчала и сидѣла, не отнимая отъ него руки.

— Владиміръ Павловичъ въ саду съ mademoiselle Marie? Этотъ вопросъ вдругъ донесся до нихъ.

Грубинъ узналъ носовое произношеніе Голубца.

— Онъ сюда придетъ... Я не могу...

Видѣть сейчасъ Буффало-Билля, слышать его шуточки,—Грубинъ испугался такой профанаціи.

— Марья Орестовна, не отталкивайте меня... Не замыкайтесь въ себя... Я буду ждать.

— Вы остаетесь въ Царскомъ... не ѣдете за границу... неужели для меня?

Маруся встала.

— Не стòить... —выговорила она.

— Но мы увидимся... на свободѣ?... Умоляю васъ.

— Увидимся, — медленно сказала она и подала ему руку. — Прощайте! Вамъ не хочется туда?

— Нѣтъ!

— Вы можете уйти... отсюда... прямо въ переднюю...

Грубинъ нагнулся, поцѣловалъ ея руку и побѣжалъ назадъ по аллеѣ.

### XXIX.

У „Донона“, въ саду, столы, по дорожкамъ и въ палаткахъ, наполовину были пусты. Часъ завтрака только что начался. Татары, перекидываясь гортанными звуками, шныряли черезъ террасу, внизъ и вверхъ по лѣстницѣ, и мелькали своими бѣлыми галстуками и жилетами.

За однимъ изъ небольшихъ столовъ, въ сторонѣ, у дерева, только что сѣлъ Грубинъ, заказалъ себѣ завтракъ и ждалъ закуски.

Все утро ушло у него въ постоянной ѣздѣ на тряскихъ извозничьихъ дрожкахъ, но онъ не чувствовалъ утомленія.

Въ конторѣ, гдѣ ему надо было дать окончательное согласіе на сдачу квартиры, онъ извинился, сказалъ, что остается. Сдѣлалъ онъ это безъ всякаго колебанія, и когда сходилъ съ лѣстницы, то даже удивился, какъ могъ онъ думать объ отъѣздѣ за границу. Къ своему доктору онъ не заѣхалъ, тотъ принималъ съ трехъ; да если бъ это и былъ его часъ, онъ рѣшилъ остаться.

Не зачѣмъ было заѣзжать и въ паспортное отдѣленіе.

Зато онъ завернулъ въ банкъ, гдѣ у него лежала довольно большая сумма на текущемъ счету и гдѣ онъ хотѣлъ взять заграничный переводъ на Берлинъ. Вѣсто перевода онъ получилъ нѣсколько сотъ рублей по чеку.

Столько ему и не нужно было вовсе, но въ немъ дѣйствовало возбужденіе, заставившее его почему-то увеличить вдвое сумму, когда онъ ее выводилъ на сѣромъ листкѣ, который захватилъ съ собою изъ Царскаго.

Заѣхалъ онъ и къ портному: вдругъ показалось ему, что его свѣтлое пальто не первой свѣжести, и онъ заказалъ себѣ новое, дорогое, у француза, на Большой Морской, и когда тотъ снималъ съ него мѣрку и онъ стоялъ передъ зеркаломъ въ молодцоватой, взвинченной позѣ, французъ сказалъ ему:

— Monsieur a très bonne mine!..

И, въ самохъ дѣлѣ, зеркало доложило ему, что онъ смотритъ молодежь, главное, не такъ худъ въ щекахъ и глаза не такъ тусклы, какъ это было еще двѣ недѣли назадъ.

Отъ портного и прѣхалъ онъ къ „Донону“ позавтракать, а оттуда на первый же поѣздъ въ Царское.

Его влекло туда; онъ этого и не скрывалъ отъ себя.

Третьяго дня, не дальше, ушелъ онъ изъ саду отъ Аксамитовыхъ и всю ночь не смыкалъ глазъ, даже не ложился, а сначала бродилъ по бульвару, потомъ проходилъ у себя въ садикѣ до разсвѣта.

Онъ не могъ еще сказать себѣ: что хочетъ дѣлать, на что рѣшиться, чего искать, на что надѣяться, но онъ жилъ совсѣмъ не такъ, какъ на той недѣлѣ или даже третьяго дня, утромъ или передъ обѣдомъ, когда встрѣтилъ на цвѣточномъ скверѣ запасного генерала Дынина.

Влѣво отъ него, въ глубинѣ сада, надъ столикомъ, гдѣ сидѣлъ также всего одинъ мужчина, хозяинъ ресторана поклонился, въ бѣлой курткѣ и беретѣ, съ карточкой въ рукѣ.

Въ мужинѣ Грубинѣ сейчасъ же узналъ знакомаго адвоката. Тотъ поклонился ему издали рукой и что-то сказалъ французу.

— Monsieur a commandé?—спросилъ хозяинъ, проходя мимо Грубина, и на его утвердительный кивокъ головы прошелъ къ террасѣ.

Адвокатъ всталъ и подбѣжалъ къ нему, маленькій, уже не молодой, но юркій въ движеніяхъ, и ласковымъ те-норкомъ, подавая ему руку, сказалъ:

— Вы молодцомъ выглядите, Грубинъ! А я слыхалъ, что вы будто бы въ Карлсбадѣ?

И въ его ласковыхъ глазахъ Грубинъ прочелъ во время рукопожатія:

„Но я очень радъ, что вы немножко успокоились послѣ смерти жены. Нельзя же все убиваться!“

Это кольнуло его, но не смутило.

Тотъ все еще жалъ его руку.

— Право, молодцомъ!.. И какой у васъ этотъ костюмъ нязный! На васъ кто шьетъ?

Грубинъ назвалъ имя портного.

— Закажу! Очень радъ! Вы молодцомъ! Вмѣстѣ бы позавтракали, да я жду одного господина.

И еще разъ ласковый адвокатъ потрясъ его руку и за-  
сѣменилъ короткими шажками къ своему мѣсту.

Когда онъ отошелъ, Грубинъ оглядѣлъ свой костюмъ,  
свѣтло-сѣрый, совсѣмъ не траурный, но онъ и не хотѣлъ  
носить траура. Галстукъ на немъ былъ бѣлый, шелковый,  
безъ цвѣтныхъ крапинокъ.

Должно-быть, все кажется изящнымъ и, конечно, моло-  
жавить его.

Но что же въ этомъ постыднаго? Онъ не франтитъ и  
никогда не франтилъ. Все кривляное, сомнительнаго вкуса  
противно ему. Только онъ подтянулъ себя, вернулся къ  
прежнимъ привычкамъ порядочности и нѣкотораго изя-  
щества—вотъ и все.

Теперь, и это „теперь“ онъ подчеркнулъ мысленно, ему  
необходимо быть безукоризненно одѣтымъ, имѣть всю  
внѣшность свѣтскаго человѣка, не забывать, въ какое  
время и куда какъ одѣться.

Безъ этого онъ можетъ ставить себя въ неловкое по-  
ложеніе въ домѣ, куда онъ будетъ являться часто, гдѣ  
ему надо сдѣлаться своимъ человѣкомъ, внушающимъ до-  
вѣріе, съ которымъ молодой дѣвушкѣ удобно всюду пока-  
заться, ѣздить верхомъ, идти подъ ручку, на прогулкѣ,  
имѣть съ нимъ, при своихъ, пріятельскій тонъ.

Чѣмъ скорѣе онъ этого добьется, тѣмъ глубже проник-  
нетъ за кулисы той ужасной пьесы, какая разыгрывается  
на его глазахъ.

Не для себя все это ему надо, а для нея, для Маруси.

Образъ дѣвушки, все еще загадочный и скорбный, не  
оставляетъ его, согрѣваетъ мечтой о томъ, что онъ ее  
спасетъ, высвободитъ это страждущее и одаренное су-  
щество.

Отуманенные мечтой глаза Грубина прошли въ даль, къ  
периламъ террасы, гдѣ уже прибавилось народу.

Щеки его зардѣлись. Онъ узналъ Ореста Юрьевича  
Аксамитова, стоявшаго спиной у стола, за которымъ ка-  
кой-то красный и бородатый генералъ съ золотыми аксель-  
бантами, заткнувъ салфетку за обшлагъ, жалъ ему руку  
и что-то громко говорилъ.

Все знаютъ мужа Любови Федоровны, какую онъ роль  
играетъ при женѣ, чѣмъ онъ пользуется отъ нея, а жмутъ  
ему руки, пріятельски болтаютъ, ни у кого не хватаетъ  
духа показать, кто онъ, какое клеймо лежитъ на немъ...  
Не пойманный—не воръ!

И онъ самъ сейчасъ будетъ улыбаться Аксамитову и протягивать ему руку, любезно заговаривать.

Но Орестъ Юрьевичъ—отецъ Маруси. Она скорбитъ о немъ. Значить, есть на это причина. Кто бы онъ ни былъ, надо его узнать, дойти до дна этой всей огромной язвы.

— А, вы здѣсь?

Аksamитовъ—все въ томъ же пиджакѣ съ цвѣткомъ въ петлицѣ и въ шоколаднаго цвѣта котелкѣ—пробирался по дорожкѣ и подошелъ къ столу Грубина.

Пріятельскимъ жестомъ протянулъ онъ ему обѣ руки.

— Вы одни? Или кого-нибудь ждете?

— Я одинъ,—поспѣшилъ отвѣтить Грубинъ, обрадовавшись случаю быть съ-глазу-на-глазъ съ отцомъ Маруси.—Много обяжете, мѣсто есть!

И онъ суетливо всталъ и подозвалъ татарина.

Подошелъ къ нимъ и хозяинъ съ карточкой. Аксамитовъ спросилъ Грубина, что онъ заказалъ на завтракъ, и пожелалъ тѣ же кушанья.

Эта неожиданность приподняла возбужденіе Грубина, и онъ не сразу нашелъ бы тему разговора.

Орестъ Юрьевичъ первый заговорилъ, мягко и картаво, разсаживаясь противъ Грубина, сбоку стола.

— Вы скрылись третьяго дня и огорчили всѣхъ насъ, въ томъ числѣ и друга вашего Голубца. Маруся сказала мнѣ по секрету, что отъ него-то вы и скрылись.

Онъ подмигнулъ ему свободнымъ глазомъ. Въ другомъ, какъ всегда, торчалъ монокль.

— Пожалуй, что и правда,—отвѣтилъ Грубинъ, довольный такимъ вступленіемъ въ разговоръ.

— А вѣдь онъ вамъ очень преданъ... И вообще онъ нужный человекъ. По крайней мѣрѣ, это—мнѣніе моей жены.

Тонкія его губы сложились въ шутливую мину.

— Признаюсь... я не могу вкушать его въ большомъ количествѣ,—сказалъ Грубинъ и пригласилъ Аксамитова раздѣлить съ нимъ закуску, принесенную татаринѣю.

### XXX.

— Маруся у насъ немножко расклеилась.

Аксамитовъ наморщилъ бровь, подъ которой у него сидѣлъ монокль, и принялся за первое блюдо.

— Марья Орестовна?

Грубинъ спросилъ смущенно и рука его, державшая

ложку, — онъ собирався накладывать себѣ на тарелку, — остановилась въ воздухѣ.

— Такъ... Un petit bobo... Легкая простуда. Ночи сыры, а не бережется. Третьяго дня сидѣла въ саду.

— Это я виноватъ. Не предостеречь Марью Орестовну.

— Она всегда рада побыть съ вами.

Слова были сказаны не какъ свѣтская любезность, простымъ, искреннимъ звукомъ.

Будь это въ другомъ мѣстѣ, не въ ресторанѣ, на виду у всѣхъ, гдѣ кругомъ могутъ слышать ихъ, онъ бы схватился за слова Аксамитова и повелъ бы сразу задухеvный разговоръ, поставилъ бы ребромъ вопросъ: какъ отецъ понимаетъ свою дочь. Самая лучшая дипломатія — идти прямо къ цѣли. Что бы Аксамитовъ ни отвѣтилъ ему, правда, такъ или иначе, начала бы сквозить.

— Дочь ваша, Орестъ Юрьевичъ, рѣдкая личность между нашими дѣвушками!

Грубинъ совсѣмъ не то хотѣлъ сказать, но фраза вылетѣла у него неожиданно для него самого.

Монокль выпалъ изъ орбиты Аксамитова. Глаза блеснули, ротъ, поблекшій, но тонкій, улыбнулся широко, и тотчасъ же эта широкая улыбка перешла въ невеселую усмѣшку.

Онъ пересталъ ѣсть, положилъ одну руку на столъ и грустно, съ полузакрытыми глазами, выговорилъ тихо:

— Да, Маруся... избранная натура.

Слово „избранная“ показалось Грубину особенно удачнымъ. Этотъ ничего не дѣлающій баринъ, съ манерами и картавостью полуфранцуза, превосходно владѣетъ русскою рѣчью.

Налетъ грусти не сходилъ съ лица Аксамитова, что сейчасъ же придало смѣлости Грубину.

— И у васъ большая дружба съ Марьей Орестовной?

Онъ уже началъ забывать, что они сидятъ въ саду ресторана, на виду у всѣхъ, а не въ отдѣльномъ кабинетѣ.

— Она у меня одна, — отвѣтилъ Аксамитовъ уклончивѣе, чѣмъ ожидалъ Грубинъ, но тотчасъ же прибавилъ: — Маруся всегда было скучно въ женскомъ обществѣ... Мы съ ней рано подружились.

— Марья Орестовна находитъ... да вы, конечно, знаете ся фразу: „les femmes sont si bêtes“.

Зачѣмъ сказалъ онъ это? Точно хотѣлъ похвалиться

отцу, что у нихъ съ Марусей уже были интимные разговоры.

Но онъ не смутился. Маруса не скрыла ни отъ отца, ни отъ матери ихъ поѣздки верхомъ, нарочно попросила проводить ее до дачи. Ея мнѣніе о женщинахъ не ему первому сказала она.

Инстинктъ шепнулъ Грубинѣ, что такъ лучше. Пускай отецъ увидитъ, какъ быстро дочь приблизила его къ себѣ.

— Мнѣ ее жаль,—говорилъ Аксамитовъ все съ тѣмъ же налетомъ грусти на лицѣ,—особенно у насъ, въ Россіи. Но и за границей она чувствуетъ себя также не по себѣ.

— Не по себѣ,—повторилъ Грубинъ. И это выраженіе Аксамитова нашелъ онъ очень мѣткимъ. — Что жъ это такое?—спросилъ онъ.

— Какъ вамъ сказать?.. Это сложный процессъ... Нынче рано начинаютъ жить и думать, слишкомъ рано,—оттянулъ онъ со вздохомъ. — У Маруси не было настоящаго отечества... Наша вина, каюсь... Часть ея дѣтства прошла за границей...

— А потомъ во французскихъ монастыряхъ?—подсказалъ Грубинъ.

— Вы знаете? — полувопросительно выговорилъ Аксамитовъ и, не смущаясь, продолжалъ: — Въ этомъ еще не было большой бѣды. Тамъ все гораздо прочнѣе, чѣмъ у насъ. И, признаюсь вамъ, никогда особенно не восхищался тѣмъ, какъ ведутъ дѣвушекъ въ Россіи... Ни институты наши, ни курсы... Или все очень формально... trop précis, или совсѣмъ не женскія идеи и замашки... А тамъ, за границей, гораздо больше традицій. Все держится за авторитетъ.

— Но духъ времени, все-таки, дѣлаетъ свое,—проронилъ Грубинъ и пристально поглядѣлъ на Аксамитова.

— Это такъ!—выговорилъ тотъ со вздохомъ.—Никакія стѣны не спасаютъ отъ поразительно-ранней работы... не сердца,—прибавилъ онъ,—а головы.

Когда лакей убралъ блюдо и вышла пауза, Аксамитовъ наклонился черезъ столъ и все съ тою же грустною усмѣлкой сказалъ Грубинѣ:

— Вы развѣ не наблюдали нашихъ дѣвушекъ въ томъ обществѣ, которое кочуетъ по всей Европѣ?

— Мало...

Грубинъ ничего больше не отвѣтилъ. Вдалаться въ подробности его удерживалъ смутный стыдъ.

— *Le monde où l'on s'amuse*, — выговорилъ Аксамитовъ, какъ произносятъ заглавіе. — Вы, конечно, знаете и пьесу?.. Но тамъ взято все съ легкой стороны, для комедіи въ одинъ актъ... Въ жизни это совсѣмъ не такъ... забавно. Не взвидишься — и дѣвушка, почти ребенокъ, уже прошла черезъ огромную работу... какъ это сказать? Души?—нѣтъ! Но головы, мозга... Душой жили когда-то... во времена романтиковъ... Личность разрослась теперь ужасно. Если у дѣвочки даровитая натура, она начинаетъ горѣть на огнѣ непоимѣрныхъ порывовъ ко всему: къ славѣ, къ чему-то колоссальному... Или все, или ничего — вотъ ихъ девизъ. Нашимъ матерямъ и бабушкамъ одного какого-нибудь талантика или хорошенькаго лица, доброты, граціи... хватало на всю жизнь. Нынче... въ восемнадцать лѣтъ дѣвушка уже перепробуетъ всего и побываетъ и въ поэтессахъ, и въ артисткахъ, и въ писательницахъ.

— Развѣ Марья Орестовна... — остановилъ было его Грубинъ.

— Маруся, — немного подумавъ, продолжалъ Аксамитовъ, — надѣлена необычайною головой... Но не реклама, не погоня за тѣмъ, что французы называютъ *gloriole*, гложутъ ее. Она выше этого! — воскликнулъ онъ и вѣки глазъ сразу покраснѣли. — Ее сталъ глотать другой червякъ... Слишкомъ ранній анализъ... Своя жизнь, личное счастье, возможность пользоваться минутой, — все это отлетѣло, а голова мучительно работала, сердце теряло иллюзіи, воля ослабѣвала...

— Воля?... — изумленно вымолвилъ Грубинъ. — Но Марья Орестовна — характеръ!

— Это только кажется! — все съ возрастающею живостью возразилъ Аксамитовъ. — Видъ у ней такой... Если хотите, характеръ во всемъ, что благородство личнаго поведенія — да; но борьба за себя, за возможное счастье — нѣтъ!

На этотъ разъ онъ какъ будто испугался смѣлости своихъ словъ и, замолчавъ, обернулся въ сторону террасы и поглядѣлъ на того генерала, съ кѣмъ говорилъ полчаса назадъ.

Грубинъ не могъ не пойти дальше.

— Позвольте, Орестъ Юрьевичъ, — началъ онъ, только что Аксамитовъ повернулъ къ нему голову. — Значить, въ концѣ концовъ, заграничное воспитаніе дало результаты, какихъ вы не предвидѣли?

— Жена моя, — заговорилъ Аксамитовъ другимъ то-



номъ,—думала, что держать дѣвочку одну, въ открытомъ домѣ, безъ подругъ и при нашихъ частыхъ переѣздахъ, было рискованно. И она, по-своему, была права.

„А ты-то самъ?“ — хотѣлъ ему крикнуть Грубинъ, но ничего не возразилъ.

Этотъ человѣкъ обезоруживалъ его. Онъ совсѣмъ позабылъ, какую репутацію имѣетъ Аксамитовъ, какъ онъ собирался проникать въ его поведеніе, въ его преступную стачку съ женой, заклеить его, когда настанетъ минута, за предательство передъ собственной любимой дочерью, которую мать развращаетъ своимъ примѣромъ и доведетъ до чего-нибудь постыднаго и непоправимаго.

Все отлетѣло отъ него. Онъ вѣрилъ искренности этого человѣка, слышалъ душевное страданіе въ томъ, что и какъ онъ сейчасъ говорилъ о Марусѣ, понималъ его безпомощность, готовъ былъ протянуть ему руку и сказать:

„Вѣдь вы хорошій человѣкъ... Откройте мнѣ вашу душу: я не хочу считать васъ дрянью. И готовъ просить у васъ прощенія!“

— И у Марьи Орестовны,—вымолвилъ онъ, точно про себя,—нѣтъ, стало-быть, никакой личной жизни?

— Нѣтъ... Она не живетъ, а какъ бы это сказать... *elle subit la vie.*

Имъ подали второе блюдо. Они ѣли молча. Грубинъ былъ такъ же взволнованъ, какъ третьяго дня, въ саду. Вопросы просились наружу и не выходили; они были бы слишкомъ неумѣстны, даже и послѣ того, что говорилъ отецъ Маруси.

— Mon cher Аксамитовъ!.. На два слова! — окликнулъ жирнымъ басомъ генералъ съ аксельбантами, только что спустившійся съ террасы.

Онъ взялъ Аксамитова подъ руку и отвелъ его въ глубь сада, къ одной изъ палатокъ.

Грубинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ и первая мысль, подбравшаяся къ нему, была:

„А, вѣдь, если бы онъ считалъ тебя человѣкомъ, который можетъ попасть въ его зятя, онъ не сталъ бы съ тобой изливаться о ней. Ты годенъ только въ наперсники!“

Мысль эта ѣдкою струей пронизала его

— *Le monde où l'on s'amuse*, — выговори́лъ Аксамитовъ, какъ произносятъ заглавіе. — Вы, конечно, знаете и пьесу?.. Но тамъ взято все съ легкой стороны, для комедіи въ одинъ актъ... Въ жизни это совсѣмъ не такъ... забавно. Не взвидишься — и дѣвушка, почти ребенокъ, уже прошла черезъ огромную работу... какъ это сказать? Души?—нѣтъ! Но головы, мозга... Душой жили когда-то... во времена романтиковъ... Личность разрослась теперь ужасно. Если у дѣвочки даровитая натура, она начинаетъ горѣть на огнѣ непомерныхъ порывовъ ко всему: къ славѣ, къ чему-то колоссальному... Или все, или ничего — вотъ ихъ девизъ. Нашимъ матерямъ и бабушкамъ одного какого-нибудь талантика или хорошенькаго лица, доброты, граціи... хватало на всю жизнь. Нынче... въ восемнадцать лѣтъ дѣвушка уже перепробуетъ всего и побываетъ и въ поэтессахъ, и въ артисткахъ, и въ писательницахъ.

— Развѣ Марья Орестовна... — остановилъ было его Грубинъ.

— Маруся, — немного подумавъ, продолжалъ Аксамитовъ, — надѣлена необычайною головой... Но не реклама, не погоня за тѣмъ, что французы называютъ *glogiole*, гложутъ ее. Она выше этого! — воскликнулъ онъ и вѣки глазъ сразу покраснѣли. — Ее сталъ глодать другой червякъ... Слишкомъ ранній анализъ... Своя жизнь, личное счастье, возможность пользоваться минутой, — все это отлетѣло, а голова мучительно работала, сердце теряло иллюзіи, воля ослабѣвала...

— Воля?... — изумленно вымолвилъ Грубинъ. — Но Марья Орестовна — характеръ!

— Это только кажется! — все съ возрастающею живостью возразилъ Аксамитовъ. — Видъ у ней такой... Если хотите, характеръ во всемъ, что благородство личнаго поведенія — да: но борьба за себя, за возможное счастье — нѣтъ!

На этотъ разъ онъ какъ будто испугался смѣлости своихъ словъ и, замолчавъ, обернулся въ сторону террасы и поглядѣлъ на того генерала, съ кѣмъ говорилъ полчаса назадъ.

Грубинъ не могъ не пойти дальше.

— Позвольте, Орестъ Юрьевичъ, — началъ онъ, только что Аксамитовъ повернулъ къ нему голову. — Значитъ, въ концѣ концовъ, заграничное воспитаніе дало результаты, какихъ вы не предвидѣли?

— Жена моя, — заговорилъ Аксамитовъ другимъ то-

номъ,—думала, что держать дѣвочку одну, въ открытомъ домѣ, безъ подругъ и при нашихъ частыхъ переѣздахъ, было рискованно. И она, по-своему, была права.

„А ты-то самъ?“ — хотѣлъ ему крикнуть Грубинъ, но ничего не возразилъ.

Этотъ человѣкъ обезоруживалъ его. Онъ совсѣмъ позабылъ, какую репутацію имѣетъ Аксамитовъ, какъ онъ собирался проникать въ его поведеніе, въ его преступную стачку съ женой, заклеить его, когда настанетъ минута, за предательство передъ собственной любимой дочерью, которую мать развращаетъ своимъ примѣромъ и доведетъ до чего-нибудь постыднаго и непоправимаго.

Все отлетѣло отъ него. Онъ вѣрилъ искренности этого человѣка, слышалъ душевное страданіе въ томъ, что и какъ онъ сейчасъ говорилъ о Марусѣ, понялъ его безпомощность, готовъ былъ протянуть ему руку и сказать:

„Вѣдь вы хорошій человѣкъ... Откройте мнѣ вашу душу: я не хочу считать васъ дрянью. Я готовъ просить у васъ прощенія!“

— И у Марьи Орестовны,—вымолвилъ онъ, точно про себя,—нѣтъ, стало-быть, никакой личной жизни?

— Нѣтъ... Она не живетъ, а какъ бы это сказать... *elle subit la vie.*

Имъ подали второе блюдо. Они ѣли молча. Грубинъ былъ такъ же взволнованъ, какъ третьяго дня, въ саду. Вопросы просились наружу и не выходили; они были бы слишкомъ неумѣстны, даже и послѣ того, что говорилъ отецъ Маруси.

— *Mon cher Аксамитовъ!..* На два слова! — окликнулъ жирнымъ басомъ генералъ съ аксельбантами, только что спустившійся съ террасы.

Онъ взялъ Аксамитова подъ руку и отвелъ его въ садъ, къ одной изъ палатокъ.

Грубинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ и первая мысль, подбравшаяся къ нему, была:

„А, вѣдь, если бы онъ считалъ тебя человѣкомъ, который можетъ попасть въ его зятя, онъ не сталъ бы съ тобой изливаться о ней. Ты годенъ только въ наперсники!“

Мысль эта ѣдкою струей пронизала его

тяготѣть въ лицѣ матери, чтобы самоотверженно „спасти“ ее, какъ онъ еще вчера утромъ повторялъ, послѣ ночи, проведенной безъ сна?

Стало-быть?

Щеки его горѣли. Онъ взглянулъ еще разъ на броветку, и это кажущееся сходство съ Марусей усилило его тревогу.

Раздался третій звонокъ и затѣмъ жидкій и продолжительный свистокъ. Поездъ двинулся.

Черезъ минуту въ вагонъ вошелъ оберъ-кондукторъ.

Грубинъ зналъ его больше всѣхъ остальныхъ на этой линіи: молодой еще человѣкъ, блондинъ, плотный, съ фуражкой или шалкой, всегда надѣтой немного назадъ, съ неизмѣнно грустнымъ, довольно красивымъ лицомъ и неспѣшной походкой, молчаливый и какъ бы ко всему равнодушный.

Вотъ онъ ѣдетъ одинъ въ вагонѣ, вечеромъ, везетъ изъ Петербурга какой-то аппаратъ, купленный тамъ для умирающей жены. Но онъ еще надѣется. Этотъ самый кондукторъ подходитъ къ нему отбирать билетъ вмѣстѣ съ контролеромъ и говорить спокойно, съ отуманеннымъ взглядомъ:

— У васъ билетъ второго класса.

Въ разсѣянности онъ сѣлъ съ нимъ въ вагонъ перваго, до такой степени онъ былъ въ тотъ вечеръ захваченъ думой о несчастной Катѣ.

Наканунѣ докторъ сказалъ ему:

— Если будутъ три испарины сряду, я ни за что не ручаюсь.

И въ ту же ночь былъ второй припадокъ испарины. Съ третьимъ—Кати не стало.

„Давно ли это было?“

Но вопросъ уже не устыдилъ его, какъ въ то утро, когда онъ попалъ въ Баболово.

Онъ сѣлъ у открытаго окна и, подставляя лицо подъ свѣжій вѣтерокъ, упорно началъ пытаться себя.

Да, это былъ ударъ, не заслуженный ни имъ, ни ею, страдальцей материнства. Онъ потерялъ разумъ и жену, и ребенка, остался бобылемъ въ такіе годы, когда всего тяжелѣе быть одинокимъ.

Катю свою онъ ставилъ высоко за ея чистоту, вѣрность всему, что для нея было свято, за хрустальную честность и стойкость души въ такомъ маленькомъ тѣлѣ. Онъ былъ

ей преданъ сознательно, не тяготился ничѣмъ, что отъ нея исходило, упоная на тихую будущность подъ ея— почти материнскимъ—покровомъ.

Но зналъ ли онъ любовь? Испыталъ ли онъ когда-нибудь съ нею минуты забвенія всего, трепеть души, слетающій на мужчину, какъ огненный языкъ, страсть, изъ-за которой люди рѣжутся и топятся или идутъ на совершеніе геройскихъ дѣлъ?

Съ нею—нѣтъ.

Этотъ отвѣтъ раздался у него въ головѣ и въ груди, и такъ отчетливо-вѣско, безъ всякихъ оговорокъ.

Нѣтъ, онъ не зналъ въ супружествѣ такой любви, да и прежде, въ холостые годы, не зналъ ея.

„Ты не жилъ,—произносили беззвучно его губы, подъ гулъ поѣзда, тихо поднимавшагося къ Царскому,—ты не жилъ, ты только „претерпѣвалъ“ жизнь,—повторилъ онъ недавно слышанное имъ выраженіе. — И зачѣмъ будешь ты лгать самому себѣ? Во имя чего? Чтобы не оскорбить память усопшей? Но, вѣдь если ты могъ забыть сороковой день ея кончины, значитъ, на тебя налетѣло что-то могучее, настоящее?..“

— Настоящее? — выговорилъ онъ вслухъ и, откинувъ голову, возбужденно и молодо оглянулся.

Онъ не хотѣлъ больше обманывать себя. Не сентиментальной дружбы будетъ онъ искать. Все отдастъ онъ, что у него есть, всѣ силы, удесятеренныя великою тайной жизни—любовью—и вырветъ ту дѣвушку изъ ея болота, задрапированнаго ея матерью, этою многоумною блудницей, вложившею свою бархатную лану на мужа и дочь.

Гордо выпрямился онъ, и въ груди его закипѣла мощь челоуѣка, впервые познавшаго страсть.

## XXXII.

Онъ не шелъ, а летѣлъ въ Дворцовый садъ. Извозчиковъ не было на перекресткѣ Конюшенной улицы, гдѣ они обыкновенно стоятъ, но это его не раздосадовало. Времени еще оставалось довольно до трехъ часовъ.

Вчера вечеромъ онъ получилъ депешу изъ Павловска: „Марья Орестовна будетъ завтра на озерѣ, у пристани, въ три часа“.

Депешу подписалъ какой-то мужчина, но Грубинъ не разобралъ фамиліи. Телеграфистъ, видимо, перепуталъ.

Фамиліи короткая, начинается слогомъ „Цу“ и въ концѣ стоитъ „ъ“.

Депеша сначала смутила его. Что это? Мистификація? Но кто же пошелъ на нее? Князь? Тараевъ? Ни тотъ, ни другой. Если грузинъ и пылаетъ ревностью, то ужъ, конечно, не къ нему. Тараевъ могъ взяться отправить такую депешу, но Маруся не поручила бы ему... Съ ея умомъ и тактомъ!

Сегодня утромъ это уже не тормозило его.

Кто бы ни подписалъ депешу—мистификація немыслима. Маруся ждетъ его. Чего же еще допытываться?

Она могла сама подписаться первою попавшеюся фамиліей. Осторожность понятная и умно придуманная.

Еще вчера утромъ ей нездоровилось, а къ вечеру она уже рѣшила встрѣтиться съ нимъ около трехъ часовъ.

Мысль о чемъ-нибудь чрезвычайномъ не тревожила его. Ускоряя шаги, онъ все сильнѣе рассчитывалъ на прогулку вдвоемъ и даже безъ лакея, какъ тогда, въ первый разъ, въ Дворцовомъ саду. Онъ не зналъ, о чемъ они будутъ говорить, не готовился, не запоминалъ вопросовъ. Его наполняло одно цѣльное чувство, одно стремленіе: видѣть ее, глѣдѣть на эти глубокіе, вдумчивые и строгіе глаза, гдѣ вдругъ блеснетъ усмѣшка, на этотъ краснорѣчивый ротъ съ некрупынми бѣлыми зубами, такъ часто закрытый, на этотъ чудный овалъ и пряди волосъ съ золотистымъ отблескомъ. Даже теперь, на разстояніи, представляя себѣ обликъ этой дѣвушки, онъ испытывалъ пріятную жуткость. Только избранныя женскія натуры могутъ вызывать такое чувство, гдѣ все есть: желаніе проникнуть въ душу, боязнь за себя, готовность къ жертвѣ, неустанное любованіе, точно высокимъ созданіемъ искусства, когда хочется оцѣнить каждую черточку, каждый взмахъ вдохновенной кисти или рѣзца.

Никогда ничего подобнаго онъ не испытывалъ, какъ бы ни старался исповѣдывать себя, за всѣ послѣднія двадцать лѣтъ жизни, со студенческихъ годовъ.

Вотъ и гранитный тротуаръ, идущій вдоль рѣшетки сада. Грубинъ прошелъ подъ ворота краснаго зданія пекарни и такимъ же скорымъ шагомъ взялъ по ближайшей аллеѣ къ пристани.

День стоялъ свѣтлый и немного свѣжій, съ вѣтеркомъ. Лицы шептались между собою. Издали мелькали пожелтѣлыя округлыя формы статуй. Желѣзные диваны и ска-

мейки, заново выкрашенные, выдѣлялись на фонѣ зелени цвѣтомъ яри-мѣдянки. Все это улыбалось Грubiну и приглашало его туда, гдѣ его ждутъ...

Ему начали попадаться няньки и бонны съ дѣтьми, ближе къ озеру; но въ этотъ часъ и тутъ было немного гуляющихъ. До начала музыки оставалось всего пять минутъ.

Еще не будетъ трехъ, когда онъ подойдетъ къ самой пристани и сядетъ на диванчикъ противъ плотовъ, гдѣ стоитъ рядъ шлюпокъ.

Въ груди у него слегка занималось, и не отъ одной только скорой ходьбы. Въ родѣ этого чувствовалъ онъ себя очень, очень давно. Тревога была похожа на то, какъ онъ собрался держать экзаменъ изъ гражданскаго права—и непременно на пять, иначе у него не вышло бы кандидатскихъ отиѣтокъ, и такъ же поднимательно было у него на сердцѣ, когда ему объявили, что онъ—кандидатъ.

Молодость несомнѣнная была въ каждой его жилкѣ. Ему стоило бы только вспомнить свои года, чтобы не считать себя пожилымъ человѣкомъ. Но этого ему не надо было... Пожилой мужчина не можетъ испытывать ничего подобнаго, развѣ однимъ воображеніемъ, а не сердцемъ, не трепетаніемъ души.

Озеро переливало отраженіе лучей—парядное и величавое, съ полосой древесныхъ купъ, на томъ берегу, идущей вверхъ, по легкой покатости.

Взглядъ Грubiна, когда онъ присѣлъ на одинъ изъ чугунныхъ дивановъ, ласкалъ это милое озеро во всѣхъ направленіяхъ, но ни на чемъ не задерживался.

Сирава приближалась пара. Онъ вскочилъ. Дама въ темной кофточкѣ и шелковой желтоватой манишкѣ, подъ соломенной шляпой, съ чѣмъ-то взбитымъ, изъ бѣлаго газа и васильковъ. Это она, это ея походка, крупнымъ шагомъ, съ зонтикомъ, откинутымъ на правое плечо.

Но кто же идетъ рядомъ съ нею?

Длинная, узкоплечая фигура, въ широкомъ разстегнутомъ пальто цвѣта „мастики“, въ такого же цвѣта низкой шляпѣ, красноватыхъ ботинкахъ и широчайшихъ сиреневыхъ панталонахъ, почти шароварахъ, съ палкой въ рукѣ. Лица онъ сразу не могъ разглядѣть. Оно было длинное, бритое, кажется, съ усиками, шея чѣмъ-то точно укутана—тоже синимъ. Шелъ этотъ мужчина развихленною

походкой, качая головой и разставляя руки въ яркихъ перчаткахъ, какія въ ходу у кучеровъ за границей.

Грубинъ поспѣшилъ къ нимъ навстрѣчу. Его ударило въ краску при видѣ спутника Маруси. Но онъ почему-то вѣрилъ, что ему, все-таки, удастся поговорить съ нею безъ помѣхи.

— Марья Орестовна!

Онъ окликнулъ ее поспѣшно, точно не своимъ голосомъ. Ея спутника онъ какъ бы и не замѣтилъ. Глаза его были прикованы къ ней одной.

Маруся остановилась, протянула ему руку красивымъ, широкимъ жестомъ и сильно пожала ее.

— Долго ждали?—спросила она своимъ обыкновеннымъ, низковатымъ голосомъ.

Онъ замѣтилъ сразу блѣдность ея щекъ и утомленіе глазъ.

— Сейчасъ только пришелъ,—отвѣтилъ онъ, не вполне овладѣвъ собою.

— Представляю вамъ моего товарища дѣтства... Его зовутъ Питеръ Пусковъ... И вамъ позволяю такъ же звать его,—прибавила она, улыбувшись.

Питеръ снялъ шляпу и поклонился довольно низко, уйдя головой въ плечи.

Грубинъ тутъ только разглядѣлъ его желтоватое, загорѣлое лицо, съ длиннымъ подбородкомъ и голубыми, довольно большими глазами. Онъ носилъ коротко-подстриженную чѣлку пепельныхъ волосъ и усики.

Шею его покрывалъ самый модный галстукъ, въ видѣ тяжелаго шарфа, скрывавшій воротничокъ вплоть до его кончиковъ.

— Весьма радъ, — выговорилъ онъ глухимъ, сипловатымъ голосомъ и поглядѣлъ на Марусю, вытянувъ чудаковато шею.

— Куда же мы?... Будемъ кататься?—спросила Маруся. — На озерѣ такъ хорошо сегодня... Питеръ, идите и возьмите лодку.

— Вамъ не очень-то полезно,—сказалъ Питеръ, тигуче и опять вытягивая свою длинную шею. — Вчера еще у васъ жаръ былъ.

— Пустяки!.. Вы сами боитесь и сваливаете на меня.

— Что жъ!.. И мнѣ это не очень полезно. Всю ночь меня лихорадило.

— Будто?



— Честное слово... Тридцать девять... Я глоталъ-глоталъ антипиринъ, и нѣтъ никакого толка.

— Питеръ, — указала на него Маруся Грубину, — мнимый больной... какихъ нѣтъ нигдѣ... Лѣчится вездѣ, гдѣ только можно.

— Хорошо!.. Вамъ легко прохаживаться на мой счетъ.

Ихъ тонъ показывалъ, что они дѣйствительно товарищи дѣтства. Питеръ могъ быть старше ея года на три, на четыре.

— Идите, Питеръ!

— Иду, — уныло выговорилъ онъ. — Да иденте вмѣстѣ... Я не могу, Марья Орестовна, бѣгать. У меня сейчасъ сердцебіеніе дѣлается.

— Что это за натура!

Восклицаніе Маруси звонко пронеслось по дорожкѣ.

— Хотите я распоряджусь? — спросилъ Грубинъ.

— Нѣтъ!.. Идемте всѣ!

По дорожкѣ было тѣсно идти всѣмъ тремъ въ рядъ. Питеръ уступилъ свое мѣсто Грубину и полпелся за ними все тою же развихленною поступью.

— Благодарю васъ, — тихо выговорилъ Грубинъ и нерѣшительно взглянулъ на нее.

Ея взглядъ былъ затуманенъ; это обдало его холодомъ.

### XXXIII.

Курганъ возвышался надъ окрестною мѣстностью сада. По узкой лѣсенкѣ, вдѣланной въ дернъ, поднялись туда Маруся и Грубинъ. Это была ея идея сѣсть тамъ, наверху. Питера, послѣ ѣзды по озеру, она услала ко дворцу, просто такъ, придравшись къ тому, что онъ слишкомъ волочить ноги и нѣтъ возможности съ нимъ гулять. Онъ не обидѣлся и даже сказалъ:

— И прекрасно... Вы слишкомъ бѣгаете. У меня сейчасъ начнется одышка и... сердцебіеніе.

На курганѣ никто имъ не помѣшаетъ. Грубинъ такъ и понималъ желаніе Маруси пойти именно туда.

Проползло больше десяти минутъ, а они говорили отрывочно и не о томъ, чего жаждалъ онъ. Въ ея лицѣ онъ подмѣтилъ новую накипь горечи. Должно-быть, въ домѣ произошло что-нибудь крупное, но что, она не говорила. Какъ будто она сердилась на себя и за тѣ откровенности, какими началось ихъ сближеніе.

Это укололо его и огорчило за нее. Онъ считалъ ее выше такихъ ходовъ назадъ.

Задавать ей вопросы онъ не рѣшался.

Но зачѣмъ-нибудь она вызвала же его сюда въ садъ, и въ такой, все-таки, рискованной формѣ?.. Какъ ни чудаковать товарищъ ея дѣтства, этотъ развинченный Питеръ, но вѣдь и онъ можетъ подумать, что тутъ свиданіе.

А они сидятъ на курганѣ въ томленіи, какъ будто ждутъ чего-то и взобрались на эту вышку, чтобы за кѣмъ-то подсматривать.

— Вы знаете, какъ я зову Питера?—вдругъ спросила Маруся съ такимъ выраженіемъ лица, точно она сказала это послѣ долгаго жданья, не начнетъ ли самъ Грубинъ.

— Какъ?

— Счастливецъ.

— Онъ?

— Да, Питеръ Пусковъ. Вы думаете, онъ жалкій ипохондрикъ?.. Весь поглощенъ страхомъ за свое... тѣло?.. Онъ счастливецъ. У него есть призваніе лѣчить себя.

Тонъ ея словъ былъ насмѣшливый, но глаза стали еще печальнѣе. Подъ этимъ крылась все та же душевная боль.

— Марья Орестовна, — заговорилъ Грубинъ грудною нотой и снялъ шляпу, — для каждого изъ насъ счастье въ насъ самихъ, ни въ чемъ больше... Захотите — и оно будетъ.

Грубинъ не досказалъ. Ему эти искреннія слова показались вдругъ пошлымъ намекомъ. Точно онъ, въ плохой цѣсѣ, сентиментальный вдовецъ, среднихъ лѣтъ, приступаетъ къ рѣшительному объясненію съ предметомъ своего выбора. Онъ даже началъ краснѣть.

— Счастье! Счастье! — Маруся откинула назадъ голову. — Избитое и глупое слово! Это все равно, что когда-то русскія барышни повторяли... до одурѣнія: „Жизнь! Жизнь!“ Какъ будто есть такой предметъ: счастье?.. Есть разныя вещи: брильянты, экипажи, лошади, кружева, виллы на Ривьерѣ, мужья или друзья дома... все это можно купить или добыть разными средствами. Но счастье—это миѳъ... Мы въ дѣтствѣ, вотъ когда еще съ Питеромъ Пусковымъ бѣгали здѣсь, въ этомъ самомъ саду, говорили: „пустушка“... Пустушка! — повторила она, и голосъ ея началъ вибрировать. — И опасная, вредная пустушка. И еще хуже, еще глупѣе, когда какая-нибудь особа, въ родѣ меня, напрімѣръ, начинаетъ еще дѣвчонкой въ пят-

надцать лѣтъ вѣрить въ свой необыкновенный талантъ, въ призваніе, хватается то за то, то за другое, и въ результатѣ—пустушка!

— Вы это о себѣ?—смущенно спросилъ Грубинъ.

Онъ не хотѣлъ принимать ея словъ въ прямомъ смыслѣ. Это похоже было все на ту же замаскированную горечь.

— Parfaitement!—звонко и почти грубо вскричала Маруся.—Вчера вы завтракали съ отцомъ моимъ у „Донона“...

— Да,—какъ бы робко отвѣтилъ Грубинъ.

— И вы, навѣрное, говорили обо мнѣ. И онъ, навѣрное, давалъ вамъ понять, какая я высоко-одаренная натура... Не лгите!

— Онъ васъ нѣжно любить и понимаетъ, Марья Орестовна.

— Знаю!.. Да, любить, но не понимаетъ! Я уже вамъ говорила, что папа—мой человѣкъ. Я за него всегда страдала и одна только понимаю его... И не смѣю не только явно бросить въ него камнемъ, но даже тайно, про себя, осудить его... Вотъ и теперь, если еще лишнихъ пять минутъ буду говорить въ такомъ родѣ, я разревусь, и вы увидите, какая я жалкая, когда я плачу... Но онъ всегда увлекался мною... Онъ безъ вины виноватъ въ томъ, что я дѣвчонкой пятнадцати лѣтъ вдалась въ исканіе своей геніальности,—чуть замѣтный смѣхъ проскользнулъ въ ея порывистой рѣчи,—въ жажду призванія, славы... Читали вы журналъ русской барышни Башкирцевой.

— Начиналъ читать,—отвѣтилъ Грубинъ.

— И не окончили?

— Нѣтъ, не кончилъ.

— Почему? —спросила Маруся, и взглядъ ея, уже меньше печальный и болѣе острый, остановился на немъ.

— Почему? Да я не нашелъ въ этой книжкѣ ничего, кромѣ непоумѣрнаго тщеславія и погони за успѣхомъ.

— La gloire! Оно!.. И я это нахожу... но когда? Тещерь. А тогда я сама была такая же Башкирцева, только безъ ея талантовъ и безъ ея ума. И я не успѣла умереть въ-время...

— Умереть! —повторилъ Грубинъ, все съ возрастающимъ удивленіемъ.

— По крайней мѣрѣ... хоть бы одна удача: лихо умереть.

— Лихо?

— Это не мое слово, офицерское, и я его беру... Но

въ томъ-то и дѣло, что не умрешь по собственной волѣ, а будешь все тянуть, день за днемъ, мѣсяцы, годы, десятки лѣтъ. И всѣ мы такія неудачныя дѣвицы Башкирцевы... харьковскія и тамбовскія помѣщицы... изъ Парижа! Какое-то есть слово, подскажите мнѣ его, Грубинъ... меже... меже...

— Межеумки?

— Да, да. Merci. Межеумки... Папа вотъ говорилъ вамъ о талантахъ своей дочери. Но сказалъ ли онъ, что его дочь вообразила себя, между прочимъ, и поэтессой?

— Нѣтъ, не говорилъ.

— И академія ее наградила... за цѣлый томикъ стиховъ... французскихъ стиховъ. Подъ красивымъ псевдонимомъ.

— Такъ что жъ въ этомъ постыднаго?

— Я видѣть ихъ не могу теперь... Они мнѣ противны... Нѣтъ въ нихъ ничего, кромѣ обезьянства... Все писалось для одной gloriole... мозгъ свой раздражала, коверкала себя...

— Если и такъ, — перебилъ Грубинъ, — не оттого ли, что вы сердцемъ рано стали страдать?.. И въ двадцать лѣтъ у васъ такая... душа...

— Старая, хотите вы сказать?

Не такихъ словъ ожидалъ онъ. Но онъ не смогъ заставить ее говорить другое и о другомъ.

Ему дѣлалось очень тяжело и чувство собственной безпомощности начало гнестись его.

— Старая? — переспросила Маруся и вдругъ опустила голову и оперлась локтями въ колѣни. — Какъ будто это отъ насъ самихъ зависитъ?.. Я знаю, что вы мнѣ скажете: надо имѣть идеаль, надо любить.

Онъ заходилъ.

— Любить? — продолжала Маруся, не мѣняя позы. — Но вѣдь это то же, что геній, талантъ, призваніе... Еще труднѣе... Развѣ можно управлять любовью?.. Вы встрѣчаетесь съ сектантами... Или просто люди вѣрующіе... даже и не ханжи... Они вамъ твердятъ: „вѣрьте, и все вамъ дастся“. Но вѣдь это нелѣпость!.. Он а un coup de foudre ou on ne l'a pas! — вырвалось у ней высокою нотой, и тотчасъ она впала въ прежній скорбный тонъ. — Нельзя заставить себя молиться, можно только повторять слова... Такъ и въ чувствѣ... И что такое любовь теперь, вотъ въ томъ обществѣ, гдѣ я живу и осуждена жить?

Грубинъ хотѣлъ крикнуть:

„Такъ бросьте его, это общество!“

Онъ не посмѣлъ. У него ныло въ груди и его глаза умоляли ее не говорить такъ.

Но Маруся не глядѣла на него и сидѣла въ той же позѣ.

— Это спортъ!

— Спортъ?— вскричалъ онъ, точно ужаленный. — Любовь—спортъ?

— Конечно... Глядите... Наблюдайте. Это—забава, капризъ или еще хуже... Или что-то въ родѣ маніи, какъ у игрока. Больше я ничего не нахожу. Вы у меня видѣли романъ Бурже... „Mensonges“... Вотъ это правда... А въ остальныхъ его же книгахъ — фальшь и сладость... *Des fadeurs!* Но и манію нельзя такъ получить, какъ гриппъ, если назначено простудиться. Попробуйте, постарайтесь сойти съ ума!.. Не сойдете! *Tout ça, c'est vieux jeu!*..

— *Vieux jeu!* — повторилъ Грубинъ, совсѣмъ придавленный.

— Послушайте,—Маруся подняла голову и руки съ когти, — не сердитесь! Вы видите... Я даже на дружбу не способна... Мнѣ хотѣлось васъ хоть немного развлечь... Я вызвала васъ сюда депешей... И только надоѣдаю вамъ глупымъ своимъ... резонерствомъ... *Une demoiselle qui a lu du Schopenhauer!*

Она произнесла имя философа нарочно на французскіи ладъ и пожала плечами.

Грубинъ сидѣлъ, все еще придавленный, и глядѣлъ на Марусю. Онъ боялся, вотъ-вотъ у него вырвется слово, выдастъ его, и не найдетъ, не можетъ пайти никакого отклика въ душѣ этой дѣвушки.

### XXXIV.

— И никого я не могу поддержать!—говорила Маруся десять минутъ спустя. — Отца я такъ жалю и не умѣю его приласкать, не смѣю высказаться... Да и къ чему?

Она махнула кистью правой руки.

Ея жалобы, сами по себѣ, уже не трогали Грубина. Онъ считалъ ихъ только проявленіемъ одной большой душевной раны.

Надъ этою дѣвушкой тяготѣетъ гнетъ, невидимый, по

роковой, гнетъ упорной и хищнической воли другого существа.

Онъ нѣсколько разъ порывался перебить ее и крикнуть ей:

„Все это не то! Вы знаете, въ комъ сидитъ зло!“

— Скажите мнѣ, Грубинъ,—Маруся дотронулась до его руки,—по смѣло... безъ всякихъ увертокъ, вамъ говорили дурно объ отцѣ? Вы меня понимаете... Какъ?

Она оттянула послѣднее слово.

— Я жду... Если я, дочь, позволю себѣ объ этомъ спрашивать, стало, я вамъ довѣряю, какъ довѣряютъ другу.

— Да, — чуть слышно отвѣтилъ Грубинъ. — Но развѣ можно...

— Пойдите... Но положимъ, что оно такъ.

— Марья Орестовна... я не желалъ бы...

— Я желаю... Не вы, а я! — сильно прервала она, встала, прошла по площадкѣ кургана и опять сѣла. — Неужели такъ много нужно философін, чтобы понять человѣка... совсѣмъ понять?

— И оправдать его? — подсказалъ Грубинъ. — Это великодушно... Это такъ похоже на васъ.

— Оставьте меня, прошу васъ... Я о себѣ ничего не скажу... сегодня, по крайней мѣрѣ. Ничего! Есть судьба. Греки не глупѣе насъ были... и признавали фатумъ. Вотъ вамъ человѣкъ, какъ отецъ, онъ весь изъ чувства. И на всю жизнь. Воли у него нѣтъ, или воля въ одномъ: быть около той, кто взялъ его. И онъ ее теперь, сегодня, любить такъ же... рабски, или какъ хотите назовите, какъ и двадцать лѣтъ назадъ. Онъ родился богатымъ, не зная цѣны денегъ, запуталъ дѣла, былъ наканунѣ банкротства, вы слышите — банкротства, можетъ, и еще хуже того, я навѣрное не знаю... но думаю. Самъ онъ не ушелъ бы отъ такого краха... вѣдь нынче такъ называютъ?.. И она начала спасать.

„Какою цѣной?“ — спросилъ, про себя, Грубинъ.

Онъ сидѣлъ съ низко-опущенною головой. Голосъ Маруси доходилъ до него справа, отрывисто и возбужденно.

— Это была для него сдѣлка съ совѣстью, — продолжала она. — Да. И ужасная! — Маруся вся вздрогнула. — А потомъ пошло дальше. Возмущаться было поздно... Да и безплодно. Надо жить, какъ всегда жили... Un train de maison... Онъ стоить имъ двѣсти тысячъ франковъ... Но

и это не главное... Не потерять! Лучше на все, на все закрывать глаза, чѣмъ разорвать, уйти... Куда? Лишиться ея? Вѣдь у него тамъ, въ душѣ, есть убѣжденіе, что она его спасала, а не себя, что она любитъ его, до сихъ поръ любить его.

Грубинъ слушалъ, прикрывъ рукою глаза, и ему плохо вѣрилось: неужели это говорить свѣтская дѣвушка, воспитанная въ пансіонѣ, при французскомъ монастырѣ, и про кого—про отца и мать, безъ нужды, безъ всякаго съ его стороны повода, обнажаетъ ихъ позоръ, грязь ихъ супружеской стачки?

„Изъ жалости къ отцу, — отвѣтилъ онъ себѣ тотчасъ же, — изъ потребности высказаться объ этомъ, быть-можетъ, въ первый разъ“.

Ему говорить не испорченная барышня-кривляка. Въ словахъ ея трепещетъ страдающая душа.

— Да, и она любитъ его! Вы не хотите признать? — спросила Маруся, обернувшись къ нему.

— Можетъ-быть.

— По-своему, и у ней свой кодексъ морали...

Маруся не договорила.

— Вы меня слушаете—и васъ это шокируетъ... Я Богъ знаетъ какую играю роль... *C'est ignoble, n'est-ce pas?* Но мы, вѣдь, хотимъ быть друзьями. Зачѣмъ же молчать о томъ, что всѣ говорятъ? Вы можете ото всѣхъ узнать: отъ генерала, отца Вавы, отъ князя. Вашъ пріятель Голубецъ, можетъ-быть, окажется болѣе скромнымъ. *Ça compte les guez.* Но вы поймете меня... Не сразу, нужды нѣтъ... Я не жалуюсь, не драпируюсь въ трагизмъ моего положенія... Боже мой! Десятки, сотни дѣвицъ и даже дѣвочекъ окружены тѣмъ же самымъ. И прекрасно съ этимъ мирятся... Но и въ тискахъ, какъ только я хочу приласкать отца и показать ему, какъ я его жалѣю... и люблю,—почти стыдливо прибавила она.—Развѣ это можно, не задѣвая вотъ того, что я вамъ сказала, прямо? Зачѣмъ же я буду добивать его?

Въ голосѣ ея задрожали другіе звуки; онъ такихъ еще не слыхалъ у нея.

— Разумѣется!—сумѣлъ онъ выговорить.

— А знаете... Грубинъ, что бы я стала говорить отцу, если бы онъ самъ открылъ мнѣ свою душу?

— Не знаю, Марья Орестовна.

— Она, по-своему, права!.. Чѣмъ больше я думаю, тѣмъ больше я въ этому прихожу.

— Права въ чемъ?—проронилъ Грубинъ.

— Вы думаете, она женщина безъ сердца?.. Нѣтъ. Это не правда... Она и его любитъ, и меня, — съ усиленіемъ выговорила Маруся.—По крайней мѣрѣ, она все сдѣлаетъ, чтобы устроить мою судьбу... Своимъ она предана... Это союзъ противъ всѣхъ, противъ всего міра. Я не думаю, чтобы она кого-нибудь хотѣла... съѣсть, безъ всякой жалости. Она не злая, нѣтъ!—сказала Маруся съ особенною силой. — Она слишкомъ умна, чтобы быть злой. Это она предоставляет другимъ женщинамъ... глупымъ! Умъ и характеръ у ней стоятъ одинъ другого. Чего она хочетъ добиться, она добьется непременно, непременно! Вы не знаете... Она употребила нѣсколько лѣтъ на то, чтобы тѣ, кто на нее косились, стали опять принимать ее... запросто. И всѣ передъ ней прыгаютъ... Не одна Вава! Въ Парижѣ, и здѣсь, вездѣ. Но чего это ей стоило? Другая бы посѣдѣла, состарилась... отъ такой борьбы. А она — видите какая... И еще долго она будетъ то, что она теперь. Десять лѣтъ... За границей и дольше!

Щеки Маруси стали розовѣть. Она поглядѣла на него пристально и спросила:

— Развѣ это не такъ?

— Вамъ лучше знать,—отвѣтилъ Грубинъ.

— И отецъ это все видитъ и знаетъ. Отъ этого ему не легче, скажете вы? Но онъ такой умный и такъ любить ее, что моя защита облегчила бы его навѣрное. У нея главная сила—красота. Отказываться отъ жизни, которой они живутъ столько лѣтъ, нечего думать! Это было бы самоубійство... Надо идти... Надо вести все ту же игру, все равно, что въ рулеткѣ, до тѣхъ поръ, пока не лопнетъ банкъ. Но онъ не лопнетъ... Она не допуститъ никогда... Даже на старости не допуститъ. И она — на своемъ посту, и, скажи онъ одно слово, выдай себя, она ему отвѣтитъ: „Я твоя помощница, ты предоставилъ мнѣ свою судьбу, падаешь идти нельзя... Терпи!“

Грубина поражало не одно то, что говорила Маруся, но и какъ она говорила. Куда дѣвались нерѣзительность русской фразы, безпрестанныя вставки французскихъ словъ! Онъ самъ, при случаѣ, довольно краснорѣчивъ; но онъ не сумѣлъ бы выражать сильнѣе и ярче такіа неслыханныя изъ устъ дочери вещи.



— Но я знаю,—продолжала, помолчавъ, Маруся,—что у нихъ съ отцомъ никогда такого разговора не выйдетъ. А съ ней я никогда не говорю... интимно.

— Никогда?—повторилъ Грубинъ.

— Нѣтъ. Она и не требуетъ. О, у ней столько ума... во всемъ, во всемъ. И такая сила воли! Если бъ хоть одну десятую она передала мнѣ... Я — въ отца... Не правда ли, я на него похожа?

— Больше на него, чѣмъ на мать.

— Ну, да. Но что бы я ни испытывала, Грубинъ, я не хочу глупо возмущаться. У меня бываютъ дни малодушія. А чуть просвѣтлѣетъ въ моей головѣ—и я вижу, что она тоже несетъ свою судьбу. Можно такъ выразиться?

— Отчего же нѣтъ?

— Она не можетъ быть другой, положительно не можетъ! Да и не она одна. Вы, кажется, мало знаете... тотъ... какъ это сказать... *le monde*...

— *Où l'on s'amuse?*—добавилъ онъ, вспомнивъ фразу Аксамитова въ ресторанѣ.

— Фраза моего отца.

— Отъ него я и слышалъ ее вчера.

— Нѣтъ, это не вѣрно, — Маруся уныло покачала головой, — всѣ гоняются за однимъ и тѣмъ же. У всѣхъ одинъ идолъ... И всѣмъ страшно заглянуть въ себя... Довольно! Идемте! Бѣдный Питеръ заждался. Простите! Я уже вамъ сказала, что я ни на что не гожусь, и въ друзья меня не слѣдуетъ брать.

Маруся стала первая спускаться по узенькимъ ступенькамъ.

### XXXV.

— *Monsieur Грубинъ! Здравствуйте!* — окликнулъ офицеръ на низковатомъ велосипедѣ, въ бѣлой фуражкѣ съ жемчужнымъ околышемъ.

На него давно уже смотрѣлъ Грубинъ, сидѣвшій на скамьѣ въ одной изъ аллей Нового парка, недалеко отъ заведенія минеральныхъ водъ.

Онъ издавна узналъ князя Юшадзе. Тотъ летѣлъ на двухколесномъ велосипедѣ съ резинами, сидѣлъ прямо и красиво переводилъ ногами, иногда складывалъ руки и продолжалъ катиться.

Ему видно было лицо грузина съ легкой тѣнью отъ

довольно длиннаго козырька, отражавшаго свѣтъ, — лицо неподвижное, чрезвычайно серьезное. точно онъ совершалъ какой-нибудь торжественный актъ.

Велосипедистовъ Грубинъ вообще не любилъ, хотя докторъ сколько разъ предлагалъ ему ѣздить, находя, что это чудесное средство противъ начинающагося расстройства печени.

Стройный станъ восточника, выдѣлывающаго ногами съ важностью какого-то авгура, вызвалъ въ немъ тотчасъ же рядъ тревожныхъ самообличеній.

Вотъ этотъ грузинъ, давно ли онъ пылалъ ревностью, а какъ владѣетъ собою, занимается спортомъ, точно священнодѣйствіемъ! Страсть въ немъ должна сидѣть та же самая. Но онъ вѣритъ въ себя. Онъ не допуститъ, чтобы призъ, въ видѣ любимой дѣвушки, взялъ не онъ, а какой-то московскій купчишка, будь у него и два милліона дохода.

А онъ, Грубинъ?.. Чего жъ онъ медлитъ? Отчего онъ не дерзаетъ? Вѣдь этотъ бѣлофуражникъ, прежде всего, — его соперникъ, первый по времени.

Знаетъ ли онъ что-нибудь про то, что теперь дѣлается въ душѣ Маруси? Ровно ничего.

Тѣ странныя, почти невозможныя изліянія дочери о четѣ ея родителей развѣ показали ему хоть чуточку, въ чемъ теперь дѣло, какіе опыты производить ей мать надъ нею и двумя претендентами, что она дѣйствительно чувствуетъ къ этому грузину и къ Тараеву?

Они больше не говорили потомъ ровно ничего. А можетъ-быть, чудаковатый Питеръ Пусковъ, котораго они нашли дремлющимъ у памятника Екатерины, и тотъ знаетъ гораздо больше, чѣмъ онъ, даже навѣрное.

Окликъ князя, раздавшійся въ трехъ саженьяхъ отъ того мѣста, гдѣ сидѣлъ Грубинъ, заставилъ его встрепенуться. Въ голову ему сразу ударило. Онъ снялъ шляпу и издала поклонился офицеру.

Велосипедъ подкатилъ беззвучно по мягкому шоссе дороги парка, и за два шага князь направилъ его къ большому дубу, стоящему около края дерна, ловко соскочилъ, точно съ коня, прислонилъ велосипедъ къ толстому стволу дерева, оправилъ сюртукъ, поспѣшно подошелъ къ Грубину, приложился кистью руки къ козырьку и слегка щелкнулъ шпорами.

— Здравствуйте! — еще разъ выговорилъ онъ, слывая

слоги этого слова на петербургскій манеръ. — Позвольте присѣсть?

— Сдѣлайте одолженіе.

Грубинъ далъ ему мѣсто, послѣ чего протянулъ руку.

— Ра. вѣ вы въ Царскомъ живете?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, я въ лагерѣ... Но надо было быть здѣсь... а потомъ съѣздить въ Павловскъ. На поѣздъ опоздалъ... На извозчикѣ—пыль и трясеть... Я и взялъ велосипедъ.

— Во сколько минутъ вы изволили отмахать?

Князь, съ жестомъ обстоятельнаго молодого человѣка, досталъ часы изъ рейтузъ и выговорилъ медленно:

— Отъ вокзала въ двѣнадцать минутъ. Можно и скорѣе...

Онъ ослабилъ свои длинные зубы, надъ которыми какъ смоль черные усики поднялись вмѣстѣ съ губой. Въ этомъ оскалѣ Грубинъ всего больше увидалъ восточника.

— Вы позволите напросу?

Князь былъ, какъ всегда, чрезвычайно вѣжливъ и тонъ его дышалъ полнымъ самообладаніемъ и достоинствомъ.

— Пожалуйста.

Въ мозгу Грубина уже запрыгали вопросы. Но онъ стыдился начинать съ нихъ.

— Давно были у Аксамитовыхъ?—спросилъ онъ, стараясь сдѣлать тонъ своего вопроса какъ можно равнодушнѣе.

— Сегодня былъ.

— Марья Орестовна здорова?

— Здорова. Развѣ она хворала?

— На-дняхъ ей, кажется, не совсѣмъ здоровилось.

— Не слыхалъ... Тамъ все благополучно, — сказалъ

князь какъ-то особенно вкусно и затянулся.

Усмѣшка, кривившая слегка ротъ, появилась на его лицѣ, какъ всегда, матово-блѣдномъ, подъ загаромъ лагерной стоянки.

— Въ какомъ смыслѣ вы это сказали?—позволилъ себѣ Грубинъ, не поднимая головы, чтобы ничѣмъ не выдать себя.

— Помните,—заговорилъ князь скорѣе, но не возвышая тона,—въ саду у нихъ... я насчетъ этого московскаго милліонщика? Вы согласитесь, что я не могъ же смотрѣть равнодушно на такіе... маневры...

Онъ былъ радъ подвернувшемуся слушателю, вытянулъ одну ногу и облокотился о нее ладонями.

— Маневры... маменьки?—подсказалъ Грубинъ.

— Совершенно вѣрно!.. Вы понимаете... Какъ можетъ порядочный человѣкъ не чувствовать обиды?

Князь обернулся къ Грубину всѣмъ лицомъ, и его грузинскіе длинные глаза ласково оглянули его.

— Мы мало знакомы, *monsieur* Грубинъ... Но я не вижу причинъ скрывать мое намѣреніе. Оно извѣстно и ей родителямъ.

Онъ говорилъ о „ней“, не считая нужнымъ называть Марусю по имени и отчеству. Излишняя сдержанность была бы съ нимъ неумѣстна.

Но Грубина тутъ только схватило за сердце то, что, вѣдь, грузинъ мѣтитъ въ женихи, что, вѣроятно, онъ уже дѣлалъ предложеніе и Любовь Ѳедоровна проводитъ его, а сама Маруся ведетъ себя такъ, точно это до нея не касается... И теперь онъ, видимо, доволенъ. Стадо...

Досказывать свои доводы Грубинъ испугался.

— Вы знаете, кто мнѣ все растолковалъ?—еще веселѣе спросилъ князь.—Старикъ Дынинъ. Онъ, вѣдь, давнымъ-давно знакомъ съ *madame* Аксамитовой. Генералъ былъ всегда большой ходокъ по женской части. У-у, какой! На женщинъ прожилъ половину состоянія... Не трудно быть опытиѣ насъ въ такіе годы. Онъ мнѣ все и выложилъ, понимаете, какъ въ алгебрѣ: *a plus be...* *Madame* Аксамитова начала, должно-быть, замѣчать, что Тараевъ уходитъ отъ нея. Она и употребила свой маневръ... Диверсію такую, — князь сдержанно засмѣялся, — не заинтересуется ли онъ ея дочерью?.. Только бы онъ, понимаете, былъ тутъ, не увлекался бы кѣмъ-нибудь на сторонѣ... Это очень тонко, не правда ли?

— Тонко,—подтвердилъ Грубинъ, чувствуя, какъ у него застучало въ вискахъ.

— Но *mademoiselle Marie* нисколько въ такой диверсіи не участвуетъ. Мнѣ могло показаться, понимаете. И я уже вижу... вотъ сейчасъ у нихъ, за завтракомъ, что все попрежнему... Милліонщикомъ *шатап* опять овладѣла... И пускай ее!..

Князь бросилъ окурокъ и коснулся правою рукою до кофѣнъ Грубина.

— Такой барышни, какъ *mademoiselle Marie*, нѣтъ во всемъ Петербургѣ. Надо заслужить ея... расположеніе,—я это знаю и чувствую. Очень хорошо понимаю, она ум-

нѣе и образованнѣе меня... Такой нѣтъ!—вырвалось у него страстною ноткой.

— И вы... надѣетесь?—чуть слышно спросилъ Грубинъ.

— Я былъ обнадеженъ... Матап вела себя очень тонко. Какъ будто ничему не мѣшала... Но, между тѣмъ, она хотѣла выиграть время и навести справки.., насчетъ моихъ средствъ... А теперь она ихъ имѣетъ,—я это вижу... У насъ, русскихъ, есть такіе предрасудки: если князь... изъ Закавказья—значить, хвастунъ и голъ, какъ соколъ... Но не всѣ такіе.

Онъ повелъ на особый ладъ шеей и досталъ опять часы.

— Заговорился съ вами... Извините. Поплатное дѣло, это все между нами. Но, какъ я вамъ сейчасъ сказалъ, все обстоитъ благополучно. Мы увидимся... тамъ?

Онъ пожалъ Грубину руку крѣико, но почтительно, сдѣлавъ подъ козырекъ, добѣжалъ до дерева, вскочилъ на велосипедъ съ легкостью джигита и покатилъ къ городу, взбывая небольшія брызги пыли, запекшейся отъ полнанаія.

Грубинъ сидѣлъ какъ парализованный и недвижно глядѣлъ ему вслѣдъ.

### XXXVI.

Голубецъ стоялъ передъ нимъ посрединѣ своего обширнаго кабинета, обвѣшаннаго плоховатыми картинами и большими фотографіями съ картинъ.

На немъ была домашняя, песочнаго цвѣта, куртка съ шелковыми отворотами и батистовый галстукъ, концы котораго висѣли надъ кожанымъ кушакомъ шароваръ.

Дома онъ позволялъ себѣ одѣваться очень молодежью и съ отгѣнкомъ фривольности.

— Спасибо, другъ, что завернулъ... Садись. Хочешь дружку марсалы?

Всѣмъ своимъ тономъ Валерій Ивановичъ какъ бы хотѣлъ показать ему, что не въ претензіи на него за неумѣстное приставаніе въ Царскомъ насчетъ прошлаго чета Аксамитовыхъ.

Визитъ Грубина онъ приписывалъ желанію загладить это, благодарности за товарищеское поведеніе и признаніе его испытанной порядочности.

Грубинъ поѣхалъ въ Петербургъ, на квартиру Валерія Ивановича, желая во что бы то ни стало узнать что-ни-

будь вѣрное о судьбѣ Маруси, воспользоваться положеніемъ Голубца, какъ своего человѣка у Аксамитовыхъ, и фактически позондировать почву. Если нужно будетъ, — онъ допускалъ и это, — онъ попросить его узнать, какъ Любовь Ѳедоровна относится къ нему.

— Такъ рюмку марсалы и бисквитовъ съ солью... по-французски?.. Чайкинъ! — крикнулъ онъ въ дверь носовою длинною нотой, — подай марсалы!

Лакея своего онъ звалъ по фамиліи.

Грубинъ сѣлъ въ глубокое кресло, гдѣ ему сейчасъ же стало очень жарко.

— Ты гдѣ же побывалъ? — спросилъ онъ, чтобы не сразу начинать.

— Гдѣ я не былъ, скажи лучше. До Закавказья доѣзжалъ... Былъ и въ Ростовѣ. И все это въ три недѣли, какъ видишь.

Слово „Закавказье“ вызвало тотчасъ же въ памяти Грубина весь разговоръ съ княземъ Юшадзе.

— Что жъ... ты не встрѣчалъ ли родныхъ... того... претендента на руку Маруси Аксамитовой? — выговорилъ онъ умышленно небрежно.

— И это было, — уклончиво отвѣтилъ Голубецъ. — Онъ, братъ, царской крови.

— Какихъ же царей?

— Мингрельскихъ, что ли, или имеретинскихъ... ужъ не знаю. Но царской крови, несомнѣнно.

Вино и бисквиты внесъ лакей съ наружностью франтоватаго приказчика-апраксинца.

— Поставь сюда, на столикъ, и ступай.

Свои приказанія Валерій Ивановичъ отдавалъ съ особеннымъ разнообразіемъ барскихъ интонацій.

— Отвѣдай ты мнѣ этой марсалы! Единственная во всемъ Петербургѣ... Мнѣ въ подарокъ прислалъ одинъ островитянинъ... Находится въ родствѣ съ домомъ Ингэмъ. Это первая фирма... тамъ, въ Сициліи.

„Ну, разумѣется, какъ можетъ быть иначе!“ — хотѣлъ вслухъ выговорить Грубинъ и удержался.

Они серьезно чокнулись.

Грубинъ сидѣлъ какъ бы на иголкахъ. Каковъ бы ни былъ этотъ Буффало-Билль, неужели онъ не въ состояніи будетъ понять того, какое въ его товарищѣ заговорило чувство?

Его сдерживала только неловкость передъ нимъ: про-

шелъ всего мѣсяцъ съ ихъ встрѣчи въ Дворцовомъ саду, когда Голубецъ утѣшалъ его, узнавъ про смерть жены, а онъ теперь будетъ разоблачать свою душу, рискуя натолкнуться на что-нибудь безцеремонное, вызвать въ Буффало-Биллѣ пренебрежительную усмѣшку: „такъ-то, молъ, ты носишь свой трауръ!“

Но разговоръ о князѣ Юшадзе придалъ ему бодрости.

— Послушай,—началъ онъ гораздо строже,—что жъ онъ, женихъ, что ли?

— Чей?

— Марьи Орестовны?

— Я не знаю, душа моя... Кажется, ничего еще не рѣшено... Онъ одинъ изъ претендентовъ,—не больше.

— Валерій Ивановичъ!.. Сдѣлай милость, не бери ты со мной такого тона, какъ тогда, у меня, въ Царскомъ. Я сталъ тебя расспрашивать о четѣ Аксамитовыхъ... быть-можетъ, слишкомъ настоятельно... Ты не хотѣлъ быть вѣскромнымъ. Это твое дѣло, и ты былъ, по-своему, правъ... Но пойми, что тутъ дѣло идетъ о дѣвушкѣ, которая для меня...

Онъ смутился, не докончилъ и сталъ отхлебывать изъ рюмки.

Голубецъ стоялъ передъ нимъ, покачиваясь на носкахъ своихъ туфель.

— Владиміръ Павловичъ... я тебя не понимаю, душа моя.

— Чего жъ тутъ не понимать?

Грубинъ поставилъ рюмку и порывисто всталъ.

— И тогда, любезный другъ, въ Царскомъ, ты долженъ былъ видѣть, что во мнѣ говорило не пошлое любопытство. Я не сплетникъ и копаться въ грязи не привыкъ. Ты можешь быть своимъ человѣкомъ въ домѣ... Но когда дѣло идетъ о судьбѣ такой дѣвушки, какъ Марья Орестовна, нечего драпироваться въ джентльменство! Если ты ничего не замѣчаешь, тѣмъ хуже для тебя. Возмутительно видѣть, что должна испытывать такая дѣвушка. Довольно и того, какъ она тайно страдаетъ за своихъ рара и татам!.. Не можешь ты не видѣть и того, что ее толкаютъ въ замужество, равняющееся продажѣ... Этотъ Тараевъ... Эти маневры матери... Все это такъ гнусно...

На жестъ Голубца Грубинъ крикнулъ:

— Я своихъ словъ назадъ не возьму! И на дуэль съ

тобой за честь Любови Федоровны Аксамитовой и ее супруга выходить не стану,—слышишь?

— Слышу, — повторилъ Голубецъ, обдернувъ свою ту-журку съ отворотами.—Но къ чему все это, мой милый?.. Если я тебя понимаю, ты полюбилъ Марусю... Немного быстро, но чувство не знаетъ сроковъ...

— Уволь меня отъ твоихъ разсужденій! — перебилъ Грубинъ, и почти упалъ въ кресло.

— Погоди, погоди,—Голубецъ присѣлъ къ нему и положилъ ладонь на его колѣно.—Къ чему всѣ эти выходки, Владиміръ Павловичъ?.. Я умѣю цѣнить всякое чувство... И въ тебѣ оно понятно... Ты осиротѣлъ... потерялъ все. Въ тебѣ жажда симпатіи... Одиночество... И такая особа, какъ Марья Орестовна... Если такъ, въ чемъ же дѣло? Твои намѣренія могутъ быть только серьезныя... Маруса, кажется... очень къ тебѣ благоводитъ... Я это уже замѣтилъ...

— Замѣтилъ?—вырвалось у Грубина.

— Замѣтилъ. — Голубецъ, повторяя слово, сжалъ губы на особый ладъ.—Отцу ты очень нравишься, Любовь Федоровна съ интересомъ о тебѣ разспрашиваетъ. Тебя беззаконятъ тѣ два претендента. Насчетъ Тараева,—онъ тонко усмѣхнулся,—ты, душа моя, грубо ошибаешься. Это, братъ, совсѣмъ изъ другого романа... Тотъ, восточникъ, сильно пылаетъ... Но сама Маруса равнодушна, это ясно, какъ Божій день... Она изъ тѣхъ дѣвицъ, которымъ нравятся скорѣе люди нашихъ лѣтъ. Но, признаться, я бы не рѣшился... Я боюсь этихъ загадочныхъ натуръ...

Отъ успокоительныхъ словъ Грубинъ размякнулъ. Его гнѣвное возбужденіе прошло. Онъ сидѣлъ съ опущенною головой. Тонъ Голубца дышалъ житейскою банальностью, но слова его врядъ ли вздоръ, какъ его обычное хвастовство. Развѣ Марусѣ нравятся грузинъ? Но не въ ней самой сидитъ зло. Надъ ея волей тяготѣетъ другая воля,—той сорокалѣтней красавицы съ бархатными глазами и бархатною властною лапой.

— Марью Орестовну надо спасти!—вполголоса выговорилъ онъ.

— Спаси! Отъ чего? Что ты, Владиміръ Павловичъ? Точно изъ плохой мелодрамы. Кто же тебѣ мѣшаетъ дѣйствовать, скажи на милость? Разумѣется, надо заручиться словомъ Любови Федоровны, это такъ. Но почему же тебѣ дрефить? Ты хорошей фамиліи... со средствами... И Лю-



бовъ Ѳедоровну я не считаю способною отдать дочь противъ воли за кого бы то ни было.

Голубецъ нагнулся надъ нимъ и, товарищески потрепавъ его по плечу, шепнулъ:

— Хочешь... я сдѣлаю развѣдки около татап, а?

„Сдѣлай“,—хотѣлъ было шепнуть въ отвѣтъ Грубинъ, но тотчасъ испугался, вскочилъ съ кресла и крикнулъ:

— Не надо, не надо! Никакихъ переговоровъ! Никакого сватовства!

И, не подавъ хозяину руки, Грубинъ выбѣжалъ изъ кабинета, весь охваченный стыдомъ за все это изліяніе Буффало-Биллю.

### XXXVII.

Желтая викторія, запряженная одною лошаdkой-пони, тихо проѣзжала по широкой липовой аллеѣ Дворцоваго сада.

Сзади сидѣлъ грумъ. Дама, подъ широкою соломенною шляпой, правила. Рядомъ съ нею темнѣла мужская сухощавая спина.

Дама остановила лошадь, поклонилась и сдѣлала кому-то знакъ рукой въ боковую аллею для пѣшеходовъ.

— Здравствуйте!—звонко и ласково пустила она.

На скамьѣ сидѣлъ съ газетой Грубинъ. Онъ поднялъ голову и тотчасъ же всталъ.

Его окликнула Любовь Ѳедоровна. Съ нею катался Тараевъ.

Эту встрѣчу точно кто-то нарочно подготовилъ для него. Со вчерашней поѣздки въ Петербургъ, къ Голубцу, онъ не находилъ себѣ мѣста. Планы дѣйствія, одинъ другого смѣлѣе и невыполнимѣе, чередовались въ его головѣ. Онъ часть ночи писалъ огромное письмо Марусѣ, и на разсвѣтъ разорвалъ его. Объясненіе съ отцомъ представлялось самымъ исполнимымъ и пріятнымъ, но это ни къ чему не поведетъ. Орестъ Юрьевичъ—страдательное лицо... Вызвать Любовь Ѳедоровну на разговоръ онъ рѣшался, но чувствовалъ, что не выдержитъ тона, да и съ чего началъ бы онъ такое объясненіе? Не съ формальной же просьбы о рукѣ ея дочери!

Тогда онъ уподобился бы самому банальному жениху. Не зная, какъ она на него смотритъ, являться претендентомъ... Маруся пожелала сблизиться съ нимъ... Но какъ? Ни одного звука не схватилъ онъ у ней, въ ихъ

задушевныхъ бесѣдахъ, гдѣ бы сказалось чувство, похожее на интересъ къ мужчине... Да и что онъ сдѣлалъ, чтобы привлечь ее? Отъ нея самой должно идти рѣшеніе... Въ ней надо возродить силу для борьбы съ тѣмъ идоломъ, о которомъ она сама говорила... И во имя чего?

Онъ скорымъ шагомъ подходилъ къ викторіи.

— Здравствуйте! — еще разъ оклинула Любовь Федоровна.

Тараевъ приподнялъ шляпу и молча улыбался ему.

— Мечтали? — спросила Аксамитова, когда Грубинъ подалъ ей руку.

— Сидѣлъ съ газетой.

— Тамъ хорошо. Мнѣ захотѣлось въ тѣнь, выйдемте здѣсь... и пройдемъ пѣшкомъ до дворца... А онъ пройдетъ туда, къ воротамъ.

Она ловко передала вожжи груму. Грубинъ помогъ ей выйти и замѣтилъ, какая у ней молодая и подѣмистая нога, когда она спускала ее на подножку экипажа.

Тараевъ слѣзъ медленно и пожалъ руку Грубину. Онъ еще болѣе горбился; но на блѣдныхъ губахъ играла усмѣшка челоуѣка, хранящаго въ душѣ тихое сознаніе самой крушной удачи. Не милліоны дали это, а другое что-то.

„Онъ опять въ ея когтяхъ, — подумалъ Грубинъ, — и вполне счастливъ“.

— Не хотите ли съ нами во дворецъ? Вотъ Алексѣй Спиридонъчъ, — Аксамитова указала на Тараева, — тащить меня смотрѣть какія-то рѣдкости. У него билетъ.

— Замѣчательныя есть вещи, — серьезно выговорилъ Тараевъ.

Они пошли всѣ трое въ рядъ. Аксамитова посрединѣ ихъ.

— Вы бывали? — спросилъ онъ Грубина.

— Нѣтъ... До сихъ поръ не собрался.

— Какъ же это? Замѣчательныя вещи, — повторилъ онъ. — Я давно собираюсь.

— А меня такъ разбираетъ всегда зѣвота, до истеріи, когда я, бывало, ходила по музеямъ... за границей. Теперь уже освободила себя отъ этой службы... Когда Маруся интересуется — ее водить отецъ.

Любовь Федоровна засмѣялась своими глазами-вишнями и обоихъ обласкала ими. Она выступала грудью впередъ, въ легкомъ, пестромъ платьѣ и разстегнутой кофточкѣ. Бѣлая, полная шея высилась могучимъ стволонъ, обна-

женная вырѣзомъ платья, безъ воротника. Отъ нея шелъ запахъ духовъ бѣлой сирени, тонкій и освѣжающій.

— Марья Орестовна здорова?—спросилъ Грубинъ.

Ничего другого у него не вышло.

— Маруся?—такъ же весело облинула Аксамитова и на ходу немного наклонила къ нему голову.—Они съ отцомъ кутятъ.

— Кутить?—переспросилъ Грубинъ.

— Уѣхали въ Петергофъ... тоже изучать. И останутся тамъ цѣлый день. Проѣдутъ въ Красное.

— Въ лагерь?

Голосъ Грубина невольно дрогнулъ.

— Да. Тамъ князь Юшадзе угощаетъ ихъ... въ ресторанѣ, противъ театра, а вечеромъ они смотрятъ какую-то новую, говорятъ, очень смѣшную пьесу и маленькій балетъ. Вернутся очень поздно и пріѣдутъ въ Царское въ коляскѣ. Я отказалась отъ всѣхъ этихъ наслаждений.

Смѣхъ, дробный и раскатистый, но сдержанный, вызвалъ на щекахъ ея по двѣ ямочки, придавшія ей изумительную молоджавость.

„Ну, да,—злобно думалъ Грубинъ,—ты все это отлично устала, пускай тамъ, въ Красномъ, молодые люди, на свободѣ, объясняются. Отецъ мѣшать не станетъ. А ты проведешь весь день съ любовникомъ, и часть ночи... Въдь тѣ вернутся не раньше, какъ на разсвѣтѣ...“

— Планъ кутежа прекрасный,—выговорилъ онъ, не поднимая на нее головы.

Это показалось ему самому слишкомъ дерзкимъ; но Любовь Федоровна не пожелала принять слова эти въ его смыслѣ.

— Знаете что, Алексѣй Спиридонычъ? — сказала она, когда они подходили къ большому дивану.—Мнѣ, право, не хочется путешествовать съ вами по заламъ. Вотъ Владиміръ Павловичъ посидитъ со мной здѣсь, въ тѣни. Я немножко даже устала. Мой попъ ужасно упрямъ и надо его было постоянно держать на мундштукѣ. Извольте отправляться одинъ... А мы положимъ насъ здѣсь.

— Какъ вамъ угодно... только, право, вы много терпите,—сказалъ Тараевъ безъ всякой тревоги.

Грубинъ почувствовалъ сейчасъ же, что къ нему онъ ревновать не думаетъ.

— Идите, идите!.. Намъ еще нужно побывать въ Ба-  
боловъ.

— Въ Баболовъ?—переспросилъ Грубинъ, и въ его памяти пронеслись минуты, проведенныя имъ послѣ перваго разговора съ Марусей.

Злобность схватила еще сильнѣе за сердце на эту безстыдную женщину: она вѣдь будетъ дѣловаться съ своимъ московскимъ набабомъ на томъ самомъ диванѣ, гдѣ онъ впервые созналъ свою любовь къ Марусѣ.

Объ уколахъ совѣсти, о винѣ своей передъ покойною женой—онъ не хотѣлъ думать.

— Да,—звонко отвѣтила Аксамитова и остановила ихъ обоихъ.—Тамъ премило. Мы тамъ немного побудемъ. Павильонъ я согласна осмотрѣть, Алексѣй Спиридонъ. А теперь ступайте! Сядьте сюда,—указала она Грубину и сѣла подлѣ.

Тараевъ поклонился все съ тою же тихою усмѣшкой.

— Я васъ найду на этомъ мѣстѣ?—спросилъ онъ.

— Или ближе къ дворцу. Около памятника Екатерины.

— Слушаю-съ.

Тихо, качающеюся походкой, удалился онъ вверхъ по аллеѣ.

Грубина продолжало томить негодующее чувство къ этой женщинѣ. И какъ она наловчилась въ нахальномъ самообладаніи! Нарочно рассказала она ему про поѣздку дочери съ отцомъ въ Петергофъ. Пускай каждый, и онъ въ томъ числѣ, знаютъ, что они проводятъ день вмѣстѣ съ Тараевымъ. А вотъ теперь одна съ нимъ—мужчиной, немного старше ея милліонера. Она—выше всего этого. Ея репутація уже не подлежитъ колебаніямъ, кого бы она ни заставляла платить многотысячную дань за свою благосклонность.

Но онъ не могъ начать съ ней разговоръ въ томъ тонѣ, какой она заслуживала, не потому только, что боязнь потерять навсегда Марусю удерживала его. И вообще не могъ бы, не будь у ней дочери; даже если бъ онъ и самъ искалъ чувственнаго сближенія съ ней, и она дала бы ему право выступить противъ нея со словами негодующей горечи.

Былъ у него товарищъ по гимназіи, пошедшій въ актеры. Въ провинціи онъ себѣ составилъ имя и дебютировалъ въ столицѣ. Тотъ рассказывалъ ему недавно про первую актрису трушны, гдѣ онъ всего больше игралъ. И та обладала секретомъ не допускать никого до другого топа, кромѣ того, какой она установила со всѣми,

отъ антрепренера до театральнаго плотника. Знаешь ее насквозь, презираешь и, все-таки, вездѣ, и на міру, и съ-глазу-на-глазъ, чувствуешь, какъ невидимая сѣтка наброшена на тебя и ты не можешь двинуть ни рукой, ни ногой, и какъ языкъ твой будетъ выговаривать слова въ условномъ, ею установленномъ, тонѣ. Она всегда и вездѣ должна оставаться первою актрисой, на спектаклѣ и на репетиціяхъ, дома и въ толпѣ сановниковъ и придворныхъ.

### XXXVIII.

Опять онъ у памятника Екатерины, на томъ самомъ диванѣ, гдѣ мѣсяцъ назадъ сидѣлъ угнетенный своимъ недавнимъ горемъ.

Могъ ли онъ предвидѣть, что выйдетъ изъ встрѣчи съ Голубцомъ, вонъ тамъ, у мостика?

Рядомъ съ нимъ женщина, совсѣмъ чужая ему, но уже врѣзавшаяся въ его жизнь. Отъ нея зависитъ повернуть ее такъ или иначе. Онъ это сознаетъ теперь ясно, безповоротно. Какое бы чувство ни успѣлъ онъ вызвать въ дѣвушкѣ, явившейся передъ нимъ впервые, въ томъ же саду,—безъ участія этой женщины, безъ ея воли и согласія ничего не будетъ.

— Дочь моя,—говорила неторопливо Любовь Федоровна, глядя на него однимъ глазомъ,—не знаетъ никогда, что ей нужно, и никогда не будетъ этого знать.

Съ первыхъ словъ она взяла такой тонъ, какимъ говорятъ съ человѣкомъ зрѣлыхъ лѣтъ, опытнымъ и понимающимъ, но и только. Не желая ничего подчеркивать, она показывала ему, что его быстрое сближеніе съ дочерью нисколько ее не смущаетъ. Онъ не можетъ завлечь „дѣвочку“, да и для нея нѣтъ никакой опасности. Маруся всегда искала дружбы съ людьми старше ея, по крайней мѣрѣ, на двадцать лѣтъ. Она—добра. Она узнала, что онъ внезапно овдовѣлъ и лишился ребенка. Сначала ей захотѣлось развлечь его, и она нашла въ немъ человѣка, способнаго понять ее, и, навѣрное, начала ему говорить про свои „порыванія и сомнѣнія“.

И, въ то же время, бархатные глаза Любови Федоровны добавляли:

„Мнѣ прекрасно извѣстно, что вы гуляли и сидѣли вдвоемъ, и у насъ въ саду, и здѣсь, и я, опять-таки, нисколько этимъ не смущалась“.

Въ ея голосѣ звучало столько увѣренности въ томъ, что она знаетъ, до послѣднихъ словъ, все, въ чемъ ея дочь могла изливаться ему.

И два раза онъ хотѣлъ прервать ее и рѣзко спросить: „И то знаете, какъ она на васъ смотритъ, какъ она страдаетъ за отца, какъ она старается и васъ, если не оправдать, то хоть понять,—и про это вы знаете?“

У него недоставало мужества, и онъ слушалъ эту женщину, постыдно подавленный ея разительнымъ превосходствомъ, силой сознающаго себя и торжествующаго порока.

— Почему же? — выговорилъ онъ на ея послѣднюю фразу о Марусѣ.

— Почему, Владиміръ Павловичъ? Такая у нея натура. Я не вмѣшивалась, не задерживала ее никогда... И не баловала, и ни въ чемъ не льстила ей. Можетъ-быть, на душѣ моего мужа есть грѣхъ, онъ всегда былъ влюбленъ въ свою дочь, — и слово „свою“ она чуть замѣтно отгѣнила.—Страшное самолюбіе грызетъ всѣхъ такихъ дѣвушекъ... Воображаютъ себя геніями, а выдержки нѣтъ. И въ девятнадцать лѣтъ онѣ—старушки. Нечѣмъ любить...

— Какъ знать?—обронилъ Грубинъ.

— Я знаю,—протянула Аксамитова и повернулась къ нему всѣмъ лицомъ. — Я знаю, — повторила она безъ зазора, съ тихою улыбкой и съ нѣжнымъ румянцемъ на твердыхъ щекахъ.

Грубинъ невольно оглянулъ ее и изумился: вѣдь съ нимъ говоритъ мать взрослой дѣвицы, и сама она такъ „подло-свѣжа“,—выразился онъ мысленно,—съ такимъ блескомъ въ глазахъ, съ этою мраморною шеей и ямочками на блѣдно-розовыхъ щекахъ, чуть-чуть загорѣлыхъ.

— Марусѣ на-дняхъ минуло двадцать, — продолжала она, небрежно выговаривая эту цифру.—Черезъ годъ она уже будетъ дѣвица на возрастъ. Правда, она мало еще выѣзжала. И это всегда выгодно для дѣвушки. Но ждать ей нечего,—добавила она вдумчивѣе и опустила слегка подведенныя рѣсницы.—Если на нее и налетитъ страсть, то гораздо позднѣе... можетъ-быть, къ тридцати годамъ, если не будетъ дѣтей.

— Стало, надо пристроиться? — вырвалось у Грубина.

— Ея талантамъ я никогда не становилась поперекъ дороги. Кто же мѣшалъ? Будь у ней дарованіе... такое... европейское... Добейся она имени... какъ поэтесса... или

на сценѣ... какъ пѣвица... даже какъ актриса... я бы не стала препятствовать, увѣряю васъ. Но вѣдь на цѣлое столѣтіе всего двѣ женщины-писательницы—Жоржъ Зандъ и Джоржъ Эллиотъ—онѣ только добились славы. И всего одна Патти и одна Сара Бернаръ. Правда? И одна Дузе?..

Грубинъ промолчалъ.

Невидимая сѣтка все еще опутывала его. Не могъ онъ рвануться и сбросить ее. И будь онъ увѣренъ въ томъ, что Маруся способна полюбить его, не захотѣлъ бы онъ и тогда говорить о своемъ чувствѣ съ этою женщиной, не сталъ бы онъ осквернять ихъ любовь прикосновеніемъ къ житейской мудрости этой уравновѣшенной гетеры.

И, въ то же время, онъ распознавалъ въ ея тонѣ заботу о Марусѣ, мягкость и терпимость женщины, думающей и о томъ, какъ бы устроить судьбу своего птенца всего разумнѣе и прочнѣе.

— Вашъ пріятель, Валерій Ивановичъ, очень милый,—сказала Любовь Федоровна, переходя въ нѣсколько иной тонъ.

„Неужели онъ проболтался?“ — съ ужасомъ подумалъ Грубинъ; но тутъ же успокоилъ себя: у того не было времени, да и врядъ ли бы Голубецъ пошелъ на это послѣ ихъ разговора.

— Очень милый... Вы, кажется, смотрите на него такъ... немножко свысока? Онъ, правда, увлекается своими фантазіями... когда говоритъ объ охотѣ. Зато до-нельзя услужливъ и чрезвычайно порядоченъ въ дѣлахъ. Ему можно поручить что угодно.

„Знаю, что онъ твой фактотумъ“, — подумалъ Грубинъ, подавляя въ себѣ желаніе сказать что-нибудь бѣдное.

Но онъ еще не понималъ, куда она клонить рѣчь.

— Поѣхалъ, по своимъ дѣламъ, на Донъ, и оттуда, чтобы только угодить мнѣ, облетѣлъ чуть не все Закавказье.

— Что жъ... развѣдки дѣлалъ... для концессіи?—спросилъ Грубинъ.

— Нѣтъ! Я такими дѣлами не занимаюсь, Владиміръ Павловичъ... Онъ привезъ мнѣ очень обстоятельныя свѣдѣнія...

— О князѣ Юшадзе?

— Вы это знаете?

— Онъ мнѣ говорилъ на-дняхъ, что князь царской крови...

— Да. Это не особенно важно... Они всё тамъ, болѣе и менѣе, царской крови. Но его матеріальное положеніе... У него, въ ближайшемъ будущемъ, права на огромныя владѣнія... Чуть не цѣлое княжество. Однихъ виноградниковъ на десятки верстъ!

Грубинъ съ косою усмѣшкой поглядѣлъ на нее и спросилъ:

— Вамъ было необходимо знать, Любовь Ѳедоровна?

Она немного наклонилась къ нему.

— Вѣдь вы видите, конечно, — заговорила она, точно съ пожилымъ другомъ дома, — какъ этотъ бѣдный князь мучится... И адски ревнуетъ ко всѣмъ... и къ вамъ, пожалуй! Нужды нѣтъ, что онъ молодъ. Но онъ не мальчикъ. Ему двадцать пять лѣтъ. Такой человѣкъ, не очень дальній, но способный на преданность, вѣрный себѣ, выше всего... Это залогъ счастья... Онъ будетъ всегда влюбленъ въ женщину, а не въ ея положеніе, не въ ея богатства. Да Маруся моя и не богата совсѣмъ.

„Ты клеветашь на твою дочь, — клокотало въ груди Грубина. — Она не продастъ себя! Безъ любви она не выйдетъ за этого грузина, хотя бы у него было сто тысячъ овецъ и пятьсотъ десятинъ виноградниковъ“.

Но онъ не перебивалъ ея.

— По службѣ онъ пойдетъ не блестяще, но, навѣрное, ему дадутъ вензеля. Когда состояніе перейдетъ все къ нему, можетъ выйти въ отставку... У Маруси здоровье слабое. Выстроить себѣ два замка... одинъ — въ горахъ, тамъ, у себя, другой — на Ривьерѣ.

Глаза ея мечтательно ушли вдаль. Пышный ротъ былъ полураскрытъ.

— И все это... такъ, безъ малѣйшей любви?

Грубинъ съ усиліемъ выговаривалъ. Губы его начали вздрагивать.

— Я уже вамъ сказала, что ей пока нечѣмъ любить. Никто ее не захватилъ, да и врядъ ли когда захватить. Я не знаю, что она ему отвѣтитъ, когда онъ станетъ рѣшительно говорить съ ней... Вы не бойтесь, Владиміръ Павловичъ, насильно мы дочь свою не выдадимъ... Отецъ всегда передъ ней на заднихъ лапкахъ, да и я позволяю, въ сущности, все, что ей только придетъ на умъ.

Когда смолкло послѣднее слово Аксамитовой, Грубинъ весь встрепенулся.

Его стремительно потянуло къ Марусѣ, сейчасъ же: ки-



нутъся къ ней, умолять ее, вызвать въ ней откликъ сердцу, гдѣ трепетало влеченіе къ молодому существу, полному тайной и чарующей прелести... Спасти ее!..

Сверху, отъ дворца, приближалась къ нимъ колышущаяся тѣнь Тараева.

### XXXIX.

На каменной галлерей, у озера, въ десятомъ часу, видѣлась только одна темная фигура. Кругомъ было совсѣмъ пусто и тихо. Сумерки еще не перешли въ бѣлую ночь. Изъ-за деревьевъ выглядывалъ блѣдный обликъ луны.

Полчаса Грубинъ ходитъ взадъ и впередъ по этой галлерей и выглядываетъ то вправо, то влѣво, ища кого-то глазами на дорожкахъ, ведущихъ къ лѣстницамъ съ обѣихъ сторонъ.

Вчера онъ послалъ письмо Марусѣ съ посыльнымъ желѣзной дороги, не спрашивая себя: попадетъ ли оно прямо ей въ руки? Онъ былъ увѣренъ, что попадетъ, хотя онъ не давалъ никакихъ особенныхъ объясненій посыльному, сказалъ ему только: „письмо—барышнѣ, а не барынѣ“.

И онъ получилъ на него отвѣтъ сегодня днемъ, отвѣтъ въ одну строку: „Буду сегодня, около девяти, у галлерей“.

Онъ самъ умолялъ ее придти къ этому мѣсту Дворцоваго сада.

Первое письмо, набросанное имъ поздно ночью, онъ уничтожилъ. Оно было въ два полныхъ листа. Въ немъ, впервые, онъ говорилъ ей языкомъ страсти, заклиналъ не губить себя, просилъ, какъ милостыни, свиданія, гдѣ будетъ рѣшена и его судьба. Онъ не смѣлъ произнести слово „люблю“, но каждая строка выдавала его.

Къ разсвѣту онъ заснулъ и когда, утромъ, перечелъ письмо, оно его ужаснуло.

Какъ смѣлъ онъ говорить о своей любви?.. Гдѣ набрался онъ дерзости и самомнѣнія, чтобы вызывать дѣвушку, имѣвшую съ нимъ два-три разговора только о *своей* интимной жизни,—на что?—на рѣшеніе не одной его участи, но и ея собственной?

Въ мелкіе куски разорвалъ онъ письмо и, послѣ долгихъ исканій настоящаго тона, свободнаго отъ всякихъ личныхъ домогательствъ, онъ написалъ другое, короче. Онъ выплакалъ свою скорбь надъ нею, надъ ея душой, обреченной на жизнь, гдѣ все—ложь, хищничество, суетность и продажность. Онъ не употребилъ этого слова, но

она сама уже знаетъ, видить на примѣрѣ матери, какъ легко втянуться въ торговлю собою и какъ, при умѣ и красотѣ, не трудно хоронить концы, держаться на высотѣ блестящаго свѣтскаго положенія.

Что за нужда? Онъ обманывалъ себя, въ немъ самомъ кипѣла страсть, быть-можетъ, запоздалая и гибельная для него! Но предмету этой страсти онъ не лгалъ. Онъ самоотверженно взывалъ къ ея душѣ, предлагалъ всего себя не въ руководители, а въ помощники, въ слуги, въ заговорщики противъ общаго врага.

И вчера, когда онъ запечаталъ и послалъ письмо, и теперь, ходя по галлерей, Грубинъ все такъ же вѣрилъ въ то, что Маруся не можетъ быть, по духу, дочерью Любови Федоровны Аксамитовой. Не хочетъ онъ признавать, что ей „нечѣмъ любить“. Но пускай сердце ея молчитъ и долго будетъ молчать, — съ такимъ чувствомъ правды, съ безпощаднымъ анализомъ всего, что вокругъ нея дѣлается, съ такою строгостью къ самой себѣ, она должна быть готовой къ разрыву съ ея теперешнею жизнью.

За границей—въ Англіи, въ Германіи, во Франціи—дѣвушка, будь она и геніальнаго ума, скована тисками быта. Тамъ немыслимо, чтобы великосвѣтская родовитая барышня очутилась въ ряду трудовыхъ дѣвушекъ, порвала со всѣмъ во имя идеи... Одинъ только монастырь мыслимъ для нея.

Но у пась?

Его память докладывала ему десятки случаевъ... Дочери сановниковъ шли въ народъ, до послѣдняго глотка воздуха, гордо и пылко исповѣдывали свою новую вѣру.

Полчаса прошли для него на галлерей въ лихорадкѣ ожиданія и въ безпрестанномъ замираніи сердца, когда справа и слѣва ему чудилось приближеніе женскаго облика.

Онъ не зналъ, съ чего онъ начнетъ свой разговоръ, какъ оправдаетъ этотъ вызовъ на свиданіе въ вечерній часъ. Вырвется ли у него воля страсти, или онъ подавитъ его и будетъ умолять только ее не губить себя?

Безпрестанно отгонялъ онъ отъ себя мечту о возможности нѣжнаго чувства къ нему. И, все-таки, внутри его шевелилась надежда на что-то. Онъ зналъ, что эта встрѣча все рѣшить. Иначе не могло быть. Онъ слишкомъ настрадался.

Взглядъ вправо схватилъ колеблющуюся тѣнь. Стройный женскій станъ отдѣлился отъ купы кустовъ.

Ноги дрогнули у Грубина. Онъ долженъ былъ прислониться къ балюстрадѣ, почти сѣсть на нее. У него не достало силы побѣжать навстрѣчу, спуститься по лѣстницѣ.

Маруся немного ускорила шагъ, одѣтая, какъ въ тотъ вечеръ, когда онъ увидалъ ее въ Павловскѣ. Она опиралась на высокую палку зонтика.

Они встрѣтились на самой галлерей.

Отъ скорой ходьбы и подъема по лѣстницѣ она запыхалась.

— Простите!—прошепталъ онъ.

Она пожала ему руку, какъ всегда, очень крѣпко.

Въ глазахъ ея промелькнуло еще небывалое выраженіе.

Маруся поняла, что страсть заставила его писать ей, и взглядомъ своимъ какъ будто хотѣла о чемъ-то предупредить его, въ чемъ-то утѣшить. Такой мягкости въ этихъ умныхъ и глубокихъ глазахъ онъ еще ни разу не подмѣчалъ.

Но это его такъ смутило, что онъ только повторялъ:

— Простите!

Они стали оба, прислонившись къ балюстрадѣ. Кругомъ—садъ былъ все такъ же тихъ и пустъ.

— Вы знаете, какъ я попала сюда?—спросила Маруся, опустивъ глаза, но почти весело. — Наши собрались сегодня на вечеръ... въ Царскомъ... на garden-party. Я передъ обѣдомъ сказала, что мнѣ нездоровится. За обѣдомъ я просила меня не ждать, и если мнѣ будетъ легче, я приду пѣшкомъ, попозднѣе. И все такъ и сдѣлалось... Человѣка я оставила тамъ, у пристани...

Тутъ она подняла на него глаза и посмотрѣла все съ тѣмъ же новымъ выраженіемъ мягкости и успокоенія.

— Мое письмо дошло до васъ прямо?

— Моихъ писемъ никто не касается. Да и никому оно и не могло попасть въ руки.

— Марья Орестовна!.. Не считайте меня безумцемъ,— началъ Грубинъ, и голосъ его вздрагивалъ почти на каждомъ словѣ.

— Почему безумцемъ?

— Вы вѣрите чистотѣ моихъ побужденій?

— Очень. Но вы, кажется, испугались за меня прежде времени. Съ вами говорила мать моя...

— Вы знаете объ этомъ?

— Знаю... О содержаніи разговора догадываюсь... Пойдемте... туда... въ садъ... Мы здѣсь слишкомъ на виду.

Они спустились къ сторонѣ, противоположной той, откуда пришла Маруся.

— Со мною,—сказала Маруся, замедля шагъ,—ничего еще не произошло такого... ужаснаго. — Маруся приостановилась. — Вы боитесь, что меня... какъ это сказать... обойдутъ? Такъ вѣдь говорится по-русски?

— Вы можете шутить...

Грубинъ не досказалъ и повелъ ее дальше. Въ груди его заняла боязнь сразу испортить все. Тревога возростала въ немъ и еще какое-то ѣдкое чувство. Спокойный и полунасмѣшливый тонъ Маруси вызывалъ это.

— Вы думаете, князь Юшадзе сдѣлалъ мнѣ предложеніе?.. И меня толкаютъ въ его объятія?—выговорила она почти дурачливо. — Онъ очень не рѣчистъ... бѣдный князь... Правда, онъ много разъ начиналъ объясняться... И ему кажется, вѣроятно, что отвѣтъ за мною.

— Не въ князѣ тутъ дѣло, Марья Орестовна,—порывисто перебилъ Грубинъ, болѣе не владея собой. — Вы дошли до самаго края...

— Бездны?—все тѣмъ же спокойнымъ и слегка смѣющимся тономъ спросила Маруся.

— Выслушайте меня... Пойдемте... Умоляю васъ...

Онъ взялъ ее подъ руку и увлекалъ, самъ не зная куда, влѣво, по дорожкѣ, дѣлавшей частые повороты.

## XL.

Отъ окружающихъ деревьевъ шла густѣющая тѣнь, и только, съ одного края, бѣлая полоса неба проникала на площадку, гдѣ ропотъ струи, падавшей въ бассейнъ, нарушалъ ночную тишь.

Они сидѣли у источника желѣзистой воды, съ бронзовой статуей дѣвы, разбившей сосудъ.

Раздѣльно звучалъ голосъ Маруси, какъ будто она сдерживала слезы: но слезъ не было на рѣсницахъ. Она низко наклонила голову и шляпа почти скрывала ее лицо.

— Не могу я бороться,—доносились до него ея слова. — Не могу. Куда я пойду?.. Она была права, когда говорила вамъ... Она знаетъ лучше меня самой... Никакой тутъ не было клеветы на меня... Отецъ преклонялся передо мной и до сихъ поръ вѣритъ въ мою гениальность... Простого таланта, но настоящаго — и того во мнѣ нѣтъ! Одна дорога передо мною — все та же!

— Какая? — спросилъ Грубинъ. — Партія? Отдать всю

себя—безъ любви, за титулъ, за состояніе... ничтожному офицеру... грузинскому князьку?.. Марья Орестовна!.. Вы знаете, какъ это называется?..

— Знаю!.. Вы скажете, это—продать себя?.. Слушайте, Грубинъ... Мы съ вами говоримъ въ послѣдній разъ... обо мнѣ, по крайней мѣрѣ. Не надо больше откровенностей. Но слушайте... Я ея дочь, поймите вы меня,—ея, настоящая, со всѣми ея инстинктами...

— Вы?!..

— Да, да... не перебивайте. Это не глупая выдумка, что теперь вы находите и въ плохихъ романахъ... Это—законъ природы. Свою волю, желѣзный характеръ она мнѣ не передала, но другое, фатальное... Я буду такая, какъ она. Эта мысль преслѣдуетъ меня второй годъ. А кончить съ собою нѣтъ храбрости... Я могла бы сказать кому-нибудь... вамъ, напимѣръ: „застрѣлите меня!“—но я этого не скажу... Ядъ уже вошелъ въ меня... Это не фраза. Я не рисуюсь и не люблю театральныхъ эффектовъ. Ядъ, по наслѣдству, въ родѣ болѣзни... Вѣдь, не всѣ застрѣливаются отъ неизлѣчимыхъ болѣзней, а мучатся, презираютъ себя—и живутъ. И я буду жить, какъ она жила и живетъ. Много-много денегъ, салонъ въ Парижѣ, вила на Ривьерѣ, рулетка въ Монте-Карло, лошади, брильянты, съ каждымъ годомъ все новыя и новыя фантазіи. Она права, тысячу разъ права: мнѣ надо... поскорѣе начать; а начало—партія... Другого нѣтъ на очереди. Своего набаба она мнѣ не уступить. Онъ ей самой нуженъ, у него слишкомъ много свободныхъ милліоновъ... Да и какое же это имя—madame Тараева? Но вы думаете, что я уйду отъ нея, разъ надѣну на себя наголку и буду княгиней Юшадзе? Никогда!.. Никогда не уйду. Она будетъ мягко, чуть замѣтно направлять. Ея умъ, адское знаніе людей и жизни, жадный инстинктъ, какъ бы мнѣ выразиться... *la domination de la chair*, — все это въ ней не умретъ до самой смерти... Состарится, потеряетъ красоту; но и тогда сила будетъ въ ея рукахъ. Она меня изъ нихъ не выпуститъ... въ лицѣ своей родной дочери продлитъ свое дѣло...

Голосъ Маруси оборвался. Она сдѣлала движеніе головой, скорбное, почти отчаянное.

Грубинъ захолодѣлъ. Слова любви, мольбы о счастьи не сходили съ устъ. Что-то, никогда ему невѣдомое, было у него на сердцѣ, точно онъ стоялъ на краю могильной

ямы и туда бросаютъ безъ пощады, съ ужасающимъ безстыдствомъ, всю святыню его души и плюютъ на нее, плюютъ...

— *C'est du cynisme, n'est-ce pas?* — громче спросила Маруся, подняла голову и поглядѣла на него. — То, что я вамъ сказала?.. Это—только правда... И вѣрьте, каждая дѣвушка двадцати лѣтъ, изъ того міра, гдѣ я родилась и воспиталась, все знаетъ и видитъ... И если она смотритъ наивностью—она лжетъ; да нынче и нѣтъ такихъ въ нашемъ обществѣ, ни здѣсь, ни за границей. Мы друзья, я и не хотѣла вамъ лгать. Только дружба-то моя... нелѣпая! Я знаю это... Одиѣ, какъ я, сознательно идутъ... вы сами видите на что; другія — обманываютъ себя и кончаютъ тѣмъ же... И нельзя уйти, нельзя, слышите ли вы?.. Даже любовь, страсть не спасутъ... Придетъ минута... *Le coup de foudre*... Кого подставить судьба?.. *Un bellâtre quelconque!*.. Теноръ или торреадоръ... Все, все возможно! А жадность къ высокой жизни—вѣдь, это переводъ словъ *high-life*? — все будетъ глотать... до самой смерти, вмѣстѣ съ презрѣніемъ къ себѣ... Тѣ, у кого совѣсть совсѣмъ умерла—счастливицы!..

Она откинула голову назадъ и поглядѣла, кажется, въ первый разъ на бронзовую статую дѣвы съ разбитымъ сосудомъ.

— Грубинъ, — окликнула она, — вѣдь, это та статуя... У Пушкина есть на нее стихи. Мнѣ вашъ пріятель Голубецъ говорилъ, что вы всего Пушкина знаете наизусть. Скажите мнѣ какую-нибудь... элегію... Хорошую, очень хорошую, чтобы забыть все... Пожалуйста!

— Элегію?—машинально повторилъ Грубинъ.

И сейчасъ же стихи зазвучали у него въ головѣ. Онъ медленно началъ:

„Для береговъ отчизны дальной,  
Ты покидала край чужой...“

— Да, да!.. Это чудесно!—прошептала Маруся.

„Въ часъ незабвенный, въ часъ печальный,  
Я долго плакала надъ тобой!..“

Грубинъ не могъ продолжать. Голосъ оборвался на плачущей нотѣ. Онъ зарыдалъ глухо, жалобно, опустил на колѣни и голова его упала на складку ея платья.

Маруся протянула къ нему руки. Онъ схватилъ и сталъ порывисто, безъ счету, цѣловать. Его вздрагивающія губы силились выговорить:

— Сжальтесь!.. Простите!.. Потерять васъ... Лучше смерть! И себя не губите... Для любви все возможно... Дорогая!

Она не вырывала своихъ рукъ, блѣдная и трепетная.

Когда смолкнулъ новый приступъ глухихъ рыданій Грубина, Маруся проговорила еще рѣже и тише:

— Мнѣ нечѣмъ любить; она права, Грубинъ... Вамъ связать свою судьбу съ моею... это идти на позоръ! Я виновата передъ вами, довела васъ вотъ до чего... Но я не завлекала васъ... Нѣтъ! И все-таки такъ вышло... Оттого, что у меня тамъ, внутри—ея кровь и ее мозгъ... все ее, а не мое собственное... Сядьте, пожалуйста.

Онъ послушно приподнялся и сѣлъ рядомъ съ нею.

— Прощайте, Грубинъ. Мнѣ давно пора на garden-party... Не провожайте меня... Прошу васъ... Если вамъ непріятно—не бывайте у насъ. Уѣзжайте... вамъ падо было на воды. Встрѣтимся мы черезъ годъ, черезъ два—бѣгите отъ меня. Это похоже на фразу изъ устарѣлаго романа... Пускай! Я знаю, что я права.

Маруся встала, оправила свой туалетъ, протянула руку, дотронулась до его плеча, прошептала: „Прощайте, другъ!“—и пошла неторопливо вверхъ по дорожкѣ.

Ничего не чувствуя и не понимая, сидѣлъ онъ все на томъ же мѣстѣ, — сколько? — можетъ-быть, часъ, можетъ-быть, и больше.

Свѣжесть блѣдной ночи стала ощутительна на его открытомъ лбу. Шляпа лежала на землѣ.

Въ душѣ уже не было острой боли. Онъ какъ бы забылъ о себѣ, о запоздалой страсти, прорвавшейся вотъ сейчасъ, тутъ, у ногъ дѣвушки, ушедшей отъ него на вечеръ, гдѣ ее ожидала какая-то модная „garden-party“.

Изумленіе владѣло имъ, неиспытанное, ужасающе-новое. Неужели это было у себя дома, на родинѣ? Съ нимъ прощалась русская дѣвушка?.. Тѣни Татьяны, Лизы, Елены витали надъ нимъ. Не была ли это грѣза? Или, быть-можетъ, и тѣ чистыя тѣни—только бредъ художниковъ-чародѣевъ?

Слезы, тихія и крупныя, потекли по заолодѣлымъ щекамъ. Онъ оплакивалъ гибель души, обрекающей себя лютomu чудовищу, навинувшему на все царство женской прелести свои скользкія, но несокрушимыя лапы...



# ПРОЪЗДОМЪ.

(повѣсть.)

## I.

— Когда поставленъ этотъ памятникъ?—спросилъ баринъ, сильно за сорокъ лѣтъ, въ свѣтломъ пальто, у стоявшаго съ нимъ молоденькаго студента въ сюртукѣ, въ очкахъ, по всѣмъ признакамъ, только что надѣвшаго форму.

— Который?—переспросилъ его студентъ и застѣнчиво оправилъ очки.

— Да вотъ! — и баринъ указалъ на памятникъ Ломоносова черезъ рѣшетку двора новаго университета на Моховой.

— Не могу вамъ сказать.

Студентикъ неловко взялъ вбокъ и удалился торопливою походкой.

„Хорошъ,—подумалъ баринъ,—этого не знаетъ даже“.

Да и памятникъ вызвалъ въ немъ пренебрежительное движеніе тонкихъ, безкровныхъ губъ.

Вадимъ Петровичъ Стигивъ былъ дурень собою: сухое тѣло, сутуловатость при очень большомъ ростѣ, узкое лицо съ извилистымъ длиннымъ носомъ, непомѣрно долгія руки, шершавая, съ просѣдью, борода и желтоватые глаза, обведенные красными вѣками.

Одѣвался онъ по-заграничному, носилъ высокую цилиндрическую шляпу, бѣлый фуляръ на шеѣ, свѣтлое, англійскаго покроя, пальто и башмаки съ гетрами на



толстыхъ подошвахъ. Онъ упирался на палку съ серебрянымъ матовымъ набалдашникомъ.

Теперь онъ шелъ домой, на Покровку. Сейчасъ заходилъ въ Румянцевскій музей, такъ, отъ бездѣлья, — не отыскалъ ни переулка, ни даже дома, гдѣ, по его соображенію, долженъ былъ проживать его пріятель и товарищъ по университету Лебедянцева.

На памятникъ Ломоносова Стягинъ посмотрѣлъ еще, пристально и съ оттянутой книзу губой, — мина, являвшаяся у него часто.

„Это полуштофъ какой-то! — мысленно выговорилъ онъ. — Что за пьедесталъ! Настоящій полуштофъ съ пробкой... Точно въ память того, что російскій геній сильно выживалъ!..“

Недобрая усмѣшка искривила ротъ Стягина, и онъ пошелъ развихленною походкой, гнулся на ходу и началъ вертѣть палкой.

Стоялъ чудесный сентябрьскій день послѣ дождливаго, холоднаго времени, захватившаго Стягина на желѣзной дорогѣ.

Несмотря на погоду, Вадимъ Петровичъ чувствовалъ въ ногахъ какое-то необычное жженіе и колотье, которыя мѣшали ему идти скорѣе.

Вообще онъ былъ въ брезгливо-раздражительномъ настроеніи. Эта Москва и сердила, и подавляла его. Онъ попалъ сюда по пути въ деревню изъ-за границы, гдѣ проживалъ — съ рѣдкими возвращеніями въ Россію — почти всю свою жизнь, съ молодыхъ годовъ, съ той эпохи, какъ кончилъ курсъ въ московскомъ университетѣ.

Никогда еще, попадая сюда, не испытывалъ онъ такого брезгливо-раздраженнаго чувства къ этому городу, ко всему своему, „руссопѣтскому“, какъ онъ выражался и вслухъ, и про себя.

Онъ пріѣхалъ „ликвидировать“, продать свой домъ на Покровкѣ, стоявшій второй годъ безъ жильцовъ, продать имѣніе, въ крайнемъ случаѣ, сдать его въ аренду.

Надо будетъ ѣхать въ имѣніе, если онъ поладитъ съ однимъ изъ арендаторовъ. Все это скучно, несносно и его поддерживаетъ только то, что, такъ или иначе, онъ покончитъ, и тогда всякая связь съ Россіей будетъ порвана, никакого повода возвращаться домой... Надоѣло ему выше всякой мѣры дрожать за паденіе курса русскихъ бумагъ. Одинъ годъ получишь пятьдесятъ тысячъ фран

ковъ, а другой и сорока не выйдетъ... Свободныя деньги онъ давно перевелъ за границу, купилъ иностранныхъ бумагъ и полегоньку играетъ ими на парижской биржѣ.

Въ Парижѣ у него годовая квартира, особнякъ съ садикомъ, въ Пасси. Онъ держитъ свою кухарку и грума, ѣздитъ верхомъ на собственной лошади, выписанной изъ Россіи, потому что у насъ онъ втрое дешевле.

Онъ не холостой и не женатый, живетъ на два дома; но вотъ, послѣ ликвидаціи своихъ дѣлъ, можно будетъ построить свой собственный коттеджъ въ окрестностяхъ Парижа и зажить домкомъ, покончить съ своею полухолостю жизнью...

Но когда это будетъ?.. Въ Россіи все такъ тянется, кредиту нѣтъ, денегъ нѣтъ, всякія сдѣлки съ ужасными проводочками.

„Отвращеніе!“—вскричалъ Вадимъ Петровичъ, про себя, все сильнѣе раздражаясь на Москву.

Его взглядъ остановился на двухъэтажномъ домѣ около манежа, гдѣ когда-то помѣщался знаменитый студенческій трактиръ „Великобританія“.

Неужели и онъ, въ концѣ пятидесятихъ годовъ, когда изъ подростка-барчонка превратился въ студента, надѣлъ треуголку и воткнулъ въ портупею шпагу, любилъ этотъ городъ, этотъ университетъ, увлекался вѣрой въ „возрожденіе“ своего отечества, ходилъ на сходки, бывавшія въ палисадникѣ позади зданія стараго университета?

Да, все это онъ продѣлывалъ. Участвовалъ даже въ исторіи, въ схваткѣ съ мастеровыми, тамъ, гдѣ-то далеко, около Яузскаго моста, гдѣ стоитъ церковь,—кажется, она во имя архидіакона Стефана?

Прошли года. Порвались и всякія родственныя узы. Родители умерли, родственниковъ онъ не долюбивалъ, сохранилъ только почтительное чувство къ бабушкѣ; она пережила его мать и отца; отъ нея ему достался домъ на Покровѣ и капиталъ въ нѣсколько десятковъ тысячъ.

И вся его связь съ Москвой сводилась къ нѣсколькимъ домамъ изъ дворянскаго общества, да къ товарищу по факультету, Лебедянцеву, чудаку, изъ рязнотинцевъ, съ которымъ онъ готовился къ экзаменамъ и ходилъ на охоту... Товарищи дворянскаго круга разбрелись. Кое-кто живетъ и въ Москвѣ, но все такъ, на его взглядъ, по-

глупѣли и олошѣли, несутъ такой противный патріотическій вздоръ...

Врядъ ли онъ къ кому-нибудь изъ нихъ и поѣдетъ въ этотъ пріѣздъ.

Да вотъ и Лебедянцева онъ не могъ отыскать. Адресъ онъ затерялъ, думалъ найти на память; изъ-за потери адреса и не предупредилъ его письмомъ изъ Парижа. Надо будетъ посылать въ адресный столъ.

Вадимъ Петровичъ подходилъ къ Охотному ряду и завернулъ книзу по Тверской. Куда онъ ни смотрѣлъ—овсюду металась ему въ глаза московская улично-рыночная сутолока; рѣзкіе цвѣта стѣнъ, церковныя главы, иконы на лавкахъ, вдали Воскресенскія ворота съ голубымъ куполомъ часовни и съ толпой молящихся; протянулись мимо него грязныя, выкрашенныя желтою и красною краской линейки съ пѣвчими и салопницами, ѣхавшими съ какихъ-нибудь похоронъ... Слева отъ него—онъ шелъ правѣе по тротуару—провели, посрединѣ, двухъ арестантовъ съ тузами на сѣрыхъ халатахъ, а два конвойные солдата въ обшарханныхъ и пожелтѣлыхъ мундирахъ смотрѣли такъ же похмуро и жалко, какъ и козодники. Извозчики съ покосившимися дрожками, ободранные, на клячахъ, пересѣкали ему дорогу, когда онъ поднимался вдоль Историческаго музея на Красную площадь.

Сверху стѣны Кремля башни, золотыя луковичы соборовъ высились надъ нимъ, какъ нѣчто чуждое, полуварчарское, смѣсь византійщины съ татарскою ордой.

„Это Европа?—спрашивалъ онъ себя.—Это находится въ одной части свѣта съ Парижемъ, Лондономъ, Флоренціей?.. Allons donc! Это—Ташкентъ, Бухара, Средняя Азія!“

И ему не казались банальными его возгласы. Онъ въ этотъ пріѣздъ сильнѣе, чѣмъ когда-либо, сознавалъ въ себѣ западнаго европейца, со всею безпощадною требовательностью челоуѣка, извѣрившагося въ свое отечество, принужденнаго поневолѣ проживать тутъ, въ этой псевдо-Европѣ, не потрудившейся даже хорошенько принарядиться.

Онъ шелъ мимо полуразрушеннаго Гостинаго двора и желѣзныхъ временныхъ лавокъ, и усмѣшка пренебреженія и постоянного недовольства не сходила съ его губъ.

Въ тѣлѣ онъ ощущалъ странное утомленіе, но взять извозчика не хотѣлъ. Ему противно было сѣсть въ гряз-

ныя дрожки, толкаться изъ стороны въ сторону по отвратительной мостовой.

Еще схватишь какую-нибудь заразительную болѣзнь. На извозчикахъ перевозятъ тифозныхъ мастеровыхъ и мужиковъ.

— Ну, городъ!—выговорилъ Стягинъ и ускорилъ шагъ по Варваркѣ.

## II.

Вадимъ Петровичъ проснулся поздно, съ головою болью и ломомъ въ ногахъ. Онъ спалъ въ обширномъ, нѣсколько низковатомъ кабинетѣ мезонина. Нижний этажъ его дома стоялъ теперь пустой. Въ мезонинѣ долго жилъ даромъ его дальній родственникъ, недавно умершій. Съ тѣхъ поръ мезонинъ не отдавался въ наемъ и служилъ для прїѣздовъ барипа.

Просторный покой смотрѣлъ уютно, полный мебели, эстамповъ по стѣнамъ, съ фигурнымъ письменнымъ бюро. Всей мебели было больше тридцати лѣтъ; нѣкоторыя вещи отзывались даже эпохой двадцатыхъ годовъ—изъ краснаго дерева съ бронзой. Въ кабинетѣ стоялъ и особенный запахъ стараго барскаго помѣщенія, гдѣ жила всегда холостяки. Ничто и въ остальныхъ комнатахъ,—ихъ было еще три и ванная,—не говорило о присутствіи женщины.

Лежа на турецкомъ диванѣ, служившемъ ему постелью, Стягинъ оглядывалъ кабинетъ глазами, помутнѣлыми отъ мигрени и лома въ обоихъ колѣнахъ. Солнечныя полосы весело пересѣкали стѣну, пробиваясь изъ-подъ темныхъ шторъ, но онѣ его не веселили.

Вчера остальной день его прошелъ такъ же безвкусно, какъ и утро. Тотъ господинъ, который велъ съ нимъ переписку по дѣлу аренды, не явился, заставилъ себя прождать. Передъ обѣдомъ зашелъ Стягинъ къ тремъ барынямъ, на Сивцевомъ-Вражкѣ и на Поварской. Двухъ не было еще въ Москвѣ—не возвращались изъ деревни; третья такъ постарѣла, обрюзгла, несла такой претенціозный и н дурно пахнувшій патріотическій вздоръ, что его чуть физически не затошнило. Въ клубѣ онъ приказалъ записать себя на имя одного барина, котораго тоже не оказалось тамъ. За обѣдомъ онъ не встрѣтилъ ни души знакомой. Противъ него, за столикомъ, громко жевали какіе-то москвичи непріятнаго для него вида: не то дворяна-

щіеся разночинцы, не то адвокаты, смахивавшіе на артельщиковъ. Ихъ дурная манера ѣсть, ихъ смѣхъ, прибаутки, выраженіе лицъ, — все ему было противно и мѣшало ѣсть. Да и аппетита не было. Онъ находилъ все жирнымъ, тяжелымъ, варварскимъ.

Вечеръ провелъ онъ въ театрѣ, въ одномъ изъ частныхъ театровъ, гдѣ то, что давали на сценѣ, казалось ему тусклою и тягучею повѣстью въ лицахъ, съ неизбѣжными пьянымъ разночинцемъ, говорящимъ грубости во имя какой-то правды. Публика возмущала его еще больше пьесы и актеровъ. Она смѣялась отъ пошлыхъ остротъ и крикливій актеровъ, вызывала безтактно и безцеремонно, послѣ каждаго ухода, своихъ любимцевъ; въ антрактахъ шаталась по фойе, поглощала водку, курила такъ, что изъ буфета дымъ проникалъ въ коридоры и ходилъ густыми волнами. Къ концу спектакля что-то до-нельзя ординарное, грубое и глупое начало душить его. Онъ почти съ ужасомъ спрашивалъ себя въ антрактахъ: „Неужели я могъ бы скоротать свой вѣкъ среди такой культуры, не будь у меня средствъ жить, гдѣ и хочу?“

А вѣдь это могло очень и очень случиться. Вонъ его товарищъ Лебедянецъ проконтилъ же двадцать слишкомъ лѣтъ въ этой Москвѣ!

И теперь, лежа на турецкомъ диванѣ, подъ своимъ дорожнымъ одѣяломъ, Вадимъ Петровичъ и во рту ощущалъ горечь отъ вчерашняго дня, въ особенности отъ театра съ его фойе, буфетомъ и курилкой. Никогда и нигдѣ публичное мѣсто такъ не оскорбляло его своимъ бытовымъ букетомъ.

Онъ позвонилъ въ колокольчикъ, стоявшій на табуретѣ. Ему прислуживалъ дворникъ, добродушный и глуповатый малый, по имени Капитонъ, ходившій неизмѣнно въ пестрой вязаной фуфайкѣ и въ короткомъ пальто, которое онъ совершенно серьезно называлъ „спинжакъ“.

И Стягину это слово казалось символическимъ. Онъ находилъ, что „спинжакъ“ царить по всей этой Москвѣ, да и всюду, по всему его отечеству. Спинжакъ и смазные сапоги, косой воротъ или вязаная фуфайка, гармоника и сороковушка водки, зубоскальство, ругань, безплодное умничанье, нахальное обличенье всего, на что позволено плевать, и никакого серьезнаго отпора, никакого чувства достоинства, желанія и возможности отстоять какое-нибудь свое право.

Красное, круглое лицо Капитона, обросшее на щеках и подбородкѣ скорѣе пухомъ, чѣмъ волосами, показалось въ дверяхъ.

— Тепло на дворѣ?

— Не дуже, Вадимъ Петровичъ, а припекаетъ солнышко!

— Подай мнѣ газеты и завари чай! Я буду пить въ постели.

— Сію минуту.

Отъ смазныхъ сапогъ Капитона пахло ворванью. Этотъ запахъ преслѣдовалъ Стагина повсюду и даже не покидалъ его обонятельныхъ нервовъ тамъ, гдѣ онъ не видѣлъ сапогъ. Но у Капитона другой обуви не было.

Дворникъ принесъ сначала газеты и сказалъ, кашлянувъ въ руку:

— Левонтій Наумичъ пришли... Когда прикажете позвать?.. Они тамъ, въ передней.

— Пусть подождетъ.

— Слушаю-сь.

Левонтій—старый дворецкій его родителей, бывший одно время его дядькой. Теперь онъ въ одной изъ московскихъ богадѣленъ, куда Вадимъ Петровичъ помѣстилъ его лѣтъ пять тому назадъ.

Газеты, поданныя Капитономъ, произвели въ Вадимѣ Петровичѣ новый наплывъ раздраженія. Онъ сталъ просматривать пестро напечатанные столбцы одного изъ мѣстныхъ листковъ и на него пахнуло съ нихъ точно изъ подворотенъ гдѣ-нибудь въ Зарядѣ или на Живодеркѣ. Тонъ полемики, остроуміе, задоръ нечистоплотныхъ сплетенъ, лишкая пошлость всего содержимаго вызвали въ немъ тошноту и усилили головную боль.

— Этакая мерзость!—вскричалъ онъ и бросилъ газетный листокъ на коверъ. — Что это за городъ! Что это за люди, что за троглодиты!—громко закончилъ онъ и сильно позвонилъ.

Показались опять красныя щеки Капитона съ бѣлокурыхъ пухомъ вокругъ подбородка.

— Позови Левонтія.

— Слушаю-сь.

Вадимъ Петровичъ зналъ впередъ, что Левонтій будетъ жаловаться на свое богадѣленное житье и что ему надо будетъ дать пятирублевую ассигнацію. Когда-то онъ любилъ его говоръ и весь тонъ его рѣчи, отзывавшейся

старымъ бытомъ дворовыхъ; находилъ въ немъ даже известнаго рода личное достоинство, вспоминалъ разные случаи изъ своего дѣтства, когда Левонтій былъ приставленъ къ нему. До сихъ поръ онъ, полусутливо, не иначе зоветъ его, какъ „Левонтій Наумичъ“.

— Батюшка, Вадимъ Петровичъ! — раздался уже шамающий голосъ Левонтія.

Онъ вошелъ въ дверь неслышными шагами, точно будто на немъ были туфли или валенки. Старикъ, средняго роста, смотрѣлъ еще довольно бодро, брился, но волосы, густые и курчавые, получили желтоватый отливъ большой старости. На немъ просторно сидѣло длинное пальто, въ родѣ халата, опрятное, и шея была повязана бѣлымъ платкомъ.

— Здравствуйте, Левонтій Наумичъ! — привѣтствовалъ его Стягинъ и поднялся съ постели.

— Ручку пожалуйте!

Левонтій скорыми шагами устремился къ рукѣ, но Вадимъ Петровичъ не допустилъ его до этого.

— Какъ поживаете, Левонтій Наумичъ? Книжки божественныя почитываете? Чаекъ попиваете?

Побалагурить со старикомъ попрежнему Вадиму Петровичу не захотѣлось. Левонтій сразу напомнилъ ему, какъ много ушло времени, сколько ему самому лѣтъ и какъ эта Москва полна для него покойниковъ. И безъ того вчера, проходя по Молчановкѣ, онъ насчиталъ цѣлыхъ пять домовъ, для него выморочныхъ. Всѣ въ нихъ перемерли, и теперь живутъ тамъ какіе-нибудь „обыватели“, — слово, принимавшее въ его устахъ особенно презрительную интонацію.

Такъ точно и Левонтій, съ его запахомъ лампаднаго масла, не то отъ волосъ, не то отъ его балахона, обдавалъ его кладбищемъ.

— Надолго ли, батюшка? — шамкалъ Левонтій, наклоняясь надъ нимъ.

— Да какъ дѣла. Хочу покончить совсѣмъ.

— Какъ, батюшка?.. Виновать... на одно-то ухо туговать сталъ я.

— Пріѣхалъ все продать, — выговорилъ громко Вадимъ Петровичъ, и ему точно захотѣлось нанести старику чувствительную непріятность, сообщить ему объ этомъ безповоротномъ рѣшеніи — ликвидировать и распрощаться съ родиной.

— Домъ изволите продавать?

Вопросъ Левонтія вылетѣлъ почти съ испуганнымъ вздохомъ.

— И домъ, и деревню, если хорошій покупатель найдется.

— И вотчину?.. Батюшка!.. Какъ же это возможно!..

Глаза старика сразу повеснѣли и двѣ слезы покатылись изъ нихъ по розовой, точно лосковой щекѣ.

— Затѣмъ и пріѣхалъ,—все такъ же громко и какъ бы злобно повторилъ Стягинъ.

— Господи!

„Разрѣшится старикашка,—проворчалъ про себя Вадимъ Петровичъ,—и пойдеть причитывать!“

— Нечего дѣлать, Левонтій Наумичъ, такіе у васъ порядки, что зря, безъ всякаго смыслу, только разоряешься... Цѣнь ни на что нѣтъ, домъ пустой стоитъ, бумажки ваши скоро до четвертака дойдутъ... Слышали объ этомъ?

— Охъ Ты, Господи!.. Это точно, батюшка, все въ умаленіе пришло... Скучость!.. А все-таки... домъ продать... Папенька-маменька... дѣденька-бабенка — всѣ жили... Опять же вотчина... усадьба... ранжереи, ананасницы...

— Вотъ что вспомнилъ!.. Отъ ананасовъ теперь и навоза-то не осталось...

— Вотчина — дѣдина,—продолжалъ старикъ тономъ тихаго причитанья, отъ котораго Стягину дѣлалось еще тошнѣе.

— Мало ли что!—почти гнѣвно вскрикнулъ онъ.

Левонтій отошелъ смиренно къ двери.

### III.

Дверь шумно растворилась.

— Лебедянцева!.. Ты, братъ?.. — удивленно окликнулъ Вадимъ Петровичъ.

Онъ не столько обрадовался пріятелю, сколько удивился, что тотъ нашелъ его. Послѣ вчерашней неудачи съ отыскиваніемъ его переулка и дома, Стягинъ хотѣлъ сегодня утромъ послать за справкой въ адресный столъ.

— Небось удивленъ, что я первый тебя нашелъ?.. Хе-хе!

Лебедянцева—небольшого роста, блондинъ, съ жидкою порослью на сдавленномъ черепѣ, въ очкахъ, съ носомъ



въ видѣ пуговки и съ окладистой бородой, очень небрежно одѣтый, засмѣялся высокимъ, скрипучимъ смѣхомъ.

— Здравствуйте, Левонтій... какъ, бишь, по батюшкѣ?..— обратился онъ тотчасъ же къ старику.

— Наумычъ, батюшка, Наумычъ... Покорно благодарствую... Скриплю-сь, грѣшнымъ дѣломъ, скриплю-сь.

— Крѣпись, старче, до свадьбы доживешь!.. Ну, ты, Вадимъ Петровичъ, хорошъ... нечего сказать. Чтò бы черкнуть словечко изъ Парижа, или хотъ бы депешу прислалъ съ дороги!

— Да и адресъ твой затерялъ,—оправдывался съ гримасой Стигинъ.—Ваши московскіе дурацкіе переулки...

— Нечего, брать!.. Ну, здороваежся хотъ! Вотъ физикусъ-то! Все кряхтитъ да морщится.

— Позволь, позволь, я еще не умытъ!

— Экая важность!

Пріятель звонко поцѣловалъ его два раза.

— Да какъ же ты-то узналъ о моемъ пріѣздѣ?—все еще полунедовольно спросилъ Стигинъ.

— Видѣлъ тебя вчера издали... Кричу... на Знаменкѣ это было... ты не слышишь, лупишь себѣ внизъ и палкой размахиваешь... Другой такой походочки нѣтъ во всей имперіи... Вотъ я и объявился... Заѣхалъ бы вчера, да занять былъ до поздней ночи.

Тонъ Лебедянцева въ этотъ разъ ужасно коробилъ Вадима Петровича.

„Какъ охамился!“—подумалъ онъ и собрался вставать съ постели.

— Левонтій Наумычъ, подождите... тамъ, въ передней.

— Слушаю-сь, батюшка... Да вамъ не угодно ли чего?.. Умыться подать? Я съ моимъ удовольствіемъ...

— Нѣтъ, не надо.

Старикъ тихонько выползъ изъ полуотворенной двери.

— Умываться попрежнему будешь?—задорно и какъ-то прыская носомъ, спрашивалъ Лебедянцевъ, ходя быстро и угловато передъ глазами Вадима Петровича.

— Послушай, Дмитрій Семепычъ,—остановилъ его Стигинъ,—не арпантируй ты такъ комнату.

— Что?

Лебедянцевъ расхохотался.

— Повтори!.. Какъ ты сказалъ... арпан... арпанти... Это по-каковски?

— По-французски! —сердито крикнулъ Стигинъ. — Са-

цись, пожалуйста, и кури... если желаешь... А мнѣ позволю  
умыться.

— Сдѣлайте ваше одолженіе! Вотъ пѣтушится! Все та-  
кая же брюзга!

Стягинъ откинулъ совсѣмъ одѣяло, опустилъ ноги съ  
гримасой, хотѣлъ подняться и вдругъ схватился за одно  
колѣно.

— Ай!.. — вырвалось у него, и онъ опять поднялся. —  
Не могу!

— Чего не можешь? — съѣзливо спросилъ Лебедянцева.

— Ахъ Ты, Господи! Развѣ ты не видишь? Не могу  
встать! Колотье!

— Разотри суконкой!

— Суконкой! — почти передразнилъ Стягинъ и началъ  
тереть себѣ оба колѣна.

Гримаса боли не сходила съ его некрасиваго, въ эту  
минуту побурѣвшаго лица.

Съ трудомъ всталъ онъ на ноги, потомъ одѣлся въ свой  
фланелевый заграничный *coin de feu* и, ковыляя, прошелъ  
черезъ кабинетъ въ темную комнатку, гдѣ стоялъ умы-  
вальный столъ.

— Ты ревматизмъ или подагру нажилъ, что ли? — крик-  
нулъ ему вдогонку Лебедянецъ.

„Типунъ тебѣ на языкъ!“ — выбранился Стягинъ про  
себя, волоча одну ногу. Ходить было можно, но въ пра-  
вомъ колѣнѣ боль не стихала, совсѣмъ для него новая.  
Лебедянецъ болталъ зря: ни ревматизмомъ, ни подагрой  
онъ не обзаводился.

Умыться онъ долженъ былъ наскоро. Стоячее положе-  
ніе поддерживало боль съ колотьемъ въ самую чашку пра-  
ваго колѣна. И въ лѣвой ногѣ ныло.

— Этакая гадость! — повторялъ Стягинъ, умываясь.

— Какая погода была по дорогѣ? — крикнулъ ему Ле-  
бедянецъ.

— По какой дорогѣ? — все съ возрастающимъ раздра-  
женіемъ переспросилъ Стягинъ.

— Ну, по Германіи, что ли, до границы?

— Сырая, мерзкая.

— Небось въ спальномъ ѣхалъ?

— Въ *sleeping-car*, — называлъ Стягинъ по-англійски.

— Поздравляю! Вѣрнѣйшее средство схватить здоровый  
ревматизмъ. Поздравляю!

— Глупости говоришь! — огрызнулся Стягинъ.

Боль не давала ему покоя. Опъ, черезъ силу, докончилъ свое умыванье и вернулся къ постели хромая.

— Не глупости! — задорно возразилъ Лебедянцева. — Вѣрнѣйшее средство, говорю я тебѣ. Не вѣдь же ты схватилъ эту боль!.. Ты посмотри, какая у насъ погода стоитъ! Что твоя Ницца!

— Въ вашей вонючей Москвѣ, — заговорилъ, все сильнѣе раздражаясь, Стягинъ, — развѣ есть возможность не заразиться чѣмъ-нибудь? Что это за клоака! Такихъ уличныхъ запаховъ я въ Неаполѣ не слыхалъ... И естественно-теплая погода только вызоветъ какую-нибудь эпидемію.

— Сыпной тифъ ужъ есть... и скарлатина!..

— Чему же ты радъ?.. У тебя дѣти есть, а ты хохочешь!.. Это, братъ, Богъ знаетъ, что за...

Вадимъ Петровичъ хотѣлъ кинуть слово „идіотство“, но удержался, да и въ правое колѣно ужасно сильно колѣнуло. Онъ застоналъ и прилегъ на постель.

— За докторомъ пошли, если приспичило.

Лебедянцева опять заходилъ по комнатѣ, скрипѣлъ сапогами и перебиралъ то правымъ, то лѣвымъ плечомъ, съ покачиваніемъ головы.

Стягиву захотѣлось крикнуть ему: „Да убирайся ты отъ меня!..“ — но онъ только продолжалъ тихо стонать.

— Мнителенъ ты вепомѣрно... Избаловался тамъ у себя, въ Парижѣ...

— За молчи, пожалуйста! — перебилъ Стягинъ пріятеля и порывисто позвонилъ.

Показалось бритое лицо Левонтія.

— Что прикажете, батюшка? Капитонъ-то отлучился на минутку... Чаю прикажете заварить?

— Въ аптеку надо послать, — простоналъ Стягинъ и добавилъ въ сторону Лебедянцова: — *compresse échauffante* — всего лучше...

Левонтій приблизился къ дивану и заботливо спросилъ:

— Ножки нешто схватило вдругъ?

— Ножки!.. Ха-ха! — прыснулъ Лебедянцева.

— Колотье, батюшка? — продолжалъ спрашивать Левонтій. — Такъ первымъ дѣломъ въ баньку и нашатырнымъ спиртомъ...

— Въ баньку! — опять прыснулъ Лебедянцева.

Пріятель дѣлался просто невыносимымъ. Вадимъ Петровичъ съ усиліемъ приподнялся и выговорилъ:

— Послушай, Лебедянцевъ! Вмѣсто того, чтобы глупости говорить, ты бы лучше съѣзди за докторомъ... Есть у тебя знакомый—не мерзавецъ и не дубина?

— Есть. Въ большомъ теперь ходу.

Лебедянцевъ сказалъ это посерьезнѣе, но тотчасъ же прежнимъ тономъ добавилъ:

— А Левонтій Наумичъ дѣло говоритъ: въ баньку!.. Чего тутъ лѣчиться!

— Поѣзжай, я тебя прошу.

— Изволь, изволь!.. Вотъ приспичило! Я хотѣлъ толкомъ разспросить тебя...

— Послѣ, послѣ! Заверни, когда освободишься... Ты на службѣ?

— На вольнонаемной.

— Ну, и прекрасно!

Говорить Стягину было тяжело. Онъ съ трудомъ пожалъ руку пріятеля и сейчасъ же схватился за правое колѣно.

Левонтій проводилъ Лебедянцева въ переднюю и вернулся къ барину.

— Раздѣлись бы, батюшка,—шамкалъ онъ.—Позвольте я, чѣмъ ни то, ножки-то разотру... Капитошу и въ аптеку спосылаемъ. Мыльнаго спирту бы, коли нашатыря нежелательно...

Старикъ довольно ловко началъ Вадима Петровича раздѣвать.

Его услуги и старческій разговоръ были гораздо пріятнѣе Стягину, чѣмъ присутствіе Лебедянцева съ прыскающимъ смѣхомъ, рѣзкостями и всѣмъ московскимъ прибаутчнымъ тономъ пріятеля.

Капитона послали въ аптеку за камфарнымъ спиртомъ и клеенкой,—такъ приказалъ самъ Стягинъ,—а Левонтій смастерилъ изъ полотенца и носового платка холодную припарку къ правому колѣну. Онъ же заварилъ и подалъ чай.

Боль не проходила, но Стягинъ старался лежать спокойно. Во всемъ тѣлѣ чувствовалъ онъ жаръ и зудъ; голова болѣла на какой-то особенный, ему непонятный манеръ. Онъ даже не допилъ поданнаго стакана чая.

Старикъ стоялъ у дверей и покашливалъ въ руку.

— Сядьте, сядьте, Левонтій Наумичъ,—сказалъ ему Стягинъ, раскрывъ глаза.

— Постою, батюшка.

— Въ передней... посидите... Я позвоню.

Вадима Петровича начинало брать раздраженіе и на бывшего своего дядьку. Страхъ заболѣть серьезно въ этой противной для него Москвѣ началъ охватывать его и дѣлалъ самую боль еще жутче.

#### IV.

Въ кабинетѣ стоитъ хмурый полусвѣтъ. На дворѣ слякоть, мороситъ и собирается идти мокрый снѣгъ.

Вадимъ Петровичъ, полуодѣтый, сидитъ на кушеткѣ съ ногами, окутанными тяжелымъ фланелевымъ одѣяломъ.

Четвертый день онъ боленъ, и боленъ не на шутку. Голова свѣжѣе и въ тѣлѣ онъ не ощущаетъ большой слабости, но въ обоихъ колѣнахъ, особенно въ правомъ, образовалась опухоль, да и вся правая нога опухла въ сочлененіяхъ, и боль въ ней не проходила, временами, по ночамъ и днемъ, усиливалась до нестерпимаго нытья и колотья.

Лебедянцева доставилъ своего пріятеля-доктора—„восходящую звѣзду“, какъ онъ его называлъ. „Звѣзда“ эта Вадиму Петровичу совсѣмъ не понравилась. Онъ нашелъ его грубымъ семинаристомъ, даже просто глупымъ, небрежнымъ, съ ненужными шуточками надъ самой медициной, а, главное, непомерно дорогимъ. Этой „звѣздѣ“ уже платили двадцать пять рублей за визитъ, и Лебедянцева предупредилъ его, что разсчитать его меньше, чѣмъ по двадцати рублей, нельзя.

— Да это возмутительно!—кричалъ Стягинъ.—Даже по нашему отвратительному курсу это выходитъ пятьдесятъ франковъ такому болвану, когда въ Парижѣ Шарко можно дать два золотыхъ!..

— Ничего не подѣлаешь! Въ Москвѣ говорары купецкіе!

— Все изгажено въ твоей вопючей Москвѣ! Дворяне, чиновники, трудовые люди—все нищія, а какому-нибудь лѣкарю-оболтусу плати двадцать пять рублей, потому что съ лабазниковъ и чаепродавцевъ можно брать сколько влѣзетъ.

И теперь, сидя на кушеткѣ съ опухлыми колѣнами, Вадимъ Петровичъ раздраженно думалъ о докторѣ, о его визитѣ, о бесплодности, быть-можетъ, созывать консилиумъ и платить другимъ „звѣздамъ“ уже не лиловенькія, а радужныя.

Все разстроила эта внезапная болѣзнь, которую его

врачъ до сегодня хорошенько не опредѣлилъ. Не то это острый ревматизмъ сочлененій, въ чистомъ видѣ, не то подагра. Но двинуться нельзя, о поѣздкѣ въ деревню нечего и думать. А сколько придется лежать? Кто это знаетъ?

Осень надвигается, холодная и мокрая. Такого рода болѣзнь, навѣрное, затянется.

Не могъ онъ до сихъ поръ и переговорить съ тѣмъ арендаторомъ, который писалъ ему въ Парижъ и долженъ былъ явиться сегодня. Онъ его не знаетъ, справиться о немъ не у кого было, да болѣзнь и не давала передышки въ эти первые дни. Сегодня въ правой ногѣ жженіе какъ будто поутихло. Надо воспользоваться утреннимъ часомъ, когда вообще бываетъ полегче, и принять этого господина.

Зовутъ его Ѳедоръ Давыдовичъ Градъ. Кто онъ—еврей или пѣмецъ, шведъ или просто настоящій русскій, носящій нерусскую фамилію? Вадимъ Петровичъ знаетъ про него только то, что этотъ господинъ арендуетъ имѣнія въ разныхъ уѣздахъ губерніи, а, можетъ, и въ нѣсколькихъ губерніяхъ, рекомендовался въ письмахъ, какъ человекъ съ капиталомъ, и просилъ обратиться за справками къ одному генералу и даже къ „свѣтлѣйшему“ князю, у которыхъ арендуетъ имѣнія. Полежаевку, деревню Стягина, онъ знаетъ хорошо; это видно было по его письмамъ.

Сегодня надо его принять.

Стягинъ позвонилъ.

Изъ двери высунулось бритое лицо Левонтія.

Изъ богадѣльни онъ временно перебрался къ барину и, несмотря на свои большіе годы, оказался очень полезнымъ. Вадимъ Петровичъ не могъ выносить глупаго голоса и запаха саногъ дворника Капитона. Тотъ употреблялся только для посылокъ, въ комнаты его не допускали; но у Левонтія хватало ловкости и расторопности дѣлать припарки, укутывать ноги больного, укладывать его въ постель. Лебединцевъ предлагалъ сидѣлку, но больной протестовалъ.

— Русская сидѣлка!.. Потная, грязная... Покорно благодарю!.. Лучше нанять лакея.

Лакея еще не нашлось подходящаго. Левонтій справлялся со всѣмъ однимъ и былъ этимъ чрезвычайно доволенъ.

— Провѣтрить бы воздухъ,—сказалъ ему Стягинъ.

— Форточку, батюшка, опасно открывать. Нешто укусомъ немощно продушить...

— Ну, хоть укусомъ.

Только Левонтій не вызывалъ въ немъ раздраженія. Съ нимъ онъ мирился, какъ съ единственнымъ существомъ, у котораго былъ „стиль“, какъ онъ мысленно выражался, воспитанность стараго двороваго и нелицемерное добродушіе.

Левонтій черезъ четверть часа подалъ ему на подносѣ карточку.

Это былъ арендаторъ.

— Проси! — сказалъ Вадимъ Петровичъ, прибодрившись, но когда хотѣлъ перемѣнить положеніе правой ноги, то чуть не вскрикнулъ отъ боли.

Вошелъ человекъ, еще молодой, рослый, въ родѣ отставнаго военнаго или агента какой-нибудь заграничной фабрики, рыжеватый, съ курчавыми волосами и усами, торчавшими вверхъ, очень старательно одѣтый. Въ булавкѣ его свѣтлаго галстука блестѣлъ брильянтъ. Свѣжесть его щекъ и пріятную округлость бритаго подбородка сейчасъ же замѣтилъ Стягинъ.

— Имѣю честь представиться! — сказалъ арендаторъ, остановившись посерединѣ комнаты, и по-военному раскланялся, стукнувъ сдвинутыми каблучками. — Прошу великодушно извинить — не могъ явиться на той недѣлѣ, принужденъ былъ скоростижно отлучиться изъ города.

Говорилъ онъ жестко и отчетливо, но не московскимъ говоромъ.

Стягинъ пригласилъ его, ослабѣвшимъ голосомъ, присѣсть къ кушеткѣ и пожаловался на свою внезапную болѣзнь, мѣшающую ему и теперь съѣздить въ усадьбу.

— Да это не существенно, Вадимъ Петровичъ, — замѣтилъ арендаторъ. — Я ваше имѣніе знаю какъ свои пять пальцевъ.

— Однако, — возразилъ Стягинъ, — мнѣ самому нужно бы освѣжить...

Онъ не могъ досказать отъ боли и сдѣлалъ гримасу.

— Вамъ нездоровится? — спросилъ арендаторъ неискреннимъ тономъ.

— Да, вотъ напасть налетѣла въ этой тошной Москвѣ...

— Припадокъ подагры?

— Не знаю-съ, — отвѣтилъ Стягинъ. — И московскій хваленый эскулапъ не сумѣлъ еще опредѣлить...

Боль отошла. Стягинъ воспользовался минутами передышки и приступилъ къ дѣловымъ переговорамъ.

— Какъ только поправлюсь,—началъ онъ,—я побываю въ деревнѣ. Вы будете въ тѣхъ же краяхъ всю осень?

— Обязательно. Уѣзжаю отсюда дня черезъ два, черезъ три.

— Инвентарь вамъ извѣстенъ... Я отдаю и усадьбу въ полное ваше пользованіе.

— У меня четыре помѣщичьихъ дома, — улыбувшись возразилъ арендаторъ.

— Вы можете отдавать на лѣто. Усадьба въ пяти верстахъ отъ желѣзной дороги.

— Какъ случится!

Тонъ господина Граца все менѣе и менѣе нравился Вадиму Петровичу. Когда дѣло дошло до опредѣленія суммы, онъ самъ ее не обозначилъ сразу, а спросилъ, съ желаніемъ сдѣлать уступку, какая будетъ рѣшительная цѣна арендатора.

Тотъ покачалъ головой, выпятилъ губы и оправилъ галстукъ.

— Не меньше шести лѣтъ?—спросилъ господинъ Грацъ.

— Хоть десять, хоть двѣнадцать!

— Для меня достаточно и шести.

И, сжавъ губы характернымъ движеніемъ, арендаторъ небрежно посмотрѣлъ вбокъ и выговорилъ съ разстановкой:

— Первые три года—по пяти тысячъ, послѣдніе три—по тысячѣ рублей прибавки: шесть, семь и восемь.

— Пять тысячъ!—почти закричалъ Стагинъ, и отъ этого нервнаго возгласа его боль совсѣмъ стихла; онъ пересталъ чувствовать, что у него распухли колѣна.

— Такъ точно!

— Да вы комикъ!

Онъ не могъ не употребить это безцеремонное выраженіе, и если бы не удержался, то просто крикнулъ бы господину Грацу: „пошли вонъ!“

— Можетъ-быть,—отвѣтилъ тотъ, нисколько не смутившись. — Это прекрасная цѣна. Вамъ извѣстно, что цѣна земель пала чрезвычайно.

— Только не арендная!

— И арендная также. Мужики разбираютъ по хорошей цѣнѣ, но при крупныхъ сдачахъ какая же гарантія и какая будущность самаго имѣнія? Вѣдь это хищническое истощеніе почвы—и больше ничего! Цѣны на хлѣбъ пади до смѣшного. Я второй годъ не продаю ни ржи, ни пшеницы.



— Но вѣдь вы мнѣ предлагаете одну треть того, что я могу получить.

— Сомнѣваюсь. Не получите и десяти, если и сами станете козийничать. А вы вѣдь желаете ликвидировать свои дѣла.

— Кто вамъ это сказалъ? — задорно возразилъ Стигнъ.

— Вы, въ одномъ письмѣ изъ Парижа, сами изволили выразить это желаніе.

Вадимъ Петровичъ выбранилъ себя, весь покраснѣлъ и тутъ только опять почувствовалъ въ обоихъ колѣнахъ зудъ и жженіе.

— Все равно! — выговорилъ онъ упавшимъ голосомъ, — Такая цѣна невозможна!

„А если никто не будетъ давать больше, — спросилъ онъ себя вслѣдъ за тѣмъ, — что ты станешь дѣлать? Продавать за безцѣнокъ имѣніе?“

И онъ успѣлъ отвѣтить себѣ: „лучше продать“.

— Торговаться я не имѣю привычки, — выговорилъ съ усмѣшкой арендаторъ. — Найдете болѣе выгодную аренду — желаю полного успѣха.

— И какова страна! — вскричалъ Вадимъ Петровичъ. — До сихъ поръ нѣтъ ипотекъ! Вся Европа имѣетъ ипотеки, а мы не додумались. Тамъ на все опредѣленная, извѣстная цѣна. Какъ калачъ купить... А у насъ...

— То Европа, а то мы! — шутливо сказалъ арендаторъ и положилъ ногу на ногу.

— Это... это...

Возвращеніе сильнѣйшей боли прервало его возгласъ.

#### V.

Стигнъ захотѣлось выгнать вонъ господина Граца, выместить на немъ неудачу своей поѣздки, надвигающуюся негѣпую болѣзнь, безтолочь всѣхъ русскихъ порядковъ, общее безденежье, паденіе кредита, скверную валюту, отсутствіе цѣнъ на хлѣбъ, неимѣніе ипотекъ.

Если бъ не приходъ доктора, онъ не могъ бы воздержаться отъ выходки. Самая наружность арендатора дѣлалась ему невыносимой, и его франтоватость, брильянты на галстукѣ, прическа, цвѣтъ и покрой панталонъ.

Докторъ вошелъ въ самую критическую минуту, — грузный, рослый, еще не старъ, съ лицомъ приходскаго дьякона и съ такимъ же басовымъ хрипомъ. Двубортный

сюртукъ сидѣлъ на немъ кѣшкетомъ. Во всей фигурѣ было нѣчто увѣренное въ себѣ самомъ и невоспитанное.

— Это вы что выдумали?—заговорилъ онъ тономъ безцеремонной шутки.—Вамъ лежать, батенька, слѣдуетъ, а ноги-то у васъ чортъ знаетъ въ какомъ положеніи...

Онъ подошелъ къ кушеткѣ и положилъ широкую ладонь на колѣни Стагина.

Тотъ закричалъ:

— Осторожнѣе, докторъ!

— Вонъ вы какая недотрога-царевна! Такъ бы и говорили...

Арендаторъ взялся за шляпу и проговорилъ своимъ деревяннымъ голосомъ:

— Мы сегодня во всякомъ случаѣ не покончимъ... Позвольте просить увѣдомить меня, когда вамъ будетъ удобнѣе. Только предупреждаю, что больше четырехъ дней не могу остаться въ Москвѣ.

— Прощайте, прощайте! — кинулъ ему Стагинъ почти такъ же болѣзненно, какъ онъ принялъ доктора.

— Мое почтеніе! — сказалъ арендаторъ, сдѣлавъ общій поклонъ, и опять, по-военному, слегка пристукнулъ каблуками.

Но, оставшись съ докторомъ, Стагинъ почувствовалъ себя безпомощнымъ и подавленнымъ этою плотною семинарскою фигурой. Докторъ былъ ему противнѣе, чѣмъ арендаторъ. Съ тѣмъ можно было прекратить разговоръ и выпроводить, а этого надо выносить, да еще ждать отъ него выздоровленія.

— Сами-то вы не сможете перебраться на диванъ? — спросилъ докторъ.

Стагинъ позвонилъ. Левонтій сталъ у двери, поглядывая разомъ и на доктора, и на барина.

— Ты, старичище, сможешь ли подъ мышки его взять?

Вопросъ доктора рѣзнулъ Стагина по нервамъ. Слово „его“ въ особенности показалось ему безцеремоннымъ.

„Этакое грубое животное!“ — выбранился про себя Вадимъ Петровичъ и съ оханьемъ сталъ подниматься самъ съ кушетки.

— Подъ мышки! Подъ мышки бери! — приказывалъ Стагинъ.

Но руки Левонтія задрожали отъ натуги; онъ взялъ барина подъ мышки, потянулъ къ себѣ, но Стагинъ сдѣлалъ неловкое движеніе, и старикъ выпустилъ его.

Раздался острый крикъ. Въ правомъ колѣнѣ нестерпимо зажгло.

— Вонъ какъ заголосилъ! Ну, такъ оставайтесь тутъ, коли такъ...

— Оставьте меня въ покоѣ!—продолжалъ гнѣвно кричать Стягинъ.

— Я бы съ моимъ удовольствіемъ,—отвѣтилъ все такъ же безцеремонно докторъ,—не у меня лихая болѣсть приключилась, а у васъ...

— И вы ее даже опредѣлить не можете! — крикнулъ Стягинъ, переставшій церемониться съ докторомъ.

Онъ его сравнивалъ съ парижскими извѣстностями, къ которымъ обращался нѣсколько разъ. Тѣ, быть-можетъ, и шарлатаны, и деньгу любятъ, но формы у нихъ есть, декорумъ, уваженіе къ своей наукѣ и къ страданіямъ пациентовъ. А у этого кутейника ничего, кромѣ грубости и зубоскальства не только надъ больнымъ, но даже и надъ своею наукой, которую онъ ни въ грошъ не ставитъ, рисуетъ этихъ и цинически хапаетъ деньги за визиты и консилиумы.

— А вамъ легче отъ этого станетъ? Съ діагнозомъ вотъ такъ голосить будете или безъ діагноза—одна сласть!

Докторъ говорилъ это, сидя на краю кушетки и раскрывая ноги Вадима Петровича, укутанныя фланелевымъ одѣяломъ.

— Пожалуйста, осторожиѣ!.. У васъ руки холодныя!..

На этотъ возгласъ больного докторъ не обратилъ вниманія и только скосилъ свой широкій ротъ въ усмѣшку полного пренебреженія къ привередливости заѣзжаго барина.

Онъ осмотрѣлъ обѣ ноги, и его толстые, жесткіе пальцы начали ощупывать опухоль колѣна. Вадимъ Петровичъ крѣпился, когда докторъ трогалъ колѣно лѣвой ногой, но прикосновеніе къ правому заставило его крикнуть и схватить за руку доктора.

— Будьте осторожиѣ! У васъ не руки, а лапы! — закричалъ онъ, не сдерживая себя. — Вамъ четверопогихъ лѣчить, а не порядочныхъ людей!..

Въ глазахъ доктора блеснуло желаніе оборвать привередника, но онъ только всталъ, широко развелъ руками и отошелъ къ столу, гдѣ положилъ передъ тѣмъ свою вотивовую шапку.

— Этакъ, баринъ, неистовствовать нельзя-съ, — глухо

выговорилъ онъ. — Въ Парижѣ, небось, прыгаете передъ каждымъ питукаремъ-шарлатанишкой, а здѣсь ругаться изволите!.. Имѣю честь кланяться!

Въ эту минуту вошелъ Лебедянцева. Левонтій, впустившій его, заглянулъ опять въ дверь, испуганный крикомъ Вадима Петровича.

— А, дружище! — астрѣтилъ докторъ Лебедянцева. — Вашъ пріятель изволилъ меня сейчасъ коноваломъ обозвать... Я къ такимъ фасонамъ не привыкъ! Мы въ Москвѣ хоть и лыкомъ шитые, однако, и у насъ есть своя амбиція...

— Что такое, что такое? — тревожно пожимаясь, спрашивалъ Лебедянцева, переходя отъ доктора къ больному.

— Левонтій! — крикнулъ Стягинъ, — укутай мнѣ ноги! Что это за варварство... все разворотить и оставить меня такъ.

Хныкающіе звуки голоса показывали, что Стягина совсемъ уже забирала болѣзнь.

Левонтій бросился укутывать ему ноги. Лебедянцева задержалъ доктора у дверей и шопотомъ сталъ упрашивать его не сердиться на больного.

— Видите, какъ приспичило!.. Поневолѣ бѣлугой запоешь! — говорилъ онъ, прерывая себя короткимъ смѣхомъ, который доходилъ до слуха Стягина и еще болѣе гнѣвилъ его.

— Мало ли что!.. Посылайте за кѣмъ хотите! Я не буду ѣздить, — отрѣзалъ докторъ и шумно взялся за ручку двери.

И въ передней Лебедянцева продолжалъ упрашивать его прислать кого-нибудь изъ своихъ ординаторовъ.

— Нѣтъ, батенька, — доносился до Стягина хриплый басъ, — посылайте за кѣмъ хотите. Надо этихъ парижскихъ-то мусьяковъ учить.

И скрипучіе, тяжелые шаги слышались внизъ по старой деревянной лѣстницѣ.

— Что же это, Вадимъ Петровичъ? Постыдись, братецъ! Изъ-за своего бабьяго нервничанья лишился такого врача!

Стягинъ не далъ пріятелю докончить.

— Молчи! — крикнулъ онъ на него. — Этого кутейника я видѣть не могу! Только у васъ въ Москвѣ могутъ терпѣть подобныхъ неотесанныхъ дубинъ!

— Ну, и валяйся!

— И буду валяться. Не троган! — крикнулъ онъ на Ле-

вонтія.—Не ужѣешь! Господи! сидѣлку мнѣ надо, больше никого!.. И той не найти въ этомъ ужасномъ городѣ.

— Да кто тебѣ сказалъ, что не найти? — обидчиво возразилъ Лебедянцева. — Ты не просилъ достать. Да и сидѣлка ни одна не вытерпитъ, — такъ ты дуришь!..

— Послушай, Лебедянцева, — больной выпрямился и сидѣлъ блѣдный, обливаясь потомъ, пересиливая боль, — послушай! Зачѣмъ ты мнѣ прислалъ этого костоправы, подлѣкара? Развѣ можно выносить его тонъ? И ты его пріятель!.. Онъ тебѣ говоритъ: дружище! Это твои пріятель!.. Вотъ до чего ты опустился!.. Ты жиришься со всею этою грубостью, со всѣмъ этимъ доморощеннымъ свинствомъ!

— Не ругайся, — перебилъ его Лебедянцева. — Пріѣхалъ сюда, такъ надо ладить съ нами. Небось, вотъ съ острымъ ревматизмомъ въ Парижъ не перелетишь!

— Молчи, молчи! Вы здѣсь меня уморите; смотрите на васъ, слушать васъ — мочи нѣтъ!

И опять вся неудача его поѣздки въ Москву, аренда-торъ, трудность ликвидировать свои дѣла, внезапная болѣзнь, перспектива долгаго лежанья наполнили его горечью и злостью.

— Дуришь! Точно истерическая бабенка! Противно и мнѣ слушать, — выговорилъ Лебедянцева и спросилъ вслѣдъ за тѣмъ: — На диванъ тебя перенести, что ли?

Вадимъ Петровичъ хотѣлъ что-то гнѣвное отвѣтить, но отъ боли закричалъ благимъ матомъ и впалъ въ обморокъ.

Левонтія ахнулъ и отъ испуга заметался. Лебедянцева заставилъ его перенести больного на постель, и оба начали приводить его въ чувство.

— Вотъ такъ натура, вотъ такъ натура! — повторялъ Лебедянцева, тыча ему въ носъ склянку съ какимъ-то спиртомъ.

## VI.

Вторую недѣлю лежитъ Вадимъ Петровичъ, уже не на диванѣ, а на кровати, за ширмами. Его болѣзнь, послѣ острыхъ припадковъ, длившихся нѣсколько дней, перешла въ періодъ менѣе мучительный, но съ разными новыми осложненіями.

Лѣчитъ его другой докторъ, Навель Степановичъ. Онъ знаетъ его только по имени и отчеству; узнать фамилію

не полюбобытствовалъ. Павелъ Степановичъ ладить съ нимъ. У него добродушное, улыбающееся лицо коренного москвича, веселые глаза, ласковая рѣчь, въ манерахъ мягкость и порядочность. Онъ умѣетъ успокоить и лѣчить, не кидаясь изъ стороны въ сторону, любитъ объяснять ходъ болѣзни, но дѣлаетъ это такъ, чтобы больной, слушая такіа объясненія, не смущался, а набирался бодрости духа.

Бодрости еще очень мало въ душѣ Вадима Петровича. Всего больше удручаетъ его постоянное лежанье. Въ груди онъ тоже сталъ ощущать боль и смертельно боится, что у него не ревматизмъ, а подагра, которая подбирается къ сердцу,—и тогда конецъ.

Но не столько о смерти думаетъ онъ, сколько рвется вонъ изъ Москвы, изъ Россіи, и какъ только ему получше и онъ можетъ собираться съ мыслями, онъ шепчетъ: „Инквизація!“

Ликвидировать свои дѣла! Но какъ это сдѣлать? Арендатора онъ упустилъ. Другихъ жди. Покупщиковъ на домъ тоже надо подыскать, не продешевить. Домъ не заложенъ нигдѣ, что, по теперешнему времени, большая рѣдкость. Заложить и бросить, чтобы онъ стоялъ безъ дохода и только отягощалъ его бюджетъ ежегодными платежами процентовъ?

Болѣзнь затягивается такъ отъ погоды — кислой, безъ солнца, чисто-петербургской; а потомъ пойдутъ морозы, нельзя будетъ носу показать на улицу, чтобы не схватить рецидива. Пошлютъ на югъ. Вся зима пропадетъ даромъ и надо будетъ опять приѣзжать сюда, ѣхать въ имѣніе, искать арендатора, искать покупателей на домъ.

Сегодня Вадимъ Петровичъ проснулся, попробовалъ вытянуть правую ногу, испугался боли отъ малѣйшаго пеловкаго движенія и застылъ въ неподвижномъ положеніи.

Въ комнатѣ игралъ уже свѣтъ на изразцовой печкѣ. Верхъ ся виденъ ему изъ-подъ ширмы. Свѣтъ пробился въ боковую скважину между шторой и краемъ рамы. Но больному захотѣлось, чтобы штору подняли. Онъ позволилъ слабою, сильно похудѣвшею рукой.

Теперь за нимъ, кромѣ Левонтія, ходилъ еще мальчикъ, Митя, отысканный дворникомъ, изъ какихъ-то учениковъ, смысленный и опрятный. Старикъ такъ и остался при больномъ баринѣ, раздражалъ его своею медленностью и

шамканьемъ, но, минутами, трогалъ своею преданностью.

Вошелъ Митя, черноволосый паренекъ лѣтъ четырнадцати, въ короткомъ пиджакѣ. Онъ, по распоряженію Левонтія, носилъ темныя валенки, чтобы не издавать никакого шума. Стягинъ велѣлъ ему приподнять штору въ среднемъ окнѣ и подать себѣ умыться. Онъ долженъ былъ умываться въ постели, обтиралъ себѣ лицо и руки полотенцемъ, смоченнымъ въ водѣ съ уксусомъ. Митя упрямился около него ловко, и больной ни разу на него еще не закричалъ.

— Вѣра Ивановна пришла? — спросилъ мальчика Стягинъ, послѣ того, какъ онъ, съ его помощью, перебрался на диванъ, куда ему Левонтій подавалъ чай. Это передвиженіе онъ могъ себѣ позволить не каждый день.

— Никакъ нѣтъ, еще не приходили.

Лебедянцева нашелъ ему чтицу, Вѣру Ивановну Федюкову. Она дня два исполняла и обязанность сидѣлки, когда, ночью, дѣлались съ нимъ припадки и надо было часто мѣнять компрессы и безпреставно давать лѣкарство. Теперь она приходитъ по утрамъ и остается цѣлый день.

Вадимъ Петровичъ не сразу согласился на приглашеніе этой „дѣвы“, какъ онъ называлъ ее про себя; требовалъ простую сидѣлку. Лебедянцева долго убѣждалъ его, говоря, что Вѣра Ивановна будетъ вдвойнѣ полезна, что она ходила за больными, дѣвушка простая и безъ малѣйшихъ претензій, да, вдобавокъ, хорошая чтица на трехъ языкахъ.

— По-французски, ужъ извини, парижскаго акцента у ней не окажется, — говорилъ Лебедянцева, — а читаетъ прилично и толково.

Лебедянцева съ Вадимомъ Петровичемъ ни въ какіе споры не вступалъ, больше не говорилъ ему съ хихиканьемъ: „вотъ натура!“ — и находилъ, что лѣченіе идетъ успѣшно.

По утрамъ, во время питья чаю, — кофе докторъ не позволялъ больному, — Вадимъ Петровичъ слушалъ чтеніе газетъ.

Ровно въ десять приходила его чтица.

— Какой часъ? — спросилъ Стягинъ мальчика.

— Безъ четверти десять.

— Чаю!..

На диванѣ ему пріятнѣе лежать, чѣмъ на кровати, гдѣ столько пришлось выстрадать и столько приходило не-

чальныхъ мыслей. Сегодня ему гораздо лучше, нѣтъ женья и колотья въ полости сердца, и правою ногой онъ можетъ полегоньку двигать.

Вадимъ Петровичъ оправилъ свой домашній костюмъ, причесался передъ ручнымъ овальнымъ зеркаломъ и завязалъ на шеѣ бѣлый фуляръ.

Чтица, въ первые два дня, стѣсняла его. Онъ совсѣмъ отвыкъ отъ русскихъ женщинъ, особенно отъ такихъ, какъ эта Вѣра Ивановна. Гораздо лучше было бы ему имѣть дѣло просто съ грамотною сидѣлкой, а эта—изъ „интеллигентныхъ“—такъ отрекомендовалъ ее Лебедянцева. Онъ и теперь еще не нашелъ съ ней настоящаго тона и ни о чемъ ее не спрашиваетъ. Ему какъ будто досадно за то, что она ухаживала за нимъ двѣ ночи, что онъ при ней нервничалъ, плохо выносилъ приступы болей. Той интимности, какая устанавливается между больнымъ и женщиной, ухаживающею за нимъ, онъ не искалъ. Но она такъ себя держитъ, что ему нечего особенно стѣсняться, читаетъ не тихо и не громко, грамотно, выговариваетъ очень пріятно. Во всемъ существѣ этой чтицы есть что-то мягкое, непритязательное и порядочное, на особый ладъ.

Вчера Вадимъ Петровичъ невольно сравнивалъ ее съ француженками. Двадцать слишкомъ лѣтъ провелъ онъ въ обществѣ совсѣмъ другихъ женщинъ. Тѣ до сихъ поръ кажутся ему единственными существами женскаго пола, въ которыхъ есть хоть что-нибудь занимательное, способное вызывать въ мужчинѣ хоть минутный интересъ.

И какъ эта Вѣра Ивановна не похожа на ту парижанку, что осталась тамъ, въ Парижѣ, дожидать его возвращенія изъ Москвы! Она желала ѣхать съ нимъ въ Россію, но онъ отклонилъ это. Ей просто захотѣлось имѣть надъ нимъ контроль на случай ликвидаціи его дѣлъ.

Связь ихъ длится около десяти лѣтъ. Онъ чувствуетъ, что ему не избѣжать отправленія въ мерію, какъ только минуетъ срокъ для нея, послѣ развода съ первымъ мужемъ, вступить въ новый бракъ. Во Франціи раньше трехъ лѣтъ нельзя; но въ Россіи онъ могъ бы обвѣнчаться съ нею, въ крайнемъ случаѣ, и теперь.

Недѣлю тому назадъ, когда болѣзнь схватила его такъ внезапно и сильно, Лебедянцева телеграфировала ей отъ его имени, и она дала отвѣтную депешу, что выѣзжаетъ немедленно. Вадимъ Петровичъ послалъ вчера новую те-



леграмму—удержалъ ее отъ поѣздки, извѣщалъ, что чувствуетъ себя получше и общалъ въ письмѣ подробно рассказать ей ходъ болѣзни.

Эту вторую депешу онъ послалъ опять черезъ Лебедянцева. Тому извѣстна была его связь; но они о ней никогда не переписывались, да и здѣсь не говорили.

Сегодня надо было продиктовать письмо въ Парижъ. Самъ онъ еще не владѣлъ настолько правой рукой, — въ сочлененіяхъ была еще опухоль, — чтобы написать большое письмо. Лебедянецъ французскимъ языкомъ владѣлъ плохо и врядъ ли когда ему приходилось написать десять строкъ подъ диктовку.

Надо попросить Вѣру Ивановну. Она должна правильно писать, судя по тому, какъ она читаетъ. Вадима Петровича затруднялъ не вопросъ о ея знаніи французскаго языка. Ему не хотѣлось вводить эту дѣвушку въ свою интимную жизнь. Положимъ, можно употребить вездѣ мѣстоименіе „вы“ и называть свою сожительницу „mon amie“, что онъ и дѣлаетъ при постороннихъ въ разговорѣ. Но, все-таки, онъ испытывалъ нѣкоторую неловкость.

Письмо слѣдуетъ продиктовать сегодня же. Необходимо въ-время предупредить Леонтину и настоять на томъ, чтобы она не пріѣзжала сюда. Онъ жалѣлъ и о томъ, что первая его депеша была такая малодушная. Дѣло идетъ, кажется, къ лучшему, да если бъ и явилось осложненіе, теперь за нимъ есть хорошій уходъ.

## VII.

Чтица и добровольная сидѣлка Вадима Петровича и на этотъ разъ пришла ровно въ десять часовъ, хотя жила въ Плетешкахъ, на Разгуляѣ.

Ея рослая фигура, когда она отворяла половинку дверей, въ неизмѣнномъ темномъ платьѣ, показалась Стягину гораздо стройнѣе, чѣмъ въ предыдущіе дни. Ея густые, золотистые волосы были красиво причесаны. Лицо, нѣсколько полное, съ пріятнымъ оваломъ, короткимъ носомъ и большими сѣрыми глазами, тихо улыбалось, какъ бы безъ словъ говорило привѣтствіе больному.

Вадимъ Петровичъ подумалъ:

„Почему я ее находилъ неуклюжею и некрасивою?.. Она очень видная особа...“

Федюкова держала подъ мышкой двѣ газеты. Она ихъ покупала по дорогѣ.

— Добраго здоровья, Вадимъ Петровичъ,—выговорила она низкимъ, слегка вздрагивающимъ голосомъ. — Я съ холода, позвольте мнѣ здѣсь посидѣть, я отсюда и читать могу.

— Чаю хотите? — спросилъ Стягинъ, какъ дѣлалъ это каждый разъ.

Этотъ вопросъ о чаѣ начиналъ ихъ утро. Съ такими обязательными фразами Стягину было ловчѣе. Вѣра Ивановна не говорила ничего лишняго и какъ бы дожидалась всегда вопроса, но тонъ ея отвѣтовъ онъ находилъ очень порядочнымъ и звукъ ея голоса не раздражалъ его.

Онъ зналъ, что она ему скажетъ, входя: „добраго здоровья, Вадимъ Петровичъ“, и уходя: „всего хорошаго“ — чисто-московскую поговорку, которую, еще въ его студенческие годы, употребляли многіе изъ товарищей.

Левонтін самъ подавалъ Федюковой чай, всякій разъ кланялся ей на особый манеръ и тихо выговаривалъ:

— Здравствуйте, матушка-барышня!

Онъ съ нею ладилъ. При ней онъ становился расторопнѣе, даже ночью. Въ ту ночь, когда Стягину было особенно тяжело, Вѣра Ивановна показала, какъ она умѣетъ ходить за больнымъ, какой у ней ровный характеръ и сколько находчивости.

— Барышня первый сорты! — доложилъ о ней Левонтій барину, улучивъ минуту. — Даромъ, что изъ нынѣшнихъ. Одначе не стрижется и вокругъ себя опрятна, и души отчѣнной... это сейчасъ, батюшка, видно.

Левонтій подалъ Федюковой чай. Она развернула одинъ изъ газетныхъ листовъ, принесенныхъ съ собою.

— Вѣра Ивановна, — окликнулъ Стягинъ и поправилъ на шеѣ фуляръ.

— Что угодно?

Голосъ ея положительно нравился ему, и сдержанно-мягкая манера говорить. Онъ думалъ въ эту минуту о своей парижской подружцѣ и необходимости продиктовать письмо къ ней, и ея голосъ — картавый, вѣчно охрипый — слышался ему очень отчетливо. И какъ могъ онъ выносить его больше десяти лѣтъ?

Этотъ вопросъ заставилъ его гораздо быстрѣе, чѣмъ онъ говорилъ, отвѣтить чтицѣ:

— Вы потрудитесь прочитать мнѣ однѣ депеши... Остального текста пока не надо!

— Очень хорошо, Вадимъ Петровичъ.

И звукъ, какимъ она произносила его имя, правилъ ему сегодня больше, чѣмъ въ предыдущіе дни.

Денешні были скоро прочитаны и показались крайне неинтересными: все больше про какія-то безвкусныя пренія въ венгерскомъ сеймѣ и о предстоящихъ поѣздкахъ какихъ-то коронованныхъ особъ.

— Вѣра Ивановна, — остановилъ чтиду Стягинъ, — у меня къ вамъ есть просьба...

— Что прикажете?

— Васъ не затруднитъ написать письмо подъ мою диктовку?

— Съ удовольствіемъ.

Она взглянула на него съ выраженіемъ полной готовности; но въ ея взглядъ не было ничего заискивающего. Въ этой дѣвушкѣ чувствовалось большое внутреннее достоинство.

— Только это... во-французски, — сказалъ онъ осторожно.

— По-французски, — повторила она и немного задумалась. — Боюсь, будутъ ошибки...

— Это не важно!

— Письмо не офиціальное?

— Нѣтъ, нисколько!.. Чисто-дружеское...

Вадимъ Петровичъ немного заппудся...

— Попробую... Вы не взыщите...

— Почеркъ у васъ разборчивый?

— Кажется.

— Это главное.

И мысленно онъ добавилъ:

„Можно такъ продиктовать, что она не догадается, къ кому обращено — къ мужчинѣ или къ женщинѣ, а потомъ и карандашомъ выведу въ началѣ письма: „Ma chère amie“.

Вѣра Ивановна сѣла къ письменному столу и открыла дорожный бюваръ Стягина, гдѣ лежали листки матовой бумаги и конверты съ его монограммой.

— Я готова, Вадимъ Петровичъ, — выговорила она и обмахнула перо.

Стягинъ весь подобрался и немного даже покраснѣлъ. Онъ искалъ первую фразу письма.

— Je vous salue, chère amie, — началъ онъ и тотчасъ прервалъ себя.

Слова „chère amie“ вылетѣли непринужденно, и это сильно раздосадовало его. Онъ ихъ произнесъ съ чисто-французскою отчетливостью — протянулъ послѣдній слогъ въ словѣ „amie“, съ удареніемъ на „е“. Ясно стало, что онъ пишетъ женщинѣ.

— Chère amie, — повторила Вѣра Ивановна. — Я написала...

Было уже бесполезно искать какихъ-нибудь уловокъ. Это его успокоило, и онъ продолжалъ диктовать. Федюкова, конечно, могла подумать, что онъ пишетъ своей возлюбленной и сожительницѣ, — она знала, что онъ не женатъ, — но въ тонѣ его письма ничего не было такого, чего бы нельзя написать близкой знакомой или родственницѣ.

Вадимъ Петровичъ нѣсколько разъ повторилъ въ письмѣ, что ѣхать ей въ Россію нѣтъ теперь надобности, что ему лучше, и онъ надѣется, черезъ двѣ-три недѣли, быть въ Парижѣ. Диктовалъ онъ съ умышленною медленностью, и Федюкова нѣсколько разъ говорила, поворачивая голову въ его сторону:

— Есть!

Когда письмо было кончено, Вадимъ Петровичъ сказалъ чтицѣ:

— Адресъ послѣ...

Ему не хотѣлось, чтобы она узнала имя, фамилію и адресъ той женщины.

— Очень вамъ благодаренъ, — сказалъ онъ съ удареніемъ и весь вытянулся.

Въ ногахъ онъ чувствовалъ маленькую неловкость, но общимъ своимъ состояніемъ былъ сегодня особенно доволенъ.

— Теперь почитаемъ еще немного, если вы не устали, Вѣра Ивановна.

— Нисколько!

Она взяла опять газету. Стягинъ опустилъ голову на подушку и закрылъ глаза. Русское чтеніе вслухъ, отъ котораго онъ отвыкъ, вызывало въ немъ дремоту, не достаточно будило его мозгъ.

— Вѣра Ивановна! — остановилъ онъ ее. — А если бы вы почитали мнѣ по-французски?

— Охотно, Вадимъ Петровичъ, да не знаю, какъ вамъ нравится мое произношеніе. Вы — парижанинъ, и я такъ не сумѣю произносить, какъ вы.

Она тихо разсмѣялась.

— Вы хорошо читаете!.. Вонъ тамъ, на столѣ, книжка въ зеленоватой обложкѣ... Извините, что это будетъ для васъ суховато немножко.

— Вотъ эта?—спросила Федюкова и показала ему, съ мѣста, книжку въ зеленоватой обложкѣ.

И, поглядѣвъ на заглавіе, она выговорила, какъ бы про себя:

— По психологiи... Это очень интересно...

— Имя автора вамъ извѣстно? — спросилъ осторожно Стягинъ.

— Да... Я читала его другія вещи... въ такомъ же родѣ...

Федюкова выговорила это съ опущенными рѣсницами, серьезно, безъ всякой рисовки.

— Вы интересуетесь психологіей? — спросилъ Стягинъ оживленно.

— Очень. Только новыя книги трудно доставать, а покупать... для меня дорого... Вы позволите начать?

— Сдѣлайте одолженіе!

Выговоръ ея былъ слишкомъ мягкій, но приличный. Она дѣлала ошибки въ выговариваніи гласныхъ, и звукъ фразъ выходилъ русскій. Но въ общемъ онъ оставался доволенъ и очень былъ радъ тому, что она владѣетъ французскимъ языкомъ гораздо больше, чѣмъ онъ ожидалъ.

Нѣкоторые термины заставляли Федюкову останавливаться, и она спрашивала ихъ объясненія, но это случилось рѣдко.

И послѣ cadaго объясненія, которое нисколько не утомляло его, Владимъ Петровичъ обращался мысленно къ той, кому онъ продиктовалъ письмо.

Та до сихъ поръ чужда всякаго научнаго интереса. Для нея серьезная книга только „un bouquin“. Она находитъ пустымъ занятіемъ чтеніе всякихъ такихъ „bouquins“ и смотритъ на него, какъ на лѣнтяя, не знающаго, какъ занять свои досуги. Когда ему случалось заболѣвать въ Парижѣ, она еле-еле способна была прочитатъ ему нѣсколько столбцовъ изъ „Figaro“, и ея чтенія—картаваго, трескучаго и малограмотнаго—онъ почти не выносилъ, даромъ что у ней парижскій акцентъ.

И опять онъ подолгу останавливался, смотря вкось, на фигурѣ Вѣры Ивановны, ея бюстъ, свѣжести лица, прекрасныхъ волосахъ.

„Уже не дѣвочка, зрѣлая дѣвица, а какъ свѣжа!“

Та, кому онъ сейчасъ диктовалъ, давно уже красится на разные лады. Да онъ и не помнить, чтобы она когда-нибудь была свѣжа и не подкрашена. И волосы у ней не свои. И душится она нестерпимо сильно. Войди она сейчасъ сюда—онъ совсѣмъ бы не обрадовался; сейчасъ между ними пошли бы раздраженные разговоры, и онъ, навѣрное, провалился бы больше, лишившись своего теперешняго покоя.

### VIII.

Визитовъ доктора Вадимъ Петровичъ дожидался съ удовольствіемъ.

Вотъ и сегодня, когда Вѣра Ивановна ушла, по его порученію, на Кузнецкій—купить книгу у Готье и еще чего-то у Швабе,—онъ привѣтливо поздоровался съ Павломъ Степановичемъ Яхонтовымъ.

— Добропорядочно ведете себя, — говорилъ докторъ, присаживаясь на край кушетки, — добропорядочно. Если такъ пойдетъ—черезъ недѣлю на выписку можете.

— А морозы?—спросилъ Стигивъ и указалъ движеніемъ головы на окно.

— Морозы?—ничего! Въ каретѣ будете ѣздить.

— Да, по Москвѣ... А если понадобится отправляться въ деревню?

— Увидимъ, увидимъ!.. Большихъ морозовъ еще не будетъ, Богъ дастъ!.. А пока надо о ближайшемъ думать, впередъ труса не праздновать. Теперь за вами образцовый уходъ... Барышня-то у васъ, Вѣра-то Ивановна—золото... Приятель вашъ чистое вамъ благодѣліе оказать.

— Вы ее знали и прежде? — спросилъ съ интересомъ Стигивъ.

— Какъ же... черезъ Лебедянцева. Особа достойнѣйшая. Вся семья ею держится... Мать почти слѣпая. Сестренка въ гимназій, братъ—студентъ. Вотъ она при васъ почти цѣлый день, а усиѣваетъ еще урокъ дать и по ночамъ работаетъ.

— И какъ свѣжа!

— Хотя питаніе, навѣрное, было всегда плохое... Крѣпкій!.. Выносливая, героическая натура... Хорошаго бы мужа... Всякаго осчастливить. Да нынѣшніе молодые люди на женитьбу туги.

— Она ужъ не очень юна? — тономъ вопроса выговорилъ Стягинъ.

— Лѣтъ двадцать семь-восемь — не меньше.

— А-а, — протянулъ Стягинъ и ему стало почему-то пріятно, что Вѣрѣ Ивановнѣ подъ тридцать, при такой свѣжести, красивомъ, молодомъ лицѣ и видномъ станѣ.

Ему захотѣлось даже успокоить доктора насчетъ того, какъ Вѣра Ивановна теперь питается у него. Онъ оставилъ ее и обѣдать. Леонтій нашелъ старика-повара, ходившаго къ нему въ богадѣльню, умѣющаго отлично готовить для больныхъ; но Вѣра Ивановна получала полный обѣдъ.

— Да, рѣдкая дѣвушка! — выговорилъ докторъ и погладилъ себя по крутому лбу.

Въ первый разъ Стягину такъ легко было вести разговоръ съ москвичемъ, испытывать на себѣ его добродушіе и славянскую мягкость, и сочувственно думать о женщинѣ, которая такъ умѣло и пріятно ходитъ за нимъ.

Какъ разъ въ эту минуту тихо отворилась дверь, и въ комнату вошла Федюкова.

— А! Вѣра Ивановна! — шумно встрѣтилъ ее докторъ, всталъ и крѣпко потрясъ ея руку.

И Стягинъ протянулъ было ей свою, но она сказала ему:

— Я съ холоду, Вадимъ Петровичъ.

— Откуда Богъ несетъ? Изъ дому? — спросилъ докторъ.

— Нѣтъ, я ѣздила на Кузнецкій, а оттуда завернула на минуту къ Лебедяnceвымъ...

Лицо Вѣры Ивановны затуманилось. Стягинъ это тотчасъ же замѣтилъ.

— Почему онъ пропалъ? Глазъ не кажетъ?

На этотъ возгласъ Стягина Федюкова, обращаясь больше къ доктору, потише выговорила:

— У нихъ опять большая бѣда...

— Что такое? — вскричалъ Стягинъ. — Отчего же онъ мнѣ не дастъ знать?.. Вотъ чудакъ!..

— Съ Марьей Захаровной не ладно? — увѣренно спросилъ докторъ.

— Да, Павелъ Степановичъ... припадки сильнѣе прежнихъ и такъ неожиданно.

— Кто же позванъ?

— Я не знаю, какъ его фамилія.

— Большая irritaція, значитъ?

— Большая... Я послала сестру Соню къ нимъ... При дѣтяхъ бонна такая неумѣлая. Дмитрій Семенычъ не знаетъ, какъ ему и разорваться.

— И мнѣ ничего не далъ знать!—вырвалось у Стягина, и онъ завожился на кушеткѣ.

Ему стало досадно на пріятеля за такую скрытность и какъ бы немного совѣстно передъ Федюковой за то, что онъ ничего не знаетъ про бѣду, случившуюся съ Лебединцевымъ.

— Вы не заѣдете ли, Павелъ Степановичъ? — тономъ полувопроса выговорила Федюкова.

Стягинъ гладѣлъ на ея немного поблѣднѣвшее лицо и на выраженіе большихъ глазъ. Она сдерживала волненіе. И видъ ея душевнаго разстройства трогалъ его.

— Какъ же, какъ же, — зачастилъ докторъ, — сейчасъ поѣду. Если пригласили Коровина — она въ хорошихъ рукахъ.

— Кажется, я не знаю навѣрное.

— Пожалуйста, докторъ, — остановилъ его Стягинъ, — скажите Лебединцеву, чтобы онъ далъ мнѣ знать, что у него, и завернулъ бы когда можно будетъ.

— Ладно, ладно... А вы — молодцомъ! Никакими новыми лѣкарствами пичкать васъ не слѣдуетъ... Наружныя средства только... Завтра я не буду. Никакого осложненія не предвидится. Только лежите поспокойнѣе и не сердитесь на то, что попали въ ловушку!..

Веселый смѣхъ доктора разнесся по комнатѣ.

Его проводила въ переднюю Федюкова, тамъ о чемъ-то тихо поговорила съ нимъ и тотчасъ же вернулась.

Любопытство Стягина было возбуждено, — именно любопытство, а не сердечное участіе къ пріятелю. Онъ продолжалъ досадовать на Лебединцева и ему какъ бы неприятно сдѣлалось отъ того, что Федюкова съ такимъ разстроеннымъ лицомъ говорить о бѣдѣ, постигшей его пріятеля.

— Что такое у Дмитрія Семеныча?—спросилъ онъ, какъ только Федюкова показалась въ дверяхъ.

Она не сразу отвѣтила, сѣла у стола и тихо опустила руки по колѣнамъ.

— Вы развѣ совсѣмъ не знаете Марью Захаровну?

— Жену Лебединцева?

— Да.

— Видѣлъ... очень мало...



— Давно?

— Не помню, въ одинъ изъ моихъ прїѣздовъ въ Москву, лѣтъ больше пяти тому назадъ... Онъ только что женился тогда...

Вспомнилась ему, когда онъ говорилъ эти слова, тѣсная квартира Лебедянцева гдѣ-то на Садовой. Жена показалась ему „кухаркой“, онъ нашелъ, что у ней ужасный тонъ и что жениться на такой некрасивой и скучной женщинѣ—совершенная нелѣпость. Потомъ онъ никогда о ней не думалъ и въ рѣдкихъ письмахъ къ пріятелю ни разу не передавалъ ей даже поклона.

— Это—превосходная женщина!—начала Федюкова и оправила рукой волосы жестомъ, который Стягинъ находилъ очень красивымъ.

— Очень ужъ, кажется, незанимательна.

— На цей взглядъ, Вадимъ Петровичъ. Чудесной души и вѣрный товарищъ мужа... Вѣдь у нихъ четверо дѣтей!

— Зачѣмъ столько?.. Разводить нищихъ!..

Федюкова поглядѣла на него съ недоумѣніемъ, и взглядъ ея сѣрыхъ, вдумчивыхъ глазъ смутилъ его.

— Вы возмущились тѣмъ, что я сказалъ?—спросилъ онъ съ усмѣшкой.

— Какъ же быть?—выговорила она.

Эта фраза звучала странно въ устахъ дѣвицы, но Вѣра Ивановна выговорила ее спокойно и цѣломудренно.

— Положимъ!—поспѣшилъ онъ оговориться. — Такъ что жъ съ ней? Какіе припадки?

— Когда она... въ такомъ положеніи,—и это Федюкова выговорила совершенно просто,—на нее находитъ психопатическое состояніе.

— Съ ума сходить?—рѣзко спросилъ Стягинъ.

— Временно... Иногда припадки неопасны, тихое разстройство... Она хохочетъ, валяется по полу, какъ маленький ребенокъ. А на этотъ разъ... гораздо сильнѣе... Вчера, говорятъ, былъ ужасный припадокъ... Такъ жаль!

И она смолкла. Въ голосѣ слышались слезы.

Стягина начало разбирать какое-то жуткое чувство. Ему впервые дѣлалось стыдно за себя передъ московскимъ пріателемъ. Никогда онъ не спросилъ его про жену, не зналъ даже, сколько у него дѣтей, двое или четверо, каково приходится ему выносить тяготу трудовой жизни съ большимъ семействомъ.

— Жаль и Дмитрія Семеныча!—продолжала Федюко-

ва.—Онъ все смѣется и балагурить, а какую выдержку надо имѣть! И такого честнаго, знающаго человѣка выгнали со службы!

— Когда?

— Въ прошломъ году.

— Да, вѣдь, онъ мнѣ говорилъ, что служить гдѣ-то.

— Въ одномъ частномъ обществѣ... И долженъ мириться съ ролью... конторщика.

По бѣлому и красивому лбу Вѣры Ивановны прошла тѣнь.

И по этой части Стягинъ оставался совершенно равнодушнымъ: хорошенько не распросилъ пріятеля, сколько онъ получаетъ жалованья, хватаетъ ли ему на жизнь, или онъ принужденъ перебиваться.

„Вѣдь я же заболѣлъ! — поспѣшилъ оправдаться про себя Стягинъ.—Когда же мнѣ было вступать съ нимъ въ интимные разговоры?.. Я бѣлугой вопилъ въ первые дни“.

Но онъ сообразилъ вслѣдъ за тѣмъ, что Вѣра Ивановна могла многое въ его отношеніяхъ къ пріятелю и товарищу найти слишкомъ черствымъ и брезгливо-барскимъ.

Ему стало не по себѣ, и онъ замолчалъ, не зная, какъ ему начать себя оправдывать.

Протянулась пауза.

— Деша, батюшка!

Левонтій внесъ депешу на подносѣ, какъ дворový, знающій хорошіе порядки.

— Барышня, на расписочкѣ расписаться надо, говоритъ телеграфистъ.

— Откуда?—тревожно спросилъ Стягинъ, когда Левонтій ушелъ съ распиской.

Она подала ему нераспечатанную депешу.

— Вы увидите наверху... Угодно, я прочту?

— Нѣтъ, я самъ могу...

У него засадило на сердцѣ. Ничего пріятнаго онъ не ждалъ.

Деша была изъ Берлина. Въ ней онъ прочелъ:

„Arrive Moscou dans deux jours.—Embrasse. Léontine“.

— Ахъ Ты, Господи!—не воздержался онъ и даже всплеснулъ руками.

Пріѣздъ его подруги, вмѣсто радости, приносилъ съ собою очень явственную досаду.

IX.

Сутки протекли для Вадима Петровича не очень покойно. Лебедянцевъ не пришелъ, а его-то и нужно было. Съ нимъ онъ могъ перетолковать о прїѣздѣ своей подруги, посоветоваться, гдѣ и какъ ее устроить.

Первая мысль была помѣстить ее въ гостиницѣ, но поблизости никакихъ отелей онъ не зналъ. Да она врядъ ли бы и согласилась на это. Вѣроятно, она привезетъ съ собой горничную; для той тоже нужна комната. Наверху, въ мезонинѣ, гдѣ онъ лежалъ, можно было ихъ кое-какъ помѣстить, но не хватало кроватей и постельнаго бѣлья.

Онъ распорядился, однако, чтобы тѣ комнаты протопили и почистили. Левонтій какъ будто о чемъ-то догадывался, и когда Вадимъ Петровичъ спрашивалъ его насчетъ кроватей, старикъ развелъ руками и выговорилъ:

— Ежели для барыни какой, такъ тамъ, изволите знать, нѣтъ никакого приспособленія.

Съ Вѣрой Ивановной Стягинъ какъ бы избѣгалъ разговора и тотчасъ же послѣ обѣда предложилъ ей поѣхать къ Лебедянцеву, узнать, въ какомъ состояніи его жена, и попросить его побывать на другой день, хоть на минутку. Онъ отправилъ свою чтицу, чувствовал, что если она останется весь вечеръ, то, въ антрактахъ между чтеніемъ, онъ непременно долженъ будетъ предупредить ее о прїѣздѣ Леонтины, а, можетъ-быть, не удержится и скажетъ что-нибудь лишнее.

Этотъ прїѣздъ рѣшительно смущалъ его и даже пугалъ. Устройство въ томъ же мезонинѣ двухъ парижанокъ перевернетъ все вверхъ дномъ. И Леонтина, и ея горничная будутъ шумѣть, переговариваться, изъ одной комнаты въ другую, своими картавыми, рѣзкими голосами. Ни та, ни другая не понимаютъ ни одного слова по-русски и за каждымъ вздоромъ будутъ бѣгать къ нему. Единственнымъ средствомъ наладить все это являлась Вѣра Ивановна, но захочетъ ли она остаться? Во всякомъ случаѣ, съ ней необходимо поговорить откровеннѣе, чѣмъ бы онъ желалъ.

Вечеръ протянулся для него съ несноснымъ чувствомъ одиночества. И чѣмъ больше онъ думалъ о томъ, какъ устроить здѣсь Леонтину, тѣмъ легче дѣлалось для него, до какой степени онъ мало радуется свиданію съ ней. Вотъ уже десять лѣтъ, какъ они сошлись, но никогда не

жили подъ одною кровлей. Даже и на водахъ, на морскихъ купаньяхъ, куда ѣзжали довольно часто, они оставались всегда въ разныхъ отеляхъ. Въ сущности, только этимъ путемъ и могли они кое-какъ ладить. Обыкновенно они или завтракали вмѣстѣ, или обѣдали. И очень часто, по крайней мѣрѣ, черезъ день, выходили у нихъ мелкія и крупныя ссоры. Въ ея присутствіи имъ овладѣвало даже постоянно тайное раздраженіе; всего больше отъ ея тона и привычки обо всемъ говорить увѣренно, готовыми фразами, какъ будто она преисполнена всевозможныхъ познаній. А между тѣмъ, она совершенно невѣжественна и всѣ ея умственные потребности сводятся къ чтенію, по утрамъ, „Petit Journal“. Потому, не могъ онъ выносить ея пренебрежительнаго, доходящаго до динизма, отношенія къ мужчине вообще. Сколько разъ возвращался онъ отъ нея до-нельзя взбѣшенный ея манерой третировать его. Кромѣ вульгарности натуры, въ этомъ было и еще нѣчто, общее французкамъ: точно будто она вымещала на немъ все то, что ей приводилось терпѣть отъ другихъ мужчинъ.

Длинный рядъ мѣсяцевъ и годовъ проходилъ передъ нимъ, и почти ни одного проблеска свѣта и радости, теплаго сочувствія или страстной вспышки. Она ему нравилась своимъ тѣломъ, туалетами, условнымъ кокетствомъ въ первое время ихъ связи, и очень скоро онъ затянулся въ самую обыкновенную привычку. Разрывать не было повода, потому что онъ не встрѣтилъ ничего болѣе привлекательнаго. Она была не первая встрѣтившаяся кокетка, а нѣчто въ родѣ дамы, не живущей съ мужемъ, развѣхавшейся съ нимъ по опредѣленію суда. Подробности этого процесса онъ не провѣрялъ по газетамъ. Разужбется, по ея рассказамъ выходило, что мужъ былъ ужаснѣйшее животное, проѣлъ ея приданое, развратничалъ, и ей ничего не стоило выиграть процессъ. Стягивъ никогда не спрашивалъ себя: „позво, такъ ли все это?“—и былъ доволенъ тѣмъ, что мужъ больше не появлялся и никакихъ не всплывало осложненийъ, въ видѣ дѣтей.

Ревности онъ къ ней не чувствовалъ. Помнится ему, что года черезъ полтора послѣ ихъ сближенія сталъ онъ замѣчать, что она сдѣлалась гораздо мягче, чаще выходила со двора, очень молодилась. Быть-можетъ, она его обманывала и тогда, и позднѣе, но онъ не хотѣлъ вонзоваться изъ-за этого. Съ годами сожителство приняло

характеръ чего-то обязательнаго и, послѣ формальнаго развода по новому закону, она, видимо, начала готовиться къ вступленію съ нимъ въ бракъ.

Сюда она явится какъ жена. Здѣсь ей не передъ кѣмъ скрываться. Если болѣзнь его затянется, она этимъ непремѣнно воспользуется.

И на другой день утромъ Вадимъ Петровичъ перебиралъ все тѣ же воспоминанія, переживая свою чтиду. Она пришла съ извѣстіемъ, что жену Лебедянцева должны были перевезти въ лѣчебницу, а самъ онъ заѣдетъ какъ только немножко управится дома.

— Вы очень разстроены, Вѣра Ивановна, — сказалъ ей Стягинъ. — Васъ, можетъ-быть, тянетъ туда? Дѣти остались безъ присмотра матери... А вы, кажется, принимаете въ нихъ такое участіе?

— Мнѣ очень ихъ жалко, — отвѣтила она сдержанно.

— Такъ вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь. Я могу и поскучать... Теперь мнѣ полегче...

— Я буду навѣщать ихъ, Вадимъ Петровичъ, съ утра, по дорогѣ къ вамъ.

— Знаете что, Вѣра Ивановна, чтобы васъ немножко разсѣять, позвольте дать вамъ маленькое хозяйственное порученіе?

— Очень рада...

— Да вы со мною все какъ-то церемонитесь; вѣроятно, считаете меня великимъ эгоистомъ. А я, право, готовъ принять участіе въ бѣдѣ Лебедянцева.

Она промолчала и немного исподлобья взглянула на него.

— Сколько же онъ долженъ будетъ платить за жену?

— Не меньше ста рублей въ мѣсяцъ.

— А жалованье у него какое?

— Врядъ ли онъ зарабатываетъ болѣе двухсотъ рублей.

— Только онъ чужакъ! Ничего не напишетъ!

— Дмитрій Семеновичъ очень гордъ... Вы развѣ его не знаете?

Этотъ вопросъ вызвалъ въ Стягинѣ совершенно новое для него желаніе: защитить себя немного въ глазахъ этой дѣвушки, вслухъ разобрать свои отношенія къ московскому пріятелю.

— Видите, Вѣра Ивановна, — заговорилъ онъ особенно мягко, — главное между людьми — найти настоящій тонъ. Вотъ я васъ знаю всего какую-нибудь недѣлю, а намъ,

кажется, совсѣмъ не трудно ладить другъ съ другомъ. Признаюсь, когда Лебедянцева предложилъ мнѣ ваши услуги, я боялся, что мнѣ это будетъ очень стѣснительно... Знаете, я отсталъ отъ русскихъ женщинъ и не совсѣмъ одобряю теперешній жанръ нашихъ дѣвицъ. Однако, мы съ вами ладимъ. А Лебедянцева, хотя и товарищъ мой по университету, но, живя здѣсь, въ Москвѣ, выработалъ себѣ невозможный какой-то тонъ, такъ что у меня не выходитъ съ нимъ никогда хорошаго товарищескаго разговора. Онъ меня ежесекундно шокируетъ своимъ хохотомъ, прысканьемъ, прибаутками.

— Можетъ-быть, онъ васъ оттого и раздражаетъ, Вадимъ Петровичъ, что вы отъ нашей московской жизни отстали. Она тихо усмѣхнулась.

— Можетъ-быть,—повторилъ Стагницъ.—Я понимаю, что и Лебедянцева отсталъ отъ меня и стѣсняется говорить со мною о своихъ дѣлахъ. Вотъ вы бы и помогали мнѣ.

— Я готова, Вадимъ Петровичъ...

— Вы такая милая,—и онъ протянулъ ей руку, — что и васъ попрошу еще объ одномъ одолженіи. Видите ли, я ожидаю приѣзда изъ Парижа той особы, къ которой еще третьяго дня диктовалъ вамъ письмо... Она должна быть здѣсь послѣзавтра. Въ етелѣ устроиться ей неудобно: она не знаетъ языка, да и отсюда далеко...

— Конечно,—тихо выговорила Федюкова.

Онъ былъ очень радъ, что такъ ловко обошелъ необходимость выяснить, кто такая эта особа. Вѣра Ивановна и тутъ показала, что въ ней много такта, не позволила себѣ никакого лишняго вопроса и всѣмъ своимъ тономъ дала почувствовать, что онъ можетъ съ ней говорить все равно какъ бы съ пріятелемъ-мужиной.

— Лишняя комната здѣсь есть, но недостаетъ кое-чего: кроватей, напимѣръ, умывальныхъ столиковъ...

— А сколько кроватей нужно?—спросила Вѣра Ивановна.

— Двѣ: одну для этой дамы, другую—для ея горничной.

Онъ могъ бы, вмѣсто словъ: „этой дамы“, сказать: „для моей невѣсты“ или что-нибудь въ этомъ родѣ, но не чувствовалъ уже надобности въ такомъ обманѣ, хотя тутъ не было бы большого обмана: Леонтина считала себя его невѣстой и теперь болѣе, чѣмъ когда-либо.

— И съ удовольствіемъ, Вадимъ Петровичъ.

— И вы можете это все закупить въ одинъ день?

— Зачѣмъ же покупать? — возразила она. — Можно

будеть достать напрокатъ гдѣ-нибудь на Срѣтенскій или въ городѣ.

Она что-то такое соображала, и выраженіе ея лица въ эту минуту очень ему нравилось.

„Славная дѣвушка,—думалъ онъ,—дѣльная и кроткая!“

Дѣльная и кроткая! Два свойства, которыхъ онъ совсѣмъ не видалъ въ своей подругѣ. Ея французенка была жадна на деньги, экономничала въ пустякахъ, но тратила зря на туалеты, не спросясь его, покупала часто плохія процентныя бумаги и глупо играла ими на биржѣ. И отъ впечатлѣній кротости въ женскомъ существѣ онъ совсѣмъ отсталъ, живя въ Парижѣ; не замѣчалъ его рѣшительно нигдѣ, развѣ на сценѣ, въ пьесахъ, въ игрѣ сладковатыхъ и манерныхъ наивностей.

— Сколько же вамъ на это нужно денегъ, Вѣра Ивановна?—весело спросилъ онъ.

— Сразу я не могу сказать, Вадимъ Петровичъ... Позвольте мнѣ съѣздить, узнать... Вамъ на много времени?

— Да какъ это сказать? Если мое лѣченіе пойдетъ хорошо... докторъ обѣщаетъ, что черезъ двѣ недѣли я буду совсѣмъ на ногахъ... Во всякомъ случаѣ, надо на мѣсяцъ.

— Ну, вотъ и прекрасно! Поживете у насъ, — сказала Федюкова и ласково поглядѣла на него.

— Но у меня есть еще другая къ вамъ просьба... Если она вамъ не понравится, вы откажите.

— Что такое?—съ живостью спросила она.

— Лебедянцевъ теперь такъ разстроенъ, что на него рассчитывать я не могу... Не будете ли вы такъ любезны встрѣтить пріѣзжихъ на вокзалѣ? Вы говорите по-французски... А то онѣ совсѣмъ потеряются.

— Я съ удовольствіемъ...

Вадиму Петровичу во время разговора пришла эта комбинація: послать Федюкову навстрѣчу Леонтинѣ, такъ, чтобы она сразу сдѣлалась ей необходима. Это отведетъ всякія подозрѣнія и устранить на первыхъ же порахъ ненужные разговоры. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ покажетъ этимъ, что особу, ѣдущую изъ Парижа, принимаетъ онъ какъ порядочную женщину, а потомъ все уладится.

И когда Вѣра Ивановна, почитавши ему съ полчаса, отправилась по его порученію, ему было пріятно сознавать, что онъ не одинъ въ Москвѣ, что около него есть молодое существо, на которое можно будетъ опереться въ неизбѣжной борьбѣ съ парижскою подругой.

Х.

Было уже около одиннадцати часовъ утра. Вадимъ Петровичъ сидѣлъ на кушеткѣ съ ногами, укутанными толстымъ пледомъ. По комнатѣ вдоль и поперекъ ходилъ Лебедянцевъ. Черезъ полчаса должна была вернуться съ желѣзной дороги карета, въ которой поѣхала встрѣчать Леонтину Вѣра Ивановна.

Посѣщенію пріятеля Стягинъ обрадовался, расспрашивалъ его о болѣзни жены, попенялъ за то, что тотъ съ нимъ перемонится, предложилъ ему занять у него.

— Все обойдется,—говорилъ Лебедянцевъ, прихлебывая чай,—докторъ обнадеживаетъ...

Но онъ больше уже не хихикалъ. Видно было только, что ему не хочется говорить о своихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ.

— Однако,—почти обиженнымъ тономъ возразилъ ему Стягинъ, — пора тебѣ подумать о болѣе прочномъ положеніи. Я, братецъ, ничего не знаю хорошенько ни про твою службу, ни про то, что ты получаешь.

— Какой же толкъ будетъ, если я начну тебѣ изливаться?—заговорилъ опять обычнымъ шутливымъ тономъ Лебедянцевъ.—Моей судьбы ты устроить не можешь; связей у тебя въ Россіи нѣтъ, да и я не гожусь въ чиновники. Приѣхалъ ты сюда, чтобы ликвидировать; стало-быть, вотъ поправишься, все скрутишь и—поминай какъ звали! Больше мы съ тобой на этомъ свѣтѣ и не увидимся! Въ Парижъ мнѣ не рука ѣхать...

— Ликвидировать, ликвидировать!—повторилъ Стягинъ, и это слово почему-то ему не понравилось. — Еще не такъ скоро это сдѣлается. Но всякомъ случаѣ, тебѣ стыдно со мною перемониться. Все, что могу...

— Объ этомъ послѣ,—перебилъ его Лебедянцевъ и присѣлъ къ столику, стоявшему около кушетки.—А ты вотъ что мнѣ скажи... Только уговоръ лучше денегъ: коли это щекотливый вопросъ, такъ и не нужно...

— Что такое? —оживленно спросилъ Стягинъ.

— Эта барыня, что сейчасъ пріѣдетъ... Я, вѣдь, не знаю, ты со мной переписки не вѣдь... Она на какомъ положеніи?

Стягинъ немножко поморщился и выговорилъ суховато:

— Хочешь французское слово?

— Говори, коли по-русски нѣтъ подходящаго.



— Это то, что французы называют *un collage*.

— Понимаю... И длится давненько?

— Да, уже лѣтъ десять.

— Стало-быть, подходите другъ къ другу... Вотъ и въ Россію поскакала... это, все-таки, доказательство привязанности.

— Не знаю,—протянулъ Стягинъ.

— Неужели одинъ расчетъ?.. А я, было, признаюсь, думалъ, что ты и ликвидировать-то хочешь, чтобы конецъ положить... и законнымъ бракомъ.

— Она не откажется. Только ей во Франціи еще нельзя, какъ разведенной женѣ, вступать въ новый бракъ раньше трехъ лѣтъ.

— Такъ вотъ оно что!.. Да, вѣдь, если ты на ней женился бы по французскому закону здѣсь, въ Россіи,—это будетъ педѣйствительно. Тогда и въ самомъ дѣлѣ слѣдуетъ ликвидировать, все обратить въ деньги. А жаль, любезный другъ, что ты такъ торопишься... безбожно продешевишь все. Имѣніе прекрасное. И домъ этотъ, если за него взяться, передѣлать на нѣсколько квартиръ и на дворѣ выстроить большой жилой флигель,—доходъ хорошій!

— Объ этомъ мы потолкуемъ,—сказалъ Стягинъ. — Я, въ самомъ дѣлѣ, кажется, слишкомъ заторопился. Вотъ и съ тобой толкомъ не посоветовался, а вѣдь у тебя должна быть масса практическихъ свѣдѣній. Ты и по городскому хозяйству служилъ...

Стягинъ не договорилъ и, повернувшись лицомъ къ пріятелю, спросилъ его:

— Ты за Вѣру Ивановну на меня не въ претензіи?

— По какому поводу?

— Да вотъ что я послалъ ее встрѣтить Леонтину? Она, кажется, дѣвушка безъ предразсудковъ. Я далъ ей понять, что жду женщину, близкую мнѣ... какъ бы это сказать?..

— На правахъ жены, что ли?—подсказалъ Лебедянцева.

— Пожалуй.

— Этакъ бы лучше и назвалъ. Какое кому дѣло здѣсь-то добираться—законная она жена или нѣтъ? Если хочешь, я Вѣрѣ Ивановнѣ такъ и представлю дѣло... Она дѣйствительно безъ предразсудковъ...

— И, все-таки, какъ бы не обидѣлась! — съ видимою тревогой выговорилъ Стягинъ.—Боюсь, что выйдетъ путаница: вѣдь онѣ другъ друга не знаютъ... Я ей показавъ портретъ, описавъ фигуру и лицо горничной...

— Вѣра Ивановна узнаетъ ихъ... Только какъ же ты, Вадимъ Петровичъ, думаешь оставить ее при себѣ въ чтицахъ?

— Я бы очень желалъ.

— А твоя... сожительница какъ на это взглянетъ? — спросилъ Лебедянцевъ и тихо разсмѣялся.

— Я не знаю! Но ей самой присутствіе такой дѣвушки полезно... если Вѣра Ивановна будетъ такъ любезна — поѣздить съ нею по городу; да и мнѣ, пока у меня еще въ рукахъ ревматическая опухоль, всего пріятнѣе было бы воспользоваться ея услугами.

— У тебя теперь будетъ даровая чтица.

— Кто? Леонтина? Меня ея манера читать раздражаетъ.

Стягинъ посмотрѣлъ на часы, стоявшіе около его изголовья, и позвонилъ.

— Левонтій Наумычъ, — сказалъ онъ вошедшему старику, — все ли теперь готово къ пріему барыни?

Слово „барыни“ Стягинъ выговорилъ безъ запинки.

— Все, батюшка, Вадимъ Петровичъ. И дѣвушка здѣсь находится съ ранняго утра.

Наумычъ нанялъ наканунѣ горничную для исполненія черной работы. Самъ онъ принарядился и, вмѣсто долгополаго пальто, надѣлъ сюртукъ, хранившійся у него въ сундукѣ, старательно причесалъ волосы и лишній разъ выбрился. Онъ догадывался, что баринъ ждетъ не жену, а просто „сударушку“, но говорилъ о ней, какъ о настоящей барынѣ.

— Столъ накрытъ, тамъ, въ большой комнатѣ? — спросилъ Стягинъ. — И къ завтраку все готово?

— Какъ же, батюшка. Кофей, масло, яйца всмятку, котлеты жарятся. Все въ аккуратѣ. Да, вотъ, никакъ, и онѣ пожаловали...

Левонтій, хоть и жаловался, что тугъ на одно ухо, однако, слышалъ звукъ колесъ по подмерзлой мостовой. Санний путь еще не сталъ и на дворѣ была рѣзкая, сиверкая, очень холодная погода.

— Ну, иди встрѣчать! — крикнулъ Левонтію Стягинъ, и самъ пришелъ въ нѣкоторое возбужденіе.

— Прямо сюда привести ихъ? — спросилъ его Лебедянцевъ, обдергивая свой сѣрый пиджакъ.

— Только бы онѣ холоду не напустили сразу... Шепни Вѣрѣ Ивановнѣ, чтобы она сейчасъ не уходила; мнѣ

нужно съ ней условиться насчетъ завтрашняго дня,—послалъ Стягинъ вдогонку Лебедянцеву, дошедшему до двери на площадь.

На лѣстницѣ уже раздавались знакомые Вадиму Петровичу голоса. Хриплый голосъ Леонтины и высокій, жидкій фальцетъ ея горничной Марьеты—особы для него довольно ненавистной. Это была уже пожилая дѣвушка, лукавая, жившая больше пятнадцати лѣтъ у своей госпожи; она знала всю подноготную въ ея прошедшемъ, держала ее въ рукахъ, дерзила Стягину и давала ему очень часто понять, что онъ не стоитъ ласки ея госпожи, что ему давно слѣдовало бы помѣстить ихъ обѣихъ въ своемъ завѣщаніи—*„les coucher dans son testament“*, что онъ не желаетъ *„faire largement les choses“* и совсѣмъ не похожъ на то, чѣмъ, въ ея воображеніи, долженъ быть *„un boyard russe“*.

Дверь широко распахнулась, и Стягинъ увидалъ свою парижскую подругу, за ней ея служительницу Лебедянцева и Вѣра Ивановна остались въ передней, куда коорникъ Капитонъ, мальчикъ Митя, извозчикъ и еще кто-то начали вносить одинъ за другимъ баулы, сундуки, мѣшки и картонки, всего до четырнадцати мѣстъ. Перевезти ихъ понадобилось на трехъ извозчикахъ, кромѣ четырехмѣстной кареты.

— *Bonjour, mon ami!* — раздался обликъ Леонтины, и она скорымъ шагомъ подошла къ кушеткѣ, укутанная въ боа, но въ очень легкой заграничной шубкѣ и въ шляпкѣ съ цвѣтами.

Отъ нея пахло на больного морознымъ воздухомъ, и онъ сдѣлалъ инстинктивное движеніе руками, какъ бы желая оттолкнуть ее.

Это была сорокалѣтняя, толстѣющая женщина, съ помѣтымъ лицомъ, короткимъ носомъ и большими зеленоватыми глазами. Въ вагонѣ она не успѣла подправить себѣ щеки и остальные части своего лица, а только напудрилась, и запахъ пудры сейчасъ же перенесъ Стягина въ Парижъ, въ ея квартиру, всю пропитанную этимъ запахомъ.

— *Mais tu vas bien!* — вскричала она, повернулась къ своей горничной, одѣтой такъ же легко, и затараторила насчетъ своего багажа, перебивая себя и безпрестанно кидая вопросы Стягину.

Онъ все морщился. Ему хотѣлось сказать, чтобы онѣ

поскорѣе обѣ ушли изъ его комнаты и сняли съ себя шубы, отъ которыхъ шла морозная свѣжесть. И сразу ему вступило въ оба виска отъ этого трещанья, которое онъ, однако, выносилъ цѣлый десятокъ лѣтъ.

— *Bonjour, monsieur!* — непочтительно крикнула ему Марьета. — *Est ce ici la chambre de madame?*

Онъ, не скрывая своего недовольства шумнымъ вторженіемъ обѣихъ женщинъ, услалъ Марьету, сказавши ей, что спальня ея госпожи по той сторонѣ площадки.

Леонтина присѣла на кушетку, объявила, прежде всего, что ей страшно хочется ѣсть, а потомъ нагнулась и потише спросила, кто блондинка, пріѣхавшая встрѣтить ее? Она повела своими широкими, потрескавшимися въ дорогѣ губами и прищурила одинъ глазъ.

— *Ça me paraît louche!* — сказала она.

Стягинъ объяснилъ ей, что „*mademoiselle Véga*“ — образованная дѣвушка, изъ очень почтенной семьи, согласившаяся быть его чтицей, что она провела даже двое сутокъ сряду въ качествѣ его сидѣлки.

Это сообщеніе не очень тронуло Леонтину. Она только щелкнула языкомъ, быстро встала, вся потянулась и крикнула:

— *Mon Dieu! Quel sal pays que votre sainte Russie!*

Возгласъ парижанки, вылетѣвшій неожиданно, разсердилъ Стыгина. Онъ даже покраснѣлъ и готовъ былъ сказать ей что-нибудь очень непріятное; но въ эту минуту вошли Лебедянцевъ и Вѣра Ивановна.

Съ Лебедянцевымъ Леонтина уже говорила на площадкѣ. Она знала, что онъ пріятель Стыгина, и обошлась съ нимъ ласково; по его французскому языку тотчасъ сообразила, что онъ человѣкъ не свѣтскій, по платью приняла за бѣдняка, котораго нужно привлечь къ себѣ на всякій случай.

На вокзалѣ Вѣра Ивановна сейчасъ же узнала ее и подала карточку Вадима Петровича. Леонтина всю дорогу говорила съ ней, какъ говорятъ съ гидами, присланными изъ отеля.

— Вѣра Ивановна, благодарю васъ, — привѣтствовалъ Стыгинъ Федюкову и протянулъ ей правую руку, которою онъ свободнѣе владѣлъ. — Еще разъ простите за безпокойство.

— *Мадамъ,* — пригласилъ Леонтину Лебедянцевъ, выговаривая ужасно по-французски, — *су зетъ серви!*

— Не угодно ли и вамъ откусать? — пригласилъ Федюкову Стягинъ, продолжая говорить съ ней по-русски.

— Благодарю васъ, — отвѣтила Вѣра Ивановна своимъ сдержаннымъ тономъ. — Позвольте мнѣ удалиться. Теперь моя роль покончена.

— Полноте, я на это не согласенъ! — съ живостью вскричалъ Стягинъ. — Пожалуйста, завтра, хоть между завтракомъ и обѣдомъ, придите почитать мнѣ газеты. И цѣлая книжка журнала лежитъ неразрѣзанной.

Леонтина вдругъ прервала его:

— *Mademoiselle parle français. Pourquoi se charabia?*

Вышла неловкая пауза. Стягинъ сказалъ Леонтинѣ, что завтракъ ее ждетъ, еще разъ протянулъ руку Вѣрѣ Ивановнѣ и, когда она уходила, крикнулъ ей:

— Пожалуйста, завтра. Не забудьте!

Леонтина пожала плечами и, уходя, въ присутствіи Лебедянцева, кинула:

— *Ça, c'est du propre!*

## XI.

Часу во второмъ ночи Вадимъ Петровичъ проснулся съ болью въ правомъ колѣнѣ. Ноги его стали было совсѣмъ поправляться, но съ пріѣзда Леонтины онъ чувствовалъ себя гораздо тревожнѣе и боялся рецидива. Боль была не сильная, и онъ проснулся не отъ нея. Черезъ полуотворенную дверь до него доходилъ довольно громкій разговоръ обѣихъ француженокъ. Онъ не могъ схватывать ухомъ цѣлыя фразы, но тотчасъ же сообразилъ, что рѣчь идетъ о немъ. Вѣроятно, Леонтина лежала уже въ постели, а ея камеристка стояла или сидѣла гдѣ-нибудь по-сю сторону ширмы, отдѣлявшихъ кровать отъ остальной комнаты.

„Навѣрное, про меня“, — подумалъ Вадимъ Петровичъ, и голосъ служанки былъ ему еще непріятнѣе, чѣмъ прежде, въ Парижѣ.

Онъ догадался, въ чемъ Марьета убѣждаетъ свою госпожу. Завтра Леонтина сдѣлаетъ ему сцену, будетъ жаловаться на свое двойственное положеніе, говорить о необходимости обезпечить ее, а, можетъ-быть, даже и обвѣнчаться въ русской церкви.

Эти двѣ француженки уже овладѣли его домомъ. Не дальше какъ третьяго дня, когда Вѣра Ивановна сидѣла и читала ему газеты, Леонтина обошла съ нею такъ,

что онъ долженъ былъ извиняться передъ Федюковой. Эта умная и добрая дѣвушка все поняла и стала его же успокаивать; но она въ правѣ была считать себя обиженной и прекратить свои посѣщенія.

— Вы, пожалуйста, не думайте, что я на васъ въ претензіи, Вадимъ Петровичъ, — говорила она, уходя. — Мое присутствіе здѣсь неловко. Зачѣмъ же вамъ-то разстраиваться?

И онъ былъ такъ слабъ, что не разнесъ Леонтину, не настоялъ на томъ, чтобы Федюкова продолжала приходить читать ему. Онъ ограничился только глупыми извиненіями и увѣреніями, отъ которыхъ ему самому сдѣлалось тошно.

Безъ Федюковой онъ почувствовалъ себя одинокимъ, почти безпомощнымъ. Леонтина два дня рыскала по городу и заставляла сопровождать себя Лебедянцева, накупила мѣховыхъ вещей, заказала себѣ шубу, ѣздила осматривать Кремль, возвращалась поздно, и все, что она говорила, казалось Стягину дерзкимъ и нахальнымъ. Еще недавно онъ самъ такъ презрительно относился къ Москвѣ, но когда Леонтина начала, по-парижски, благировать, все, что она видѣла въ соборахъ, въ Грановитой палатѣ, онъ морщился и потому только не спорилъ съ нею, что боялся разсердиться и физически разстроить себя.

Чтенія вслухъ онъ былъ лишенъ уже два дня, ходить по комнатѣ онъ еще не могъ и цѣлыми часами томился въ бездѣйствіи. Марьета появлялась къ нему безъ зову, и онъ каждый разъ высылалъ ее.

И теперь, прислушиваясь къ разговору въ спальнѣ Леонтины, онъ отдавался забродившему въ немъ страху связать свою судьбу съ парижскою подругой. Его болѣзнь и пріѣздъ ея сюда показали, что между ними не было и подобія привязанности, изъ-за которой стѣитъ налагать на себя брачныя узы. Она стара, вульгарна, безъ всякаго образованія, не чувствуетъ къ нему даже простой жалости, пріѣхала сюда только изъ хищническаго расчета, да еще начала ревновать, а онъ позволилъ ей безнаказанно обидѣть хорошую дѣвушку, сдѣлавшуюся для него необходимой.

Гулъ разговора Леонтины съ Марьетой не прекращался. Стягинъ порывисто позвонилъ. Голоса смолкли.

Онъ крикнулъ имъ, что онѣ мѣшаютъ ему спать.

Минуты черезъ двѣ со свѣчой въ рукахъ вошла Леонтина въ пеньюарѣ.

Онъ пожаловался ей на недостатокъ тишины. Она ему рѣзко отвѣтила: онъ капризничаетъ, вымещаетъ на ней досаду за то, что она не позволила ему начать интригу подъ ея носомъ.

— Avec cette grosse dinop!

Она говорила все это, наклонившись надъ кроватью.

Ея дряблѣе лицо съ остатками пудры, дерзкій ротъ и злые глаза дразнили его нестерпимо-нахально. Онъ приподнялся въ постели, схватилъ ее своими еще опухшими отъ ревматизма руками, точно хотѣлъ пригнуть ее и поставить на колѣни.

Она крикнула и рванулась. Прибѣжала Мариета, и обѣ женщины начали разомъ криливо болтать. Но онъ покрылъ ихъ голоса и выгналъ обѣихъ гнѣвнымъ окрикомъ.

— Il va vous battre, madame!—донесся до него съ площадки возгласъ камеристки.

На этотъ шумъ поднялся Левонтій, спавшій въ чуланчикѣ, около передней, и неслышными шагами проникъ въ комнату барина.

— Батюшка, Вадимъ Петровичъ,—шепталъ онъ въ полутемнотѣ обширной комнаты, гдѣ горѣлъ вочникъ,—никъ какъ обижаютъ васъ?

Вопросъ старика тотчасъ же смягчилъ настроеніе Стягина. Онъ почувствовалъ себя такъ близко къ этому отставному дворовому и бывшему дядкѣ. Въ томъ Левонтія было столько умной заботы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обиды за барина, что съ нимъ могутъ такъ воевать какія-то „французенки“, которыхъ онъ, про себя, называлъ „халдами“.

А французенки не думали еще униматься, и трескотня ихъ возмущенныхъ голосовъ доносилась еще рѣзче.

— Позвольте, батюшка, имъ сказать, чтобы онъ такъ не галдѣли, — выговорилъ старикъ, — или, по крайности, дверь бы затворили.

Левонтій, волоча ноги, пошелъ затворять двери, и Стягинъ услышалъ, какъ онъ довольно громко сказалъ по-русски, обращаясь къ Леонтинѣ:

— Потихе, сударыня!

Вернувшись, Левонтій въ дверь спросилъ барина: не нужно ли чего, не сходить ли въ аптеку или не послать ли за докторомъ. Стягинъ его успокоилъ и отправилъ спать.

Но сонъ долго не возвращался къ Вадиму Петровичу. Онъ сидѣлъ въ постели со сложенными на груди руками и мысленно задавъ себѣ нѣсколько вопросовъ.

Прежде всего, почему онъ не обращался съ этою своею подругой такъ, какъ она заслуживаетъ, то-есть почему не билъ ее? Вѣдь, каждая французенка бита кѣмъ-нибудь—не мужемъ, такъ любовникомъ. Онѣ не понимаютъ мужского авторитета иначе, какъ этимъ способомъ. И ему стали припоминаться сцены изъ романовъ и пьесъ, гдѣ мужчина поднимаетъ оба кулака характернымъ французскимъ жестомъ, вскрикиваетъ: „Misérable!“, а женщина падаетъ на колѣни и защищаетъ свой загривокъ.

Неужели онъ не переселить ее завтра же въ отель? Сосѣдство этихъ женщинъ невыносимо для него, просто опасно, припадки гнѣва вызовутъ непременно серьезный рецидивъ. У него и безъ того пошаливаетъ сердце. Надо сдѣлать это завтра же. Но, вѣдь, Леонтина можетъ упереться? Она теперь въ его домѣ, подъ одною кровлей съ нимъ; это ей даетъ новыя права.

Есть одно хорошее средство: обратиться къ Вѣрѣ Ивановнѣ, съ полною искренностью выразить ей, какъ она ему нужна своею поддержкой, просить ее стать выше всякихъ щекотливостей, и пускай выйдетъ что-нибудь рѣшительное!..

Писать ей большое письмо онъ еще не въ состояніи. Завтра общался у него быть Лебедянцева; онъ, съ своей стороны, поспособствуетъ...

И пріятель, казавшійся ему такимъ угловатымъ и раздражающимъ, и чтица, вмѣстѣ со старикомъ Левонтиемъ, докторомъ, мальчикомъ Митей и даже дворникомъ Капитономъ составляли одно цѣлое, несомнѣнно свое. На него и надо опереться, иначе не разорвешь съ прошедшимъ.

На женской половинѣ всѣ еще спали на другой день, когда явился Лебедянцева, за которымъ рано утромъ посылали дворника.

Вадиму Петровичу не стоило никакого усилія говорить съ пріятелемъ въ тонѣ исповѣди.

— Ты и Вѣра Ивановна,—сказалъ онъ ему,—должны мнѣ помочь. Одному мнѣ не справиться вотъ съ этимъ нашествіемъ.

И онъ указалъ рукою по направленію къ двери.

Онъ началъ просить Лебедянцева передать Федюковой, до какой степени онъ до сихъ поръ возмущенъ выходкой



Леонтины, и какое одолженіе она ему оказала бы, если бы согласилась опять приходить къ нему. А для этого надо переселить Леонтину въ отель, и безъ всякаго промедленія.

— И ты возлагаешь это на меня?—спросилъ Лебедянцевъ, глядя на него пристально.

— Да, на тебя, и не одно это, а вообще ликвидацію моего прошедшаго съ Леонтиной.

— Вотъ оно что!

Возгласъ Лебедянцева не смутилъ Стягина.

— Никогда не поздно покончить во-время!—заговорилъ Стягинъ, охваченный желаніемъ показать Лебедянцеву, что онъ не дѣлаетъ никакой гадости, а просто защищаетъ себя и считаетъ такую защиту законной.

— Да ты ей обѣщевался? — спросилъ Лебедянцевъ, впадая въ свой шутливый тонъ.

— Ты хочешь сказать: обѣщаль ли я ей бракъ? Нѣтъ, не обѣщаль, но она сама добивается его, и тамъ, въ Парижѣ, мнѣ отъ него бы не уйти.

— Чудакъ! отчего же раньше было не разорвать?

— Отчего! Привычка стараго холостяка, и тамъ мы не жили никогда въ одной квартирѣ. Я только теперь, здѣсь, въ какихъ-нибудь три дня, распозналъ, до какой степени мнѣ эта женщина чужда послѣ десятилѣтняго сожителства. И она меня не любитъ, а сюда прилетѣла, испугавшись, что я умру, похлопотать о завѣщаніи или обвиняться со мной „devant un pere russe“!

— Ха-ха-ха!.. — тихо разсмѣялся Лебедянцевъ. — Известное дѣло...

— И я убѣжденъ, что она уже тебя настраивала, когда вы ѣздили по магазинамъ и осматривали Кремль. Ну, скажи, вѣдь дѣлала подходы?

— Дѣлала.

— И, конечно, жаловалась?

— Больше насчетъ благородныхъ чувствъ прохаживалась, говорила мнѣ, что я, какъ порядочный человѣкъ, долженъ способствовать устройству ея судьбы... Да развѣ это тебя возмущаетъ? И всякая другая на ея мѣстѣ, француженка ли, русская ли, стремилась бы къ тому же самому. Ты на что же теперь идешь? Добромъ она отсюда не уйдетъ. Тутъ нужно отступное...

Объ „отступномъ“ они и стали говорить вполголоса, и когда Лебедянцевъ собрался уходить, Стягинъ громко вздохнулъ и сказалъ ему:

— Смотри, Дмитрій Семеновичъ, я тебѣ далъ carte blanche; если ты пойдешь на попытный дворъ, я самъ рвану и покончу такъ или иначе.

## XII.

— Ушелъ французъ, — выговорилъ Левонтій Наумычъ и вдохнулъ въ себя воздухъ вмѣстѣ съ глоткомъ горячаго чая.

Онъ сидѣлъ съ дворникомъ Капитономъ въ своей каморкѣ. Баринъ сегодня проснулся рано, могъ перейти съ кровати въ кресло и послѣ чая читаетъ газету. Докторъ будетъ около полудня. Въ домѣ стоитъ опять тишина, со вчерашняго дня, когда французенокъ перевезли въ гостиницу.

— Ушелъ, — повторилъ Капитонъ, дую на блюдечко, и глазки его весело подмигивали.

— Кабы не Дмитрій Семенычъ, — продолжалъ старикъ полушопотомъ, — да не докторъ, баринъ бы съ ними не сладилъ.

— Докторъ, значитъ, пожелалъ?

— Докторъ... Онѣ бы его совсѣмъ уморили.

И въ третій разъ Левонтій сталъ рассказывать дворнику, — совсѣмъ уже шопотомъ, — какъ онъ прибѣжалъ ночью къ барину, и что засталъ, и какъ „французенки“ раскудахтались.

— И сдается мнѣ, Капитонъ Ивапычъ, — говорилъ Левонтій, широко улыбаясь, — что баринъ, хоть и силы у него въ рукахъ еще не было, какъ слѣдуетъ стукнулъ ее.

Это предположеніе обоимъ очень понравилось.

— Докторъ, — продолжалъ Левонтій все такъ же тихо, — живою рукой скрутилъ. Потому какъ же возможно больному быть рядомъ съ такими оглашенными?

— А упиралась главная-то мадамъ?

— Извѣстное дѣло, побурлила... Безъ этого какъ же возможно... Она, небось, чувствуетъ, что ея царству конецъ подошелъ.

Оба засмѣялись и переглянулись. Капитонъ разстегнулъ пиджакъ и обтеръ лобъ бумажнымъ платкомъ.

— Значитъ, она съ подходцемъ пріѣхала... Пожалуй, поди... насчетъ законнаго брака?

— А то какъ же... Еще слава Богу, что все это здѣсь приключилось. Да и барину-то полегчало... Захвати она

его здѣсь, — чего Боже сохрани, — въ полномъ разстройствѣ... пугать бы начала и добила бы своего...

— Имѣнье бы все записалъ...

— И очень.

Они помолчали.

— А теперь, — спросилъ Капитонъ, принимаясь за новую чашку, — нешто она такъ удалится?.. Все, небось, сдереть?

— Сдереть, — повторилъ Левонтій. — Однако, Дмитрій Семенычъ за это дѣло ваялся... Онъ человѣкъ бывалый и жъ барину большую привязку имѣеть...

— И теперича, Левонтій Наумычъ, — началъ дворникъ, — ежели ее спустить обратно, откуда она пожаловала, особливо коли кушъ она сдереть, изъ чего же Вадиму Петровичу туда ѣхать?

— Извѣстное дѣло, не изъ чего, — подтвердилъ старикъ.

Онъ уже замѣчалъ съ нѣкоторыхъ поръ, что баринъ совсѣмъ не то говоритъ, не сердится, походя, на Москву, на свое, русское, спрашиваетъ его про разныя разности и не произноситъ слово „ликвидация“, которое Левонтій хорошо выучилъ. Замѣтилъ онъ, что Вѣра Ивановна ему по душѣ пришлась, и что онъ объ ней скучаетъ.

Но объ ней онъ первый не заговорилъ съ Капитономъ. Въ этихъ дѣлахъ онъ былъ очень деликатный человѣкъ.

— И барышню французенка же выкурила? — спросилъ Капитонъ.

Левонтій не сразу отвѣтилъ.

— Съ этого и началось... Приревновала. Вѣра Ивановна дѣвушка умнѣйшая... и виду не подала, а ходить перестала. И взять теперь, какъ она ухаживала за баринѣмъ, когда онъ ночи напролетъ мучился, и какое отъ этихъ, съ позволенія сказать, халдѣ успокоеніе вышло.

Внизу, съ параднаго крыльца, раздался звонокъ.

— Это, навѣрняка, докторъ, — замѣтилъ Капитонъ.

— Докторъ... А Митька-то тамъ ли?

— Долженъ быть тамъ.

Они разомъ встали, и Капитонъ поблагодарилъ старика за „чай-сахаръ“.

Имъ обоимъ стало на душѣ свѣтлѣе отъ всего того, о чемъ они переговаривали. Барину гораздо лучше, дома продавать зря не будетъ, быть-можетъ, и заимуетъ здѣсь а, главное, протурили „французенокъ“

По лѣстницѣ, дѣйствительно, поднимался докторъ; ступеньки поскрипывали подъ его легкими шагами. Полное, добродушное лицо его съ мороза зарумянилось, онъ смотрѣлъ по-праздничному, какъ практикантъ, заранѣе довольный тѣмъ, что онъ найдетъ у больного.

Въ дверяхъ онъ остановился, увидавъ Стягина въ креслѣ, съ газетой въ рукахъ, и крикнулъ:

— Вотъ мы какъ! Превосходно! Сами газету читаемъ!.. Поздравляю, Вадимъ Петровичъ! Теперь мы не по днямъ, а по часамъ будемъ поправляться!

Стягинъ сидѣлъ въ креслѣ еще съ укутанными ногами, но уже одѣтый, въ накрахмаленной рубашкѣ; глаза смотрѣли ласково и вопросительно на доктора.

— Павелъ Степановичъ!—откликнулся онъ, протягивая обѣ руки доктору.—Вы не только исцѣлитель моего тѣла, но и души... Вамъ я обязанъ тѣмъ, что могу теперь спокойно ждать выздоровленія.

— Это мой прямой долгъ, Вадимъ Петровичъ.

Доктору онъ былъ дѣйствительно обязанъ освобожденіемъ своего дома отъ „француза“, какъ выражался Леонтьй. Вчера Леонтина со своею Марьетой была перевезена въ „Славянскій Базаръ“ по настоянію добрейшаго Павла Степановича. Онъ напустилъ даже на себя небывалую строгость, когда говорилъ Леонтинѣ о томъ, что не можетъ ручаться за исходъ болѣзни, если больного будетъ тревожить сосѣдство двухъ женщинъ, не привыкшихъ къ тишинѣ.

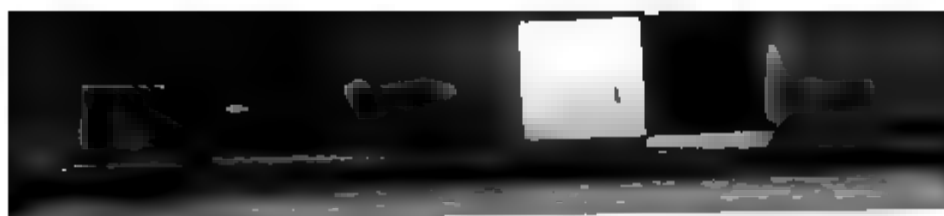
Леонтина объявила ему въ отвѣтъ, что она сама не желаетъ оставаться „dans cette sale boite“.

Вадимъ Петровичъ чувствовалъ себя такъ, точно будто его избавили отъ какого-нибудь большого горя, хотя онъ зналъ, что переѣздъ Леонтины въ гостиницу ничего еще не разрѣшаетъ, что она можетъ пожаловать сюда, что начнутся объясненія и счеты, какихъ еще не бывало и въ Парижѣ.

Тамъ онъ не набрался бы такой смѣлости, какъ здѣсь. Да и не было у него тамъ такихъ помощниковъ, какъ докторъ и Лебедянцева, трогательно преданный ему.

На доктора Стягинъ продолжалъ глядѣть доверчивыми глазами. Въ его взглядахъ было выраженіе благодарности и еще чего-то... Они понимали другъ друга, какъ участники въ одномъ и томъ же трудномъ дѣлѣ.

— Поджидаете Дмитрія Семеновича? — спросилъ док-



торъ послѣ того, какъ ощупалъ ноги Стягина, измѣрилъ температуру и посмотрѣлъ языкъ.

Онъ зналъ, что Лебедянцева долженъ сегодня привезти какой-нибудь „ультиматумъ“ изъ „Славянскаго Базара“. Стягинъ такъ же откровенно говорилъ съ нимъ наканунѣ, какъ и со своимъ университетскимъ товарищемъ. Докторъ настаивалъ на томъ, чтобы до полного выздоровленія Вадима Петровича ни подъ какимъ видомъ не пускать къ нему Леонтины. И онъ, и Лебедянцева, точно по уговору, дѣйствовали такъ энергично, что Стягину оставалось только ждать и не волноваться попустому.

Доктору подали кофе. Леонтій пришелъ съ подносомъ, улыбающійся, какъ онъ улыбался только въ Свѣтлый праздникъ, елейный, съ низкими поклонами и особенно ласковыми привѣтствіями.

Когда онъ удалился, Стягинъ сказалъ доктору совершенно пріятельскимъ тономъ:

— Вы меня не осуждаете, докторъ?

— За что же?

— Да, можетъ-быть, мое поведеніе не совсѣмъ... какъ бы это сказать... безупречно, что ли?

— Это почему? — оживленно возразилъ докторъ. — Вы больной, ваша защита тутъ вполне законна, да если бы вы даже хотѣли и обрѣзать... разъ навсегда, я васъ осуждать за это не буду...

— Однако...

Стягину нужно было услышать отъ такого человѣка, какъ докторъ, нѣсколько доводовъ въ свою защиту.

— Я не циникъ, Вадимъ Петровичъ, но въ борьбѣ съ женщиной я признаю законность психо-физиологическаго притяженія, — разумѣется, когда нѣтъ нравственныхъ стимуловъ, въ видѣ дѣтей. А тутъ происходитъ явное нападеніе на васъ... *in extremis*, или въ родѣ того. Воображаю, какъ бы вамъ пришлось, если бы вы дѣйствительно лежали на одрѣ смерти.

Докторъ громко разсмѣялся.

Точно масло пролили его слова на душу Вадима Петровича.

— Да, вотъ подите, докторъ, не случись со мной здѣсь болѣзни, я бы черезъ годъ подписывалъ съ госпожой Леонтиной Дюпаркъ брачный контрактъ. А тутъ въ одну недѣлю я прозрѣлъ и весь самообманъ открылся передо мною, вся страшная глупость, на которую я шелъ... такъ, по малодушію и холостой, неопытной привычкѣ...

— И знаете еще отъ чего? Отъ того, что зажились за границей, оторвали себя отъ почвы... Я употребилъ это слово—почва; но я не славянофилъ, даже не народникъ. Но безъ бытовой и безъ расовой физиологической связи не проживешь. Отчего васъ затащила первая попавшаяся связь? Отъ бѣдности выбора. Вы тамъ иностранецъ, въ семейные дома входить тамъ труднѣе, легкость нравствъ извѣстнаго класса женщинъ балуетъ, но отвлекаетъ отъ нормы. Вотъ и очутишься во власти одной изъ тамошнихъ хищницъ!

— Да, да,—повторилъ Стиггинъ,—начиналъ лишаться воли... Здѣсь я ушелъ въ себя и почувствовалъ, какъ бы сказать...

— Бариномъ себя почувствовали, Вадимъ Петровичъ, человѣкомъ почвы, домовладѣльцемъ, помѣщикомъ, возобновили связь съ нашею Москвою, съ такимъ товарищемъ, какъ Дмитрій Семеновичъ, и не захотѣли отдавать себя на съѣденье, во имя Бога знаетъ чего!.. Вы еще вонъ какой жилистый! Сто лѣтъ проживете! Вамъ еще не поздно и о продолженіи вашего рода подумать...

— Куда ужъ!

Этотъ возгласъ Стигина вызвалъ въ немъ вдругъ мысль о Вѣрѣ Ивановнѣ. Ея стройная фигура, умная и красивая голова съ густыми волосами всплыли передъ нимъ, и ему ужасно захотѣлось ее видѣть. Захотѣлось и заговорить о ней съ докторомъ, но онъ застыдился этого.

— Все будетъ, Вадимъ Петровичъ, — продолжалъ свои доводы докторъ, — только оправьтесь хорошенько, проведите у насъ зиму, надо вамъ снова привыкнуть къ зимѣ въ теплыхъ комнатахъ, посадимъ васъ на гидротерапію... А тамъ подойдетъ весна—въ усадьбѣ поживете. Кто знаетъ, быть-можетъ, и останетесь.

Стиггинъ не возражалъ. Парижъ не тянулъ его. Ыхать туда—это значить опять сойтись съ Леонтиной или ждать отъ нея разныхъ гадостей. Она его даромъ не упуститъ и лучше здѣсь покончить съ ней, хотя бы дорогою цѣной. Представилась ему и зима въ Парижѣ—мокрая или съ сухими морозами, съ зябкимъ сидѣньемъ у камина, съ нескончаемыми насморками и гриппами, къ которымъ онъ былъ такъ склоненъ. Прямо въ Парижъ онъ ни въ какомъ случаѣ не вернется отсюда. И перспектива русской зимы не пугала его. Это его немного удивило, но не огорчило.

— А вотъ и Дмитрій Семеновичъ жалуется!— воскликнулъ докторъ, вставая. — Слышу его шаги по лѣстницѣ. Стягинъ весь встрепенулся.

— Вы куда же, докторъ? — спросилъ онъ, видя, что тотъ берется за шапку. — Вѣдь у меня секретовъ отъ васъ вѣтъ... Я уже сказалъ, что вы врачъ тѣла и души.

— Я тороплюсь... Только пожму руку Дмитрію Семеновичу и надо бѣжать. А вы, кажется, въ волненіи... Не бойтесь... Мы васъ не выдадимъ... Москвичи—народъ вѣрный, даромъ что у нихъ репутація лукавыхъ собирателей земли Русской.

### XIII.

Маленькій, краснѣющій носъ Лебедянцева улыбался и глаза игриво переходили отъ одного пріятеля къ другому, когда онъ протягивалъ имъ руку.

— Извини, братъ, — сказалъ онъ Стягину, — тебѣ руки не слѣдуетъ подавать... У тебя еще въ суставахъ опухоль...

— Ничего, ничего, — успокоилъ его Стягинъ. — Ты что-то веселъ. Твоей женѣ лучше?

Докторъ съ интересомъ повторилъ тотъ же вопросъ.

— Лучше, лучше, — затараторилъ Лебедянецъ, пожимая плечами и обдергивая свой сѣрый пиджакъ. — Все налаживается... Недѣлку-другую побудеть въ лѣчебницѣ, а у меня гоститъ Вѣра Ивановна.

— Вѣра Ивановна? — переспросилъ Стягинъ и возбужденно поднялъ голову.

— Да, возится съ ребятишками... учить ихъ, гулять водить, — бонна заболѣла тоже, да и не управилась бы.

— Вотъ и прекрасно!.. — вскричалъ докторъ. — Я напому изреченіе вольтеровскаго Панглоса. А теперь имѣю честь кланяться. Къ вамъ, Вадимъ Петровичъ, я не заѣду до воскресенья... Продолжайте ту же діѣту...

— Это по части тѣла, а по части души? — остановилъ его Стягинъ.

— Лебедянецъ, навѣрное, привезъ вамъ добрыя вѣсти... Онъ мнѣ расскажетъ послѣ.

Первымъ вопросомъ Стягина по уходѣ доктора было:

— Такъ Вѣра Ивановна у тебя будетъ жить?

Онъ не могъ сдержать чувства не то радости, не то досады на то, что вотъ лишенъ ея общества и услугъ, а

Лебедянцеву она замѣняетъ и больную жену, и гувернантку.

— Чего же лучше, братецъ!

— Этакъ весь ея день будетъ уходить на твою семью... Она совсѣмъ ко мнѣ не покажется.

— Почему?.. Бонна выздоровѣетъ. У ней легкая простуда... Да и дай срокъ. Вѣра Ивановна — дѣвушка съ амбиціей, большая умница... Сюда не пойдетъ, пока у тебя идетъ еще война... Ха-ха!.. А ты что жъ меня не спросишь, съ чѣмъ я къ тебѣ сегодня пожаловалъ?

Стягинъ точно совсѣмъ забылъ про Леонтину, про все то, самое существенное для него, съ чѣмъ могъ явиться Лебедянецъ со своей дипломатической миссіи въ „Славянский Базаръ“.

— Да, да! Какъ стоять переговоры?

Но онъ спросилъ это почти спокойно.

— Чудакъ ты! — приснулъ Лебедянецъ. — Вѣдь тутъ, братъ, надо будетъ принимать экстраординарныя мѣры.

— Какія еще?

— Ты не волнуйся безъ толку. Первымъ дѣломъ, — Лебедянецъ присѣлъ къ нему и закурилъ, — твою особу надо оградить отъ вторженія этой дамы. Она порывалась и даже грозила произвести эскладръ! Я долженъ былъ припугнуть ее.

— Чѣмъ?

— Извѣстно чѣмъ — полиціей!

— Этого еще не доставало! Пожалуйста, безъ вмѣшательства квартальнаго... Ничего этого я не желаю!

Прежняя брезгливая усмѣшка съ оттанутою нижнею губой явилась на лицѣ Вадима Петровича: онъ — европеецъ, либераль, презирающій всякую сдѣлку съ произволомъ — не можетъ, хотя бы и косвенно, обращаться къ полиціи, прибѣгать къ произволу.

— Безъ этого нельзя!.. — продолжалъ Лебедянецъ. — Припугнуть необходимо, иначе она сюда вторгнется, ты струсишь...

— Никогда! — энергично вскричалъ Стягинъ.

— Ну, побьешь ее!.. Допускаю. Ты получишь опять острый рецидивъ и сдѣлаешься калѣкой.

Стягинъ смолкъ.

— Она теперь, послушай, какъ поговаривается... Можетъ кинуться къ здѣшнимъ властямъ... Положимъ, у ней



никакихъ правъ нѣтъ, но скандалъ разнесется. Тебя здѣсь знаютъ, въ дворянскихъ палестинахъ... Пойдутъ сплетни...

— Очень мнѣ нужно! Я давно разорвалъ связи со всѣми этими Сивцевыми Вражками и Поварскими!

— Это такъ тебѣ только кажется... А, небось, не вкусно будетъ, если какой-нибудь членъ англійскаго клуба возьметъ да и спросить въ упоръ: а правда ли, молъ, что вы съ французскою гражданкой Леонтиной Дюпаркъ сдѣлали гадость?

Стягинъ морщился и его этотъ оборотъ разговора корбилъ. Не то что онъ трусилъ, а ему противна была мысль о дразгахъ; онъ не желалъ, ни подъ какиѣ видомъ, попадать въ исторію здѣсь, въ Москвѣ, гдѣ никто, даже Лебедянцева, не зналъ доподлинно его прошедшаго съ этою женщиной, принималъ въ немъ участіе по товарищескому чувству, но въ глубинѣ души, быть-можетъ, осуждалъ его.

— Чего же она требуетъ?

— Чего! Мало ли чего! Законнаго брака или, по крайней мѣрѣ, обезпеченія до конца живота своего... какъ у нихъ тамъ водится... чтобы все нотаріальнымъ порядкомъ... Говорить, что ты ей общалъ торжественно...

— Ложь! — крикнулъ Стягинъ и хотѣлъ-было встать, но Лебедянцева удержалъ его. — Гнусная ложь!.. Наша связь могла кончиться бракомъ... Но я никогда ей его не общалъ... Вѣришь ты мнѣ или нѣтъ?

— Вѣрю!

— И насчетъ духовной или уступки ей части моей собственности я также не давалъ ей общанія!

— Да нечего меня увѣрять! Ты брюзга, но никогда не лгалъ, и слова своего держался. Но мы вѣдь рѣшили съ тобой, что тутъ безъ отступного не обойдется.

— Отступное! Отступное! Все это пахнетъ Богъ знаетъ чѣмъ... какою-то гадостью!.. Дѣло простое и ясное... Связь тянулась десять лѣтъ... Самый обыкновенный парижскій collage... Здѣсь Леонтина показала свои карты. Здѣсь же я не пожелалъ дѣлать глупости — вѣнчаться съ нею или оставлять ей, по завѣщанію, все, что я имѣю. Я ее не люблю!.. Да никогда какъ слѣдуетъ не любилъ, а она меня еще меньше! Сейчасъ мы говорили съ докторомъ, и онъ совершенно меня оправдываетъ.

— А кто тебѣ сказалъ, что я тебя обвиняю? Я безмѣрно радъ!.. Надо ее спустить честно-благородно—вотъ и все!

— Я не отказываюсь удѣлить ей часть моихъ средствъ.

— Въ этомъ весь вопросъ. Но она хочетъ произвести усиленное давленіе... Она желаетъ быть русскою барыней. Она хоть и фыркаетъ на Москву, однако, раскусила, что у тебя и смѣй отель — она такъ называетъ этотъ домъ — и un château—это на ея жаргонѣ усадьба, и всѣмъ этимъ она мнитъ владѣть, какъ помѣщица и дворянка. И ничего этого она не получитъ, если ты не будешь труса праздновать и не бросишь всякія твои неумѣстныя деликатности!.. Я, братъ, никогда ретроградомъ не былъ... Доносить на нее не стану, ни хлопотать о ея высылкѣ за границу... Но припугнуть слѣдуетъ... и ты мнѣ скажешь великое спасибо за одну комбинацію... На нее меня сама судьба натолкнула...

— Что еще?—все еще разстроеннымъ голосомъ окликнулъ Стягинъ.

— А вотъ что... Поднимаюсь я по лѣстницѣ „Славянскаго Базара“—ко мнѣ навстрѣчу господинъ въ бачкахъ, щупленькій, въ бекешѣ, по-петербургски, въ цилиндрѣ, носъ острый, очки. Что-то знакомое... Какъ бы ты думалъ, кто?

— Кто?

— Бедровъ. Забылъ? Юристъ!.. Одного выпуска съ нами. Да ты, никакъ, съ нимъ на ты былъ... Онъ сынъ барина здѣшняго... чуть не сенатора... У нихъ и домъ былъ гдѣ-то на Собачьей площадкѣ.

— Помню, помню!

— Вѣдь онъ теперь—особа! Ты его совсѣмъ изъ вида упустилъ?

— Какое же отношеніе все это имѣетъ ко мнѣ и къ Леонтинѣ?

— А ты не брыкайся! Я сейчасъ сообразилъ нѣчто, остановилъ его, онъ очень обрадовался, совсѣмъ не важничаетъ; когда о тебѣ узналъ, даже точно масломъ ему петербургское-то обличье его обдало... хотѣлъ быть у тебя непременно... Здѣсь онъ поживетъ больше недѣли. Онъ-то и будетъ главнымъ пугаломъ для французской гражданки Леонтины Дюпаркъ... Я все такъ подстрою, что она увидитъ въ немъ *deus ex machina*. А ты, въ свою очередь, откройся ему по-душѣ. Онъ будетъ польщенъ. Я его помню, у него хорошая чувствительность была. Я о немъ много слышала. Онъ хоть и карьеру свою дѣлалъ, однако, остался вѣренъ идеаламъ нашего времени... И даже

тутъ успѣлъ мнѣ кое-что такое сказать... Вдобавокъ, онъ законовѣдъ и по-французски долженъ говорить — дворянское дитя, и съ его поддержкой я тебѣ обещаю, что черезъ недѣлю отъ всей гражданки Дюпаркъ и духу не будетъ... Пудрери ея — и тотъ испарится. И все — честно-благородно, не разорительно, — на франки обойдется, а не на рубли золотомъ.

И Лебедянцевъ разсмѣялся такъ подмигательно, что и Стагинъ улыбнулся, вытянулъ ноги, въ которыхъ не было уже никакой боли, и спросилъ:

— Когда же Бедровъ хотѣлъ захватить?

— Завтра неурожѣнно будетъ. За сутки я ручаюсь насчетъ вторженія сюда гражданки Дюпаркъ... То-то, небось! Повеселѣлъ? Всѣ за тебя работаемъ. И Вѣра Ивановна приказала тебѣ сказать, что желаетъ тебѣ полного успокоенія... Какъ только докторъ позволитъ тебѣ выѣхать, привѣжай поблагодарить ее. А теперь прощай!

Лебедянцевъ потрепалъ его по плечу и выѣжалъ.

#### XIV.

Изъ кабинета Вадима Петровича вынесли кровать и ширмы. Нѣтъ уже въ немъ запаха лѣкарствъ, все прибрано и вычищено.

Только тонкія полосы дыма хорошихъ сигаръ расходились по просторной комнатѣ, куда зимнее солнце вошло съ утра и весело играло на изразцахъ печи.

Другъ противъ друга сидѣли, въ креслахъ, Стагинъ и Викентій Ильичъ Бедровъ — уже тайный совѣтникъ и „на линіи сановника“, какъ опредѣлилъ его Лебедянцевъ, — сухошавый, лысенькій, съ маленькими бакенбардами брюнетъ, хорошо выбритый, въ черномъ сюртукѣ и сѣрыхъ панталонахъ солиднаго покроя, съ манерами свѣтскаго чиновника, въ золотыхъ очкахъ.

Стагинъ смотрѣлъ на него сквозь легкое облачко сигарнаго дыма, и ему еще какъ-то не вѣрилось, что вотъ этотъ самый тайный совѣтникъ, про существованіе котораго онъ и забылъ, сдѣлался вдругъ посредникомъ въ его холостыхъ парижскихъ „итогахъ“, и въ нѣсколько дней оформилъ все прилично и благородно... Леоптина уже на пути къ Берлину, она получила свое „отступное“ въ видѣ капитала въ процентныхъ бумагахъ и всю парижскую обстановку его квартиры, кромѣ библіотеки, вмѣстѣ съ платой, по контракту, за пять лѣтъ впередъ.

Но устроилось это такъ скоро и складно потому, что гражданка Дюпаркъ поняла, кого имѣетъ передъ собою. Въ глазахъ ея Бедровъ былъ „magistrat“—и передъ этимъ званіемъ она смирилась; сообразила и то, что у Стагина такой вліятельный и высокопоставленный товарищъ,—не чета обдерганному Лебедянцеву, котораго она съ Марьей назвала: „l'âme damnée de l'autre“, а подъ именемъ „l'autre“ подразумѣвала Вадима Петровича.

Бедровъ ничѣмъ не пугалъ Леонтину, но повелъ переговоры такъ, что въ два какихъ-нибудь дня все было улажено и Стагинъ получилъ отъ нея письмо, гдѣ она его благодарила, увѣряла въ неимѣніи какихъ-либо другихъ притязаній, была тронута передачей ей даровой квартиры со всею обстановкой и просила позволенія пріѣхать проститься съ нимъ.

Прощанье происходило на этомъ же мѣстѣ, вчера, въ присутствіи Лебедянцева, который отвезъ ее вчера же на Смоленскій вокзалъ.

— И вы опять туда, *dahin, wo die Citronen blühen?*—спросилъ Стагина его гость, поглядывая на него умными, немного усталыми карими глазами.

Они были студентами на *мы*, но имъ ловчѣе сдѣлалось говорить другъ другу *вы* при встрѣчѣ въ Москвѣ.

— *Dahin?*—повторилъ Стагинъ.—Я, право, и не знаю куда. Въ Парижъ рѣшительно не тянетъ. У меня тамъ и гнѣзда больше не будетъ...

— А здѣсь?.. Гнѣздо готовое!

Стагинъ промолчалъ. Ему дѣлалось завидно глядѣть на такого же холостяка, какъ онъ, на петербургскаго служаку, котораго онъ въ другое время обозвалъ бы презрительнымъ словомъ „чинушъ“. Этотъ чинушъ, потъ сейчасъ, говорилъ съ нимъ о себѣ, своей службѣ, ея тяготахъ, холостомъ одиночествѣ, набросалъ ему невеселую картину того, что дѣлается въ Петербургѣ и въ провинціи, вверху и внизу, какимъ людямъ даютъ ходъ, какой духъ господствуетъ, на что надѣяться и чего ждать.

— Не сладко, очень не сладко,—выговорилъ Бедровъ,—потому-то и нужно быть на своемъ посту. Нельзя дезертировать, нельзя!.. Какъ бы ни было плѣнительно подъ голубымъ небомъ, гдѣ зрѣютъ апельсины... Абсентеистомъ нашему брату уже поздно быть!

— Вы меня осуждаете за то, что я такъ долго находился въ бѣгахъ?

— Не осуждаю, а скорблю...

— Не на службу же поступать!—вырвалось у Стягина.

— А почему же нѣтъ? Можно и безъ вицмундира быть на службѣ. И здѣсь, въ городѣ, и въ деревнѣ каждый не опустившійся человекъ пріобрѣтаетъ тройную цѣну... Хамъ торжествуетъ. И вы, господа, добровольно уступаете ему мѣсто. Въ уѣздѣ можно и въ сословной должности дѣлать массу добра!

Не разъ слыжалъ Стягинъ точно такія же рѣчи и былъ къ нимъ глухъ. Онъ оправдывалъ свое нежеланіе оставаться дома—бесплодностью единичныхъ усилій и благихъ намѣреній, не хотѣлъ мириться съ неурядицей, дичью, скукой и прѣснотой деревенской жизни; въ Москвѣ не умѣлъ выбрать себѣ дѣла, находилъ дворянское общество невыносимымъ, городскіе интересы—изменными, культурные порядки—неизлѣчимо-варварскими.

Но въ лицѣ Бедрова сидѣлъ передъ нимъ какъ разъ тотъ человекъ, котораго судьба послала точно нарочно за тѣмъ, чтобы освободить его отъ единственной житейской привязки къ Парижу, гдѣ у него нѣтъ никакихъ другихъ связей.

Вѣдь онъ и тамъ совсѣмъ чужой до сихъ поръ. Съ русскими онъ не знается, въ свѣтъ не ѣздитъ, ученыхъ и литературныхъ интересовъ у него нѣтъ, не нажилъ даже никакого дилетантства, въ клубахъ не бываетъ, не любить ни картъ, ни спорта, за исключеніемъ прогулокъ, утромъ, верхомъ. Театръ давно утомляетъ его, да ему изъ Пасси и неудобно поздно возвращаться домой. Два-три случайныхъ знакомства съ французами, да чтеніе газетъ и книжекъ, да заботы о своемъ пищевареніи, поѣздки на воды, на морскія купанья, перебранки съ Леонтиной, скучная переписка по хозяйству, по дому въ Москвѣ, жалобы на плохой курсъ, хандра, ожиданіе старости и смерти.

Стягинъ поникъ головой и больше уже не курилъ.

— Только тѣмъ и красна жизнь,—сказалъ Бедровъ, вставая,—что стоишь на своемъ посту.

— Пожалуй,—чуть слышно выговорилъ Стягинъ.

Гость взялся за шляпу.

— Вы развѣ не зайдете еще?—спросилъ его хозяинъ.

— Сегодня вечеромъ ѣду.

— Да я васъ, мой другъ, не успѣлъ хорошенько и поблагодарить за наше участіе. Право, это все такъ сдѣлалось, точно по щучьему велѣнію.

— Не будете на меня пенять, — сказалъ съ усмѣшкой Бедровъ, — за такую быстроту развязки?

— Что вы!

И Вадимъ Петровичъ поднялъ даже обѣ руки.

— А все бы лучше, если вы дѣйствительно разорвали, не рисковать возвращеніемъ въ Парижъ...

— Да я и не поѣду туда...

— Поручите кому-нибудь вашъ раздѣлъ вещей, книгъ...

— Найдется!

— Наложите-ка на себя, коллега, маленькій искусъ... Проживите до весны, побывайте у себя въ усадьбѣ... Можно вѣдь и домкомъ зажить... Это вотъ я, вицмундирный человѣкъ, обрекъ себя на celibatъ... А вы еще наворачиваете...

— Куда ужъ!

Опять у него вылетѣло то же выраженіе, и опять онъ подумалъ о стройной и красивой дѣвушкѣ, еще такъ недавно сидѣвшей около стола съ газетой въ рукахъ.

Она теперь у Лебедянцева въ роли матери. Ребятишки льнутъ къ ней. Какія рослые и здоровыя дѣти пойдутъ отъ такой женщины!

— Задумались? — тихо спросилъ Бедровъ, подавая ему руку.

— Спасибо, спасибо, — повторилъ Стягинъ, всталъ и свободно прошелъ съ гостемъ до двери.

— Сидите, сидите! Въ передней для васъ свѣжо!

Посредины комнаты Вадимъ Петровичъ постоялъ еще нѣсколько минутъ. Ему хотѣлось сѣсть въ сани и поѣхать къ Лебедянцеву, но докторъ не разрѣшилъ ему выѣздъ. Можно простудиться и опять слечь. Эта мысль не испугала его... Не умереть! Съ такими припадками ревматизма еще можно помириться. А заболѣй онъ — Лебедянецъ пришлетъ Вѣру Ивановну.

Большое раздумье сошло въ душу Вадима Петровича. Онъ опустился на кушетку, закрылъ глаза и долго лежалъ такъ, не двигаясь ни однимъ членомъ. Онъ не хотѣлъ ничѣмъ тревожиться, думать о томъ, что его ждетъ, останется онъ здѣсь или очутится въ Ниццѣ или Каирѣ... Ему было легко... Какая-то пріятность впервые овладѣвала имъ въ этомъ мезонинѣ собственнаго дома. Никуда не нужно спѣшить. Ни передъ кѣмъ не нужно прыгать, ни съ какимъ шумнымъ вздоромъ возиться. Нечего и глодать себя тѣмъ, что живешь скучающимъ иностран-

цемъ и теряешь на бумажкахъ тридцать процентовъ и болѣе.

Силы еще есть. Средства хорошія. „Отступное“ Леонтиѣ не разстроило его дѣлъ. Съ дожомъ, съ имѣньемъ все можно повернуть, какъ онъ того хочетъ... Вотъ она — почва, о которой говорилъ докторъ.

И неизвѣданная жалость ко всему этому добру, заброшенному изъ-за брюзжання, а потомъ и ко всей родинѣ начала проникать въ него.

— Хамъ торжествуетъ! — вдругъ выговорилъ онъ вслухъ и раскрылъ глаза.

А кто позволилъ ему торжествовать?.. Вотъ такіе, какъ онъ, Вадимъ Петровичъ, абсентеистъ и скучающій русскій дворянинъ, добровольно обрекавшій себя на роль безполезнаго и фыркающаго брюзги, чтобы кончить законнымъ бракомъ съ гражданкой Леонтиной Дюпаркъ!

## XV.

Надъ террасой, спускающейся отъ храма Спасителя, стояла зимняя заря. Замоскворѣчье утопало въ сизо-розовой дымкѣ; кое-гдѣ по небу загорались звѣзды. Золоченыя главы храма тоже розовѣли. Величавымъ просторомъ дышала вся картина.

Электрическіе фонари разомъ зажглись, и ихъ розоватый свѣтъ смѣшался съ общимъ тономъ освѣщенія. Свѣжій снѣгъ лежалъ на дорожкахъ цвѣтника, на ступенькахъ террасы, на крышахъ домовъ. Мраморныя стѣны храма отливали желтоватостью слоновой кости.

Тишина нарушалась только тихими волнами загудѣвшаго колокола.

По ступенькамъ поднялся Вадимъ Петровичъ, въ бешкетѣ, въ котиковой шалкѣ, довольно легкою походкой, изрѣдка опираясь о палку. Онъ изъ дому прошелъ пѣшкомъ до Кремля, спустился Тайницкими воротами и набережной направился къ храму Спасителя.

На верхней площадкѣ онъ остановился и долго глядѣлъ. Картина захватила его. Грудь дышала привольно, глаза покоились на очертаніяхъ Замоскворѣчья, ища дальняго края, гдѣ сизо-розоватая дымка переходила въ густѣвшую синь свода.

Старинная маленькая церковь приткнулась сбоку мраморной громады, и кресты ея фигурныхъ главокъ искрились въ послѣднемъ отблескѣ зари.

Стягинъ искренно любовался. Волны мѣднаго гула, шедшаго сверху, настраивали его особенно. Онъ оглянулся на ту сторону храма, гдѣ главные двери. Народъ понемногу собирался къ службѣ, почти только простой людъ—мѣщанки въ бѣлыхъ шелковыхъ платкахъ, чуйки мастеровыхъ, кое-когда купеческая хорьковая шуба.

Тихо, все еще любясь картиной, прошелъ Стягинъ къ паперти, поднялся на нее и еще разъ постоялъ, глядя на уходящія въ полумракъ улицы Остоженку и Пречистенку и конецъ бульвара.

Такъ онъ себя еще не чувствовалъ въ Москвѣ. Осенью все его раздражало и бѣсило. Теперь все покоило взглядъ и тишина зимы убаюкивала нервы. Сколько живописныхъ пунктовъ было по его пути, когда онъ спускался отъ Покровки къ городу, а потомъ Кремлемъ и вдоль Москвы-рѣки! Ничто ему не мѣшало цѣнить своеобразную красоту панорамы. Нѣчто подобное переживалъ онъ только въ Италіи, въ такихъ старыхъ городахъ, какъ Флоренція. „Ужасная“ Москва заново привлекала его, и онъ не пугался такого чувства.

То же продолжалъ онъ испытывать, стоя на обширной паперти храма Спасителя.

Вслѣдъ за какою-то старушкой съ подвязаннымъ подбородкомъ, въ короткомъ стеганомъ салопцѣ, и онъ проникъ въ боковой ходъ. Сюда попадалъ онъ въ первый разъ въ жизни. Когда Стягинъ былъ студентомъ, храмъ строился, и строился долго-долго. Никогда его не интересовали работы внутри церкви. Наружный ея видъ находилъ онъ всегда тяжелымъ, лишеннымъ всякаго стиля, съ безвкусною золотою шапкой.

Внутренность храма, когда Вадимъ Петровичъ остановился невдалекѣ отъ среднихъ большихъ дверей противъ мраморнаго шатра, покрывавшаго алтарь, полная живописной полумглы, ширилась въ грандіозныхъ очертаніяхъ сводовъ и стѣнъ; снопы маленькихъ огоньковъ на паникадилахъ мерцали въ глубинѣ, чуть-чуть освѣщая лики иконъ. Сверху ряды золоченыхъ перилъ на хорахъ отливали блескомъ округлыхъ линій.

Чѣмъ-то совсѣмъ европейскимъ и грандіознымъ пахло на Вадима Петровича подъ куполомъ храма: пышная роскошь украшеній, истовость всего тона, простота и ласкающая гармонія цѣлаго. Ему не захотѣлось ни къ чему придирааться. Онъ отдавался общему впечатлѣнію и,



уходя, далъ себѣ слово придти сюда утромъ изучить все въ деталяхъ.

Сходя съ паперти, онъ вспомнилъ вдругъ восклицаніе Леонтины, когда она вернулась съ Лебедянцевымъ послѣ осмотра московскихъ церквей.

— *C'est grâpe!* — выразилась она про храмъ Спасителя и воздержалась отъ всякой парижской бляги.

— *C'est grâpe!* — повторилъ и онъ вслухъ, но тотчасъ же стряхнулъ съ себя воспоминаніе о пріѣздѣ Леонтины, не хотѣлъ примѣшивать къ своимъ сегодняшнимъ впечатлѣніямъ память о ея невѣжественной сорочьей болтовнѣ.

Онъ пошелъ пѣшкомъ обѣдать къ Лебедянцеву, и этотъ конецъ, — даже и по-московски не маленькій, — не утомлялъ его. Онъ бодрымъ шагомъ спустился къ Пречистенкѣ. Зима принесла съ собой полное освобожденіе отъ ревматическихъ болей, чего онъ никакъ не ожидалъ. Сухой холодъ выносилъ онъ прекрасно.

Къ Лебедянцеву его тянуло. Вѣру Ивановну онъ видѣлъ у себя всего разъ. Она пришла не одна, — привела старшую дѣвочку, посидѣла съ четверть часа, на разспросы отвѣчала мягко, но чрезвычайно сдержанно... Дѣтей она любила, за выздоровленіе жены Лебедянцева не боялась.

Но ему хотѣлось и въ тотъ разъ поговорить съ ней о ея личной судьбѣ. Неужели она такъ и проживетъ въ этой невзрачной долѣ, довольствуясь дешевыми уроками, случайнымъ мѣстомъ чтицы, чуть не сидѣлки? Онъ не премѣнно поговорить съ ней, и сегодня же, и, прежде всего, покажетъ ей, что онъ уже не тотъ Стягинъ, за которымъ она такъ умно ухаживала, не фыркающій брюзга, малодушно носившій иго парижской нечистоплотной связи. Она пойметъ и оцѣнитъ.

Сегодня впервые познакомится онъ и съ житьемъ-бытьемъ своего товарища, въ которомъ нашелъ такого испытаннаго друга.

И чѣмъ ближе онъ подходилъ къ квартирѣ Лебедянцева, тѣмъ явственнѣе сознавалъ въ себѣ пріятное щемленіе въ груди. Какъ будто онъ смущенъ и, въ то же время, на душѣ ясно сознаніе прочности своего положенія и рѣшимость пустить корни здѣсь, въ этой „ужасной“ Москвѣ, даже тамъ, у себя въ усадьбѣ, гдѣ столько земли,

лѣса и разныхъ угодій томятся такъ долго безъ призора, какъ нѣчто лишнее и чужое.

Съ Пречистенки Вадимъ Петровичъ повернулъ въ одинъ изъ переулковъ, пошедшій локаню линіей куда-то въ глубь, совсѣмъ не туда, куда бы ему слѣдовало идти. Но эти зигзаги не сердили его. Онъ зналъ, что найдетъ то, что ему нужно, на третьемъ поворотѣ войдетъ на просторный дворъ, возьметъ лѣво и увидитъ домикъ съ мезониномъ, подробно описанный ему Лебединцевымъ, и поднимется на крылечко.

Такъ все это и вышло. Вотъ и ворота; въ сгустившихся сумеркахъ свѣжій свѣтъ бѣлѣетъ точно въ полѣ; гдѣ-то въ конурѣ брякнула цѣпь собаки и раздался глухой лай. Окна домика привѣтливо освѣщены и внизу, и въ мезонинѣ. Крылечко чистое, съ навѣсомъ.

Стягинъ позвонилъ. Ему отворила пожилая горничная, въ головкѣ, какъ носили нянюшки въ его дѣтство.

— Пожалуйста, батюшка, Дмитрій Семенычъ сейчасъ вернулись.

Тонъ горничной напомнилъ ему Левонтія Наумича, котораго онъ отблагодарилъ вчера, предлагалъ ему поселиться у него въ домѣ, но старикъ не пожелалъ покинуть богадѣльню, гдѣ умирать „расчудесно“.

Въ маленькую переднюю выбѣжала собачка-боротко-ножка, на кривыхъ лапахъ, и стала ласкаться къ Стягину. За ней показался мальчикъ лѣтъ трехъ, съ большою головой, въ опрятной блузѣ, и улыбался гостю большими, круглыми глазами.

— Неужели пѣшкомъ? — раздался голосъ Лебединцева.

— Пѣшкомъ, — весело отвѣтилъ Вадимъ Петровичъ, — отъ самаго дома.

Лебединцевъ расхохотался и крикнулъ на собаку.

— Дружокъ! Не приставай!.. Колька, — приказалъ онъ сыну, — бѣги наверхъ и скажи Вѣрѣ Ивановнѣ, что пора кончать урокъ. Каковъ у меня бутузъ? — спросилъ Лебединцевъ Стягина, когда они проходили залѣце, гдѣ столъ былъ чистенько накрытъ къ обѣду. — Ты, братъ, лишенъ родительскаго верва. Пойдемъ въ кабинетъ, отдохни... Не очень ли ты уже попадаѣлся на себя? Вѣдь, это страшный конецъ!

То, что Лебединцевъ звалъ своимъ кабинетомъ, была узенькая комнатка, въ одно окно, съ кушеткой и старенькимъ письменнымъ столомъ.

— Прилягъ, прилягъ сюда!

Стягинъ прилегъ на кушетку и оглядѣлъ голыя стѣны комнатки. Ему стало совѣстно за бѣдность своего товарища, за эту выносливую и приличную бѣдность.

— Скоро вернется жена твоя?—тихо спросилъ онъ искреннею нотой.

— Она совсѣмъ наладилась... если только не будетъ рецидива.

— Да, вѣдь, это проходить съ беременностью?

— Проходить.

— И которое счетовъ чадо будете вы ожидать?

— Нятое!.. Да одно умерло.

— И тебя не страшитъ такая цифра?..

Вадимъ Петровичъ не договорилъ.

„Нечего умничать, — поправилъ онъ себя мысленно, — лучше войти въ ихъ положеніе...“

Гдѣ-то, сверху, закрипѣли ступеньки лѣстницы; онъ узналъ шаги Вѣры Ивановны и тотчасъ же вскочилъ съ кушетки.

## XVI.

Въ угловой комнатѣ съ занавѣской — она служила и спальней, и гостиной—Стягинъ и Вѣра Ивановна сидѣли у круглаго стола.

Она вышивала. Онъ перелистывалъ иллюстрированный журналъ. Дешевая лампа съ темнымъ абажуромъ роняла свѣтъ на руки и часть лица дѣвушки и оставляла комнату совсѣмъ темной.

Въ домѣ все стихло. Дѣтей уложили. Лебедянцева часу въ восьмомъ собрался на засѣданіе какого-то общества и приглашалъ Стягина съ собой, но тотъ не поѣхалъ, попросилъ у Вѣры Ивановны позволенія посидѣть еще немного.

Оставшись съ ней наединѣ, онъ началъ испытывать неопредѣленную тревогу. За обѣдомъ она занималась больше дѣтьми и рѣдко вставляла слово въ общій разговоръ. Ея разспросы про его здоровье звучали искренно; но онъ желалъ видѣть въ ней еще что-то, ту степень близости, какая установилась у нихъ тамъ, на Покровкѣ.

Но и ему самому неловко было взять другой тонъ. Нѣсколько фразъ перебиралъ онъ мысленно, которыя бы сейчасъ повели къ задушевной бесѣдѣ. Онъ боялся по-

казаться безцеремоннымъ, играть роль богатаго барина, желающаго обласкать свою бывшую чтицу.

И это колебаніе увеличивало его тревогу.

— Вѣра Ивановна,—выговорилъ онъ, глядя не на нее, а на рисунокъ журнала, — у меня есть планъ насчетъ Лебедянцева... Одобрите ли вы его?

— Какой, Вадимъ Петровичъ?

— Я въ первый разъ здѣсь, и благодаря вамъ...

Она промолчала.

— Вы вызвали во мнѣ совсѣмъ другое отношеніе къ Лебедянцеву и его житейской долѣ. Надо его обезпечить. Онъ мнѣ далъ мысль иначе распорядиться моею городскою собственностью. Я ему предложу быть моимъ компаньономъ по этой части, вести постройки. У него будетъ даровая квартира и доля въ доходахъ.

Умные и пытливые глаза дѣвушки остановились на немъ. Но въ нихъ онъ чувствовалъ еще какую-то особенную сдержанность.

Тихонько протянулъ онъ руку и прикоснулся концами пальцевъ къ ея вышиванью.

— Послушайте, — продолжалъ онъ пониженнымъ звукомъ, — вы точно на меня въ претензіи за что-то...

— Я, Вадимъ Петровичъ?

Щеки ея слегка порозовѣли. Онъ глядѣлъ на нее вбокъ. Голова ея, съ густыми, волнистыми волосами и бѣлымъ значительнымъ лбомъ, немного откинулась назадъ. Рѣсницы она опустила.

Тревога Стягина возрастала. Эта дѣвушка привлекала не одною своею свѣжестью, бюстомъ и красивымъ профилемъ. Никогда онъ не имѣлъ къ женщинѣ такого почтительнаго чувства, смѣшаннаго со страхомъ, что вотъ она совсѣмъ уйдетъ отъ него, что онъ передъ ней неисправимо провинился.

— Неужели вы не простили той сцены... у меня, когда пріѣзжая изъ Парижа особа такъ глупо повела себя? Я, конечно, былъ кругомъ виноватъ въ томъ, что ввелъ васъ въ интимныя подробности моей жизни...

— Полпоте, Вадимъ Петровичъ, — остановила она его и положила работу на столъ. — Мнѣ уже подъ тридцать лѣтъ... И такой щекотливости во мнѣ нѣтъ... Вы со мной были очень деликатны. Только мнѣ неприятно стало, что такъ вышло...

Она затруднялась выразить вполнѣ свою мысль.

— А вышло очень хорошо! — вдруг заговорилъ Стягивъ съ неожиданнымъ для него напывомъ снѣлости. — И вотъ я вольный казакъ! И этимъ я обязанъ, прежде всего, знаете кому?

— Нѣтъ, не знаю, Вадимъ Петровичъ.

Она опять опустила голову надъ работой.

— Вамъ, Вѣра Ивановна.

Ему показалось, что ея рѣсницы нервно вздрогнули:

— Съ какой стати?

— Вамъ, — повторилъ онъ и взялъ ее за руку около локтя.

Она отдернула руку.

— Полноте, — выговорила она, и въ голосѣ ея слышались тѣ строгія ноты, которыхъ онъ ждалъ и боялся.

— Почему же мнѣ не говорить правды? — возбужденно возразилъ онъ, испытывая уже болѣе пріятную тревогу. — Разумѣется, вамъ. Пріѣхала та женщина, — онъ не хотѣлъ называть ее по имени, — приревновала къ вамъ, показала всѣ свои карты, и вотъ ей больше нѣтъ въ моей жизни!

— И вы говорите это съ такою радостью, Вадимъ Петровичъ?

Вопросъ звучалъ укоризной.

— А то какъ же?

— И вамъ ни чуточки не жаль этой женщины... или своего прошлаго?.. Все-таки, у васъ была же...

— Дурная привычка!

Онъ опять сталъ бояться того, что она его осуждаетъ, что въ ея глазахъ онъ бездушный развратникъ, прогнавшій отъ себя женщину, съ которой жилъ десять лѣтъ. Вѣдь, это, по толкованію русской дѣвушки съ новыми взглядами, выходитъ „гражданскій бракъ“... Онъ порывисто сталъ оправдываться... Не то одно его оттолкнуло, что въ парижской „подругѣ“ слишкомъ уже сквозило желаніе воспользоваться его болѣзнью и женить на себѣ, но онъ самъ испугался пошлости и лжи такого конца, и говорить это прямо, говорить ей, Вѣрѣ Ивановнѣ, дѣвушкѣ, на судъ которой хочетъ отдать свое поведеніе.

Въ жару своей оправдательной рѣчи Вадимъ Петровичъ взялъ ея руку и не выпускалъ изъ своей. Вѣра Ивановна уже не отдергивала ее.

— Я вамъ вѣрю, Вадимъ Петровичъ, — сказала она и выпрямилась. — Довѣріе ваше очень цѣнно. Много ли вы меня знаете? Какъ простые люди говорятъ, безъ году

недѣля... Ваша болѣзнь сблизила насъ, это точно... Я къ вамъ, втихомолку, присматривалась... Вы для меня стали понятны... довольно скоро. Вамъ не хорошо жилось тамъ, въ Парижѣ. Сухо, матеріально. А, между тѣмъ, въ васъ сидитъ совсѣмъ не такой...

— Брюзга,—задушевымъ звукомъ подсказалъ онъ.

Она тихо разсмѣялась.

— Да, если хотите... А шутка—двадцать лѣтъ прошли у васъ въ этой заграничной суши...

„И ты—почти старикъ“,—подсказалъ онъ себѣ и ему стало вдругъ жутко, до слезъ обидно и смѣшно за себя. Пятый десятокъ пошелъ, а онъ вотъ ищетъ женскаго отклика на свою холостую хандру.

— Неужели и отходную себѣ читать? — спросилъ онъ и взглянулъ на нее грустно, почти просительно.

— Зачѣмъ? Развѣ я это говорю, Вадимъ Петровичъ?

Голосъ ея приласкалъ его. Ему стало легче. Чувство давно неиспытанной стыдливости начало овладѣвать имъ. Хотѣлось надѣяться и не страшно было отъ возможности другого конца, согрѣтаго любовью такой дѣвушки.

Но надо ее вызвать!.. Она не Леонтина; ее не купишь... Бѣдность и трудъ не страшны ей...

Съ тѣми же мыслями вышелъ Стягинъ и изъ маленькаго домика полчася спустя.

На дворѣ стояла лунная ночь. Онъ прошелся немного пѣшкомъ, на Пречистенкѣ взялъ извозчика и приказалъ ему ѣхать по Покровку Кремлемъ.

На эспланадѣ, противъ дворца, онъ остановилъ извозчика, вышелъ и долго стоялъ у перилъ, любясь несравненною ночною картиной. Онъ не боялся холода, не мечталъ о новомъ побѣгѣ въ чужіе края, никуда его не тянуло, ничего брезгливаго противъ Москвы не поднималось въ его душѣ.

Городъ, которому онъ такъ долго измѣнялъ, владѣлъ имъ въ эту минуту. Все ему сдѣлалось близко, понятно и дорого. Изъ маленькаго домика ушелъ онъ смущенный и тронутый; надежда на хорошій конецъ не стихала. Вся исторія его болѣзни, поддержка товарища, освобожденіе отъ Леонтины, роль красивой и умной чтицы могли бы представиться ему совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ... Его ловко обошли. Лебедяпцевъ поживится около него и жепить на дѣвушкѣ, преданной себѣ...

Такъ бы и сталъ ему представлять дѣло любой пари-

жанинъ. И онъ можетъ точно такъ же все объяснить, но не хочетъ. Жить онъ хочетъ по-другому,—это онъ зналъ и чувствовалъ, не смущаясь тѣмъ, что ему пошелъ сорокъ пятый годъ...

На него лились съ неба серебристые лучи, на него и на бѣлыя стѣны соборовъ, и на розоватую громаду дворца, на матовое золото церковныхъ главъ.

Что-то бодрящее, никогда не испытанное наполняло его... Онъ вспоминалъ свой разговоръ съ докторомъ о „почвѣ“—и ему стало еще отраднѣе...

По дорогѣ домой онъ по-дѣтски закрылъ глаза и въ полудрежѣ ѣхалъ такъ по улицамъ, подставляя лицо подъ легкій морозный вѣтерокъ.

## ВТОРАЯ ОТЪ ВОДЫ.

### I.

- Отвѣчай же, Витя!
- Извольте, мамочка, только вы не отчетливо спрашиваете.
- Ладно. Все ты фиятишь. Говори сначала: *Cartaganienses...* Ну?
- *Cartaganienses cum minos...*
- Нѣтъ *minos*, а не *minos*.
- Ахъ, позвольте!.. Ну, разумѣется, *minos*.
- А потомъ что? Вотъ и прильпé!
- Не прильпе-съ, а знаю!
- И мальчикъ духомъ выпустилъ всю тираду:
- *Cum minus eo die exspectarent...*
- Поймай!.. Ты знаешь ли, какая это форма: *exspectarent*?
- Какъ же не знать? Это подготовишкѣ совѣстно задавать такіе вопросы. Вотъ и опять сбили! Я дальше пойду...
- Сдѣлай милость.
- Ну, да, у меня твердо въ промежуткѣ; а потомъ такъ: *hostes aut pugnam e navibus...*
- Вотъ еще какія тонкости: *e...* А по-моему бы просто: *ex*.
- Кто же это скажетъ *ex*, мамочка? *E navibus egressi partim per agros errabant, partim in tabernaculis quiescebant!*



Гимназистикъ такъ и выпалилъ, въ оба раза, слово „partim“, смакуя его, а къ концу предложенія звучно перевелъ дыханіе.

— Такъ, небось?

— Недурно!

Въ опрятной, небольшой столовой, подъ висячею лампой сидѣли за столомъ, покрытымъ скатертью изъ сѣраго толстаго сукна, молодая еще женщина и мальчикъ лѣтъ двѣнадцати.

Ей было подѣ тридцать. Очень небольшого роста, она казалась подросткомъ за этимъ обѣденнымъ столомъ: голову она нагнула низко надъ тетрадкой и облачивалась на оба локтя. Темное мериносовое платье ловко сидѣло на ней безъ морщинки и по корсету. И прическа черныхъ волосъ показывала привычку заниматься своею головою. Но лицо уже отцвѣтало. Щеки потеряли румянецъ; по обѣимъ сторонамъ довольно крупнаго носа легли двѣ складки; добродушный ротъ съ толстоватою нижнею губой показывалъ зубы не совсѣмъ ровные. Въ глазахъ, длинныхъ, сѣрыхъ, красивыхъ, улыбка перемежалась съ притворно-строгимъ выраженіемъ, когда густыя брови придвигались концами къ переносицѣ.

Мальчикъ, въ блузѣ гимназиста, откинулся на спинку дубоваго рѣзного стула и держалъ голову такъ, какъ держать ее, когда хотятъ хорошенько и поскорѣе все вспомнить. Онъ положилъ на столъ одну только правую руку. Тоненькіе пальцы ея перебирали обрѣзъ учебника, случившагося тутъ. Голова мальчика, съ выпуклымъ лбомъ и стрижкой подѣ гребенку дымчатыхъ волосъ, закруглялась въ свѣтѣ лампы; бѣлая кожа лба, румянецъ дѣтскихъ щекъ, узенькіе каріе глаза и по двѣ ямочки на каждой щекѣ пышили здоровою возбужденностью. Въ голосѣ его уже звучали альтовыя ноты.

— А еще есть письменныя упражненія, Витя?

— На завтра — все; больше нѣтъ. Теперь только изъ русскаго.

— Давай.

— Я и одинъ. Что же вамъ трудиться?

Мальчикъ протянулъ къ ней ласково свободную кисть руки.

— Какъ знаешь: я не устала. Что жъ, чай будемъ пить?

— Я готовъ... Сдѣлаю передышечку.

Онъ вскочилъ со стула, быстро собралъ тетрадки и книжки. Та, которую онъ звалъ „мамочкой“, потянулась, сдержала зѣвоту и позвонила. Подъ лампой висѣла научуковая груша воздушнаго звонка.

— Хочешь, чтобъ я сама заварила?—спросила она Витю.

— Веселѣе будетъ!

Мальчикъ уже стоялъ въ дверяхъ, на пути въ свою комнатку.

— Сказать Марьѣ?—звонко крикнулъ онъ.

— Да, скажи, что я звонила — столъ накрыть и самоваръ.

— Хорошо, мамочка.

Витя убѣжалъ. Столовая сразу сдѣлалась скучнѣе и просторнѣе. Ее не наполнялъ больше говоръ латинской репетиціи, переливы звонкаго, вздрагивающаго голоска.

Марина Игнатьевна, наконецъ, встала, перевела плечами, точно хотѣла стряхнуть съ себя одеревянѣлость членовъ. Но въ ея большихъ глазахъ появился тотчасъ же налетъ тоски и безпокойства. Она пожалѣла, про себя, о томъ, что репетиція такъ скоро кончилась. Ужъ не обмануль ли ее немножко Витя? Съ нимъ забавно. Какъ онъ выпаливалъ „partim“ и опять „partim“, и такъ вкусно выговаривалъ звучное слово „tabernaculis“.

И ей не страшны теперь ни латинскія слова, ни спряженія, ни „суппны“, ни „герундіи“, ни „творительный самостоятельный“, ни дательный — тоже „самостоятельный“. Въ два какихъ-нибудь года она настолько выучилась сначала самоучкой, потомъ у студента, что можетъ, хотя и съ грѣхомъ пополамъ, подучивать Витю.

Латинская грамматика и — балетъ, школа, гдѣ столько годовъ она носила цвѣтное платье съ бѣлою пелеринкой и фартукомъ и каждое утро выстраивалась въ залѣ, вдоль стѣны и оконъ, въ ожиданіи учителя! И звукъ скрипки у ней, только что она зажмурится, сейчасъ начинается чуть слышно раздаваться, какъ комаръ... Всѣ старыя мелодіи старыхъ, классическихъ па... Да и потомъ, уже на службѣ, сколько лѣтъ продолжала она ѣздить въ ту же школу, мечтала объ успѣхахъ, добилась повышенія, была старательнѣе почти всѣхъ своихъ товаровъ и нагрудила ногу, въ щиколкѣ, потеряла гибкость, много отъ этого плакала и спустилась до званія корифейки... Почти что до „второй отъ воды“.

Много стало у ней свободнаго времени. Вотъ тутъ и

занятія съ Витей пришлись очень кстати. И „рускимъ предметахъ“ учили ее плохо. Надо было многое заново протвердить. А потомъ и латинскій языкъ не испугалъ; хотѣла даже и по-гречески начать, да греческій Витѣ, почему-то, давался гораздо больше, чѣмъ латынь.

Каждый вечеръ, послѣ урока, почти одинъ и тѣ же мысли приходятъ ей. И все они вдвоемъ съ Витей. Послѣ чая онъ еще позубритъ немножко у себя, въ началѣ одиннадцатаго ляжетъ спать, а она читаетъ, читаетъ — до тѣхъ поръ, пока глаза не начнутъ слипаться.

Прежде ждала звонка; теперь не ждетъ больше. Тогда въ спальнѣ стояли двѣ кровати; теперь только одна — вотъ уже прошло четыре мѣсяца, какъ заведенъ такой порядокъ. И онъ уже не будетъ измѣненъ.

— Мама! что же самоваръ?

Марина Игнатьевна окликнула горничную непроизвольно. Ей нужно было выйти изъ этого неизбѣжнаго обдумыванья все однихъ и тѣхъ же фактовъ, одного и того же положенія.

— Позовите Витю пить чай! — сказала она горничной, когда самоваръ былъ поставленъ и все остальное, что нужно къ чаю.

Его мурлыканье она любила, да и вообще въ столовой менѣе жутко, чѣмъ въ остальныхъ комнатахъ.

## II.

Витя пилъ чай основательно, изъ большого стакана, съ подстаканникомъ, подареннымъ ему при переходѣ во второй классъ. Мальчикъ любитъ чай не очень сладкій, но чтобъ похрѣпче. Съ чаемъ съѣдаетъ плюшку; масла не любитъ и сухарей также, — у него въ горлѣ „стрекочетъ“ отъ нихъ.

Между первымъ и вторымъ стаканами — иногда и третій попросить — онъ дѣлалъ передышку, и тутъ всегда у нихъ происходить разговоръ. Витя рассказываетъ про классы, уроки, отмытки, товарищей и учителей; разсуждаетъ вслухъ о жизни „вообще“ и тѣкаетъ „своей „мамочкѣ“ разные вопросы.

Съ ней онъ сжился. Онъ знаетъ, но только съ поступленія въ гимназію, что Марина Игнатьевна — не родная мать ему, что онъ осиротѣлъ во второму году; но представить себѣ какую-нибудь другую женщину въ роли его матери онъ никакъ не можетъ. Портретъ его „настоящей“ мамы ему подарили, тоже около того времени, какъ онъ во-

ступилъ въ гимназію; другой ея портретъ виситъ у отца, въ кабинетѣ, надъ кушеткой. Она была, какъ и эта „мамочка“, въ балетѣ. Витя произноситъ „танцовщица“, съ удареніемъ на предпоследнемъ слогѣ, хотя и отецъ, и Марина Игнатьевна отучали его много разъ отъ такого ударенія. Но въ гимназій такъ произносили, а все, что гимназія, было для Вити почти закономъ умѣнья жить и высшей грамотности.

Съ Мариной Игнатьевной у него всегда лады; онъ ее любитъ и внутренно жалѣетъ; но съ тѣхъ поръ, какъ сталъ говорить, постоянно говорилъ ей „вы“. Отцу—„ты“. Смутно понималъ онъ и то, что „мамочка“ не всегда была для отца женой; что онъ сначала жилъ съ отцомъ на другой квартирѣ, и туда она прѣзжала часто и оставалась подолгу. Потомъ всѣ трое стали жить на одной квартирѣ; но только уже позднѣе они разъ поѣхали въ церковь, и на мамочкѣ было бѣлое платье съ бѣлыми же цвѣтами на головѣ, и дома ихъ поздравляли, съ бокалами шампанскаго. Онъ тогда еще хорошенько не зналъ, кто у него была настоящая мать. Первая, Марина Игнатьевна стала ему говорить, что покойная его „мама“ приходилась ей родственницей и жили онѣ въ большой дружбѣ, и учились вмѣстѣ, вмѣстѣ ихъ и выпустили „на службу“.

По двѣнадцатаму году, послѣ разныхъ разговоровъ въ гимназій, Витя многое сообразилъ. И сталъ, даже и передъ самимъ собой, какъ бы скрывать то, что его родная мама не была женой отца, а также и то, что теперешняя „мамочка“ не сразу ею сдѣлалась; онъ старался объ этомъ позабыть, что ему не всегда удавалось. Онъ ее очень „уважалъ“ и уваженіе это росло въ немъ. Не хотѣлось ему думать что - нибудь дурное про отца; но онъ не могъ ни приласкаться къ нему, ни поговорить съ нимъ хорошенько. Отца никогда почти не было дома въ тѣ часы, когда Витя возвращался изъ гимназій. Кое-когда отецъ остается обѣдать, спроситъ его о чемъ - нибудь, но не серьезно, а такъ, чтобъ поддѣлать, или выругаетъ кухарку за плохую ѣду: съ „мамочкой“ перекинется двумя-тремя словами, больше посвистываетъ или читаетъ газету между кушаньями и курить со второго блюда.

Витя чувствовалъ, что у нихъ въ домѣ неладно. Ему много разъ хотѣлось прильнуть къ своей мамихѣ, положить ей голову на колѣни или на плечо, поцѣловать ее въ щеку и спросить: „какъ ей живется“. Но онъ стыд-

ливъ. Ему это кажется слабостью, смѣшною сентиментальностью. Ему всегда хочется быть „мужчиной“. И, кромѣ того, онъ не желаетъ становиться между отцомъ и „мамочкой“. Кого-нибудь да надо будетъ осудить. Такъ всегда бываетъ въ жизни. Не могутъ быть оба правы!.. Мамочкину жизнь онъ знаетъ, какъ на ладонкѣ, а отцовскую—ни чуточки. Непремѣнно придется кого-нибудь обвинять.

Но въ этотъ вечеръ Витя не выдержалъ. Онъ подмѣтилъ въ лицѣ Марины Игнатьевны что-то новое.

— Мамочка-съ!.. — началъ онъ и откинулъ сейчасъ же голову.

По этому оклику она ожидала какого-нибудь вопроса поучительнаго свойства. Она рада была давать на нихъ отвѣты, но у ней не всегда доставало знаній. Иногда ей приводилось говорить ему:

— Я, право, не знаю, Витя. Меня плохо учили.

И ей было каждый разъ совѣстно за то, что она „такая дубишка“.

— Мамочка-съ,—повторилъ Витя.

Онъ не рѣшался спросить сразу.

„Вотъ опять что-нибудь мудреное спросить“,—подумала Марина Игнатьевна.

— Скажите, пожалуйста, — продолжалъ Витя,—у папы развѣ такая тяжелая служба?

Она взглянула на него изъ-за блюдечка.

Марина Игнатьевна пила обыкновенно въ прикуску или въ „пригрызку“, какъ она выражалась.

— Какъ тебѣ сказать... Не думаю, чтобы очень.

„Зачѣмъ это ему?“—спросила она себя, не чувствуя еще, куда ее пасынокъ желаетъ придти. Она до сихъ поръ не позволяла себѣ, глазъ-на-глазъ съ нимъ, хоть что-нибудь высказать объ отцѣ неодобрительное, хоть слегка пожалопливала.

Такой „гадости“ она никогда себѣ не позволить.

— Вечеромъ папа бываетъ ли въ своемъ департаментѣ?

— Не знаю, право, Витя.

— Какъ же это вы, мамочка, никогда не любопытствовали?.. Я думаю, что у него не очень много дѣла... по службѣ. Навѣрное, меньше, чѣмъ у насъ, на примѣръ, въ гимназій.

— Какъ же ты себя сравниваешь? Ты еще маленькій.

— Такъ что, что маленькій? Вотъ перейду въ старшіе классы, тамъ еще тяжелѣе будетъ. Небось, не даромъ нынче

вездѣ въ газетахъ пишутъ, что нашего брата переутомляютъ непосильными занятіями. Это такое новое слово есть—переутомленіе; не я его, мамочка, выдумалъ.

— Я знаю! Такъ какъ же быть, коли иначе нельзя, чтобы въ студенты попасть?—спросила Марина Игнатьевна, обрадованная поворотомъ разговора. Витя—не особенный охотникъ жаловаться на трудность уроковъ; но гимназія и гимназисты—его конекъ, и онъ, навѣрное, будетъ объ этомъ и дальше говорить.

Но Витя повернулъ опять къ отцу.

— Вѣдь, папа пишетъ въ газетахъ?

— Какъ же.

— О театрахъ?

— Да, Витя.

— Гдѣ же онъ обыкновенно свои статьи пишетъ? Не у себя же дома,—его никогда дома не бываетъ?

— Какъ же ты можешь это знать, — ты въ девятомъ часу уходишь?

— Да, вѣдь, это правда, мамочка. Зачѣмъ же скрывать? Я знаю хорошо, что папа очень поздно встаетъ, и въ будни не раньше, чѣмъ въ воскресенье, часу въ двѣнадцатомъ. Въ первомъ въ департаментъ поѣдетъ... Тамъ его и слѣдъ простылъ!

Мальчикъ весело разсмѣялся. Онъ не хотѣлъ осуждать отца, и ему его разспросы казались просто необходимыми, чтобы многое выяснить. Замѣтилъ онъ уже давно, что „мамочка“ очень жметъ, на провизію даетъ мало, съ кухаркой часто у ней идутъ перекоры, горничная жалуется,—онъ это слышитъ черезъ перегородку,—на барыню кухаркѣ, своимъ чередомъ, и все на то, что „каждую копейку усчитывать начала“. И одѣвается она все въ черномъ, одно „платишко“ (Витя такъ называетъ про себя) и въ праздникъ, и въ будни, извозчика рѣдко возьметъ, а въ каретѣ ѣздитъ только въ казенной, когда пріѣдутъ за ней на репетицію или на спектакль.

— И много папа зарабатываетъ въ обоихъ мѣстахъ?—спросилъ онъ, принимая отъ Марины Игнатьевны второй стаканъ чаю.

— Въ какихъ обоихъ?—переспросила она, почти нехотя.

Направленіе разговора ей не нравилось. Она могла бы прикрикнуть, сказать ему, что онъ задаетъ ей пустые вопросы и слишкомъ еще малъ, чтобы во все носъ совать. Но она не хотѣла его огорчать. Витя—мальчикъ послуш-

ный, покладливый, очень умненькій. Если его оборвать, онъ, конечно, замолчитъ, но тотчасъ же пойметъ, что мамочка не желаетъ быть откровенной въ самыхъ простыхъ вещахъ. Такимъ путемъ онъ скорѣе можетъ начать подозревать что-нибудь.

— Василий Федорычъ получаетъ хорошее жалованье.

— Тысячу или больше?

— Больше. Какое же нынче жалованье тысячу рублей? Это только я вотъ на пятидесяти рубляхъ въ мѣсяцъ сижу.

Витя знаетъ, что она получаетъ каждый мѣсяцъ жалованье въ Театральной улицѣ, и это очень поднимало въ его глазахъ значеніе его мамочки, какъ личности.

— Что жъ вы себя обижаете? — съ большою живостью возразилъ онъ. — Вы бы теперь тысячи получали, и бенефисъ, и все прочее, если бъ не случилась съ нами бѣда. Зато пенсія у васъ будетъ, мамочка, кѣдъ будетъ?

Если бъ она сказала: „не будетъ“, это сильно огорчило бы его.

— Если не прогонять, пожалуй, — съ замятною грустью вымолвила Марина Игнатьевна.

— Ну, ужъ это позвольте! — задорно вскрикнулъ онъ. — Кто же такую подлость сдѣлаетъ?

Когда Витя поставилъ стаканъ на поднось и утерся салфеткой, онъ перевелъ свои узенькіе глаза на Марию Игнатьевну, и въ этихъ карихъ глазкахъ засвѣтилось опять упорное преслѣдованіе все той же мысли. Она сейчасъ же поняла, что онъ вернется къ занятіямъ и жалованью отца.

— И въ газетѣ ему хорошо платятъ? Вѣдь да, мамочка?

— Кажется.

— Я навѣрное знаю. Сарапуловъ, товарищъ одинъ, онъ сынъ конторщика въ той редакціи, мнѣ какъ-то говоритъ этакъ, въ перемину: „Твой отецъ здорово получаетъ. Ему по двѣнадцати копеекъ платятъ за театральные отчеты“. Онъ зря не скажетъ, — прибавилъ Витя и даже немного нахмурилъ свои такія же густыя, какъ у мамочки, и красивыя брови.

— Да, конечно, — проговорила Марина Игнатьевна и ее началъ разбирать страхъ: вдругъ какъ она не выдержать и расплачется?

А въ головѣ мальчика шла упорная логическая работа. Если папа въ обоихъ мѣстахъ получаетъ много, — кладетъ тысячу пять, а то, быть-можетъ, и больше, да „ма-

мочка" своихъ имѣетъ шестьсотъ, — куда же идутъ всѣ эти деньги?

Ему было извѣстно, что за квартиру платятъ семьсотъ рублей, кухарка получаетъ всего восемь рублей, горничная семь, на обѣдъ выдается два рубля. И на себя „мамочка“ тратитъ такъ мало, такъ мало... Онъ стоитъ не больше какъ рублей чотыреста и съ ученіемъ. Эта цифра показалась ему очень большой. Ужъ не идетъ ли на его ученіе, обмундировку и книги все, что составляетъ ея жалованье?

Этотъ вопросъ заставилъ его еще больше смутиться.

— Мамочка! — окликнулъ онъ ее, точно высвобождаясь изъ напряженной головной работы надъ трудною задачей. — Вѣдь папа въ карты не играетъ, въ большую?

— Да онъ ни въ какую, кажется, не играетъ, — отвѣтила Марина Игнатьевна и стала перемывать стаканы Вити.

Онъ тихонько спустился со стула, обошелъ позади ея сидѣнья, взялъ ее за голову и припалъ своею головою къ ея плечу.

— А вы все однѣ — со мной, да съ латынью!

Ему хотѣлось все высказать: и то, какъ она усчитываетъ каждую копейку, и какъ бѣдно одѣвается, и все остальное.

Марина Игнатьевна поняла своего пасынка, поцѣловала его въ лобъ и даже пожала его руку.

— Я не одна, Витя... Мы съ тобой — друзья.

### III.

Бьетъ въ столовой два часа ночи. Марина Игнатьевна давно уже погасила свѣчу. Въ спальнѣ горитъ ночникъ. Она не можетъ отъ него отвыкнуть. Ей было бы страшно, до сихъ поръ, какъ маленькой. Вся квартира спитъ: Витя, горничная, кухарка. Горничная не раздѣвается. Надо будетъ идти отворить барину, когда онъ вернется. И она же позвонитъ горничной, отъ себя: у той сонъ такой крѣпкій, что звонокъ съ лѣстницы въ кухню не разбудитъ ее.

Василій Ѳедоровичъ не вернется раньше чотырехъ. Скоро настанетъ такая ночь, когда онъ и совсѣмъ не придетъ, или къ утру, а потомъ и съѣдетъ. Сегодня ей эта возможность явилась впервые совершенно ясно.

Что же удержать его? То, что она его законная жена? Развѣ нынче бракъ что-нибудь значить, да еще въ та-



комъ обществѣ, гдѣ они встрѣтились, у всѣхъ этихъ любителей балета, ухаживателей и содержателей? Вѣдь она еще дѣвочкой, по четырнадцатому году, отлично понимала все. Были и между ея товарками такія, что постоянно мечтали о замужствѣ. И она сама говорила, что пристроиться прямо изъ школы, хотя бы и за хорошаго человѣка, все-таки, жить въ грѣхѣ, приравнять себя къ содержанкамъ. Однако, кругомъ мало кто выходилъ замужъ, хотя многія держались долго. Держатся или такія, что въ талантъ свой вѣрятъ, хотятъ выбиться, славу получить, и тогда уже, лѣтъ тридцати, выйти замужъ съ расчетомъ, или за человѣка, который передъ ними на заднихъ лапкахъ, а то такъ тѣ, что не красивы, не бойки, манеръ нѣтъ, говорить не умѣютъ, хотятъ чѣмъ-нибудь себя отличить во множествѣ такихъ же.

Она не была ни красавицей, ни даже очень хорошенькой, но ее замѣчали, любили съ ней болтать, сложеніемъ брала, со всѣми умѣла пошутить, ни съ кѣмъ не ссорилась и между простыми фигурантками. И вотъ случилось же, что, на двадцатомъ году съ небольшимъ, стала „жить“, и съ кѣмъ же?! — съ бывшимъ пріятелемъ своей покойной подруги. Глупа была, тщеславна, ей льстило то, что онъ про нее въ газетахъ напишетъ, кое-когда фамилію ея упомянетъ. И тогда уже онъ обращался съ ней свысока, давалъ ей чувствовать, что если бъ онъ за ней и сталъ ухаживать, то, все-таки, она никогда не замѣнитъ для него „Онечки“. Кто изъ товарокъ желалъ ей добра, отговаривали ее не только чтобы жить съ нимъ „такъ“, а даже и отъ выхода замужъ.

— Онъ все равно, что пловець, — говорили онѣ, — у него ребенокъ есть. У тебя свои могутъ пойти — нянчись съ чужими, тоже вѣдь незаконнымъ.

Но ребенокъ-то и сдѣлалъ все, она заѣхала разъ и Витю привели. Держали его небрежно. Сразу стало ей жаль этого мальчика.

Съ тѣхъ поръ и пошло быстрое сближеніе. О женитбѣ и не заикались. Безъ всякой церемоніи, съ постоянными насмѣшками и прибаутками, отвергалъ отецъ Вити всякій законный бракъ и доказывалъ, что артистка — на какой угодно сценѣ — „не смѣетъ“ выходить замужъ, даже если она только полезность, а не крупный талантъ. Замужнихъ, по его мнѣнію, слѣдовало бы гнать со службы, какъ подающихъ дурной примѣръ. Въ такихъ-то разговорахъ

они и сблизилась. Она тогда все еще продолжала смотреть на него снизу вверх, считать его „авторитетом“, человеком совсемъ другой породы, гордилась его вниманіемъ, насчетъ „искусства“ пила каждое его слово.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ ей отдѣлалъ квартиру и туда же перевезъ мальчика. Она мечтала быть матерью, нужды нѣтъ, и незаконнаго ребенка; но матерью она не стала, и это ей было объявлено докторомъ съ первыхъ же мѣсяцевъ ихъ сожителства. Тѣмъ сильнѣе начала она привыкать къ Витѣ. Можетъ-быть, онъ и повелъ къ замужеству, или въ ней, скорѣе чѣмъ она думала, начался внутренний разборъ своего сожителя. Она никогда не хитрила съ нимъ, но на судьбу мальчика указывала и просила похлопотать о томъ, чтобъ ему даны были права. Изъ самолюбія, должно-быть, отецъ пошелъ на это. Когда Витя получилъ имя — и ея положеніе сдѣлалось какъ-то другимъ. Она не приставала: „женись!“ — и очутилась женой. Теперь, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, начинается она догадываться, почему оно такъ случилось.

И тогда уже ее не любили, охладѣли и къ ласкамъ, да и посѣщенія стали рѣже. Общей квартиры еще не было, но онъ увлекался — тоже все въ балетѣ — и наскокилъ на полный отказъ, только онъ усиленно скрывалъ свое ухаживанье. Появились послѣ похвалъ ругательныя статьи. И это не подѣйствовало.

Вотъ тогда на ней и женились изъ досады, чтобы показать другой, что ничего серьезнаго въ томъ новомъ ухаживаньи нѣтъ и не можетъ быть. Гдѣ уже было отказываться отъ такого счастья!.. Она еще любила его, еще надѣялась на то, что онъ не всегда будетъ такимъ. Наконецъ, она должна была сдѣлать это для Вити. Ребенокъ выросъ на ея рукахъ, вѣрилъ еще тогда, что она его „мамочка“, что другой матери у него и не бывало никогда. Да и къ памяти Онечки она не охладѣла. Та и „съ того свѣта“ скажетъ ей спасибо за то, что она не отказалась отъ брака, не ушла отъ ея ребенка, стала для него настоящею матерью.

И все это уже грузомъ лежитъ на ея еще молодыхъ плечахъ, отняло раньше времени и свѣжесть, и почти всякую радость жизни.

Она немножко забылась.

Не сонъ овладѣлъ ею, а грѣзы въ видѣ картинъ. Въ нихъ была связь. Она увидала себя подросткомъ лѣтъ че-

тырнадцати. Тогда она была не по лѣтамъ мала, но полненькая, съ бѣлыми наливными ручками и большими глазами — совсѣмъ уже женщина въ миниатюрѣ. Давали какую-то оперу Верди, и она была „занята“ въ группахъ. Въ антрактѣ сидитъ она на полу, готовится принять позу, выученную подѣ муштровку балетмейстера: чтобы правую ногу вытянуть носкомъ кнаружи, лѣвую слегка согнуть въ колѣнѣ, лѣвою рукой подпереть подбородокъ, правой держать пальмовую вѣтвь, а глаза повернуть къ публикѣ.

Кругомъ сидѣли и лежали ея одноклассницы, тоже подростки, и вполголоса болтали. Около нихъ сновалъ народъ: плотники, бутафоры, большія танцовщицы, фигуранты; бѣгалъ, какъ угорѣлый, помощникъ режиссера. Стали показываться и лѣвцы. Одинъ изъ нихъ, теноръ, не самый первый, а изъ хорошихъ — итальянецъ со свѣтлыми кудрявыми волосами и длинною бородкой, въ богатомъ расшитомъ испанскомъ костюмѣ, шелъ подѣ-руку съ капельмейстеромъ. Они остановились передъ группой, гдѣ лежала Мариша.

Теноръ поглядѣлъ на нее и улыбнулся. Ему, должно-быть, показалась забавною ея поза, или глаза понравились, или голенькій согнутый локоть... Онъ сдѣлалъ ей ручкой. И капельмейстеръ, въ бѣломъ галстукѣ, кивнулъ ей головой. Оба прошли за кулисы и что-то между собой часто-часто заговорили по-итальянски. Капельмейстеръ ей казался „противнымъ“: носъ у него былъ съ горбомъ и хрящавый, и борода шершавая, и лысина.

А у тенора мягкіе глаза и ротъ съ бѣлыми-бѣлыми зубами. Маришѣ сейчасъ шепнула ея подруга Васяткина 2-я:

— Онъ тобой интересуется!

Онѣ уже очень много занимались „этимъ“ и съ учениками, и съ фигурантами, и съ посторонними, кто навѣщалъ подругъ.

— Вотъ еще глупости! — отвѣтила она, но подѣ румянами покраснѣла.

Во время дѣйствія теноръ зашелъ въ кулису, сдѣлалъ ей опять ручкой и показалъ коробку конфетъ.

— Ну, какъ же не интересуется? — шепнула ей Васяткина, и какъ разъ въ такую минуту, когда надо было хорошенько держаться, не дрогнуть, не опустить какъ-нибудь правой руки съ вѣтвью.

Все, что она перечувствовала въ эти три-четыре минуты,

всплыло теперь, точно сейчас случилось: и на конфеты тенора тянетъ поглядѣть, и надо напряженно держаться въ позѣ, — боишься режиссера и учителя. Вся красная, лежала она, изломанная своею „аттитюдой“.

Теноръ все стоялъ у кулисы, улыбался ей и глазами указывалъ на коробку конфетъ. Наконецъ-то кончились танцы. Она вскочила, оправила юбочки и остановилась на ходу, не сразу побѣжала за другими. Идти ей надо мимо той кулисы, гдѣ стоялъ теноръ, или въ проходъ рядомъ.

— Что жъ ты? — окликнула ее Васяткина. — Мариша, иди же!

Она опустила рѣсницы — у ней уже и тогда онѣ росли густыя — и пошла не очень скоро, правою рукой отряхивая тюннен.

— Bonsoir, petite! — окликнулъ ее теноръ.

Она остановилась и присѣла. Теноръ сунулъ ей коробку. Кругомъ не было никакого начальства; подруги подхватили ее, и конфеты были сейчасъ же съѣдены въ уборной.

Послѣ того началось ухаживанье итальянца. Всю зиму, и въ этой оперѣ, и еще въ другой, и какъ только она занята въ базетѣ — онъ непременно на сценѣ, подойдетъ, по-французски говорить, — она уже и тогда болтала немножко, — держать себя съ нею почти какъ съ маленькою, даже раза два за подбородокъ бралъ, по-иностранному, но она хорошо понимала, что у него къ ней „интересъ“.

Такъ прошла зима; потомъ итальянцы разъѣхались. Мариша получила отъ какого-то француза, въ началѣ весны, большую коробку конфетъ и альбомъ съ карточками разныхъ оперныхъ и балетныхъ артистовъ, гдѣ „ея“ теноръ былъ въ цѣлыхъ пяти роляхъ. Иностранецъ объяснилъ ей, что „ея другъ“ посылаетъ ей это къ Пасхѣ, какъ красное личко. И большое шоколадное яйцо лежало въ коробкѣ конфетъ.

Въ классѣ уже всѣ знали, что у Мариши есть „предметъ“, и она только изъ „гордости“ скрываетъ, что это ей пріятно.

По тенорѣ она соскучилась за весну и лѣто; очень развилась въ тѣлѣ, выросла почти такъ, какая она теперь — подъ тридцать лѣтъ. Она уже считала себя большою. Только что открылся сезонъ, теноръ опять передъ ней, вездѣ, на спектакляхъ и репетиціяхъ, а ее стали часто занимать; она мечтала быть выпущенной первою солисткой. Уже не однѣ конфеты получала она отъ него въ подарокъ... По-

други прожужжали ей уши про то, какъ онъ „врѣзался“.

— Онъ старъ!.. У него ужъ порѣдѣли волосы, — отвѣчала всегда Мариша.

— Глупая ты!—стыдили ее.—У него жалованья одного двѣнадцать тысячъ за пять мѣсяцевъ.

И въ самомъ дѣлѣ, итальянецъ сильно увлекся ею, даже по-русски сталъ учиться. Къ ей выходу онъ познакомился съ ея семьей—мать была еще жива и старшій братъ—и самъ заговорилъ о женитьбѣ.

Узнали, что онъ женатъ, а онъ уже считался своимъ человѣкомъ, хотя слова она ему не давала. Онъ не отперся, но готовъ былъ хлопотать о разводѣ. Оказалось, что и дѣти у него есть.

Она отказала. Тогда уже она познакомилась съ тѣмъ, кто теперь собирается бросить ее.

Итальянецъ развелся бы и былъ бы ей вѣренъ, и жили бы они припѣваючи. Слышно, онъ и теперь еще поетъ, и на хорошихъ сценахъ. Говорилъ кто-то, что вилла у него на Комскомъ озерѣ и давно онъ овдовѣлъ.

Марина Игнатьевна чуть-чуть забылась. Ее разбудилъ сильный звонокъ.

Горничная спала. Звонъ повторили сердитою рукой.

„Ни за что она не проснется! Надо отпереть“.

Въ пеньюарѣ, накинутомъ наскоро, пошла она отворить наружную дверь. Она была почему-то довольна тѣмъ, что очутится съ-глазу-на-глазъ съ мужемъ въ этотъ поздній часъ.

#### IV.

Ея мужъ вошелъ въ переднюю и тотчасъ сталъ отряхивать мерлушковую шапку, покрытую мокрымъ снѣгомъ. И бобровый воротникъ его зимней шинели былъ также мокрымъ.

— Этакая мерзость!—повторялъ онъ, морщился и ёжил-ся весь.

— Дай я встряхну...—предложила она.

— Не надо! А что же та, принцесса, спать?—спросилъ онъ, недовольный тѣмъ, что жена вышла къ нему. — Съ какой стати ты не спишь еще?

— Не спалось.

Онъ былъ во фракѣ, черный галстукъ сидѣлъ небрежно; одна пуговица жилета разстегнута. Она быстро замѣтила все это.

Навѣрное, онъ отъ „той“.

Лампа передней освѣщала всего отчетливѣе гримасу его сморщенного, уже потертаго, краснаго лица. На темной бородкѣ блестяли капли растаявшихъ свѣжинокъ. Тутъ же онъ началъ зѣвать во весь ротъ.

— Прощай! Спать пора!

Онъ потянулся и заломилъ руки вверхъ.

— Я посмотрю, все ли Маша приготовила какъ надо.

Марина Игнатьевна пріотворила дверь въ кабинетъ, гдѣ ему стлали на широкомъ турецкомъ диванѣ. Въ рукѣ она держала свѣчу.

Какъ будто она колебалась немного, войти или нѣтъ, но пошла, зажгла обѣ свѣчи на письменномъ столѣ, въ то время какъ онъ, еще на ходу, стаскивалъ уже съ себя фракъ.

Фракъ онъ бросилъ на стулъ и опустился на диванъ, въ ногахъ.

— Василій Ѳеодорычъ!..—окликнула она его.

Такъ она его звала часто по имени-отчеству, продолжая быть съ нимъ на „ты.“

— Что нужно?—отозвался онъ, не поворачивая головы въ ея сторону, и опять сталъ ужасно зѣвать, потягиваться и переподить плечами.

— Да перестань такъ зѣвать! — не могла она его не остановить.

Глаза ея оглядывали съ особеннымъ выраженіемъ эту лѣвающую, перекопленную отъ утомленія или ѣды за ужиномъ мужскую фигуру. Онъ не былъ пьянъ, но, навѣрное, пилъ не мало и еще больше того ѣлъ... Весь онъ дышалъ пресыщеніемъ послѣ ночного визита къ своей любовницѣ, или ужина съ нею въ отдѣльномъ кабинетѣ ресторана. Какъ ни старалась она не думать о его поведеніи съ нею, она не могла же не видѣть тутъ, передъ собою, этой безцеремонной измѣны.

И неужели, —она все еще вглядывалась въ его лицо и голову, — неужли она могла когда-нибудь увлекаться имъ?.. Да, вѣдь, у него наружность дворника или, много, разносчика, —не изъ тѣхъ, у кого хорошія, чародныя лица, а изъ пьющихъ мороженщиковъ, грубыхъ, нахальныхъ, плутоватыхъ, —что-то до-нельзя циническое во всемъ его существѣ. Для такого человѣка нѣтъ и не можетъ быть ничего внѣ самодовольства, дерзкой наглости, ѣды, питья, женщинъ, важничанья тѣмъ, что его знаютъ и боятся, что онъ можетъ всѣхъ „продернуть“. Ей стало вдругъ такъ

гадко на него смотрѣть, что она оставила было свою мысль—вызвать его на объясненіе.

— Что же ты торчишь?—спросилъ онъ и началъ сдерживать съ себя жилетъ.

Окрикъ вывелъ ее изъ себя.

Она осталась и сѣла въ кресло.

— Послушай, Василій Федорычъ,—начала она,—тебя, вѣдь, не увидишь днемъ... и обѣдать ты пересталъ дома.

— Что такое?—съ гримасой перебилъ онъ.—Дайте мнѣ спать.

— Успѣешь, — отвѣтила она, и насмѣшливая улыбка проишлась по ея доброму и крупному рту.

И то, какъ она сѣла въ кресло, показывало ему, что она не уйдетъ, пока не скажетъ своего.

Онъ сидѣлъ безъ жилета, съ галстукомъ, свернутымъ на сторону. Зѣвота продолжала поводить его.

— Такъ дальше нельзя!—заговорила она тише, видимо сдерживая себя.—И къ тебѣ приставать не стану, но и душой я быть не хочу. Я знаю, ты меня обманываешь, и съ кѣмъ—тоже знаю. Лучше теперь покончить, чѣмъ дожидаться, что ты самъ сбѣжишь. Имѣй настолько смѣлости, скажи лучше прямо.

— Я не желаю въ пятомъ часу ночи объясняться!—почти крикнулъ онъ и вытянулъ правую ногу.

— Не кричи!.. Витя проснется. Желаетъ ты или не желаешь, а я тебѣ вотъ что пришла сказать: ты меня разлюбилъ или, лучше, никогда не любилъ меня, нашелъ теперь новый предметъ. Ты ей квартиру отдѣлалъ. Такъ лучше переѣзжай къ ней совѣтъ. И насильно тебя удерживать не стану. А мнѣ моя жизнь, въ этихъ условіяхъ, опостылѣла, я считаю ее унизительною. Да и сынъ твой скоро все понимать станетъ. Онъ уже сегодня началъ мнѣ задавать вопросы, очень для тебя невыгодные. Лгать ему все не будешь.

— Куда же вы придти хотите? Говорите!

Зѣвота проходила. Онъ что-то уже соображалъ.

— Куда я хочу придти, спрашиваешь ты? Я могу требовать отъ тебя содержанія, если меня окончательно бросишь, но я этого не хочу. Проживу и одна. Но мальчикъ твой ко мнѣ привязался, и я его люблю. Ты мнѣ заниматься не будешь. Ты никого не любишь, у тебя вотъ тутъ, — она указала на сердце, — пустушка. Оставь его при мнѣ, — пу, давай что-нибудь на ученіе. Уприсься,

такъ и этого не нужно. Какъ-нибудь и безъ тебя справимся.

— Чѣмъ же это? На пятьдесятъ-то рублей жалованья? Онъ засмѣялся такимъ смѣхомъ, что она вся покраснѣла.

— Молчи!—почти крикнула она.—Не твое дѣло.

Ея тонъ изумлялъ его. Съ какого это времени она вдругъ набралась смѣлости? Забавно! Все была безгласная или повторяла то, что онъ ей скажетъ, а тутъ,—извольте думать!—приходить и предъявляетъ ультиматумъ въ пятомъ часу ночи.

Но онъ понялъ сразу, что она не шутитъ, что это ея рѣшительныя слова, и что онъ для нея потерялъ прежнее обаяніе. Она сама способна уйти отъ него.

„Скатертью дорога!“ — мысленно проговорилъ онъ, но надо было, все-таки, помолаться, поддержать свой авторитетъ.

— Все это распрекрасно,—онъ зѣвнулъ звонко и даже до слезинокъ на узкихъ, плутовато-дерзкихъ глазахъ,—только дайте мнѣ спать, повторяю я, а завтра мы обсудимъ дѣло. Въ своемъ поведеніи я никому отчета давать не намѣренъ, но и насильно держать никого не желаю.

— Мальчика-то нечего при себѣ оставлять,—быстро выговорила она.—Когда захотите,—она перешла на *вы*,—вы можете его видѣть. Разумѣется, лучше у меня, чѣмъ у васъ.

— Ну, ужъ это я самъ разсужу! И, главное, оставьте меня въ покоѣ. Кабы зналъ, лучше бы совсѣмъ не возвращался.

У ней дрогнуло въ груди. Вотъ какъ кончилась ея любовь, ея замужество! Вѣдь онъ, хоть и не отецъ ея ребенка, но отецъ Вити, да и у ней не было другой связи, и никогда другой привязанности не было.

— Покойной ночи,—сказала она глухо, чтобы сдержать рыданія, подступившія къ горлу.

Онъ даже ничего не отвѣтилъ ей, а упалъ на подушки полураздѣтый, продолжая зѣвать и потягиваться. Дверь затворилась за нею тихо, и она чуть слышными шагами прошла по продолговатой площадкѣ, куда выходила и дверь въ комнату Вити. Передъ этою дверью она приостановилась и стала слушать.

Изъ комнаты не доходило дыханіе мальчика въ полурастворенную дверь.



„Спать“, — подумала Марина Игнатьевна, и ей стало тепло от мысли, что она уведет мальчика съ собой, что не будет онъ такъ равно презирать отца.

И такъ же беззвучно прошла она въ свою комнату. Она знала теперь навѣрное, что разлука съ мужемъ не убьетъ ее. Уваженія къ ней нѣтъ, ласки отъ него нѣтъ, простой доброты или порядочности — и того нѣтъ въ немъ. А ея брачная постель — давно холостая, холодная. Да это и не глодало ее, — давно уже она стала смотрѣть на себя, какъ на старуху. Теперь надо одной прожить, — вотъ что важно, и мальчика не бросать.

Успокоеніе сошло на нее. Она сняла съ себя пеньюаръ, повѣсила его аккуратно, поправила ночникъ, затушила свѣчу, укуталась и подложила подъ лѣвую щеку маленькую подушечку.

Ея мысль опять остановилась на пасынкѣ. Она сумѣетъ съ нимъ переговорить. Онъ не уйдетъ отъ нея, а если Василій Ѳедоровичъ за ночь приготовить какую-нибудь „каверзу“, она не испугается, — и на него есть начальство. Скандалы онъ другимъ любить устраивать и глумиться въ печати, а самъ какъ огня боится всякаго обличенія.

Съ „такимъ“ надо и за угрозу взяться. Она знаетъ ходы. И всѣ его ненавидятъ. Каждый будетъ радъ удружить ему.

Изъ кабинета долетѣлъ послѣдній припадокъ зѣвоты

## V.

— Карета пріѣхала! — дoloжила горничная.

Марина Игнатьевна была у себя въ спальнѣ и приготавливала свою корзину.

За ней пріѣхала театральная карета. Она нарочно съ Витей пообѣдала раньше обыкновеннаго. Онъ теперь сидитъ у себя въ комнатѣ. Отецъ его не обѣдалъ дома. Цѣлый день не видала его она; когда онъ проснулся, въ первомъ часу, Марина Игнатьевна была на репетиціи. Ее „заняли“ въ одномъ возобновленномъ балетѣ.

Теперь она собиралась въ театръ весело. Хорошо, что ее не совсѣмъ тамъ забываютъ. Разумѣется, въ корифеи на высшій оладъ ее не переводутъ, но, значитъ, и не выгонятъ. Режиссеромъ назначили другого: этотъ добрѣе, помянуть ее по школѣ, всегда балагурить. По поводу ре-

петицій она станетъ почаще бывать и въ школѣ, на утреннихъ упражненіяхъ.

Въ головѣ ея еще вчера сложился цѣлый планъ. Если она, послѣ болѣзни ноги, не можетъ уже отойти далеко „отъ воды“, то „теоріей“ она не переставала интересоваться. Никто не мѣшаетъ ей попристальнѣе приглядываться къ тому, какъ балетмейстеръ учитъ, какія новыя па придумываетъ. Старая она все прекрасно помнитъ и даже наиграетъ сейчасъ музыку на фортепіано, по слуху.

Корзина готова. Марина Игнатьевна отдала ее горничной и забѣжала проститься съ Витей.

Мальчикъ сидѣлъ спиной къ двери, у стола, при лампѣ.

Она его окликнула.

Онъ обернулъ къ ней лицо и наполовину привсталъ.

Сейчасъ догадалась она, что Витя не работалъ, а „думалъ“, и даже то, что онъ думалъ о чемъ-нибудь семейномъ. Сегодня утромъ онъ ушелъ, не повидавшись съ нею, не хотѣлъ ее будить; за обѣдомъ что-то у него было особенное въ глазахъ. На него нашла молчаливость. Точно онъ приготовился заговорить о чемъ-то и не рѣшался, только два раза спросилъ:

— Папа не будетъ, значитъ, обѣдать?

И въ этомъ „значитъ“ прозвучала еще неслыханная ея нота.

Больше такъ ничего и не сказалъ за обѣдомъ.

— Прощай, Витя!

— Вы поздно вернетесь, мамочка?

— Да, часу въ первомъ; ты ложись спать.

— А чаю вамъ?

— Не надо... Я тамъ, въ уборной, напьюсь.

Она имѣла обыкновеніе крестить его на ночь, и тутъ сдѣлала то же. Витя ваялъ ея руку и поцѣловалъ.

И поцѣлуй этотъ былъ не такой, какъ всегда.

— Ну, какъ же прошло,—спросила она, согрѣтая лаской пасынка,—изъ латыни?

— Цять.

— Какъ, бишь, повтори: *partim*?

— *Per agros errabant...*

— Ха-ха-ха!..

Ей сдѣлалось весело. Съ такимъ мальчуганомъ она не расстанется.

— Мамочка!—остановилъ ее Витя, когда она дошла до двери,—папа будетъ почевать сегодня?

— А то какъ же?

Вопросъ удивилъ ее и даже смутилъ.

Витя сѣлъ опять къ столу.

Когда Марина Игнатьевна сходила съ лѣстницы, — горничная неслѣ позади корзинку, — ей опять пришло на умъ, что Витя о чемъ-то догадывается, что-то знаетъ и про что-то все собирается говорить съ ней.

„Какой нравный мальчуганъ!“ — подумала она въ каретѣ. Но это „нравный“ употребила она скорѣе въ похвалу.

Въ каретѣ уже сидѣла одна кордебалетная. Онѣ поклонились и поздоровались другъ съ другомъ суховаго. Та была гораздо моложе ея и ужъ совсѣмъ изъ плохенькихъ. Обидѣть кордебалетную она не хотѣла, выказать ей пренебреженіе, только не знала о чемъ съ ней заговорить; и фамилію ея не могла припомнить. Навѣрное, кто-нибудь изъ экстерновъ. Въ ея время такихъ экстерновъ еще не было.

— Вы въ которомъ актѣ заняты? — спросила ее Марина Игнатьевна, чтобы выказать ей вниманіе.

— Въ первомъ, — отвѣтила кордебалетная молодымъ, звонкимъ голоскомъ.

И у ней былъ когда-то такой звонкій голосокъ, а теперь сталъ низкій, почти мужской, отъ частыхъ простудъ горла. Теперь по голосу каждый даетъ ей сильно за тридцать. Въ темнотѣ кареты, въ капорѣ, та дѣвочка, навѣрное, считаетъ ее сорокалѣтней, пожалуй, думаетъ, что она на второй службѣ, пенсію получаетъ, у молодыхъ кусокъ хлѣба изо рта выхватываетъ.

Ей до пенсій еще пять лѣтъ слишкомъ. Да и дослужится ли? Могутъ и расчесть, такъ — „здорово живешь“, при новыхъ порядкахъ и сокращеніи штатовъ.

Карета четырехмѣстная, но иногда набиваютъ и шесть человѣкъ. Она спросила у кучера, „во сколько мѣстъ еще заѣзжать“. Онъ сказалъ: „въ три“. Стало-быть, внатеромъ; но все будутъ женщины. Стекло съ ея стороны опущено. Свѣжій, но не холодный воздухъ входитъ внутрь казеннаго „рыдвана“ и пощипываетъ щеки. Съ утра стало морозить.

Лошади плетутся, но ей не скучно и не страшно. Она совсѣмъ забыла про вчерашній разговоръ съ мужемъ. Ни къ чему она не готовится. Ей пріятно ѣхать въ каретѣ и чувствовать себя, попрежнему, „на службѣ“. Легко такъ,

бодро, связанъ съ чѣмъ-то большимъ, съ такимъ дѣломъ, которое будетъ долго-долго стоять, переживетъ и ее, и всѣхъ, кто теперь имъ кормится.

Сколько разъ ѣздила она все въ томъ же направленіи, только заѣзжала въ разные улицы и переулки. Карета везла ее сначала по Загородному. Тамъ посадили одну корифейку, моложе ея, и опять изъ экстерновъ. Съ этой онѣ немного „покумили“. Про новые оклады пошла рѣчь и про то, какъ Мальчугина незамѣтно овладѣла двумя новыми ролями, — не номерами танцевъ, а, шутка сказать! — ролями, хотя и въ старыхъ балетахъ.

— Очевъ понятно, — сыпала дробью корифейка, — при такихъ милліонахъ, хоть и съ лѣвой руки...

Все то же дѣйствуетъ, что и десять, и пятнадцать лѣтъ назадъ: протекціи, богатый покровитель, ужины, обѣды, а также и ловкость умѣть ухватить то, что плохо лежитъ. Но это ее не возмущало.

„Всѣ люди — всѣ человѣки“, — думала она.

Давно ушла она отъ всѣхъ этихъ балетныхъ „грѣховъ“, стала теперь репетиторшей пасыпка, и по-латыни подзубривается. Ну, есть такія счастливицы, да много ли ихъ? Пять, много десять, пятнадцать, а сколько перебивается? Не одна сотня. Хорошо еще, что вся эта мелюзга чувствуетъ себя „на службѣ“, держится за свой заработокъ.

Еще не такъ давно, когда она рассталась съ мечтой выбиться впередъ изъ корифеекъ, на нее напало почти презрѣніе къ своему „глупому“ дѣлу. Прыгать, ломаться, улыбки строить, одни и тѣ же на выдѣлывать сотни разъ... Тогда все это казалось унижительнымъ. Себя она находила такою невѣждой, дубишкой, что ей совѣстно становилось передъ Витей. И въ разгаръ ея обученія латынью она всего пренебрежительнѣе смотрѣла на балетъ и балетныхъ.

Теперь это отошло. Латынь не мѣшаетъ ей чувствовать себя питомицей училища, винтомъ огромной танцевальной машины. Развѣ не все равно, какъ и въ какой специальности добывать кусокъ хлѣба? Пускай еще увеличатъ оклады. Тогда больше будетъ честныхъ дѣвушекъ. Соблазны и теперь уже не тѣ, что прежде. А искусство не умретъ! Нужды нѣтъ, что на него смотреть свысока и въ литературѣ, и въ обществѣ невѣждъ, — безъ таланта ничего нельзя создать и ногами. Кто предназначенъ для музыки и танцевъ, тотъ ничего другого такъ же хорошо не

будетъ дѣлать. Прежде все кричали, что балетъ—тепличное растеніе, что безъ казенныхъ денегъ онъ умретъ. А теперь на загородныхъ лѣтнихъ сценахъ онъ процвѣтаетъ. Частные антрепренеры выписываютъ первоклассныхъ европейскихъ балеринъ.

И объ этомъ поговорила Марина Игнатьевна съ корифейкой. Та стала обижаться за казенный балетъ. Слышно, хотять пригласить какую-то выписную, прямо изъ кафешантана. Виданное ли это дѣло, чтобы прямо съ „Острововъ“ взять какую-то „акробатку“ и поставить ее первую танцовщицей?

Марина Игнатьевна съ этимъ не согласилась. Что жъ такое? Не мѣсто человѣка красить; а если у этой акробатки есть что-нибудь особенное, пускай ее обновить нашихъ-то, поддасть имъ огня и блеску. Можно держаться классической школы, но не надо впадать въ „казенщину“.

Онѣ немножко поспорили. Корифейка не сдавалась. Но этотъ разговоръ о балетѣ на частныхъ сценахъ подкрѣпилъ ту мысль, съ которой Марина Игнатьевна вѣхала въ театръ.

— Вы увидите,—сказала она, какъ бы думая вслухъ,—вы увидите, что теперь многіе начнутъ учиться танцамъ съ воли, готовить себя на сцену.

Та промолчала.

Въ каретѣ былъ уже полный комплектъ. Еще двѣ фигурантки сѣли, гдѣ-то на канавѣ, и потянулась набережная, вплоть до поворота, такъ знакомаго Маринѣ Игнатьевнѣ. Сейчасъ замигаютъ огни обоихъ театровъ и площадь откроется взгляду, рядъ каретъ и училищные фургоны направо—и труба печи для кучеровъ и извозчиковъ, а дальше, за мостомъ, Коломна, гдѣ когда-то жила она, еще до знакомства съ мужемъ.

Она первая выскочила, поддерживаемая дежурнымъ капельдинеромъ въ фуражкѣ и шипели. На этотъ разъ и подъѣздъ съ кучерами вдоль лавокъ, и сѣни съ обтертой лѣстницей, дѣлающей нѣсколько поворотовъ, были ей близки, подбодряли ее. Она весело поздоровалась съ однимъ изъ помощниковъ режиссера и стала подниматься къ уборную. Ходьба, бѣготня, оклики, смѣхъ и крики плотниковъ поднимали въ ней прежнія ощущенія, тѣ, что она имѣла десять лѣтъ назадъ.

Въ уборной набилось больше обыкновеннаго. Одѣвались еще не всѣ изъ ея партіи. Нѣкоторые сидѣли въ плать-

ихъ; двѣ-три въ бѣльѣ, съ паниросами, другія натягивали трико или румянились передъ зеркалами, въ рѣзкомъ и горячемъ свѣтѣ отъ газовыхъ цилиндровъ.

Черезъ одну дверь одѣвалась Марѳуша Недоворкина, та, что будетъ на-дняхъ госпожой Травниковой съ лѣвой стороны, сожительницей Василия Ѳедоровича, ея мужа.

Она не полюбопытствовала узнать, пріѣхала та или нѣтъ. Нѣкоторые дѣлали уже въ ея присутствіи очень прозрачныя намеки. Кому-то она еще не такъ давно сказала:

— Пожалуйста, душечка, не старайтесь уколоть меня: Василій Ѳедорычъ ухаживаетъ за Марѳушей. Это его дѣло.

Въ послѣднее время къ ней не приставали, хотя за спиной и самыя-то дрянныя считали ее „дурой“ и „разиней“. Она и это знала.

Внизу раздался продолжительный и раскатистый звонъ. Въ уборной стали одѣваться менѣе лѣниво. Трико было уже на всѣхъ и нижніе тюники всѣ, сколько полагается для классическихъ танцовъ.

Всѣми полегоньку овладѣло строевое чувство, дожидющееся перваго звука оркестра, чтобы сейчасъ же вспомнить все, что заучено, и приготовиться занять свое мѣсто.

У ней по правую и по лѣвую руку были двѣ сестры Желѣзновы, моложе ея; одна полная и тяжеловатая, безобидная и ужасно занятая своею работою. Она знала, что больше ей ходу нѣтъ, и это ее огорчало ежеминутно. Тотъ же червякъ грызъ когда-то и Марину Игнатьевну. Теперь она нисколько не тяготится тѣмъ, что должна еще до пенсіи прыгать рядомъ съ сестрами Желѣзновыми.

По узкой лѣстницѣ спускались онѣ изъ уборныхъ, одна за другой, особеннымъ шагомъ танцовщицъ, съ опущенною головою, ступали башмаками безъ каблучковъ и колебались всѣмъ тѣломъ.

Внизу все уже было готово. Электрическій свѣтъ поливалъ бѣлесоватою матовостію декораціи, лица, трико, костюмы. Въ воздухѣ замѣчалось вздрагиваніе струй свѣта. Черныя фраки и сюртуки служащихъ двигались среди дѣльныхъ кучъ изъ женскихъ торсовъ, ногъ, газовыхъ юбокъ.

Что-то показывалъ одной изъ солистокъ французъ-балетмейстеръ, немного въ глубинѣ сцены, и его отчетливый голосъ проникалъ сквозь гулъ разговоровъ въ группахъ женщинъ. Изъ-за занавѣсы слышались звуки полупустой залы; инструменты перекликались въ оркестрѣ.

VI.

Въ первомъ антрактѣ она въ платьѣ, безъ костюма, — ей приходилось танцовать въ третьемъ дѣйствіи, — перешла черезъ сцену, остававшуюся довольно свободною, и припала глазомъ къ круглому отверстію занавѣса съ правой стороны. Она узнала, когда спускалась по сценѣ, спину и ноги своей „разлучницы“, какъ она назвала въ шутку, про себя, теперешнюю подругу Василия Федоровича. Марина Игнатьевна бросила на нее взглядъ, прежде чѣмъ припасть къ отверстію занавѣса. Та, навѣрное, переглядывается съ нимъ.

Зала представлялась ей полусвященною. У барьера перваго ряда стояло, лицомъ къ ломамъ, нѣсколько чело-вѣкъ мужчинъ, военныхъ и штатскихъ. И сейчасъ же передъ нею мелькнуло скомканное, дерзко улыбающееся, красное лицо ея мужа. Онъ облокотился о барьеръ и смотрѣлъ на занавѣсъ къ тому мѣсту, гдѣ съ нимъ переглядывались.

Это ее не заставило вздрогнуть отъ обиды. Она даже посмѣялась внутренно. Значить, очень ужъ любятъ другъ друга, если такии забавами занимаются въ антрактахъ. Ей некому мигать въ кресла изъ театральной дырки. И это ее не печалитъ. Ее наполняло дѣловое чувство. Она начала опять жить тѣмъ, что дѣлается серьезнаго здѣсь, по сю сторону ramпы, гдѣ служатъ искусству, какъ бы кто на него пренебрежительно ни смотрѣлъ.

Кто-то заговорилъ съ ея мужемъ. Онъ повернулся и сталъ отвѣчать громко, на весь театръ, такъ что до нея долетѣли звуки его тивкающаго голоса:

— Выдра! Колѣни внутрь, спины нѣтъ, груди нѣтъ!

„Разносить!“ — подумала она, и въ нее вошло новое, еще неизвѣданное ею чувство чистѣйшаго презрѣнія къ этому безстыдному ругателю. Только тутъ поняла она, какая у него душа, до чего онъ неисправимъ въ своемъ нахальствѣ.

„Хоть бы кто-нибудь хорошенько проучилъ его тутъ, при всѣхъ, въ залѣ, ослабилъ бы навѣкъ! — думала она, блѣднѣя. — Да нѣтъ, его ничто не исправить. Онъ и тогда будетъ все такъ же гнусаво кричать на весь театръ, унижать, говорить объ артисткахъ, точно о какихъ четвероногихъ, ругать или одобрять свысока, не давая никому слова вымолвить“.

Ей сталъ просто невыносимъ звукъ его голоса, все еще проникавшій, какъ ей казалось, сквозъ щели занавѣса.

Она отошла. Поскорѣ захотѣлось ей сбросить съ себя обузу, — да, обузу, и постыдную, — считаться „супругой“ Василя Ѳедоровича, передъ которымъ прыгаютъ и первыя танцовщицы.

Мареуша еще смотрѣла однимъ глазомъ въ дырочку.

Она ее окликнула.

— А, это ты!.. Здравствуй!

Пухлыя плечики Мареуши, чуть посыпанные пудрой, вздрогнули. Глаза, сильно подведенные, вскинули своими тонкими рѣсницами и насмѣшливо улыбнулись.

Отъ нея пахло опопонаксомъ.

— Вотъ что, Мареуша, — заговорила Марина Игнатьевна и заслонила ее собою такъ, что виденъ былъ только ея шиньонъ, — я хочу тебѣ предложить одну сдѣлку.

— Какую? Скажи, сдѣлай милость!

— Прибери ты отъ меня Василя Ѳедоровича.

Та вспыхнула.

— Какъ это прибери? Точно вещь онъ!..

— Ну, да! Возьми совсѣмъ. Что жъ такъ тянуть? Онъ съ тобой живетъ.

Мареуша хотѣла перебить.

— Пожалуйста, оставь свои фасоны. Всѣ это знаютъ и я нахожу, что надо перейти теперь къ послѣднему дѣйствію. Вы созданы одинъ для другого. Я не помѣха. Владѣй Василемъ Ѳедоровичемъ, и чѣмъ скорѣе онъ съ тобой устроится, тѣмъ лучше будетъ.

Глаза Мареуши тревожно мигнули. Она побаивалась Марины Игнатьевны. На слова она не была бойка, а та считается умною и, пожалуй, сейчасъ же высмѣетъ ее, если ужъ на нее нашла такая „отчаянность“.

— Ты все шутишь! — сумѣла она сказать.

Лицо Марины Игнатьевны стало еще серьезнѣе. Мареуша замѣтила его нервность. Она трусила все больше и больше.

— Поди сюда! — пригласила ее Марина Игнатьевна къ сторонѣ, въ промежутокъ двухъ первыхъ кулисъ.

Та повиновалась.

— Такъ и скажи сегодня Василю Ѳедоровичу. Вѣдь онъ домой или совсѣмъ не вернется, или на зарѣ. Скажи ему, что я завтра желаю покончить. Пускай остается въ



той же квартирѣ. Я возьму съ собой только мебель спаль-  
ной, да мои кое-какія вещи. А насчетъ мальчика...

— Какого?—простовато спросила Марѳуша.

— Его сына... Насчетъ него мы поговоримъ съ нимъ  
особо... Вѣдь тебѣ, Марѳуша, я думаю, не очень лестно  
быть мачихой. А мы съ мальчикомъ ладимъ... Ну, прощай;  
я пойду одѣваться. Не думай только, пожалуйста, что я  
щищать на тебя стану. Разумѣется, если ты будешь отво-  
рачиваться, я тебѣ первая кланяться не обязана.

И онѣ разстались.

Марѳуша поправила сзади, своими пухлыми пальчиками,  
верхніе тѣники и пошла въ-перевапочку, подергивала  
плечами и показывала длинный вырѣзъ спины, почти  
вровень съ седьмымъ ребромъ. Марина Игнатьевна пере-  
бѣжала сцену, хотѣла подняться въ уборную, но что-то  
сообразила.

— Пискуновъ одѣтъ?—спросила она у одного изъ бу-  
тафоровъ.

— Вотъ тутъ-съ.

— Есть кто-нибудь?

— Одни... чай пьютъ.

Пискуновъ былъ изъ хорошихъ танцовщиковъ, уже не  
молодой, переходилъ, полегоньку, на характерныя роли  
пантомимной игры. И дѣвочкой, и позднѣе она всегда  
базагурила съ нимъ и называла почему-то „крестнымъ“,  
хотя онъ и не думалъ крестить ее.

— Иванъ Кузьмичъ! — окликнула она его въ дверяхъ  
уборной.

— Ась?—откликнулся онъ и вышелъ въ проходъ между  
кулисами.

Бѣлокурые его волосы были завиты „въ крутую“, бритое  
лицо, вблизи со множествомъ морщинъ, еще сохраняло  
условную молодость. Веселые сѣрые глаза улыбались ей.

— Мнѣ съ вами, Иванъ Кузьмичъ, надо имѣть обшир-  
ный разговоръ.

— Сейчасъ?

— Нѣтъ! У меня. Или къ вамъ я пріѣду. Кстати,  
давно вашей жены не видала.

— Вы ее извините, она все хвораетъ.

— Знаю.

— А что такое?—съ участіемъ спросилъ танцовщикъ

Въ труппѣ уже поговаривали про ея „незавидное“  
супружество, и всѣ, кто получше, жалѣли о ней.

— Да ничего! Вы не думайте, что я про себя вамъ изливаться хочу. А идея у меня.

Она выговорила слово „идея“ съ забавною миной.

— Вотъ какъ!.. Отлично!

— Такъ послѣзавтра, часовъ около трехъ, къ вамъ можно?

— Милости прошу, какъ разъ передъ обѣдомъ.

— А уроковъ у васъ все такъ же много?

— Да, Господь не обидѣлъ.

— До свиданія!..

Послѣ крѣпкаго рукопожатія она поднялась быстро по лѣстницѣ.

„Идея“ засѣла въ ея головѣ крѣпко. Пискуновъ—танцовщикъ отличной школы, съ удивительною памятью, и если бѣ онъ попалъ въ балетмейстеры, онъ, навѣрное, выказалъ бы талантъ по части выдумки новыхъ фигуръ. Цѣлые дни занять онъ уроками.

Но какіе это уроки! Уроки балльных танцевъ въ заведеніяхъ и у себя дома барышнямъ, гимназистамъ изъ купеческихъ и чиновничьихъ семействъ. Не то у ней въ головѣ! Недаромъ она такъ горячо заспорила съ корифейкой въ каретѣ. Время идетъ къ новому расцвѣту искусства. Понадобятся артистки для частныхъ сценъ. Вотъ что нужно взять въ свои руки. И такой Иванъ Кузьмичъ лучше всякаго другого сумѣетъ вести высшій классъ, а она будетъ съ „подготовишками“... Это слово ея пасынка Вити пришло ей на умъ и какъ-то весело ободрило ее. Надо только подтолкнуть Пискунова.

Расходовъ нѣтъ никакихъ, риску еще меньше. Онъ же черезъ годъ будетъ пенсіонеръ. Нечего ему и за службу тогда особенно держаться.

— Мѣнялина! что жъ вы опоздали?—окликнули изъ ея уборной.

„По театру“ она носила свое дѣвичье имя.

## VII.

Вити ушелъ въ гимназію опять не поздоровавшись съ Мариной Игнатьевной, а она не спала. Онъ слышалъ, какъ она умывалась. Обыкновенно, онъ если и не входилъ къ ней, то въ пріотворенную дверь прощался.

На лицѣ его опять озабоченность. Уроки свои онъ готовилъ вчера вечеромъ, одинъ—не плохо, но и не особенно хорошо. Изъ латинскаго врядъ ли получилъ пять.

Все это не важно. Онъ занятъ другимъ. Объ этомъ „другомъ“ онъ не переставалъ думать и въ классѣ, былъ разсѣянъ, отвѣчалъ не бойко, изъ одного предмета получилъ даже тройку. Но это его не огорчило.

Домой онъ возвращался медленно, опустивъ голову, точно онъ чего-то искалъ на тротуарѣ. Онъ шелъ такъ тихо, что Марина Игнатьевна, отворяя ему дверь, спросила:

— Что такъ поздно, Витя?

— Ничего, мамочка, замѣшкался по дорогѣ.

Вошелъ молча, снялъ ранецъ и пальто.

— Проголодался?

— Не особенно.

„За что-то онъ на меня дуется“, — подумала Марина Игнатьевна.

Она не могла понять, что дѣлается въ душѣ мальчика. Чѣмъ онъ огорченъ или озабоченъ?

За столомъ, — они обѣдали втроемъ, — Витя сначала молчалъ; потомъ взглянулъ раза два на отца, и эти взгляды подиѣтила Марина Игнатьевна. Она плохо понимала и то, зачѣмъ мужъ ея вернулся въ обѣду. Новаго объясненія у нихъ не было. Онъ только что пріѣхалъ и у себя въ кабинетѣ переодѣлся. Но по его минѣ она догадалась, что Марѳуша успѣла наканунѣ передать все, о чемъ у нихъ съ нею было переговорено.

Онъ ѣлъ супъ, глядя прямо въ стѣну, на то мѣсто, гдѣ висѣли часы, глоталъ его ложка за ложкой, безъ хлѣба и слегка причмокивая. Такую манеру считалъ онъ чрезвычайно порядочной. Заговорить первому ему не хотѣлось. И прежде бывало, что половина обѣда пройдетъ въ молчаніи.

Витя, послѣ супа, положилъ ложку въ тарелку, утерся основательно и поглядѣлъ на мать.

— Что жъ ты хлѣба не ѣшь? — спросилъ его отецъ.

— Да вѣдь и ты не ѣшь, папа! — выговорилъ мальчикъ и улыбнулся.

— То я, а то — ты.

Мальчикъ промолчалъ, только нагнулъ голову съ такимъ выраженіемъ, что онъ знаетъ, какъ ему поступить и когда надо начинать дѣйствовать.

— Чего тамъ тянуть! — съ гримасой крикнулъ отецъ.

Второе кушанье опоздало минуты на двѣ. Это былъ языкъ съ картофельнымъ пюре. Мальчикъ слѣдилъ глазами за отцомъ, какъ тотъ понюхалъ блюдо, взялъ видъ

кой кусокъ языка, положилъ на тарелку немного пюре, еще разъ понюхалъ и тогда уже сталъ ѣсть.

— Какая мерзость!—вырвалось у него.

— Мы не знали, что ты будешь обѣдать, — спокойно замѣтила Марина Игнатьевна.

Мужъ оставилъ это замѣчаніе безъ отвѣта, закурилъ папирску и началъ не то посвистывать, не то напѣвать.

Къ такой манерѣ обѣдать Витя уже присмотрѣлся, но сегодня его чуть замѣтно подергивало въ лицѣ. Щеки стали очень блѣдны.

— Больше ничего, кромѣ блинцовъ съ вареньемъ, не будетъ,—сказала Марина Игнатьевна.

Тонъ ея оставался такой же спокойный.

Мужъ ея всталъ и крикнулъ у дверей:

— Кофею мнѣ—въ кабинетъ.

Мачиха и пасынокъ остались доѣдать обѣдъ.

Витя, по уходѣ отца, выпрямился и нервно перевелъ ногами подъ столомъ. Блѣдность его проходила. Онъ положилъ себѣ, послѣ Марины Игнатьевны, два блинчика и немного варенья и не сразу сталъ ѣсть ихъ.

— Мамочка!—чуть слышно окликнулъ онъ.

— Что, милый?

— Вы мнѣ позволите у васъ заняться послѣ обѣда?

— Почему такъ?

— Да я не буду вамъ мѣшать...

И глаза его,—такъ ей показалось, — договорили точно: „укладываться“.

— Хорошо.

Кофей они не пили, доѣли пирожное и вышли изъ столовой.

Въ комнатѣ Марины Игнатьевны Витя присѣлъ на кушетку, помолчалъ немножко и все такъ же тихо выговорилъ:

— Мамочка, вы не разсердитесь, если я васъ кое-о чемъ спрошу?

— Говори.

— Нѣтъ, вы даете мнѣ слово?

— Какія глупости, Витя!

— Я не хочу съ вами ссориться, я спрашиваю, потому что...

Онъ зашнулся.

Ему хотѣлось сказать: „потому что я васъ люблю“, но онъ застыдился и не договорилъ.

Но она, по его внезапному румянцу, поняла причину волненія, подошла къ нему, сѣла рядомъ, положила ему руку на плечо и сама задала ему вопросъ:

— Ты лгать не будешь со мной, Витя?

— Никогда!

Онъ даже тряхнулъ головой.

— Ну, такъ скажи мнѣ правду: ты третьяго дня проснулся, когда отецъ приѣхалъ, слышалъ ты что-нибудь изъ нашего разговора?

Витя еще больше покраснѣлъ.

— Не хочу лгать—слышалъ.

— И это такъ тебя перевернуло, что ты второй день самъ не свой?

— Коли всю правду говорить—это.

— Надѣюсь, ты не подслушивалъ?

— Ей-Богу, нѣтъ, мамочка!

Витя вскочилъ, схватилъ ее за руку и заговорилъ тихими звуками, но порывисто:

— Ей-Богу, нѣтъ! Я сначала одѣяломъ укрылся, но все у меня, какъ прохито!.. Дверь не была заперта, а встать, затворить вплотную—я побоялся. Честное, благородное слово, мамочка!

— Вѣрю тебѣ. Только, Витя, если ты что и понялъ, тебѣ нельзя между отцомъ и матерью становиться, судить ихъ, ты пойми!

— Извѣстно, нельзя.

— Въ томъ-то и дѣло! Ты еще маленькій. Мало ли какіе разговоры и объясненія могутъ быть!

На лбу мальчика образовалась продольная складка.

— Извѣстное дѣло, — повторилъ онъ, — но я хотѣлъ вамъ сказать, мамочка, что папѣ насъ съ вами совсѣмъ не надо.

— Ты не можешь судить.

— Почему же это? Я ужъ не такой маленькій. Я вотъ второй день все думаю. И такъ, и этакъ. Долженъ же я и свое сужденіе составить? Отца я не стану осуждать,— Богъ съ нимъ! Но вѣдь это правда, мамочка, мы ему не нужны. Это всякій скажетъ. Если теперь Машу или хоть бы кухарку привести, и онѣ точно то же скажутъ, а я не глупѣе ихъ.

Убѣжденность Вити была такъ искренна и забавна, что Марина Игнатьевна тихо разсмѣялась. Но она чувствовала, что ея мальчикъ работаетъ всѣмъ своимъ существомъ.

— Хорошо, Витя, только это уже между нами.

— Я не выѣшиваюсь. Хотѣлъ только показать вамъ, какъ я понимаю.

Ей вдругъ пришелъ вопросъ. Она немного колебалась задать его.

— Витя... вѣдь ты не мой родной сынъ. Отецъ всѣ права на тебя имѣетъ.

Это было косвеннымъ вопросомъ, на который мальчикъ уже отвѣтилъ ей своимъ признаніемъ.

— Насильно милъ не будешь, мамочка. Мы передъ нимъ ни въ чемъ, кажется, не провинились; а онъ—самъ по себѣ, развѣ это не такъ?

Лобъ Витя опять наморщилъ, и глаза повторили послѣдній вопросъ упорно и строго.

— Когда нужно будетъ, мы еще потолкуемъ,—выговорила Марина Игнатьевна.

Ей стало какъ бы совѣстно; она не желала ничѣмъ возстановлять мальчика противъ родного отца.

— Мамочка!.. Я—отъ всей души!

Слезы брызнули, и Витя припалъ къ ней.

Марина Игнатьевна была очень тронута. Витя, такой сдержанный и даже суховатый на видъ, второй разъ согрѣвалъ ее.

— Спасибо, Витя, спасибо!

Она сама глотала слезы.

— Барыня!—окликнула горничная у дверей, — Василій Ѳедоровичъ васъ просятъ.

Витя вскочилъ опять, взялъ руку матери, пожалъ ее, какъ взрослый, и довольно громко сказалъ:

— Я за васъ, мамочка, и теперь, и всегда!

## VIII.

Мужъ Марины Игнатьевны лежалъ на диванѣ, съ пирожковой во рту. Чашка кофе помѣщалась около, на низкомъ столикѣ.

Къ лицу его еще сильнѣе прилило. Толстыя губы его стягивались потолстѣвшими щеками въ такую мину, какъ будто онъ понюхалъ что-нибудь отвратительное. Положеніе его тѣла съ задранными ногами,—одною онъ нервно трясъ,—разстегнутый воротъ рубашки, небрежность въ остальной части туалета заставили ее подтянуться, слѣдить за собою, чтобы не вышло ничего рѣзкаго, не выдать своего чувства.

— Вы меня звали?

Онъ не тотчасъ отделинулся на ея вопросъ.

— Я сяду,—выговорила она точно про себя и сѣла въ кресло, около письменнаго стола.

— Вы въ серьезъ говорили вчера... тамъ, на сценѣ?

Онъ не назвалъ Марѳуши ни по имени, ни по фамиліи.

— А то какъ же?

Она сохраняла такой же тонъ, какъ за обѣдомъ.

— Что же вамъ угодно?

Ей хотѣлось крикнуть ему, чтобы онъ хоть привсталъ, принявъ бы хоть болѣе приличную позу, но она сдержала себя.

— Совершенно понятно все то, что я вчера сказала Марѳушѣ. Вы съ ней живете, и живите,—чего же больше и вамъ, и ей желать отъ меня? Живите съ ней совсѣмъ, какъ мужъ съ женой.

— Въ такое ваше великодушіе я не очень-то вѣрю.

Онъ отхлебнулъ изъ чашки.

— Какъ вамъ угодно.

— Всякіе благородные порывы кончаются обыкновенно какою-нибудь сдѣлкой.

Она покраснѣла и поднялась съ кресла.

— Василій Оедорычъ, нельзя ли покороче? Вы, кромѣ низости, ни въ комъ ничего признавать не можете. Это при васъ и останется.

— Чѣмъ же вы жить будете?

Въ вопросѣ не звучало ни капли участія. Обидѣло нельзя было спросить.

— Проживу.

— Ха-ха!.. на пятьдесятъ рублей! Смѣху подобно! Ужъ вы лучше скажите теперь, не доводя дѣло до окружного суда... Нынче вѣдь наша хваленая юстиція очень надка содержаніе женамъ назначать выше всякой мѣры.

„А, ты вотъ какъ!“—воскликнула она про себя и дальше не могла вытерпѣть.

— Послушай,—глухо заговорила она, пододвинувшись къ дивану,—не ломайся ради Бога... Если я захочу, я тебя поймаю не нынче—завтра, и свидѣтелей найду, и ваставлю тебя давать мнѣ содержаніе. Небось, ты суда испугаешься! Согласись, голубчикъ, что я могла бы давно это устроить! Ты со мною не церемонился, поэтому чувствуй, когда съ тобой порядочно и честно поступаютъ.

— Скажите, пожалуйста!

— Не доводи меня до...

— До чего?

— А до того, что я тебя изъ этой квартиры заставляю выѣхать.

— Какъ это?

— Очень просто!.. Ты забылъ, что квартира до сихъ поръ значится на мое имя. Я ея хозяйка, а ты—жильецъ. И нѣтъ такого закона, чтобы ты насильно у меня жилъ, если я этого не хочу.

— Довко!

Этотъ возгласъ былъ такъ пошлъ, что она не могла не разсмѣяться.

— Вотъ это тебѣ нравится? И напрасно я такъ не поступила мѣсяцъ и больше тому назадъ. А я вотъ, видишь, такая наивная, что прошу тебя честию, перевози сюда свою Марюшу, владѣй всею обстановкой. Я себѣ возьму только то, что перевезла сюда еще тогда, отъ себя... да Витины вещи.

— А, ты мальчика желаешь приобрѣсти, въ видѣ заложника! Ну, это еще мы посмотримъ—на какихъ правахъ.

Онъ приподнялся и остался въ полулежащей позѣ, со свѣщенными ногами.

— Я у тебя его съ бою брать не хочу; такъ и Марюшѣ вчера сказала, да и тебѣ повторю: зачѣмъ тебѣ сына держать при себѣ? Дома—скандально; мальчикъ все понимаетъ. Хочешь знать, онъ самъ мнѣ вдругъ говорить: „насъ съ вами, мамочка, папѣ совсѣмъ не надо“.

— Все это чудесно, но я его отецъ, и я его до малолѣтства буду вести. Отдать вамъ, а вы, небось, будете въ одиночествѣ обрѣтаться? Не вѣрю я; разумѣется, тутъ есть кто-нибудь, какой-нибудь „Луи“, какъ итальянцы говорятъ. Такъ чѣмъ же это чистоплотиѣ будетъ, позвольте спросить, ежели мальчикъ въ этотъ возрастъ останется въ вашей новой семьѣ?

Она была близка къ припадку слезъ. Всѣ свои силы напрягла она, чтобы выдержать до конца.

— Какъ же это я, Василій Федоровичъ, съ вами-то жила въ послѣдніе два года? Что жъ, у меня интриги были? Ужъ если отъ васъ не завела никого, то одна, любя мальчика, какъ я привязалась... только вамъ и могло придти такое гадкое подозрѣніе.

— Расчудесно! И, все-таки, правъ у васъ никакихъ



нѣтъ на него; отдать вамъ — стало-быть, давай и содержаніе? Я буду на него работать, а вы педагогіей заниматься... Ха-ха-ха!..

— Ничего я отъ васъ не требую для себя. Если вамъ жалко давать на содержаніе мальчика—не давайте.

— Чтобъ онъ тюрей питался и въ лохмотьяхъ ходилъ?

— Мнѣ тяжело будетъ на первыхъ порахъ, но это уже мое дѣло. Василій Федоровичъ... — голосъ ея дрогнулъ, — въ чему вы ломаетесь? Вы не можете же не знать и не видѣть, что я на сына вашего смотрю, какъ на родного. Соблюсти приличіе, скрыть отъ него, на меня все свалить — вамъ не удастся. Мальчикъ все отлично понималъ, хотя я, передъ Богомъ, никогда передъ нимъ ни однимъ словомъ васъ не выдала.

Въ головѣ ея мужа уже давно сложился выводъ: сунуть обоимъ—сына и жену—и остаться безъ этой обузы. Выгоднѣе будетъ платить за мальчика пятьдесятъ рублей, чѣмъ жить на два дома.

Но онъ не могъ сказать просто: „согласенъ“—безъ ломанья. Всѣ его извѣстныя выходки противъ женщины, ихъ дрянности и пригодности только для утѣхи мужчины, его защита безусловныхъ правъ мужа заставляли его тянуть. Еще два-три горькихъ слова жены, и онъ крикнулъ бы, что онъ ничего знать не хочетъ, что все пойдетъ, какъ оно стоитъ теперь, въ его семейной жизни, что она обязана терпѣть, что она съ сыномъ будетъ сидѣть въ этой квартирѣ тихо и смирно, пока ему такъ хотится.

Дверь въ кабинетъ немного скрипнула.

Марина Игнатьевна первая обернулась.

Въ полуотворенную половину она увидѣла стриженую голову Вити.

— Сейчасъ приду!—крикнула она ему.

Но голова не исчезла. Половинка двери распахнулась, Витя вошелъ въ комнату такимъ шагомъ, точно его клевкали.

— Ты зачѣмъ?—рѣзко и полунасмѣшливо далъ на него окрикъ отецъ.

Витя подошелъ близко и сталъ между мамой и отцомъ.

— Папа,—началъ онъ и не опустилъ рѣсницъ, а глядѣлъ отцу прямо въ глаза,—ты мамочку обижаешь.

— Это еще что?.. Ступай вонъ!

— Я пойду... — губы Вити побѣлѣли и вздрогнули. —

Вы жить вмѣстѣ не будете. Мамочка уходитъ отъ насъ. Ты имѣешь на меня права; только вотъ что, папа: насильно меня никто не заставитъ оставаться вдѣсь. Я тебя любилъ и не хотѣлъ никогда дурно о тебѣ думать, но я не могу. Будешь держать силой — я въ первый же день изъ гимназій не приду, и никто меня не осудитъ!

Слезъ не было въ послѣднемъ возгласѣ мальчика.

Отецъ его не нашелся въ первую минуту. Онъ бы вытолкалъ его двумя минутами позднѣе. Марина Игнатьевна взяла Витю за шею и поцѣловала.

— Таблѣ! Если это только не подстроено!

И гнусавый хохотъ разнесся по всей квартирѣ.

— Мамочка, — сказалъ Витя, отвернувшись отъ отца и держа ее за талію, — уйдемъ отсюда! Уйдемъ... Больше тутъ нечего говорить.

И онъ угалъ мачиху. Ему тоже захотѣлось плакать, но онъ не заплакалъ.

— Съ Богомъ! — раздалось имъ вслѣдъ. — Скатертью дорога!

Въ коридорѣ Витя пожалъ руку Маринѣ Игнатьевнѣ и почти весело проговорилъ:

— Ничего, не пропадемъ!

Она разсмѣялась и поцѣловала его въ темя.

— Пора и за латынь, Витя, а тамъ и укладываться будемъ.



# ВЪ ОТЪѢЗДЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

## I.

Въ буфетѣ небольшой деревянной станціи тѣснилось у стойки нѣсколько человѣкъ. Второй звонокъ уже протянулся надтреснутымъ звукомъ. Поездъ стоялъ тутъ не болѣе десяти минутъ. Но и передъ третьимъ звонкомъ зала не опустѣла съ уходомъ мужчинъ, пившихъ водку.

Остались пассажиры, а у двери, на заднемъ дворикѣ станціи, кучкой ждали извозчики: двое евреевъ въ длинныхъ лоснящихся чуйкахъ и человѣкъ три бѣлоруссовъ; свѣтлое сукно ихъ свить и кудельные волосы, торчавшіе изъ-подъ шапокъ, рѣзко отличали ихъ отъ евреевъ.

Съ этой станціи пассажиры нанимали брички и телѣги въ мѣстечко, лежавшее по ту сторону полотна желѣзной дороги — версть больше пятнадцати, песками и лѣсомъ. Тамъ были минеральныя воды.

Изъ пассажировъ выдавались: барыня, не старая, неопрятно и пестро одѣтая, рыхлая; худой, сѣдѣющій господинъ, въ парусинномъ пальто и форменной фуражкѣ — петербуржецъ; широкоплечій, среднихъ лѣтъ, въ золотыхъ очкахъ, блондинъ въ соломенной шляпѣ; два мѣстныхъ помѣщика, бритые, усатые, оба въ высокихъ сапогахъ и тирольскихъ охотничьихъ курткахъ; еще двѣ-три фигуры попроще.

Поодаль неторопливо пила кофе молодая особа, съ обликомъ дѣвушки — это сейчасъ можно было узнать по

ясности взгляда и по цвѣту щекъ, твердыхъ, нетронутыхъ никакими чувственными затратами. Овалъ лица былъ закругленный, чрезвычайно правильный, брови на бѣломъ лбу точно вырисованы кистью, рѣсницы падали тѣнью на изсѣра-синіе глаза, разрѣзанные съ загибами къ вискамъ и носу, что придавало ихъ контуру горделивое изящество. На лбу ни чолки, ни вихровъ. Двѣ пряди темныхъ, почти черныхъ волосъ гладко лежали по обѣ стороны пробора, причесанныя по-старинному.

Немного вбокъ надѣта была шапочка, въ родѣ венгерской, изъ черной соломы, съ простенькой бархатной отдѣлкой. Она шла къ дѣвушкѣ. Черепъ былъ такихъ же чистыхъ очертаній, какъ и лицо. Коса, заплетенная въ короткій жгутъ, лежала на шеѣ свободно и красиво, и дѣлала шею еще бѣже.

Темная кофточка съ стоячимъ воротникомъ сидѣла просторно и не выказывала роскошныхъ формъ. За столомъ дѣвушка слегка гнулась, и это ее старило. Но свѣжесть щекъ и ясность всего облика говорили, что ей не больше двадцати двухъ лѣтъ.

Въ буфетной залѣ все еще было довольно шумно. Рыхлая барыня въ полосатой длинной накидкѣ продолжала спрашивать у буфетчика, у сторожа и даже у начальника станціи: „не присланъ ли за ней экипажъ отъ полковницы Зедергольмъ“. Но такого экипажа не нашлось. Двѣ не-тычанки дожидались мѣстныхъ дворянъ въ усахъ и тирольскихъ курткахъ. Ихъ кучера вынесли ручной багажъ, помѣщики выпили бутылку пива и вышли вмѣстѣ.

— Это Богъ знаетъ что такое!—нараспѣвъ повторала барыня и съ перевальцемъ ходила между двумя длинными столами—обѣденнымъ и чайнымъ.

— Да я вамъ докладывалъ—фаэтонъ, тройка лошадей, будете довольны, ваше превосходительство!

Экипажъ предлагалъ еврей. Его красныя, воспаленныя вѣки безпрестанно закрывались, а глаза слезились.

— Да ты заломишь, я знаю!

— Всего пять рублей, съ вашей милости.

— Пя-ять?—жалобно протянула барыня. — Это разбой! За десять верстъ?

— Ахъ, какъ же это можно такъ говорить! — вскрикнулъ еврей, точно его ужалило въ ногу. — Восемнадцать верстъ—по росписанію! Одинъ песокъ! Боже мой!

Онъ произносилъ довольно чисто по-русски и слово „по росписанію“ придумалъ самъ, въ жару разговора.

— Ни за что!

Возгласъ барыни заставилъ дѣвушку у чайнаго стола чуть замѣтно усмѣхнуться.

Она подумала:

„А почему бы мнѣ не предложить себя въ попутчицы? Дешевле будетъ!“

Но она этого не сдѣлала. Барыня ей не нравилась. Всю дорогу въ вагонѣ она, то и дѣло, заявляла всякія претензіи, не позволяла открыть окно, ужасно курила.

Ѣхать съ ней въ фаэтонѣ обошлось бы не дешевле, да и не хотѣлось вступать съ ней въ продолжительную бесѣду, отвѣчать на неизбѣжные разспросы.

Однако, надо было подумать о томъ, какъ добраться до мѣстечка. Съ барыней—она не поѣдетъ. Изъ пассажировъ-мужчинъ никто не предлагалъ себя въ попутчики, да она врядъ ли бы и согласилась. Долгій чиновникъ въ форменной фуражкѣ сговорился съ господиномъ въ соломенной шляпѣ. Бѣлоруссъ повезъ ихъ въ телѣжкѣ, на дрогахъ... Больше рессорныхъ экипажей не стояло у задняго крыльца станціи. Барыня, послѣ продолжительнаго торга, рѣшилась ѣхать въ фаэтонѣ еврея за четыре рубля.

Дѣвушка не торопилась. Она хотѣла напиться хорошенько кофею и чего-нибудь закусить. Она видѣла, что трое извозчиковъ осталось безъ сѣдоковъ. У одного было что-то въ родѣ тарантасика, на дрогахъ. Она не боялась тряски и надѣялась, что ее довезутъ за дешевую цѣну. И безъ того она истратилась. Дорожные деньги, высланные ей, подходили къ концу.

Напилась она кофею, съѣла кусокъ холодной телятины и тогда только спросила, чей тарантасикъ, у кучки извозчиковъ, все еще стоявшихъ около задней двери.

Отдѣлился огромнаго роста малый, въ свѣтло-сѣрой короткой свиткѣ. Его загорѣлое, веснушчатое лицо, скуластое и широкое, показалось ей мало внушающимъ довѣріе.

„Да онъ меня ограбитъ лѣсомъ“, — быстро подумала она, и тутъ же назвала себя „трусихой“. Развѣ она не ѣздила одна, ночью, въ окрестностяхъ Петербурга, и лѣтомъ, и зимой, и съ первымъ попавшимъ извозчикомъ?

— Ваша телѣжка? — спросила она груднымъ, немного тусклымъ голосомъ и поглядѣла на него вопросительно.

— Моя, — отвѣтилъ онъ съ трудно уловимымъ акцентомъ.

Но видно было, что онъ уже обрусѣлый мужикъ и не мало водился съ пріѣзжими господами. И торговаться сталъ онъ довольно бойко, говорилъ пріятнымъ теноркомъ, который совсѣмъ не шелъ къ его росту и скудному лицу.

Они поладили на двухъ рубляхъ.

Больше никто не поѣхалъ со станціи. Двое извозчиковъ остались безъ работы. И они, и сторожъ принялись таскать, класть въ тарантасикъ и увязывать багажъ одинокой пассажирки. Багажъ этотъ состоялъ изъ нѣсколькихъ мѣшечковъ, большого узла съ подушкой и довольно помѣстительнаго чемодана. Укладываніе заняло не мало времени. Бѣлоруссы-извозчики и станціонный сторожъ долго возились, прилаживая чемоданъ къ задку дрогъ. Работа не спорилась. Выплылъ откуда-то простоволосый еврейчикъ въ нанковомъ балахонѣ и сталъ помогать имъ шумно и размашисто, но оказался толковѣе всѣхъ. Онъ сумѣлъ поставить чемоданъ ребромъ такъ, что онъ свободно умѣстился на задкѣ. И мѣшечкамъ нашлось мѣсто; только громоздкій узелъ немного придавливалъ пассажирку, когда ее посадили въ тарантасикъ, очень узкій и валкій въ корпусѣ.

Всѣ принимавшіе участіе въ укладкѣ обступили убогій экипажъ, кто былъ въ шапкѣ—обнажили головы и начали просить на водку. Дѣвушка покраснѣла. Мелочи у ней осталось очень мало, да и не могла она давать всѣмъ, хотя бы только по гривеннику. Она не просила ихъ помогать. Уложить багажъ долженъ извозчикъ. Но ей сдѣлалось очень неловко. И въ мелочахъ она привыкла поступать безукоризненно, возмущалась малѣйшей несправедливостью и скарედность считала гнуснымъ порокомъ. Привычка слѣдить за собой постоянно, какъ за постороннимъ лицомъ, вѣлася въ нее, какъ самое прочное изъ ея душевныхъ движеній.

Она достала портмоне, прищурилась, чтобы разсмотрѣть, что въ немъ лежало, увидала тамъ три двугривенныхъ, одинъ изъ нихъ вынула и, подавая сторожу, сказала:

— Извините... васъ много... Вотъ двадцать копеекъ... Напейтесь чаю.

Сказать „на водку“—было бы для нея непріятно. Она

считала это выраженіе слишкомъ барски-пренебрежительнымъ.

Тарантасикъ, запряженный парой плохенькихъ буланыхъ лошадокъ, двинулся и сразу покачнулся такъ, что пассажирка слегка вскрикнула.

## II.

На полпути лѣсомъ выдалась широко расплывшаяся песчаная колодобина.

Они ѣхали уже добрыхъ полчаса. Жаръ прибывалъ. По сторонамъ замыленные и почти голыя сосны высились въ недвижномъ душномъ воздухѣ и не давали никакой тѣни.

Пассажирка уже натерпѣлась на первыхъ верстахъ, до въѣзда въ лѣсъ, отъ тряски тарантасика и въ двухъ мѣстахъ еле не вылетѣла изъ валякаго кузова. Извозчикъ не заговаривалъ съ нею, и она молчала; только въ одномъ мѣстѣ она вскрикнула:

— Ахъ, какъ трясетъ! Это ужасно!

Бѣлорусскъ повернулъ къ ней свое скуластое, загорѣлое лицо и вымолвилъ:

— Это точно.

Это лицо все больше и больше казалось ей звѣрскимъ.

Когда она поѣхала со станціи, она ничего не боялась. Ей хотѣлось заговорить съ этимъ парнемъ, но она не умѣла говорить съ народомъ даже и въ Петербургѣ, гдѣ протекла почти вся ея жизнь. У ней—она сама это замѣчала—все выходило сухо, не тѣми словами, отзывалось книжкой. Извозчикъ выговаривалъ по-русски довольно чисто, но врядъ ли могъ вполне понимать ее.

Заговорить съ нимъ по-польски удерживало ее сложное чувство. Она знала этотъ языкъ—языкъ ея отца,—но выражалась на немъ не очень бойко, почти какъ на языкѣ иностранномъ.

По своему происхожденію она полу-полька, полу-русская. Имя у ней настоящее русское, данное матерью въ память героини Пушкина—Татьяна, но по отчеству она Казиміровна, фамилія—Круковская. Мать повліяла на нее гораздо больше отца. Онъ бывалъ, по службѣ, въ частыхъ и продолжительныхъ отлучкахъ, а мать всегда при ней. По-польски выучилась она у отца и кузины, съ которой ходила въ гимназію. Но по религіи, тону, воспитанію, идеямъ—она сложилась въ петербургскую развитую,

трудовую дѣвушкѣ, къ тому времени, когда осталась сиротой.

Ей всегда бывало непріятно, если кто-нибудь рѣзко или пренебрежительно говорилъ о націи, откуда вышелъ ея отецъ; но и за польку она не хотѣла слыть, особенно не искала польскаго общества, даже въ средѣ своихъ товарокъ по гимназій и курсамъ, куда она поступила восемнадцати лѣтъ и гдѣ просидѣла цѣлыхъ пять лѣтъ, побывавъ на обоихъ отдѣленіяхъ. Кончила она курсъ второй, на словесномъ отдѣленіи.

Эта двойственность расы придавала ея душевному складу оттѣнокъ, не сразу уловимый, но уже залегшій въ основу ея характера. Она не могла отрѣшиться отъ чувства своеобразной неловкости, туго сближалась, какъ бы боялась, что кто-нибудь задѣнетъ въ ней фибръ расовой щекотливости.

По-русски она говорила съ петербургскимъ произношеніемъ; но звукъ голоса имѣлъ въ себѣ что-то несовсѣмъ русское, и это она знала.

Такъ она и не заговорила съ извозчикомъ по-польски, даже не спросила его—понимаетъ ли онъ этотъ языкъ, что было болѣе чѣмъ вѣроятно.

До лѣса она не думала ни о чемъ, кромѣ того, что ждетъ ее въ томъ мѣстечкѣ, куда она поѣхала такъ неожиданно для себя.

Но на этой песчаной колодобинѣ, среди унылыхъ, обнаженныхъ сосенъ, на нее стало находить беспокойство. Спина ямщика, пряди его желтыхъ волосъ, торчавшихъ изъ-подъ шапки, шея, побурѣлая отъ загара, запахъ отъ свиты и смазныхъ сапогъ,—все это начало ее тревожить. Она распознала, что это — чувство женской боязни, и не одного того, что извозчикъ ограбитъ и зарѣжетъ ее, а еще чего-то.

Онъ раза два оборачивался, когда они ѣхали по узкой дорогѣ—минуть съ десять до того—и его взглядъ почему-то казался ей подозрительнымъ.

Трусихой Татьяна Казиміровна себя не считала. Но страхъ совсѣмъ другого рода заползъ въ нее.

Она была по натурѣ и всей своей житейской выправкѣ чрезвычайно цѣломудренна и воображеніемъ чище, чѣмъ любая изъ ея подругъ. Она любила разговоры о чувствахъ, но отвлеченные, съ анализомъ нравственныхъ вопросовъ и положеній, навѣянныхъ литературой, психическими



подробностями изъ того или иного произведенія, съ отыскиваніемъ высшаго моральнаго идеала. Любовь, ни въ видѣ страсти, ни въ видѣ кокетства, почти не коснулась ея. Но она не могла не знать, что судьба дала ей наружность, передъ которой рѣдкій мужчина не останавливался. Прежде, лѣтъ пять назадъ, это раздражало ее и поддерживало въ ней чувство, сходное съ тѣмъ, какое испытываетъ дѣвушка, родившаяся съ явнымъ уродствомъ или большимъ физическимъ недостаткомъ.

Къ тону ухаживанія она была безпощадна, — съ семнадцати лѣтъ не позволяла говорить себѣ самыхъ обыкновенныхъ любезностей; но не бѣгала мужчинъ, охотно вступала въ долгія бесѣды и не отдавала себѣ отчета въ томъ, что ея лицо, глаза, брови, волосы производили всегда особое дѣйствіе на ея собесѣдниковъ, совсѣмъ не отвѣчавшее содержанію разговоровъ.

Не обращала она вниманія и на то, что во время спора, — а спорить она любила, — ея руки выставляютъ еще ярче свою красоту. Руки у ней были удивительнаго изящества: крупныя, съ удлиненными пальцами и розовато-мраморнымъ окрашиваніемъ. На нихъ всѣ заглядывались, крожѣ нея самой.

И вотъ разъ одинъ изъ ея собесѣдниковъ, студентъ, вдругъ зарыдалъ, сидя рядомъ съ нею, и сталъ цѣловать ея колѣна. Она вси затряслась отъ испуга и негодованія, а потомъ ей стало смѣшно. Студентъ больше не встрѣчался съ нею... Узнала она позднѣе, что онъ покончилъ съ собою: отъ несчастной ли страсти — она не знала; но послѣ того она стала вырабатывать себѣ суховатый тонъ съ мужчинами, всякими, и молодыми, и пожилыми, и въ ней нѣтъ-нѣтъ да просыпалась тревога, когда она оставалась наединѣ съ мужчиной, кто бы онъ ни былъ, боясь вызвать въ немъ порывъ романтическаго ли чувства, или звѣрскаго инстинкта.

Вдругъ, извозчикъ крикнулъ на лошадей. Онѣ остановились. Онъ слѣзъ съ козелъ... Татьяна Казиміровна закрыла глаза и почувствовала тотчасъ же, что блѣднѣетъ.

— Что такое? — стремительно спросила она и раскрыла глаза, готовая прыгнуть съ противоположной стороны и броситься бѣжать.

Бѣлоруссъ глуховато улыбулся во весь ротъ, поправилъ шанку и сталъ что-то поправлять у передняго колеса.

— Сломалось?

— Никакъ нѣтъ... тяжъ...

Остального она не дослушала.

Извозчикъ вскочилъ опять на козлы. Она, успокоенная, постыдила себя и вступила съ нимъ въ разговоръ.

— Вы многихъ знаете... кто дачи имѣетъ? — спросила она, держась неуклонно правила говорить всѣмъ „вы“, даже извозчикамъ изъ крестьянъ.

— Кого знаемъ?

— Про господина Гарбуза не слыхали?

— Никакъ нѣтъ!.. Чья дача?

— Кажется, собственная.

— Про этого господина не слыхали.

Извозчикъ, обернувшись, опять широко раскрылъ огромный скуластый ротъ и спросилъ:

— А ваша милость на воды?

— Нѣтъ; я не больная.

Она знала, что въ мѣстечкѣ воды, но не затѣмъ туда ѣхала.

То, что извозчикъ не зналъ дачи Гарбуза, какъ бы смутило ее.

Какая странная и смѣшная фамилія „Гарбузъ“. Разумѣется, этотъ господинъ не чисто-русскаго происхожденія: или малороссъ, или изъ мѣстныхъ обывателей, можетъ-быть, полякъ... Все это не совсѣмъ пріятно звучало.

Тарантасикъ въѣхалъ въ чащу лѣса; песокъ пошелъ еще сыпучѣе, колеса вывалились въ него по спицы, оводы кусали лошадей, жаръ становился все томительнѣе, тонкая пыль забиралась подъ вуалетку и ѣла глаза.

Татьянѣ Каазиіровнѣ было очень не по себѣ.

### III.

— Куда же въѣхать, барышня? — спросилъ бѣлороссъ, когда они въѣхали на поляну, спускавшуюся пологимъ волокомъ къ мѣстечку.

— Куда въѣхать? — повторила она. — Да въ гостиницу... Есть вѣдь гостиница?

Вѣстовать прямо къ „господину Гарбузу“ ей не хотѣлось. Она это рѣшила еще въ Петербургѣ, на вокзалѣ, когда шла въ вагонъ, вслѣдъ за артельщикомъ, несшимъ съ вещи.

Что-то удержало ее отъ посланки депеши на имя Льва

Игнатьевича Гарбуза, хотя онъ и просилъ ее объ этомъ въ послѣднемъ письмѣ своемъ.

Да и вся-то ея поѣздка случилась такъ неожиданно для нея самой.

Дорогой она много думала о томъ, какой главный мотивъ двинулъ ее, почему она такъ стремительно воспользовалась первымъ попавшимся приглашеніемъ „въ отъѣздъ“, на мѣсто гувернантки,—она, Татьяна Казиміровна Круковская, блистательно сдавшая всѣ свои экзамены на курсахъ, считавшаяся украшеніемъ выпуска... не по одной только наружности!

Ей не легко было сознаться, когда она углубилась въ себя и разобрала клубокъ душевныхъ нитей, что главнымъ толчкомъ надо признать: затаенное чувство обиды, женскую суетность, хотя снаружи ничего подобнаго и не проявлялось и никто не заподозрилъ ее.

Жила она въ одной квартирѣ съ своей кузиной Жозей и маленькимъ братомъ — гимназистомъ. Обѣ оканчивали курсъ. Она давала много уроковъ и этимъ содержала и себя, и брата Колю — рѣзваго мальчика съ музыкальными способностями. Большой дружбы съ кузиной у ней не было. Кузина старше ея года на два, вовсе не красива, маленькаго роста, вертлявая, шумная, но очень бойкая на разговоры, всегда окруженная мужчинами. Училась она не плохо; но серьезной любви къ знанію не имѣла... Во многомъ онѣ, по взглядамъ, привычкамъ и правиламъ, не сдѣлись, хотя и не доходило у нихъ никогда до ссоръ. Легкій, покладливый характеръ кузины не доводилъ до нихъ.

Въ предпослѣднюю зиму сталъ ходить къ нимъ одинъ инженеръ, сынъ товарища ея отца, довольно красивый, умный, дѣльный, на дорогѣ къ профессорству. Онъ, съ первыхъ же дней знакомства, началъ выказывать преклоненіе передъ ея личностью, не передъ одной красотой, а передъ всѣмъ ея нравственнымъ складомъ. Это не особенно льстило ей, но она все-таки привыкла къ тону его изліяній, гдѣ сквозило чувство, которое не могло же обижать ее.

Такъ прошелъ цѣлый петербургскій сезонъ. Инженеръ получилъ блестящее мѣсто по работамъ на югѣ Россіи, уѣхалъ на нѣсколько мѣсяцевъ, писалъ ей оттуда восторженные письма, говорилъ, что нуждается въ ея поддержкѣ, чтобы не увлечься дѣлечествомъ, вернуться къ

наукѣ и профессурѣ. Она отвѣчала ему, но довольно сдержанно, не хотѣла ни подъ какимъ видомъ переступить черты простаго пріятельскаго знакомства, отъ руководящей роли отказывалась, предоставляла его испытанію: если въ немъ сидитъ дѣлецъ—онъ очутится въ станѣ пріобрѣтателей, а сидать въ немъ порядочные истинники—войдутъ на кафедру.

Ея письма не удовлетворяли его, приводили въ смущеніе и, подъ конецъ, стали даже задѣвать его, чего она, конечно, не хотѣла. И когда онъ вернулся въ Петербургъ и пришелъ къ нимъ, то передъ ней былъ уже „подрядчикъ“, взятый въ компанію извѣстнымъ строителемъ, человѣкъ, окончательно разставшійся со всякой мечтой о дорогѣ „скромнаго труженика“.

Это ее огорчило и укололо. Она перемѣнила съ нимъ тонъ, они часто пикировались: онъ, полушутя, доказывалъ, что въ его дѣлечествѣ надо винить ее, а она повторяла, что дѣлецъ сидѣлъ въ немъ и долженъ былъ, рано или поздно, всплыть наверхъ.

И черезъ два-три мѣсяца вертлявая, болтливая Жоза, ея кузина, сдѣлалась его невѣстой, и до свадьбы она должна была очень часто присутствовать при ихъ нѣжностяхъ. Она взяла съ нимъ простой, родственныи тонъ; но ранка, незамѣтная и для нея самой, не переставала сочиться. Жоза собиралась стать женой человѣка, уже получавшаго большія деньги, кое-какъ сдала экзамены, отдалась шумнымъ и довольно хвастливымъ заботамъ о наймѣ и отдѣлкѣ тысячной квартиры. Въ ея тонѣ съ кузиной зазвучали ноты покровительства.

— Когда вернемся изъ-за границы,—говорила Жоза,—ты можешь провести конецъ лѣта у насъ на дачѣ.. И даже съ Колей.

Все это сильно коробило ее. Гостить у нихъ она ни въ какомъ случаѣ не желала. А на лѣто надо было дѣваться куда-нибудь. Жить въ Петербургѣ, безъ уроковъ, она не могла. Семейства, гдѣ она ихъ давала, почти всѣ разъѣхались. Колю, брата, она отправила въ деревню, къ товарищу, и сама осталась одна, безъ мѣста, о которомъ зимой мало думала.

Вотъ тогда-то и пропечаталась она въ газетахъ, въ расчетѣ прожить лѣто въ провинціи, немного стряхнуть съ себя петербургское утомленіе отъ экзаменовъ и бѣготни по городу на уроки, присмотрѣться къ русской

жизни—въ усадьбѣ, узнать крестьянскій бытъ. Тогда эта программа очень манила ее. А то, что составляло главный импульсъ—нежеланіе гостить у кузины и ея мужа, она хоронила отъ самой себя. Теперь же это ей ясно, лежитъ какъ на ладони.

Предложеній, на письмахъ, она получила, до мая, всего четыре... И самое подходящее было отъ какого-то Льва Игнатьевича Гарбуза.

Онъ предлагалъ ей жалованье въ семьдесятъ пять рублей, на всемъ готовомъ, съ проѣздомъ на его счетъ, дѣтей у него только двое—двѣ дѣвочки-подростки, дѣто проведетъ она съ семействомъ, не очень далеко отъ Петербурга, на водахъ, а зиму—въ губернскомъ городѣ, еще ближе къ Петербургу. Упоминалось и о томъ, что жена его слабаго здоровья, сама дѣтьми заниматься не можетъ, что, скорѣе, понравилось Татьянѣ Казиміровнѣ.

Тогда у ней не было никакихъ колебаній, и она тотчасъ согласилась. Теперь ей такое скорое рѣшеніе казалось почти „безуміемъ“.

Ни у кого объ этомъ помѣщикѣ—она считала его дворяниномъ-землевладѣльцемъ—она не могла справиться, да и не рассказывала никому про свою „кондицію“; ничего не говорила и кузинѣ, когда та уѣзжала послѣ свадьбы, за границу, и только недѣлю спустя написала ей въ Римъ, что она ѣдетъ въ провинцію на мѣсто, и даже не дала своего адреса.

И зачѣмъ она не подождала какихъ-нибудь два-три мѣсяца? Наняла бы комнатку гдѣ-нибудь, у чухонъ, на взморьѣ, за десять рублей. Ей хватило бы того, что она наработала за зиму. Съ ея дипломомъ, съ ея познаніями есть возможность получить мѣсто учительницы гимназій, не въ столицѣ, такъ въ провинціи.

Да, но высшіе курсы никакихъ положительныхъ правъ не даютъ. Она—не „педагогичка“. Добиваться мѣста гимназической учительницы—не такъ-то легко. Даже и городскую школу въ Петербургѣ сразу не получишь, хотя въ эту сторону у ней нашлась бы и рука.

Но ее гнало изъ Петербурга. Ей не хотѣлось, должно-быть, оставаться, на зиму, въ одномъ городѣ со своей кузиной, ходить къ ней въ гости, встрѣчаться съ ея мужемъ, присутствовать при зрѣлищѣ ихъ грубоватыхъ ласкъ, слушать ихъ разговоры, видѣть ихъ крикливую дѣлческую обстановку, принимать отъ нихъ, точно по-

дачку, приглашенія на обѣдъ, въ ложу, въ концертъ, на катанья и пикники. Рѣзко разойтись — „изъ-за принциповъ“ — она тоже не хотѣла: это отзывалось бы уже черезчуръ книжкой.

Но настоящая причина того, что она трясется въ эту минуту въ телѣжкѣ, по колеямъ проселка — найдена.

Щеки Татьяны Казиміровны все краснѣли — не отъзной жары, а отъ обиды за самое себя: неужели и она не свободна отъ такихъ жалкихъ женскихъ свойствъ?

Отвѣчать было трудно.

Лошадки пошли бойкой рысцой. И дорога стала лучше... Въѣхали они въ мѣстечко, расплывшееся по обоимъ берегамъ рѣчки. Низменная часть была самая заселенная. На другомъ, крутомъ берегу бѣлѣло нѣсколько красивыхъ дачъ.

Миновали площадь, въ видѣ луговины.

— Тамъ телеграфъ! — провелъ рукой извозчикъ, показывая вправо. — Въ гостиницу, значить, вашей милости?

— Да, да! — нервно крикнула дѣвушка, и выпрямилась на жесткомъ сидѣньи.

Ничего похожего на то, что она соединяла съ представленіемъ о „курортѣ“, кругомъ не было. Тихое, безлюдное село, съ чистыми домиками и широкими улицами, дремало на полуденномъ солнцѣ.

#### IV.

Гостиница стояла на углу двухъ проѣздовъ. Крыльцо приходилось на ту улицу, по которой подвезли Татьяну Казиміровну.

Кругомъ та же тишина, что и въ улицахъ, гдѣ они проѣзжали. Извозчикъ слѣзъ съ козелъ и облокотился въ полуотворенную стеклянную дверь:

— Кто тамъ есть? Барышню привезъ!

Слово „барышня“ заставило ее улыбнуться. Можетъ-быть, въ послѣдній разъ ее такъ называютъ. Она не любила этого слова, но оно все-таки лучше, чѣмъ „мамзель“, какъ ее будутъ теперь звать преслуга, съ поступленія ея въ домъ гувернанткой.

На крыльцо вышелъ мальчикъ, лѣтъ четырнадцати, въ свѣтломъ пиджакѣ и рубашкѣ съ косымъ воротомъ. Олагодобразный паренекъ великорусскаго типа: бѣлокурые волосы въ кружало, серьга въ одномъ ухѣ, большіе сапоги.

Онъ бойко сбѣжалъ со ступенекъ и началъ высаживать приѣзжую.

— Пожалуйте, пожалуйста,—заговорилъ онъ ласковымъ и вкрадчивымъ голосомъ. — Номеръ есть и вверху, и внизу. Я сейчасъ доложу управительницѣ.

И въ выгрузкѣ багажа онъ помогъ извозчику.

Въ коридорѣ ее встрѣтила управительница, болѣзненная особа съ повязанной щекой, нѣчто въ родѣ компаньонки, еще не старая, въ бурнусѣ изъ сѣраго люстрина и небрежно причесанная.

— На какую вамъ цѣну?—жалобно спросила она.—Вы на цѣлый мѣсяцъ или больше?

Татьяна Казиміровна объяснила ей, что желаетъ взять комнату посуточно—и самую дешевую.

— Наверху есть... въ рубль... Дешевле нѣтъ.

И все это управительница выговаривала такимъ тономъ, точно ее сейчасъ стошнить, и съ мѣстнымъ акцентомъ. Къ такому акценту Татьяна Казиміровна была чувствительна; ей всегда казалось, что и ея русскій выговоръ въ родѣ этого.

— Эленка!—крикнула управительница вверхъ по деревянной лѣстницѣ и прибавила по-польски: — покажи номеръ тринадцатый.

„Номеръ тринадцатый,—подумала Круковская.—Не къ добру“.

У ней не было обычныхъ предразсудковъ, ни русскихъ, ни польскихъ; по крайней мѣрѣ, она усиленно боролась съ ними. Но двѣ примѣты и ей были непріятны: число тринадцать и встрѣча со священникомъ.

Номеръ показала ей горничная, совсѣмъ уже мѣстнаго вида: босая, въ черныхъ косахъ, въ пестрой юбкѣ и ситцевой кофтѣ, очень полная, съ добрѣйшимъ выраженіемъ раскосыхъ глазъ.

Онѣ сейчасъ же заговорили по-польски. Эленка бросилась таскать вещи вмѣстѣ съ мальчикомъ и раза два уже приложилась къ плечу Татьяны Казиміровны.

Мальчикъ, когда извозчикъ былъ отпущенъ и вещи всѣ внесены въ номеръ, откашлянуль въ руку и сладко-сладко выговорилъ:

— Пачпортъ соблаговолите?

— Сейчасъ же?

Она не долюбливала никакихъ полицейскихъ подробностей.

дачку, приглашенія на обѣдъ, въ ложу, въ концертъ, на катанья и пикники. Рѣзко разойтись — „изъ-за принциповъ“ — она тоже не хотѣла; это отзывалось бы уже черезчуръ книжкой.

Но настоящая причина того, что она трасется въ эту минуту въ телѣжкѣ, по колеямъ проселка — найдена.

Щеки Татьяны Казиміровны все краснѣли — не отъ одной жары, а отъ обиды за самоё себя: неужели и она не свободна отъ такихъ жалкихъ женскихъ свойствъ?

Отвѣчать было трудно.

Лошадки пошли бойкой рысцой. И дорога стала лучше... Въѣхали они въ мѣстечко, расплывшееся по обомъ берегамъ рѣчки. Низменная часть была самая заселенная. На другомъ, крутомъ берегу бѣлѣло нѣсколько красивыхъ дачъ.

Миновали площадь, въ видѣ луговины.

— Тамъ телеграфъ! — провелъ рукой извозчикъ, показывая вправо. — Въ гостиницу, значить, вашей милости?

— Да, да! — нервно крикнула дѣвушка, и выпрямилась на жесткомъ сидѣньи.

Ничего похожего на то, что она соединяла съ представленіемъ о „курортѣ“, кругомъ не было. Тихое, безлюдное село, съ чистыми домиками и широкими улицами, дремало на полуденномъ солнцѣ.

#### IV.

Гостиница стояла на углу двухъ проѣздовъ. Крыльцо приходилось на ту улицу, по которой подвезли Татьяну Казиміровну.

Кругомъ та же тишина, что и въ улицахъ, гдѣ они проѣзжали. Извозчикъ слѣзъ съ козелъ и окликнулъ въ полуотворенную стеклянную дверь:

— Кто тамъ есть? Барышню привезъ!

Слово „барышня“ заставило ее улыбнуться. Можетъ-быть, въ послѣдній разъ ее такъ называютъ. Она не любила этого слова, но оно все-таки лучше, чѣмъ „мамзель“, какъ ее будетъ теперь звать прислуга, съ поступленія ея въ домъ гувернанткой.

На крыльцо вышелъ мальчикъ, лѣтъ четырнадцати, въ свѣтломъ пиджакѣ и рубашкѣ съ косымъ воротомъ, благообразный паренекъ великорусскаго типа: бѣлокурые волосы въ кружало, серьга въ одномъ ухѣ, большіе сапоги.



Онъ бойко сбѣжалъ со ступенекъ и началъ высаживать приѣзжую.

— Пожалуйста, пожалуйста,—заговорилъ онъ ласковымъ и вкрадчивымъ голоскомъ. — Номеръ есть и вверху, и внизу. Я сейчасъ доложу управительницѣ.

И въ выгрузкѣ багажа онъ помогъ извозчику.

Въ коридорѣ ее встрѣтила управительница, болѣзненная особа съ повязанной щекой, нѣчто въ родѣ компаньонки, еще не старая, въ бурнусѣ изъ сѣраго люстрина и небрежно причесанная.

— На какую вамъ цѣну?—жалобно спросила она.—Вы на цѣлый мѣсяцъ или больше?

Татьяна Казиміровна объяснила ей, что желаетъ взять комнату посуточно—и самую дешевую.

— Наверху есть... въ рубль... Дешевле нѣтъ.

И все это управительница выговаривала такимъ тономъ, точно ее сейчасъ стошнитъ, и съ мѣстнымъ акцентомъ. Къ такому акценту Татьяна Казиміровна была чувствительна; ей всегда казалось, что и ея русскій выговоръ въ родѣ этого.

— Эленка!—крикнула управительница вверху по деревянной лѣстницѣ и прибавила по-польски: — покажи номеръ тринадцатый.

„Номеръ тринадцатый,—подумала Круковская.—Не къ добру“.

У ней не было обычныхъ предразсудковъ, ни русскихъ, ни польскихъ; по крайней мѣрѣ, она усиленно боролась съ ними. Но двѣ примѣты и ей были непріятны: число тринадцать и встрѣча со священникомъ.

Номеръ показала ей горничная, совсѣмъ уже мѣстнаго вида: босая, въ черныхъ косахъ, въ пестрой юбкѣ и ситцевой кофтѣ, очень полная, съ добрѣйшимъ выраженіемъ раскосыхъ глазъ.

Онѣ сейчасъ же заговорили по-польски. Эленка бросилась таскать вещи вмѣстѣ съ мальчикомъ и раза два уже приложилась къ плечу Татьяны Казиміровны.

Мальчикъ, когда извозчикъ былъ отпущенъ и вещи все внесены въ номеръ, откашлянулъ въ руку и сладко-сладко выговорилъ:

— Пачпортъ соблаговолите?

— Сейчасъ же?

Она не долюбливала никакихъ полицейскихъ подробностей.

— У насъ строго... по этой части.

Его языкъ отзывался такъ большимъ русскимъ городомъ, что она спросила его:

— Вы сами здѣшній?

— Никакъ нѣтъ-съ. Я петербургскій. Меня арендатели привезли.

— Какіе арендаторы?

— Которые содержатъ гостиницу и вокзалъ-съ... Господа наши.

Она достала свой видъ и отдала ему.

— Больше ничего не прикажете?—спросилъ мальчикъ и сталъ у дверей въ выжидательной позѣ.

„Какой ученый“,—подумала она и спросила:

— Васъ какъ звать?

— Владиміръ... Володей здѣсь всѣ зовутъ, — немного стыдливо выговорилъ онъ.

— Вотъ что, Володя... Вы здѣсь должны всѣхъ знать...

— Которыхъ знаю... Есть вѣдь не мало обывателей... дачи свои имѣютъ... тѣхъ мало видишь.

— Гдѣ живетъ здѣсь господня Гарбузь... Левъ Игнатьевичъ?

— Гарбузь?—переспросилъ Володя, и наморщилъ загорѣлый красивый лобъ. — Что-то про такого не слыхалъ. Да онъ изъ обывателей?.. Помѣщикъ? Здѣшній?

— Не знаю... Живетъ здѣсь. Кажется, своя дача.

— Да позвольте узнать, изъ себя онъ какой будетъ?

— Не знаю... я его не видала.

— Позвольте справиться... А вамъ послать нужно письмо?.. Такъ я могу-съ...

— Нѣтъ, письма не будетъ. Я сама пойду. Вы узнайте, пожалуйста.

— Я мигомъ-съ... Больше еще ничего не прикажете?

— Теплой воды... поскорѣе.

— Слушаю-съ.

Черезъ двѣ минуты, разбираясь въ своемъ дорожномъ мѣшкѣ, она услышала звонкій, раскатистый окликъ Эленки въ нижнемъ коридорѣ:

— Цаяенка вола на гужѣ! (Барышня кличетъ наверху).

Воду принесла ей другая женщина, въ крестьянской свитѣ. Эленка уже подмывала полъ и не могла сейчасъ явиться.

Да ей и не нужно было услугъ. Она привыкла все дѣлать сама. Раскладывать чемоданъ она не хотѣла. Можно

остаться въ тѣхъ же юбкѣ и кофтѣ, только почиститься, переменить воротничокъ, надѣть другія перчатки и взять зонтикъ.

Платье, всѣ свои туалетныя вещи держала она въ большой чистотѣ, но не была франтихой, любила темныя цвѣта и не тратила на вздоръ ни одного лишняго рубля. Да и держалась она совсѣмъ не эффектно: гнулась и на ходу, и когда сидѣла, отчего казалась меньше ростомъ. Худошавая грудь отнимала у ней величавость; но это ее не смущало, и даже таліей—тонкой и гибкой—занималась она мало, носила просторныя корсеты.

Въ четверть часа она была уже готова. Сходя, она встрѣтила Володю, поднимавшагося наверхъ.

— Узнали?—ласково спросила она.

— Бѣгалъ на вокзалъ... у сторожа справлялся... Онъ говоритъ—это, должно-быть, на обрывѣ... надъ Сливницей... Рѣчка такъ у насъ называется, въ оврагѣ. И крутой берегъ... по ту сторону. Тамъ точно есть, на самомъ обрывѣ, дача... Только я думалъ, она пустая стоитъ. И окна съ одной-то стороны, видать, закрыты ставнями.

Они сошли вмѣстѣ.

— Я васъ провожу-съ, вызвался Володя.

— Покажите мнѣ дорогу до вокзала, и я сама узнаю путь.

— Да это рядомъ... вотъ вправо возьмете, мимо конторы водъ... и сейчасъ увидите крыльцо... тамъ и сторожъ. Я провожу васъ.

— Благодарствуйте. Я одна.

Ей хотѣлось идти одной. Она могла бы, конечно, послать этого шустрого паренька съ письмомъ и дожидаться визита господина Гарбуза. Но что-то ее беспокоило, и неопредѣленное по мотиву, и весьма отчетливое—по ощущенію. Лучше она отыщетъ сама дачу, не предупредивъ никого. То, что она найдетъ тамъ врасплохъ, дастъ ей болѣе вѣрную ноту, чѣмъ если бы она явилась послѣ письма.

Шла она медленно, подъ зонтикомъ, по высохшей землѣ дорожки, заглянула въ садъ и прошла до террасы вокзала. Все это показалось ей довольно мизернымъ. Она не бывала за границей, но привыкла, въ Петербургѣ, къ другимъ разнѣрамъ загородныхъ вокзаловъ и прогулокъ.

Въ саду было совершенно пусто. Передъ эстрадой тянулись ряды пыльных скамеекъ. Боковая аллея привела

ее къ главному подъѣзду, со стороны широкаго проѣзда, такого же песчанаго, какъ и дорога лѣсомъ.

Нашла она и сторожа, отставнаго унтера, старика. Онъ уже слышалъ въ чемъ дѣло.

— Этого барина мы не знаемъ, по фамиліи... А видать видали... Изъ себя черноватый... Не такъ ужъ, чтобы очень молодой.

— И семейство его видали?

— Семейство? Нѣтъ... что-то не приводилось... Да вамъ лучше всего, сударыня, въ почтовую контору... Тамъ, навѣрно, укажутъ. У нихъ каждый обыватель на знати.

Но она не пошла въ почтовую контору, а попросила только растолковать ей, какъ подняться къ дачѣ на обрывѣ рѣчки Сливницы.

Сторожъ объяснилъ ей все очень толково.

Она спустилась и попала прямо въ отрадную тѣнь густой поросли орѣшника, шедшей вдоль извилистой рѣчки густой аллеей. Такъ ей стало вдругъ привольно, что она остановилась и въ углубленіи пригорка сѣла на скамью.

Противъ нея, черезъ рѣчку, тоже весь въ орѣховой поросли, высился крутой берегъ. Ей видны были, впрямь, и пѣшеходный мостикъ, съ жердями по бокамъ, и дорога вверхъ, по узкой балкѣ. Вода рѣчки искрилась, между вѣтвями, подъ лучами знойнаго солнца, издавая тихій рокоть.

— Какая прелесть!—вырвалось у Татьяны Казиміровны.

Она никакъ не ожидала, что будетъ жить надъ такимъ чудеснымъ мѣстомъ.

## V.

Ей не хотѣлось выходить изъ тѣнистой прохлады... Замедленнымъ шагомъ дошла она до мостика. Солнце опять стало припекать сквозь шелковый темный зонтикъ. Сейчасъ же начинался подъемъ въ гору.

Справа изъ-за того обрыва и забора не видать болѣе никакого зданія. Лѣвѣ спускалась къ берегу луговина и по ней, саженьхъ въ пятидесяти, цѣлая усадьба съ садомъ. Зеленая крыша мезонина и башенка яркимъ пятномъ лежали на фонѣ полуденнаго неба.

„Повернуть направо“, — выговорила мысленно Татьяна Казиміровна, когда поднялась совсѣмъ наверхъ. Дорожка вела къ небольшой дачѣ, съ галлереей, стоявшей къ полю заднимъ своимъ фасомъ. Съ этой стороны она была всего

въ одинъ этажъ, а со стороны обрыва—въ два. Калитка и—дальше—ворота стояли запертыми.

Полная тишина и даже мертвенность вокругъ этого дома. Онъ казался нежилымъ. Это ее немного смутило, но она все-таки пошла по дорожкѣ твердымъ шагомъ и достигла калитки.

Прислушалась она, когда стояла уже въ двухъ шагахъ отъ калитки, ни малѣйшаго звука на дворѣ, ни шаговъ, ни лая собаки, ни голосовъ.

На задній фасъ дома выходило всего два настоящихъ окна. Ихъ закрывали ставни; остальные два были фальшивыя, съ квадратами, выведенными черной краской.

Она пожалѣла, что не взяла съ собой мальчика Володю. Но крайней мѣрѣ, онъ узналъ бы все. Приходилось стучаться. Можетъ-быть, собаки есть—кинутся. Собакъ она побаивалась, хотя и скрывала это.

Калитку отворили изнутри. Показалась пожилая женщина, въ родѣ кухарки, съ головой, покрытой свѣтлымъ ситцевымъ платкомъ и въ затасканной розовой кофтѣ... Она подалась назадъ, увидавъ Татьяну Казиміровну.

— Вы къ кому? — спросила она и сейчасъ же приставила ладонь ко лбу, защищаясь отъ солнца.

— Господинъ Гарбузь... Левъ Игнатьевичъ, у себя? — выговорила Круковская, стараясь произносить какъ можно отчетливѣе.

— Да вы кто будете?

Говорила она безъ мѣстнаго акцента.

— Меня ждутъ ваши господа... Я наставница... гувернантка,—прибавила она, слово это было ей непріятно.

— А-а!..

Баба круто повернулась на своихъ толстыхъ ногахъ, обутыхъ въ стоптанные опорки мужскихъ сапоговъ, и скрылась за калиткой, не пригласивъ ее войти.

„Что же это, однако?“ — съ сдержанной досадой спросила себя дѣвушка и закусила губу. Ей было очень жутко стоять тутъ, на припекѣ, около этой калитки, которую такъ негостеприимно заперли у ней подъ носомъ.

Прошло не меньше пяти минутъ! Никто не показывался... Хоть назадъ иди... Баба ничего не выговорила, кромѣ „а-а“, не сказала даже, тутъ ли живетъ Гарбузь, или нѣтъ.

Но вотъ послышались быстрые шаги, калитку отворили

сильнымъ движеніемъ руки, и изъ нея вынырнула мужская фигура.

Быстро и чрезвычайно отчетливо схватила она наружность этого человѣка: хорошаго роста, плечистый, немного сутуловатый, рѣзкій брюнетъ, съ большими синими бѣлками глазъ, загорѣлый, обросшій волосами бороды очень высоко, не то армянскаго, не то греческаго типа, что-то двойственное въ усмѣшкѣ толстыхъ губъ, носъ съ утолщеннымъ концомъ, курчавые, подстриженные волосы, слегка посыпанные сѣдиной.

Онъ былъ съ открытой головой, въ парусинной домашней парѣ, довольно опрятной, только безъ галстука, въ рубашкѣ съ малороссійскимъ шитьемъ. На ногахъ вязаные туфли.

— Мадемуазель Круковская? Татьяна... Татьяна...

— Казиміровна, — подсказала она.

Взглядъ его изжелта-карихъ глазъ прошелся по ея лицу, и точно искры пошли изъ зрачковъ: она почувствовала вдругъ, какъ этотъ человѣкъ пораженъ ея красотой, и особаго рода неловкость разлилась по ней. Она отвела свои глаза немного въ сторону и медлила протянуть ему руку.

— Пожалуйста! Пожалуйста! — заговорилъ онъ, ретируясь къ калиткѣ, которую онъ надавилъ своимъ туловищемъ. — Какъ же это такъ!.. Не дали знать!.. Я бы высласть экипажъ.

Договорилъ онъ уже на дворикѣ, куда она вошла за нимъ, все тѣмъ же задержаннымъ швомъ, оглядываясь и тихо-тихо переводя дыханіе.

Дворикъ шелъ въ обрыву, гдѣ начинался садикъ, съ густой листвою орѣшника и нѣсколькихъ дубковъ. Вдоль всей стѣны тянулась галлерейка. Слева родъ сарайчика, крашеный флигелекъ, гдѣ, вѣроятно, помещалась кухня, и навѣсъ. Больше она не успѣла разглядѣть.

— Такъ вотъ какъ... вы пожаловали!..

Двѣ жилистыя, покрытыя волосами руки протянулись къ ней. Она должна была отвѣтить на рукопожатіе.

— Только какъ же это вы, барышня, не дали мнѣ знать? Денешкой бы! Или прямо бы вѣхали! Ай-ай!.. Такъ, экспромптомъ!

Онъ говорилъ отрывисто, встряхивалъ часто головой и заглядывалъ въ лицо. По выговору онъ могъ быть южно-

руссь. Помѣщикомъ онъ не смотрѣлъ, а скорѣе управителемъ, и вообще разночинцемъ.

Встрѣтъ она его въ Петербургѣ, хоть въ пекарнѣ Исакова, куда часто заѣзживала закусить между двумя уроками, она могла бы принять его и за какого-нибудь восточнаго человѣка, торгующаго кахетинскимъ, и, пожалуй, за сыщика.

Это первое впечатлѣніе не проходило.

Онъ повелъ ее на галерею, продолжая говорить отрывочными, маленькими фразами.

— Пожалуйста!.. Сюда!.. Въ тѣнь... Вотъ какой сюрпризъ! Присядьте... вотъ на стульчикъ.

Они сѣли на галлерейкѣ, одинъ противъ другого. По его губамъ продолжала скользить та же сладковатая улыбка, и зрачки глазъ искрились на особый ладъ.

— Я не хотѣла... беспокоить васъ... ѣзжать прямо, — выговорила Круковская болѣе строгимъ тономъ, чѣмъ какой она желала взять съ нимъ.

— Не были увѣрены?.. А?.. Увѣрены не были? Думали — пуфъ?..

— Вовсе нѣтъ.

— Очень ужъ поделиватничали, барышня... Что жъ... Это хорошо!.. Показываетъ, что вы имѣете благородную душу.

Его языкъ отзывался чѣмъ-то и провинціальнымъ, и лично-пошловатымъ; но ей не хотѣлось придирааться къ нему.

— Значить, вы въ гостиницѣ остановились?

— Да, въ гостиницѣ.

— Напрасно! Только лишній расходъ! Небось, рублика полтора за номеръ содрали?.. Мы сейчасъ распорядимся. Эй!.. Катерина!

Онъ захопалъ въ ладони. Изъ-за угла галлерейки показалась баба.

— Вотъ ихъ вещи въ гостиницѣ остались. Тамъ ихъ надо сюда, сейчасъ же. Тамъ кого найми привезти или въ тачкѣ... А вамъ слѣдуетъ всего рубль отдать. Можно бы и полтинникъ... Ты поторгуйся. Да, нѣтъ... ты все напутаешь. Вы, барышня, пожалуйста мнѣ вашу карточку. Имѣется при васъ?

— Какъ же.

— Ну, вотъ и прекрасно!..

Онъ уже бралъ изъ ея рукъ карточку, которую она

приготовила для него же, думая, что попадетъ на крыльцо съ подъѣзда и отдать ее горничной или лакею.

Но тотчасъ же всплылъ въ головѣ ея вопросъ:

„Но гдѣ же семейство? жена? дочь, ея будущая ученица?“

— Вы здѣсь и живете?—недоумѣвающимъ тономъ спросила она.

— Временно, временно!.. Вы вѣдь съ той стороны пожаловали! Ходъ-то тамъ, съ садика. Снизу... Лѣсенка такая ведетъ... оттуда, съ рѣчки... Вы, должно-быть, не примѣтили.

Онъ засуетился.

— Не угодно ли вамъ въ гостиную пожаловать? Я мигомъ схожу и привезу вещи. А старуха глупая... Остальная прислуга еще не пріѣзжала.

Катерина уже скрылась во флигелькѣ.

— Пожалуйста!

На поворотѣ галлерей къ нимъ выбѣжалъ огромный сенъ-бернаръ. Татьяна Казиміровна пугливо отшатнулась.

— Ничего! Не тронетъ! Днемъ онъ теленокъ, ну, а ночью никого не пуститъ! И щепной собаки не нужно.

На галлерей фасада, со ступенями въ садикъ, выходила стеклянная дверь гостиной. Она стояла въ полутемнотѣ отъ навѣса, забраннаго сверху рѣшетчатымъ переборомъ!

— Отдохните... на диванчикѣ... Собаки не бойтесь... Кличка ему „Бой“. Я мигомъ. И какъ это жаль, что вы не пустили мнѣ депешки! Ахъ, милая барышня!

Онъ скоро-скоро повернулъ за уголъ галлерей и оставилъ ее въ дверяхъ гостиной.

Ей вдругъ захотѣлось крикнуть: „Позвольте! Я сама!“

Сейчасъ бы распрощалась она съ этимъ страннымъ домомъ, но у ней не хватило рѣшимости.

## VI.

Ночь давно спустилась, звѣздная и благоуханная.

Въ комнаткѣ мезонина, куда ее помѣстили, Татьяна Казиміровна долго сидѣла у низкаго и широкаго окна, не зажигала свѣчи и не раздѣвалась.

Она привыкла, передъ тѣмъ какъ идти ко сну, перебирать все пережитое въ теченіе дня.

Этотъ день она прожила совсѣмъ не такъ, какъ долгій рядъ дней, недѣль и мѣсяцевъ, съ тѣхъ поръ, какъ встала на свои ноги, начала еще въ гимназіи прокармливать себя.



Она не могла хорошенько распознаться въ своей новой роли и въ обстановкѣ того дома, куда попала.

Ее выписали, чтобы быть учительницей дѣвочки-подростка. Но ни этой дѣвочки, ни ея матери она не нашла.

Господинъ Гарбузъ, смахивающій не то на торговца кахетинскимъ, не то на сыщика, только усилилъ къ концу дня ея сомнѣнія и жуткое чувство, отъ котораго она не могла отрѣшиться и теперь, когда осталась одна въ своей комнатѣ.

Зачѣмъ она, какъ наивная и глупая дѣвочка, позволила ему отпираться, съ ея карточкой, за ея вещами!

До сихъ поръ она считала себя чрезвычайно осмотрительной и дѣльной. Но это былъ нелѣпый промахъ! Слѣдовало сразу, какъ только она увидала, что никакого семейства нѣтъ, сказать ему:

— Извините, я въѣхать къ вамъ не могу, пока ваше семейство не пріѣдетъ.

У ней достало бы смѣлости. Сколько разъ, въ щекотливыхъ положеніяхъ, она выказывала всегда и присутствіе духа, и тактъ. Для такихъ случаевъ она пускала въ ходъ особый тонъ, твердый и внушительный.

Значить, былъ какой-нибудь другой мотивъ. Ей, должно-быть, показалось мелочнымъ и трусливымъ, чересчуръ отзывающимся „барышней“, — а это для нея самая высшая обида, — проявить такую осторожность. Вѣдь она выработала себѣ смѣлѣя, передовыя идеи.

Но при чемъ тутъ „идеи“? Самое простое чувство опрятности должно бы ее заставить сразу завять выжидательную позицію.

Первый глупый шагъ сдѣланъ и теперь уже нѣтъ повода уѣхать изъ этого дома. Развѣ окажется что-нибудь явно подозрительное или скандальное.

Онъ повторилъ ей раза два-три:

— Мои позанѣшались... у родныхъ. Но я ихъ потоплю... А вы пока, милая барышня, отдохните здѣсь.

Слова „милая барышня“ все больше коробятъ ее. Въ тонѣ Льва Игнатьевича есть что-то безцеремонное и слащавое, чего она не можетъ переносить и должна будетъ дать ему это почувствовать.

Когда онъ ушелъ и оставилъ ее одну въ гостиной, она осмотрѣлась и нашла обѣ двери во внутреннія комнаты запертыми, что ей показалось страннымъ и даже обиднымъ.

Что это за „господинъ“, который отпираетъ гостѣй, болѣе того, наставницѣ собственной дочери, только одну комнату? Точно онъ боится, что она что-нибудь украдетъ и сбѣжитъ.

И она замѣтила, что Катерина помѣстилась на крылечкѣ флигелька, съ какой-то работой, но, то и дѣло, глядѣла въ сторону балкона.

Изъ гостиной и унести-то нечего было. Скучная, дачная меблировка въ чехлахъ, на окнахъ ни одного горшка съ цвѣтами, и какъ рѣзкій контрастъ: дорогіе бронзовые часы, подъ стекломъ, массивные, на мраморной тумбѣ.

И потомъ, по возвращеніи Льва Игнатьевича, каждая подробность обстановки, тонъ его, разговоръ не переставали смущать ее, вызывать въ ней недовольство, смѣшанное съ досадой, на свое, слишкомъ быстрое рѣшеніе взять мѣсто въ отъѣздѣ.

Когда привезли ея багажъ, надо было отворить двери и въ другія комнаты. Заднее крыльцо стояло заколоченнымъ, и вещи понесли наверхъ, въ мезонинъ, черезъ террасу и гостиную. Видъ комнаты, гдѣ жилъ хозяинъ,—она приходилась рядомъ съ гостиной,—привелъ ее также въ недоумѣніе. Въ ней нагромождено было множество всякихъ вещей: бронзы, картинъ, шкатулокъ, цѣнной посуды въ шкапчикахъ.

Кровать, желѣзная и довольно неопрятная, помѣщалась въ проходной темной каморкѣ.

И другого хода не было, въ коридорчикъ и на площадку, какъ черезъ эти двѣ комнаты, что ей совсѣмъ уже не понравилось.

— Развѣ на заднее крыльцо нѣтъ хода?—спросила она его позднѣе, когда сошла внизъ.

— Для безопасности заколотилъ я его... для безопасности. Вотъ мои пріѣдутъ... тогда и прислуги больше будетъ. А если вамъ неудобно, есть вѣдь дверка на террасу, изъ коридора. Можно пройти террасой.

— А остальные комнаты? — спросила она уже настойчивѣе.

— Тамъ еще три... Я ихъ, до пріѣзда моихъ, не открываю.

Обиліе цѣнныхъ предметовъ въ его кабинетѣ—тамъ она замѣтила и письменный столъ—отзывалось чѣмъ-то ростовщическимъ.

Должно-быть, ея удивленный взглядъ, когда они проходили черезъ эту комнату, не укрылся отъ него.

За обѣдомъ, сытымъ, но грубо приготовленнымъ, онъ заговорилъ какъ разъ объ этомъ.

— У меня тутъ,—они обѣдали въ гостиной,—въ кабинетъ... складочный магазинъ... знаете. На зиму мы собираемся переѣхать въ другой городъ,—онъ называлъ извѣстный городъ одной изъ западныхъ губерній,—и надо было все перевезти временно сюда. Вотъ и нельзя оставлять заднее-то крыльцо безъ запора. Хе-хе!

Отъ его смѣха ее поводило. И никакъ она не могла себя настроить такъ, чтобы начать разговоръ о предстоящихъ ей обязанностяхъ, разспросить объ его дочери, какого она характера, съ кѣмъ занималась, что родители хотятъ изъ нея сдѣлать: свѣтскую или болѣе серьезную трудовую дѣвушку.

А онъ, за тѣмъ же обѣдомъ, не мало узналъ отъ нея про ея прошедшее. Ей непріятно было отвѣчать на его довольно наивные, хотя и слащавые вопросы. Но она не могла же отдѣлываться односложными: „да“, „нѣтъ“.

И опять, сидя теперь у открытаго окна и всматриваясь въ темноту июньской ночи, она обвиняла себя: зачѣмъ допускала эти разспросы.

Все это тщеславіе, желаніе выставить себя образцовой личностью, ученой дѣвицей, которая не только себя самою поддерживала на курсахъ, но и стала воспитывать, на свои заработки, брата.

— Такъ, такъ, — повторялъ господинъ Гарбузъ и его синіе бѣлки непріятно мелькали передъ ея глазами,—вонъ вы какая. Ахъ, милал барышня! Съ вашей-то... такой наружностью. И сами себя въ жертву приносили.

И зрачки его глазъ искрились, и толстыя губы какъ-то особенно прищмокивали.

Подъ конецъ ей стало просто тошно отъ этихъ выспрашиваній, и она, вставая изъ-за стола, сказала уже со-всѣмъ не мягко:

— Обо мнѣ довольно, Левъ Игнатьевичъ, я бы желала знать что-нибудь про семейство ваше и мою будущую ученицу.

— Это успѣется! Это успѣется! Хе-хе! Поотдохните. Погуляйте. Воздухъ у насъ чудесный и прогулки кругомъ. И къ вашимъ услугамъ... Я вѣдь ничѣмъ здѣсь не занимаюсь. Хотѣлъ-было пить воды; да это все одна глу-

постъ... Только докторамъ за совѣты зелененькія бумажки совать.

Такъ она ничего и не узнала, за цѣлый день, кто въ сущности такой этотъ „господинъ Гарбузъ“, какой расы и происхожденія, отставной чиновникъ, помѣщикъ или купецъ, гдѣ учился, и учился ли гдѣ-нибудь.

Въ разговорѣ онъ ни на чемъ не выказалъ безграмотства, говорилъ тономъ бывалаго провинціала, но о себѣ очень уклончиво, почти исключительно о ней. Развитого университетски она въ немъ не чула, но не могла утверждать, что онъ разночинецъ, даже и по образованію.

Въ послѣдніе годы сложился въ Петербургѣ, и вѣроятно и повсюду, средній пошловатый тонъ, покрывающій всякое прошедшее. И студентовъ, учителей, даже профессоровъ знавала она съ очень не блестящей манерой говорить, часто совсѣмъ простоватыхъ. Но въ немъ не было никакой простоватости. Она не любила вульгарныхъ выраженій, а не могла не назвать его мысленно „жохомъ“.

На музыку, къ вокзалу, онъ не предложилъ ей идти, говоря, что играютъ дрянно, что она еще успеетъ тамъ побывать.

— Лучше пойдемте въ дубовую рощу, по той сторонѣ рѣчки! Чудесное мѣсто!

Тамъ они гуляли и сидѣли на травѣ, почти до сумерекъ.

Опять онъ довелъ ее до разсказовъ про себя и незамѣтно придалъ бесѣдѣ отгѣнокъ отечески интимный, повелъ рѣчь о томъ, какъ трудно такой „красавицѣ“, какъ она, „соблюсти себя“, въ бѣдности.

Это заставило ее рѣзко прекратить разговоръ, подѣлать предлогомъ, что темнѣетъ и пора домой.

Все давно смолкло. Татьяна Казиміровна прислушивалась... Подъ ною, въ спальнѣ хозяина, какъ будто кто ходилъ.

Раза два проворчала собака на террасѣ.

Надо было ложиться...

„Утро вечера мудренѣе!“—энергически подумала дѣвушка, зажгла свѣчу, заперлась на крючокъ и стала раздѣваться.

Откуда-то, съ луговины, доносилось фырканье лошадей, выпущенныхъ въ ночное.

VII.

Недѣля подвигалась къ концу. Четвертый день живетъ Татьяна Казиміровна на дачѣ господина Гарбуза.

Ей и тоскливо, и неловко. Время проходитъ глупо. Она распаковала свои книги, но не читается что-то. Утромъ проснется она рано и не знаетъ, что ей дѣлать.

Идти гулять? Внизу еще тишина. Хозяинъ спитъ. Спускаться по лѣсенкѣ и проходить по галлерей мимо его комнатъ ей не хочется, а заднее крыльцо такъ и осталось заколоченнымъ. Она лежитъ на кровати въ тревожномъ настроеніи.

Цѣлый день должна она проводить въ разговорахъ и прогулкахъ со своимъ „принципаломъ“, какъ она его, про себя, называетъ. Раза два ходила она одна на музыку. Ей было бы еще непріятнѣе въ публикѣ съ этимъ человѣкомъ... Публика показалась ей такой же невзрачной, какъ и всѣ воды; познакомиться съ кѣмъ-нибудь не являлось никакого желанія.

Ее замѣтили. Какой-то блондинъ въ бѣломъ картузѣ, вѣроятно, изъ мѣстныхъ обывателей, провожалъ ее до самой рѣчки, шагахъ въ двадцати. Она присѣла на скамейку и такъ строго на него взглянула, что онъ дольше не сталъ ее преслѣдовать.

Видѣла она впередъ, что лѣто пройдетъ у ней совсѣмъ не такъ, какъ ей хотѣлось бы... Кто могла быть супруга господина Гарбуза? А вдругъ какая-нибудь ревнивая кушумка, грубая и вздорная? И жизнь въ этомъ мѣстечкѣ потечетъ однообразная и пошловатая, хуже, чѣмъ въ деревнѣ. Тамъ она, по крайней мѣрѣ, видѣла бы крестьянъ.

Она, въ Петербургѣ, мечтала о настоящей великорусской деревнѣ, хотѣла провѣрить свои чисто теоретическіе взгляды на мужика, узнать его бытъ, отрѣшиться отъ чего-то напускного, что она сама подмѣчала въ своихъ идеяхъ и въ своемъ языкѣ, когда рѣчь заходила о народѣ, а заходила она очень часто.

Здѣсь же ничего этого нѣтъ. Окрестные крестьяне, изъ-за большой рѣки, приходятъ сюда; но въ деревни ихъ она не попадетъ. Мимо же ихъ дачи и дороги-то нѣтъ. Это отчужденіе давило и смущало ее.

Два вечера прошло въ чтеніи вслухъ газетъ. Господинъ Гарбузъ самъ предложилъ почитать ихъ, жалѣя на сла-

бость глазъ, чему она съ трудомъ повѣрила, но рада была хоть чѣмъ-нибудь наполнить время.

Это житье съ-глазу-на-глазъ съ нестарымъ еще мужчиной, неизвѣстно въ какомъ качествѣ, поднимало въ ней съ утра неиспытанное никогда нудное чувство. Съ ночи, засыпая, она говорила себѣ:

„Да что жъ я волнуюсь?... Дѣло самое простое... Ну, прїѣдетъ его семейство на будущей недѣлѣ. А если это обманъ, пуфъ,—она минутами начинала это допускать,—ну, я положу предѣломъ недѣлю—и тогда уѣду“...

Но уѣхать такъ, ни съ того, ни съ сего, было также не очень-то исполнимо. Онъ могъ и не пустить ее. Она получила отъ него и деньги на проѣздъ. Еще вчера, послѣ ужина, онъ взялъ ее за руку и сладко, отеческимъ тономъ, сказалъ:

— Если вамъ угодно впередъ, за мѣсяцъ... Можетъ, кому послать... брату или бѣдной подругѣ?... Я къ вашимъ услугамъ.

И при этомъ началъ восхищаться ея „ангельской“ душой, приводить факты изъ ея жизни, выпрошенные у нея же. Эти похвалы были ей довольно противны, и она, лишній разъ, выбрала себя за то, что пускалась въ разговоры о своемъ прошломъ, точно напрашивалась на льстивыя одобренія пошловатаго женолюбца.

А женолюбецъ она начала въ немъ чутъ со второго же дня. И то, что онъ самъ предложилъ ей мѣсячное жалованье впередъ, показалось ей подозрительнымъ. Ужъ понятно, не изъ сердечной доброты сдѣлалъ онъ это. Въ немъ она распознавала характерныя черты, если не скряги, то хищника: напряженность линій лица, складка чувственного рта, звуки, какіе прорывались у него, когда онъ говорилъ про деньги. Онъ употреблялъ уменьшительное „рубликъ“ и цифру „сто рубликовъ“ выговаривалъ съ какой-то своеобразной нѣжностью. И вся обстановка дачи указывала на сконидомство; такъ скудно не были бы отдѣланы комнаты помѣщика или вообще человѣка съ достаткомъ. Прислуга его сводилась къ одной Катеринѣ, туповатой, забитой бабѣ, исправлявшей всѣ должности: ни мальчика, ни водовоза. Провизию покупалъ онъ самъ и ужасно торговался съ бабами изъ-за каждой полушки.

Наконецъ, эта комната, переполненная всякимъ цѣннымъ добромъ, она все больше и больше убѣждала ее,

что хозяинъ—ростовщикъ или что-нибудь въ родѣ того.

И съ такимъ-то кореннымъ свойствомъ своей натуры—онъ дѣлался чрезвычайно сладкимъ подѣ вечеръ; въ передышкахъ между чтеніемъ передовой статьи, телеграммъ и фельетона, онъ подсаживался къ ней, бралъ ее за руку—она каждый разъ отдергивала—и начиналъ восторгаться ея душевными качествами, а подѣ конецъ и наружностью, и пускать фразы, въ родѣ такихъ:

— Скажите мнѣ, милая барышня, неужели вы такъ и хотите всю свою жизнь положить на обученіе дѣтей? Вѣдь это просто—преступленіе. Ужъ лучше бы вамъ подыскать что-нибудь... знаете, поавантюжнѣе. По-моему, право, ужъ лучше чтицей быть... у стѣящаго человѣка.

И сегодня вечеромъ онъ повелъ рѣчь о томъ же.

Она сначала промолчала, а потомъ сказала съ удареніемъ:

— Мою профессію я люблю...

Однако, онъ не унялся и, когда газетный нумеръ былъ весь прочитанъ и она встала, говоря, что ужинать не будетъ, господинъ Гарбузъ удержалъ ее за руку и почти силой посадилъ на стулъ.

Разговоръ происходилъ на террасѣ, при лампѣ.

— Ахъ, красавица моя, — заговорилъ онъ вполголоса, глаза его искрились и онъ поводилъ синими бѣлками, особенно ей непріятными, — вы, я вижу, очень ужъ въ большой суровости жили. Книжки, да книжки, лекціи, умные разговоры... Съ такой-то наружностью! А настоящаго-то смака жизни и не знали. Все, вѣдь, это ужъ, позвольте вамъ сказать, по-старому, все это выспренность. Теперь молодежь за умъ взялась, ни отъ чего не открепчивается, хе-хе!.. Дѣло—дѣломъ, а утѣха—утѣхой. Такъ-то! И барышни, которыя стриженныя ходили, въ мужскихъ шапкахъ и чуть не сапогахъ, — теперь какъ себя обряжаютъ! Любо-дорого смотрѣть!

Ей захотѣлось прервать его возгласомъ:

„Съ какой стати вы мнѣ все это говорите?“

Но она предпочла сдѣлать видъ, что не понимаетъ его и сидѣла съ неопредѣленной, блуждающей усмѣшкой:

— Вы, вѣдь, тоже, я замѣчаю, не имѣете этой фанаберіи—насчетъ стрижки волосъ и прочаго. Только... очень ужъ вы держитесь, какъ бы это сказать, скромницей большой... Хе-хе!.. Мало ужъ очень обращаете вниманія на свою собственную особу...

Въ словахъ его не было ничего особенно дерзкаго, но тонъ и игра лица договаривали остальное.

Татьяна Казиміровна встала и отдернула руку, которую онъ удерживалъ въ своихъ обѣихъ, влажныхъ и обросшихъ рыжеватыми волосами.

— Куда же такъ скоро?

— Поздно... пора спать.

— А почь-то такая! Вся въ звѣздахъ. Мѣсяцъ скоро взойдетъ. Погулять бы теперь, къ рѣчкѣ спуститься.

— Мнѣ не хочется,—сухо вымолвила она.

— Вы, стало-быть, не любите, такъ сказать, поэзію?

Онъ выговаривалъ „паезію“—и слово выходило у него совсѣмъ по-лакейски.

— Люблю.

— А не хотите пользоваться... Кто это сказалъ... Лови моментъ? Какой писатель?

— Я не знаю,—отвѣтила Татьяна Казиміровна съ нахмуренными бровями и повернула къ углу террасы, мимо котораго она возвращалась къ себѣ, въ мезонинъ.

— Богъ съ вами!.. Вонъ вы какая строгая... Или, быть-можетъ, утомились, раскисли... отъ воздуха?.. Хе-хе!

Онъ пошелъ-было проводить ее, но она обернулась и сказала все такъ же сухо и значительно:

— Покойной ночи! Я знаю дорогу.

— А посвѣтить вамъ?.. Лѣсенка крутая.

— Не надо.

Быстрыми шагами дошла она до дверки.

### VIII.

Луна выплывала медленно изъ-за деревьевъ. Ночь, все такая же теплая и слегка влажная, входила въ комнату мезонина, гдѣ Татьяна Казиміровна опять сидѣла у окна.

У ней было настолько свѣтло, что она, безъ свѣчи, перемѣнила туалетъ, надѣла блузу изъ легкаго кретона. Въ платьѣ ей сдѣлалось жарко въ этой душной комнаткѣ...

Она сидѣла, облокотясь обѣими руками о подоконникъ, выставляла голову въ окно, ища прохлады, и усиленно думала.

Дольше завтрашняго утра она не останется тутъ, въ этомъ подозрительномъ домѣ, одна съ мужчиной, отъ котораго вѣетъ самыми хищными инстинктами. Все ея дѣ-



вичье существо было насторожѣ. Нервы напряжены; боязнь, смѣшанная съ брезгливымъ чувствомъ къ мужчинамъ вообще, къ его плотоядности, наполняла ее. Она вся испытывала то состояніе, когда молодая, чистая въ помыслахъ и здоровая женщина, не знавшая ни знойной страсти, ни спокойныхъ чувственныхъ отношеній, сознаетъ себя предметомъ плохо скрываемаго влеченія.

И прежде, когда ей случалось вызывать взрывы страсти, она или возмущалась, или уходила въ себя, замыкалась, и всегда это вело за собою жуткое, почти болѣзненное ощущеніе, высшій предѣлъ физической гадливости.

Сегодня вечеромъ, тамъ, внизу, когда господинъ Гарбузь говорилъ свои пошлости и бралъ ее за руку, это ощущеніе было такъ сильно, что она съ большимъ трудомъ сдерживала себя и досидѣла только до одиннадцатаго часа.

Для нея во всякомъ мужчинѣ, будь онъ даже красивецъ и умница, было что-то животное-низменное, какъ только она дѣлалась для него предметомъ желаній. Она до сихъ поръ ни разу не спросила себя серьезно: „неужели такъ всегда будетъ?“ потому что никто еще не нашелъ доступа къ ея сердцу.

Эта „безсердечность“, многіе опредѣляли такъ ея натуру, не смущала ее, хотя она смутно и догадывалась, что, быть-можетъ, въ основѣ лежитъ ея гордость, тайное тщеславіе, сознаніе своей красоты, о которой она никогда особенно не думала, и своихъ нравственныхъ свойствъ.

Но она еще не жаждала встрѣчи съ „нимъ“, не любила разговоровъ о мужчинахъ и очень часто, когда жила съ кузиной, преслѣдовала ту за ея единственную заботу: вызывать къ себѣ въ мужчинахъ „интересъ“, по ея любимому выраженію.

„Какъ я допустила его до такихъ разговоровъ со мною?— гадливо спрашивала она себя, глядя въ прозрачную ночь.— Это просто постыдно!“

Завтра же она переѣдетъ въ гостиницу, и даже вовсе уѣдетъ. Деньги за проѣздъ она ему возвратитъ — у ней хватитъ. Не можетъ же онъ запереть ее!.. Да она и не доведетъ дѣла ни до какихъ исторій. Всегда она ужѣла выходить изъ всякихъ щекотливыхъ положеній. Есть же здѣсь, въ мѣстечкѣ, какое-нибудь начальство. Она отправится и заявить.

Щеки ея блѣднѣли, чуть-чуть освѣженные воздухомъ,

отъ быстрой сѣбѣи мыслей. Она такъ была поглощена работой головы, что до слуха ея не дошелъ сразу легкій стукъ въ дверь.

Секунды черезъ три-четыре опять постучали.

Она встрепенулась и встала. Въ груди у ней вдругъ похолодѣло.

Стукъ она, во второй разъ, разслышала отчетливо.

Кто могъ къ ней стучаться, кромѣ самого хозяина? Катерина спала во флигелькѣ, она это знала.

Въ то самое мгновеніе, какъ она зажгла свѣчу, стоявшую у кровати, на табуретѣ, дверь отворили.

Крючокъ не былъ еще спущенъ. Она это дѣлала, когда совсѣмъ ложилась.

— Вы?—спросила она измѣнившимся голосомъ, и сейчасъ же подалась назадъ, за спинку кресла.

Онъ стоялъ въ дверяхъ, безъ свѣчи и въ халатѣ, въ сѣромъ халатѣ, съ красными отворотами.

Кровь бросилась ей въ лицо. Она хотѣла что-то крикнуть, и у ней ничего не вышло... Страхъ сразу овладѣлъ ею, такъ что колѣни подгибались и дыханіе перехватывало.

— Извините... Татьяна Казиміровна... Я слышалъ снизу, что вы у окна. Знаете... подумалъ... вы какъ будто ушли недовольная мною... Хотѣлъ пожелать вамъ еще разъ покойной ночи... и просить... не сердиться на меня... если и что-нибудь не такъ сказалъ.

И онъ приближался къ ней. Голосъ былъ еще слаще, чѣмъ обыкновеннаго, но въ глазахъ мелькалъ особый огонекъ, съ упорствомъ и напряженіемъ, которое она схватила всѣмъ существомъ своимъ.

— Вы меня не чурайтесь... красавица моя. Я вѣдь готовъ для васъ на какую угодно...

Его руки уже коснулись ея плечъ.

Дикій крикъ вырвался въ окно. Она сама не узнала своего голоса. Изъ глазъ у ней посыпались искры.

Никогда еще не испытанный ужасъ наполнилъ ее мгновенно, съ прикосновеніемъ рукъ этого мужчины. Она метнулась отъ него въ уголъ и тамъ, съ дрожью во всемъ тѣлѣ, еще разъ крикнула:

— Что вы? Что вы?... Татьяна Казиміровна!.. Зачѣмъ такъ кричать? Въ умѣ ли вы?

— Пустите меня! Пустите!

Онъ не пустилъ ее къ двери, схватилъ одной рукой за руки и, тяжело дыша, выговорилъ:

— Отсюда вы не выйдете, барышня... Это ужъ будьте благонадежны... Кричите, не кричите—никто не придетъ... И старуху я отпустилъ... до завтра.

Выговаривая это, онъ улыбался, и въ голосѣ не слышалось ничего сладкаго.

Припадокъ ужаса уже миновалъ. Она навалилась на него, сильная и трепетная, и хотѣла оттащить отъ двери... Но его руки держали ее крѣпко и губы искали ея лица.

Она вырвалась молча, пробѣжала мимо кровати, задула свѣчу рѣзкимъ движеніемъ воздуха и всочила на подоконникъ.

— Уйдите! Или я брошусь!..

— Хе-хе!.. Не броситесь, барышня!.. Шалите!..

Ни одной секунды колебанія не задержало ее. Идея опасности, смерти даже не мелькнула передъ ней. Все было бы для нея лучше, чѣмъ то, что могъ съ ней сдѣлать этотъ человѣкъ.

Она ринулась внизъ, не разбирая, куда она упадетъ и съ какой высоты.

Мезонинъ шелъ надъ угломъ террасы. Подъ окномъ приходилось крылечко и навѣса не было... Но въ паденіи своемъ дѣвушка зацѣпилась платьемъ за косякъ, стремительность паденія была задержана, и она ударилась о полъ крылечка обоими локтями, не почувствовала ничего, кромѣ сотрясенія, и бросилась черезъ террасу въ лѣстницѣ въ садъ.

Раздался злобный лай. Бой кинулся за ней и, когда она была уже внизу, надъ обрывомъ, у забора, укусилъ ее за ногу.

Но и этого она не почувствовала въ натискѣ своего бѣгства. Довольно высокій частоколъ перелѣзла она,—какъ—этого она не могла потомъ припомнить,—спустилась по крутой тропинкѣ къ мостику, перебѣжала его и упала безъ памяти у того самаго тѣнистаго орѣшника, гдѣ въ день пріѣзда въ мѣстечко любовалась этимъ уголкемъ.

Очнувшись, она мгновенно все вспомнила и хотѣла бѣжать куда-нибудь дальше отъ проклятаго дома, и тутъ только жженіе около щиколки правой ноги и въ обоихъ локтяхъ дало себя знать.

Руки были въ крови, просочившейся сквозь рукава капота, и нога укушена въ кровь. Она съ усиліемъ встала и все-таки бросилась дальше, по берегу рѣчки, къ другому большому мосту, откуда спускъ шелъ въ слѣдующему холму.

Она успѣла уже сообразить, что ближайшее жильѣ—та красивенькая дача съ башней, что видѣлась слѣва. А до вокзала было далеко, съ полверсты.

Боль въ ногѣ дѣлалась все назойливѣе. Бѣжать она больше не могла. Поднимаясь по кочковатой дорогѣ въ темнотѣ отъ обваловъ, не допускавшихъ луннаго свѣта, она споткнулась и долго не могла встать. Кровь сочилась изъ обоихъ локтей и изъ ноги и остановить ее нечѣмъ было. Но она сознавала, что руки и ноги цѣлы, нѣтъ даже вывиха.

Почти ползкомъ добралась она до верху и передъ ней, въ двухъ окнахъ красивой дачи, замелькала огонь. Тамъ еще не спали. Да и часъ былъ еще не очень поздній—въ началѣ перваго.

Кто тамъ жилъ, она не знала... Но примутъ ее или не примутъ, она добредетъ до крыльца и ляжетъ, больше не хватить силъ.

До дачи было гораздо дальше, чѣмъ ей казалось издали, когда она ходила гулять или смотрѣла изъ окна своей комнатки.

Боль въ ногѣ все прибывала. Взобравшись на луговину, Татьяна Казиміровна почти упала на землю, измученная тяжелымъ подъемомъ. Жажда начала томить ее, и въ вискахъ лихорадочно бились жилы... Коса распустилась, волосы падали на влажный лобъ.

Въ эти пять минутъ, отъ рѣчки до верху, она, послѣ ужаса, охватившаго ее тамъ, въ мезовинѣ, испытывала безпомощность, горечь и натискъ бѣды, настоящей, приравнивающей барышню, ученую дѣвицу, курсистку, кого угодно, ко всякой женщинѣ, къ крестьянской бабѣ, которую извергъ-свекоръ или озвѣрѣвшій отъ водки мужъ, избивъ до полусмерти, оставляетъ ночью гдѣ попало—въ лѣсу или среди безлюднаго пустыря.

Ея положеніе—все-таки лучше. Она ползетъ къ дому, гдѣ жили господа. Они должны же принять въ ней участіе. Въ этомъ она не могла сомнѣваться.

И голова ея уже работала. Она не боялась своихъ ушибовъ, кровью она не изойдетъ... И когда сцена въ

мезонинѣ промелькнула передъ нею, она глубоко обрадовалась. Вѣдь то было хуже всякихъ страданій, хуже смерти. Если бѣ она сдѣлалась жертвой того звѣря—она, все равно, покончила бы съ собою—такъ говорило все ея существо.

Голова продолжала работать. Кто же виноватъ во всемъ этомъ дикомъ происшествіи?—Она, она сама. Никто больше. Ни боль, ни разбитость тѣла и всѣхъ нервовъ не помѣшали ей, въ маленькую передышку, сидя на голой землѣ, придти къ такому выводу.

Но надо тащиться дальше. На правую, раненую, ногу еще больнѣе ступать; но она пересилила себя и дошла въ нѣсколько минутъ до воротъ.

Изъ-за нихъ поднялся лай цѣпной собаки; она различила звукъ цѣпи. Но это ее не остановило. Свѣтлая ночь позволяла разглядѣть калитку, цвѣтникъ и террасу. Дверь на террасу стояла полуотворенной... Свѣтъ шелъ изъ гостиной.

Туда она и пошла, все ускоряя шагъ, тяжело дыша, безъ всякаго чувства неловкости или стыда: не принять ее не могутъ, кто бы тамъ не жилъ.

Поднялась она, такъ же стремительно, на нѣсколько ступенекъ, на обширную, крытую террасу и прямо двинулась къ двери.

Только въ комнатахъ силы оставили ее, и она упала на кресло, около входа. Смутно выплывали передъ ней предметы: двѣ картины по стѣнамъ, піанино, лампа на столѣ, много мебели и три-четыре челоуѣческихъ фигуры.

При ея появленіи раздался крикъ дѣвочки-подростка:

— Мама! Кто это? Господи!

Потомъ всѣ вскочили съ мѣстъ и бросились къ ней. Она ослабѣвала, но не хотѣла падать въ обморокъ, внутренно боролась съ тѣмъ облакомъ, которое застилало передъ ней всѣхъ, и съ холодающей слабостью членовъ.

Женскій голосъ, старше и ниже, спрашивалъ ее:

— Откуда вы? Что съ вами?

И мужчины говорили что-то разомъ.

Потомъ она впала въ безсознательное состояніе, но помнила свою послѣднюю мысль. Она успѣла спросить себя:

„Да не въ это ли семейство она вѣхала, а попала къ тому злодѣю?“

Пришла она въ себя на постели, за ширмами, въ про-

сторной комнатѣ, гдѣ было сиѣжо и пахло уже какими-то лѣкарственными спиртомъ.

И первое лицо, ясно разсмотрѣнное ею, было лицо дамы, еще не старой, очень худой, съ глубокими впадинами глазъ, въ шелковомъ платьѣ. Волосы на вискахъ сѣдѣли. Она вспомнила тотчасъ, что видѣла ее мелькомъ, у вокзала, вмѣстѣ съ дѣвочкой лѣтъ четырнадцати, и онѣ ей понравились больше всей остальной публики.

— Какъ вы себя чувствуете?—спросила ее дама пѣвучимъ голосомъ.

На головѣ ея лежала примочка, руки были перевязаны, и нога также.

— За докторомъ послали. Не безпокойтесь. Не говорите ничего. Это вамъ вредно будетъ.

„Я у хорошихъ людей“,—подумала она и радостно вздохнула, но не заплакала.

## IX.

И когда, больше мѣсяца спустя, въ подгородной усадьбѣ того самаго семейства, куда она попала въ ужасную ночь бѣгства отъ господина Гарбуза, Татьяна Казиміровна спрашивала себя: „неужели все это было“ — ей не вѣрилось.

А все это несомнѣнно было, и разыгралось въ цѣлую исторію.

Братцевы, помѣщики, у кого она теперь живетъ, были такъ возмущены ея „исторіей“, что начали дѣло. Мужъ, Леонидъ Павловичъ, кинулся въ ближайшій губернский городъ къ прокурору. Жена, Марья Христіановна, стала ухаживать за нею, какъ за родною, пока она не оправилась отъ ушибовъ и нервнаго потрясенія. И дочь ихъ, Наташа, сразу прильнула къ ней, прибѣгала, по нѣскольку разъ на дню, и даже затрудняла ее своими разспросами.

— Душечка, Татьяна Казиміровна, расскажите мнѣ, какъ этотъ ужасный человѣкъ васъ оскорбилъ. И что онъ съ вами хотѣлъ сдѣлать?

Мать ее останавливала и часто высылала изъ комнаты. Оба—и мужъ, и жена—держали все въ секретѣ, щадя ея дѣвическое чувство.

Но дѣло началось.

Когда Братцевъ явился къ Гарбузу съ мѣстнымъ полицейскимъ чиновникомъ, тотъ принялъ ихъ очень дерзко

и не хотѣлъ выдавать вещей гувернантки, доказывая, что за ней пропали посланные имъ на дорогу деньги.

— Вотъ эти деньги!—сказали ему.

Но онъ не унялся и требовалъ неустойки, грозилъ самъ начать дѣло.

Тогда и пришлось обратиться къ прокурору.хлопоты велись такъ энергично, что судебному слѣдователю предписано было начать слѣдствіе. Вещи отобрали у Гарбуза.

Въ первые дни Татьяна Казиміровна испытывала сложное настроеніе: и негодовала на „злодѣя“, и боялась грязи, неизбежной съ разбирательствомъ по такому дѣлу. Она была и жертвой, и единственной свидѣтельницей. Она сама не подавала жалобы, но когда Братцевъ пришелъ къ ней, послѣ посѣщенія дачи Гарбуза, и вызвался сейчасъ же ѣхать въ губернскій городъ, она не стала удерживать его.

Тогда свое поведеніе она не считала только личнымъ дѣломъ... Подобнаго человѣка надо было обличить и удалить изъ общества. Что жъ дѣлать, что ей пришлось играть роль обличительницы! Себя она чувствовала выше предразсудковъ и фальшиваго стыда. Смутная боязнь скандала уступила мѣсто рѣшимости дѣйствовать „на пользу общую“. Иначе она сама будетъ не жертвой, а какой-то полусообщницей или сумасшедшей, или вздорной, нечестной дѣвчонкой, убѣжавшей изъ дому, куда пріѣхала по доброй волѣ и на извѣстныхъ условіяхъ.

Первая очная ставка съ Гарбузомъ,—его задержали въ домашнемъ арестѣ,—совсѣмъ подавила ее. Она и отъ него не ожидала такого циническаго нахальства.

Онъ, съ поворачиваніемъ бѣлкова, сталъ клясться жизнью своихъ „кровныхъ“, что никогда ничего не замышлялъ „противъ этой мажзели“ и даже у ней наверху не былъ ни разу, съ тѣхъ поръ, какъ она тамъ поселилась.

Эта наглая ложь такъ взорвала ее, что она стремительно начала рассказывать всѣ подробности ночной сцены. Ея тонъ могъ бы подѣйствовать и на самаго скептическаго судебного слѣдователя: а этотъ сразу сталъ на ея сторону.

— Чѣмъ же вы объясните то, — спросилъ онъ Гарбуза,—что порядочная особа, ночью, должна была перелѣзть черезъ заборъ, была укушена вашей собакой и, чуть живая, пріѣхала въ чужой домъ, къ постороннимъ людямъ?

— Истеричка, больше ничего-съ!—отвѣтилъ Гарбузь со скверной усмѣшкой.—Ей представилось... знаете, такіа всегда воображаютъ, что всѣ въ нихъ влюблены... и покушенія производятъ.

Была минута, когда она чуть не дала ему пощечину.

— Да вы извольте объяснить доподлинно,—сказалъ онъ ей, и въ глазахъ его она прочла звѣрскую, чисто-разбойничью злобу,—что же собственно я съ вами такое неподобное производилъ, ежели предположить, что я къ вамъ попалъ наверхъ, въ непоказанный часъ? Ну, примѣрно, хоть поцѣловалъ что ли?

Вотъ тутъ она чуть-было не кинулась къ нему, и сама ужаснулась этого порыва.

Но съ какою горечью и гадливостью должна она была еще разъ повторить все, что уже рассказывала и у себя, Братцевымъ, и слѣдователю, и въ началѣ очной ставки.

— Только-то?—возразилъ Гарбузь.—Помилуйте. Да все это выѣденнаго яйца не стоитъ. Опять же мамзель эта не малолѣтокъ какой, а по паспорту ей двадцать третій годокъ пошелъ. Достаточно узнала жизнь.

И тутъ она впервые замѣтила въ глазахъ слѣдователя выраженіе досады на то, что прямыхъ уликъ никакихъ нѣтъ, и „злодѣй“ можетъ отвертѣться.

Въ запасѣ были, однако, косвенныя улики, и не мало. Быстро веденное дознаніе,—начальникъ губерніи принялъ въ ней участие,—выяснило, что господинъ Гарбузь вдовъ, имѣетъ взрослого сына, но ни жены, ни дочери у него нѣтъ, владѣетъ домомъ въ одномъ изъ ближайшихъ великорусскихъ губернскихъ городовъ, считался тамъ ростовщикомъ и уже имѣлъ исторію, въ родѣ этой, съ выпиской, по газетамъ, конторщицы въ магазинъ, котораго у него не было.

Припертый къ стѣнѣ слѣдователемъ, онъ съ той же злобностью во взглядѣ отвѣтилъ:

— Въ губерніанткѣ къ дочери госпожу Круковскую я не занималъ. Этого доказать нельзя.

Она такъ уже была удручена его наглостью, что даже не издала никакого возгласа.

Но за нее говорилъ слѣдователь.

— Вы слишкомъ неосторожны, —сказалъ онъ ему,—ваше письмо приобщено къ дѣлу, то, гдѣ вы соглашаетесь на условія госпожи Круковской и извѣщаете о высылкѣ денегъ на проѣздъ.



— Плохо вы изволили читать это письмо, — возразилъ онъ, — въ немъ ни одного слова нѣтъ о гувернанствѣ... А когда мамзель прѣхала, я ей предложилъ быть у себя чтицей, и моя прислуга, хоть подъ присягой, покажетъ, что она и утромъ, и вечеромъ читала мнѣ газеты.

Схватились за его письма къ ней. Ихъ было счетовъ три, но ни въ одномъ не значилось словъ „гувернантка“ или „наставница“, и согласіе на ея условія стояло въ общихъ выраженіяхъ.

— Но вѣдь въ объявленіяхъ госпожи Круковской, — возражалъ слѣдователь, — прямо говорится о мѣстѣ наставницы, а не чтицы?

— Позвольте мнѣ текстъ объявленій, — потребовалъ подсудимый, точно зная, что номеровъ газеты, гдѣ они печатались, она не сохранила.

Надо было ихъ подыскать, что задержало теченіе слѣдствія.

Въ этотъ антрактъ слѣдователь вызывалъ ее раза два и самъ старался о томъ, чтобы обставить улики чѣмъ-нибудь болѣе вѣскимъ; выражалъ ей свое полное сочувствіе и довѣріе, но не скрывалъ, что „фактическихъ данныхъ“ мало, чтобы привлечь Гарбуза къ уголовной отвѣтственности по такому преступленію, которое грозило ему „каторжными работами“.

Когда она услышала эти слова „каторжныя работы“, Татьяна Казиміровна пришла въ новое душевное настроеніе. Половина ея негодованія на „злодѣя“ сразу упала. Вѣдь онъ только покушался сдѣлать что-то гнусное... Ей даже стало приходить на мысль: полно, не испугалась ли она безъ настоящей фактической причины? Но ей опять совершенно отчетливо представилась вся сцена въ мезонинѣ. Она чувствовала на своей щекѣ его горячее дыханіе. Онъ боролся съ ней. Онъ крикнулъ ей съ гадкимъ хихиканьемъ:

— Шалите!

Это „шалите“ осталось въ ея слухѣ, точно онъ его выговариваетъ опять передъ нею. И слова его насчетъ безполезности криковъ, такъ какъ никто не придетъ ей на помощь, а Катерину онъ отпустилъ на всю ночь...

Но это не улики. Во второе посѣщеніе слѣдователя она должна была выслушать и еще нѣчто. Съ разными деликатными оговорками онъ далъ ей понять, что такой человѣкъ, какъ Гарбузъ, потребуеъ такихъ отрицатель-

ныхъ доказательствъ своей невинности, которыя для нея, какъ для дѣвушки, будутъ крайне тягостными.

Она, въ первую минуту, даже не поняла его намековъ. Но когда все сообразила, то на нее нашелъ ужасъ, сродни тому, какой вырвалъ у нея дикій крикъ въ началѣ ночной сцены.

А косвенныя улики, тѣмъ временемъ, не давали добрыхъ результатовъ. Номеръ газеты съ ея объявленіемъ былъ предъявленъ Гарбузу, но онъ и на это возразилъ, что госпожа Круковская могла предлагать себя въ гувернантки, а потомъ согласиться на роль чтицы при одинокомъ, пожилomъ человѣкѣ. Онъ напиралъ на то, что ему сорокъ шестой годъ.

Ея душевное состояніе становилось крайне тревожнымъ, и она рѣшила сбросить его съ себя. До разбирательства на судѣ она уже не хотѣла, ни подъ какимъ видомъ, допускать, и сама обратилась съ этимъ къ прокурору. Да врядъ ли бы и можно было дать ходъ обвинительному акту на основаніи такихъ бѣдныхъ фактическихъ данныхъ.

До дѣла она не допустила, но Гарбузъ былъ высланъ куда-то въ дальнія мѣста, на жительство, съ воспрещеніемъ вѣзда въ обѣ столицы.

Она узнала объ этомъ безъ всякой радости. Напротивъ, въ ней зашевелилось чувство досады и даже стыда. Изъ-за нея человѣкъ лишенъ на неопредѣленное время свободы. Онъ—гадкая, отвратительная личность, она въ этомъ не сомнѣвается, но ей все-таки было жутко отъ сознанія, что все это случилось изъ-за нея.

Братцевы предложили ей поѣхать съ ними въ подгородную усадьбу, въ сосѣднюю губернію, и заняться ихъ дочерью, хоть до осени, а если ей понравится у нихъ, то и довести Наташу до университетскаго диплома; въ гимназію они не хотѣли ее отдавать. Она сейчасъ же согласилась. И черезъ шесть недѣль послѣ „ужасной ночи“, то, что было, казалось ей иногда кошмаромъ, а не пережитымъ итогомъ своего гувернантства.

## Х.

Утро въ усадьбѣ „Поддубное“ начинается у Татьяны Казиміровны довольно рано. Стоять первые дни сентября, ясные, съ легкими заморозками по ночамъ, теплые, до шестнадцати градусовъ въ полдень.

Усадьба похожа больше на дачу, всего три версты от города, подъ дубовымъ лѣсомъ, оттуда и прозвище, рядомъ хуторъ съ большимъ хозяйствомъ. Въ городъ ѣзды минутъ двадцать, проѣхать лощиной, а тамъ тянутся кирпичные сараи, каменная ограда женскаго монастыря, и пойдутъ выселки, новыя улицы.

Мѣсто красивое, высокое, виденъ нагорный берегъ судоходной рѣки; на склонахъ ея и стоитъ городъ, большой и старинный. Но они живутъ совсѣмъ тихо, въ городъ ѣздить мало, и гости оттуда бываютъ рѣдко.

Тамъ, на водахъ, ее помѣстили наверху, въ той башнѣ, что виднѣлась издали, когда она жила у Гарбуза,—какъ только прошелъ первый переполохъ,—и она, въ первыя двѣ недѣли, еще поглощенная судебнымъ слѣдствіемъ, не могла хорошенько разглядѣть своихъ новыхъ хозяевъ. Уроки съ дочерью начались еще тамъ, но больше въ видѣ общихъ бесѣдъ. Дѣвочка пользовалась каникулами. Настоящее ученіе отлагалось до переѣзда въ имѣніе, до сентября.

Первое впечатлѣніе Татьяны Казиміровны держалось еще, когда она переѣхала съ ними въ усадьбу Поддубное.

Да, она попала къ „хорошимъ людямъ“. Трудовая жизнь уже сталкивала ее съ разными семействами, и она могла накопить въ себѣ порядочную долю скептицизма, но по принципу она признавала въ людяхъ склонность къ добру, только засоренную всякимъ вздоромъ и малодушіемъ. А Братцевы согрѣли ее такимъ человѣчнымъ пріемомъ, какого она не ожидала даже отъ очень добрыхъ людей.

Всего трепетнѣе и горячѣе была, въ первые дни, Марія Христіановна. Она точно сама прошла чрезъ такое же испытаніе, говорила о „злодѣѣ“ съ глубокимъ омерзѣніемъ; безъ всякой задней мысли предложила Татьянѣ Казиміровнѣ самое широкое гостепріимство, первая спросила ее, по прошествіи двухъ недѣль, не хочетъ ли она остаться у нихъ, и ни за что не согласилась на то, чтобы эти двѣ недѣли житья у нихъ, и даже съ расходомъ на лѣченіе, были ей зачтены; она—ея гостья въ качествѣ наставницы.

Марья Христіановна, еще не очень старая дама, рожденная въ полунѣмецкомъ богатомъ семействѣ, отъ русской матери, нервная, съ постоянно приподнятымъ тономъ, порывистая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, довольно положительная и дѣльная въ домашней жизни и хозяйствѣ, съ основной

нотой методичности и упорнаго преслѣдованія того, что задало ей въ голову или сердце.

Наружность ея правится Татьянѣ Казиміровнѣ. У ней тонкія черты продолговатаго лица, глаза немного затуманенные, глядятъ довѣрчиво и мягко, легкая сѣдина придаетъ головѣ что-то простое, лишенное претензій. Одѣвается она въ темные цвѣта, безъ франтовства, но солидно, чрезвычайно опрятно, какъ бы на англійскій манеръ. Говоръ ея, совсѣмъ барскій, переданъ ей матерью, съ нервными вздрагиваніями въ груди нѣкоторыхъ низкочастыхъ нотъ, пѣвучій, иногда порывистый, когда она начнетъ говорить о чемъ-нибудь горячо, а это случается довольно часто. Сначала Татьяна Казиміровна принимала ее за очень добрую барыню, немножко сентиментальную и, вѣроятно, слабую, безъ особенно прочныхъ взглядовъ и убѣжденій. Но эту оцѣнку она должна была вскорѣ измѣнить.

Она увидала, что „первый номеръ“ въ домѣ—жена, а не мужъ. Жена отлиняла на него во всемъ: въ общемъ тонѣ, идеяхъ и отношеніяхъ къ людямъ, завербовала его въ какую-то свою вѣру, какую именно—Татьяна Казиміровна не могла еще опредѣлить, до переѣзда въ усадьбу. Мужъ этотъ былъ изъ породы „добрѣйшихъ“ русскихъ дворянъ, рослый, немного ожирѣлый, обросшій бѣлокурыми волосами, на видъ еще моложавый—ему было уже за сорокъ, съ отрывистой, не очень связной рѣчью; глаза у него были сродни, по выраженію, глазамъ жены, также съ какимъ-то налетомъ, но гораздо больше и простоватѣе по выраженію.

Леонидъ Павловичъ занимался хозяйствомъ не особенно ревностно, держалъ приказчика, служилъ, не такъ давно, мировымъ судьей, въ городѣ, откуда они переѣхали теперь на постоянное жительство въ усадьбу. Образованія онъ былъ смѣшаннаго—учился дома, потомъ попалъ въ военную службу, въ артиллерію, скоро вышелъ въ отставку, жилъ не мало за границей, искалъ все дѣла, слушалъ лекціи, изучалъ разные „вопросы“, метался туда и сюда, одну треть своего состоянія положилъ на разные „душевные затѣи“—онъ такъ выражался даже и послѣ того, какъ женился по любви.

Все это она узнала отъ него въ первые же дни. Онъ говорилъ о себѣ гораздо охотнѣе, чѣмъ Марья Христіановна. Но разъ срывалось у него съ языка:

— Безъ Мерички я бы и до сихъ поръ вскую шатался... Она меня перевоспитала.

Дочь свою они одинаково любили; но въ отцѣ замѣчалось больше склонности къ баловству, чѣмъ въ матери, и дѣвочка была съ нимъ нѣжнѣе. Воспитали они ее — это было сразу видно — на полной волѣ, приучили къ обхожденію съ родителями, какъ со старшими друзьями. Наташа была рослая дѣвочка, бѣлокурая, въ отца, съ темными глазами матери, но съ другимъ совсѣмъ выраженіемъ, веселая, немножко рѣзкая въ движеніяхъ, безъ свѣтской выправки, но не застѣнчивая.

Уже въ первую же недѣлю, проведенную Татьяной Казиміровной у Братцевыхъ, она сказала себѣ:

„А вѣдь дѣвочка-то меня всего больше здѣсь привлекаетъ“.

И между ними завязалась быстрая, почти мгновенная дружба. Наташа просто не могла наглядѣться на нее и, кажется, она первая стала настаивать на томъ, чтобы Татьяну Казиміровну взяли къ ней въ гувернантки.

Учили ее безъ системы, но знала она довольно много, особенно сильна была въ ариметикѣ; мать сама занималась съ нею тремя языками и музыкой. Новой наставницѣ можно было ограничиться только „рускими предметами“.

Такой ученицѣ Татьяна Казиміровна глубоко порадовалась и къ концу мѣсяца почувствовала, что для Наташи она способна остаться въ этомъ домѣ и нѣсколько лѣтъ.

Гувернантка-воспитательница впервые заговорила въ ней.

До сихъ поръ она имѣла дѣло почти исключительно съ ученіемъ въ тѣхъ домахъ, куда ходила давать уроки. Тамъ она строго держалась рамокъ преподавательницы. Родители почти вездѣ предоставляли ей выборъ метода ученія. Отъ участія въ нравственномъ веденіи дѣтей она сама старательно уклонялась. Многое она не одобряла; но она тогда только позволяла себѣ сдѣлать какое-нибудь замѣчаніе по поводу того, какъ „ведутъ“ ребенка, если этого требовало ученіе, подготовка уроковъ; да и то она любила доводить самихъ дѣтей до сознанія, что надо исправиться, не прибѣгая къ жалобѣ.

Даваніе уроковъ выработало въ ней извѣстнаго рода навыкъ, но не приохотило ее къ обхожденію съ дѣтьми. Она сама чувствовала, что уроки — только кусокъ хлѣба, души своей она въ нихъ не влагала, утомлялась отъ длинныхъ концовъ по городу, досадовала часто на то, что

изъ-за этихъ безконечныхъ уроковъ она не можетъ отдаваться систематическому чтенію, достичь спеціальныхъ „мужскихъ“ познаній по одному изъ предметовъ своего отдѣленія. Она прекрасно сдавала экзамены, не довольствовалась одними учебниками, читала и монографіи; но все-таки не могла работать „по-студенчески“.

Собираніе рублей съ уроковъ, помимо чисто женскихъ мотивовъ, и подтолкнуло ее окончательно въ исканію мѣста въ отъѣздъ, въ домашніи наставницы. Она рассчитывала не на особую удачу, но на нѣчто среднее: не глупое и не пошрое семейство, гдѣ она сумѣетъ сразу поставить себя въ независимое положеніе, при дѣтяхъ средняго возраста, безъ постоянной возни съ ними, такъ, чтобы имѣть достаточно досуга для работы. Въ такой жизни она сама себѣ выяснитъ свою дальнѣйшую умственную дорогу. Обречь себя на вѣчное гувернантство она никакъ не хотѣла. Ея однокурсницы находили, что у ней отличный слогъ, да и она сама чувала въ себѣ литературныя способности. Все это нуждалось въ разработкѣ, на все это надо было время.

У Братцевыхъ симпатичность дѣвочки-подростка вызвала въ ней болѣе теплое отношеніе къ своему теперешнему дѣлу. Передъ ней была юная трепетная душа, поставленная, повидимому, въ хорошія условія. Родители—добрые, развитые, очень отзывчивые люди, но они *родители*, излишкомъ любви къ дочери могутъ оказаться и вредными для нѣкоторыхъ сторонъ ея натуры. Вотъ тутъ она и должна оказать поддержку и имъ обоимъ, и ихъ ребенку. Съ такими „душевными“ людьми не особенно трудно будетъ сталкиваться. Да и для себя, для изученія собственнаго характера—это самая лучшая школа.

Татьяна Казиміровна, за время житія въ провинціи въ эти пять-шесть недѣль, еще строже стала слѣдить за собою, какъ только оправилась отъ перепохода исторіи съ Гарбузомъ. Она, къ переѣзду съ Братцевыми въ усадьбу, разобрала все свое поведеніе и многое въ немъ не одобрила. Она обвиняла себя окончательно въ большомъ легкомысліи, въ крайней неосторожности, приличной „дѣвчонкѣ“, а не дѣвушкѣ по двадцать третьему году, нашла, что не слѣдовало ей такъ порывисто соглашаться на преслѣдованіе „злудія“, хотя бы она и была убѣждена въ томъ, что онъ устроитъ ей западню. Теперь ея отказъ доводить дѣло до уголовного суда представлялся ей не

только толковымъ рѣшеніемъ, вызваннымъ дѣловыми соображеніями, но и поступкомъ, обязательнымъ для всякой истинно порядочной дѣвушки, способной подавить въ себѣ личное негодованіе, когда дѣло пахнетъ каторгой, и она сама считаетъ себя виновной въ крайней неосторожности.

Гуверпантство же показало ей, воочію, на какомъ волоскѣ виситъ, и среди такъ-называемаго образованнаго общества, честь и достоинство одинокой дѣвушки, нуждающейся въ заработкѣ. До сихъ поръ она только смутно сознавала возможность подобныхъ передрыгъ и не ставила ребромъ вопроса: какъ она выйдетъ изъ того или иного тяжкаго положенія, какіе инстинкты заговорятъ въ ней самой, хватить ли у ней нравственныхъ силъ хоть на то, чтобы помочь развиться одной дѣвочкѣ-подростку, въ родѣ этой Наташи, прильнувшей къ ней всѣмъ своимъ нетронутымъ сердцемъ?

Ни за что она не могла отвѣтить, и еще искреннѣе желала—строго слѣдить за собой, ни въ чемъ себѣ самой не давать поблажки.

## XI.

Въ первое воскресенье, проведенное въ усадьбѣ Братцевыхъ, Татьяна Казиміровна съ утра одѣлась старательнѣе и, въ ожиданіи часа утренняго чая, читала.

Обыкновенно горничная—мужской прислуги Братцевы не держали—приходила ее звать. На этотъ разъ она что-то медлила.

Комната гувернантки помѣщалась въ сторонѣ и проходить въ нее надо было залой и коридоромъ. Черезъ стѣны изъ залы гулъ разговоровъ не проникалъ, да тамъ и рѣдко кто сидѣлъ; но звуки фортепіано доходили довольно явственно.

Кромѣ піанино въ залѣ стояла еще фисгармоника порядочныхъ размѣровъ. На водахъ Татьяна Казиміровна ее не замѣчала. Тамъ уже ее на третій день помѣстили въ мезонинъ, куда даже и гаммы Наташи почти что не доносились.

Про фисгармонику она, по пріѣздѣ въ усадьбу, спросила какъ-то Наташу, умѣетъ ли она играть.

— Немножко, — отвѣтила та, — но мама прекрасно играетъ... Вы какъ-нибудь услышите.

И ей показалось тогда, что по лицу дѣвочки проскользнуло какое-то особое выраженіе.

Но она пропустила это безъ вниманія.

На водахъ, она была еще слишкомъ поглощена своей исторіей съ господиномъ Гарбузовъ и недостаточно присматривалась къ интимной жизни своихъ новыхъ хозяевъ. Одно она замѣтила, что они, во воскресенья, въ русскую церковь не ѣздили.

Вмѣсто зова въ утреннему чаю раздались вдругъ аккорды фисгармоники и пѣніе въ нѣсколько голосовъ.

Это показалось ей страннымъ. Въ такой ранній часъ, да еще въ воскресенье, Марья Христіановна врядъ ли будетъ давать урокъ дочери. Да Маташа, кажется, и не беретъ уроковъ пѣнія.

Она встала, подошла къ двери и пріотворила ее.

Отчетливѣе услышала она напѣвъ, несомнѣнно духовный, напоминающій нѣмецкіе хоралы. Различала она и мужской голосъ. Пѣлъ и Леонидъ Павловичъ. Покрывалъ другіе голоса голосъ Марьи Христіановны, высокій, унылый и нѣсколько гнусавый, и придавалъ всему хоралу особый колоритъ.

„Что же это такое?“—все еще въ недоумѣніи подумала Татьяна Казиміровна и прошла нѣсколько разъ по комнатѣ.

„Значить, они какіе-нибудь сектанты?“ — продолжала она соображать.

Духовное пѣніе подъ фисгармонику, въ воскресенье утромъ и пѣлымъ хоромъ, указывало на нѣчто, если не прямо сектантское, то мистическое. Правда, въ усадьбѣ нѣтъ церкви; но монастырь подъ бокомъ, какихъ-нибудь четверть часа ѣзды. Туда никто и не собирался и вообще о монастырѣ, о мѣстной святынѣ не было въ домѣ никакихъ разговоровъ.

Но какъ же ей было поступить? Ес захватило врасплохъ такое открытіе. Братцевы не дѣлали тайны изъ своихъ религіозныхъ собраний съ пѣніемъ на какой-то иностран- ный ладъ, но и не приглашали ее принять участіе.

Это ей понравилось. Стало-быть, въ нихъ нѣтъ желанія смущать ее, замашекъ прозелитизма.

И вдругъ она выговорила про себя:

„Да они, должно-быть, редстокисты“ — и вспомнила, какъ, года три назадъ, попала на такое пѣніе и даже слышала проповѣдь.



Мотивъ хорала былъ какъ будто ей знакомъ. Нѣчто совершенно въ такомъ родѣ она слыхала.

Надо было, однако, рѣшить: сидѣть ли ей у себя въ комнатѣ, пока тамъ все не кончится, или пройти въ залу и убѣдиться въ томъ, что тамъ происходитъ?.. Вѣдь не могла же она, за чаемъ, не спросить Наташу или Марью Христіановну, что за пѣніе у нихъ происходило, а такой вопросъ будетъ, пожалуй, отзываться нескромностью или выпытываніемъ.

Она даже начала краснѣть отъ волненія.

Запѣли еще что-то. Слова были, навѣрно, русскія и, кажется, въ стихахъ.

Ее потянуло въ коридоръ. Но слушать тамъ показалось ей не деликатнымъ, нечестнымъ. Она не хотѣла подслушивать и пошла, уже безъ колебаній, къ двери въ залу, отворила ее тихо и встала у дверей, сначала никѣмъ не замѣченная.

За фисгармоніей—Марья Христіановна, съ лицомъ, обращеннымъ къ ней въ профиль. Взглядъ ея упирался въ стѣну, брови были приподняты, вся она поблѣднѣла и совсѣмъ унеслась куда-то. Мужъ ея, посрединѣ комнаты, сидѣлъ за столикомъ. Вдоль одной стѣны помѣщались двѣ горничныя, старушка-экономка и двое мужчинъ. Въ одномъ изъ нихъ она узнала управляющаго.

Наташа стояла около Марьи Христіановны. Она первая замѣтила приходъ гувернантки, обрадовалась; но тотчасъ же опять переимѣнила выраженіе лица: глаза у ней, такъ же какъ у ея матери, устремлены были куда-то, углы рта оттянуты, весь обликъ—восторженно умиленный и на рѣсницахъ блестя слезинки.

„Бѣдная Наташа!—выговорила про себя Татьяна Казиміровна.—Ее фанатизируютъ. Какъ это жалъ!“

И ей еще сильнѣе захотѣлось защитить воспріимчивую натуру дѣвочки-подростка отъ искусственного настраиванія на мистическій ладъ.

„И какъ имъ не совѣстно,—продолжала она думать,—обращать въ свою секту четырнадцатилѣтнюю дочь, зная, что она и безъ того такая пылка!“

Послѣ вторичнаго пѣнія гимна, съ какими-то стихами—они показались ей плоховатыми и безъ всякаго содержанія,—Леонидъ Павловичъ всталъ и началъ говорить.

Татьяна Казиміровна припомнила, что нѣчто въ этомъ

родѣ она слышала въ Петербургѣ, когда попала въ модельню редстовистовъ... Тогда была мода ходить туда.

Та же тема, тѣ же приемы доказательствъ, тотъ же учительскій сладковатый тонъ, съ безпрестанными повтореніями одного и того же довода, точно онъ обращался къ малограмотнымъ и малолѣткамъ.

Она и тогда, въ Петербургѣ, придя домой, долго говорила объ этомъ съ двумя своими товарками по курсамъ, доказывая, что такое ученіе заключаетъ въ себѣ нѣчто безысходное, роковое или ведетъ къ изувѣрству.

Здѣсь лишній разъ убѣдилась она, что у ней нѣтъ никакой склонности къ мистицизму. Все, что тутъ пѣлось и о чемъ говорилось, показалось ей смѣшиноватой, если не печальной затѣей.

И даже когда она себя поправила умышленно и спросила: „почему они не имѣютъ права вѣрить какъ имъ заблагоразсудится?“ — то въ ней все-таки не измѣнилось враждебное чувство.

Говорилъ Леонидъ Павловичъ немного шепеляво и вообще не бойко и сдѣлался, на ея оцѣнку, вдвое простоватѣе, чѣмъ въ обыкновенномъ разговорѣ. Ей даже стало за него совѣстно.

Проповѣдь продолжалась съ добрыхъ полчаса. Потомъ опять пропѣли гимнъ, по тетрадѣ.

Тѣмъ и покончилось.

Наташа тотчасъ же подбѣжала къ ней, обняла, поцѣловала нѣсколько разъ, возбужденная, съ влажными гла-

— Душечка! Татьяна Казиміровна! И вы пришли? Какъ я рада!.. И какъ мама будетъ рада!.. Папа! Поди сюда!..

Ее окружили. Марья Христіановна поцѣловалась съ ней. Леонидъ Павловичъ пожалъ руку и торжественно сказалъ:

— Кто чистъ сердцемъ—тотъ нашъ...

И, точно сконфузившись, сейчасъ же ушелъ.

Она промолчала, но рѣшила тотчасъ же послѣ чая выяснить свое положеніе, какъ наставницы, и поближе разглядѣть своихъ хозяевъ.

## XII.

Объясненіе было во всякомъ случаѣ неизбежно, и она сама его вызвала.

— Послушайте,—сказала она Маріи Христіановнѣ, попросивъ ее къ себѣ въ комнату,—не мое дѣло вмѣши-

ваться въ общее воспитаніе Наташи, но, если вы позволите говорить откровенно,—вы напрасно развиваете въ ней...

Слово не сразу сошло съ ея губъ.

— Что?—тревожно подсказала Братцева.

— Мистицизмъ.

— Мистицизмъ?

— А то какъ же?.. Я не знаю—принадлежите ли вы къ какой-нибудь сектѣ или составили себѣ свой символъ вѣры... Но вы съ мужемъ вашимъ—уже готовые люди, а Наташа еще полуребенокъ.

И она начала доказывать, что родители не пѣютъ права усиленно направлять душу своего ребенка—да еще въ такой критическій возрастъ—въ сторону исключительнаго настроенія, которое она не можетъ не назвать мистическимъ.

Братцева выслушала ее, вротко улыбаясь и не приподнимая на нее глазъ.

— Вы кончили?—спросила она Татьяну Казиміровну, взяла ее за руку, долго держала ее въ своей и потомъ привлекла къ себѣ и поцѣловала въ лобъ.

— Другъ мой,—начала она особымъ тономъ, немножко какъ-то въ носъ,—не о дочери моей я буду говорить, а о васъ. Ей мы показываемъ духовную истину, къ какой мы сами пришли. Этого права никто у васъ отнять не можетъ. Но въ васъ говорить другое... и мое дѣло—указать вамъ всю призрачность того, что вы, быть-можетъ, называете вашими убѣжденіями.

Она не дала ей возразить на это и горяче продолжала:

— Мы съ мужемъ полюбили васъ... съ первыхъ дней. И нѣсколько недѣль разглядывали васъ. Натура у васъ благородная... вы посвятили себя великому дѣлу... У васъ хорошія познанія. Но грунта, на которомъ все зиждется, въ васъ нѣтъ. Мы не стали сразу навязывать вамъ наши вѣрованія... Мы ждали. Вы сами вызвали меня на этотъ разговоръ—и я безмѣрно счастлива.

И этотъ разговоръ перешелъ цѣликомъ на нее: она должна была выдержать родъ испытанія... Ей нельзя было уклониться отъ него. Братцева, несмотря на особый извнеченный тонъ, ей не совсѣмъ пріятный, говорила съ полной искренностью.

— Мы съ вами, дорогая Татьяна Казиміровна, по части религіи, прошли, вѣроятно, черезъ одно и то же:

обѣ—дочери смѣшанныхъ браковъ; у васъ отецъ былъ католикъ, у меня—лютеранинъ, матери—православныя. И въ дѣтствѣ не вложили въ насъ ни строгихъ догматовъ, ни извѣстнаго общаго настроенія.

Долго говорила Братцева на эту тему и—съ извѣстной точки зрѣнія—Татьяна Казиміровна находила ея доводы, хоть и не новыми, но довольно резонными.

Потомъ пошли другія ноты. Братцева стала ей рассказывать, какъ она сама „прозрѣла“, сколько времени искала „истиннаго пути“, и какое высокое счастье носить она постоянно въ сердцѣ, съ тѣхъ поръ, какъ для нея нѣтъ никакихъ сомнѣній въ будущемъ своей души.

Гдѣ, въ какомъ ученіи она нашла все это—Братцева сразу не сказала ей, но для нея было уже ясно, что та принадлежитъ еще къ какой-то мистической сектѣ иностраннаго происхожденія и пойдетъ дальше—будетъ дѣлать попытки пропаганды. Это заставило ее еще разъ поставить ребромъ вопросъ о томъ: какъ ей вести уместное развитіе Наташи?

— Другъ мой!—говорила Братцева, — лучше временно находиться въ заблужденіи, но жить душой, трепетать отъ сознанія, что вы обладаете вѣчной истиной. А иначе что же останется? Одна мертвечина!.. Мерзость заустѣнія! Если у насъ нѣтъ внутренняго свѣточа, къ чему ваша наука? Никакая образованность не даетъ ясности духа... Я не противъ знанія! Творца нужно изучать въ Его твореніяхъ и судьбахъ человѣчества. И я не стану мѣшать вамъ... Учите Наташу, развивайте ея умъ. Но развѣ это все? Почему мы не отдали Наташу въ гимназію? Потому что она цокала бы въ воздухъ равнодушія къ высшему смыслу жизни, охвачена была бы суетностью, формализмомъ, не услышала бы ни одного слова, которое приготовляетъ молодую душу къ соединенію съ источникомъ свѣта.

Глаза Братцевой, когда она произносила эти слова, покрылись слезами. Татьяна Казиміровна слушала ее внимательно.

— Мое нравственное „я“, — возразила она, почти сурово, — мы оставимъ въ покоѣ, Марья Христіановна.

— Я и не хочу, другъ мой, нападать на него, — продолжала Братцева, все въ тѣхъ же потахъ, — но вы правдивы, вы не будете скрывать отъ меня истиннаго состоянія вашей души. Вы должны чувствовать себя сухо, не-

привѣтно, безъ настоящей опоры въ жизни. Одно знаніе—мертво. Я приглядывалась къ вамъ больше мѣсяца, и мнѣ васъ жалко, искренно жалко. Вы въ безвоздушномъ пространствѣ, въ васъ нѣтъ и тѣни той радости, какую человѣкъ можетъ носить въ душѣ своей... А безъ нея, во имя чего будете вы выносить тягость жизни?

И долго Братцева говорила все въ томъ же родѣ. Татьяна Казиміровна не прерывала ее. И къ концу бесѣды позволила себѣ только сказать:

— Дѣло ваше, Марья Христіановна. Ваша дочь должна быть дороже вамъ, чѣмъ мнѣ. Я высказала то, что считала своимъ долгомъ.

— И я васъ за это еще болѣе полюбила!—воскликнула Братцева, опять обняла и поцѣловала ее. — Для всѣхъ открыть доступъ къ источнику свѣта!

Но съ этого же дня Татьяна Казиміровна уже не могла попрежнему относиться къ Братцевой. Она видѣла, что борьба неизбежна изъ-за Наташи. Дѣвочку, по природѣ слишкомъ воспримчивую, ей захотѣлось отстоять отъ того, что она считала, со стороны родителей, насиліемъ.

Что ей говорить ей совѣсть, то она и будетъ дѣлать въ этомъ домѣ. Чтобы усиленно бороться, надо знать какъ можно лучше своихъ противниковъ... Она рѣшила, до поры до времени, не высказываться, внимательно изучать родителей Наташи. Уже и теперь она отлично видѣла, что всему даетъ окраску жена, что Марья Христіановна первая сдѣлала мужа, если не послѣдователемъ еще какой-то секты, то мистикомъ, готовымъ пойти съ ней, рука въ руку, на поиски того „свѣточа“, который озарялъ ее.

### ХІІІ.

Отъ брата своего Коли, прогостившаго всѣ вакаціи въ деревнѣ, въ семействѣ товарища, Татьяна Казиміровна получила письмо, очень грустное... Мальчикъ скучалъ по пей. Зиму онъ долженъ былъ остаться въ томъ же семействѣ, въ качествѣ репетитора, за столъ и квартиру.

Когда она тамъ пристроила его, то, прощаясь съ нимъ, говорила:

— Для тебя это необходимо, Коли. Ты слишкомъ долго жилъ подъ женскимъ надзоромъ. Этого нельзя! Все на помочахъ! Пора и съ чужими людьми ладить!

Мальчикъ согласился съ ея доводами, хотя тайно и вслабнулъ: онъ очень любилъ ее, до обожанія.

И вотъ теперь, когда передъ нимъ стояла дѣлая зима, у чужихъ людей, въ полной разлукѣ со своей „маточкой“, какъ онъ ее называлъ, ему сдѣлалось жутко, и онъ напился въ письмѣ, на восьми страницахъ, съ такими проблесками нѣжности, что у ней стояли на глазахъ слезы, когда она его дочитывала.

Не лучше ли было бы ей вернуться въ Петербургъ, гдѣ она навѣрно найдетъ нѣсколько хорошихъ уроковъ. На Колю она будетъ тратить немного: плата за ученіе, платье, маленькія карманныя деньги. Тамъ полная независимость, а здѣсь, хоть она и живетъ на выгодныхъ условіяхъ и дѣла мало, — надо или подлаживаться, или бороться.

Она видѣла, что мать Наташи не передѣлаешь. Въ ней залегли характерныя черты мистической натуры, русская нервозность на почвѣ нѣмецкаго упорства. Но это-то ее и подзадоривало. Неужели она сразу спасуетъ передъ первой попавшейся барынькой, отъ бездѣлья ищущей свѣточа, и не поощряетъ развиваться такому же мистицизму въ симпатичной и душевно здоровой дѣвчкѣ?

Это было бы слишкомъ стыдно. Ее уже не смущало и то, что она должна будетъ вмѣшиваться не въ свою область. До сихъ поръ она строго держалась рамокъ преподаванія въ тѣхъ домахъ, гдѣ давала уроки, и, собираясь „въ отъѣздъ“, не желала быть воспитательницей, гувернанткой, брать на себя отвѣтственность за нравственность своихъ учениковъ и ученицъ... Но тутъ борьба должна идти путемъ умственнаго развитія. Еще неизвѣстно, кто побѣдитъ.

Сдавалось ей также, что мужъ Марьи Христіановны, по натурѣ, врядъ ли очень склоненъ къ мистицизму.

Она не вызвала его на „принципіальное“ объясненіе, но послѣ ея разговора съ Марьей Христіановной, Леонидъ Павловичъ сталъ самъ искать повода къ бесѣдѣ съ особымъ отгѣнкомъ.

У нихъ обоихъ послѣобѣденные часы были ничѣмъ не заняты. Наташа брала какой-нибудь урокъ у матери, и Леонидъ Павловичъ, когда погода испортилась, оставался въ комнатахъ и видимо скучалъ. Онъ предложилъ ей читать поочередно газеты и журналы.

Незамѣтно перешелъ онъ первый къ интимнымъ разговорамъ. Чутье не обмануло ее. Мужъ, послѣ разныхъ иска-

ній дѣла, сталъ подпадать подъ вліяніе жены и очутился въ сектантахъ.

О себѣ онъ говорилъ проще, искреннѣе, и въ нѣсколько дней она узнала всю исторію его духовнаго просвѣтлѣнія.

— Вы оба редстокисты?—спросила его Татьяна Казиміровна послѣ того, какъ дала ему понять, что она знакома съ этимъ ученіемъ.

— И да, и нѣтъ,—отвѣтилъ онъ ей съ подавленнымъ вздохомъ.—Вы видите, дорогая моя, меня всегда тянуло къ живому дѣлу. Я и съ идеями Толстого во многомъ согласенъ... Миѣ, по натурѣ, не очень по вкусу догматы, но безъ нихъ нельзя... все распыляется, нѣтъ никакой почвы, какъ разъ вдашься въ суетумудріе и въ суетсловіе. Каждый мѣсяць будешь сочинять себѣ новую вѣру...

— Но главный пунктъ нашего ученія, по-моему, подрываетъ всякую нравственность.

— Видите,—прервалъ онъ ее и взялъ за руку,—я вамъ по-душѣ скажу: отъ слѣпноты слѣдованія этому толкованію я ушелъ. И жена моя также. Я держусь, въ общемъ, извѣстнаго воззрѣнія на необходимость постоянной связи съ источникомъ истины. Но я безъ живого добра не признаю спасенія.

Хотѣлъ и онъ, лѣтъ десять назадъ, совсѣмъ покончить со всякой барской суетой, жить съ простымъ народомъ, продѣлывать всѣ тѣ „упряжки“, про которыя писалъ Толстой, еще раньше его... И пришелъ, вмѣстѣ со своей женой, къ тому выводу, что это все—„гордыня“.

— Гордыня?—переспросила она не безъ удивленія.

— А то что же? Пересоздать весь строй общества нельзя по собственному хотѣнію. Это значитъ мудрить и считать себя богоподобнымъ спасителемъ человѣчества. Можно искать спасенія душъ своей, но не такъ, не однимъ устройствомъ земной своей жизни. Это—переодѣтый позитивизмъ!.. А съ народомъ я живу въ постоянномъ общеніи.

Тутъ онъ сообщилъ ей безъ всякой утайки, что ходитъ каждую недѣлю въ избу къ своимъ хуторскимъ рабочимъ, поучаетъ ихъ, раздаетъ имъ книжки, и въ городѣ, куда онъ изрѣдка ѣздитъ, знаетъ не мало пуждающагося люда.

— Но для васъ пропаганда важнѣе простого добра?

Вопросъ Татьяны Казиміровны не смутилъ его. Онъ не считалъ себя ни фанатикомъ, ни сектантомъ.

Этотъ вопросъ о' пропагандѣ повелъ ихъ въ разговоръ о Наташѣ.

Въ Леонидѣ Павловичѣ мистикъ оказался совсѣмъ не съ тѣмъ оттѣнкомъ, какъ въ его женѣ.

— Я васъ понимаю,—сказалъ онъ ей,—и нахожу вашъ протестъ законнымъ. Никто не имѣетъ права усиленно обращать дѣтей въ свое ученіе. Но то, что у васъ дома дѣлается, не имѣетъ сектантскаго характера.

Онъ чего-то не досказалъ, но она поняла, что между нимъ и женой началась какая-то борьба на почвѣ ихъ мистицизма.

И помолчавъ, онъ заговорилъ сдержаннѣе, почти вполголоса:

— Мери ищетъ страстиѣ меня... особаго откровенія. Мы съ ней не принадлежимъ къ одной церкви. Она меня привела къ положительнымъ вѣрованіямъ и гораздо строже держалась того толкованія благодати, въ которомъ вы видите подрывъ всякой истинной морали; но она начинаетъ увлекаться другимъ ученіемъ... съ прошлаго года. Что жъ! Я не могу ей препятствовать. Нетерпимости во мнѣ нѣтъ... Только я взялъ съ нея слово, что Наташу она не станетъ, до ея совершеннолѣтія, тянуть въ свою сторону.

Это признаніе заинтересовало ее; но она не хотѣла выспрашивать, къ какой еще новой вѣрѣ стремится Марья Христіановна. Ея положеніе могло сдѣлаться еще труднѣе, и это не смущало ее.

Ищущая „свѣта“ чета становилась для нея предметомъ любопытныхъ наблюденій. Она ни капли не боялась за себя: ее они не передѣлаютъ. Но этого еще мало: и дѣвочку она будетъ отстаивать, вливать въ свое преподаваніе живую струю.

Въ немъ она зачуяла своего тайнаго сообщника. Онъ не фанатикъ, а просто русскій добрый баринъ, не нашедшій еще своей тарелки, можетъ-быть, готовый сбросить съ себя палеть расплывчатаго мистицизма, въ которомъ очутился подъ давленіемъ жены. И кромѣ того, она замѣчала уже въ Леонидѣ Павловичѣ желаніе угодить ей, поправиться, вызвать въ ней сочувствіе къ себѣ и не на почвѣ правоученій и пропаганды.

Если бы она была менѣе сурова и сильнѣе сознавала обаяніе своей наружности на мужчинъ, она бы уже подмѣтила многое, что заставило бы ее уйти въ свою раковину, или затягивать его, будь у ней инстинкты хищницы.



Она оставалась довольна этимъ вторымъ принципиальнымъ объясненіемъ и когда все передумала, то пришла къ такому выводу:

„Большой бѣды нѣтъ въ томъ, что дѣлается въ ихъ домѣ. Лучше пускай въ дѣвчкѣ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, воспитывается потребность въ нравственномъ идеалѣ“.

На этомъ она, до поры до времени, успокоилась и не искала больше новыхъ объясненій.

Но что-то ей говорило, что этимъ дѣломъ не кончится.

#### XIV.

Въ началѣ октября закрутила ненастная осень, прекратились всякія прогулки, комнатная жизнь вступила въ свои полныя права.

Дни Татьяны Казиміровны проходили въ нескучномъ однообразіи. Утромъ занятія съ Наташей, потомъ завтракъ, потомъ опять урокъ. Передъ обѣдомъ она оставалась въ своей комнатѣ и работала, изучала одно объемистое сочиненіе по психологін, дѣлала выписки, заносила въ тетрадь свои замѣтки, писала петербургскимъ пріятельницамъ письма. Послѣ обѣда она была свободна, но довольно часто читала вслухъ газеты Леониду Павловичу, даже и во время уроковъ музыки, которые происходили въ столовой; газеты приносили каждый день, въ концѣ обѣда. Вечеръ проходилъ также въ чтеніи.

По воскресеньямъ она на молитвенныхъ собраніяхъ не присутствовала. Отъ принципиальныхъ объясненій она уклонялась, да и Братцевы не вызывали на нихъ. Леонидъ Павловичъ съ каждымъ днемъ все ласковѣе съ ней разговаривалъ и совсѣмъ не на мистическія темы; много спрашивалъ про ея петербургскую жизнь, интересовался курсами, кружками молодежи, про себя любилъ рассказать что-нибудь забавное, выставляющее его въ юмористическомъ свѣтѣ, на тему своей разсѣянности, добродушія и слабости характера.

— Я вѣдь простофиля!—говорилъ онъ часто.— Не дуракъ и не пошлякъ, но половинчатый человѣкъ по части душевныхъ переходовъ, настоящій россіянинъ!

Съ нимъ ей было ловко. Никакого селадонства она въ немъ не замѣчала; мягкій, пріятельскій тонъ съ нею шелъ ко всей его натурѣ. Она видѣла, что въ этомъ человѣкѣ есть потребность освѣжать себя бесѣдами съ молодой лич-

ностью, съ дѣвушкой, которая выработала себѣ убѣжденія, взгляды, цѣлый кодексъ нравственныхъ правилъ, виѣ всякаго мистицизма. И онъ нисколько не пытался передѣлывать се, а, напротивъ, какъ бы самъ желалъ примирить то, что онъ называлъ своимъ „міропониманіемъ“, съ тѣмъ, чему она вѣрила.

— Я не изувѣрь!—вырвалось у него разъ. — Я скорѣе раціоналистъ!

При женѣ, за завтракомъ, за обѣдомъ, вечеромъ, когда они сидѣли всѣ въ гостиной, Леонидъ Павловичъ держался другого тона: былъ такъ же ласковъ и внимателенъ, но не позволялъ себѣ никакихъ *à parte* и никакихъ шутливо-обличительныхъ намековъ на собственную личность. Съ дочерью онъ иногда шутилъ, и она лѣнула къ нему гораздо больше, чѣмъ къ матери.

Цѣлыхъ двѣ недѣли Марья Христіановна была чѣмъ-то поглощена, рано уходила къ себѣ послѣ вечерняго чая, занималась съ Наташей разсѣянно, запиралась съ мужемъ, и между ними происходили какія-то тайныя совѣщанія вполголоса... Раза два она выходила изъ его кабинета со слезами на глазахъ. Но Татьяна Казиміровна не чувала во всемъ этомъ чего-нибудь враждебнаго ей. Подъ этимъ должно было сидѣть нѣчто, прямо связанное съ ихъ сектантствомъ.

Строго избѣгала она всякихъ разговоровъ съ Наташей о ея родителяхъ. Дѣвочка такъ привязалась къ ней, что сама порывалась изливаться ей, забѣгала къ ней передъ сномъ, порывисто цѣловала и просила позволенія побыть у ней „хоть минуточку“. Но Татьяна Казиміровна не поощряла этого.

— Что я вамъ скажу, — вдругъ, въ концѣ утренняго урока, прошептала Наташа, вскочила со своего мѣста, подбѣжала къ своей гувернанткѣ, обняла ее и продолжала шептать ей на ухо:—Мама собралась ѣхать!.. На цѣлый мѣсяцъ!

— Куда?

— Въ Петербургъ... и, кажется, за границу.

— За границу? — не могла не переспросить Татьяна Казиміровна. — Одна?

— Одна... Голубушка, Татьяна Казиміровна, вы не любите, чтобы я съ вами болтала,—дѣвочка вся заволновалась,—но я не могу... Вы знаете... Папа и мама... были до сихъ поръ одной вѣры... И я съ ними... И такъ бы

это было хорошо!.. Что жъ! Я сама люблю, какъ папа говорить... И пѣть люблю... Но мама—ужь съ прошлой зимы... когда вернулась изъ Петербурга...

— Наташа!—строго остановила Татьяна Казиміровна.— Зачѣмъ мнѣ все это знать?

— Позвольте, позвольте! Милая! Вы мой первый другъ... Вы меня поддержите.

— Да какъ же вы это знаете?

— Очень просто... Папа съ маман—васъ стѣсняются; а при мнѣ былъ разговоръ... и тамъ, на водахъ, и здѣсь. Что жъ, я не виновата...

Слезы появились на рѣсницахъ Наташи. Она еще нѣжнѣе обняла Татьяну Казиміровну. Очень трудно было ей оттолкнуть дѣвочку или прикрикнуть.

Изъ ея словъ она поняла, что Марья Христіановна увлечена теперь какимъ-то другимъ мистическимъ ученіемъ и тянетъ къ нему мужа, а онъ не поддается.

— Мама хочетъ въ Лондонъ ѣхать,—почти съ ужасомъ прошептала Наташа.—Тамъ ее произведутъ въ какой-то особый чинъ.

— Во что?—повторила Татьяна Казиміровна.

— Да, посвятятъ ее... Прежде объ этой вѣрѣ и мама говорила такъ себѣ, смѣялась... У нихъ ангелы есть какіе-то и на нихъ находятъ вдругъ...

Она начинала понимать въ чемъ дѣло.

— Наташа!—сказала она еще строже.—Я очень сожалею, что вы мнѣ все это рассказали.

— Душечка! Милочка!.. Не говорите только маман, ради Бога... Я васъ такъ люблю, я не могла молчать.

— Утаивать я ничего не буду, Наташа,—сказала ей помягче Татьяна Казиміровна.—Если надо будетъ, я не скрою ни отъ отца вашего, ни отъ матери о томъ, что васъ смущаетъ.

— Съ папой можно! Съ нимъ можно! Мнѣ его ужасно жалко!.. Будьте его другомъ, поддержите его.

Въ тонѣ Наташи зазвучала такая нота участія къ отцу и довѣрія къ своей учительницѣ, что Татьяна Казиміровна сама привлекла ее и поцѣловала въ лобъ.

— Нельзя, мой дружокъ, вмѣшиваться въ интимную жизнь родителей.

Но ей собственная фраза сильно не понравилась. Она нашла ее „книжной“. Дѣвочка вся пылаетъ нѣжнымъ влеченіемъ къ ней; ея положеніе между отцомъ и матерью

могло сдѣлаться очень тяжелымъ, если между ними пойдеть разладъ на почвѣ ихъ сектантства.

— Бѣдная вы моя!—выговорила она и еще разъ приласкала дѣвочку.

Та бросилась ее порывисто цѣловать и убѣждала вся въ слезахъ.

Въ тотъ же день, послѣ обѣда, за чтеніемъ газеты, Леонидъ Павловичъ вполголоса—жена его ушла къ себѣ и урока Наташѣ не давала—началъ издаലെка о томъ, что Марья Христіановна „переживаетъ новый кризисъ“, и сообщилъ, что она собралась ѣхать въ Петербургъ и, можетъ-быть, за границу... на нѣсколько недѣль.

— По дѣламъ?—безстрастно спросила она.

— Да... по своимъ дѣламъ... Что жъ!—вырвался у него подавленный вздохъ.—Я не могу насиловать ея совѣсть. Такъ должно было случиться... Простымъ ученіемъ она не могла довольствоваться... Для нея нужно иное... Постоянный подъемъ всего ея существа.

И онъ не договорилъ. А нѣсколько минутъ спустя, въ перерывъ чтенія, все такъ же вполголоса сказалъ:

— Только я не могу за ней, на этотъ разъ, кидаться, очертя голову, въ изувѣрство. И Наташу отстою.

Она выслушала признаніе, но не хотѣла втягивать его въ болѣе глубокую исповѣдь, считала это нечестнымъ. Одно она видѣла и понимала: быструю склонность Леонида Павловича къ ней, полное довѣріе, желаніе опереться на нее въ борьбѣ съ разрастающимся „изувѣрствомъ“ Марьи Христіановны. Это тронуло ее и не смутило. Она почувствовала еще сильнѣе нравственную обязанность поддерживать и его, и Наташу—и не головой только, а внутреннимъ чувствомъ. Такая забота согрѣвала ее и дѣлала положеніе въ домѣ менѣе одинокимъ. За какія-нибудь рискованныя послѣдствія она не боялась.

Но разговора они все-таки не вели дальше на ту же тему. Ничего положительнаго она не могла посовѣтовать ему, да онъ и не спрашивалъ прямого совѣта.

И на другой же день Марья Христіановна объявила о своемъ отъѣздѣ. Она пришла къ ней въ комнату, утромъ, передъ урокомъ Наташи, въ особенномъ настроеніи, кротко улыбалась и говорила такъ, точно она не хочетъ ничѣмъ нарушать высоты своего душевнаго подѣма.

— Поручаю мужу и вамъ дочь мою,—сказала она ей почти торжественно.—Вы честная личность и не злоупотре-

требите своимъ вліяніемъ на дѣвочку. Я буду въ отсутствіи съ мѣсяць... можетъ-быть, шесть недѣль.

Когда она это говорила, у Татьяны Казиміровны пронеслась въ головѣ мысль:

„А вѣдь она лишена мелочности! Другая бы ни за что не оставила меня въ домѣ“.

Но она тотчасъ же добавила:

„Ей теперь все равно: она стремится попасть въ какіе-то такіе ангелы“.

Этому отъѣзду Татьяна Казиміровна была рада гораздо больше, чѣмъ ожидала. Цѣлый мѣсяць—не мало времени. Наташу теперь легче будетъ вести въ здоровомъ направленіи, и не злоупотребляя своимъ вліяніемъ.

#### XV.

Въ какихъ-нибудь три недѣли по отъѣздѣ Марьи Христіановны, отецъ, дочь и гувернантка сошлись такъ, какъ будто они составляли кровную семью.

Татьяна Казиміровна совсѣмъ расцвѣла, даже станъ ея сдѣлался стройнѣе и роскошнѣе. Она, дѣйствительно, была такъ хороша, что Наташа не выдерживала, за урокомъ вскакивала съ своего мѣста и цѣловала ее то въ голову, то въ плечо.

— Господи!—вскрикивала она,—какая вы нынче хорошенькая!

Но слово „хорошенькая“ было дѣтское слово. Наставница Наташи дѣлалась красавицей въ полномъ смыслѣ. Она сама этого точно не замѣчала. Ей хорошо жилось. Ученица ее радовала и способностью работать, и общимъ своимъ душевнымъ складомъ. Она скоро убѣдилась въ томъ, что Наташа совсѣмъ не мистическая натура, а только очень воспріимчивая, до-нельзя чувствительная и порывистая. Для нея всякое чтеніе, стихи, проза, какая-нибудь исторія или анекдотъ, гдѣ замѣшано чувство, были толчкомъ къ сердечному порыву. Отецъ про нее выражался:

— Наташа слишкомъ вибрируетъ,—какъ туго натянутая струна.

Съ Леонидомъ Павловичемъ у нихъ, по вечерамъ и за обѣдомъ, шли постоянно дружескія бесѣды. Они незамѣтно привыкли засиживаться довольно поздно, когда Наташа и люди давно уже спали. Прошло два воскресенья, а онъ не держалъ проповѣди, вѣроятно, подъ тѣмъ предлогомъ, что и аккомпанировать пѣнію гимновъ некому было. И

Наташа почему-то не вызывалась, хотя могла бы замѣнить мать у фисгармоники.

Онъ помолодѣлъ въ лицѣ, сталъ еще задушевиѣе въ своихъ изліяніяхъ, но въ манерѣ вести себя съ-глазу-на-глазъ—сдержаннѣе, какъ будто онъ начинаетъ немного бояться самого себя.

Про Марью Христіановну онъ говорилъ не тѣмъ тономъ, гораздо легче и вѣстѣ съ тѣмъ увѣреннѣе. Онъ ее только жалѣлъ, а не боялся уже того, что она, по возвращеніи, будетъ тануть и его, и дочь въ свою новую вѣру.

— А какъ же вы поступите? — спросила его Татьяна Казиміровна.

— Какъ поступлю? Да очень просто... Я уже ей и передъ отъѣздомъ сказалъ: милая Мери, я за тобою не пойду и прошу тебя не смущать и дочь нашу. И вы увидите, что теперь я выдержу характеръ.

На слово „теперь“ онъ какъ-то особенно наперъ и глядѣлъ на нее добрыми и радостными глазами... Точно онъ хотѣлъ сказать ей: „съ такой союзницей, какъ вы, я ничего теперь не боюсь“.

Про поѣздку жены онъ ей рассказывалъ послѣ каждого ея письма. Въ Петербургѣ она не могла получить „настоящаго посвященія“ и чрезъ недѣлю по пріѣздѣ туда отправилась за границу, не побоялась наступавшей зимы и морского переѣзда въ Англію, съ неизбѣжной качкой и морской болѣзнью. Изъ Лондона она начала писать письма въ такомъ приподнятомъ тонѣ, что даже онъ, знавшій ее хорошо, только пожималъ плечами и совѣстился приводить подлинныя мѣста изъ писемъ. Она надѣялась вернуться, удостоенная той степени, о которой мечтала.

— Знаете, Татьяна Казиміровна, — сказалъ онъ разъ, когда они сидѣли вдвоемъ въ гостиной, часу въ двѣнадцатомъ, и въ окна хлесталъ мокрый снѣгъ, — Мери вступила на такой путь, что я, какъ мужъ, для нея больше не существую. Да и Наташа тоже. Она ждетъ своего Мессію и для остального умерла. Это особенно сильно проявляется въ ея послѣднемъ письмѣ.

— Иначе и не могло быть! — выговорила она, глядя на него, но своей манерѣ, немного исподлбья — и ее впервые посетила мысль, какъ этотъ слабоватый, но добрый и чуткій человѣкъ созданъ для интимной жизни.

Ему-то и нужна была бы подруга, преданная прежде всего ему, способная вести его къ дѣятельному добру, а не такая изувѣрка, какъ эта Марья Христіановна.

Будь она посмѣлѣе въ своихъ манерахъ, не контролируй она каждаго своего душевнаго движенія, она бы показала, какъ она сочувствуетъ надвигавшемуся на него одиночеству и разладу. Въ этомъ человѣкѣ ее ничто не смущало и не вызывало того особаго гадливо-подозрительнаго чувства, какое овладѣвало ею уже столько разъ въ жизни.

Она совсѣмъ забывала, что онъ еще не старый, свѣжій мужчина, что ихъ сближеніе шло гигантскими шагами, что они живутъ подъ одной кровлей и проводятъ съ-глазун-глазъ долгіе вечера.

— Ахъ, Татьяна Казиміровна, — началъ онъ послѣ короткой паузы, и въ голосъ его она слышала другіе звуки, — Татьяна Казиміровна, — повторилъ онъ и опустилъ голову. — Если бы въ жизни не дѣлать роковыхъ шаговъ. Не даромъ французы оплакиваютъ неразуміе молодости: *Si jeunesse savait...*

Она промолчала.

— Вотъ возьмите меня, — продолжалъ онъ, они сидѣли на одномъ диванѣ, близко другъ къ другу, — половина жизни ушла, и я бродилъ, искалъ исхода мнимъ... какъ хотите — идеаламъ... думалъ, что знаю себя, что я — установившійся человѣкъ!.. Гдѣ тутъ!

Вдругъ его точно что извнѣ потрясло. Онъ весь всколыхнулся, сначала отвернулъ голову, потомъ взялся за платокъ и провелъ его по лицу.

Тутъ только она догадалась, что онъ не можетъ сдержать слезъ, стыдится ихъ. Это ее тронуло, и она порывисто протянуло ему руку.

— Леонидъ Павловичъ!.. Дорогой мой!.. — вырвалось у нея.

Въ первый разъ въ жизни сказала она постороннему мужчине: „дорогой мой“.

И голосъ у нея сразу измѣнился. Она его не узнала.

Эти слова заставили его отнять отъ глазъ платокъ. Онъ обернулъ къ ней лицо: оно было все въ слезахъ. Ей стало еще жалче этого хорошаго человѣка, и если бы она послушалась своего перваго сердечнаго движенія — она бы взяла его за голову, какъ брата, какъ дочь его Паташу, и поцѣловала — только бы утѣшить его и поддержать.

— Вы,—началъ онъ нетвердо выговаривать, какъ пьяный, губы у него вздрагивали, — вы явились въ моей жизни... такъ недавно... Точно небо послало васъ... и вотъ теперь...

Какое-то страшное слово не могло сойти съ его вздрагивающихъ губъ.

Но и въ ту минуту она еще не сознавала, что въ немъ происходитъ. Она принимала это за горечь утраты долго любимой женщины, ушедшей отъ него въ свое неизлѣчимое изувѣрство.

— Если бы вы знали,—все тѣмъ же измѣнившимся голосомъ выговорила она,—какъ я вамъ сочувствую...

— Татьяна Казиміровна!

Онъ схватилъ ее за обѣ руки, поникъ головой и зарыдалъ.

И этотъ приступъ не открылъ ей настоящей правды... Она поклонилась къ нему и искренно, безъ всякой думы о томъ, что дѣлаетъ, прикоснулась губами къ его головѣ.

Тогда онъ опустился на коверъ и началъ дѣловато ея руки такъ стремительно, что ее тутъ только, точно прокололо пиквою, ощущеніе страсти.

Это было опять то же, что когда-то вызвало въ ней гадливое чувство, съ примѣсью смѣшного впечатлѣнія, когда студентъ, застрѣлившійся вскорѣ послѣ того, зарыдалъ и уткнулъ голову въ ея колѣни!

„Неужели? — почти съ ужасомъ спрашивала она себя, не имѣя силъ отнять руки.—Неужели это оплотъ то же?“

Сомнѣваться дольше нельзя было: то же, что вызвало злодѣйскій умыселъ господина Гарбуза, сила ея красоты. Она ей приписала это неотразимое дѣйствіе, а не душевному обаянію. И въ ней шевельнулось возмущеніе противъ этой „смазливости“, маски, которая не отвѣчала совсѣмъ ея внутреннему существу, портила ей жизнь, порождала въ мужчинахъ хищныя или нежелательныя влеченія.

— Простите, простите меня, ради Бога!—шепталъ онъ прерывисто, пополамъ со слезами.—Но я не могу скрывать дольше. Вы посланы мнѣ Богомъ. Съ Мери я или погибну, буду такой же психопатъ, какъ и она, или убѣгу!.. Вы для меня—заря новаго бытія!

Эти выраженія отзывались для нея аффектаціей; но онъ ихъ употреблялъ съ глубокой искренностью, онъ слишкомъ привыкъ говорить такимъ языкомъ, какъ только



рѣчь заходила о душѣ, ея потребностяхъ и влеченіяхъ.

Она уже не возмущалась. Было бы слишкомъ жестоко и просто неумно и пошло обдать его холодной водой какихъ-нибудь обиженныхъ и брезгливыхъ возгласовъ.

— Леонидъ Павловичъ,—тронутымъ голосомъ сказала она ему,—прошу васъ, не говорите такъ, сядьте, придите къ себѣ... Вы понимаете... я не должна васъ выслушивать здѣсь... въ этомъ домѣ.

Ей самой эти слова показались лицемерными. Она какъ бы поощряла его, только просила не настаивать, прекратить сцену до болѣе благопріятной минуты.

Такъ ей стало гадко и стыдно за себя, что она встала, въ большомъ волненіи, проронила только три слова:

— Я не хочу!

И бросилась къ двери... За собой она слышала его рыданія, но не обернулась, вбѣжала къ себѣ въ комнату, раздираемая смѣшанными чувствами, еще никогда не забиравшимися въ ея душу.

На постели, одѣтая, она ушла лицомъ въ подушку и долго плакала, не разбирая, что въ ней происходитъ, какое чувство сильнѣе остальныхъ. Ей было жалко себя, его, Наташу.

Цѣлое утро не выходила она изъ своей комнаты, послала сказать Наташѣ, что урока не будетъ, чтобы она ее не беспокоила, сказала больною и къ завтраку.

Она не знала: какъ ей теперь быть? Бѣжать ли изъ этого дома, или переждать, или вызвать Леонида Павловича на рѣшительное объясненіе?

Въ сумерки ворвалась къ ней Наташа, вся въ слезахъ, и стала упрашивать сойти внизъ.

— Папа въ ужасномъ положеніи! Милочка! Вы одинъ можете его успокоить. Онъ ужасно терзается... Вы должны пойти къ нему. Онъ васъ умоляетъ.

Надо было пойти. Леонида Павловича нашла она у себя въ кабинетѣ. Онъ лежалъ, одѣтый, на кушеткѣ; при ея появленіи всталъ, взялъ за обѣ руки, она не отдергивала ихъ, подвелъ къ дивану, сѣлъ рядомъ, и опять слезы потекли изъ глазъ.

— Я виноватъ, — шепталъ онъ, — я оскорбилъ васъ... Но, Господи!.. Зачѣмъ же мнѣ скрывать то, что выше силъ моихъ?.. Вѣрьте, я не зналъ еще такого чувства, Татьяна Казиміровна. Но я поборолъ бы его, если бы Мери не ушла уже отъ меня. Я это вижу... Прочтите ея

последнее письмо... Оно пришло сегодня... Развѣ для нея что-либо существуетъ теперь?.. Вы скажете, я эгоистъ. Но если мое чувство глубоко и чисто, если въ васъ я вижу идеаль подружки, вижу, что и дѣвочка моя обожаетъ васъ?.. Господь ведетъ меня къ этому... Я не эгоистъ, но я, быть-можетъ, безумецъ... Гдѣ же мнѣ вызвать въ васъ взаимность?... Но я и не надѣялся, повѣрьте... и сейчасъ не имѣю надежды. Я прошу только о пощадѣ... Не уходите!.. Христа ради! Не бѣгите отъ насъ!..

Она не убѣждала. Она сказала ему, безъ напускной строгости, но твердо и безъ всякой нѣжности въ голосѣ:

— До возвращенія Марьи Христіановны я не уѣду. Только вы мнѣ дайте слово, Леонидъ Павловичъ, не говорить со мною о вашемъ чувствѣ... Я его не раздѣляю. И мое положеніе слишкомъ щекотливо. Вы это хорошо понимаете.

И опять эти слова не отвѣчали на то, что было у ней на сердцѣ. Она чувствовала себя къ нему гораздо ближе, но не могла это выказать.

Ихъ вечернія чтенія и бесѣды съ-глазу-на-глазъ она прекратила.

## XVI.

Пріѣхала Марья Христіановна. Никто не ждалъ ея раньше шести недѣль: она прислала денешу съ границы черезъ мѣсяцъ съ тремя днями послѣ отъѣзда изъ Поддубнаго.

Каждый день, вставая съ постели, Татьяна Казиміровна, въ эти двѣ послѣднія недѣли, возвращалась назойливо мыслю къ тому, что будетъ, когда Марья Христіановна водворится опять въ домъ?

Если даже изувѣрство настолько овладѣло ею, что Леонидъ Павловичъ, дѣйствительно, пересталъ для нея существовать, разнѣ это все? Какъ бы она ни порывалась къ небу, все-таки она женщина, мать; да и само сектантство можетъ сейчасъ же вооружить ее противъ дѣвушки, которая отняла у нея дочь и мужа, чтобы навсегда сдѣлать ихъ свободными отъ ея мистицизма!.. Да, это одно можетъ вызвать непримиримую борьбу.

Леонидъ Павловичъ сдѣлался ей симпатиченъ; она не могла не сознаваться въ этомъ; но онъ привлекалъ ее не такъ сильно, чтобы поощрить его на формальный разрывъ съ женой, а о чемъ-нибудь другомъ, нелегальномъ, тай-

номъ, она ни разу даже и не подумала: такъ горделива и цѣломудренна осталась она.

Она искренно желала и Братцеву, и Наташѣ освобожденія изъ-подъ ига Марьи Христіановны, готова была даже помогать имъ. Но какъ могло состояться это „освобожденіе“? Онъ съ дочерью уйдетъ отъ жены и сохранитъ при себѣ гувернантку. Но вѣдь она знаетъ про его страсть къ ней!.. Остаться у нихъ здѣсь, безъ Марьи Христіановны, или уѣхать куда-нибудь съ ними, это все равно: дать ему надежду на то, что она будетъ современемъ его женой, выставить себя какой-то авантюристкой, готовой довести его до этого брака какъ можно скорѣе.

„Господи! — жаловалась она про себя, перебирая свое положеніе, — отчего же мнѣ именно приходится распутывать такой узелъ?“

И тамъ, на самомъ днѣ души, всплывала особая жалость къ себѣ: почему Братцевъ не привлекаетъ ее сильнѣе своей личностью, почему наружность его ей не нравится, почему не находитъ она въ себѣ достаточно сильного импульса, чтобы сдѣлать то, къ чему страстно стремятся эти два существа, „обожаящія“ ее: и отецъ, и дочь — стать его женой и духовной матерью Наташи?

Съ перваго слова, выговореннаго Марьей Христіановной, когда та пріѣхала изъ города, гдѣ мужъ встрѣчалъ ее, Татьяна Казиміровна почувала всю правду того, чего ждалъ Леонидъ Павловичъ.

Это былъ легко уловимый тонъ восторженности и отрѣшенія отъ всякихъ обиходныхъ интересовъ. Отъ нея, ея улыбающагося лица, взгляда, туалета, движеній пахло какимъ-то душевнымъ ладаномъ. Ея „не отъ міра сего“ обдавало слащавой мертвенностью.

Она стала говорить тихо, безъ обычныхъ у ней порывовъ, и не мѣняла особаго рода улыбки, точно она владеетъ какимъ-нибудь тайнымъ кладомъ и ея сокровище дѣлаетъ ее выше рѣшительно всего: страстей, семейныхъ радостей, любви къ мужу и дочери, удовольствій, матеріальныхъ заботъ.

Съ гувернанткой она поцѣловалась, тоже на особый ладъ, въ родъ того, какъ цѣлуютъ монахини; взяла ее за руку, увела къ себѣ въ комнату, посадила передъ собою и начала длинную рѣчь.

Изъ этой рѣчи Татьяна Казиміровна поняла, что Марья Христіановна посвящена въ какую-то степень и что все

дѣло ея земной жизни—приводить къ тому же „блаженству“ всѣхъ, кто встрѣтится на ея пути. Она ждетъ пришествія Мессіи каждую минуту и всегда готова къ высокому торжеству, которое будетъ продолжаться „тысячу лѣтъ“.

И въ ознаменованіе этого, въ первый же день, за обѣдомъ, по ея приказу, появился лишний приборъ для того, кто могъ явиться внезапно и принять участіе въ трапезѣ.

Ѣла она тоже съ особымъ оттѣнкомъ, котораго прежде не замѣчали у ней ни отецъ, ни дочь, ни гувернантка, необыкновенно старательно, какъ ѣсть простонародье, какъ бы совершая важное дѣло, но съ выраженіемъ внутреннего сердечнаго веселья. И въ туалетѣ, темныхъ цвѣтовъ и страннаго покроя, соблюдалось что-то праздничное.

Мужъ и дочь смотрѣли на нее, слушали и держались съ нею такъ, какъ совершенно нормальные люди держатся съ тѣми, кого начинаютъ подозрѣвать въ признакахъ душевнаго расстройства. Но для Татьяны Казиміровны эта женщина не была вовсе сумасшедшей. Она переживала только дальнѣйшую фазу своего мистицизма и должна была найти себѣ такую секту, гдѣ есть бѣльшій просторъ „изувѣрству“, по выраженію Леонида Павловича.

Въ немъ страхъ проявлялся еще замѣтнѣе, чѣмъ въ Наташѣ. Вечеромъ того же перваго дня мужъ и жена заперлись въ ея комнатѣ. Наташа прибѣжала къ Татьянѣ Казиміровнѣ и въ темнотѣ—лампа еще не была зажжена—прижималась къ ней и шептала:

— Душечка моя!.. Мнѣ страшно дѣлается... Я не узнаю мамы... И папа ея боится... Что-то будетъ, что-то будетъ?

Какъ умѣла, она успокоила дѣвочку, но у ней самой на душѣ было жутко; она ждала, что не нынче—завтра что-нибудь разразится.

Какъ Марья Христіановна не казалась отрѣшенной отъ всего мірскаго, но она не могла не почувствовать, въ первые же дни, что мужъ и дочь ушли изъ-подъ ея духовнаго воздѣйствія.

И главную виновницу она тоже распознала. Но вѣсто бурной сцены Татьяна Казиміровна должна была вынести совсѣмъ другое объясненіе.

Марья Христіановна не стала дѣлать ей упрековъ. Она опитъ произнесла цѣлую рѣчь, въ тонѣ глубокаго сокрушенія о томъ нравственномъ убожествѣ, въ какомъ нахо-

дilasь гувернантка ея дочери. Этихъ словъ и, вообще, никакихъ обидныхъ выраженій она не употребила, но смыслъ былъ именно такой... Со своей тихой, посторженной улыбкой она указала ей на хищническую суету, въ которой находились всѣ, не имѣющіе ея связи съ небомъ. Безъ этой связи даже добродѣтель—источникъ зла.

И тутъ она напомнила ей исторію съ господиномъ Гарбузомъ. По ея толкованію, выходило, что Татьяна Казиміровна поступила тогда, какъ „язычница“, слишкомъ отдалась чувству злобы и гордыни, забывая, что она сама, „быть-можетъ“, была причиной грѣховныхъ помысловъ въ томъ „заблудшемъ братѣ“.

Этого Татьяна Казиміровна не вынесла и прекратила разговоръ, почти возмущенная такимъ толкованіемъ.

— Вотъ и теперь,—сказала ей Братцева,—вы во власти духа тьмы. Но я па то и адѣсь, чтобы противодѣйствовать его чарамъ. Не какъ мать и жена буду я исполнять мою миссію, а какъ служительница истины.

Леонидъ Павловичъ сторожилъ ея проходъ черезъ столовую, когда она шла къ себѣ, послѣ этого объясненія съ Марьей Христіановной, и съ искаженнымъ лицомъ сталъ ухиливать ее выслушать его „въ послѣдній разъ“ и увлечь ее въ гостиную.

Тамъ онъ сначала плакалъ какъ ребенокъ, потомъ сдержалъ себя и, цѣлуя страстно ея руки, заклиналъ не покидать его, раздѣлить съ нимъ судьбу, оставить всякіе ненужные укоры совѣсти, и если она не можетъ сразу стать его женою, не чувствуетъ къ нему достаточно влеченія, позволить ему ждать около нея.

— Такъ не можетъ идти,—повторялъ онъ, растерянно поводя глазами,—вы сами понимаете... Я все равно уйду отъ нея, я возьму дочь... Она же не оставитъ насъ въ покоѣ... Она станетъ выживать васъ, отравлять ваше существованіе своей слащавой и упорной пропагандой.

И то, что онъ говорилъ, было правда. Она это сознавала. Но, на этотъ разъ, опасность для нея самой усилилась.

— Я не могу быть вашей женой... въ такихъ условіяхъ...—сказала она твердо и попросила его прекратить эту сцену.

Быть захваченной въ этотъ часъ Марьей Христіановной страшило ее не изъ малодушія, а изъ побужденій тор

дости! Она не вынесла бы такого повода быть заподозрѣнной. Лучше было разъ навсегда подавить въ себѣ всякую жалость и симпатію къ двумъ существамъ, съ которыми столкнула ее доля гувернантки, и уйти изъ этого дома.

Она такъ и поступила. На другой же день она съ раннего утра, еще при свѣчахъ, уложила свои вещи и, зная, что Братцева просыпается раньше всѣхъ, прямо пошла къ ней въ комнату и объявила ей, что оставляетъ ихъ домъ.

— Мое достоинство не позволяетъ мнѣ, Марья Христіановна, распространяться о томъ, какія побужденія заставляютъ меня проститься съ вашимъ домомъ. Я глубоко жалѣю и мужа вашего, и дочь, — вотъ все, что я могу сказать вамъ.

Эти слова стоили ей большого нравственнаго усилія. Она имѣла право сказать Братцевой и многое другое... Но и эта сектантка была только жалка въ ея глазахъ... Цѣлую ночь продумала она о томъ, честно ли она поступаетъ, убѣгая отъ тѣхъ двухъ человѣческихъ существъ, отдавшихъ ей всей душою, и пришла къ тому же рѣшенію.

Въ вагонѣ она сидѣла у окна и подъ шумъ поѣзда, въ наплывающихъ сумеркахъ осенняго дня, старалась развлечь себя какими-нибудь мелькающими передъ ней предметами.

Но дорога шла унылой, плоской низиной, съ корявыми, чахлыми кустами и мелкорослымъ сѣнникомъ.

Точно бѣглянка возвращалась она въ Петербургъ, всего черезъ какихъ-нибудь пять мѣсяцевъ. Она сегодня убѣжала тайкомъ отъ тѣхъ, для кого ея побѣгъ былъ жестокимъ ударомъ, оставила два письма — Леониду Павловичу и Натану, на своемъ письменномъ столѣ, попросила Марью Христіановну приказать запрячь ей экипажъ и увезти ее въ городъ прежде, чѣмъ мужъ ея и дочь встанутъ.

„Жизнь сильнѣе“, — мысленно твердила она фразу, сложившуюся въ ея головѣ впервые сегодня, когда она выходила изъ своей комнаты.

„Жизнь сильнѣе“ — этотъ выводъ дѣлала она въ преддверіи того, что зовется карьерой.

И въ чемъ сидѣла незадача ея первыхъ шаговъ? Въ обстоятельствахъ или въ ней самой, въ ея неподатливой натурѣ, въ ея „гордости“ и щепетильности?

Во всемъ этомъ она себя обличала искренно и смѣло; но не могла же она передѣлать себя! Тамъ, въ усадьбѣ „Поддубное“, бросила она цѣлое „счастіе“: такъ называли бы это сотни и тысячи дѣвушекъ, безъ средствъ, безъ положенія, съ перспективой подневольнаго труда.

„Нельзя!“ — сказала она и подняла голову горделиво и почти дерзко, подняла и осмотрѣлась кругомъ — въ вагонѣ никого не было, кромѣ какой-то дамы, спавшей въ углу.

„Нельзя!“ — повторила она и сложила на груди руки, въ позѣ рѣшимости — идти навстрѣчу новыхъ соблазновъ и утратъ жизни.



## Оглавление VI тома.

---

	стр.
Обречена. Повесть. . . . .	3
Проводы. Повесть. . . . .	156
Вторая отъ воды. Разсказъ. . . . .	228
Въ отъездъ. Разсказъ. . . . .	263







Stanford University Libraries



3 6305 009 633 400

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
CECIL H. GREEN LIBRARY  
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004  
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

